VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

Фернан Бродель

ВРЕМЯ МИРА



·Прогресс·

Фернан Бродель

Материальная цивилизация,
экономика и капитализм,
XV-XVIII вв.

том 3

Fernand Braudel

Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVᵉ-XVIIIᵉ siècle

tome 3

LE TEMPS DU MONDE



Armand Colin

Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.

ТОМ 3

Фернан Бродель

ВРЕМЯ МИРА



Перевод с французского
доктора исторических наук
Л. Е. КУББЕЛЯ

Вступительная статья и редакция
доктора исторических наук
Ю. Н. АФАНАСЬЕВА



Москва · Прогресс · 1992

Редактор
Н. В. РУДНИЦКАЯ

Макет и оформление
художника ОЛЕГА ГРЕБЕНЮКА

Редакция литературы по истории

© Librairie Armand Colin. Paris. 1979

© Перевод на русский язык, вступительная статья и комментарии, издательство «Прогресс», 1992

Б $\frac{0503010000-052}{006(01)-92}$ 26-91

К. Хеллеру
посвящается

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВПР — Архив внешней политики России
«Annales E.S.C.» — «Annales: Economies, Sociétés, Civilisations»
A.E. — (Ministère des) Affaires Etrangères
A.N. — Archives Nationales
A.d.S. Firenze — Archivio di Stato di Firenze
A.d.S. Genova — Archivio di Stato di Genova
A.d.S. Venezia — Archivio di Stato di Venezia
B.N. — Bibliothèque Nationale
PRO — Public Records Office

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот третий и последний том есть как бы ответ на вызов и реализация некоего притязания. Вызов и притязание раскрывают его смысл. Позаимствовав удачное выражение Вольфрама Эберхарда[1], я озаглавил этот том «Время мира» — название, несомненно, красивое, хоть и обещает оно больше, чем я мог бы исполнить.

[1] Eberhard W. *Conquerors and Rulers Social Forces in Medieval China.* 2d ed., 1965, p. 13 f. — Цит. по: Wallerstein I. *The Modern World System*, 1974, p. 6.

Вызов заключен в том доверии, какое я питаю к столь возможно широкому обращению к истории, которая на сей раз берется в ее хронологическом развертывании и в разнообразных ее временных характеристиках. Словно предаться ее движению, следуя ее путям и ее логике, означает прибегнуть к главнейшему испытанию из всех, чтобы подтвердить или опровергнуть итоги предварительных исследований первых двух томов настоящего труда. Вызов, как видите, сочетающийся с определенными притязаниями, а именно — с претензией на то, что история может одновременно представать и как объяснение, притом одно из самых убедительных, и как подтверждение поистине единственное, лежащее вне пределов наших абстрактных умозаключений, нашей априористской логики и даже за пределами тех сетей, какие непрестанно расставляет нам здравый смысл. А может быть, и с еще одной претензией: желанием предложить приемлемую схему истории мира на базе данных весьма неполных, но все же слишком многочисленных для того, чтобы попытаться охватить их целиком.

Таким образом и определяется цель настоящего тома. Читатель найдет в нем рассказы, описания, картины эволюции, разрывы, закономерности. Но от начала и до конца я боролся с соблазном чересчур увлечься рассказом, описывать ради одного только удовольствия нанести какой-нибудь штрих, подчеркнуть какой-то момент, зафиксировать примечательную деталь. Я лишь попытался увидеть и побудить увидеть других, чтобы понять, т. е. чтобы подтвердить. Но делал я это настойчиво, как если бы именно упорство этих усилий служило оправданием моих исследований и, более того, самого ремесла историка.

Однако же во всей истории мира есть от чего прийти в уныние самым неустрашимым и даже самым неискушенным. Разве это не безбрежный поток, без начала и конца? И такое сравнение еще неадекватно: история мира — не один, но множество потоков. К счастью, историки уже имеют опыт того, как противостоять избыточности. Они упрощают ее, расчленяя историю на секторы (история политическая, экономическая, социальная, культурная). Главное же — они научились у экономистов тому, что время можно расчленить на базе разнообразных временны́х характеристик и таким образом приручить его, сделав в общем поддающимся изучению: существуют временны́е характеристики длительной и очень длительной протяженности, изменения конъюнктуры замедленные и менее замедленные, сдвиги быстрые, а иные — и мгновенные, причем зачастую самые кратковременные обнаруживаются легче всего. В целом мы располагаем отнюдь не ничтожными средствами, для того чтобы упростить и организовать историю мира. И мы можем выделить время, прожитое в мировом масштабе, *время мира,* которое, однако, не составляет, не должно составлять историю людей в ее целостности. Это особое время в зависимости от мест и эпох управляло определенными пространствами и определенными реальностями. Но другие реальности, иные пространства от него ускользали и оставались ему чужды.

Например, Индия сама по себе представляет «континент»; так начертите же четыре линии — вдоль Коромандельского побережья, вдоль Малабарского берега, ось Сурат — Дели и ось Дели — дельта Ганга. Вы заключили Индию в четырехугольник[2]. В этом четырехугольнике только его стороны действительно жили в мировом времени, принимали торговые потоки и ритмы Вселенной, к тому же не без сдвига по фазе и не без сопротивления. *Время мира* активизировало прежде всего такие оживленные линии. Отзывалось ли оно внутри четырехугольника? Да, несомненно, то тут, то там. Но это время также и отсутствовало в нем. И то, что происходило в масштабах Индийского «континента», повторялось во всех населенных областях земного шара, даже на Британских островах времен промышленной революции. Повсюду имелись зоны, где мировая история не находила отклика, зоны молчания, спокойного неведения. «В нашем [Неаполитанском] королевстве, — писал экономист Антонио Дженовези (1712 — 1769), — есть области, в сравнении с коими самоеды показались бы просвещенными и цивилизованными»[3]. На первый взгляд такие зоны нас затопляли: вот перед нами в некотором роде облегченная карта мира, облегченная, потому что она усеяна бесчисленными белыми пятнами, откуда не доносится отклика, — по правде говоря, теми самыми регионами, на окраинах торжествующей истории, о которых прежде всего шла речь в первом томе настоящего труда.

Таким образом, *время мира* как бы включало в игру своего рода надстройку глобальной истории: оно было как бы завершением, словно созданным и вознесенным силами, действовавшими ниже его уровня, хотя его весомость в свою очередь отзывалась на базисе. В зависимости от места и времени такое

[2] Das Gupta A. *Trade and Politics in 18th Century India. — Islam and the Trade in Asia.* Ed. D. S. Richards, 1970, p. 183.
[3] Bouvier R. *Quevedo «homme du diable, homme de Dieu»,* 1929, p.83.

двойное воздействие — снизу вверх и сверху вниз — бывало более или менее значительным. Но даже в странах, передовых в экономическом и социальном смысле, время мира не все определяло.

В принципе главный сюжет настоящего тома — это преимущественно история избранных секторов, материальная и экономическая. Именно прежде всего *экономическую* историю мира с XV по XVIII в. я намереваюсь охватить в этом третьем и последнем томе. Это является, или должно было бы быть, неким упрощением моей задачи. Мы располагаем десятками общих историй экономики, работ, превосходных либо своим лаконизмом[4], либо богатейшей документацией. Я пользовался двумя томами «Истории экономического быта Западной Европы» Иосифа Кулишера[5], вышедшими в 1928—1929 гг. и остающимися еще и ныне лучшим руководством и самой надежной из обобщающих работ. В не меньшей степени использовал я и монументальный труд Вернера Зомбарта «Современный капитализм» (последнее издание — 1928 г.), фантастическую сводку анализа прочитанного и кратких резюме главного. Но эти общие работы, как правило, ограничены рамками Европы. Я же убежден, что история имеет великое преимущество делать заключения путем сравнения явлений в мировом масштабе, единственно доказательном. Уже Ф. Новалис* говорил: «Любая история непременно всемирная»[6]. И в самом деле, экономическая история мира [в целом] больше доступна пониманию, нежели экономическая история одной только Европы. Но можно ли сказать, что она была проще?

Тем более что ни экономисты, по меньшей мере с 50-х годов[7], ни историки уже давно не считают более, что экономика — это «область в себе», а экономическая история — четко ограниченная территория, где можно совершенно спокойно замкнуться. Сегодня единодушие в этом вопросе очевидно. Для Витольда Кули «теория автономной экономики в условиях развитого капитализма [я бы охотно добавил мимоходом: и даже капитализма зарождающегося] оказывается простым школьным допущением»[8]. Для Жозе Жентил да Силвы «в истории все связано, и, в частности, экономическая деятельность не может отделяться ни от политики и взглядов, которые ее обрамляют, ни от возможностей и ограничений, которые определяют ее место»[9]. У. У. Ростоу решительно сомневается в том, что человек в обществе — это прежде всего «человек экономический»[10]. Дьёрдю Лукачу[11] казалось смешным полагать, что предмет экономики «действительно мог бы быть изолирован от остальных социальных, идеологических и политических проблем». По мнению Рэймонда Фёрса, все действия людей «имеют экономический аспект, социальный аспект, культурный аспект» и, конечно же, аспект политический[12]. Для Йозефа Шумпетера экономическая история «не может быть чисто экономической»[13], а для этнолога Жана Пуарье «экономический факт может быть целиком осмыслен экономистом, только если последний выйдет за рамки экономики»[14]. Один современный

[4] Imbert J. *Histoire économique des origines à 1789*. 1965; Hausherr H. *Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit*. 1954; Richardot H., Schnapper B. *Histoire des faits économiques jusqu'à la fin du XVIII^e siècle*. 1963; Hicks J. *A Theory of Fconomic History*. 1969 (французский перевод — 1973 г.).

[5] Kulischer J. *Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit*. 2 Bde, 1958.

* Новалис (Фридрих фон Гарденберг, 1772—1801) — немецкий поэт, виднейший представитель романтизма. — *Прим. перев.*

[6] Novalis F. *L'Encyclopédie*. 1966, p. 43.

[7] См.: Clemens R. *Prolégomènes d'une théorie de la structure économique*. 1952, в частности с. 92.

[8] Слова Витольда Кули, сказанные им в одном давнем разговоре. См.: *On the Typology of Economic Systems. The Social Sciences. Problems and Orientation*. 1968, p. 109—127.

[9] Gentil da Silva J. Точная ссылка утеряна, и сам автор, на которого я ссылаюсь, не смог ее восстановить.

[10] Rostow W. W. *Les Estapes du développement politique*. 1975, p. 20.

[11] См. статью К. Ш. Кароля (Carol K. S.) в «*Le Monde*», 23 juillet 1970.

[12] Цит. в: Belshaw C. S. *Traditional Exchange and Modern Markets*. 1965, p. 5.

[13] Schumpeter J. *History of Economic Analysis*. 2d ed., 1955, I, p. 6.

[14] Poirier J. *Le commerce des hommes*. — «*Cahiers de l'Institut de science économique appliquée*», novembre 1959, № 95, p. 5.

экономист утверждает даже, что «разрыв с другими общественными науками... неприемлем в политической экономии»[15]. Почти то же утверждал уже в 1828 г. Жан-Батист Сэ: «Оказалось, что политическая экономия, которая как будто имела своим предметом лишь материальные богатства, охватывает всю социальную систему целиком, связана в обществе со всем»[16].

[15] Guillaume M. *Le Capital et son double.* 1975, p. 11.
[16] Say J.-B. *Cours complet d'économie politique pratique.* 1828, I, p. 7.

Следовательно, экономическая история мира — это вся история мира, но рассмотренная под определенным углом зрения: экономическим. Но ведь избрать именно такой угол зрения, а не какой-то иной означает заранее избрать некую форму одностороннего объяснения (все же опасную как раз в силу этого), от которой — я знаю это с самого начала — мне не освободиться полностью. Нельзя безнаказанно оказывать предпочтение серии так называемых экономических фактов. Сколько бы мы ни старались удержать их под контролем, отвести им надлежащее место, а главное — выйти за их пределы, разве сможем мы избежать незаметного проникновения «экономизма» и проблем исторического материализма? Это то же самое, что пересекать зыбучие пески.

Итак, как это часто случается, мы попытались, с помощью здравых аргументов, устранить трудности, загромождавшие нашу дорогу. Но едва мы принялись за дело, как с самого начала трудности упрямо возвращаются. Те трудности, без которых, признаем это, историю не принимали бы всерьез.

На последующих страницах читатель увидит, как я постарался эти трудности преодолеть.

Прежде всего мне нужно было засветить свой фонарь. Отсюда первая, теоретическая глава — *«Членения пространства и времени»*, — где сделана попытка поместить экономику во времени и в пространстве, рядом, над и под остальными элементами, разделяющими с нею это время и это пространство: политикой, культурой, обществом.

Последующие пять глав, со 2-й по 6-ю, пытаются совладать со временем, с этого момента нашим главным или даже единственным противником. Я еще раз сделал ставку на *длительную временну́ю протяженность*[17]. Вполне очевидно, что это означает надеть семимильные сапоги и не замечать определенные эпизоды и реальности краткосрочного протекания. На последующих страницах читатель не найдет ни жизнеописания Жака Кёра, ни портрета Якоба Фуггера Богача, ни тысяча первого объяснения системы Лоу. Это, конечно, лакуны. Но каким иным способом можно соблюсти логическую краткость?

[17] Braudel F. *Histoire et sciences sociales: la longue durée.* — «*Annales E.S.C.*», 1958, p. 725—753.

С учетом сказанного и следуя привычной и почтенной процедуре, я разделил *время мира* на длительные периоды, учитывающие прежде всего последовательный опыт Европы. Две главы (вторая — о Венеции и третья — об Амстердаме) рассматривают «Старинные экономики с доминирующим городским центром». Четвертая глава под названием «Национальные рынки» исследует расцвет национальных экономик в XVIII в., в первую очередь — экономик Франции и Англии. Глава

пятая — «Мир на стороне Европы или против нее» — дает обзор мира в так называемый Век Просвещения. Шестая глава, «Промышленная революция и экономический рост», которая должна была быть последней, изучает громадный разрыв, лежавший у истоков того мира, в котором мы живем и ныне. Заключение, все удлиняясь, обрело размеры отдельной главы.

Я надеюсь, что посредством достаточно близкого и неторопливого наблюдения этого разнообразного исторического опыта будут подкреплены выводы анализа в предшествующем томе. Разве Йозеф Шумпетер в своем труде «История экономического анализа» (1954 г.), который для нас, историков, представляет высшее его достижение, не утверждал, что существует три способа изучать экономику[18]: через историю, через теорию, через статистику; но что, если ему, Шумпетеру, пришлось бы заново начинать свою карьеру, сделался ли бы он историком? Мне бы хотелось, чтобы специалисты общественных наук подобным же образом видели в истории исключительное средство познания и исследования. Разве настоящее не находится больше чем наполовину во власти прошлого, упорно стремящегося выжить? И разве не предоставляет прошлое посредством своих закономерностей, своих различий и своих сходств ключ, необходимый для всякого серьезного понимания настоящего?

[18] Schumpeter J. *Op. cit.*, ch. II, passim. По словам г-жи Элизабет Буди-Шумпетер, четвертым способом должен был бы быть социологический метод.

Глава 1.

ЧЛЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ЕВРОПЕ

Как видно из названия, эта глава, задуманная как теоретическая, развертывается в двух плоскостях: она пытается расчленить пространство, а затем расчленить время. Проблема заключается в том, чтобы заранее разместить реальности экономические и вслед за ними реальности социальные, им сопутствующие, в соответствии с их пространством, а после этого — в соответствии с их продолжительностью. Такие выяснения главного будут долгими, в особенности — первое из них, необходимое для того, чтобы легче понять второе. Но, я полагаю, полезно и то и другое; они ставят вехи на том пути, по какому надлежит двигаться, они оправдывают этот путь и предлагают удобный лексикон. Ибо, как и в любых серьезных спорах, здесь царят слова.

ПРОСТРАНСТВО И ЭКОНОМИКИ: МИРЫ-ЭКОНОМИКИ

Пространство, будучи источником объяснения, затрагивает разом все реальности истории, все, имеющие территориальную протяженность: государства, общества, культуры, экономики... В зависимости от того, то или другое из этих *множеств*[1] мы изберем, значение и роль пространства будут видоизменяться. Однако же видоизменяться отнюдь не во всем.

[1] См. т. 2 настоящего труда, гл. 5.

В первую голову я хотел бы коснуться экономик и рассматривать какое-то время только их. Потом я попробую очертить место и вмешательство других *множеств*. Начинать с экономики — это отвечает не только программе настоящего труда. Из всех видов овладения пространством освоение экономическое, как мы увидим, легче всего вычленяется и шире всего распространено. И оно не совпадает с одним лишь ритмом материального времени мира: в его игру непрестанно вмешиваются все прочие социальные реальности, способствующие или враждебные ему и в свою очередь испытывающие его влияние. И это — самое малое, что можно сказать.

МИРЫ-ЭКОНОМИКИ

Чтобы начать обсуждение, следует объясниться по поводу двух выражений, которые могут повести к путанице: *мировая экономика* и *мир-экономика (économie-monde)*.

Мировая экономика простирается на всю землю; как говорил Сисмонди, она представляет «рынок всего мира»[2], «род человеческий или же всю ту часть рода человеческого, которая находится в общении друг с другом и сегодня образует в некотором роде всего лишь единый рынок»[3].

Мир-экономика (выражение неожиданное и плохо воспринимаемое французским языком, которое я некогда придумал за неимением лучшего и не слишком согласуясь с логикой, дабы передать одно из частных употреблений немецкого слова *Weltwirtschaft* — «мировое хозяйство»[4]) затрагивает лишь часть Вселенной, экономически самостоятельный кусок планеты, способный в основном быть самодостаточным, такой, которому его внутренние связи и обмены придают определенное органическое единство[5].

Например, давным-давно я изучал Средиземноморье XVI в. как *Welttheater* или *Weltwirtschaft* — *«мир-театр», «мир-экономику»*[6], — понимая под этим не только само море, но и все то, что на более или менее удаленном расстоянии от его берегов приводилось в движение жизнью обменов. В общем, некий мир в себе, некую целостность. В самом деле, средиземноморский ареал, хотя и разделенный в политическом, культурном, да и в социальном плане, может восприниматься как определенное экономическое единство, которое, по правде говоря, строилось сверху, начиная с господствовавших городов Северной Италии, прежде всего Венеции, а также наряду с нею Милана, Генуи, Флоренции[7]. Эта экономика данного комплекса не составляла *всей* экономической жизни моря и зависевших от него регионов. В известном роде она была верхним слоем последней, действие которого, более или менее сильное в зависимости от места, обнаруживалось на всех берегах моря, а иногда и очень далеко в глубине материка. Эта [экономическая] деятельность не считалась с границами империй — испанской, складывание которой завершится в правление Карла V (1519 — 1558 гг.), и турецкой, чей натиск намного предшествовал взятию Константинополя (1453 г.). Таким же образом она преступала явственно наметившиеся и весьма определенно ощущавшиеся границы между цивилизациями, делившими между собой пространство Средиземноморья: греческой, униженной и замкнувшейся в себе под нараставшим игом турок; мусульманской, сосредоточенной вокруг Стамбула; христианской, связанной разом с Флоренцией и с Римом (Европа Возрождения, Европа Контрреформации). Ислам и христианство противостояли друг другу вдоль разграничительной линии, проходившей с севера на юг между Средиземноморьем Западным и Средиземноморьем Восточным, линии, которая, идя по берегам Адриатики и по побережью Сицилии, достигала побережья нынешнего Туниса. На этой линии, разделявшей надвое средиземноморское простран-

[2] Simonde de Sismondi. *Nouveaux Principes de l'economie politique*. P. p. J. Weiller, 1971, p. 19.
[3] *Ibid.*, p. 105, note 1.
[4] Я встретил такое частное значение этого слова у Фрица Рёрига (Rörig F. *Mittelalterliche Weltwirtschaft, Blüte und Ende einer Weltwirtschaftsperiode*. 1933). В свою очередь Гектор Амман (Ammann H. *Wirtschaft und Lebensraum der mittelalterlichen Kleinstadt*. S.d., p. 4) справедливо говорит: «eine Art Weltwirtschaft» («своего рода мировое хозяйство»).
[5] Dupriez L.-H. *Principes et problèmes d'interprétation. — Diffusion du progrès et convergence des prix. Etudes internationales*. 1966, p. 3. Последующие соображения, излагаемые в настоящей главе, примыкают к тезисам И. Валлерстайна (Wallerstein I. *The Modern World System*. 1974), хотя я и не всегда с ним согласен.
[6] Braudel F. *La Méditerranée et le monde méditerranéen á l'époque de Philippe II*. 1949, p. 325, 328 sq. [Далее: Braudel F. *Médit...*]
[7] Braudel F. *Médit...*, 1966, I, p. 354.



Венеция,
старинный центр европейского мира-экономики в XV в.,
в конце XVII и в начале XVIII в. была еще космополитическим городом,
где люди Востока чувствовали себя как дома.
Лука Карлеварис «Пьяцетта» (фрагмент).
Оксфорд. Музей Ашмола.

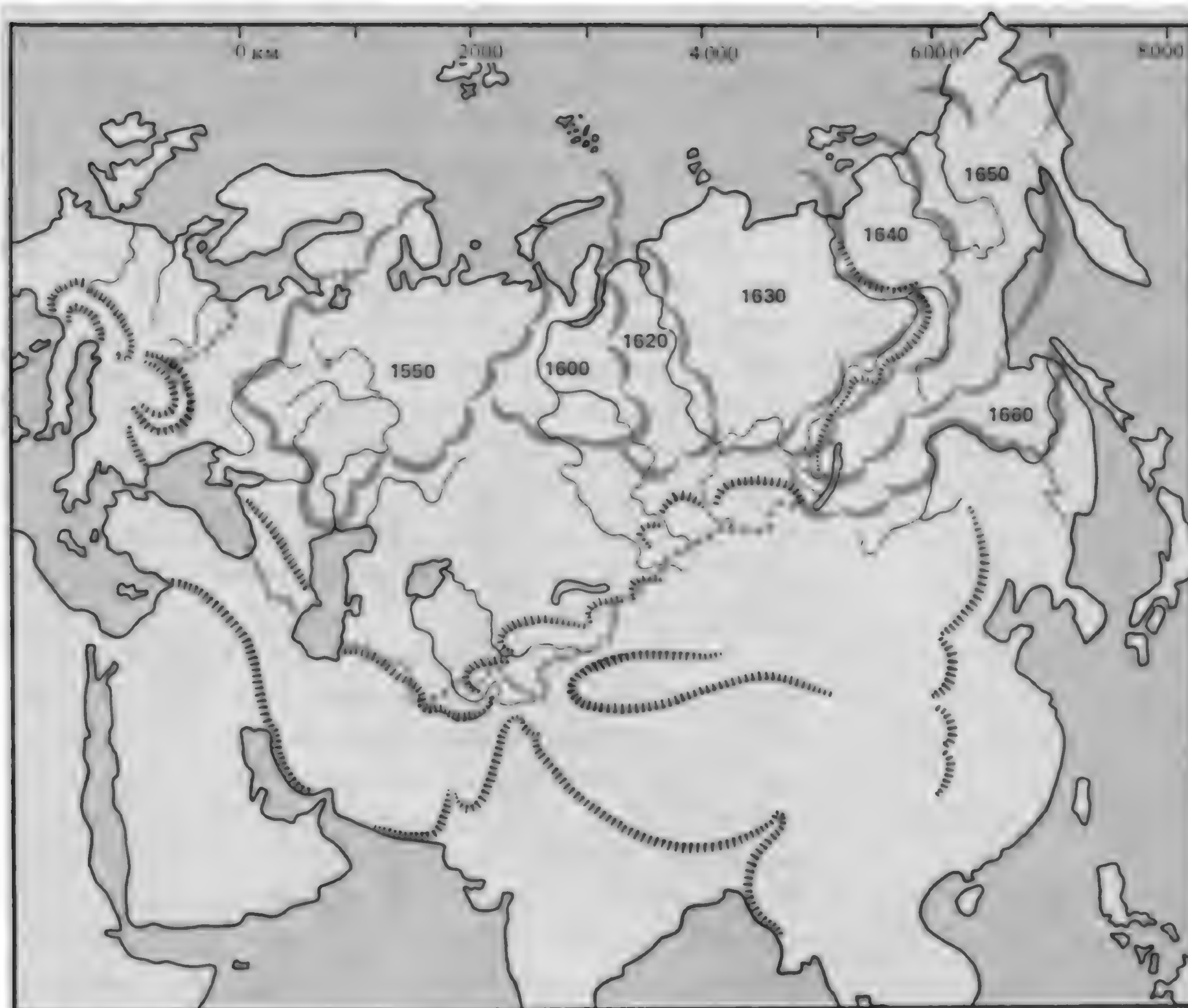
ство, происходили все громкие битвы между неверными и христианами. Но торговые суда непрестанно ее пересекали.

Ибо характерной чертой этого особого мира-экономики, схему которого мы рассматриваем — Средиземноморья XVI в.,— было как раз то, что он перешагивал через политические и культурные границы, которые каждая на свой лад дробили и дифференцировали средиземноморский мир. Так, в 1500 г. христианские купцы находились в Сирии, в Египте, в Стамбуле, в Северной Африке; позднее левантинские купцы, турки, армяне распространятся в бассейне Адриатического моря. Экономика, вторгавшаяся повсюду, ворочавшая деньгами и обменами, вела к созданию известного единства, тогда как почти все остальное способствовало размежеванию разнящихся друг от друга блоков. Даже средиземноморское общество разделится в общем в соответствии с двумя пространствами: с одной стороны, общество христианское, в большинстве своем сеньериальное, а с другой — общество мусульманское, с преобладанием системы *бенефициев*, пожизненных сеньерий, служивших вознаграждением любому человеку, способному отличиться и служить на войне. По смерти их обладателя бенефиций или должность возвращались государству и распределялись заново.

Короче говоря, из рассмотрения частного случая мы делаем вывод, что мир-экономика был суммой индивидуализированных изолированных пространств, экономических и неэкономических, перегруппировываемых таким миром-экономикой; что он охватывал огромную площадь (в принципе то была в ту или иную эпоху самая обширная зона сплоченности в заданной части земного шара); что обычно он пренебрегал границами других крупных группирований истории.

МИРЫ-ЭКОНОМИКИ, СУЩЕСТВОВАВШИЕ ВСЕГДА

Миры-экономики существовали всегда, по крайней мере с очень давних времен. Точно так же, как всегда, по крайней мере с очень давних времен, имелись общества, цивилизации, государства и даже империи. Двигаясь семимильными шагами вспять течения истории, мы сказали бы о древней Финикии, что она была по отношению к обширным империям как бы наброском мира-экономики. Так же точно, как Карфаген во времена своего величия. Так же, как эллинистический мир, как, в крайнем случае, Рим. Так же, как и мусульманский мир после его ошеломляющих успехов. С наступлением IX в. норманнские набеги на окраинах Западной Европы на короткое время очертили хрупкий мир-экономику, наследниками которого станут другие. Начиная с XI в. Европа создаст то, что станет первым ее миром-экономикой, за которым последуют другие, вплоть до нашего времени. Московское государство, связанное с Востоком, Индией, Китаем, Средней Азией и Сибирью, было, по меньшей мере до XVIII в., само по себе миром-экономикой. Точно так же и Китай, который очень рано завладел обширными соседними территориями, привязав их к своей судьбе: Ко-



Россия, мир-экономика или мир-империя? За одно столетие Россия завладевает сибирскими пространствами: затопляемыми зонами Западной Сибири, Центральносибирским нагорьем, гористыми областями на востоке, где ее продвижение было затруднено, тем более что южнее Россия натолкнулась на Китай. Назвать это миром-экономикой или миром-империей, что означало бы вернуться к спору с Иммануэлем Валлерстайном? Согласимся с последним относительно того, что Сибирь создавалась [военной] силой, что экономика — т. е. управление — лишь следовала за этим. Границы, нанесенные точками, отмечают современную государственную границу СССР.

реей, Японией, Индонезией, Вьетнамом, Юннанью, Тибетом, Монголией, т. е. «гирляндой» зависимых государств. Индия в еще более раннее время превратила в своих интересах Индийский океан в своего рода Внутреннее море, от восточного побережья Африки до островов Индонезии.

Короче говоря, не находимся ли мы перед бесконечно возобновлявшимся процессом, перед почти спонтанным опережением, след которого будет обнаруживаться повсюду? Даже в случае, на первый взгляд не укладывающемся в схему, Римской империи, чья экономика тем не менее преодолевала границы вдоль благополучной линии Рейна и Дуная или в восточном направлении, вплоть до Красного моря и Индийского океана; по словам Плиния Старшего, Рим ежегодно терял на своих обменах с Дальним Востоком 100 млн. сестерциев. И древнеримские монеты сегодня довольно часто обнаруживаются в Индии[8].

[8] Jones A. M. *Asian Trade in Antiquity. — Islam and the Trade in Asia,* p. 5.

ПРАВИЛА, ВЫЯВЛЯЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИЮ

Таким образом, минувшие времена предлагают нам ряд примеров миров-экономик. Не слишком многочисленные, но достаточные для того, чтобы позволить провести сравнения. К тому же, коль скоро каждый мир-экономика существовал очень долгое время, он эволюционировал, он трансформировался на той же территории по отношению к самому себе; и разные его «возрасты», его сменявшие друг друга состояния тоже предполагают возможность сопоставления. Наконец, ма-

[9] Следуя примеру Жоржа Гурвича, я употребляю выражение *выявляющие тенденцию правила*, чтобы не говорить о «законах».

[10] Sweezy P. M. *Le Capitalisme moderne*. 1976, p. 149.

териал достаточно богат, чтобы позволить своего рода *типологию* миров-экономик, чтобы по крайней мере вскрыть совокупность выявляющих тенденцию правил[9], которые уточняли и даже определяли соотношение этих миров-экономик с пространством.

При изучении какого угодно мира-экономики первая забота — это очертить пространство, которое он занимал. Обычно его пределы легко уловить, ибо они изменялись медленно. Зона, какую охватывал такой мир-экономика, представляется первейшим условием его существования. Не существовало мира-экономики без собственного пространства, значимого по нескольким причинам:

— у этого пространства есть пределы, и очерчивающая его линия придает ему некий смысл подобно тому, как берега характеризуют море;

— оно предполагает наличие некоего центра, служащего к выгоде какого-либо города и какого-либо уже господствовавшего *капитализма*, какова бы ни была форма последнего. Умножение числа центров свидетельствовало либо о некой форме молодости, либо же о какой-то форме вырождения или перерождения. В противоборстве с внутренними и внешними силами и в самом деле могло наметиться, а затем и завершиться смещение центра: города с международным признанием, *города-миры*, беспрестанно друг с другом соперничали и сменяли одни другие;

— будучи иерархизованным, такое пространство было суммой частных экономик; из них одни бывали бедными, другие — скромными, и одна-единственная в центре мира-экономики оказывалась относительно богатой. Отсюда возникали различные виды неравенства, разность потенциалов, посредством которых и обеспечивалось функционирование всей совокупности. И отсюда то «международное разделение труда», по поводу которого П. М. Суизи говорит нам, что Маркс не предвидел, что оно «конкретизируется в виде [пространственной] модели развития и отсталости, которая противопоставит два лагеря человечества — *имущих* и *неимущих* (*have* и *have-not*), — разделенных еще более радикальной пропастью, нежели та, что разделяет буржуазию и пролетариат развитых капиталистических стран»[10]. И тем не менее речь здесь идет не о каком-то «новом» разделении, но о ране очень древней и, вне сомнения, неизлечимой. Она существовала задолго до Марксовой эпохи.

Итак, три группы условий, причем каждая имела первостепенное значение.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: МЕДЛЕННО ВАРЬИРУЮЩИЕ ПРЕДЕЛЫ ПРОСТРАНСТВА

Границы мира-экономики располагаются там, где начинается другая экономика того же типа, вдоль некой линии или, вернее, некой зоны, пересекать которую как с той, так и с другой ее стороны бывало выгодно с экономической точки зрения

лишь в исключительных случаях. Для основной части торговли, и в обоих направлениях, «потеря на обмене превысила бы прибыль»[11]. Так что *как общее правило* границы миров-экономик предстают как зоны мало оживленные, инертные. Как бы плотной, труднопреодолимой оболочкой бывали зачастую природные преграды — *ничьи земли (no man's lands), ничьи моря (no man's seas)*. Такой была Сахара между Африкой Черной и Африкой «Белой», несмотря на пересекавшие ее караваны. Таким был Атлантический океан, пустынный к югу и к западу от Африки, на протяжении веков служивший преградой в противоположность океану Индийскому, очень рано завоеванному торговлей, по крайней мере в северной его части. Таков был и Тихий океан, связь с которым у Европы-завоевательницы была ненадежной: в общем плавание Магеллана было открытием всего лишь входной двери в Южные моря, но не двери для входа и выхода (читай: для возвращения). Разве завершилось это плавание при возвращении в Европу использованием португальского пути вокруг мыса Доброй Надежды? Даже начало плаваний манильских галеонов в 1572 г. не было настоящим преодолением чудовищного препятствия Южных морей.

Столь же мощные преграды существовали и по границам между христианской Европой и турецкими Балканами, между Россией и Китаем, между Европой и Московским государством. В XVII в. восточная граница европейского мира-экономики проходила на востоке Польши; она исключала [из него] обширную «Московию». Последняя была для европейца краем света. Взору того путешественника[12], который в 1602 г. по пути в Персию вступил на русскую территорию возле Смоленска, Московское государство предстало как «великая и обширная» страна, «дикая, пустынная, болотистая, покрытая зарослями кустарника» и лесами, «пересеченная болотами, кои переезжают по гатям» (он насчитал «более 600 переходов такого рода» между Смоленском и Москвой, «зачастую в весьма скверном состоянии»), страна, где все выглядит не таким, как в иных странах, пустынная («можно проехать 20 или 30 миль, не увидев города или деревни»), с отвратительными дорогами, мучительными даже в хорошее время года, наконец, страна, «столь наглухо закрытая для въезда, что невозможно в нее проникнуть и покинуть ее тайком, без дозволения или охранной грамоты великого князя». Страна непроходимая — таково впечатление одного испанца, который, предаваясь воспоминаниям о путешествии из Вильно в Москву через Смоленск около 1680 г., утверждал, будто «вся Московия — сплошной лес», где нет иных деревень, кроме тех, что поставлены на вырубках [13]. Еще в середине XVIII в. путешественник, проехавший дальше Митавы*, столицы Курляндии, не мог более нигде найти приюта, кроме как на «убогих постоялых дворах», содержавшихся евреями, «где приходилось укладываться спать вперемежку с коровами, свиньями, курами, утками и выводком сынов Израиля, коих источаемые запахи еще усиливала всегда чересчур раскаленная печка»[14].

Хорошо бы еще раз представить себе масштабы этих враждебных расстояний. Ибо именно посреди таких трудностей

[11] Это выражение принадлежит Иммануэлю Валлерстайну.

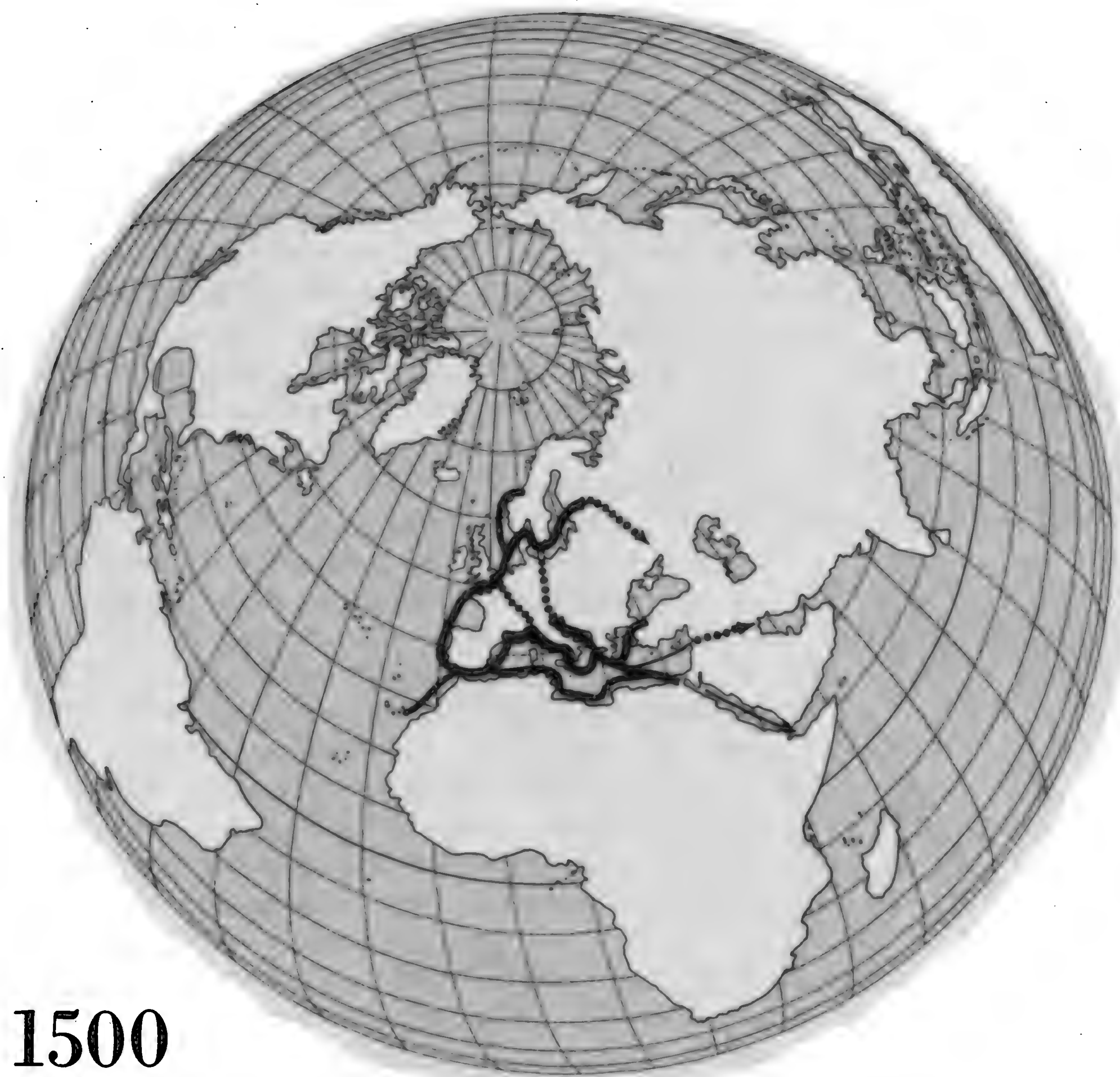
[12] Tectander von der Jabel G. *Iter persicum ou description d'un voyage en Perse entrepris en 1602...*, 1877, p. 9, 22—24.

[13] Cubero Sebastian P. *Breve Relación de la peregrinación que ha hecho de la mayor parte del mundo*. 1680, p. 175.

* Ныне Елгава. — *Прим. перев.*

[14] Frotier de la Messelière L.-A. *Voyage à Saint-Pétersbourg ou Nouveaux Mémoires sur la Russie*. 1803, p. 254.

Европейские миры-экономики в масштабе всей планеты
Расширяющаяся европейская экономика представлена в соответствии с ее крупнейшими торговыми потоками в масштабе всего мира. Из центра в Венеции в 1500 г. напрямую эксплуатировались Средиземноморье (см. на с. 124 сеть маршрутов торговых галер) и Западная Европа; перевалочные пункты продлевали сеть этой эксплуатации в сторону Балтийского моря, Норвегии и за пределы левантинских гаваней, в направлении Индийского океана.



утверждались, росли, долгое время существовали и эволюционировали миры-экономики. Им требовалось покорить пространство, чтобы над ним господствовать, а пространство непрестанно брало реванш, навязывая возобновление [первоначальных] усилий. Это чудо, что Европа единым махом, или почти единым махом, передвинула свои границы вместе с великими открытиями конца XV в. Но единожды открыв пространство, его приходилось удерживать — как воды Атлантики, так и земли Америки. Удерживать пустынную Атлантику и полупустынную Америку — было непросто. Но не легче бывало и пролагать себе дорогу к другому миру-экономике, выдвигать в его сторону «антенну», линию высокого напряжения. Сколько приходилось соблюдать условий, чтобы двери левантинской торговли оставались открытыми на протяжении веков среди обоюдной настороженности, обоюдной враждебности... Успех пути вокруг мыса Доброй Надежды был бы немыслим без этого предварительного торжества длительной временнóй протяженности. И взгляните, каких он будет стоить усилий, скольких потребует [предварительных] условий: первый его труженик, Португалия, буквально исчерпает себя при этом. Победа мусульманских караванов, пересекавших пустыни, тоже принадлежала к подвигам, медленно закреплявшимся строительством сети оазисов и источников воды.



В 1775 г. спрут европейской торговли протянул свои щупальца на весь мир: в зависимости от исходных пунктов вы различите торговые потоки английские, нидерландские, испанские, португальские и французские. Что до последних, то в Африке и в Азии их следует представлять совмещенными с другими потоками европейской торговли. Проблема заключалась прежде всего в том, чтобы «высветить» роль британских связей. Лондон сделался центром мира. В Средиземноморье и на Балтике выделены лишь важнейшие маршруты, которыми следовали все корабли различных торговых наций.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: В ЦЕНТРЕ ГОСПОДСТВУЮЩИЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД

Мир-экономика всегда располагал городским полюсом, городом, пребывавшим в центре сосредоточения непременных элементов, обеспечивавших его деловую активность: информации, товаров, капиталов, кредита, людей, векселей, торговой корреспонденции — они притекали сюда и вновь отправлялись отсюда в путь. Законодателями там были крупные купцы, зачастую неимоверно богатые.

Города — перевалочные пункты окружали такой полюс на более или менее почтительном расстоянии, выступая как компаньоны и соучастники, а еще чаще они бывали прикованы к своей второстепенной роли. Их активность согласовывалась с активностью метрополии: они стояли вокруг нее на страже, отклоняли в ее сторону поток дел, перераспределяли или отправляли богатства, которые метрополия им доверяла, домогались ее кредита или страдали от него. Венеция была не одна; Антверпен был не один; не один будет и Амстердам. Метрополии являлись миру со свитой, с эскортом. Рихард Хёпке, имея их в виду, говорил об архипелагах городов, и выражение это

создает [верный] образ. Стендаль предавался иллюзии, будто большие города Италии из благородства щадили менее крупные[15]. Но как бы могли они их уничтожить? Поработить их — да, и ничего более, ибо они нуждались в услугах малых городов. Город-мир не мог достигнуть и поддерживать высокий уровень своей жизни без вольных или невольных жертв со стороны других. Тех других, на которые он был похож — город есть город, — но от которых и отличался: то был сверхгород. И первый признак, по которому его узнаешь, — как раз то, что ему помогали, служили.

Эти редчайшие города, исключительные, загадочные, ослепляли. Такова Венеция, бывшая для Филиппа де Коммина в 1495 г. «самым победительным городом, какой я видывал»[16]. Таков был Амстердам, представлявший, по мнению Декарта, своего рода «перечень возможного». «Разве есть еще в мире место, — писал он Гезу де Бальзаку 5 мая 1631 г., — где бы все удобства и все диковины, какие только можно пожелать, были бы столь легко доступны, как в этом городе?»[17] Но эти блистательные города, они и приводят в замешательство; они ускользают от взора наблюдателя. Какой только чужестранец, в частности какой только француз во времена Вольтера или Монтескьё, не упорствовал в стремлении понять Лондон, объяснить его себе? Путешествие в Англию, ставшее литературным жанром, было некой попыткой открытия, которая всегда спотыкалась о насмешливую самобытность Лондона. Но кто бы ныне смог нам раскрыть истинную тайну Нью-Йорка?

Всякий сколько-нибудь значительный город, особенно если он имел выход к морю, был «Ноевым ковчегом», «подлинной ярмаркой масок», «Вавилонской башней», как определил Ливорно президент де Бросс[18]. Что же говорить о настоящих столицах! Они предстают перед нами под знаком экстравагантного смешения самых разных народов — как Лондон, так и Стамбул, как Исфахан, так и Малакка, как Сурат, так и Калькутта (последняя — начиная с первых ее успехов). Под сводами Биржи в Амстердаме, бывшей картиной торгового мира в миниатюре, можно было услышать все языки мира. В Венеции, «ежели вам любопытно увидеть людей со всех концов света, одетых разнообразно, каждый по своей моде, подите на площадь св. Марка или на площадь Риальто, где вы найдете всякого вида особ».

Требовалось, чтобы это пестрое космополитическое население могло мирно жить и трудиться. Ноев ковчег означал обязательную терпимость. Что до Венецианского государства, то сеньер де Вилламон[19] полагал в 1590 г., «что во всей Италии не сыщется места, где жилось бы свободнее... ибо, во-первых, Синьория неохотно осуждает человека на смерть, во-вторых, оружие там отнюдь не запрещено[20], в-третьих, там вовсе нет преследования за веру, и, наконец, каждый там живет как ему заблагорассудится, в условиях свободы совести, что и служит причиною того, что некоторые французы-либертины[21] остаются там, дабы избежать розыска и надзора и жить совершенно свободно». Мне представляется, что такая врожденная вене-

[15] Braudel F. *Médit...*, I, p. 259.
[16] Commynes Ph., de. *Mémoires*, III, 1965, p. 110.
[17] Descartes R. *Œuvres*. I: *Correspondance*. 1969, p. 204.
[18] Brosses Ch., de. *Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740*. 1858, p. 219.
[19] Villamont J., de. *Les Voyages...*, 1607, p. 203.
[20] Villamont J., de. *Op. cit.*, p. 209.
[21] В смысле свободомыслящие.

цианская терпимость отчасти объясняла ее «знаменитый антиклерикализм»[22] — я предпочел бы сказать: ее бдительное сопротивление непримиримости Рима. Но чудо терпимости возникало вновь и вновь повсюду, где появлялось скопление купцов. Амстердам стал ее прибежищем, что было несомненной заслугой после религиозных столкновений между арминианами и гомаристами (1619—1620 гг.)*. В Лондоне религиозная мозаика была окрашена во все цвета. «Здесь есть, — писал в 1725 г. один французский путешественник, — иудеи, протестанты немецкие, голландские, шведские, датские, французские; лютеране, анабаптисты, милленарии** [*sic!*], браунисты, индепенденты, или пуритане, и трясуны, или квакеры»[23]. К этому нужно добавить англикан, пресвитериан, да и католиков, каковые, будь они англичане или иностранцы, обычно слушали мессу в домовых часовнях французского, испанского или португальского послов. Всякая секта, любое исповедание имели свои церкви или свои молитвенные дома. И каждое было узнаваемо, сообщало о себе ближнему: квакеров «узнаешь за четверть лье по их одежде — плоской шляпе, маленькому галстуку, доверху застегнутому кафтану — и по опущенным долу большую часть времени глазам»[24].

Быть может, наиболее четко выраженной характеристикой таких супергородов было ранее и сильное социальное расслоение. Все они включали пролетариат, буржуазию, патрициат, бывший хозяином богатства и власти, столь уверенным в себе, что вскоре он перестанет себя утруждать принятием титула *нобили (nobili)*, как то было во времена Венеции или Генуи[25]. В общем патрициат и пролетариат «расходились», богатые становились более богатыми, а бедняки еще более нищими, ибо вечной бедой перенапряженных капиталистических городов была дороговизна, чтобы не сказать бесконечная инфляция. Последняя проистекала из самой природы высших функций города, предназначение которых — господствовать над прилегавшими к городу экономиками. Экономическая жизнь сама собой стягивалась, стекалась к городским высоким ценам. Но, будучи захвачены таким давлением, город и экономика, завершением которой он был, рисковали обжечься. В иные моменты дороговизна жизни в Лондоне или в Амстердаме превышала пределы терпимого. Сегодня Нью-Йорк освобождается от своих торговых и промышленных предприятий, которые бегут от громадных ставок местных сборов и налогов.

И однако же, крупные полюса городской жизни слишком многое говорили заинтересованности и воображению, чтобы их призыв не был услышан, словно каждый надеялся принять участие в празднестве, в зрелище, в роскоши и позабыть трудности каждодневной жизни. Разве города-миры не выставляли напоказ свое великолепие? Если к этому добавлялись миражи воспоминаний, образ [города] вырастал до абсурда. В 1643 г. путеводитель для путешественников воскрешал в памяти Антверпен предыдущего столетия: город с 200 тыс. жителей, «как местных уроженцев, так и чужестранцев», способный принять «в своей гавани разом 2500 кораблей, [где они дожидались],

[22] Pullan B. *Rich and Poor in Renaissance Venice*. 1971, p. 3.

* Арминиане — протестантская секта, выступавшая против кальвинистского догмата о жестком предопределении. Гомаристы — последовательные сторонники учения Кальвина. — *Прим. перев.*

** Милленарии (милленаристы) — адепты протестантских сект мистического толка, проповедовавших наступление перед концом света тысячелетнего царства Христова на земле. — *Прим. перев.*

[23] *Voyage d'Angleterre, de Hollande et de Flandres*. 1728. — Victoria and Albert Museum, 86 NN 2, f° 177. Под браунистами следует понимать протестантскую религиозную секту, родившуюся в 80-е годы XVI в. под влиянием учения Роберта Брауна.

[24] *Voyage d'Angleterre*..., f°s 178—179.

[25] Soly H. *The «Betrayal» of the Sixteenth Century Bourgeoisie: a Myth? Some considerations of the Behaviour Pattern of the Merchants of Antwerp in the Sixteenth Century*. — «*Acta historiae neederlandicae*», 1975, p. 31—49.

стоя на якоре, целый месяц и не могли разгрузиться»; богатейший город, предоставивший Карлу V «300 тонн золота», город, где ежегодно выплескивалось «500 млн. серебром, 130 млн. золотом», «не считая вексельные деньги, кои притекали и утекали, как воды моря»[26]. Все это было мечтою, дымом! Но на сей раз пословица права: нет дыма без огня! Алонсо Моргадо в 1587 г. утверждал в своей «Истории Севильи», будто «в город ввезено столько сокровищ, что можно было бы замостить все его улицы золотом и серебром»[27].

[26] Coulon L. *L'Ulysse français ou le voyage de France, de Flandre et de Savoie*. 1643, p. 52—53, 62—63.

[27] Morgado A. *Historia de Sevilla*. 1587, f° 56.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): ГОСПОДСТВУЮЩИЕ ГОРОДА СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА

Господствующие города не оставались таковыми вечно, *in aeternum,* они сменяли друг друга. Это было верно на вершине и верно на всех уровнях иерархии городов. Такие передвижки, где бы они ни происходили (на вершине или на середине склона), из чего бы они ни проистекали (из чисто экономических причин или нет), всегда бывали показательными. Они прерывали спокойный ход истории и открывали перспективы тем более ценные, что они бывали редки. Когда Амстердам сменял Антверпен, когда Лондон сменял Амстердам или когда около 1929 г. Нью-Йорк обошел Лондон, это всякий раз бывало опрокидыванием огромного исторического массива, выявлявшим хрупкость прежнего равновесия и силы того равновесия, которое должно было утвердиться. Это затрагивало весь круг мира-экономики, и последствия, как можно заранее догадаться, никогда не бывали только экономическими.

Когда в 1421 г. Мины сменили столицу, покинув Нанкин, открытый благодаря Синей реке для морского судоходства, чтобы обосноваться в Пекине, лицом к опасностям маньчжурской и монгольской границ, громадный Китай, массивный мир-экономика, опрокинулся бесповоротно; он отвернулся от определенной формы экономики и деятельности, связанной с удобствами сообщения по морю. Глухая, замкнувшаяся в себе столица укоренилась в самом сердце суши, притягивая все к себе. Сознательный или бессознательный, то был, безусловно, решающий выбор. Именно в этот момент Китай проиграл в борьбе за господство над миром ту партию, которую он, не слишком это сознавая, открыл морскими экспедициями начала XV в., отправлявшимися из Нанкина.

Именно аналогичное развитие было завершено выбором, что сделал Филипп II в 1582 г. В то время как *политически* Испания господствовала в Европе, Филипп II в 1580 г. завоевал Португалию и разместил свое правительство в Лисабоне, где оно пробудет почти три года. Лисабон приобрел от этого громадный вес. Обращенный к океану, он был таким местом, откуда можно было контролировать мир и господствовать над ним, [центром], о каком только можно было мечтать. Подкрепленный авторитетом короля и присутствием правительствен-



Символ английского морского могущества: разгром Непобедимой Армады. Деталь картины неизвестного мастера. *Лондон, Гринвичский Национальный Морской музей. Фото музея.*

ных учреждений, испанский флот в 1583 г. изгонит французов с Азорских островов, и пленные будут без суда и следствия повешены на реях. Так что оставить в 1582 г. Лисабон означало покинуть пост, откуда осуществлялось господство над экономикой империи, ради того, чтобы запереть испанскую мощь в сердце практически неподвижной Кастилии, в Мадриде. Какой это было ошибкой! Задолго до того подготовлявшаяся Непобедимая Армада отправилась в 1588 г. навстречу своей гибели. Испанская активность пострадала от такого отступления, и современники это осознали. Во времена Филиппа IV еще найдутся ходатаи, советовавшие Католическому королю [28] осуществить «старинную португальскую мечту» — перенести центр его монархии из Мадрида в Лисабон. «Ни для одного государя,— писал один из них,— морская мощь не имеет такого значения, как для государя испанского, ибо единственно мор-

[28] Бывшему до 1640 г. королем Португальским.

[29] Cabral de Mello E. *Olinda restaurada. Guerra e Açucar no Nordeste, 1630—1654.* 1975, p. 72.
* Мэхэн Альфред Т. (1840—1914) — американский военный теоретик, создатель концепции «морской мощи» как решающего фактора военной политики. — *Прим. перев.*
[30] Cabral de Mello E. *Op. cit.*, p. 72.

скими силами будет создано единое тело из многих провинций, столь друг от друга удаленных»[29]. Обращаясь вновь к этой идее в 1638 г., один военный писатель предвосхитил язык адмирала Мэхэна *: «Мощь, каковая всего более подобает испанскому оружию, есть та, кою размещают на море; но сие государственное дело столь всем ведомо, что я не стал бы его обсуждать, даже если бы счел оное уместным»[30].

Критиковать задним числом то, что не произошло, но могло бы произойти,— это игра. Единственное, что можно сказать с уверенностью,— это то, что если бы Лисабон, подкрепленный присутствием Католического короля, оказался победителем, то не было бы Амстердама, по меньшей мере его не было бы так скоро. Потому что в центре какого-либо мира-экономики мог быть одновременно только один полюс. Успех одного означал отступление другого в более или менее краткий срок. Во времена Августа по всему римскому Средиземноморью Александрия боролась против Рима, который выйдет победителем. В средние века необходимо было, чтобы в борьбе за право эксплуатации богатств Востока одержал верх какой-то один город, Генуя или Венеция. Их продолжительному поединку не видно было конца вплоть до завершения Кьоджанской войны (1378—1381 гг.), когда Венеция одержит внезапную победу. Итальянские города-государства оспаривали превосходство с такой яростью, какую не удастся затмить их наследникам, современным нациям и государствам.

Такие сдвиги в сторону успеха или неудачи соответствовали подлинным потрясениям. Если происходило падение столицы какого-либо мира-экономики, то сильные сотрясения ощущались далеко, вплоть до самой периферии. Впрочем, как раз на окраинах, в настоящих или псевдоколониях, это зрелище имело шансы оказаться самым очевидным. Утратив свое могущество, Венеция утратила и свою империю: Негропонт в 1540 г., Кипр (бывший лучшим украшением этой империи) в 1572 г., Кандию в 1669 г. Амстердам утверждает свое превосходство — Португалия теряет свою дальневосточную империю, а позднее оказывается на волосок от потери Бразилии. Франция с 1762 г. проигрывает первый серьезный тур в своем поединке с Англией: она отказывается от Канады и практически от всякого надежного будущего в Индии. В 1815 г. Лондон утверждается в полной своей силе, а к этому времени Испания утратила или должна была утратить Америку. Точно так же после 1929 г. мир, накануне еще имевший центром Лондон, начинает концентрироваться вокруг Нью-Йорка: после 1945 г. европейские колониальные империи уйдут все, одна за другой: английская, нидерландская, бельгийская, французская, испанская (или то, что от нее оставалось), а ныне португальская. Такое повторение колониального распада не было случайностью; рвались как раз цепи зависимости. Так ли трудно вообразить те последствия, которые повлек бы сегодня за собой по всему миру конец «американской» гегемонии?

ПРАВИЛО ВТОРОЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ): БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ПОЛНОЕ ГОСПОДСТВО ГОРОДОВ

Слова о господствующих городах не должны заставить думать, будто речь всегда идет об одном и том же типе городских успехов и городских сил: в ходе истории такие центральные города оказывались лучше или хуже оснащенными, а их различия и относительные недостатки при ближайшем рассмотрении подводят к достаточно верным истолкованиям.

Если мы возьмем классическую последовательность господствовавших городов Запада — Венеции, Антверпена, Генуи, Амстердама, Лондона,— к которым мы не раз еще будем обращаться, то сможем констатировать, что первые три не располагали арсеналом всего необходимого для экономического доминирования. В конце XIV в. Венеция была торговым городом в полном расцвете, но она наполовину была обязана промышленности и вдохновлялась ею, а если она и имела свою финансовую и банковскую структуру, то эта система кредита функционировала лишь внутри венецианской экономики, то был двигатель эндогенный. Антверпен, практически лишенный флота, предоставил убежище европейскому торговому капитализму; для торговли и прочих дел он был своего рода испанским постоялым двором. Всякий находил там то, что сам туда привозил. В более позднее время Генуя будет обладать только банкирским первенством наподобие Флоренции в XIII—XIV вв.; и если она играла первые роли, то потому, что клиентом ее был король Испанский, хозяин драгоценных металлов, а также потому, что на рубеже XVI и XVII вв. наблюдалась некая неясность в определении центра тяжести Европы: Антверпен этой роли более не играл, Амстердам еще не играл, речь шла самое большее об антракте. В лице Амстердама и Лондона города-миры обладали полным арсеналом экономического могущества, они подчинили себе все: от контроля за мореплаванием до торговой и промышленной экспансии и полного спектра всех форм кредита.

Что также варьировало, от одного случая господства к другому, так это обладание политическим могуществом. С этой точки зрения Венеция была сильным независимым государством; в начале XV в. она завладела материковыми землями, близкими к ней и служившими обширным защитным поясом. С 1204 г. она располагала колониальной империей. Зато Антверпен не будет иметь в своем распоряжении, так сказать, никакой политической мощи. Генуя была лишь территориальным островом: она отказалась от политической независимости, сделав ставку на другое орудие господства, каким служили деньги. Амстердам присвоил себе в некотором роде право собственности на Соединенные Провинции, желали последние того или нет. Но в конечном счете его «царство» было ненамного большим по размерам, чем венецианская *Terraferma*. С возвышением Лондона все изменяется, ибо огромный город распола-

гал английским национальным рынком, а затем рынком всех Британских островов вплоть до того дня, когда с изменением масштабов мира этот сгусток могущества не окажется всего лишь маленькой Англией перед лицом мастодонта — Соединенных Штатов.

Короче говоря, прослеживаемая в самых основных своих чертах последовательная история господствовавших городов Европы после XIV в. с самого начала рисует нам картины эволюции нижележавших миров-экономик, более или менее связанных и устойчивых, колебавшихся между ориентацией на центры сильные и центры слабые. Такая последовательность мимоходом освещает также и варьировавшую ценность орудий господства: мореплавания, крупной торговли, промышленности, кредита, политического могущества или насилия...

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: РАЗЛИЧНЫЕ ЗОНЫ БЫЛИ ИЕРАРХИЗОВАНЫ

Разные зоны какого-нибудь мира-экономики устремляют свой взор к одной и той же точке, к центру: будучи «поляризованы», они образуют уже совокупность с многочисленными связями. Как заявит в 1763 г. марсельская торговая палата: «Все виды коммерции между собою связаны и, так сказать, протягивают руку друг другу» [31]. Столетием раньше некий наблюдатель (в Амстердаме) уже делал из голландского случая вывод, «что существовала такая связанность между всеми частями коммерции во Вселенной, что пренебрегать какой-нибудь из них означало бы плохо знать прочие» [32].

[31] Carrière Ch., Courdurié M. *L'Espace commercial marseillais aux XVII^e et XVIII^e siècles* (машинописный текст), p. 27.

[32] A.N., Marine, B7 463, 11 (1697 г.).

И связи, единожды установленные, сохраняются надолго.

Какая-то страсть сделала из меня историка Средиземноморья второй половины XVI в. В мыслях я совершал плавания, заходил в гавани, вел обмен, продавал во всех его портах на протяжении доброго полустолетия. Потом мне понадобилось заняться историей Средиземноморья XVII и XVIII вв. Я подумал было, что специфика этого времени поставит меня в затруднительное положение, что мне потребуется, для того чтобы почувствовать себя в нем, переучиваться заново. Но довольно быстро я заметил, что нахожусь в знакомой стране, будь то в 1660 г., в 1670 г. или даже в 1750 г. Базовое пространство, маршруты, сроки перевозок, производство, обмениваемые товары, гавани — все, или почти все, оставалось на прежнем месте. В целом тут или там наблюдались какие-то изменения, но относившиеся почти что к одной лишь надстройке; это одновременно и много и почти ничего, даже если такое почти ничто — деньги, капиталы, кредит, возросший или уменьшившийся спрос на тот или другой продукт — могло доминировать над стихийной, «приземленной» и как бы «натуральной» жизнью. Последняя, однако, продолжалась, не зная, собственно, что подлинные хозяева уже не те, что прежде, и, во всяком случае, не больно об этом беспокоясь. То, что оливковое масло Апулии в XVIII в. вывозилось в Северную Европу через Триест,

Анкону, Неаполь и Феррару и гораздо меньше — в Венецию [33], конечно же, имело значение, но так ли уж важно это было для крестьян, возделывавших оливковые рощи?

Именно опираясь на этот опыт, объясняю я себе строение миров-экономик и механизмы, благодаря которым сосуществовали капитализм и рыночная экономика, взаимопроникавшие, но никогда не сливавшиеся. На суше и вдоль течения рек столетиями и столетиями организовывались цепочки локальных и региональных рынков. Судьба такой локальной экономики, функционировавшей сама собой сообразно своим рутинным приемам, заключалась в том, чтобы периодически бывать объектом интеграции, приведения к «разумному» порядку, к выгоде какой-то одной господствующей зоны, какого-то одного господствующего города. И длилось это столетие или два, пока не появлялся новый «организатор». Как если бы *централизация и концентрация* [34] ресурсов и богатств непременно происходили к выгоде нескольких изобранных мест *накопления*.

Если оставаться в рамках вышеприведенного примера, то показательным было использование Адриатики в интересах Венеции. Это море, которое Синьория контролировала самое малое с 1383 г., с овладением Корфу, и которое для нее было своего рода *национальным рынком*, она именовала «своим заливом» и утверждала, будто завоевала его ценой своей крови. Лишь в штормовые зимние дни Венеция прекращала патрульные плавания своих галер с вызолоченными носовыми частями. Но не Венеция выдумала это море, не она создала стоящие по берегам его города; производство прибрежных стран, их обмены и даже их народы моряков — все это она нашла уже сложившимся. Ей надо было лишь соединить в своих руках, как если бы то были нити, всю торговлю, существовавшую до ее вторжения: масло Апулии, корабельный лес Монте Гаргано, камень Истрии, соль, в которой на том и на другом берегу нуждались люди и стада, вино, зерно... Она собрала также странствующих купцов, сотни, тысячи лодок и парусников — и все это она затем приспособила к собственным нуждам и включила в свою собственную экономику. Такое овладение было тем процессом, той «моделью», которая определяла собой созидание любого мира-экономики с его вполне очевидными монополиями. Синьория притязала на то, что вся торговля Адриатического моря должна направляться в ее гавань и перейти под ее контроль, каков бы ни был конечный пункт торгового маршрута; она стремилась к этому, неустанно боролась с Сеньей и Фиуме (Риека), этими городами морского разбоя, и в не меньшей степени со своими торговыми соперниками — Триестом, Рагузой и Анконой [35].

Схема венецианского господства обнаруживается и в других местах. В самом главном она покоилась на колеблющемся диалектическом соотношении между рыночной экономикой, развивавшейся спонтанно, почти что сама собой, и экономикой, возвышавшейся над нею, которая перекрывала эти малые формы деятельности, ориентировала их, держала в своей власти. Мы говорили о масле Апулии, долгое время скупавшемся Венецией. Итак, подумайте о том, что, для того чтобы это делать,

[33] Chorley P. *Oil, Silk and Enlightenment. Economic Problems in XVIIIth Century Naples.* 1965. См. также: Ciriacono S. *Olio ed Ebrei nella Repubblica veneta del Settecento. 1975, p. 20;*
[34] См. т. 2 настоящего труда, гл. 4.
[35] Braudel F. *Médit...*, 1966, I, p. 113 sq.



Суда с круглыми обводами причаливают в Венеции.
В. Карпаччо «Легенда о св. Урсуле», деталь, изображающая отплытие новобрачных.
Фото Андерсона — Жиродона.

Венеция около 1580 г. имела в производящей области больше 500 купцов из Бергамо[36], своих подданных, занятых сбором, складированием, организацией отправки. Таким образом, высшая экономика обволакивала производство, направляя его сбыт. Все средства были для нее хороши, чтобы добиться успеха, в особенности — сознательно предоставлявшиеся кредиты. И именно таким путем англичане утвердили свое преобладание в Португалии после заключения договора лорда Метуэна в 1703 г. Таким же образом и американцы вытеснили англичан из Южной Америки после второй мировой войны.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): ЗОНЫ ПО ТЮНЕНУ

За одним из объяснений (но не объяснением как таковым) можно обратиться к Иоганну Генриху фон Тюнену (1780—1851), бывшему наряду с Марксом величайшим немецким экономистом XIX в.[37] Во всяком случае, любой мир-экономика подчиняется схеме, которую он нарисовал в своем труде «*Изолированное государство*» (1826 г.). «Представьте себе,— писал он,— большой город посреди плодородной равнины, которую не пересекает ни доступная для судоходства река, ни какой-либо канал. Сказанная равнина образована совершенно одинаковыми почвами и вся пригодна для земледелия. На довольно большом расстоянии от города равнина заканчивается на краю дикой, невозделываемой зоны, которою наше государство совершенно отделено от остального мира. К тому же на равнине нет никакого другого города, кроме большого города, упоминавшегося выше»[38]. Восхитимся еще раз этой потребностью экономической науки выйти за пределы реального, чтобы лучше его понять[39].

Единственный город и единственная деревня воздействуют друг на друга как бы под колпаком. Коль скоро всякий вид деятельности определяется единственно расстоянием (поскольку нет различия почв, которое бы предопределяло для той или иной зоны занятие какой-то особой культурой), то сами собой обрисовываются концентрические зоны вокруг города. Первый круг — сады, огородные культуры (огороды прилепляются к городскому пространству, проникают даже в свободные его промежутки) плюс к этому молочное хозяйство; затем, во втором и третьем кругах, зерновые культуры и скотоводство. Перед нашими глазами — микрокосм, модель которого может быть применена к Севилье и Андалусии, как сделал это Г. Нимейер[40]. Или, как это обрисовали мы, к районам, снабжавшим Лондон или Париж[41], или, по правде говоря, любой другой город. Теория связана с реальностью в той мере, в какой предложенная модель почти пуста и, ежели еще раз обратиться к образу испанского постоялого двора, куда приносишь с собой все, чем будешь пользоваться.

Я не буду ставить в упрек модели Тюнена то, что она не оставляет места внедрению и развитию промышленности (каковая существовала задолго до английской промышленной ре-

[36] Braudel F. *Médit...*, p. 358.

[37] Wagemann E. *Economia mundial.* 1952, II, p. 95.

[38] Thünen J. H., von. *Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie.* 1876, I, S. 1.

[39] Кондильяк (Condillac E. *Le Commerce et le gouvernement.* 1776 (éd. 1966), p. 248 sq.) выводит на сцену экономику, функционирующую на воображаемом острове.

[40] Niemeier G. *Siedlungsgeographische Untersuchungen in Niederandalusien.* 1935.

[41] См. т. 2 настоящего труда, с. 22—27.

волюции XVIII в.), или то, что в ней описывается абстрактная деревня, где расстояние — некий *deus ex machina* * — само собой описывает последовательные круги различных видов деятельности и где нет ни местечек, ни деревень, т. е. никакой из человеческих реальностей рынка. На самом деле любое перенесение на реальный пример такой слишком упрощенной модели позволяет вновь ввести эти отсутствующие элементы. Зато я буду критиковать то, что столь важное понятие *неравенства* нигде не нашло отражения в этой схеме. Неравенство между зонами очевидно, но допускается без объяснения. «Большой город» господствует над своей сельской местностью — и все. Но почему он над ней господствует? Обмен деревня — город, создающий элементарное обращение экономического тела, — прекрасный пример, что бы ни говорил по этому поводу Адам Смит [42], неравного обмена. Такое неравенство имело свои истоки, свой генезис [43]. В этом смысле экономисты слишком пренебрегают исторической эволюцией, которой, вне всякого сомнения, очень рано было что сказать.

* Букв.: «бог из машины», т. е. вмешательство непредвиденных обстоятельств, определяющих тот или иной исход происходящих событий. — *Прим. перев.*

[42] Смит А. *Исследование о происхождении и причинах богатства народов.* М., 1937, II. — Цит. в: Dockès P. *L'Espace dans la pensée économique.* 1969, p. 408—409.

[43] См. ниже, с 41.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА МИРА-ЭКОНОМИКИ

Всякий мир-экономика есть складывание, сочетание связанных воедино зон, однако *на разных уровнях.* В пространстве обрисовывается *по меньшей мере* три ареала, три категории: узкий центр, второстепенные, довольно развитые области и в завершение всего огромные внешние окраины. И качества и характер общества, экономики, техники, культуры, политического порядка обязательно изменяются по мере перемещения из одной зоны в другую. Здесь перед нами объяснение весьма широкой значимости, объяснение, на котором Иммануэль Валлерстайн построил весь свой труд «*Современная мировая система*» («*The modern World-system*», 1974).

Центр, так сказать, «сердце», соединяет все самое передовое и самое разнообразное, что только существует. Следующее звено располагает лишь частью таких преимуществ, хотя и пользуется какой-то их долей; это зона «блистательных вторых». Громадная же периферия с ее редким населением представляет, напротив, архаичность, отставание, легкую возможность эксплуатации со стороны других. Такая дифференциальная география еще и сегодня подстерегает и объясняет всеобщую историю мира, хотя последняя при случае тоже сама по себе создает ловушки в силу своего попустительства.

Центральная область не заключала в себе ничего таинственного: когда Амстердам был «мировым пакгаузом», Соединенные Провинции (или по крайней мере самые активные из их числа) были центральной зоной. Когда свое превосходство утвердил Лондон, в центре всего оказалась Англия (если не все Британские острова). Когда в начале XVI в. в один прекрасный день Антверпен пробудился в самом центре европейских торговых путей, Нидерланды, как выразился Анри Пиренн, сде-

лались «предместьем Антверпена»[44], а обширный [остальной] мир — его большим пригородом. «Выкачивающая мощь и притягательная сила таких полюсов роста»[45] вполне очевидны.

Зато ориентировка более затруднительна, когда речь идет о том, чтобы расположить по соседству с такой центральной зоной прилегающие к ней районы во всей их плотности; районы, уступающие центру, но довольно незначительно, которые, стремясь догнать центр, оказывают на него давление со всех сторон, будучи активными более остальных. Различия не всегда бывали ярко выражены: по мнению Поля Бэроша[46], в прошлом перепады между такими экономическими зонами были куда меньше, чем сейчас; а Герман Келленбенц даже вообще сомневается в их реальности[47]. Однако же, были различия резкими или не были, но они существовали, как о том свидетельствуют критерии цен, заработной платы, уровней жизни, национального продукта, дохода на душу населения, торговых балансов — по крайней мере всякий раз, когда нам доступны цифры.

Самым простым, если не лучшим, во всяком случае, самым доступным критерием служило присутствие или отсутствие в той или иной области *иноземных* купеческих колоний. Если он занимал привилегированное положение в данном городе, в данной стране, иностранный купец сам по себе свидетельствовал о более низком положении этого города или этой страны по отношению к экономике, представителем или эмиссаром которой такой купец был. У нас есть десятки примеров такого превосходства: генуэзские купцы-банкиры в Мадриде во времена Филиппа II; голландские купцы в Лейпциге в XVII в.; английские купцы в Лисабоне в XVIII в. или же итальянцы, особенно итальянцы, в Брюгге, Антверпене, в Лионе, как и в Париже (по крайней мере до времен Мазарини). К 1780 г. «в Лисабоне и Кадисе все торговые дома суть иностранные торговые конторы» («*Alle Häuser fremde Comptoirs sind*»)[48]. Такое же или почти такое же положение существовало в XVIII в. в Венеции[49].

Напротив, всякая двусмысленность рассеивается, как только мы попадаем в страну периферийную. Там ошибиться невозможно: это бедные, отсталые страны, где преобладающим социальным статусом зачастую бывало крепостное состояние или даже рабство (свободные или так называемые свободные страны имелись лишь в сердце Запада). Страны, едва вовлеченные в денежную экономику. Страны, где едва наметилось разделение труда, где крестьянин занимался всеми ремеслами разом, где цены, когда они выражались в деньгах, были смехотворными. Впрочем, любая слишком дешевая жизнь есть уже сама по себе показатель слабого развития. Венгерский проповедник Мартино Сепши Цомбор, возвращаясь в свою страну в 1618 г., «обращает внимание на высокий уровень цен на продовольствие в Голландии и Англии; положение начинает меняться во Франции, затем в Германии, в Польше и в Чехии, хлеб продолжает снижаться в цене на всем протяжении путешествия, вплоть до самой Венгрии»[50]. Венгрия — это уже почти нижняя

[44] Pirenne H. *Histoire de Belgique*. III, 1907, p. 259.
[45] Emmanuel A. *L'Echange inégal*. 1969, p. 43.
[46] Высказанному в сообщении, сделанном во время Недели Прато в апреле 1978 г.
[47] См. его выступление на Неделе Прато в апреле 1978 г.
[48] Beckmann J. *Beiträge zur Oekonomie...*, 1781, III, S. 427. К 1705 г. было 84 торговых дома, в том числе 12 испанских, 26 генуэзских, 11 французских, 10 английских, 7 гамбургских, 18 голландских и фламандских. См.: Dornic F. *L'Industrie textile dans le Maine (1650—1815)*. 1955, p. 85, по данным: Lantery R., de. *Memorias*, 2ᵉ partie, p. 6—7.
[49] См.: Georgelin J. *Venise au siècle des Lumières*. 1978, p. 671.
[50] Wittman T. *Los metales preciosos de América y la estructura agraria de Hungria a los fines del siglo XVI*. — «*Acta historica*», XXIV, 1967, p. 27.

ступенька лестницы. Но можно пойти и дальше: в сибирском Тобольске «потребные для жизни вещи столь дешевы, что простой человек может там весьма хорошо жить на десять рублей в год»[51].

Отсталые регионы по окраинам Европы предлагают множество моделей таких маргинальных экономик. «Феодальная» Сицилия в XVIII в.; Сардиния в любую эпоху; турецкие Балканы; Мекленбург, Польша, Литва, обширные регионы, из которых выкачивался продукт к выгоде рынков Запада, осужденные на то, чтобы сообразовывать свое производство не столько с местными нуждами, сколько со спросом внешних рынков; Сибирь, эксплуатировавшаяся русским миром-экономикой. Но такими же были и принадлежавшие Венеции левантинские острова, где внешний спрос на изюм и на ликерные вина, потреблявшиеся вплоть до Англии, навязал с XV в. всепоглощающую монокультуру, разрушительную для местного равновесия.

Несомненно, везде в мире существовали *периферии*. До Васко да Гамы, как и после него, черные африканцы, золотоискатели и охотники первобытных областей Мономотапы на восточном побережье Африки, выменивали желтый металл и слоновую кость на индийские хлопковые ткани. Китай на своих границах непрестанно расширялся, вторгаясь в «варварские», как их определяют китайские тексты, страны. Ибо взгляд китайцев на эти народы был таким же, как у греков классической эпохи на народы, не говорившие по-гречески: как во Вьетнаме, так и в Индонезии жили только *варвары*. Однако же во Вьетнаме китайцы проводили различие между варварами китаизированными и некитаизированными. По словам китайского историка XVI в., его соотечественники «именовали *сырыми* варварами тех, что сохраняли свою независимость, оберегая свои первобытные нравы, и варварами *вареными* тех, кои более или менее восприняли китайскую цивилизацию, подчинившись Империи». Здесь принимаются во внимание одновременно политика, экономика, культура, модель социальной структуры. *Сырое* и *вареное* в такой семантике, как поясняет Жак Дурн, есть также оппозиция «культура — природа»; сырое состояние, проявляющееся прежде всего в наготе тела: «Когда пётао [горные «царьки»] выплатят дань [китаизированному] аннамскому двору, последний их покроет одеждами»[52].

Столь же хорошо заметны отношения зависимости и на большом острове Хайнань, близ южного побережья Китая. Остров гористый и независимый в своей центральной части был населен некитайцами, по правде говоря, первобытными, тогда как равнинные районы, исчерченные рисовыми полями, уже находились в руках китайских крестьян. Горцы, грабители по призванию (но на них при случае и охотились как на диких зверей), охотно выменивали твердые породы дерева («орлиное дерево» и *каламба* *) и золотой песок посредством своего рода немого торга — китайские купцы «первыми выкладывали свои ткани и галантерейные товары в их горах»[53]. Оставляя в стороне немой торг, заметим, что эти обменные операции сходны

[51] Savary J. *Dictionnaire universel de commerce...*, 1759—1765, V, col. 669.
[52] Dournes J. *Pötao, une théorie du pouvoir chez les Indochinois Jörai.* 1977, p.89.
* Деревья рода Aquilaria. — *Прим. перев.*
[53] Abbé Prévost. *Histoire générale des voyages*, VI, p. 101.



«Варвар сырой» [в первозданном виде]: китайский рисунок, изображающий полунагого кхмера, держащего в руках раковину. Гравюра из «Гэнчжеду», *Национальная библиотека.*

с такими же на атлантическом побережье Сахары во времена Генриха Мореплавателя, когда там стали обменивать на сукна, полотно и одеяла из Португалии золотой песок и черных невольников, которых доставляли на побережье кочевники-берберы.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЗОНЫ?

Однако же отсталые зоны распределялись отнюдь не исключительно по настоящим периферийм. На самом деле они усеивали сами центральные области многочисленными региональными «пятнами», имевшими скромные размеры одной «области» или одного кантона, одной изолированной горной долины или зоны малодоступной ввиду ее расположения вдали от проезжих дорог. *Все* передовые экономики были, таким образом, как бы пронизаны бесчисленными «ямами», лежавшими вне пределов *времени мира*, «ямами», в которых историк, пребывающий в погоне за почти всегда неуловимым прошлым, испытывает такое ощущение, будто он погружается на глубину при подводной охоте. На протяжении последних лет и даже в еще большей степени, чем позволяют то предположить первые два тома этого труда, я настойчиво пытался «ухватить» эти простейшие судьбы, всю эту специфическую историческую ткань, помещающую нас ниже рынка или же на его окраине: экономика обменов обходила такие особые регионы стороной,

регионы, не бывшие, впрочем, с человеческой точки зрения, ни более несчастными, ни более счастливыми, нежели прочие, о чем я не раз уже говорил.

Но такая подводная охота редко бывает плодотворна: документы отсутствуют, а детали, которые собираешь, более живописны, чем полезны. А ведь то, что мы хотели бы собрать,— это те элементы, по которым можно судить о мощности пласта экономической жизни и ее характере по соседству с таким нулевым уровнем. Конечно, это означает требовать слишком многого. Что, однако же, не вызывает никакого сомнения, так это существование таких «нейтральных» зон, находившихся почти вне рамок обменов и сношений. На пространствах Франции даже в XVIII в. такие мирки, наоборот, встречались как в наводивших страх внутренних районах Бретани, так и в альпийском массиве края Уазан [54], или в долине Морзин [55], за перевалом Монте, или в высокогорной долине Шамони, такой закрытой для внешнего мира до начала эпохи альпинизма. Встретить в 1970 г. в Сервьере, в Бриансоннэ, общину крестьян-горцев, которая «продолжала жить в дедовском ритме сообразно умонастроениям минувших времен и производить в соответствии со старинной техникой земледелия, пережив [в целом] всеобщее крушение своих общин-соседей»,—то была неслыханная удача, выпавшая историку Колетт Бодуи [56]. И она сумела ею воспользоваться.

Во всяком случае, то, что такие *изоляты* могут существовать во Франции 1970 г., уже не позволяет удивляться тому, что в Англии в самый канун промышленной революции путешественнику или обследователю на каждом шагу попадались отсталые области. Дэвид Юм (1711—1776) [57] в середине XVIII в. отмечал, что в Великобритании и Ирландии нет недостатка в областях, где жизнь столь же дешева, как во Франции. Это окольный способ говорить об областях, которые сегодня мы бы назвали «слаборазвитыми», где жизнь оставалась традиционной, где в распоряжении крестьян имелось обилие дичи, кишевших в реках лососей и форелей. Что же касается людей, то говорить следовало бы о дикости. Так обстояло дело в районе Фенс, по берегам залива Уош, в момент, когда в начале XVII в. там предпринимались огромные усилия по улучшению земель на голландский манер. Мелиоративные работы породили там капиталистические деревни, на том месте, где до того существовали свободные люди, привычные к рыбной ловле и охоте на водоплавающую дичь. Эти «первобытные» люди будут яростно бороться за сохранение своего образа жизни, нападая на инженеров и землекопов, прорывая дамбы, убивая этих проклятых рабочих [58]. Подобные конфликты между модернизацией и приверженностью к старине происходили еще на наших глазах, как во внутренней Кампании, так и в других регионах света [59]. Однако такие насильственные действия были *относительно* редки. Обычно же «цивилизация», когда это бывало ей нужно, располагала тысячами способов для того, чтобы соблазнить регионы, которые она долго предоставляла самим себе, и проникнуть в них. Но так ли уж разнился результат?

[54] Paquet J. *La misère dans un village de l'Oisans en 1809.*—*«Cahiers d'histoire»*, 1966, № 3, p. 249—256.

[55] Levi-Pinard G. *La Vie quotidienne à Vallorcine au XVIII^e^ siècle.* 2^e^ éd., 1976.

[56] Baudouy C. *Cervières, une communauté rurale des Alpes briançonnaises du XVIII^e^ siècle à nos jours.*—*«Bulletin du Centre d'histoire économique et sociale de la région lyonnaise»*, 1976, № 3, p. 21.

[57] Цит. у Исаака де Пинто: Pinto I., de. *Traité de la circulation et du crédit.* 1771, p. 23—24.

[58] Darby H.C. *An Historical Geography of England before a.d. 1800.* 1951, p. 444.

[59] Narni-Mancinelli E., Paone M., Pasca R. *Inegualanzia regionale e uso del territorio: analisi di un'area depressa della Campania interna.*—*«Rassegna economica»*, 1977.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ): ОБОЛОЧКА И ИНФРАСТРУКТУРА

Мир-экономика представляется как бы громадной оболочкой. Принимая во внимание средства сообщения былых времен, он априори должен был объединять значительные силы, дабы обеспечить свое нормальное функционирование. Итак, он функционировал никем не оспариваемый, хотя действенными плотностью и глубиной, прикрытием и силой он располагал лишь в своей центральной зоне и в непосредственно окружавших ее областях. Да к тому же последние, как мы это видим на примере окружения Венеции, Амстердама или Лондона, сами включали зоны менее оживленной экономики, слабее связанные с центрами, где принимались решения. Еще и сегодня Соединенные Штаты имеют собственные «развивающиеся страны» даже в пределах своих границ.



Встреча двух миров-экономик: купец с Запада в местах производства пряностей. Иллюстрация к «Книге чудес» Марко Поло, XV в. *Национальная библиотека (Ms. fr. 2810). Фото Национальной библиотеки.*

Следовательно, рассматриваешь ли мир-экономику в его распространении по поверхности земного шара или рассматриваешь его в глубину в его же центральной зоне, испытываешь удивление: машина работает и, однако же (вспомните особенно первые господствующие города европейского прошлого), располагает небольшой мощностью. Как оказался возможен такой успех? Вопрос этот будет вновь и вновь возникать на протяжении этого труда, но мы не сможем дать не него безапелляционный ответ: то, что Голландии удавалось использовать свои торговые преимущества в самых глубинах враждебной ей Франции Людовика XIV, то, что Англия овладела громадной Индией — это и правда подвиги, но лежащие на грани непостижимого.

И все же, может быть, можно предложить объяснение с помощью такой уловки, как зрительный образ?

Вот перед нами гигантского веса глыба мрамора, отобранная Микеланджело или кем-нибудь из его современников в карьерах Каррары[60]. Однако же она будет отделена от массива с помощью элементарных средств, а затем перевезена наверняка скромными силами: немного пороха, который довольно давно использовали в карьерах и на рудниках, два или три рычага, десяток людей (и то не обязательно), канаты, упряжка, деревянные катки для будущего рольганга, наклонная плоскость — и дело сделано. Сделано потому, что гигант привязан к земле своею тяжестью; потому что представляет он силу огромную, но неподвижную, нейтрализованную. Разве масса простейших видов деятельности не бывает тоже захвачена в ловушку, связана, прикована к земле и в силу этого делается более легко управляема *сверху*? Орудиями и рычагами, делавшими возможными эти подвиги, были немного наличных денег, белого металла, поступавшего в Данциг (Гданьск) или в Мессину, соблазнительное предложение кредита, небольшой суммы «искусственных» денег или редкого и пользовавшегося особым спросом товара... Или сама система рынков. Высокие цены в конце торговых цепочек служили неизменным побудительным мотивом: один знак — и все приходило в движение. Добавьте к этому силу привычки: перец и пряности на протяжении столетий являлись к воротам Леванта, чтобы встретиться там с драгоценным белым металлом.

Разумеется, существовало также и насилие: португальские или голландские эскадры облегчили торговые операции задолго до «эпохи канонерок». Но еще чаще именно внешне скромные средства скрытно управляли зависимыми экономиками. На самом деле образ этот действителен для всех механизмов мира-экономики, как для центра по отношению к периферийным областям, так и для центра по отношению к самому себе. Ибо, напомним это еще раз, центр имел несколько этажей, он был разделен внутри себя. Такими же были и периферийные районы. «Общеизвестно,— писал один из русских консулов[61],— что в Палермо любой товар почти наполовину дороже, нежели в Неаполе». Но он забыл уточнить, что̀ именно понимает он под «товаром» (*article*) и какие исключения предполагает оговорка «почти». Нам остается домыслить ответ и те движения,

[60] Klapisch-Zuber Ch. *Les Maîtres du marbre. Carrare 1300—1600*. 1969, p. 69—76.

[61] АВПР, 705/409, л. 12, 1785 г.

какие могли повлечь за собой такие перепады цен между двумя столицами королевств, образовывавших обездоленный Юг Италии.

МИР-ЭКОНОМИКА: ОДИН ПОРЯДОК ПЕРЕД ЛИЦОМ ДРУГИХ ПОРЯДКОВ

Сколь бы очевидным ни были случаи экономической зависимости, каковы бы ни были их последствия, было бы ошибкой представлять себе порядок мира-экономики управляющим всем обществом в целом, в одиночку определяющим прочие порядки общества. Ибо имелись другие порядки. Экономика никогда не бывает изолированной. Ее почва, ее пространство суть равным образом те почва и пространство, где поселяются и живут другие сущности — культурная, социальная, политическая,— беспрестанно в экономику вмешивающиеся, дабы ей способствовать либо с тем же успехом ей противостоять. Эти массивы тем более трудно отделить друг от друга, что то, что доступно наблюдению — по выражению Франсуа Перру[62], реальность опыта, «реальная реальность»,— это *глобальная целостность*, то, что мы обозначили как общество по преимуществу, как *множество множеств*[63]. Всякое частное множество[64], выделяемое ради его доступности пониманию, в жизненной реальности смешано с другими. Ни единого мгновения я не думаю, чтобы существовала некая *ничейная земля* (*no man's land*) между экономической историей и историей социальной, как утверждает Уиллэн[65]. Можно было бы в каком угодно порядке писать следующие уравнения: экономика — это политика, культура, общество; культура — это экономика, политика, общество и т. д. Или же признать, что в таком-то данном обществе политика ведет за собой экономику, и наоборот, что экономика благоприятствует или не благоприятствует культуре, и наоборот, и т. д. И даже заявлять вместе с Пьером Брюнелем, что «все человеческое — политично, следовательно, всякая литература (даже затворническая поэзия Малларме *) есть явление политическое»[66]. Ибо если специфическую черту экономики составляет выход за пределы своего пространства, то разве не это же самое можно сказать и о других общественных множествах? Все пожирают пространство, пытаются расшириться, обрисовывают одну за другой свои последовательные зоны по Тюнену.

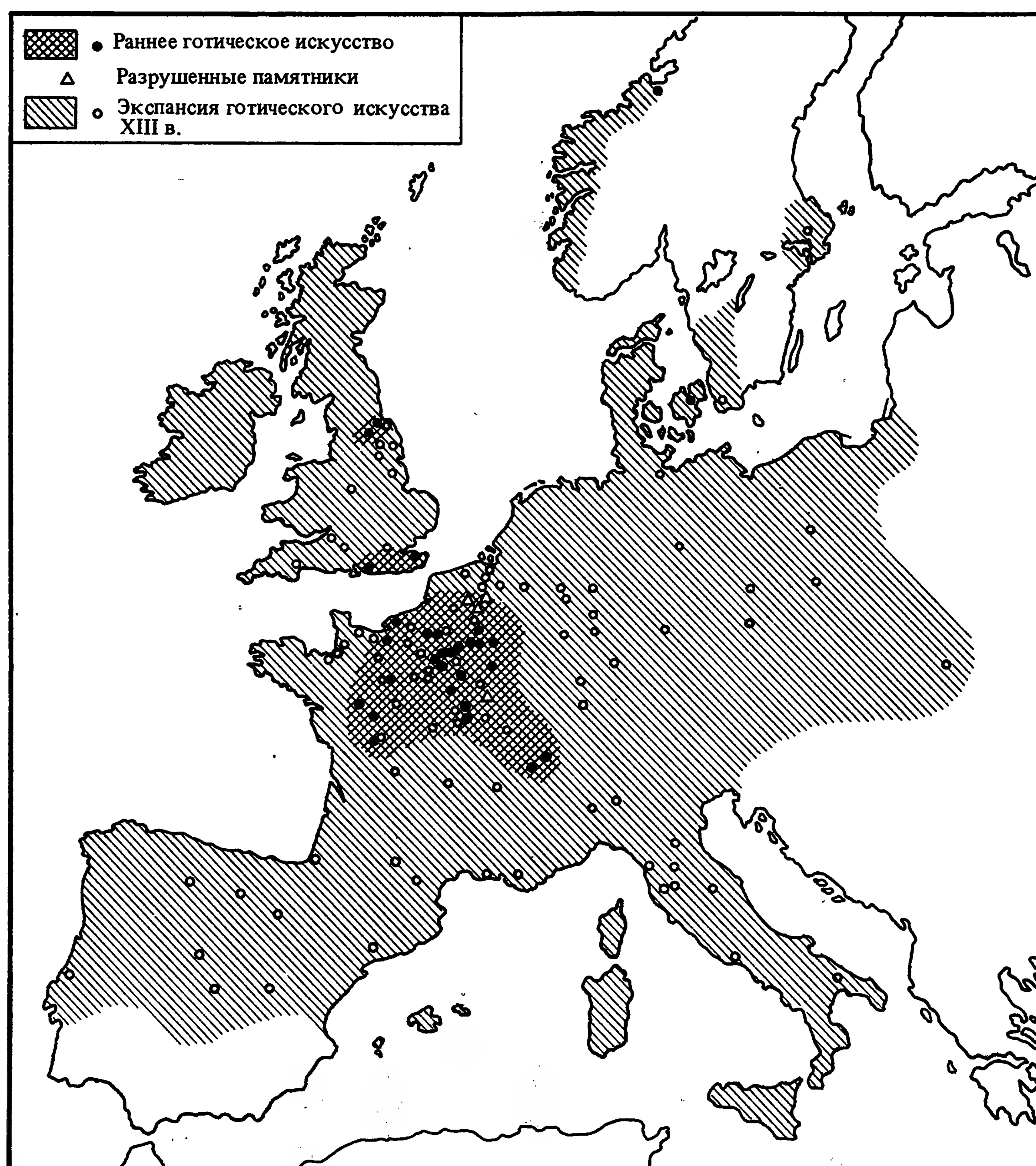
Таким-то образом то или иное государство предстает разделенным на три зоны: столицу, провинцию, колонии. Это та схема, которая соответствует Венеции XV в.: город и его окрестности — Догадо (*Dogado*)[67]; города и территории материковых владений Венеции (*Terra Ferma*); колонии — заморские территории (*Mar*). Для Флоренции — это город, пригородная зона (*Contado*), государство (*lo Stato*)[68]. Могу ли я утверждать, что эти последние территории, отвоеванные у Сиены и Пизы, относились к категории псевдоколоний? Бесполезно толковать

[62] «*Le Monde*», 27 juin 1978.
[63] См. том 2 настоящего труда, гл. 5, с. 461.
[64] Там же.
[65] Willan T. S. *Studies in Elizabethan Foreign Trade*. 1959, p. V.
* Малларме Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист. — *Прим. перев.*
[66] Brunel P. *L'État et le Souverain*. 1977, p. 12.
[67] *Догадо* обозначает зону лагун, мелких островов и эстуариев рек северного побережья Адриатики, образующую окрестности Венеции. См.: *Enciclopedia Italiana*, XIII, p. 89.
[68] Fasano E. *Lo Stato mediceo di Cosimo I*. 1973.

о тройственном членении Франции XVII, XVIII, XIX и XX вв., или Англии, или Соединенных Провинций. Но не была ли в масштабе всей Европы система так называемого *европейского равновесия*, особенно охотно изучаемая историками[69], своего рода политическим отражением мира-экономики? Целью было образовать и удерживать периферийные и полупериферийные [районы], где никогда не исчезали до конца взаимные напряженности, так, чтобы не ставилось под угрозу могущество центра. Ибо и политика тоже имела свое «сердце», небольшую зону, откуда наблюдали за ближними и дальними событиями: «*подождать и посмотреть*» («*wait and see*»).

[69] Livet G. *L'Équilibre européen de la fin du XV[e] à la fin du XVIII[e] siècle*. 1976.

У социальных форм также была своя дифференциальная география. Докуда доходили, например, на местах рабство, крепостничество, феодальное общество? В зависимости от местности общество совершенно изменялось. Когда Дюпон де Немур принял предложение стать воспитателем сына князя Чарторыского, он с изумлением обнаружил, что Польша была страной крепостничества, страной крестьян, которые не ведали государства и знали только своего пана, и князей, остававшихся людь-



Карта распространения готического стиля
По данным «Исторического атласа» («*Atlas historique*»), изданного под редакцией Жоржа Дюби (Larousse, 1978).

ми простых нравов, вроде Радзивилла, который царил «над доменом размером больше Лотарингии» и который спал прямо на земле [70].

[70] Manceron C. *Les Vingt Ans du roi.* 1972, p. 121.

Точно так же и культура была бесконечным членением пространства, с последовательными кругами: во времена Возрождения — Флоренция, Италия, остальная Европа. И разумеется, круги эти соответствовали завоеваниям пространства. Взгляните, каким образом «французское» искусство, искусство готических церквей вышло из междуречья Сены и Луары и покорило Европу. Как барокко, детище Контрреформации, завоевывает весь континент, начавшись в Риме и Мадриде, и заражает даже протестантскую Англию. Как в XVIII в. французский язык становится общим языком для образованных европейцев. Или же как вся Индия, мусульманская или индуистская, была захвачена распространявшимися из Дели мусульманскими архитектурой и искусством, которые вслед за индийскими купцами доберутся до исламизированной Индонезии.

Несомненно, можно было бы нанести на карту тот способ, каким эти различные «порядки» общества вписывались в то пространство, наметить их полюса, их центральные зоны, их силовые линии. У каждого из них была своя собственная история, своя собственная сфера. И все они влияли друг на друга. Ни один не одерживал верх над другими раз и навсегда. Их классификация, если классификация эта существовала, без конца изменялась, правда, медленно, но изменялась.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК И МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Тем не менее с наступлением нового времени главенство экономики становится все более и более весомым: она ориентирует, нарушает равновесие, воздействует на другие порядки. Она чрезмерно усиливает неравенство, замыкает в бедности или в богатстве соучастников мира-экономики, навязывая им некую роль, и, по-видимому, весьма надолго. Разве не говорил вполне серьезно один экономист: «Бедная страна бедна, потому что она бедна» [71]? А один историк утверждал: «Экспансия вызывает экспансию». Это то же, что заявить: «Страна обогащается, потому что она уже богата» [72].

[71] Nurske R. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries.* 1953, p. 4.

[72] Chaunu P. *Séville et l'Atlantique*, VIII, 1, 1959, p. 1114.

[73] Emmanuel A. *Op. cit.*, p. 32.

Такие очевидности, преднамеренно упрощенные, в конечном счете заключают, на мой взгляд, больше смысла, нежели так называемая «неопровержимая» псевдотеорема Давида Рикардо (1817 г.) [73], формулировка которой известна: взаимоотношения между двумя данными странами зависят от их «сравнительных издержек» производства; всякий внешний обмен стремится ко взаимному равновесию и должен быть непременно прибыльным для обоих партнеров (на худой конец — немного более прибыльным для одного, чем для другого), ибо «он связывает между собою все нации цивилизованного мира общими узами выгоды, дружественными отношениями и превращает их в единое и великое общество. Именно этот принцип требует, чтобы вино производили во Франции и Пор-



Аллегорическое изображение данцигской торговли (Исаак ван де Люкк, 1608 г.), украшающее плафон Ганзейского дома, ныне — Гданьского городского совета. Вся деятельность города вращается вокруг доставляемого по Висле зерна, которое по соединительному каналу (фрагменты этого изображения см. в т. I, с. 142, и т. 2, с. 261) прибывает в порт, где его грузят на стоящие там корабли, которые вы видите на заднем плане. В нижней части картины изображены польские и западные купцы, узнаваемые по их костюмам: именно они организуют ту цепь зависимостей, что привязывает Польшу к Амстердаму. *Фото Хенрыка Романовского.*

тугалии, чтобы пшеницу возделывали в Польше и в Соединенных Штатах и чтобы скобяные изделия и прочие виды товара изготовляли в Англии»[74]. Это картина утешительная, слишком утешительная. Ибо возникает вопрос: такое разделение труда, которое Рикардо описывал в 1817 г. как находящееся в порядке вещей, когда оно установилось и по каким причинам?

Оно не было плодом призваний, которые были бы «естественными» и развивались бы сами собой; оно было наследием,

[74] Ricardo D. *Principes de l'économie politique et de l'impôt.* Ed. Ch. Schmidt, 1970, p. 101—102.

закреплением более или менее старинной ситуации, постепенно медленно обрисовывавшейся в ходе истории. Разделение труда в мировом масштабе (или в масштабе одного мира-экономики) не было соглашением равных партнеров, согласованным и доступным для пересмотра в любой момент. Оно устанавливалось постепенно, как цепь зависимостей, определявших одни другие. Неравный обмен, создатель неравенства в мире, и, наоборот, неравенство мира, упорно создававшее обмены, были древними реальностями. В экономической игре всегда существовали карты лучше других, а иной раз (и часто) крапленые. Определенные виды деятельности доставляли более прибыли, нежели другие: возделывать виноград было выгоднее, чем выращивать зерно (по крайней мере если другие соглашались выращивать зерно для вас), действовать во вторичном секторе [экономики] было выгоднее, чем в первичном, а в третичном — выгоднее, чем во вторичном. Если обмен между Англией и Португалией во времена Рикардо был таким, что первая поставляла сукна и прочие промышленные изделия, а последняя — вино, то Португалия находилась в первичном секторе, в положении подчиненном. И Англия столетия назад, даже еще до царствования Елизаветы, перестала экспортировать свое сырье, шерсть, дабы обеспечить прогресс своей промышленности и торговли, и вот уже века, как Португалия, некогда процветавшая, развивалась в противоположном направлении или была вынуждаема к тому. Ибо португальское правительство во времена герцога д'Эрсейры использовало для самозащиты щит меркантилизма, поощряя развитие своей промышленности. Но спустя два года после смерти герцога в 1690 г. от этой обороны отказались; десятилетием позднее будет подписан договор лорда Метуэна. Кто бы стал утверждать, будто англо-португальские отношения диктовались «общими узами выгоды» между дружественными обществами, а не соотношением сил, которое трудно было изменить?

Соотношение сил между нациями вытекало иногда из очень древнего положения вещей. Для какой-то экономики какого-то общества, какой-то цивилизации или даже политической общности оказывалось трудно разорвать единожды пережитое в прошлом состояние зависимости. Так, невозможно отрицать, что итальянский Медзоджорно * давно уже отставал, самое малое с XII в. Один сицилиец, несколько преувеличивая, говорил: «Вот уже две с половиной тысячи лет мы являемся колонией» [75]. Бразильцы, ставшие независимыми с 1822 г., еще совсем недавно и даже сегодня ощущали себя в положении «колонии» не по отношению к Португалии, но по отношению к Европе и США. Распространенная ныне острота гласит: «Мы не Соединенные Штаты Бразилии, а Бразилия Соединенных Штатов...»

Точно так же и промышленное отставание Франции, очевидное с XIX в., не может быть объяснено без довольно долгого движения вспять во времени. По мнению некоторых историков [76], Франция потерпела неудачу в своем промышленном преобразовании и в своем соперничестве с Англией из-за первого места в Европе и во всем мире вследствие Революции и ре-

* Медзоджорно (*Mezzogiorno*) — Юг Италии.— *Прим. перев.*

[75] Tomasi di Lampedusa G. *Le Guépard.* 1960, p. 164. (См.: Томази ди Лампедуза Дж. *Леопард.* М., 1961, с. 168—169.)

[76] Мориса Леви-Лебуайе, Франсуа Крузе, Пьера Шоню.

жима Империи: тогда будто бы был потерян шанс. Это правда, что в силу обстоятельств Франция уступила все пространство мира для торговой эксплуатации Великобритании; не менее верно и то, что совокупный эффект Трафальгара и Ватерлоо оказался весьма тяжким грузом. Но можно ли забыть о шансах, утраченных еще до 1789 г.? Разве же не увидела Франция в 1713 г., по окончании войны за Испанское наследство, как от нее ускользает свободный доступ к серебру Испанской Америки? А в 1722 г. с крахом Лоу она оказалась до 1776 г. лишенной центрального банка[77]. Еще до Парижского трактата, в 1762 г., она потеряла Канаду и практически — Индию. И еще гораздо раньше процветавшая в XIII в. Франция, вознесенная на высоту *сухопутными* связями шампанских ярмарок, утратила это преимущество в начале XIV в. из-за установления *морской* связи, через Гибралтар, между Италией и Нидерландами. Тогда она оказалась, как мы объясним это в дальнейшем [78], за пределами важнейшего «капиталистического» кругооборота Европы. Мораль: никогда не проигрывают сразу. А также и не выигрывают единым махом. Успех зависит от твоего включения [в круг] тех шансов, какие предоставляет данная эпоха, от повторов, от накоплений. Власть накапливается, как и деньги, и именно поэтому меня устраивают слишком очевидные, на первый взгляд, соображения Нурске и Шоню. «Страна бедна, потому что она бедна»,— скажем более ясно, потому что она уже была бедной или оказалась заранее в «порочном круге бедности», по выражению того же Нурске [79]. «Экспансия вызывает экспансию» — это означает, что какая-то страна развивается, потому что она уже развивалась, потому что она оказалась вовлечена в более раннее движение, которое давало ей преимущество. Таким образом, прошлое всегда говорит свое слово. Неравенство мира обнаруживает структурные реальности, очень медленно утверждающиеся, очень медленно исчезающие.

[77] До создания 24 марта 1776 г. «Кэсс д'Эсконт» (Учетной кассы).
[78] См. ниже, с. 111—112.
[79] Nurske R. *Op. cit.*, p. 10.

ГОСУДАРСТВО: ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ВЛАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Ныне государство [высоко] котируется. Помогают этому даже философы. И сразу же любое объяснение, которое не «завышает» его роль, оказывается не отвечающим распространившейся моде. Моде, у которой, вполне очевидно, есть свои преувеличения и упрощения, но которая имеет по крайней мере то преимущество, что обязывает иных французских историков обратиться вспять, в какой-то мере поклониться тому, что они сжигали или же, самое малое, обходили на своем пути стороной.

Тем не менее с XV по XVIII в. государство было далеко от того, чтобы заполнить собою все социальное пространство, оно не обладало той «дьявольской» силой проникновения, какую приписывают ему в наши дни, у него не было средств для этого. Тем более что оно в полной мере испытало на себе продолжительный кризис 1350—1450 гг. Лишь со второй половины XV в. начался его новый подъем. Города-государства, играв-

шие до государств территориальных первые роли до самого начала XVIII в., были тогда целиком орудием в руках своих купцов. Для территориальных государств, мощь которых восстанавливалась медленно, дела обстояли далеко не так просто. Но первое же территориальное государство, пришедшее в конечном счете к национальному рынку или национальной экономике, а именно Англия, довольно рано перешло под власть купечества после революции 1688 г. Ничего, следовательно, нет удивительного в том, что в доиндустриальной Европе в силу определенного детерминизма мощь политическая и мощь экономическая совпадали. Во всяком случае, карта мира-экономики, с перенапряжением центральных зон и с его концентрическими различиями, пожалуй, должна была достаточно хорошо соответствовать политической карте Европы.

В самом деле, в центре мира-экономики всегда располагалось незаурядное государство — сильное, агрессивное, привилегированное, динамичное, внушавшее всем одновременно и страх и уважение. Так обстояло дело уже с Венецией в XV в., с Голландией в XVII в., с Англией в XVIII и еще больше в XIX в., с Соединенными Штатами в наше время. Разве могли не быть сильными такие правительства «в центре»? Иммануэль Валлерстайн взял на себя труд доказать, что не могли, на примере правительства Соединенных Провинций в XVII в., по поводу которого современники и историки наперебой повторяли, что оно-де почти не существовало. Словно уже сама по себе позиция в центре не создавала, да и не требовала также эффективного правительства [80]. Как будто правительство и общество не были единым множеством, одним и тем же блоком. Как если бы деньги не создавали социальной дисциплины и исключительного удобства действия!

[80] См.: Wallerstein I. *The Modern World System*, II, ch. II (машинописный текст).

Следовательно, существовали сильные правительства в Венеции, даже в Амстердаме, в Лондоне. Правительства, способные заставить себе повиноваться внутри страны, дисциплинировать городских заправил, увеличить в случае нужды фискальные тяготы, гарантировать кредит и торговые свободы. Способные также навязать свою волю извне: именно к таким правительствам, никогда не колебавшимся перед применением насилия, мы можем *очень рано*, не опасаясь впасть в анахронизм, применить слова *колониализм* и *империализм*. И это не препятствовало, даже наоборот, тому, что эти «центральные» правительства были более или менее зависимы от раннего, но уже с острыми зубами капитализма. Власть делилась между ним и правительством. В такую игру государство втягивалось, не давая себя поглотить целиком, в ходе самого развития мира-экономики. Служа другим, служа деньгам, оно также служило и самому себе.

Декорации меняются, как только затрагиваешь, даже по соседству с центром, оживленную, но менее развитую зону, где государство долгое время было смесью традиционной харизматической монархии и современной организации. Там государства бывали опутаны обществами, экономиками, даже культурами; они были отчасти архаичными, мало проявляли себя в обширном [внешнем] мире. Монархии Европейского конти-



**Торжественная официальная церемония
в Венецианском государстве:
прощальный визит посла к дожу.
В. Карпаччо «Легенда о св. Урсуле»
(около 1500 г.).**
Фото Жиродона.

нента были вынуждены кое-как управлять с участием дворянства, которое их окружало, или борясь против него. Без этого дворянства разве могло бы незавершенное государство (даже когда речь идет о Франции Людовика XIV) выполнять свои задачи? Конечно, существовала поднимающаяся «буржуазия», чье продвижение государство организовывало, но делало это осторожно, и к тому же такие социальные процессы были медленными. В то же время перед глазами этих государств был пример успеха удачнее, чем они, расположенных торговых государств, лежавших у скрещения торговых путей. Они сознавали свое в общем более низкое положение, так что для них великой задачей было любой ценой войти в высшую категорию, возвыситься до центра. С одной стороны, пытаясь копировать модель и воспользоваться рецептами успеха — такова долго была навязчивая идея Англии перед лицом Голландии. С другой стороны, создавая и мобилизуя доходы и ресурсы, которых требовали ведение войн и показная роскошь, которая в конце концов тоже была средством управления. Это факт, что любое государство, которое всего лишь соседствовало с центром мира-экономики, становилось более драчливым, при удаче — завоевательным, как если бы от такого соседства в нем разливалась желчь.

Но не будем обманываться на сей счет: между новой Голландией XVII в. и величественными государствами вроде Франции или Испании разрыв оставался большим. Этот разрыв проявлялся в отношении правительств к той экономической политике, которая тогда считалась панацеей и которую мы обозначаем придуманным задним числом словом *меркантилизм*. Изобретая это слово, мы, историки, наделили его многими значениями. Но если какое-либо из этих значений должно возобладать над другими, им должно было бы стать то, которое подразумевает защиту от чужеземца. Ибо прежде всего меркантилизм — это способ себя защитить. Государь или государство, применявшие его предписания, вне сомнения, отдавали дань моде; но еще более меркантилизм свидетельствует о приниженном положении, которое требуется хотя бы временно облегчить или смягчить. Голландия будет меркантилистской лишь в очень редкие моменты, которые у нее совпадали именно с ощущением внешней опасности. Не имея себе равных, она могла обычно безнаказанно практиковать свободную конкуренцию, которая приносила ей только выгоды. Англия в XVIII в. отошла от неусыпного меркантилизма; было ли это, как я думаю, доказательством того, что час британского величия и силы уже пробил на часах мира? Столетие спустя, в 1846 г., Англия без всякого риска позволит себе открыть свои двери свободе торговли.

И еще более все меняется, когда достигаешь окраин какого-либо мира-экономики. Именно там находились колонии, бывшие народами-рабами, лишенными права управлять собой: господином была метрополия, озабоченная тем, чтобы сохранить за собой торговые прибыли в системе *исключительных прав*, которая наличествовала повсюду, какой бы ни была ее форма. Правда, метрополия была очень далеко, и на местах ра-

споряжались господствующие города и (социальные) меньшинства. Но такое могущество местных администраций и партикуляризма, то, что именовали демократией по-американски, было всего лишь простейшей формой управления. Самое большее — формой, характерной для античных греческих полисов, да и то с оговорками! Это мы обнаружим с наступлением независимости колоний, которая, в общем-то, вызвала резко наступившее отсутствие власти. После того как был положен конец мнимому колониальному государству, потребовалось из самых разных элементов создать новое государство. США, конституированным в 1787 г., понадобилось много времени, чтобы сделать федеративное государство единой и эффективной политической властью. И этот процесс был столь же замедленным в остальных американских государствах.

На неколониальной периферии, в частности на востоке Европы, по крайней мере имелись государства. Но над их экономикой господствовала та или иная группа, связанная с заграницей. Настолько, что в Польше, например, государство стало институтом, лишенным всякого содержания. Точно так же и Италия XVIII в. больше не имела подлинных правительств. В 1736 г. граф Маффеи говорил: «Об Италии ведут переговоры, ее народы обсуждают со всех сторон так, словно бы речь вели по поводу отар овец или иных жалких животных» [81]. Даже Венеция со времен Пожареваца (1718 г.) *, с радостью или смирившись с судьбой, погрузилась в «нейтралитет»; это то же, что сказать, что она отступилась от себя [82].

Для всех этих оказывавшихся в проигрыше спасение находилось лишь там, где они прибегали к насилию, к агрессии, к войне. Хороший тому пример — Швеция Густава Адольфа. И еще лучший — Африка варварийских корсаров. Правда, обратясь к варварийцам, мы оказываемся уже не в рамках европейского мира-экономики, но в политическом и экономическом пространстве, охватываемом Турецкой империей, бывшей сама по себе миром-экономикой, к которому я еще обращусь в одной из последующих глав. Но алжирское государство было по-своему показательным, находясь на стыке двух миров-экономик, европейского и турецкого, и не подчиняясь ни тому, ни другому, практически разорвав вассальные узы со Стамбулом. При этом, однако же, вторгавшиеся всюду европейские флоты оттеснили это государство от торговых путей Средиземноморья. Перед лицом европейской гегемонии алжирское пиратство было единственным выходом, единственной возможностью прорыва. Впрочем, разве при прочих равных условиях не оказалась и Швеция отстраненной от прямых выгод балтийской [торговли], находясь на границе между двумя экономиками, европейской и российской? Война для нее была спасением.

[81] Georgelin J. *Op. cit.*, p. 760.
* Имеются в виду мирные договоры, заключенные Османской империей с Австрией и Венецией в сербском городе Пожаревац.— *Прим. перев.*
[82] См.: Georgelin J. *Op. cit.*, p. 14 et passim.

ИМПЕРИЯ И МИР-ЭКОНОМИКА

Империя, т. е. сверхгосударство, которое одно покрывало всю территорию мира-экономики, ставит одну общую проблему. В общих чертах миры-империи, как их называет Валлер-

стайн, были, вне сомнения, образованиями архаичными, [итогом] старинных побед политики над экономикой. Но в период, исследуемый в настоящем труде, они еще существовали за пределами Запада — в Индии в лице империи Великих Моголов, в Китае, в Иране, в Османской империи и в Московском царстве. По мнению Иммануэля Валлерстайна, всякий раз, как мы имеем дело с империей, это означает, что лежащий в ее основе мир-экономика не смог развиться, что он бывал остановлен в своей экспансии. С таким же успехом можно сказать, что мы находимся перед лицом *управляемой экономики* (*command economy*), если следовать за Джоном Хиксом, или же *азиатского* способа производства, если пользоваться вышедшим из моды толкованием Маркса.

Это правда, что экономика плохо приспосабливается к требованиям и принудительным мерам имперской политики, не имеющей противовеса. Никакой купец, никакой капиталист никогда не будет в ней располагать полной свободой рук. Михаил Кантакузин, своего рода Фуггер Османской империи, был 13 марта 1578 г. без суда и следствия повешен на воротах своего роскошного дворца Анкиоли в Стамбуле по повелению султана [83]. В Китае богатейший министр и фаворит императора Цяньлуна Хэ Шень [84] был после смерти Цяньлуна казнен, а его состояние конфисковано новым императором. В России губернатор Сибири князь Гагарин, казнокрад каких мало, был обезглавлен в 1720 г. [85] Конечно, мы вспоминаем равным образом и Жака Кёра, Санблансэ, Фуке: на свой лад эти процессы и казнь (имеется в виду казнь Санблансэ) дают представление об определенном политическом и экономическом состоянии Франции. Только капиталистический порядок, пусть даже и старинного типа, способен проглотить и переварить скандалы.

Тем не менее я лично полагаю, что даже стесненный империей, угнетающей его и мало сознающей особые интересы разных своих владений, мир-экономика, притесняемый, поднадзорный, мог жить и укрепляться с примечательными для него случаями выхода за имперские пределы: римляне торговали в Красном море и Индийском океане; армянских купцов из Джульфы, предместья Исфахана, можно было встретить почти по всему свету; индийские *бания* доходили до Москвы; китайские купцы были неизменными гостями всех портов Индонезии; Московское государство в рекордный срок установило свое владычество над Сибирью — бескрайней [своей] периферией. Виттфогель [86] не ошибался, утверждая, что на этих политических пространствах с интенсивным давлением власти, какими были все империи традиционной Южной и Восточной Азии, «государство было куда сильнее общества». Сильнее общества — да, но не сильнее экономики.

Вернемся к Европе. Разве она не ускользнула очень рано от удушения [структурами] имперского типа? Римская империя — это и больше и меньше, чем Европа. Империи Каролингов и Оттонов * плохо справлялись с Европой, пребывавшей в полном упадке. Церковь, которой удалось распространить свою культуру на всем европейском пространстве, в конечном счете не установила там своего политического главенства. Нужно ли

[83] Braudel F. *Médit*..., II, p. 41.
[84] Gernet J. *Le Monde chinois*. 1972, p. 429.
[85] См. ниже, с. 457.
[86] Цит. Г. Райтом (Wright H. C. R.).— *Congrès International de l'histoire économique*. Léningrad, 1970, V, p.100.
* Имеются в виду императоры Священной Римской империи в X в., пытавшиеся сохранить ее целостность.— *Прим. перев.*

в таких условиях преувеличивать экономическое значение попыток создания *всемирной* [христианской] *монархии* Карлом V (1519—1556) и Филиппом II (1556—1598)? Такое подчеркивание имперского превосходства Испании, или, точнее, та настойчивость, с какой Иммануэль Валлерстайн делает из провала имперской политики Габсбургов (чересчур поспешно привязываемого к банкротству 1557 г.) в некотором роде дату рождения европейского мира-экономики, не кажется мне наилучшим способом подхода к проблеме. На мой взгляд, мы всегда неправомерно раздували [значение] политики Габсбургов, прикрытой блестящей мишурой, но в то же время и неуверенной, сильной и слабой одновременно, а главное — анахроничной. Их попытки наталкивались не только на Францию, распростершуюся в самом центре связей раздробленного государства Габсбургов, но также и на враждебность к ним всего европейского концерта. Но ведь этот концерт европейского равновесия не был новой реальностью, будто бы обнаружившейся, как то утверждали, во время вторжения Карла VIII в Италию (1494 г.); то был давно существовавший процесс, начавшийся, как справедливо указывает В. Кинаст [87], со времен конфликта Капетингов с Плантагенетами — и даже раньше, как полагал Федерико Шабо. Европа, которую желали бы привести к покорности, таким образом на протяжении веков ощетинивалась всеми видами оборонительных приемов — политических и экономических. Наконец, и это главное, Европа уже вырвалась в большой мир — на Средиземное море с XI в. и в Атлантику после сказочных плаваний Колумба (1492 г.) и Васко да Гамы (1498 г.). Короче говоря, судьба Европы в качестве мира-экономики опережала судьбу незадачливого императора. И даже если предположить, что Карл V одержал бы верх,как того желали самые прославленные гуманисты его времени, разве же капитализм, уже утвердившийся в решающих центрах зарождавшейся Европы — в Антверпене, в Лисабоне, в Севилье, в Генуе,— не выпутался бы из этого предприятия? Разве генуэзцы не господствовали бы с тем же успехом на европейских ярмарках, занимаясь финансами «императора» Филиппа II, а не короля Филиппа II?

[87] Kienast W. *Die Anfänge des europäischen Staatensystem im späteren Mittelalter*. 1936.

Но оставим эпизоды и обратимся к настоящему спору. Подлинно спорный вопрос заключается в следующем: когда Европа оказалась достаточно активной, привилегированной, пронизанной мощными [торговыми] потоками, чтобы разные экономики могли все в ней уместиться, жить друг с другом и выступать друг против друга? Международное согласие наметилось там очень рано, со средних веков, и будет продолжаться на протяжении веков. Следовательно, здесь рано обозначились взаимодополняющие зоны мира-экономики, некая иерархия производств и обменов, бывшие действенными с самого начала. То, в чем потерпел неудачу Карл V, потратив на это всю жизнь, Антверпену, оказавшемуся в центре обновленного мира-экономики раннего XVI в., удалось без особых усилий. Этот город подчинил тогда всю Европу и то, что уже зависело от этого тесного континента в остальном мире.

Таким образом, пройдя через все политические превратно-

сти, благодаря им или невзирая на них, в Европе рано образовался европейский, или, лучше сказать, западный экономический порядок, выходивший за пределы континента, использовавший разности его потенциалов и его напряженности. Очень рано «сердце» Европы было окружено ближней полупериферией и дальней периферией. И вот эта полупериферия, давившая на «сердце», заставлявшая его биться быстрее — Северная Италия вокруг Венеции в XIV—XV вв., Нидерланды вокруг Антверпена,— была, несомненно, главной чертой европейской структуры. Полупериферии, по-видимому, не было вокруг Пекина, Дели, Исфахана, Стамбула и даже Москвы.

Итак, я полагаю, что европейский мир-экономика зародился очень рано, и меня не загипнотизировал, как Иммануэля Валлерстайна, XVI век. И в самом деле, разве его терзала не та же проблема, которую поставил Маркс? Процитируем еще раз знаменитую фразу: «Биография капитала начинается в XVI в.» Для Валлерстайна европейский мир-экономика был как бы процессом образования матрицы капитализма. В этом пункте я не стану его оспаривать, ибо сказать «центральная зона» или «капитализм» — значит очертить одну и ту же реальность. К тому же утверждать, что мир-экономика, построенный в XVI в. на основе Европы, был не первым миром-экономикой, который опирался бы на тесный и поразительный континент, означает уже в силу этого выдвинуть тезис, что капитализм не дожидался для своего первого появления XVI в. Таким образом, я согласен с Марксом, писавшим (и впоследствии об этом сожалевшим), что европейский капитализм (он даже говорит — капиталистическое *производство*) зародился в Италии XIII в. Спор этот может быть каким угодно, но только не пустячным.

ВОЙНА В СООТВЕТСТВИИ С ЗОНАМИ МИРА-ЭКОНОМИКИ

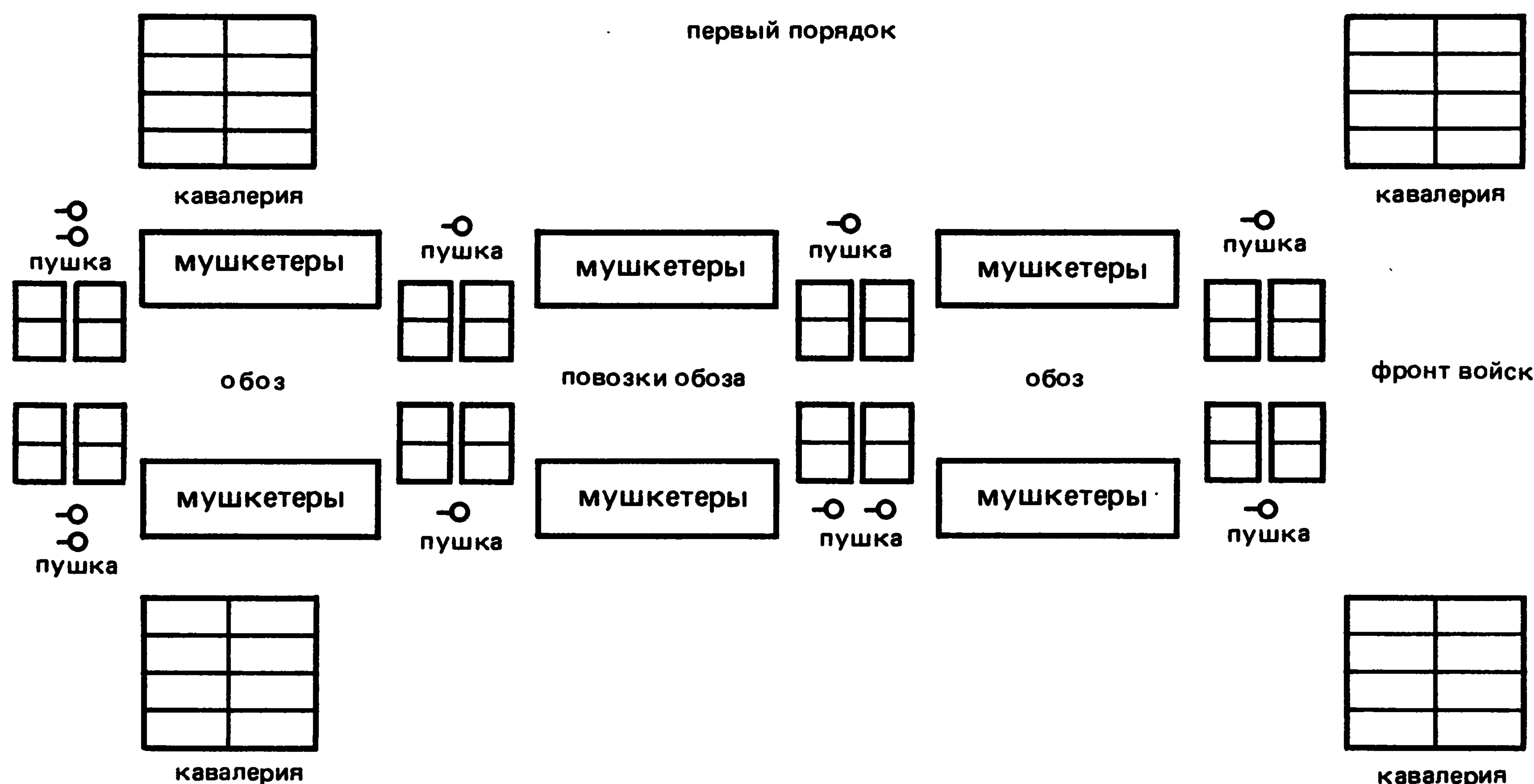
Историки изучают войны одну за другой, но война как таковая в нескончаемом потоке минувших времен интересовала их очень редко, даже в такой знаменитой — и справедливо! — книге, как труд Ханса Дельбрюка [88]. Но ведь война присутствовала всегда, упорно навязываемая разным векам истории. Она в себе заключала все: самые трезвые расчеты, отвагу и трусость. Как считал Вернер Зомбарт, она строила капитализм, но столь же верно и обратное. Война была весами истины, пробой сил для государств, которым она помогала определиться, и знаком никогда не утихавшего безумия. Она была таким индикатором всего, что протекало и смешивалось в едином движении в человеческой истории, что «вписать» войну в рамки мира-экономики — это то же самое, что вскрыть иной смысл в конфликтах людей и дать неожиданное подтверждение схеме Иммануэля Валлерстайна.

[88] Delbrück H. *Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der Weltgeschichte*. 1907.

В самом деле, у войны не один и тот же облик. Ее окрашивала, расчленяла география. Сосуществовало несколько форм войны, примитивных и современных, как сосуществовали ра-



FIGVRE DV CORPS
D'ARMEE CARRE': COMME IL FORME
l'ordre de bataille.



Войне как искусству обучались и научались
Один из бесчисленных «порядков» — походных, развернутых и боевых, — которые предлагают и комментируют «Начала военного искусства» (*«Les Principes de l'art militaire»,* 1615) И. де Бийона, сеньера де Ла Прюнь, в соответствии с «правилами сего великого и превосходного полководца — принца Морица Нассауского» (р. 44).

бовладение, крепостничество и капитализм. Каждый вел такую войну, какую мог.

Вернер Зомбарт не ошибался, говоря о войне, обновляемой [развитием] техники, войне — созидательнице современности, которая как бы работала на скорейшее утверждение капиталистических систем. С XVI в. существовали войны «авангардные», которые яростно мобилизовывали кредиты, умы, изобретательность техников, настолько, что войны сами, как говорилось, изменялись от года к году в соответствии с настоятельными велениями моды, конечно же куда менее забавными, чем перемены в украшении костюма. Но такая война, дочь прогресса и его мать, существовала лишь в сердце миров-экономик; для того чтобы развиться, ей требовалось обилие людей и средств, требовалось дерзкое величие планов. Покиньте эту центральную сцену мирового театра, к тому же преимущественно освещаемую информацией и историографией своего времени, и доберитесь до бедных, иной раз первобытных периферийных областей: славной войне не было там места или же она бывала смешна и, более того, неэффективна.

Диего Суарес, солдат и автор воспоминаний из гарнизона Орана, оставил нам в этой связи довольно удачное свидетельство очевидца [89]. Около 1590 г. испанское правительство возымело идею, пожалуй, забавную: отправить в маленькую африканскую крепость полк (*tercio*) отборных солдат, отозванный ради этого с полей сражений во Фландрии, которые были по

[89] Я по памяти восстанавливаю этот эпизод, почерпнутый из бумаг Диего Суареса, некогда хранившихся в Архиве генерал-губернаторства в Алжире.

преимуществу театром войны как искусства, «по правилам». При первой вылазке этих «зеленых» — ибо в глазах «старичков» оранского гарнизона то были «зеленые» — на горизонте появилось несколько арабских всадников. Солдаты *терсио* немедленно построились в каре. Но здесь искусство было бесполезно: враг поостерегся приближаться к этим решительно настроенным воинам. И гарнизон открыто издевался над таким бесполезным маневром.

В действительности война как искусство была возможна, только ежели ее вели с обеих сторон. Это еще лучше доказывает долгая война на бразильском Северо-Востоке (*Nordeste*), ведшаяся с 1630 по 1654 г., такая, какой ее с блеском представила недавно опубликованная книга молодого бразильского историка [90].

Здесь мы, без всякого сомнения, находимся на самой окраине Европы, понимаемой в самом широком смысле. Голландцы, в 1630 г. захватившие силой Ресифи, не сумели занять всю целиком сахаропроизводящую провинцию Пернамбуку. На протяжении двадцати лет они практически будут блокированы в своем городе, получая по морю продовольствие, боеприпасы, подкрепления и даже тесаный камень или кирпич для своих построек. В 1654 г. этот долгий конфликт вполне логично разрешится в пользу португальцев, точнее — лузо-бразильцев, потому что именно последние освободили Ресифи и сумели об этом рассказать и помнить об этом.

Вплоть до 1640 г. король Испанский был властелином Португалии, завоеванной им более полувека назад, в 1580 г. Следовательно, как раз ветераны фландрской армии, офицеры и солдаты, испанцы или итальянцы, были отправлены на этот удаленный театр военных действий. Но между частями, набранными на месте — *soldados da terra*, — и регулярными войсками, привезенными из Европы, сразу же возникло полнейшее несогласие. Граф Баньюоло, неаполитанец, командовавший экспедиционным корпусом, к тому же непрестанно поносил местных солдат, он помирал со скуки и, как говорили, целыми днями пил, чтобы утешиться. Чего же он хотел? Да вести войну в Бразилии так же, как войну во Фландрии, осаждая и обороняя укрепленные города с соблюдением общепринятых правил. Так что после взятия голландцами города Параиба он счел удобным написать им: «Пусть взятый город послужит на добрую пользу вашим милостям. При сем письме отправляю к вам пятерых пленных...» [91] То была война как искусство, но также и война куртуазная, в духе сдачи Бреды в 1625 г., какой ее изобразил Веласкес в своей картине «Копья» (*Lanzas*») *.

Но война бразильская не могла быть войной фландрской, как бы ни ворчали бесполезно бахвалившиеся ветераны. Несравненные мастера внезапных нападений, индейцы и бразильцы навязывали партизанскую войну. И если Баньюоло, чтобы придать им храбрости перед тем, как отправить в атаку в лучших традициях, додумался выдавать им водку из сахарного тростника, эти [местные вояки] уходили вздремнуть, дабы проспаться после выпивки. К тому же по любому поводу эти странные солдаты покидали строй и исчезали в лесах и обширных боло-

[90] Cabral de Mello E. *Op. cit.*, passim.
[91] Cabral de Mello E. *Op. cit.*, p. 246.
* В отечественной литературе эта картина обычно именуется «Сдача Бреды».— *Прим. перев.*



Сдача Бреды (1625 г.). С картины Веласкеса, так называемых «Копий» («*Lanzas*»). Спинола принимает ключи города. *Фото Жиродона.*

тах той страны. Голландец, который тоже желал бы вести войну по европейским правилам, испытывал отвращение к таким рассеивающимся врагам, которые вместо того, чтобы вступить в честный бой, исчезали, скрывались, устраивали засады. Какие подлецы! Какие трусы! Сами испанцы были с этим вполне согласны. Как говорил один из их ветеранов, «мы не обезьяны, чтобы сражаться на деревьях». Тем не менее весьма возможно, что у этих старых вояк, сидевших за линиями укреплений, не вызывало неудовольствия то, что они пребывали под защитой бдительности исключительных по своим достоинствам часовых и проворства эффективных вольных отрядов, непревзойденных мастеров войны мелких стычек, той, что именовали *лесной войной (guerra do matto)* или, еще более живописно, *летучей войной (guerra volante)*.

Однако в 1640 г. Португалия восстала против Испании. В итоге произошло разделение двух корон. На Пиренейском полуострове, между Лисабоном и Мадридом, разгорелась Тридцатилетняя, или почти тридцатилетняя, война: она продлится до 1668 г. Разумеется, Бразилия лишилась прикрытия испанского флота. Значит, не было больше ветеранов, не стало снабжения дорогостоящим снаряжением. С бразильской стороны война отныне могла быть только *летучей войной*, той, которая подходила для бедняков и которая, вопреки всем разумным прогнозам, в конечном счете в 1654 г. одержит верх над терпением голландцев, правда, тогда, когда Соединенные Провинции втянуться в первую свою войну с Англией и тем самым окажутся ужасно ослаблены с военной точки зрения. К тому же у Португалии достало благоразумия заплатить дорогую цену

(поставками соли) за мир, до которого наконец было рукой подать.

Труд Эвалду Кабрала ди Меллу придает некоторое правдоподобие сохраняющейся традиции, согласно которой Гарибальди, во времена своей молодости ввязавшийся в приключения бразильской войны (на сей раз в 1838 г., по случаю восстания «*фаррапус*» — «оборванцев»), якобы научился там секретам необычной войны: собраться в одном месте, идя десятью разными дорогами, нанести сильный удар, а затем снова рассеяться, сколь возможно быстро и бесшумно, чтобы атаковать в другом месте. Именно такую войну он будет вести в Сицилии в 1860 г. после высадки «Тысячи»[92]. Но *лесная война* характерна была не для одной Бразилии. Партизанская война существует еще и сегодня, и читатель сам вспомнит недавние ее примеры. Гарибальди мог бы научиться ей и не в Бразилии. Во французской Канаде во времена войн с Англией один офицер регулярных войск сурово осуждал войну из засад, что вели его соотечественники, франкоканадцы, подстерегая врага, как подстерегают крупную дичь. «Это не война,— говорил он,— это убийство!»[93]

Напротив, в Европе, поблизости от центральных областей, войны проходили с большим шумом, с развертыванием войск, упорядоченно передвигавшихся по правилам военной науки. В XVII в. то была по преимуществу осадная война, война с артиллерией, тыловым обеспечением, в сомкнутом строю... В целом — война дорогостоящая, прорва. Государства слишком незначительных размеров изнемогали под ее бременем, особенно города-государства, сколь бы экономны они ни были со своими складами оружия и продуманным рекрутированием наемников. Если новое государство росло, если в нем поселялся современный капитализм, то орудием этого зачастую бывала война: *война всему отец (bellum omnium pater)*. Тем не менее в этой войне еще не было ничего от войны тотальной: пленных обменивали, богачей выкупали, операции бывали в большей степени искусными, нежели смертоносными. Англичанин Роджер Бойл, граф Оррери[94], без обиняков заявил в 1677 г.: «Мы ведем войны скорее как лисицы, чем как львы, и на двадцать осад приходится одно сражение». Война беспощадная начнется лишь с Фридриха II или, еще вернее, с войн Революции и Империи.

Важнейшим правилом такой войны на верхнем этаже было настойчивое перенесение боев на земли соседа, самого слабого или наименее сильного. Если вследствие ответного удара война возвращалась в святая святых — прощай превосходство! Из этого правила мало было исключений: Итальянские войны завершили отступление [Апеннинского] полуострова, до того доминировавшего. Голландия в 1672 г. ускользнула от Людовика XIV — честь ей и хвала! Но в 1795 г. она не спаслась от кавалерии Пишегрю*; и с этого времени она уже не была больше сердцем Европы. Ни в XIX, ни в XX в. никакой враг не пересек Ла-Манш или Северное море. Блистательная Англия вела свои войны издалека, спасаемая островным положением и размерами субсидий, которые она раздавала своим союзникам. Ибо

[92] По этому поводу я вел переписку с профессором Крус Костой из университета Сан-Паулу.

[93] О введении штыка см.: Nef J. U. *La Guerre et le progrès humain*. 1954, p. 330—333.

[94] Цит. в: Nef J. U. *Op. cit.*, p. 24.

* Пишегрю Шарль (1761—1804) — французский генерал, в 1794—1795 гг. успешно руководил боевыми действиями в Голландии; впоследствии участник неудачного заговора против Наполеона.— *Прим. перев.*

ежели вы сильны, то война достается на долю ближнего. Во времена Булонского лагеря английские субсидии были выделены Австрии, и Великая армия как по команде обратилась в сторону Дуная.

ОБЩЕСТВА И МИР-ЭКОНОМИКА

Общества эволюционировали очень медленно, и именно это в конечном счете благоприятствует наблюдениям историка. Китай всегда имел свою систему мандаринов; избавится ли он от нее когда-нибудь? В Индии еще существуют касты, а Могольская империя до последних своих дней имела *джагирдаров*, в общем близких родственников турецких *сипахи**. Даже западное общество, самое мобильное из всех, и то развивалось замедленно. Английское общество, которое в XVIII в. не переставало удивлять европейца, приехавшего с континента, как и ныне историка-неангличанина (я об этом говорю по опыту), стало обрисовываться начиная с войны Алой и Белой розы, тремя столетиями раньше. Рабство, которое Европа заново изобрела для колониальной Америки, исчезло в США только в 1865 г., а в Бразилии — в 1888 г., т.е. вчера.

Говоря в общем, я не верю в быстрые социальные перемены, в неожиданные развязки. Даже революции не бывают полным разрывом [с прошлым]. Что же касается социальной мобильности, то она активизировалась с экономическими подъемами, однако же буржуазия никогда не повышала свой социальный статус в большой массе, ибо процент привилегированных по отношению ко всему населению оставался ограниченным. А при плохой конъюнктуре высший класс замыкался; и очень ловок должен был быть тот, кому удавалось прорваться через его двери. Именно это произошло во Франции в 90-е годы XVI в. Или, если взять ограниченный пример, в крохотной республике Лукка в 1628—1629 гг.[95] Дело в том, что государство в противоположность тому, что зачастую утверждают, лишь с перерывами способствовало возвышению буржуазии, и тогда только, когда это бывало ему необходимо. И если бы малочисленные ряды господствующих классов не обнаруживали с годами тенденции к поредению, социальная мобильность действовала бы еще более замедленно, хотя во Франции, как и в других странах, «третье сословие всегда желает подражать дворянству, до коего оно постоянно стремится возвыситься, *прилагая к тому невероятные усилия*»[96]. Так как социальная мобильность была затруднена и ее жаждали долго, то естественно, что новые избранники, всегда немногочисленные, часто делали лишь то, что укрепляло существовавший порядок. Даже в небольших городках области Марке, контролировавшейся Папским государством, немногочисленное дворянство, ревниво оберегавшее свои прерогативы, допускало лишь медленную интеграцию, которая никогда не ставила под угрозу существовавший социальный порядок[97].

Значит, ничего нет удивительного в том, что социальный материал, который отливался в рамках мира-экономики, в кон-

* *Джагирдары* и *сипахи* — рядовые конные воины, получавшие наделы в качестве кормления на условиях несения военной службы.— *Прим. перев.*

[95] Villani P. *La società italiana nei secoli XVI e XVII.* — *Ricerche storiche ed economiche in memoria di C. Barbagallo.* 1970, I, p. 255.

[96] D'Arcq Ph. A. *La Noblesse militaire.* 1766, p. 75—76.— *Курсив мой.*

[97] Zanobi B. G.— В кн.: Anselmi S. *Economia e Società: le Marche tra XV et XX secolo.* 1978, p. 102.

це концов, по-видимому, приспосабливался к нему надолго, отвердевал и образовывал с ним одно целое. У него всегда хватало времени приспособиться к обстоятельствам, которые его стесняли, и приспособить обстоятельства для поддержания своего равновесия. Так что повернуть круг означало синхронно переходить по всему миру-экономике от наемного труда к крепостному состоянию и рабству — и так на протяжении нескольких веков. Социальный порядок постоянно строился довольно однообразно, в согласии с базовыми экономическими потребностями. Всякая задача, единожды поставленная международным разделением труда, порождала свой вид контроля, и контроль этот соединял общество, руководил им. В центре экономики к концу XVIII в. Англия была страной, где наемный труд пронизывал одновременно и деревню и городские виды деятельности; вскоре он охватит все. На континенте наемный труд своим большим или меньшим распространением служил мерилом достигнутого уровня современности, но оставались многочисленные независимые ремесленники; еще заметное место занимал издольщик, он был плодом компромисса между арендатором и крепостным былых времен: в революционной Франции было множество мельчайших собственников-крестьян... Наконец, крепостничество, растение живучее, охватывало вторично феодализированную Восточную Европу, как и турецкие Балканы. А рабство в XVI в. совершило свое сенсационное вторжение в Новый Свет, как будто там все должно было начаться с нуля. Всякий раз общество отвечало таким образом на разные экономические нужды и оказывалось заперто в них самим своим приспособлением, будучи неспособным быстро выйти за пределы однажды найденных решений. И если тогда в зависимости от места оно бывало тем или иным, так это потому, что оно представляло *единственное* или *одно* из возможных решений, «лучше всего приспособленное (при прочих равных) к специфическим типам производства, с которыми оно сталкивалось» [98].

Само собой разумеется, в таком приспособлении социального к экономическому не было ничего механического или автоматического, имелись общие императивы, но существовали и отклонения и вольности, заметные различия в зависимости от культуры и даже от географического окружения. Никакая схема не совпадала с реальностью целиком и совершенно. Я несколько раз привлекал внимание к образцовому случаю Венесуэлы [99]. С европейским завоеванием там все начиналось почти с нуля. В этой обширной стране в середине XVI в. насчитывалось, быть может, 2 тыс. белых и 18 тыс. коренных жителей. Добыча жемчуга на побережье продолжалась лишь несколько десятилетий. Разработка рудных месторождений, в частности золотых россыпей в Яракуе, повела к первой рабовладельческой интермедии: использованию индейцев-военнопленных и немногочисленных привезенных негров. Первым успехом была удача животноводства, в особенности в обширных *льянос* внутренних областей, где немногие белые, земельные собственники и сеньеры, и конные пастухи-индейцы образовали примитивное общество феодального облика. Позднее, особенно в

[98] Wallerstein I. *Op. cit.*, p. 87.

[99] Brito Figueroa F. *Historia económica y social de Venezuela*, I, 1966, passim.

XVIII в., плантации какао в прибрежной зоне вновь потребовали использования привозных черных невольников. Стало быть, существовали две Венесуэлы: одна «феодальная», другая — «рабовладельческая», и первая из них развилась раньше второй. Заметим, однако, что в XVIII в. сравнительно многочисленные черные невольники были включены в *гасиенды,* располагавшиеся в *льянос.* Заметим также, что венесуэльское колониальное общество с его развивавшимися городами и его институтами не укладывалось целиком в две эти схемы и даже весьма от них отличалось.

Может быть, стоит настоятельно подчеркнуть само собою очевидные факты. На мой взгляд, все [социальные] подразделения, все «модели», анализируемые историками и социологами, очень рано присутствуют в лежащей перед нашим взором социальной выборке. Одновременно существовали классы, касты (подразумевая под этим замкнутые в себе группы), «сословия», которым обычно покровительствовало государство. Классовая борьба то тут, то там вспыхивала очень рано и утихала лишь затем, чтобы разгореться вновь. Ибо не существует общества без наличия в нем конфликтующих сил. И не бывало также общества без иерархии, т.е. в общем без принуждения образующих общество масс к покорности и к труду. Рабство, крепостничество, наемный труд были историческими решениями, социально различными, некой универсальной задачи, остававшейся в своей основе одной и той же. От случая к случаю возможны даже сравнения, неважно — верные или неверные, легковесные или глубокие! «Дворня большого барина в Ливо-

Домашнее рабство в Бразилии (илл. из кн.: Debret J.-B. *Voyage pittoresque*..., 1834. *Фото Национальной библиотеки*).



нии,— писал в 1793 г. Макартни,— или негры, кои служат в доме ямайского колониста, хоть они сами и рабы, считают себя намного выше (первые) крестьян, а вторые — выше негров, что работают на земле» [100]. Около того же времени Бодри де Лозьер, объявляя войну «крайним негрофилам», дошел до утверждения, будто «в сущности слово «раб» обозначает в колониях лишь неимущий класс, каковой сама природа, кажется, создала специально для работы; [но ведь] сие тот класс, каковой покрывает большую часть Европы. В колониях невольник живет трудом и всегда находит прибыльную работу; в Европе же несчастный не всегда находит, чем заняться, и умирает от нищеты... Пусть назовут в колониях несчастного, который бы умер от нужды, который был бы принужден наполнять изголодавшийся желудок травами или которого бы голод заставил наложить на себя руки! В Европе можно назвать многих, что погибли из-за отсутствия пищи...» [101].

[100] Macartney G. *Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie, fait dans les années 1792, 1793 et 1794...*, II, p. 73.

[101] Baudry des Lozières L.-N. *Voyage à la Louisiane et sur le continent de l'Amérique septentrionale fait dans les années 1794—1798.* 1802, p. 10.

Тут мы оказываемся в самом сердце проблемы. Социальные способы эксплуатации сменяли один другой, в общем и целом дополняли друг друга. То, что возможно было в центре мира-экономики благодаря избытку людей, обилию сделок и монеты, на разных перифериях протекало отнюдь не таким же образом. От одного пункта экономической «территории» к другому в целом наблюдался исторический регресс. Но я боюсь, что нынешняя система с необходимыми поправками все еще вышивает свои узоры на канве структурных неравенств, возникших из исторического отставания. Долгое время центральные области выкачивали людей со своих окраин: последние были излюбленной зоной набора рабов. Откуда берутся ныне неквалифицированные рабочие индустриальных зон Европы, США или СССР?

По мнению Иммануэля Валлерстайна, матрица мира-экономики в ее социальном выражении показывает, что наличествовало сосуществование нескольких «способов производства», от рабовладельческого до капитализма, что последний не мог жить иначе, как в окружении других, им в ущерб. Роза Люксембург была права.

Вот что укрепляет меня во мнении, которое мало-помалу заставило меня себя признать: капитализм прежде всего предполагает некоторую иерархию, он ставит себя на вершину такой иерархии, будь она создана им самим или нет. Там, где он вмешивается лишь на последнем этапе, капитализму достаточно промежуточного звена — чуждой, но потворствующей ему социальной иерархии, которая продолжает и облегчает его действия. Польский магнат, заинтересованный в гданьском рынке, хозяин *энженьо* на бразильском Северо-Востоке, связанный с купцами Лисабона, Порту или Амстердама, ямайский плантатор, связанный с лондонскими купцами,— и вот уже связь установлена, поток движется. Такие промежуточные звенья, вполне очевидно, зависят от капитализма, они даже составляют его неотъемлемую часть. В иных местах капитализм с помощью «передовых» центра, этих своих «антенн», сам внедрялся в цепочку, что вела от производства к крупной торговле,— не ради того, чтобы взять на себя полную ответствен-

ность за нее, но чтобы обосноваться в стратегических пунктах, контролировавших ключевые секторы накопления. Уж не потому ли, что такая цепь, которую отличала жестокая иерархия, непрестанно разворачивала свои звенья, что социальная эволюция, связанная со всей совокупностью [мира-экономики], оказалась столь медленной? Или же, что одно и то же, из-за того, как предполагает Питер Ласлетт, что большая часть обычных экономических задач была тяжкой, грубо взваленной на людские плечи[102]. И что постоянно находились привилегированные (по разным критериям), готовые избавиться от таких тяжких трудов, необходимых для жизни всех, переложив их на плечи ближнего.

[102] Laslett P. *Un Monde que nous avons perdu.* 1969, p. 40 f.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОРЯДОК

Культуры (или цивилизации: два этих слова, что бы там ни говорили, в большинстве случаев могут употребляться как взаимозаменяемые) тоже были порядком, организовывавшим пространство, на тех же основаниях, что и экономики. Если они совпадали с последними (в особенности потому, что мир-экономика *как целое* на всем его протяжении *обнаруживал тенденцию к тому*, чтобы иметь одну и ту же культуру, по крайней мере определенные элементы одной и той же культуры, в противовес соседним мирам-экономикам), то они и отличались от них: карты культурные не совпадают просто так с картами экономическими, и это довольно логично. Не объяснялось ли это тем, что культура вела свое происхождение из нескончаемого прошлого, которое превосходило, и намного, саму по себе впечатляющую долговечность миров-экономик. Она — самый древний персонаж человеческой истории: экономики сменяли одна другую, политические институты рушились, общества следовали одно за другим, но цивилизация продолжала свой путь. Рим рухнул в V в. н.э., но римская церковь продолжает его до наших дней. Индуизм, снова поднявшийся против ислама в XVIII в., открыл брешь, в которую проникло английское завоевание, но борьба между двумя цивилизациями и сегодня перед нашими глазами, со всеми ее последствиями, тогда как Индийская империя Англии не существует уже больше трети столетия. Цивилизация — это старец, патриарх мировой истории.

В сердце любой цивилизации утверждаются религиозные ценности. Это реальность, идущая издалека, очень издалека. Если в средние века и позднее церковь боролась с ростовщичеством и с наступлением денег, так это потому, что она представляла давно минувшую эпоху, куда более давнюю, чем капитализм, эпоху, для которой новшества были непереносимы. Тем не менее религиозная реальность не составляет сама по себе всей культуры, которая охватывает также дух, стиль жизни (во всех значениях этого термина), литературу, искусство, идеологию, самосознание... Культура создана из множества богатств, материальных и духовных.

И как бы для того, чтобы все усложнить, культура одновре-

менно является обществом, политикой, экономической экспансией. То, в чем не достигает успеха общество, удается культуре; то, что экономике пришлось бы делать самой, культура ограничивала в возможности и т.д. К тому же не существовало ни одной легко различимой культурной границы, которая не была бы доказательством множества завершившихся процессов. В хронологических рамках настоящей книги граница по Рейну и Дунаю была границей культурной по преимуществу: с одной стороны — старая христианская Европа, с другой — некая «христианская периферия», завоеванная ближе к нашему времени. Но ведь когда наступила Реформация, линия Рейн — Дунай оказалась примерной линией разрыва, вдоль которой стабилизировалось разъединение христианства: по одну сторону протестанты, по другую — католики. И то была также очевидная древняя граница, древний *limes* Римской империи. Немало иных примеров говорило бы аналогичным языком — ну хотя бы распространение романского искусства и искусства готического, которые оба, с исключениями, подтверждающими правило, свидетельствуют о нараставшем культурном единстве Запада — в действительности мира-культуры, мира-цивилизации.

По необходимости мир-цивилизация, мир-экономика могли присоединиться один к другому и даже друг другу способствовать. Завоевание Нового Света — это была также и экспансия европейской цивилизации во всех ее формах, поддерживавшая и гарантировавшая экспансию колониальную. В самой Европе культурное единство благоприятствовало экономическим обменам, и наоборот. Первое появление готики в Италии, в городе Сиене, было прямым заимствованием крупных сиенских купцов, посещавших ярмарки Шампани. Оно повлечет за собой перестройку всех фасадов домов на большой центральной площади города. Марк Блок видел в культурном единстве христианской Европы в средние века одну из причин ее «проницаемости», ее способности к обменам, что останется верным и куда позднее средневековья.

Так, вексель, главное оружие торгового капитализма Запада, обращался почти исключительно в пределах христианского мира еще в XVIII в., не переходя эти пределы в направлении мира ислама, Московской Руси или Дальнего Востока. Конечно, в XV в. существовали генуэзские векселя на рынки Северной Африки, но подписывал их какой-либо генуэзец или итальянец, а в Оране, Тлемсене или в Тунисе их принимал крупный купец-христианин [103]. Таким образом, вексель оставался между своими. Точно так же в XVIII в. выплаты по векселю, выписанному в Батавии [104], либо в английской Индии, либо на Иль-де-Франсе [105], оставались операциями между европейцами; они стояли у обоих концов плавания. Существовали венецианские векселя на Левант, но чаще всего они выписывались *на* венецианского представителя (*baile*) в Константинополе или *им* подписывались [106]. Не оставаться в кругу своих, в кругу купцов, руководствовавшихся теми же принципами и подчинявшихся той же юрисдикции, означало бы рисковать сверх меры. Тем не менее речь здесь шла не о техническом препятствии, а скорее о культурном неприятии, поскольку за пределами Запада суще-

[103] Braudel F. *Médit*..., 1966, I, p. 426.
[104] См. том 2 настоящего труда, с. 135.
[105] Там же.
[106] A. d. S. Venezia, Senato Zecca, 42, 20 июля 1639 г.

ствовали плотные и эффективные кругообороты векселей, к выгоде купцов мусульманских, армянских или индийских. И эти кругообороты в свою очередь останавливались у границ соответствующих культур. Тавернье объяснял, как можно перевозить деньги с рынка на рынок посредством сменявших друг друга векселей *бания*, от любого рынка Индии до самого средиземноморского Леванта. То был последний перевалочный этап. Здесь соединяли свои границы и свои противодействия миры-цивилизации и миры-экономики.

Зато *внутри* всякого мира-экономики нанесенные на карту культура и экономика могут сильно расходиться, порой и противоречить одна другой. Весьма наглядно демонстрирует это «центровка» зон экономических и зон культурных. В XIII, XIV, XV вв. отнюдь не Венеция и не Генуя, царицы торговли, диктовали свои законы цивилизации Запада. Тон задавала Флоренция: она создала, положила начало Возрождению; одновременно она навязала свой диалект — тосканский — итальянской литературе. Столь живой венецианский диалект, *априори* способный на подобное завоевание, даже не предпринял таких попыток в этой сфере. Потому ли что город, победоносный в экономике, или же явно господствовавшее государство не могли бы владеть всем сразу? В XVII в. восторжествовал Амстердам, но центром барокко, которое захлестнуло Европу, был на сей раз Рим, в крайнем случае — Мадрид. В XVIII в. не в большей степени получил культурное преобладание и Лондон. Аббат Леблан, находившийся в Англии в 1733—1740 гг., говоря о Кри-

Подражание Версалю в Европе XVIII в
Эта карта многочисленных копий Версаля — от Англии до России и от Швеции до королевства Неаполитанского — показывает меру французского культурного первенства по всей Европе эпохи Просвещения. (По данным кн.: Réau L. *L'Europe française au Siècle des Lumières*. 1938, p. 279.)



[107] Abbé Le Blanc J.-B. *Lettres d'un François.* 1745, II, p. 42.
[108] *Ibid.*, p. 43.
[109] *Ibid.*, p. 1.

стофере Рене [107], архитекторе, построившем собор св. Павла в Лондоне, заметил: «Что до пропорций, каковые [тот] выдержал дурно, то он лишь свел план римского собора св. Петра до двух третей его величины». Затем следуют отнюдь не восторженные комментарии по поводу английских сельских домов, которые были «тоже в итальянском вкусе, но вкус сей не всегда верно выдержан» [108]. В этом XVIII в. в еще большей мере, чем итальянской культурой, Англия была пронизана вкладом Франции, с ее блистательной культурой,за которой признавали первенство мысли, искусства и моды (вне сомнения, дабы утешить ее в том, что она не владела миром). «Англичанам довольно нравится наш язык, чтобы получать удовольствие, читая по-французски даже Цицерона» [109], — писал опять же аббат Леблан. И раздраженный тем, что ему прожужжали уши напоминаниями о числе французских слуг, работавших в Лондоне, он наносит ответный удар: «Ежели вы находите в Лондоне столько французов, дабы



Престиж Франции и Венеции в XVIII в.: в Нимфенбурге, баварском Версале, в 1746 г. в празднестве участвовали гондолы на венецианский манер. *Замок Нимфенбург, Мюнхен. Фото издательства А. Колэн.*

вам услужать, так сие потому, что ваши люди охвачены манией одеваться, завиваться и пудриться, как мы. Они упрямо следуют нашим модам и дорого оплачивают тех, кто обучает их, как наряжаться наподобие наших жеманниц»[110]. Таким образом, Лондон, находившийся в центре мира, невзирая на блеск собственной культуры, множил уступки Франции и заимствования у нее в этой сфере. Не всегда, впрочем, охотно, так как нам известно о существовании около 1770 г. общества *Антигалликан*, «чьим первейшим желанием служит не пользоваться в одежде никакими изделиями французского производства»[111]. Но что могло сделать одно общество наперекор развитию моды? Англия, вознесенная своим прогрессом, не подорвала интеллектуальное господство Парижа, и вся Европа до самой Москвы способствовала тому, чтобы французский стал языком аристократических кругов и средством выражения европейской мысли. Точно так же в конце XIX — начале XX в. Франция, которая во многом плелась в хвосте у Европы экономической, была бесспорным центром литературы и живописи Запада. Музыкальное первенство Италии, а затем Германии отмечалось в эпохи, когда ни Италия, ни Германия не доминировали в Европе экономически. И даже еще и сегодня громадный экономический рынок Соединенных Штатов не поставил их во главе литературного или художественного мира.

[110] *Ibid.*, III, p. 68.
[111] Accarias de Serionne J. *La Richesse de l'Angleterre*. 1771, p. 61.

Тем не менее техника (хотя и необязательно наука) издавна развивалась избирательно в господствующих зонах экономического мира. Голландия, а затем Англия унаследовали эту двойную привилегию. Сегодня она принадлежит США. Но техника была, быть может, только телом, но не душой цивилизаций. Логично было, что ей благоприятствовала промышленная активность и высокая заработная плата в самых передовых зонах экономики. Зато наука, быть может, не является привилегией какой-то одной нации. По крайней мере так было еще вчера. Сегодня я бы в этом усомнился.

МАТРИЦА МИРА-ЭКОНОМИКИ ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМА

Матрица, какую предлагает Валлерстайн и которую мы представили в ее общих чертах и главных аспектах, вызвала после своего появления в 1975 г. похвалы и критику, как любые тезисы, имеющие определенный резонанс. Искали и нашли больше ее предшественников, чем можно было вообразить. Матрице нашли множество применений и следствий: даже национальные экономики воспроизводят общую схему, они усеяны, окружены областями автаркической экономики; можно было бы сказать, что мир усеян «периферии́ями», понимая под этим выражением страны, зоны, пояса слаборазвитых экономик. В суженных рамках таких матриц, прилагаемых к мерным «национальным» пространствам, можно было бы найти примеры, находящиеся в очевидном противоречии с общим тезисом[112], к примеру Шотландию, «периферию» Англии, которая в конце XVIII в. двинулась вперед, начала экономический рывок. Мож-

[112] Последующие дискуссии [Смаута (Smout) по поводу Шотландии, Г. Келленбенца (Kellenbenz H.) и П. Бэроша (Bairoch P.)] развернулись в 1978 г. во время Недели Прато.

но было бы предпочесть, в том что касается неудачи имперской политики Карла V в 1557 г., мое объяснение объяснению Валлерстайна или даже поставить ему в упрек (что я и сделал в смягченной форме) недостаточное внимание к иным реальностям, нежели реальности экономического порядка, при взгляде сквозь ячейки его матрицы. Поскольку за первой книгой Валлерстайна должны последовать три другие, причем вторая, из которой я прочел ряд прекрасных страниц, завершается, а две последние книги доведут изложение до современной эпохи, у нас есть время еще раз вернуться и обсудить обоснованность, новые черты и пределы систематического, возможно, чересчур систематического, но оказавшегося плодотворным взгляда на проблему.

И именно этот успех важно подчеркнуть. То, каким образом неравенство мира дает представление о натиске, об укоренении капитализма, объясняет, что центральная зона оказывается выше самой себя, во главе любого возможного прогресса; что история мира — это кортеж, процессия, сосуществование способов производства, которые мы слишком склонны рассматривать последовательно, в связи с разными эпохами истории. На самом деле эти способы производства сцеплены друг с другом. Самые передовые зависят от самых отсталых, и наоборот: развитие — это другая сторона слаборазвитости.

Иммануэль Валлерстайн рассказывает, что к объяснению мира-экономики он пришел в поисках наиболее протяженной, однако остающейся достаточно связной единицы измерения. Но вполне очевидно, что в борьбе с историей, какую ведет этот социолог, да к тому же еще и африканист, его задача не была решена. Разделить в соответствии с пространством — это необходимость. Но нужна также и временна́я единица отсчета. Ибо в европейском пространстве сменили друг друга несколько миров-экономик. Или, вернее, европейский мир-экономика после XIII в. несколько раз менял свою форму, перемещал свой центр, пересматривал свои периферийные области. Так не следует ли задаться вопросом: какова была для заданного мира-экономики самая продолжительная временная единица отсчета, которая, несмотря на свою длительность и многочисленные порожденные временем изменения, сохраняла бы несомненную связность? В самом деле, без связности нет меры, идет ли речь о пространстве или о времени.

МИР-ЭКОНОМИКА ПЕРЕД ЛИЦОМ ЧЛЕНЕНИЙ ВРЕМЕНИ

Время, как и пространство, может делиться. Проблема будет заключаться в том, чтобы таким членением, в котором большие мастера историки, лучше разместить хронологически и лучше понять те исторические чудовища, какими были мирыэкономики. Задача на самом деле нелегкая, ибо для последних на протяжении их долгой истории можно использовать лишь

приблизительные даты: такая-то экспансия может быть фиксирована с точностью примерно в десять или двадцать лет; такое-то формирование центра или перемещение его требует для своего завершения больше столетия. Бомбей, уступленный португальским правительством англичанам в 1665 г., ожидал больше века, чтобы сменить торговый рынок в Сурате, вокруг которого долгие годы вращалась экономическая активность Западной Индии [113]. Следовательно, перед нами замедленные истории, путешествия, бесконечно долго совершающиеся и столь бедные показательными случайностями, что существует риск неверно воссоздать их продвижение. Такие огромные, почти неподвижные тела бросают вызов времени: история тратила столетия на их создание и их разрушение.

[113] Das Gupta A. *Trade and Politics in 18th Century India*, p. 206.

Другая трудность: нам предлагает и навязывает свои услуги история конъюнктур, ибо она единственное, что может осветить наш путь. Но ведь она интересуется куда более краткими движениями и периодами, нежели длительные флуктуации и колебания, которые и есть тот «индикатор», в каком мы нуждаемся. И значит, нам понадобится при предварительном объяснении преодолеть эти краткосрочные движения, которые, впрочем, легче всего заметить и истолковать.

КОНЪЮНКТУРНЫЕ РИТМЫ

Около пятидесяти лет назад гуманитарные науки открыли ту истину, что вся жизнь людей подвержена флуктуациям, колеблется по прихоти бесконечно возобновляющихся *периодических* движений. Эти движения, согласованные и находящиеся в конфликте между собой, напоминают вибрирующие веревочки или полоски, с которых начиналось наше учение в школе. С 1923 г. Ж. Буске говорил: «Разные аспекты социального движения [имеют] волнообразную форму, ритмичную, не неизменную или регулярно изменяющуюся, а с такими периодами, когда [их] интенсивность уменьшается или возрастает» [114]. Под «социальным движением» следует понимать все движения, которые приводят какое-либо общество в движение; совокупность таких движений образует *конъюнктуру* или, лучше сказать, *конъюнктуры*. Ибо существует множество конъюнктур, затрагивающих экономику, политику, демографию, но в такой же мере — и самосознание, коллективное мышление, преступность с ее подъмами и спадами, сменяющие друг друга художественные школы, литературные течения, саму моду (моду в одежде, столь быстротечную на Западе, что она принадлежит к сугубо случайным явлениям). Серьезно изучалась только экономическая конъюнктура, если она вообще не была доведена до окончательных выводов. История коньюнктур, таким образом, очень сложна и неполна. И мы отметим это при завершении труда.

[114] Bousquet G. H. *Précis de sociologie d'après W. Pareto*. 2e éd., 1971, p. 172.

Пока что займемся одной лишь экономической конъюнктурой, особенно конъюнктурой цен, с которой начались громадные исследования. Их теория была выработана экономистами к 1929—1932 гг. на основе современных данных. Историки пошли по их стопам: мало-помалу благодаря им освещение мате-

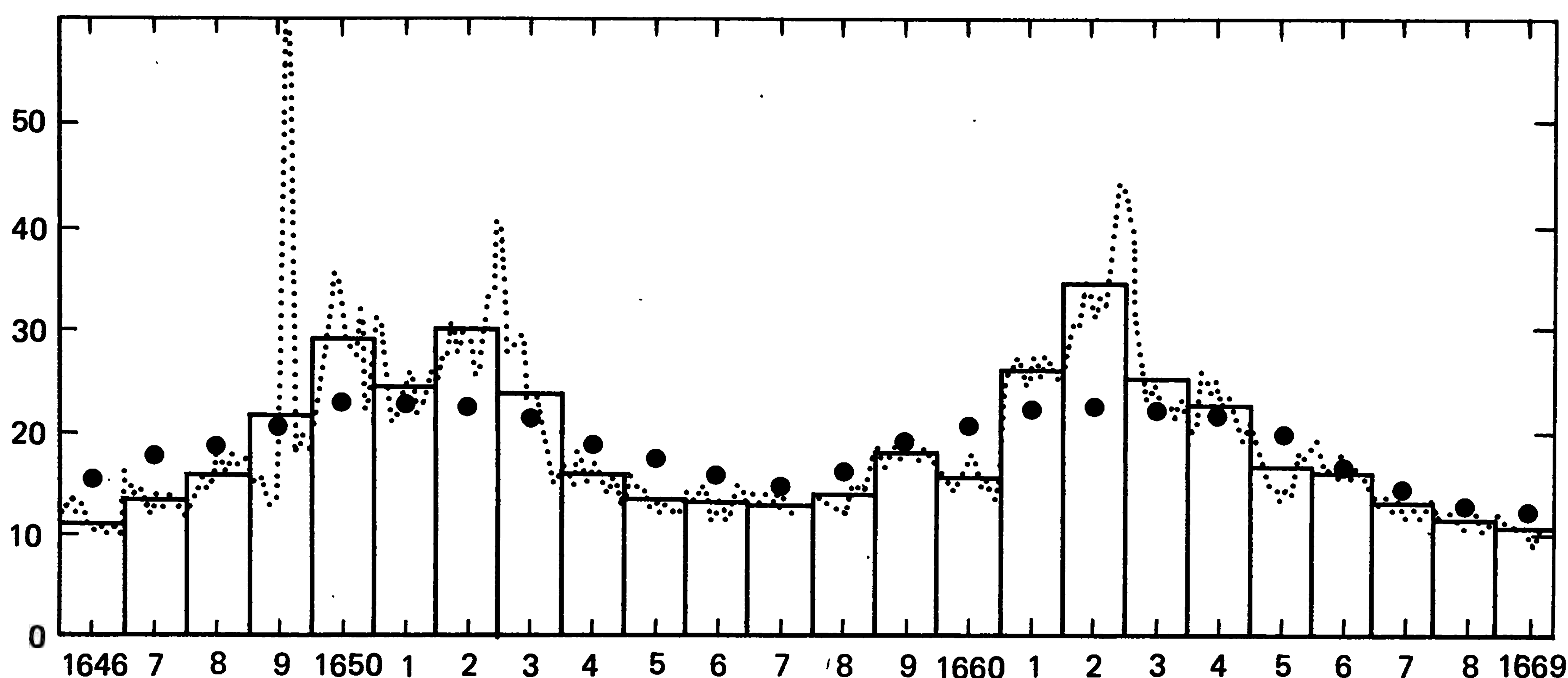
риала широко продвигалось навстречу времени. Были выработаны понятия, знания, целый язык. Колеблющееся движение всей совокупности было разделено на отдельные движения, из которых каждое отличалось своей «заставкой», своим периодом, своим событийным значением [115].

Сезонные движения, которые при случае еще играют свою роль (как во время летней засухи 1976 г.), обычно тонут в наших густонаселенных экономиках сегодняшнего дня. Но некогда они не были такими сглаженными — совсем наоборот. За несколько месяцев неурожаи или нехватки продовольствия могли создавать инфляцию, сравнимую с революцией цен XVI в. во всей ее совокупности. Для бедняков это означало жить сколь возможно скудно вплоть до нового урожая. Единственным преимуществом такого движения было то, что оно быстро миновало. Как говорил Витольд Куля, после грозы польский крестьянин снова вылезал из своей раковины наподобие улитки [116].

Другие движения, которые предпочитают называть *циклами*, предполагают куда большую продолжительность. Для различения циклов они были названы по именам экономистов: цикл *Китчина* — это краткий, трех-четырехлетний цикл; цикл *Жюглара,* или цикл, укладывающийся в рамки десятилетия (то был камень преткновения для экономики Старого порядка), длился 6—8 лет; цикл *Лабруса* (его также именуют *интерциклом* или *междесятилетним циклом*) продолжался 10—12 лет и даже больше; он охватывал нисходящую ветвь Жюглара (т.е. длящуюся 3—4 года) и завершенный Жюглар, которому не удалось движение по восходящей и который вследствие этого остался на прежнем уровне. То есть в целом — полу-Жюглар, а затем полный Жюглар. Классический пример цикла Лабруса — интерцикл, наложивший печать своих депрессий и застоя на период с 1778 по 1791 г., накануне Французской революции, в развязывание которой он определенно внес свой вклад. Что касается гиперцикла, или цикла *Кузнеца* (удвоенного цикла Жюглара), то он длился бы два десятка лет. Цикл *Кондратьева* [117] занимал полстолетия или больше того: так, цикл Кондратьева начался в 1791 г., достиг кульминации к 1817 г. и находился на спаде до 1851 г., почти до самого момента возникновения во Франции Второй империи (1852—1870 гг.). Наконец, не существует более длительного циклического движения, чем *вековая тенденция (trend)*, которая на самом деле столь мало изучена и к которой я скоро вернусь, чтобы рассмотреть ее более тщательно. До тех пор пока она не будет досконально изучена, пока она не будет воссоздана во всем своем значении, история конъюнктур останется ужасающе неполной, несмотря на множество трудов, вдохновленных ею.

Разумеется, все эти циклы были современниками друг друга, были синхронны: они сосуществовали, смешивались, добавляли свои движения к колебаниям целого или отделялись от него. Но посредством технически простых приемов можно разделить глобальное движение на движения частные, пренебречь теми или иными из них ради единственного преимущества: выделить избранное движение, на которое вы хотите пролить свет.

[115] Imbert G. *Des Mouvements de longue durée Kondratieff.* 1959.
[116] Kula W. *Théorie économique du système féodal: pour un modèle de l'économie polonaise.* 1970, p. 48.
[117] См. недавнее обсуждение цикла Кондратьева в: Rostow W.W. *Kondratieff, Schumpeter and Kuznets: Trend Periods Revisited.*— «*The Journal of Economic History*», 1975, p. 719—753.



Как разложить цены на разные движения
На этом графике наложены друг на друга три разные [кривые] отмеченных цен сетье пшеницы на парижском Центральном рынке:
пунктир — движение по месяцам; довольно спокойная в нормальный год, кривая стремительно взлетает вверх во времена неурожая и трудностей в удовлетворении спроса;
сплошная черта — ступенчатое движение годовых средних величин, вычисленных за год от урожая до урожая (август — июль):
чередование плохих лет (с 1648—1649 гг. по 1652—1653 гг.; Фронда, 1661—1662 гг.; восшествие на престол Людовика XIV) и хороших урожаев;
крупные точки — циклические движения (с 1645—1646 гг. по 1655—1656 гг. и с 1656—1657 гг. по 1668—1669 гг.),
рассчитанные по средним подвижным величинам за семилетний период.
Переход к таким широким циклическим движениям включает флуктуации цен в изменения вековой тенденции.

С самого начала решающая проблема состоит в том, чтобы узнать, существовали или нет в старинных доиндустриальных экономиках эти циклы, обнаруженные наблюдениями *современных* экономистов. Существовал ли, например, цикл Кондратьева до 1791 г.? Один историк не без лукавства заявляет нам, что, ежели искать ранее XIX в. ту или другую форму цикла, ее почти наверняка найдешь [118]. Предостережение это полезно, если только не заблуждаться относительно значения ставок в игре. Если действительно нынешние циклы достаточно похожи на циклы вчерашние, намечается определенная преемственность между экономиками старинными и экономиками новыми: в этом случае могли действовать те же правила, какие мы обнаруживаем в современном опыте. А если спектр флуктуаций развертывается по-иному, если эти последние по-другому воздействовали одни на другие, тогда можно было бы наблюдать знаменательную эволюцию. Так что я не думаю, чтобы обнаружение Пьером Шоню циклов Китчина в торговле севильского порта в XVI в. — малозначащая деталь [119]. Или же что циклы Кондратьева, что прослеживаются один за другим по кривым движения цен на зерно и на хлеб в Кёльне [120] с 1368 по 1797 г., не дают решающего свидетельства об этой первостепенной важности проблеме преемственности.

[118] Brulez W. *Séville et l'Atlantique: quelques réflexions critiques.*— «*Revue belge de philologie et d'histoire*», 1964, № 2, p. 592.
[119] Chaunu P. *Séville et l'Atlantique.* VIII, 1, 1959, p. 30.
[120] Ebeling D., Irsigler F. *Getreideumsatz, Getreide und Brotpreise in Köln, 1368—1797.* 1976.

ФЛУКТУАЦИИ И ПЛОЩАДЬ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Цены (для столетий доиндустриальных используют главным образом цены на зерно) непрестанно варьировали. Такие флуктуации, наблюдаемые уже давно, являются признаком раннего складывания в Европе рыночных сетей, тем более что флуктуации эти представляются почти что синхронными на довольно обширных пространствах. Европа XV, XVI и XVII вв., хоть она и была далека от полнейшей согласованности, уже вполне очевидно подчинялась общим ритмам, некоему порядку.

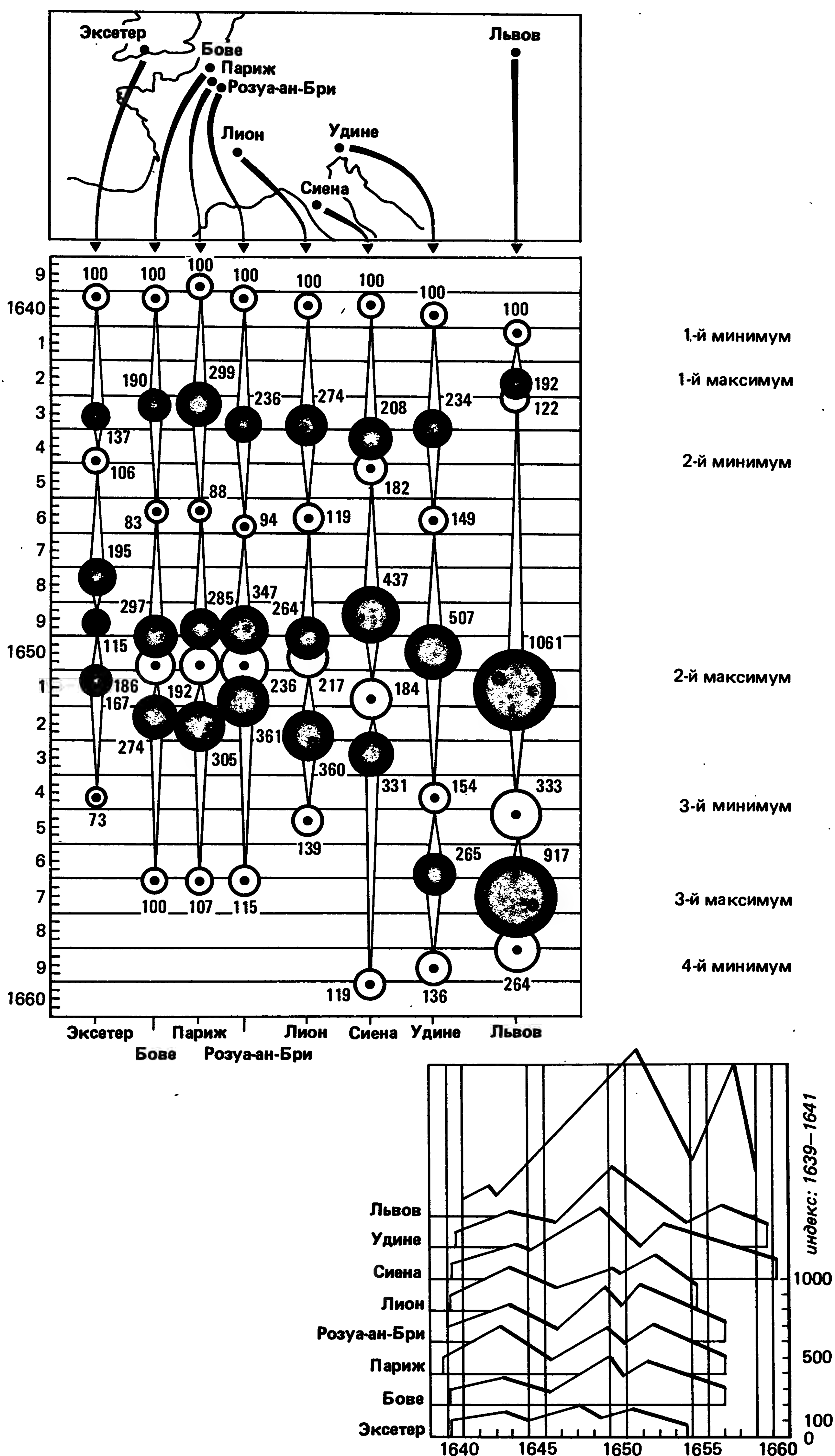
И как раз это даже обескураживало историка, исследовавшего цены и заработную плату: он пытался восстановить новые серии данных, но всякий раз, завершив свою работу, он вновь слышал заранее известный мотив. То, что говорило одно обследование, повторялось в следующем. График на следующей странице, заимствованный из «*Cambridge Economic History*» [121], бросает свет на такие совпадения, как если бы волны цен, одни высокие, другие низкие, распространялись по всему пространству Европы до такой степени, что можно было бы представить их очертания на земле подобно тому, как изображают на метеорологических картах перемещение изобар *. Фрэнк Спунер попробовал придать этому процессу наглядность, и график, который он составил, довольно хорошо обрисовывает проблему, если и не решает ее. В самом деле, чтобы ее разрешить, потребовалось бы отыскать эпицентр этих движущихся волн, предполагая, что такой имеется. Правдоподобно ли это? По словам Пьера Шоню, «если существовал первый набросок мира-экономики в XVI в. ... универсальный характер флуктуаций, [по-видимому], брал свое начало где-то между Севильей и Веракрусом» [122]. Если бы пришлось выбирать, я скорее усмотрел бы если не место зарождения этой конъюнктурной вибрации, то место, от которого она расходилась, в Антверпене, городе на Шельде, находившемся тогда в центре европейских обменов. Но возможно, действительность была слишком сложна, для того чтобы допустить какой-то один центр, каков бы он ни был.

Во всяком случае, эти цены, которые колебались почти что все вместе, служат лучшим свидетельством связности, сплоченности мира-экономики, пронизанного денежным обменом и развивающегося уже под знаком организующей деятельности капитализма. Быстрота распространения колебаний, их «уравновешивания» есть доказательство эффективности обменов при той скорости, какую позволяли тогдашние транспортные средства. Скорости, которая для нас смехотворна. И тем не менее специальные курьеры, загоняя лошадей, устремлялись к крупным товарным рынкам по окончании любой международной ярмарки, перевозя полезные новости, ведомости котировок и плюс к этому — пачки векселей, судьбой которых было нестись вперегонки с почтой. А дурные новости, в частности сообщения о местных неурожаях или о банкротствах купцов, даже дальних, летели как на крыльях. В сентябре 1751 г. в Ливор-

[121] Braudel F., Spooner F. *Prices in Europe from 1450 to 1750.— The Cambridge Economic History of Europe*, IV, 1967, p. 468.

* Изобары — линии, соединяющие области с одинаковым атмосферным давлением.— *Прим. перев.*

[122] Chaunu P. *Op. cit.*, p. 45.



Имелось ли волнообразное распространение цен? Зерновые кризисы в Европе, 1639—1660 гг. На левом графике, задуманном и составленном Фрэнком Спунером (*«Cambridge Economic History»*, 1967, IV, p. 468), черные круги отмечают максимумы четырех последовательных кризисов; последние пронеслись по всему европейскому пространству, от Атлантического океана до Польши. Базовая величина 100 рассчитана с последней четверти 1639 г. по первую четверть 1641 г. Второй график, справа (построен Лабораторией Школы высших исследований), представляет в более схематичной форме те же волнообразные движения цен.

но — оживленном порту, не находившемся, однако, в центре европейской жизни [123], — «большое число банкротств, случившихся в разных городах, причинило немалый ущерб коммерции сего города, а только что новый удар — новости о банкротстве, каковое г-да Лик и Прескот потерпели в Петербурге и размеры коего определяют в пятьсот тысяч рублей. Опасаются, как бы она [торговля Ливорно] не пострадала столь же сильно из-за решения, принятого генуэзцами относительно восстановления беспошлинной торговли в гавани Генуи». Разве не дают возможность такого рода новости ясно видеть единство Европы и, само собой разумеется, единство ее конъюнктуры? Здесь все двигалось почти соразмерно.

Но самое интересное, что ритм европейской конъюнктуры выходил за строгие границы ее мира-экономики, что Европа уже располагала вне своих пределов опеределенной властью управлять на расстоянии. Московские цены в той мере, в какой мы знакомы с ними, в XVI в. равнялись на цены Запада — вероятно, через посредство американских ценных металлов, игравших там, как и в других местах, роль «приводных ремней». Точно так же и по тем же причинам цены Османской империи согласовывались с ценами европейскими. Америка — по крайней мере Новая Испания и Бразилия, где цены колебались, — также следовала этому далекому образцу. Луи Дерминьи даже пишет: «Доказанная Пьером Шоню [124] корреляция Атлантики и Тихого океана действительна лишь для Манилы» [125]. В самом деле, европейская цена, по-видимому, простирала свой ритм даже за пределы маршрута манильских галеонов, в частности до Макао. А после исследований Азизы Хасана мы знаем, что и в Индии, с разрывом в какие-нибудь двадцать лет, откликнулось эхо европейской инфляции XVI в. [126]

Интерес, представляемый этими выводами, очевиден: если ритм цен, навязанный или переданный, действительно является, как я полагаю, знаком господства или верноподданничества, то распространение влияния европейского мира-экономики очень рано перешагнуло самые амбициозные границы, какие только ему можно было бы приписать. Вот что привлекает наше внимание к этим *«антеннам»*, которые победоносный мир-экономика выдвигал за свои пределы, к подлинным линиям высокого напряжения, лучшим примером которых была, несомненно, левантинская торговля. Существует тенденция (в том числе и у И. Валлерстайна) недооценивать этот тип обменов, называть их второстепенными, поскольку они касались лишь предметов роскоши, так что от них-де можно было бы отказаться, не нанеся какого-либо ущерба обычной жизни народов. Несомненно. Но, будучи расположены в сердце самого усложненного капитализма, такие обмены имели *последствия,* которые в свою очередь сказывались на самых обыденных сторонах жизни. Влияли на цены, но не только на них. Вот также то, что привлекает наше внимание опять-таки к деньгам и ценным металлам, орудию господства и орудию борьбы в большей степени, нежели это обычно признают.

[123] *«Gazette de France»,* p. 489.

[124] Chaunu P. *Les Philippines et le Pacifique des Ibériques.* 1960, p. 243, n. 1.

[125] Dermigny L. *La Chine et l'Occident. Le commerce à Canton au XVIIIe siècle, 1719—1833.* I, 1964, p. 101, n. 1.

[126] Hazan A. *En Inde, aux XVIe et XVIIe siècles: trésors américains, monnaie d'argent et prix dans l'Empire mogol.* — *«Annales E. S. C.»,* 1969, p. 835—859.

ВЕКОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

В перечне циклов рекорд продолжительности принадлежит *вековой тенденции* (*trend*), тенденции, которой определенно более всего пренебрегали из всех циклов. Отчасти потому, что экономисты в общем интересуются только кратковременной конъюнктурой. «Чисто экономический анализ длительного периода не имеет смысла», — пишет Андре Маршаль [127]. Отчасти потому, что медленность протекания цикла маскирует его. Он представляется как бы основой, на которую опирается совокупность цен. Наклонена ли эта основа чуть-чуть вверх или чуть-чуть вниз или остается горизонтальной? Возможно ли заметить это, когда другие движения цен, движения кратковременной конъюнктуры, накладывают на такую базовую кривую свои гораздо более выраженные линии, с резкими подъемами и спадами? Не является ли *вековая тенденция* просто в некотором роде «осадком» от остальных движений, тем, что остается, если их удалить из расчета? Не рискуем ли мы скрыть реальные проблемы, выдвигая эту тенденцию на роль «индикатора» (я не говорю еще «действующей причины»), как существует такой риск для фаз А и В по Симиану, но с совсем иным хронологическим размахом? Существует ли вообще вековая тенденция?

Немалое число экономистов и историков склоняются к тому, чтобы заявить «нет». Либо, что проще, как мне представляется, сделать вид, будто такой тенденции не существует, Но что, если эти осторожничающие, эти скептики не правы? Ставшее очевидным с 1974 г., но начавшееся до этой даты наступление долгого, необычного, приводящего в замешательство кризиса разом привлекло внимание специалистов длительной протяженности. Леон Дюприе вступил в бой, множа предостережения и констатации. Мишель Лютфалла заговорил даже о «возврате к циклу Кондратьева». Со своей стороны Рондо Камерон [128] предложил ввести циклы, окрещенные им «логистическими», продолжительностью от 150 до 350 лет. Но если оставить название в стороне, то чем они на самом деле отличаются от вековой тенденции? Следовательно, наступил благоприятный момент, чтобы рискнуть высказаться в пользу вековой тенденции.

Малозаметная в каждый данный момент, но идущая своим неброским путем всегда в одном и том же направлении, эта *тенденция* есть процесс *кумулятивный*. Она добавляется к самой себе; все происходит так, словно бы она мало-помалу повышает массу цен и экономической активности до какого-то момента или же с таким же упорством действует в противоположном направлении, приступив к их общему понижению, незаметному, медленному, но долгосрочному. От года к году она едва ощутима; но одно столетие сменяет другое, и она оказывается важным действующим лицом. Так что, если попробовать получше измерить вековую тенденцию и систематически наложить ее на европейскую историю (как Валлерстайн наложил на нее пространственную схему мира-экономики), то можно было бы изыскать некоторые объяснения для тех экономических потоков, что увлекают нас, которые мы ощущаем еще и сегодня, не будучи способны ни вполне верно понять их, ни

[127] Цитируется Пьером Виларом в трудах Стокгольмского конгресса историков (1960, с. 39).

[128] Cameron R. *Economic History, Pure and Applied*.— «*Journal of Economic History*», march 1976, p. 3—27.

быть уверенными в том, какими лекарствами их лечить. Разумеется, у меня нет ни намерения, ни возможности сымпровизировать некую теорию вековой тенденции; самое большее я попытаюсь вновь рассмотреть данные классических книг Дженни Грициотти Кречман[129] и Гастона Эмбера[130] и отметить их возможные последствия. Это способ уточнить наши проблемы, но не решить их.

Как и любой другой цикл, цикл вековой имеет исходную точку, вершину и конечную точку; но определение их остается довольно приблизительным, принимая во внимание плавные очертания вековой кривой. Можно сказать, имея в виду ее вершины: *примерно* 1350 г., *примерно* 1650 г. ... Согласно признанным в настоящее время данным[131], различают в *применении в Европе* четыре последовательных вековых цикла: 1250 [1350] — 1507 — 1510 гг.; 1507 — 1510 [1650] — 1733 — 1743гг.; 1733 — 1743 [1817] — 1896 гг.; 1896 [1974?] ... Первая и последняя даты каждого из этих циклов отмечают начало подъема и окончание спада; промежуточная дата в квадратных скобках отмечает кульминационный момент, где вековая тенденция начинает обратное движение, иными словами, точку *кризиса*.

Из всех этих хронологических вех первая наименее надежна. В качестве отправной точки я бы скорее избрал не 1250 г., а начало XII в. Трудности проистекают из того, что весьма несовершенная в те далекие времена статистика цен не дает нам никакой уверенности, однако же начало огромного роста деревень и городов Запада, крестовые походы позволяют, пожалуй, передвинуть по меньшей мере на пятьдесят лет назад начало европейского подъема.

Это не пустые споры и не пустые уточнения; они заранее показывают, что, располагая данными лишь о трех вековых циклах, когда четвертый находится еще в середине своего пути (если мы не заблуждаемся относительно разрыва 70-х годов нашего столетия), трудно высказывать суждение относительно сравнительной продолжительности этих циклов. Представляется все же, что эти бесконечные глубинные волны проявляли тенденцию к тому, чтобы сокращаться. Следует ли приписывать это ускорению исторического процесса, на которое можно «списать» многое, и даже слишком многое?

Для нас проблема заключается не в этом. Повторим: она в том, чтобы знать, отмечает ли или по меньшей мере освещает ли такое движение, недоступное глазу современника, долговременную судьбу миров-экономик; знать, завершаются ли последние, несмотря на свою весомость и продолжительность или же в силу такой весомости и продолжительности, такими вот движениями, поддерживают ли их, подвергаются ли их воздействию и, объясняя их, обясняются ли в то же время ими. Было бы слишком хорошо, если бы все обстояло точь-в-точь таким образом. Не прибегая к натяжкам при объяснении и стремясь сократить дискуссию, я удовольствуюсь тем, что последовательно займу те наблюдательные пункты, какие предоставляют нам вершины 1350, 1650, 1817 и 1973 — 1974 гг. В принципе такие наблюдательные пункты находятся на стыке двух процессов, двух противоречащих одна другой картин. Мы их не выби-

[129] Griziotti Krestchmann J. *Il Problema del trend secolare nelle fluttuazioni dei prezzi.* 1935.
[130] Imbert G. *Op. cit.*
[131] *Ibid.*

рали, а приняли, основываясь на расчетах, которые не мы выполняли. Во всяком случае, это факт, что разрывы, какие эти пункты фиксируют, вне сомнения, не случайно встречаются в разного рода периодизациях, принимаемых историками. Если они также соответствуют знаменательным разрывам в истории европейских миров-экономик, то не потому, что мы были в наших наблюдениях пристрастны в том или ином смысле.

ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ХРОНОЛОГИЯ МИРОВ-ЭКОНОМИК

Горизонты, открывающиеся с этих четырех вершин, не могли бы объяснить всю историю Европы, но если такие пункты выбраны правильно, они должны были бы предоставить и почти гарантировать возможность полезных сопоставлений в масштабах всего рассматриваемого опыта, ибо пункты эти соответствуют аналогичным ситуациям.

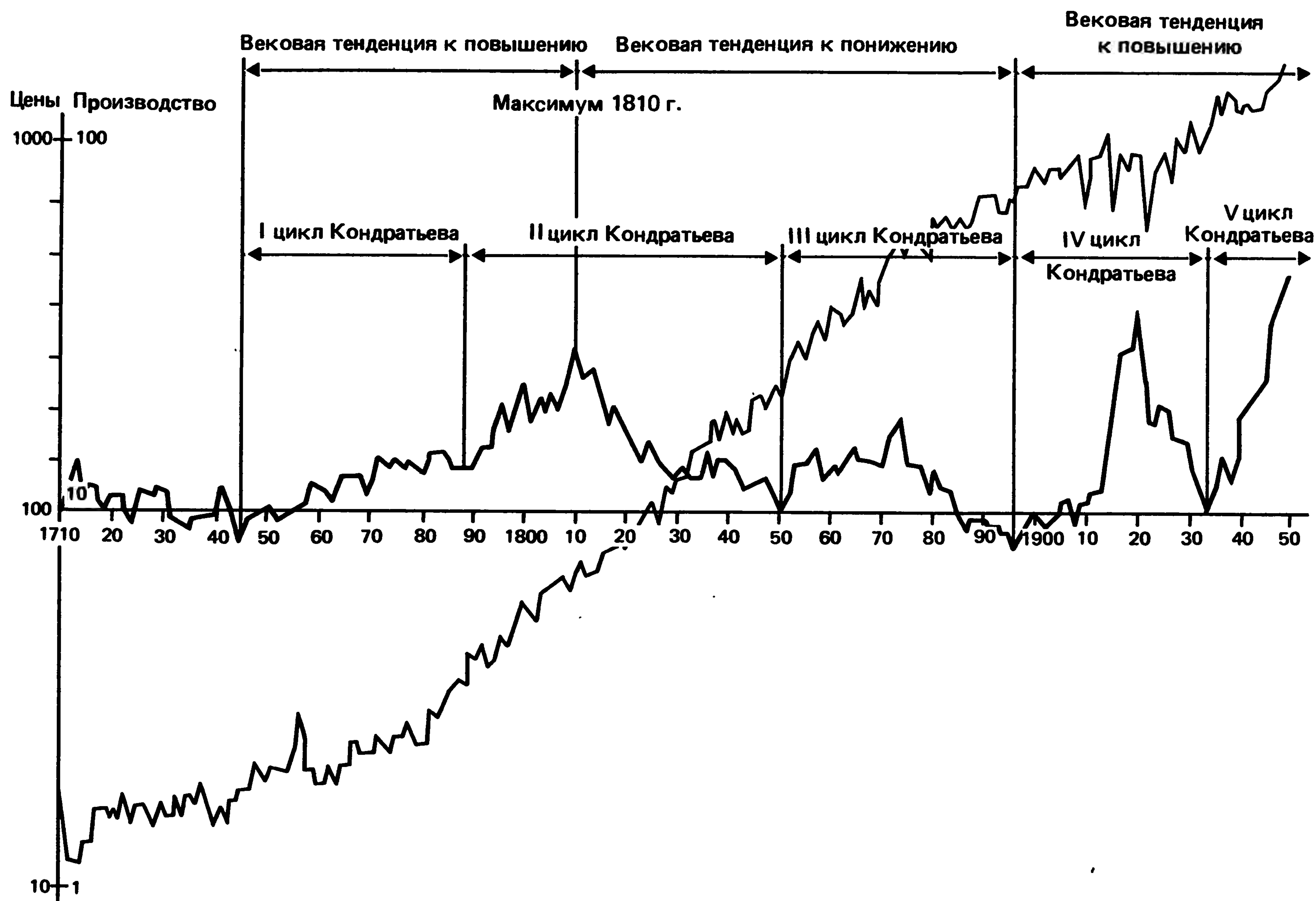
В 1350 г. Черный мор добавил свои бедствия к замедленному и мощному спаду, который начался задолго до середины столетия. Европейский мир-экономика той эпохи охватывал помимо сухопутной Центральной и Западной Европы Северное и Средиземное моря. Система Европа — Средиземноморье, вполне очевидно, познала тогда глубокий кризис. Христианский мир, утратив вкус к крестовым походам или лишившись возможности их совершать, натолкнулся на сопротивление и инерцию ислама, которому он уступил в 1291 г. последний важный опорный пункт в Святой Земле — Сен-Жан-д'Акр. К 1300 г. ярмарки Шампани, лажавшие на полпути между Средиземным и Северным морями, стали приходить в упадок. К 1340 г. оказался прерванным — и это, тоже несомненно, было весьма серьезно — «монгольский» [Великий шелковый] путь, путь свободной для Венеции и Генуи торговли к востоку от Черного моря, вплоть до Индии и Китая. Мусульманский заслон, разрезавший эту торговую дорогу, снова сделался реальностью, и христианские корабли оказались вновь привязаны к традиционным левантинским гаваням в Сирии и Египте. К 1350 г. Италия также начала индустриализироваться. Она красила суровые сукна, изготовленные на севере Европы, с тем чтобы продавать их на Востоке, и начала сама изготовлять сукна. Шерстяное производство (*Arte della Lana*) станет господстовать во Флоренции. Короче говоря, мы живем уже не во времена Людовика Святого. Европейская система, разделившаяся между полюсом североевропейским и полюсом средиземноморским, склонилась в южную сторону, и утвердилось первенство Венеции: смещение центра произошло к ее выгоде. Сосредоточившийся вокруг Венеции мир-экономика обеспечит себе относительное, а вскоре и ошеломляющее процветание посреди ослабленной, явно приходившей в упадок Европы.

Три сотни лет спустя, в 1650 г. (после «бабьего лета», длившегося с 1600 по 1630 — 1650 гг.), завершается долгое процветание долгого XVI в. То ли горнорудная Америка перестала выполнять свою функцию? То ли наступил один из неблагоприят-

ных поворотов конъюнктуры? И тут на четко определяемом временном отрезке, который отмечается как перелом в вековом цикле, видна *широкая* деградация мира-экономики. В то время как завершался упадок средиземноморской системы, прежде всего Испании и Италии — та и другая были слишком связаны с американскими драгоценными металлами и с финансовыми потребностями имперских амбиций Габсбургов, — новая система в Атлантике в свою очередь расстроилась, оказалась нарушенной. Это попятное движение и было «кризисом XVII в.» — классическим предметом споров, не приведших, однако, к каким-либо выводам. Однако это тот самый момент, когда Амстердам, уже оказавшийся в центре мира, когда начинался XVII в., окончательно восторжествовал. С этого времени Средиземноморье окажется попросту за пределами большой истории, на которую оно на протяжении веков имело почти монопольное право собственности.

Год 1817-й: точность даты не должна порождать чрезмерные иллюзии. В Англии поворот векового цикла наметился с 1809—1810 гг., во Франции — с кризисами последних лет наполеоновского режима. А для Соединенных Штатов откровенным началом перелома тенденции был 1812 г. Точно так же серебряные рудники Мексики, надежда и предмет вожделений Европы, жестоко потерпели от революции 1810 г.; и если после этого они не выпутались из затруднений, то тут в известной степени виновата была конъюнктура. И вот Европа и весь мир

Циклы Кондратьева и вековая тенденция Этот график вскрывает на английском материале 1700—1950 гг. два движения: циклы Кондратьева и вековую тенденцию. Сюда добавлена кривая движения производства; заметьте ее расхождение с кривой движения цен. (По данным Гастона Эмбера: Imbert G. *Des mouvements de longue durée Kondratieff.* 1959, p. 22.)



оказались перед лицом нехватки белого металла. Пострадал тогда экономический порядок во всем мире, от Китая до обеих Америк. В центре этого мира находилась Англия, и нельзя отрицать, что и она пострадала, невзирая на свою победу, что ей потребуются годы, чтобы перевести дыхание. Но она захватила первое место, которое у нее никто не оспаривал (Голландия исчезла с горизонта), которое никто не мог у нее отнять.

А 1973—1974 г.?—спросите вы. Идет ли речь о кратком конъюнктурном кризисе, как, видимо, полагает большинство экономистов? Или же нам предоставлена привилегия (впрочем, незавидная) собственными глазами увидеть, как столетие качнется вниз? И тогда политики краткосрочных [циклов], восхитительно точные, все эти князья политики и экономические эксперты, рискуют вотще пытаться излечить недуг, окончание которого не суждено будет еще увидеть детям наших детей. Современность нам подмигивает, настоятельно побуждая нас задать этот вопрос самим себе. Но до того, как уступить этому требованию, требуется раскрыть скобки.

ЦИКЛ КОНДРАТЬЕВА И ВЕКОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Вековая тенденция несет на своем гребне, как мы уже говорили, движения, не обладающие ни ее выносливостью, ни ее долговечностью, ни ее незаметностью. Эти движения выплескиваются вверх по вертикали, их легко увидеть, они заставляют себя увидеть. Повседневная жизнь, как и вчера, пронизана такими оживленными движениями, которые следовало бы все прибавить к *trend*, дабы оценить их совокупность. Но для наших целей мы ограничимся тем, что введем только респектабельные циклы Кондратьева, которые тоже отличались выносливостью, ибо любому из них соответствуют в общем добрых полвека—время деятельности двух поколений, одного при хорошей конъюнктуре, другого при плохой. Если сложить два этих движения—вековую тенденцию и цикл Кондратьева,—то мы будем располагать «музыкой» долгосрочной конъюнктуры, звучащей на два голоса. Это усложняет наше первичное наблюдение, но и подкрепляет его, тем более что циклы Кондратьева в противоположность тому, что не раз утверждали, появились на европейском театре не в 1791 г., а на несколько столетий раньше.

Добавляя свои движения к подъему или спаду вековой тенденции, циклы Кондратьева усиливали или смягчали ее. В половине случаев вершина цикла Кондратьева совпадала с вершиной вековой тенденции. Так было в 1817 г. Так было (если я не заблуждаюсь) в 1973—1974 гг. и, может быть, в 1650 г. Между 1817 и 1971 гг. имелись, по-видимому, две независимые вершины циклов Кондратьева: в 1873 и 1929 гг. Если бы эти данные не вызывали критики, что, конечно, не так, мы сказали бы, что в 1929 г. разрыв, лежавший у истоков всемирного кризиса, был всего лишь поворотом простого цикла Кондратьева, переломом его восходящей фазы, начавшейся с 1896 г., прошедшей через последние годы XIX в., первые годы века двадцато-

го, первую мировую войну и десять мрачноватых послевоенных лет, чтобы достичь вершины в 1929 г. Поворот 1929—1930 гг. был столь неожидан для наблюдателей и специалистов (последние пребывали в еще большем изумлении, чем первые), что были предприняты усилия, чтобы его понять, и книга Франсуа Симиана остается одним из лучших доказательств этих усилий.

В 1973—1974 гг. наблюдался поворот нового цикла Кондратьева, исходным пунктом которого был приблизительно 1945 г. (т. е. восходящая фаза протяженностью примерно в четверть века, в соответствии с нормой); но не было ли здесь сверх того, как и в 1817 г., поворота и векового движения и, следовательно, двойного поворота? Я склонен верить в это, хотя никаких тому доказательств нет. И если книга эта когда-нибудь попадет в руки читателя, котрый будет жить после 2000 г., эти несколько строк, возможно, позабавят его, как забавлялся и я (с не вполне чистой совестью) какой-нибудь глупостью, вышедшей из-под пера Жан-Батиста Сэ.

Двойной или простой, но поворот 1973—1974 гг. открыл продолжительный спад. Те, кто пережил кризис 1929—1930 гг., сохранили воспоминания о неожиданном урагане, без всякого предварительного этапа и сравнительно кратком. Современный кризис, который не отпускает нас, более грозен, как если бы ему не удавалось показать свой действительный облик, найти для себя название и модель, которая бы его объяснила, а нас успокоила. Это не ураган, а скорее наводнение с медленным и внушающим отчаяние подъемом вод, или небо, упорно затянутое свинцовыми тучами. Под вопрос поставлены все основы экономической жизни, все уроки опыта, нынешние и прошлые. Ибо, как это ни парадоксально, при наблюдающемся спаде—замедлении производства, безработице—цены продолжают стремительно расти в противоположность прежним правилам. Окрестить это явление *стагфляцией* отнюдь не значит его объяснить. Государство, которое везде старалось играть роль покровителя, которое совладало с краткосрочными кризисами, следуя урокам Кейнса, и считало себя защищенным от повторения таких катастроф, как катастрофа 1929 г.,—не оно ли ответственно за странности кризиса в силу собственных своих усилий? Или же сопротивление и бдительность рабочих создали плотину, объясняющую упорный подъем цен и заработной платы наперекор всему? Леон Дюприе[132] поставил эти вопросы, но не смог на них ответить. Последнее слово ускользает от нас, а вместе с ним—и точное значение таких долговременных циклов, которые, по-видимому, подчиняются определенным, неведомым нам законам или правилам в виде тенденции.

[132] Dupriez L.-H. *Les implications de l'emballement mondial des prix depuis 1972.*—«*Recherches économiques de Louvain*», septembre 1977.

ОБЪЯСНИМА ЛИ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ КОНЪЮНКТУРА?

Экономисты и историки констатируют движения конъюнктуры, описывают их, проявляя внимание к тому, как они накладываются друг на друга, подобно тому как морской прилив не-

сет на гребне своего собственного движения движение волн (как принято говорить после Франсуа Симиана); они внимательны также и к многочисленным последствиям таких движений. И их всегда удивляют размах и бесконечная регулярность этих движений.

Но и те и другие никогда не пробовали объяснить, почему движения эти берут верх, развиваются и возобновляются. Единственное замечание в этом плане касалось колебаний цикла Жюглара, которые будто бы связаны с пятнами на солнце! В такую тесную корреляцию никто не поверит. А как объяснить прочие циклы? Не только те, которые определялись колебаниями цен, но и те, что относились к промышленному производству (см. кривые У. Хоффмана), или цикл бразильского золота в XVIII в., или двухсотлетний цикл мексиканского серебра (1696—1900 гг.), колебания торговли севильского порта во времена, когда ритм последней совпадал с ритмом всей экономики приатлантического региона. Не говоря уже о долговременных движениях населения, которые соответствовали колебаниям векового цикла и, вне сомнения, были в такой же мере его следствиями, как и причинами. Не говоря о притоке драгоценных металлов, над которым столько трудились историки и экономисты. Принимая во внимание плотность действий и взаимодействий, здесь тоже надлежит остерегаться слишком упрощенного детерминизма: количественная теория играла свою роль, но вслед за Пьером Виларом я полагаю, что всякий экономический подъем может создать свои деньги и свою систему кредита [133].

[133] См.: «*Annales E.S.C.*», 1961, p. 115.

Чтобы выбраться из этой невозможной проблемы — я не говорю уж разрешить ее, — следует мысленно обратиться к колебательным и периодическим движениям элементарной физики. Всякий раз движение есть следствие внешнего толчка и реакции тела, которое толчок заставляет колебаться, будь то веревка или полоска... Струны скрипки выбрируют под смычком. Естественно, одна вибрация может вызвать другую: воинское подразделение, идущее в ногу, вступив на мост, должно отказаться от единого ритма, иначе мост в свою очередь станет колебаться и при определенных условиях рискует разломиться, как стеклянный. Вообразим же во всем комплексе конъюнктуры некое движение, дающее толчок другому движению, затем еще одному и т. д.

Самый важный толчок — это, несомненно, тот, который дают внешние, экзогенные причины. Как говорит Джузеппе Паломба, экономика Старого порядка действовала в рамках *календарных* ограничений, что означало тысячи обязанностей, тысячи толчков из-за урожая, само собой разумеется; но если взять один только пример: разве не была зима по преимуществу сезоном работы ремесленника? Не зависели от воли людей и властей, которые ими управляли, также годы изобилия и неурожаев, колебания рынка, способные распространяться, флуктуации торговли на дальние расстояния и последствия, какие эта торговля влечет за собой для «внутренних» цен: любая встреча внешнего и внутреннего была либо брешью, либо раной.

Но в такой же степени, как внешний толчок, важна была и среда, в которой он осуществлялся: каково то тело (слово не слишком подходящее), которое, будучи средой распространения движения, навязывает последнему свой период? У меня сохранились давние воспоминания (1950 г.) о беседе с Юрбеном, профессором экономики в Лувенском университете, чьей постоянной заботой было связать колебание цен с той площадью или с тем объемом, каких оно касалось. По его мнению, сравнимы были только цены на одной и той же вибрирующей поверхности. То, что колебалось под воздействием цен, это были на самом деле предварительно сложившиеся сети, образовывавшие, на мой взгляд, по преимуществу вибрирующие поверхности, *структуры* цен (в смысле, который определенно не вполне таков, какой придает этому слову Леон Дюприе). Читатель хорошо видит, к какому утверждению я приближаюсь: мир-экономика — это колеблющаяся поверхность самых больших размеров, та, что не только воспринимает конъюнктуру, но и создает ее на определенной глубине, на определенном уровне. Во всяком случае, именно она, эта поверхность, создает *единство* цен на огромных пространствах, подобно тому как артериальная система распределяет кровь по всему живому организму. Она сама по себе есть структура. Тем не менее остается без решения поставленная задача: узнать, служит или нет вековая тенденция, невзирая на совпадения, которые я отмечал, добротным индикатором такой поверхности улавливания и отражения. Как я полагаю, вековое колебание, необъяснимое без учета громадной, но ограниченной площади мира-экономики, открывало, прерывало и вновь открывало сложные потоки конъюнктуры.

Я не уверен, что сегодня историческое или экономическое исследование направлено на эти долгосрочного значения проблемы. Пьер Леон сказал в недавнем прошлом: «Историки чаще всего оставались безразличны к длительной протяженности» [134]. Лабрус даже писал во вступлении к своей диссертации: «Мы отказались от какого бы то ни было объяснения движения длительной протяженности» [135]. Для интерцикла вековой тенденцией, конечно, можно пренебречь. Что до Витольда Кули, то он проявляет внимание к долговременным движениям, «которые своим кумулятивным действием вызывают трансформации структурные» [136], но он почти одинок. Мишель Морино, находящийся на другом фланге, требует, чтобы «прожитому времени возвратили его вкус, его плотность и его событийную ткань» [137]. А Пьер Вилар — чтобы не упускали из виду краткосрочные циклы, ибо это означало бы «систематически скрывать классовые столкновения, классовую борьбу; при капиталистическом строе, как и в экономике Старого порядка, они выявляются в краткосрочных циклах» [138]. Не стоит выступать на чьей-либо стороне в подобной дискуссии — дискуссии ложной, потому что конъюнктуру следует изучать во всей ее глубине, и было бы достойно сожаления не искать ее границы, с одной стороны, в событийных проявлениях и в краткосрочных циклах, а с другой стороны — в долговременной протяженности и в вековых движениях. Краткое время и время длительное сосу-

[134] *Congrès de Stockholm*, 1960, p. 167.
[135] Labrousse P. *La Crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution*. 1944, p. VIII—IX.
[136] Kula W. *Théorie économique du système féodal...*, p. 84.
[137] Morineau M. *Gazettes hollandaises et trésors américains*.— «*Anuario de historia económica y social*», 1969, p. 333.
[138] Vilar P. *L'Industrialisation en Europe au XIX^e siècle*.— *Colloque de Lyon*, 1970, p. 331.

ществуют и неразделимы. Кейнс, построивший свою теорию на краткосрочном времени, сделал остроумный выпад, который часто повторяли другие: «В длительной протяженности все мы будем покойниками»; если оставить в стороне юмор, то значение это банально и абсурдно. Ибо мы в одно и то же время живем и в кратком времени, и в длительном времени. Язык, на котором я говорю, ремесло, которым занимаюсь, мои верования, окружающую меня людскую среду — все это я уна-

В XVI в. богатство означало накопление мешков с зерном. «*Королевские песнопения о зачатии*». *Париж, Национальная библиотека (Ms. fr. 1537).*



следовал; оно существовало до меня и будет существовать после меня. Я также не согласен и с Джоан Робинсон, которая полагает, будто краткосрочный период — «не временная протяженность, но определенное состояние дел» [139]. Чем становится при таком подходе «долговременный период»? Время оказалось бы только тем, что в нем содержится, тем, что его населяет. Возможно ли это? Бейссад более благоразумен, утверждая, что время «ни невинно, ни безобидно» [140]; оно если и не создает свое содержание, то воздействует на него, придает ему форму и реальность.

139 Robinson J. *Hérésies économiques*. 1972, p. 50.

140 Beyssade P. *La Philosophie première de Descartes* (машинописный текст), p.111.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Чтобы завершить настоящую главу, которая задумана только как теоретическое введение или, если вам угодно, опыт формирования проблематики, следовало бы шаг за шагом построить типологию вековых периодов — тех, что двигались вверх, тех, что шли вниз, и кризисы, какие отмечали высшие точки этих периодов. Ни ретроспективная экономика, ни самые рискованные исторические исследования не послужат нам поддержкой в такой операции. А сверх того вполне возможно, что последующие исследования попросту оставят в стороне эти проблемы, которые я пытаюсь сформулировать.

Во всех трех случаях (подъем, кризис, спад) нам потребовалось бы производить классификацию и членение в соответствии с тремя кругами по Валлерстайну, что уже дает нам девять разных случаев, а так как мы различаем четыре социальных *множества* — экономику, политику, культуру, социальную иерархию, — то мы приходим уже к тридцати шести случаям. Наконец, надобно предвидеть, что правильная типология может потихоньку от нас ускользнуть; если бы мы располагали пригодными данными, нам пришлось бы еще делать различия в соответствии с очень многочисленными частными случаями. Соблюдая осторожность, мы останемся в рамках общих положений, сколь бы спорными и хрупкими они ни были.

В таком случае будем упрощать без излишних угрызений совести. Кризисы рассмотрены в предшествовавших строках. Они отмечают начало распада структуры: связный мир-система, который спокойно развивался, приходит в упадок или завершает свой упадок, и со многими отсрочками и промедлениями рождается другая система. Такой разрыв представляется как результат накопления случайностей, нарушений, искажений. И именно эти переходы от одной системы к другой я попробую осветить в последующих главах настоящего тома.

Если видишь перед собой вековые подъемы, то определенно понимаешь, что экономика и социальный порядок, культура, государство тогда явно процветают. Дж. Хэмилтон, споря со мной во время наших очень давних встреч в Симанкасе (1927 г.), имел обыкновение говорить: «В XVI в. любая рана заживляется, любая неисправность исправляется, любое отступление компенсируется» — и так во всех сферах: производство в общем в хорошем состоянии, государство располагает средствами,

чтобы действовать, общество дает расти своей немногочисленной аристократии, культура движется своим путем, экономика, которую подкрепляет рост народонаселения, усложняет свои кругообороты. Последние, применяясь к росту разделения труда, благоприятствуют подъему цен; денежные резервы возрастают, капиталы накопляются. Кроме того, всякий подъем имеет охранительный смысл: он защищает существующую систему, он благоприятствует *всем экономикам*. Именно во время таких подъемов были возможны объединения вокруг нескольких центров, скажем, в XVI в. — раздел [рынков] между Венецией, Антверпеном и Генуей.

При продолжительных и упорных спадах картина меняется: здоровые экономики обнаруживаются только в центре мира-экономики. Наблюдается отступление, концентрация к выгоде единственного полюса; государства делаются задиристыми, агрессивными. Отсюда вытекает «закон» Фрэнка Спунера относительно Франции, которую-де экономика на подъеме имела тенденцию рассредоточить, разделить на враждебные части (во времена Религиозных войн), тогда как неблагоприятная конъюнктура будто бы сближала разные части к выгоде правительства, сильного по видимости. Но действителен ли такой закон для всего прошлого Франции и действителен ли он для прочих государств? Что касается высшего общества, то в плохие для экономики времена оно боролось, окружало себя заслонами, ограничивало свою численность (поздние браки, чрезмерная эмиграция молодежи, раннее использование противозачаточных средств, как то было в Женеве в XVII в.). Но культура тогда ведет себя самым странным образом: если она (как и государство) энергично вмешивается в жизнь во время таких долгих спадов, то происходит это, вне сомнения, потому, что одно из ее призваний — «затыкать» пустоты и бреши всего социального множества (культура — не «опиум ли она для народа»?). И не потому ли также, что культурная активность — наименее дорогостоящая из всех видов деятельности? Заметьте, что испанский Золотой век утверждался тогда, когда уже наблюдался упадок Испании, путем концентрации культуры в столице; Золотой век — это прежде всего блеск Мадрида, его двора, его театров. И сколько было при расточительном режиме графа, а затем герцога Оливареса поспешных построек, можно сказать, почти что по дешевке! Я не знаю, пригодно ли такое же объяснение для века Людовика XIV. Но в конечном счете я констатирую, что вековые спады способствовали культурным взрывам или тому, что мы рассматриваем как культурные взрывы. После 1600 г. — цветение итальянской осени в Венеции, Болонье, Риме. После 1815 г. — романтизм, воспламенивший старую уже Европу.

Эти слишком поспешно высказанные утверждения ставят по меньшей мере обычные проблемы, но, на мой взгляд, не главную из проблем. Не оговорив это в должной мере, мы выдвигали на первый план прогресс или спад на верхнем уровне жизни общества, культуру (культуру элиты), социальный строй (в применении к привилегированному слою у вершины пирамиды), государство на уровне правительства, производство в од-

ной лишь сфере обращения, которое служило двигателем лишь для части этого производства, экономику в самых развитых зонах. Как все историки, мы самым естественным образом и не желая того оставили в стороне участь самых многочисленных, огромного большинства живущих. Как же в целом чувствовали себя эти массы при балансировании вековых приливов и отливов?

Как ни парадоксально, но скорее им бывало плохо, когда все в соответствии с диагнозом экономики шло наилучшим образом, когда подъем производства делал ощутимыми свои результаты, увеличивал число людей, но возлагал возрастающие тяготы на разные миры деловой активности и труда. Как показал это Дж. Хэмилтон, тогда образовывалась пропасть между ценами и заработной платой, которая отставала от них [141]. Если обратиться к работам Жана Фурастье, Рене Грандами, Вильгельма Абеля, а еще более — к публикациям Фелпса Брауна и Шейлы Хопкинс, то становится ясно, что тогда наблюдалось снижение *реальной заработной платы* [142]. Прогресс в верхних сферах и увеличение экономического потенциала оплачивались, таким образом, страданием массы людей, число которых возрастало в таком же темпе, как производство, или даже более быстро. И быть может, как раз тогда, когда это увеличение численности людей, их обменов, их усилий более не компенсировалось прогрессом производительности труда, все замедлялось, наступал кризис и начиналось движение в обратном направлении, спад. Странно то, что «отлив» в надстройке влек за собой улучшение жизни масс, что реальная заработная плата вновь начинала расти. Таким-то образом и пришелся на 1350—1450 гг., на самый мрачный период европейского упадка, своего рода «Золотой век» в повседневной жизни простого народа.

В такой исторической перспективе, которую во времена Шарля Сеньобоса [143] определили бы как историю «откровенную», самым крупным событием, событием долгосрочным, с громадными последствиями, фактически решающим переломом, было то, что с середины XIX в., посреди самого движения промышленной революции, тот длительный подъем, какой тогда закрепился, не повлек за собой никакого глубокого ухудшения общего благосостояния, но вызвал рост дохода на душу населения. Может быть, высказать суждение об этой проблеме тоже нелегко. Но подумайте о том, что огромный и резкий подъем производительности труда, обязанный своим происхождением машине, разом чрезмерно повысил потолок возможностей. Именно внутри этого нового мира на протяжении более столетия беспрецедентный рост населения мира сопровождался увеличением дохода на душу населения. По всей видимости, социальный подъем изменился в своих характеристиках. Но что же получится из попятного движения, настойчиво начинающегося с семидесятых годов нашего столетия?

В прошлом благосостояние простого народа, сопровождавшее вековые спады, всегда оплачивалось огромными предварительными жертвами — самое малое миллионами умерших в 1350 г.; серьезным демографическим застоем в XVII в. Имен-

[141] Hamilton E. J. *American Treasure and the Rise of Capitalism*.— «*Economica*», novembre 1929, p. 355—356.

[142] Brown Ph., Hopkins S. V. *Seven Centuries of Building Wages*.— «*Economica*», août 1955, p. 195—206.

[143] Seignobos Ch. *Histoire sincère de la nation française*. 1933.

но это уменьшение численности людей и ослабление экономического напряжения стали основой явного улучшения для выживших, для тех, кого пощадили мор или спад. Современный кризис предстает перед нами не с такими симптомами: продолжается значительный демографический подъем в мировом масштабе, темпы производства замедляются, укореняется безработица — и тем не менее попутный ветер дует в паруса инфляции. А тогда откуда бы могло наступить облегчение для масс? Никто не пожалеет о том, что лекарство (в лошадиных дозах) былых времен — голодовки и эпидемии — было устранено прогрессом земледелия и медицины; плюс к этому наблюдается определенная солидарность, перераспределяющая продовольственные ресурсы мира за неимением иного. Но, невзирая на эту видимость и на тенденцию современного мира непоколебимо верить в постоянный рост, спросите себя, не ставится ли нынешняя проблема, с необходимыми поправками, в прежних выражениях? Не достиг ли (или не превзошел ли) человеческий прогресс уровня возможного, щедро увеличенного в прошлом веке промышленной революцией? Может ли число людей возрастать без катастрофических результатов, по крайней мере временно, пока какая-то новая революция, например энергетическая, не изменит условия задачи?

Глава 2

СТАРИННЫЕ ЭКОНОМИКИ С ДОМИНИРУЮЩИМ ГОРОДСКИМ ЦЕНТРОМ В ЕВРОПЕ: ДО И ПОСЛЕ ВЕНЕЦИИ

Европейский мир-экономика долго будет ограничиваться узким пространством города-государства, почти или совершенно свободного в своих действиях, ограниченного целиком или почти целиком только своими силами. Чтобы уравновесить свои слабости, он зачастую будет использовать те распри, что противопоставляли друг другу разные территории и человеческие группы; будет натравливать одних на других; будет опираться на десятки городов или государств, или экономик, которые его обслуживали. Ибо обслуживать его было для них либо вопросом заинтересованности, либо обязанностью.

Невозможно не задаться вопросом, как могли быть навязаны и сохраняться такие сферы доминированиия с их огромным радиусом, строившиеся на основе столь незначительных по размеру центров. Тем более что их власть непрестанно оспаривалась изнутри, за нею внимательно следило жестко управляемое, часто «пролетаризированное» население. Все происходило к выгоде нескольких всем известных семейств, служивших естественной мишенью для разного рода недовольства и удерживавших всю полноту власти (но в один прекрасный день они могли ее и утратить). К тому же эти семейства раздирали взаимные распри [1].

[1] В основе этих и предшествующих замечаний лежит работа Поля Адана (машинописный текст): Adam P. *L'Origine des grandes cités maritimes indépendantes et la nature du premier capitalisme commercial*, p. 13.

Верно, что охватывавший эти города мир-экономика сам по себе был еще непрочной сетью. И не менее верно, что если сеть эта рвалась, то прореха могла быть заделана без особых трудностей. То было вопросом бдительности и сознательно примененной силы. Но разве иначе будет действовать позднее Англия Пальмерстона или Дизраэли? Чтобы удерживать такие слишком обширные пространства, достаточно было обладать опорными пунктами (такими, как Кандия [Крит], захваченная Венецией в 1204 г., Корфу — в1383 г., Кипр — в 1489 г. или же Гибралтар, неожиданно взятый англичанами в 1704 г., Мальта, занятая ими же в 1800 г.); довольно было установить удобные монополии, которые поддерживали так, как мы ухаживем за нашими машинами. И монополии эти довольно часто функционировали сами собой, за счет достигнутого ускорения, хотя они, конечно же, оспаривались городами-соперниками, которые бывали в состоянии при случае создать немалые трудности.






Четыре изображения Венецианской империи. Слева вверху — Корфу, ключ к Адриатическому морю; вверху справа — Кандия (Крит), которую Венеция будет удерживать до 1669 г.; внизу слева — Фамагуста на острове Кипр, утерянная в 1571 г.; внизу справа — Александрия, бывшая вратами Египта и торговли пряностями. Эти довольно фантастические

И тем не менее не слишком ли внимателен историк к таким внешним напряженностям, к подчеркивающим их событиям и эпизодам, а также к внутренним происшествиям — к тем политическим схваткам и к тем социальным движениям, что так сильно окрашивали внутреннюю историю городских центров? Ведь это факт, что внешне главенство таких городов и (внутри них) главенство богатых и могущественных были длительно существовавшими реальностями; что эволюции, необходимой для здравия капитала, никогда не мешали в этих тесных мирках ни напряженности, ни борьба за заработную плату и за место, ни яростные раздоры между политическими партиями и кланами. Даже когда на сцене бывало много шума, приносившая прибыль игра шла за кулисами своим чередом.

Торговые города средневековья все ориентированы на получение прибыли, сформированы этими усилиями. Поль Грусе, имея в виду эти города, даже заявил: «Современный капита-

лизм ничего не изобрел»[2]. «Даже сегодня невозможно найти ничего, включая *income tax*[3],—добавляет к этому Армандо Сапори,—что уже не имело бы прецедента в гениальности какой-нибудь итальянской республики»[4]. И правда, векселя, кредит, чеканка монеты, банки, торговые сделки на срок, государственные финансы, займы, капитализм, колониализм и в не меньшей степени социальные беспорядки, усложнение рабочей силы, классовая борьба, социальная жестокость, политические злодеяния—все это уже было там, у основания постройки. И очень рано, по меньшей мере с XII в., в Генуе и Венеции (и в этом им не уступали города Нидерландов) весьма крупные расчеты производились в наличных деньгах[5]. Но очень быстро появится кредит.

Современные, опережавшие свое время города-государства обращали к своей выгоде отставания и слабость других. И именно сумма таких внешних слабостей почти что осуждала их на то, чтобы расти, становиться властными; именно она, так сказать, сохраняла для них крупные прибыли торговли на дальние расстояния, и она же выводила их за рамки общих правил. Соперник, который мог бы противостоять этим городам-государствам,—территориальное государство, современное государство, которое уже наметили успехи какого-нибудь Фридриха II на Юге Италии, росло плохо или, во всяком случае, недостаточно быстро, и продолжительный спад XIV в. ему повредит. Тогда ряд государств был потрясен и разрушен, вновь оставив городам свободу действий.

Однако города и государства оставались потенциальными противниками. Кто из них будет господствовать над другим? Это было великим вопросом в ранней судьбе Европы, и продолжительное господство городов объяснить не просто. В конце концов Жан-Батист Сэ был прав, удивляясь тому, что «Венецианская республика, не имевшая в Италии в XIII в. и пяди земли, сделалась посредством своей торговли достаточно богатой, чтобы завоевать Далмацию, большую часть греческих островов и Константинополь»[6]. Кроме того, нет никакого парадокса в том, что города нуждаются в пространстве, в рынках, в зонах обращения и защиты, т. е. в обширных государствах для эксплуатации. Чтобы жить, таким городам нужна была добыча. Венеция немыслима без Византийской империи, а позднее—без империи Турецкой. То была однообразная трагедия «взаимодополняющих друг друга противников».

[2] См. предисловие П. Груссе (Grousset P.) к кн.: Pernoud R. *Les Villes marchandes aux XIV^e et XV^e siècles*. 1948, p. 18.

[3] Подоходный налог, установленный Питтом Младшим в 1799 г.

[4] Sapori A. *Studi di storia economica*. 1955, 1, p. 630.

[5] Pirenne H. *La Civilisation occidentale au Moyen Age du XI^e au milieu du XV^e siècle*.— Glotz G. *Histoire générale*. VIII, 1933, p. 99—100.

[6] Say J. *Cours complet d'économie politique pratique*, 1, p. 234.

ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР-ЭКОНОМИКА

картины находятся среди двух десятков миниатюр, иллюстрирующих поездки на Левант в 1570—1571 гг. одного венецианского дворянина. *Национальная библиотека.*

Такое главенство городов может быть объяснено лишь исходя из структуры первого мира-экономики, который наметился в Европе между XI и XIII вв. Тогда создаются достаточно обширные пространства обращения, орудием которого служили города, бывшие также его перевалочными пунктами и по-

лучателями выгод. Следовательно, отнюдь не в 1400 г., с которого начинается эта книга, родилась Европа — чудовищное орудие мировой истории, а по крайней мере двумя-тремя столетиями раньше, если не больше.

И значит, стоит выйти за хронологические рамки настоящего труда и обратиться к его истокам, дабы конкретно увидеть рождение мира-экономики благодаря еще несовершенным иерархизации и сопряжению тех пространств, которые его составят. Тогда уже обрисовались главные черты и сочленения европейской истории, и обширная проблема модернизации (каким бы расплывчатым ни было это слово) густо населенного континента оказалась поставленной в более протяженной и более верной перспективе. Вместе с появлением центральных зон почти непременно вырисовывался некий протокапитализм, и модернизация в таких зонах предстает не как простой переход от одного фактического состояния к другому, но как ряд этапов и переходов, из которых первые были куда более ранними, нежели классическое Возрождение конца XV в.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НАЧИНАЯ С XI В.

В таком длительном зарождении города, естественно, играли главные роли, но они были не одиноки. Их несла на своих плечах вся Европа — читай «вся Европа, взятая вместе», по выражению, вырвавшемуся у Исаака де Пинто [7], Европа со всем ее пространством, экономическим и политическим. А также и со всем ее прошлым, включая и отдаленную во времени «обработку», какую навязал ей Рим и какую она унаследовала (эта «обработка» сыграла свою роль); включая также многочисленные формы экспансии, что последовали за великими [варварскими] вторжениями V в. Тогда повсюду были преодолены римские границы — в сторону Германии и Восточной Европы, Скандинавских стран и Британских островов, наполовину захваченных Римом. Мало-помалу было освоено морское пространство, образуемое всем бассейном Балтийского моря, Северным морем, Ла-Маншем и Ирландским морем. Запад и там вышел за пределы деятельности Рима, который, несмотря на свои флоты, базировавшиеся в устье Соммы и в Булони [8], оказывал малое влияние на этот морской мир. «Римлянам Балтика давала лишь немного амбры» [9].

На юге более эффектным стало отвоевание вод Средиземноморья у мира ислама и у Византии. То, что составляло смысл существования Римской империи, сердце империи во всей ее полноте, этот «пруд посреди сада» [10], было вновь занято итальянскими кораблями и купцами. Эта победа увенчалась мощным движением крестовых походов. Однако повторному завоеванию христианами оказывали сопротивление Испания, где после длительных успехов (Лас-Навас-де-Толоса, 1212 г. *) Реконкиста топталась на месте; Северная Африка в широком смысле — от Гибралтара до Египта; Левант, где существование христианских государств в Святой земле будет непрочным; и греческая [Византийская] империя (но она рухнет в 1204 г.).

[7] Pinto I., de. *Traité de la circulation et du credit*, p. 9

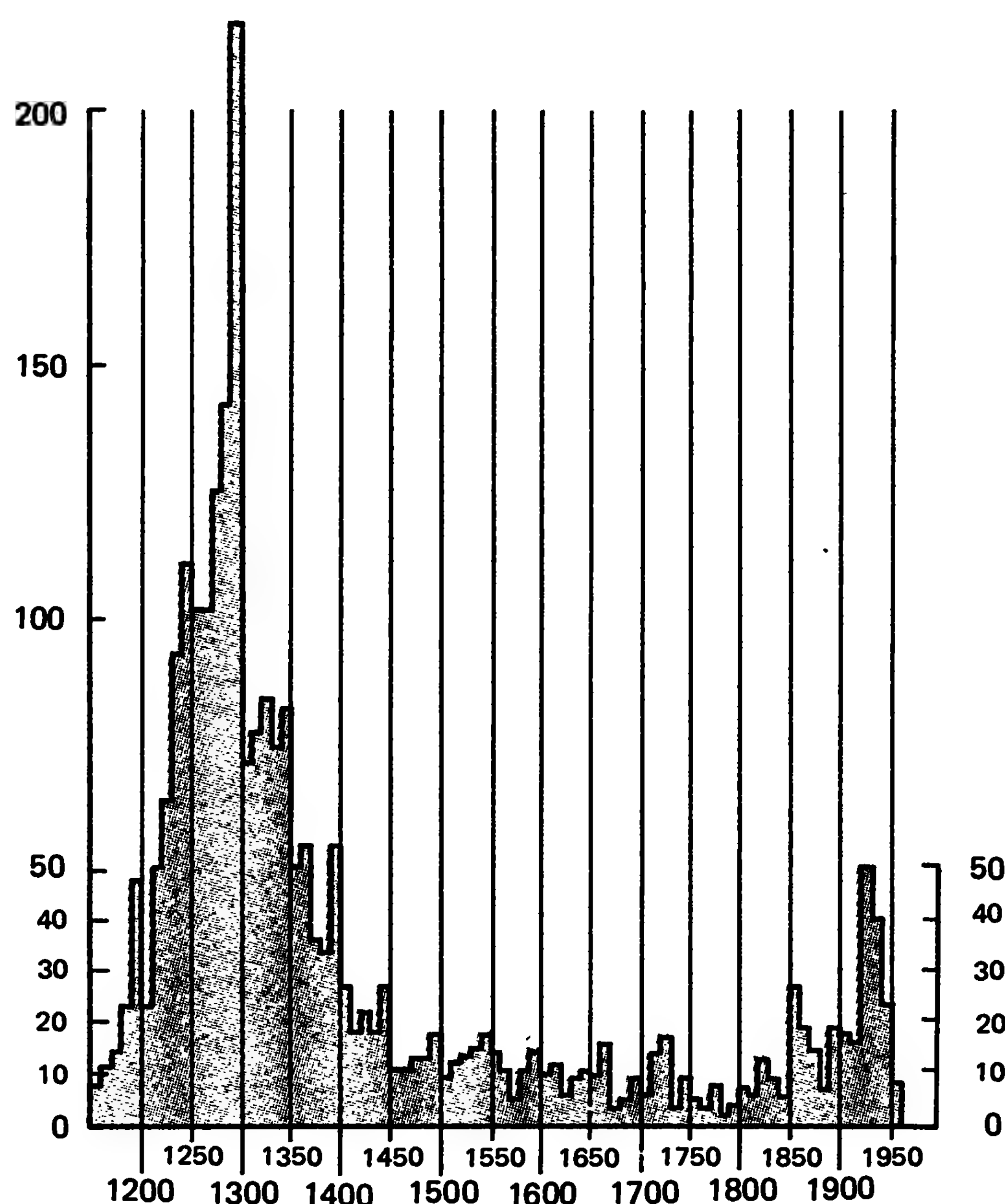
[8] См.: Doehaerd R. *Le Haut Moyen Age occidental, économies et sociétés*. 1971, p. 289.

[9] Adam P. *Op. cit.*, p. 11.

[10] По выражению Анри Пиренна (Алжир, 1931 г.).

* 16 июля 1212 г. при Лас-Навас-де-Толосе объединенное войско Кастилии, Арагона и Наварры наголову разгромило войско альмохадских правителей Испании.— *Прим. перев.*

Тем не менее Арчибалд Льюис прав, когда пишет, что «самой важной из границ европейской экспансии была внутренняя граница леса, болот, ланд»[11]. Незаселенные части европейского пространства отступали перед крестьянами, распахивавшими новь; люди, более многочисленные, ставили себе на службу колеса и крылья мельниц; создавались связи между районами, до того чуждыми друг другу; разрушались «перегородки»; возникали или возвращались к жизни на скрещениях торговых путей бесчисленные города — и то было, вне сомнения, решающим обстоятельством. Европа заполнилась городами. В одной только Германии их появилось более 3 тыс.[12] Правда, иные из них, хоть и окруженные стенами, останутся деревнями с двумя-тремя сотнями жителей. Но многие из них росли, и то были города в некотором роде небывалые, города нового типа. Античность знала свободные города, эллинские города-государства, доступные обитателям окружающих деревень, открытые их присутствию и их деятельности. Город же средневекового Запада, напротив, был замкнутым в себе, укрывшимся за своими стенами. «Городская стена отделяет горожанина от крестьянина», — гласит немецкая пословица. Город — это замкнутый мирок, защищенный своими привилегиями («воздух города делает свободным»), мирок агрессивный, упорный труженик неравного обмена. И именно город, более или менее оживленный в зависимости от места и времени, обеспечивал общий подъем Европы, подобно закваске в обильном тесте. Был ли город обязан этой ролью тому, что он рос и развивался в мире деревенском, предварительно организованном, а не в пустоте, как это было с городами Нового Света, а может быть, и с самими греческими полисами? В общем он располагал



Основание городов в Центральной Европе
График показывает небывалый подъем урбанизации в XIII в. (По данным Хайнса Штоба (Stoob H.) в кн.: Abel W. *Geschichte der deutschen Landwirtschaft*. 1962, p. 46.)

[11] Lewis A. *The Closing of the European Frontier*.— «*Speculum*», 1958, p. 476.
[12] См.: Abel W. *Agrarkrisen und Agrarkonjunktur*. 1966, S. 19.



Мелкие крестьяне, розничные торговцы в городе.
Деталь картины Лоренцо Лотто
«Рассказы о св. Варваре»
(«*Storie di Santa Barbara*»).
Фото Скала.

материалом, над которым можно было работать и за счет которого расти. А кроме того, здесь не присутствовало, чтобы ему мешать, столь медленно складывавшееся государство: на сей раз заяц с легкостью и вполне логично опередит черепаху.

Свою судьбу город обеспечивал своими дорогами, своими рынками, своими мастерскими, теми деньгами, которые он накапливал. Его рынки обеспечивали снабжение города благодаря приходу в город крестьян с излишками своих повседневных продуктов: «Они обеспечивали выход все возраставшим излишкам сеньериальных доменов, этим громадным количествам продукта, накапливавшегося в итоге уплаты повинностей натурой»[13]. По словам Слихера ван Бата, начиная с 1150 г. Европа вышла из состояния «прямого сельскохозяйственного потребления» (собственного потребления произведенного продукта), чтобы перейти к «непрямому сельскохозяйственному потреблению», рождавшемуся вследствие поступления в обращение излишков сельского производства[14]. В то же время город притягивал к себе всю ремесленную деятельность, он создавал для себя монополию изготовления и продажи промышленных изделий. И лишь позднее предындустрия отхлынет назад, в деревни.

Короче говоря, «экономическая жизнь... особенно начиная с XIII в. ... обгоняет [старинный] аграрный облик [хозяйства] городов»[15]. И на обширных пространствах совершается решающий переход от домашней экономики к экономике рыночной. Иначе говоря, города отрываются от своего деревенского окружения и с этого времени устремляют свои взоры за черту собственного горизонта. То был «громадный разрыв», первый, который создал европейское общество и подтолкнул его к последующим его успехам[16]. Рывок этот можно сравнить, да и то с оговорками, лишь с одним явлением: основанием по всей ранней европейской Америке стольких городов — перевалочных, складских пунктов, связанных воедино дорогой и потребностями обмена, управления и обороны.

Так повторим же вслед за Джино Луццатто и Армандо Сапори: именно тогда Европа узнала свое истинное Возрождение (невзирая на двусмысленность этого слова) — за два-три столетия до традиционно признанного Возрождения XV в.[17] Но объяснять эту экспансию остается делом трудным.

Конечно, наблюдался демографический подъем. Он якобы повелевал всем, но в свою очередь он должен был бы как-то объясняться. В частности, несомненно, прогрессом земледельческой техники, начавшимся с IX в.: усовершенствованием плуга, трехпольным севооборотом с системой «открытых полей» (*openfields*) для выпаса скота. Линн Уайт[18] ставит прогресс земледелия на первое место [среди причин] рывка Европы. Со своей стороны Морис Ломбар[19] отдает предпочтение прогрессу торговли: будучи очень рано связана с миром ислама и с Византией, Италия присоединилась к уже оживленной на Востоке денежной экономике и заново распространила ее по всей Европе. Города — это значило деньги, в общем главное в так называемой торговой революции. Жорж Дюби[20] и (с некоторыми

[13] Bühler J. *Vida y cultura en la edad media.* 1946, p. 204.
[14] Slicher van Bath B. H. *The Agrarian History of Western Europe, A. D. 500—1850.* 1966, p. 24.
[15] Renouard Y. *Les Villes d'Italie de la fin du X^e au début du XIV^e siècle.* 1969, I, p. 15.
[16] Bosl K. *Die Grundlagen der modernen Gesellschaft im Mittelalter.* 1972, II, S. 290.
[17] Мысль, часто высказывавшаяся в моем присутствии. См.: Sapori A. *Caratteri ed espansione dell'economia comunale italiana.— Congresso storico internazionale per l'VIII^e centenario della prima Lega Lombarda.* Bergamo, 1967, p. 125—236.
[18] White L. *What accelerated technological Progress in the Western Middle Ages.— Scientific Change*, ed. Crombie, 1963, p. 277.
[19] Lombard M. *Les bases monétaires d'une suprématie économique: l'or musulman du VII^e au XI^e siècle.*— «*Annales E. S. C.*», 1947, p. 158.
[20] Duby G. *L'Économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval.* 1962, I, p. 255.

нюансами) Роберто Лопес[21] скорее примыкают к Линну Уайту: главным были будто бы излишки земледельческого производства и значительное перераспределение прибавочного продукта.

[21] Lopez R. *La Nascità dell 'Europa, sec. X—XIV*. 1966, p. 121 sq.

МИР-ЭКОНОМИКА И БИПОЛЯРНОСТЬ

На самом деле все эти объяснения следует объединить друг с другом. Мог ли существовать рост, если бы не прогрессировало все примерно в одно и то же время? Необходимо было, чтобы одновременно росло число людей, чтобы совершенствовалась земледельческая техника, чтобы возродилась торговля и чтобы промышленность узнала свой первый ремесленный взлет, для того чтобы в конечном счете на всем европейском пространстве создалась сеть городов, городская надстройка, чтобы сложились связи города с городом, которые охватили бы нижележащую активность и заставили ее занять место в «рыночной экономике». Такая рыночная экономика, еще незначительная по пропускной способности, повлечет за собой также и энергетическую революцию, широкое распространение мельницы, используемой в промышленных целях, а в конечном счете завершится формированием мира-экономики в масштабе Европы. Федериго Мелис[22] вписывает это первое «мировое хозяйство» (*Weltwirtschaft*) в многоугольник Брюгге — Лондон — Лисабон — Фес — Дамаск — Азов — Венеция, внутри которого размещались 300 торговых городов, куда приходили и откуда отправлялись 153 тыс. писем, сохранившихся в архивах Франческо ди Марко Датини, купца из Прато. Генрих Бехтель[23] говорил о четырехугольнике: Лисабон — Александрия — Новгород — Берген. Фриц Рёриг, первый, кто придал смысл «мир-экономика» немецкому слову *Weltwirtschaft*, очерчивает границу распространения этого мира-экономики на востоке линией, идущей от Новгорода Великого на озере Ильмень до Византии[24]. Интенсивность обменов, их множественность работали на экономическое единство этого обширного пространства[25].

Единственный остающийся невыясненным вопрос: дата, с которой действительно начинает существовать это *Weltwirtschaft*. Вопрос почти что неразрешимый: мир-экономика может существовать только тогда, когда сеть располагает достаточно плотными, частыми ячейками, когда обмен достаточно регулярен и имеет достаточный объем, чтобы дать жизнь некоей центральной зоне. Но в те далекие века ничто не определяется слишком быстро, не возникает бесспорно. Вековой подъем начиная с XI в. все облегчает, но позволяет объединение вокруг нескольких центров сразу. И пожалуй, лишь с расцветом ярмарок Шампани в начале XIII в. становится очевидной связность некоего комплекса, простиравшегося от Нидерландов до Средиземноморья и действовавшего к выгоде не обычных городов, но городов ярмарочных, к выгоде не морских путей, но длинных сухопутных дорог. В этом заключался своеобразный пролог. Или, скорее, интермедия, ибо речь не идет о подлинном на-

[22] Melis F. *La civiltà economica nelle sue esplicazioni dalla Versilia alla Maremma (secoli X—XVII).— Atti del 60° Congresso Internazionale della «Dante Alighiere»*, p. 21.

[23] Bechtel H. *Wirtschaftsgeschichte Deutschlands* von 16. bis 18. Jahrhundert. 1951, I, S. 327.

[24] Rörig F. *Mittelalterliche Weltwirtschaft...*, 1933, S. 22.

[25] Аналогичные соображения по поводу распространения влияния Франкфурта-на-Майне см.: Mayersberg H. *Wirtschafts- und Sozialgeschichte zentraleuropäischer Städte in neuerer Zeit*. 1960, S. 238—239.

чале. В самом деле, что сталось бы со встречами купцов в Шампани без предварительного расцвета Нидерландов и Северной Италии, двух пространств, [экономика которых] рано оказалась перенапряженной и которые самою силою вещей были осуждены на то, чтобы соединиться?

Действительно, у истоков новой Европы надлежит поместить рост двух этих комплексов: Севера и Юга, Нидерландов и Италии, Северного моря вместе с Балтийским и всего Средиземноморья. Таким образом, Запад располагал не одной областью-«полюсом», но двумя, и такая биполярность, разрывавшая континент между Северной Италией и Нидерландами в широком смысле, просуществует века. Это одна из главных черт европейской истории, быть может самая важная из всех. Впрочем, говорить об Европе средневековой и современной — значит пользоваться двумя разными языками. То, что справедливо для Севера, никогда не бывало таким же точно для Юга — и наоборот.

Вероятно, все решилось к IX—X вв.: две региональные экономики с широким радиусом действия сформировались рано, почти что не связанные одна с другой, на основе еще имевшего малую плотность материала всей европейской [экономической] активности. На Севере процесс был быстрым; в самом деле, он не встречал сопротивления — области, даже не новые, были первобытными. На Средиземном море, в областях, издавна разрабатывавшихся историей, обновление, начавшееся, быть может, позже, впоследствии шло быстрее, тем более что перед лицом итальянского рывка находились ускорители в виде стран ислама и Византии. Так что — при прочих равных условиях — Север будет менее усложненным, чем Юг, более «промышленным», а Юг — более торговым, нежели Север. Стало быть, географически — два мира с противоположными знаками, созданные для того, чтобы друг к другу притягиваться и друг друга дополнять. Их соединение будет происходить по сухопутным путям Север — Юг, и первым заметным проявлением была их стыковка на ярмарках Шампани в XIII в.

Эти связи не отменяли двойственности, но подчеркивали ее, система как бы эхом откликалась на самое себя, укрепляясь игрой своих обменов, придавая обоим партнерам дополнительную жизнеспособность по сравнению с остальной Европой. Если среди расцвета городов ранней Европы существовали супергорода, то вырастали они неизменно в одной или в другой из этих зон и вдоль осей, что их соединяли: размещение таких городов обрисовывало костяк, а вернее — систему кровообращения европейского организма.

Разумеется, объединение европейской экономики вокруг какого-то центра могло произойти лишь ценой борьбы между двумя полюсами. Италия будет одерживать верх вплоть до XVI в., пока Средиземноморье оставалось центром Старого Света. Но к 1600 г. Европа заколебалась в пользу Севера. Возвышение Амстердама определенно не было заурядным случаем, простым переносом центра тяжести из Антверпена в Голландию, но весьма глубоким кризисом. Как только завершился отход на второй план Внутреннего моря и блиставшей на про-



Североевропейский промышленный «полюс»
Туманность текстильных мастерских от Зёйдер-Зе до долины Сены. Для всей совокупности Севера и Юга Европы см. ниже (с. 109) карту распространения влияния ярмарок Шампани. (По данным Гектора Аммана (Ammann H.) в кн.: *Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte,* 8, 1958.)

тяжении долгого времени Италии, у Европы будет отныне только один центр тяжести, на Севере, и именно по отношению к этому полюсу на века, вплоть до наших дней, обрисуются линии и круги глубокой европейской асимметрии. Следовательно, прежде чем двигаться дальше, необходимо показать в его основных чертах генезис этих имевших решающее значение регионов.

СЕВЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА: УСПЕХ БРЮГГЕ

Экономика Севера Европы создавалась с нуля. В самом деле, Нидерланды были *сотворены.* «Большая часть крупных городов Италии, Франции, прирейнской Германии, придунайской Австрии,—настойчиво подчеркивал Анри Пиренн,—возникли до нашей эры. И напротив, лишь в начале средних веков появляются Льеж, Лувен, Мехельн, Антверпен, Брюссель, Ипр, Гент, Утрехт»[26].

Каролинги, обосновавшись в Ахене, помогли первому пробуждению. Набеги и грабежи норманнов в 820—891 гг.[27] его прервали. Но возвращение к миру, связи с зарейнскими обла-

[26] Pirenne H. *Civilisation occidentale*..., p. 144.
[27] Perenne H. *Op. cit.*, p. 11.

стями и со странами североморскими оживили Нидерланды. Они перестали быть краем света (*finistère*). Они покрываются укрепленными замками, городами, обнесенными стенами. Толпы купцов, бывших до того времени бродячими, обосновываются вблизи городов и замков. К середине XI в. ткачи из низменных районов устраиваются в городских поселениях. Население увеличивается, процветают крупные земледельческие поместья, текстильная индустрия вдохнула жизнь в мастерские на пространстве от берегов Сены и Марны до самого Зёйдер-Зе.

И все это в конечном счете завершится блистательным успехом Брюгге. С 1200 г. город становится частью кругооборота фламандских ярмарок, вместе с Ипром, Тюрнхаутом и Мессеном [28]. Самим этим фактом город уже оказывается поднят над самим собою: его часто посещают иноземные купцы, активизируется его промышленность, он торгует с Англией и Шотландией, где обеспечивает себя шерстью, необходимой для городских ремесел, а также для реэкспорта в производящие сукна города Фландрии. Связи Брюгге с Англией благоприятствуют ему также и в провинциях, которыми король Англии владел во Франции; отсюда раннее знакомство Брюгге с нормандской пшеницей и бордоскими винами. Наконец, приход в город ганзейских судов укрепляет и усиливает его процветание. Тогда появляется аванпост в Дамме (еще до 1180 г.); позднее — аванпост Слёйс (Шлюзовый), в устье Звейна; создание их было ответом не только на прогрессировавшее заиливание брюггских вод, но и на потребность в более глубоководных якорных стоянках, которые могли бы принимать тяжелые суда (*Koggen*) ганзейцев [29]. Ведя переговоры от имени выходцев из Священной Римской империи, посланцы Любека и Гамбурга добились в 1252 г. от графини фландрской привилегий. Однако графиня отказалась разрешить любекским купцам учредить неподалеку от Дамме контору, которая бы обладала широкой автономией наподобие лондонского *Stahlhof*, который англичане позже выкорчевали с таким трудом [30].

В 1277 г. генуэзские суда пришли в Брюгге; эта регулярная морская связь между Средиземным и Северным морями обозначила решающее вторжение южан. Тем более что генуэзцы были всего лишь передовым отрядом: венецианские галеры, почти что замыкая шествие, придут в 1314 г. Для Брюгге речь шла одновременно и о его захвате, и об его взлете. О захвате, т.е. о конфискации южанами процесса развития, который Брюгге едва ли мог вести в одиночку; но также и о взлете, ибо прибытие моряков, кораблей и купцов из Средиземноморья представляло многообразный вклад богатствами, капиталами и техникой в ведение торговых и финансовых дел. Богатые итальянские купцы обосновывались в городе, они непосредственно доставляли туда самые ценные богатства того времени — левантинские пряности и перец, которые обменивали на промышленные изделия Фландрии.

С этого времени Брюгге оказался в центре слияния крупных потоков: не только из Средиземноморья, но в не меньшей степени из Португалии, Франции, Англии, прирейнской Германии плюс Ганза. Город становится многолюдным: в 1340 г. в нем

[28] *Ibid.*, p. 90; Laurent H. *Un Grand Commerce d'exportation. La draperie des Pays-Bas en France et dans les pays méditerranéens, XII*e*—XV*e* siècles.* 1935, p. 37—39.

[29] Pirenne H. *Op. cit.*, p. 128.

[30] 13 января 1598 г. по указу Елизаветы, текст которого приводит Филипп Доллингер: Dollinger Ph. *La Hanse (XII*e*—XVII*e* siècles).* 1964, p. 485—486.

было 35 тыс. жителей, а в 1500 г., возможно, 100 тыс. «Во времена Яна ван Эйка (около 1380—1440 гг.) и Мемлинга (1435—1494) он, бесспорно, был одним из красивейших городов в мире» [31]. А сверх того — определенно одним из самых предприимчивых. В самом деле, текстильная промышленность развивалась не только в Брюгге, она наводнила города Фландрии, где Гент и Ипр достигли блестящего успеха; в целом то был промышленный район, не имевший равных в Европе. В то же время у вершины торговой жизни, над ярмарками и рядом с ними, в 1309 г. создавалась знаменитая брюггская биржа, очень рано ставшая центром сложной торговли деньгами. Корреспондент Франческо Датини писал из Брюгге 26 апреля 1399 г.: «В Генуе, как кажется, существует обилие наличных денег; и того ради не помещайте там наши деньги, разве что сие бу-

[31] Wittman T. *Les Gueux dans les «bonnes villes» de Flandre (1577—1584)*. 1969, p. 23; Fierens-Gevaert H. *Psychologie d'une ville, essai sur Bruges*. 1901, p. 105; Lukca E. *Die Grosse Zeit der Niederlande*. 1936, S. 37.



Один из листов плана Брюгге, составленного в 1562 г. Марком Гхерертом [Париж, *Национальная библиотека*, Gee 5746 (9)]. Большой рынок в верхней части гравюры, возле церкви св. Иакова (№ 32 на плане), находится в центре города, представляя главную площадь Брюгге (Гроте-маркт). На этой площади, но за пределами воспроизведенного листа, располагаются Крытый рынок и его дозорная башня. Идя по улице Св. Иакова приходишь к Ослиной улице (Эзель-Стрете), приводящей к укрепленным Ослиным воротам, *Porta Asinorum* (№ 6 на плане, буквы ЕД). Под № 63 — площадь Биржи. Что касается торговых мест, см.: Roover R., de. *Money, Banking and Credit in Medieval Bruges*. 1948, p. 174—175. Этот фрагмент плана дает представление о масштабах города — его улицах, монастырях, мужских и женских, о его церквах, дворянских домах, рвах, укреплениях, о его ветряных мельницах и каналах с их грузовыми судами. В северной части (т.е. внизу гравюры) располагались обширные внутренние пространства (*intra*

дет по хорошей цене, а лучше поместите их в Венеции, либо во Флоренции, либо здесь [т.е. в Брюгге], либо в Париже, либо в Монпелье, ежели сочтете за лучшее там их поместить» (*«A Genova pare sia per durare larghezza di danari e per tanto non rimettete là nostri danari o sarebbe a buon prezo piutosto a Vinegia o a Firenze o qui o a Parigi rimettete, o a Monpolier bien se lla rimesse vi paresse miglore»*)[32].

Сколь бы ни важна была роль Брюгге, не будем слишком обольщаться. Не станем верить Анри Пиренну, который утверждал, будто Брюгге имел «международное значение», *превосходившее* таковое значение Венеции. С его стороны это уступка ретроспективному национализму. К тому же Пиренн сам признавал, что бóльшая часть приходивших в порт кораблей «принадлежала чужеземным арматорам», что «жители Брюгге принимали лишь незначительное участие в активной торговле. Им было достаточно того, чтобы служить посредниками между прибывавшими отовсюду купцами»[33]. Это то же самое, что сказать: жители Брюгге были подчиненными, а торговля города — «пассивной», как будут говорить в XVIII в. Отсюда и получившая широкий отклик статья Й. А. ван Хаутте (1952 г.), который показал разницу между Брюгге и Антверпеном, между «портом *национальным*» (Брюгге) и «портом *международным*)» (Антверпеном)[34]. Но, быть может, это означает заходить слишком далеко в противоположном направлении? Я согласился бы говорить о Брюгге (чтобы доставить удовольствие Рихарду Хёпке[35]) и о Любеке (чтобы сделать приятное Фрицу Рёригу[36]) как о центрах, уже бывших мировыми рынками (*Weltmärkte*), хотя и не вполне городами-мирами, т.е. солнцами в центре мира, не имевшими равных.

[32] Архив Датини, Прато, 26 апреля 1399 г.
[33] Pirenne H. *Op. cit.*, p, 127
[34] Houtte J. A., van. *Bruges et Anvers, marchés «nationaux» ou «internationaux» du XIV^e au XVI^e siècle.— «Revue du Nord»*, 1952, p. 89—108.
[35] Häpke R. *Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt.* 1908, S. 253.
[36] Rörig F. *Op. cit.*, S. 16.

СЕВЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА: ВЗЛЕТ ГАНЗЫ[37]

Брюгге был всего лишь одним из пунктов — конечно, самым значительным, но все же одним из пунктов — обширной зоны на Севере, простиравшейся от Англии до Балтийского моря. Это обширное пространство, морское и торговое — Балтика, Северное море, Ла-Манш и даже Ирландское море, — было той областью, где во всю ширь развернулись *морские* и торговые успехи Ганзы, сделавшиеся ощутимыми с 1158 г., с основания города Любека неподалеку от вод Балтики, между прикрывавшими его болотами речных долин Траве и Вакеница.

Тем не менее речь не шла о строительстве на голом месте, *ex nihilo*. В VIII и IX вв. набеги и пиратство норманнов очертили границы этой северной морской империи и даже вышли за них. Если авантюры норманнов и «растворились» по всему пространству и всему побережью Европы, то здесь от них коечто осталось. И после норманнов легкие и беспалубные скандинавские ладьи довольно долго бороздили Балтийское и Северное моря: иные норвежцы добирались до Англии и до Ирландского моря[38]; корабли крестьян с острова Готланд посещали южные гавани и реки вплоть до Великого Новгорода[39]; от Ют-

[37] По поводу всего этого параграфа см.: Dollinger Ph. *Op. cit.*
[38] Pirenne H. *Op. cit.* p. 26—27.
[39] Dollinger Ph. *Op. cit.*, p. 42.

muros), которые, в соответствии с распространенным в XVI в. правилом, не застраивались.

ландии до Финляндии создавались славянские города, открытые свету недавними археологическими раскопками[40]; русские купцы появлялись в Штеттине, городе, бывшем тогда чисто славянским[41]. И все же Ганза не имела своим предшественником никакой подлинно *международной* экономики. Медленно, полюбовно, благодаря обмену, соглашениям с государями, при случае также и насильственным путем, двойное морское пространство, Балтийское море — Северное море, было захвачено и организовано немецкими городами, купцами, воинами или крестьянами.

Но не следует представлять себе какие-то города, тесно связанные между собою с самого начала. Слово «Ганза» (готское *Hansa*, группа купцов[42]) появляется поздно, будучи впервые написано должным образом в английской королевской грамоте 1267 г.[43] Поначалу речь шла о некоей «туманности» купцов плюс некая туманность кораблей — от Зёйдер-Зе до Финляндии, от Швеции до Норвегии. Центральная ось торговых операций шла от Лондона и Брюгге до Риги и Ревеля (Таллинна), где открывался путь на Новгород, или на Витебск, или на Смоленск. Обмены осуществлялись между еще слабо развитыми странами Прибалтики, поставщиками сырья и продовольственных продуктов, и Северным морем, где Запад уже организовал свои перевалочные пункты и [осознал] свои потребности. Мир-экономика, возникший на базе Европы и Средиземного моря, принимал в Брюгге крупные суда Ганзы — прочно построенные *коггены* с обшивкой внахлестку, появляющиеся с конца XIII в. (они послужат образцом для средиземноморских *нефов* — «*naves*»[44]). Позднее появятся *урки* (*hourques*)[45], другой тип больших плоскодонных судов, способных перевозить тяжелые грузы соли и требующие много места бочонки с вином, лес, пиловочник, зерно, засыпанное в трюмы. Господство ганзейских городов на море было очевидным, если даже оно и не было полным: в самом деле, вплоть до 1280 г. их корабли избегали ходить опасными датскими проливами, а когда *Umlandfahrt*[46] (плавание вокруг Дании по этим проливам) сделалось обычным, *route d'isthme* (*дорога через перешеек*), соединявшая Любек с Гамбургом — в действительности отрезки рек и канал, движение по которым было очень медленным,— по-прежнему будет использоваться[47].

Эта дорога через перешеек привела к преобладанию Любека: товары с Балтики в Северное море обязательно проходили через него. В 1227 г. Любек получил привилегию, сделавшую его имперским [вольным] городом, единственным городом этой категории к востоку от Эльбы[48]. Еще одно преимущество: близость города к люнебургским соляным копям, рано оказавшимся под контролем его купцов[49]. Преобладание Любека, наметившееся с 1227 г. (с победой над датчанами при Борнхёведе[50]), делается очевидным с пожалованием ганзейцам привилегий во Фландрии в 1252—1253 гг.[51], за доброе столетие до первого общего *ганзатага* (сейма), депутаты которого соберутся в Любеке в 1356 г., создав *наконец* Ганзу городов[52]. Но задолго до этой даты Любек был «символом ганзейского Союза... признаваемым всеми за столицу купеческой конфедерации... Его

[40] Hensel W., Gieysztor A. *Les Recherches archéologiques en Pologne*. 1958, p. 54 sq.
[41] Dollinger Ph. *Op. cit.*, p. 21.
[42] Doehaerd R. *A propos du mot «Hanse»*.— «*Revue du Nord*», janvier 1951, p. 19.
[43] Dollinger Ph. *Op. cit.*, p. 10.
[44] Braudel F. *Médit...*, I, p. 128.
[45] Dollinger Ph. *Op. cit.*, p. 177.
[46] *Ibid.*, p. 54.
[47] См. т. 2 настоящей работы, с. 355.
[48] Dollinger Ph., *Op. cit.*, p. 39.
[49] *Ibid.*, p. 148.
[50] *Ibid.*, p. 39.
[51] *Ibid.*, p. 59.
[52] *Ibid.*, p. 86.

герб — имперский орел — сделался в XV в. гербом всей конфедерации в целом»[53].

Тем не менее лес, воск, пушнина, рожь, пшеница, продукты леса Восточной и Северной Европы имели ценность, лишь будучи реэкспортированы на Запад. А в обратном направлении обязательным ответом были соль, сукна, вино. Система эта, простая и крепкая, наталкивалась, однако же, на многие трудности. И именно эти трудности, которые предстояло преодолеть, сплавили воедино совокупность городов Ганзы, совокупность, по поводу которой можно одновременно говорить о хрупкости и о прочности. Хрупкость вытекала из нестабильности объединения, собравшего огромную «толпу» городов (от 70 до 170), которые находились далеко друг от друга и делегаты которых не собирались в полном составе на общих съездах. За Ганзой не стояли ни государство, ни крепко сколоченный союз — только города, ревниво относившиеся к своим прерогативам, гордившиеся ими, при случае соперничавшие между собой, огражденные мощными стенами, со своими купцами, патрициатом, ремесленными цехами, со своими флотами, складами, со своими благоприобретенными богатствами. Прочность же проистекала из общности интересов, из необходимости вести одну и ту же экономическую игру, из общей цивилизации, «замешанной» на торговле в одном из самых многолюдных морских пространств Европы — от Балтики до Лисабона, из общего языка, наконец, что было отнюдь не малозначащим элементом единства. Язык этот «имел субстратом нижненемецкий (отличный от немецкого Южной Германии), обогащавшийся в случае потребности элементами латинскими, эстонскими в Ревеле, польскими в Люблине, итальянскими, чешскими, украинскими, может быть, и литовскими»[54]. И то был язык «элиты власти... элиты богатства, что предполагало принадлежность к определенной социальной и профессиональной группе»[55]. А кроме того, коль скоро эти купцы-патриции были на редкость мобильны, одни и те же семейства — Ангермюнде, Векингхузены, фон Зесты, Гизе, фон Зухтены — встречались в Ревеле, Гданьске, Любеке и Брюгге[56].

Все эти узы рождали сплоченность, солидарность, общие привычки и общую гордость. Общие для всех ограничения сделали остальное. В Средиземноморье при относительном сверхобилии богатств города могли вести каждый свою собственную игру и наперебой яростно драться между собой. На Балтике, на Северном море это было бы не в пример трудней. Доходы от тяжеловесных и занимающих большой объем при низкой цене грузов оставались скромными, затраты и риск — значительными. Норма прибыли в лучшем случае составляла, как считают, около 5%[57]. Больше чем где бы то ни было требовалось рассчитывать, делать сбережения, предвидеть. Одним из условий успеха было держать в одних руках предложение и спрос, шла ли речь об экспорте на Запад или же, в противоположном направлении, о перераспределении товаров, импортируемых Восточной Европой. Конторы, что содержала Ганза, были укрепленными пунктами, общими для всех ганзейских купцов, защищенными привилегиями, которые упорно отстаи-

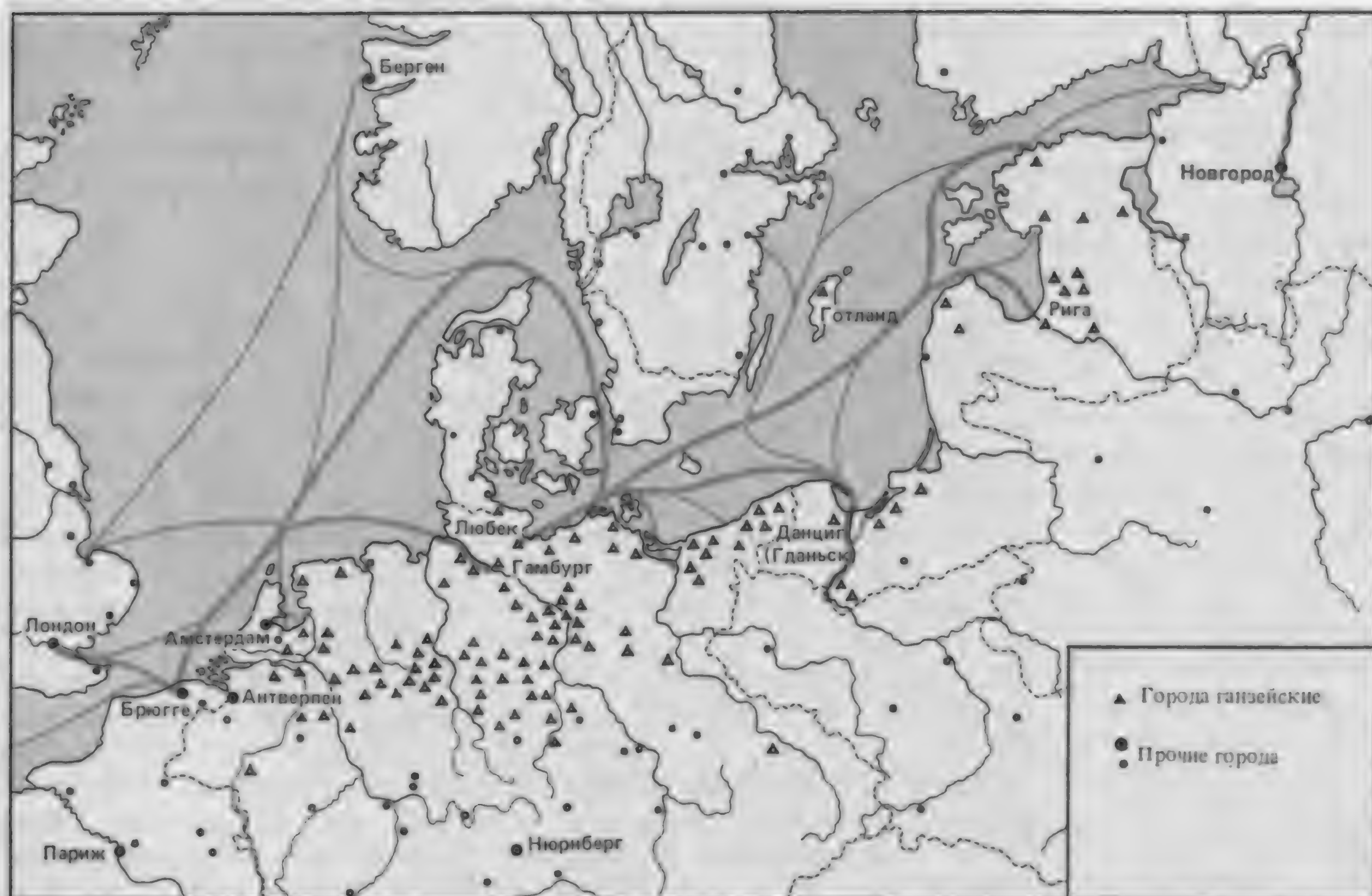
[53] Samsonowicz H. *Les liens culturels entre les bourgeois du littoral baltique dans le bas Moyen Age.— Studia maritima.* I, p. 10—11.
[54] Samsonowicz H. *Op. cit.*, p. 12.
[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*
[57] Dollinger Ph. *Op. cit.*, p. 266.

вались, будь то *Sankt Peterhof* в Новгороде, *Deutsche Brücke* в Бергене или *Stahlhof* в Лондоне. Будучи гостями фактории на один сезон, немцы подчинялись строгой дисциплине. В Бергене молодые люди «в учении» оставались на месте десять лет, обучаясь языкам и местной торговой практике, и должны были оставаться холостяками. В этой фактории всем управляли Совет старейшин и два *альдермана* (*Aldermen*). За исключением Брюгге, где такое было бы невозможно, купец обязан был жить в *конторе* (*Kontor*).

Наконец, северное пространство было охвачено цепью надзора и необходимостей. В Бергене собственно норвежские интересы без конца попирались. Эта страна, сельское хозяйство которой было недостаточным [58], зависела от зерна, которое привозили любекские купцы либо из Померании, либо из Бранденбурга. Едва только Норвегия пробовала ограничить привилегии Ганзы, зерновая блокада призывала ее к порядку (как это было в 1284—1285 гг.). И в той мере, в какой конкуренция со стороны импортированного зерна стесняла развитие самодостаточного земледелия, иностранный купец получал от норвежцев то, чего пожелает: солонину, соленую или вяленую треску с Лофотенских островов, лес, жиры, смолу, пушнину...

На Западе, имея пред собой лучше вооруженных партнеров, Ганза все же сумела сохранить свои привилегии, в Лондоне в еще большей степени, чем в Брюгге. В английской столице *Stahlhof* рядом с Лондонским мостом был еще одним «Немецким двором» (*Fondaco dei Tedeschi*) со своими причалами

[58] *Ibid.*, p. 55.



Торговые перевозки Ганзы около 1400 г. По данным «Исторического атласа мира» (Putzger F. W. *Historischer Weltatlas*. 1963, S. 57).

и своими складами. Ганзейцы были там освобождены от большей части сборов; у них были собственные судьи, и они охраняли даже одни из ворот города, что было несомненной честью [59].

Тем не менее апогей Любека и связанных с ним городов пришелся на довольно позднее время — между 1370 и 1388 гг. В 1370 г. Ганза взяла верх над королем Дании по условиям Штральзундского договора [60] и заняла крепости на датских проливах; в 1388 г. в результате спора с Брюгге она заставила богатый город и правительство Нидерландов капитулировать вследствие эффективной блокады [61]. Однако эти запоздалые успехи скрывают начало спада, вскоре ставшего очевидным [62].

К тому же как мог не нанести ущерба ганзейцам громадный кризис, вплотную захвативший западный мир в эту вторую половину XIV в.? Правда, несмотря на демографический спад, Запад не снизил свой спрос на продукты бассейна Балтийского моря. К тому же население Нидерландов мало пострадало от Черного мора, а расцвет западных флотов заставляет думать, что уровень импорта леса не должен был снизиться, даже наоборот. Но движение цен на Западе сыграло против Ганзы. В самом деле, после 1370 г. цены на зерновые упали, а затем начиная с 1400 г. снизились цены на пушнину, в то время как цены на промышленные изделия росли. Такое противоположно направленное движение обоих лезвий ножниц оказывало неблагоприятное воздействие на торговлю Любека и других балтийских городов.

При всем том хинтерланд Ганзы знавал кризисы, которые поднимали друг на друга государей,сеньеров, крестьян и города. К чему добавился упадок далеких венгерских и чешских золотых и серебряных рудников [63]. Наконец, появились или же

[59] Dollinger Ph., *Op. cit.*, p. 130.
[60] *Ibid.*, p. 95.
[61] *Ibid.*, p. 100—101.
[62] Malowist M. *Croissance et régression en Europe, XIV^e^—XVII^e^ siècles.* 1972,p. 93, 98.
[63] Dollinger Ph., *Op. cit.*, p. 360.



Ганзейский дом в Антверпене. Поздняя (1564 г.) постройка, соответствовавшая возобновлению торговых операций ганзейцев в Антверпене. С акварели Кадлиффа 1761 г. *Фото Жиродона.*

возродились вновь территориальные государства: Дания, Англия, Нидерланды, объединенные рукою бургундских Валуа, Польша (одержавшая в 1466 г. победу над тевтонскими рыцарями), Московское государство Ивана III, положившего в 1478 г. конец независимости Новгорода Великого[64]. К тому же англичане, голландцы, нюрнбергские купцы проникали в зоны, где господствовала Ганза[65]. Некоторые города защищались, как делал это Любек, еще в 1470—1474 гг. взявший верх над Англией; другие предпочли договориться с новоприбывшими.

[64] Malowist M. *Op. cit.*, p. 133.
[65] *Ibid.*, p. 105.
[66] Heckscher E. F. *Der Merkantilismus* (испанский перевод: *La Epoca mercantilista*. 1943, p. 311).

Немецкие историки объясняют упадок Ганзы *политическим* инфантилизмом Германии. Эли Хекшер[66] их опровергает, не приводя достаточно ясных объяснений. Нельзя ли считать, что в эту эпоху, когда преобладание было за городами, сильное немецкое государство, возможно, в такой же мере стесняло бы города Ганзы, как и помогало им? Закат этих городов, как кажется, проистекал скорее из столкновения их довольно слабо развитой экономики с более оживленной уже экономикой Запада. Во всяком случае, в общей перспективе мы не смогли бы поставить Любек на такой же уровень, как Венецию или Брюгге. Между пришедшим в движение Западом и менее подвижным Востоком ганзейские общества придерживались простейшего капитализма. Их экономика колебалась между натуральным обменом и деньгами; она мало прибегала к кредиту: долгое время единственной допускаемой монетой будет серебряная. А сколько традиций, бывших слабостями даже в рамках тогдашнего капитализма. Очень сильная буря конца XIV в. не могла не нанести удар по экономикам, бывшим в наихудшем положении. Пощажены — относительно — будут лишь самые сильные.

ДРУГОЙ ПОЛЮС ЕВРОПЫ: ИТАЛЬЯНСКИЕ ГОРОДА

В VII в. ислам завоевал Средиземноморье не единым махом. И вызванный такими, следовавшими одно за другим вторжениями кризис даже заставил опустеть торговые пути по морю, так полагает Э. Эштор[67]. Но в VIII и IX вв. обмены вновь ожили; Средиземное море вновь стало изобиловать кораблями, а прибрежные жители, богатые и бедные, все извлекали из этого выгоду.

На итальянских и сицилийских берегах активизировались небольшие гавани — не одна только Венеция, еще не имевшая особого значения, но десять, двадцать маленьких Венеций. Эту компанию возглавлял Амальфи[68], хотя ему едва удавалось разместить свой порт, свои дома, а позднее — свой собор в той лощине, что оставили ему горы, круто обрывающиеся к морю. Его на первый взгляд малопонятное выдвижение объяснялось ранними и предпочтительными связями с мусульманским миром и самой бедностью его неблагодарных земель, обрекавшей небольшое поселение очертя голову броситься в морские предприятия[69].

[67] Ashtor E. *Histoire des prix et des salaires dans l'Orient médiéval*. 1969, p. 237.
[68] Bautier R.-H. *La marine d'Amalfi dans le trafic méditerranéen du XIVe siècle, à propos du transport du sel de Sardaigne.— «Bulletin philologique et historique du Comité des Travaux historiques et scientifiques»*, 1959, p. 183.
[69] Del Treppo M., Leone A. *Amalfi medioevale*. 1977. Книга содержит возражения против традиции рассматривать историю Амальфи как чисто торговую.

В самом деле, судьба этих маленьких городков решалась за сотни лье от их родных вод. Для них успех заключался в том, чтобы связать между собой богатые приморские страны, города мира ислама или Константинополь, получить золотую монету [70] — египетские и сирийские динары,— чтобы закупить роскошные шелка Византии и перепродать их на Западе, т.е. в торговле по треугольнику. Это то же самое, что сказать: торговая Италия была еще всего лишь заурядной «периферийной» областью, озабоченной тем, чтобы добиться согласия на свои услуги, поставки леса, зерна, льняного полотна, соли, невольников, которые она себе обеспечивала в самом сердце Европы. Все это было до крестовых походов, до того, как христианский мир и мир ислама поднялись друг на друга.

[70] Lombard M. *Op. cit.*, p. 154 sq.

[71] Citarella A. *Patterns in Medieval Trade: The Commerce of Amalfi before the Crusades.— «Journal of Economic History»*, december 1968, p. 533, note 6.

Эта активность пробудила итальянскую экономику, пребывавшую в полудреме со времени падения Рима. Амальфи был пронизан денежной экономикой: нотариальные акты с IX в. отмечают покупку земель его купцами, расплачивавшимися золотой монетой [71]. С XI по XIII в. пейзаж лощины («*valle*») Амальфи окажется измененным ею; умножится число каштановых



Амальфи. Вид с воздуха, который очень выразительно показывает стесненность площадки между морем и горами. *Издание Аэрофото.*

деревьев, виноградников, посадок оливковых деревьев, цитрусовых, мельниц. Признаком процветания международной активности города представляется то, что Кодекс морского права Амальфи (*Tabula amalphitensis*) сделается одним из великих законов мореходства христианского Средиземноморья. Но беды не пощадят Амальфи: в 1100 г. город был завоеван норманнами; два раза подряд, в 1135 и в 1137 гг., его разграбили пизанцы, и в довершение всего в 1343 г. его прибрежная часть оказалась разрушена морской бурей. Не перестав присутствовать на море, Амальфи тогда отошел на задний план того, что мы именуем большой историей [72]. После 1250 г. его торговля уменьшилась, быть может, до трети того, что она составляла с 950 по

[72] Bautier R.-H. *Op. cit.*, p. 184.

1050 г.; пространство его морских связей все более сокращалось, пока не стало только зоной каботажа вдоль итальянских берегов для нескольких десятков барок, саэт и мелких бригантин.

Первые шаги Венеции были такими же. В 869 г. ее дож Юстиниан Партечипацио оставил в числе прочего своего имущества 1200 фунтов серебра — сумму немалую [73]. Как Амальфи в своей лощине между гор, так и Венеция на своих шести десятках островов и островков была странным миром, прибежищем, но неудобным: ни пресной воды, ни продовольственных ресурсов — и соль, слишком много соли! О венецианце говорили: «Не пашет, не сеет, не собирает виноград» («*Non arat, non seminat, non vendemiat*») [74]. «Построенный в море, совсем лишенный виноградников и возделанных полей» — так описывал в 1327 г. свой городок дож Джованни Соранцо [75]. Не был ли то город в чистом виде, лишенный всего, что не было исключительно городским, обреченный ради выживания все требовать в обмен: пшеницу или просо, рожь или пригонявшийся скот, сыры или овощи, вино или масло, лес или камень? И даже питьевую воду! Его население целиком пребывало вне пределов того «первичного сектора», что бывал обычно столь широко представлен в доиндустриальных городах. Венеция развивала свою активность в секторах, которые сегодняшние экономисты называют *вторичным* и *третичным*: в промышленности, торговле, услугах, секторах, где рентабельность труда выше, нежели в сельских видах деятельности. Это означало оставить другим менее прибыльные занятия, создать неуравновешенность, которую познают все крупные города: Флоренция, будучи богата землей, с XIV и XV вв. будет ввозить для себя зерно с Сицилии, а ближние холмы покроет виноградниками и оливковыми рощами; Амстердам в XVII в. будет потреблять пшеницу и рожь стран Балтийского бассейна, мясо Дании, сельдь «большого лова» на Доггер-банке. Но именно с первых шагов все города без настоящей территории — Венеция, Амальфи, Генуя — осуждены были жить таким вот образом. У них не было иного выбора.

Когда в IX — X вв. четко обрисовалась торговля венецианцев на дальние расстояния, Средиземноморье было поделено между Византией, миром ислама и западным христианским миром. На первый взгляд Византия должна была бы стать центром начавшего восстанавливаться мира-экономики. Но Византия, отягощенная своим прошлым, почти не обнаруживала бойцовского духа [76]. Ислам, расцветший на берегах Средиземного моря, «продолжаемый» множеством караванов и кораблей в сторону Индийского океана и Китая, одержал верх над старой метрополией греческой империи. И значит, это он захватит все? Нет, ибо преградой на его пути оставалась Византия в силу старинных своих богатств, своего опыта, своего авторитета в мире, который нелегко было спаять заново, в силу [наличия] громадной агломерации, вес которой никто не мог сместить по своему желанию.

Итальянские города — Генуя, Пиза и Венеция — мало-помалу проникали между экономиками, господствовавшими

[73] Lopez R. S. *Op. cit.*, p. 94.
[74] Renouard Y. *Op. cit.*, p. 25, note 1.
[75] Skrzinskaja E. C. *Storia della Tana.— «Studi Veneziani»*, X, 1968, p. 7 (*«In mari constituta, caret totaliter vineis atque campis»*).
[76] Canard M. *La Guerre sainte dans le monde islamique.— Actes du IIe Congrès des sociétés savantes d'Afrique du Nord.* Tlemcen, 1936, II, p. 605-623.

на море. Удача Венеции заключалась, быть может, в том, что ей не было нужды, как Генуе и Пизе, прибегать к насилию и пиратству, чтобы добыть себе место под солнцем. Находясь под довольно теоретическим владычеством греческой империи, она с бо́льшими удобствами, чем кто-либо другой, проникла на огромный и плохо защищаемый византийский рынок, оказывала империи многочисленные услуги и даже помогала ее обороне. В обмен она получила из ряда вон выходящие привилегии [77]. И тем не менее, несмотря на раннее проявление в ней определенного «капитализма», Венеция оставалась городом незначительным. На протяжении столетий площадь Св. Марка будет стеснена виноградниками, деревьями, загромождена постройками-«паразитами», разрезана надвое каналом, северная ее часть будет занята фруктовым садом (отсюда название *Brolo*, фруктовый сад, оставшееся за этим местом, когда оно сделалось местом встреч знати и центром политических интриг и сплетен [78]). Улицы были немощеные, мосты — деревянные, как и дома, так что зарождавшийся город, дабы уберечься от пожаров, выставил на остров Мурано печи стеклодувов. Несомненно, признаки активности нарастали: чеканка серебряной монеты, обставлявшиеся условиями займы в гиперперах (византийская золотая монета). Но меновая торговля сохраняла свои права, ставка кредита удерживалась очень высоко (*de quinque sex*, т.е. 20%), и драконовские условия выплаты говорят о нехватке наличных денег, о невысоком экономическом тонусе [79].

И все же не будем категоричны. До XIII в. история Венеции окутана густым туманом. Специалисты спорят о ней так же, как античники спорят о неясном происхождении Рима. Таким образом, вполне вероятно, что еврейские купцы, обосновавшиеся в Константинополе, в Негропонте [Эвбее], на острове Кандия, очень рано посещали гавань и город Венецию, даже если так называемый остров Джудекка, несмотря на его название *, и не был обязательным местом их пребывания [80]. Точно так же более чем вероятно, что во времена свидания в Венеции Фридриха Барбароссы и папы Александра III (1177 г.) уже существовали торговые отношения между городом св. Марка и Германией и что белый металл немецких рудников играл в Венеции значительную роль, противостоя византийскому золоту [81].

Но для того чтобы Венеции быть Венецией, ей потребуется последовательно установить контроль над лагунами, обеспечить себе свободное движение по речным путям, выходившим к Адриатике на ее уровне, открыть для себя дорогу через перевал Бреннер (до 1178 г. находившуюся под контролем Вероны [82]). Потребуется, чтобы она увеличила число своих торговых и военных кораблей и чтобы Арсенал, сооружавшийся начиная с 1104 г. [83], превратился в не знавший соперников центр могущества, чтобы Адриатика мало-помалу стала «венецианским заливом» и была сломлена или устранена конкуренция таких городов, как Комаккьо, Феррара и Анкона или, на другом берегу (*altra sponda*) Адриатического моря, Сплит, Зара [Задар], Дубровник [Рагуза]. Все это — не считая рано завязавшейся борьбы против Генуи. Потребуется, чтобы Венеция

[77] Хрисовул Алексея I Комнина от мая 1082 г. освободил венецианцев от любых платежей (Pirenne H. *Op. cit.*, p. 23).

[78] Tassini G. *Curiosità veneziane*. 1887, p. 424;

[79] Luzzatto G. *Studi di storia economica veneziana*. 1954, p. 98.

* От слова *giudeo*, что означает «иудейский». — *Прим. перев.*

[80] David B. *The Jewish Mercantile Settlement of the 12th and 13th century Venice: Reality or Conjecture?* — *«American Jewish Society Review»*, 1977, p. 201—225.

[81] Stromer W., von. *Bernardus Tauronicus und die Geschäftsbeziehungen zwischen der deutschen Ostalpen und Venedig vor Gründung des Fondaco dei Tedeschi.* — *«Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte»*, III.

[82] Luzzato G. *Op. cit.*, p. 10.

[83] *Ibid.*, p. 37—38.

выковала свои институты — фискальные, финансовые, денежные, административные, политические — и чтобы ее богатые люди («капиталисты», по мнению Дж. Гракко[84], которому мы обязаны революционизирующей книгой о начальных этапах становления Венеции) завладели властью, сразу же после правления последнего самодержавного дожа Витале Микьеля [1172 г.][85]. Только тогда выявились очертания венецианского величия.

Невозможно, однако, ошибиться: как раз фантастическая авантюра крестовых походов ускорила торговый взлет христианского мира и Венеции. Люди, приходящие с Севера, направляются к Средиземному морю, перевозятся по нему со своими конями, оплачивают стоимость своего проезда на борту кораблей итальянских городов, разоряются, чтобы покрыть свои расходы. И сразу же в Пизе, Генуе или Венеции транспортные корабли увеличиваются в размерах, становятся гигантскими. В Святой земле обосновываются христианские государства, открывая проход на Восток, к его соблазнительным товарам — перцу, пряностям, шелку, снадобьям[86]. Для Венеции *решающим* поворотом был ужасный[87] IV крестовый поход, который, начавшись взятием христианского Задара (1203 г.), завершился разграблением Константинополя (1204 г.). До этого Венеция паразитировала на Византийской империи, пожирала ее изнутри. Теперь Византия стала почти что ее собственностью. Но от краха Византии выиграли все итальянские города; точно так же выиграли они и от монгольского нашествия, которое после 1240 г. на столетие открыло прямой путь по суше от Черного моря до Китая и Индии, дававший неоценимое преимущество — [возможность] обойти позиции ислама[88]. Это усилило соперничество Генуи и Венеции на Черном море (важнейшей с того времени арене) и, само собой разумеется, в Константинополе.

Правда, движение крестовых походов прервалось даже еще до смерти Людовика Святого в 1270 г., а с взятием в 1291 г. Сен-Жан-д'Акра ислам отобрал последнюю важную позицию христиан в Святой земле. Однако остров Кипр, решающий стратегический пункт, служил для христианских купцов и мореплавателей защитой и прикрытием в морях Леванта[89]. А главное — море, уже бывшее христианским, целиком оставалось таким, утверждая господство итальянских городов. Чеканка золотой монеты во Флоренции в 1250 г., еще раньше — в Генуе, в 1284 г. — в Венеции[90] отмечает экономическое освобождение от власти мусульманских динаров, то было свидетельство силы. К тому же города без труда управляли территориальными государствами: Генуя в 1261 г. восстановила греческую империю Палеологов; она облегчила внедрение арагонцев на Сицилии (1282 г.). Отплыв из Генуи, братья Вивальди[91] за два столетия до Васко да Гамы отправились в общем на поиски мыса Доброй Надежды. Генуя и Венеция имели тогда колониальные империи, и, казалось, все должно было соединиться в одних руках, когда Генуя нанесла смертельный удар Пизе в сражении при Мелории в 1284 г. и уничтожила венецианские галеры возле острова Курцола в Адриатическом море (сентябрь 1298 г.).

[84] Gracco G. *Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII—XIV)*. 1967.
[85] Kretschmayr H. *Geschichte von Venedig*. 1964, I, S. 257.
[86] Heyd W. *Histoire du commerce du Levant au Moyen Age*. 1936, p. 173.
[87] Не такой уж ужасный, как считают Доналд Квеллер и Джералд Дори: Queller D. E., Dory G. W. *Some Arguments in Defense of the Venetians on the Fourth Crusade*. — «*The American Historical Review*», october 1976, № 4, p. 717—737.
[88] Lopez R. S. *Op. cit.*, p. 154 sq.
[89] Mas-Latrie J. *Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan*. 1861, I, p. 511.
[90] О чеканке монеты см. т. 2 настоящей работы, с. 189.
[91] См.: Хенниг Р. *Неведомые земли*. Т. 3, М., 1962.

В этом деле был будто бы взят в плен Марко Поло [92]. Кто бы тогда, в конце XIII в., не поставил десять против одного на близкую и полную победу города св. Георгия?

Пари было бы проиграно. В конечном счете верх взяла Венеция. Но важно то, что впредь борьба на Средиземном море развертывалась уже не между христианским миром и миром ислама, а внутри группы предприимчивых торговых городов, которые сформировало по всей Северной Италии процветание морских предприятий. Главной ставкой были перец и пряности Леванта — привилегия [на них] имела значение далеко за пределами Средиземноморья. Действительно, то был главный козырь итальянских купцов в Северной Европе, складывавшейся в то самое время, когда наметилось обновление в Западном Средиземноморье.

[92] Ф. Борланди это мнение отвергает: Borlandi F. *Alle origini del libro di Marco Polo.— Studi in onore di Amintore Fanfani.* 1962, I, p. 135.

ИНТЕРМЕДИЯ: ЯРМАРКИ ШАМПАНИ

Итак, примерно в то же время и в замедленном темпе сложились две экономические зоны — Нидерландов и Италии. И как раз между этими двумя полюсами, этими двумя центральными зонами вклинивается столетие ярмарок Шампани. В самом деле, ни Север, ни Юг не одержали верх (они даже не соперничали) в этом раннем строительстве европейского мира-экономики. Экономический центр на довольно долгие годы расположился на полпути между этими двумя полюсами — как бы для того, чтобы ублаготворить и тот и другой,— на шести ежегодных ярмарках Шампани и Бри, которые менялись ролями каждые два месяца [93]. «Сначала, в январе, происходила ярмарка в Ланьи-сюр-Марн; затем во вторник на третьей неделе великого поста — ярмарка в Бар-сюр-Об; в мае — первая ярмарка в Провене, так называемая ярмарка св. Кириака (*Quiriace*); в июне — «горячая ярмарка» в Труа; в сентябре — вторая ярмарка в Провене, или ярмарка св. Эйюля (*Ayoul*); и, наконец, в октябре, в завершение цикла, «холодная ярмарка» в Труа» [94]. Обменные операции и скопище деловых людей смещались от одного города к другому. Эта система «часов с репетицией», существовавшая с XIII в., даже не была новшеством, ибо она, вероятно, подражала ранее существовавшему кругообороту фландрских ярмарок [95] и заимствовала цепочку существовавших прежде региональных рынков, реорганизовав ее [96].

Во всяком случае, шесть ярмарок Шампани и Бри, длившиеся по два месяца каждая, заполняли весь годовой цикл, образуя, таким образом, «постоянный рынок» [97], не имевший тогда соперников. То, что осталось сегодня от старого Провена, дает представление о размахе деятельности перевалочных складов былых времен. Что же касается их славы, то о ней свидетельствует народная поговорка: «не знать ярмарок Шампани» означает не ведать того, что каждому известно [98]. Действительно, они были местом свидания всей Европы, местом встречи всего, что могли предложить и Север и Юг. Тор-

[93] Chapin E. *Les Villes de foires de Champagne des origines au début du XIV^e^ siècle.* 1937, p. 107, note 9.
[94] Pirenne H. *Op. cit.*, I, p. 295.
[95] Laurent H. *Op. cit.*, p. 39.
[96] Bautier R.-H. *Les foires de Champagne.— Recueil Jean Bodin.* V, 1953, p. 12.
[97] Pirenne H. *Op. cit.*, p. 89.
[98] Bourquelot F. *Étude sur les foires de Champagne.* 1865, I, p. 80.

говые караваны, объединявшиеся и охраняемые, стекались в Шампань и Бри, подобно тем караванам, верблюды которых пересекали обширные пустыни мира ислама, направляясь к Средиземному морю.

Картографирование этих перевозок не превышает пределов наших возможностей. Ярмарки Шампани, вполне естественно, способствовали процветанию вокруг себя бесчисленных семейных мастерских, где вырабатывались холсты и сукна — от Сены и Марны до самого Брабанта. И эти ткани отправлялись на Юг и распространялись по всей Италии, а затем — по всем путям Средиземноморья. Нотариальные архивы отмечают прибытие тканей северной выработки в Геную со второй половины XII в.[99] Во Флоренции окраской суровых сукон Севера занимался цех Калимала (*Arte di Calimala*)[100], объединявший богатейших купцов города. Из Италии же поступали перец, пряности, снадобья, шелк, наличные деньги, кредиты. Из Венеции и Генуи купцы добирались морем до Эгморта, потом следовали по протяженным долинам Роны, Соны и Сены. Чисто сухопутные маршруты пересекали Альпы, например *французская дорога* (*via francigena*), соединявшая Сиену и многие другие итальянские города с далекой Францией[101]. Из Асти, в Ломбардии[102], отправлялась туча мелких торговцев, ростовщиков и перекупщиков, которые сделают известным по всему Западу ставшее вскоре постыдным имя ломбардцев, ростовщиков. В таких точках пересечения встречались товары разных французских провинций, Англии, Германии и товары Пиренейского полуострова, следовавшие как раз по дороге из Сантьяго-де-Компостелы[103].

Тем не менее своеобразие ярмарок Шампани заключалось, вне сомнения, не столько в сверхобилии товаров, сколько в торговле деньгами и ранних играх кредита. Ярмарка всегда открывалась аукционом сукон, и первые четыре недели отводились для торговых сделок. Но следующий месяц был месяцем менял — скромных на вид персонажей, которые в заранее обусловленный день устраивались «в Провене в верхнем городе, на старом рынке перед церковью Сен-Тибо», или «в Труа на Средней улице и на Бакалейной возле церкви Сен-Жан-дю-Марше»[104]. В действительности же эти менялы, обычно итальянцы, были подлинными руководителями игры. Их инвентарь состоял из простого, «покрытого ковром стола» с парой весов, но также и с мешками, «наполненными слитками или монетой»[105]. И взаимное погашение продаж и закупок, репорты платежей с одной ярмарки на другую, займы сеньерам и государям, оплата векселей, приходящих, чтобы «умереть» на ярмарке, так же как и составление тех векселей, что с ярмарки отправляются,— все проходило через их руки. Как следствие в том, что в них было международного, а главное — самого нового, ярмарки Шампани управлялись, непосредственно или издали, итальянскими купцами, фирмы которых зачастую бывали крупными предприятиями, как *Главный стол* (*Magna Tavola*) Буонсиньори, этих сиенских Ротшильдов[106].

То была уже та ситуация, которая позднее предстанет перед нами на женевских и лионских ярмарках: итальянский кредит,

[99] Ammann H. *Die Anfänge des Aktivhandels und der Tucheinfuhr aus Nordwesteuropa nach dem Mittelmeergebiet.— Studi in onore di Armando Sapori*, p. 275.
[100] Происхождение этого названия не вполне ясно. *Может быть*, речь идет о носившей это название улице Флоренции, где располагались склады Arte di Calimala (см.: *Dizionario enciclopedico italiano*).
[101] Braudel F. *Médit...*, I, p. 291.
[102] *Ibid.*
[103] Laurent H. *Op. cit.*, p. 80.
[104] Pigeonneau H. *Histoire du commerce de la France*. I, 1885, p. 222—223.
[105] *Ibid.*
[106] Chiaudano M. *I Rothschild del Duecento: la Gran Tavola di Orlando Bonsignori.— «Bulletino senese di storia patria»*, VI, 1935.



Города, связанные с ярмарками Шампани (XII—XIII вв.)
Эта карта проливает свет на экономический комплекс Европы и на ее биполярность в XIII в.: Нидерланды на севере, Италия на юге. (По данным Г. Аммана:Ammann H.)

эксплуатирующий к своей выгоде через пункты пересечения ярмарок большого радиуса огромный рынок Западной Европы и его выплаты в наличных деньгах. Разве не ради того, чтобы овладеть европейским рынком, расположились ярмарки Шампани не в его экономическом центре, каким была, несомненно, Северная Италия, а вблизи клиентов и поставщиков Севера? Или они были вынуждены там разместиться в той мере, в какой центр тяжести сухопутных обменов сместился начиная с XI в. в направлении крупной северной промышленности? В любом случае ярмарки Шампани располагались около границы этой производящей зоны: Париж, Провен, Шалон, Реймс были с XII в. текстильными центрами. Торжествующая же Италия XIII в., напротив, оставалась прежде всего торговой, овладевшей лучше всех техникой крупной торговли: она ввела в Европе чеканку золотой монеты, вексель, кредитную практику, но промышленность станет ее сферой лишь в следующем столетии, после кризиса XIV в. [107] А пока сукна с Севера были необходимы для ее левантинской торговли, которая давала большую часть ее богатств.

Эти необходимости значили больше, чем привлекательность либеральной политики графов Шампанских, на которую часто ссылаются историки [108]. Конечно, купцы всегда домогались вольностей — именно их и предлагал им граф Шампанский, достаточно в своих действиях свободный, хоть и пребывавший под номинальным сюзеренитетом короля Французского. По тем же причинам будут привлекательны для купцов [109] (стремившихся избежать опасностей и затруднений, какие обычно создавали чересчур могущественные государства) и ярмарки графства Фландрского. И тем не менее можно ли считать, что именно оккупация Шампани Филиппом Смелым в 1273 г., а затем ее присоединение к владениям французской короны при Филиппе Красивом в 1284 г. [110] нанесли ярмаркам решающий удар? Ярмарки пришли в упадок из-за немалого числа иных причин как раз в последние годы XIII в., который так долго был для них благоприятен. Замедление деловой активности затронуло в первую голову товары; кредитные операции продержались дольше, примерно до 1310 — 1320 гг. [111] Эти даты к тому же совпадают с более или менее продолжительными и бурными кризисами, которые сотрясали тогда всю Европу, от Флоренции до Лондона, и которые заранее, до Черной смерти, предвещали великий спад XIV в.

Такие кризисы сильно подорвали процветание ярмарок. Но значение имело также и создание в конце XIII — начале XIV в. непрерывного морского сообщения между Средиземным и Северным морями через Гибралтарский пролив — сообщения, неизбежно оказывавшегося конкурентом [для сухопутных путей]. Первая регулярная связь, установленная Генуей в интересах своих кораблей, приходится на 1277 г. За нею последуют другие города Средиземноморья, хотя и с некоторым опозданием.

Одновременно развивалась еще одна связь, на сей раз сухопутная; в самом деле, западные дороги через Альпы — перевалы Мон-Сени и Симплон — утрачивают свое значение

[107] Bautier R.-H. *Op. cit.*, p. 47.
[108] Bourquelot F. *Op. cit.*, I, p. 66.
[109] Laurent H. *Op. cit.*, p. 38.
[110] *Ibid.*, p. 117—118.
[111] Bautier R.-H. *Op. cit.*, p. 45—46.

в пользу перевалов восточных, Сен-Готарда и Бреннера. Как раз в 1237 г. мост, смело переброшенный через реку Рёйс, открыл дорогу через Сен-Готард [112]. С того времени в самых благоприятных условиях оказывается «немецкий перешеек». Германия и Центральная Европа изведали общий подъем с процветанием своих серебряных и медных рудников, с прогрессом земледелия, со становлением производства бумазеи, с развитием рынков и ярмарок. Экспансия немецких купцов отмечается во всех странах Запада и на Балтике, в Восточной Европе так же, как и на ярмарках Шампани и в Венеции, где, по-видимому, в 1228 г. был основан Немецкий двор (*Fondaco dei Tedeschi*) [113].

Не привлекательность ли торговли через Бреннер объясняет то, что Венеция с таким запозданием (вплоть до 1314 г.) последовала за генуэзцами по морским путям, ведшим в Брюгге? Принимая во внимание роль серебра в левантинской торговле, не подлежит сомнению, что итальянские города были в первую голову заинтересованы в продукции немецких серебряных рудников. К тому же очень рано города Южной Германии и Рейнской области были охвачены сетью меняльных лавок, игравших ту же роль, что купцы-банкиры Брюгге или Шампани [114]. Старинное место встреч купцов во Франции было, таким образом, обойдено с фланга системой путей-конкурентов, сухопутных и морских.

Иной раз утверждают, будто ярмарки Шампани пострадали от некоей «торговой революции», от торжества новой торговли, при которой купец остается в своей лавке или конторе, полагаясь на сидящих в определенном месте приказчиков и специальных агентов по перевозкам, и с того времени управляет своими делами издали благодаря контролю за счетами и письмам, которые сообщают информацию, распоряжения и взаимные претензии. Но разве на самом-то деле торговля не знала задолго до этих шампанских ярмарок такой двойственности: странствования, с одной стороны, оседлости — с другой? И кто мешал новой практике укорениться в Провене или в Труа?

[112] Chomel V. Ebersolt J. *Cinq Siècles de circulation internationale vue de Jougne*. 1951, p. 42.
[113] См. далее, с. 122.
[114] Stromer W., von. *Banken und Geldmarkt: die Funktion der Wechselstuben in Oberdeutschland und den Rheinlanden*. Prato, 18 avril 1972, 4ᵉ semaine F. Datini.

ШАНС, ПОТЕРЯННЫЙ ДЛЯ ФРАНЦИИ

Кто скажет, до какой степени процветание ярмарок Шампани было благодетельным для Французского королевства, в особенности для Парижа?

Если королевство это, политически устроенное со времени Филиппа II Августа (1180—1223), сделалось, бесспорно, самым блистательным из европейских государств еще до правления Людовика Святого (1226—1270), то произошло это вследствие общего подъема Европы, но также и потому, что центр тяжести европейского мира утвердился в одном-двух днях пути от столицы этого королевства. Париж стал крупным торговым центром и останется им на должной высоте до XV в. Город извлек выгоду из соседства стольких деловых людей. В то же время он принял у себя институты французской монархии, украсился памятниками, дал прибежище самому блестящему из европей-

ских университетов, в котором вспыхнула, вполне логично, научная революция, бывшая следствием введения в обращение заново мысли Аристотеля. На протяжении этого «великого [XIII] века,— заявляет Аугусто Гуццо,—... взоры всего мира были устремлены на Париж. Многие итальянцы были его учениками, а некоторые — его учителями, как св. Бонавентура или св. Фома [Аквинский]»[115]. Можно ли говорить, что тогда сложился *век Парижа*? Именно на эту мысль наводит, если рассуждать от противного (*a contrario*), заглавие полемичной и пылкой книги Джузеппе Тоффанина, историка гуманизма, о XIII в., бывшем, как он считает, «*Веком без Рима*» («*Il Secolo senza Roma*»)[116]. Во всяком случае, готика, искусство французское, распространяется из Иль-де-Франса, и сиенские купцы, завсегдатаи ярмарок Шампани, были не единственными, кто его привозил к себе домой. А поскольку все взаимосвязано, в это же время завершают свой подъем французские *коммуны* и вокруг Парижа — в Сюси-ан-Бри, в Буаси, в Орли и в других местах — между 1236 и 1325 гг. при благосклонном отношении королевской власти ускоряется освобождение крестьян[117]. Это было также время, когда Франция при Людовике Святом переняла эстафету крестовых походов в Средиземноморье. Иными словами, почетнейший пост в христианском мире.

Однако в истории Европы и Франции ярмарки Шампани были всего лишь интермедией. То был первый и последний раз, когда экономический комплекс, построенный на основе Европы, найдет завершение в виде ряда ярмарочных городов и, что еще важнее, городов континентальных. То был также первый и последний раз, когда Франция увидит на своей земле экономический центр Запада, сокровище, которым она владела и которое затем утратила без осознания этого теми, кто нес ответственность за судьбу Франции[118]. И однако же, при последних Капетингах наметилось, и на долгие годы, исключение Французского королевства из торгового кругооборота. Развитие дорог с севера на юг между Германией и Италией, связь по морю между Средиземноморьем и Северным морем определили еще до того, как завершился XIII в., привилегированный кругооборот капитализма и современности: он шел вокруг Франции на приличном расстоянии, почти не затрагивая ее. Если исключить Марсель и Эгморт, крупная торговля и капитализм, который она несла с собой, находились почти что вне пределов французского пространства, которое впоследствии лишь отчасти откроется для крупной внешней торговли во время бед и нехваток Столетней войны и сразу же после нее.

Но не было ли одновременно с французской экономикой выведено из игры и территориальное государство — и задолго до спада, что совпадает с так называемой Столетней войной? Если бы Французское королевство сохранило свою силу и сплоченность, итальянский капитализм, вероятно, не располагал бы такой свободой рук. И наоборот: новые кругообороты капитализма означали такую монопольную мощь к выгоде итальянских городов-государств и Нидерландов, что зарождавшиеся территориальные государства, в Англии, Франции или в Испании, неизбежно испытывали последствия этого.

[115] Guzzo A. *Introduction.— Secondo Colloquio sull'età dell'Umanesimo e del Rinascimento in Francia.* 1970.

[116] Toffanin G. *Il Secolo senza Roma.* Bologna, 1943.

[117] Fourquin G. *Les Campagnes de la région parisienne à la fin du Moyen Age.* 1964, p. 161—162.

[118] Следует, однако, отметить попытку Филиппа VI Валуа возродить в 1344—1349 гг. привилегии шампанских ярмарок. См.: Laurière M., de. *Ordonnances des rois de France.* 1729, II, p. 200, 234, 305.

ЗАПОЗДАЛОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ВЕНЕЦИИ

В Шампани Франция «потеряла меч». А кто подхватил его? Не ярмарки Фландрии и не Брюгге (в противоположность тому, что утверждает Ламберто Инкарнати[119]), невзирая на создание прославленной биржи этого города в 1309 г. Как мы говорили, корабли, негоцианты, дорогостоящие товары, деньги, кредит приходили туда главным образом с юга. Как заметил и сам Ламберто Инкарнати[120], «профессионалы кредитных операций были там в значительной части итальянцами». И вплоть до конца XV в., да, без сомнения, и позднее, платежный баланс Нидерландов будет оставаться выгодным для южан[121].

Если бы центр тяжести оставался на полпути между Адриатикой и Северным морем, он мог бы утвердиться, например, в Нюрнберге, где сходилась дюжина больших дорог, или в Кёльне — самом крупном из немецких городов. И если Брюгге, срединный центр, аналогичный центру ярмарок Шампани, не одержал верх, то произошло это, быть может, из-за того, что у Италии не было больше такой нужды направляться на север теперь, когда она создала свои собственные промышленные центры во Флоренции, Милане и других местах, до которых ее купцам было рукой подать. Флоренция, ремесленная деятельность которой до сего времени была посвящена в основном крашению суровых сукон с Севера, перешла от *Arte di Calimala* (красильного ремесла) к *Arte della Lana* (шерстяному производству), и ее промышленное развитие было быстрым и эффектным.

Имел значение также и тот регресс, который еще за годы до наступления апокалиптической Черной смерти подготовлял почву для нее и для фантастического экономического спада, который за ней последует. Мы видели[122]: кризис и обращение вспять [ведущих] тенденций [развития] способствовали деградации существующих систем, устраняли слабейших, усиливали относительное превосходство сильнейших, даже если кризис и не миновал их. По всей Италии тоже прокатилась буря и потрясла ее; достижения, успехи сделались там редки. Но замкнуться в себе означало сосредоточиться на Средиземноморье, остававшемся наиболее активной зоной и центром самой прибыльной международной торговли. Посреди всеобщего упадка Запада Италия оказалась, как говорят экономисты, «защищенной зоной»: за ней сохранилась самая лучшая часть торговых операций; ей благоприятствовали игра на золоте[123], ее опыт в денежных и кредитных делах; ее города-государства, механизмы, гораздо легче управляемые, нежели громоздкие территориальные государства, могли жить широко и в такой стесненной конъюнктуре. Трудности оставались на долю других, в частности крупных территориальных государств, которые страдали и разлаживались. Средиземноморье и активная [часть] Европы более чем когда-либо свелись к архипелагу городов.

[119] Incarnati L. *Banca e moneta dalle Crociate alla Rivoluzione francese*. 1949, p. 62.
[120] *Ibid.*
[121] Roover R., de. *Le rôle des Italiens dans la formation de la banque moderne.— «Revue de la banque»*, 1952, p. 12.
[122] См. т. 2 настоящей работы.
[123] Cipolla C. *Money, Prices and Civilisation*. 1956, p. 33—34.

Итак, не было ничего удивительного в том, что при смещении центра в зарождавшейся европейской экономике соперничество шло теперь только между итальянскими городами. И особенно между Венецией и Генуей, которые во имя своих страстей и своих интересов будут оспаривать друг у друга скипетр. И та и другая были вполне способны одержать верх. Так почему же победа досталась Венеции?

ГЕНУЯ ПРОТИВ ВЕНЕЦИИ

В 1298 г. Генуя разгромила венецианский флот при острове Корчула (Курцола). Спустя восемьдесят лет, в августе 1379 г., она овладела Кьоджей, маленькой рыбацкой гаванью, которая господствует над одним из выходов из венецианской лагуны в Адриатику [124]. Казалось, гордый город св. Марка гибнет, но невероятным рывком он изменил ситуацию на противоположную: в июне 1380 г. Веттор Пизани взял обратно Кьоджу и уничтожил генуэзский флот [125]. Мир, заключенный на следующий год в Турине, не давал никакого определенного преимущества Венеции [126]. Однако же, то было началом отступления генуэзцев — они более не появятся в Адриатическом море — и утверждения никем с того времени не оспаривавшегося венецианского превосходства.

[124] Kretschmayr H. *Op. cit.*, II, S. 234.
[125] *Ibid.*, S. 234—236.
[126] *Ibid.*, S. 239.



Лев св. Марка (1516 г.), Венеция, Палаццо дожей. *Фото Жиродона.*

Понять это поражение, а затем этот триумф нелегко. К тому же после Кьоджи Генуя не была вычеркнута из числа богатых могущественных городов. А тогда — какова причина окончательного прекращения борьбы на огромной арене Средиземноморья, где обе соперницы так долго могли наносить друг другу удары, грабить побережье, захватывать конвои, уничтожать галеры, действовать друг против друга с помощью государей — анжуйских или венгерских, Палеологов или арагонцев?

Но может быть, именно продолжительное процветание, возраставший поток дел долгое время делали возможными эти ожесточенные битвы, не приводившие на деле к смертельному исходу, как если бы всякий раз раны и рубцы заживали сами по себе. Если Кьоджийская война ознаменовала разрыв, то не потому ли, что в эти 80-е годы XIV в. взлет долгого периода роста был остановлен, и на сей раз бесповоротно? Роскошь малой или большой войны становилась теперь слишком дорогостоящей. Мирное сосуществование делалось настоятельной необходимостью. Тем более что интересы Генуи и Венеции, держав торговых и колониальных (а коль скоро *колониальных*, значит, достигших уже стадии развитого капитализма), не велели им сражаться до полного уничтожения одной или другой из них: капиталистическое соперничество всегда допускает определенную степень согласия даже между ярыми соперниками.

Во всяком случае, я не думаю, что выдвижение Венеции зависело от примата ее капитализма, который Оливер Кокс[127] приветствует как рождение самобытной модели. Ибо никакой историк не смог бы усомниться в раннем развитии Генуи, в ее уникальной современности на пути развития капитализма. С такой точки зрения Генуя была куда современнее Венеции, и, может быть, как раз в этой передовой позиции и заключалась для нее некоторая уязвимость. Возможно, одним из преимуществ Венеции было именно то, что она была более благоразумна, меньше рисковала. А географическое положение ей совершенно очевидно благоприятствовало. Выйти из лагуны значило попасть в Адриатику, и для венецианца это означало все еще оставаться у себя дома. Для генуэзца же покинуть свой город значило выйти в Тирренское море, слишком обширное, чтобы можно было обеспечить эффективный присмотр за ним, и в действительности принадлежавшее всем и каждому[128]. И покуда Восток будет главным источником богатств, преимущество будет за Венецией с ее удобным путем на Восток благодаря ее островам. Когда около 40-х годов XIV в. оборвался «монгольский путь», Венеция, опередив своих соперниц, первой явилась в 1343 г. к воротам Сирии и Египта и нашла их незапертыми[129]. И разве же не Венеция была лучше любого другого итальянского города связана с Германией и Центральной Европой, которые были самыми надежными клиентами для закупки хлопка, перца и пряностей и излюбленным источником белого металла, ключа к левантинской торговле?

[127] Cox O. C. *Foundation of Capitalism*. 1959, p. 29 f.

[128] Groneuer H. *Die Seeversicherung in Genua am Ausgang des 14. Jahrhunderts.— Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters*. 1976, S. 218—260.

[129] Kretschmayr H. *Op. cit.*, II, S. 300.

МОГУЩЕСТВО ВЕНЕЦИИ

В конце XIV в. первенство Венеции уже не вызывало сомнений. В1383 г. она заняла остров Корфу, ключ на путях мореплавания в Адриатику и из нее. Без труда, хотя и с большими затратами[130], она с 1405 по 1427 г. овладела городами своих материковых земель (*Terra Ferma*): Падуей, Вероной, Брешией, Бергамо[131]. И вот она оказалась прикрыта со стороны Италии гласисом из городов и территорий *. Овладение этой континентальной зоной, на которую распространилась ее экономика, вписывалось к тому же в знаменательное общее движение: в эту же пору Милан стал Ломбардией, Флоренция утвердилась над Тосканой и в 1405 г. захватила свою соперницу Пизу; Генуе удалось расширить свое господство на обе свои «ривьеры», восточную и западную, и засыпать гавань своей соперницы Савоны[132]. Наблюдалось усиление крупных итальянских городов за счет городов меньшего веса, в общем — процесс, принадлежащий к числу самых классических.

И Венеция уже сумела гораздо раньше выкроить себе империю, скромную по размерам, но имевшую поразительное стратегическое и торговое значение из-за ее расположения вдоль путей на Левант. Империю дисперсную, напоминавшую заблаговременно (с учетом всех пропорций) империи португальцев или, позднее, голландцев, разбросанные по всему Индийскому океану в соответствии со схемой, которую англосаксонские авторы именуют *империей торговых постов* (*trading posts Empire*) — цепью торговых пунктов, образующих в совокупности длинную капиталистическую антенну. Мы бы сказали — империю «по-финикийски».

Могущество и богатство приходят вместе. И это богатство (а следовательно, это могущество) может быть подвергнуто испытанию на истинность на основе бюджетов Синьории, ее *Bilanci*[133], и знаменитой торжественной речи старого дожа Томмазо Мочениго, произнесенной в 1423 г., накануне его смерти.

В ту пору доходы *города* Венеции достигали 750 тыс. дукатов. Если коэффициенты, которые мы используем в другом месте[134]— бюджет составлял бы от 5 до 10 % национального дохода,— применимы здесь, то валовой национальный доход города оказался бы между 7,5 млн. и 15 млн. дукатов. Учитывая приписываемую Венеции и Догадо (Dogado — предместья Венеции вплоть до Кьоджи) численность населения самое большее в 150 тыс. жителей, доход на душу населения составил бы от 50 до 100 дукатов, что означает очень высокий уровень; даже в нижнюю границу верится с трудом.

Понять эту величину будет легче, если попытаться провести сравнение с другими экономиками того времени. Один венецианский документ[135] как раз предлагает нам список европейских бюджетов на начало XV в., цифры которого были использованы для составления карты, приводимой на следующей странице. В то время как собственные поступления Венеции оценивались в 750—800 тыс. дукатов, для королевства Французского, правда пребывавшего тогда в жалком состоянии, приводится цифра всего лишь в миллион дукатов; Венеция бы-

[130] Bec C. *Les Marchands écrivains à Florence 1375—1434*. 1968, p. 312.
[131] Braudel F. *Médit*..., I, p. 310.
* Гласис — пологая насыпь перед фронтом крепости, обеспечивающая удобство маскировки и обстрела противника.— *Прим. перев.*
[132] Braudel F. *Médit*..., I, p. 311.
[133] Bilanci generali, 1912 (издание *Reale Commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica di Venezia*, II^e^ série).
[134] См. далее, с. 312—313.
[135] *Bilanci generali*, 2^e^ série, I, 1, Venezia, 1912.

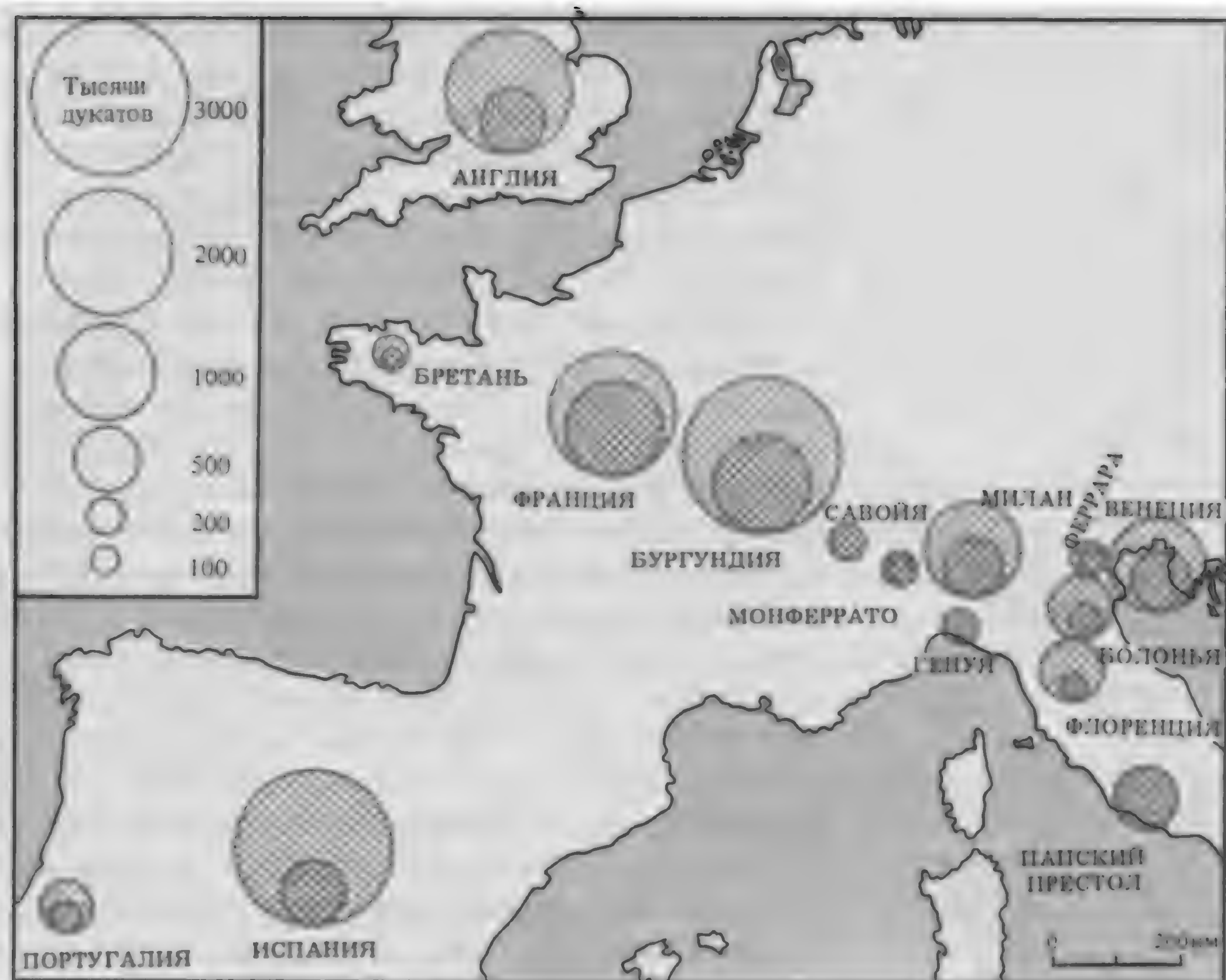
ла на равных с Испанией (но какой Испанией?), почти что на равных с Англией и намного превосходила прочие итальянские города, так сказать, следовавшие за нею по пятам: Милан, Флоренцию, Геную. Правда, относительно этой последней цифры бюджета говорят не слишком много, ибо частные интересы завладели к своей выгоде огромной долей государственных доходов.

К тому же мы коснулись лишь Венеции и Догадо. К доходу Синьории (750 тыс. дукатов) добавлялся доход материковых владений (*Terra Ferma*) (464 тыс.) и доход от империи, с «моря» (376 тыс.). Общая сумма в 1615 тыс. дукатов выводила венецианский бюджет на первое место среди всех бюджетов Европы. И даже в большей мере, чем это кажется. Потому что если приписать всему венецианскому комплексу (Венеция плюс *Terra Ferma* плюс империя) население в полтора миллиона человек (это максимальная цифра), а Франции Карла VI население в 15 млн. человек (для огрубленного и быстрого расчета), то эта Франция, имеющая в десять раз большее население при равном богатстве, должна была бы иметь бюджет, вдесятеро превышающий бюджет Синьории, т. е. 16 млн. Французский бюджет всего в один миллион подчеркивает чудовищное превосходство городов-государств над «территориальными» экономиками и побуждает задуматься над тем, что могла означать к выгоде одного города, т. е., в общем, горстки людей, ранняя концентрация капитала. Еще одно интересное, если не категорическое сравнение: наш документ бросает свет на сокращение бюджетов к XV в., к сожалению, не уточняя, с какого именно года началось сказанное сокращение. По сравнению со старинной нормой английский бюджет будто бы уменьшился на 65 %, бюджет Испании (но какой Испании?) — на 73, а сокращение бюджета Венеции составило только 27 %.

Второй тест — знаменитая торжественная речь дожа Мочениго, бывшая одновременно завещанием, статистическим отчетом и политической инвективой [136]. Перед самой смертью старый дож предпринял отчаянное усилие, чтобы преградить путь стороннику военных решений Франческо Фоскари, который станет его преемником 15 апреля 1423 г. и будет распоряжаться судьбами Венеции до своего смещения 23 октября 1457 г. Старый дож объяснял тем, кто его слушал, преимущества мира перед войной ради сохранения богатства государства и частных лиц. «Если вы изберете Фоскари,— говорил он,— вы вскоре окажетесь в состоянии войны. Тот, у кого будет 10 тыс. дукатов, окажется всего с одной тысячей; тот, у кого будет десять домов, останется лишь с одним; имеющий десять одежд останется всего с одной; имеющий десять юбок или штанов и рубашек с трудом сохранит одну, и таким же образом будет со всем прочим...» Напротив, если сохранится мир, «ежели последуете вы моему совету, то увидите, что будете господами золота христиан».

И все же это язык, вызывающий удивление. Он предполагает, что люди того времени в Венеции могли понять, что сберечь свои дукаты, свои дома и свои штаны — это путь к истинному могуществу; что торговым оборотом, а не оружием, мож-

[136] *Ibid.* Documenti, № 81, p. 94—97. Ее текст приводится в: Kretschmayr H. *Op. cit.*, II, S. 617—619.



Сравнительные бюджеты: Венеция лучше других государств противостоит кризису
Это графическое отображение венецианских цифр *(Bilanci generali,* I, 1912, p. 98—99) показывает одновременно и сравнительные объемы европейских бюджетов, и их более или менее крупное сокращение в первой четверти XV в. Цифры, указанные в тексте (см. с. 116—117), самые достоверные, соответствуют кругам с темной штриховкой и определенно —1423 г. Круги со светлой штриховкой изображают бюджеты предшествующего периода, явно более значительные.

но сделаться «господами золота христиан», или, что то же самое, всей европейской экономики. По словам Мочениго (а его цифры, вчера оспаривавшиеся, сегодня уже не оспариваются), капитал, который ежегодно инвестировался в торговлю, составлял 10 млн. дукатов. Эти 10 млн. приносили, помимо 2 млн. дохода на капитал, 2 млн. торговой прибыли. Отметим эту манеру различать торговую прибыль и плату за инвестируемый капитал, которые оба исчислялись в 20 %. Таким образом, доходы от торговли на дальние расстояния составляли в Венеции, по данным Мочениго, 40 %— норму прибыли баснословно высокую и объясняющую раннее великолепное здоровье венецианского капитализма. Зомбарт мог обвинять в «ребячестве» того, кто осмеливался говорить о капитализме в Венеции в XII в. Но в XV в. каким другим названием обозначить тот мир, что проступает наружу в удивительной речи Мочениго?

Четыре миллиона ежегодных поступлений от торговли, по оценке самого дожа, представляли от половины до четверти моей собственной оценки валового дохода города. Речь Мочениго дает мимоходом некоторые цифровые оценки, касающиеся торговли и флота Венеции. Они подтверждают порядок величин в наших расчетах. Расчеты эти не диссонируют также и с тем, что мы знаем о деятельности *Zecca* — венецианского Монетного двора (правда, в гораздо более позднюю эпоху, к тому же инфляционную, которая соответствовала тому, что иные именуют «упадком Венеции»). В самом деле, в последние годы XVI в. Монетный двор (*Zecca*) чеканил примерно два миллиона дукатов в год в золотой и серебряной монете [137]. Это позволи-

[137] Braudel F. *Médit...*, I, p. 452.

ло бы предположить, что находившаяся в движении денежная масса доходила до 40 млн.— поток, который лишь проходил через Венецию, но каждый год возобновлялся [138]. Что тут удивительного, если подумать о том, что ее купцы прочно удерживали главные отрасли морской торговли: перец, пряности, сирийский хлопок, зерно, вино, соль? Уже Пьер Дарю в своей классической и все еще полезной «*Истории Венеции*» (1819 г.)[139] отмечал, «сколько эта отрасль соляной торговли могла приносить Венеции». Отсюда и забота Синьории о контроле над соляными болотами на Адриатике и на кипрском побережье. Каждый год для погрузки одной только соли Истрии прибывало больше 40 тыс. лошадей из Венгрии, Хорватии, даже из Германии [140].

Другие признаки богатства Венеции — это громадная концентрация мощи, какую представлял ее Арсенал, число ее галер, грузовых судов, система торговых галер (*galere da mer-*

[138] *Обычно* принимают, что соотношение между ежегодной чеканкой монеты и монетой в обращении составляет 1 к 20.
[139] Comte Daru P.-A. *Histoire de la République de Venise.* 1819, IV, p. 78.
[140] Cox. O.C. *Foundation of Capitalism.* 1959, p. 69 et note 18 (по данным Мольменти).



Джованни Антонио Каналетто (1697 — 1768). «Площадь Сан-Джакометто» («*Il Campo di San Giacometto*»). Именно под портиками этой небольшой церкви, на продолжении площади Риальто, встречались крупные купцы. *Дрезденский музей. Фото музея.*

cato), к которой мы еще вернемся[141]. В неменьшей степени это постоянное украшение города, который на протяжении XV в. мало-помалу обрел новый облик: улицы с грунтовым покрытием были вымощены каменными плитами, деревянные мосты и набережные каналов заменены мостами и тротуарами вдоль каналов (*fondamenta*) из камня (здесь наблюдалось «окаменение» капитала, бывшее в такой же мере необходимостью, как и роскошь), не говоря уже о других операциях градостроительного характера: рытье колодцев[142] или очистке городских каналов, зловоние от которых порой становилось непереносимым[143].

Все это вписывалось в некую престижную политику, которая для государства, для города или для индивида может служить средством господства. Правительство Венеции прекрасно сознавало необходимость украшать город, «не скупясь ни на какие траты, как то подобает красоте его» («*non sparangando spexa alguna come e conveniente a la beleza sua*»)[144]. Хотя работы по перестройке Дворца дожей затянулись надолго, они продолжались почти беспрерывно; на Старой площади Риальто (*Rialto Vecchio*) в 1459 г. была воздвигнута новая Лоджиа, в общем торговая биржа, напротив Фондако деи Тедески[145]. В 1421—1440 гг. Контарини строят Золотой дом (*Ca' d'Oro*) на Большом канале, где будет множиться число новых дворцов. Вне сомнения, такая строительная лихорадка была общей для многих городов Италии и других стран. Но строить в Венеции — на тысячах дубовых стволов, забиваемых в песок и ил лагуны в качестве свай, из камня, привозимого из Истрии,— это требовало, безусловно, колоссальных затрат[146].

Естественно, сила Венеции проявлялась также — и с блеском — в политическом плане. Здесь Венеция была великим мастером; очень рано у нее были свои послы, свои *oratori*. К услугам своей политики она имела также наемные войска: тот, кто имел деньги, нанимал, покупал их и двигал на шахматную доску полей сражений. Это не всегда были лучшие солдаты, ибо *кондотьеры* изобретут войны, в которых армии любезно следовали друг за другом[147], не встречаясь, «странные войны», вроде войны 1939—1940 гг. Но то, что Венеция блокировала попытки Милана достичь гегемонии, что в 1454 г. она была участницей мира в Лоди, создавшего или, вернее, заморозившего равновесие между итальянскими государствами; что в 1482—1483 гг. во время Второй Феррарской войны она оказала решительное сопротивление своим противникам, мечтавшим, как говорил один из них, вновь погрузить ее в пучину моря, где некогда она была в своей стихии[148]; что в 1495 г. она окажется в центре интриг, которые захватят врасплох Коммина * и без лишнего шума выпроводят восвояси молодого короля французского Карла VIII, в предшествовавшем году с легкостью дошедшего до самого Неаполя,— все это красноречиво свидетельствует о могуществе сверхбогатого города-государства. Приули имел право в своих «Дневниках» («*Diarii*»)[149] предаваться гордости, рассказывая о необыкновенном собрании всех послов европейских государей плюс представителя султана, где 31 марта 1495 г. будет создана антифранцузская лига, предназначенная защитить

[141] См. далее, с. 123.
[142] A. d. S. Venezia, Notario del Collegio, 9, f° 26 v°, № 81, 12 августа 1445 г.
[143] *Ibid.*, 14, f° 38 v°, 8 июля 1491 г.; Senato Terra, 12, f° 41, 7 февраля 1494 г.
[144] Braudel F. *Médit...*, II, p. 215—216.
[145] A. d. S. Venezia, Senato Terra, 4, f° 107 v°.
[146] Molmenti P. *La Storia di Venezia nella vita privata...*, 1880, I, p. 124, 131—132.
[147] Pieri P. *Milizie e capitani di ventura in Italia del Medio Evo.— «Atti della Reale Accademia Peloritana»*, XL, 1937—1938, p. 12.
[148] Kretschmayr H. *Op. cit.*, II, S. 386.
* Коммин Филипп, де (ок. 1447—1511) — французский государственный деятель и хронист.— *Прим. перев.*
[149] Priuli G. *Diarii.* Ed. A. Segre, 1921, I, p. 19.

бедную Италию, куда вторгся король «Загорья» [т. е. Франции.— *Ред.*], ту Италию, коей «отцами» были «защитники христианства» венецианцы [150].

[150] Chabod F. *Venezia nella politica italiana ed europea del Cinquecento.— La Civiltà veneziana del Rinascimento.* 1958, p. 29. О прибытии послов Испании и «короля» Максимилиана см.: Archivio Gonzaga, seria E, Venezia 1435. Венеция, 2 января 1495 г.

МИР-ЭКОНОМИКА, НАЧИНАЮЩИЙСЯ С ВЕНЕЦИИ

Мир-экономику с центром в Венеции, источнике его могущества, невозможно четко обрисовать на карте Европы. На востоке граница, довольно ясная на широте Польши и Венгрии, становится, проходя через Балканы, неопределенной по прихоти турецкого завоевания, которое *предшествовало* взятию Константинополя (1453 г.) и которое неудержимо распространялось к северу: Адрианополь [Эдирне] был занят в 1361 г., битва на Косовом поле, сокрушившая великое Сербское царство, произошла в 1389 г. Зато на западе колебаний быть не может: вся Европа находилась в зависимости от Венеции. Так же как и на Средиземноморье, включая и Константинополь (до 1453 г.), а за ним — пространство Черного моря, еще несколько лет эксплуатировавшееся к выгоде Запада. Мусульманские страны, которыми турки еще не завладели (Северная Африка, Египет и Сирия), своей приморской стороной, от Сеуты, ставшей в 1415 г. португальской, до Бейрута и сирийского Триполи, были открыты христианским купцам. Но глубинные дороги своего хинтерланда, ведшие в Черную Африку, к Красному морю и Персидскому заливу, они оставляли исключительно для себя. Пряности, снадобья, шелка направлялись в порты Леванта; там их должны были дожидаться западные купцы.

Более сложным, чем очертание границ всего комплекса, представляется выделение различных составляющих его зон. Несомненно, центральная зона узнается легко; слова Томмазо Мочениго, которые я приводил выше (с. 117), обнаруживают предпочтительные отношения Венеции с Миланом, ломбардскими городами, Генуей и Флоренцией. Этот архипелаг городов, ограниченный с юга линией, соединяющей Флоренцию с Анконой, а с севера — линией Альп, был, бесспорно, сердцем мира-экономики, над которым доминировала Венеция. Но это пространство, усеянное звездами-городами, продолжалось к северу, за Альпы, в виде своего рода Млечного Пути торговых городов: Аугсбурга, Вены, Нюрнберга, Регенсбурга, Ульма, Базеля, Страсбурга, Кёльна, Гамбурга и даже Любека — и завершалось все еще значительной массой городов Нидерландов (над которыми еще блистал Брюгге) и двумя английскими портами, Лондоном и Саутгемптоном (*Антоне* в речи южан).

Таким образом, европейское пространство пересекала с юга на север ось Венеция — Брюгге — Лондон, разделявшая его надвое: на востоке, как и на западе, оставались обширные периферийные зоны, менее оживленные, нежели главная ось. А центр вопреки элементарным законам, породившим ярмарки Шампани, располагался на южной оконечности этой оси, фактически у ее соединения с осью средиземноморской, которая,

протянувшись с запада на восток, представляла главную линию торговли Европы на дальние расстояния и главный источник ее прибылей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЕНЕЦИИ

Не было ли в особенностях такой концентрации вокруг Италии дополнительной причины: экономической политики Венеции, которая переняла те методы, от которых приходилось страдать ее собственным купцам, запертым в *фундуках* (улицах или комплексах строений) стран ислама [151]? Точно так же Венеция создала для немецких купцов обязательное место сбора и сегрегации — Немецкий двор (*Фондако деи Тедески*)[152], против моста Риальто, в своем деловом центре. Всякий немецкий купец должен был помещать там свои товары, жить там в одной из комнат, на сей случай предусмотренных, продавать там под придирчивым контролем агентов Синьории свои товары и вкладывать деньги от этих продаж в товары венецианские. То было жестокое ограничение, на которое немецкий купец не переставал жаловаться: разве же не был он с помощью такой игры исключен из крупной торговли на дальние расстояния, которую Венеция ревниво хранила для своих *граждан, вутренних и внешних* (*cittadini, de intus et extra*)? Попробуй немец в нее вмешаться — и его товары были бы конфискованы.

Зато Венеция практически запрещала собственным своим купцам покупать и продавать непосредственно в Германии [153]. В результате немцы обязаны были приезжать в Венецию лично, закупать там сукна, хлопок, шерсть, шелк, пряности, перец, золото... Следовательно, имело место противоположное тому, что произойдет после путешествия Васко да Гамы, когда португальцы учредят свою факторию (*feitoria*) [154] в Антверпене, сами доставляя северным клиентам перец и пряности. Конечно же, немецкие покупатели могли бы добраться и добирались до Генуи, которая была открыта им без излишних ограничений. Но помимо того, что Генуя была прежде всего дверью для связей с Испанией, Португалией и Северной Африкой, они не могли там найти ничего такого, чего не нашли бы также и в Венеции, своего рода универсальном складском пункте, как будет им позднее (и в более крупном масштабе) Амстердам. Как было противиться удобствам и соблазнам города, пребывавшего в центре мира-экономики? В игре участвовала вся Германия целиком, она поставляла купцам Светлейшей республики железо, скобяной товар, бумазею (льняные и хлопчатые ткани), а затем, со второй половины XV в., во все возраставших количествах серебро, которое венецианцы частью доставляли в Тунис, где оно обменивалось на золотой песок [155].

Почти невозможно сомневаться, что речь шла о сознательной политике Венеции, поскольку она навязывала ее всем городам, какие были ей более или менее подчинены. Любые торговые маршруты, начинавшиеся с материковых владений Венеции или заканчивавшиеся там, весь экспорт с венецианских островов на Леванте или городов Адриатики (даже если дело

[151] Hausherr H. *Wirtshaftsgeschichte der Neuzeit.* 1954, S. 28.
[152] *Bilanci...*, I, p. 38—39. Не в 1318 г., как писал У. Мак-Нил (MacNeill W. *Venice, the Hinge of Europe 1081—1797.* 1974, p.66), но даже раньше 1228 г. Местоположение Фондако деи Тедески, «под коим понимают постоялый двор Венеции, где помещают тевтонов» — *«qui tenent fonticum Venetie ubi Teutonici hospitantur»* (*Bilanci...*, I, p. 38—39).
[153] Schneider J. *Les villes allemandes au Moyen Age. Les institutions économiques.— Recueil de la Société Jean Bodin.* VII: *La Ville, institutions économiques et sociales.* 1955, 2e partie, p. 423.
[154] Oliveira Marques A. H., de. *Notas para a historia de Feitoria portuguesa da Flandes no seculo XV.— Studi in onore di Amintore Fanfani.* 1962, II, p. 370—476, в частности p. 446; Braacamp Freire A. *A Feitoria da Flandes.— «Archivio historico portuguez»*, VI, 1908—1910, p. 322 sq.
[155] Braudel F. *Médit...*, I, p. 428.

касалось товаров, предназначавшихся, например, для Сицилии или Англии) обязательно должны были пройти через венецианскую гавань. И следовательно, Венеция умышленно расставила к своей выгоде ловушки для подчиненных экономик, в том числе и немецкой экономики. Она кормилась ими, препятствуя им действовать по-своему и сообразно с их собственной логикой. Если бы Лисабон на следующий день после Великих открытий заставил корабли стран Севера устремиться к нему за пряностями и перцем, он без всяких помех сломил бы быстро установившееся главенство Антверпена. Но, быть может, ему недоставало необходимой силы, торгового и банковского опыта итальянских городов. Разве западня *Фондако деи Тедески* не была в такой же мере следствием, как и причиной преобладания Венеции?

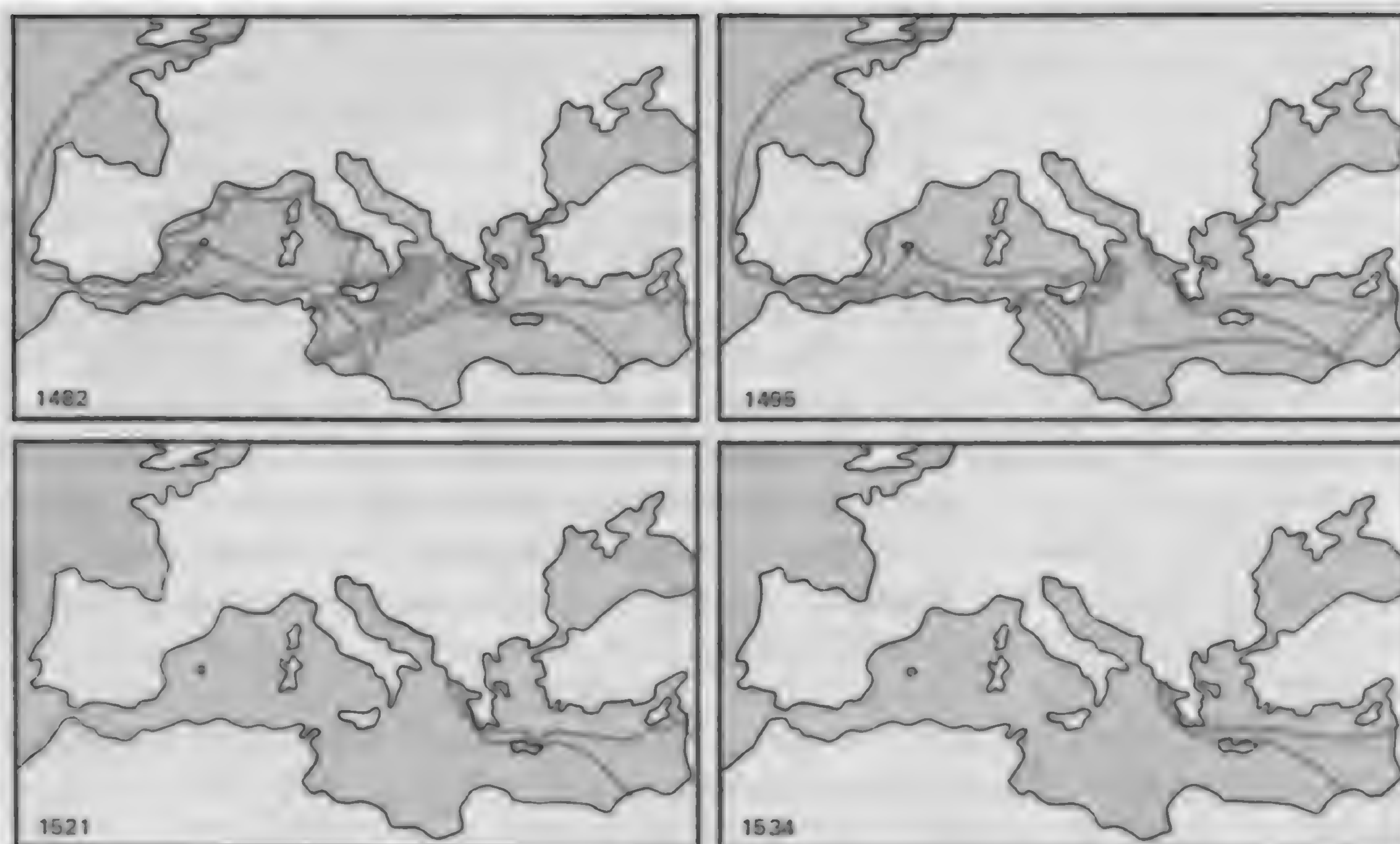
ТОРГОВЫЕ ГАЛЕРЫ

Связь Венеции с Левантом и Европой во времена превосходства города св. Марка создавала немало проблем, в особенности же проблему перевозок по Средиземному морю и Атлантическому океану, ибо перераспределение драгоценных товаров распространялось на всю Европу. При благоприятной конъюнктуре все улаживалось само собой. Если конъюнктура становилась мрачной, требовалось прибегать к сильнодействующим средствам.

Система *торговых галер (galere da mercato)* относилась как раз к мерам *управляемой экономики*, внушенным венецианскому государству скверными временами. Придуманная с XIV в. в противовес затяжному кризису как своего рода демпинг (выражение принадлежит Джино Луццатто), эта система была одновременно и государственным предприятием, и рамками для эффективно действовавших частных ассоциаций, настоящих *пулов* экспортеров по морю [156], озабоченных тем, чтобы снизить свои транспортные расходы и остаться конкурентоспособными, даже непобедимыми пред лицом чужеземцев. Именно Синьория начиная, вне сомнения, с 1314 г. и уж определенно — с 1328 г. строила в своем Арсенале *galere da mercato*, эти торговые суда (водоизмещением поначалу 100 тонн, затем до 300 тонн), способные загрузить в свои трюмы груз, эквивалентный грузу 50-вагонного товарного поезда. При выходе из порта или при входе в него галеры использовали весла, остальное время они ходили под парусом, как заурядные «круглые суда». Конечно, то не были самые крупные торговые корабли того времени, поскольку генуэзские караки достигали в XV в. тысячу тонн водоизмещения или превышали эту величину [157]. Но это были надежные корабли, которые плавали сообща и имели для своей защиты лучников и пращников. Позднее на борту появится пушка. В число пращников (*ballestieri*) Синьория вербовала бедных дворян: для нее это было способом помогать им жить.

Государственные корабли ежегодно сдавались внаем с торгов. Патриций, выигравший аукцион (*incanto*), в свою очередь взимал с прочих купцов фрахт в соответствии с погруженными

[156] Luzzatto G. *Op. cit.*, p. 149.
[157] Braudel F. *Médit...*, I, p. 277.



В Венеции: плавания торговых галер
Эти четыре чертежа, заимствованные у Альберто Тененти и Коррадо Виванти в *«Annales E. S. C.»* (1961), показывают этапы упадка старинной системы торговых галер и их конвоев (Фландрия, Эгморт, Варвария, «Трафего», Александрия, Бейрут, Константинополь). В 1482 г. функционировали все эти линии. В 1521 г., как и в 1534 г., удержались лишь плодотворные контакты с Левантом. Для упрощения чертежей маршруты показаны не от Венеции, а от выхода из Адриатического моря.

товарами. Отсюда проистекало использование «частным лицом» орудий, созданных «государственным» сектором. Плавали ли пользователи, объединив все капиталы *«ad unum denarium»* (т. е. образуя *пул*), или же они образовывали компанию для загрузки и обратного рейса одной-единственной галеры, но Синьория всегда благоприятствовала такой практике, которая в принципе давала равные шансы всем участникам. Точно так же частыми бывали *пулы*, открытые для всех купцов ради закупки хлопка в Сирии или даже перца в египетской Александрии. Зато Синьория распускала любое объединение, которое ей казалось устремленным к монополии узкой группы.

Бумаги, сохранившиеся в венецианском Государственном архиве (*Archivio di Stato*), позволяют восстановить год за годом плавания торговых галер, увидеть, как видоизменялся громадный спрут, которого Светлейшая республика содержала по всему пространству Средиземноморья, и то щупальце, которое начиная с 1314 г. он выбросил в направлении Брюгге (или, вернее, его порта Слёйс) с созданием *фландрских галер (galere di Fiandra)*. Читатель может обратиться к поясняющим схемам, помещенным ниже. Апогей системы, несомненно, пришелся на время около 1460 г.[158], когда Синьория создала любопытную линию *маршрутных галер (galere di trafego)*, которая усилила натиск Венеции в сторону Северной Африки и золота Судана. Впоследствии система познает неудачи и в XVI в. придет в упадок. Но упадок этот занимает нас меньше, нежели успех, который ему предшествовал.

[158] Tenenti A., Vivanti C. *Le film d'un grand système de navigation: les galères marchandes vénitiennes... XIVe—XVIe siècles.— «Annales E. S. C.»*, 1961, p. 85.

КАПИТАЛИЗМ ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА В ВЕНЕЦИИ

Венецианский триумф Оливер Кокс[159] приписывает ранней капиталистической организации. По его мнению, капитализм будто бы родился, был изобретен в Венеции, а впоследствии он

[159] Cox O. C. *Op. cit.*, p. 62 sq.

якобы создал школу. Можно ли в это поверить? В то же самое время, что и в Венеции, даже раньше, существовали и другие капиталистические города. Если бы Венеция не заняла своего выдающегося места, Генуя, без сомнения, заняла бы его без труда. В самом деле, Венеция росла не единственной в своем роде, а в центре сети активных городов, которым та эпоха предлагала те же самые решения. Часто даже не Венеция стояла у истоков истинных новшеств. Она была далеко позади городов-пионеров Тосканы в том, что касалось банковского дела или образования могущественных компаний. Не она, а Генуя чеканила первую золотую монету в начале XIII в., а затем Флоренция — в 1250 г. (дукат, который вскоре стал называться *sequin* — цехин, появляется лишь в 1284 г. [160]). Не Венеция, а Флоренция изобрела и чек и *холдинг* [161]. И двойную бухгалтерию придумали не в Венеции, а во Флоренции, образец которой конца XIII в. дошел до нас в сохранившихся бумагах компаний Фини и Фарольфи [162]. Именно Флоренция, а не приморские города обходилась без посредничества нотариусов при заключении договоров страхования на море (эффективное упрощение процедуры) [163]. И опять-таки как раз Флоренция максимально развила промышленность и неоспоримым образом вступила в так называемую мануфактурную стадию [164]. Именно Генуя в 1277 г. реализовала первую регулярную связь по морю с Фландрией через Гибралтар (новшество громадное). Именно Генуя и братья Вивальди, идя в авангарде новаторского мышления, занялись в 1291 г. поисками прямого пути в Индию. А в 1407 г. снова Генуя, как бы заранее обеспокоенная португальскими плаваниями, продвинет рекогносцировку до самого золота Туата благодаря путешествию Мальфанте [165].

В плане техники и капиталистических предприятий Венеция скорее отставала, чем была впереди. Следует ли объяснять это ее преференциальным диалогом с Востоком — то была традиция,— в то время как другие города Италии больше нее вели борьбу с создававшимся миром Запада? Легко полученное богатство Венеции, может быть, оставляло ее пленницей уже отлаженных старинными привычками решений, тогда как другие города, оказавшись перед лицом более рискованных ситуаций, в конечном счете осуждены были быть хитрее и изобретательнее. Тем не менее в Венеции установилась система, которая с первых же своих шагов поставила все проблемы отношений между Капиталом, Трудом и Государством, отношений, которые слово «капитализм» будет заключать в себе все больше и больше в ходе своей длительной последующей эволюции.

С конца XII в. и в начале XIII в., тем более в XIV в., венецианская экономическая жизнь уже располагала всеми ее орудиями: рынками, лавками, складами, ярмарками в Сенсе, *Zecca* (Монетным двором), Дворцом дожей, Арсеналом, Таможней (*Dogana*). И уже каждое утро на Риальто наряду с менялами и банкирами, обосновавшимися перед крохотной церковкой Сан-Джакометто [166], происходило сборище венецианских и иноземных крупных купцов, приезжавших с *Terra Ferma,* из Италии или из-за Альп. Банкир был тут как тут с пером и записной книжкой в руках, готовый записывать переводы со сче-

[160] Melis F. *La Moneta* (машинописный текст), p. 8.
[161] Melis F. *Origines de la Banca Moderna.— «Moneda y Credito»,* marzo 1971, p. 10—11.
[162] Melis F. *Storia della ragioneria, contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti piu significative della storia economica.* 1950, p. 481 sq.
[163] Melis F. *Sulle fonti della storia economica.*. 1963, p. 152.
[164] См. т. 2 настоящей работы, с. 282 и др.
[165] См.: Хенниг Р. *Указ. соч.,* III, IV.
[166] Tassini G. *Op. cit.,* p. 55.

та на счет. Запись (*scritta*) была чудесным способом сразу же оплачивать сделки между купцами — посредством перевода со счета на счет, не прибегая к монете и не дожидаясь отдаленной расплаты на ярмарках. *«Письменные» банки (banchi di scritta)*[167] даже позволяли определенным клиентам превышать свой счет: они создавали иногда *cedole*[168], расписки, своего рода векселя; и они уже вели игру со вкладами, которые им доверяли, если их не брало взаймы государство.

Эти «биржевые» сборища на Риальто устанавливали цены товаров, вскоре они стали устанавливать и курс государственных займов Синьории (ибо Синьория, жившая прежде всего налогами, все больше и больше прибегала к займу)[169]. Они фиксировали ставки морского страхования. Еще сегодня Страховая улица (*Calle della Sicurtà*) в двух шагах от Риальто хранит память о страхователях XIV в. Все крупные дела улаживались, таким образом, на улицах, прилегающих к мосту Риальто. Если случалось, что какой-нибудь купец бывал «лишен права ходить на Риальто», то такая санкция «означала, как свидетельствуют многочисленные прошения о снисхождении, что он оказывался лишен права заниматься крупной торговлей»[170].

Очень рано сложилась купеческая иерархия. Первая известная нам перепись венецианцев-налогоплательщиков (1379—1380)[171] позволяет выделить среди подлежавших обложению дворян (всего их было 1211) 20 или 30 самых состоятельных семейств, а также отметить нескольких разбогатевших простолюдинов (*popolani*) — всего шесть человек — плюс нескольких очень зажиточных лавочников, мясников, сапожников, каменщиков, мыловаров, золотых дел мастеров, бакалейщиков (эти последние первенствовали).

Распределение богатства было в Венеции уже весьма диверсифицированным, и прибыли от торговых операций аккумулировались там в самых разнообразных хранилищах, скромных или значительных; эти прибыли непрестанно инвестировались и реинвестировались. Суда, громадные плавучие дома, как их позднее увидит Петрарка, почти всегда делились на 24 карата (каждый собственник имел некоторое число этих акций). Как следствие корабль был капиталистическим с самого начала. Товары, которые грузили, обычно закупались на аванс, предоставленный кредиторами. Что касается денежной ссуды (*mutuo*), то она изначально существовала и в противоположность тому, что соблазнительно было бы предположить, не была запачкана грязью ростовщичества. Венецианцы очень рано признали «законность кредитных операций по критериям деловых людей»[172]. Это не означает, что не практиковался также и ростовщический кредит (в том смысле, какой мы бы придали этому слову) и с очень высоким процентом (поскольку нормальная ставка, «согласно обычаю нашего отечества» — «*secundum usum patriae nostrae*», — уже составляла 20 %), да еще и с залогом, который затем оставался в когтях заимодавца. Такими приемами семейство Циани с XII в. завладело большей частью земельных участков вокруг площади Св. Марка и вдоль улицы Галантерейщиков (Мерчериа — *Merceria*). Но разве до появления современной банковской организации ростовщичество не было

[167] Lattes E. *La Libertà delle banche a Venezia.* 1869, capitolo II.
[168] Luzzatto G. *Storia economica di Venezia dal XI^e al XVI^e s.*1961, p. 101.
[169] *Ibid.*, p. 212.
[170] Luzzatto G. *Op. cit.*, p. 78.
[171] Luzzatto G. *Studi...*, p. 135—136.
[172] *Ibid.*, p. 130.

повсюду необходимым злом? Сразу же после Кьоджийской войны, которая страшным образом ее потрясла, Венеция смирилась с заключением у себя первого договора (*condotta*) (1382—1387 гг.)[173] с еврейскими ростовщиками, ссужавшими деньги простому народу, а при случае и самим патрициям.

Но коммерческая ссуда (*mutuo ad negotiandum*)— дело другое. Это было необходимое орудие торговли, ставка его, хоть и высокая, не считалась ростовщической, поскольку в общем она находилась на уровне процента на денежные ссуды, практиковавшегося банкирами. В девяти случаях из десяти торговый кредит бывал связан с договорами о товариществе, так называемыми *colleganza* (появившимися по меньшей мере с 1072—1073 гг.)[174], вскоре ставшими известными в двух вариантах. Это была либо односторонняя *colleganza*: заимодавец (именовавшийся *socius stans*, т. е. компаньон, остающийся на месте) авансирует некоторую сумму компаньону путешествующему (*socius procertans*). По возвращении, когда подводится баланс, компаньон путешествующий, выплатив сумму, полученную при отбытии, сохраняет за собой четвертую часть прибыли, а остальное достается капиталисту. Или же *colleganza* двухсто-

[173] Mueller R. C. *Les Prêteurs juifs à Venise.*— «*Annales E. S. C.*», 1975, p. 1277.
[174] Luzzatto G. *Studi...*, p. 104.

Венецианские купцы обменивают сукна на плоды Востока. Марко Поло. *Книга чудес. Национальная библиотека (Ms. 2810).*



ронняя: в этом случае заимодавец авансирует только три четверти суммы, а компаньон путешествующий вкладывает свой труд и четвертую долю капитала. Тогда доходы делятся пополам. Эта вторая *colleganza*, по мнению Джино Луццатто, не раз служила для маскировки того, что в односторонней могло показаться ростовщическим[175]. Так как слово не изменяет существа, *colleganza* всеми своими чертами напоминает *commenda* других итальянских городов, эквивалент которых очень рано и очень поздно встречался как в Марселе, так и в Барселоне. Коль скоро в Венеции слово *commenda*[176] имело значение «вклад», потребовался иной термин, чтобы обозначить морскую ссуду, заем.

В таких условиях мы поймем позицию, занятую в 1934 г. Андре де Сэйу[177] и принятую большинством историков, включая и Марка Блока[178]: в Венеции в 1050—1150 гг. имелось-де «расхождение», разделение Труда и Капитала. Разве же компаньон, остающийся на месте,— не капиталист, остающийся дома? Его компаньон садится на корабль, идущий либо в Константинополь, либо затем в Тану или Александрию Египетскую... Когда корабль возвращается, труженик — *socius procertans* — является с взятыми взаймы деньгами и с плодами этих денег, ежели путешествие было удачным. Следовательно, с одной стороны, Капитал, с другой — Труд. Но новые документы, открытые с 1940 г.[179], обязывают пересмотреть это слишком простое объяснение. Прежде всего, несмотря на обозначающие его слова, *socius stans* беспрестанно перемещается. В тот период, который служит объектом нашего наблюдения (до и после 1200 г.), он оказывается в Александрии (в Египте), в Сен-Жан-д'Акре, в Фамагусте и еще того чаще — в Константинополе (многозначительная деталь, которая уже сама по себе могла бы показать, насколько богатство Венеции создавалось в самом теле византийской экономики). Что же касается *socius procertans*, то в нем не было ничего от безжалостно эксплуатируемого труженика. Помимо того что в каждую поездку он увозил до десятка *colleganza* (что заранее гарантировало ему, если все пойдет хорошо, существенные прибыли), часто он бывал одновременно заемщиком в одном договоре и заимодавцем в другом.

К тому же и имена заимодавцев, когда мы ими располагаем, раскрывают целую гамму «капиталистов» или так сказать капиталистов, ибо иные из них весьма скромные[180]. Именно все население Венеции ссужало свои деньги купцам-предпринимателям, именно оно непрерывно создавало и воссоздавало своего рода торговое общество, охватывавшее весь город. Это вездесущее и стихийное предложение кредита позволяло купцам трудиться в одиночку или же во временных компаниях из двух-трех человек, не создавая таких долгосрочных и накапливающих капитал компаний, какими характеризовался верхний уровень флорентийской активности.

И может быть, как раз совершенство, удобство этой организации, эта капиталистическая самодостаточность и объясняют пределы венецианской предприимчивости. Банкиры Венеции, люди, бывшие обычно чужаками в городе, были «поглощены

175 Luzzatto G. *Op. cit.*, p. 104.

176 *Ibid.*, p. 106, note 67.

177 Sayous A. *Le rôle du capital dans la vie locale et le commerce extérieur de Venise entre 1050 et 1150.* — «*Revue belge de philologie et d'histoire*», XIII, 1934, p. 657—696.

178 Bloch M. *Aux origines du capitalisme vénitien* (рецензия на предыдущую статью).— «*Annales E.S.C.*», 1935, p. 96.

179 Morozzo della Rocca R., Lombardo A. *I Documenti del commercio veneziano nei secoli XI—XIII.* 1940 (цит. в кн.: Luzzatto G. *Studi...*, p. 91, note 9).

180 Luzzatto G. *Storia economica...*, p. 82.

одной только деятельностью городского рынка и не испытывали тяги к возможному переносу своей деятельности за рамки города в поисках клиентуры»[181]. Вследствие этого в Венеции не будет ничего сравнимого с приключениями флорентийского капитализма в Англии или, позднее, генуэзского капитализма в Севилье или в Мадриде.

Точно так же легкость получения кредита и ведения дел позволяла купцу выбирать одно дело за другим, делать один ход за другим: отплытие корабля давало начало сообществу нескольких собратий, его возвращение его распускало. И все начиналось сызнова. В целом венецианцы практиковали инвестиции массовые, но краткосрочные. Естественно, немного раньше или немного позже появились долгосрочные ссуды и капиталовложения не только в связи с дальними морскими предприятиями вроде плаваний во Фландрию, но в еще большей степени к услугам промышленности и прочих постоянных видов городской активности. Ссуда (*mutuo*), первоначально очень краткосрочная, в конечном счете приспособилась к повторяющимся перезаключениям; теперь она могла тянуться годами. Вексель же, который, впрочем, появился позднее, в XIII в., и распространялся медленно[182], напротив, останется чаще всего инструментом краткосрочного кредита, на время поездки туда и обратно между двумя рынками.

Итак, экономический климат Венеции был весьма специфичен. Интенсивная торговая деятельность оказывалась там раздробленной на множество мелких дел. Если «компания» (*compagnia*), объединение на длительный срок, и возникала в Венеции, то флорентийский гигантский размах никогда не найдет там благоприятной почвы. Может быть, оттого, что ни [власти] правительства, ни [власти] патрицианской элиты никто не оспаривал реально, как во Флоренции, и город был в общем местом надежным. Или же оттого, что торговая жизнь, рано вырвавшаяся на простор, могла удовлетворяться традиционными и испытанными средствами. Но также и из-за природы сделок. Торговая жизнь в Венеции означала прежде всего прочего Левант. Торговлю, которая, конечно, требовала больших капиталов: огромная денежная масса венецианского капитала использовалась в ней почти целиком, до такой степени, что после каждого отплытия галер в Сирию город оказывался буквально лишен своей наличности[183], как позднее будет ее лишаться Севилья при отплытии «флотов Индий»[184]. Но *оборот* (*roulement*) капитала был довольно быстрым: полгода, год. И отплытие и приход кораблей задавали ритм всем видам деятельности в городе. В конечном счете если Венеция и кажется странной, то не была ли она такой в той мере, в какой Левант объяснял ее от А до Я, мотивировал все ее поведение в торговле? Например, я думаю, что запоздалое, только с 1284 г., начало чеканки золотого дуката было следствием того, что до этого времени Венеция находила более удобным использовать византийскую золотую монету. Не ускорившееся ли обесценение гиперпера заставило ее сменить политику?[185]

В целом Венеция с самого начала замкнулась на уроках своего успеха. Истинным дожем Венеции, враждебным любым

[181] Luzzatto G. *Op. cit.*, p. 79—80.
[182] Roover R., de. *Le marché monétaire au Moyen Age et au début des temps modernes.*—*«Revue historique»*, juillet—septembre 1970, p. 7.
[183] Braudel F. *Médit...*, I, p. 347.
[184] *Ibid.*
[185] Melis F. *La Moneta*, p. 8.

силам, стремившимся к изменениям, было прошлое Синьории, прецеденты, на которые ссылались как на скрижали Закона. И тень, витавшая над величием Венеции,— это само ее величие. Это правда. Но не то же ли самое можно сказать об Англии XX в.? *Лидерство* в масштабах мира-экономики — это такое испытание могущества, которое рискует однажды сделать победителя слепым перед движущейся, создающей себя историей.

А КАК ЖЕ ТРУД?

Венеция была огромным городом, вероятно с более чем 100 тыс. жителей начиная с XV в. и 140—160 тыс. в XVI и XVII вв. Но за исключением нескольких тысяч привилегированных — дворян (*nobili*), полноправных граждан города (*cittadini*), служителей церкви,— а также бедняков или бродяг, это громадное население зарабатывало на жизнь трудом своих рук.

Рядом существовали два мира труда. С одной стороны, неквалифицированные рабочие, которых не охватывала и не защищала никакая организация; сюда входили и те, кого Фредерик Лэйн именует «морским пролетариатом»[186],— возчики, грузчики, матросы, гребцы. С другой стороны — мир цехов (*Arti*), образовывавших организационный каркас различных видов ремесленной деятельности города. Порой грань между этими двумя мирами бывала нечеткой. И не всегда историк знает, по какую сторону ее поместить наблюдаемые им ремесла. В первом из этих миров пребывали, вне сомнения, грузчики на Большом канале — на Винной, Железной, Угольной набережных (*Ripa del Vin, Ripa del Ferro, Ripa del Carbon*); тысячи гондольеров, в большей их части зачисленные в число прислуги важных особ; или те бедняки, которых перед Дворцом дожей — на настоящем рынке труда — вербовали в судовые команды[187]. Всякий записавшийся получал премию. Если в указанный день он не являлся, его разыскивали, арестовывали, приговаривали к штрафу в размере двойной суммы премии и под доброй стражей препровождали на борт корабля, где в дальнейшем его жалованье пойдет на выплату его долга. Другая значительная группа неорганизованных тружеников — это рабочие и работницы, что выполняли «черную» работу для цехов (*Arti*) шелкового и шерстяного производства. Зато удивительно, что *aquaroli*, которые непосредственно на своей лодке доставляли пресную воду из Бренты, *peateri* — шкиперы шаланд, странствующие лудильщики и даже *pestrineri*, молочники, ходившие от дома к дому, были надлежащим образом конституированы в ремесленные цехи.

Ричард Тилден Рапп[188] попробовал подсчитать соответствующую величину двух этих масс трудящихся, т. е. совокупную рабочую силу (*labour force*) города. Несмотря на несовершенный характер источников, результаты кажутся мне довольно приемлемыми, а поскольку они не показывают на протяжении XVI и XVII вв. *никаких крупных перемен*, они в некото-

[186] Lane F.C. *Venice, a maritime republic*. 1973, p. 166.
[187] *Ibid.*, p. 104.
[188] Rapp R.T. *Industry and Economic Decline in 17th Century Venice*. 1976, p. 24 f.



Гондольеры в Венеции. В. Карпаччо. Чудо святого креста. Деталь картины. *Фото Андерсона — Жиродона.*

ром роде рисуют структуру занятости в Венеции. В 1586 г., когда город насчитывал примерно 150 тыс. жителей, рабочая сила составляла немногим меньше 34 тыс. человек, т. е. (если считать, что в семье на одного работника приходилось четыре человека) почти все население, при примерно 10 тыс. единиц, пред-

ставлявших узкую группу привилегированных. Из этих 33 852 трудящихся, подсчитанных Раппом, члены цехов (*Arti*) составили 22 504 человека, работники же, которых язык не поворачивается назвать свободными,— 11 348 человек. Иными словами, две трети приходилось на *Arti*, одна треть — на неорганизованных рабочих.

Эта последняя группа, если учитывать мужчин, женщин, детей, составляла самое малое 40 тыс. человек, которые оказывали сильное давление на рынок труда в Венеции. Они были тем пролетариатом, даже субпролетариатом, которого требовала любая городская экономика. К тому же хватало ли его для нужд Венеции? Скажем, простонародье лагун и города не поставляло достаточного числа моряков, так что очень рано на выручку начал прибывать, притом не всегда по своей воле, иноземный пролетариат. Венеция будет его искать в Далмации и на греческих островах. Зачастую она снаряжала галеры на Кандию (Крит), а позднее на Кипр.

В сравнении с этим организованные виды «промышленности» кажутся привилегированным мирком. Не то чтобы жизнь ремесленных корпораций развертывалась в соответствии с буквой их уставов: существовало право и существовала практика. От придирчивого надзора государства не ускользали ни кожевенные ремесла Джудекки, ни стекловарни острова Мурано, ни цех шелкоткачей (*Arte della Seta*), который возник даже еще до того, как к 1314 г. ему на помощь пришли рабочие из Лукки, ни суконное производство (*Arte della Lana*), которое, видимо, *начиналось заново* весной 1458 г., согласно заявлению Сената [189], и которое надо будет защищать от самих же венецианских купцов, желавших, конечно, изготовлять сукна «на флорентийский манер», но за границей, во Фландрии или в Англии [190], где рабочая сила была дешевой, а регламентация более гибкой. Венецианское государство — внимательное, чересчур внимательное,— навязывало жесткие нормы качества, фиксировавшие размеры кусков, выбор сырья, число нитей основы и утка, материалы, используемые для крашения,— нормы, которые в конечном счете мешали приспособлению производства к случайностям и вариативности спроса, хоть они и утверждали, в особенности на рынках Леванта, репутацию этого производства.

Все эти ремесла, новые и старые, с XIII в. организовывались в Венеции в корпорации (*arti*) и «братства» (*scuole*)[191]. Но такая самозащищающаяся система не гарантировала ремесленника ни от правительственного вмешательства, столь характерного для Венеции, ни от вторжения купцов. Цех суконщиков, который достигнет расцвета в XVI в., а кульминационной точки — к 1600—1610 гг., развивался и восторжествовал лишь в рамках системы надомного труда (*Verlagssystem*) с участием зачастую иностранных купцов, в частности обосновавшихся в Венеции генуэзцев. Даже старинное ремесло судостроения, с его мастерами — собственниками верфей, с XV в. подчинилось решающему голосу купцов-арматоров, которые предоставляли деньги для расчетов по зарплате и закупки сырья.

[189] A.d.S. Venezia, Senato Terra, 4, f° 71, 18 апреля 1458 г.

[190] Sella D. *Les mouvements longs de l'industrie lainière à Venise aux XVI^e^ et XVII^e^ siècles.* — *«Annales E.S.C.»*, janvier — mars 1957, p. 41.

[191] Pullan B. *Rich and Poor in Renaissance Venice.* 1971, p. 33 f.; Maschio R. *Investimenti edilizi delle scuole grandi a Venezia (XVI—XVII sec.)*.— Неделя Прато, апрель 1977 г.

ПЕРВЕНСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

В целом то был мир труда, удерживаемый в повиновении деньгами и государственной властью. Последняя располагала четырьмя органами надзора и арбитража: Старым судом (*Giustizia Vecchia*), Пятью торговыми мудрецами (*Cinque Savii a la Mercanzia*), Городскими главными инспекторами (*Provveditori di Comun*), Коллегией ремесел (*Collegio alle Arti*). Не этот ли внимательный надзор, эти строгие рамки объясняют удивительное социальное спокойствие в Венеции? Не наблюдалось, или наблюдалось мало, инцидентов серьезного свойства. В феврале 1446 г. перед Дворцом дожей [192] гребцы-добровольцы требовали, жалобно сетуя, свое невыплаченное жалованье. Даже громадный Арсенал, государственная мануфактура, вскоре насчитывавшая самое малое 3 тыс. рабочих, которых каждое утро созывал на работу большой колокол собора св. Марка — *la Marangona*, — строго контролировался. Едва лишь возникало подозрение о возможности возникновения там волнения, как вешали одного-двух зачинщиков (*impicati per la gola*), и вновь водворялся порядок.

Венецианские цехи (*Arti*) никоим образом не имели доступа к управлению наподобие того, как то было с флорентийскими цехами. Их удерживали на расстоянии. Но социальное спокойствие в Венеции не делается от этого менее удивительным. Правда, в сердце мира-экономики даже мелкоте доставались крохи от капиталистической добычи. Может быть, это и было одной из причин спокойствия в социальной сфере? Заработки в Венеции были относительно высоки. И каковы бы они ни были, снизить их вновь было всегда не просто. То был пункт, в котором венецианские цехи смогли защитить себя. Это будет замечено в начале XVII в., когда процветание цеха суконщиков (*Arte della Lana*), оказавшегося перед лицом конкуренции со стороны тканей Севера, было застопорено высокими заработками, пожертвовать которыми ремесленники откажутся [193].

Но такая ситуация в XVII в. соответствовала уже спаду промышленной активности города, которая не устояла перед ближней конкуренцией со стороны *Terra Ferma* и перед дальней конкуренцией со стороны промышленности северных стран. Именно к Венеции XV—XVI вв., образцовой во многих отношениях, следует обратиться вновь, чтобы задаться вопросом, была ли тогда эта многообразная промышленная активность ее главной чертой, как то предполагал Ричард Рапп. Или, в более общей форме, было ли то судьбой господствовавших городов: укореняться в промышленной деятельности? Так будет в случае Брюгге, Антверпена, Генуи, Амстердама, Лондона. Я готов признать, что к XV в. Венеция, принимая во внимание спектр форм ее активности, качество ее технических приемов, ее раннее развитие (все то, что разъясняла «Энциклопедия» Дидро, существовало в Венеции двумя столетиями раньше), — итак, я готов признать, что к XV в. Венеция была, вероятно, первым промышленным центром Европы и что это серьезно сказалось на ее судьбах, что спад венецианского промышленного процветания в конце XVI в. и в первые два десятилетия XVII в. стал

[192] A.d.S. Venezia, Senato Mar, II, f° 126, 21 февраля 1446 г.
[193] Sella D. *Op. cit.*, p. 40—41.

решающим моментом ее заката. Но объясняет ли это такой спад? Был ли он его причиной? Это уже другой вопрос. Приоритет торгового капитализма над промышленным, по меньшей мере вплоть до XVIII в., едва ли оспорим. Заметьте, что в 1421 г., перечисляя богатства своего города, старый дож Приули не говорил об его промышленных богатствах; что *Arte della Lana,* который, вне сомнения, существовал с XIII в., по-видимому, вновь ожил в 1458 г. после долгого перерыва; а настоящий свой взлет он познает только между 1580 и 1620 гг. В общем, промышленность, видимо, вмешалась в венецианское благосостояние с определенным опозданием, в качестве компенсации, способа преодолеть враждебные обстоятельства, в соответствии с той моделью, которая, как мы это увидим, сложится в Антверпене после 1558—1559 гг.

ТУРЕЦКАЯ УГРОЗА

Не все в прогрессировавшем упадке огромного города зависело от него самого. Еще до того, как Европа вследствие Великих географических открытий (1492—1498 гг.) выплеснулась на весь мир, все территориальные государства снова набрались сил: опять на арене появились опасный король Арагонский, король Французский, вновь занимавший сильные позиции, государь Нидерландский, который бы охотно диктовал свою волю, германский император, даже когда речь шла о безденежном Максимилиане Австрийском, лелеявшем внушающие беспокойство прожекты. Судьба городов оказалась в целом под угрозой.

Из таких государств, которые возносил поднимающийся прилив, самым обширным и более всего внушающим страх Венеции была турецкая империя Османов. Поначалу Венеция их недооценила: турки для нее были народом сухопутным, мало опасным на море. Однако очень рано в морях Леванта появляются турецкие (или считающиеся турецкими) пираты, а завоевания Османов на суше мало-помалу окружали море, заранее обеспечивая себе над ним господство. Взятие Константинополя в 1453 г., прозвучавшее как удар грома, поставило турок как бы в сердце морских путей, в городе, созданном, чтобы повелевать морем. Лишенный своей сущности латинянами, в том числе и венецианцами, город сам рухнул перед турками. Но он быстро уступил место Стамбулу — городу новому и могущественному, разросшемуся за счет огромного притока населения, зачастую перемещаемого официально [194]. Турецкая столица вскоре стала двигателем навязанной султаном морской политики, и Венеция в этом убедится на горьком опыте.

Могла ли Венеция воспротивиться завоеванию Константинополя? Она подумала об этом, но слишком поздно [195]. Затем она быстро приспособилась к этому событию и сделала выбор — договориться с султаном. 15 января 1454 г. дож объяснял Бартоломео Марчелло, венецианскому послу (*orator*), отправляемому к султану: «...желание наше — иметь добрый мир и дружбу с государем императором турок» («...*dispositio nostra est habere*

[194] Barkan Ö.L. *Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans l'Empire ottoman aux XV^e et XVI^e siècles.* — *«Journal of economic and social history of the Orient»,* august 1957, p. 27, 34.

[195] Решение Сената от 18 февраля 1453 г. без обиняков утверждало необходимость «из благоговения перед богом, ради чести добрых христиан, наших владений и для удобства и пользы наших купцов и граждан» (*«ob reverentiam Dei, bonum christianorum honorem, nostri dominii et pro commodo et utilitate mercatorum et civium nostrorum»*) прийти на помощь Константинополю, этому городу, о котором можно сказать, что он «считается как бы частью государства нашего и не должен попасть в руки неверных» (*«civitas Constantinopolis que dici et reputari potest esse nostri dominii, non deveniat ad manos infidelium»).* — A.d.S. Venezia, Senato Mar, 4, 170.

bonam pacem et amicitiam cum domino imperatore turcorum»)[196]. Добрый мир — это условие для хорошего состояния дел. А что касается султана, то, если он желал наладить обмен с Европой — а для его империи это было жизненной необходимостью,— разве не был он вынужден пользоваться посредничеством Венеции? То был классический случай *взаимодополняющих друг друга врагов* — все их разделяло, но материальный интерес заставлял жить вместе, и все больше и больше, по мере того как распространялось османское завоевание. В 1475 г. взятие Кафы в Крыму ознаменовало почти полное закрытие Черного моря для генуэзской и венецианской торговли. В 1516 и 1517 гг. оккупация Сирии и Египта дала туркам возможность закрыть двери традиционной торговли с Левантом. Чего они, впрочем, не сделают, ибо это означало бы прекратить транзит, из которого они извлекали крупные прибыли.

Значит, приходилось жить вместе. Такое сосуществование прерывалось, однако же, ужасными бурями. Первая большая венециано-турецкая война (1463—1479 гг.)[197] высветила очевидную диспропорцию участвовавших в ней сил. То не была, как скажут впоследствии по поводу Англии и России, борьба кита с медведем. Медведь-то был — Турецкая империя. Но противостояла ему самое большее оса. Тем не менее оса эта оказалась неутомимой. Венеция, связанная с прогрессом европейской техники и в силу этого обстоятельства имевшая преимущество, опиралась на свое богатство, набирала войска по всей Европе (вплоть до Шотландии во время Кандийской войны 1645—1669 гг.), сопротивлялась и держалась вызывающе по отношению к противнику. Но она истощала свои силы, даже если другая сторона с трудом переводила дыхание. Венеция сумеет действовать так же и в Стамбуле, умышленно внедрять коррупцию и, когда свирепствовала война, находить способ сохранять часть своих торговых операций через Рагузу и Анкону. А кроме того, она использовала против медведя османского других территориальных медведей: империю Карла V, Испанию Филиппа II, «Священную Римскую империю германской нации», Россию Петра Великого и Екатерины II, Австрию принца Евгения*. И даже один момент — во время Кандийской войны — Францию Людовика XIV. А также, для нападения на османские позиции с тыла, далекий сефевидский Иран, колыбель шиитства, враждебный суннитам-туркам, ибо и ислам имел свои религиозные войны. Короче, то было сопротивление, достойное восхищения, так как Венеция боролась против турок до 1718 г., даты заключения Пожаревацкого мира, который отмечает конец ее усилий — т. е. больше двух с половиной веков после Константинопольского мира.

Мы видим, какую гигантскую тень бросала на напряженную жизнь Венеции Турецкая империя. Но упадок Венеции с первых лет XVI в. был вызван не этим банальным конфликтом между городом и территориальным государством. К тому же с 1500 г. в центре мира оказывается другой город, Антверпен. Старинные и господствовавшие структуры городской экономики не были еще разрушены, но европейский центр богатства и капиталистических подвигов без лишнего шума по-

[196] A.d.S. Venezia, Senato Secreta, 20, f° 3, 15 января 1454 г.

[197] Kretschmayr H. *Op. cit.*, II, S. 371 f.

* Евгений Савойский (1663—1736) — видный австрийский полководец, успешно воевавший с турками. — *Прим. перев.*

кинул Венецию. Оъяснение этого связано с Великими географическими открытиями, с включением в кругооборот торговли Атлантического океана и с неожиданным успехом Португалии.

НЕОЖИДАННЫЙ УСПЕХ ПОРТУГАЛИИ, ИЛИ ОТ ВЕНЕЦИИ К АНТВЕРПЕНУ

Историки тысячекратно исследовали успех Португалии: разве не играло небольшое лузитанское королевство первые роли в огромном космическом перевороте, который открылся географической экспансией Европы в конце XV в. и ее выплескиванием на весь мир? Португалия была детонатором взрыва. Первая роль принадлежала ей.

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ [198]

[198] Perez D. *Historia de Portugal.* 1926—1933, 8 vol.

Традиционное объяснение справлялось с этим очень легко: Португалия, расположенная на западной оконечности Европы, была в общем готова начать; после 1253 г. она завершила отвоевание своей территории у мусульман; у нее освободились руки для действий вне своих пределов; взятие в 1415 г. Сеуты на южном берегу Гибралтарского пролива приобщило Португалию к тайнам торговли на дальние расстояния и разбудило в ней агрессивный дух крестовых походов; таким образом, открывалась дверь для разведывательных плаваний и амбициозных проектов, относившихся к африканскому побережью. Итак, в предназначенный для этого момент нашелся герой — инфант Генрих Мореплаватель (1394—1460), пятый сын короля Жуана I и магистр богатейшего Ордена Христа, который с 1413 г. обосновался в Сагрише, возле мыса Сан-Висенти, на южной оконечности Португалии. Окруженный учеными, картографами, мореходами, он сделается страстным вдохновителем плаваний ради открытий, которые начались в 1416 г., год спустя после взятия Сеуты.

Противные ветры, полнейшая неприветливость берегов Сахары, страхи, рождавшиеся сами собой или распространяемые португальцами, чтобы скрыть тайну своих плаваний, трудности финансирования экспедиций, малая их популярность — все задерживало обследование нескончаемого побережья Черного континента, которое проходило в замедленном темпе: мыс Бохадор — в 1416 г., Зеленый мыс — в 1445 г., пересечение Экватора — в 1471 г., открытие устья Конго — в 1482 г. Но восшествие на престол Жуана II (1481—1495), короля, страстно интересовавшегося морскими экспедициями, нового Мореплавателя, ускорило это движение к концу XV в.: в 1487 г. Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки; он ее окрестил мысом Бурь, король же дал ей название мыса Доброй Надеж-

ды. С этого момента все было готово для путешествия Васко да Гамы, которое в силу тысячи причин состоялось лишь десять лет спустя.

Отметим, наконец, дабы закончить традиционное объяснение, орудие этих открытий — каравеллу, легкий исследовательский корабль с его двойным парусным вооружением: латинским, позволявшим ставить паруса по ветру, и прямым, позволявшим идти с попутным ветром.

В течение этих долгих лет португальские мореходы накопили колоссальный опыт, относящийся к ветрам и течениям Атлантического океана. «И значит, почти случайным окажется то,— пишет Ральф Дэвис,— что в пору расцвета португальского опыта самое решающее из открытий было сделано генуэзцем на испанской службе»[199] — разумеется, открытие Америки Христофором Колумбом. Впрочем, это сенсационное открытие не получило сразу же такого значения, как осуществленное несколькими годами позже плавание Васко да Гамы. Обогнув мыс Доброй Надежды, португальцы быстро разведали кругообороты Индийского океана, они позволили вести, обучать себя. С самого начала ни один корабль, ни один порт Индийского океана не могли противостоять пушкам их флотов; с самого начала арабское и индийское мореходство было нарушено, прервано. Новоприбывший разговаривал как хозяин, а вскоре — и как хозяин неоспоримый. Так что португальские открытия (если исключить обследование бразильского побережья Алваришем Кабралом в 1501 г.) достигли к тому времени предела своего героического периода. Они закончились блистательным успехом, каким явилось прибытие в Лисабон перца и пряностей, что само по себе было революцией.

[199] Davis R. *The Rise of the Atlantic Economies*. 2[d] ed., 1975, p. 1.

НОВЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ[200]

[200] В первую голову в трудах Виторино Магальяйс-Годинью.

Вот уже почти два десятка лет, как историки — и в первую очередь историки португальские — добавили к этим объяснениям новые. Несомненно, обычная схема сохраняется, словно старинная музыка. Но сколько же изменений!

Прежде всего Португалию более не рассматривают как величину, не заслуживающую внимания. Разве не была она в общем эквивалентна Венеции и ее материковым владениям? Не будучи ни слишком маленькой, ни слишком бедной, ни замкнутой в себе, она была в европейском ансамбле самостоятельной державой, способной на инициативу (и она это докажет) и свободной в своих решениях. И главное, ее экономика не была ни примитивной, ни элементарной: на протяжении столетий Португалия находилась в контакте с мусульманскими государствами, с Гранадой, остававшейся свободной до 1492 г., а затем с городами и государствами Северной Африки. Ее отношения с продвинувшимися вперед странами развили в Португалии денежную экономику, достаточно оживленную для того, чтобы там в городах и деревнях очень рано появился наемный труд. И если деревня сокращала посевы зерна в пользу виноградной лозы и оливковых деревьев, ради разведения пробко-

вого дуба или плантаций сахарного тростника в Алгарви, то никто не сможет утверждать, будто такие виды специализации, признаваемые, например, в Тоскане за показатель экономического прогресса, были в Португалии инновациями ретроградного характера; ни заявлять, будто тот факт, что с середины XIV в. Португалия потребляла марокканскую пшеницу, является обстоятельством неблагоприятным, в то время как такая же ситуация встречается в Венеции и Амстердаме и рассматривается там как неизбежное следствие экономического превосходства. А Португалия к тому же традиционно располагала городами и деревнями, открытыми к морю, где кипела жизнь народа рыбаков и мореходов. Их *barcas*, среднего размера суда водоизмещением в 20—30 тонн, с прямыми парусами, при излишней численности команд, тем не менее очень рано плавали от африканских берегов и Канарских островов до самой Ирландии и во Фландрию. Так что двигатель, необходимый для морской экспансии, существовал уже заранее. Наконец, в 1385 г., два года спустя после захвата Корфу венецианцами, «буржуазная» революция утвердила в Лисабоне Ависскую династию. Последняя выдвинула на передний план буржуазию, которая «просуществует несколько поколений»[201], и наполовину разорила землевладельческое дворянство, которое, однако, не перестанет обременять крестьян, но будет готово предоставить необходимые кадры для командования и удержания фортов или введения в хозяйственный оборот заморских земельных пожалований. Оно станет дворянством служилым (что, кстати, отличало португальскую экспансию от чисто торговой колонизации Нидерландов). Короче, было бы чрезмерным утверждать, будто Португалия с конца XIV в., после испытания Черной смертью, которая ее не пощадила, была государством «современным». Тем не менее в целом это верно более чем наполовину.

И все же на протяжении всех своих успехов Португалия будет страдать из-за того, что не находилась в центре мира-экономики, утвердившегося на основе Европы. Португальская экономика, хоть и привилегированная в ряде отношений, принадлежала к периферии мира-экономики. С конца XIII в., с установлением морской связи между Средиземным и Северным морями, она мимоходом затрагивалась и использовалась в долгом морском и капиталистическом кругообороте, который соединял итальянские города с Англией, с Брюгге и, опосредованно, с Балтикой[202]. И как раз в той мере, в какой Западное Средиземноморье все менее и менее было связано с торговыми операциями на Леванте, а венецианское первенство обращалось в монополию, часть итальянских предпринимателей под влиянием Генуи и Флоренции обращалось к западу, к Барселоне, а еще больше — к Валенсии, к берегам Марокко, к Севилье и Лисабону. В такой игре этот последний рынок сделался международным; там умножилось число иноземных колоний, они оказывали рынку полезное, хотя и небескорыстное содействие[203]. Генуэзцы, скорые на внедрение, вели там оптовую и даже розничную торговлю[204], в принципе закрепленную за португальскими подданными. Следовательно, Лисабон, а за

[201] Davis R. *Op. cit.*, p. 4.
[202] Reparaz hijo G., de. *La Epoca de los grandes descubrimientos españoles y portugueses*. 1931.
[203] Peragallo P. *Cenni intorno alla colonia italiana in Portogallo nei secoli XIV*ᵉ, *XV*ᵉ, *XVI*ᵉ. 2ᵉ ed., 1907.
[204] Rau V. *A Family of Italian Merchants in Portugal in the XVth century: the Lomellini*. — *Studi in onore di A. Sapori*, p. 717—726.



Изображение португальского судна, высеченное и раскрашенное на скале у входа в китайский храм Амегаш в Макао. *Фото Роже — Виолле.*

Лисабоном и вся Португалия частично находились под контролем иностранцев.

Инстранцы, само собой разумеется, сыграли свою роль в португальской экспансии. Но нужно ли ее преувеличивать? Мы почти не погрешим против действительности, сказав, что иноземец обычно шел по следам успеха, присваивал его, оказавшись на месте, в гораздо большей степени, нежели подготавливал его. Так что я не уверен, в противоположность тому, что иной раз утверждают, будто бы экспедиция против Сеуты (1415 г.) была предпринята по наущению иностранных купцов. Генуэзцы, обосновавшиеся в марокканских портах, были даже откровенно, открыто враждебны внедрению португальцев[205].

Дело стало яснее после первых успехов португальской экспансии, с того момента, как Португалия овладела полезным побережьем Тропической Африки от мыса Кап-Блан до устья Конго, т. е. между 1443 и 1482 гг. С занятием, помимо этого, Мадейры в 1420 г., с повторным открытием Азорских островов в 1430 г., с открытием островов Зеленого Мыса в 1455 г., островов Фернандо-По и Сан-Томе в 1471 г. образовалось единое экономическое пространство, важнейшей чертой которого были

[205] Ricard R. *Contribution à l'étude du commerce génois au Maroc durant la période portugaise, 1415—1550.—«Annales de l'Institut d'Etudes orientales»*, III, 1937.

добыча слоновой кости, получение малагетты (гвинейского перца), золотого песка (13—14 тыс. унций в среднем в год) и торговля невольниками (в середине XV в. тысяча в год, вскоре — больше 3 тыс.). А кроме того, по договору в Алкобасе, подписанному с испанцами в 1479 г., Португалия выговорила себе монополию на торговлю с Тропической Африкой. Постройка в 1481 г. форта Сан-Жоржи-да-Мина, все материалы для которой (камень, кирпич, лес, железо) были доставлены из Лисабона, была подтверждением и гарантией этой монополии, с того времени прочно удерживаемой. Согласно современной событиям книге Дуарти Пашеку [Перейры] «Эшмералду де Ситу Орбис»[206], торговля золотом давала пятикратный доход. А что до невольников, которые прибывали на португальский рынок, то они позволили снабдить богатые дома непременными черными слугами, устроить крупные имения на пустых пространствах Алентежу, обезлюдевшей с конца Реконкисты, и разбить сахарные плантации на Мадейре, где после 1460 г. сахарный тростник сменил пшеницу.

[206] Pacheco Pereira D. *Esmeraldo de situ orbis...*, 1892. — Цит. по: Davis R. *Op. cit.*, p. 8.

[207] Davis R. *Op. cit.*, p. 11.

Все это завоевание Африки и атлантических островов было делом португальцев. Тем не менее генуэзцы, флорентийцы (и даже фламандцы, если говорить об освоении Азорских островов) внесли в него ощутимый вклад. Разве же не способствовали генуэзцы переносу сахарных плантаций из Восточного Средиземноморья одновременно на Сицилию, в Южную Италию, в Марокко, в португальскую Алгарви и в конечном счете — на Мадейру и на острова Зеленого Мыса? Попозже и по тем же причинам сахар добрался до Канарских островов, занятых кастильцами.

Точно так же, хотя венец португальских открытий — плавание Васко да Гамы — «ничем не был обязан генуэзцам», Ральф Дэвис[207] прав, когда говорит, что итальянские купцы, купцы южногерманские и нидерландские, уже обосновавшиеся в Лисабоне или устремившиеся туда, в большей степени были причастны к его торговому успеху. Португальцы и лисабонский король-купец — разве могли они в одиночку эксплуатировать нескончаемую и дорогостоящую линию плаваний в Ост-Индию, линию, которая своим размахом далеко превосходила связь по *Carrera de Indias* (Путь в Индию), которую кастильцы установили между своими западными Индиями и Севильей?

Заметим, наконец, что усилия португальцев, направленные в сторону Индийского океана, просто-напросто стоили им Америки. Игра будет держаться на волоске: Христофор Колумб предложил королю Португальскому и его советникам свое химерическое путешествие в тот момент, когда возвратившийся в Лисабон Бартоломеу Диаш (1488 г.) внушил уверенность в возможности связи по морю между Атлантикой и Индийским океаном. Португальцы предпочли уверенность (в общем-то «научную») химере. Когда они в свою очередь откроют Америку, отправив около 1497 г. своих рыбаков и китобоев до самого Ньюфаундленда, а затем высадившись в 1501 г. в Бразилии, они отстанут на годы. Но кто бы мог догадаться о значении этой ошибки тогда, когда с возвращением в 1498 г. Васко да Гамы битва за перец была выиграна и тотчас же использо-

вана, когда торговая Европа спешила закрепить в Лисабоне своих самых деятельных представителей? Когда Венеция, вчерашняя царица, казалась растерявшейся, получившей удар в самое сердце своего успеха? В 1504 г. венецианские галеры не обнаружили в Александрии, в Египте, ни единого мешка перца [208].

[208] Magalhaẽs-Godinho V. *Le Repli vénitien et égyptien et la route du Cap,1496—1533.* — *Eventail de l'histoire vivante.* 1953, II, p. 293.

АНТВЕРПЕН, МИРОВАЯ СТОЛИЦА, СОЗДАННАЯ ИЗВНЕ

Но в новом центре мира разместился не Лисабон, сколь бы важен он ни был. Казалось, у него на руках все козыри. И все же над Лисабоном возобладал, в общем-то, неожиданно, не предупреждая, другой город: Антверпен. В то время как уход власти из рук Венеции был логичен, неудача Лисабона поначалу удивляет. И однако же, она более или менее объяснима, если заметить, что даже в своих победах Лисабон оставался пленником определенного мира-экономики, в который он уже был включен и который отвел ему определенное место. Если к тому же заметить, что Северная Европа не переставала играть свою роль и что [Европейский] континент имел тенденцию качнуться в сторону своего северного полюса, и не без причин и оправданий; и, наконец, большая часть потребителей перца и пряностей размещалась как раз на севере континента, быть может, в соотношении 9 из 10.

Тем не менее не будем слишком поспешно и слишком просто объяснять успех Антверпена. Говорят, будто город на Шельде, издавна пребывавший на перекрестке торговых путей и обменов Северной [Европы], занял место Брюгге. Операция якобы была банальна: один город приходит в упадок, другой его заменяет. Позднее и сам Антверпен, вновь завоеванный в 1585 г. Александром Фарнезе *, уступит место Амстердаму. Пожалуй, это означает смотреть на вещи сквозь призму чересчур локального свойства.

* Александр Фарнезе, герцог Пармский (1545—1592),— испанский полководец и дипломат, наместник Филиппа II в Нидерландах в 1578—1589 гг. — *Прим. перев.*

В действительности дела обстояли сложнее. В такой же мере и даже больше, чем Брюгге, Антверпен наследовал Венеции. На протяжении *Века Фуггеров* [209], бывшего на самом-то деле *Веком Антверпена*, город на Шельде действительно находился в самом центре *всей* международной экономики, что не удалось Брюгге в пору его расцвета. Следовательно, Антверпен был не просто преемником своего близкого соперника, хотя, как и тот, он был создан извне. Генуэзские корабли, причалившие в Брюгге в 1277 г., вознесли город на Звейне выше его уровня. Точно так же и судьбу Антверпена решат смещение мировых путей в конце XV в. и наметившаяся атлантическая экономика: все изменится для города с приходом к причалам Шельды в 1501 г. португальского корабля, груженного перцем и мускатным орехом. За ним последуют другие [210].

[209] Ehrenberg R. *Das Zeitalter der Fugger.* 1922, 2 Bde.
[210] Van der Wee H. *The Growth of the Antwerp Market and the European Economy (14th—16th Centuries).* 1963, II, p. 127.
[211] Pirenne H. *Histoire de Belgique.* 1973, II, p. 58.

Итак, величие Антверпена создавалось не им самим. Впрочем, располагал ли город средствами для этого? «У Антверпена, так же как и у Брюгге, никогда не было торгового флота», — писал Анри Пиренн [211]. Еще одна слабость: купцы не управляли городом ни в 1500 г., ни позднее. Его эшевены (англичане го-



Важнейшие пути антверпенской торговли
Эти пути обрываются в итальянских перевалочных пунктах, как и в великих перевалочных пунктах Лисабона и Севильи. Однако существовали некоторые их продолжения, не указанные на нашей карте,— в Бразилию, к островам Атлантики и побережью Африки. Средиземное море практически непосредственно не затрагивалось. (По данным кн.: Vasquez de Prada V. *Lettres marchandes d'Anvers,* I, s. d., p. 35.)

ворили о *лордах* Антверпена [212]) принадлежали к нескольким семействам его немногочисленного земельного дворянства, и они удерживались у власти столетиями. В принципе эшевенам даже запрещалось вмешиваться в дела — запрет довольно любопытный, но настоятельно повторяемый, вне сомнения, потому, что он не был действенным. Наконец, Антверпен не имел местных купцов международного масштаба; игрой руководили иноземцы — ганзейцы, англичане, даже французы, но особенно южане — португальцы, испанцы, итальянцы.

Конечно же, следует учитывать нюансы. Да, Антверпен располагал флотом [213], в общей сложности сотней небольших судов водоизмещением от 80 до 100 тонн, но что они значили рядом с иностранными кораблями, голландскими, зеландскими, португальскими, испанскими, итальянскими, рагузинскими, каталонскими, английскими, бретонскими, которые поднимались по Шельде или останавливались у острова Валхерен? [214] Что касается лордов Антверпена, то эти достойные особы зачастую более или менее открыто ссужали деньги [215]. Они на свой лад служили торговым интересам города. И тем не менее город этот был как бы невинным: именно чужаки его домогались, именно они его наводняли, создавали его блеск. Не Антверпен жадно захватывал мир, как раз наоборот: это мир, выведенный из равновесия Великими [географическими] открытиями, устремившийся в сторону Атлантики, ухватился за Антверпен за неимением лучшего. Город не боролся за то, чтобы оказаться на видимой вершине мира. Он в одно прекрасное утро проснулся на ней.

Итак, осмелимся сказать, что он не сразу полностью справился со своей ролью. Антверпен не выучил еще свое [домашнее] задание, он не был *независимым* городом. Заново включенный в 1406 г. в состав герцогства Брабантского [216], Антверпен подчинялся государю. Несомненно, он мог с ним хитрить, и будет хитрить, намеренно затягивая исполнение не нравящихся городу ордонансов. В сфере религиозных дел Антверпену даже удастся сохранить политику терпимости, необходимую для его подъема [217]. Лодовико Гвиччардини, наблюдавший город в более поздний период (1567 г.), почувствовал это стремление к независимости: «Он управляется и руководится почти как вольный город» [218]. И все же Антверпен не был ни Венецией, ни Генуей. К примеру, в пору самой оживленной своей активности он пострадает из-за мер в отношении монеты, принятых брюссельским «правительством» в 1518 и 1539 гг. [219] Добавим, что в момент своего взлета то был еще город старинный, средневековый, как о нем было сказано [220], с опытом ярмарочного города [221]. То есть он обладал, вне сомнения, духом радушия и некоторым проворством в ведении коммерческих дел и сделок, которые следовало заключать быстро. Но у него было мало либо не было вовсе опыта в морских предприятиях, в торговле на дальние расстояния, в новых формах торговых объединений. Как же он мог сразу же в полную силу играть свою новую роль? Однако же более или менее быстро ему пришлось приспосабливаться, импровизировать: Антверпен, или импровизация.

[212] Ramsay G. D. *The City of London*. 1975, p. 12.
[213] Coornaert E. *Anvers a-t-elle eu une flotte marchande? — Le Navire et l'économie maritime*. P.p. M. Mollat, 1960, p. 72 sq.
[214] *Ibid*., p. 71, 79.
[215] Ramsay G. D. *Op. cit*., p. 13.
[216] Pirenne H. *Op. cit*., II, p. 57.
[217] Ramsay G. D. *Op. cit*., p. 18.
[218] Guicciardini L. *Description de tous les Pays-Bas*. 1568, p. 122.
[219] Van der Wee H. *Op. cit*., II, p. 203.
[220] Coornaert E. *La genèse du système capitaliste: grand capitalisme et économie traditionnelle à Anvers au XVI^e siècle. — «Annales d'histoire économique et sociale»*, 1936, p. 129.
[221] Cox O. C. *Op. cit*., p. 266.



Старый антверпенский порт. Картина, приписываемая С. Франку. *Тарб, Музей Массэ. Фото Жиродона.*



ЭТАПЫ АНТВЕРПЕНСКОГО ВЕЛИЧИЯ

Все говорит о том, что новая роль Антверпена зависела от международных, в некотором роде внешних условий. Венеция после нескончаемых войн будет наслаждаться более чем столетие (1378—1498 гг.) бесспорным преобладанием. В аналогичном положении Амстердам продержался столетие и даже больше. Напротив, Антверпен познал с 1500 по 1569 г. весьма бурную историю: слишком много было столкновений, скачков, схваток. Почва его процветания непрестанно колебалась, невзирая на ненадежные силовые линии, которые в нем перекрещивались и приносили ему многообразные дары и стесняющие и неоднозначные прихоти захватывавшей мир Европы, а возможно, и из-за этих силовых линий. Я бы сказал (перечитав классическую книгу Германа Ван дер Вее[222]), что главной причиной неуверенности в Антверпене было то, что вся экономика Европы, оказавшаяся под воздействием наносивших ей удары конъюнктур и неожиданностей, в XVI в. еще не набрала своей крейсерской скорости, того равновесия, которое было бы долговременным. Чуть более сильный, чем другие, нажим — и процветание Антверпена расстраивалось, приходило в негодность, либо, наоборот, восстанавливалось и усиливалось в мгновение ока. Фактически в той мере, в какой его развитие довольно верно воспроизводило европейскую конъюнктуру.

[222] Van der Wee H. *Op. cit.*, 3 vol.

[223] *Ibid.*, II, p. 128.

Не слишком преувеличивая, можно сказать, что все происходило так, словно в Антверпене сменяли друг друга три города, схожие и разные, из которых каждый развивался в течение периода подъема, за которым следовали трудные годы.

Из этих трех последовательных подъемов (1501—1521, 1535—1557, 1559—1568 гг.) первый проходил под знаком Португалии. На него «работал» перец; но, как показывает Г. Ван дер Вее[223], Португалия играла свою роль в полной мере лишь в силу сговора между королем в Лисабоне, хозяином пряностей, и южногерманскими купцами, хозяевами белого металла,— Вельзерами, Хёхштеттерами и самыми крупными или самыми удачливыми из всех Фуггерами. Второй взлет следует занести в актив Испании и белого металла, на сей раз американского, который в 30-е годы XVI в. дал своим политическим хозяевам решающий аргумент в пользу расширяющейся экономики. Третий и последний взлет был результатом возвращения спокойствия после заключения мира в Като-Камбрези (1559 г.) и яростного рывка антверпенской и нидерландской промышленности. Но разве в ту пору *форсирование* развития индустрии не было последним средством?

ПЕРВЫЙ ВЗЛЕТ, ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

К 1500 г. Антверпен был всего лишь учеником. Но вокруг него густонаселенные Брабант и Фландрия пребывали в состоянии эйфории. Несомненно, торговля ганзейцев была более или менее устранена[224]: сахар с островов Атлантики занял ме-

[224] Van der Wee H. *Op. cit.*, II, p. 120.

сто меда, а роскошь шелков сменила роскошь мехов. Но и на самой Балтике голландские и зеландские суда конкурировали с ганзейскими кораблями. Англичане сделали из ярмарок в Берген-оп-Зоме и в Антверпене перевалочные пункты для своих сукон, импортировавшихся суровыми, окращивавшихся на месте и перераспределявшихся по всей Европе, в особенности в Центральной Европе[225]. Последним преимуществом Антверпена было то, что немецкие купцы, особенно из Южной Германии, во множестве обосновались в городе и именно они, согласно данным новейших исследований[226], были первыми, кто предпочел Брюгге порт на Шельде, более доступный для них. Они поставляли в город рейнское вино, медь, серебро (белый металл), которое создало богатство Аугсбурга и его купцов-банкиров.

[225] Van Houtte J. *Op. cit.*, p. 82.
[226] Doehaerd R. *Études anversoises*. 1963, I, p. 37 sq., 62—63.
[227] Braacamp Freire A. *Op. cit.*, p. 322 sq.
[228] Van der Wee H. *Op. cit.*, I, Appendice 44/1.

В этой окружавшей Антверпен среде внезапное прибытие перца, который был доставлен сюда прямо после португальских плаваний, единым махом изменило общие условия обмена. Первое судно с пряностями бросило якорь в 1501 г.; в 1508 г. король Португалии основал в Антверпене Фландрскую факторию (*Feitoria de Flandres*)[227], отделение своей лисабонской *Casa da India*. Но почему король избрал Антверпен? Вне сомнения, потому, что главным покупателем перца и пряностей — мы говорили об этом — была Северная и Центральная Европа, та Европа, которую до того времени снабжал с юга венецианский Фондако деи Тедески. А также, конечно, потому, что Португалия поддерживала давние морские связи с Фландрией. Наконец (и особенно), потому, что если после долгих усилий Португалия и добралась до Дальнего Востока, то у нее не было ни венецианских ресурсов, ни венецианских средств, чтобы поддерживать свой успех и им управлять, т. е. организовать с начала до конца распределение пряностей. Уже для плаваний из Индии в Европу и обратно приходилось авансировать громадные суммы, а после первых же ограблений в Индийском океане пряности и перец должны были оплачиваться наличными, серебром или медью. Не обращать внимания на перераспределение означало предоставить другому (как сделают это позднее великие Ост-Индские компании) заботу о перепродаже, бремя открывать кредит розничным торговцам (при сроках платежей от 12 до 18 месяцев). По всем этим причинам португальцы доверились антверпенскому рынку. Разве же не мог он делать для португальских пряностей и перца то, что он делал для английских сукон? В обмен на это португальцы находили в Антверпене медь и белый металл немецких рудников, в которых они нуждались для своих выплат на Дальнем Востоке.

К тому же распределение через Антверпен было эффктивным для Северной Европы. За несколько лет венецианская монополия была там сломлена, по крайней мере нарушена. В то же время широкий поток меди и серебра переориентировался с Венеции на Лисабон. В 1502—1503 гг. только 24 % венгерской меди, экспортированной Фуггерами, поступило в Антверпен; в 1508—1509 гг. соотношение составило 49 % для Антверпена, 13 % для Венеции[228]. Что же касается серебра, то в 1508 г. официальное уведомление правительства Нидерландов оценивало

примерно в 60 тыс. марок[229] вес металла, проследовавшего транзитом через Антверпен в Лисабон: Запад лишался своего белого металла в пользу португальского [торгового] кругооборота. Так что немецкие купцы оказались в сердце бума, вознесшего Антверпен, будь то Шетцы из Ахена, центра производства меди[230], или аугсбургские Имхофы, Вельзеры, Фуггеры. Их прибыли накапливались: с 1488 по 1522 г. Имхофы ежегодно увеличивали свой капитал на 8,75%, Вельзеры — на 9% (с 1502 по 1517 г.), а Фуггеры — в целом на 54,5% (с 1511 по 1527 г.)[231]. В таком быстро менявшемся мире итальянские фирмы сталкивались с тяжкими трудностями: Фрескобальди обанкротились в 1518 г., Гуальтеротти ликвидировали свои предприятия в 1523 г.[232]

Очевидное процветание Антверпена завершится, однако, складыванием подлинного денежного рынка лишь с опозданием. Такой рынок может существовать, лишь будучи связан с кругооборотом векселей, платежей и кредита во всех европейских пунктах и рынках, где производилась ремиссия (особенно в Лионе, Генуе, на кастильских ярмарках), и Антверпен лишь замедленно туда внедрялся. Например, с Лионом, который тогда руководил всей этой игрой, он оказался связанным только к 1510—1515 гг.[233]

А затем начиная с 1523 г. для Антверпена начались мрачные годы. Войны между Валуа и Габсбургами в 1521—1529 гг. парализовали международную торговлю и рикошетом создали стеснения для антверпенского денежного рынка, который только начинался. В 30-е годы расстроился рынок перца и пряностей. Прежде всего Лисабон вновь взял на себя роль перераспределяющего: Фландрская фактория (*Feitoria de Flandres*) утратила смысл своего существования и в 1549 г. была ликвидирована[234]. Может быть, как предположил В. Магальяйс-Годинью,[235] из-за того, что Португалия нашла рядом с собой — в Севилье — американский белый металл, тогда как немецкие рудники находились на спаде и начиная с 1535 г.[236] почти что прекратили производство [серебра]. Но главным образом потому, чо сказалась реакция Венеции: поступавший с Леванта перец, который Венеция продавала, был дороже лисабонского, но лучше по качеству[237] и к 30-м годам XVI в., а еще больше после 1540 г. венецианские закупки на Ближнем Востоке возросли. В 1533—1534 гг. в Лионе[238] Венеция присвоила 85% торговли перцем. Конечно же, Лисабон не прекратил свои поставки в Антверпен, где потругальский перец по-прежнему будет оживлять рынок: с ноября 1539 по август 1540 г. у острова Валхерен бросили якорь 328 португальских судов[239]. Но при новой конъюнктуре перец не был более уже в такой мере двигателем, не имевшим себе равных. Португалии не удалось обеспечить себе монополию на него. Произошел раздел рынка с Венецией почти поровну, и раздел этот каким-то образом закрепился. И наоборот, ничто не мешает думать, что короткий спад середины XVI в. не сыграл также своей роли в затруднениях Антверпена.

229 *Ibid.*, II, p. 125.
230 *Ibid.*, p. 130—131.
231 *Ibid.*, p. 131.
232 *Ibid.*, p. 129.
233 *Ibid.*
234 Braacamp Freire *A. Op. cit.*, p. 407.
235 Magalhaes-Godinho V. *L'Économie de l'Empire portugais aux XV^e^ et XVI^e^ siècles.* 1969, p. 471.
236 Nef J. U. *Silver production in central Europe, 1450—1618.* — *«The Journal of Political Economy»*, 1941, p. 586.
237 Braudel F. *Médit...*, I, p. 497.
238 Gascon R. *Grand commerce et vie urbaine au XVI^e^ siècle. Lyon et ses marchands.* 1971, p. 88.
239 Van der Wee H. *Op. cit.*, II, p. 156.

ВТОРАЯ УДАЧА АНТВЕРПЕНА

Что снова вывело Антверпен на подъем, так это рост импорта американского белого металла *через* Севилью. В 1537 г. серебро в Испании было достаточно обильно, чтобы заставить правительство Карла V повысить курс золота: соотношение золото—серебро стало тогда не 1 к 10,11, а 1 к 10,61[240]. Такой приток богатств придал Испании (следовало бы сказать—Кастилии) новое политическое и экономическое измерение. Габсбурги в лице Карла V оказались одновременно господами Испании, Нидерландов, Империи, Италии, где они прочно доминировали с 1535 г.[241] Вынужденный производить платежи по всей Европе, император с 1519 г. был привязан к аугсбургским купцам-заимодавцам, подлинной столицей которых оставался Антверпен. Именно Фуггеры и Вельзеры мобилизовывали и доставляли необходимые суммы, без чего не было бы имперской политики. В таких условиях император не мог обойтись без услуг антверпенского денежного рынка, образовавшегося как раз между 1521 и 1535 гг., в трудную пору вялой торговли, когда займы государю утвердились в качестве единственного плодотворного использования капиталов, которые обычно ссужались под процент, превышающий 20[242].

И тогда с Испанией произошло то же, что произошло с Португалией. Перед лицом своей новой задачи по ту сторону Атлантики—эксплуатации и строительства Америки—она обретала необходимый вес и выполняла свой долг с разнообразной помощью всей Европы. Ей нужны были лес, брусья, смола, суда, пшеница и рожь стран Балтийского бассейна; для переправки в Америку ей требовались промышленные изделия, холсты, легкие сукна, скобяной товар Нидерландов, Германии, Англии, Франции. Порой—в огромных количествах: в 1553 г.[243] из Антверпена в Португалию и Испанию было отправлено больше 50 тыс. штук холста. Зеландские и голландские корабли с 1530 г. и наверняка с 1540 г. сделались хозяевами связей между Фландрией и Испанией с тем большей легкостью, что корабли Бискайского залива оказались отвлечены в сторону Пути в Индии (*Carrera de Indias*), и пустоту, создавшуюся в мореплавании между Бильбао и Антверпеном, нужно было заполнить. Так что ничего не было удивительного, если Карл V мобилизовал в 1535 г. против Туниса, а в 1541 г. против Алжира десятки и десятки голландских урок* для перевозки людей, лошадей, боеприпасов и продовольствия... Бывало даже, что корабли с Севера реквизировались ради увеличения флотов Пути в Индии[244]. Невозможно сказать (но мы к этому еще вернемся[245]), насколько такая победительная связь Севера с Пиренейским полуостровом была важна в истории Испании и всего мира.

Взамен Испания отправляла в Антверпен шерсть (которая выгружалась еще в Брюгге[246], но сразу же поступала в город на Шельде), соль, квасцы, вино, сушеные фрукты, растительное масло плюс заморские продукты вроде кошенили, американского красильного дерева, сахара Канарских островов. Но этого было недостаточно, чтобы сбалансировать обмен, и Испа-

[240] Hamilton E.J. *Monetary inflation in Castile, 1598—1660.—«Economic History»*, 6 january 1931, p. 180.
[241] 1529 г.—Дамский мир [между Францией и Испанией, заключенный в Камбре при посредничестве Луизы Савойской, матери Франциска I, и Маргариты Австрийской, тетки Карла V.—*Прим. перев.*], 1535 г.—занятие Карлом V Милана.
[242] Braudel F. *Les emprunts de Charles Quint sur la place d'Anvers.—Colloques Internationaux du C.N.R.S., «Charles Quint et son temps»*. P., 1958, p. 196.
[243] Van der Wee H. *Op. cit.*, II, p. 178, note 191.
* Урка—голландское грузовое парусное судно с круглыми обводами.—*Прим. перев.*
[244] Chaunu P. Séville et l'Atlantique, VI, p. 114—115.
[245] См. ниже, с. 206.
[246] Van Houtte J. *Op. cit.*, p. 91.

ния уравновешивала свой баланс отправками серебряных монет и слитков, зачастую перечеканивавшихся на антверпенском Монетном дворе[247]. Именно американское серебро и испанские купцы в конечном счете вновь оживили жизнь города. Юному Антверпену начала столетия, португальскому и немецкому, пришел на смену «испанский» город. После 1535 г. порождавший безработицу развал в делах сошел на нет. Преобразование шло в хорошем ритме, и все извлекали из этого уроки.

[247] Braudel F. *Médit...*, I, p. 436—437



Вид Антверпена около 1540 г. *Антверпен, Национальный морской музей (National Scheepvaartmuseum).*

Промышленный город Лейден, забросив крытый рынок, который он создал в Амстердаме в 1530 г. ради продажи своих сукон в Прибалтийских странах, в 1552 г. открыл другой — в Антверпене, имея в виду на сей раз рынки Испании, Нового Света и Средиземноморья[248].

Бесспорно, на 1535—1557 гг. пришелся наивысший взлет Антверпена. Никогда город не был таким процветающим. Он не переставал расти: в 1500 г., в начале его великого успеха, он едва насчитывал 44—49 тыс. жителей; вне сомнения, до 1568 г. эта численность превысит 100 тыс. человек. Число домов города увеличилось с 6800 до 13 тыс., в общем удвоилось. Новые площади, новые прямолинейные улицы (общей длиной почти в 8 км), создание инфраструктуры и экономических центров усеяли город строительными площадками[249]. Торжествовали роскошь, капиталы, промышленная активность, культура. Разумеется, при наличии и оборотной стороны медали: роста цен и заработной платы, углублявшегося разрыва между богатыми,

[248] Van der Wee H. *Op. cit.*, II, p. 179, note 195.

[249] Soly H. *Urbanisme en Kapitalisme te Antwerpen in de 15 de Eeuw.* (Résumé en français), p. 457 sq.

становившимися еще богаче, и бедными, которые делались еще беднее, увеличения численности пролетариата неквалифицированных тружеников — носильщиков, крючников, посыльных... Расстройство потихоньку проникало в могущественные ремесленные цехи, где наемный труд начал брать верх над трудом свободным. В цехе портных в 1540 г. насчитывалось больше тысячи неквалифицированных или полуквалифицированных рабочих. Мастер получил право нанимать 8, 16, 22 работников; мы далеки здесь от ограничительных мер, действовавших некогда в Ипре[250]... В новых отраслях образовывались *мануфактуры:* рафинадные заводы (соляные и сахарные), мыловаренные заводы, красильни; их владельцы нанимали голытьбу за смехотворно низкую заработную плату, самое большее — 60% заработка квалифицированного рабочего. Нет никакого сомнения, масса неквалифицированных рабочих ограничивала возможность забастовок, остававшихся оружием квалифицированных рабочих. Но за отсутствием забастовок возникали и будут возникать волнения, насильственные мятежи.

[250] Wittman T. *Op. cit.*, p.30.

Второму процветанию Антверпена мощный удар нанесет испанское банкротство 1557 г., которое затронет все страны, какими владел император, плюс Францию, которую эти страны окружали; крах в Лионе наступит одновременно с крахом королевских финансов Генриха II в 1558 г. Тогда в Антверпене пресекся кругооборот серебра, который поддерживал рынок. Он никогда более не восстановится сколько-нибудь удовлетворительным образом, и немецкие банкиры окажутся впредь вне испанской игры, их место займут генуэзцы. «Век Фуггеров» завершился.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЗЛЕТ

Однако же антверпенская экономика вновь оживится, но в совсем ином плане — то будет ее третий взлет. Сразу же после мира в Като-Камбрези (1559 г.), развеявшего призрак войны между Валуа и Габсбургами, возобновилась торговля с Испанией, Францией, Италией, странами Балтийского бассейна, где наблюдалось любопытное возвращение ганзейцев (именно в эту эпоху строится в Антверпене великолепный Ганзейский дом[251]). Невзирая на периодически возникавшую угрозу войны между Францией и Англией, между Данией, Швецией и Польшей, несмотря на захваты и конфискации кораблей в Ла-Манше, Северном или Балтийском морях, антверпенская торговля оживилась, не обретя, однако, вновь своего предкризисного уровня[252]. К тому же возникли препятствия со стороны Англии. Ревальвация фунта стерлингов в начале правления Елизаветы повергла экономику острова в глубокий кризис, который объясняет неприязнь англичан к ганзейцам и нидерландским купцам. В июле 1567 г. после долгих колебаний англичане избрали Гамбург перевалочным пунктом для своих сукон, и этот город, открывший им более легкий доступ на немецкий рынок, нежели Антверпен, очень быстро оказался способен аппретировать и продавать сырцовые английские сукна[253]. Для

[251] Dollinger P. *Op. cit.*, 417—418. См. гравюру на с. 101—102.
[252] Van der Wee H. Op. cit., II, p. 228—229.
[253] Ibid., p. 238.

Антверпена то был серьезный удар. К тому же Томас Грешэм, слишком хорошо знавший антверпенский рынок, заложил в 1566 г. первый камень Лондонской биржи (*London Exchange*). И в этом плане Англия тоже жаждала независимости от Антверпена, это было в некотором смысле бунтом сына против отца.

Именно в таких условиях Антверпен стал искать и нашел свое спасение в промышленности[254]. Капиталы, не находя себе более полного употребления в торговой деятельности или в государственных займах, обратились к мастерским. В Антверпене и по всем Нидерландам произошел *необычайный* подъем производства сукон, холста, обойных материалов. Даже в 1564 г. можно было при взгляде на город биться об заклад по поводу будущей его судьбы. В самом деле, то, что вызовет его падение, была не экономика сама по себе, а обширные социальные, политические и религиозные смуты в Нидерландах.

Кризис неповиновения — ставили диагноз политики. На самом деле — религиозная революция, вышедшая из глубин, с подспудно сопровождавшими ее кризисом экономическим и социальными драмами дороговизны[255]. Рассказывать об этой революции, анализировать ее не входит в нашу задачу. На наш взгляд, важно было то, что Антверпен с самого начала был захвачен беспорядками. Эпидемия иконоборчества на протяжении двух дней, 20 и 21 августа 1566 г., сотрясала город посреди всеобщего изумления[256]. Все могло бы еще окончиться миром при условии компромисса и уступок правительницы Маргариты Пармской[257], но Филипп II избрал путь силы, и через год, почти день в день после антверпенских бунтов, герцог Альба прибыл в Брюссель во главе экспедиционного корпуса[258]. Порядок восстановился, но война, которая вспыхнет лишь в апреле 1572 г., уже подспудно началась. В Ла-Манше и в Северном море англичане захватили в 1568 г. бискайские сабры *(zabres)*, груженные тюками шерсти и серебром, предназначавшимся герцогу Альбе, плюс контрабандным серебром, которое перевозчики прятали[259]. Связь морем между Нидерландами и Испанией была практически прервана.

Конечно, Антверпен умрет не сразу. Еще долгое время он будет оставаться важным центром, средоточием разных отраслей промышленности, финансовым опорным пунктом для испанской политики, но деньги и векселя для оплаты войск на испанской службе на сей раз будут поступать с Юга, через Геную, и именно в Геную, в силу такого маршрутного отклонения политического серебра Филиппа II, переместится центр Европы. Падение международного значения Антверпена отмечалось вдалеке и как раз на средиземноморских часах. Я сейчас объясню это.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ АНТВЕРПЕНА

Относительно кратковременный успех Антверпена представлял, однако, важное, а отчасти и оригинальное звено истории капитализма.

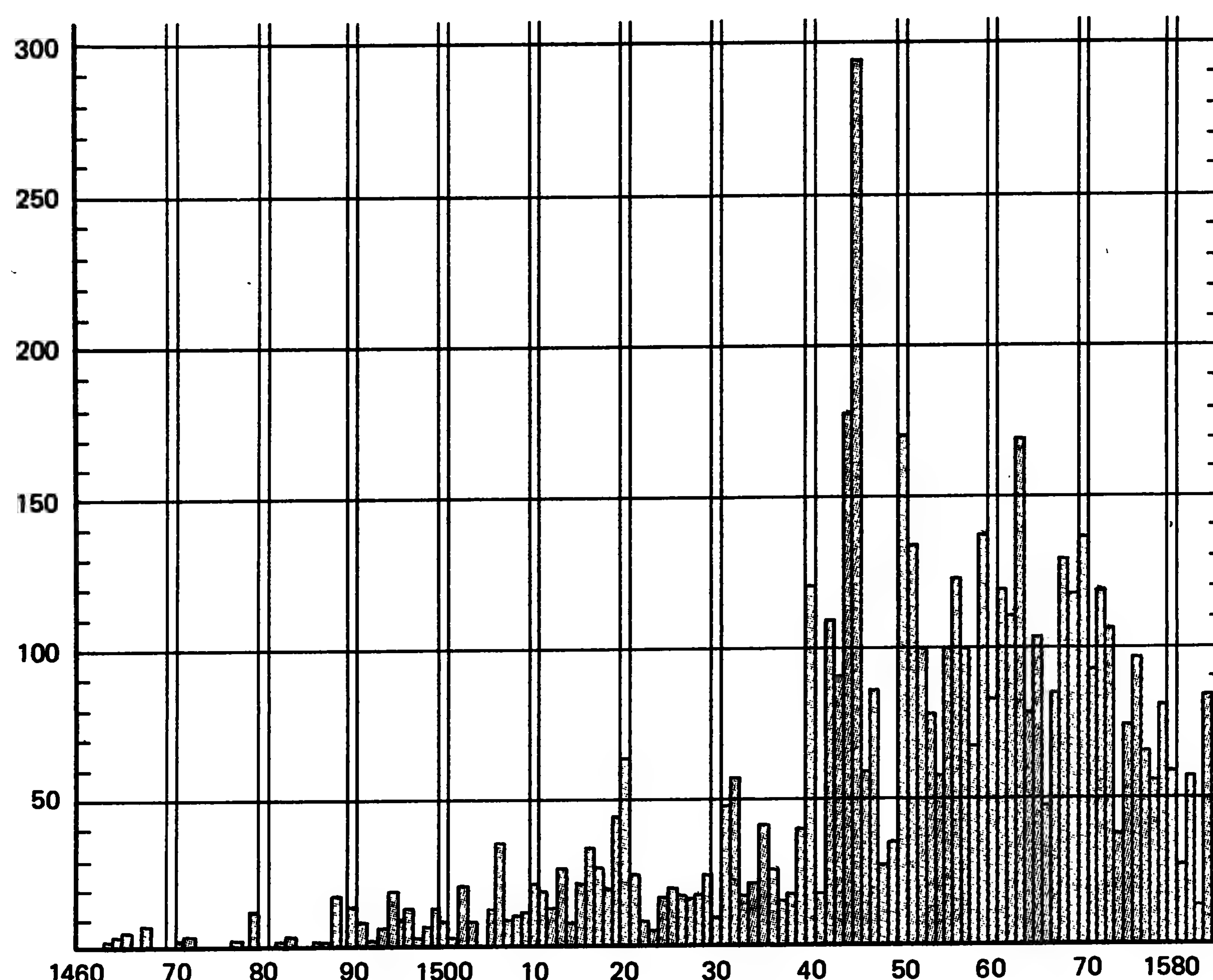
[254] Van der Wee H. *Op. cit.*, p. 186.
[255] Verlinden Ch., Craeybeckx J., Scholliers E. *Mouvements des prix et des salaires en Belgique au XVI^e s.— «Annales E. S. C.»*, 1955, p. 184—185.
[256] Lothrop Mottley J. *La Révolution des Pays-Bas au XVI^e siècle*, II, p. 196.
[257] *Ibid.*, III, p. 14.
[258] Lothrop Mottley J. *Op. cit.*, III, ch. I.
[259] Braudel F. *Médit...*, I, p. 438, note 6. Последний обзор вопроса см.: Phillips W. D., Phillips C. R. *Spanish wool and dutch rebels: the Middelburg Incident of 1574.— «American Historical Review»*, april 1977, p. 312—330.

Конечно, Антверпен в большой мере проходил школу у своих иностранных гостей: он скопировал двойную бухгалтерию, которой его, как и остальную Европу, обучили итальянцы; для международных расчетов он, как и все (хотя и с определенной осторожностью и даже скупостью), пользовался векселем, включавшим его в кругообороты капиталов и кредитов от рынка к рынку. Но при случае он умел изобрести и свои собственные решения.

В самом деле, около 1500 г. городу приходилось в заурядном кругу своей повседневной жизни изо дня в день реагировать на ситуации, которые его захватывали врасплох и служили поводом «громадных напряженностей»[260]. К этому времени Антверпен в отличие от Брюгге даже не располагал настоящей банковской организацией. Возможно, как считает Герман Ван дер Вее, вследствие запретительных мер герцогов Бургундских (1433, 1467, 1480, 1488, 1499 гг.), которые буквально уничтожали любую попытку в этом направлении. В силу этого купец не мог в Антверпене, как на Риальто, «внести» свой долг или свой кредит в книги какого-нибудь банкира, компенсируя таким образом поступления и издержки. Точно так же он почти не будет делать займов, как то делалось на большей части денежных рынков, продавая вексель, выписанный на корреспондента во Флоренции или где-нибудь еще, даже на ярмарки Антверпена или Берген-оп-Зома. Однако же звонкой монеты не могло хватить для всех расчетов, требовалось, чтобы вступала в дело «бумага», чтобы играли свою роль, облегчали течение дел фиктивные деньги, остающиеся в то же время тем или иным способом прочно привязанными к крепкому основанию денег наличных.

[260] Van der Wee H. *Anvers et les innovations de la technique financière aux XVI^e et XVII^e siècles.—«Annales E.S.C.»*, 1967, p. 1073.
[261] *Ibid.*, p. 1071.
[262] Van der Wee H. *Op. cit.*, p. 1073, note 5.

Антверпенское решение, вышедшее из практики брабантских ярмарок[261], было весьма простым: расчеты по дебету и кредиту производились *обязательствами, обязательственными расписками (cédules obligatoires)*, т. е. векселями. Купец, который их подписывал, обязывался выплатить такую или другую сумму в определенный срок, и векселя эти были на предъявителя. Желая получить кредит, я продаю тому, кто его примет, обязательство, которое подписал. *А* должен мне некую сумму, он подписал один из таких векселей, но я могу его передать *В*, каковому я должен эквивалентную сумму. Таким образом, долги и кредиты поступают на рынок, создавая дополнительное обращение, имеющее то преимущество, что оно тает, как снег на солнце. Долги и кредиты взаимно аннулируются — это чудеса сконтро *(scontro)*, клиринга *(clearing)*, компенсации, или, как говорили в Нидерландах, *rescontre*. Одна и та же бумага переходила из рук в руки вплоть до того момента, как она аннулируется, когда кредитор, который получает обязательство в уплату, оказывается первоначальным должником, это обязательство подписавшим[262]. Именно ради того, чтобы гарантировать такую игру индоссаментов, сделалась всеобщей *старинная* практика платежных распоряжений, которая устанавливала ответственность «уступающих обязательство кредиторов вплоть до последнего должника». Эта подробность имеет свое значение, и в конечном счете слово *assignation (пла-*



Число французских купцов, зарегистрированных в Антверпене с 1450 по 1585 г.
Оно варьировало в ходе движения, почти совпадавшего с движением антверпенской торговли. (По данным в кн.: Coornaert E. *Les Français et le commerce international à Anvers, II,* 1961.)

тежное распоряжение) возобладает во всеобщем употреблении над словом *cédule (обязательство)*. Один купец писал: «Я уплачу ассигнацией, как принято в нашем торговом обиходе»[263].

Но эти гарантии торговой практики, дополненные обращением к правосудию, были не главным. Главным была крайняя простота системы и ее эффективность. Ее простота: случалось, что векселя, включенные в антверпенские операции, трансформировались в обязательства на предъявителя и тогда переходили из рук в руки. Что же касается эффективности, то их обращение разрешало (не институционализируя ее) важнейшую проблему, незаметно возникавшую, присутствовавшую с самого начала обменов: проблему учета векселей, иначе говоря, цены времени, платы за его аренду. Дисконт, каким он установится в Англии в XVIII в.[264], был на самом деле возобновлением прежней практики. Ежели я покупаю или продаю обязательство, то обозначенная в тексте его величина не фиксирует ни его продажной, ни его покупной цены. Если я покупаю обязательство за наличные деньги, я оплачиваю его ниже его курса; если принимаю его в покрытие долга, то заставляю того, кто подписал обязательство, передать мне сумму, превышающую его кредит. Поскольку обязательство должно стоить ту сумму денег, что в нем оговорена на момент истечения срока, то по необходимости оно вначале стоит меньше, нежели при завершении [операции]. Короче говоря, речь идет тут о гибком режиме, который организуется сам по себе и распространяется вне традиционной системы векселя и банков. Заметим, что этот новый порядок имел хождение также в Руане, Лисабоне и определенно — в Лондоне, который в этом смысле будет наследовать Антверпену. Тогда как Амстердам и в начале своего успеха и на

[263] *Ibid.*, p. 1076.
[264] Roover R., de. *L'Evolution de la lettre de change, XIV^e—XVIII^e siècles.* 1953, p. 119.

протяжении его останется связан с традиционной системой векселей.

Велик может оказаться также и соблазн отнести в актив Антверпена прогресс первого *промышленного капитализма*, бывший очевидным в нем и в других активных городах Нидерландов. Именно это делает в вызывающей симпатию и полной страсти книге Тибор Виттман[265], но я опасаюсь, что он многим жертвует теоретическим правилам. Принес ли XVI в. новшества в этой области по сравнению с активностью Гента, Брюгге или Ипра, а особенно Флоренции, или Лукки, или Милана в предшествовавшие столетия? Я серьезно в этом сомневаюсь, даже если учитывать многочисленные постройки Антверпена, его ранний и опережавший другие города Европы урбанистический рост и если задержаться, вслед за Юго Соли, на таком необыкновенном дельце́, каким был Гильберт Ван Схонебекке. Получив около 1550 г. поручение построить городские стены, он организовал в некотором роде вертикально построенный трест, который поставил его во главе полутора десятков кирпичных заводов, громадных торфяных разработок, печей для обжига извести, лесных разработок, целой серии рабочих домов, что не мешало ему, работая по-крупному, обращаться и к предпринимателям-субподрядчикам. Он был самым крупным предпринимателем и получил наибольший профит от колоссальной перестройки Антверпена в период с 1542 по 1556 г. Но дает ли это нам право — а это соблазнительно — говорить о промышленном капитализме, о дополнительном цветке в венце Антверпена?

[265] Wittman T. *Les Gueux dans les «bonnes villes» de Flandre, 1577—1584.* Budapest, 1969.

ВЕРНЕМ ВЕКУ ГЕНУЭЗЦЕВ ЕГО МАСШТАБЫ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

«Век» Антверпена был *Веком Фуггеров*; следующее столетие будет *веком генуэзцев* — по правде говоря, не столетие, но семьдесят лет (1557 — 1627 гг.) столь незаметного и столь усложненного доминирования, что оно долгое время ускользало от внимания историков. Рихард Эренберг заподозрил его существование в давней, но все еще непревзойденной, несмотря на свой возраст, книге (1896 г.). Фелипе Руис Мартин недавно придал ему его истинные масштабы в своей книге «*Век генуэзцев» («El Siglo de los Genoveses»),* публикацию которой щепетильность ученого, его неутомимая охота за неизданными документами задержали до сего времени. Но я прочел рукопись этой из ряда вон выходящей книги.

Генуэзский опыт на протяжении трех четвертей столетия позволил купцам-банкирам Генуи посредством управления капиталами и кредитами стать распорядителями европейских платежей и расчетов. Он стоит того, чтобы быть изученным сам по себе; то был определенно самый любопытный пример объединения вокруг некоего центра и концентрации, какой являла до того времени история европейского мира-эконо-

мики, который вращался вокруг почти что нематериальной точки. Ибо не Генуя была душой комплекса, но горстка банкиров-финансистов (сегодня сказали бы «транснациональная компания»). И это было лишь одним из парадоксов странного города, каким была Генуя, находившаяся в таких неблагоприятных условиях и, однако же, стремившаяся и до и после «своего» века пролезть к вершинам деловой жизни всего мира. Как мне представляется, она всегда и по меркам любого времени была по преимуществу капиталистическим городом.

«ЗАВЕСА БЕСПЛОДНЫХ ГОР»

Генуя с двумя ее «ривьерами», Западной и Восточной,—это очень небольшое пространство. По словам одного французского доклада, генуэзцы «имеют примерно тридцать лье вдоль побережья, начиная с Монако до земель Массы, да семь или восемь лье равнины в сторону Миланской области. Остальное—это завеса бесплодных гор»[266]. На море каждому из устьев крохотных речушек, каждой бухточке соответствовали либо гавань, либо деревня, либо деревушка—во всяком случае, несколько виноградников, апельсиновых рощ, цветы, пальмовые рощи под открытым небом, превосходные вина (особенно в Табии и в *Чинкветерре*), высокого качества масло, в изобилии имевшееся в Онелье, в Марро, в Диано и в четырех долинах Вентимильи[267]. «Мало зерна, мало мяса, хоть все сие и самого высокого качества»,—заключал в 1592 г. Джованни Ботеро[268]. Для глаз и для обоняния—одна из прекраснейших стран в мире, рай. Приехать туда с Севера в конце зимы означало выбраться к живой воде, к цветам, к ликующей природе[269]. Но эти восхитительные места составляли всего лишь [узенькую] каемку, Апеннинский хребет, идущий на соединение с Альпами возле Ниццы, упорно выставляет свои «бесплодные» склоны, без леса, даже «без травы», и свои удивительные, высоко угнездившиеся бедные и отсталые деревни, где находились фьефы и вассалы-крестьяне генуэзской старой знати *(Nobili Vecchi)*, крестьяне, охотно бывавшие и головорезами[270]. Простой карниз вдоль стены, Генуя, так рано ставшая современной, опиралась, таким образом на «феодальные» горы—и то был один из многочисленных ее парадоксов.

В самом городе не хватало места, участков для строительства; пышные дворцы были обречены с отчаянным упрямством расти в высоту. Улицы были столь узки, что только Новая дорога *(Strada Nova)* и улица Бальби *(Via Balbi)* допускали проезд карет[271]; в остальной части города приходилось передвигаться пешком или в портшезе. Места не хватало также и за стенами города, в близлежащих долинах, где строилось столько вилл. На дороге к предместью Сан-Пьер-д'Арена при выезде из Кампо-Мароне, рассказывает один путешественник[272], «видишь дворец Дураццо, большое и богатое строение, каковое кажется превосходным среди полусотни других красивого вида дворцов». Полусотня: итак, даже в деревне правилом было

[266] B. N., Ms. Fr. 14666, f° 11 v°.
[267] Botero G. *Relationi universali.* 1599, p. 68.
[268] *Ibid.*
[269] Comtesse de Boigne. *Mémoires.* 1971, I, p. 305.
[270] Heers J. *Gênes au XV^e^ siècle.* 1961, p. 532.
[271] La Lande J., de. *Voyage d'un Français en Italie...*, 1769, VIII, p. 492—493.
[272] Comte d'Espinchal. *Voyages* (неопубликованная рукопись Клермон-Ферранской библиотеки), 1789.

жить дверь в дверь, локоть к локтю. За отсутствием места будут жить среди соседей. Тем более что нелегко было выбраться из таких крохотных уголков, настоящих носовых платков по размерам, но очень плохо друг с другом связанных. Чтобы призвать в Геную рассеянных по своим виллам дворян, ежели их присутствие было необходимо в Большом Совете, не было иного выхода, как отправить за ними одну из галер Республики![273] Да еще случалось, что на Генуэзском заливе устанавливалась и упорно держалась скверная погода. Проливные дожди, бурное и суровое море — то бывали адские дни и недели[274]. Никто тогда не выбирался из дома.

А в целом — плохо сконструированное, никогда не чувствовавшее себя непринужденно тело, страдавшее врожденной слабостью. Как себя прокормить? Как защититься от чужеземца? Рельеф местности, по видимости благоприятствующий обороне, делал город безоружным: в самом деле, нападающий, придя с Севера и преодолев горы, оказывался над городом. Когда на этих высотах появилась артиллерия, катастрофа была гарантирована заранее. Генуя будет беспрестанно уступать чужеземцу — под действием ли силы, добровольно ли или же из осторожности. Именно так сдалась она в 1396 г. королю Французскому[275], а затем, в 1463 г., — герцогу Миланскому[276]. Во всяком случае, иноземец господствовал здесь слишком часто, в то время как Венеция, неприступная за своими водными преградами, впервые покорилась только в 1797 г., уступив Бонапарту. Таким образом 30 мая 1522 г.[277] Геную захватили испанцы и их союзники — *Nobili Vecchi* — и город был подвергнут ужасающему разграблению, память о котором может затмить лишь разграбление Рима в 1527 г. Такая же драма произошла гораздо позднее, в сентябре 1746 г.; на сей раз это были сардинцы и австрийцы, без боя открывшие ворота Генуи, но зато обременившие чересчур богатый город реквизициями и поборами — то была современная версия военного грабежа[278]. Бесспорно, этих зарвавшихся победителей спустя три месяца изгнало мощное восстание генуэзского простонародья — энергичного и всегда скорого на руку[279]. Но итог еще раз оказался тяжким. Не защищаться, не иметь возможности защититься обходилось дорого: освобожденный город познал ужасающий кризис, эмиссия бумажных денег предопределила беспощадную инфляцию; пришлось восстановить в 1750 г. банк Сан-Джорджо *(Casa di San Giorgio)*, который был упразднен. В конечном счете все устроилось, как и полагается: Республика овладела положением и вышла из неприятностей не путем сверхлегкого налога, каким она обложила капитал (1%), но закрутив потуже гайки косвенного обложения предметов широкого потребления[280], что вполне соответствовало генуэзской практике: еще раз удар пришелся по беднякам, по многочисленным.

Столь же уязвима была Генуя и со стороны моря. Ее гавань выходит в открытое море, которое не принадлежит никому, а значит, принадлежит всем[281]. На Западной ривьере опорным пунктом враждебных действий долгое время оставалась Савона, желавшая остаться независимой, и даже лежащие дальше

[273] *Ibid.*
[274] *Ibid.*
[275] Vitale V. *Breviario della storia di Genova.* 1955, I, p. 148.
[276] *Ibid.*, p. 163.
[277] Braudel F. *Médit...*, I, p. 357, note 2.
[278] Vitale V. *Op. cit.*, I, p. 346.
[279] *Ibid.*, p. 349.
[280] *Ibid.*, p. 421.
[281] Groneuer H. *Op. cit.*, p. 218—260.



Генуэзский порт (1485 г.). Картина Кристофора Грасси.
Городской морской музей (Civico Museo navale) в Пельи (Генуя).
Мы видим расположенный амфитеатром город, его высокие дома, его укрепления, арсенал, маяк у входа в порт, галеры и громадные караки.



к западу Ницца и Марсель[282]. В XVI в. без конца появлялись варварийские пираты, которых южный ветер гнал вокруг Корсики и вдоль генуэзского побережья, оборона которого была организована плохо. Но была ли она вообще возможна? У Генуи не было на службе *Нашего моря (Mare Nostrum)*, каким была Адриатика на службе Венеции. Не было лагуны, которая защищала бы доступ к городу. В мае 1684 г. Людовик XIV приказал эскадре Дюкена бомбардировать его. Город на карнизе был идеальной мишенью. Повергнутые в ужас, «жители бегут в горы и оставляют свои обставленные полностью дома открытыми для грабежа»; воры воспользовались благоприятным случаем[283].

[282] Groneuer H. *Op. cit.*
[283] A. N., K 1355, 21 мая 1684 г.

ДЕЙСТВОВАТЬ ВДАЛЕКЕ, ВНЕ СВОИХ ПРЕДЕЛОВ

Повторим: слабость Генуи была врожденной. Город и его владения могли жить, лишь прибегая к помощи внешнего мира. У одних приходилось просить рыбу, пшеницу, соль, вино; у других — солонину, дрова, древесный уголь, сахар. И так далее. Как только средиземноморские барки, латинские суда с припасами *(bastimenti latini con viveri)* больше не приходят, как только суда Северной Европы — из Сен-Мало, английские или голландские — не доставляют вовремя свой груз *cibi quadragesimi,* т. е. сельдь или треску для дней поста, возникают трудности. Так, во время войны за Испанское наследство, когда полно было корсаров, потребовалось вмешательство государства, чтобы город не умер от голода. Консульская переписка сообщает: «Вчера в сей порт пришли две барки, каковые сия Генуэзская Республика снарядила, дабы эскортировать мелкие суда; они пришли от берегов Неаполя, Сицилии и Сардинии и привели караван из сорока барок или около того, из коих семнадцать гружены неаполитанским вином, десять — пшеницей Романьи, а прочие — разными съестными припасами, вроде неаполитанских каштанов, сыров, сушеных фиг, изюма, соли и иных товаров такого же рода»[284].

Правда, обычно проблемы снабжения разрешались сами собой: генуэзские деньги облегчали дело. Пшеница прибывала как бы сама по себе. Часто критиковали *Magistrato dell'Abbondanza* — род Зернового ведомства, каким располагала Генуя, как и многие другие города Италии, но которое не имело ни единого су дохода, ни единого джулио *(giulio)*, а «когда оно должно делать запасы, оно делает займы у граждан, дабы затем продавать пшеницу в розницу, да так дорого, что оно на том не может нести убыток... каковой в противном случае пал бы на богачей... Так что за счет сего бедняк несет ущерб, а богач скорее оттого жиреет»[285]. И снова то была генуэзская манера. Но если у *Abbondanza* не было ни запасов, ни бюджета, так это потому, что обычно купцы устраивали так, что зерно в городе изобиловало. Генуя была портом *перераспределения* зерновых наравне с Марселем, соли — наравне с Венецией и снабжалась из самых разных районов Средиземноморья.

[284] A. N., A. E., B[1] 529, 12 апреля 1710 г.
[285] B. N., Ms. Fr., 16073, f° 371.

АКРОБАТИЧЕСКАЯ ИГРА

То, что Генуе, население которой колебалось между 60 и 80 тыс. жителей и которая вместе со своими владениями объединяла немного больше или немного меньше полумиллиона человеческих существ, удавалось на протяжении веков решать трудную проблему своей повседневной жизни (исключая краткие и весьма тяжкие периоды тревоги),—это факт, но удавалось ей это ценою акробатических номеров.

Впрочем, разве не все у нее было акробатикой? Генуя производила, но для других; она занималась мореплаванием, но для других; она инвестировала, но у других. Еще в XVIII в. лишь половина генуэзских капиталов размещалась внутри города[286], остальные за отсутствием стоящего применения на месте странствовали по всему свету. Стесняющая география обрекала их на приключения. А тогда—как же обеспечить их безопасность и их выгоду в чужом доме? То было вечной проблемой Генуи; она жила и должна была жить настороже, будучи осуждена рисковать, но в то же время быть крайне осторожной. Отсюда сказочные успехи, отсюда же и катастрофические поражения. Крах генуэзских капиталовложений после 1789 г., и не только во Франции, был иллюстрацией тому, и не единственной. Кризисы 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647 гг.[287], имевшие на сей раз источником Испанию, были грозными предостережениями, почти что землетрясениями. Уже намного раньше, в 1256—1259 гг., генуэзские банки терпели крах[288].

Противовесом этим опасностям были (в самом сердце драматического капитализма) гибкость, проворство, постоянная готовность, *проницательность (apesanteur)* генуэзского делового человека—это полнейшее отсутствие инерции, которым восхищается в нем Роберто Лопес[289]. Генуя десятки раз меняла курс, всякий раз принимая необходимую метаморфозу. Организовать внешний мир, чтобы сохранить его для себя, затем забросить его, когда он стал непригоден для обитания или для использования; задумать другой, построить его—например, в конце XV в. оставить Восток ради Запада, Черное море ради Атлантического океана[290], а в XIX в. объединить Италию к своей выгоде[291]—такова была участь Генуи, неустойчивого организма, сверхчувствительного сейсмографа, который приходил в волнение, где бы ни пошевелился обширный мир. Чудовище ума и при случае твердости, разве не была Генуя осуждена на то, чтобы узурпировать весь мир либо не жить?

И так—с самого начала своей истории. Историки удивляются первым подвигам Генуи на море против мусульманского мира или же числу ее галер в XIII в. в сражениях с Пизой или с Венецией[292]. Но ведь в нужный момент на тесные военные корабли грузилось все активное население Генуи. Весь город мобилизовывался. Точно так же она очень рано, обладая несметной массой денег, обратит к своей выгоде драгоценные продукты—перец, пряности, шелк, золото, серебро; издали взломает двери и вклинится в кругообороты. Взгляните на победоносное водворение генуэзцев в Константинополе Палеологов (1261 г.) и на необузданные авантюры, в которые они тогда пу-

[286] Felloni G. *Gli Investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione*. 1971, p. 345.
[287] Braudel F. *Endet das «Jahrhundert der Genuesen» im Jahre 1627?—Mélanges Wilhelm Abel*, p. 455.
[288] Lopez R. S. *Studi sull'economia genovese nel Medio Evo*. 1936, p. 142 sq.
[289] В обычных своих разговорах и в одном из своих старых неопубликованных докладов.
[290] Braudel F. *Médit*..., I, p. 313.
[291] В соответствии с тезисом, часто выдвигаемым в лекциях Кармело Трасселли.
[292] Сопоставьте с текстом и примечаниями В. Витале (Vitale V. *Op. cit.*), см. прим. 275.

стились на Черном море[293]. Венеция последовала за ними, но запоздала. Два десятка лет спустя прибрала к рукам Сицилию после Сицилийской вечерни* (1283 г.)[294]. Флоренция приняла сторону анжуйцев, Генуя — арагонцев. Последние восторжествовали, вместе с ними восторжествовала и она. Но нужны пыл и эрудиция Кармело Трасселли, чтобы рассказать о тех днях, о проворстве, с каким генуэзцы обосновывались на Сицилии[295]. То, что они изгнали прочих «капиталистов», луккских и флорентийских, или по меньшей мере оттеснили их, что они устроились в Палермо не слишком далеко от гавани, а следовательно, и от Пьяцца Марина[296]; что они ссужали деньги вице-королям и крупным сеньерам, — все это довольно банально. Что менее обыденно, так это захват (у самого источника) экспорта сицилийского зерна, в то время как зерно это было необходимо для лежащего против острова африканского побережья мусульманского мира, где голод в ту пору был эндемичен, и получение в обмен на зерно золотого песка из Туниса или из Триполи, поступавшего сюда из глубин Тропической Африки. Так что отнюдь не случайно группы сеньериальных владений, которые Дориа покупали на Сицилии, были землями, производившими пшеницу и располагавшимися по главной оси, проходящей от Палермо до Агридженто[297]. Когда каталонские купцы попробовали выставить генуэзцев, было уже слишком поздно. К тому же именно генуэзцы организовали производство сицилийского сахара[298]. И опять-таки генуэзцы, опираясь на Мессину, будут господствовать на сицилийском и калабрийском шелковом рынке[299]. В начале XVIII в. генуэзские купцы и лавочники все еще пребывали на острове и все еще были заинтересованы в зерне и шелке[300]. Они даже соглашались при дефицитном балансе своих дел отправить на Сицилию «изрядные суммы в *дженовино (génovines)*, монетах из очень чистого серебра, «имеющих в Италии весьма большой спрос». Устарис удивлялся напрасно: терять с одной стороны, дабы выгадать больше с другой, — то был принцип, который Генуя практиковала всегда.

В XIII и XIV вв., невзирая на конкуренцию Венеции, а иной раз и благодаря ей, Генуя проникала повсюду в европейском мире-экономике, опережая других, оттесняя их. До наступления XIV в. она, опираясь на свою базу на Хиосе, разрабатывала месторождения квасцов в Фокее и торговала на Черном море; она посылала свои караки вплоть до Брюгге и Англии[301]. В XV—XVI вв. она мало-помалу потеряла Восток: в 1475 г. турки захватили Кафу, в 1566 г. — Хиос, но генуэзцы с начала XV в., следовательно намного раньше, обосновались в Северной Африке[302], в Севилье[303], Лисабоне[304], Брюгге; затем они окажутся в Антверпене. Не Кастилия выиграла Америку в лотерею, а Христофор Колумб. И вплоть до 1568 г. именно генуэзские купцы в Севилье финансировали медленно текущий обмен между Испанией и Америкой[305]. В 1557 г. перед ними открылось огромное дело, за которым они следили: денежные авансы правительству Филиппа II[306]. Они ухватились за эту возможность. И тогда началась новая ипостась их истории — *Век генуэзцев.*

[293] Lopez R. S. *Genova marinara del Duecento: Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante.* 1933, p. 154.
* Сицилийская вечерня — народное восстание, начавшееся в Палермо 31 марта 1282 г. и завершившееся ликвидацией власти Анжуйской династии над островом.— *Прим. перев.*
[294] Trasselli C. *Genovesi in Sicilia.— «Atti della Società ligure di storia patria»,* IX (LXXXIII), fasc. II, p. 158.
[295] *Ibid.*, p. 155—178.
[296] *Ibid.* (и согласно устным разъяснениям исследователя).
[297] *Ibid.*
[298] Trasselli C. *Sumario duma historia do açucar siciliano.— Do Tempo e da Historia.* II, 1968, p. 65—69.
[299] См. т. 2 настоящей работы, с. 419.
[300] Uztariz G., de. *Théorie et pratique du commerce et de la marine.* 1753, p. 52.
[301] Doehaerd R. *Les Relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont.* 1941, I, p. 89.
[302] Ricard R. *Op. cit.* (см. прим. 205).
[303] Carande R. *Sevilla fortaleza y mercado.— «Anuario de historia del derecho español»,* II, 1925, p. 33, 55 sq.
[304] Rau V. *A Family of Italian Merchants in Portugal in the XVth century: The Lomellini.— Studi in onore di Armando Sapori,* p. 717—726.
[305] Sayous A.-E. *Le rôle des Génois lors des premiers mouvements réguliers d'affaires entre l'Espagne et le Nouveau Monde.— «Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres»,* 1930.
[306] Ruiz Martín F. *Lettres marchandes...,* p. XXIX.

ГЕНУЯ НЕЗАМЕТНО ГОСПОДСТВУЕТ НАД ЕВРОПОЙ

Генуя, считавшаяся после кьоджийской неудачи «второй» и остававшаяся ею на протяжении XIV и XV вв., в 50—70-е годы XVI в. становится, таким образом, «первой» и остается таковой до периода 20—30-х годов века XVII[307]. Такая хронология остается неопределенной в том, что касается ее начальных отметок, из-за того, что сохранялось или казалось, что сохраняется, первенство Антверпена; а в том, что касается ее заключительного этапа—из-за того, что с 1585 г. наметился подъем Амстердама. Но главным образом потому, что с начала и до конца царствование Генуи проходило под знаком величайшей скрытности. Если я не слишком ошибаюсь в своем сравнении, то было нечто такое, что, при прочих равных, сегодня было бы сродни роли базельского Банка международных расчетов.

В самом деле, Генуя господствовала над миром не благодаря своим кораблям, своим мореходам, купцам, хозяевам промышленности, хотя она имела и купцов, и промышленность, и моряков, и корабли и хотя она могла бы в случае надобности сама строить—и очень хорошо строить—корабли на верфях Сан-Пьер-д'Арены и даже продавать их или сдавать внаем. Она столь же успешно сдавала в аренду свои галеры, прочные, высокого качества галеры, которые патриции города, охотно выступавшие кондотьерами (но в морских сражениях), ставили на службу государей: короля Французского, а затем КарлаV—после 1528 г. и «измены» Андреа Дориа, который, с одной стороны, оставил службу у Франциска I(прекратив блокаду Неаполя, который Лотрек осаждал с суши), а с другой, примкнул к делу императора[308].

Вот с этого далекого 1528 г. Карл V, хоть он находился в зависимости от аугсбургских купцов-банкиров, в особенности Фуггеров, давших ему средства для проведения его великодержавной политики, начал делать займы у генуэзцев[309]. И в 1557 г., когда испанское банкротство положило конец господству банкиров из Южной Германии, генуэзцы естественным образом заполнили пустоту, к тому же с немалым блеском и легкостью, ибо задолго до 1557 г. они были втянуты в сложную игру международных финансов (которую они еще больше усложнили)[310]. Главное в услугах, которые они будут оказывать Католическому королю, заключалось в том, чтобы обеспечить ему регулярные доходы, исходя из фискальных ресурсов и импорта американского белого металла, которые и то и другое были нерегулярными. Католический король, как и все государи, оплачивал свои расходы со дня на день и должен был перемещать значительные суммы на обширной арене Европы: приходовать в Севилье, но тратить регулярно в Антверпене или в Милане. Едва ли есть нужда задерживаться на этой схеме, хорошо известной сегодня историкам[311].

С годами генуэзские купцы оказались захвачены этим все расширявшимся делом. Доходы, но также и траты Католического короля (а следовательно, и прибыли генуэзцев) непрестанно возрастали. Несомненно, генуэзцы авансировали ко-

[307] *Ibid.*
[308] Braudel F. *Médit...*, I, p. 310.
[309] Braudel F. *Les emprunts de Charles Quint sur la place d'Anvers*, p. 192.
[310] Carande R. *Op. cit.*
[311] Lapeyre H. *Simón Ruiz et les asientos de Philippe II*. 1953, p. 14 sq.

роля деньгами, которые помещали у них заимодавцы и вкладчики Испании или Италии[312]. Но в эти операции включался и весь их капитал, поддававшийся мобилизации. Не имея возможности делать все, они, как мы увидим, в 1568 г.[313] утратят интерес к финансированию торговых операций между Севильей и Америкой и не станут более вмешиваться в такой степени, как в прошлом, в закупку шерсти в Сеговии, или шелка

[312] Braudel F. *Médit...*, I, p. 315.
[313] Ruiz Martín F. *Lettres marchandes...*, p. XXXVIII.



Гигантские корабли в Генуэзском порту в XV в. Деталь картины, воспроизведенной на с. 158—159.

в Гранаде, или квасцов в Масарроне. Таким образом, они решительно перешли от товара к финансовым операциям. И ежели им поверить, то они едва зарабатывали себе на жизнь на этих грандиозных, по видимости, операциях. Займы предоставлялись королю обыкновенно из 10%, но, как утверждали они, бывали и затраты, и неудачи, и задержки с возмещением. Это бесспорно. Тем не менее, если верить секретарям, служившим Католическому королю, заимодавцы зарабатывали до 30%[314]. Вероятно, ни те, ни другие не говорят правды. Но очевидно, что игра приносила генуэзцам плоды одновременно и на процентах, и на процентах с процентов, и на махинациях, которые позволяло движение курса, и на покупке и продаже золотых и серебряных монет, и на спекуляциях с *хурос (juros)*, и на дополнительной прибыли в 10%, которую в Генуе извлекали просто из продажи белого металла[315], — все это с трудом поддается исчислению, да к тому же было переменчиво, но значительно. А сверх того, учитывая громадность сумм, авансированных

[314] Doria G. *Un quadriennio critico: 1575—1578. Contrasti e nuovi orientamenti nella società genovese nel quadro della crisi finanziaria spagnola.— Mélanges Franco Borlandi.* 1977, p. 382.
[315] Сообщение Джорджо Дориа, машинописный текст. Коллоквиум в Мадриде, 1977 г.

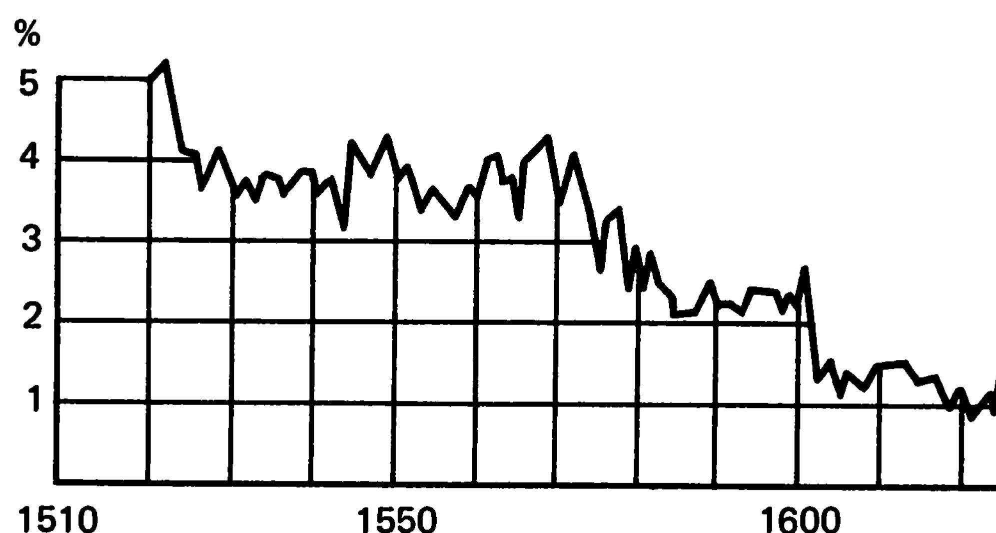
купцами (и которые, опять-таки, далеко превосходили их собственный капитал), доходы в любом случае были огромны, даже если общая норма прибыли была скромной.

Наконец, политическое серебро Испании было лишь одним из потоков среди других потоков, которые он вызывал или влек за собой. Галеры, груженные ящиками реалов или слитками серебра и приходившие в Геную в сказочном количестве, начиная с 70-х годов XVI в. были бесспорным орудием господства. Они делали из Генуи распорядителя всего богатства Европы. Конечно же, генуэзцам удавалось не все, не всякий раз они выигрывали. Но в конечном счете судить об этих выдающихся деловых людях и объяснять их следует в долговременном плане и во всей целостности их опыта. В действительности их богатством в XVI в. были не золото и не серебро, а «возможность мобилизовать кредит», играть в эту трудную игру на основе превосходящего [другие] плана. Это.именно то, что все лучше и лучше показывают относящиеся к ним документы, богатые серии которых становятся наконец доступными, еще более усложняя и уточняя наши объяснения.

ПРИЧИНЫ ГЕНУЭЗСКОГО УСПЕХА

Как объяснить этот генуэзский триумф? Прежде всего — гипотезой. Между 1540 и 1560 гг. (даты приблизительные) Европа была потрясена более или менее ясно выраженным кризисом, который делит XVI в. надвое: Франция Генриха II — это уже не залитая солнцем Франция Франциска I; елизаветинская Англия — это уже не Англия Генриха VIII... Этот ли кризис положил конец Веку Фуггеров — да или нет? Я склонен был бы ответить «да», не имея возможности это доказать. Не будет ли естественным вписать в число последствий этого спада финансовые кризисы 1557 и 1558 гг.?

Во всяком случае, достоверно, что тогда произошло нарушение старинного денежного равновесия. Вплоть до 1550 г. белый металл, относительно редкий, имел тенденцию расти в цене относительно металла желтого, бывшего со своей стороны *относительно* обильным. И именно белый металл, серебро, был тогда орудием в крупных делах (разве без этого был бы возможен Век Фуггеров?), служившим средством сохранения стоимости. Но еще до 1550 г. наступило повышение цены золота, которое в свою очередь становилось относительно редким. Кто же не заметит в таких условиях важность решений ге-



Чрезмерное обилие капиталов в Генуе с 1510 по 1625 г. Кривая реального процента на *luoghi* (постоянные рентные обязательства на банк Каза ди Сан-Джорджо с изменяющимся процентом), вычисленная в работе Карло Чиполлы (Cipolla C. *Note sulla storia del saggio d'interesse...— Economia Internazionale*, 1952). Падение процента было таково, что в начале XVII в. он снизился до 1,2% (более подробные объяснения см. в кн.: Braudel F. *Médit..., II* p. 45).

[316] Spooner F. C. *L'Économie mondiale et les frappes monétaires en France 1493—1680*. 1956, p. 13 sq.
[317] Ruiz Martín F. *Lettres marchandes...*, p. XLIV.
[318] Ruiz Martíne F. *Op. cit.*, p. XXXII.
[319] *Ibid.*, p. XXX—XXXI.
[320] Braudel F. *Médit...*, I, p. 457.
[321] Этим ордонансом был создан эскудо *(escudo)*, золотой экю, занявший место гранадской *excellenta*. Ср. Braudel F. *Médit...*, I, p. 429 et note 5.
[322] Pirenne H. *Histoire de Belgique*. IV, 1927, p. 78.
[323] Braudel F. *Médit...*, I, p. 458—461.

нуэзцев, которые, по словам Фрэнка Спунера[316], около 1553—1554 гг. были на антверпенском рынке первыми, кто сделал ставку на золото? А затем — не будут ли они более других в состоянии контролировать кругообороты золота, выполняя платежи в Антверпене за Католического короля, коль скоро желтый металл требовался для оплаты векселей?[317] Нашли ли мы «хорошее» объяснение?

Я немного сомневаюсь в этом, хотя и принадлежу к тем, кто ретроспективно многое относит за счет ума или чутья генуэзцев. Но такого рода успех в принципе не имеет будущего. Он не может слишком долго оставаться привилегией купцов, более дальновидных, чем другие.

Действительно, игра генуэзцев была многообразной и одерживала верх за счет самого этого многообразия: она касалась белого металла, желтого металла и векселей. Требовалось не только чтобы генуэзцы захватывали белый металл благодаря *выходам серебра (sacas de plata)*[318], каковые предусматривали к их выгоде их контракты *(asientos)* с королем, или благодаря контрабанде, издавна ими организовываемой через Севилью[319], требовалось также, чтобы генуэзцы продавали этот металл. Возможны были два покупателя: либо португальцы, либо итальянские города, обращенные в сторону Леванта, Венеции и Флоренции. Эти последние были покупателями приоритетными, и именно в меру их закупок серебра заново расцвела левантинская торговля, пряности и перец вновь стали изобиловать в Алеппо или в Каире, а транзит шелка приобрел громадное значение в торговле портов Леванта. Серебро это Венеция и Флоренция покупали за векселя на страны Северной Европы, с которыми их торговый баланс был положительным[320]. И именно таким образом генуэзцы могли производить свои трансферты на Антверпен, который, даже когда дни его величия уже прошли, оставался местом выплат для испанской армии, несколько загнившим рынком, как загнивал Сайгон от торговли пиастрами. В конечном счете векселя с момента издания ордонанса Карла V в 1537 г.[321] могли оплачиваться только в золоте, серебро, уступленное генуэзцами итальянским городам, превращалось в золотую монету, подлежащую выплате в Нидерландах. К тому же золото оставалось лучшим оружием генуэзцев для контроля над их тройной системой. Когда в 1575 г. Католический король решил обойтись без их услуг и начал свирепствовать против них, генуэзцам удалось блокировать кругообороты золота. Испанские войска, не получая жалованья, взбунтовались, и произошло разграбление Антверпена в ноябре 1576 г.[322] Королю в конечном счете пришлось уступить.

Если сопоставить все эти факты, напрашивается вывод: богатство Генуи опиралось на американские богатства Испании и на само богатство Италии, использовавшееся в широких масштабах. Посредством могущественной системы пьяченцских ярмарок[323] происходил отток капиталов итальянских городов в Геную. И толпы мелких заимодавцев, генуэзских и прочих, доверяли банкирам свои сбережения за скромное вознаграждение. Таким образом, существовала постоянная связь между испанскими финансами и экономикой итальянского полуостро-

ва. Отсюда и «завихрения», которые всякий раз будут следовать за мадридскими банкротствами: банкротство 1595 г.[324] получило отзвук и очень дорого обошлось венецианским вкладчикам и заимодавцам[325]. В то же время в самой Венеции генуэзцы, бывшие хозяевами белого металла, который они доставляли монетному двору *(Zecca)* в огромных количествах[326], захватили контроль над курсом и над морским страхованием[327]. Любое углубленное исследование в других активных городах Италии, вероятно, привело бы к более или менее аналогичным выводам. На самом деле игра генуэзцев была возможна, я осмелюсь сказать, легка постольку, поскольку Италия сохраняла свою активность на должной высоте. Как Италия, желая или не желая того, поддерживала Венецию в XIV и XV вв., так она поддерживала и Геную в XVI в. Как только Италия стала ослабевать, прощайте торжества и встречи почти что за закрытыми дверями на пьяченцских ярмарках!

За успехами банкиров стоял сам город Генуя, и это не следует забывать. Когда начинают разбирать поразительную механику, которую создали генуэзцы, как бы обнаруживается тенденция смешивать Геную с ее крупными банкирами, жившими зачастую в Мадриде, бывавшими там при дворе, ведшими там крупную игру, советниками и сотрудниками короля, которые жили своим кругом посреди злобы и склок, сочетались между собой брачными узами и защищали себя, выступая как один человек всякий раз, как испанец угрожал им или когда недовольство ими выражали компаньоны, остававшиеся в Генуе и намеченные в качестве жертв ответных ударов. Открытие Франко Борланди и его учениками неизданной переписки этих деловых людей прольет, будем надеяться, свет на те вещи, которые нам еще не известны. Но в конце-то концов, эти *hombres de negocios,* как называли их в Мадриде, были очень немногочисленны — два, самое большее три десятка человек. Рядом с ними, ниже их надлежит вообразить сотни, даже тысячи генуэзских купцов разного масштаба, простых приказчиков, лавочников, посредников, комиссионеров. Они населяли свой город и все города Италии и Сицилии. Они пустили глубокие корни в Испании, на всех этажах экономики, в Севилье, как и в Гранаде. Говорить о купеческом государстве в государстве было бы слишком. Но это была система, внедрившаяся с XV в., и система, которая будет долговечной: в конце XVIII в. генуэзцы в Кадисе имели объемы дел, сопоставимые с торговлей английской, или голландской, или французской купеческих колоний[328]. Этой истиной слишком часто пренебрегали.

Такое завоевание чужого экономического пространства всегда было условием величия для какого-либо города, не имевшего равных и стремившегося, даже не сознавая этого ясно, господствовать в обширной системе. То было явление почти что банальное в своей повторяемости: такова Венеция, проникающая в византийское пространство; такова Генуя, которой удалось проникнуть в Испанию, или Флоренция — в королевстве Французском, а некогда — в королевстве Английском; такова Голландия во Франции Людовика XIV; такова была Англия в мире Индии...

[324] *Ibid.*, I, p. 463, 464; Ruiz Martín F. *El Siglo de los Genoveses.*
[325] Braudel F. *La vita economica di Venezia nel secolo XVI.— La Civiltà veneziana del Rinascimento,* p. 101.
[326] Braudel F. *Op. cit.*
[327] Braudel F. *Médit...*, I, p. 295 et note 1, p. 457 et note 1.
[328] См. главу 1 настоящего тома, прим. 48.

ОТСТУПЛЕНИЕ ГЕНУИ

Строительство за пределами своего дома таит в себе риск: успех обычно бывает временным. Господство генуэзцев в испанских финансах, а через них — и в финансах всей Европы продлится немногим более шестидесяти лет.

Однако испанское банкротство 1627 г. не повлекло за собой, как то полагали, финансового крушения генуэзских банкиров. Для них речь шла отчасти о добровольном уходе. В самом деле, они были мало расположены продолжать оказывать свои услуги мадридскому правительству, ожидая в перспективе новые банкротства, которые угрожали их прибылям и в не меньшей степени их капиталам. Изъять свои фонды настолько быстро, насколько позволяли это трудные обстоятельства, переместить их в другие финансовые операции — такова была программа, реализованная по воле конъюнктуры. Именно в таком духе развертывается аргументация статьи, которую я недавно написал по материалам подробной переписки венецианских консулов в Генуе[329].

Но, как часто бывает, одного-единственного объяснения было бы недостаточно. Следовало бы лучше знать положение генуэзских заимодавцев в самой Испании и по отношению к их португальским соперникам, которые тогда взяли на себя руководство финансами Католического короля. Восторжествовали ли последние в силу решений графа и герцога Оливареса? Благоприятствовала ли им конъюнктура на Атлантическом океане? Подозревали, что они были подставными лицами голландских капиталистов,— обвинение, впрочем, правдоподобное, но его надо было бы еще доказать. Во всяком случае, мир, подписанный в 1630 г. английским правительством Карла I с Испанией, имел довольно любопытные последствия[330]. Ведший переговоры об этом мире сэр Фрэнсис Коттингтон снабдил его дополнительным соглашением, предусматривавшим ни более ни менее как перевозку английскими кораблями испанского серебра, направляемого в Нидерланды. Треть этой массы серебра между 1630 и 1643 гг. будет перечеканена в монету в мастерских лондонского Тауэра. Следовательно, река испанского серебра в течение ряда лет добиралась на Север уже благодаря английскому, а не генуэзскому посредничеству.

Это ли было причиною ухода генуэзцев? Не обязательно, принимая во внимание позднюю дату этого соглашения — 1630 г. Более вероятно, хотя это никоим образом не доказано, что уход генуэзцев предопределил такое любопытное решение. Что достоверно, так это то, что Испания отчаянно нуждалась в *надежной* системе для перевозки своих капиталов. На смену «генуэзскому» решению, которое заключалось в трансферте фондов по векселям, решению изящному, но предполагавшему господство над международной сетью платежей, пришло простое решение привлечь в качестве перевозчиков как раз тех, чьих нападений на море, военных действий и пиратства опасались. И верх иронии: начиная с 1647 г. или 1648 г. испанское серебро, необходимое для управления и обороны Южных Нидерландов, будет перевозиться даже не английскими, а голландскими ко-

329 Braudel F. *Endet das «Jahrhundert...»*, p. 455—468.
330 Feavearyear A. E. *The Pound Sterling*. 1931, p. 82—83.

раблями, может быть, даже еще до того, как Соединенными Провинциями был подписан в январе 1648 г. сепаратный Мюнстерский мирный договор[331]. В нужном случае протестанты и католики могли договориться: деньги уже не пахли.

[331] A. E., M. et D. Hollande, 122, f° 248 (mémoire d'Aitzema, 1647).

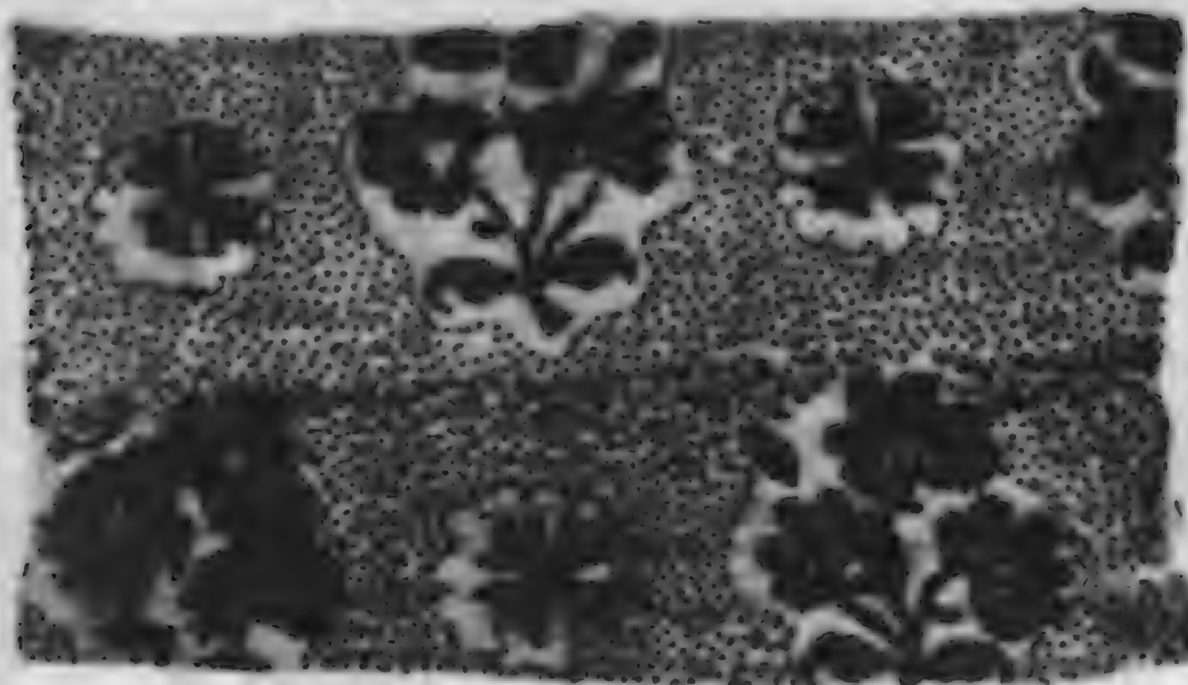
ВЫЖИВАНИЕ ГЕНУИ

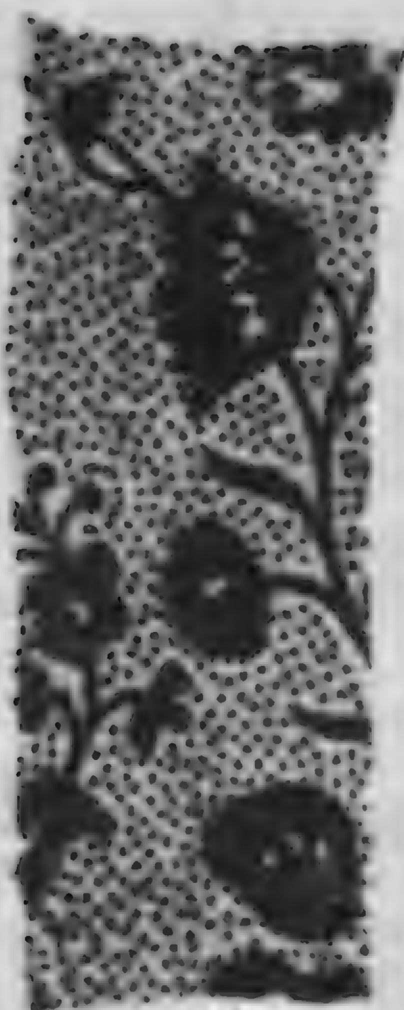
Возвращаясь к Генуе, невозможно отрицать, что уход состоялся. По-видимому, держатели асьенто *(asientistas)* спасли значительную часть своих капиталов, невзирая на довольно тяжелые, определенно внушающие тревогу условия испанского банкротства 1627 г. и ряд затруднений, которые чинили им в Испании, в Ломбардии, как и в Неаполе. Успех таких изъятий устанавливается, я полагаю, по поступлениям в Геную «восьмерных монет», объем которых можно примерно восстановить год за годом[332]: они продолжались, значительные, порой массовые, после 1627 г. К тому же Генуя осталась подключенной к потокам белого металла, начинавшимся в Америке. Какими путями? Вне всякого сомнения, торговыми — через Севилью, а потом через Кадис. Ибо генуэзская торговая сеть в Андалусии сохранилась, обеспечивая связи с Америкой. С другой стороны, после появления на сцене других заимодавцев — португальских марранов — генуэзские участники *(partitanti)* не раз соглашались играть игру заново. Например, в 1630, 1647 или 1660 гг.[333] Если они в нее включались вновь, то не потому ли, что поступления белого металла в Севилью, а затем в Кадис были тогда более обильны, нежели о том сообщают официальные цифры[334]. Из-за этого займы для Испании снова становились более привлекательными, даже выгодными. И они давали возросшую возможность участвовать в огромной контрабанде белого металла, которая питала Европу. Генуэзцы не упустили такой случай.

Чтобы получить доступ к испанскому источнику, Генуя располагала также экспортом производимых ею изделий. В самом деле, она больше Венеции участвовала в европейском промышленном подъеме XVII — XVIII вв. и старалась приспособить свое производство к спросу кадисского и лисабонского рынков, чтобы добраться к золоту на последнем и к серебру — на первом из них. Еще в 1786 г. Испания импортировала много генуэзских тканей, «и имеются даже особые изделия на испанский вкус; к примеру, большие штуки шелка... усеянного мелкими цветами... и густо расшитого с одного конца большими полувыпуклыми цветами... Сии ткани предназначены для праздничных платьев; есть среди них великолепные и весьма дорогие»[335]. Равным образом значительная часть продукции бумажных фабрик в Вольтри, около Генуи, «предназначается для Индий, где ее используют как курительный табак *(sic!)*»[336]. Таким образом, Генуя старательно защищалась от конкуренции Милана, Нима, Марселя или Каталонии.

Следовательно, политика генуэзских купцов предстает разнообразной, прерывистой, но гибкой, способной приспосабливаться, как всякая уважающая себя капиталистическая полити-

[332] Da Silva J. G. *Banque et crédit en Italie au XVII^{e} siècle.* 1969, I, p. 171.
[333] Braudel F. *Endet das «Jahrhundert...»*, p. 461.
[334] Morineau M. *Gazettes hollandaises et trésors américains. — «Anuario de Historia económica y social»*, 1969, p. 289—361.
[335] La Lande J., de. *Voyage en Italie...*, IX, p. 362.
[336] La Lande J., de. *Op. cit.*, p. 367.







Образцы генуэзских ситцев (1698—1700 гг.).

ка. В XV в. они сумели обосноваться на пути золота между Северной Африкой и Сицилией, в XVI в. — овладеть через Испанию частью белого металла американских рудников; в XVII в. — вновь увеличить торговую эксплуатацию ценой экспорта готовых изделий. И во все периоды заниматься бан-

ковскими и финансовыми делами в зависимости от обстоятельств момента.

В самом деле, после 1627 г. финансисты не остались без работы. Так как испанское правительство более не поддавалось прежней эксплуатации, генуэзские капиталы искали и нашли других клиентов: города, князей, государства, простых предпринимателей или частных лиц. Разобраться в этом позволяет недавняя книга Джузеппе Феллони[337]. Еще до разрыва в 1627 г. генуэзский капитал начал «колоссальное и радикальное перераспределение [своих] финансовых обязательств»[338]. С 1617 г. генуэзцы стали вкладывать капиталы в венецианские фондовые ценности. В Риме, где они вытеснили с XVI в. флорентийских банкиров, они участвовали в возобновлении папских займов во время создания в 1656 г. [банка] *Монте Оро (Monte Oro)*, первыми подписчиками на фонды которого были исключительно генуэзцы[339]. Первые помещения капитала во Франции относятся ко времени между 1664 и 1673 гг.[340] В XVIII в. их инвестиции распространились на Австрию, Баварию, Швецию, австрийскую Ломбардию, на такие города, как Лион, Турин, Седан...[341] Как в Амстердаме или в Женеве и с использованием той же политики посредников и комиссионеров, «промышленность» займов — такая, как о ней рассказывают «рукописные новости» и газеты, — заняла в Генуе место в повседневной жизни. «В прошлую пятницу, — записывал в 1743 г. один французский агент, — в Милан [который в то время принадлежал австрийцам] отправили на нескольких колясках с доброю охраной 450 тыс. флоринов, кои частные лица сего города ссудили королеве Венгерской [Марии-Терезии] под залог драгоценностей, о каковых уже была речь»[342].

И объем капиталов, помещенных за границей, постепенно возрастал, как если бы старинная машина воспользовалась для ускорения своего движения скоростью XVIII в.; в миллионах банковских лир *(lire di banco)* (цифры округлены) он составил: 271 в 1725 г.; 306 в 1745 г.; 332 в 1765 г.; 342 в 1785 г.; при годовом доходе, выросшем с 7,7 млн. в 1725 г. до 11,5 млн. в 1785 г. Банковская лира, бывшая в Генуе расчетной монетой, с 1675 по 1793 г. соответствовала, не изменяясь, 0,328 *г* золота. Но к чему вести расчеты в тоннах золота? Лучше будет коротко сказать, что доход генуэзских заимодавцев в 1785 г. равнялся более чем половине приближенно подсчитанного валового дохода Генуи[343].

Но как же интересно, что при новом расширении своих капиталовложений Генуя оставалась верна географическим рамкам былого своего великолепия! В противоположность капиталу голландскому и женевскому генуэзский капитал не завоевывал Англию, в то время как во Франции генуэзцы вкладывали свои капиталы широко (35 млн. турских ливров накануне Революции). Не происходило ли это оттого, что на Севере [Европы] католическая Генуя натолкнулась на сети протестантских банков? Или же скорее по причине старинных привычек, которые в конечном счете ограничивали мысль и воображение генуэзских деловых людей?[344]

В любом случае такой выбор привел генуэзский капитал

[337] Felloni G. *Gli Investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione*. 1971.
[338] *Ibid.*, p. 472.
[339] Felloni G. *Op. cit.*, p. 168, note 30.
[340] *Ibid.*, p. 249.
[341] *Ibid.*, p. 392, 429, 453.
[342] B.N., Ms. Fr. 14671, f° 17, 6 марта 1743 г.
[343] Felloni G. *Op. cit.*, p. 477.
[344] Ибо Генуя допустила протестантских купцов обосноваться у себя.

к краху вместе с бесчисленными катастрофами, под тяжестью которых рухнул Старый порядок. Но в следующем веке Генуя вновь окажется в роли самого оживленного двигателя [развития] полуострова. При возникновении парового судоходства и во времена Рисорджименто она создаст промышленность, сильный современный флот, и «Банко д'Италиа» в значительной мере будет делом ее рук. Итальянский историк сказал: «Генуя создала итальянское единство» — и добавил: «к своей выгоде»[345].

[345] Эти слова принадлежат Кармело Трасселли.

И ВОЗВРАЩАЯСЬ К МИРУ-ЭКОНОМИКЕ

Но реконверсия, а вернее, последовательные реконверсии генуэзского капитализма не привели Геную в центр мира-экономики. Ее «век» на международной арене закончился еще в 1627 г., может быть, в 1622 г., когда пришли в упадок пьяченцские ярмарки[346]. Если проследить хронику этого решающего года, создается впечатление, что венецианцы, миланцы и флорентийцы отмежевались от генуэзских банкиров. Быть может, они не могли сохранять свое сотрудничество с городом св. Георгия, не подвергая себя опасности? Быть может, Италия не была более способна оплачивать цену генуэзского первенства? Но, вне сомнения, и вся европейская экономика не в состоянии была выдерживать обращение бумажных денег, несоразмерное массе звонкой монеты и объему производства. Генуэзская конструкция, слишком усложненная и амбициозная для экономики Старого порядка, развалилась, отчасти сама собой, при европейском кризисе XVII в. Тем более что Европа тогда «качнулась» в сторону Севера, и на этот раз — на столетия. Характерно, что, в то время как генуэзцы, перестав играть роль финансовых арбитров Европы, перестали находиться и в центре мира-экономики, смену караула обеспечил Амстердам, недавнее богатство которого было построено (и это еще одно знамение времени) на товаре. Для него тоже наступит час финансовой деятельности, но позднее, и довольно любопытно, что это заново поставит те же самые проблемы, с какими встретился генуэзский опыт.

[346] Da Silva J. G. *Op. cit.*, p. 55—56.

Глава 3

СТАРИННЫЕ ЭКОНОМИКИ С ДОМИНИРУЮЩИМ ГОРОДСКИМ ЦЕНТРОМ В ЕВРОПЕ: АМСТЕРДАМ

С Амстердамом[1] заканчивается эра городов с имперскими структурой и призванием. «То был последний раз,— писала Вайолет Барбур,— когда настоящая империя торговли и кредита существовала без поддержки современного объединенного государства»[2]. Интерес этого опыта состоит, следовательно, в его расположении между двумя сменившими друг друга фазами экономической гегемонии: с одной стороны, города́, с другой — современные государства, национальные экономики, имевшие в качестве отправной точки Лондон, опиравшийся на Англию. В центре Европы, кичащейся своими успехами и к концу XVIII в. обнаруживавшей тенденцию сделаться всем миром, господствовавшая зона должна была расти, чтобы уравновесить целое. Одни или почти одни города, недостаточно опиравшиеся на близлежащую экономику, которая их усиливала, вскоре не будут иметь достаточного веса. Эстафету примут территориальные государства.

Возвышение Амстердама, продолжившее старинную ситуацию, совершилось, что довольно логично, по старым правилам: один город стал преемником других, Антверпена и Генуи. Но в то же самое время Северная Европа вновь обрела преимущество над Южной, на этот раз окончательно. Так что Амстердам сменил не один только Антверпен, как это столь часто утверждают, но Средиземноморье, еще преобладавшее во время генуэзской интермедии[3]. Место богатейшего моря, украшенного всеми дарами и преимуществами, занял океан, долгое время бывший пролетарием, все еще плохо используемым, океан, которому до сего времени международное разделение задач отводило самые тяжелые и наименее доходные работы. Отступление генуэзского капитализма, а за ним — Италии, подвергшейся атакам разом со всех сторон, открыло дорогу торжеству мореплавателей и купцов Северной Европы.

Победа эта, однако, свершилась не в один день. Так же, как и упадок Средиземноморья и самой Италии, происходивший последовательными этапами, которые медленно добавлялись один к другому. С наступлением 70-х годов XVI в. английские корабли стали вновь проникать во Внутреннее море. С наступлением 90-х годов пришла очередь кораблей голландских. Но

[1] По всей этой главе слово «Голландия» в силу распространенного дурного обычая будет часто употребляться для обозначения всех Соединенных Провинций.
[2] Barbour V. *Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century*. 1963, p. 13.
[3] См. выше, с. 155.

средиземноморские нефы, саэты, марсилианы или карамусалы от этого не исчезли. Чтобы вторжение северных перевозчиков приносило плоды, требовалось, чтобы перевалочные пункты Северной Африки, порты Ливорно и Анконы, левантинские гавани были открыты для них и освоены, чтобы богатые города Средиземноморья приняли услуги вновь пришедших, согласились их фрахтовать. Потребовалось также, чтобы англичане заключили свои *капитуляции* с Великим Государем* в 1579 г. (что нидерландцы проделают лишь в 1612 г.). А сверх того нужно было, чтобы сукна, холсты и прочие промышленные изделия Севера проникли на средиземноморские рынки, изгнали с них традиционно там присутствовавшие местные продукты[4]. Еще в начале XVII в. Венеция с ее высококачественными сукнами господствовала на левантинском рынке. Значит, необходимо было занять место Венеции и других городов. И наконец, добиться, чтобы мало-помалу ослабла гегемония генуэзского кредита. Именно эти процессы, более или менее быстрые, предполагал подъем Амстердама, который, в отличие от Антверпена, больше уже не вернет первенства экономикам Внутреннего моря.

* Имеется в виду турецкий султан. Капитуляции — неравноправные договоры, предоставлявшие европейским купцам особые привилегии. — *Прим. перев.*

[4] Rapp R.T.— *«Journal of Economic History»,* september 1975.



Генеральные Штаты Соединенных Провинций, собравшиеся в Амстердаме в 1651 г. с соблюдением всего церемониала, присущего суверенному государству.

СОЕДИНЕННЫЕ ПРОВИНЦИИ У СЕБЯ ДОМА

Современники почти ничего в этом не поняли. Будучи, как всегда, невнимательны к длительным предшествующим процессам, они внезапно обнаружили величие Нидерландов, когда оно уже было достигнуто и ослепляло. Сразу никто не мог понять внезапный успех, блистательный взлет, неожиданное могущество столь малой страны, в некотором роде совершенно новой. И всякий говорил о «приводящей в изумление» легкости, о «секрете», о голландском «чуде».

НИЧТОЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, БЕДНАЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Соединенные Провинции — всего лишь крохотная территория, не бóльшая, чем королевство Галисия, скажет в 1724 г. один испанец[5]; меньше половины Девоншира, повторит гораздо позже Тюрго[6] вслед за англичанином Такером. «Весьма малая страна, — пояснял уже посол Людовика XIV в 1699 г., — занятая со стороны моря бесплодными дюнами, подверженная с сей стороны, как равно и со стороны рек и каналов, коими она пересечена, частым наводнениям и пригодная разве что для пастбищ, каковые составляют единственное богатство страны. Того, что произрастает там, пшеницы и прочих зерновых, недостаточно, чтобы прокормить сотую долю ее жителей»[7]. «Даже для того, чтобы прокормить своих петухов и кур», — иронизировал Дефо[8]. «Все, что производит Голландия, — утверждал в 1697 г. другой информатор, — это сливочное масло, сыр и земля, пригодная для изготовления посуды»[9]. Очень серьезный испанский экономист Устарис пояснял в 1724 г.: «Половина сей страны состоит из воды или из земель, кои ничего не могут произвести, и ежегодно возделывается только четверть [земель]; так что некоторые писатели утверждают, будто урожая сей страны едва хватает для покрытия четверти ее потребления»[10]. «Голландия — страна неблагодарная, — заходит еще дальше автор одного письма, относящегося к 1738 г. — Это земля, плавающая на воде, и луг, затопленный три четверти года. Сия земля столь крохотна и столь ограниченна, что не смогла бы прокормить и пятую часть своих обитателей»[11]. Аккариас де Серионн, могущий быть хорошим судьей в этих вопросах, без колебания утверждал в 1766 г., что Голландия (понимай: Соединенные Провинции) «никогда не располагала чем накормить и во что одеть четверть своих подданных»[12]. Короче говоря, страна бедная: мало пшеницы (и невысокого качества), мало ржи, мало овса, мало овец, нет виноградников, разве что иной раз на укрытой от непогоды стене деревенского дома или в саду, и никаких деревьев, если только не возле амстердамских каналов или вокруг деревень. Зато — луга, много лугов, которые «к концу октября, а иногда ноября начинают покрываться водами, каковые вздымаются ветрами, бурями и по-

[5] Uztáriz G., de. *Théorie et pratique du commerce et de la marine.* 1753, p. 97. Напомним, что площадь Соединенных Провинций была порядка 34 тыс. кв. км.
[6] Turgot. *Œuvres complètes,* I, p. 455. Джозайа Такер (1712—1799) — английский экономист, труд которого Тюрго перевел под названием «*Les Questions importantes sur le commerce*».
[7] A.N., K 1349, 132, f° 20.
[8] Defoe D. *The Complete English Tradesman...,* 1745, II, p. 260 (согласно тому, говорит он, «что пишет надежный автор», но не уточняет какой).
[9] A.N., Marine, B[7], 463, f° 30.
[10] Uztariz G., de. *Op. cit.,* p. 98.
[11] Argens J.-B., d'. *Lettres juives.* 1738, III, p. 192.
[12] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts des nations de l'Europe développés relativement au commerce.* 1766, I, p. 44.

стоянными дождями... Так что во множестве мест усматриваешь лишь плотины, колокольни и дома, кои кажутся выступающими из большого моря»[13]. Дожди, выпавшие зимой, будут откачаны «весной посредством мельниц»[14].

Для человека Средиземноморья все это было странным до абсурда. Флорентиец Лодовико Гвиччардини писал в 1567 г.: «Земля низкая, все реки и крупные каналы текут между дамбами, так что текут они не на уровне земли, и во многих местах с крайним удивлением видишь воду выше земли»[15]. Для путешественника, приехавшего из Женевы два века спустя, в 1760 г., «все искусственно в провинции Голландия, вплоть до страны и самой природы»[16]. Испанский путешественник Антонио Понс (1787 г.) заявит даже: «Более воображаемая и поэтическая, нежели реальная!»[17]

[13] Parival J.-N., de. *Les Délices de la Hollande*. 1662, p. 10.
[14] A.E. M. et D. 72, Голландия, ноябрь 1755 г.
[15] Guicciardini L. *Description de tous les Pays-Bas*. 1568, p. 288.
[16] Gaudard de Chavannes. *Voyage de Genève à Londres*. 1760 (без пагинации).
[17] Ponz A. *Viaje fuera la España*. 1947, p. 1852.

ПОДВИГИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Однако же Соединенные Провинции имели почву, деревни, фермы. Были, даже в Гелдерне, бедные дворяне с находившимися у них в услужении крестьянами, т. е. подлинный кусок феодальной Европы; крупные фермеры *(gentlemen farmers)* в Гронингене, фермеры-арендаторы во Фрисландии[18]. Вокруг Лейдена существовало интенсивное овощеводство — здешние овощи продавали на улицах Амстердама — и производилось лучшее сливочное масло в Соединенных Провинциях[19]. Да плюс еще мост на Старом Рейне, который назывался «хлебным мостом, понеже в рыночные дни здесь устраиваются крестьяне со своим зерном»[20]. То там, то тут встречаются богатые деревенские жители, одетые в черное, без плаща, но «жены их увешаны серебром, а пальцы их унизаны золотыми перстнями»[21]. Наконец, каждую весну «прибывает весьма большое число тощих быков и коров — датских, голштинских и ютландских, каковых тотчас же отгоняют на пастбища; три недели спустя ты видишь их окрепшими и округлившимися»[22]. «К середине ноября добрые домохозяева покупают быка или половину его сообразно величине своего семейства, какового быка они засаливают и коптят... и едят с салатом с маслом. Каждое воскресенье они вынимают большой кусок говядины из засольной бочки, приготовляют его, делают из него несколько трапез. Сказанный холодный кусок обходит стол вместе с несколькими кусками вареного мяса, с молоком или какими-нибудь овощами...»[23]

Принимая во внимание доступное для использования пространство, животноводство и земледелие были обречены делать ставку на производительность. Животных кормили лучше, чем в других странах. Коровы давали до трех ведер молока в день[24]. Земледелие обратилось к огородничеству, изобретало научные способы ротации культур и получало благодаря удобрениям, включая и поддающиеся использованию городские нечистоты, лучшие урожаи, чем в других местах. С 1570 г. прогресс был достаточно явным, чтобы сыграть определенную роль в первых стартах экономики страны. Именно это застави-

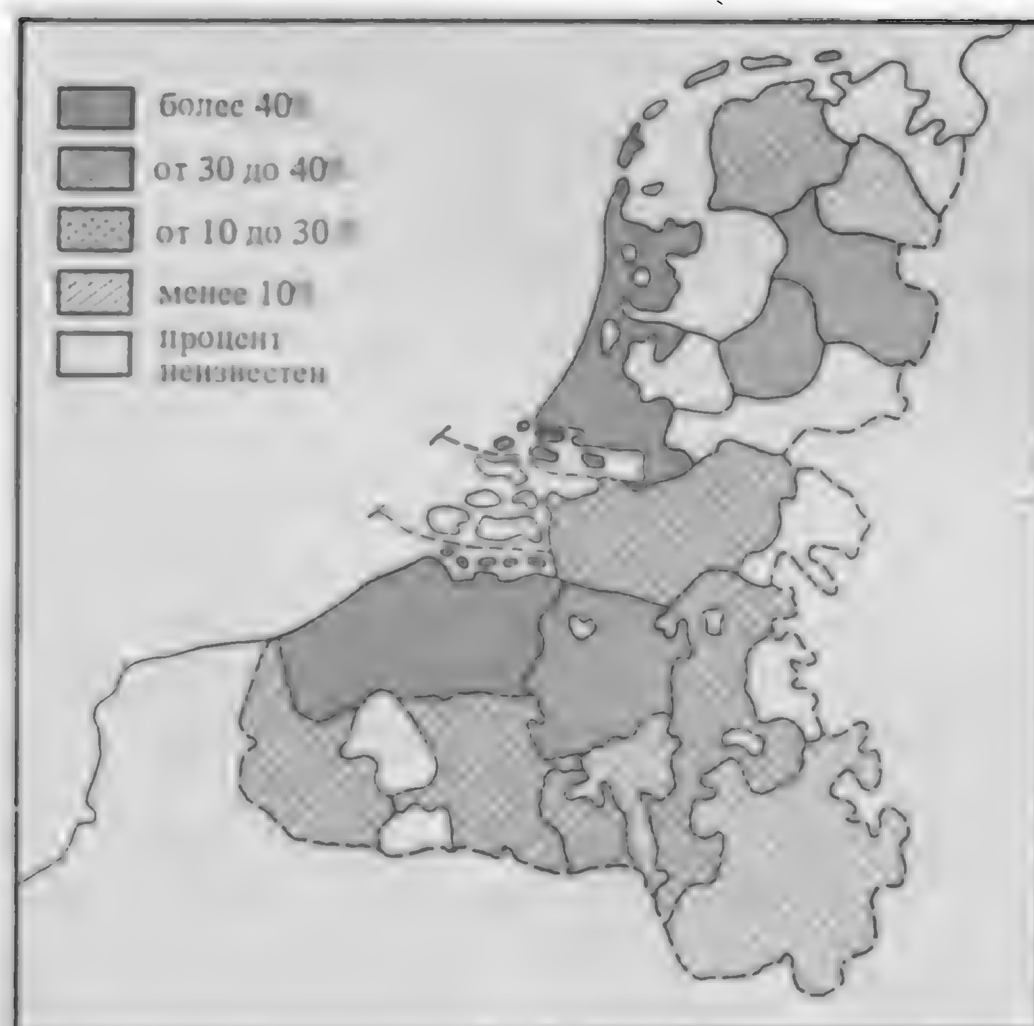
[18] Boxer C.R. *The Dutch Seaborne Empire*. 1969, p. 7.
[19] Parival J.-N., de. *Op. cit.*, p. 76.
[20] *Ibid.*, p. 56.
[21] *Ibid.*, p. 82.
[22] *Ibid.*, p. 13.
[23] *Ibid.*, p. 26.
[24] *Ibid.*, p. 12.

ло Яна де Фриса[25] говорить о том, что в Голландии капитализм произрастал из ее почвы.

Верно, что значительный прогресс, хоть и в небольшом масштабе, положил начало земледельческой революции, которая завладеет Англией, но это уже другая история. Важно было то, что, придя в контакт с городами, деревни не замедлили коммерциализироваться, в некотором роде — урбанизироваться и, как и города, жить за счет внешнего рынка. Коль скоро в любом случае зерно для удовлетворения по меньшей мере половины потребления (это цифра правдоподобная) должно было импортироваться, нидерландское земледелие обнаружило тенденцию ориентироваться на культуры, приносящие наибольший доход: лен, коноплю, рапс, хмель, табак, наконец, на красящие растения — пастель и марену; последнюю ввели в обиход беженцы, прибывшие из Фландрии[26]. Эти красящие вещества прибыли туда, куда следовало, ибо сукна, которые Англия поставляла суровыми, или как говорили, «белыми» *(en blanc)*, аппретировались и окрашивались в Голландии. А ведь одни только валяние и окраска стоили вдвое дороже производства сырцового сукна (включая сырье, чесание, прядение, тканье материи)[27]. Отсюда и решение Якова I 1614 г. запретить экспорт английских сукон «белыми»[28]. Но результатом было полнейшее фиаско: в операциях крашения и аппретирования англичане не могли еще конкурировать с голландцами, которым благоприятствовало техническое преимущество и в не меньшей мере — наличие у них непосредственно на месте красителей.

В той мере, в какой крестьяне уступали соблазну технических культур, они вынуждены были обращаться к рынку для закупки для себя пропитания, а также дров или торфа. И вот они выходили из своей изоляции. Крупные деревни делались сборными пунктами, порой со своим рынком или даже своей ярмаркой. Купцы в свою очередь часто обращались непосредственно к производителю[29].

[25] Vries J., de. *The Role of the Rural Sector in the Development of the Dutch Economy, 1500—1700. — «Journal of Economic History»,* march 1971, p. 267.
[26] Flachat J.-C. *Observations sur le commerce et sur les arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et des Indes orientales.* 1766, II, p. 351.
[27] Wilson Ch. *England's Apprenticeship 1603—1763.* 1965 (3d ed. 1967), p. 71; *La République hollandaise des Provinces-Unies.* 1968, p. 31; Wallerstein I. *The Modern World System,* II, ch. II (машинописный текст).
[28] Supple B. *Commercial Crisis and Change in England 1600—1642.* 1959, p. 34.
[29] Boyer J.-C. *Le capitalisme hollandais et l'organisation de l'espace dans les Provinces-Unies. — Colloque franco-hollandais,* 1976 (машинописный текст), в частности с. 4.



Бургундские Нидерланды в 1500 г. С 1500 г. процент городского населения достиг рекордного уровня: более 40% во Фландрии, но также и в провинции Голландия. (По данным Яна де Фриса: Vries Y., de. *The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500—1700,* p. 83.)

Сказать «продвинувшаяся коммерциализация деревни» — это то же самое, что сказать «богатство деревни». «Здесь не диво найти богатых крестьян с сотней тысяч ливров и более того»[30]. Тем не менее заработная плата в деревне обнаруживала тенденцию к сближению с городской заработной платой[31]. Прочувствуйте замечание Питера де Ла Кура (1662 г.). «Крестьяне наши, — объяснял он, — вынуждены давать своим работникам и слугам такую большую плату, что они уносят немалую часть хозяйских прибылей и живут с бо́льшими удобствами, нежели их хозяева; в городах испытывают те же неудобства с ремесленниками и слугами, кои более несносны и менее услужливы, чем в каком угодно другом месте в мире»[32].

ПЕРЕНАПРЯЖЕННАЯ ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА

В сравнении с остальной Европой маленькие Соединенные Провинции предстают сверхурбанизированными, сверхорганизованными в силу самой плотности их населения, «относительно самой большой в Европе»[33], по словам Исаака де Пинто. В 1627 г. путешественник, едущий из Брюсселя в Амстердам, «находит все голландские города столь же полными народом, сколь пусты те, что удерживают испанцы [в Южных Нидерландах] ... [двигаясь] от одного до другого из этих городов, находящихся друг от друга в двух или трех часах пути», он встречает «такие толпы людей... на римских улицах нет такого числа карет [и бог знает, есть ли они!], как здесь тележек, переполненных путниками, в то время как каналы, что протекают в разных направлениях по всей стране, покрыты... бесчисленными судами»[34]. Стоило ли этому удивляться? Половина населения Соединенных Провинций жила в городах[35] — это был европейский рекорд. Отсюда и множественность обменов, регулярность связей, необходимость полной мерой использовать морские пути, реки, каналы и сухопутные дороги, которые, как и в остальной Европе, оживляли крестьянские гужевые перевозки.

Соединенные Провинции — Голландия, Зеландия, Утрехт, Гелдерн, Оверэйссел, Фрисландия, Гронинген — были объединением семи крохотных государств, которые считали себя независимыми и чванились тем, что поступают соответственно. В действительности каждая их этих провинций была более или менее плотной сетью городов. В Голландии к шести старинным городам, имевшим право голоса в Штатах Голландии, добавилось двенадцать других, в том числе Роттердам. Каждый из этих городов имел самоуправление, взимал свои налоги, отправлял правосудие, внимательно следил за соседним городом, неустанно защищал свои прерогативы, свою автономию, свою фискальную систему. И в частности, именно по этой причине имелось столько дорожных пошлин[36], на самом деле «бесконечное количество различных дорожных сборов»[37] и придирок из-за городских ввозных пошлин. Тем не менее такое раздробление государства, эта неправдоподобная децентрализация

[30] Parival J.-N., de. *Op. cit.*, p. 83.
[31] Vries J., de. *An Inquiry into the Behavior of wages in the Dutch Republic and the Southern Netherlands, 1500—1800* (машинописный текст), p. 13.
[32] La Court P., de. *Mémoires de Jean de Witt.* 1709, p. 43—44.
[33] Pinto I., de. *Traité de la circulation et du crédit,* p. 216.
[34] Abbé Scaglia в кн.: Reade H.G.R. *Sidelights on the Thirty Years' War.* L., 1924, III, p. 34. — Цит. по: Nef J.U. *La Guerre et le progrès humain.* 1954, p. 29—30.
[35] Schöffer I. *Did Holland's Golden Age co-incide with a Period of Crisis?* — *«Acta historiae neederlandica»,* 1966, p. 92.
[36] *«Journal de Verdun»,* novembre 1751, p. 391.
[37] A.N., K 879, 123 et 123 bis, № 18, f° 39.

создавали также и определенную свободу индивида. Патрицианская буржуазия, которая управляла городами, распоряжалась правосудием, она карала по своему усмотрению, изгоняла кого пожелает из своего города или из своей провинции — окончательно и практически без права обжалования. Зато она защищала своих граждан, оберегала их, давала им гарантии против вышестоящих судов[38].

Поскольку нужно было жить, нидерландские города не могли избежать необходимости общих действий. Как говорил Питер де Ла Кур, «их интересы сцеплены друг с другом»[39]. Сколь бы они ни были сварливы, как бы ревниво ни относились друг к другу, но «улей» навязывал им свои законы, заставлял объединять свои усилия, сочетать их активность, коммерческую и промышленную. Они образовывали могущественный блок.

[38] Price J.L. *The Dutch Republic during the 17th Century*. 1974, p. 58 sq.
[39] La Court P., de. *Op. cit.*, p. 28.

АМСТЕРДАМ

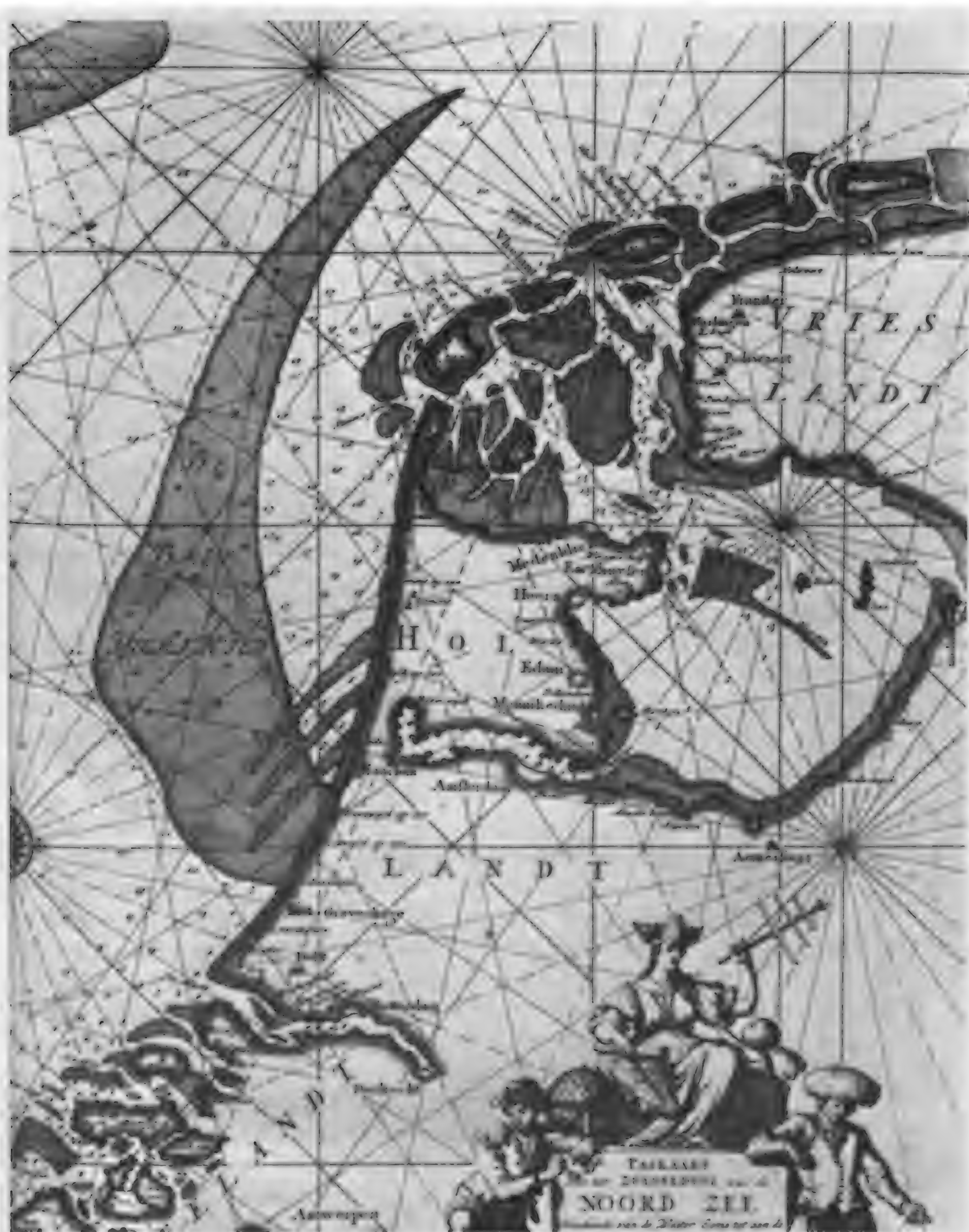
Итак, эти города цеплялись друг за друга, деля между собою задачи, образовывали сети, занимали уровни, расположенные одни над другими, образовывали пирамиду. Они предполагали наличие в центре их или на их вершине доминирующего города, более весомого и властного, нежели остальные, и связанного с ними. По отношению к городам Соединенных Провинций Амстердам занимал то же положение, что Венеция по отношению к городам ее материковых владений *(Terra Ferma)*. Венеция, чьим удивительным повторением по своему внешнему виду был Амстердам с его затопляющими водами, разделявшими его на острова, островки, каналы, и в довершение всего с окружавшими город «болотами»[40], с его *vaterschepen*[41] — лихтерами, снабжавшими город пресной водой, как доставляли ее в Венецию барки с Бренты. Разве соленая вода не держала в плену оба города?

Питер де Ла Кур объяснял[42], что Амстердам родился для своей великой истории, когда в результате шторма был «пробит возле Тексела» защитный бар дюн и единым махом создан в 1282 г. Зёйдер-Зе. С того времени стало возможно «проходить Тей на больших судах», и мореплаватели с Балтики утвердили в качестве места встреч и торговли Амстердам, до того простую деревню. Несмотря на такую помощь сил природы, город оставался труднодоступным, с опасными, самое малое — сложными подходами. Корабли, идущие в Амстердам, должны были ждать около Тексела или у Вли*, у самого входа в Зёйдер-Зе, где постоянную угрозу представляли песчаные отмели. А те, что покидали Амстердам, должны были останавливаться в тех же гаванях и дожидаться благоприятного ветра. Следовательно, при входе и выходе необходима была остановка, которую власти тщательно контролировали. Отсюда и тот скандал, задним числом представляющийся забавным, который вызвал в марте 1670 г. непринужденный приход французского фрегата, к тому же еще королевского военного корабля, который прошел от Тексела до Амстердама без предварительного разрешения[43]. Дополнительное затруднение: крупные

[40] Parival J.-N., de. *Op. cit.*, p. 104.
[41] Beckmann J. Beiträge zur Oekonomie..., 1779—1784, II, S. 549.
[42] La Court P., de. *Op. cit.*, p. 37.
* Нынешний остров Влиланд. — *Прим. перев.*
[43] A.N., A.E., B[1] 619, 6 марта 1670 г.

торговые корабли не могли проходить мелководья, простирающиеся к северу от Амстердама на незначительно углубленной песчаной банке Пампиус, пока около 1688 г. не была придумана хитрость[44]: два лихтера — так называемые *верблюды* — швартовались к слишком большому кораблю с обоих бортов, протягивали цепи под его корпусом, поднимали корабль и доставляли его восвояси.

И однако же, амстердамский порт всегда был забит до отказа. Один путешественник писал в 1738 г.: «Я ничего не видывал такого, что бы так меня поразило. Невозможно вообразить себе, не увидев этого, великолепнейшую картину двух тысяч судов, собравшихся в одной гавани»[45]. Путеводитель 1701 г. го-



[44] Savary des Bruslons J. *Dictionnaire universel du commerce*. 1761, I, p. 84.
[45] Argens J.-B., d'. *Op. cit.*, III, p. 194.

ворит о восьми тысячах кораблей, «коих мачты и снасти образуют как бы род леса, столь густого, что через него едва пробивается солнце...»[46]. 2 тыс. или 8 тыс.— не будем придираться. Что не подлежит сомнению, так это множество флагов, которые при желании можно было увидеть с площади Дам. Это судно, объясняет тот же путеводитель, «которое кажется вам новым, — немецкое, оно имеет [на флаге] четырехчастный золотой щит с червленью. Другое — бранденбургское, имеет щит серебряный с черным орлом с распростертыми крыльями»; вон то — из Штральзунда, с золотым солнцем. А вот и любекские, венецианские, английские, шотландские, тосканские, рагузинские (серебристый флаг со щитом и лентой, на которой начертано *Libertas*). И даже — возможно ли это? — «савоец». А дальше — большие корабли, специализированные на китобойном промысле. Но вам не станут пояснять, что такое «сии белые флаги, понеже вы француз»[47]. К тому же, если вы почитаете «Амстердамскую газету»[48], перед вами проплывут сотни кораблей, сообщая вам свои названия и свои маршруты. В 1669 г. в Тексел пришли, выйдя из Бордо, «Ла Сигонь», «Ле Шарио де Лэн», «Ле Солей Леван», «Ле Ренар де Бильбао», «Ле Дубль Котр де Нант» (8 февраля), «Ле Фигье де ла Терсер», «Ла Балэн бигарре» (12 февраля); немного спустя — «Ле Шарио а Фуэн» из Бильбао, «Ле Леврие» из Кале, «Л'Аньо бигарре», возвратившийся из Галисии; в июне — «Ле По де флёр», «пришедший из Московии (несомненно, из Архангельска), где он провел зиму; в феврале стало известно, что «Ле По а бёрр» прибыл в Аликанте». Это обращение делало Амстердам «всеобщим складом Вселенной, Престолом Изобилия, местом сосредоточения богатств и благосклонности небес»[49].

Но так не было бы без вклада Провинций и нидерландских городов. Для величия Амстердама они были непременным (*sine qua non*) условием. Для Яна де Фриса сердцем того, что мы именуем миром-экономикой, сконцентрированным на Амстердаме, представляется не только Голландия, как это обычно утверждают, но также и вся полоса нидерландских земель, которую затрагивала торговля с моря, — Зеландия, Фрисландия, Гронинген, частично Утрехт. И только Гелдерн, Генералитетские земли* и Оверэйссел — области бедные, архаичные, еще «средневековые» — оставались вне большой игры.

Сотрудничество между «сердцем» и Амстердамом вылилось в разделение задач: промышленность процветала в Лейдене, Гарлеме (Харлеме), Делфте; судостроение — в Брилле и Роттердаме; Дордрехт жил за счет значительной торговли по Рейну; Энкхёйзен и Роттердам контролировали рыбный промысел в Северном море. Опять-таки Роттердаму, самому могущественному городу после столицы, доставалась лучшая часть торговли с Францией и с Англией; Гаага, столица политическая, немного напоминала Вашингтон в Соединенных Штатах в прошлом и в настоящем. И значит, не случайно Ост-Индская компания разделялась на отдельные палаты, и не случайно наряду с Амстердамским банком, созданным в 1609 г., утвердились менее активные, но аналогичные банки в Мидделбурге (1616 г.), Делфте (1621 г.), Роттердаме (1635 г.). Пьер Боде мог

[46] *Le Guide d'Amsterdam*. 1701, p. 2, 81.
[47] *Ibid.*, p. 82—83.
[48] *«Gazette d'Amsterdam»*, 14, 21, 28 février, 18 juin 1669.
[49] *Le Guide d'Amsterdam*, p. 1.
* Генералитетские земли — отвоеванные у Испании части Гелдерна, Брабанта и Фландрии, управлявшиеся непосредственно центральным правительством от имени всех Соединенных Провинций. — *Прим. перев.*

Чудесная карта Соединенных Провинций, подвергающихся нашествию вод и песков Северного моря. Эти воды и пески окружают побережья и острова. Карта, изданная Йоганнесом Лоотцем около 1707 г. и не получившая распространения. Один экземпляр находится в Национальной библиотеке *(Ge DD 172, carte 52). Фото Национальной библиотеки.*



А. Сторк Нейвенхейс. Амстердам: так называемая башня Харингпаккерсторен. *Собрание Б. де Генсвана. Фото Жиродона.*

с полным основанием говорить, перефразируя хорошо известное выражение, относящееся к США и компании «Дженерал моторс»: «То, что хорошо для Амстердама, хорошо и для Соединенных Провинций». Но Амстердаму приходилось считаться со своими соратниками, терпеть зависть и враждебное отношение других городов и приспосабливаться к этому за неимением лучшего.

ПЕСТРЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

Города суть потребители рабочей силы. Городской комплекс Соединенных Провинций процветал лишь благодаря ро-

сту населения: один миллион человек в 1550 г., два миллиона — в 1650 г. (в том числе миллион в городах). Такой успех был достигнут не только на базе местного населения. Взлет голландской экономики призывал, требовал иностранцев, отчасти он сам был их созданием. Естественно, не все они нашли там землю обетованную. Нидерландское процветание не переставая порождало существование огромного пролетариата, скученного в трущобах и вынужденного питаться худшими продуктами. Лов тощей сельди в ноябре «запрещается объявлениями властей, [но] его терпят, коль скоро он служит для пропитания бедняков»[50]. Как и в Генуе, все прикрывалось активной благотворительностью, которая умеряла возможные вспышки классовой борьбы. Тем не менее недавняя выставка в амстердамской Ратуше пролила немалый свет на грустное зрелище нищеты в Голландии XVII в., где богатые были богаче, нежели в иных странах, а бедняки столь же многочисленны и, быть может, более несчастны, чем в других местах, хотя бы уже в силу неизменной дороговизны жизни.

Однако не все иммигранты приезжали искать в Голландии сомнительного богатства. Многочисленны были и те, кто бежали от войн и религиозных преследований, бывших бичом XVI и XVII вв. После перемирия, подписанного с Испанией в 1609 г., Соединенные Провинции были на грани разрыва своего согласия и разрушения того, что им служило государством, из-за жестоких распрей, религиозных (ремонстранты против контрремонстрантов) и политических (регенты городов против статхаудера Морица Нассауского). Но эта волна насилий, отмеченная победой протестантской ортодоксии на Дордрехтском синоде в 1619 г. и статхаудерства — после казни в том же году великого пенсионария Яна ван Олденбарневелта, не была продолжительной. Она не могла продлиться долго в стране, где были многочисленны католики, где на востоке присутствовали лютеране, где оставались активными протестантские диссиденты. В конечном счете установилась и укрепилась терпимость одновременно с индивидуальными свободами, которым способствовало раздробление политической власти. «Служители протестантской религии в конце концов имели очень ограниченный успех в своих попытках превратить Республику в протестантское государство, в некотором роде по женевской модели»[51].

Терпимость заключалась в том, чтобы принимать людей такими, какие они есть, коль скоро они — рабочие, купцы или беженцы — вносили вклад в богатство Республики. А впрочем, разве можно вообразить себе «центр» мира, который не был бы терпимым, осужденным быть таковым, который не принимал бы людей, в которых нуждался, когда они в него приезжали? Конечно же, Соединенные Провинции были убежищем, спасательным судном. Отсюда «великий приток народа, который сюда пригнали войны... как рыбу у норвежского побережья, когда она чует появление какого-нибудь кита»[52]. Утвердилась, сделалась правилом свобода совести. Один англичанин писал в 1672 г.: «В этой Республике никто не может обоснованно жаловаться на ущемление своей совести»[53]. Или вот более позд-

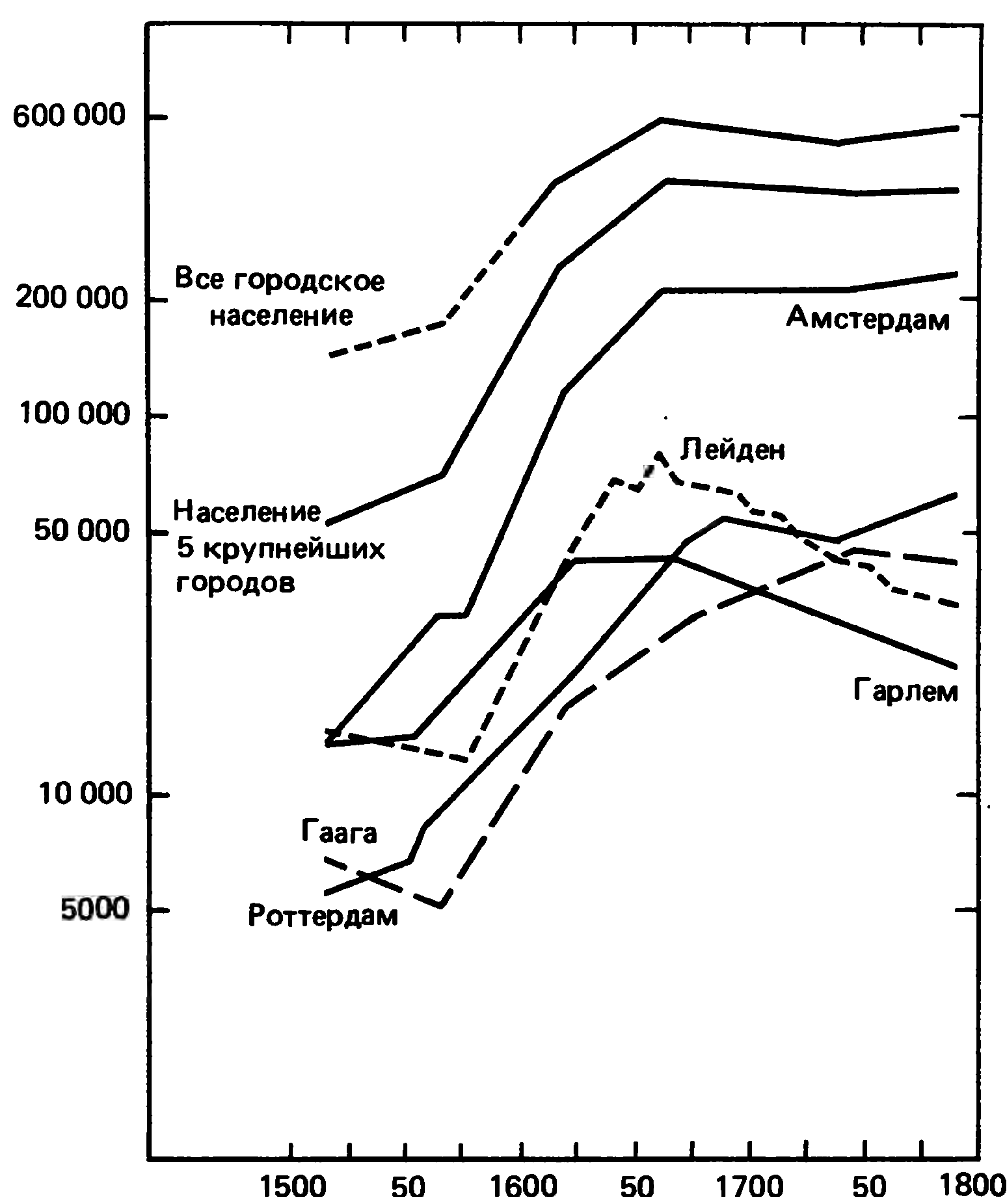
[50] Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, I, p. 173.
[51] Price J. L. *Op. cit.*, p. 33.
[52] Parival J.-N., de. *Op. cit.*, p. 41.
[53] Temple W. *Observations upon the Provinces of the United Netherlands. 1720*, p. 59.

нее (1705 г.) голландское свидетельство: «Все народы мира могут там служить Богу по велению сердца и сообразно своей совести, и хоть господствующая религия — реформатство, каждый там волен жить в той вере, какую исповедует; там насчитывается до 25 римско-католических церквей, в коих приходят совершать моления столь же открыто, как и в самом Риме»[54]. Историки-демографы лучше других знают это разнообразие вероисповеданий, ибо они оказываются при своих подсчетах (как, скажем, в Роттердаме)[55] перед десятком разных реестров гражданского состояния (реформаты нидерландские, шотландские, валлонские; пресвитериане, сторонники епископальной церкви, лютеране, ремонстранты, меннониты, католики и иудеи). Заметьте, что католики чаще всего представляли низшие классы, особенно на Генералитетских землях.

[54] *«Le Guide d'Amsterdam».* 1701, p. 1—2.

[55] Mentink G.V., Van der Woude A.M. *De demografische outwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw.* 1965.

Обычно иммигранты довольствовались самыми непритязательными ремеслами, но, как говорил один голландец в 1662 г.,



Рост городского населения
Этот рост, приводивший прежде всего к выгоде Амстердама, составил сердцевину экономического взлета Соединенных Провинций. (По данным Яна де Фриса: Vries Y., de. *Op. cit.*, p. 89.)

«тот, кто хочет в Голландии работать, не может умереть с голоду... И нет таких, что не зарабатывали бы пол-экю в день — вплоть до тех, кои выгребают отбросы со дна каналов с помощью некоего железного орудия и сетей, прикрепленных к концу палки, — *ежели они хотят хорошо трудиться*»[56]. Я подчеркнул эти последние слова. В самом деле, опасность сравнительно высокой заработной платы заключена в том, что я, когда моя жизнь бедняка обеспечена, могу себе позволить роскошь не работать постоянно. И нужны были такие вот бедняки, чтобы иметь чистильщиков каналов, чернорабочих, носильщиков, грузчиков, лодочников, косарей, что приходили во Фрисландию поработать косой во время сенокоса, землекопов, которые должны были поторапливаться с выемкой торфа до того, как

[56] Parival J.-N., de. *Op. cit.*, p. 33.

его зимой зальет вода или покроет лед. Эти последние задачи обычно приходились на долю немецких иммигрантов, бедняг, число которых, видимо, умножалось после 1650 г. и которых обозначали родовым именем «ходоков в Голландию» (*Hollandgänger*), зачастую приходивших работать на бонификации польдеров[57]. Близко расположенная Германия была резервуаром дешевой рабочей силы, снабжавшим Соединенные Провинции людьми для армии, для флота, для службы за морями, для работы на полях (*Hannekemaaier*) и в городах, куда притекало столько *poepen* и *moffen*.

Среди иммигрантов почетное место, как и следовало ожидать, принадлежало ремесленникам, многочисленным в центрах текстильного производства — Лейдене (саржи, камлоты, сукна); Гарлеме (шелк, отбелка холстов); Амстердаме, где мало-помалу обосновалась большая часть производств[58]: ткани



Амстердам, Рыбный рынок, Ратуша, общественные весы. Эстамп Райта и Шутца, 1797 г. *Фонд «Атлас ван Столк».*

шерстяные, шелковые, золотая и серебряная парча, ленты, кожа с золотым тиснением, сафьяны, замша, рафинадные заводы, различные химические производства; Саардаме — деревне, расположенной близко к великому городу, где находилась «самая большая судостроительная верфь в мире». Для всех этих видов деятельности иностранная рабочая сила имела решающее зна-

[57] Lütge F. *Geschichte der deutschen Agrarverfassung vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert.* 1967, S. 285; Schöffer J.— в кн.: *Handbuch der europäischen Geschichte.* Hrsg. T. Schieder, IV, 1968, S. 638. *Hannekemaaier* означает по-голландски «поденщик», а *poepen* и *moffen* — фамильярно-пренебрежительные наименования немцев.

[58] A. N. Marine, B 7 463, f° 39 (1697).

чение. В Гарлеме именно рабочие, пришедшие из Ипра, из Ондскота, определили подъем текстильного производства в городе. Точно так же в конце XVII в. промышленность Соединенных Провинций получит дополнительный импульс и расширится вследствие массового прибытия французских протестантов после отмены в 1685 г. Нантского эдикта.

Среди этих потоков беженцев — французских протестантов, протестантов антверпенских или евреев с Пиренейского полуострова — было немало купцов, зачастую обладателей значительных капиталов. В особенности способствовали успеху Голландии евреи-сефарды[59]. Вернер Зомбарт утверждал, будто бы они ни более ни менее как принесли в Амстердам капитализм[60]. Это явное преувеличение. Зато несомненно, что они оказали серьезную поддержку городу, например в сфере вексельных операций и еще больше — в области биржевых спекуляций. В этих делах они были мастерами и даже созидателями. Они также были хорошими советчиками, инициаторами создания деловых сетей, связывавших Голландию с Новым Светом и Средиземноморьем[61]. Один английский памфлетист XVII в. подозревал даже амстердамских купцов в том, что они привлекали их единственно в торговых интересах — «евреи и прочие иноземцы открыли для них свою собственную мировую торговлю»[62]. Но разве же евреи, как опытные деловые люди, не устремлялись постоянно туда, где экономика преуспевала? Если они прибывали в ту или иную страну, то это означало, что дела там идут хорошо или пойдут лучше. Если они уезжали, то это означало, что дела тут идут плохо или пойдут хуже. Разве не начали евреи покидать Амстердам около 1653 г.?[63] Во всяком случае, тридцать лет спустя, в 1688 г., они последовали в Англию за Вильгельмом Оранским. Не означает ли это, что в ту пору Амстердам, несмотря на видимость, чувствовал себя не так хорошо, как в первые десятилетия этого века?

В любом случае евреи были не единственными, кто «создал» Амстердам. Все торговые центры Европы предоставили свой контингент городу, который собирался стать или уже стал центром мира. Первая роль, конечно, принадлежала антверпенским купцам. Антверпен, взятый Александром Фарнезе 27 августа 1585 г. после достопамятной осады, добился при капитуляции мягких условий, в частности возможности для своих купцов либо остаться, либо покинуть город, забрав с собой свое имущество[64]. Те из них, кто выбрал изгнание в Голландию, прибыл туда, следовательно, не с пустыми руками: они принесли капиталы, компетентность, торговые связи, и это, бесспорно, было одной из причин быстрого старта Амстердама. Жак де Ла Файль, антверпенский купец, обосновавшийся в новой северной столице, не преувеличивал, когда писал 23 апреля 1594 г.: «Здесь Антверпен превратился в Амстердам»[65]. Разве же не была треть населения города к 1650 г. иностранного происхождения или потомками иностранцев? Половина первых вкладов Амстердамского банка, созданного в 1609 г., поступила из Южных Нидерландов.

В результате Амстердам будет быстро расти (50 тыс. жителей в 1660 г., 200 тыс. — в 1700 г.) и скоро смешает все нацио-

[59] Игравшие более значительную роль, чем немецкие евреи, сефарды были прежде всего португальцами, имевшими свое особое кладбище в Оуверкерке. См.: *Le Guide d'Amsterdam*, 1701, p. 38; см. также библиографию Вайолет Барбур: Barbour V. *Op. cit.*, p. 25, note 42. Относительно португальских евреев см. статью Э. М. Коэна: Koen E. M. *Notarial Records relating to the Portuguese Jews in Amsterdam up to 1639.* — *«Studia Rosenthaliana»*, janvier 1973, p. 116—127.

[60] Sombart W. *Die Juden und das Wirtschaftsleben.* 1911, S. 18; Braudel F. *Médit...*, I, p. 567 sq.

[61] Braudel F. *Médit...*, I, p. 567.

[62] Schulin E. *Handelsstaat England.* 1969, S. 195.

[63] См т. 2, с. 147.

[64] Van der Essen L. *Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas, 1545—1592.* IV, 1935, p. 123.

[65] Boxer C. R. *Op. cit.*, p. 19, note 5.

нальности, довольно быстро превратив толпу фламандцев, валлонцев, немцев, португальцев, евреев, французских гугенотов в истинных голландцев — *Dutchmen*. Разве то, что сформировалось, не было в масштабе всей страны нидерландской «нацией»? Ремесленники, купцы, импровизированные мореходы, чернорабочие трансформировали маленькую страну, сделали из нее другую. Но разве также не взлет самой Голландии подал сигнал к успеху, создал его условия?

ПРЕЖДЕ ВСЕГО РЫБОЛОВСТВО

Соединенные Провинции были «Египтом Европы», даром Рейна и Мааса: именно таким образом подчеркнул Дидро[66] речной и сухопутный аспекты Соединенных Провинций. Но прежде всего последние были даром моря. Нидерландский народ «столь сильно склонен к мореплаванию, что можно сказать, вода более его стихия, нежели земля»[67]. На часто бушующем Северном море он прошел свое ученичество в рыболовстве, каботажном плавании, перевозках на дальние расстояния, в морской войне; по словам одного англичанина (1625 г.), не было ли Северное море «академией мореходов и лоцманов голландских мятежников»[68]? Так что прав был Уильям Темпл: «Республика Соединенных Провинций вышла из моря, оттуда же почерпнула она свою силу»[69].

Голландия и Зеландия испокон веков населяли Северное и соседние моря своими рыбаками. Рыболовство было национальным промыслом — по меньшей мере четырьмя «промыслами». Первый, у берегов и в пресных водах, обеспечивал разнообразное снабжение «очень нежными сортами рыбы»[70]; то была «рядовая» ловля, но по стоимости она составляла примерно половину «большого лова» — огромного сельдяного промысла[71], рядом с которым выглядела относительно скромно ловля трески и пикши в Исландском море и на Доггербанке[72] и «охота» на китов, любопытным образом именовавшаяся «малым ловом».

Около 1595 г.[73] голландцы открыли Шпицберген и тогда же научили баскских рыбаков гарпунить кита[74]. В январе 1614 г. эта ловля была уступлена в качестве монопольной Северной компании «от берегов Новой Земли до пролива Дейвиса, включая Шпицберген, остров Медвежий и прочие места»[75]. Компания была упразднена в 1645 г.[76], но Амстердам ревниво сохранял контроль и прибыли[77] от фантастических избиений китов на крайнем Севере, которые изливали на него тонны жира (для изготовления мыла, освещения для бедняков, обработки сукон) и центнеры китового уса. В удачном 1697 г.[78] «из портов Голландии отправилось 128 кораблей для «ловли» китов, из них во льдах погибло 7, а 121 возвратился в свои гавани, добыв 1255 китов, давших 41 344 бочонка ворвани. Каждый бочонок обычно продается по 30 флоринов, что составляет в целом 1 240 320 флоринов. Каждый кит дает обыкновенно две тысячи фунтов китового уса, оцениваемого 50 флоринов за квинтал, что составляет для 1255 китов 1255 тыс. флоринов, а обе суммы, сло-

[66] Diderot. *Voyage en Hollande.* — Diderot. *Œuvres complètes.* 1969, XI, p. 336. Цит. по: Manceron C. *Les Vingt Ans du roi.* 1972, p. 468.
[67] Parival J.-N., de. *Op. cit.*, p. 36.
[68] Alcala Zamora y Queipo de Llano J. *España, Flandes y el Mar del Norte (1618—1639). La ùltima ofensiva europea de los Austrias madrileños.* 1975, p. 58.
[69] Temple W. *Op. cit.*, p. 26.
[70] Parival J.-N., de., *Op. cit.*, p. 19.
[71] A.N., K 1349, 132, f° 162 v° sq. (1699).
[72] A.N., M 662, dos. 5, f° 15 v°.
[73] A.N., K 1349, 132, f° 168.
[74] Accarias de Sérionne J. *La Richesse de la Hollande.* 1778, I, p. 68.
[75] A.E., C.P. Hollande, 94, f° 59.
[76] Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, I, p. 69.
[77] В конечном счете достававшиеся крупным купцам: A. N., M 662, dos 5, f° 13 v°.
[78] A. N., K 1349, 132, f° 174 et 174 v°.

женные вместе, дают в целом 2 495 320 флоринов»[79]. Перечень этот показывает, что в среднем одно китобойное судно добывало в течении кампании десяток китов, хотя в июле 1698 г. только одно из них доставило в Тексел 21 тушу[80].

Однако эти богатства мало что значили в сравнении с ловом сельди на Доггер-банке вдоль английского побережья в течение двух путин: от дня св. Иоанна до дня св. Иакова * и от Воздвиженья до дня св. Екатерины ** [81]. На протяжении первой половины XVII в. цифры были фантастическими: 1500 рыболовных судов — крупных судов, достаточно просторных, чтобы позволить на борту разделку, засолку и укладку рыбы в бочки, за которыми на места лова приходили небольшие суда, доставляя их в Голландию и в Зеландию (даже в Англию, где «голландская» сельдь стоила дороже, нежели выловленная английскими рыбаками)[82]. На этих 1500 сельдяных судов (*buyssen*) находилось 12 тыс. рыбаков и около 300 тыс. бочек рыбы. Копченая и соленая сельдь, продававшаяся по всей Европе, была «золотой жилой» Голландии[83]. Питер де Ла Кур считал, что голландская торговля «уменьшилась бы вполовину, ежели бы у нее отняли торговлю рыбой и товарами, кои от сей торговли зависят»[84]. Как замечал 8 июля 1661 г. сэр Джордж Даунинг, «торговля сельдью связана с торговлей солью; некоторым образом сельдь и соль расширили голландскую торговлю в Балтийском море»[85]. А мы добавим, что торговля на Балтике была подлинным источником голландского богатства.

Тем не менее не переоценивали ли сравнительное место рыболовства в голландской экономике? После кромвелева Навигационного акта и первой англо-голландской войны 1652—1654 гг. сказочный лов сократился более чем на две трети[86], и — вопреки предсказанию Питера де Ла Кура — без того, чтобы от этого расстроилась голландская машина. Что же касается упадка лова, то объяснялся он снижением доходности, что было следствием роста цен и заработной платы. Только те, кто занимался снабжением судов, еще зарабатывали на жизнь. Но вскоре «выпуски из гавани» (*mises hors*) сделались слишком дорогостоящими. Остальное довершила конкуренция иностранного лова — французского, норвежского, датского. Впрочем, коль скоро одинаковые причины влекут за собою одинаковые последствия, английскому лову сельди не удалось обрести полного размаха, невзирая на поощрения, объектом которых он был. И тоже по причине слишком высоких издержек[87].

ГОЛЛАНДСКИЙ ФЛОТ

Истинным орудием голландского величия был флот, равный один всей совокупности других европейских флотов[88]. Французская оценка, относящаяся к маю 1669 г.[89] и не учитывающая «лодки (*heu*) и малые галиоты [весьма многочисленные], что имеют только одну мачту и неспособны ходить в дальние плавания», пришла «путем подсчета, каковой полагаю я достаточно обоснованным» (это пишет Помпонн), к цифре в «шесть тысяч» для всех Соединенных Провинций. При 100

[79] По случайности ли, но нам не сообщается о [жидком] китовом жире.
[80] A. N., A. E., B [1], 624.
* 27 января — 27 мая. — *Прим. перев.*
** 14 сентября — 25 ноября. — *Прим. перев.*
[81] Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, I, p. 255.
[82] *Ibid.*, II, p. 54.
[83] Wilson C. *Anglo-Dutch Commerce and Finance in the Eighteenth Century*. 1941, p. 3.
[84] La Court P., de. *Op. cit.*, p. 28.
[85] Цит. по: Wilson C. *Profit and Power. A Study of England and the Dutch Wars*. 1957, p. 3.
[86] Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 263.
[87] Accarias de Sérionne J. *La Richesse de l'Angleterre*. 1771, p. 42, 44.
[88] Argens J.-B., d'. *Op. cit.*, III, p. 193.
[89] A. N., A. E., B [1], 619, переписка Помпонна (Гаага, 16 мая 1669 г.). Те 20 тыс. кораблей, о которых говорил Кольбер, — это попросту преувеличение. В 1636 г. корабельный состав флота включал будто бы от 2300 до 2500 единиц плюс 2 тыс. больших судов сельдяного лова. Ср.: Price J. L. *Op. cit.*, p. 43. Наша оценка (600 тыс. тонн) примыкает к оценке В. Фогеля: Vogel W. *Zur Grösse der Europäischen Handelsflotten...* — *Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit*. 1915, S. 319.

тоннах водоизмещения и 8 человеках команды на судно это составило бы самое малое 600 тыс. тонн и, возможно, 48 тыс. моряков. Цифры для того времени огромные, которые мы, вероятно, едва ли преувеличиваем.

К количеству добавлялось качество. После 1570 г. голландские судостроительные верфи создали торговый корабль, ставший сенсацией, — *Vlieboot*, «флейта», прочное парусное транспортное судно с округлыми бортами, большой вместимости и обслуживаемое немногочисленной командой: на 20% меньшей, чем на судах того же тоннажа. То было значительное преимущество, если вспомнить, что в дальнем плавании затраты на личный состав (заработная плата, питание) долгое время были главным пунктом издержек. Голландская скупость разыгрывалась тут вовсю: рацион был скуден [90] — «рыба да каша»; даже капитаны «довольствуются... куском сыра либо ломтем солонины двух-трехлетней давности» [91]; никакого вина; слабое пиво и иногда, при бурном море, немного скупо распределявшегося арака. «Из всех наций, — заключал один француз, — голландцы самые экономные и самые умеренные, всего менее предающиеся роскоши и бесполезным расходам» [92].

Пространный французский отчет, относящийся к 1696 г., не без некоторой зависти уточнял все преимущества голландского флота перед конкурентами. «Голландцы, занимаясь морской торговлей, ходят почти на одних только транспортах, которые

[90] Temple W. *Op. cit.*, p. 47.
[91] Tavernier J.-B. *Les Six Voyages...*, 1676, II, p. 266.
[92] A. N., Marine, B [7], 463, f° 45, 1697 г.



Голландские парусные транспортные суда. Эстамп В. Холлара, 1647 г. *Собрание фонда «Атлас ван Столк».*

в военное время экспортируют вооруженные фрегаты. Это большие корабли, располагающие глубокими трюмами, кои могут вместить много товара; по правде говоря, это плохие ходоки под парусом, но, хоть они и грубой и тяжелой постройки, более мореходные, для коих не нужно столько команды (*sic!*), как для прочих кораблей. Французы вынуждены держать четырех или пять человек экипажа на корабле в 20 или 30 тонн для его управления; голландцы держат двух, самое большее трех человек. На корабль от 150 до 200 тонн французы ставят 10—12 человек, голландцы — всего 7 или 8; французы ставят 18, 20—25 человек на корабль в 250, 300 или 400 тонн, а голландцы — только 12—16, самое большее 18. Французский матрос получает 12, 16, 18—20 ливров в месяц, а голландец довольствуется 10—12 ливрами, и офицеры — соответственно. Для рациона французских матросов требуются хлеб, вино, сухари, чисто пшеничные и вполне белые; свежее и соленое мясо, треска, сельдь, яйца, масло, горох, фасоль, а когда они едят рыбу, надобно, чтобы она была приправлена, да и то они не хотят ее есть, разве что по постным дням. Голландцы же довольствуются пивом, ржаным хлебом и сухарями, зачастую очень черными, но отличного вкуса, сыром, яйцами, маслом, небольшим количеством солонины, горохом, кашей и едят много вяленой рыбы без приправы каждый день, не различая постный или скоромный, а это стоит намного меньше, нежели мясо. Французы, обладая более пылким и подвижным темпераментом, едят 4 раза в день, голландцы, коих темперамент холоднее, едят всего 2, самое большее 3 раза. Французы строят свои корабли из дуба, скрепленного железом, что стоит дорого; большая же часть голландских кораблей, особенно тех, что не ходят дальше, чем во Францию, сделаны всего лишь из сосны и скреплены деревянными шипами, и хоть порой они и больше, стоят они при постройке вполовину меньше, нежели наши. У них также и более дешевые снасти, они ближе нас расположены к Северу, откуда черпают железо, якоря (*anghres*) (*sic!*), коноплю для канатов и веревок, кои они изготовляют сами, так же, как и парусину»[93].

В самом деле, другое преимущество голландского судостроения заключалось в недостижимых для конкурентов ценах на его верфях: как гласит французская переписка, «секрет их в том, чтобы делать повозки [читай: корабли] дешевле, чем делают это другие»[94]. Вне сомнения потому, что корабельный лес, смола, вар, канаты, все эти драгоценные морские товары (*naval stores*) поступали к ним прямо из стран Балтийского моря, включая и мачты, доставлявшиеся специальными кораблями[95]. Но также и потому, что они использовали самую новейшую технику (механические пилы, мачтоподъемные машины, изготовление взаимозаменяемых запасных частей) и опытных мастеров и рабочих. Настолько, что знаменитые саардамские верфи около Амстердама могли взять обязательство, «при условии, что они будут предуведомлены за два месяца, строить каждую неделю остальной части года военный корабль, готовый для подъема такелажа»[96]. Добавим, что в Голландии, какую бы область деятельности мы ни взяли, кредит был легкодоступен, обилен, дешев. Ничего нет удивительного в том, что

93 A. N., M 785, dos. 4, f^os 68—69.
94 *Ibid.*
95 У них раскрывали корму, чтобы можно было погрузить мачты.
96 *Le Guide d'Amsterdam.* 1701, p. 81.

очень рано голландские корабли стали экспортироваться за границу, в Венецию, Испанию и даже на Мальту для корсарских предприятий [мальтийских] рыцарей в морях Леванта[97].

В дополнение к этому Амстердам стал первым рынком Европы для кораблей, приобретаемых по случаю. Ваш корабль потерпел крушение у берегов Голландии — в течение нескольких дней вы можете купить другой и погрузиться на него со своей командой, не теряя времени: посредники даже обеспечат вас грузом. Но зато, если вы приедете сушей для такой покупки, то вам лучше привести своих матросов с собой. Потому что в Соединенных Провинциях в транспортных делах человек был единственным, чего не хватало.

Однако от него, от этого человека, не требовалось быть опытным моряком. Достаточно, чтобы были замещены руководящие посты. А с прочим справится какой угодно новобранец. Национальной вербовки, активно проводившейся вплоть до деревень внутри страны, было недостаточно. Так же как было ее недостаточно в Венеции и затем в Англии. Значит, иностранец предлагал свои услуги либо их добивались от него насильственным путем. «Ходокам в Голландию», приходившим работать киркой, лопатой или серпом, случалось оказываться на палубе корабля. В 1667 г. на службе Соединенных Провинций будто бы состояло 3 тыс. шотландских и английских моряков[98], а по данным одного французского письма, проводившееся Кольбером снаряжение кораблей *якобы* привело к репатриации во Францию 30 тыс. моряков, пребывавших главным образом на службе у Голландии[99].

Достоверность этих цифр не гарантирована, но ясно, что Голландия могла взвалить на себя перевозки по морям мира лишь в той мере, в какой она получала от несчастной Европы необходимую дополнительную рабочую силу. А эта рабочая сила рада была примчаться на зов. В 1688 г., когда Вильгельм Оранский готовился отправиться в Англию, чтобы изгнать оттуда Якова II, команды того флота, что проскочит под носом у кораблей Людовика XIV, были набраны с известной легкостью: стоило только увеличить плату при вербовке[100]. Короче говоря, то была не «вялость» Европы[101], но нищета ее, позволившая голландцам «заложить начало» своей Республики. Еще в XVIII в. нехватка команд, столь острая в Англии, все еще ощущалась в Голландии. Когда во времена Екатерины II русские корабли останавливались в Амстердаме, некоторые из их матросов выбирали свободу; голландские вербовщики хватали их «на лету», и несчастные в один прекрасный день оказывались на Антильских островах или на Дальнем Востоке, жалобно умоляя вернуть их на родину[102].

[97] Мальтийские архивы, 65—26.

[98] Dermigny L. *Le Commerce à Canton...*, p. 161, note 4.

[99] A.N., G[7], 1695, f° 52, 15 февраля 1710 г.

[100] Об этой экспедиции см.: Dumont de Bostaquet I. *Mémoires*. 1968.

[101] A.N., K 1348, № 132, f° 130.

[102] Москва, АВПР, 50/6, д. 537, л. 1, 12/23 января 1787 г.

ИМЕЛОСЬ ЛИ «ГОСУДАРСТВО» СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ?

Правительство в Гааге слыло слабым, непрочным. Из чего следовало бы заключить, что незначительный политический аппарат благоприятствовал подвигам капитализма, даже был

их условием. Не доходя до такого заключения, историки охотно бы подтвердили суждение П. В. Клейна [103], а именно что относительно Соединенных Провинций едва ли можно говорить «о чем-то, что было бы государством». Пьер Жаннэн [104], не столь категоричный, довольствовался утверждением, что голландское процветание практически ничем не было обязано «государству, мало способному на вмешательство». Не иначе думали и современники. По словам Созы Котинью, португальского посланника, который весной 1647 г. вел в Гааге переговоры и пытался подкупить тех, кого можно, это правительство «было правлением стольких различных голов и умов, что его представители редко могли сойтись на том, что для них лучше» [105]. Тюрго около 1753—1754 гг. говорил о «Голландии, Генуе и Венеции, где государство немощно и бедно, хотя частные лица богаты» [106]. Суждение это, верное (да и то с оговорками) для Венеции XVIII в., явно несправедливо для города, господствовавшего в XV в.; ну а для Голландии?

Ответ будет зависеть от того, что понимать под правительством или под государством. Если, как это слишком часто случается, не рассматривают совместно государство и социальную базу, которая его поддерживает, то рискуют прийти к ошибочным суждениям о нем. Это правда, что учреждения Соединенных Провинций были архаизирующими; по своим корням они были довольно старым наследием. Правда, что семь провинций считали себя суверенными, что вдобавок они разделялись на крохотные городские республики. Правда и то, что центральные институты — Государственный совет, *Raad van Staat* (который был, «собственно говоря, главным надзирателем [107] всех дел Республики» [108], своего рода исполнительной властью или, лучше сказать, министерством финансов), и Генеральные штаты, которые тоже заседали в Гааге и были постоянным представительством послов провинций, — правда, что эти институты в принципе не имели никакой реальной власти. Любое важное решение должно было направляться провинциальным штатам и единодушно ими одобряться. Принимая во внимание расхождение интересов между провинциями, и в особенности между провинциями приморскими и провинциями внутренними, система эта была постоянным источником конфликтов. Это не Соединенные Провинции, а Разъединенные, утверждал У. Темпл в 1672 г. [109]

Эти внутренние столкновения и конфликты выражались на правительственном уровне в непрерывной борьбе между Голландией, которая использовала свою финансовую власть, чтобы навязать свое лидерство, и принцами Оранского дома, которые «правили» в качестве *статхаудеров* пятью провинциями из семи, председательствовали в Государственном совете и командовали морскими и сухопутными вооруженными силами, нося звание и выполняя функции адмирала и генерал-капитана Республики. Провинция Голландия, представленная своим великим пенсионарием, секретарем Государственного совета, всегда поддерживала суверенитет и вольность провинций, ибо, если центральная власть была слаба, Голландии легче было навязать свою волю благодаря громадному экономическому пре-

[103] Klein P. W. *Dutch Capitalism and the European World Economy.* — *Colloque franco-hollandais,* 1976 (машинописный текст), p. 1.
[104] Jeannin P. *Les Interdépendances économiques dans le champ d'action européen des Hollandais (XVIe—XVIIIe siècles).* — *Colloque franco-hollandais,* 1976 (машинописный текст), p. 76.
[105] Sousa Coutinho F., de. *Correspondencia diplomatica... durante a sua embaixada en Holanda.* 1920—1926, II, 227, 2 janeiro 1648: «...*que como he de tantas cabeças e de tantos juizos differentes, poucas vezes se acordão todos inda pera aquillo que milhor lhes està*».
[106] Turgot A. R. J. *Œuvres complètes,* I, p. 373.
[107] Т. е. осуществлял верховный контроль.
[108] A. N., K 1349, f° 11.
[109] Цит. по: Boxer C. *The Dutch Seaborne Empire,* p. 13.

[110] A. N., K 1349, f° 35 v°. Голландия одна давала более 58% бюджетных поступлений Соединенных Провинций.
[111] См. Schöffer I. — в кн.: *Handbuch der Weltgeschichte...*, p. 654.
[112] Proisy d'Eppes C. *Dictionnaire des girouettes ou nos contemporains d'après eux-mêmes.* 1815.

восходству и в силу того простого факта, что она одна давала больше половины государственных доходов [110]. Со своей стороны статхаудер упорно стремился установить личную власть на монархический лад, следовательно, укрепить центральную власть, дабы противостоять голландскому преобладанию. Для этого он использовал провинции и города, которые ревниво относились к Голландии и Амстердаму и слишком часто испытывали со стороны последних притеснения.

Результатом этого были напряженности, кризисы и чередование у власти обоих соперников. В 1618 г. в связи с глубоким религиозным кризисом, в котором арминиане [ремонстранты] противостояли гомаристам [контрремонстрантам], принц Мориц Нассауский приказал арестовать великого пенсионария Голландии Яна ван Олденбарневелта, который был осужден на смерть и в следующем году казнен. В июле 1650 г. статхаудер Вильгельм II предпринял попытку государственного переворота, которая удалась в Гааге, но жалким образом провалилась в Амстердаме. Тем временем преждевременная смерть принца развязала руки «республиканцам», которые упразднили статхаудерство и правили почти четверть века, до 1672 г. Во время французского вторжения Вильгельм III восстановил статхаудерство, принявшее облик института общественного спасения. Великий пенсионарий Ян де Витт и его брат были зверски убиты в Гааге. Точно так же, но гораздо позднее, в 1747 г., вызывавшие беспокойство французские успехи в испанских Нидерландах позволили Вильгельму IV восстановить свою власть [111]. Наконец в 1788 г. революция нидерландских «патриотов», направлявшаяся в такой же мере извне, как и изнутри, привела, в качестве реакции, к торжеству Вильгельма V и развязала преследования «оранжистами» своих противников.

В общем в этих переменах и чередованиях большую роль играла политика внешняя. Не заключалась ли уже в 1618 г. проблема не в религиозных страстях, а в необходимости принять решение: возобновлять войну с Испанией или нет? Победа статхаудера над Голландией, благоприятствовавшая, как это будет почти всегда, миру, два года спустя завершится разрывом Двенадцатилетнего перемирия.

Таким вот образом в зависимости от военной ситуации, складывавшейся в Европе, центр политической власти в Соединенных Провинциях колебался между статхаудерством, с одной стороны, и Голландией и громадной мощью Амстердама, с другой. Для регентов провинций и городов такие чередования означали либо «чистки», либо настоящую систему «добычи», если воспользоваться образами, заимствованными из опыта других; в любом случае — потери, урон или выгоды для групп социальной элиты. За исключением «флюгеров» [112], или осторожных, которые всякий раз выходили сухими из воды, и за исключением очень терпеливых: один из кризисов отстраняет семейство; два десятка лет спустя следующий кризис может вернуть его на прежнее место.

Но не было ли важнее всего то, что и в том и в другом случае Соединенные Провинции пеклись о своем престиже и своем могуществе? Ян ван Олденбарневелт или Ян де Витт, пребывая

у власти, были столь же тверды, как Мориц Нассауский или Вильгельм III. Что различало противников, так это цели и средства. Голландия подчиняла все защите своих торговых интересов. Она желала сохранять мир, а военные усилия Республики ориентировать на обладание сильным флотом, условие ее безопасности (в 1645 г. этот флот вмешался на Балтийском море в войну между Швецией и Данией, чтобы положить ей конец, поскольку она наносила ущерб голландским интересам). Со своей стороны провинции, верные статхаудеру, занимались больше армией, которая защищала их от угрозы со стороны всегда опасных соседей и открывала возможность карьеры для их дворян. Эти провинции охотно поддавались соблазну вмешаться в постоянную игру военных страстей на Европейском континенте. Но флот или армия, война или мир, статхаудер или великий пенсионарий — Соединенные Провинции намерены были заставить себя уважать. Могло ли быть иначе в центре мира-экономики?

ПОЧТИ НЕ МЕНЯЮЩИЕСЯ ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРЫ

Внутри страны перемены в ориентации власти имели свое значение. Бургомистры, эшевены отстранялись, заменялись; отсюда проистекала известная мобильность *внутри* привилегированного класса, своего рода ротация среди носителей политической власти. Но в своей совокупности господствующий класс оставался на месте, одерживала ли верх Голландия или принц Оранский. Как отметил Э. Коссман [113], «принцы Оранские редко проявляли волю и никогда способность упразднить голландскую плутократию». Несомненно, потому, как предположил другой историк, что «в конечном счете они сами были аристократами и защитниками существующего порядка» [114]. Быть может, также и потому, что противостоять Голландии они могли лишь до определенной степени, что их интервенционистская внешняя политика побуждала их не ставить под вопрос внутренний порядок и устои общества. «Когда принц Оранский, став королем Англии, впервые возвратился в Гаагу, Генеральные штаты велели спросить его, желает ли он быть принят в их собрании как король Английский или же как адмирал и генерал-капитан Союза. Он ответствовал, что, сохранив с великим удовольствием те должности, кои он и предшественники его имели в Республике, он желал бы быть принят именно в том звании, каковое они ему дали. И в самом деле, он продолжал занимать обычное свое место в собрании Генеральных штатов, за исключением того, что вместо кресла, подобного креслу председателя, занимавшегося им ранее, ему дали кресло более высокое, на котором вышиты гербы королевства Великобритании» [115]. Это деталь протокола, но в конечном счете разве уважение к институтам не было в первую голову защитой нидерландской олигархии? В XVIII в. последняя даже не раз будет усматривать в существовании и деятельности статхаудерства гарантию сохранения социального порядка.

[113] Kossmann E. H. *The Low Counntries.— «The New Cambridge Modern History»,* IV, 1970, p. 365.
[114] Haley K. D. H. *The Dutch in the 17th Century.* 1972, p. 83.
[115] A. N., K 1349, f° 7 et 7 v°.

Коротко говоря, этот привилегированный класс помещался в центре всей политической системы. Тем не менее определить его не просто. Как и институты, которые поддерживали его и которые он вдохновлял, этот класс уходил своими корнями в давние времена, к владевшей должностями эшевенов «буржуазии» эпохи бургундского и испанского владычества. Долгая, с 1572 по1609 г., война за Независимость обеспечила первенство этой буржуазии; она разорила дворянство в большинстве провинций, а реформатская церковь, невзирая на религиозный кризис 1618—1619 гг., осталась подчинена провинциальным и городским властям. Наконец, «Революция» освятила могущество класса регентов, т. е. политической элиты, которая в каждом городе и в каждой провинции удерживала важные должности и практически обладала неограниченной властью в делах фискальных, судебных, в локальной экономической деятельности.

Регенты эти образовывали особую группу над деловой буржуазией, которая в эту группу не могла проникнуть по своему желанию. Но должности, которые они занимали, почти что не кормили своих носителей, жалованье было смехотворным, и это отвращало от этих должностей людей, не имевших состояния. Тем или иным способом, но регенты, разумеется, участвовали в росте богатства Соединенных Провинций. У них были связи с деловым миром; иные даже прямо происходили из него: семейства, которые обогащались, в один прекрасный день вступали в ряды на первый взгляд замкнутой политической олигархии то ли путем браков, то ли в случае кризиса власти. Эта политическая элита тем не менее образовала особую группу, своего рода патрициат. Существовало, быть может, 2 тыс. регентов, которые кооптировались, происходили из одних и тех же семейств, из одной и той же социальной среды (денег и власти), которые удерживали в своих руках разом города, провинции, Генеральные штаты, Государственный совет, Ост-Индскую компанию и были связаны с купеческим классом, которые зачастую продолжали участвовать в торговых и промышленных делах. Б. М. Влекке говорит об «олигархии» числом примерно 10 тыс. человек[116], цифре, пожалуй, чрезмерной, если только она не охватывает членов семей.

Тем не менее на протяжении «Золотого века» регенты определенно не поддавались соблазну патрицианского высокомерия и жизни напоказ. Долгое время они умели разыгрывать роль скромных отцов семейств перед лицом населения, об обычной дерзости которого говорили современники, как и о том, сколь силен его вкус к свободе. Автор *«Наслаждений Голландии»* (*«Délices de la Hollande»*, 1662) писал: «Не новость услышать, как какой-нибудь бездельник (*gallefretier*[117]) в перебранке с почтенным буржуа выкрикивает такие поносные слова: я так же хорош, как и ты, хоть ты меня и богаче... и тому подобные вещи, кои трудно переварить. Но люди благоразумные достойно (*accortement*[118]) избегают подобных столкновений, и богатые уклоняются, как только могут, от сношений с простым народом, дабы быть более им почитаемы»[119].

Этот текст еще лучше поработал бы на нас, если бы говорил

[116] Vlekke B. M. *Evolution of the Dutch Nation.* 1945, p. 162—166. Цит. по: Boxer C. R. *Op. cit.*, p. 11, note 4.
[117] От слов «*calfat*», «*calfateur*» — «ничтожество».
[118] То есть «рассудительно и скромно» (*Littré*).
[119] Parival J.-N., de. *Op. cit.*, p. 190.





что-нибудь о мотивах таких «перебранок», стычек. Ясно, однако, что в так называемом спокойном XVII в. уже существовала социальная напряженность. Деньги были средством призвать к порядку любого, но таким средством, которое следовало из осторожности скрывать. Очевидно, по склонности или же в силу инстинктивной хитрости богачи в Амстердаме долгое время довольно естественно и благодушно маскировали богатство и роскошь. «Сколь бы абсолютна ни была власть Магистрата, — замечает путеводитель 1701 г., — в нем не заметно никакой пышности, и вы видите сих знаменитых бургомистров ходящими по городу без свиты и прислуги и никоим образом не отличающимися от горожан, кои им подчинены» [120]. Сам Уильям Темпл [121] в 1672 г. поражался, что столь выдающиеся люди, как великий пенсионарий Голландии Ян де Витт или Михиел де Рёйтер, крупнейший флотоводец своего времени, не отличались: первый — от «самого заурядного горожанина», а второй — «от самого рядового капитана корабля». Дома на Херренграхт, улице знатных господ, не выставляют напоказ великолепных фасадов. И интерьеры в «Золотом веке» почти не знали роскоши дорогой меблировки.

[120] *Le Guide d'Amsterdam*, p. 21.
[121] Temple W. *Op. cit.*, p. 39.
[122] Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 334—335.
[123] Price J. L. *Op. cit.*, p. 220.
[124] *Ibid.*, p. 224.

Но эта скромность, эта терпимость, эта открытость начали меняться с приходом к власти в 1650 г. «республиканцев». В самом деле, с того времени олигархия взяла на себя новые и многочисленные задачи; она поддалась бюрократизации, которая прогрессировала сама собой, она больше чем наполовину отошла от дел. А затем для всего высшего голландского общества, баснословно разбогатевшего, возник сильный соблазн к роскоши. «70 лет назад, — заметил в 1771 г. Исаак де Пинто, — у самых крупных амстердамских негоциантов не было ни садов, ни загородных домов, сравнимых с теми, какими владеют ныне их посредники. Строительство и громадные затраты на содержание таких волшебных дворцов, или, вернее, таких бездонных прорв — не самое большое зло, но рассеянность и небрежность, кои порождает эта роскошь, зачастую наносят немалый ущерб в делах и в коммерции» [122]. В самом деле, в XVIII в. коммерция все более становилась второстепенной для привилегированных обладателей денег. Чрезмерно обильные капиталы уходили из нее, чтобы быть вложенными в ренты, в финансовые операции, в игры кредита. И это общество слишком богатых рантье все более замыкалось; чем дальше, тем больше оно отделялось от основной массы членов общества.

Этот разрыв в высшей степени проявлялся в области культуры. Элита в ту пору забросила национальную традицию, восприняла французское влияние, которое затопило все. Голландская живопись едва переживет смерть Рембрандта (1669 г.). Если «французское нашествие 1672 г. провалилось в военном и политическом отношениях, то оно одержало полный или почти полный успех в культурном плане» [123]. Как и в остальной Европе, возобладал даже французский язык, и то было еще одним средством подчеркнуть дистанцию между собой и народными массами. Уже в 1673 г. Питер де Гроот писал Абрахаму де Викефорту: «Французский существует для образованных... фламандский же — только для невежд» [124].

Площадь Дам в Амстердаме в 1659 г. Картина Якоба ван дер Эльфта. *Шантильи, Музей Конде. Фото Жиродона.*

НАЛОГ ПРОТИВ БЕДНЯКОВ

Коль скоро голландское общество было тем, чем оно было, то не приходится удивляться: налоговая система щадила капитал. На первом месте среди личных налогов стоял *Heere Geld*— налог на слуг: 5 флоринов 16 су — за одного слугу, 10 флоринов 6 су за двоих; но за троих — 11 флоринов 12 су; за четверых —12 флоринов 18 су; за пятерых — 14 флоринов 14 су. То есть любопытным образом убывающий налог. Подоходный тоже существовал, но кого бы он не устроил в наши дни! Он составлял 1%, т.е. 15 флоринов с 1500 флоринов дохода, 12 флоринов с 1200... Доход ниже 300 флоринов налогом не облагался. Наконец, «те, у коих вовсе нет постоянного дохода и кои существуют лишь за счет своей торговли или профессии, каковой они занимаются, облагаются налогом сообразно доходу, какой они, как считают, могут получить от этой торговли или профессии» [125]. Имея дело с *оценкой* подлежащего обложению дохода, люди изыщут не один способ себя защитить. И в завершение всего, как и во Франции [126], привилегия имела здесь свое значение: не существовало прямого налога на наследство.

Фискальные тяготы были перенесены на косвенный налог — оружие, которым пользовались как Генеральные штаты, так и провинции и города. Для потребителя это было как непрерывный огонь. Все наблюдатели утверждали, что ни одно государство в XVII и XVIII вв. не было настолько обременено налоговыми сборами. В XVIII в. существовали налоги на потребление, так называемые акцизы, на «вина и крепкие напитки, уксус, пиво, все виды зерна, разные сорта муки, на фрукты, на картофель [127], на сливочное масло, строительный лес и дрова, торф, уголь, соль, мыло, рыбу, табак, курительные трубки, на свинец, черепицу, кирпич, на все виды камня, на мрамор» [128].Правда,в 1748 г.[129] встал вопрос о сносе этого сложного сооружения. Но от этого пришлось отказаться, ибо никакое общее обложение не могло поглотить столько постепенно устанавливавшихся отдельных налогов, к которым худо ли, хорошо ли, но привыкли налогоплательщики. И вне сомнения, многочисленными налогами, как рядовыми солдатами, проще было маневрировать, нежели единой крупной фигурой. Во всяком случае, множество таких рядовых солдат было главной чертой фискальной системы. Это позабавило одного наблюдателя: «За корову, проданную за шестьдесят франков, будет уже заплачено 70 здешних ливров. Блюдо с мясом не поставишь на стол, прежде чем за него не заплатишь примерно двадцать раз акциз» [130]. «К тому же, — сообщает один мемуар 1689 г., — нет ни единого вида продовольствия, что не облагался бы акцизом, или налогом на потребление; тот, какой берут за помол пшеницы и за пиво, столь велик, что он почти равен его стоимости, когда оное продается по обычной цене. Они даже нашли средства сделать пиво весьма дорогим, прибегнув для сего к обычной своей ловкости, ибо, для того чтобы помешать сбыту в своей стране товара, ввоз коего их обязательства не дозволяют запретить в открытую, они в своей стране облагают по-

[125] A. N., K 849, f° 34.
[126] Marion M. *Dictionnaire des institutions de la France aux XVII^e et XVIII^e siècles.* 1923, p. 521.
[127] О раннем развитии культуры картофеля в Нидерландах см.: Vandenbroeke Ch. *Cultivation and Consumption of the Potato in the 17th and 18th Century.* — «*Acta historiae neederlandica*», V, 1971, p. 15—40.
[128] A. N., K 849, № 18, f° 20.
[129] Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 152.
[130] Parival J.-N., de. *Op. cit.*, p. 41.

требление оного таким непомерным сбором, что нет ни одного частного лица, каковое пожелало бы ввезти сей товар для своего употребления, и ни одного купца, чтобы ввезти его для продажи, из опасения, что невозможно будет найти для него сбыт»[131].

Косвенный налог, главный фактор дороговизны жизни, особенно обременял мелкий люд. Богач избегал удара или переносил его легче. Так, купцы имели право объявлять на таможне или на городских заставах стоимость подлежащих обложению товаров. Они ее устанавливали по своему усмотрению[132], и по прохождении контроля не могла более иметь места никакая проверка. А в целом можно ли вообразить себе общество и государство, которые были бы более систематично несправедливыми? При статхаудерстве Вильгельма IV потребовались бунты (которые он отчасти и спровоцировал), чтобы положить конец системе откупа налогов[133]. Но учреждение государственного управления (50 тыс. служащих в одной только провинции Голландия)[134] ничего не изменило в изначальном неравенстве системы.

И это было логично: богатый налогоплательщик, который сопротивлялся замечательно оснащенному фиску, постоянно участвовал в займах Генеральных штатов, провинций или городов. К 1764 г. Соединенные Провинции, могущие рассчитывать на 120 млн. флоринов дохода, имели 400 млн. долга под очень низкий процент. Не свидетельствует ли это о сильном государстве, которому достало денег и для общественных работ, и для армий наемников, и для снаряжения флотов? А также о государстве, умеющем управлять государственным долгом? «Поскольку никогда не бывает задержек в выплате процентов,— объяснял Исаак де Пинто,— это приводит к тому, что никто не думает о том, чтобы изъять свои капиталы; а сверх того, имея нужду в деньгах, *они могут продавать их с выгодой*»[135]. Я подчеркнул последние слова де Пинто, поскольку они объясняют следующий пассаж в «Журналь де коммерс» от января 1759 г.: «Государственные бумаги в Голландии... приносят лишь 2,5%, но на рынке за них можно получить 4, а то и 5%»[136]; понимай: будучи выпущены по 100, они котируются по 104 или 105. Как только возникала нужда в займе, подписчики спешили принять участие. Одно письмо из Гааги от августа 1744 г. гласит: «Доказательство богатств голландских частных лиц и великого обилия денег, что имеются в стране, состоит в том, что три миллиона пожизненных шестипроцентных рент и подлежащих выплате из 2,5% облигаций были собраны меньше чем за десять часов, и, ежели бы капитал составлял пятнадцать миллионов, результат был бы тем же; но дела государственной казны обстоят не так, как с частными кошельками: последние полны, а казна почти пуста; однако же в случае необходимости можно найти большие ресурсы посредством некоторого упорядочения в финансах, а особенно — посемейного налога»[137].

А в «случаях необходимости» недостатка не было: войны были бездонной пропастью; и еще того больше — такая «искусственная» страна, какой были Соединенные Провинции, еже-

[131] A. N., K 1349, 132, f° 215.
[132] A. N., K 849, f° 17—18.
[133] *Ibid.*
[134] *Ibid.*
[135] Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 147.
[136] *«Journal de commerce»*, janvier 1759.
[137] Варшава, Центральный архив, фонд Радзивиллов, 18 августа 1744 г.

годно должна была реконструироваться. В сущности, «содержание дамб и больших дорог стоит государству больше, чем приносят ему налоги с земель» [138]. «Однако же доход от коммерции и потребления громаден, невзирая на скаредность ремесленников, которая дает пароли [139] французской умеренности, не принося тех же выгод, ибо рабочая сила там намного более дорога, нежели во Франции». Вот мы и снова перед проблемой дороговизны жизни. Она была нормальной в центре мира-экономики, привилегированная страна даже находила в этом свою выгоду. Но как и все преимущества, она могла в один прекрасный день обратиться в свою противоположность. Быть может, это преимущество приносило свои успешные результаты, лишь будучи поддержано активным производством? Однако в XVIII в. производство снижалось, тогда как заработная плата, по выражению Яна де Фриса, оставалась «оцепеневшей», «окаменевшей» [140] на высоких уровнях. Ответственность за это определенно лежала на налогообложении. Но признак ли то «слабого государства», что государственные нужды удовлетворяются за счет общества?

ПЕРЕД ЛИЦОМ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Что Соединенные Провинции были сильным государством, показывает их внешняя политика на протяжении «Золотого века» Республики примерно до 80-х годов XVII в., когда упадок ее значения в Европе начал становиться очевидным.

С 1618 по 1648 г., в течение так называемой Тридцатилетней войны, там, где мы, историки, видим на первом плане лишь Габсбургов или Бурбонов, Ришелье, графа и герцога Оливареса или Мазарини, не принадлежала ли очень часто доминирующая роль Голландии? Нити дипломатии связывались и распутывались в Гааге. Именно там организовывались последовательные вступления в войну Дании (1626 г.), Швеции (1629 г.) и даже Франции (1635 г.). Однако, как всякий уважающий себя центр экономического мира, Соединенные Провинции удерживали войну за своими пределами: на их границах серия крепостей усиливала препятствия, образуемые многосложными вод-



[138] Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 94.

[139] Термин карточной игры. В фигуральном смысле «делать пароли» означает «раздувать, превышать».

[140] Vries J., de. *An Inquiry into the Behavior of Wages*, p. 13.

Соединенные Провинции перед лицом испанской угрозы

I. Соединенные Провинции превращаются в укрепленный остров

В конце XVI в. все города в Нидерландах были укреплены «на итальянский манер», с *бульварами* и *кавальерами.* В 1605—1606 гг. Мориц Нассауский дополнил эти фортификационные сооружения постройкой сплошного пояса небольших фортов и земляных валов вдоль крупных рек. (См.: Parker G. *El ejército de Frandes...* 1976, p. 48—49.)

II. Важность сухопутной торговли для Соединенных Провинций

Подлинной угрозой для страны было оказаться отрезанными от водных путей, которые их соединяли в торговом отношении с испанскими Нидерландами и с Германией. О важности этой связи свидетельствуют доходы таможен, находившихся под испанским контролем: 300 тыс. экю за год. Рядом с названием каждого города указана выплаченная им сумма (в тыс. экю). (См.: Alcala-Zamora. *España,* ... 1975, p. 184.)

III. Попытка блокады в 1624—1627 гг.
В 1624 г. испанцы установили блокаду водных путей и снабжения скотом по суше из Дании (по дороге, обозначенной двойной чертой). Но продолжать эту дорогостоящую политику после 1627 г. они не смогли. Не произошло ли это по причине экономического кризиса и банкротства испанского государства в том же году? (*Ibib.*, p. 185.)



IV. Суша против моря
Будучи затруднена на море, война для испанцев зависела от системы снабжения, которая, опираясь на Сицилию, Неаполь, Миланскую область, Франш-Конте, испанские Нидерланды и пользуясь многочисленными случаями потворства или нейтралитета в немецких землях, смогла создать постоянные транспортные коридоры через Альпы до самого Северного моря. На карте этот испанский [снабженческий] маршрут продлен до Голштинии, зоны набора солдат для нидерландской армии. (По данным Дж. Паркера: Parker G. *Op. cit.*, p. 90.)



ными преградами. Немногочисленным, но «очень тщательно отобранным, очень хорошо оплачиваемым и хорошо кормленным» [141], обученным самому научному ведению войны наемникам было поручено следить за тем, чтобы Республика оставалась защищенным островком, в безопасности.

Взгляните также, как флот Соединенных Провинций вмешался в 1645 г. в военные действия на Балтике, чтобы положить конец войне между Данией и Швецией, которая вредила голландским интересам. Если Соединенные Провинции, несмотря на все усилия принцев Оранских, воздержались от всякой завоевательной политики в ущерб испанским Нидерландам, то

[141] Michelet J. *Histoire de France*. XIV, 1877, p. 2.

отнюдь не от слабости. В интересах ли амстердамских купцов было идти освобождать Антверпен, когда устье Шельды и его блокада находились в их руках? Посмотрите, как делегаты Штатов в Мюнстере увеличивали число требований к французам и уловок против них. «Жалкое зрелище — видеть как сии депутаты с нами обходятся», — писал Сервьен [142]. Посмотрите (ради еще одного ориентира), как в 1668 г. Соединенным Провинциям удалось заключить тройственный союз с Англией и Швецией и остановить внушавшее беспокойство продвижение Людовика XIV в испанских Нидерландах. В те годы — 1669 и 1670, — бывшие решающими для всей истории Европы, Ян де Витт, великий пенсионарий, державший в своих крепких руках голландские силы, и посол Людовика XIV великолепный Арно де Помпонн учтиво вели дискуссии на равных. У меня не создается впечатления, если к ним внимательно прислушаться, что у голландца был самомалейший комплекс неполноценности перед лицом представителя Короля Солнца. Он очень спокойно (и, на наш взгляд, здраво) объяснял не верившему своим ушам послу, почему Франция, в сущности, не в состоянии навязать Голландии свою волю.

[142] A. E., C. P. Hollande, 35, f° 267 v°, 15 мая 1646 г.



Захват груженных серебром испанских кораблей кораблями голландской Вест-Индской компании около Гаваны 8 сентября 1628 г. Эстамп Вишера. *Собрание фонда «Атлас ван Столк».*

Нет, нидерландское правительство не было несуществующим, это было не столько делом правительства, сколько просто следствием экономического веса. При мирных переговорах в Нимвегене (1678 г.), Рисвике (1697 г.) и в Утрехте (1713 г.) Соединенные Провинции оставались державой, имевшей вес. Подъем Англии и Франции медленно, но верно шел в ущерб им,все более и более раскрывая их недостатки и их хрупкость, но то была эволюция, плоды которой будут вызревать долго.

ЦАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Тем, что голландские политика и образ жизни не переставали защищать и охранять посреди благоприятных и неблагоприятных перипетий, через которые им приходилось проходить, был комплекс торговых интересов. Интересы эти распоряжались всем, все захлестывали — чего не смогли сделать ни религиозные страсти (скажем, после 1672 г.), ни страсти национальные (к примеру, после 1780 г.). Иностранные наблюдатели зачастую выражали свое возмущение этим, и они — искренние или нет, объективные или необъективные — помогают нам увидеть это более ясно.

Действительно, как не поражаться, что голландские купцы, терпевшие придирки со стороны VOC [143] и ревниво относившиеся к ее привилегиям, своими собственными капиталами приводили в движение или поддерживали соперничавшие с нею Ост-Индские компании — английскую, датскую, шведскую, французскую, даже Компанию Остенде? Что они вкладывали деньги во французское каперство в Дюнкерке, которое при случае обращалось против кораблей их соотечественников? [144] Что купцы пребывали в сговоре с варварийскими корсарами, что оперировали в Северном море (правда, варварийцами этими зачастую бывали не признававшиеся в том голландцы)? Что в 1629 г. после захвата около Гаваны испанских галионов акционеры Вест-Индской компании потребовали немедленного раздела добычи и, добившись этого, положили начало первой слабости своей компании? [145] Точно так же именно с оружием, закупленным у голландцев, португальцы изгнали последних из Ресифи в 1654 г., а Людовик XIV напал на Республику в 1672 г. Во время войны за Испанское наследство выплаты французским войскам, сражавшимся в Италии, производились через Амстердам, к возмущению англичан, союзников голландцев в войне с Францией. Дело было в том, что царил купец, и торговый интерес играл в Голландии роль интереса государственного. «Торговля желает быть свободной», — писал в 1662 г. Питер де Ла Кур [146]. «Барыш — один-единственный компас, который ведет сих людей», — восклицал Ла Тюйери, французский посол [147], в письме к Мазарини от 31 марта 1648 г. Около того же времени, в 1644 г., директора Ост-Индской компании энергично утверждали, что «города и крепости, кои де *Heeren XVII* [148] завоевали в Ост-Индии, надлежит рассматривать не как национальные завоевания, но как собственность частных лиц — купцов, которые вправе продавать их кому пожелают, даже если бы речь шла о короле Испанском или о любом другом враге Соединенных Провинций» [149]. Враги Голландии — а имя им было легион — без всякого труда продолжили бы такие перечни, составленные по совести, как если бы пороки других были нашей личной заслугой. Один француз заявлял: «В Голландии интерес государства в делах торговли составляет интерес частных лиц, они идут нога в ногу [это то же самое, как сказать, что государство и купеческое общество были одним и тем же]. Торговля абсолютно свободна, купцам абсолютно ничего

[143] Аббревиатура, обозначавшая голландскую Ост-Индскую компанию.
[144] A. N., K 1349, f° 50 v°.
[145] *Ibid.*
[146] La Court P., de. *Op. cit.*, p. 53.
[147] A. E., C. P. Hollande, 46, f° 309.
[148] 17 директоров Ост-Индской компании.
[149] Boxer C. *Op. cit.*, p. 46. Цит. по: Papagno G. *Struttura e istituzioni nell' espansione coloniale: Portogallo e Olanda.— Dall' Età preindustriale all'età del capitalismo.* Ed. G. L. Basini, 1977, p. 88—89.

не приказывают, у них нет иных правил, коим надлежало бы следовать, помимо правил собственного их интереса: это установленная максима, которую государство рассматривает как вещь главнейшую для себя. Таким образом, когда частное лицо делает для своей коммерции нечто, противоречащее интересу государства, государство закрывает глаза и делает вид, что не замечает сего; об этом легко судить по тому, что произошло в 1693 и 1694 гг. Во Франции не было зерна, голод был всеобщим; то было самое тяжкое мгновение войны, казалось, то был момент роковой для Франции и благоприятный для союзников, объединившихся против нее. Разве существовал более высокий государственный интерес для сказанного голландца и для его созников, чем способствовать гибели Франции, дабы заставить ее по крайней мере принять мир на условиях, кои они пожелали бы ей навязать? Следовательно, никоим образом не поставлять ей зерно — разве не должны они были искать всяческих средств для ее истощения, ежели то было для них возможно? Нельзя сказать, что они не ведали о сем политическом обстоятельстве, ибо издали строжайшие запреты всем купцам и хозяевам кораблей, кои зависят от их власти, отправляться во Францию под каким бы то ни было предлогом. Однако разве помешало сие переписке голландских купцов со сказанными французскими купцами, с целью отправить им во Францию [хлеб], используя корабли шведские и датские или же свои корабли, замаскированные флагом нейтральных стран, а то и больше того — собственные свои корабли под голландским флагом?..» [150]

Однако в Амстердаме никто вслух не выражал неодобрения ни такому поведению, ни следовавшим одна за другой спекуляциям или злоупотреблениям, о которых свидетельствуют с начала XVII в. и преступные деяния биржевого игрока Исаака Ле Мэра [151]. Дела — это дела. Для иностранцев, судей в моральных вопросах, все могло произойти в этой стране, «которая не такова, как прочие». Во время второй англо-голландской войны (1665 — 1667 гг.) французский посол граф д'Эстрад дошел до того, что вообразил, что есть «риск увидеть сию страну подчиненной англичанам. В государстве существует сильная интрига в пользу сего» [152].

[150] A.N., M 785, dos. 4, f[os] 16—17.
[151] Van Dillen J.G. *Isaac Le Maire et le commerce des Indes Orientales.*— *«Revue d'histoire moderne»*, 1935, p. 121—137.
[152] A.N., A.E., B[1], 619, 18 июня 1665 г.

ОВЛАДЕТЬ ЕВРОПОЙ — ОВЛАДЕТЬ ВСЕМ МИРОМ

Европа была первым условием нидерландского величия. Вторым его условием был весь мир. Но не было ли второе отчасти следствием первого? Голландия завоевала торговую Европу — и вполне логично, что мир был ей отдан почти что в придачу. Во всяком случае, что с одной, что с другой стороны, но именно аналогичными методами Голландия навязала свое преобладание, или, лучше сказать, свою торговую монополию рядом с собой или вдали от себя.

ГЛАВНАЯ ИГРА БЫЛА СЫГРАНА ДО 1585 г.

В средние века Балтика была своего рода Америкой, до которой рукой подать. И вот начиная с XV в. нидерландские корабли, возившие соль и рыбу, составили там конкуренцию ганзейцам. В 1544 г. в Шпейере[153] Карл V добился от короля Датского свободного прохода через Зунд для фламандских кораблей. Десять лет спустя генуэзцы и португальцы в Антверпене вследствие острой нехватки продовольствия в своих странах направляли свои заказы на зерно в Амстердам, ставший с этих лет первым портом перераспределения зерна[154] (вскоре скажут «житницей Европы»), в ущерб городу на Шельде. Успех был огромен: в 1560 г. нидерландцы стянули к себе 70% тяжелых перевозок по Балтийскому морю...[155] С этого времени «захват» был осуществлен. Зерно и *морские товары* (*naval stores*) — доски, брусья, мачты, смола, вар — стекались в Амстердам, и такая *мать-торговля* (*moeder commercie*[156]) будет еще поглощать во времена нидерландского великолепия до 60% оборотного капитала Соединенных Провинций и занимать до 800 кораблей ежегодно. По мнению Астрид Фриис, поток сырья, приходившего из стран Балтийского бассейна, был двигателем экономических и политических перемен XVII в.[157]

Тем не менее, как бы он ни был важен, он был лишь частью нидерландской игры. В самом деле, торговля балтийских стран не расцвела бы в полной мере без эксплуатации далекого Пиренейского полуострова, обладателя металлических монет, все более и более становившихся ключом к торговле на Балтике. Ибо нужно было форсировать торговлю прибрежных стран и оплачивать там превышение закупок над продажами.

Но именно перераспределение прибалтийского зерна обеспечило успех нидерландских кораблей на Юге. Так, восторжествовав на Балтике, они немного спустя восторжествовали в Ларедо, в Сантандере, в Бильбао, в Лисабоне, а позднее — в Севилье. С 1530 г., самое позднее — к 1550 г.[158], фламандские урки обеспечивали самую большую долю морских перевозок между Северной Европой и портами Португалии и Испании. Вскоре они будут перевозить пять шестых тех товаров, которыми обменивались Пиренейский полуостров и Северная Атлантика: пшеницы, ржи, морских товаров и промышленных изделий Северной Европы (которые Севилья реэкспортировала в Новый Свет) в обмен на соль, растительное масло, шерсть, вино и особенно — белый металл.

Овладение этим направлением торговли к тому же совпало с открытием амстердамской Биржи. Еще одно совпадение: сразу же после великих зерновых экспедиций в Средиземноморье (1590 — 1591 гг.) амстердамская Биржа была заново перестроена[159], а вскоре затем была основана Страховая палата (1598 г.)[160].

Связь Север — Юг была и осталась жизненно важной для обоих партнеров, настолько, что ее не прервало восстание в Нидерландах (1572 — 1609 гг.). Взаимоотношения между восставшими провинциями и блоком Испании и Португалии были, если еще раз воспользоваться выражением Жермены Тилль-

[153] Du Mont J. *Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traitez...*, 1726, IV, p. 274.
[154] Da Silva J. G. *Trafics du Nord, marchés du «Mezzogiorno», finances génoises: recherches et documents sur la conjoncture à la fin du XVI^e^ siècle.— «Revue du Nord»*, avril—juin 1959, p. 146.
[155] Wallerstein J. *The Modern World System*, I, p. 211; Jeannin P. *Op. cit.*, p. 10.
[156] *Moeder* — в значении «торговли — матери, кормилицы».
[157] Цит. у И. Валлерстайна: Wallerstein I. *Op. cit.*, p. 198—199.
[158] Braudel F. *Médit...*, I, p. 128; Vazquez de Prada V. *Lettres marchandes d'Anvers*. 1960, I, p. 48.
[159] Da Silva J. G. *Banque et crédit en Italie...*, I, p. 593, note 183.
[160] *Ibid.*

он (по поводу Франции и Алжира вчерашнего, в 1962 г.), взаимоотношениями дополняющих друг друга противников [161], которые не могут и не хотят друг от друга освободиться. В Испании вспыхивали раздражение, моментами ярость, даже громко объявлялось о репрессивных мерах. В 1595 г. Филипп II повелел захватить в портах полуострова 400 кораблей (некогда торговля с врагом не наталкивалась на запреты, ставшие ныне правилом), т. е. две пятых, как нам говорили, голландского флота, который в то время *будто бы* составлял тысячу кораблей [162]. Но арестованные парусники, поставленные на обязательные перевозки, в конечном счете были освобождены или сами освободились. В 1596 и 1598 гг. испанские порты снова были для них закрыты, но меры эти невозможно было применить. Точно так же останутся лишь планами и лелеявшиеся одно время великие прожекты отказать восставшим в соли Сетубала или Кадиса, дабы поставить их на колени [163]. К тому же соляные поля приатлантической Франции в Бруаже и Бурнёфе оставались доступными, и разве не они поставляли для солонины Севера соль, превосходившую качеством соль Пиренейского полуострова? Наконец, и это главное, Испания, которая раньше обеспечивала себя пшеницей, с 1560 г. пребывала во власти кризиса, дезорганизовавшего ее земледелие [164]. Она была выдана на милость иноземному зерну, которого к концу XVI в. почти невозможно было найти в Средиземноморье. В 1580 г., во время завоевания Португалии, оккупированная страна буквально умирала с голоду; пришлось-таки обратиться к Северной Европе, и платежи, непременно производившиеся в золоте, дезорганизовали вплоть до самого Средиземноморья испанскую систему обычных трансфертов в звонкой монете [165]. Имел значение и довод советников Филиппа II, а именно: упразднить торговлю с восставшими означало бы лишить себя дохода с таможен в размере миллиона дукатов в год [166]. В самом деле, у Испании не было выбора, она вынуждена была принимать эти неприятные и необходимые обмены. И Соединенные Провинции находились в аналогичном положении.

Испанское расследование, проведенное в Севилье в 1595 г., вскрыло присутствие в городе едва замаскированных корреспондентов-купцов Северной Европы [167]; их письма были перехвачены, скомпрометированы оказались высокие особы Испании, но настолько высокие, что расследователь не посмел о них говорить. В это время бесшумное завоевание голландцами Севильи уже свершилось [168]. В самом деле, до 1568 г. генуэзские банкиры финансировали севильскую торговлю с Америкой и позволяли купеческим кругам города преодолевать благодаря кредиту длительное ожидание, какое навязывали нескончаемые плавания через Атлантику. После 1568 г. генуэзцы от этой деятельности отказались, они предпочли помещать свои капиталы в займы Католическому королю. Освободился рынок, и именно купцы с Севера им завладели: они авансировали не деньги, это было еще за пределами их возможностей, но товары, цену которых они возмещали по возвращении флотов. Завязалась дополнительная связь: раз и навсегда Север вклю-

[161] Tillion G. *Les Ennemis complémentaires.* 1960.
[162] Price A. G. *The Western Invasions of the Pacific and its Continents.* 1963, p. 29.
[163] Simancas, E°—569, f° 84 (s. d.); Rau V. *Rumos e vicissitudes do comércio do sal português nos seculos XIV à XVIII.— «Revista da Faculdade de Letras»* (Lisboa), 1963, № 7, p. 5—27.
[164] Данные Фелипе Руиса Мартина из его еще не изданной работы.
[165] Braudel F. *Médit...,* I, p. 535.
[166] *Ibid.,* p. 574.
[167] Braudel F. *Médit...,* I, p. 575; Berthe J.-P. *Les Flamands à Séville au XVI^e siècle.— Fremde Kaufleute auf der iberischen Halbinsel.* Hrsg. H. Kellenbenz, 1970, S. 243.
[168] Van Klaveren J. *Europäische Wirtschaftsgeschichte Spaniens im 16. und 17. Jahrhundert.* 1960; Braudel F. *Médit...,* I, p. 573 sq.

чился в испанскую торговлю с Индиями. Испанские купцы в Севилье, которыми все больше и больше управляли, становились комиссионерами либо необходимыми подставными лицами, ибо по закону торговля Пути в Индии (*Carrera de Indias*) была закреплена за одними испанцами. Отсюда и странный инцидент, произошедший в 1596 г. В Кадисском заливе во время разграбления англичанами порта были захвачены шестьдесят кораблей, груженных товарами, предназначенными для Индий. Победители предложили их не сжигать — все вместе они стоили при самой низкой расценке более 11 млн. дукатов — с условием, что им немедленно будет выплачено вознаграждение в два миллиона. Но потерпеть убытки в этом деле рисковали не испанцы: товары-то принадлежали голландцам. Не потому ли герцог Медина-Сидония, бывший, впрочем, другом (чтобы не сказать сообщником) голландцев, отверг соблазнительное предложение? Во всяком случае, корабли сгорели [169].

[169] Van Klaveren J. *Op. cit.*, p. 116—117.

В общем, первый широкий взлет Голландии вытекал из обеспеченной кораблями и купцами связи между полюсом северным — Балтийским морем и фламандской, немецкой и французской промышленностью — и полюсом южным, которым была Севилья, великий выход на Америку. Испания получала сырье и готовые изделия; голландцы обеспечивали себе, официальным или неофициальным путем, оплату в наличных деньгах. И это серебро, бывшее гарантией их имевшей отрицательный баланс торговли со странами Балтийского моря, было средством вскрыть их рынки и устранить их конкуренцию. Улыбку вызовет у нас граф Лестер, который в 1585 — 1587 гг.,



Голландские промыслы, где вытапливался китовый жир, на вулканическом острове Ян-Майен к востоку от Гренландии. Картина К. де Мана, XVII в. *Амстердам, Государственный музей.*

будучи послан Елизаветой Английской в Нидерланды, бывшие тогда под покровительством королевы, додумался всерьез предложить им окончательно разорвать их торговые отношения с Испанией[170].

Вполне очевидно, успех Голландии был построен на основе Балтики и Испании *одновременно*. Видеть только первую и забывать о второй означает не понимать процесса, в котором зерно, с одной стороны, и американский белый металл, с другой, играли свои неотделимые друг от друга роли. Если в поступлениях драгоценного металла в Севилью (а затем, после 1650 г., в Кадис) увеличила свою долю контрабанда, то, значит, металлический поток не иссяк катастрофическим образом, как показал то Мишель Морино[171]. Если Испания, определенно больная, решилась или оказалась вынужденной начиная с 1605 г. выпускать в обращение столько плохой медной монеты[172], так это потому, что плохая монета вытесняет хорошую; такою ценой Испания продолжала свою политическую игру по всей Европе. К тому же в 1627 г. граф и герцог Оливарес, избавившийся от генуэзских заимодавцев (или ими покинутый), заботясь о финансах Кастилии, стал все больше и больше обращаться к услугам португальских марранов. Но ведь эти новые заимодавцы были связаны с купцами и капиталами Северной Европы[173]. То была странная, двусмысленная ситуация, о которой мы уже говорили.

И наконец, дополнительный побудительный толчок, который должен был поставить Амстердам на первое место. Разве не Испания была его творцом, разорив Юг Нидерландов, где долго шла война, снова заняв 18 августа 1585 г. Антверпен, уничтожив, не желая того, активную силу этого конкурента Амстердама и сделав из молодой Республики непременный центр объединения протестантской Европы, да к тому же еще оставив ей широкий доступ к американскому белому металлу?

170 A. N., K 1349, № 133. Памятная записка касательно управления провинциями Нидерландов (л. 3 и 4); Pirenne H. *Op. cit.*, 1973, III, p. 60.

171 Morineau M. *Gazettes hollandaises et trésors américains.* — «*Anuario de Historia económica y social*», 1969, p. 289—361.

172 Hamilton E. J. *Monetary inflation in Castile, 1598—1660.* — «*Economic History*», 6 january 1931, p. 182 f.

173 Braudel F. *Médit...*, I, p. 463.

ОСТАЛЬНАЯ ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Если бы мы располагали картами последовательной торговой экспансии Голландии, то мы бы увидели, как ее империя мало-помалу расширялась по главным направлениям европейской торговли — вдоль Рейна до альпийских перевалов, на имевших решающее значение франкфуртской и лейпцигской ярмарках, в Польше, в Скандинавских странах, в России... В 90-е годы XVI в. в связи с неурожаем зерновых в Средиземноморье голландские парусники прошли Гибралтарским проливом и, как и англичане, которые опередили их на добрых два десятка лет, появились на главных магистралях этого моря, занимаясь за счет итальянских городов выгодным каботажем. Утверждают, что проникнуть во Внутреннее море им помогли еврейские купцы[174], но толкала их туда также и конъюнктура. Вскоре их приняли все гавани Средиземного моря, но особое предпочтение перед прочими оказывали им варварийские порты и Ливорно — странный город, который воссоздали Меди-

174 Braudel F. *Medit...*, I, p. 577—578.

чи,—и, наконец, порты Леванта и Стамбул, куда им широко открыли двери подписанные ими в 1612 г. капитуляции. Не будем недооценивать в общем итоге голландского взлета важнейшую долю Европы и более чем заметную долю Средиземноморья. Успех голландских плаваний в Индийском океане не отвратил их, как можно было бы подумать, от традиционных торговых операций в Средиземном море. Рапп в недавней статье доказал даже, что Голландия, как и Англия нашли в богатом Внутреннем море золотую жилу, которую они сумели разработать и которая более, нежели их деятельность в Атлантике, положила начало их *первому* подъему.

В любом случае, разве могли голландцы, становясь центром европейского мира-экономики, пренебрегать какой бы то ни было из его периферийных частей? Позволить организоваться помимо них другой экономической империи, какова бы она ни была, которая сделалась бы их соперницей?

ГОЛЛАНДЦЫ ПРОТИВ ПОРТУГАЛЬЦЕВ: ЗАНЯТЬ МЕСТО БЛИЖНЕГО

Если Европа, не слишком это замечая, приняла первый опыт голландского господства, то произошло это, быть может, потому, что поначалу опыт этот был скромен и не вызывал подозрений, а с другой стороны, потому, что Европа качнулась тогда сама, совершенно этого не сознавая, в сторону Северной Европы, потому, что крутой поворот вековой тенденции, между 1600 и 1650 гг., разделил Европейский континент надвое: на беднеющий регион—Юг, и регион, продолжавший жить более чем нормальной жизнью,—Север.

Долговременное удержание европейского мира-экономики, конечно, предполагало захват его торговли на дальние расстояния, следовательно, захват Америки и Азии. Америка, атакованная с опозданием, ускользнула от крохотного противника, но на дальневосточную арену, в царство перца и пряностей, снадобий, жемчуга, шелка, голландцы вступили в полном блеске и силе и сумели выкроить себе львиную долю. Там они завершили завоевание скипетра над всем миром.

Этому смелому предприятию предшествовали разведывательные плавание: плавание Я. Х. Ван Линдсхотена [175] в 1582 г., путешествие Корнелиуса Хаутмана [176] в 1592 г., достойное описания в шпионском романе. Лжепутешественник на борту португальского корабля прибыл в Индию; его разоблачили, бросили в тюрьму. Успокойтесь: роттердамские купцы уплатили за него [Хаутмана] выкуп, добились его освобождения из темницы, а по его возвращении снарядили четыре корабля, которые были доверены ему и отправились из того же Роттердама 2 апреля 1595 г. Корнелиус Хаутман, который достиг Бантама в Индонезии, возвратится в Амстердам 14 августа 1597 г. [177] Возвращение было скромным: менее ста человек и кое-какие товары на борту трех кораблей, в целом прибыли смехотворные. В экономическом плане плавание не окупилось. Но оно принесло уверенность в будущих прибылях. Следовательно,

[175] *Navigatio ac itinerarium Johannis Hugonis Linscotani in Orientalem sive Lusitanorum Indiam...*, 1599.
[176] Abbé Prévost. *Histoire générale des voyages*, VIII, p. 75.
[177] *Ibid.*

оно имело вид великой премьеры, которую прославляет скверная картина в Амстердамском городском музее.

Ничего, однако, не было сенсационного в экспансии, которая без излишней спешки пойдет своим чередом и которая к тому же поначалу стремилась быть скромной, скорее мирной, чем воинственной [178]. Португальская империя, престарелая дама, которой скоро должно было исполниться сто лет, чувствовала себя довольно-таки плохо и не способна была преградить дорогу новоприбывшим. Что же касается купцов Соединенных Провинций, то они охотно договаривались даже с врагом, чтобы лучше обеспечить плавания своих кораблей. Именно это делал Ноэль Карон, агент «мятежных Штатов» (*Estados rebeldes*) в Англии, один снарядивший корабль в Ост-Индию, вложив в это дело все свое достояние, свой *caudal*. По сему поводу он переписывался со знакомым испанским агентом, обосновавшимся в Кале [179].

Не желание ли покоя заставляло нидерландские корабли направляться прямиком в Индонезию? На широте мыса Доброй Надежды открывалось несколько путей: один — *внутренний*, который шел вдоль побережья Мозамбика и на севере позволял поймать муссон и достигнуть Индии; другой — *внешний*, или, лучше сказать, «дальнего плавания», который мимо восточного побережья Мадагаскара и Маскаренских островов, а затем по проходу, что пересекает сотню островов и островков Мальдивского архипелага, продолжался все время прямо до Суматры и Зондского пролива, чтобы закончиться в Бантаме, великой яванской гавани. При плавании по этому долгому пути использовали не муссоны, а пассаты, *торговые ветры (trade winds)* английских моряков: этим маршрутом шел Корнелиус Хаутман, который после долгого пути по открытому морю 22 июня 1596 г. прибыл в Бантам. Отвечал ли выбор такого пути желанию обойти Индию, где португальское присутствие было закреплено лучше, чем в других районах? Или же, что весьма возможно, с самого начала присутствовал сознательный выбор в пользу Индонезии и ее тонких пряностей? Заметим, что этот путь уже был путем арабских мореплавателей, ходивших на Суматру и тоже хотевших ускользнуть от португальского надзора.

Во всяком случае, не вызывает сомнений, что поначалу нидерландские купцы убаюкивали себя надеждой, что их экспедиции смогут сойти за чисто торговые операции. В июне 1595 г. Корнелиус Хаутман встретил в Атлантическом океане на широте экватора две огромные португальские караки, которые направлялись в Гоа: то была мирная встреча с обменом «португальских варений» на «сыры и окорока», и корабли разошлись не без того, чтобы «весьма вежливо отсалютовать друг другу одним пушечным выстрелом» [180]. Искренне или нет, но в апреле 1599 г. при своем возвращении в Голландию Якоб Корнелиус Ван Некк [181] громко возмущался россказнями, распространявшимися в Амстердаме евреями португальского происхождения, согласно которым его богатый и доходный груз (400% прибыли) был будто бы добыт путем насилия и мошенничества. Все это архиложно, заявлял он, ибо в соответствии с распоря-

[178] См. хороший сводный обзор, которым открывается классическая книга У. Морленда: Moreland W. H. *From Akbar to Aurangzeb*. 1922, p. 1—44.
[179] Simancas, Estado Flandes 619, 1601.
[180] Abbé Prévost. *Op. cit.*, VIII, p. 75—76.
[181] A.N., K 1349.

жениями своих директоров он, напротив, остерегался «покушаться на чью бы то ни было собственность, но торговал по закону со всеми иноземными нациями». Тем не менее во время плавания Стевена Ван ден Хагена с 1599 по 1601 г. португальский форт в Амбоне (Амбоине) подвергнется нападению в надлежащей форме, хоть и без всякого успеха [182].

Впрочем, создание 20 марта 1602 г. [183] по предложению Генеральных штатов, великого пенсионария Олденбарневелта и Морица Нассауского Ост-Индской компании (VOC, т. е. *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* — Объединенной Ост-Индской компании), которая объединила в единый организм прежние компании (*vorkompagnien*) и предстала независимой державой, как бы государством в государстве (*staat-builen-de-staat*), — так вот, это создание вскоре изменило все. То было концом беспорядочных плаваний: в 1598 — 1602 гг. было отправлено 65 кораблей в составе 14 флотов [184]. С этого времени существовали только одна политика, одна воля, одно управление азиатскими делами: политика, воля и управление Компании, настоя-

[182] Moreland W. H. *Op. cit.*, p. 19, note 1.
[183] A. N., K 1349, f° 36.
[184] Davies R. *The Rise of the Atlantic Economies*, 2d ed., 1975, p. 185.



щей империи, которая стала под знамя постоянной экспансии.

Однако же сила благонамеренных оправданий такова, что еще в 1608 г. купцы, участвовавшие в плаваниях в Индонезию с самого начала, продолжали восставать против всякого насилия, утверждать, что-де их корабли оснащались для ведения честной торговли, а не для того, чтобы строить форты или захватывать португальские караки. В это время — тем более, *a fortiori*, когда в Антверпене будет подписано 9 апреля 1609 г. [185] Двенадцатилетнее перемирие, прекращавшее военные действия между Соединенными Провинциями и Католическим королем, — они еще сохраняли иллюзии, что смогли бы спокойно взять свою долю с азиатского золотого дна. Тем более что перемирие не предусматривало ничего относительно зон, расположенных южнее экватора. В общем, Южная Атлантика и Индийский океан были свободными зонами. В феврале 1610 г. голландский корабль, направлявшийся в Индонезию, зашел в Лисабон и испросил у вице-короля согласия Католического короля на то, чтобы наступившее перемирие было бы объявлено на Дальнем Востоке (попутное доказательство того, что там еще дрались). Вице-король запросил у Мадрида инструкции, которые не пришли к нужному времени, так что голландский корабль, имевший приказ ожидать только двадцать дней, оставил Лисабон, не получив ответа, на который рассчитывал [186]. Это всего лишь один из фактов. О чем он свидетельствует — о стремлении голландцев к миру или просто об их осторожности?

Во всяком случае, их экспансия быстро приняла черты стремительного взрыва. В 1600 г. голландский корабль достиг Кюсю, южного острова Японского архипелага [187]; в 1601, 1604, 1607 гг. голландцы пытались торговать непосредственно в Кантоне и обойти португальскую позицию в Макао [188]; с 1603 г. они достигают острова Ланка (Цейлон) [189]; в 1604 г. потерпело неудачу очередное их нападение на Малакку [190]; в 1605 г. они захватили на Молуккских островах португальскую крепость Амбон, которая, таким образом, оказалась первым основательным поселением Ост-Индской компании [191]; в 1610 г. они атаковывали испанские корабли в Малаккском проливе и овладели Тернате [192].

После этого завоевание, хоть и трудное, продолжалось, несмотря на перемирие. В самом деле, Компании приходилось бороться не только против португальцев и испанцев (последние, базируясь на Маниле и действуя на Молуккских островах, цеплялись за Тидоре вплоть до 1663 г.) [193], но и против англичан, которые, не всегда следуя хорошо разработанному плану, появлялись то тут, то там; наконец, и в не меньшей мере, против активной массы азиатских купцов: турок, армян, яванцев, китайцев, бенгальцев, арабов, персов, гуджаратских мусульман... Поскольку Индонезия образовывала главное сочленение многообразной торговли между Индией, с одной стороны, и Китаем и Японией — с другой, господство на этом перекрестке и надзор за ним были целью, которую голландцы себе поставили, но какой же труднодостижимой целью! Один из первых губернаторов Компании в Индонезии Ян Питерсзон Кун

[185] A. d. S. Genova, Spagna, 15.
[186] C. S. P. East Indies, p. 205, Коттингтон — Солсбери, 18 февраля 1610 г.
[187] Dermigny L. *Op. cit.*, I, p. 107.
[188] *Ibid.*, p. 106.
[189] Macpherson D. *Annals of Commerce*. 1805, II, p. 233.
[190] Dermigny L. *Op. cit.*, I, p. 105, note 1.
[191] A. N., Marine, B 7, 463, f° 145; Savary J. *Op. cit.*, V. col. 1196.
[192] A. N., K 1349, f° 44.
[193] Simkin C. G. F. *The Traditional Trade of Asia*. 1968, p. 188.

Нападение 8 июня 1660 г. голландских военных кораблей на город Макассар на острове Сулавеси (Целебес). Уничтожение и сожжение португальских укреплений и кораблей. Однако же хозяевами острова голландцы станут лишь в 1667—1669 гг. Рисунок Фреда Вольдемара. *Национальная библиотека (C. et Pl., Y. 832). Фото Национальной библиотеки.*

(1617—1623, 1627—1629 гг.)[194] будет судить о положении с поразительной проницательностью: он ратовал за эффективный и долговременный захват, советовал наносить соперникам тяжкие удары, строить крепости и *вдобавок заселять*, мы сказали бы *колонизовать*. В конечном счете Компания убоялась дороговизны столь обширного проекта, и дискуссия закончилась не в пользу наделенного богатым воображением губернатора. Это был уже извечный конфликт между колонизатором и купцом, конфликт, в котором, скажем, Дюплекс всегда оказывался в поигрыше.

Но логика вещей должна была мало-помалу привести к неизбежному. Основание Батавии в 1619 г. сконцентрировало в одном привилегированном месте важнейшую часть голландских могущества и торговли в Индонезии. И именно отправляясь от этого неизменного места и от «островов пряностей», голландцы соткали громадную паутину торговых операций и обменов, которая в конце концов и составила их империю — хрупкую, гибкую, построенную (как была построена и португальская империя) «на финикийский лад». Около 1616 г. были уже установлены плодотворные контакты с Японией, в 1624 г. голландцы добрались до Формозы (Тайваня); двумя годами раньше, в 1622 г., они предприняли атаку, правда потерпевшую неудачу, на Макао. И лишь в 1638 г. Япония изгнала португальцев и с этого времени соглашалась принимать наряду с китайскими джонками только голландские корабли. Наконец, в 1641 г. голландцы овладели Малаккой, обеспечив к собственной выгоде быстрый ее упадок. В 1667 г. покорилось царство Ачем на острове Суматра[195]; в 1669 г. настал черед Макассара[196], а в 1682 г. — Бантама, старинного процветающего порта, соперника Батавии[197].

Но никакое присутствие в Индонезии не было возможно без связей с Индией, которая господствовала над целым азиатским миром-экономикой, от мыса Доброй Надежды до Малакки и Молуккских островов. Хотели они того или нет, но голландцы осуждены были на то, чтобы ходить в индийские гавани. На Суматре и в иных местах, где обмен перца производился на индийские ткани, они не могли согласиться оплачивать свои закупки серебром или получать коромандельские или гуджаратские ткани из вторых рук. Так что с 1605 г. они оказались в Масулипатаме, с 1606 г. — в Сурате[198], хотя внедрение их в этот последний порт, самый большой в Индии, завершилось лишь в 1621 г.[199] С 1616 по 1619 г. были основаны фактории в Броче, Камбее, Ахмадабаде, Агре, Бурханпуре[200]. Проникновение в первобытную и очень плодородную Бенгалию было медленным (в целом не раньше 1650 г.). В 1638 г. голландцы обосновались на Ланке (Цейлоне), острове корицы. В начале века один из их капитанов писал: «Берега острова изобилуют ею — лучшею корицей, какая есть на Востоке; так что, когда остров у тебя на ветре, запах ее ощущаешь в море за 8 лье»[201]. Но господами вожделенного острова они станут только в 1658—1661 гг. Затем они прорвутся на сдержанно их встречавшие до того времени рынки Малабарского побережья. В 1665 г. они захватят Кочин[202].

[194] Moreland W. H. *Op. cit.*, p. 63.
[195] Simkin C. G. F. *Op. cit.*, p. 225.
[196] Boxer C. R. *Op. cit.*, p. 143.
[197] *Ibid.*, p. 196.
[198] Moreland W. H. *Op. cit.*, p. 32.
[199] *Ibid.*, p. 38.
[200] Simkin C. G. F. *Op. cit.*, p. 199 f.; A. N., K 1349.
[201] Renneville C. *Voyage de S. van Rechteren...*, 1703, II, p. 256.
[202] Macpherson D. *Op. cit.*, II, p. 466.

Приблизительно к 50-м или 60-м годам XVII в. голландская империя обрела свои истинные размеры. Следовательно, оттеснение португальцев проходило не галопом. Их империя, конечно хрупкая, была защищена самою своей протяженностью: она была рассеяна на пространстве, простиравшемся от Мозамбика до Макао и до Японии; и, не будучи сотворена из плотного вещества, не должна была пошатнуться целиком от первого толчка. Наконец, как показывают это бумаги Фердинанда Крона [203], представителя Фуггеров и Вельзеров в Гоа, сухопутная служба информации всегда опережала движение голландских или английских кораблей, направлявшихся в Индийский океан. Так что португальские власти бывали своевременно предуведомлены *через* Венецию и Левант о проектировавшихся против них нидерландских экспедициях. Наконец, у нападавших не всегда были средства и люди, чтобы занять все отвоеванные у их предшественников пункты. Их успех влек за собой также их собственное рассеяние. Короче говоря, в то время как голландское наступление началось еще с конца XVI в., перец и пряности еще в 1632 г. прибывали непосредственно в Лисабон [204]. И только со взятием Малакки в 1641 г. португальская империя в Азии была действительно выведена из игры.

В общем, голландцы заняли место ближнего. Бонрепо, посол Людовика XIV, в 1699 г. обвинял их в том, что успех свой они построили, «насколько сие было для них возможно, на разорении тех европейцев, кои им предшествовали, дабы таким путем с выгодой воспользоваться тяжкими трудами, каковые другим пришлось приложить, чтобы приручить индийцев, подчинить их или привить им вкус к коммерции» [205]. Но если бы португальскую империю не пошатнула, а затем не разрушила Голландия, этим занялся бы в одиночку англичанин, по опыту знавший Индийский океан и Индонезию. Разве не совершили кругосветные путешествия Дрейк в 1578 г., а Ланкастер — в 1592 г.? [206] Разве не создали англичане свою Ост-Индскую компанию в 1600 г., за два года до голландской? И не они ли неоднократно захватывали португальские караки с богатым грузом? [207] Эти огромные караки, самые крупные суда, существовавшие тогда в мире, не способны были ходить быстро и по-настоящему использовать свою огневую мощь; с другой же стороны, они тяжко страдали от нескончаемых обратных плаваний: голод, болезни, цинга были неотъемлемой частью путешествия.

Итак, если бы голландцы ни низвергли португальскую империю, этим прекрасно занялись бы англичане. Впрочем, голландцам, едва занявшим место, пришлось обороняться от этих упорных противников. Им трудно было устранить англичан из Японии и Индонезии, не удалось закрыть для них Индию и свободно отбросить их в западную часть Индийского океана, к Персии и Аравии. В 1623 г. потребовалось прибегнуть к насилию, чтобы изгнать англичан из Амбона [208]. И те еще долго оставались в Индонезии, покупая перец и пряности и упорно продавая индийские хлопчатые ткани на открытом рынке Бан-

[203] Kellenbenz H. *Ferdinand Cron.— «Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben»*, 9, S. 194—210.

[204] Gómes Solis D. *Mémoires inédits de...(1621)*. Éd. Bourdon, 1955, p. 1; Cuvelier J., Jadin L. *L'Ancien Congo d'après les archives romaines, 1518—1640*. 1954, p. 499, 10 апреля 1632 г.

[205] A.N., K 1349, 132, f° 34.

[206] *Voyage curieux faict autour du monde par Francis Drach, admiral d'Angleterre*. 1641. Ed. F. de Louvencourt. 1859, p. 306—307.

[207] Braudel F. *Médit...*, I, p. 277, 279.

[208] Во время «избиения» англичан, арестованных по обвинению в заговоре и казненных после видимости суда. См.: Moreland W.H. *Op. cit.*, p. 23.

СВЯЗНАЯ СИСТЕМА ТОРГОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОЛЛАНДСКОЙ ИМПЕРИИ

Самым большим богатством Азии были торговые перевозки между разными экономическими зонами, зачастую очень друг от друга удаленными, то, что французы называли *торговлей из Индии в Индию* (*commerce d'Inde en Inde*), англичане — *местной торговлей* (*country trade*), голландцы — *внутренней торговлей* (*inlandse handel*). В этом каботаже на дальние расстояния какой-либо данный товар требовал другого, тот двигался навстречу и так далее. Здесь мы находимся *внутри* азиатских миров-экономик, образовывавших живое множество. Европейцы проникли туда, и гораздо раньше, нежели обычно утверждают. Сначала португальцы. Потом — голландцы. Но эти последние, быть может из-за своего европейского опыта, лучше других поняли, каким образом торговые перевозки Дальнего Востока сопрягались друг с другом. «[Таким образом] им удалось, — писал аббат Рейналь [209], — овладеть каботажем Азии, как они овладели каботажем Европы», на самом деле потому, что «каботаж» этот они рассматривали как связную систему, в которой надлежало завладеть ключевыми товарами и ключевыми рынками. Португальцы, не бывшие по этому поводу в неведении, не достигли, однако же, такого совершенства.

Как и в других регионах, обмены на Дальнем Востоке затрагивали товары, драгоценные металлы, кредитные бумаги. Драгоценные металлы вступали в игру там, где нельзя было обменять товары в достаточном количестве. Кредит в свою очередь вступал в действие там, где монета в силу ли ограниченной массы или малой скорости ее обращения не могла сразу же уравновесить торговые балансы. Тем не менее на Дальнем Востоке европейские купцы не располагали обильным кредитом, к которому они привыкли у себя дома. Для них он был скорее компенсацией, паллиативом, нежели движущей силой. Конечно, при случае они обращались к заимодавцам Японии [210] или Индии (в Сурате) [211], но эти «банкиры» гораздо более были к услугам местных посредников, а не купцов и агентов Запада. В конечном счете приходилось прибегать к драгоценным металлам, главным образом к серебру, которое европейцы извлекали из Америки и которое служило при таких обменах как «Сезам, откройся».

И все же этого импорта с Запада оказывалось недостаточно. Отсюда обращение голландцев ко всем местным источникам драгоценных металлов, которые им предоставляли торговые связи Дальнего Востока. Так, они, пока оставались на Тайване (которого достигли в 1622 г. и который был отобран корсаром Кошингой в 1661 г.), использовали китайское золото (в частности, для своих закупок на Коромандельском берегу); с 1638 по 1668 г. решающую роль играло поступление серебра из японских рудников, экспорт которого был запрещен в 1668 г.; тогда голландская торговля сделалась покупательницей *кубанг* (*koubangs*) — японских золотых монет. Когда последние около 70-х годов XVII в. девальвировались, хотя японцы продолжали их использовать в своих сделках по прежней цене, Компания

[209] Abbé Raynal. *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes.* 1775, III, p. 21.

[210] Renneville C. *Op. cit.*, V, p. 119.

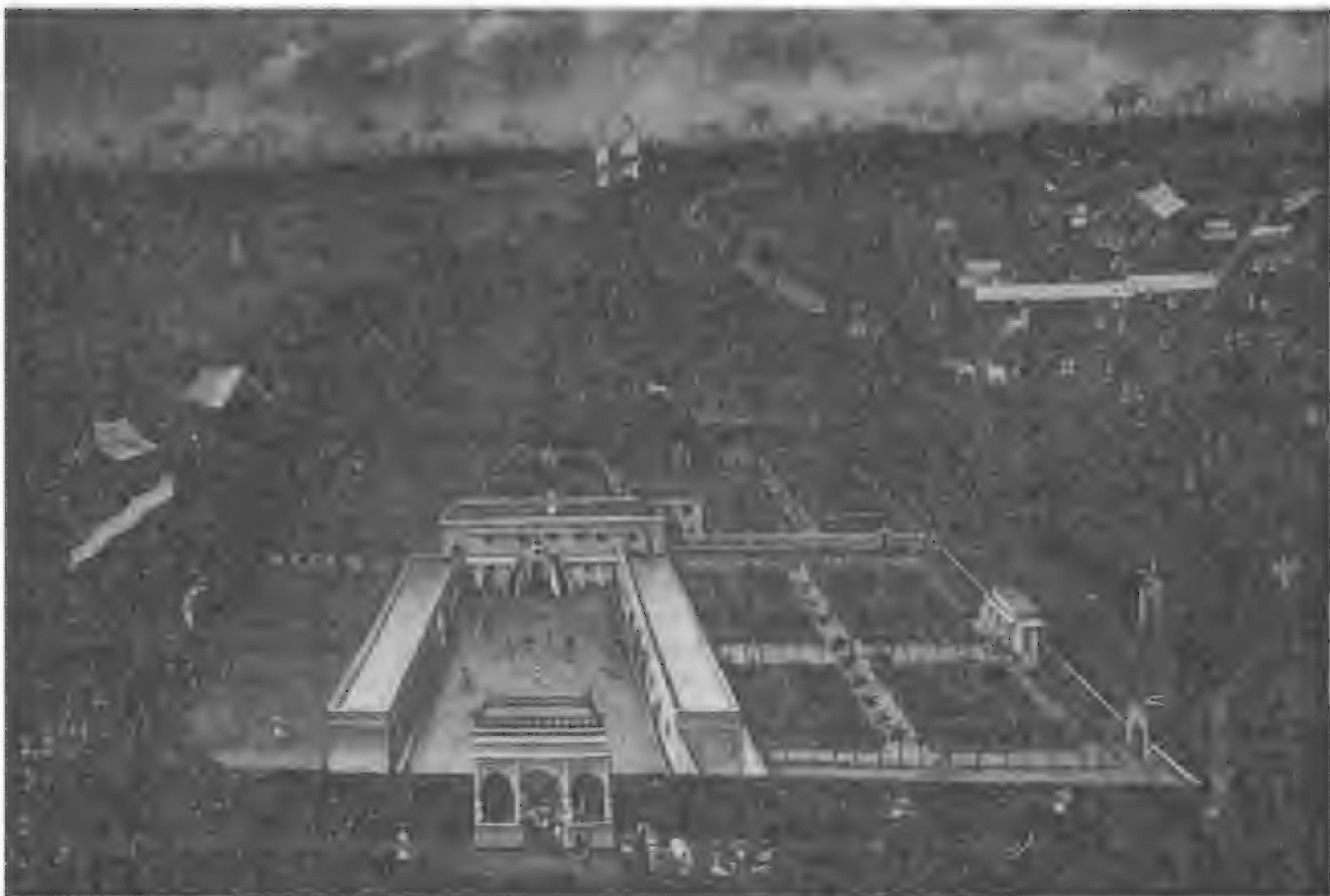
[211] Glamann K. *Dutch asiatic Trade, 1620—1740.* 1958, p. 68.

уменьшила свои закупки золота и обратилась к массовому вывозу японской меди[212]. Конечно же, она не пренебрегала золотом, производившимся на Суматре или в Малакке, и даже при случае золотыми и серебряными монетами, которые продолжала выплескивать в Аравию (в Моху)[213], Персию и Северо-Западную Индию левантинская торговля. Она пользовалась даже белым металлом, который регулярно доставлял в Манилу галион из Акапулько[214].

В таком контексте продолжительный кризис, отвративший голландцев от персидского шелкового рынка начиная с середины века, обретает иной смысл, нежели тот, какой ему можно было бы придать на первый взгляд. В самом деле, в октябре 1647 г. один из корреспондентов канцлера Сегье отмечал, что голландцы не находят более «для себя выгоды отправляться за шелками в Ост-Индию», ибо они «дали распоряжение своим корреспондентам в Марселе закупать для них и отправлять им столько шелка, сколько они только смогут»[215]. И действительно, голландские корабли, отправившиеся из Индии в 1648 г., не привезут ни единой кипы персидского шелка[216]. Персидский рынок у его истоков контролировали армянские купцы, и я какое-то время полагал, что кризис этот следовало записать в актив этих поразительных купцов, которые исхитрялись сами доставлять кипы шелка в Марсель. Но вероятно, этого объяснения недостаточно. Голландцы, рассорившиеся с шахом Ирана в 1643 г. (они с ним договорятся только в 1653 г.), на самом деле были мало склонны забирать слишком большие количества персидского шелка (цена которого вдобавок росла), потому что они хотели любой ценой сохранить баланс, благоприятный для их торговли, а значит, обратные поступления из Персии золотой и серебряной монетой[217]. К тому же они располагали китайским шелком и, того больше, шелком бенгальским[218], который в середине столетия мало-помалу занимал возрастающее место в поставках [Ост-Индской] компании в Европу. Так что это не Объединенная Ост-Индская компания претерпела кризис с персидским шелком; наоборот, она этот кризис спровоцировала, чтобы сохранить один из своих источников снабжения металлической монетой. Короче говоря, голландцам приходилось постоянно корректировать свою денежную политику в зависимости от случайностей переменчивой конъюнктуры, тем более что все, что ни день, бывало запутано изменявшимися эквивалентами между бесчисленными азиатскими монетами.

Зато система торговых компенсаций, установленная Компанией, работала почти что без сучка без задоринки вплоть до 90-х годов XVII в. А затем начнутся трудные времена. Но до того периода кругообороты и сети нидерландской торговли в Азии, какими описывает их пространный и тщательный отчет Даниэля Браамса[219] (относящийся к 1687 г., тому самому моменту, когда по какой-то иронии судьбы слишком хорошая машина уже начинала разлаживаться, были сцеплены в связную систему, основанную, как и в Европе, на эффективности морских связей, кредита и авансов метрополии и на систематическом поиске монопольного положения.

[212] Glamann K. *Op. cit.*, p. 168.
[213] Moreland W. H. *Op. cit.*, p. 64.
[214] Glamann K. *Op. cit.*, p. 58.
[215] *Внутренняя политика французского абсолютизма. 1633—1649*. М.—Л., 1966, с. 321—322. Письмо Шампиньи, Экс, октябрь 1647 г.
[216] Sousa Coutinho F., de. *Op. cit.*, II, p. 313. Письмо маркизу де Низа, 17 февраля 1648 г.
[217] Glamann K. *Op. cit.*, p. 120.
[218] *Ibid.*, p. 131.
[219] A. N., Marine, B 7, 463, f° 253, отчет 1687 г.



Фактория Объединенной Ост-Индской компании в Бенгалии. Полотно 1665 г. *Амстердам, Государственный музей.*

Помимо привилегированного доступа в Японию, единственной и долговечной монополией голландцев была монополия на тонкие пряности: кожуру мускатного ореха, мускатный орех, гвоздику, корицу. Решение всякий раз бывало одно и то же: замкнуть производство на ограниченной островной территории, прочно ее удерживать, сохранить за собой рынок, препятствовать разведению аналогичных культур в других местах. Таким вот образом Амбон стал исключительно островом гвоздичного дерева, Банда — островами мускатного ореха и его кожуры, Ланка (Цейлон) — островом корицы, а организованная монокультура делала эти острова жестко зависимыми от регулярного импорта продовольствия и текстильных изделий. В то же время гвоздичные деревья, росшие на других островах Молуккского архипелага, систематически вырубались, в случае необходимости — ценою выплаты пенсии местному правителю. Макассар на острове Целебес (Сулавеси) был завоеван после ожесточенной борьбы в 1669 г., потому что предоставленный самому себе остров служил перевалочным пунктом свободной торговли пряностями. Подобным же образом был захвачен Кочин в Индии, «хотя владение им стоит дороже, нежели доход, приносимый им Компании» [220], но то было средством воспрепятствовать конкурирующему производству там корицы, ко-

[220] *Ibid.*

рицы второго сорта, но более дешевой. Даже на Ланке, слишком большом острове, удерживаемом за счет дорогостоящих гарнизонов, плантации корицы будут допускаться лишь на ограниченных площадях, дабы ограничить предложение. Следовательно, именно путем насилия и строгого надзора сохраняла Компания свои монополии, и сохраняла эффективно, поскольку на всем протяжении ее существования доходы ее от тонких пряностей оставались высокими [221]. Один француз писал в 1697 г.: «Не бывает любовников столь ревнивых по отношению к своим любовницам, как ревнивы голландцы в торговле своими пряностями» [222].

Что же до остального, то голландское превосходство держалось на бывшей долгое время образцовой дисциплине агентов Компании, на проведении в жизнь долгосрочных планов. Историк, даже если его приводят в смятение масштабы насилия, не может не поражаться рассчитанному и удивительному, даже забавному наслоению закупок, погрузок, продаж и обменов. Тонкие пряности хорошо продавались не только в Голландии; Индия потребляла их вдвое больше, чем Европа [223], а на Дальнем Востоке они были несравненной обменной монетой, ключом ко многим рынкам, как пшеница или мачты из стран Балтийского бассейна были им в Европе. И имелось много других видов обменной монеты, если тщательно проследить излюбленные места и маршруты торговли. Например, голландцы покупали огромные количества индийского текстиля любого качества в Сурате, на Коромандельском берегу, в Бенгале. На Суматре они его обменивали на перец (случай заключить с помощью политики привилегированный контракт), на золото, на камфору; в Сиаме они будут продавать ткани с Коромандельского берега без особой выгоды (слишком много было конкурентов), но также пряности, перец, кораллы, а оттуда будут вывозить олово (все производство которого было закреплено за ними в силу привилегии и которое они будут продавать вплоть до Европы) плюс внушительное количество оленьих кож, весьма ценившихся в Японии, а также слонов, на которых был спрос в Бенгале, и много золота [224]. Контора на Тиморе содержалась в убыток, но сандаловое дерево, которое оттуда вывозили, имело великолепный сбыт в Китае и Бенгале [225]. Что же касается Бенгала, куда поздно добрались, но который энергично эксплуатировали, то он поставлял шелк, рис и много селитры, которая была превосходным балластом для обратных плаваний в Европу, равно как и японская медь или сахар с разных рынков-производителей [226]. Царство Пегу тоже имело свою привлекательность: там находили камедь, золото, серебро, драгоценные камни, а продавали пряности, перец, сандал, полотно Голконды и Бенгала...

Можно было бы долго перечислять дальше: для голландцев все возможности были хороши. Вправе ли мы удивляться тому, что пшеница, выращенная в Капской колонии, в Южной Африке, прибывала в Амстердам? Или тому, что Амстердам стал рынком для *каури*, привозившихся с Ланки и из Бенгала и находивших в Европе любителей, включая и англичан, использовавших эти раковины для торговли в Черной Африке и покуп-

[221] Glamann K. *Op. cit.*, p. 91—92.
[222] A. N., Marine, B 7, 463, f^os 177—178.
[223] *Ibid.*, f^os 161 sq.
[224] *Ibid.*
[225] Dermigny L. *Op. cit.*, I, p. 281.
[226] A. N., Marine, B 7, 463, f^os 158—160.

ки невольников, предназначенных для Америки? Или тому еще, что китайский, бенгальский, иногда сиамский, а позднее, с 1637 г., яванский сахар то пользовался, то не пользовался спросом в Амстердаме в зависимости от того, была или не была его цена способна конкурировать в Европе с ценой сахара Бразилии или Антильских островов? Когда закрывался рынок метрополии, сахар со складов в Батавии предлагали в Персии, Сурате или в Японии [227]. Ничто лучше не показывает, что Голландия «Золотого века» уже жила в масштабах всего мира, проявляя внимание к своего рода арбитражу и заботясь о постоянной эксплуатации мира.

[227] *Ibid.*

УСПЕХ В АЗИИ — НЕУСПЕХ В АМЕРИКЕ

Для Объединенной Ост-Индской компании проблемой из проблем было выделить в своих операциях в Азии контингент товаров, в которых нуждается Европа или, точнее говоря, которые она согласится потреблять. Проблемой из проблем это было потому, что Компания была двигателем «двухтактным» — Батавия — Амстердам, Амстердам — Батавия и так далее. Но ведь торговый переход из одного мира-экономики (Азии) в другой мир-экономику (Европу) сам по себе сопряжен с затруднениями, как о том говорят теория и опыт; и вдобавок обе картины непрестанно реагируют друг на друга, как две неравномерно нагруженные чаши весов: достаточно дополнительного веса на одной или на другой, чтобы равновесие нарушилось. Например, европейское вторжение в Азию по мере своего развития привело к повышению закупочных цен на перец и пряности, которые долгое время оставались ценами решающими для взаимоотношений между двумя континентами. Пирар из Лаваля отмечал в 1610 г., что «то, что в старые времена стоило португальцам всего одно су, ныне стоит [голландцам] четыре или пять» [228]. Напротив, продажные цены в Европе снижались сами собой по мере роста поступлений экзотических бакалейных товаров. И значит, уже далеко был тот благословенный 1599 г., когда на островах Банда платили 45 восьмерных реалов за «брус» (т. е. 525 голландских фунтов) гвоздики и 6 реалов за брус мускатного ореха. Такие цены уже никому не суждено было более увидеть [229].

[228] Pyrard de Laval F. *Seconde Partie du voyage... depuis l'arrivée à Goa jusques à son retour en France*. 1615, II, p. 353.
[229] Abbé Prévost. *Op. cit.*, VIII, p. 126—129.

ВРЕМЯ БОРЬБЫ И УСПЕХОВ

В Азии монополия на пряности, авторитарное установление цен, надзор за поступающим в продажу количеством товара (в случае необходимости товары, оказавшиеся в избытке, уничтожались [230]) долгое время обеспечивали голландцам преимущество перед их европейскими соперниками. Но в Европе конкуренция усилилась из-за создания соперничавших компаний (каковые все, или почти все, поддерживались голландским капита-

[230] Или выбрасывали «в море излишнее количество перца» (Carl E. L. *Traité de la richesse des princes et de leurs États et des moyens simples et naturels pour y parvenir*. 1722—1723, p. 236).

лом, который таким вот образом реагировал на монополию Объединенной Ост-Индской компании — ООИК) или же из-за появления на рынке продуктов, аналогичных дальневосточным, но иного происхождения, таких, как сахар, медь, индиго, хлопок, шелк... Таким образом, ничто не бывало ни сыграно, ни выиграно заранее. Один голландский путешественник [231], впрочем, пояснял в 1632 г.: «Не следует в этом заблуждаться: когда дело дошло бы до устранения португальцев [а те еще в ту эпоху были господами Гоа, Малакки, Макао, представлявших весьма серьезные запоры], то как бы не оказалось, что сего капитала [голландской] Компании достанет всего на одну шестую долю сей торговли. С другой же стороны, ежели бы удалось собрать достаточные для такого начинания капиталы, то оказались бы в затруднении, не будучи в состоянии ни потребить все товары, каковые бы от того получили, ни избавиться от них».

А с другой стороны, монополистическая политика принуждения и надзора стоила дорого. Например, на Ланке (Цейлоне), где задача эта была особенно трудной, так как внутренние гористые районы подчинялись царю Канди, который «никогда не был покорен ни португальцами, ни голландцами», гарнизон и содержание фортов съедали почти «весь доход, каковой приносит продажа корицы», собиравшейся на острове [232]. И крестьяне однажды поднялись против Компании по причине выдаваемой им жалкой оплаты. На островах Банда, где голландская монополия была добыта ценой насилия, войны, вывоза туземцев на Яву в качестве рабов, ООИК поначалу отмечала крупные дефициты [233]. В самом деле, производство там резко снизилось и пришлось реорганизовать его на новых основаниях: в 1636 г. автохтонное население насчитывало там всего лишь 560 человек против 539 голландцев и 834 свободных иностранцев, так что пришлось «импортировать» 1912 невольников из Бенгала или из царства Аракан [в Бирме] [234].

Чтобы установить, укрепить, сохранить свои монополии, Компания оказалась втянутой в продолжительные предприятия, которые будут более или менее завершены лишь с завоеванием Макассара (1669 г.) и приведением к повиновению, а вскоре и сведением на нет великого порта Бантам (1682 г.). Тем не менее ООИК продолжала воевать с туземными мореплаванием и торговлей, наносить удары, ссылать, растрачиваться в полицейских экспедициях и колониальных войнах. На Яве постоянной трагедией была борьба против местных государств, против Матарама или Бантама. Ближние сельские местности вокруг Батавии, даже предместья [235], были ненадежны. Это не мешало успехам, но увеличивало их цену. На Яве удачей были плантации сахарного тростника (с первой трети XVII в.) и кофейные плантации (начиная с 1706—1711 гг.) [236]. И все же культуры эти следовало производить под контролем, и в 1740 г. свирепо подавленное восстание китайцев повело к непоправимому кризису в производстве сахара; острову потребуется больше десяти лет, чтобы от него оправиться, да и оправится он плохо [237].

Вполне логично, что история Ост-Индской компании пред-

[231] Renneville C. *Op. cit.*, V, p. 124
[232] A. N., Marine, B [7], 463, f[os] 251—252.
[233] Simkin C. G. F. *Op. cit.*, p. 197.
[234] Moreland W. H. *Op. cit.*, p. 77.
[235] Simkin C. G. F. *Op. cit.*, p. 197.
[236] Glamann K. *Op. cit.*, p. 19, 207.
[237] *Ibid.*, p. 166.

ставляет собой сумму удач и неудач. В общем в XVII в. баланс был положительным. Именно на протяжении трех или четырех десятилетий по одну и по другую стороны 1696 г. — точки разрыва, которая выявляется из подсчетов, проделанных на основании не слишком ясной бухгалтерской документации ООИК,— положение решительно ухудшилось. Кристоф Гламанн [238] полагает, что тогда произошла настоящая революция, дьявольски нарушившая установленный порядок одновременно и в азиатской торговле и на европейских рынках.

[238] *Ibid.*, p. 265.

В Европе решающим фактом была утрата перцем первенства, ставшая очевидной начиная с 1670 г. Зато цены на тонкие пряности удерживались на приличной высоте и даже относительно выросли; индийские ткани, шелковые и хлопчатые, набивные или суровые, занимали все более значительное место; рос спрос и на новые товары: чай, кофе, камедь, китайский фарфор.

Можно побиться об заклад, что если бы речь шла только об этих переменах, то ООИК, которая следила за общим движе-



Голландский купец показывает своей жене корабли Объединенной Ост-Индской компании в Батавской бухте. Деталь картины А. Кейпа (1620—1691). *Амстердам, Государственный музей.*

нием, как и прочие Ост-Индские компании, приспособилась бы к ним без особого ущерба. Но вдобавок произошло расстройство старинных путей и рынков, и в чересчур хорошо обкатанных кругооборотах Компании открылись бреши. Как бывает в подобных случаях, старая система, пережившая самое себя, порой мешает необходимой адаптации. Так, вне всякого сомнения, важнейшим новшеством было расширение чайной торговли и открытие Китая для всех иностранных купцов. Английская Ост-Индская компания быстро, с 1698 г., включилась в прямую (а значит, в обмен на серебро) торговлю [239], тогда как ООИК, привыкшая получать китайские товары с джонок, приходивших в Батавию покупать главным образом перец и немного корицы, сандалового дерева и коралла, продолжала держаться за непрямую торговлю в обмен на товары, исключавшую расчеты наличными деньгами. В конечном счете связь Бенгалия — Китай, чай в обмен на хлопок и на серебро, а потом на опиум установится к выгоде англичан. То был тем более тяжелый удар для голландской Компании, что тем временем внутренние войны в Индии разорили Коромандельский берег, область наибольших ее успехов.

[239] Glamann K. *Op. cit.*, p. 231.
[240] Dermigny L. *Op. cit.*, III, p. 1164.

Но неужели же ООИК, оказавшись лицом к лицу со всеми этими формами конкуренции, не в состоянии была оказать им сопротивление? Статистические сводки показывают, что в XVIII в. и почти до последнего дня своего существования, до 1798 г. [240], она способна была посылать в Азию все возраставшие количества белого металла. А ведь на трансформированном и даже потрясенном Дальнем Востоке белый металл оставался ключом ко всем проблемам. И однако же на протяжении XVIII в. ООИК непрестанно приходила в упадок, и объяснение такого упадка отыскать трудно.

ВЕЛИЧИЕ И УПАДОК ОБЪЕДИНЕННОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ

Когда обозначился откат? Изучение бухгалтерской отчетности Компании показало бы в качестве точки разрыва 1696 г. Но не слишком ли точная это дата? К. Гламанн [241] говорит о четырех десятках лет по обе стороны 1700 г., и это более разумно.

[241] Glamann K. *Op. cit.*, p. 265.
[242] A.N., G 7, 1697, f° 117, 21 августа 1712 г.

К тому же современники довольно поздно ощутили серьезное ухудшение положения. Так, в 1712 г. в Дюнкерке, который Людовик XIV, чтобы получить мир, пожертвует Англии, все еще озабоченной, хоть для нее тогда вставало совсем новое солнце, болтали два человека, один — совсем мелкая сошка, информатор генерального контролера финансов Демаре, другой — некий «милорд Сент-Джон». «Когда я ему ответил,— пишет француз,— что восстановление их [аглийской] торговли в Индиях посредством погубления голландцев есть верное средство умиротворить британскую нацию и привести ее [к согласию] на все, он просто сказал мне, что англичане продали бы последнюю рубашку, чтобы сего добиться» [242]. Следовательно, они не считали, что достигли этого! Двенадцать лет спу-

стя, в 1724 г., Устарис, прекрасный судья [в таких делах], не поколебался написать: «Их [голландцев] Ост-Индская компания столь могущественна, что торговля прочих Индийских компаний — мелочь по сравнению с ее торговлей»[243].

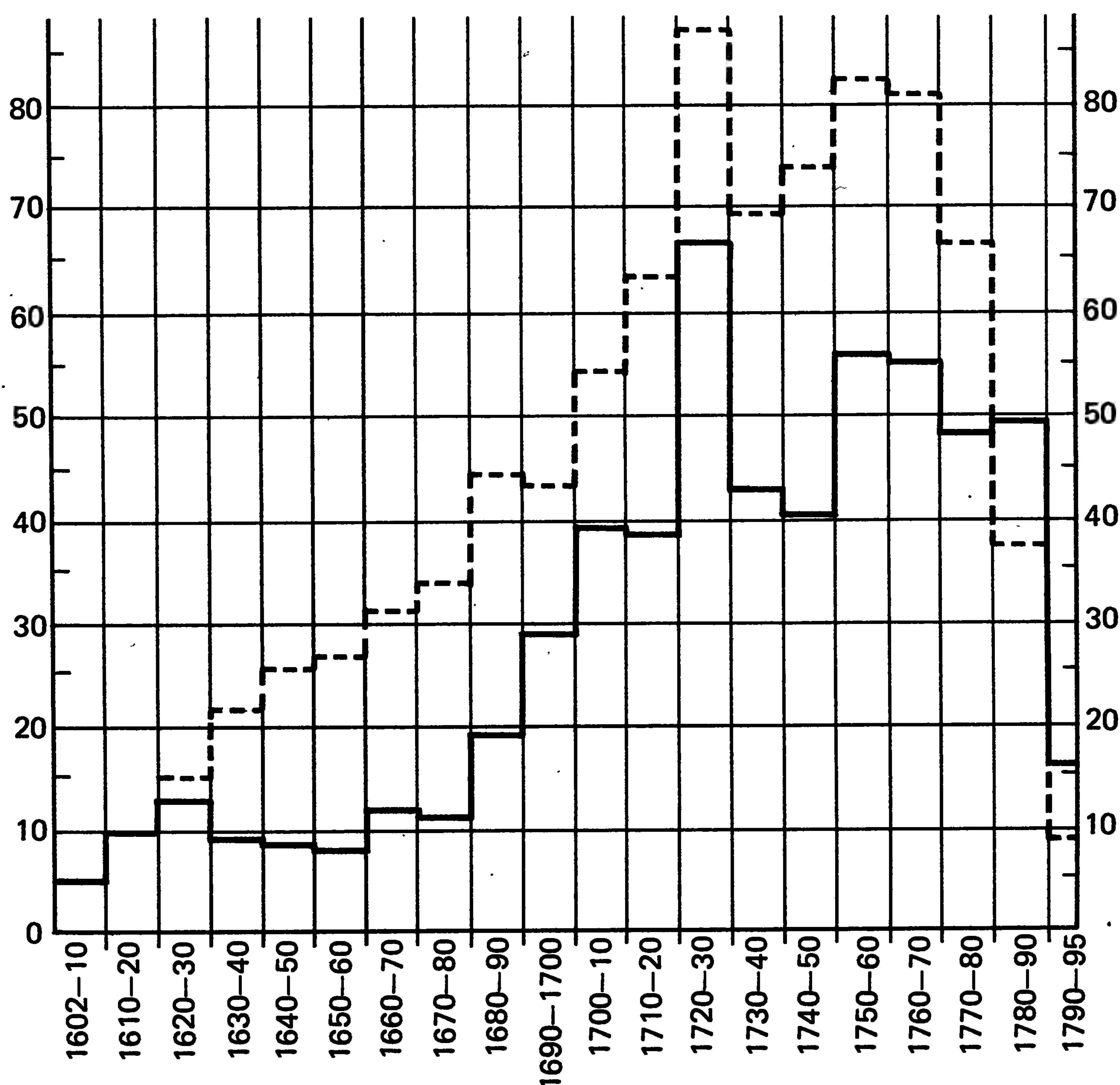
Известные нам цифры не решают проблемы по-настоящему. Они по крайней мере говорят о размахе предприятия. Поначалу, в 1602 г., предприятие это, Ост-Индская компания, располагало капиталом в 6,5 млн. флоринов[244], разделенным на акции по 3 тыс. флоринов, т. е. в шесть раз большим, чем английская Ост-Индская компания, которая создана была двумя годами раньше и которой пришлось так страдать из-за этой нехватки капиталов[245]. Расчет, относящийся к 1699 г., утверждает, что этот первоначальный капитал, который в дальнейшем не будет ни возмещен, ни увеличен, соответствовал 64 тоннам золота[246]. Говорить об Объединенной Ост-Индской компании — значит с самого начала столкнуться с огромными цифрами.

Так что мы не удивимся тому, что в рекордные 1657 и 1658 гг. Компания отправила на Дальний Восток два миллиона флоринов в золоте, серебре и слитках[247]. Мы без удивления узнаем, что в 1691 г. она содержала самое малое 100 кораблей[248], даже больше, 160, согласно одному серьезному французскому документу от 1697 г., с числом пушек от 30 до 60 на каждом[249]. Считая в среднем по 50 человек команды[250], получаем в целом цифру 8 тыс. моряков. К этому следует добавить солдат гарнизонов, каковые, впрочем, включали «много вооруженных местных жителей, коих [их голландские хозяева] заставляют идти в голове, когда надо сражаться». В военное время Компания могла прибавить к этим силам 40 больших кораблей: «В Европе не так уж мало венценосных голов, коим трудно было бы сделать то же самое»[251]. Ж.-П. Рикар со своей стороны восторгался (1722 г.), констатируя *de visu*, что одна только «Амстердамская палата» использовала на своих складах больше 1200 человек «как для постройки кораблей, так и для всего прочего, что требуется, чтобы их оснастить». Его потрясла сама деталь: «Есть 50 человек, кои на протяжении всего года только и делают, что перебирают и очищают пряности»[252]. Конечно, сводные цифры пригодились бы нам больше. Жан-Франсуа Мелон[253], бывший секретарь Лоу, сообщает нам (1735 г.): «Все сии великие заведения не занимают и 80 тыс. человек», словно сама эта цифра не была поразительной! И вне сомнения, она была ниже реальной: к 1788 г. Компания буквально задыхалась под бременем копошащихся служащих, и Ольдекоп[254], русский консул в Амстердаме, называл цифру 150 тыс. человек. Во всяком случае, с размахом начатое обследование[255] пришло к определенному результату: в XVII и XVIII вв. на судах ООИК был перевезен один миллион человек, т. е. по 5 тыс. в год. Отправляясь от этих цифр, трудно себе представить голландское население в Азии, но оно определенно было намного более многочисленным, чем население португальское, которое в XVI в. составляло будто бы всего 10 тыс. человек[256], к которым, как и у голландцев, добавлялась масса туземных помощников и слуг.

[243] Uztáriz G., de. *Op. cit.*, p. 103.
[244] Glamann K. *Op. cit.*, p. 6; Savary J. *Op. cit.*, V, col. 1606 sq.
[245] Simkin C. G. F. *Op. cit.*, p. 192.
[246] A. E., Mémoires, Hollande, 72, 243.
[247] Glamann K. *Op. cit.*, p. 60.
[248] Abbé Prévost. *Op. cit.*, IX, p. 55.
[249] A. N., Marine, B 7, 463, f° 205.
[250] На военных кораблях команды бывали гораздо более многочисленными: в 1605 г. при выходе из Тексела на 11 кораблях, которые сопровождал Мателиф, насчитывалось всего 1357 человек команды, то есть в среднем по 123 человека на корабль. Так что оценка наша может колебаться между 8 тыс. (50 человек на корабль) и 16 тыс. (100 человек на корабль). Renneville C. *Op. cit.*, III, p. 205.
[251] A. N., Marine, B 7, 463, f° 205.
[252] Ricard J.-P. *Op. cit.*, p. 376.
[253] Melon J.-F. *Essai politique sur le commerce*. 1735, p. 51.
[254] Москва, АВПР, 50/6 (ссылка неполна).
[255] Под руководством Иво Схёффера.
[256] Simkin C. G. F. *Op. cit.*, p. 182.

Говорили также об огромных дивидендах, в среднем 20—22%, по подсчетам Савари, в период 1605—1720 гг.[257] Но к вещам следует присмотреться повнимательнее. В 1670 г. были получены значительные прибыли, и посреди эйфории, последовавшей после победы над правителем Макассара, приступили к «распределению», которое поднялось до 40%. Акции на бирже сразу же подскочили «до 510%», считая за 100 паритет при создании ООИК в 1602 г. То был хорошенький скачок, ибо «с того времени, что я пребываю здесь, — замечает Помпонн, — они не превышали 460». Но, по словам нашего информатора, «сие крупное распределение, равно как и сии новые выгоды не создадут в обычный год цены, отличной от той, по коей продавались акции и производилось распределение в течение 30 лет; те, кому они принадлежат, получили прибыли на свои деньги самое большее 3 или 4%»[258]. Чтобы эта сознательно запутанная фраза стала ясной, следует иметь в виду, что «распределение» рассчитывалось не по курсу акции на бирже, но по паритету — 3 тыс. флоринов. Я владею акцией, которая стоит в 1670 г. 15 300 флоринов, я получаю купон в размере 40% на «старый капитал», т. е. 1200 флоринов, дающие исключительно высокий процент — 7,84%. В 1720 г. на акцию, котирующуюся в 36 тыс. флоринов, распределение, которое тоже составило 40%, на сей год давало 3,33%[259].

[257] Savary J. *Op. cit.*, V, col. 1610—1612.
[258] A. N., A. E., B[1], 619, Гаага, 25 июня 1670 г.
[259] Savary J. *Op. cit.*, I, col. 25; V, col. 1612.



Расчеты, связанные с судьбой Объединенной Ост-Индской компании (ООИК)
Группа нидерландских историков (Брюйн, Схёффер, Гаастра) начала подсчет оборотов ООИК в XVII и XVIII вв. К 1680—1690 гг. число кораблей ООИК, использовавшихся на Дальнем Востоке, начало снижаться, что служит признаком упадка торговли «из Индии в Индию». Сплошная черта на графике обозначает отправки драгоценных металлов из метрополии в Азию, пунктирная линия — поступление товаров, оцениваемых по ценам отправки в миллионах гульденов. Расширение торговли представляется непрерывным. Но соотношение между обеими кривыми в настоящее время трудно установить, так как не принимаются во внимание ни отправлявшиеся из метрополии товары, ни монетный металл, поступавший от торговли «из Индии в Индию».

Это означает, что:

1. Компания лишила себя выгод, которые проистекали бы из увеличения ее капитала. Почему? Никакого ответа нам не дают. Может быть, чтобы не увеличить роль акционеров, которых довольно последовательно держали на отшибе? Это возможно...

2. К 1670 г. по биржевой котировке общий капитал в акциях составлял порядка 33 млн. флоринов. Не потому ли, что эта масса сама по себе была слишком незначительной для безудержной спекуляции голландцев, в Амстердаме широко инвестировали в английские ценные бумаги и широко на них играли?

3. Наконец, ежели первоначальные 6,5 млн. приносили в среднем 20%, то акционеры получали намного больше миллиона флоринов в год. Историки и современные наблюдатели сходятся, однако, в том, что: распределение дивидендов (порой выплачивавшихся пряностями или облигациями государственного займа) не имело слишком большого веса в затруднениях ООИК. А ведь миллион флоринов — это сумма, которой нельзя было бы пренебрегать, если бы доходы Компании были такими скромными, какими их кое-кто считает.

На самом деле здесь и заключена проблема. Каковы были доходы Компании? Ответить на это, видимо, невозможно не только потому, что исследований еще недостаточно, а документация порой исчезла; не только потому, что сохранившаяся бухгалтерская отчетность не отвечает современным нормам подведения баланса и опускает как в активе, так и в пассиве важные статьи (например, основной капитал, строения и корабли, товары и наличные деньги, которые путешествуют морем, капитал акционеров и т. п. [260]); но главным образом потому, что сама система бухгалтерского учета делала невозможным любой сводный баланс и как следствие всякий точный подсчет реальных прибылей. В силу практических причин (главным образом расстояний, трудности конверсии монеты и т. д.) бухгалтерия оставалась пленницей структурной биполярности предприятия: существовали счета «*фактории Нидерланды*» (*factory Nederland*), выражаясь языком Гламанна, которая ежегодно подводила общий итог бухгалтерской отчетности шести отдельных камер; существовали счета правительства в Батавии, которое получало бухгалтерские книги со всех факторий Дальнего Востока и составляло затем годовой итог заморской деятельности. Единственным связующим звеном между двумя раздельными бухгалтериями было то, что долги одной при известных обстоятельствах выплачивала другая; но каждая из них игнорировала внутреннее функционирование другой, те реальности, которые покрывались ее прибылями или ее убытками.

Йоханнес Худде [261], председатель общей дирекции 17 директоров ООИК (*Heeren XVII*), в конце XVII в. настолько хорошо это осознавал, что работал над полным пересмотром системы. Этому пересмотру не суждено было завершиться — в силу тысячи причин и реальных трудностей. Но быть может, также и потому, что директора Компании не слишком заботились

[260] Glamann K. *Op. cit.*, p. 244 f.
[261] Glamann K. *Op. cit.*, p. 252 f.

о том, чтобы предоставить публике ясные счета. В самом деле, с самого начала существовал конфликт между 17 директорами и акционерами, которые требовали счетов и полагали свои доходы недостаточными. И в противоположность английской Ост-Индской компании, с самого начала поставленной в затруднительное положение требованиями такого рода (и возмещениями, на которых настаивали акционеры, не очень склонные финансировать военные операции в Азии), за голландской Ост-Индской компанией всегда оставалось последнее слово, так как ее акционеры не могли получить свои капиталы обратно иначе, как перепродав свои акции на биржевом рынке. Короче говоря, счета, составлявшиеся дирекцией Компании, возможно, представлялись таким образом, чтобы скрыть многие аспекты деятельности предприятия.

Что вытекает, к величайшему нашему удивлению, из тех балансов, что были изучены, так это скромные размеры прибылей на протяжении века легких торговых операций — XVII в. Автор настоящего труда всегда утверждал, что *торговля на дальние расстояния* была своего рода превосходной степенью в истории торговых предприятий. Не ошибался ли он? Он утверждал, что для некоторых избранных это была возможность произвести к своей выгоде значительные накопления. Но может ли быть частное обогащение там, где нет прибылей или их очень мало? Очень скоро мы вновь встретимся с этим двойным вопросом.

ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ КРАХ XVIII в.?

Лучшую бухгалтерскую сводку проблемы дают нам подсчеты Б. Ван дер Аудермёлена[262], относящиеся к 1771 г. и произведенные для нескольких лет на основании документов, ныне исчезнувших. С 1612* по 1654 г. общая сумма полученных доходов составила будто бы 9700 тыс. флоринов за 22 года, т. е. годовой доход был скромным, чуть ниже в среднем 441 тыс. флоринов. В таком случае Компания якобы заработала втрое меньше своих акционеров; мыслимо ли это? С 1654 по 1674 г. масса прибыли поднялась до 11 300 тыс., т. е. годовой доход составил 538 тыс. флоринов. С 1674 по 1696 г. общая сумма равнялась 19 млн., а годовая прибыль — 826 тыс. флоринов. После 1696 г. начинается снижение; к 1724 г. мы должны будем пройти через нулевую ситуацию. После этого Компания не переставала залезать в долги, и притом лихо. Она даже делала займы для того, чтобы выплатить дивиденды акционерам; а это уже поступки банкрота. Летом 1788 г. положение станет просто катастрофическим: «Ост-Индская компания перевела на 15 млн. векселей на государство, с оплатой в течение четырех или пяти лет. Это позволило бы ей выжить. Но на самом деле ее долг, который составляет 90 млн. [флоринов], окажется таким образом доведенным до 105 млн.»[263] Почему же ООИК пришла к такой финансовой катастрофе?

[262] *Ibid.*, р. 248.
* Очевидно, опечатка. Если исходить из нижеследующего, то, вероятно, речь идет о 1632 г. — *Прим. ред.*
[263] Москва, АВПР, 50/6, 539, л. 57. Амстердам, 25 июля — 5 августа 1788 г.



**Как китайцы изображали голландцев.
Фарфоровые статуэтки Ост-Индской компании, эпоха Канси.
Старая коллекция Эшпириту-Санту в Лисабоне.**
Фото издательства «Конэссанс дез-ар».

Единственное приемлемое объяснение — но годится ли здесь только одно объяснение? — это то, которое предлагает Кристоф Гламанн [264]: произошло сокращение торговли из Индии в Индию, по крайней мере доходов, какие обеспечивала эта торговля-кормилица. Это факт, что «полюс» Батавия непрестанно залезал в долги, а 17 директоров восполняли некоторое время его потери за счет еще процветавших прибылей «фактории Нидерланды» (которой отчасти благоприятствовал подъем цен) и как следствие давали расти ее собственному долгу. Но как объяснить сокращение *внутренней торговли* (*inlandse handel*)? Она не могла расстроиться единственно из-за конъюнктуры в период, когда на протяжении второй половины XVIII в. все шло вверх. Повинна в том, считает К. Гламанн [265], конкуренция других компаний, особенно английской, и революция в торговых перевозках и на рынках, которую плохо поняли ответственные лица в Батавии. Так, 17 директоров тщетно пытались их убедить в преимуществах прямой торговли с Китаем, минуя промежуточный этап в Индонезии. Это определенно облегчало английскую конкуренцию [266].

Но голландское отступление зависело также и от хорошо известных злоупотреблений агентов ООИК. В отличие от английской голландская Ост-Индская компания не оставила им права заниматься торговлей из Индии в Индию на свой счет. И коррупция, которая всегда присутствовала в нидерландской Индии, пробила себе дорогу. Стоит ли верить, что вначале у Компании были исключительные служащие? Аббат Рейналь [267] в своем знаменитом труде «*Философская и политическая история поселений и торговли европейцев в обеих Индиях*» (1770 г.) утверждает, что до 1650 г. в рядах этих служащих не было обладателей незаконно и мошенническим путем сколоченных состояний, что голландцы этих первых десятилетий не имели себе равных по воздержанности и честности. Возможно ли это? Начиная с 1640 г. Ж.-Б. Тавернье позволял себе усомниться в этом, и нам известен по меньшей мере случай с Питером Нейсом, губернатором Форта Зеландия на Формозе (Тайвань) в 1624 г., который, будучи столь же глупым, сколь и продажным, просто-напросто заявил, что не для того он приехал в Азию, чтобы питаться там сеном [268]. Во всяком случае, со второй половины века роскошь и коррупция разгулялись вовсю. Это отмечали официальные документы (1653, 1664 гг.) [269]. Даниэль Браамс в своем отчете 1687 г. говорит об этом вполголоса. Ему, однако, случалось говорить о «недостаточно честных служащих Компании», или, в более стыдливой форме, о конкуренции «других негоциантов», о невозможности «воспрепятствовать тому, чтобы частные лица наносили ущерб коммерции Компании» из-за [большого] числа удобных гаваней на этом побережье Индонезии и из-за «больших прибылей... [кои] подогревают их желание заниматься контрабандой, сколь только они смогут» [270].

Наблюдались, следовательно, изменение экономики, генезис которого неясен, но также изменение колониального общества, жившего за тысячи лье от Голландии, и более чем вероятное столкновение между этим обществом и амстердамской оли-

[264] Glamann K. *Op. cit.*, p. 249.

[265] *Ibid.*, p. 265.

[266] *Ibid.*, p. 229—231.

[267] Abbé Raynal. *Op. cit.*, I, p. 465.

[268] Boxer C. *Op. cit.*, p. 52; *Les Six Voyages...*, 1681, II, p. 420.

[269] Moreland W.H. *Op. cit.*, p. 315.

[270] A.N., Marine, B 7, 463, f^os 245, 257—258.

гархией. С одной стороны, спокойные рантье, преисполненные сознания своей важности и респектабельности; по другую сторону — колониальные круги менее высокого социального положения (*standing*), агенты, вышедшие из рядов в некотором роде гетерогенного и *космополитического* общества. Амстердам и Батавия были двумя экономическими полюсами, но также и социальными полюсами имперского сооружения Соединенных Провинций. Джузеппе Папаньо прав, говоря в своей блестящей работе[271] о «цезуре», об оппозиции. В Индонезии, где «колонии» голландцев определенно жили на широкую ногу, процветали неповиновение, контрабанда, полунезависимость и беспорядок. Бросавшаяся в глаза и уже обычная в XVII в. роскошь шикарных кварталов Батавии с годами лишь возрастала и становилась еще ярче. Деньги, алкоголь, женщины, целые армии слуг и рабов: Батавия заново начинала странные, опьяняющие и извращенные приключения Гоа[272]. Не приходится сомневаться, что в Батавии часть дефицита Компании без шума трансформировалась в частные состояния.

Но не то ли самое происходило на другом конце цепочки, в еще крепко державшемся и суровом обществе Голландии «Золотого века»? Решающий вопрос — знать, кто и при каких условиях покупал поступавшие с Дальнего Востока товары. Продажи производились Компанией либо по контрактам, либо с торгов на ее складах, всегда очень крупными партиями и обычно синдикату крупных негоциантов[273]. Директора Компании

[271] Papagno G. *Op. cit.*, p. 89.
[272] Carletti F. *Ragionamenti del mio viaggio in torno al mondo.* 1958, p. 213 sq.
[273] Glamann K. *Op. cit.*, p. 33 f.



На острове Десима во время длительного вынужденного заключения в гавани голландцы как могут развлекаются с японскими гейшами. В бутылках недостатка нет. Обстановка японская, пол покрыт татами, но столы и стулья — западные. *Токио, Гидзуцу Дайгаку. Фото Т. Чино, Токио.*

(*Heeren XVII*) не имели права фигурировать в числе покупателей, но последние принадлежали к их социальной или даже семейной группе. И несмотря на протесты акционеров, запрет этот не касался администраторов разных палат (*bewindhebbers*), тесно связанных с патрициатом торговых городов. В таких условиях не приходится особенно удивляться, что контракты так часто содержали обязательства приостановки продаж Компании на срок в один или два года (что обеспечивало группе покупателей спокойное господство на рынке) или обязательства заказа в Индии тех или иных количеств какого-то определенного товара. Если Компания предлагала к продаже какой-либо товар, порядочный запас которого имелся у какого-нибудь крупного амстердамского негоцианта, то как бы случайно не являлся ни один покупатель; и в конечном счете именно этот негоциант скупал товар на своих условиях. Показательно, что среди партнеров, заинтересованных в сделках Компании, вновь и вновь встречаются одни и те же имена. Директора Компании, которые так легко одергивали акционеров, были людьми крупных купцов-капиталистов, и так с самого начала прибыльных операций. Вайолет Барбур и К. Гламанн приводят многочисленные примеры этого. То, что такие купцы — вроде богатейшего негоцианта и администратора (*bewindhebber*) Корнелиса Биккера [274] — покупали в XVII в. все подряд: перец, пряности, хлопчатые ткани, шелк — и вдобавок торговали в России, Испании, Швеции или на Леванте (что доказывает отсутствие специализации), что потом, в следующем столетии, они специализировались (что доказывает обновление торговой жизни), — все это ничего не изменяет в нашей проблеме: ООИК была машиной, которая останавливалась там, где начиналась прибыль торговых монополий.

Впрочем, современники ясно понимали этот механизм присвоения на вершине. В 1629 г., протестуя против только что подписанных контрактов и против присутствия администраторов (*bewindhebbers*) в составе синдикатов покупателей, Зеландская палата отказалась отпустить проданные товары, находившиеся на складах в Мидделбурге, а делегаты Зеландии без колебаний заявили перед Генеральными штатами, что при такой политике не принимаются во внимание ни интересы акционеров, ни интересы Компании (но дело они не выиграли) [275].

Это в конечном счете не противоречит моим прежним утверждениям о «капиталистических» добродетелях торговли на дальние расстояния, но, напротив, подтверждает их. Систематически выявить имена таких крупных покупателей означало бы составить список истинных хозяев голландской экономики, тех, кто продержались долгое время, тех, кто сохранили власть. Но разве же не были эти хозяева экономики вдобавок и подлинными хозяевами государства Соединенных Провинций [276], творцами его решений и его эффективности? Это хорошее обследование, которое следовало бы провести, хотя результат его известен заранее.

274 *Ibid*., p. 34. Корнелис Биккер в 1622 г. был администратором (*bewindhebber*) в Вест-Индской компании, а его брат Якоб — в Ост-Индской.
275 Glamann K. *Op. cit*., p. 35—36.
276 Moreland W. H. *Op. cit*., p. 61.

НЕУДАЧИ В НОВОМ СВЕТЕ, ПРЕДЕЛ ГОЛЛАНДСКОГО УСПЕХА

Нидерландские неудачи в Новом Свете по-своему служат объяснением. Какое-то время я думал, что коль скоро Америку надлежало построить, прежде чем она станет объектом эксплуатации, то она, естественно, была сферой деятельности государств с плотным населением, богатых людьми, продовольствием и разными продуктами: Испании, Франции, Англии. Голландия, растение-паразит, плохо воспроизводилась бы на американской почве. Однако поток людей, выплеснутый Соединенными Провинциями на Дальний Восток, или португальский успех в Бразилии оспаривали это утверждение, которое априори могло показаться естественным. Голландия могла бы строить в Америке при условии, если бы она того хотела и сократила бы миграционный поток на Восток. Условие, может быть, невозможное, и именно этому, вне сомнения, научил Голландию ее неудавшийся опыт в Бразилии.

То был запоздалый опыт. Голландцы, как и англичане елизаветинской эпохи, поначалу предпочитали грабеж задачам, решение которых присуще всякому постоянному обоснованию в странах пустынных или враждебных. С 1604 г. они приобрели в Бразилии репутацию, внушавшую ужас, разграбив в этом году порт Баию [277]. Десятью годами ранее, в 1595 г., они свирепствовали на побережье Черной Африки [278], экономически связанной с американскими плантациями. Эти набеги — те, о которых мы знаем, и те, что не оставили следа, — указывали на начало соприкосновения, на обретение аппетита.

Все переменилось в 1621 г. Двенадцатилетнее перемирие, подписанное с Испанией в 1609 г., не было возобновлено. Вновь началась война, а 9 июня того же 1621 г. получила свою привилегию (*octroi*) [279] новая Вест-Индская компания. Какая проблема стояла перед новой компанией? Внедриться в массив Испанской Америки, созданный после 1580 г. соединением испанских и португальских владений. В 1621 г. слабой зоной была Америка португальская, и именно против нее вполне логично оказалось направлено голландское наступление. В 1624 г. была захвачена столица Бразилии Сан-Салвадор, построенная на море в миниатюре, каким является залив Всех Святых, и окруженная с суши всхолмленной равниной, усеянной сахарными плантациями (*engenhos*) Реконкаво. Во время грабежа победители считали захваченную золотую и серебряную монету на буасо *. Но 28 марта 1625 г. испанский флот из 70 парусников захватил их врасплох и месяц спустя вновь занял город [280].

Пять лет спустя все началось сызнова в сахаропроизводящей области Северо-Востока (*Nordeste*), где голландцы заняли два соседних города, враждебных, но и необходимых друг другу, — Ресифи, город купцов на низком побережье океана, и Олинду — на возвышенности, город плантаторов (*senhor de engenho*). Новость распространилась по всему свету. В Генуе поговаривали, что победитель без сопротивления взял добычу «в миллион золотом» [281] — подробность, вероятно, недостоверная, так как португальцы сожгли «весь сахар и все красиль-

[277] Grande Enciclopedia portugueza brazileira, III, s. v. «Baïa».
[278] См.: Хенниг Р. *Указ. соч.*; Klarwill V., von. *The Fugger News Letters*. 1924—1926, I, p. 248.
[279] В смысле пожалования концессии.
* Буасо — мера объема сыпучих тел, равная примерно 12,5 литра.— *Прим. перев.*
[280] A. N., K 1349, 132, f° 107 v°.
[281] A. d. S. Firenze. Переписка с Генуей, V, 32.

ное дерево на складах»[282]. В 1635 г. голландцы заняли низовья Параиба-ду-Норти и таким образом владели «60 лье бразильского побережья, лучшей и ближе всего расположенной к Европе его частью»[283], но оккупированная территория была еще очень ограниченной. Во внутренних областях победители оставили в неприкосновенности португальскую Бразилию, которая сохранила свободу маневра, своих плантаторов, свои сахарные мельницы, своих черных невольников и которая на юге опиралась на баиянскую Бразилию, снова ставшую свободной в 1625 г. Хуже всего было то, что бразильский сахар очень часто ускользал от голландского контроля, так как большие корабли оккупантов не могли подойти к неглубоким бухточкам побережья, где португальские суда малого водоизмещения чувствовали себя вольготно, хоть им и случалось быть захваченными в открытом океане или у берегов Европы. Комичный итог оккупации голландцами сахаропроизводящего Северо-Востока заключался в том, что она прервала поступление в Амстердам ящиков с бразильским сахаром, до того прибывавших в изобилии, и цены поднялись[284].

Действительно, война, о которой мы уже говорили[285], привела к тому, что голландская Бразилия оказалась в состоянии постоянного осадного положения. В июле или сентябре 1633 г. два английских капуцина, направлявшиеся в Англию, ожидали в Лисабоне оказии. Случайно они встретили шотландского солдата, который оставил службу у голландцев в Бразилии. «На протяжении восьми месяцев [рассказывал он монахам] он-де не видел ничего похожего на мясо и в конечном счете не имел пресной воды, кроме той, что доставляли из Голландии»[286]. Рассказы, вероятно, преувеличенные, но затруднения голландцев были реальны. Их ошибка заключалась в желании создать торговую надстройку, не овладев производством, не занимаясь колонизацией в современном смысле слова.

Неожиданной развязкой оказалось прибытие в Ресифи 23 января 1637 г. Морица Нассауского, назначенного генерал-губернатором голландской Бразилии, где он пробудет семь лет[287]. Человек определенно незаурядный, проникшийся живым интересом к стране, ее фауне и флоре, он явно пытался создать жизнеспособную колонию. Не случайно первый год его правления (1637 г.) был отмечен завоеванием (попытки которого безуспешно предпринимались уже не раз) крепости Сан-Жоржи-да-Мина, возведенной португальцами на гвинейском побережье в 1482 г. На следующий год настал черед португальского острова Сан-Паулу-ди-Луанда, вблизи побережья Анголы, затем острова Сан-Томе в Гвинейском заливе — острова, производившего сахар и служившего перевалочным пунктом для переправки рабов в Новый Свет. Все это было логично: голландская Бразилия была невозможна без черных невольников; с этого времени они стали поступать. Но тем временем Португалия восстала (1 декабря 1640 г.) и освободилась от испанской опеки. Возникла угроза мира: в 1641 г. было даже подписано перемирие сроком на десять лет между Португалией и Соединенными Провинциями[288].

Это перемирие не будет соблюдаться на Дальнем Востоке.

[282] Accarias de Sérionne J. *Richesse de la Hollande*, p. 137—138.
[283] Cuvelier J., Jadin L. *Op. cit.*, p. 501—502.
[284] Glamann K. *Op. cit.*, p. 155.
[285] См. выше, с. 53—55.
[286] British Museum, Sloane, 1572, f° 65.
[287] A. N., K 1349, 132, f° 117 v°.
[288] Du Mont J. *Op. cit.*, VI, p. 215.

Напротив, в Америке настало умиротворение, так как Вест-Индская компания была только счастлива положить конец дорогостоящей войне. Мориц Нассауский, который относился к этому по-иному, использовал свои высвободившиеся силы против испанцев, переведя в Тихий океан пять своих кораблей. Они производили бесконечные опустошения на побережье Чили и Перу, но из-за отсутствия помощи вынуждены были возвратиться в Бразилию. Туда они прибыли в тот момент, когда Мориц Нассауский готовился покинуть страну, отозванный, вероятно, по требованию купцов.

С этого времени голландцы считали, что они смогут эксплуатировать Бразилию совершенно спокойно. Преемники принца, «превосходные [с точки зрения интересов] торговли, но очень плохие политики», думали только о своем обогащении, о том, чтобы обеспечить расцвет торговли, и даже продавали оружие и порох португальцам «по причине чрезмерно высокой цены, каковую они за них дают». В таких условиях скрытая война продолжалась, война на истощение, опиравшаяся на внутренние районы, на сертан (*sertão*)[289], и в конечном счете одолевшая в 1654 г. голландскую Бразилию. Удерживаясь в Америке, португальцы вскоре отобрали обратно бо́льшую часть утраченных было постов на африканском побережье, таких, как Сан-Томе, как Сан-Паулу-ди-Луанда. Война, официально объявленная Португалии в 1657 г., позволила голландской Вест-Индской компании наносить удары своему противнику, уничтожать, грабить корабли. Но в конце концов война войну не кормила. Два голландца, которые в декабре 1657 г. находились в Париже, довольно верно определили ситуацию на основании письма, только что полученного ими из Голландии. «Добыча с Португалии, — говорили они, — это всего полтора миллиона [ливров], что не в состоянии оплатить издержки на наше вооружение, кои нам обходятся почти в 3500 тыс. ливров»[290]. Иначе говоря, война безысходная. И тогда медленно, как бы сам собой, пришел мир. Он был подписан 16 августа 1661 г. при посредничестве Карла II, нового короля Английского, который только что женился на португальской инфанте. Бразилия осталась за Португалией, которой, однако, пришлось купить это соглашение ценой открытия портов своей американской колонии для голландских кораблей, снизить цену на сетубалскую соль[291] и признать завоевания, нанесшие ей ущерб в Азии. Впоследствии она выплатит военные долги поставками соли, растянутыми на несколько лет[292].

В Голландии ответственность за поражение приписывали руководству Вест-Индской компании. Имелись две Индийские компании — хорошая и плохая. «Дай бог, — писал Питер де Ла Кур в 1662 г., — чтобы Ост-Индская компания [хорошая] восприняла сей пример, пока не поздно»[293]. Несчастная Компания была удержана на плаву в 1667 г. государством, но не оправилась от своих катастроф. С того времени она довольствовалась тем, что торговала между гвинейским побережьем и голландскими владениями Суринамом и Кюрасао. Кюрасао был занят в 1634 г.; Суринам уступлен англичанами в 1667 г. по условиям мира в Бреде[294] в качестве слабой компенсации за оставле-

[289] Французский перевод этого слова Лабрусом как *bled* [от арабского *балад*, в разговорной форме — *блед*, вошедшего во французский язык в значении «глубинка, глушь». — *Прим. перев.*] забавен, но не совсем верен.

[290] *Journal du voyage de deux jeunes Hollandais*, p. 377.

[291] A. N., Marine, B 7, 463, f^os 216—217.

[292] B. N., Ms. Portugais, 26, f° 216 et 216 v°, Лисабон, 8 октября 1668 г.

[293] La Court P., de. *Op. cit.*, p. 52.

[294] Du Mont J. *Op. cit.*, I, p. 15.

ние Нового Амстердама, которому предстояло стать Нью-Йорком. Кюрасао сохранится как активный центр перепродажи черных невольников и прибыльной контрабандной торговли с Испанской Америкой, а Суринам благодаря своим плантациям сахарного тростника даст Голландии хорошие доходы, но будет стоить и огромных забот. Именно с двумя этими постами и продолжала свою заурядную жизнь Вест-Индская компания. Ей, мечтавшей захватить Азорские острова [295] и удерживавшей значительный кусок Бразилии, пришлось разрешить частным перевозчикам действовать в своей сфере влияния в обмен на выплату возмещения.

[295] Simancas, Estado Flandes, 2043.
[296] A. N., K 1349, 132, f° 34 v°.

В конечном счете стоит ли обвинять одно только руководство Компании? Винить Зеландию, которая стояла за ней так же, как за ООИК стояла Голландия? Или слишком большие амбиции, проявившиеся слишком поздно? Не заключалась ли ошибка в том, что воображали, будто Новый Свет дастся в руки так же, как те густо заселенные области, которые можно было терзать по своему усмотрению на Амбоне, на островах Банда, на Яве? Тогда как Голландии пришлось столкнуться с Европой, с Англией, которая облегчит португальцам сопротивление, с Испанской Америкой, более устойчивой, нежели можно было предположить по ее видимости. В 1699 г. один несколько недоброжелательный француз утверждал, что люди Соединенных Провинций «заметили чрезвычайные тяготы и значительные затраты, на которые пришлось пойти испанцам, дабы утвердить свою коммерцию или свое могущество в странах, кои им до того были неведомы; таким образом, они [голландцы] приняли решение делать для таких предприятий столь мало, сколько только возможно» [296]. В общем, решили искать страны, чтобы их эксплуатировать, а не заселять и развивать. Не следует ли скорее думать (и это означало бы вернуться к нашей исходной позиции), что маленькая Голландия была недостаточно велика для того, чтобы проглотить разом Индийский океан, бразильские леса и оказавшийся полезным кусок Африки?

ПРЕОБЛАДАНИЕ И КАПИТАЛИЗМ

Опыт Амстердама вполне очевидно свидетельствует о достаточно однообразных в своем повторении формах всякого преобладания городского центра, призванного создать империю. К этому сюжету мы не собираемся возвращаться. Зато для нас интересно увидеть на четко определенном примере, чем мог быть утвердившийся капитализм в рамках подобного преобладания. Мы предпочитаем поискам дефиниции в абстракции наблюдение конкретных случаев опыта. Тем более что капитализм, каким он наблюдался в Амстердаме, свидетельствует одновременно и о том опыте, какой ему предшествовал, и о том, который последует. На самом деле речь должна пойти по меньшей мере о двух полях наблюдения:

Что происходило в самом Амстердаме, каковы были его торговые методы и практика?

Как этот центр мира был связан с зонами мира-экономики, над которыми он господствовал вблизи и издалека?

Первый вопрос прост: зрелище Амстердама почти неспособно застать нас врасплох. Не так обстоит дело со вторым, который имеет целью реконструировать построение всей совокупной зоны, над которой Амстердам доминировал и *с очень больших высот*. Построение это не всегда очевидно; оно теряется во множестве частных случаев.

КОГДА В АМСТЕРДАМЕ ДЕЛА НА СКЛАДАХ ХОРОШИ, ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО

В Амстердаме все было сконцентрировано, скучено: корабли, набитые в порту как сельди в бочке, лихтеры, двигавшиеся по каналам, купцы на бирже, товары, которые поглощались складами и непрестанно выходили из них. Свидетель XVII в. рассказывает: «Стоит только причалить какому-нибудь флоту, как при посредстве маклеров все это количество товаров на первом же собрании купцов на Бирже покупается, и корабли, разгруженные за четыре-пять дней, готовы для нового плавания»[297]. Покупались они наверняка не так быстро. Но склады способны были все это поглотить, а потом извергнуть все обратно. На рынке имелось огромное количество ценностей, материалов, товаров, всевозможных услуг — и все было доступно сразу же. Распоряжение — и машина пришла в движение. Именно этим Амстердам поддерживал свое превосходство. Всегда к вашим услугам изобилие, огромная масса денег, постоянно находившаяся в движении. Когда они принадлежали к определенному классу, голландские купцы и политические деятели осознавали, хотя бы через собственную практику изо дня в день, громадное могущество, которое находилось в их руках. Их главные козыри позволяли любые игры — законные и незаконные.

«С того времени, как я более глубоко знаю Амстердам, — писал в 1699 г. один современник, — я его сравниваю с ярмаркой, куда множество купцов доставляют из своей стороны товары, будучи уверены, что найдут там сбыт; как на обычных ярмарках купцы, кои там пребывают, не пользуются теми вещами, что они там продают, так и голландцы, кои со всех сторон накапливают товары Европы, сохраняют для своего употребления лишь те, кои абсолютно необходимы для жизни, и продают прочим нациям те, что они рассматривают как излишние, каковые всегда самые дорогие»[298].

Сравнение с ярмаркой банально, но им сразу же сказано главное о роли Амстердама: собирать, складировать, продавать, перепродавать товары всего мира. Уже Венеция проводила подобную же политику; уже Антверпен к 1567 г. был, по словам Лодовико Гвиччардини[299], «постоянной ярмаркой». Нет никакого сомнения, что по масштабам того времени эта складская мощь казалась баснословной, да и ненормальной, потому

[297] Мальтийские архивы, 6405, начало XVIII в.
[298] A.N., K 1349, 132, f° 135.
[299] Guicciardini L. *Op. cit.*, p. 108.

что такое притяжение порой завершалось откровенно нелогичными транзитными перевозками. Еще в 1721 г.[300] Чарлз Кинг в своем «*Британском купце*» удивлялся, что английские товары для Франции забирали голландские корабли, что товары эти выгружались в Амстердаме и оттуда отправлялись по Маасу или по Рейну![301] За них будет выплачена пошлина при ввозе и вывозе из Голландии, затем дорожные сборы на Рейне или на Маасе и, наконец, пошлина на таможне на французской границе. Разве не оказались бы эти товары «дешевле в Шампани, или в Меце, или в прилегающих к Рейну и Маасу местностях, ежели бы мы с самого начала выгружали их в Руане и платили бы только городские ввозные пошлины в сем городе»? Конечно, будучи англичанином, Кинг заблуждался, если полагал, что таможенную пошлину платили один-единственный раз при въезде во Францию[302]. Но очевидно, что движение через Амстердам удлиняло и усложняло кругооборот. Прямая торговля в конце концов возобладает, когда в XVIII в. у Амстердама больше не будет такой притягательной и перевалочной мощи.

Но это еще не было правилом в том 1669 г., когда происходил обмен мнениями между Симоном Арно де Помпонном, великим пенсионарием Яном де Виттом и Ван Бойнингеном[303], чей язык был более бесхитростным, нежели язык Я. де Витта. Невозможно нам продолжать покупать французские товары, говорил Ван Бойнинген Помпонну, ежели во Франции запрещают наши готовые изделия. Ничего нет проще, чем заставить

[300] Wilson C. *Anglo-Dutch commerce...*, p. 20.
[301] King C. *The British Merchant*, 1748, I, p. 339—340.
[302] *Ibid.*
[303] A. N., B[1], 619, переписка Помпонна, 1669 г. Конрад Ван Бойнинген был послом Соединенных Провинций при короле Французском.



Роттердам: банк и подъемный кран около 1700 г. Эстамп П. Шенка. *Собрание Фонда «Атлас ван Столк».*

голландского потребителя забыть вкус французского вина, употребление которого в большой мере вытеснило употребление пива: достаточно будет увеличить налоги на потребление (жесткое средство рационирования). Но, добавлял Ван Бойнинген, ежели голландцы решат между собой «утвердить среди своего народа трезвость и ограничение роскоши», запретив употребление дорогих французских шелковых изделий, они будут продолжать вывоз в зарубежные страны «тех самых вещей, кои они пожелали бы изгнать из своей страны». Для ясности: французские вина, водки, роскошные ткани будут допускаться на рынок Соединенных Провинций при условии, что их станут вывозить оттуда; перекроют внутренний кран, оставив свободу для складирования и транзита.

Склады, пакгаузы — то было сердце голландской стратегии. В 1665 г. в Амстердаме упорно поговаривали о часто обсуждавшемся проекте попытаться открыть проход в Индию северным путем. Ост-Индская компания старалась этому воспрепятствовать. Причина? Дело в том, объясняло одно из заинтересованных лиц, что в случае успеха дорога сократится на полгода. И тогда у Компании недостанет более времени, чтобы до возвращения экспедиции сбыть на десять миллионов флоринов товара, что скапливался ежегодно на ее складах [304]. Изобилие на рынке сбило бы цену наличных запасов. В конечном счете попытка эта провалится сама собой, но такие страхи бросают свет на образ мышления и в еще большей мере — на возраст экономики.

[304] *Ibid.* Д'Эстрад, Гаага, 5 февраля 1665 г.

Нагромождения, скопления товаров в те времена и в самом деле соответствовали медлительности и нерегулярности обращения. Они были решением торговых проблем, которые все, или почти все, проистекали из прерывистого характера посту-

В 1786 г. ГОЛЛАНДЦЫ ВСЕ ЕЩЕ БЫЛИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПЫ

Проделанный французским консулом в Амстердаме в 1786 г. подсчет 1504 кораблей, пришедших в Амстердам. Несмотря на поздний период, эти корабли почти все были голландскими.

Пришли из:	Число кораблей	В том числе голландских
Пруссии	591	581
России	203	203
Швеции	55	35
Дании	23	15
Северной Германии	17	13
Норвегии	80	80
Италии	23	23
Португалии	30	30
Испании	74	72
Леванта	14	14
Варварии	12	12
Франции	273	273
Американских колоний (исключая Соединенные Штаты)	109	109

По данным Бругманса: Brugmans. *Geschiedenis van Amsterdam*, IV, p. 260—261.

плений и отправлений, из задержки и ненадежности информации и распоряжений. Купец, если он мог себе позволить сохранить свои запасы, был в состоянии сразу же реагировать на какой-либо просвет на рынке, едва только он образовывался. И если Амстердам был дирижером оркестра европейских цен, что отмечают все документы, то именно по причине обильных запасов товаров, сбыт которых он мог регулировать по своему усмотрению.

ТОВАРЫ И КРЕДИТ

Такая система перевалочной торговли оборачивалась монополией. И если голландцы были «на самом деле перевозчиками для всего света, коммерческими посредниками, комиссионерами и маклерами для всей Европы» (так говорил Дефо в 1728 г. [305]), то происходило это не оттого, как полагал Ле Поттье де ла Этруа [306], что «все нации соблаговолили сие терпеть», но потому, что они не могли этому помешать. Голландская система была построена на совокупности торговых взаимозависимостей, которые, будучи связаны друг с другом, образовывали ряд почти обязательных каналов обращения и перераспределения товаров. То была система, поддерживавшаяся ценой постоянного внимания, политики устранения любой конкуренции, подчинения всего комплекса голландской экономики этой главной цели. Споря с Помпонном в 1669—1670 гг. по поводу «желания, пробуждающегося у прочих наций, не основывать на них одних [голландцах] всю торговлю Европы» [307], голландцы не были не правы, утверждая, что «те, кто отнимут у них [эту торговлю, каковую они именовали *Entrecours*], не пропуская ее более через их руки», хотя и могут лишить их «столь великой пользы, какую приносят им обмен и перевозки товаров, коими они одни занимались во всех частях света», но не в состоянии заменить голландцев в этой роли и присвоить себе прибыли от нее [308].

Такая гипертрофированная функция складирования и перераспределения возможна была только потому, что она придавала форму, ориентировала и даже изменяла (следовало бы сказать — лепила) остальные торговые функции. «*Политический опыт*» Жан-Франсуа Мелона (1735 г.) отмечал это в применении к банку — правда, не слишком ясно, но рассуждение его, несомненно, заходило довольно далеко. «Хороший банк, — говорит он, — это тот, который не платит», т. е. такой, который не занимается эмиссией [309]. Амстердамский банк и его образец Венецианский банк [310] отвечали этому идеалу. Там все «крутилось на письме». Вкладчик рассчитывался переводом, используя фиктивные деньги, так называемые банковские деньги, которые по отношению к ходячей монете имели ажио, равнявшееся в среднем 5% в Амстердаме и 20% в Венеции. Вот как Мелон, напомнив об этих понятиях, противопоставляет Амстердам и Лондон. «Амстердамский банк, — объясняет он, — должен был крутиться на письме, ибо Амстердам получает много, а потребляет мало. Он получает морем большие пар-

[305] Defoe D. *A Plan of the English Commerce.* 1728, p. 192.
[306] Le Pottier de La Hestroy, A.N., G[6], 1687 (1703), f° 67.
[307] A.N., B[1], 619, 27 июня 1669 г.
[308] *Ibid.*, 30 октября 1670 г.
[309] Melon J.-F. *Op. cit.*, p. 237.
[310] *Ibid.*, p. 238.

тии, чтобы отправить такие же дальше [это означает дать определение перевалочной торговли]. Лондон же потребляет... свое собственное продовольствие, и его банк должен состоять из бумаг, оплачиваемых по требованию»[311]. Текст не слишком точный, я согласен с этим, но противопоставляющий страну, которая главным образом занимается торговлей перевалочной и транзитной, стране, где спектр обращения, широко открытый для внутренних сетей потребления и производства, постоянно нуждается в реальных деньгах[312].

Если Амстердам не имел эмиссионного банка с повседневной озабоченностью о кассовой наличности металлической монеты, так это потому, что он в нем почти не нуждался. В самом деле, то, чего требовала перевалочная торговля, — это легкие и быстрые расчеты, которые позволяли взаимно компенсировать очень многочисленные платежи, не прибегая к риску, связанному с наличными, и аннулировать большей частью эти платежи игрою *клиринга*. С этой точки зрения амстердамская банковская система имела ту же природу, что банковская система ярмарок старого типа, включая и самоновейшие генуэзские ярмарки, но была намного более гибкой и быстродействующей в силу своего *постоянного характера*. Согласно отчету «бухгалтеров банка», такая фирма, как Хоупы, в нормальные времена, до кризиса 1772 г., ежедневно проводила, кредитом или дебетом, «60—80 статей банковских расчетов»[313]. По словам одного надежного свидетеля, около 1766 г. в Ам-

[311] *Ibid.*, р. 239.
[312] В смысле «ходячей монеты».
[313] Москва, АВПР, 50/6, 490, 17 апреля 1773 г.



Меняльная контора. Голландский эстамп 1708 г. *Фонд «Атлас ван Столк».*

стердамском банке наблюдалось «увеличение оборота до десяти и двенадцати миллионов флоринов в день»[314].

Но зато Амстердамский банк не был инструментом кредита, поскольку вкладчикам под страхом штрафа воспрещалось превышать суммы их счетов[315]. А ведь кредит, необходимый на любом рынке, был в Амстердаме жизненной необходимостью, принимая во внимание ненормальную массу товаров, которые закупались и помещались в пакгаузы лишь ради того, чтобы быть реэкспортированными несколько месяцев спустя, принимая также во внимание, что оружием голландского негоцианта против иностранца были деньги, многообразные авансы, предлагаемые для того, чтобы лучше купить или лучше продать. На самом деле голландцы были для всей Европы торговцами кредитом, и в этом заключалась тайна тайн их процветания. Этот дешевый кредит, в изобилии предлагавшийся амстердамскими фирмами и крупными купцами, выбирал столь многообразные пути, от самой благоразумной торговли до безудержной спекуляции, что его с трудом можно проследить во всех его извивах. Но ясна его роль в том, что в те времена называли комиссионной и акцептной торговлей, которая в Амстердаме приобрела особые, быстро множившиеся формы.

[314] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts de nations*..., II, p. 200.
[315] Savary J. *Op. cit.*, I, col. 331 sq.; Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, I, p. 278.

КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ

Комиссионная торговля означала противоположность торговле личной, именовавшейся «торговлей собственностью»; она означала — заниматься товарами ради другого.

Собственно, *комиссия* есть «поручение, каковое один негоциант дает другому для торговли. Тот, кто поручает, — это комитент, тот, кому дают поручение, — комиссионер. Различают комиссию на закупку, комиссию на продажу, банковскую комиссию, каковая заключается в том, чтобы снимать со счета, акцептировать, передавать, давать распоряжения об акцепте или о получении денег на счет другого; складскую комиссию, каковая состоит в том, чтобы получать партии товара, дабы отправлять их к месту их назначения». А затем «продают, покупают корабли, велят их строить, доковать, вооружать и разоружать, страхуют и велят застраховать себя посредством комиссии»[316]. Вся торговля входила в систему, где встречались самые разные ситуации. Бывали даже случаи, когда комитент и комиссионер действовали бок о бок. Так, когда негоциант отправлялся в мануфактурный центр, дабы покупать там «из первых рук» (скажем, чтобы отобрать шелка в Лионе или в Туре), он обновлял запасы товара вместе с комиссионером, который им руководил и обсуждал с ним цены.

Если Голландия и не придумала комиссию, которая была очень древней практикой, то она весьма рано и надолго сделала ее первой из форм своей торговой активности[317]. Это означало, что все возможные случаи, какие предполагала комиссия, априори там встречались: как равенство, так и неравенство, как зависимость, так и взаимная самостоятельность. Купец мог

[316] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts de nations*..., II, p. 250.
[317] Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, II, p. 321.

быть комиссионером другого купца, который в своем месте играл такую же роль.

Но в Амстердаме неравенство обнаруживало тенденцию стать правилом. Одно из двух: либо голландский негоциант имел за границей постоянных комиссионеров, и тогда они были исполнителями, даже маклерами у него на службе (так обстояло дело в Ливорно, Севилье, Нанте, в Бордо и т. д.); либо же это амстердамский негоциант играл роль комиссионера, и тогда он своими кредитами принуждал купца, прибегнувшего к его услугам, то ли продавать, то ли покупать. В самом деле, голландские купцы повседневно давали «кредит иноземным негоциантам, кои им поручали покупку [товаров и даже ценных бумаг, котирующихся на бирже] за возмещение, каковое они получают лишь через два-три месяца после отправки, что дает покупателям кредит на четыре месяца»[318]. Еще более явной была власть при продажах: когда какой-то купец отправлял крупному голландскому комиссионеру ту или иную партию товара с поручением ее продать за такую-то или такую-то цену, комиссионер выплачивал ему авансом либо четвертую часть, либо половину, либо даже три четверти установленной цены[319] (вы хорошо видите, что это напоминает старинную практику авансов под пшеницу на корню или под шерсть от предстоящей стрижки). Такой аванс давался под определенные проценты за счет продавца.

Таким вот образом амстердамский комиссионер финансировал торговлю своего корреспондента. Один относящийся к 1783 г.[320] документ довольно хорошо это устанавливает в связи с силезскими льняными тканями, известными под названием *platilles* (некогда их производили в Шоле и в Бове до того, как их стали имитировать в Силезии, где эти ткани, изготовлявшиеся из польского высококачественного льна, обходились дешевле, и с того времени они более не имели соперников). *Platilles* экспортировались в Испанию, Португалию и Америку, а промежуточными рынками были прежде всего Гамбург и Альтона. «Большое количество силезских тканей прибывает также в Амстердам. Отправляют их сами изготовители, коль скоро не смогли они сбыть все в своей стране и в прилегающих областях, ибо там [в Амстердаме] они весьма легко могут занять до трех четвертей стоимости тканей под умеренный процент, дожидаясь случая для удачной продажи. Таковые случаи часты, ибо сии ткани потребляют голландские колонии и особенно — колония Кюрасао».

В этом случае, как и во многих других, комиссия, *дополненная кредитом*, привлекала в Амстердам значительную массу товаров; эти товары должны были послушно отзываться на поток кредита. Во второй половине XVIII в., когда разладилась амстердамская перевалочная торговля, комиссионная торговля изменилась: так, она позволяла, если взять вымышленный пример, чтобы товар, закупленный в Бордо, шел прямо в Санкт-Петербург без остановки в Амстердаме, хотя этот последний город предоставлял финансовое сопровождение, без которого все было бы нелегким, если вообще возможным делом. Такое изменение придало возросшее значение другой

[318] *Ibid.*, I, p. 226.
[319] *Ibid.*
[320] A. N. A. E., B[1], 165, 13 февраля 1783 г.

«ветви» нидерландской активности, так называемой акцептной торговле, которая зависела исключительно от финансов; во времена Аккариаса де Серионна чаще говорили «от банка», в самом общем смысле от кредита [321]. В такой игре Амстердам оставался «кассой» [322], а голландцы — «банкирами всей Европы» [323].

[321] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts des nations*, I, p. 278.
[322] *Ibid.*
[323] *Ibid.*

Впрочем, разве такая эволюция не была нормальной? Чарлз П. Киндлбергер [324] очень хорошо это объясняет. «Монополию одного порта или одного перевалочного пункта в качестве узла торговой сети, — пишет он, — трудно удержать. Такая монополия основана на риске и на капитале в такой же мере, как и на хорошей информации относительно имеющихся в распоряжении товаров и тех мест, где на них есть спрос. Но подобная информация быстро распространяется, и торговля на центральном рынке замещается прямыми торговыми связями между производителем и потребителем. И тогда у саржи Девоншира и рядовых сукон Лидса нет надобности в том, чтобы проходить транзитом через Амстердам, дабы быть отправленными в Португалию, Испанию или Германию; они будут туда посылаться напрямую. [В Голландии] капитал оставался в изобилии, но торговля клонилась к упадку с тенденцией трансформировать финансовую сторону обмена товарами в банковские услуги и инвестиции за границей». Преимущества крупного финансового рынка для заимодавцев и заемщиков в конечном счете оказывались более долговечными, нежели преимущества торгового центра для покупателей и продавцов товаров. Не этот ли переход от товара к банковским операциям видели мы со всей ясностью в Генуе XV в.? Не его ли увидим мы в Лондоне в XIX и XX вв.? Не было ли банковское превосходство самым долговечным? Именно это предполагает успех акцепта в Амстердаме.

[324] Kindleberger C. P. *Manias, Bubbles, Panics and Crashes and the Lender of Last Resort* (машинописный текст), ch. II, p. 1 f.

СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ АКЦЕПТА

«Акцептировать вексель — значит подписаться под ним, поставить свою подпись, сделаться главным должником на ту сумму, каковая в нем указана, обязаться от своего имени выплатить ее в указанный срок», — объясняет Савари [325]. Если срок истечения установлен векселедателем, *акцептор* (иногда говорили *акцептатор*) только подписывает его; если эта дата не уточнена, тогда вы подписываете и датируете — и вписанная дата закрепит будущий срок платежа.

[325] Savary J. *Op. cit.*, I, col. 8.

Тут еще не было ничего нового: акцептная торговля затрагивала бесчисленные переводные векселя, которые издавна служили по всей Европе посредником в кредите и которые отныне станут, как огромные кучевые облака, упорно собираться над Голландией — и это, вполне очевидно, не было случайным. В самом деле, переводной вексель оставался «первой из... всех коммерческих бумаг и самой важной», по сравнению с которой векселя на предъявителя, простые векселя, векселя под стоимость товаров играли лишь скромную и локальную роль. На всех рынках Европы «векселя обращаются в коммерции вместо

наличных денег и неизменно с тем преимуществом перед деньгами, что они приносят процент посредством учета, производимого от одного транспорта[326] к другому или от одного индоссамента к другому»[327]. Трансферты, индоссаменты, учеты, тратты и ретратты[328] сделали из векселя неутомимого путешественника с одного рынка на другой и дальше в том же духе, от одного купца к другому, от комитента к комиссионеру, от негоцианта к его корреспонденту или же к дисконтеру — *discompteur* (как говорили в Голландии, вместо слова escompteur, которое имело хождение во Франции и которого придерживается Савари дэ Брюлон), или даже от негоцианта к «кассиру», *его* кассиру. К тому же, чтобы постичь проблему, ее важно было видеть во всей целостности, с учетом восхищенного удивления современников, которые пытались объяснить себе голландскую систему.

Принимая во внимание медлительность потребления — оно не происходило в один день, — медлительность производства, медлительность коммуникаций для товаров и даже для поручений и векселей, медлительность, с которой масса клиентов и потребителей могла извлечь из своих авуаров наличные деньги (необходимые для покупок), требовалось, следовательно, чтобы негоциант имел возможность продавать и покупать в кредит, выпустив денежный документ, который мог бы обращаться вплоть до того, когда негоциант сможет расплатиться наличными, товарами или другой бумагой. Это уже было решение, которое итальянские купцы наметили в XV в. с введением индоссамента и перевода, которое они расширили в XVII в. в рамках соглашения о подписании второго векселя — *pacte de ricorsa*[329] [для уплаты процентов по предыдущему займу. — *Ред.*], столь оспаривавшегося теологами. Но нельзя измерять единой меркой эти первые ускорения и бумажный потоп в XVIII в., в 4, в 5, в 10, в 15 раз превышавший обращение «реальной» монеты. Бумажный потоп, представлявший то солидные авуары и рутинную практику купцов, то то, что мы назвали бы дутыми обязательствами, а голландцы называли *Wisselruiterij* — «обменной лихостью»[330].

Законное или незаконное, это движение бумаги вполне логично заканчивалось в Амстердаме, снова начиналось оттуда, чтобы туда же возвратиться в зависимости от приливов и пульсаций, захватывавших всю торговую Европу. Всякий купец, который проникал в эти потоки, чаще всего находил там незаменимые удобства. Около 1766 г. негоцианты, оптом скупавшие шелка «Италии и Пьемонта», чтобы перепродавать их мануфактуристам Франции и Англии, с трудом обошлись бы без голландских кредитов. В самом деле, шелка, что они закупали в Италии «из первых рук», обязательно оплачивались наличными, и «общий обычай заставлял» негоциантов поставлять их мануфактуристам «в кредит примерно на два года» — то было действительно время перехода от сырья к готовому изделию и предложения его к продаже[331]. Такое долгое и постоянное ожидание объясняет роль по нескольку раз возобновлявшихся переводных векселей. Следовательно, эти оптовики составляли часть многочисленных европейских

[326] Слово «транспорт» употреблено в значении «трансферт».
[327] Accarias de Sérionne J. *Op cit.*, II, p. 314—315.
[328] Слово «ретратта» употреблено в значении «отсрочка».
[329] Mandich G. *Le Pacte de Ricorsa et le marché étranger des changes*. 1953.
[330] Wilson C. *Anglo-Dutch Commerce...*, p. 167.
[331] Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, I, p. 226.

купцов, «которые обращаются», т.е. «выписывают векселя на [своих] корреспондентов, [голландских, разумеется], дабы с помощью их акцепта получить капиталы на рынке, [где они действуют], и которые для первых тратт по истечении их срока выписывают новые или велят их выписать»[332]. В долговременном плане то был довольно дорогостоящий кредит (долг нарастал от векселя к векселю), но он без затруднений поддерживал особо выгодную «отрасль коммерции».

Итак, механизм голландских торговли и кредита функционировал через многочисленные перекрещивавшиеся передвижения бесчисленных переводных векселей, но он не мог вращаться только бумагой. Время от времени ему требовались наличные, чтобы снабжать ими балтийскую и дальневосточную торговлю, равно как и для того, чтобы наполнять в Голландии кассы купцов и дисконтеров, ремеслом которых было переходить от бумаги к металлической монете и обратно. В наличных деньгах Голландия, чей платежный баланс всегда бывал положительным, недостатка не испытывала. В 1723 г. Англия будто бы отправила в Голландию серебра и золота на 5666 тыс. фунтов стерлингов[333]. Иногда повседневные поступления приобретали характер события. «Поразительно [видеть], — писал 9 марта 1781 г. неаполитанский консул в Гааге, — количество ремиссий, каковые производят в сю страну [Голландию] что из Германии, что из Франции. Из Германии прислали больше миллиона золотых соверенов[334], кои будут переплавлены для изготовления голландских дукатов; из Франции амстердамским торговым домам прислали сто тысяч луидоров»[335]. И добавляет, как если бы он хотел предоставить нашим учебникам политической экономии ретроспективный пример золотого стандарта (*Cold point standard*)[336]: «Причина сей отправки в том, что денежный курс в настоящее время для сей страны [Голландии] выгоден». В общем в глазах ежедневного наблюдателя масса наличной монеты в Амстердаме стушевывалась за массой бумаги. Но как только случайная неисправность приостанавливала движение дел, присутствие этой наличности проявлялось незамедлительно. Так, в конце декабря 1774 г.[337], при выходе из кризиса 1773 г., который еще давал себя чувствовать, и в момент, когда приходили вести о беспорядках в английской Америке, застой в делах был таков, что «деньги никогда не были так распространены, как сегодня... векселя учитывают из двух процентов и даже из полутора, когда эти векселя принимают к уплате некоторые фирмы, а это свидетельствует о малой активности комерции».

Только это накопление капиталов позволяло рискованные игры с дутыми сделками, возможность легкого, автоматического обращения ради любого сулившего выгоду дела к бумаге, которая ничем не гарантировалась, помимо процветания и превосходства голландской экономики. К этой ситуации XVIII в. я охотно приложил бы сказанное недавно Василием Леонтьевым * по поводу массы долларов и евродолларов, создаваемой ныне Соединенными Штатами: «Факт заключается в том, что в капиталистическом мире государства, а порой даже отчаянные предприниматели или банкиры использовали

[332] Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, II, p. 210.
[333] *Ibid.*, I, p. 397.
[334] Английская золотая монета, впервые чеканенная в 1489 г. Генрихом VII и равная по стоимости фунту стерлингов.
[335] A.d.S. Napoli, Affari Esteri, 804.
[336] Это тот обменный курс, начиная с которого было выгоднее отправлять золото за границу, нежели оплачивать траттой (Barraine R. *Nouveau Dictionnaire de droit et de sciences économiques*. 1974, p. 234).
[337] A. N., Marine, B^7, 438, Амстердам, 13 и 26 декабря 1774.
* Американский экономист, лауреат Нобелевской премии за разработку экономико-математических методов. — *Прим. перев.*

привилегию чеканки монеты и злоупотребляли ею. И в особенности — правительство США, которое так долго наводняло другие страны неконвертируемыми долларами. Все дело в том, чтобы иметь достаточно кредита (а следовательно, могущества), дабы позволить себе этот прием» [338]. Не это ли говорил на свой лад и Аккариас де Серионн: «Стоит лишь десяти или двенадцати первоклассным амстердамским негоциантам объединиться ради банковской [понимай: кредитной] операции, как они в один момент смогут заставить обращаться по всей Европе больше чем на двести миллионов флоринов бумажных денег, предпочитаемых деньгам наличным. Нет государя, который бы мог так поступить... Кредит сей есть могущество, коим десять или двенадцать негоциантов будут пользоваться во всех государствах Европы при полнейшей независимости от всякой власти» [339]. Как видите, у нынешних транснациональных корпораций были предки.

[338] «*L'Express*», 28 janvier 1974.
[339] Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, II, p. 201.

МОДА НА ЗАЙМЫ, ИЛИ ИЗВРАЩЕНИЕ КАПИТАЛА

Процветание Голландии завершилось избытками, которые парадоксальным образом причиняли ей затруднения, такими избытками, что кредита, который Голландия предоставляла торговой Европе, окажется недостаточно, чтобы их поглотить, и она, таким образом, будет предлагать их также современным государствам, с их особым даром потреблять капиталы, хотя и без таланта возвращать эти капиталы в обещанный срок. В XVIII в., когда повсюду в Европе имелись праздные деньги, используемые с трудом и на плохих условиях, государям едва ли приходилось просить: один кивок — и деньги богатейших генуэзцев, богатейших жителей Женевы, богатейших жителей Амстердама оказывались в их распоряжении. Возьмите же, вас просят об этом! Весной 1774 г., сразу же после ярко выраженного кризисного застоя в делах, амстердамские кассы были открыты настежь: «Легкость, с коею голландцы ныне передают свои деньги иностранцам, побудила некоторых немецких государей воспользоваться такою готовностью. Герцог Мекленбург-Стрелицкий только что прислал сюда агента, дабы заключить заем на 500 тыс. флоринов из 5%» [340]. В это же самое время датский двор успешно провел переговоры о займе в 2 млн. флоринов, который довел его долг голландским кредиторам до 12 млн.

Был ли такой финансовый напор отклонением, как говорили морализирующие историки? Было ли это нормальным развитием? Уже на протяжении второй половины XVI в., бывшей тоже периодом сверхобилия капиталов, Генуя пошла тем же путем; представители старой знати (*nobili vecchi*), признанные заимодавцы Католического короля, в конечном счете отошли от активной торговой жизни [341]. Все происходило так, словно Амстердам, повторяя этот опыт, выпустил добычу ради призрака, удивительную «перевалочную торговлю» — ради жизни рантье-спекулянтов, оставив выигрышные карты Лондо-

[340] A.N., Marine, B⁷, 438, f° 6, Амстердам, 17 марта 1774 г. (письмо Майе дю Клерона).
[341] Ruiz Martin F. *Lettres marchandes...*, p. XXXIX.

ну, даже финансируя подъем своего соперника. Да, но был ли у него выбор? Был ли выбор у богатой Италии конца XVI в.? Была ли у нее возможность, даже тень возможности, остановить подъем северных стран? И все же любая эволюция такого рода как бы возвещала, вместе со стадией финансового расцвета, некую зрелость; то был признак надвигающейся осени.

В Генуе, как и в Амстердаме, особенно низкие ставки процента говорили о том, что капиталы не находят себе более применения на месте в обычных формах. При сверхобилии свободных денег в Амстердаме стоимость кредита здесь упала до 3—2%, как в Генуе к 1600 г. [342] Это также то положение, в каком окажется Англия в начале XIX в. после хлопкового бума: слишком много денег, и денег, не приносящих более сносного дохода, даже в хлопчатобумажной промышленности. Именно тогда-то и согласились английские капиталы кинуться в громадные инвестиции в металлургическую промышленность и железные дороги [343]. У голландских капиталов подобного шанса не было. С этого времени роковым оказывалось то, что любая плата за кредит, немного превышавшая местные ставки процента, увлекала капиталы вовне, иной раз очень далеко. Да и здесь еще это было не совсем то положение, в котором окажется Лондон, когда в начале XX в. после фантастических приключений промышленной революции он снова будет иметь слишком много денег и мало возможностей использовать их на месте. Конечно, как и Амстердам, Лондон будет отправлять свои капиталы за границу, но займы, которые он согласится предоставить, окажутся зачастую продажами за пределами страны изделий английской промышленности, т. е. способом подъема национального роста и национального производства. Ничего подобного не было в Амстердаме, ибо там рядом с торговым капитализмом города не имелось развивавшейся вовсю индустрии.

Тем не менее эти займы загранице были довольно удачными делами. Голландия их практиковала с XVII в. [344] В XVIII же веке, особенно когда в Амстердаме открылся рынок английских займов (начиная по меньшей мере с 1710 г.), «отрасль» займов значительно расширилась. С наступлением 60-х годов XVIII в. все государства являлись к кассовым окошкам голландских кредиторов — император, курфюрст Саксонский, курфюрст Баварский, настойчивый король Датский, король Шведский, Россия Екатерины II, король Французский и даже город Гамбург (который, однако, был в то время торжествующим соперником Амстердама) и, наконец, американские инсургенты.

Процесс предоставления иностранных займов, всегда один и тот же, архиизвестен: фирма, которая соглашается разместить заем на рынке в виде облигаций [345], затем котирующихся на бирже, открывает подписку, которая в принципе бывает открытой. В принципе, потому что случалось, если заем казался имеющим солидные гарантии, что он бывал почти целиком покрыт до его объявления. Ставка процента бывала невысока, всего на один-два пункта выше процента, бывшего обычным в делах между купцами. 5% рассматривались как высокая став-

[342] Braudel F. *Médit...*, II, p. 44.
[343] Hobsbawm E. J. *The Age of Revolution*, p. 44—45.
[344] Wilson C. *Anglo-Dutch Commerce...*, p. 88—89.
[345] Слово «облигация» здесь употреблено в современном значении «акция».

ка. Но в большинстве случаев требовали гарантий: земель, государственных доходов, драгоценностей, жемчугов, драгоценных камней. В 1764 г. курфюрст Саксонский поместил в Амстердамский банк на «9 млн. драгоценных камней» [346]; в 1769 г. Екатерина II отправила императорские бриллианты [347]. Другие виды залогов: огромные запасы товаров, ртуть, медь и т.п. Кроме того, фирме, проводящей операцию, полагалась «премия» — можно ли говорить о взятках? В марте 1784 г. «независимая Америка» заключила заем на 2 млн. флоринов, который был без труда покрыт. «Остается посмотреть,— писал один информатор, получивший сведения из первых рук,— одобрит ли Конгресс премии, предоставленные без его ведома» [348].

Обычно «контора» — частная фирма, выпускавшая заем,— сама предоставляла капитал заемщику и обязывалась распределять проценты, которые она получит,— все это за соответствующие комиссионные. Затем контора передавала субподряд профессионалам, которые каждый в своей сфере размещали определенное число акций. Таким образом, сбережения мобилизовывались довольно быстро. В конечном счете акции поступали на биржу, и там начинались те же самые маневры, какие мы описали в связи с Англией [349]. По-видимому, поднять акции выше номинала, выше 100 пунктов, было детской игрой. Достаточно было хорошо дирижируемой кампании, иной раз просто лживого объявления, для того чтобы заем был закрыт. Естественно, те, кто вел мелкую и крупную игру, использовали такое повышение, чтобы продать акции, которые они купили или которые оставались в их руках. Точно так же в случае политического кризиса или войны, способной вызвать понижение курса ценных бумаг, эти игроки будут первыми, кто станет продавать.

Операции эти были столь частыми, что выработалась особая терминология: хозяева контор именовались банкирами-негоциантами, банкирами-посредниками, посредниками в капитале; агенты по продаже бумаг и маклеры были «предпринимателями» — на их обязанности лежало распространять и «рядиться» из-за «облигаций» (понимай: акций займа) с частными лицами. Их также называли коммерсантами при капиталах. Не вовлечь их в дело было бы чистым безумием, они провалили бы проект. Эти выражения я заимствую у Я. Х. Ф. Ольдекопа, консула Екатерины II в Амстердаме. Из года в год мы встречаем в его переписке государей, нуждающихся в деньгах, и их агентов, предпринимающих с большим или меньшим успехом одни и те же демарши. «Сейчас идут,— пишет Ольдекоп в апреле 1770 г.,— негоциации с г-ми Хорнекой, Хогером и компанией [банк, специализировавшийся на профранцузских и французских делах] [о займе] для Швеции, каковой, как говорят, составит пять миллионов и каковой начали с одного миллиона. Поначалу был собран первый миллион, коего по меньшей мере половина была размещена в Брабанте, говорят даже, благодаря деньгам иезуитов» [350]. Однако же всякий думает, что «встретятся немалые затруднения при сборе» суммы, о которой оставалось договориться. В то время сам Ольдекоп ока-

[346] A. E., C. P. Hollande, 513, f° 360, Гаага, 9 марта 1764 г.
[347] Москва, АВПР, 480, 50/6.
[348] Москва, АВПР, 50/6, 522, л. 21 v°, 12/23 марта 1784 г. Обратите внимание на выражение «премия» («*prime*»). Французский текст (A. E., C. P. Hollande, 577, ф° 358, 12 декабря 1788 г.) говорит просто о «прибыли» («*bénéfice*»). Прибыль эта в связи с русским займом в 3 млн. флоринов достигла 120 тыс. флоринов, т. е. равнялась 4%.
[349] См. т. 2 настоящей работы, с. 94 и сл.
[350] Москва, АВПР, 480, 50/6, л.13, Амстердам, 2/13 апреля 1770 г.

зался по велению русского правительства втянутым в переговоры о займе с «Хоупом и компанией», «Андре Фелисом и сыном», «Клиффордом и сыном», с которыми он «договорился» и которые принадлежали к «главным негоциантам сего города»[351]. Трудность заключалась в том, что Санкт-Петербург «отнюдь не вексельный рынок, где можно получать и выписывать векселя с каждой почтой». Лучше всего будет производить платежи в самом Амстердаме, а для покрытия займа и процентов организовать поставку в Голландию меди. А в марте 1763 г.[352] уже курфюрст Саксонский ходатайствовал о займе в 1600 тыс. флоринов, которые, как просили лейпцигские купцы, были бы выплачены «в голландских дукатах, кои ныне весьма высоко ценятся».

Французское правительство одним из последних появится на амстердамском рынке, заключив свои займы, катастрофические для него самого и катастрофические для заимодавцев, которых 26 августа 1788 г. ошеломит прекращение французских платежей. «Сей громовой удар... грозящий сокрушить столько семейств, — пишет Ольдекоп, — вызвал... резкое и ужасное потрясение для всех негоциаций с заграницей». Облигации упали с 60 до 20%[353]. Крупная фирма Хоупов, весьма вовлеченная в операции с английскими ценными бумагами, станет держаться чудесной мысли: быть всегда подальше от французских займов. Случайно или по зрелом размышлении? Во всяком случае, ей не пришлось об этом жалеть. Мы увидим, как в 1789 г. глава фирмы будет пользоваться на Амстердамской бирже «такою беспримерной властью... что вексельный курс [не] устанавливается, пока он не прибудет»[354]. Он также сыграет роль посредника в деле английских субсидий Голландии во время «батавской революции»[355]. А в 1789 г. он даже воспрепятствует закупке французским правительством зерна в странах Балтийского бассейна[356].

[351] Там же, л.6, Амстердам, 29 марта/9 апреля 1770 г.
[352] Москва, АВПР, 472, 50/6, л.3 об. — 4, Амстердам, 18/29 марта и 25 марта/5 апреля 1763 г.
[353] Москва, АВПР, 539, 50/6, л. 62 v°, 26 августа 1788 г.
[354] A. E., C. P., 578, f° 326, 2 июня 1789 г.
[355] *Ibid.*, 579, f° 3, 3 июля 1789 г.
[356] *Ibid.*, f^os 100 v° sq., 18 августа 1789 г.

ИНАЯ ПЕРСПЕКТИВА: УДАЛЯЯСЬ ОТ АМСТЕРДАМА

Но оставим центр этой обширной сети, оставим Амстердам — эту командную вышку. Теперь проблема заключается в том, чтобы посмотреть, как эта сеть в целом (на мой взгляд, надстройка) соединялась у основания с менее развитыми экономиками. Нас занимают именно эти сочленения, эти стыки, эти соединения в цепи в той мере, в какой они раскрывали способ, каким господствующая экономика могла эксплуатировать экономики подчиненные, избавившись в то же время от необходимости самой обеспечивать наименее рентабельные дела и производства и — чаще всего — от непосредственного присмотра за внутренними звеньями рынка.

Решения варьировали от региона к региону и в зависимости от характера и эффективности господства, осуществляемого центральной экономикой. Чтобы отметить эти различия, достаточно будет, я полагаю, четырех групп примеров: стран Балтийского моря, Франции, Англии, Индонезии.

ВОКРУГ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Страны Балтийского бассейна слишком различны для того, чтобы выборка примеров, которые мы изберем, покрыла бы все их пространство. Некоторое число внутренних областей, гористых, лесных или заболоченных, усеянных озерами и торфяниками, оставалось к тому же за пределами нормальных связей.

Именно крайний недостаток населения и создавал в первую голову такие, более чем наполовину пустынные зоны. Например, шведская область Норланд, начинающаяся на краю долины реки Даль-Эльвен, была громадной лесистой зоной между голыми горами норвежской границы на западе и узкой освоенной полосой балтийского прибрежья на востоке. Быстрые и могучие реки, пересекающие ее с запада на восток, еще сегодня, после вскрытия ледяного покрова, переносят при сплаве впечатляющую массу бревен. Один Норланд сам по себе более обширен, чем вся остальная Швеция [357], но в конце средних веков он едва насчитывал 60—70 тыс. жителей. Следовательно, край примитивный, в основном эксплуатировавшийся (в той небольшой мере, в какой он поддавался эксплуатации) гильдией стокгольмских купцов; в целом же — настоящая периферийная зона. К тому же долина Даль-Эльвена всегда признавалась важнейшей преградой. По старому шведскому присловью, «дубы, раки и дворяне [добавим: и пшеница] севернее реки не встречаются» [358].

И если бы еще пример Норланда был единственным в своем роде; в самом деле, подумайте о стольких областях Финляндии, заполненных лесами и озерами, о стольких обделенных судьбою внутренних районах Литвы или Польши. Однако же повсюду над таким примитивным уровнем поднимались экономики: экономика внутренних районов, где деревенская жизнь, создательница прибавочного продукта, представляла все виды деятельности; прибрежная экономика, всегда оживленная, с вызывающими подчас удивление деревнями моряков-каботажников; городская экономика, которая возникала и брала верх скорее силой, нежели мирным путем; наконец, территориальные экономики, которые обрисовались и уже вступили в действие: Дания, Швеция, Московское государство, Польша, Бранденбургско-прусское государство, претерпевавшее глубокие и настойчивые перемены с момента прихода к власти великого курфюрста (1640 г.) *. То были национальные экономики, крупномасштабные создания, которые мало-помалу станут играть первые политические роли и оспаривать друг у друга пространство Балтики.

Таким образом, это пространство предоставляет нашему наблюдению целую гамму экономик, возможных в XVII и XVIII вв., от *домашнего хозяйства (Hauswirtschaft)* вплоть до *городского хозяйства (Stadtwirtschaft)* и *территориального хозяйства (Territorialwirtschaft)* [359]. Наконец, все это венчалось миром-экономикой, проникшим сюда за счет *пособничества* моря. Будучи как бы добавлен сверху к экономике нижних этажей, он их охватывал, навязывал им ограничения, дисциплини-

[357] Вся Швеция — 448 тыс. кв. км, Норланд — 261 500, Южная Швеция — 186 500 кв. км.

[358] Zimmerman M. *États scandinaves, régions polaires boréales.* — Vidal de la Blache P., Gallois L. *Géographie universelle,* III, 1933, p. 143.

* Великий курфюрст — Фридрих-Вильгельм, курфюрст Бранденбургский (1640 — 1688), один из создателей будущего могущества Пруссии. — *Прим. перев.*

[359] Речь идет о хорошо известном разграничении, предложенном К. Бюхером: экономика домашняя, экономика городская, экономика территориальная.

ровал их, а также и обучал их, ибо глубокое неравенство между господствующими и теми, над кем господствуют, существовало не без определенной взаимности услуг: я тебя эксплуатирую, но я же тебе и помогаю время от времени.

Короче, чтобы фиксировать нашу точку зрения, скажем, что ни плавания норманнов, ни Ганза, ни Голландия, ни Англия, если даже они и создавали на Балтике такие сменявшие друг друга господствующие экономики, не построили того экономического фундамента, без которого высшие формы эксплуатации захватили бы только пустоту. В таком же смысле я уже говорил, что некогда Венеция[360] захватила экономику Адриатики, но не создала ее.

Швеция — она будет главным нашим примером — была формировавшейся территориальной экономикой, одновременно и ранней, и запоздалой. Ранней — потому что шведское политическое пространство обрисовалось вокруг Упсалы и по берегам озера Меларен очень рано, в XI в., сдвинувшись позднее к югу и включив Западный и Восточный Гёталанд. Но экономически запоздало, ибо с начала XIII в. любекские купцы находились в Стокгольме, который контролирует на Балтийском море узкий выход из озера Меларен (примерно вдвое превышающего по размеру Женевское озеро), и продолжали активно действовать там вплоть до конца XV в.[361] Город же достиг

[360] См. выше, с. 29.
[361] Dollinger P. *La Hanse (XII^e—XVII^e siècles)*. 1964, p. 52.



Производство оружия развилось в Швеции с помощью голландцев и сделалось одним из самых значительных в Европе. На картине изображен литейный завод в Юлитаброке. *Амстердам; Государственный музей.*

полного и отныне неоспоримого успеха лишь со вступлением на престол династии Ваза в 1523 г. Следовательно, для Швеции, *как и для других национальных экономик*, экономическое пространство организовывалось медленно в предварительно очерченном политическом пространстве. Но в Швеции такая замедленность имела также и особые, достаточно очевидные причины.

Прежде всего, это трудные, даже не существовавшие коммуникации (прекрасные шведские дороги восходят к XVIII в.)[362] на огромном пространстве, превышавшем 400 тыс. кв. км, которое долгие войны увеличили до размеров империи (Финляндия, Ливония, Померания, Мекленбург, епископства Бременское и Верденское). Еще к 1660 г. эта империя покрывала, включая Швецию, 900 тыс. кв. км. Часть этих территорий Швеция утратит после 1720 г. (Стокгольмский мир с Данией) и 1721 г. (Ништадтский мир с Россией), но Финляндия, огромное колониальное владение, останется за ней до самого присоединения Финляндии к России Александра I в 1809 г.[363] Если к этим пространствам прибавить поверхность вод Балтики, которую Швеция пыталась окружить своими владениями (а именно 400 тыс. кв. км), то все вместе превышало миллион квадратных километров.

Другой слабостью Швеции было ее недостаточное население: 1200 тыс. шведов, 500 тыс. финнов, 1 млн. прочих подданных по берегам Балтики и Северного моря[364]. Клод Норманн[365] был прав, подчеркивая контраст между 20 млн. подданных Франции Людовика XIV и едва 3 млн. их в шведских владениях. В результате «величие» Швеции [366] было возможно лишь ценою безмерных усилий. Рано начатая бюрократическая централизация, сама стоившая немалых затрат, утвердила фискальную эксплуатацию, выходившую за рамки разумного, которая одна только сделала возможной империалистическую политику Густава-Адольфа и его преемников.

И последний, самый болезненный недостаток заключался в том, что водами Балтийского моря, главным пространством перевозок, Швеция не овладела. Вплоть до войны Аугсбургской лиги (1689—1697 гг.) ее торговый флот был невелик; имелись, конечно, многочисленные корабли, но ничтожного тоннажа, деревенские беспалубные суда, занимавшиеся каботажем. Ее родившийся в XVII в. военный флот даже после основания около 1679 г. солидной военно-морской базы в Карлскруне[367] не в состоянии был уравновесить датский флот, а позднее — флот русский. Фактически перевозки морем были последовательно монополизированы Ганзой, а затем, с XVI в., Голландией. В 1597 г. почти 2 тыс. голландских кораблей[368] пришли в Балтику, целиком охваченную тогда плотной сетью их обменных операций. И Швеция, какие бы преимущества ни давали ей ее завоевания и таможенные доходы, которые она присваивала, контролируя реки и перевозки Северной Германии, оказалась в свою очередь опутана нитями амстердамского капитализма. В XV в. из Стокгольма, перевалочного пункта внешней торговли, все шло в сторону Ганзы, прежде всего — в направлении Любека[369]; впредь все пойдет в Амстердам. Ярмо было закре-

[362] Nordmann C. *Grandeur et liberté de la Suède (1660—1792)*. 1971, p. 93.
[363] Nordmann C. *Op. cit.*, p. 17.
[364] То есть в целом, если считать только сушу, не больше 3 человек на кв. км.
[365] Nordmann C. *Op. cit.*, p. 17.
[366] Обычно различают «великий период» шведской истории — до 1721 г., и затем в XVIII в. — ее «свободный период».
[367] Nordmann C. *Op. cit.*, p. 94.
[368] *Ibid.*, p. 45.
[369] Dollinger P. *Op. cit.*, p. 527—528.

плено прочно: даже шведы знали, что избавиться от голландцев ради какой-то выгодной конъюнктуры означало бы прервать на Балтийском море кормившие ее перевозки и поразить собственную страну в самое сердце. Настолько, что и будучи враждебны этим требовательным хозяевам, шведы, однако же, не хотели положиться на помощь французов или англичан, чтобы от этих хозяев освободиться. В 1659 г. шведские сановники [370] предупредили англичан, что они не должны изгонять голландцев из Балтики, разве что они сами их там заменят!

Вплоть до 70-х годов XVII в., до того, как стало очевидным английское наступление на Балтике, голландцы будут устранять любую конкуренцию. Их купцы не довольствовались тем, чтобы управлять шведскими делами из Амстердама. Немалое их число — и не самых мелких: де Гееры, Трипы, Кронстрёмы, Блюммерты, Кабильжо, Вевестеры, Усселинки, Спиринки [371] — обосновывались в Швеции, иногда натурализовались там, получали дворянские грамоты и тем самым обретали полную свободу маневра.

Деятельность голландцев пронизывала шведскую экономику до самых ее глубин, вплоть до производства, вплоть до использования дешевой крестьянской рабочей силы. Амстердам контролировал одновременно продукцию шведского леса на севере страны (лес, брусья, доски, корабельные мачты, деготь, вар, смола) и всю деятельность горнопромышленного округа Бергслаг неподалеку от столицы и от берегов озера Меларен. Представьте себе круг площадью в 15 тыс. кв. км, где встречаются золото, серебро, свинец, цинк, медь и железо. Два последних были решающими в шведском производстве — медь до 1670 г., пока не истощились фалунские рудники, и железо, принявшее после этого эстафету и все больше и больше экспортировавшееся в Англию в виде чушек чугуна или железных плит. В пределах Бергслага возвышались домны и кузнечные цехи, заводы, изготовлявшие пушки и ядра [372]. Эта мощная металлургия, вполне очевидно, служила политическому величию Швеции, но не ее экономической независимости, ибо в XVII в. горнопромышленный сектор находился в зависимости от Амстердама, как в предшествовавшие столетия он зависел от Любека. В самом деле, образцовые предприятия де Гееров и Трипов были не так новы, как это утверждают. Рабочие-валлонцы из района Льежа (откуда был родом Луи де Геер, «король железа») ввели в Бергслаге домны из кирпича; но задолго до этого немецкие рабочие строили там очень высокие доменные печи из дерева и глины [373].

Когда в 1720—1721 гг. Швеция будет сведена к сухопутному блоку Швеция — Финляндия, она станет искать компенсацию своим неприятностям на Балтике в западном направлении. Наступила эпоха взлета Гётеборга, основанного на Каттегате в 1618 г. и сделавшегося шведским «окном на Запад». Набрал силу шведский торговый флот, наращивая число и водоизмещение своих кораблей (их было 228 в 1723 г., 480 — три года спустя в 1726 г.), и флот этот вырвался из Балтийского моря. В 1732 г. первое финляндское судно, выйдя из Або (Турку), пришло в Испанию [374]; в предшествовавшем году — 14 июня

[370] Barbour V. *Op. cit.*, p. 102.
[371] Nordmann C. *Op. cit.*, p. 50.
[372] *Ibid.*, p. 453.
[373] Heckscher E. F., Söderlund E. F. *The Rise of Industry*. 1953, p. 4—5.
[374] Hordmann C. *Op. cit.*, p. 243.

1731 г.[375] — получила пожалованную ей королевскую привилегию шведская Индийская компания. Эта компания, базировавшаяся в Гётеборге, познает довольно продолжительное процветание (дивиденды доходили до 40 и даже до 100%). В самом деле, Швеция сумела извлечь выгоду из своего нейтралитета и морского соперничества Западных держав, чтобы воспользоваться своими шансами. Зачастую шведы были к услугам тех, кто к ним за этим обращался, беря на себя прибыльную роль «замаскированных» кораблей[376].

Этот подъем шведского флота означал относительное освобождение; он означал прямой доступ к соли, вину, тканям Запада, к колониальным продуктам — и посредники были разом устранены. Швеция, осужденная на то, чтобы восполнять неуравновешенность своего торгового баланса экспортом и услугами, искала избыточных денег, которые позволили бы ей поддерживать денежное обращение, заполненное билетами *Риксбанка (Riksbank)* (основанного впервые в 1657 г., а вторично — в 1668 г.)[377]. Внимательная к этому *меркантилистская* политика упорствовала в создании разных видов промышленности и более или менее в том преуспела — весьма, когда речь шла о судостроении, и плохо — когда имела дело с шелком или высококачественными сукнами. В конечном счете Швеция продолжала зависеть от амстердамских финансовых кругооборотов, и ее процветающая Индийская компания допускала широкое иностранное участие, в частности английское, как на уровне капиталов, так и на уровне команд и суперкарго[378]. Мораль: трудно избавиться от разных форм превосходства международной экономики, у которой никогда не исчерпываются ресурсы и уловки.

Путешествие в Финляндию предлагает нам недавнее сообщение Свена Эрика Астрёма[379], обладающее тем преимуществом, что выводит нас к самой нижней границе обменов на рынках Лаппстранда и Выборга, небольшого города-крепости, возведенного на юге, у оконечности Финского залива. Мы замечаем здесь крестьянскую торговлю, которую Г. Миквиц, В. Ниитемаа и А. Соом называют *Söbberei* (слово *söbberei* происходит от *sober*, имеющего в Эстонии и Ливонии* значение «друг»), а финские историки именуют *majmiseri* (от финского слова *majanies* — «гость»). Эти слова заранее нам показывают, что речь там шла о таком типе обменов, который отклонялся от обычных норм и который, на наш взгляд, вновь ставит не получившие настоящего решения проблемы, поднятые Карлом Поланьи и его учениками[380].

Финляндия, менее доступная для Запада, нежели Норвегия или Швеция, так как была от него более удаленной, обнаруживала тенденцию предлагать внешней торговле продукты лесопереработки, среди которых на первом месте стоял деготь. В Выборге деготь был включен в треугольную систему: крестьянин-производитель; государство, надеявшееся, что облагаемый налогом крестьянин сможет выплачивать свои налоги в деньгах; купец, единственно способный предложить крестьянину немного денег, с тем чтобы затем их у него отобрать при помощи натурального обмена — соли на деготь. Тут

[375] Svary J. *Op. cit.*, V, col. 1673 sq.
[376] Обычно это был корабль, плававший под нейтральным флагом, оказывая услуги участникам военных действий.
[377] Nordmann C. *Op. cit.*, p. 63—64.
[378] Dermigny L. *Op. cit.*, I, p. 173 sq.
[379] Aström S. E. *The Economic Relations between Peasants, Merchants and the State in North-Eastern Europe, in the 17th and 18th Centuries* (машинописный текст). Коллоквиум в Белладжо, 1976 г.
* В таком употреблении «Ливония» означает практически территорию Латвийской ССР. — *Прим. перев.*
[380] См. т. 2 настоящего труда, с. 216 и др.

шла игра с тремя партнерами: купец, крестьянин и государство, бальи (своего рода интендант), служивший комиссионером и арбитром.

В Выборге купцы, «буржуа» городка, были немцами. Обычай требовал, чтобы, когда крестьянин, их поставщик и клиент, являлся в город, купец помещал его у себя, занимался сразу и его кровом, и его пропитанием, и его счетами. Результатом, как это легко предвидеть, была постоянная задолженность крестьянина, задолженность, надлежащим образом отмеченная в книгах немецких купцов Выборга [381]. Но сами-то эти купцы были только агентами, заказы на закупку и денежные авансы поступали к ним из Стокгольма, который в свою очередь лишь передавал амстердамские заказы и кредиты. Поскольку деготь был делом весьма крупным (ежегодно валили от одного до полутора миллионов деревьев) [382], поскольку крестьянин, занимавшийся перегонкой древесины, был крестьянином, способным посещать рынки, осведомляться в близлежащих небольших гаванях о цене на соль, бывшую в данном случае решающей, и поскольку вдобавок то был свободный крестьянин, он мало-помалу освободится от пут *majmiseri*. Но не обретет свободы от более высоких инстанций — от Дегтярной компании, созданной в Стокгольме в 1648 г. и надзиравшей за ценами на соль и смолу (и на самом деле устанавливавшей их). Наконец, он подвергался нажиму конъюнктуры. Так, коль скоро цена на

[381] «Крестьянские долговые книги» («*Bücher von Bauernschulden*»), принимавшиеся судами в качестве надежного документа.

[382] Jeannin P. *L'Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVII^e^ et XVIII^e^ siècles*. 1969, p. 93.



Шведский чугунолитейный завод в 1781 г. (картина Пера Хиллестрёма, *Стокгольм, Национальный музей*). Обилие рабочей силы; сравнительно слабо развитая техника (ручная ковка). Однако еще и в эту пору шведское железо, широко импортировавшееся Англией, было первым на Западе и по количеству и по качеству.

рожь росла быстрее цены на деготь, то в конце XVIII в. приступят к сведению лесов и обширной распашке земель. Значит, финляндский крестьянин не был сам себе хозяином, даже если на базовом уровне он и обладал некоторой свободой маневра.

Тогда откуда же эта относительная свобода? По мнению Свена Эрика Астрёма, знающего проблему лучше, чем мы, она гарантировалась участием крестьянина в сеймах Великого княжества, которые наподобие стокгольмского *Риксдага* включали четвертое сословие — крестьянское. Политика и право будто бы предохраняли свободу этого крестьянина далеких окраинных областей, как и свободу самого шведского крестьянина, который тоже никогда не был крепостным. Тем более что монархическое государство, противник дворянства, могло сказать свое слово в этом случае. Короче говоря, эти шведские крестьяне, будучи хозяевами своего достояния — *hemman*[383], были привилегированными по сравнению с возраставшей массой батраков и с кишевшими во множестве бродягами и беднейшими — *торпарями*[384]. Правда и то, что шведские и финляндские земли были пересечены громадными зонами первоначального заселения. Не сыграла ли также своей роли и такая зона в создании и сохранении крестьянской свободы?

Но не в этом заключается наша проблема. Что интересно для нас в финляндском примере, так это возможность присмотреться поближе к «торговому» положению крестьянина, а также узнать, на каком уровне происходила смена занятого производством собирателя имущества стоявшим выше негоциантом, узнать, до какого момента крупный купец действовал сам по себе. Разная высота точки смыкания цепи верхней с цепью нижней — это показатель, почти что мера. В принципе в Выборге голландцев не было. Они были только в Стокгольме.

Последний пример: Гданьск (Данциг), город странный во многих отношениях, богатый, густонаселенный, восхитительно расположенный, сумевший лучше любого другого города Ганзы сохранить драгоценные права своего *этапного* местоположения. Его немногочисленный патрициат был богатейшим[385]. Его «горожане обладают исключительной привилегией закупать зерно и прочие товары, кои прибывают из Польши... в своем городе, иностранцам же не дозволено ни торговать с Польшей, ни провозить свои товары в Польшу через город; они обязаны вести свою торговлю с горожанами как при покупке, так и при продаже товаров». Еще раз восхитимся мимоходом краткой ясностью Савари дэ Брюлона[386]. Монополия Гданьска определена в нескольких словах: город был если и не единственной[387], то по меньшей мере самой главной, оставлявшей далеко позади все остальные, входной и выходной дверью между широким миром и громадной Польшей. Однако эта привилегия завершалась жесткой подчиненностью вовне — по отношению к Амстердаму: существовала достаточно строгая корреляция между ценами в Гданьске и ценами на голландском рынке[388], который ими командовал. И если этот

[383] *Hemman* — наследственная собственность шведского крестьянина. Написание *heman* встречается в фонде A. N., K 1349.
[384] Nordmann C. *Op. cit.*, p. 15.
[385] Bogucka M. *Le marché monétaire de Gdańsk et les problèmes du crédit public au cours de la première moitié du XVII^e siècle* (машинописный текст), p. 5. Неделя Прато, 1972 г.
[386] Savary des Brulons J. *Op. cit.*, V, col. 579—580.
[387] Bogucka M. *Op. cit.*, p. 3.
[388] Achilles W. *Getreidepreise und Getreidehandelsbeziehungen europäischer Räume im 16. und 17.* Jahrhundert. — «*Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie*», April 1959, S. 46.

голландский рынок столь заботился о сохранении вольности города на Висле, так это потому, что, защищая ее, он оберегал свои собственные интересы. А также потому, что Гданьск уступил в главном: на рубеже XVI и XVII вв. голландская конкуренция положила конец *морской* активности Гданьска в западном направлении, и заодно вызвала в виде компенсации краткий подъем промышленности Гданьска [389].

Следовательно, взаимное положение Гданьска и Амстердама не отличалось существенно от взаимного положения Стокгольма и Амстердама. Что отличало, так это расположение Польши позади города, который ее эксплуатировал, положение, аналогичное тому, какое по тем же причинам сложилось позади Риги [390], другого господствовавшего города, на милость которого была отдана зона крепостнической эксплуатации крестьян. Тогда как в Финляндии, на окраине, где затухала эксплуатация Западом, или в Швеции, напротив, крестьянство оставалось свободным. Правда, Швеция не знала в средние века феодального строя; правда, что зерно, повсюду, где оно служило предметом широкой экспортной торговли, работало на «феодализацию» или на «рефеодализацию». Тогда как вероятно, что горнопромышленная или лесопромышленная деятельность предрасполагала к определенной свободе [работника].

Как бы то ни было, польское крестьянство опутано было сетью крепостничества. Тем не менее любопытно, что для своих обменов Гданьск выискивал свободных крестьян, еще встречавшихся неподалеку от его стен, или мелких шляхтичей, предпочитая их магнатам, которыми, несомненно, труднее было управлять, но которых гданьский купец в конечном счете тоже обходил, предоставляя им, как и прочим, авансы под поставки пшеницы или ржи, давая им в обмен на их поставки предметы роскоши с Запада. Противостоя сеньерам, купец во многом был господином *условий торговли (terms of trade)* [391].

Интересно было бы лучше узнать эту внутреннюю торговую деятельность; узнать, обращались ли к эвентуальным продавцам у них на дому или же они лично отправлялись в Гданьск; выяснить точно роль посредников, которых город использовал в делах со своими поставщиками; выяснить, кто был хозяином или по меньшей мере вдохновителем судоходства по Висле, кто контролировал перевалочные склады Торуни, где зерно сушили и складировали из года в год, как это было и в многоэтажных башнях-хранилищах Гданьска; кто в Гданьске заботился о лихтерах, о плашкоутах *(bordings),* которые разгружали корабли и могли (из-за небольшой своей осадки) подниматься или спускаться по каналу, соединяющему город с Вислой. В 1752 г. в низовья Вислы пришло 1288 судов и барок (польских и прусских), в то время как в порт пришло более 1000 морских кораблей. Было чем занять, и занять целиком, 200 горожан-негоциантов, каждый день сходившихся на *Юнкерском дворе (Junckerhoff)*, активной гданьской бирже [392].

Мы слишком хорошо видим, как Гданьск, погруженный в собственный эгоизм и поглощенный своим благосостоянием, эксплуатировал и предавал огромную Польшу и как ему удавалось придавать ей [нужную ему] форму.

[389] Małowist M. *Croissance et régression en Europe*. 1972, p. 172.
[390] Aström S. E. *Op. cit.*
[391] Как показал это Витольд Куля: Kula W. *Théorie économique du système féodal*. 1970, p. 93 sq.
[392] Savary J. *Op. cit.*, V, col. 578.



Отплытие кораблей из французских гаваней на Тексел, аванпорт Амстердама (1774 г.) Речь идет почти исключительно о кораблях голландских, активно действовавших вдоль всего французского побережья Северного моря, Ла-Манша и Атлантического океана. Что же касается французских средиземноморских портов, то активность голландских кораблей была ограниченной. (По данным документа: A. N., A. E., B1—165, f°2, 12 января 1775 г.)

ФРАНЦИЯ ПРОТИВ ГОЛЛАНДИИ: НЕРАВНАЯ БОРЬБА

В XVII в. Франция была буквально порабощена крохотной северной республикой. Вдоль ее атлантического побережья, от Фландрии до Байонны, не было ни одной гавани, которая не познала бы всевозрастающих посещений голландских кораблей с очень небольшой командой (7—8 человек), они непрестанно грузились либо вином, либо водкой, либо солью, или фруктами и прочими скоропортящимися продовольственными товарами [393], или даже холстами, а то и пшеницей. Во всех этих портах, особенно в Бордо и в Нанте, обосновывались голландские купцы и комиссионеры. По видимости, а часто и в действительности, это бывали довольно незначительные люди, по отношению к которым население (я не говорю о местных купцах) не обнаруживало глубокой враждебности. Однако они сколачивали состояния, накапливали кругленький капиталец и в один прекрасный день возвращались домой. Годами они вмешивались в повседневную экономическую жизнь — жизнь города, гавани, соседних рынков. Такими я показал их вокруг Нанта, скупающими авансом урожай слабых вин Луары [394]. Местные купцы, каким бы ни было их ревнивое отношение и их нетерпение, ничего не могли поделать с этой конкуренцией и устранить ее: продовольственные товары, доставляемые во французские гавани на Ла-Манше и на океанском побережье, слишком часто были товарами скоропортящимися, так что частота прихода кораблей была для нидерландцев главным козырем, не считая других. А если французское судно додумается везти прямо в Амстердам либо вино, либо местные продовольственные товары, оно столкнется с систематическими затруднениями [395].

Перед лицом французских обращенных против нее мер, недостатка в которых не было, у Голландии были средства для

[393] Le Pottier de La Hestroy. *Doc. cit.*, f° 17.
[394] Père Mathias de Saint-Jean (alias Jean Eon). *Le Commerce honorable...*, 1646, 89—90.
[395] Boissonnade P., Charliat P. *Colbert et la Compagnie de commerce du Nord (1661—1689)*. 1930, p. 31 sq.

ответных ударов. И прежде всего — обходиться без французских изделий. Ей достаточно было обратиться к другим поставщикам — отсюда и успех португальских или испанских вин или еще вин Азорских островов и Мадейры, а также каталонских водок. Рейнские вина, в 1669 г. редкие и дорогие в Амстердаме, в XVIII в. были там в изобилии. Соль Бурнёфа и Бруажа долгое время предпочитали слишком едкой соли Сетубала или Кадиса для засолки голландцами рыбы; но голландцы научились смягчать соль Иберийского полуострова, смешивая ее с морской водой своих побережий [396]. Французские изделия роскоши были в большой моде за границей. Но они не были незаменимы. Всегда было возможно их имитировать, изготовлять в Голландии почти такого же качества. При свидании с Яном де Виттом в 1669 г. Помпонн, представлявший в Гааге Людовика XIV, с раздражением увидел, что касторовая шляпа, которую носил великий пенсионарий, голландского производства, тогда как несколькими годами раньше все шляпы такого типа поступали из Франции [397].

[396] Le Pottier de La Hestroy. Doc. cit., f° 18.
[397] A.N., A.E., B[1], 619, Гаага, 5 сентября 1669 г.
[398] A.N., G[7], 1695, 52.
[399] A.N., M 662, n° 5, f° 1 v°.

Чего никогда не понимали даже самые умные французы, так это того, что речь тут шла о неравном диалоге. Голландия с ее торговыми сетями и ее кредитными возможностями могла по своему усмотрению менять свою политику, борясь против Франции. И именно поэтому Франция, невзирая на свои ресурсы, свои усилия и свою ярость, не смогла избавиться от голландского посредника, так же как и Швеция. Ни Людовик XIV, ни Кольбер, ни преемники последнего не разорвали узды. В Нимвегене (1678 г.), в Рисвике (1697 г.) голландцы неизменно заставляли устранять помехи, создававшиеся прежде их перевозкам. «Наши уполномоченные в Рисвике,— заявлял 15 февраля 1711 г. граф де Борегар,— [позабыв] значение максим г-на Кольбера, решили, что можно равнодушно согласиться на отмену налога в пятьдесят су с тонны водоизмещения» [398]. Какой это было ошибкой! И ведь в Утрехте (1713 г.) ошибка эта повторилась. И уже в ходе долгой войны за Испанское наследство Голландия благодаря паспортам, которые щедро раздавало французское правительство, благодаря «замаскированным» кораблям нейтральных стран, благодаря попустительству французов, благодаря сухопутной торговле, которая с помощью контрабанды усилилась вдоль французских границ, никогда не испытывала нехватки французских изделий, которые были ей по вкусу и в достатке.

Пространный французский отчет, написанный сразу же после Рисвикского мира, перечисляет, еще раз уточняет голландские приемы, их шитые белыми нитками проделки, бесчисленные французские ответные меры, которыми хотели одновременно и соблюсти и перевернуть условия трактатов, заключенных правительством Людовика XIV, и которые не могли уловить неуловимого противника — «голландцев, коих гений, в некотором смысле изощренный в своей грубости, почти что не дает их поколебать, кроме как резонами, порождаемыми их собственным интересом» [399]. Но этот «собственный интерес» заключался в том, чтобы наводнить Францию товарами, перераспределяемыми Голландией или происходящими из нее. Ослабить



Сношения Бордо с портами Европы
Среднегодовые цифры тоннажа, отправляющегося из Бордо в 1780—1791 гг. Преобладание северного направления в этой торговле, осуществлявшейся главным образом под голландским флагом, очевидно. (Согласно перечню французского консула де Лиронкура, в 1786 г. из 273 судов, пришедших из Франции в Амстердам, все были голландскими.) Груз состоял преимущественно из вин, сахара, кофе, индиго; обратные грузы — лес и зерно. (По данным Поля Бютеля: Butel P. *Les Aires commerciales européennes et coloniales de Bordeaux.)*

хватку их заставила бы только сила, но ее не было в наличии. Чудесные планы — закрыть порты и границы королевства, затруднить голландское рыболовство, нарушить «частную торговлю» амстердамских купцов (в противоположность государственной торговле голландских Компаний в Америке, Африке и в Ост-Индии) — легче было изложить на бумаге, нежели осуществить. Ибо у Франции не было крупных купцов, «те, коих мы рассматриваем как таковых, суть большей частию лишь иноземные комиссионеры и посредники...»[400] — понимай: за ними стоят голландские негоцианты. Французские золотые луидоры и серебро как бы случайно оказывались в Голландии[401]. И чтобы закончить, у Франции не было достаточно кораблей. Захваты французских каперов «во время последней войны дали нам довольно большое число их, пригодных для [дальней] торговли, но за отсутствием купцов, чтобы оные снарядить, и мореходов мы от них избавились в пользу англичан и голландцев, кои по заключении мира явились их выкупить»[402].

И та же подчиненность, если вернуться ко временам Кольбера. При образовании французской Северной компании в 1699 г., «невзирая на усилия генерального контролера и братьев Пьера и Никола Фромон, руанцы отказались участвовать в Компании... Со своей стороны жители Бордо вступили в нее лишь по принуждению». Не потому ли, что «они не чувствовали себя достаточно богатыми — ни кораблями, ни капиталами — перед лицом голландцев»[403]? Или же потому, что они уже были включены в амстердамскую сеть в качестве передаточного звена? Во всяком случае, если поверить в этом Ле Поттье де ла Этруа[404], писавшему свои пространные отчеты около 1700 г., французские купцы в ту эпоху служили посредниками для голландских негоциантов. Это уже было прогрессом в сравнении с положением, которое описывал в 1646 г. отец Матвей де Сен-Жан[405]. Тогда голландцы сами занимали позиции посредников на французских рынках; по-видимому, они, по крайней мере частично, оставили их местным купцам. Однако, как мы уже говорили, придется дожидаться 20-х годов XVIII в., чтобы торговый капитализм во Франции начал освобождаться от иностранной опеки с появлением категории французских негоциантов, находившихся на высоте международной экономики[406]. К тому же не будем спешить: по словам одного очевидца, в Бордо (чей торговый расцвет в конце XVIII в. был сенсационным) «всем хорошо известно, что более трети торговли будто бы находится под голландским контролем».

[400] *Ibid.* f° 98.
[401] *Ibid.* f° 59 v°.
[402] *Ibid.* f° 115.
[403] Nordmann C. *Op. cit.*, p. 54—55.
[404] Le Pottier de La Hestroy. *Doc. cit.*, f° 25.
[405] Père Mathias de Saint-Jean. *Op. cit.*, p. 30 sq., 87 sq.
[406] См. выше.

АНГЛИЯ И ГОЛЛАНДИЯ

Английская реакция на вторжения голландцев началась очень рано. Кромвелев Навигационный акт относится к 1651 г., в 1660 г. Карл II его подтвердил. Четырежды Англия ввязывалась в жестокие войны с Соединенными Провинциями (1652—1654, 1665—1667, 1672—1674, 1782—1783 гг.). И всякий раз Голландия терпела урон. Одновременно в Англии под защитой

бдительного протекционизма развивалось все более и более процветающее национальное производство. Это, вне сомнения, доказывает, что английская экономика была более уравновешенной, чем французская, менее уязвимой для внешних сил, что ее продукция была более необходима голландцам, которые, впрочем, всегда щадили англичан, чьи порты были лучшим убежищем для голландских кораблей в дурную погоду.

Но не подумайте, что Англия избежала голландского влияния. Чарлз Уилсон[407] заметил, что для любого внимательного голландца имелось немало путей приспособиться к Навигационным актам. В самом деле, мир в Бреде (1667 г.) смягчил их. В то время как Навигационный акт запрещал любому иностранному судну доставлять в Англию товары, которые не были бы произведены в его стране, в 1667 г. было принято, что «голландскими» будут считаться товары, привезенные по Рейну или купленные в Лейпциге и Франкфурте и помещенные на склады в Амстердаме, в том числе и льняное немецкое полотно при условии, что отбеливаться оно будет в Гарлеме. Больше того, у крупных голландских торговых домов (Ван Некков, Ван Ноттенов, Нёвиллей, Клиффордов, Барингов, Хоупов, Ван Леннепов[408]) в Лондоне были свои филиалы. Отсюда и дружеские связи и потворство, чему служили поездки с одного берега моря на другой плюс взаимные подарки, луковицы тюльпанов и гиацинтов, бочонки с рейнским вином, окорока, голландская можжевеловая водка... Английские фирмы даже корреспонденцию свою вели на нидерландском языке.

Посредством таких путей, таких лазеек, таких связей посредническая торговля Голландии играла свою роль как на ввозе, так и при вывозе с острова по меньшей мере до 1700 г., а возможно, вплоть до 1730 г. При ввозе она доставляла пушнину, кожи, деготь, лес, русский и прибалтийский янтарь, немецкое тонкое льняное полотно, отбеливавшееся в Голландии, которого в XVIII в. молодые лондонские модники требовали для своих сорочек, тогда как их отцы довольствовались тем, что использовали это полотно для отделки воротников и манжет сорочек более грубого английского полотна[409]. При вывозе голландцы забирали большую часть колониальных товаров на торгах Ост-Индской компании; они также покупали много табака, сахара, при случае — пшеницу и олово, и «невероятное» количество шерстяных сукон — более чем на два миллиона фунтов стерлингов в год, по словам Даниэля Дефо (1728 г.)[410],— которые складировались в Роттердаме и Амстердаме, чтобы затем быть реэкспортированными, главным образом в Германию[411]. Таким образом, Англия долго оставалась включенной в нидерландскую игру посреднической торговли. Один английский памфлет даже утверждал в 1689 г.: «Все наши купцы находятся на пути к тому, чтобы стать комиссионерами голландцев»[412].

Пристальное изучение определенно выявило бы немало эффективных связей — особенно таких, что создавались кредитом и закупками авансом,— которые позволяли нидерландской системе процветать в Англии, и даже долгое время процветать вовсю. Так что англичане, совсем как французы, нередко имели

[407] Wilson Ch. *Anglo-Dutch Commerce*, p. 6—7.
[408] *Ibid.*
[409] Wilson Ch. *Op. cit.*, p. 10 and note 5.
[410] Defoe D. *A Plan of the English commerce*. 1728, p. 163.
[411] Wilson Ch. *Op. cit.*, p. 7—10.
[412] Schulin E. *Op. cit.*, S. 230: *«All our merchants must turn Dutch factors»*.

случай с удивлением обнаруживать, что в Амстердаме все их товары могли продаваться по более низкой цене, чем в стране, где они были изготовлены.

Только с 1730 г. нидерландская торговая система в Европе расстроилась (после пятидесяти лет возрождения активности с 1680 по 1730 г.[413]). И лишь во второй половине века нидерландские купцы стали жаловаться, что «их более не допускают к реальным торговым сделкам и они теперь всего лишь простые агенты по морским перевозкам и отправлениям»[414]. Невозможно удачнее сказать, что игра пошла в обратную сторону. Отныне Англия становится страной, свободной от иноземной опеки, готовой подхватить скипетр мирового господства.

Она тем более была к этому готова, что голландское отступление в торговле помогло ей получить то, чего ей так отчаянно недоставало на протяжении XVII в.: возможность для государства в широких масштабах делать займы. Голландцы до того времени всегда отказывались доверять свои капиталы английскому государству, предлагаемые гарантии представлялись им недостаточными. Но в последнем десятилетии этого века лондонский парламент одобрил принцип образования фонда, питаемого особыми налогами, чтобы гарантировать выпускаемые государством займы и выплату процентов. С этого времени голландцы развязывают свои кошельки, и с годами все больше и больше. Английские «бумаги» предоставляли им разом и удобные инвестиции (с процентом, превышавшим денежный процент в Голландии) и высоко ценимый на Амстердамской бирже объект спекуляций — все те вещи, каких они (и это существенно!) не находили во Франции.

Следовательно, именно в Англию выплеснутся избыточные капиталы голландских негоциантов. На протяжении всего XVIII в. они широко участвовали в займах английского государства, спекулировали также на других английских ценностях, на акциях Ост-Индской компании, компании Южных Морей или Английского банка. В Лондоне нидерландская колония была богаче и многочисленнее, чем когда-либо. Ее члены группировались вокруг голландской церкви в Остин-Фрайрс, примерно так же, как генуэзцы в Палермо концентрировались вокруг церкви Сан-Джорджо. Если прибавить к купцам-христианам (в том числе было множество гугенотов, первоначально эмигрировавших в Амстердам) еще и еврейских купцов, которые образовали другую могущественную колонию, хотя и уступавшую христианской, создается впечатление голландского вторжения, голландского завоевания[415].

Именно так воспринимали это англичане, и Чарлз Уилсон[416] даже видит в этом объяснение их неприязни («фобии») к займам и государственному долгу, которым, как им казалось, управляли из-за границы. И в самом деле, этот наплыв нидерландских денег вдыхал силы в английский кредит. Англия, менее богатая, чем Франция, но имевшая, как говорил Пинто, более «блестящий» кредит, всегда получала необходимые деньги в достаточном количестве и в желаемый момент. Это громадное преимущество!

[413] Wilson Ch. *Op. cit.*, p. 16—17.
[414] *Ibid.*, p. 11.
[415] Wilson Ch. *England's Apprenticeship...*, p. 322.
[416] Idem. *La République hollandaise des Provinces-Unies.* 1968, p. 33.
[417] Moreland W.H. *Op. cit.*, p. 223 f.

Неожиданностью будет для Голландии та ярость, с которой английская мощь обратится против нее в 1782—1783 гг. и ниспровергнет ее. Однако же разве нельзя было предвидеть такой эпилог? Фактически Голландия XVIII в. позволила завоевать себя английскому национальному рынку, лондонской социальной среде, где голландские негоцианты чувствовали себя вольготнее, зарабатывали больше и даже находили развлечения, в которых им отказывал суровый Амстердам. В разнообразной голландской колоде английская карта любопытна: карта поначалу выигрышная становится вдруг проигрышной.

ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРОПЫ: ИНДОНЕЗИЯ

Можно ли в связи с первыми нидерландскими плаваниями в Индонезию попытаться понаблюдать за чем-то совершенно отличным? За своего рода рождением из ничего, *ex nihilo*, некоего процесса господства и быстрым утяжелением такого господства.

При первом проникновении голландцев в Азию ясно различимы три этапа (как, без сомнения, при любом европейском проникновении). Их уже давно, в 1923 г., выделил У. Морленд[417]: торговый корабль, своего рода странствующий базар, тяжело груженный разносчик; фактория, которая представляет уступленный участок внутри страны или на торговом рынке; наконец, оккупированная территория. Макао следовало бы отнести к факториям; Батавия — это уже начинающаяся колонизация Явы. Что же до странствующего базара, то для первых лет XVII в. их настолько много, что трудно выбирать.

Например, четыре корабля Пауля Ван Кердена, отправленные в Ост-Индию (в 1599—1601 гг.)[418] одной из «предшествующих компаний» (*voorkompanie)*[419] — Новой компанией брабантцев, из которых возвратятся только два. Первым портом прибытия стал 6 августа 1600 г. Бантам. Поскольку на рейде стояло слишком много голландских кораблей, а значит, слишком много было покупателей, два корабля отправились в маленькую гавань Пассаман, где, по слухам, было изобилие перца. Но продавцы там были плутами, а навигационные условия оказались опасными. Тогда не без колебаний приняли решение идти в Ачех (Ачем) у западной оконечности Суматры. Два корабля пришли туда 21 ноября 1600 г. Сколько уже было потеряно времени! Им понадобилось 7 месяцев и 15 дней, чтобы добраться от Тексела до Бантама, затем 3 месяца и 15 дней, чтоб оказаться, как они полагали, в идеальной гавани. В действительности же путешественники полезли в пасть ко льву. Скрытный и ловкий правитель Ачеха, предварительно выманив у них тысячу восьмерных монет, понапрасну водил их за нос. Голландцы, чтобы восстановить преимущество, укрылись на своих кораблях и захватили находившиеся в гавани девять торговых судов, из которых три очень кстати были нагружены пер-

[418] Renneville C. *Voyage de Paul van Caerden aux Indes orientales*. 1703, II, p. 133.
[419] Т. е. компании, существовавшей до образования Объединенной Ост-Индской Компании.

цем, каковой осторожные победители «велели хорошо стеречь». И снова начались переговоры, пока голландцы не решили, смирившись, покинуть негостеприимную гавань в ночь с 21 на 22 января 1601 г., сжегши в назидание два из захваченных судов. Они потеряли два лишних месяца в этих опасных тропических водах, где древоточцы пожирают дерево судовых корпусов. Теперь у них не было иного решения, как возвратиться в Бантам, куда они прибыли 15 марта после еще семи недель плавания. Но зато там затруднений не было: Бантам представлял своего рода индонезийскую Венецию. Пришедшие в это же время голландские корабли вздули цены, но товар был погружен на борт, и 22 апреля оба корабля, наконец, отправились в Европу[420].

[420] Renneville C. *Op. cit.*, p. 170—173.

Что явствует из этого опыта, так это трудность проникновения, не говоря уж об установлении господства, в торговый кругооборот в еще плохо знакомом мире, чертовски отличавшемся от Европы. В такой торговой столице, как Бантам, сразу же появлялись посредники, они ждали вас, но именно они господствовали над новоприбывшими. Ситуация не начнет меняться, пока голландец не станет хозяином торговли молуккскими пряностями. Установить эту монополию — таково было первейшее условие для того, чтобы одно за другим преодолеть все препятствия и внедриться здесь в качестве привилегированного и отныне необходимого партнера. Но может быть, то было главным пороком голландской эксплуатации, пожелавшей взять в свои руки все на Востоке, ограничивая производство, разрушая торговлю коренного населения, ввергая это население в нищету и истребляя его — в общем, убивая курицу, несущую золотые яйца.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ОБОБЩЕНИЯ?

Приведенные примеры имеют значение зондажей. Они имели целью единственно обрисовать общую ситуацию, способ, каким функционировал мир-экономика, начиная с высоких напряжений в его центре и с пособничества и слабостей ближнего. Успех был возможен, только если менее развитые и подчиненные экономики были тем или иным образом, но постоянно доступны для экономики господствовавшей.

Связь с венцом второстепенных держав, т. е. с Европой, устанавливалась сама собой без чрезмерного насилия: для поддержания связей достаточно было соблазна, механизма обменов, игры капиталов и кредита. Впрочем, во всей совокупности голландской торговли Европа составляла четыре пятых; заморские операции, сколь бы значительны они ни были, служили лишь подспорьем. Именно это наличие стран, пребывавших в подчиненном положении, но развитых и лежащих по соседству, а эвентуально и конкурентов, поддерживало температуру и эффективность центра, мы уже говорили об этом. Если Китай не был «взрывчатым» миром-экономикой, то только ли потому, что у него была плохая «центровка»? Или же (что, впрочем,



Батавия: вид рейда и водонапорной башни.
Рисунок Й. Раха, 1764 г.
Собрание Фонда «Атлас ван Столк».



одно и то же) из-за отсутствия полупериферии, достаточно сильной для того, чтобы повысить напряжение в сердце общности?

Во всяком случае, ясно, что «настоящая» периферия, на дальних окраинах, могла удерживаться только силой, насилием, приведением к повиновению — почему бы не сказать «колониализмом», мимоходом отнеся последний к числу древних, очень древних форм опыта? Голландия практиковала колониализм на Ланке (Цейлоне), как и на Яве; Испания изобрела его в своей Америке; Англия станет его использовать в Индии... Но уже в XIII в. Венеция и Генуя на окраинах эксплуатировавшихся ими зон были колониальными державами — в Кафе, на Хиосе, если вспомнить о Генуе; на Кипре, Кандии (Крите), на Корфу, если обратиться к опыту венецианскому. Разве же не совершенно очевидно, что речь шла о настолько абсолютном господстве, какое только можно было реализовать в ту эпоху?

О ЗАКАТЕ АМСТЕРДАМА

Мы просмотрели досье голландского первенства. Его блистательная история утрачивает свой блеск с завершением XVIII в. Это уменьшение блеска — отступление, спад, а не упадок в полном смысле слова, которым пользовались и которым злоупотребляли историки. Несомненно, Амстердам уступил свое место Лондону, как Венеция — Антверпену, как сам Лондон позднее — Нью-Йорку. И тем не менее он продолжал жить с выгодой, и еще сегодня это один из центров мирового капитализма.

В XVIII в. город уступил некоторые из своих преимуществ в торговле Гамбургу, Лондону, даже Парижу, но сберег для себя другие, сохранил определенную часть своей торговли, а его биржевая активность была в полном расцвете. С помощью расширившейся практики «акцептов» Амстердам увеличил свою банковскую роль соразмерно громадному европейскому росту, который он финансировал тысячью способов, особенно в военное время (долгосрочный коммерческий кредит, морское страхование и перестрахование и т. п.). Настолько, что в конце XVIII в. в Бордо говорили как об «общеизвестном» о том, что треть торговли города зависела от голландских займов[421]. Наконец, Амстердам извлекал немалую прибыль из своих займов европейским государствам.

То, на что указывал Ричард Рапп[422], говоря о Венеции, утратившей свое значение в XVII в. — путем приспособления, реконверсий или новых объектов эксплуатации она сохранила столь же высокий валовой национальный продукт, что и в предыдущем столетии,— побуждает быть осмотрительным, когда желаешь перечислить пассив города, переживающего закат. Да, быстрый рост банковской активности представлял в Амстердаме процесс видоизменения и ухудшения капитала; да, его социальная олигархия замкнулась в себе, отошла, как в Вене-

[421] Meyer J. *Les Européens et les autres.* 1975, p. 253.
[422] Rapp R.T. *Art. cit.*, август 1763 г.

ции или в Генуе, от активной торговли и обнаруживала тенденцию превратиться в общество кредиторов-рантье, взыскующих всего, что может гарантировать спокойные привилегии, включая и защиту со стороны института статхаудера. Быть может, эту горстку привилегированных и можно упрекнуть за ее роль (хотя не всегда она выбирала ее сама), но, во всяком случае, не за ее расчетливость, коль скоро она невредимой прошла потрясения Революции и Империи и, по словам некоторых голландских авторов, все еще была на своем месте в 1848 г.[423] Да, наблюдался переход от простых и как бы здоровых задач экономической жизни к сложнейшим денежным играм. Но Амстердам оказался в тисках судьбы, превосходившей масштабы его собственной ответственности: то была участь всякого господствующего капитализма — оказаться втянутым в уже заметную столетиями раньше, во время ярмарок Шампани, эволюцию, которая в силу самого своего успеха оступится на пороге финансовой деятельности или финансовой акробатики, где всей экономике с трудом удавалось к ней присоединиться, если она вообще не отказывалась за этой эволюцией следовать. Если

[423] Цит. по: Price J.L. *Op. cit.*, p. 220 and note 9.

ГОЛЛАНДСКИЕ КАПИТАЛЫ В 1782 г.

По оценке великого пенсионария Ван дер Спигела, они достигали одного миллиарда флоринов, помещенных следующим образом:

Внешние займы государства	335 млн., в том числе	Англии 280 млн.
		Франции 25 млн.
		прочим 30 млн.
Колониальные займы	140 млн.	
Внутренние займы (провинциям, компаниям, адмиралтействам)	425 млн.	
Вексельная торговля	50 млн.	
Золото, серебро, драгоценности	50 млн.	

По данным: Vries Y., de. *Rijkdom der Nederlanden.* 1927.

искать причины или мотивы отступления Амстердама, рискуешь в конечном счете наткнуться на эти общие истины, действительные для Генуи в начале XVII в., как и для Амстердама в XVIII в., а может быть, и для сегодняшних Соединенных Штатов, которые тоже ворочают бумажными деньгами и кредитом до опасного предела. По крайней мере именно это подсказывает рассмотрение кризисов, которые в Амстердаме следовали один за другим на протяжении второй половины XVIII в.

КРИЗИСЫ 1763, 1772—1773, 1780—1783 гг.

Обширная голландская система начиная с 60-х годов XVIII в. прошла через несколько серьезных, парализующих ее кризисов. Кризисов, которые все похожи друг на друга и кажутся связанными с кризисами кредита. Масса денежных докумен-

тов, сумма «искусственных денег», по-видимому, пользовалась определенной автономией от экономики вообще, но в границах, какие нельзя было переходить. В разгар кризиса, 18 января 1773 г., Майе дю Клерон, наблюдательный французский консул в Амстердаме, предчувствовал такую границу, когда объяснял, что лондонский рынок столь же «забит», как и амстердамский, и что в этом заключено «доказательство того, что в любых вещах существует предел, после коего надлежит непременно отступать»[424].

Были ли эти происшествия все обязаны своим происхождением одному и тому же достаточно простому, даже слишком простому процессу? Не сбрасывала ли европейская экономика периодически груз определенной массы бумаг, когда объем последней превышал возможности этой экономики? Несбалансированность возникала, как кажется, даже регулярно, каждые десять лет: в 1763 г., в 1772—1773 гг., в 1780—1783 гг. В первом и последнем из этих кризисов определенно сыграла свою роль война: она инфляционна по природе, она стесняет производство, а после ее завершения приходится платить по счету, компенсировать возникшую из-за войны несбалансированность. Но во время кризиса 1772—1773 гг. войны не было. Не присутствовали ли мы тогда при так называемом кризисе Старого порядка, когда все вытекало из спада земледельческого производства, последствия которого распространялись на всю совокупность экономической деятельности? В общем, при кризисе заурядном? В самом деле, в 1771—1772 гг. Европа перенесла катастрофические неурожаи. В сообщении из Гааги от 24 апреля 1772 г. отмечалось, что в Норвегии голод «столь ужасающий... что там приходится молоть древесную кору, чтобы использовать вместо ржаной муки», и такая же крайность отмечалась в германских областях[425]. Было ли то причиной того жестокого кризиса, который вдобавок могли усилить последствия катастрофического голода, обрушившегося на Индию в те же самые 1771—1772 гг. и разом расстроившего механизм английской Ост-Индской компании? Несомненно, все это влияло, но разве истинным двигателем не был опять-таки периодически повторявшийся кризис кредита? Во всяком случае, всякий раз в центре каждого из этих кризисов в виде следствия или причины оказывалась нехватка наличных денег, учетная ставка испытывала резкие подъемы до непереносимого уровня — вплоть до 10—15%.

Современники всегда связывали эти кризисы с громадным банкротством вначале: крахом Нёвиллей в августе 1763 г.[426], Клиффордов — в декабре 1772 г.[427], крахом Ван Ферелинков — в октябре 1780 г.[428] Вполне очевидно, что такой взгляд, сколь бы он ни был естественным, малоубедителен. Конечно, 5 млн. флоринов при крахе Клиффордов и 6 млн. при банкротстве Нёвиллей что-то весили, они сыграли на Амстердамской бирже роль детонатора, мощного разрушителя доверия. Но можно ли считать, что механизм кризиса не пришел бы в движение и не сделался бы всеобщим, если бы Нёвилли не вели разорительных операций в Германии, или если бы Клиффорды не ввязались на Лондонской бирже в безумные спекуляции с акциями

Ост-Индской компании, или если бы не оказались плохи дела бургомистра Ван Ферелинка в Балтийском бассейне? Всякий раз первый толчок крупных банкротств заставлял трещать уже до того напряженную систему. Следовательно, предпочтительно расширить наблюдение одновременно и во времени и в пространстве и особенно сблизить рассматриваемые кризисы, потому что они добавлялись один к другому, оттеняли очевидное отступление Голландии, потому, наконец, что они были похожи и в то же время отличались друг от друга, и их легче объяснять, сравнивая один с другим.

Они были похожи. В самом деле, то были современные кризисы кредита, что их *совершенно* отличало от так называемых кризисов Старого порядка[429], которые коренились в ритмах и процессах сельскохозяйственной и промышленной экономики. Но как же эти кризисы [кредита] друг от друга отличались! По мнению Чарлза Уилсона[430], кризис 1772—1773 гг. был более тяжелым, более глубоким, чем кризис 1763 г. (и он прав!), но не был ли еще более глубоким кризис 1780—1783 гг.? Разве не наблюдалось с 1763 по 1783 г. ухудшения, усиления расстройства голландской системы? И одновременно с этим нарастанием, *crescendo*, каждые десять лет — трансформации всей нижележащей экономической структуры?

Первый кризис, 1763 г., последовал за Семилетней войной (1756—1763 гг.), которая для Голландии, остававшейся нейтральной, была периодом неслыханного торгового процветания. Во время военных действий «Голландия почти в одиночку... ведет всю торговлю Франции, особенно в Африке и в Америке, что само по себе огромное дело, и делает она сие с ростом прибылей до ста, а часто и более двухсот процентов... Некоторые голландские негоцианты обогатились ею, невзирая на потерю большого числа их кораблей, захваченных англичанами, кои [корабли] оценивают более чем в сто миллионов» флоринов[431]. Но такое возрождение ее торговли, такой возврат к ее лучшим денечкам, потребовало от Голландии огромных кредитных операций, беспорядочного разбухания акцепта, оплаты переводных векселей с истекшим сроком новыми векселями на другие фирмы, а также непрерывных фиктивных операций[432]. Как считал разумный судья, «одни лишь неосторожные приняли тогда крупные обязательства»[433]. Правда ли это? Как могли благоразумные избегнуть втягивания в хитросплетения «обращения»? Кредит естественный, кредит вынужденный, кредит «химерический» создали в конечном счете громадный объем бумаг, «столь разбухший, что, по точным подсчетам, он в пятнадцать раз превышает наличные, или реальные, деньги в Голландии»[434]. Если даже мы и менее уверены в достоверности этой цифры, чем наш информатор, некий голландец из Лейдена, ясно, однако, что голландские негоцианты оказывались перед драматической ситуацией, когда *дисконтёры* вдруг отказывались учитывать векселя или, точнее, не могли более сделать этого. При нехватке наличных кризис с его цепной реакцией банкротств ускоряется: он затронет как Амстердам, так и Берлин, Гамбург, Альтону, Бремен, Лейпциг[435], Стокгольм[436] и очень сильно — Лондон, который будет использован гол-

429 Этот контраст уже подметили Ш. Каррьер и М. Курдюрье: Carrière Ch., Courdurié M. *Op. cit.*, I, p. 85 [«земледельческий цикл не приспосабливается точно к деятельности крупного международного порта» (речь идет о Марселе)].
430 Wilson C. *Anglo-Dutch Commerce...*, p. 176.
431 Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts de l'Europe...*, II, p. 205.
432 Buist M.G. *At Spes non fracta. Hope and Co, 1770—1815.* 1974, p. 12—13.
433 Torcia M. *Sbozzo del commercio di Amsterdam.* 1782, p. 9.
434 A.E., C.P. Hollande, 513, f° 64 v°.
435 Wilson C. *Op. cit.*, p. 168.
436 Torcia M. *Op. cit.*, p. 9.

ландским рынком. Одно венецианское письмо из Лондона, датированное 13 сентября 1763 г.[437], сообщает, что, по слухам, на прошлой неделе в Голландию будто бы отправили «примечательную» сумму в 500 тыс. фунтов стерлингов «в помощь группе купцов» в Амстердаме, оказавшейся в отчаянном положении.

Но следует ли говорить о помощи, когда дело шло просто-напросто об изъятии голландцами капиталов, вложенных в английские ценные бумаги?[438] Так как кризис начался 2 августа, во время банкротства Йозефа Арона (с необеспеченным кредитом на 1200 тыс. флоринов) и братьев Нёвиллей (при пассиве в 6 млн. флоринов), прибытие английских капиталов потребовало, следовательно, месяца, месяца сетований, отчаяния, просьб... И показательных событий: например, банкротств в Гамбурге, в том числе многих еврейских купцов[439], 4 банкротств в Копенгагене, 6 — в Альтоне[440], 35 банкротств в Амстердаме[441], и «дела, которое никогда не случалось, а именно: в начале этой недели банковские деньги стояли на полпроцента ниже денег наличных»[442]. 19 августа уже насчитывалось 42 банкротства[443], и «уже известны несколько будущих жертв». Ольдекоп, русский консул, видя эту катастрофу, не поколебался обвинить в ней «великую жажду наживы, каковую иные негоцианты желали получить на акциях во время войны»[444]. «Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить, — писал он 2 августа. — То, что предвидели и чего давно опасались, наступило».

Амстердамская биржа сразу же была парализована: «На Бирже нечего делать... не производят более ни учета векселей[445], ни обмена; курса нет, везде одно недоверие»[446]. Единственным решением было бы получить отсрочки[447], как сказали бы на ярмарочном языке — *пролонгации*. Один прожектер писал в своей бумаге об отсрочке (*surchéance*)[448], о приостановке, короче, о небольшом дополнительном времени, которое могло бы предоставить государство ради того, чтобы каналы обращения в конце концов пришли в нормальное состояние. Ошибка его заключалась в предположении, будто решения Соединенных Провинций будет в данном случае достаточно, тогда как согласиться с этим должны были бы все государи, все европейские государства.

Но разве не было бы лучшим решением прибытие в Амстердам монеты или слитков? Так, Нёвилли (хотя они были не одиноки) устроили в своем деревенском доме возле Гарлема фабрику для «очистки скверного прусского серебра, коего им было прислано из Германии в бочонках на несколько миллионов». Сбор в Германии этой плохой монеты, выпускавшейся Фридрихом II во время Семилетней войны, производили местные еврейские купцы, связанные с еврейскими купцами Амстердама[449]. Последние, занятые почти исключительно вексельными операциями и испытавшие сильное потрясение в результате кризиса, выписывали векселя на этот приходивший к ним благословенный металл. «Еврейские купцы Эфраим и Ицхок (*Jizig*), — писал неаполитанский консул в Гааге, — кои суть сборщики монеты короля [Прусского], позавчера (16 августа

[437] A.d.S. Venezia, Inghilterra 119, f° 92, 92 v°.
[438] Wilson C. *Op. cit.*, p. 167—168.
[439] *«Gazette de France»*, 584, Hambourg, 22 août 1763.
[440] *Ibid.*, 624, Copenhague, 3 septembre 1763.
[441] Москва, АВПР, 50/6, 472, л. 50, 12 августа 1763 г.
[442] *Там же*,
[443] Москва, АВПР, 50/6, 472, л. 51 об.
[444] *Там же*.
[445] В оригинале — «дисконта».
[446] Москва, АВПР, 50/6, 472, л. 44.
[447] A.N., A.E., C.P. Hollande, 513, f° 64 v°.
[448] Т. е. о временном перерыве в сроке сделки.
[449] A.d.S. Napoli, Affari Esteri 800, Гаага, 2 августа 1763 г.

1763 г.) отправили почтовыми повозками под охраной 3 млн. экю в Гамбург, и я узнал, что другие банкиры также доставляют в Голландию значительные суммы, дабы поддержать свой кредит»[450].

Вливания наличной монеты были хорошим решением. К тому же Амстердамский банк вопреки обычным своим правилам согласился с 4 августа принимать «в депозит слитки золота и серебра»[451], что было способом сразу же включить в денежное обращение драгоценные металлы, поставленные в необработанном виде.

Но нет надобности далее следить за этим бурным, резким ликвидационным кризисом, губившим только слабые фирмы, очищая рынок одним махом от его спекулянтов, и в целом, с определенной точки зрения, здоровым и полезным, по крайней мере если находиться в эпицентре этого финансового землетрясения. Не в Гамбурге, где с начала августа, до громового удара в виде краха Нёвиллей, порт был забит судами, тщетно ожидавшими погрузки и полагавшими отправиться на восток, в другие порты[452]. Не в Роттердаме, где с апреля[453] возмутилось «простонародье» и где «буржуазии пришлось взяться за оружие и рассеять всех бунтовщиков». Но в Амстердаме, который, по-видимому, избежал таких неприятностей и таких волнений и после того, как буря миновала, поднялся без излишних трудностей: «Сии купцы-банкиры должны были, как Феникс, возродиться, а вернее — появиться вновь из-под своего пепла и в конечном счете утвердиться в качестве кредиторов разоренных торговых центров»[454].

В 1773 г. после первого толчка, данного банкротством Клиффордов (28 декабря 1772 г.), кризис начался снова и шел своим путем. Та же последовательность, то же переплетение сложных обстоятельств. Ольдекоп мог бы повторить письма, написанные им десятью годами раньше. Биржа оказалась парализована. «Многие фирмы, — пишет русский консул, — последовали за крахом господ Клиффорда и сына. Господа Хорнека, Хоггер и К°, которые все делают для Франции и для Швеции... два или три раза были на краю падения. Первый раз для них сумели собрать за одну ночь 300 тыс. флоринов, каковые им надлежало выплатить на следующий день». Во второй раз из Парижа очень кстати прибыла «повозка с наличными в золоте... Господа Рийе, Рич и Уилкисонз, кои суть корреспонденты господ Фредерик в Санкт-Петербурге, доставили из Англии деньги в серебре» (золото, привезенное из Франции, имело будто бы ценность в один миллион, а английское серебро — два миллиона флоринов). Господам Грилл, которые вели крупную торговлю со Швецией, пришлось прекратить выплаты, ибо они не смогли «учесть свои переводные векселя на других». Господа Сарди и К°, старинная фирма, выполнявшая различные поручения для венского двора, «вынуждены были дать потоку увлечь себя»[455]. Правда, эти итальянцы, которые предпочитали не столько трудиться, сколько развлекаться, уже ощутили падение своего кредита[456]. Нынешняя катастрофа была для них последним ударом. Но некоторые фирмы, равным образом обанкротившиеся, были на самом деле солидными,

[450] *Ibid.*, извещение из Берлина от 16 августа, переданное 26 августа.
[451] *«Gazette de France»*, 544, 4 août 1763.
[452] A.d.S. Napoli, Affari Esteri 800.
[453] *«Gazette de France»*, 296, La Haye, 22 avril 1763.
[454] Torcia M. *Op. cit.*, p. 9.
[455] Москва, АВПР, 50/6, 490, 1/2.
[456] Москва, АВПР, 50/6, 490, 1/2.

однако они были захвачены общим крахом, последуют и дальнейшие банкротства, ежели не будут приняты меры[457]. Город еще раз решил авансировать два миллиона наличными деньгами под ручательство первых негоциантов города, дабы помочь тем, кто нуждается в деньгах и мог предоставить гарантии в виде ли товаров или надежных векселей. «Не будут, однако, приниматься учтенные векселя, будь то даже на первейшие фирмы, ибо в сем случае два миллиона» ничего не дадут[458]. Ясно, что сенсационное и к тому же окончательное банкротство Клиффордов, торгового дома, просуществовавшего полтораста лет, породило всеобщее недоверие и требования об уплате, намного превышавшие сумму имевшихся наличных денег.

Старая песня, та же, что в 1763 г., подумаете вы. Так судили об этом современники. Тот же короткий кризис, быстро закончившийся в своем драматическом развитии в конце января. Но то, что он был более серьезным, чем предыдущий, ставит проблему, которую Чарлз Уилсон [459] в основном разрешил. В самом деле, решающим обстоятельством было то, что первоначальный удар исходил теперь из Лондона, а не Амстердама. Катастрофой, которая увлекла за собой Клиффордов и их компаньонов, было падение курса акций Ост-Индской компании, столкнувшейся в Индии, в особенности в Бенгалии, с трудной ситуацией. И снижение курса произошло слишком поздно для английских спекулянтов, которые играли на понижение, и слишком рано для голландцев, игравших на повышение. Потерпели крах и те и другие, тем более, что покупки обычно совершались спекулянтами всего лишь за 20% цены акций, а остальное — в кредит. Следовательно, потери их были огромны.

Кризис, исходивший из Лондона, повлек вмешательство Английского банка, которое быстро привело к прекращению учета всех сомнительных векселей, а потом и всех векселей вообще. Это беспредметный спор — пытаться узнать, ошибся ли банк в своей тактике, ударив таким образом по Амстердаму, денежному и кредитному рынку, или нет. Во всяком случае, если в этом кризисе и был Феникс, вышедший невредимым из огня, так это, конечно, Лондон, который по прошествии тревоги продолжал выкачивать к себе капиталовложения, возрождавшиеся «избытки» Голландии.

В Амстердаме дела шли не так хорошо: еще в апреле 1773 г., спустя три месяца после тревоги, улица оставалась беспокойной. «На протяжении полумесяца только и слышишь что разговоры о кражах по ночам. Вследствие сего удвоили обычную стражу и распределили по разным кварталам буржуазные патрули. Но что дает такая бдительность, ежели не уничтожена причина зла и ежели у правительства нет средств сему помочь?»[460] В марте 1774 г., спустя год и даже более после кризиса, уныние среди купечества не прошло. «Что нанесет последний удар кредиту сего рынка, — писал консул Майе дю Клерон, — так это то, что пять или шесть первых и самых богатых домов совсем недавно оставили коммерцию; в их числе и фирма Андре Пельса, еще более известная на иностранных рынках, нежели на амстердамском, для коего она зачастую бывала главным источником средств: ежели богатые фирмы уйдут с

[457] *Там же.*
[458] *Там же.*
[459] Wilson C. *Op. cit.*, p. 169 f.
[460] A.N., Marine, B[7], 435, Амстердам, 7, 5 апреля 1773 г.

биржи, крупные дела вскоре из оной исчезнут. Коль скоро она не сможет более выдерживать большие убытки, она не осмелится пытаться получать большие прибыли. Однако же, правда, что в Голландии все еще больше денег, нежели в любой другой стране при прочих равных условиях»[461].

Но все было связано — в глазах историков, разумеется, — с первенством внутри европейского мира-экономики.

Еще в феврале 1773 г. французский консул, узнав, что в Генуе только что произошел грандиозный крах на 1500 млн. пиастров, связал это происшествие (и все прочие, что сотрясали европейские рынки) с Амстердамом, так как этот город был «очагом, из коего почти все они получали свое движение»[462]. Я же, напротив, полагаю, что Амстердам тогда уже не был больше «очагом», эпицентром. Очагом был уже Лондон. А тогда — существует ли правило, которое было бы очень удобным: а именно что всякий город, расположившийся или расположенный в центре какого-то мира-экономики, был первым, где начинались землетрясения в системе, а затем первым, который от них по-настоящему оправлялся? Вот что заставило бы нас другими глазами взглянуть на «черный четверг»[463] на Уолл-стрит в том самом 1929 г., который для меня отмечает фактически начало первенства Нью-Йорка.

Следовательно, первенство Амстердама оказалось бы «вне игры» (по меньшей мере в глазах историков), когда заявил о себе третий кризис — кризис 80-х годов. Кризис, который к тому же отличался от предыдущих не только по причине своей продолжительности (по меньшей мере с 1780 по 1783 г.), своей особенной вредоносности для Голландии или того обстоятельства, что в своем развитии он был отягощен четвертой англо-голландской войной, но также и потому, что он вписался в более обширный экономический кризис, притом совсем иного типа — ни больше ни меньше как в *интерцикл* (*intercycle*)[464], который Эрнест Лабрус усматривает во Франции с 1778 по 1791 г.[465] Именно в эту междесятилетнюю фазу следует заново поместить эпизод в виде англо-голландской войны (1781 — 1784 гг.), который завершился оккупацией Ланки (Цейлона) англичанами и их свободным доступом на Молуккские острова. Голландия, как и остальная Европа, барахталась тогда в длительном кризисе, поразившем всю экономику в целом, а не один только кредит, кризисе, аналогичном тому, с которым билась Франция Людовика XVI, вышедшая истощенной, с расстроенными финансами из американской войны, хоть та и была для нее победной[466]. «Преуспев в том, чтобы сделать Америку свободной, Франция так истощила себя, что, восторжествовав в унижении английской гордости, чего она желала, она самое себя разорила, видя теперь свои финансы исчерпанными, свой кредит уменьшившимся, министерство расколовшимся, а все королевство — в группировках (*factions*)». Таково суждение, высказанное Ольдекопом о Франции 23 июня 1788 г.[467] Но такая слабость Голландии, такая слабость Франции, она объясняется не только войной (как это слишком часто утверждают).

Результатом долгого и всеобщего кризиса зачастую бывает прояснение карты мира, грубое указание каждому его места,

[461] A.N., Marine, B[7], 438, Амстердам, 7, 28 марта 1774 г.
[462] A.N., Marine, B[7], 435, Амстердам, 3, 4 февраля 1773 г.
[463] Четверг 24 октября 1929 г. Ср.: Galbraith J.K. *The Great Crash, 1929*. 1955.
[464] Интерцикл, или междесятилетний цикл. См. выше. гл. 1 с. 67.
[465] Labrousse C.E. *La Crise de l'économie française*, p. XXII.
[466] Besnier R. *Histoire des faits économiques jusqu'au XVIII[e] siècle*. 1962—1963, p. 249.
[467] Москва, АВПР, 50/6, 539, л. 47.

усиление сильных и принижение слабых. Политически побежденная, если придерживаться буквы Версальского договора (3 сентября 1783 г.), Англия восторжествовала экономически, ибо с этого времени центр мира находился в ней, со всеми последствиями и асимметриями, какие из этого воспоследуют.

В этот час истины слабости Голландии, из которых иные насчитывали уже несколько десятилетий, обнаружились разом. Ее правительство, о прежней эффективности которого мы говорили, было инертно, расколото внутри, неотложная программа вооружений оставалась мертвой буквой; арсеналы неспособны были модернизироваться[468]. Страна производила впечатление раздробленной на непримиримо враждебные друг другу партии; новые налоги, введенные, дабы справиться с ситуацией, вызывали общее недовольство. Даже сама биржа сделалась «мрачной»[469].

[468] Thurnberg C.P. *Voyage en Afrique et en Asie, principalement au Japon, pendant les années 1770—1779.* 1794, p. 30.
[469] A.E., C.P. Hollande, 543, Амстердам, 28 декабря 1780 г.
[470] Выражение, заимствованное из книги Питера Гейла: Geyl P. *La Révolution batave (1783—1798).* 1971.

БАТАВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ[470]

Наконец Голландия неожиданно столкнулась у себя дома с политической и социальной революцией — революцией «патриотов», сторонников Франции и «свободы».

Чтобы ее понять и объяснить, можно было бы вести начало этой революции либо с 1780 г., когда началась четвертая англо-голландская война; либо с 1781 г., с воззвания «К нидерланд-



Английская сатирическая гравюра: голландские «патриоты», сторонники Франции, упражняются в стрельбе по силуэту прусского гусара. *Фототека издательства А. Колэн.*

скому народу» («*Aan het Volk von Neederlande*») Ван дер Капеллена, основателя партии «патриотов»; либо же с 1784 г., начиная с мира, который Англия заключила в Париже 20 мая с Соединенными Провинциями[471] и который был погребальным звоном по нидерландскому величию.

Рассматриваемая в целом, эта революция представляет собой череду запутанных, бурных событий, случайностей, речей, разговоров, межпартийной ненависти, вооруженных столкновений. Ольдекопу не было нужды насиловать свой темперамент ради того, чтобы осудить этих выступавших против власти, которых он плохо понимал, но инстинктивно отвергал. С самого начала он порицает их претензии и в не меньшей степени то, как они употребляют слово «свобода» — *Vrijheid*, как если бы Голландия не была свободна! «Самое смешное из всего, — пишет он, — это нарочитая манера держаться этих портных, сапожников, башмачников, булочников, кабатчиков и т. п. ... превратившихся в военных»[472]. Горстка настоящих солдат привела бы этот сброд в чувство. Эти военные по случаю — повстанческие вооруженные народные отряды, «вооруженные подразделения», сформировавшиеся для защиты демократических муниципалитетов в некоторых — не во всех! — городах. Потому что «патриотическому» террору вскоре стало противопоставляться по всей стране насилие «оранжистское» приверженцев статхаудера. Волнения, мятежи и репрессии следовали одни за другими, переплетались между собой. И беспорядок все ширился: Утрехт восстал, было несколько грабежей[473]. Корабль, отправлявшийся в Индию, был попросту разграблен и «освобожден» даже от серебряной монеты, предназначавшейся для его команды[474]. Простой народ угрожал аристократам, которых Ольдекоп время от времени именовал «богачами». Но перед нами в такой же мере классовая борьба, как и «буржуазная революция»[475]. «Патриоты» — это прежде всего мелкая буржуазия, французские депеши либо просто говорят о ней как о «буржуазии», либо как о «республиканцах», либо как о «республиканской системе». Их ряды выросли за счет некоторых «регентов», врагов статхаудера, которые надеялись, что смогут благодаря патриотическому движению отделаться от Вильгельма V, впрочем, человека ничтожного, а вернее, несчастного. Но ни в коем случае это ограниченное движение не могло бы рассчитывать на простой народ, страстно приверженный оранжистскому мифу и всегда готовый подняться, бить, грабить, поджигать.

Эта революция — мы далеки от того, чтобы недооценивать ее (то был обратный оттиск нидерландского успеха), — была, хотя об этом сказано недостаточно, первой революцией Европейского континента, предзнаменованием Французской революции, определенно очень глубоким кризисом, который расколол «даже буржуазные семьи... с невиданным ожесточением [восстановил] отца против сына, мужа против жены»[476]. К тому же возник и словарь борьбы, революционный или контрреволюционный, получивший широчайший резонанс и обнаруживший любопытную скороспелость. В ноябре 1786 г. некий член правительства, раздраженный бесконечными спорами, попы-

[471] Schöffer I. *Op. cit.*, p. 656, 657.
[472] Москва АВПР, 50/6, 531, л. 51.
[473] Москва, АВПР, 50/6, 534, л. 126 об.
[474] *Там же*, 530, л. 62.
[475] *Там же*, 531, лл. 92—93, Амстердам, 18/29 декабря 1786 г.
[476] Москва, АВПР, 50/6, 531, л. 66.

тался определить понятие свободы. В начале длинной речи он объяснял: «Разумные и беспристрастные люди не понимают смысла сего слова, столь преувеличиваемого в данный момент; напротив, они видят, что сей крик «Да здравствует свобода!» суть сигнал ко всеобщему восстанию и к грядущей анархии... Что означает свобода?.. Она означает: мирно пользоваться дарами природы, быть под защитою государственных законов, возделывать земли, безопасно заниматься науками, коммерцией, искусствами и ремеслами... Пока же ничто более не противоречит сим драгоценным преимуществам, чем поведение так называемых патриотов»[477].

Однако же революционное брожение, сколь бы бурным оно ни было, на самом деле привело лишь к расколу страны на противостоявшие друг другу две группировки. Как писал Генри Хоуп[478]: «Все это может кончиться только абсолютной тиранией, будь то тирания государя[479] или тирания народа» (такое смешение народа и патриотов заставляет задуматься), и достаточно было бы единственного толчка в ту или другую сторону, чтобы заставить страну склониться к тому или другому решению. Но в том состоянии слабости, в каком находилась страна, не одна она решала свою судьбу. Соединенные Провинции были зажаты между Францией и Англией, они служили ставкой в пробе сил между двумя этими державами. Поначалу Франция, казалось, одержала верх, и между ней и Соединенными Провинциями был подписан в Фонтенбло 10 ноября 1785 г. договор о союзе[480]. Но то был иллюзорный успех, что для «патриотов», что для правительства в Версале. Английская политика, разыгрывавшая карту статхаудера и его сторонников, осуществлялась на месте Джеймсом Харрисом, послом исключительных достоинств. Заботами фирмы Хоуп целенаправленно раздавались субсидии, как было в провинции Фрисландия. В конце концов была начата прусская интервенция, и Франция, которая выдвинула кое-какие военные силы в район Живе[481], не стала вмешиваться. Прусский корпус почти без сопротивления дошел до Амстердама, захватив Лейденские ворота. Город, который мог бы защищаться, капитулировал 10 октября 1787 г.[482]

С восстановлением власти статхаудера сразу же началась планомерная яростная реакция — мы бы сегодня сказали, реакция фашиствующая. На улице надлежало носить оранжевые цвета. Тысячи «патриотов» бежали; некоторые изгнанники, *матадоры* (*matadors*), подняли много шума, но издали. В самой стране оппозиция вовсе не разоружилась: одни носили оранжевые кокарды крохотных размеров, другие располагали их в форме буквы V (*Vrijheid* — свобода), третьи их вовсе не носили[483]. 12 октября компаньоны фирмы Хоуп явились на биржу в одежде установленного цвета, были изгнаны оттуда и должны были возвращаться домой под охраной национальной гвардии[484]. В другой раз, опять-таки на бирже, вспыхнула потасовка: теперь это был купец-христианин, пришедший без своей кокарды[485], на которого накинулись еврейские купцы, все бывшие сторонниками статхаудера[486]. Но все это были пустяки в сравнении с казнями и насилиями народа, настроенного

[477] *Там же.*
[478] Buist M.G. *Op. cit.*, p. 431.
[479] Т. е. статхаудера.
[480] A.E., C.P. Hollande, 565, f[os] 76—83.
[481] Geyl P. *Op. cit.*, p.90.
[482] A.E., C.P. Hollande, 575, f° 70.
[483] Geyl P. *Op. cit.*, p. 94 sq.
[484] *Ibid.*, p. 95.
[485] A.E., C.P. Hollande, 575, f[os] 253 sq., Гаага, 14 декабря 1787 г.; см. также: A.E., C.P. Hollande, 578, f° 274, Гаага, 15 мая 1789 г.
[486] *Ibid.*

оранжистски. В «регентских советах» смещали бургомистров и эшевенов, установилась настоящая система дележа добычи, представители прославленных семейств устранялись к выгоде людей незначительных, еще накануне неизвестных. Буржуа и «патриотов», во множестве уезжавших в Брабант или во Францию, было, возможно, 40 тыс. человек[487]. В довершение всех несчастий небольшая прусская армия жила за счет завоеванной страны. «С того момента, как войска короля Прусского вступили на территорию сей провинции [Голландии], выплата им жалованья была приостановлена и... у них нет другой оплаты, кроме грабежа, что, как говорят, составляет прусскую систему во время войны; что достоверно, так это то, что солдаты действуют в соответствии с сим правилом и сельская местность полностью опустошена; в городах, по крайней мере в здешнем [Роттердаме], они не то чтобы грабят, но заходят в лавку и берут товары, не платя... И опять-таки, прусские солдаты требуют и оставляют себе пошлины, взимаемые при въезде в город»[488]. Пруссаки ушли в мае 1788 г. Но статхаудерская реакция к тому времени утвердилась и спокойно шла своим чередом.

Тем не менее революционный пожар занялся в соседнем доме — в Брабанте. Брабант — это Брюссель, который наподобие Амстердама сделался активным денежным рынком, открытым для нескончаемых нужд и аппетитов автрийского правительства. Ольдекоп, мало-помалу успокоившийся, оказался все же пророком, написавши 26 февраля 1787 г.: «Когда Европа... позабавится голландскими шалостями, весьма похоже, что взоры обратятся к Франции»[489].

[487] A.E., C.P. Hollande, 576, f° 46, 3 апреля 1788 г.

[488] A.E., C.P. Hollande, 575, f° 154 v°, 25 октября 1787 г.

[489] Москва, АВПР, 50/6, 533, л.60.

Глава 4 НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

По-видимому, ничто не кажется более само собой разумеющимся (я имею в виду для историка, потому что выражение это отсутствует в различных современных экономических словарях [1]), чем классическое понятие *национального рынка*. Так обозначают достигнутую экономическую связность, сплоченность некоего политического пространства, когда это пространство обладает *известным охватом*, прежде всего в границах того, что мы называем *территориальным государством* и что в прошлом охотнее именовали *национальным государством*. Ибо, коль скоро в таких границах политическая зрелость предшествовала зрелости экономической, вопрос заключается в том, чтобы узнать, когда, как и по каким причинам эти государства добились, говоря в экономических категориях, определенной внутренней связности и способности вести себя по отношению к остальному миру как некое целое. В общем это означает попытку зафиксировать наступление момента, который изменил ход европейской истории, отодвинув на задний план экономические целостности, где преобладал один город.

[1] Словари Жана Ромёфа (Romeuf J., 1958), Алэна Котта (Cotta A. 1968), А. Тезена дю Монселя (Tezenas du Montcel H., 1972) и даже Бувье-Ажана и других (Bouvier-Ajam et divers, 1975).

Возникновение такого момента неизбежно соответствовало ускорению обращения, подъему земледельческого и неземледельческого производства, равно как и разрастанию общего спроса,— всем условиям, которые, абстрактно говоря, можно было бы себе представить достигнутыми и без вмешательства капитализма, как следствие постоянного половодья рыночной экономики. На самом же деле последняя зачастую обнаруживала тенденцию остаться региональной, организоваться внутри границ, какие ей предлагали обмены разнообразными и друг друга дополняющими продуктами. В том, чтобы перейти от регионального рынка к рынку национальному, соединив вместе экономики с достаточно коротким радиусом, почти самостоятельные и зачастую наделенные очень индивидуальными чертами, не было, следовательно, ничего случайного. Национальный рынок — это сплоченность, навязываемая одновременно политической волей (не всегда действенной в этих делах) и капиталистическими напряженностями торговли, в частности

торговли внешней и на дальние расстояния. Обычно определенный расцвет внешних обменов *предшествовал* многотрудному объединению национального рынка.

Вот это и побуждает нас думать, что национальные рынки должны были, с соблюдением первенства, развиться в центре или вблизи от центра мира-экономики, в самых сетях капитализма. Что существовала корреляция между их развитием и дифференциальной географией, которую предполагало прогрессировавшее международное разделение труда. К тому же



Этот выполненный В. Холларом фронтиспис к книге Джона Огилби *«Britannia»* (1675 г.) изображает дорогу у выезда из Лондона; он в общем соответствует представлению, какое англичанин конца XVII в. мог иметь о богатстве своей страны: определенное равновесие между морской внешней торговлей (суда на заднем плане, глобус — на переднем), обычным дорожным движением (с каретой справа вверху, всадниками, разносчиком), животноводством (бараны, быки, лошади), земледелием. Отсутствует только промышленность. *Британский музей.*

и в противоположном направлении *вес* национального рынка сыграл свою роль в непрерывной борьбе, где противостояли друг другу разные кандидаты на господство над миром, в данном случае — в дуэли XVIII в. между Амстердамом, городом, и Англией, «территориальным государством». Национальный рынок был одной из оболочек, где под воздействием внутренних и внешних факторов произошла важнейшая для начала промышленной революции трансформация, я имею в виду нарастание многообразного внутреннего спроса, способного ускорить производство в различных секторах, открыть пути прогресса.

Интерес изучения национальных рынков не подлежит сомнению. Трудность состоит в том, что оно трубует и соразмерных им методов и инструментов. Несомненно, экономисты такие инструменты и такие методы создали на протяжении этих последних трех-четырех десятков лет для нужд «национального счетоводства», но не думая, разумеется, о специфических проблемах историков. Могут ли историки присвоить себе услуги такой макроэкономики? Ясно, что впечатляющие массы данных, которыми ныне оперируют перед нами, чтобы взвесить национальные экономики, не имеют ничего общего с недостаточным материалом, какой есть в нашем распоряжении для прошлого. И в принципе трудности возрастают по мере того, как мы отдаляемся от непосредственно наблюдаемого настоящего. И в довершение невезения: приспособлением этой проблематики сегодняшнего дня к обследованию дня вчерашнего еще по-настоящему не занимались [2]. И те редкие экономисты, которые в этих областях становятся на место историков (впрочем, не без блеска) — тот же Жан Марчевский или тот же Роберт Уильям Фогел [3],— почти не забираются, первый — раньше XIX в., второй — раньше века XVIII. Они оперируют эпохами, где наблюдается относительное обилие цифр, но за пределами таких полуосвещенных зон не дают нам ничего, даже благословения на поиск. В этой сфере помочь нам может один только Саймон Кузнец, как я это уже говорил [4].

Однако же проблема заключена именно в этом. Нам потребовалось бы «глобальное взвешивание» [5] национальной экономики, следуя примеру С. Кузнеца и В. Леонтьева и воспринимая не столько букву, сколько дух их исследований, так же как вчера многие историки транспонировали первопроходческие идеи Лескюра, Афтальона, Вагемана и еще более — Франсуа Симиана, чтобы ухватить ретроспективные конъюнктуры цен и заработной платы. На этом старинном направлении мы, историки, великолепно преуспели. Но на сей раз игра была рискованная. И так как национальный продукт почти не принимает простейшего ритма традиционной экономической конъюнктуры [6], не только последняя не сможет прийти нам на помощь, но мы и шага вперед не сделаем, если не перевернем все, что мы знали или думали, что знали. Единственное преимущество, но оно имеет свой вес, состоит в том, что, подступаясь к методам и понятиям, которые для нас малопривычны, мы оказываемся вынуждены смотреть на вещи новым взглядом.

[2] Ср.: Vilar P. *Pour une meilleure compréhension entre économistes et historiens. «Histoire quantitative» ou économétrie rétrospective?* — «*Revue historique*», 1965, p. 293—311.

[3] Marczewski J. *Introduction à l'histoire quantitative*. 1965; Fogel R. W. *The Economics of Slavery*. 1968. Среди его многочисленных статей см.: *Historiography and retrospective econometrics.— «History and Theory»*, 1970, p. 245—264; *The New Economic History*. 1. *Its Finding and Methods.— «The Economic History Review»*, 1966, p. 642—656.

[4] См. т. 2 настоящего издания.

[5] По выражению Пьера Шоню. См.: Chaunu P. *La pesée globale en histoire.— «Cahiers Wilfredo Pareto»*. 1968.

[6] Perroux F. *Prises de vues sur la croissance de l'économie française, 1780—1950.— «Income and Wealth», V, 1955, p. 51.*

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОСТЕЙШИЕ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Занимая большую площадь, национальный рынок сам собою делится; он есть сумма пространств меньших размеров, которые схожи друг с другом или друг на друга непохожи, но которые этот рынок охватывает и принуждает к определенным отношениям. Невозможно было бы сказать *априори*, какое из таких пространств, что жили не в едином ритме и, однако же, не прекращали взаимодействовать, было самым важным и какое определит строение целого. В медленном и сложном процессе сопряжения рынков часто бывало, что международный рынок процветал в какой- нибудь стране одновременно с достаточно оживленными местными рынками, тогда как рынок-посредник, национальный или региональный, плелся в хвосте [7]. Но такое правило иной раз оказывалось перевернуто, особенно в зонах, над которыми давно трудилась история, где международный рынок зачастую лишь увенчивал провинциальную экономику, диверсифицированную и давно уже существовавшую [8].

Значит, всякое образование национального рынка следует изучать во всем разнообразии его элементов, ибо всякий их набор предстает чаще всего как частный случай. В этой сфере, как и в других, любое обобщение будет затруднительно.

[7] Вернер Зомбарт (Sombart W. *Der moderne Kapitalismus.* 1928, II, S.188—189) утверждал, что простейший местный рынок и рынок международный были более ранними, нежели рынки-посредники, в том числе и национальный рынок.

[8] См. выше, гл. 1. с. 28—29.

ГАММА ПРОСТРАНСТВ

Наипростейшее из таких пространств, крепче всего укоренившееся,— это то, что демографы именуют *изолятом*, т. е. минимальной единицей сельского расселения. В самом деле, никакая человеческая группа не может жить, а в особенности выжить и *воспроизвести себя*, если она не насчитывает по меньшей мере четыреста-пятьсот индивидов [9]. В Европе Старого порядка это соответствовало одной или нескольким близлежащим деревням, более или менее связанным, которые все вместе определяли пределы одновременно и социальной единицы, и зоны пахотных земель, залежей, дорог и жилищ. Пьер де Сен-Жакоб говорил по этому поводу о «культурной поляне» [10]; это выражение обретает весь свой смысл, когда речь идет, как это часто бывает в Верхней Бургундии, об открытом пространстве, расчищенном в лесу. Тогда вся совокупность понимается и читается как раскрытая книга.

В тесном кругу тысяч таких малых единиц [11], где история протекала замедленно, одно человеческое существование следовало за другим, из поколения в поколение, и все они походили одно на другое. Пейзаж упорно оставался почти что тем же самым: здесь — пахотные поля, луга, огороды, сады, конопляные поля; там — близкие леса, залежи, полезные для выпаса; и постоянно одни и те же орудия: заступ, мотыга, плуг, мельница; кузня, мастерская тележника...

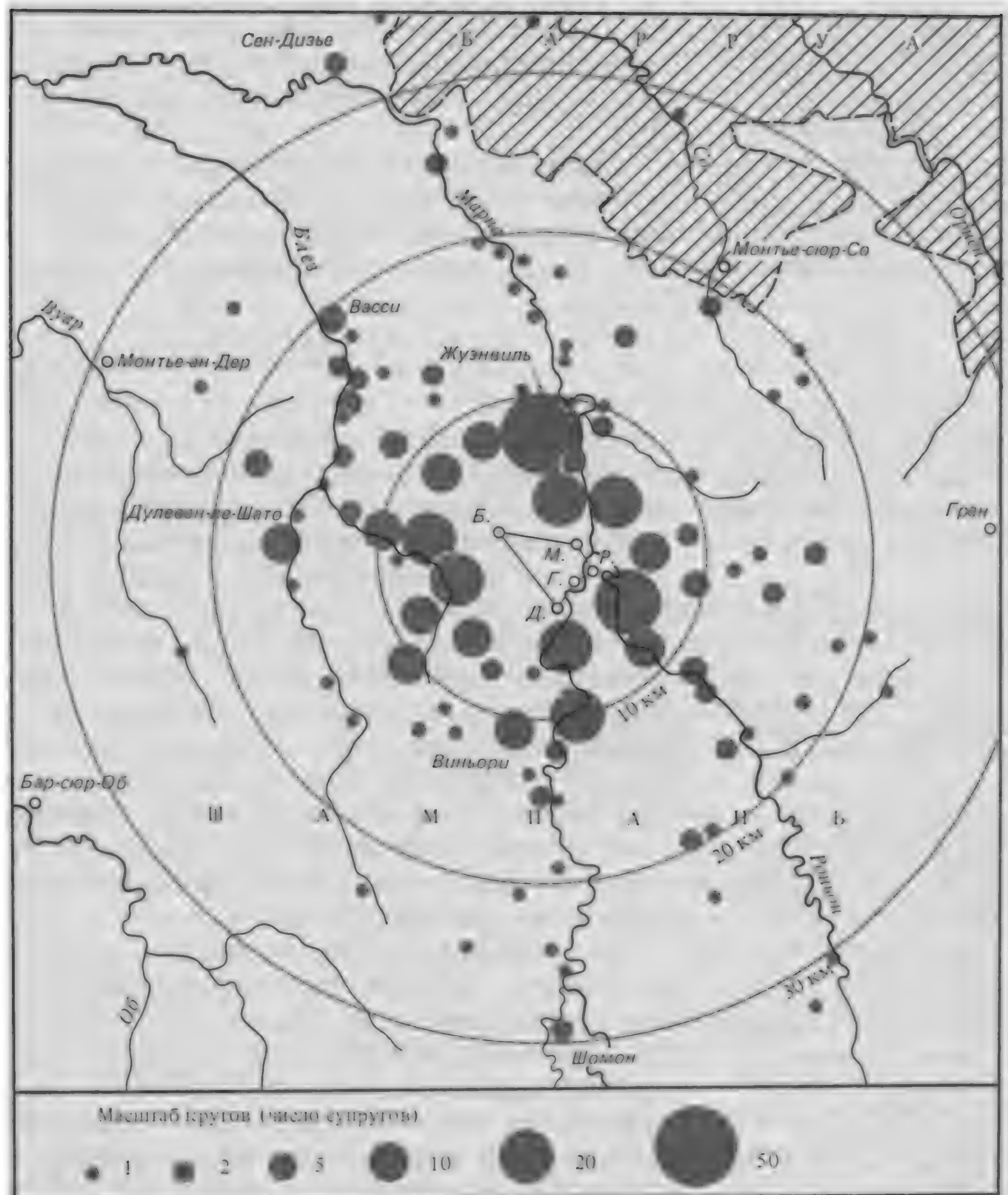
[9] Chevalier L. *Démographie générale.* 1951, в частности, с. 139.

[10] Saint-Jacob P. *Études sur l'ancienne communauté rurale en Bourgogne. II. La structure du manse.* — *«Annales de Bourgogne»*, XV, 1943, p. 184.

[11] Эти крохотные единицы были старинной реальностью. Фредерик Хэйетт полагает, что европейские деревни отлились в рамках расселения римской эпохи, из которых они начали высвобождаться лишь в VIII — IX вв. См.: Hayette F. *The Origins of European Villages and the First Europansion.* — *«Journal of Economic History»*, March 1977, p. 182—206, и следующий за текстом комментарий Дж. Рэфтиса (Raftis J. A.), с. 207—209.

Выше таких тесных кружков[12], группируя их (всякий раз, когда они жили не в слишком далеко зашедшей самодостаточности), располагалось *экономическое* подразделение самого малого размера: совокупность местечка, обеспеченного рынком, а при случае и ярмаркой, и размещенных вокруг него в виде ореола нескольких от него зависевших деревень. Каждая деревня должна была находиться на таком расстоянии от местечка, чтобы за день можно было сходить на рынок и вернуться обратно. Но размеры совокупности зависели сразу от транспортных средств, от плотности населения и от плодородия рассматриваемой территории. Чем реже было население и чем беднее почвы, тем большими становились расстояния: в XVIII в. горцам небольшой альпийской долины Валлорсин к северу от Шамони, помещавшимся на краю света, приходилось пешком спускаться по длинной и трудной дороге, ведшей вниз к местечку Мартиньи в [швейцарском кантоне] Вале, «дабы там покупать рис, сахар, иногда немного перца, а также и мясо в розницу,

[12] См. Fourquin G.— в: Léon P. *Histoire économique et sociale du monde*. 1977, I, p. 179. Коммуна во Франции занимала будто бы площадь менее 10 кв. км в богатых зонах, но могла достигать и 45 кв. км в зонах бедных.



Браки в пяти деревнях Шампани с 1681 по 1790 г.
В деревенской местности, богатой виноградниками, пять деревень — Блекур, Донжё, Гюдмон, Мюссэ и Рувруа (обозначенные начальными буквами названий) — насчитывали все вместе примерно 1500 жителей, т. е. больше, чем характерный для Старого порядка изолят. Однако же из 1505 браков, отмеченных за эту сотню лет, 56,3% были заключены внутри каждого из пяти приходов, 12,4% — между жителями разных приходов (из пяти). Остальные 31,3% относились к супругам-«чужакам» (всего их было 471), которые одни только и представлены на карте. Огромное большинство их было родом из мест, ограниченных кругом радиусом всего лишь в 10 км. (По данным кн.: Arbellot G. *Cinq Paroisses du Vallage (XVII*ᵉ*—XVIII*ᵉ *siècles). Etude de démographie historique*. 1973.)

ибо в сказанном месте [Валлорсин] нет ни единой мясной лавки»,—и это еще в 1743 г.[13] На противоположном полюсе располагались многочисленные и процветающие деревни, прилепившиеся к крупным городам, такие, как те *горные поселения* (*pueblos de los montes*[14]) вокруг Толедо, которые еще до XVI в. доставляли свои изделия (шерсть, тканье, кожи) на рынок на площади Сокодовер. Они были как бы оторваны от обработки земли таким требовательным соседством, «приклеены» к своего рода предместью. Короче говоря, именно между этими двумя экстремальными типами следует представлять себе деревенские взаимоотношения на близком расстоянии.

Но как составить себе представление о значимости, о протяженности или объеме таких мирков, живших под знаком простейшей экономики? Вильгельм Абель[15] рассчитал, что городишко с 3 тыс. жителей нуждался в 85 кв. км деревенских земель, чтобы жить за счет своего собственного пространства. Но в доиндустриальном мире 3 тыс. жителей — это было больше, нежели обычная величина местечка; что же касается 85 кв. км, то цифра эта кажется мне весьма недостаточной, разве что под деревенскими землями понимать одни лишь пахотные угодья. В последнем случае цифру следовало бы увеличить больше чем вдвое, чтобы включить в нее леса, луга, залежи, которые добавлялись к возделанным полям[16]. А это дало бы пространство примерно в 170 кв. км. В 1969 г. Франция насчитывала 3321 кантон (по данным *Dictionnaire des communes*). Если *кантон* (старинное подразделение, определявшееся при случае на основе еще более старинных подразделений) *в общем* действительно составлял низовое экономическое группирование, то при территории Франции, равной 550 тыс. кв. км, сказанный «кантон» составил бы в среднем 160—170 кв. км и насчитывал бы ныне 15—16 тыс. жителей.

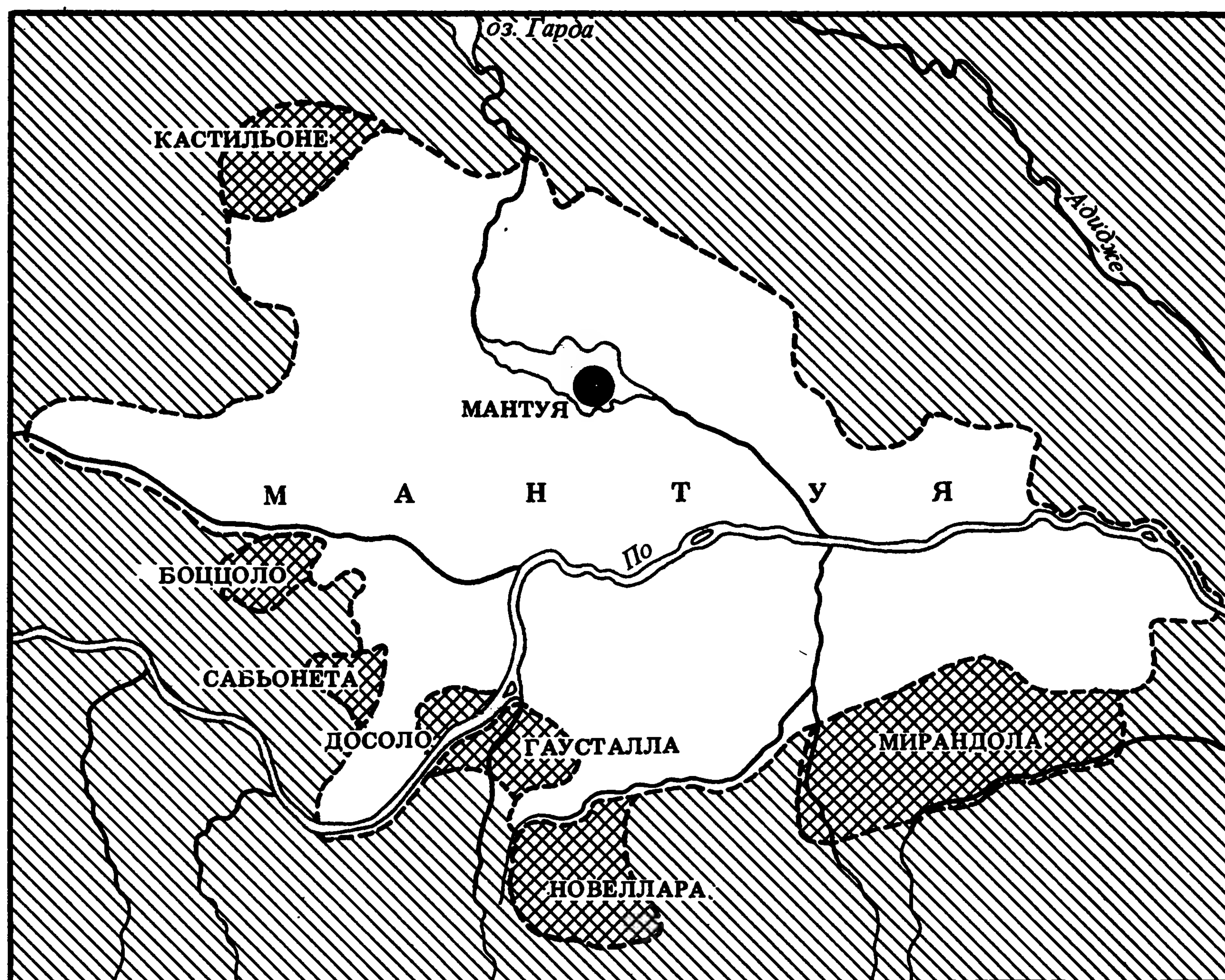
Входили ли *кантоны* в состав более высокого регионального подразделения, т. е. с большим радиусом воздействия? Это именно то, что издавна утверждали французские географы (особенно они!)[17], искусственно «завышая» значение важнейшего, с их точки зрения, понятия «край» («*pays*»). Несомненно, что эти 400 или 500 «краев» пространства Франции в прошлом варьировали в своих размерах, что у них были плохо определенные границы, более или менее подчинявшиеся определяющим влияниям почвы, климата, политических и экономических связей. «Переливаясь» друг в друга, такие всегда самобытно окрашенные пространства имели бы, таким образом, площадь, варьировавшую от 1000[18] до 1500 или 1700 кв. км; таким образом, они представляли бы относительно весомую единицу. Чтобы проиллюстрировать наблюдение, укажем, что как раз примерно в такие пределы укладывалась площадь Бовези, края Брэ, Ож или лотарингского Воёвр, От, края Валуа[19], Тулуа * (1505 кв. км)[20], Тарантез[21] (приближавшаяся к 1700 кв. км), края Фосиньи (1661 кв. км)[22]. Тем не менее область Валь-д'Аоста, по которой у нас есть хороший исторический путеводитель[23], с ее гористыми зонами и бескрайними альпийскими лугами, намного превысила эти нормы (3298 кв.км), тогда как Лодевуа, край самобытный, насколько это возможно, и ограниченный

[13] Levi-Pinard. *La Vie quotidienne à Vallorcine,* p. 25.
[14] Weisser M. *L'économie des villages ruraux situés aux alentours de Tolède* (машинописный текст), 1971, p. 1.
[15] Abel W. *Crises agraires en Europe (XII^e—XX^e siècle)*. 1973, p. 15.
[16] Ср.: Chevalier P. *La Monnaie en Lorraine sous le règne de Léopold (1698—1729)*. 1955, p. 126, note 3 (1711).
[17] Gallois L. *Paris et ses environs,* s. d. (1914). p. 25.
[18] Письмо Р. Брюне от 25 ноября 1977 г.: «Имелся, видимо, типичный размер, примерно 1000 кв. км, и это мне кажется неслучайным».
[19] По данным Р. Брюне, в следующем порядке: Бовези—800 кв. км (спорно); Воёвр—800 кв. км.; край Ож—от 1200 до 1400 кв. км; Валуа—1000 кв. км; От—1000 кв. км.
* Округ города Туля в Лотарингии.— *Прим. перев.*
[20] Cabourdin G. *Terre et hommes en Lorraine du milieu du XVI^e siècle à la guerre de Trente Ans, Toulois et comté de Voudémont*. 1975, I, p. 18.
[21] Nicolas J. *La Savoie au XVIII^e siècle*. 1978, p. 138. Тартантез—1693 кв. км; Морьенн—1917 кв. км; Шабле—863 кв. км; Женевский массив—1827 кв. км.
[22] До 1815 г. (по данным, сообщенным мне Полем Гишоне).
[23] Ansaldo M. *Peste, fame, guerra, cronache di vita valdostana del sec. XVII*. 1976.

бассейном реки Лерг, составлял лишь 798 кв. км — но то был один из самых небольших по площади диоцезов Лангедока; диоцезы же Безье (1673 кв. км), Монпелье (1484 кв. км) и Алес (1791 кв. км) довольно хорошо подходят под норму [24].

Такую охоту за размерами, нормами и своеобразиями можно было бы продолжить по всей Франции и за ее пределами по всей Европе. Но закончатся ли на этом наши затруднения? Вне сомнения, главным было бы увидеть, какие из этих «краев», от Польши до Испании, от Италии до Англии, были сцеплены с городом, который над ними господствовал, слегка возвышаясь. Если выбирать достоверно известные примеры, то таков был случай Тулуа, властным центром которого был город Туль [25]; или мантуанский край, изменявшаяся площадь которого колебалась между 2000 и 2400 кв. км и который, связанный по рукам и ногам, был подчинен Мантуе семейства Гонзага [26]. Любой «край», сосредоточенный таким вот образом вокруг какого-то центра, несомненно, представлял экономическую целостность. Но «край» был также — и, может быть, в первую очередь — культурной реальностью, одним из тех окрашенных в особый цвет квадратиков, на которые подразделялась и через которые обретала гармонию мозаика западного мира, в частности Франции, которая «есть само разнообразие» [27]. И тогда стоило бы, возможно, рассмотреть фольклор — костюмы, говоры, местные поговорки, обычаи (такие, каких не найдешь десятью — двадцатью километрами дальше), форму и [строительный] материал домов, кровель, расположение интерьеров, мебель, кулинарные привычки — все то, что, будучи четко локализовано на местности, составляло умение жить, адаптировать-

[24] Appolis E. *Le Diocèse civil de Lodève*. 1951, p. V, VI, 1 et note 2.
[25] Cabourdin G. *Op. cit.*
[26] Лекция Марцио Романи в Париже 8 декабря 1977 г.
[27] См. статью Люсьена Февра в: «*Annales E. S. C.*», 1947, p. 205.



Герцогство Мантуя (по данным карты 1702 г.)
По границам герцогства (общей площадью 2000—2500 кв. км) располагались более мелкие государства: герцогство Мирандола, княжества Кастильоне, Боццоло, Сабьонета, Досоло, Гуасталла, графство Новелларе. Далее — Венеция, Ломбардия, Парма и Модена. Сам город Мантуя окружен озерами, которые образует река Минчо. Не было ли герцогство Мантуя, с его долгой историей, равнозначно тому, что мы во Франции именовали «краем»?

ся, уравновешивать потребности и ресурсы, осознавать радости этой жизни, которые вовсе не обязательно были теми же, что в других местах. На уровне «края» можно было бы также различить определенные административные функции, но совпадения, во всяком случае во Франции, между фантазией границ 400 бальяжей и сенешальств и географической реальностью 400—500 «краев», были весьма несовершенными[28].

Этажом выше — *провинции*[29] представляются, колоссами с явно менявшимися размерами, ибо история, которая их создавала не везде работала одинаково. Видаль де Лаблаш в книге «*Государства и нации Европы*» («*États et nations d'Europe*», 1889), которая, к сожалению, не более чем набросок, особенно отмечал «регионы», на самом деле — провинции, на какие делился западный мир. Но в своей великолепной «*Географической картине Франции*» («*Tableau géographique de la France*», 1911), которой открывается «История» Лависса, он именно «краю» отдает предпочтение перед природным регионом или провинцией. В конце концов мы еще у Мишле найдем самый живой образ провинциального разнообразия, которое для него было «раскрытием Франции»[30]. Разнообразия, которое не сгладилось, когда провинции были соединены в большей мере силой, нежели по доброй воле, дабы преждевременно образовать те административные рамки, в которых мало-помалу выросла современная Франция. Макиавелли[31] завидовал и восхищался как образцовым творением французской королевской власти (созданным, правда, за несколько столетий), этим терпеливым завоеванием территорий, некогда столь же независимых, как Тоскана, Сицилия или Миланская область. И порой гораздо более крупных: во Франции «край» был вдесятеро больше «кантона», а провинция — в десяток раз больше «края», т. е. равнялась 15—25 тыс. кв. км — пространству, по меркам прошлого, громадному. Измеряемая в соответствии со ско-



Провинция и ее «края»: Савойя в XVIII в.
Вся провинция делилась на более или менее устойчивые подразделения, большая часть которых сохранилась даже до наших дней. (См.: Guichonnet P. *Histoire de la Savoie*. 1973, p. 313.)

[28] Brette A. *Atlas des bailliages ou juridictions assimilées, ayant formé unité électorale en 1789*, s. d., p. VIII: «Из более чем 400 бальяжей, образовавших в 1789 г. избирательные округа, не было, быть может, ни одного, в котором бы не было приходов, наполовину принадлежавших другим бальяжам, имевших подчиненность неясную или оспариваемую».

[29] Во всем этом длинном параграфе слова «провинция», «регион», «природный регион», и, следовательно, «провинциальный рынок», «региональный рынок» используются как синонимы. См. об этом: Piatier A. *Existe-t-il des régions en France?* 1966; idem. *Les Zones d'attraction de la région Picardie*. 1967; Idem. *Les Zones d'attraction de la région Auvergne*. 1968.

[30] Michelet J. *Tableau de la France*.— Michelet J. *Histoire de France*. II, 1876, p. 79.

[31] Machiavelli N. *Ritratti di cose di Francia*.— Machiavelli N. *Opere complete*. 1960, p. 90—91.

ростью транспорта тех времен, одна только Бургундия Людовика XI была в сотни раз больше всей сегодняшней Франции.

В таких условиях разве же не была провинция некогда отечеством по преимуществу? «Именно таковы были жизненные рамки средневекового [и постсредневекового] общества,— писал Ж. Дон о Фландрии.— Этими рамками не были ни королевство, ни сеньерия (первое — слишком обширно, несколько ирреально, вторая — слишком мала), но именно такое региональное княжество, оформившееся или нет»[32]. Короче говоря, провинция долго будет «политическим предприятием оптимальной величины», и в нынешней Европе ничто не разорвало по-настоящему эти узы былых времен. К тому же Италия и Германия долгое время оставались множествами провинций или «государств» до объединения в XIX в. А Франция, хоть и рано сформировавшаяся в качестве «нации»,— не бывала ли она иной раз довольно легко расчленяема на автономные провинциальные миры, как, к примеру, во время долгого и глубокого кризиса ее Религиозных войн (1562—1598 гг.), столь показательного с этой точки зрения?

[32] Dhont J. *Les solidarités médiévales. Une société en transition: la Flandre en 1127—1128.— «Annales E. S. C.», 1957, p. 529.*

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И РЫНКИ

Такие провинциальные подразделения, достаточно обширные, чтобы быть более или менее однородными, на самом деле были старинными нациями меньшего размера, образовывавшими или пытавшимися образовать свои национальные рынки, скажем, чтобы подчеркнуть различие: свои *региональные рынки*.

По-видимому, можно было бы даже увидеть в судьбе провинциального пространства, *mutatis mutandis* *, прообраз, двойника судьбы национальной и даже международной. Повторялись те же закономерности, те же процессы. Национальный рынок, как и мир-экономика, был надстройкой и оболочкой. Тем же, чем в своей сфере был в равной степени провинциальный рынок. То есть в прошлом провинция была национальной экономикой, даже миром-экономикой малых размеров; по ее поводу пришлось бы повторить, невзирая на разницу в масштабе, все теоретические рассуждения, что открывали эту книгу, слово в слово. Она включала регионы и господствовавшие города, «края» и периферийные элементы, одни зоны более или менее развитые, а другие почти автаркические... Впрочем, именно в этих *дополнявших друг друга* различиях, в их развернутом спектре черпали свою связность, сплоченность эти достаточно обширные регионы.

* При соответствующих изменениях (*лат.*).— *Прим. ред.*

Итак, в центре всегда был город или города, навязавшие свое превосходство. В Бургундии — Дижон, в Дофине — Гренобль, в Аквитании — Бордо, в Португалии — Лисабон, в венецианских владениях — Венеция, в Тоскане — Флоренция, в Пьемонте — Турин... Но в Нормандии — Руан и Кан, в Шампани — Реймс и Труа, в Баварии — Регенсбург, вольный город, господствовавший на Дунае благодаря своему главному мосту, и Мюнхен, столица, созданная Виттельсбахами в XIII в., в Лан-

гедоке — Тулуза и Монпелье, в Провансе — Марсель и Экс, в лотарингском *пространстве* — Нанси и Мец, в Савойе — Шамбери, позднее — Аннеси и особенно — Женева, в Кастилии — Вальядолид, Толедо и Мадрид. Или же, чтобы закончить показательным примером, в Сицилии — Палермо, город пшеницы, и Мессина, столица шелка, между которыми долгое время господствовавшие испанские власти весьма старательно не делали выбора: нужно было разделять, чтобы властвовать.

Разумеется, когда наблюдалось разделение первенства, конфликт вспыхивал незамедлительно; в конечном счете один из городов одерживал или должен был одержать верх. Долго остававшийся нерешенным конфликт мог быть лишь признаком неудачного регионального развития: сосна, поднимающая разом две вершины, рискует не вырасти. Подобная дуэль могла быть показателем двойной ориентации или двойственного строения провинциального пространства: не один Лангедок, а два; не одна Нормандия, но, по меньшей мере две Нормандии... В таких случаях наблюдалось недостаточное единство провинциального рынка, неспособного соединить в единое целое пространства, имевшие тенденцию либо жить, замкнувшись в себе, либо же открыться для других внешних кругооборотов: в самом деле, любой региональный рынок затрагивался двояко: и национальным, и международным рынком. Для него из этого могли проистекать трещины, разрывы, смещения



Ф. Хакерт. Вид порта Мессины и Мессинского залива. *Неаполь, Национальный музей Сан-Мартино. Фото Скала.*

уровней, когда один субрегион вкривь, а другой вкось. И были также и иные причины, препятствовавшие единству провинциального рынка — ну хотя бы интервенционистская политика государств и правителей меркантилистской эпохи или такая же политика могущественных или ловких соседей. В 1697 г., в момент заключения Рисвикского мира, Лотарингия была наводнена французской монетой, что было формой господства, которому не сможет противостоять новый герцог [33]. В 1768 г. даже Соединенные Провинции сочли себя задетыми тарифной войной, которую вели против них австрийские Нидерланды. «Граф Кобенцль [34], — жаловались в Гааге, — делает все, что в его силах, дабы привлечь торговлю в Нидерланды, где повсюду устраивают шоссейные дороги и насыпи для облегчения перевозки продовольствия и товаров» [35].

[33] Chevalier P. *Op. cit.*, p.35.
[34] Граф Кобенцль (1712—1770) был назначен Марией-Терезией правителем австрийских Нидерландов в 1753 г. и оставался им до самой своей смерти.
[35] A. d. S. Napoli, Affari Esteri 801, Гаага, 2 сентября 1768 г. О льготах, предоставлявшихся брюссельским правительством для ввоза шерсти в Остенде, см.: Там же, 27 мая 1768 г.

Но не соответствовал ли *автономный* провинциальный рынок застойной экономике? Ему надлежало раскрыться, добровольно или по принуждению, на внешние рынки — национальный или международный. Так что иностранная монета, несмотря ни на что была живительным вкладом для не чеканившей более своей монеты Лотарингии XVIII в., где контрабанда была процветающим промыслом. Даже самые бедные провинции, которым почти нечего было предложить и купить вне своих границ, располагали в качестве экспортного ресурса рабочей силой — как Савойя, Овернь и Лимузен. С наступлением XVIII в. открытость вовне, колебания баланса приобретали все большую важность, имели значение индикаторов. К тому же в эту эпоху с подъемом государств, с расцветом экономики и [экономических] отношений на дальних расстояниях время провинциальных преимуществ определенно миновало. Их *долгосрочная* судьба заключалась в том, чтобы раствориться в национальном единстве, каковы бы ни были их сопротивление или их отвращение. В 1768 г. Корсика стала французской при хорошо известных обстоятельствах; вполне очевидно, что она не могла и мечтать о том, чтобы быть независимой. Тем не менее провинциальный партикуляризм отнюдь не умер; он еще и сегодня существует, на Корсике и в других местах, со многими последствиями и многими отступлениями.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО — ДА! НО НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК?

В конечном счете национальный рынок был сетью с неправильными ячейками, зачастую построенной наперекор всему: наперекор слишком могущественным городам, у которых была своя политика; провинциям, которые отвергали централизацию; иностранным вмешательствам, влекшим за собой разрывы и бреши, не говоря уже о различных интересах производства и обменов — вспомним о конфликтах во Франции между атлантическими и средиземноморскими портами, между внутренними районами и морскими фасадами страны. А также и наперекор анклавам простого воспроизводства, которые никто не контролировал.

Ничего нет удивительного в том, что у начала национального рынка непременно стояла централизующая политическая воля: фискальная, или административная, или военная, или меркантилистская. Лайонел Роткруг[36] определяет меркантилизм как передачу руководства экономической активностью от коммун государству. Вернее будет сказать: от городов и провинций к государству. По всей Европе очень рано возвысились привилегированные регионы, властные центры, с которых начиналось медленное политическое строительство, начинались территориальные государства. Так, во Франции это Иль-де-Франс, удивительный домен Капетингов, и вновь все происходило «между Соммой и Луарой»[37]; в Англии — бассейн Лондона; в Шотландии — низменная зона (*Lowlands*); в Испании — открытые пространства Кастильского нагорья; в России — бескрайняя Московская возвышенность... Позднее это был в Италии Пьемонт, в Германии — Бранденбург, вернее прусское государство, разбросанное от Рейна до Кенигсберга, в Швеции — область озера Меларен.

Все, или почти все, строилось вокруг главных дорог. В свое время, в 1943 г., мне нравилась книга Эрвина Редслоба «*Имперская дорога*» («*Des Reiches Strasse*»), которая подчеркивает значение в прошлом дороги от Франкфурта-на-Майне до Берлина как орудия и даже как «детонатора» немецкого единства. Географический детерминизм — не все в генезисе территориальных государств, но он играл свою роль.

Экономика работала тоже. Понадобилось, чтобы она перевела дыхание после середины XV в., для того чтобы *заново* утвердились первые современные государства — с Генрихом VII Тюдором, Людовиком XI и Католическими королями, а на востоке — с успехами Венгрии, Польши и Скандинавских стран. Корреляция вполне очевидна. Тем не менее в то время Англия, Франция, Испания и Восточная Европа наверняка не были самыми передовыми зонами континента. Разве не находились они на периферии господствовавшей экономики, которая наискось пересекала Европу от Северной Италии через Германию в ее придунайских и прирейнских областях до перекрестка Нидерландов? Что же до этой зоны господствовавшей экономики, то она была зоной старинных *городских* национализмов: для такой революционной политической формы организации, как территориальное государство, там не было места. Итальянские города противились политическому объединению полуострова, о котором мечтал Макиавелли и которое, быть может, смогли бы осуществить Сфорца[38]. Венеция, по-видимому, даже и не помышляла об этом; государства Империи ничуть не больше желали [успеха] проектам реформ не имевшего денег Максимилиана Австрийского[39]; Нидерланды не собирались интегрироваться в испанскую империю Филиппа II, и их сопротивление приняло форму восстания по религиозным мотивам, ибо религия в XVI в. была языком многообразным, притом не единожды языком зарождавшегося или утверждавшегося политического национализма. Так что обозначился раскол между национальными государствами, поднимавшимися в геометрическом центре *могущества*, с одной стороны, и городскими зо-

[36] Rothkrug L. *The Opposition to Louis XIV*. 1965, p. 217.
[37] См. Chaunu P.— в: Braudel F., Labrousse E. *Histoire économique et sociale de la France*, I, vol. I, p. 28.
[38] Calmette J. *L'Élaboration du monde moderne*. 1949, p. 226—227.
[39] Gossart E. *L'Établissement du régime espagnol dans les Pays-Bas et l'insurrection*. 1905, p. 122.

нами в геометрическом центре *богатства* — с другой. Достаточно ли будет золотых уз, чтобы связать политических монстров? Уже войны XVI в. отвечали — и да, и нет. Вполне очевидно, что в XVII в. Амстердам, который окажется в известном роде последним пережитком городского могущества, замедлил взлет Франции и Англии. Разве не потребуется новый экономический подъем XVIII в., чтобы отлетел запор и экономика вступила под контроль национальных государств и рынков, этих тяжких носителей мощи, которым с этого времени все будет позволено? Следовательно, нечего удивляться, что территориальные государства, рано преуспевшие в политическом плане, лишь с запозданием добьются экономического успеха, каким был национальный рынок, предвестие их материальных побед.

Остается узнать, как произошел этот заранее подготовленный переход, когда и почему. Трудность заключается в том, что отсутствуют ориентиры и в еще большей степени — критерии. Можно *априори* думать, что политическая территория становилась экономически связной, цельной, когда ее пронизывала сверхактивность рынков, которые в конечном счете захватывали и вдохновляли если не весь, то по крайней мере большую часть глобального объема обменов. Можно также будет думать о наличии определенного соотношения между продукцией, охваченной обменом, и продукцией, потреблявшейся на месте. Можно даже подумать об определенном уровне всеобщего богатства, о порогах, которые пришлось преодолеть. Но каких порогах? А главное, в какие моменты?

ВНУТРЕННИЕ ТАМОЖНИ

Традиционные объяснения придают чрезмерное значение авторитарным мерам, которые освобождали политическое пространство от внутренних таможен и дорожных пошлин, которые его раздробляли или по крайней мере стесняли обращение в его пределах. С устранением этих препятствий национальный рынок будто бы познал впервые свою эффективность. Не слишком ли это простое объяснение?

Всегда предлагаемый пример — это Англия, которая действительно очень рано избавилась от своих внутренних барьеров [40]. Рано возникшая централизующая мощь английской монархии с 1290 г. обязала собственников дорожных пошлин поддерживать в хорошем состоянии дорогу, которую они контролируют, она ограничила продолжительность их привилегии всего несколькими годами. При таком порядке преграды на пути обращения не исчезли целиком, но ослабли; в конечном счете они почти что ничего не значили. Объемистая история английских цен, написанная Торолдом Роджерсом, с трудом обнаруживает для последних столетий средневековья кое-какие единичные и не имеющие серьезного значения цифры, относящиеся к стоимости дорожных пошлин [41]. Эли Хекшер [42] объяснял этот процесс не одним только ранним могуществом английской монархии, но также и относительно небольшой площадью Англии, а еще более — «преобладанием [свободных]

[40] Heckscher E. F. *La Epoca mercantilista.* 1943, p. 30 sq.
[41] Rogers Th. *History of Agriculture and Prices in England.* 1886. Цит. по: Heckscher E. *Op. cit.*, p. 32—33.
[42] Heckscher E. F. *Op. cit.*, p. 30.

морских коммуникаций», которые конкурировали с внутренними путями и снижали их значение. Как бы то ни было, иностранных путешественников удивляло всегда одно и то же; француз аббат Куайе писал в 1749 г. одному из друзей: «Я забыл Вам сказать, когда описывал дороги, что здесь не заметишь ни контор, ни сборщиков. Когда Вы приедете на этот Остров, Вас тщательно досмотрят в Дувре, после чего Вы сможете объехать всю Великобританию, не подвергаясь никаким расспросам. Ежели так обходятся с иностранцами, то тем более так поступают с гражданами. Таможни отброшены к внешним пределам королевства. И там досматривают раз и навсегда»[43]. Это же повторяет относящийся к 1775 г. французский отчет: «По прибытии в Англию все ваши вещи досматриваются одна за другой, и сей первый досмотр есть единственный в королевстве»[44]. В 1783 г. один испанец[45] признавал, что «великая приятность для путешествующего по Англии — не подвергаться таможенным досмотрам ни в какой части королевства после того, как он был досмотрен после своей высадки с корабля. Со своей стороны я не испытал той строгости, какая, как мне говорили, практикуется при такой операции, ни при въезде моем в Дувре, ни при выезде в Хaридже. Правда, у таможенников есть чутье на тех, кто незаконно вывозит деньги, и тех, кто является их тратить, влекомые своим любопытством». Но не всем путешествующим так везло, и не все попадали под такое доброе настроение. Петион, будущий революционный мэр Парижа, который прошел таможню в Дувре 28 октября 1791 г., нашел досмотр «неприятным и утомительным; почти все вещи оплачиваются пошлиной, особенно книги, если они переплетены, золотые и серебряные изделия, кожа, порох, музыкальные инструменты, гравюры. Правда, после того как этот досмотр проведен, вы более не сталкиваетесь с другими внутри королевства»[46].

В это время прошел почти что год, как Учредительное собрание упразднило внутренние французские таможни, следуя в данном случае общей тенденции среди государств континента — отодвинуть таможенные заставы к политической границе; с этого времени они были подкреплены вооруженной стражей, образовав протяженные защитные кордоны[47]. Но то были поздние меры (в Австрии — в 1775 г., во Франции — в 1790 г., в Венеции — в 1794 г.)[48], да и не всегда они сразу же применялись. В Испании решение о них было принято в 1717 г., но правительству пришлось затем пойти на попятный, особенно в том, что касалось баскских провинций[49]. Во Франции с 1726 г. и до Революции было отменено более 4 тыс. дорожных пошлин, но с относительным успехом, если судить по нескончаемому перечню внутренних таможен, упраздненных Учредительным собранием начиная с 1 декабря 1790 г.[50]

Если бы национальный рынок рождался из такого наведения порядка, то на Европейском континенте национальные рынки появились бы только в конце XVIII или начале XIX в. Это явно чересчур. К тому же достаточно ли отменить дорожные сборы, чтобы активизировать торговлю? Когда Кольбер в 1664 г. создал таможенное объединение Пяти Главных [Больших]* отку-

[43] Coyer abbé. *Nouvelles Observations sur l'Angleterre par un voyageur*. 1749, p. 32—33.
[44] A.N., Marine, B[7], 434, около 1776 г.
[45] Ponz A. *Viaje fuera de España*. 1947, I, p. 1750.
[46] Reinhard M. *Le voyage de Pétion à Londres (24 novembre—11 décembre 1791).—«Revue d'histoire diplomatique»*, 1970, p. 35—36.
[47] Stolz O. *Zur Entwicklungsgeschichte des Zollwesens innerhalb des alten deutschen Reiches.—«Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte»*, 1954, 46, I, S. 1—41.
[48] *Bilanci generali...*, I, p. CI, 20 dicembre 1794.
[49] Krebs R. *Handbuch der europäischen Geschichte*. Hrsg. Th. Schieder, 1968, Bd 4, S. 561.
[50] Heckscher E. F. *Op. cit.*, p. 93.

* Речь идет о провинциях Пяти Главных [Больших] откупов (Иль-де-Франс, Нормандия, Пикардия, Шампань, Бургундия, Брес и Бюже, Бурбоннэ, Берри, Пуату, Онис, Анжу, Мен и Турень), которые назывались так потому, что когда-то в них взимались пошлины, распределенные между пятью откупами, которые взыскивались при ввозе и вывозе из этих провинций за границу или в «так называемые иностранные провинции» на основе тарифа 1664 г.

«Так называемые иностранные (чуждые) провинции» не были подчинены тарифу 1664 г. и именно поэтому именовались «иностранными». Они обладали своими местными пошлинами. К этой группе принадлежали: Дофине, Франш-Конте, Прованс, Лангедок, Гиень, Сентонж, Лимузен,

пов, причем общая площадь, на которой последнее действовало, была, заметьте, сопоставима с площадью той же Англии (см. карту ниже), никакого немедленного ускорения экономической жизни не воспоследовало. Может быть, просто потому, что конъюнктура тогда не предлагала своих добрых услуг. Ибо, когда конъюнктура благоприятна, экономика, по-видимому, напротив, чувствует себя прекрасно, преодолевает какие угодно препятствия. Ш. Каррьер в своем труде о марсельской крупной торговле подсчитал, что пошлины за провоз на Роне, включая сюда лионскую таможню и таможню в Валансе, из которых мы, историки, доверившись жалобам современников, сделали настоящие пугала, в XVIII в. давали лишь 350 тыс. ливров с торговых перевозок в 100 млн. ливров, т. е. 0,35%[51]. Точно так же и на Луаре: я не утверждаю, что пошлины за провоз (их сохранялось 80 до самого XIX в.) не служили препятствием; что они не заставляли лодочника сходить с фарватера, чтобы подойти к контрольным пунктам; что они не создавали возможностей для вымогательств, злоупотреблений, незаконных поборов; что они не были причиной задержек в медлительном и трудном судоходстве. Но если приписывать потоку перевозок, который оживлял Луару, тот же объем, что и перевозкам по Роне (обычно его считают большим), т. е. 100 млн. ливров, а сумма уплаченных сборов составляла 187 150 ливров, то значит, если информация наша правильна, процент оказывается равен 0,187[52].

С другой стороны, специальные разрешения *(acquits-à-caution)* позволяли беспошлинный транзитный провоз товаров по всей Франции*, и мы имеем тому многочисленные примеры, довольно ранние[53]. В декабре 1673 г. английские купцы жаловались, что после того, как они пересекли всю Францию от Средиземного моря до Кале, их хотят заставить уплатить в этом последнем порту по одному су с ливра [54]. Чего они требовали, так это, вне всякого сомнения, полного освобождения от пошлины. В 1719 г. тысяча штук марсельского камлота была отправлена в Сен-Мало г-дам Боз и Эон; товары будут опломбированы в Марселе при выезде, «а по прибытии в Сен-Мало

Ангумуа, Овернь, Бретань, Фландрия и Эно.

Третью группу составляли провинции «наподобие действительно иностранных» и города, пользовавшиеся порто-франко, которые, сносясь беспошлинно с заграницей, платили пошлину при сношениях с Францией наравне с другими странами. К ним относились: Эльзас, Лотарингия, Три епископства и города Дюнкерк, Лориан, Байонна и Марсель. — *Прим.ред.*

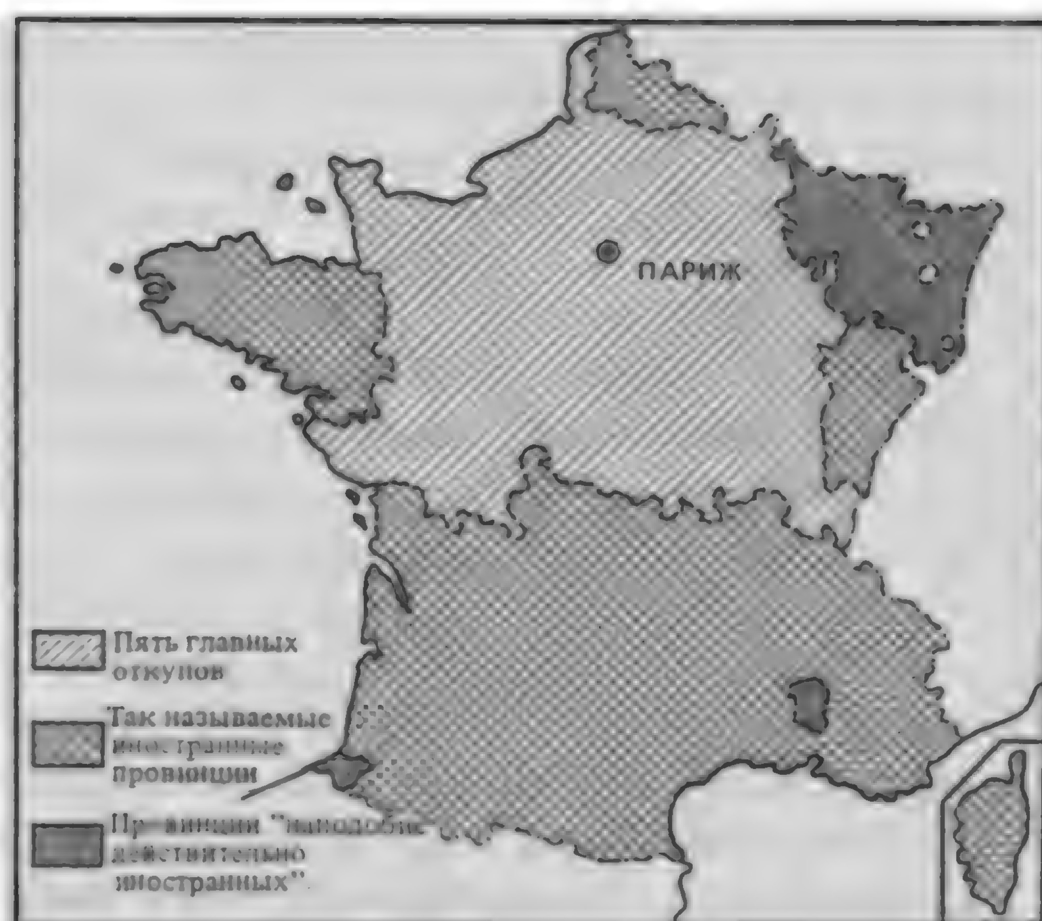
[51] Carrière Ch. *Négociants marseillais au XVIIIe siècle.* 1973, p. 705, 710—712 (около 1767 г.).

[52] A. N., H 2940; Boiteux L.-A. *La Fortune de mer.* 1968, p. 31; по данным Филиппа Мантелье (Mantellier P. *Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire.* 1867).

* Однако при условии уплаты косвенных налогов в месте назначения.— *Прим. ред.*

[53] Savary J. *Dictionnaire universel de commerce...*, I, col. 22—23.

[54] A. d. S. Genova, Lettere Consoli 1/26, 28 (Londra, 11/12 dicembre 1673).



Территория Пяти Главных откупов
(По данным: Shepherd W. R. *Historical Atlas.*— Richardson J. M. *A Short History of France.* 1974, p. 64.)

они будут помещены на перевалочный склад, дабы быть отправлены за границу без обязанности уплачивать какие бы то ни было пошлины»[55]. И такие сквозные перевозки — ничто по сравнению со свободным обращением зерна, муки и овощей, которое было освобождено «от любых сборов, включая и дорожные», королевской декларацией от 25 мая 1763 г.[56], которая, правда, будет отменена 23 декабря 1770 г. ... Взгляните также на постановление Государственного совета от 28 октября 1785 г.[57], устанавливавшее «запрет взимать на всем пространстве королевства какой бы то ни было дорожный сбор с каменного угля, каковой не будет поименно обозначен в тарифах или афишах». Вот немалое число примеров передвижения без помех по стране, ощетинившейся заставами, где издавна важные особы — взять хотя бы Вобана (1707 г.) — мечтали «отодвинуть [таможни] к границам и намного уменьшить их число»[58]. Кольбер трудился над этим, и если цель не была достигнута тогда, в 1664 г., то потому, что воспротивились интенданты, опасавшиеся (и их опасения не были иллюзорными), как бы свободное обращение зерна в огромном королевстве не вызвало бы там голодовок[59]. Опыт Тюрго в 1776 г. обернулся катастрофой в связи с «Мучной войной». Десять лет спустя, в 1786 г., если правительство, несмотря на свое желание, не занялось попросту ликвидацией дорожных пошлин, то потому, как утвер-

[55] A. N., F 12, 65, f° 41 (1 марта 1719 г.).
[56] A. N., H 2939 (печатный текст).
[57] *Ibid.*
[58] Dockès P. *L'Espace dans la pensée économique...*, 1969, p. 182.
[59] Besnier R. *Histoire des faits économiques...*, p. 99.



Взимание пошлин на английской дороге; прежде чем открыть проезд, сторож требует оплаты. Эстамп Эжена Лами (1829 г.). *Фото Национальной библиотеки.*

ждают, что, «согласно подсчетам», операция эта будто потребовала бы (в связи с возмещением собственников пошлин) затрат в 8—10 млн. ливров, что «нынешнему состоянию финансов едва ли вынести»[60]. На самом деле цифра кажется весьма умеренной при сопоставлении с фискальными масштабами Франции, и если она точна, то еще раз свидетельствует о скромном уровне дорожных пошлин.

Все эти детали заставляют думать, что мозаика таможенных барьеров не была решающей проблемой сама по себе, но была затруднением, связанным со всеми проблемами момента. Может быть, стоит напомнить, в виде доказательства от противного *(a contrario)*, об английских *turnpikes*, этих дорогах с оплатой за проезд, которые были немного схожи с нашими сегодняшними автострадами и которые Англия разрешала начиная с 1663 г., дабы побудить к сооружению новых дорог? По словам одной статьи в «Газетт де Франс» (24 декабря 1762 г.), «дорожная пошлина... [на таких перегороженных барьерами дорогах] достаточно значительна, чтобы дать сумму в три миллиона фунтов стерлингов в год»[61]. До такого тарифа нам далеко с нашими дорожными пошлинами на Луаре или на Роне.

Наконец, нельзя избежать впечатления, что в распространении и укреплении национальных рынков решающим был только экономический рост. А ведь для Отто Хинце все имплицитно вытекало якобы из политики — из объединения Англии с Шотландией (1707 г.) и с Ирландией (1801 г.), которое, создав рынок Британских островов, укрепило экономическое величие целого. Дело, конечно, обстояло отнюдь не так просто. Политический фактор имел значение, это несомненно, но в 1771 г. Исаак де Пинто задавался вопросом: действительно ли Шотландия, присоединившись к Англии, принесла ей избыток богатства? Обогатилась ли бы Франция, добавлял он, ежели бы она аннексировала Савойю?[62] Аргумент неправомерен в той степени, в какой определенно неуместно сравнение Шотландии и Савойи. Но не улучшившаяся ли в XVIII в. конъюнктура, как мы увидим в этой же главе, подняла, расшевелила британский комплекс, сделала из союза с Шотландией хорошую сделку для обеих сторон? Если нельзя того же сказать об Ирландии, так это потому, что она находилась скорее в положении колонии, а не получающей стороны в союзе.

[60] Москва, АВПР, 93/6, 439, л. 168, Париж, 20 ноября / 1 декабря 1786 г.

[61] «*Gazette de France*», 3 janvier 1763 (Лондон, 24 декабря 1762 г.).

[62] Pinto I., de. *Traité de la circulation et du crédit*, p. 2.

НЕ НУЖНО АПРИОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Так давайте же откажемся от безапелляционных дефиниций, формулируемых априрно, вроде той, согласно которой будто бы почти полная связность (например, совпадение колебаний цен в рассматриваемом пространстве) есть непременное условие всякого национального рынка. Если продолжать придерживаться этого критерия, то для Франции нам не придется более говорить о национальном рынке. Рынок зерна, главный тогда в стране, как и повсюду в Европе, делился здесь по меньшей мере на три зоны: северо-восточную с низкими ценами и их подъемами и спадами, подобными зубьям пилы; средиземно-

морскую — с высокими ценами и умеренными колебаниями; приатлантическую, более или менее глубоко захватывающую внутренние районы и имевшую промежуточный характер[63]. И тогда ничего не получается. Можно заключить вслед за Траяном Стояновичем, что «единственными европейскими регионами, где «нация» совпадала с национальным рынком, были Англия и, может быть, Соединенные Провинции». Но размеры последних делали их самое большее «провинциальным» рынком. И даже Британские острова, быть может, не допускали единого ритма для зерна, поскольку голодовки или нехватка продовольствия случались там то в Англии, то в Шотландии, то в Ирландии.

На свой лад Мишель Морино склонен к еще большим ограничениям. «Пока какая-то нация не закрыта от внешнего мира,— пишет он,— представляет ли она, будучи объединена внутри в качестве рынка, первичную единицу, пригодную для оценок [понимай: оценок национальным счетоводством]? Региональные несогласованности, к которым нас вновь сделала чувствительными нынешняя ситуация в Европе, существовали в XVI, XVII и XVIII вв. Вы бы поколебались говорить о валовом национальном продукте Германии или Италии в те отдаленные эпохи. Ибо они были политически раздроблены. А также потому, что в экономическом смысле этот продукт был бессодержателен: Саксония жила иначе, чем рейнские епископства; королевство Неаполитанское, Папское государство, Тоскана и Венецианская республика [тоже жили] каждый на свой манер»[64].

Не отвечая на эти доводы пункт за пунктом (разве же не было региональных различий между собственно Англией, Корнуоллом, Уэльсом, Шотландией, Ирландией и даже просто между Нагорьями *(highlands)* и низменными районами *(lowlands)* по всей территории Британских островов, разве же нет и сегодня повсюду в мире сильных провинциальных различий?), отметим, что Вильгельм Абель[65] все же испытывал соблазн рассчитать валовой национальный продукт Германии в XVI в.; что, по мнению Отто Штольца[66], специалиста по истории таможен, с концом XVIII в. большие торговые дороги по всему пространству Империи «создали определенное единство»; что Й. Тадич[67] очень настойчиво говорил о национальном рынке турецких Балкан с XVI в., нашедшем выражение в таких оживленных и многолюдных ярмарках, как Долянская возле Струмицы недалеко от Дуная; что Пьер Вилар полагает, что мы присутствуем «во второй половине XVIII в. при образовании настоящего испанского национального рынка к выгоде каталонской активности[68]. Так почему же тогда было бы абсурдом желание рассчитать валовой национальный продукт Испании Карла IV? Что же касается понятия нации, «закрытой от внешнего мира», то весьма трудно ее себе вообразить в эпоху, когда контрабанда была всеобщим и процветающим промыслом. Та же Англия XVIII в. была мало замкнута в своих, по видимости, совершенных границах, которые, однако же, вплоть до 1785 г. будет запросто преодолевать контрабанда чаем; та Англия, о которой уже столетием раньше, в 1698 г., говорилось, что «будучи открыта со всех сторон, она тем более удобна для кон-

[63] Согласно машинописному тексту работы Траяна Стояновича.

[64] Morineau M. *Produit brut et finances publiques: analyse factorielle et analyse sectorielle de leurs relations* (машинописный текст). — Неделя Прато, 1976.

[65] Abel W. *Zur Entwicklung des Sozial-Produkts in Deutschland im 16. Jahrhundert.*— «*Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik*», 1961, S. 448—489.

[66] Stolz O. *Op. cit.*, S. 18.

[67] Tadic I. *L'unité économique des Balkans et la Méditerranée à l'époque moderne.*— «*Studia Historiae oeconomicae*». Poznan, 1967, 2, p. 35.

[68] Vilar P. *La Catalogne dans l'Espagne moderne...*, 1962, III, p. 143.

трабанды, что все, что в нее однажды проникло, находится в безопасности»[69]. Именно таким образом шелка, бархаты, водка, все товары, прибывшие главным образом из Франции, будучи единожды выгружены в плохо охраняемом пункте побережья, преспокойно направлялись на рынки и к перекупщикам, не страшась последующих проверок.

Во всяком случае, мы не ищем «совершенного» национального рынка, которого не существует даже в наши дни. Что мы ищем, так это некий тип внутренних механизмов и взаимоотношений с обширным миром, то, что Карл Бюхер[70] называл *территориальным хозяйством (Territorialwirtschaft)* в противовес *городскому хозяйству (Stadtwirtschaft)*, городской экономике, какую мы долго рассматривали в предыдущих главах. В общем — объемную экономику, широко раскинувшуюся в пространстве, «территориализованную», как иногда говорят, и достаточно связную, чтобы правительствам более или менее удавалось ее моделировать и ею манипулировать. Меркантилизм как раз и был осознанием возможности манипулировать всей совокупностью экономики страны, или, что то же самое, сократить уже начатый поиск национального рынка.

[69] B. N., Ms. fr. 21773, f° 31.

[70] Bücher K. Die *Entstehung der Volkswirtschaft*. 1911, S. 141.

ЭКОНОМИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИКА ГОРОДСКАЯ

Понять, в чем глубинное различие между *Territorialwirtschaft* и *Stadtwirtschaft*, можно лишь в соотнесении с проблемами, которые ставит национальный рынок.

Глубинное различие. Различия же, видимые сразу, различия в объеме и пространственном охвате, имели меньшее значение, чем это кажется. Несомненно, почти без преувеличения, вы скажете, что «территория» — это плоскость, а город-государство — точка. Но, начиная с господствовавшей территории, как и с любого господствующего города, они охватывали зону внешнюю и добавочное пространство, которые в случаях Венеции, или Амстердама, или Великобритании были просто-напросто миром-экономикой. Вследствие этого в обеих восторжествовавших формах экономики наблюдалось такое преодоление собственного пространства, что, на первый взгляд, размеры последнего утрачивали свое значение как критерий дифференциации. Тем более что в таком преодолении обе системы схожи друг с другом. На Леванте Венеция была колониальной державой, как Голландия в Индонезии, как Англия в Индии. *Города* и *территории* одинаково цеплялись за международную экономику, которая их несла на себе и которую они также укрепляли. С той и с другой стороны средства господства и, как бы это сказать, средства крейсирования в повседневной жизни были одни и те же: флот, армия, насилие, а если необходимо, то хитрость, даже коварство, вспомните Совет десяти или, гораздо позже, *Интеллидженс сервис*. «Центральные»[71] банки возникали в Венеции (1585 г.), в Амстердаме (1609 г.), потом в Англии (1694 г.), те центральные банки, которые, на взгляд Чарлза Киндлбергера[72], были «последним прибежи-

[71] Я употребляю это слово неверным образом, чтобы заранее напомнить о таких банках, как Французский банк или Английский банк.

[72] Kindleberger C. P. *Manias, Babbles, Panics and Crashes and the Lender of Last Resort* (машинописный текст).

щем» и которые мне представляются прежде всего инструментами могущества, международного господства: я тебе помогаю, я спасаю тебя, но я тебя и порабощаю. Империализм, колониализм так же стары, как мир, и всякое подчеркнутое доминирование порождало капитализм, как я это часто повторял, чтобы убедить в этом читателя и убедить самого себя.

Итак, если исходить из видения мира-экономики, то перейти от Венеции к Амстердаму, а от Амстердама — к Англии означает оставаться в рамках одного и того же движения, одной и той же совокупной реальности. Что различает систему-нацию и систему-город, даже противопоставляет их друг другу, так это собственная структурная организация. Город-государство избегал тягот так называемого первичного сектора: Венеция, Генуя, Амстердам потребляли зерно, масло, соль, даже мясо и т.п., которые доставляла им внешняя торговля. Они получали извне лес, сырье и даже немалое количество ремесленных изделий, которые они потребляли. Их мало занимало, кто их производит и архаическим или современным способом они произведены: им достаточно было подобрать эти товары в конце кругооборота, там, где их агенты или же торговцы сырьем эти продукты складировали, предназначая их для городов-государств. Основная часть первичного сектора (если не весь он), необходимая для их существования и даже их роскоши, во многом была для городов-государств внешней и работала на них без того, чтобы им приходилось беспокоиться по поводу экономических и социальных трудностей производства. Несомненно, эти города не вполне осознавали это преимущество и бывали озабочены скорее его оборотной стороной: беспокоились из-за своей зависимости от заграницы (хотя могущество денег на самом деле почти сводило ее на нет). И в самом деле, мы видим, как все господствовавшие города силились увеличить свою территорию и расширить свои земледелие и промышленность. Но какое земледелие и какую промышленность? Само собой разумеется, самые богатые, самые прибыльные. Раз в любом случае нужно импортировать, будем импортировать во Флоренцию сицилийскую пшеницу, а в Тоскане станем возделывать виноградники и оливковые рощи. Таким образом, города-государства с самого начала оказывались: 1) перед весьма «современным» соотношением их сельского и городского населения; 2) перед земледелием, которое, когда оно существовало, предпочитало высокоприбыльные культуры и, естественно, было склонно к капиталистическим инвестициям (не случайно и не из-за качества своих земель Голландия так рано развила столь «передовой» сельскохозяйственный сектор); 3) перед промышленностью, изготовлявшей предметы роскоши и так часто процветавшей.

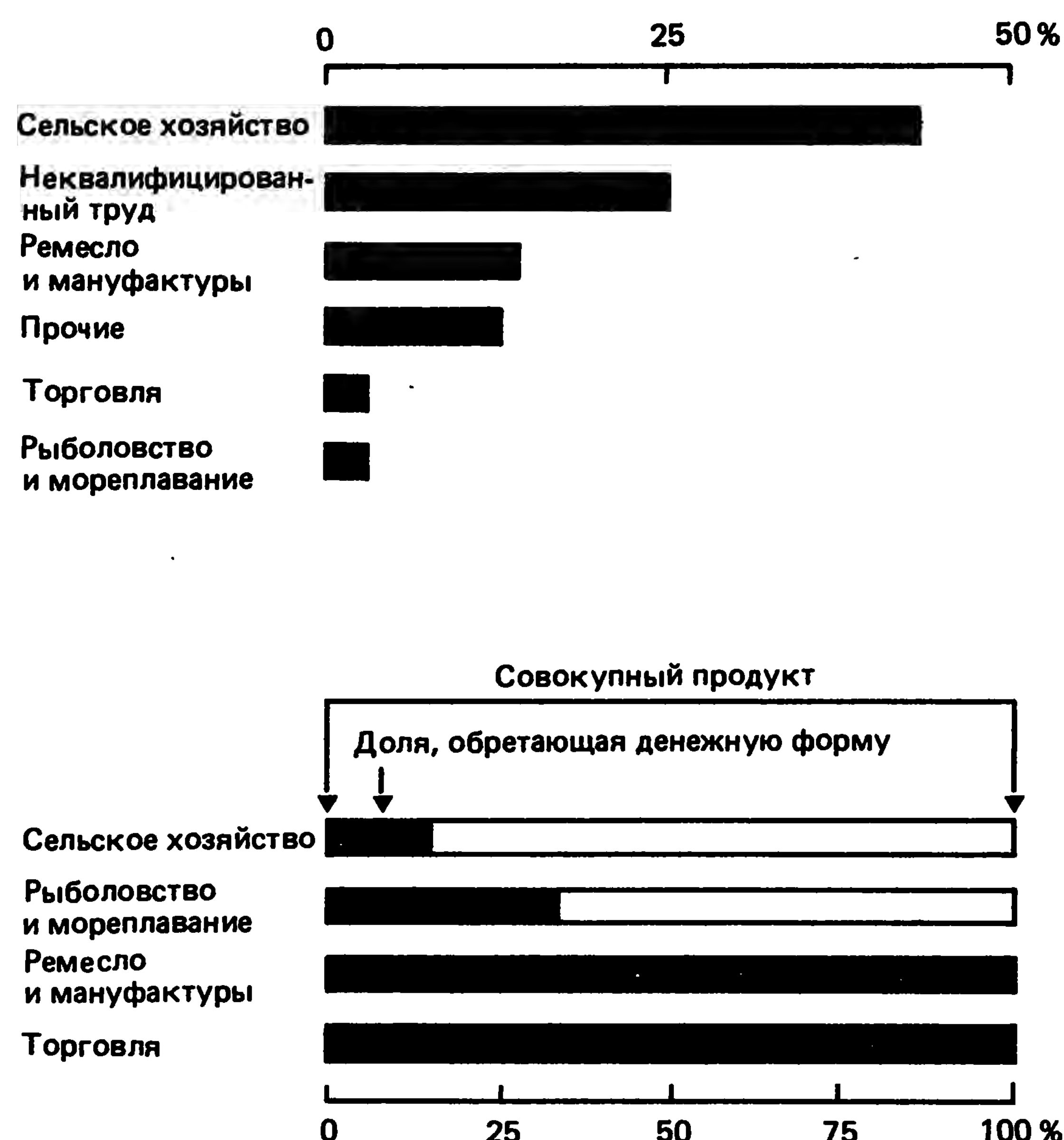
Городское хозяйство *(Stadtwirtschaft)* изначально избегало такой «земледельческой экономики», которую Даниель Торнер определял как стадию, которую надлежит пройти прежде любого эффективного развития. Напротив, территориальные государства, возившиеся со своим медленным политическим и экономическим строительством, долго оставались застрявшими в этой земледельческой экономике, которую так тяжело

подталкивать вперед — как то показывают столько развивающихся стран в наше время. Политическое строительство обширного государства, особенно если оно создавалось военным путем — а так обычно и было,— предполагало значительный бюджет, все более частое обращение к налогам, а налог требовал администрации, та же в свою очередь требовала больше денег и больше налогов... Но при населении на 90% деревенском успех в фискальной сфере предполагает, что государство эффективно контролирует крестьянство, что последнее отходит от натурального хозяйства, согласно производить излишки, продавать на рынке, кормить города. И это был только первый шаг. Ибо крестьянство должно было еще, но позднее, намного позднее, достаточно разбогатеть, чтобы увеличить спрос на готовые изделия и в свою очередь позволить жить ремесленникам. Формировавшемуся территориальному государству слишком многое предстояло сделать, чтобы ввязаться в немедленное завоевание крупных рынков мира. Чтобы жить, чтобы сводить концы с концами, оно должно было способствовать коммерциализации земледельческого и ремесленного производства и организовать тяжелую машину своей администрации. На это уходили все его живые силы. Именно с такой точки зрения хотел бы я рассматривать историю Франции Карла VII и Людовика XI. Но история эта так хорошо известна, что доказательность ее в наших глазах притупилась. В таком случае подумайте о Московском государстве или даже — это изумительный пример, к которому мы еще вернемся,— о Делийском султанате (предшественнике империи Великих Моголов), который начиная с первой половины XIV в. способствовал созданию на огромной территории, которой владел, денежной экономики, предполагавшей и включавшей в себя рынки, а через рынки — эксплуатацию, но также и стимулирование деревенской экономики. Доходы государства настолько тесно были связаны с успехом земледелия, что султан Мухаммед Туглук (1325—1351) приказывал копать колодцы, предлагал крестьянам деньги и семена и через свою администрацию обязывал их выбирать более продуктивные культуры, такие, как сахарный тростник [73].

В таких условиях нет ничего удивительного, если первые капиталистические успехи, первые и блистательные освоения мира-экономики следует занести в актив крупных городов. И если Лондону, национальной столице, напротив, потребовалось столько времени, чтобы догнать Амстердам, более проворный, чем он, и более свободный в своих действиях. Нет ничего удивительного также в том, что, сумев единожды создать это трудное равновесие земледелия, торговли, транспорта, промышленности, предложения и спроса, которого требует любое завершение национального рынка, Англия в конечном счете оказалась соперником, неизмеримо превосходившим маленькую Голландию, безжалостно отстраненную от каких бы то ни было притязаний на господство над миром: национальный рынок, однажды образованный, был прибавлением могущества. Чарлз Киндлбергер [74] задается вопросом, почему торговая революция, которая вознесла Голландию, не привела к промышленной революции. Но, несомненно, потому (среди несколь-

[73] Habib I. *Potentialities of capitalist development in the economy of the Mughal India.— International Economic History Congress* (машинописный текст), p. 10—12 & notes p. 12; Idem. *Usury in Medieval India.*— «Comparative Studies in Society and History», VI, July 1964.

[74] Kindleberger C. P. *Commercial Expansion and the Industrial Revolution.*— «*The Journal of European Economic History*», IV, 3, 1975, p. 613—654.



Промышленность и торговля подталкивают денежную экономику к расширению
Образуя громадное большинство в деловой активности городов, они объясняют длительное превосходство последних над территориальными государствами. (По данным К. Гламанна.)

ких других причин), что Голландия не располагала настоящим национальным рынком. Такой же ответ, подумаете вы, следует дать и на вопрос, который задавал себе Антонио Гарсиа-Бакеро Гонсалес[75] относительно Испании XVIII в., где, несмотря на ускоренный рост колониальной торговли, промышленная революция начиналась плохо, за исключением Каталонии. Не в том ли дело, что в Испании национальный рынок был еще незавершенным, плохо связанным в своих частях, охваченным явной инерцией?

[75] Garcia-Baquero Gonzàles A. *Cádiz y el Atlántico, 1717—1778.* 1976.

СЧИТАТЬ И ИЗМЕРЯТЬ

В чем бы мы нуждались, так это в том, чтобы взвесить *целиком* формирующиеся или уже сформировавшиеся национальные экономики. Отметить их вес в те или иные моменты: растут ли они, находятся ли на спаде. Сравнить их относительный уровень в данный период. Это означает возобновить в свою очередь внушительное число старинных начинаний, гораздо более ранних, чем классические расчеты Лавуазье (1791 г.). Уже Уильям Петти[76] (1623—1687) пытался сравнивать Соединенные Провинции с Францией: их население относилось будто бы как 1 к 13, площадь возделываемых земель — как 1 к 81, а богатство — как 1 к 3. Грегори Кинг (1648—1712)[77] тоже попробует сравнить между собой нации той троицы, которая господствовала в его эпоху: Голландию, Англию, Францию. Но к делу можно было бы привлечь добрый десяток других «калькуляторов» — от Вобана до Исаака де Пинто и самого Тюрго. Какой-нибудь текст Буагильбера (1648 — 1714), правда пессимистичный (но Франция 1696 г. не являла собой радостного

[76] Dockès P. *Op. cit.*, p. 157.
[77] Le Roy Ladurie E. *Les comptes fantastiques de Gregory King.*— «*Annales E.S.C.*», 1968, p. 1085—1102.

или утешительного зрелища), даже поражает нас своим современным акцентом. «Поскольку,— писал он,— говоря не о том, что могло бы быть, но о том лишь, что было, утверждают, что продукт [национальный продукт Франции] ныне на пять или шесть сотен миллионов ниже в составе ее ежегодных доходов, нежели он был сорок лет назад, что в капиталах, что в промышленности; что зло, т.е. уменьшение, возрастает с каждым днем; ибо те же самые причины сохраняются и даже нарастают, притом что нельзя было бы в сем обвинить доходы короля, кои никогда так мало не возрастали, как с 1660 г., они увеличились всего лишь примерно на треть, тогда как на протяжении двухсот лет они неизменно удваивались каждые тридцать лет» [78]. Вы видите: текст восхитительный. Так же как и одиннадцать «статей» («*lignes*») (от земель до рудников), по которым Исаак де Пинто [79] разнес массу национального продукта Англии — подразделение, которое без чрезмерных натяжек приближается к «статьям» национальной отчетности, такой, какой она представляется ныне.

Существует ли возможность взглянуть на прошлое с «точки зрения глобальных количеств» [80], к которой приучили нас расчеты национальной отчетности, наметившейся с 1924 г. [81], через эти старинные исследования о национальном «богатстве» и через скудные цифры, какие мы можем собрать? У таких расчетов, само собой разумеется, есть свои недостатки, но в данный момент они суть единственный метод (и прав здесь Поль Бэрош [82]), позволяющий охватить на примере современных экономик (и, я добавлю, экономик старинных) жизненно важную проблему *роста*.

Я даже согласен с Жаном Марчевским [83], полагающим, что национальная отчетность — не только техника, но уже сама по себе наука и что, слившись с политической экономией, она сделала эту последнюю экспериментальной наукой.

Тем не менее пусть читатель не слишком заблуждается относительно моих намерений: я не устанавливаю первые вехи экономической истории, которая стала бы революционной. Я желаю единственно того, чтобы после уточнения некоторых понятий национальной отчетности, полезных для историка, возвратиться к простейшим подсчетам, которые одни только и дозволяют нам имеющаяся в нашем распоряжении документация и масштаб этой книги. Добиться порядков величин, попытаться выявить соотношения, коэффициенты, *множители* — правдоподобные, если и не достоверные, наметить подходы к огромным, еще не начатым исследованиям, которые рискуют не быть начатыми так скоро. Эти вероятные порядки величин позволят нам по крайней мере предположить возможности прошлой отчетности.

ТРИ ПЕРЕМЕННЫЕ И ТРИ ВЕЛИЧИНЫ

Первая — *достояние*, национальное богатство, наличный запас, подверженный медленным колебаниям; вторая — *национальный доход*, некий поток; третья — *доход на душу насе-*

[78] Boisguilbert P., de. *Détail de la France, 1699*. Ed. I.N.E.D., 1966, II, p. 584.

[79] Pinto I., de *Op. cit.*, p. 153 sq.

[80] Выражение Ф. Перру, цитируемое Ж. Ломмом, см.: Gourvitch G. *Traité de sociologie*. 3e éd., 1967, I, p. 352, note 2.

[81] Дата появления первопроходческой книги: Bowley A. L., Stamp J. C. *National Income*.

[82] Bairoch P. *Europe's Gross National Product, 1800—1875*.— «*The Journal of European Economic History*», 1976, p. 273.

[83] Marczewski J. *Comptabilité nationale*. 1965, p. 3, 6, 28, 30. Ср.: Fourquet F. *Histoire quantitative. Histoire des services collectifs de la comptabilité nationale*. 1976, p. V.

ления (pro capite, или, как еще говорят, *per capita)*, некое отношение.

Достояние (национальное богатство) — это глобальное богатство, сумма резервов, накопленных данной национальной экономикой, масса капиталов, которые вмешиваются или могли бы вмешиваться в процесс производства этого богатства. Это понятие, некогда завораживавшее «арифметиков»[84], ныне наименее употребительное из всех, а жаль! Еще не существует «национальной отчетности по достоянию»,— писал мне один экономист[85] в ответ на один из моих вопросов, что «делает,— добавлял он,— хромым на обе ноги этот тип измерения и несовершенной — нашу счетоводную науку». Конечно, такая лакуна огорчительна для историка, который пытается взвесить роль накопленного капитала в экономическом росте и констатирует то его очевидную эффективность, то его неспособность в одиночку толкать экономику вперед, когда он безуспешно пытается инвестироваться, то его задержку с мобилизацией в подходящий момент для деятельности, которая предвосхищает будущее, как если бы он находился под знаком инерции и рутины. Промышленная революция в Англии в значительной степени рождалась на окраине крупного капитала, вдали от Лондона.

Я указывал уже на значение соотношения между национальным доходом и наличным запасом капитала[86]. Саймон Кузнец[87] полагает, что соотношение это устанавливалось на уровне от 7 к 1 до 3 к 1, т. е. что старинная экономика замораживала до семи нормальных лет труда, дабы гарантировать процесс своего производства, тогда как эта цифра будто бы уменьшается по мере того, как мы приближаемся к настоящему времени. Таким образом, капитал увеличивал бы свою эффективность, что более чем правдоподобно, разумеется, когда рассматривается единственный аспект — его экономическая эффективность.

Национальный доход — понятие на первый взгляд простое: разве же не заключается национальная отчетность в том, чтобы «уподобить экономику нации экономике огромного предприятия»[88]? Но простота эта дала в прошлом место многим «схоластическим» спорам и «словесным поединкам» между специалистами[89]. Время утишило эти споры, и дефиниции, какие предлагают нам сегодня (безусловно более ясные по видимости, нежели на самом деле), очень похожи одна на другую, изберем ли мы простую формулу Саймона Кузнеца (1941 г.): «чистая стоимость всех экономических благ, произведенных «нацией» за год»[90], или же более усложненную формулировку И. Бернара и Ж.-К. Колли: «совокупность, представляющая поток национальных ресурсов, благ и услуг, созданных за определенный период»[91]. Главное — отдавать себе отчет в том, что национальный доход, как говорит Клод Вимон[92], может рассматриваться под тремя углами зрения: *производства*, *доходов*, полученных частными лицами и государством, *затрат*. Пред нами окажется не одна, а по меньшей мере три совокупности, между которыми следует выбрать, и стоит только задуматься, как число подлежащих различению совокупностей увеличится

[84] По всей видимости, впервые употребил этот термин Уильям Петти: Petty W. *Political Arithmetick*. 1671—1677.
[85] Письмо Луи Жанжана (Jeanjean) от 9 января 1973 г.
[86] См. т. 2 настоящего труда.
[87] Kuznets S. *Croissance et structure économique*. 1972, p. 58.
[88] Attali J., Guillaume M. *L'Antiéconomique*. 1974, p. 32.
[89] Мысль эта принадлежит Ф. Перру, цитируемому К. Вимоном. См.: Romeuf J. *Dictionnaire des sciences économiques*. 1958, II, p. 984.
[90] *Ibid.*, p. 982.
[91] См.: Bernard Y., Colli J.-C. *Dictionnaire économique et financier*. 1975, p. 1014.
[92] Romeuf J. *Op. cit.*, p. 985.

в зависимости от того, будем ли мы отбрасывать массу налогов или нет, будем ли мы отбрасывать постоянный износ капитала в процессе производства или нет, будем ли мы производить расчеты в начале производства *(по факторным затратам)* или по рыночной цене (которая включает налоги)... Итак, я рекомендую историку, вступающему в этот лабиринт, обратиться к упрощающей дело статье Поля Бэроша [93], которая обучает тому, как перейти от одной совокупности к другой, уменьшая ее или увеличивая в зависимости от обстоятельств на 2, на 5 или на 10%.

[93] Bairoch P. *Estimations du revenu national dans les sociétés occidentales pré-industrielles et au XIX^e siècle.*— «*Revue économique*», mars 1977.

Следует запомнить три главных равенства: 1) валовой национальный продукт (ВНП) равен чистому национальному продукту (ЧНП) плюс налоги, плюс возмещение износа капитала; 2) ЧНП равен чистому национальному доходу (ЧНД); 3) ЧНД равен потреблению плюс сбережения.

У историка, вовлеченного в исследование такого порядка, есть по меньшей мере три пути: исходить либо из потребления, либо из дохода, либо из производства. Но будем благоразум-

«Средства к существованию», или валовой национальный продукт Соединенных Провинций в 17 картинах. Эстамп

В. Кока, 1794.
Собрание Фонда «Атлас ван Столк».
1. Ткачество.
2. Изготовление сливочного масла и сыров. 3. Лов сельди.
4. Китобойный промысел.
5. Торфяники.
6. Судостроение.
7. Амстердамская ратуша и общественные весы.
8. Лесная промышленность, лесопильни и бумажное производство.
9. Тексел. 10. Горные разработки.
11. Виноторговля.
12. Земледелие и торговля зерном.
13. Торговля табаком, сахаром и кофе. 14. Торговля чаем, пряностями и тканями.
15. Роттердамская биржа.
16. Торговая контора.
17. Амстердамская биржа.

ны: эти совокупности, которыми мы манипулируем без излишнего стеснения, сегодня известны примерно с десяти-, даже двадцатипроцентной погрешностью, а когда речь идет о старинных экономиках — самое малое с тридцатипроцентной. В силу этого невозможно никакое уточнение. Мы должны пользоваться грубыми изменениями и добавлениями. Впрочем, историки завели обыкновение, хорошее или дурное, говорить о ВНП, не отличая его от чистого продукта. Да и зачем? На *нашем* горизонте национальный доход или национальный продукт (валовой или чистый) сливаются. Для какой-то данной экономики в какую-то данную эпоху мы сможем найти только нижний уровень богатства, приблизительную цифру, которая, вполне очевидно, представляет интерес только в сопоставлении с величинами других экономик.

Национальный *доход на душу населения* — это отношение: в числителе ВНП, в знаменателе численность населения. Если производство растет быстрее, чем население, национальный доход на душу населения увеличивается, в противном случае — уменьшается; или же — это третий вариант — при неизменном отношении он стагнирует. Для желающего измерить экономический рост этот доход служит ключевым коэффициентом, тем, который определяет средний уровень жизни массы населения и изменения этого уровня. Довольно долго историки старались составить представление о нем через движение цен и реальной заработной платы либо еще через изменения в [наполнении] «корзины домохозяйки». Итог этим попыткам подводят диаграммы Ж. Фурастье, П. Грандами и В. Абеля (см. том 1 настоящей работы, с. 149—150) и диаграммы Ф. Брауна и Ш. Хопкинс (см. ниже, с.634). Они бросают свет если и не на точный уровень дохода на душу населения, то по крайней мере на направление его изменений. Давно уже полагали, что самая низкая заработная плата — заработок такого не имеющего себе равных при историческом исследовании «агента», каким является подручный каменщика (персонаж, довольно хорошо нам известный), — в общем следовала за колебаниями среднего жизненного уровня. Продемонстрировал это Поль Бэрош [94] в недавней статье, имеющей поистине революционизирующее значение. В самом деле, если заработная плата чернорабочего, *минимальная заработная плата (salaire-plancher)*, в общем нечто сходное с нашим SMIG *, нам точно известна (т. е. если мы знаем его вознаграждение за один или несколько рабочих дней, а именно так и обстоит дело в 99 случаях из ста), то, как указывает Поль Бэрош, в применении к европейскому XIX в., который он изучил *статистически*, достаточно умножить такую поденную заработную плату на *196*, чтобы получить величину национального дохода на душу населения. При структуралистском подходе это означает открытие корреляции, имеющей мощный объясняющий смысл. Такой неожиданный, вызывающий на первый взгляд недоверие коэффициент выведен не теоретически, но прагматически, на основе расчетов, проведенных на базе обильных статистических данных за прошлое столетие.

Этот коэффициент довольно хорошо установлен для европейского XIX в. Из экскурса в экономику Англии 1688 г.

[94] Bairoch P. *Op. cit.*
* SMIG (*Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti*) — минимальный уровень заработной платы, гарантированный Трудовым кодексом Французской Республики.— *Прим. перев.*

и 1770—1778 гг. Поль Бэрош[95] заключает, на сей раз немного поспешно, что в эпоху Грегори Кинга, в 1688 г., корреляция будто бы составляла примерно 160, а в 1770—1778 гг. находилась близко к 260. Отсюда он еще более поспешно выводит, что «совокупность просчитанных данных позволяет постулировать, что принятие среднего коэффициента порядка 200 должно дать приемлемый подход в рамках европейских обществ XVI, XVII и XVIII вв.». Я в этом не так уверен, как он, и из установленного им принял бы скорее, что вышеупомянутый коэффициент имел тенденцию к возрастанию, что означало бы при прочих равных к тому же, что доход на душу населения проявлял тенденцию к относительному увеличению.

В Венеции, где в 1534 г. рабочий Арсенала зарабатывал 22 сольдо в день (24 летом, 20 зимой)[96], предложенная величина корреляции (200) дала бы доход на душу населения 4400 сольдо, т. е. 35 дукатов, *четвертую часть* годовой заработной платы ремесленника цеха шерстяников (*Arte della Lana*) (148 дукатов). Конечно же, этот ремесленник шерстяного производства был в Венеции привилегированным, но тем не менее сама по себе цифра 35 дукатов кажется мне несколько заниженной. Если мы ее примем, то придем к ВНП Венеции в 7 млн. дукатов (на 200 тыс. жителей)[97]. Другие расчеты, результаты которых историки — специалисты по Венеции нашли слишком низкими, заставили меня со своей стороны оценить этот ВНП примерно в 7400 тыс. дукатов[98]. Тем не менее совпадение неплохое.

Другой пример: к 1525 г. дневной заработок чернорабочего в Орлеане составлял 2 су 9 денье[99]. Если применить ту же величину корреляции — 200 (на базе населения в 15 млн. человек), мы получили бы размер национального дохода, намного превосходящий тот, который принимает *за максимум* схема Ф. Спунера. Следовательно, соотношение 200 к 1, вероятно несколько заниженное для Венеции, определенно было слишком велико для Орлеана в это же время.

Последний пример. В 1707 г. Вобан в своем «Проекте королевской десятины» избрал в качестве средней «рабочей» заработной платы заработную плату ткача, который трудился в среднем 180 дней в году, получая примерно 12 су в день, т.е. имел доход в 108 ливров в год [100]. Рассчитанный на базе этого заработка доход на душу населения составил бы (12 су × 200) 2400 су, или 120 ливров. И в таком случае образ жизни рассматриваемого ткача, как и полагается, оказался бы немного ниже средней черты (108 против 120). Валовой же национальный продукт Франции, если исходить из 19 млн. жителей, составил бы около 2280 млн. ливров. А это ведь почти точно такой же результат, как тот, который исчислил Шарль Дюто на основе Вобановых оценок по секторам[101]. На сей раз, для 1707 г., соотношение 200 к 1, по-видимому, приемлемо.

Разумеется, потребовалось бы произвести сотни проверочных подсчетов, аналогичных предыдущим, чтобы почерпнуть в них, если это возможно, некую уверенность или почти уверенность. Поначалу такие действия, конечно, были бы легки. Мы располагаем бесчисленными данными. Так, Шарль Дюто, которого мы только что вспоминали, задается вопросом, увели-

[95] Bairoch P. *Op. cit.*, p. 193.
[96] A.d.S. Venezia, Senato Mar, 23, f° 36, 36 v°, 29 сентября 1534 г.
[97] То есть население Венеции плюс население Догадо.
[98] Исходя из массы годовой заработной платы рабочих шерстяного производства (20 тыс. человек, 5 тыс. работников, стало быть, 740 тыс. дукатов) и предположив население Венеции равным 200 тыс. человек.
[99] Mantellier P. *Op. cit.*, p. 388. О подсчетах Ф. Спунера см. ниже, с. 316—318.
[100] Vauban. *Projet d'une dixme royale.* 1707, p. 91—93.
[101] Dutot Ch. *Réflexions politiques sur les finances et le commerce.* 1738.

чивался или не увеличивался с течением лет *реальный* бюджет французской монархии[102]. В общем он пытается, как мы бы сказали, исчислить эти бюджеты *в текущих ценах*, в обращавшихся ливрах. Следовательно, ему надо сравнить цены в разные эпохи. Выбор таких цен забавен (другой вопрос — показательны ли они?): козленка, курицы, гусенка, теленка, свиньи, кролика... Посреди этих, характерных, на его взгляд, цен обращает на себя внимание поденная заработная плата «чернорабочего» (*manœuvre de bras*): в 1508 г. в Оверни — шесть денье, в Шампани в это же время — одно су... Потом отыскивается соответствие между этими ценами и ценами 1735 г. в правление Людовика XV: поденная плата чернорабочего поднялась тогда до 12 су летом и 6 су зимой. В таком случае куда бы нас привел коэффициент 200? По-видимому, он совсем не подходит для XVI в., исключая самые развитые страны.

Как бы то ни было, выступление Поля Бэроша вновь придает ценность бесчисленным изолированным друг от друга и до сего времени не принимавшимся в расчет цифрам заработной платы. Оно позволяет сравнивать. Оно также, если я не ошибаюсь, придает новое значение до сих пор не исчерпанному до конца вопросу о количестве рабочих и праздничных, нерабочих дней при Старом порядке и заставляет нас заново углубиться в неблагодарный лес истории оплаты наемного труда. Чем же была на самом деле заработная плата в XVIII в.? И не следует ли с самого начала сопоставлять ее не с жизнью индивида, а с расходной частью семейного бюджета? Это целая программа, которую предстоит выполнить.

ТРИ ДВУСМЫСЛЕННЫХ ПОНЯТИЯ

Мы определили средства, орудия. Следовало бы определить еще и понятия. Такой дискуссии придают смысл по крайней мере три слова: рост, развитие, прогресс. Первые два в нашем языке обнаруживают тенденцию к взаимозаменяемости, точно так же, как *growth* и *development*, *Wachstum* и *Entwicklung* (к тому же последний термин, который употреблял Й. Шумпетер[103], проявляет тенденцию к исчезновению); в итальянском языке есть практически только одно слово — *sviluppo*; два испанских слова, *crecimiento* и *desarollo*, почти что не различаются, разве что в языке экономистов Латинской Америки, которые, по словам Гулда, считают себя обязанными различать развитие, затрагивающее структуры (*desarollo*), и рост (*crecimiento*), имеющий в виду в первую очередь подъем дохода на душу населения[104]. В самом деле, чтобы без чрезмерного риска планировать быструю экономическую модернизацию, необходимо делать различие между двумя видами наблюдения, которые не всегда идут рука об руку: тем, которое затрагивает ВНП, и тем, которое касается дохода на душу населения. *В целом*, ежели я веду наблюдение за совокупностью ВНП, я проявляю внимание к «развитию»; если же я концентрирую внимание на ВНП на душу населения, я скорее следую по оси «роста».

[102] *Ibid.*, I, p. 366 sq.

[103] Gould J. D. *Economic Growth in History*. 1972, p. 4.

[104] *Ibid.*, p.5.

Значит, в современном мире имеются экономики, в которых два этих движения совпадают, как, скажем, на Западе, где ныне проявляется тенденция пользоваться только одним словом. И есть другие, где, напротив, движения различаются или даже противоборствуют. Что же до историка, то он оказывается перед еще более сложной ситуацией: перед его взором предстают случаи *роста*, но также и случаи *убыли*; примеры *развития* (XIII, XVI, XVIII вв.), но также и *стагнации* и *движения вспять* (XIV, XVII вв.). В Европе XIV в. наблюдались движение вспять, в сторону древних городских и социальных структур, временная приостановка развития структур докапиталистических. В то же время мы присутствуем при сбивающем с толку росте дохода на душу населения: никогда человек Запада не ел столько хлеба и мяса, сколько в XV в.[105]

Да к тому же эти противопоставления недостаточны. Так, в европейском соперничестве Португалия XVIII в. — где не было структурной новизны, но к выгоде которой расширялась эксплуатация Бразилии, — пользовалась доходом на душу населения, без сомнения превосходившим такой доход во Франции. И король Португальский был, вероятно, богатейшим государем Европы. Относительно такой Португалии вы не можете говорить ни о развитии, ни о движении вспять; не более чем о сегодняшнем Кувейте, имеющем, однако, самый высокий в мире доход на душу населения.

Следует сожалеть о почти полном забвении в этой дискуссии слова *прогресс*. Оно имело почти то же значение, что и развитие, и для нас, историков, было удобно различать прогресс *нейтральный* (т.е. без разрушения существующих структур) и прогресс *не-нейтральный*, натиск которого заставлял трещать те рамки, внутри которых он развивался[106]. Так что можно ли утверждать, не задерживаясь на тонкостях словарных, что развитие — это *не-нейтральный* прогресс? И обозначать как *нейтральный* прогресс тот приток богатства, какой приносит Кувейту нефть? Или Португалии Помбала — золото Бразилии?

[105] См.: т. 1 настоящей работы, с. 206—211.

[106] Van der Wee H. *Productivité, progrès technique et croissance économique du XII^e au XVIII^e siècle* (машинописный текст).— Неделя Прато, 1971 г.

ПОРЯДКИ ВЕЛИЧИН И КОРРЕЛЯЦИИ

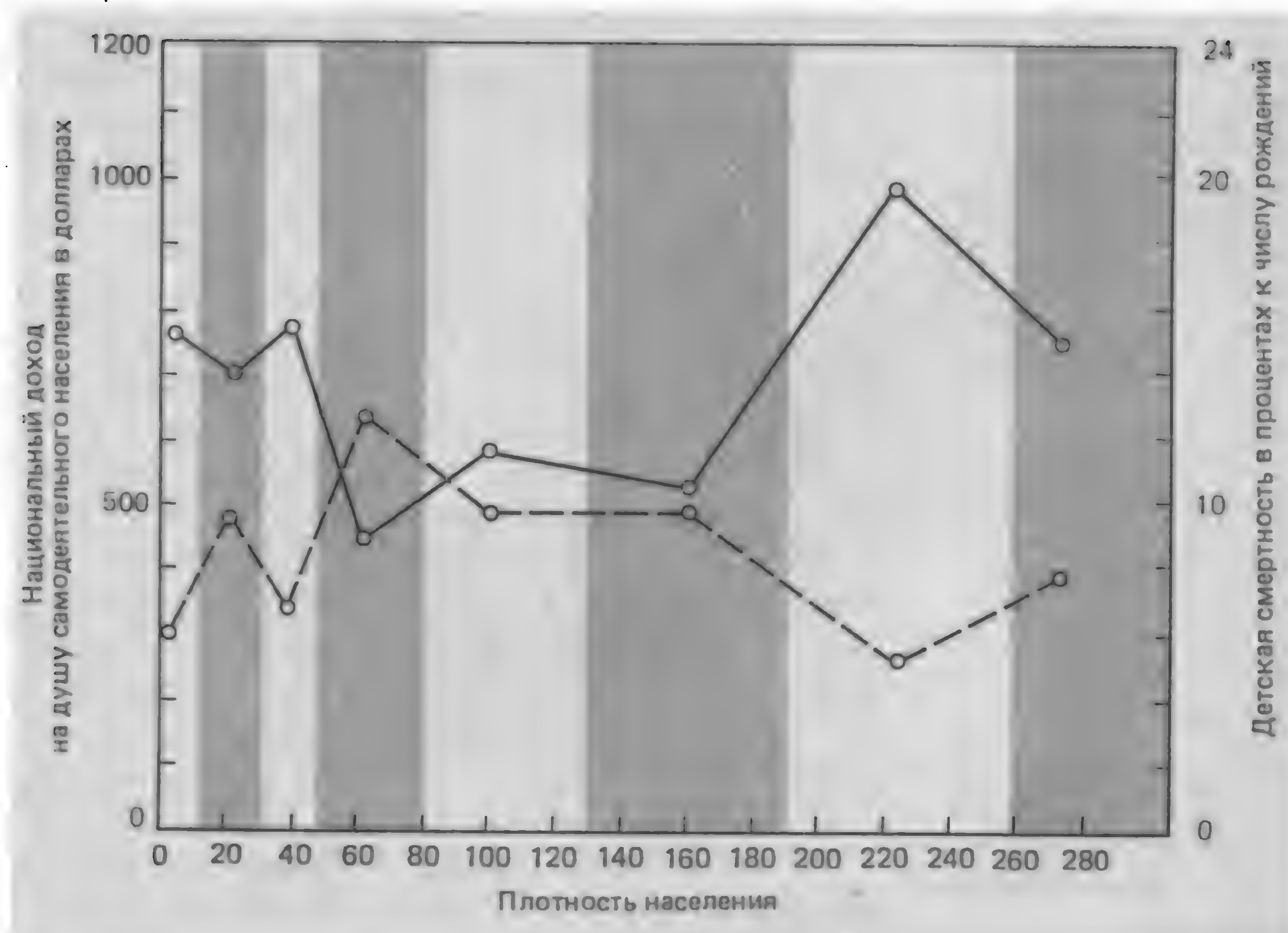
Как показал коллоквиум в Прато в 1976 г.[107], многие историки проявляют скепсис, если не враждебность, в отношении ретроспективных национальных отчетностей. В нашем распоряжении есть только ненадежные и плохо сгруппированные цифры. *Сегодня* компьютер оставил бы их в стороне, потому что располагает другими. К сожалению, не так обстоит дело в нашем случае. И все же, если в ретроспекции количества предстают не в виде серий, остается возможным искать корреляции между этими количествами и переходить от одной величины к другой, шаг за шагом реконструировать их совокупности и на их основании рассчитывать другие. Действовать так, как делал это Эрнст Вагеман в своей небольшой книге «*Цифра как детектив*»[108], такой любопытной, но, впрочем, мало читаемой. Естественно, что детектив — не цифра, а тот, кто ею оперирует.

[107] Посвященный теме «Государственные финансы и валовой национальный продукт, XIII—XIX вв.»

[108] Wagemann E. *Das Ziffer als Detective*. 2. Aufl., 1952.

В общем, коль скоро мы располагаем лишь порядками величин, цель заключается в том, чтобы сделать один из них опорой для других, дабы величины эти каким-то образом подтверждались и верифицировались все вместе. Разве же не было соотношений, почти не вызывавших споров? Так, цифры численности населения до XIX в. позволяют выделить в целом соотношение городского и сельского населения: с этой точки зрения Голландия в XVIII в. установила рекорд: 50% с одной стороны, 50% — с другой [109]. Для Англии в это же время удельный вес [населения] городов составлял, вне сомнения, 30% общей численности [110], во Франции — 15—17% [111]. Эти проценты сами по себе суть индикаторы целого.

Интересно было бы поразмыслить над плотностью населения — темой, которой уделяли мало внимания. Сетка, которую рассчитал для 1939 г. Эрнст Вагеман [112], не была действительной для всех периодов в силу самого факта своего существования, что бы ни думал по этому поводу ее создатель. Если все же я ее здесь воспроизвожу, то потому, что она содержит в себе вероятную истину, а именно ту, что существовали *пороги плотности*, открывавшие либо благоприятные, либо неблагоприятные периоды. Благоприятные или неблагоприятные демографические плотности оказывали давление на доиндустриальные экономики и общества, как они давят и на нынешние развивающиеся страны. Зрелость того или иного национального рынка или его возможная дезорганизация отчасти были бы их следствием. Следовательно, не всегда растущее население оказывало то прогрессивное и конструктивное воздействие, какое ему слишком часто приписывают. Вернее, оно рисковало оказывать такое воздействие лишь на протяжении какого-то времени, но все обращалось вспять после пересечения определенного поро-



«Пороги плотности» по Эрнсту Вагеману
Этот график (построенный Ф. Броделем — см.: *«Annales E.S.C.»*, 1960, p. 501,— по данным Э. Вагемана) различает уровни плотности населения, из которых одни будто бы были всегда благодетельными (белые столбцы), а другие пагубными (столбцы серые), каковы бы ни были рассматриваемые страны. Это сделано по данным статистики трех десятков стран за 1939 г. Использовались три цифры: плотность населения, доход на душу самодеятельного населения (черные кружки) и процент детской смертности (белые кружки). Переходя от пространства ко времени, Вагеман несколько поспешно заключил, что население какой-либо страны при возрастании будет попеременно переходить от благоприятного периода к периоду пагубному всякий раз, как оно пересечет один из «порогов» сетки.

[109] Vries J., de. *The Dutch Rural Economy in the Golden Age*, p. 95.
[110] Cp. Bairoch P. *Population urbaine et taille des villes en Europe de 1600 à 1700.*— «*Revue d'histoire économique et sociale*», 1976, № 3, p. 21.
[111] Reinhardt M. *La population des villes, sa mesure sous la Révolution et l'Empire.*— «*Population*», 1954, p. 287.
[112] Wagemann E. *Op. cit.*, I, 1952, S. 61 f.

га. Трудность заключена в том, что, по моему мнению, этот порог изменялся в зависимости от технологии рынка и производства, в зависимости от массы и природы обменов.

Было бы также полезно посмотреть, как распределялось между различными отраслями экономики самодеятельное население[113]. Такое распределение прослеживается для Соединенных Провинций к 1662 г.[114], в Англии — около 1688 г.[115], во Франции — около 1758 г.[116], в Дании — в 1783 г.[117]... В составе тех 43 млн. фунтов стерлингов, в которые Грегори Кинг оценивал национальный продукт Англии (1688 г.), сельское хозяйство представляло более 20 млн., промышленность — чуть меньше 10 млн., торговля — чуть больше 5 млн. Это не те пропорции, какие предлагала модель Кенэ[118] (сельское хозяйство — 5 млрд. турских ливров, промышленность и торговля — 2 млрд.): Франция Людовика XV была более погружена в свои сельские виды деятельности, нежели Англия. По оценке Вильгельма Абеля[119], данной им в опыте приближенного расчета в соответствии с моделью Кенэ, Германия XVI в., до опустошений Тридцатилетней войны, была гораздо более погружена в земледельческую деятельность, чем Франция XVIII в.

Соотношение между продуктом сельского хозяйства и продуктом промышленности (С/П) *повсеместно*, но медленно изменялось в пользу промышленности. В Англии последняя превзошла сельское хозяйство лишь в 1811—1821 гг.[120] Во Франции — не ранее 1885 г., немного раньше — в Германии (1865 г.)[121] и Соединенных Штатах (1869 г.)[122]. Основываясь на *не отличающемся достоверностью* подсчете, относящемся ко всему Средиземноморью XVI в.[123], я предложил равенство С = 5 П, соотношение, приемлемое, *может быть*, для всей Европы этого столетия. Если это так, то мы видим, какой путь предстояло пройти Европе.

Другая корреляция: соотношение между достоянием (национальным богатством) и национальным продуктом. Кейнс имел обыкновение считать запасы капитала в современном ему мире равными тройному или четвертному размеру национального дохода. В самом деле, соотношения 3 к 1 или 4 к 1 были установлены Голлмэном и Голдсмитом[124] для Соединенных Штатов XIX в.; для различных развивающихся стран нашего времени эти цифры варьируют от 5 к 1 до 3 к 1. По данным Саймона Кузнеца[125], для старинных экономик соотношение должно было бы варьировать тежду 3 к 1 и 7 к 1. На самом деле в этих целях трудно использовать оценки Грегори Кинга. Для него английское национальное богатство составляло будто бы к 1688 г. 650 млн. фунтов стерлингов, из которых на землю приходилось 234 млн., на рабочую силу — 330 млн., а остальное, т.е. 86 млн. фунтов, делилось между скотом (25 млн.), драгоценными металлами (28 млн.) и «разными» статьями (33 млн.). Если из общей суммы вычесть труд, мы получаем цифру в 320 млн. фунтов при национальном продукте в 43,4 млн. фунтов, т.е. соотношение примерно 7 к 1.

Элис Хенсон Джонс[126] воспользовалась этими вероятными коэффициентами, чтобы оценить доход на душу населения в некоторых американских «колониях» в 1774 г., после обследова-

[113] Распределение населения мира между первичным, вторичным и третичным секторами: в 1700 г. 81% самодеятельного населения был занят в первичном секторе (земледелие, лесоводство, рыболовство, лесные промыслы), а в 1970 г. — 54,5%. «*Annales E.S.C.*», 1971, p. 965.

[114] La Court P., de. *Mémoires de Jean de Witt*. 1709, p. 30—31.

[115] King G. *An Estimate of the Comparative Strength of Great Britain and France...*, 1696.

[116] Quesnay F. *Tableau oeconomique*. 1758.

[117] Информационное письмо К. Гламанна от 12 октября 1976 г. См. график на с. 301.

[118] *François Quesnay et la physiocratie*. 1958, I, p. 154 sq.

[119] Abel W. *Zur Entwicklung des Sozialprodukts...*, S. 489.

[120] Marszewski J. *Le produit physique de l'économie française. de 1789 à 1913.— Histoire quantitative de l'économie française. Cahiers de l'I. S. E. A.»*; № 163, juillet 1965, p. XIV.

[121] *Ibid.*

[122] *Ibid.*

[123] Braudel F. *Médit...*, 1966, I, p. 384 sq.

[124] Gallman R. E., Howle E. S. *The Structure of U. S. Wealth in the Nineteenth Century*.— Коллоквиум, проводившийся *Southern Economic Association*; Goldsmith R. W. *The Growth of Reproductive Wealth of the United States of America from 1805 to 1950.— «Income and Wealth of the United States: Trends and Structure»*, II, 1952.

[125] Kuznets S. *Op. cit.*, p. 58.

[126] Jones A. H. *La fortune privée de Pennsylvanie, New Jersey, Delaware (1774)*.— «*Annales E. S. C.*», 1969, p. 245.

ния, позволившего ей вычислить национальное богатство этих колоний. Она получила величину дохода на душу населения от 200 (при соотношении 1 к 5) до 335 долларов (при соотношении 1 к 3) и заключила, что США накануне своей независимости имели более высокий жизненный уровень, нежели европейские страны. Если это заключение правильно, то оно определенно не лишено значения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ВНП

В сфере государственных финансов, где цифровых данных много, корреляции можно обнаружить: они предоставляют первоначальные рамки для любой возможной реконструкции национальной отчетности.

Так, существует соотношение между государственным долгом (известно, какую роль ему предстояло сыграть в Англии XVIII в.) и ВНП [127]. Долг мог бы достигать двойной суммы национального дохода, не ставя под угрозу выплаты по требованию. В этом смысле крепкое здоровье английских финансов могло бы считаться доказанным, коль скоро даже при самых критических конъюнктурах, например в 1783 или в 1801 гг., государственный долг ни разу не превысил вдвое ВНП. Потолок так и не был пересечен.

Предположим, что это правило было бы правилом золотым. Тогда Франция не оказалась бы в угрожающем положении, когда 13 января 1561 г., в разгар всеобщей тревоги, канцлер Мишель де Л'Опиталь признал существование долга в 43 млн. ливров [128], т.е. вчетверо превышавшего бюджет государства, тогда как, с учетом вероятных пропорций, ВНП равнялся как минимум 200 млн. ливров. Точно так же никакой угрозы не было бы и для Австрии Марии-Терезии: после войны за Австрийское наследство (1748 г.) доход государства достигал 40 млн. флоринов, а его долг был значителен — 280 млн., но ВНП должен был быть в то время порядка 500—600 млн. флоринов. Если бы речь шла только о 200 млн., тяжесть долга была бы *в принципе* переносимой. Правда, Семилетняя война откроет первую пропасть для расходов, которая заставит Марию-Терезию отказаться от всякой воинственной политики. И ей даже удастся улучшить состояние своих финансов, сведя ставку процента по государственному долгу к 4% [129].

В действительности же затруднения, вызывавшиеся государственным долгом, зависели также — и в немалой степени — от управления финансами и от большего или меньшего доверия общественности. Во Франции в 1789 г. государственный долг не превышал возможностей нации (3 млрд. ливров долга, примерно 2 млрд. ливров ВНП); все было или должно было быть в порядке. Но Франция вела финансовую политику, не бывшую ни последовательной, ни эффективной. Ей далеко было до английской ловкости в данной области. И она оказалась перед финансовым кризисом, усиленным кризисом политическим, а не просто-напросто перед лицом кризиса бедности государства.

[127] Brochier H., Tabatoni P. *Économie financière*. 2e éd., 1963, p. 131.

[128] См. Mariéjol J. H. — в: Lavisse E. *Histoire de France*. 1911, VI, 1re partie, p. 37.

[129] Dickson P. G. M. *Fiscal Need and National Wealth in 18th Century Austria* (машинописный текст). — Неделя Прато, 1976 г.

ПРОЧИЕ СООТНОШЕНИЯ

Мы задержимся на тех, которые связывали денежную массу, национальное богатство, национальный доход и бюджет государства.

Грегори Кинг[130] оценивал массу драгоценных металлов, обращавшихся в его стране, в 28 млн. фунтов стерлингов при национальном богатстве в 320 млн. — т.е. 11,42%. Если мы примем *приблизительное* соотношение 1 к 10, то Франция Людовика XVI, располагая запасами монеты в 1—1,2 млрд. турских ливров (цифра, на мой взгляд, весьма заниженная), должна была бы иметь национальное богатство, составлявшее по меньшей мере 10—12 млрд. Можно было бы также сравнить денежные запасы Англии в 1688 г. с ее ВНП (а не только с ее национальным богатством), но сопоставления с денежным обращением не способны нас привести далеко. В самом деле, это обращение современники оценивали или прикидывали лишь время от времени: нам случается располагать одной цифрой на столетие, и то не всегда.

[130] King G. *Op. cit.*

Бюджет, напротив, обычно известен из года в год; с ним мы вновь обретаем ободряющее течение *серийных* документов. Отсюда и программа, избранная в 1976 г. для Недели Прато: «*Государственные финансы и валовой национальный продукт*». Если этот коллоквиум и не решил ничего, то он расчистил почву. *В доиндустриальных экономиках* частное от деления ВНП на сумму бюджета обычно колебалось бы между 10 и 20: 20 — это самый низкий коэффициент, 5% национального продукта (тем



Брейгель Младший (1564—1636). Уплата повинностей. *Гент, Музей изящных искусств. Фото Жиродона.*

лучше для налогоплательщика); 10 — самый высокий коэффициент (10%), вызывавший не просто обычные стенания. Вобан, которому принадлежала современная концепция налога («*Проект королевской десятины*» предлагал упразднить все существовавшие налоги, прямые и косвенные, и провинциальные таможни, а затем заменить их налогом «на все, что приносит доход, [от коего] ничто не ускользнет», когда всякий будет платить «в соответствии со своим доходом» [131]), полагал, что никогда не должно достигать уровня 10%. Он доказывал это, оценивая доходы французов сектор за сектором и подсчитывая то, что принес бы налог, который он предлагал изменять в зависимости от достатка облагаемых им социальных слоев. Он пришел к заключению, что 10% валового дохода превысили бы самый большой *военный* бюджет, который Франция знала до того, т.е. 160 млн. ливров.

Но в XVIII в. обстоятельства изменились. Воздействие налога, вычисленное для Англии и Франции начиная с 1715 г., было представлено в весьма яркой статье П. Матиаса и П. О'Брайена [132]. К сожалению, цифры, приводимые ими, не вполне сопоставимы с цифрами Вобана, потому что они относятся только к физическому продукту (сельскохозяйственному и «промышленному»), тогда как Вобановы цифры прибавляют к нему доходы с городской недвижимости, доходы с мельниц, все частные или государственные услуги (прислуга, королевская администрация, свободные профессии, транспорт, торговля...). Тем не менее интересно сравнить фискальные тяготы с физическим продуктом в Англии и Франции. Во Франции с 1715 по 1800 г. процент почти постоянно был выше 10 (11% в 1715 г., 17% в 1735 г., но 9 и 10% соответственно в 1770 и 1775 гг. и 10% в 1803 г.). В Англии груз налогов был исключительно высок: 17% в 1715 г., 18 — в 1750 г., 24% в 1800 г., в пору наполеоновских войн. В 1850 г. этот груз уменьшится до 10%.

Вполне очевидно, что степень фискального напряжения всегда была многозначительным индикатором, ибо она варьировала в зависимости от страны и от эпохи, хотя бы в связи с войнами. Нам предлагается методика: исходить, чтобы приблизительно очертить проблему и в качестве гипотезы, из обычной границы, лежащей между 10 и 5%: если объем поступлений Синьории Республики Св. Марка составил в 1588 г. 1 131 542 дуката [133], то венецианский национальный продукт должен был бы колебаться между 11 и 22 млн. дукатов. Если к 1779 г. царские доходы (когда русская экономика была еще экономикой Старого порядка) достигали 25—30 млн. рублей [134], то масса национального продукта должна была бы находиться между 125 и 300 млн.

«Вилка» огромна. Но коль скоро она единожды установлена, проверки путем сопоставления позволяют оценить наличие более или менее сильного фискального напряжения. В случае Венеции в конце XVI в., как и в случаях других городских экономик, фискальный пресс действительно превзошел обычные подвиги территориальных государств. Последние в то время в принципе находились рядом с нижним уровнем, равным 5%;

[131] Vauban. *Op. cit.*, p. 153.

[132] Mathias P., O'Brien P. *Taxation in Britain and France 1715—1810.* (Неделя Прато. 1976 г.) — *«The Journal of European Economic History»*, 1976. p. 608—609.

[133] Museo Correr, Fonds Donà delle Rose, 27.

[134] A. N., K 1352.

Венеция же, видимо, основательно вырвалась за 10-процентный потолок. В самом деле, подсчеты ее ВНП, которые я пытался произвести различными путями, исходя из заработной платы ремесленников шерстяного производства (*Arte della Lana*) и чернорабочих Арсенала[135], приводят к цифре, значительно меньшей, чем 11 млн. дукатов,—от 7 до 7,7 млн., т.е. показывают огромное для того времени фискальное бремя в 14—16%.

Было бы важно проверить, помимо случая с Венецией, располагались ли городские экономики на максимальном уровне фискального гнета—реальность, которую без явных доказательств провидел Люсьен Февр, говоря о городе Меце в самый год его присоединения к Франции (1552 г.)[136]. Достигли ли города-государства в XVI в. того опасного фискального предела, за которым экономика Старого порядка рисковала сама себя уничтожить? Существовало ли дополнительное объяснение расстройства экономик, которыми руководил город, включая и экономику Амстердама в XVIII в.?

Нынешние-то экономики оказываются способны вынести фантастическое увеличение государственных фискальных изъятий. И действительно, в 1974 г. такое изъятие представляло для Франции и ФРГ 38% ВНП, для Англии—36%, для США (в 1975 г.)—33, для Италии—32, для Японии—22% ВНП[137]. Такой рост фискального обложения—явление относительно недавнее, но он от года к году убыстряется вследствие роли государства как доброго гения, а также обращения к усиленному фискальному нажиму в качестве антиинфляционной меры, способной сократить потребление. Поскольку инфляция от этого продолжается не менее быстрыми темпами, инакомыслящие экономисты[138] в конце концов пришли к тому, что стали приписывать избытку фискального пресса немалую долю ответственности за нынешние кризис и инфляцию. Вырисовывается мысль, что превышен предел фискальной перегрузки, которая ставит под угрозу сверхразвитые экономики. Хотя теперешний предел находится на совершенно ином уровне, разве это не та же самая проблема, какую мы заметили столетиями раньше в более всего продвинувшихся вперед экономиках Запада?

Принять какую-то корреляцию между бюджетом и национальным продуктом означает придать бюджету значение индикатора, заметить, что слишком поспешно утверждать, как делали это большинство современников и даже столько историков, что достаточно так называемому всемогущему государству, если оно желало наполнить свою казну, затянуть на один дополнительный оборот фискальный пресс или же использовать окольный путь с косвенными налогами, этим великим ресурсом всех режимов, в особенности авторитарных. Неизменно твердят, что-де подталкиваемый нуждами начавшейся в 1635 г. «открытой» войны, Ришелье непомерно увеличил налоговые поступления: разве не удвоилась или не утроилась во Франции сумма налога с 1635 по 1642 г.? На самом деле налог не может вырасти по-настоящему и повлечь за собой долговременный

135 См. выше, прим. 98 и с. 306.

136 Febvre L. *Un chapitre d'histoire politique et diplomatique: la réunion de Metz à la France.*—*«Revue d'histoire moderne»*, 1928, p.111.

137 Bloch-Morhange J. *Manifeste pour 12 millions de contribuables.* 1977, p. 69. См. также новодящую на размышления статью двух журналистов—экономистов и историков: Warsh D., Minard L. *Inflation is now too serious a matter to leave to economists.*—*«Forbes»*, 15 november 1976, p. 123.

138 В Англии это Калдор (Kaldor), Дадли Джексон (Jackson D.), Г. Тернер (Turner H. A), Фрэнк Уилкинсон (Wilkinson F.); в Соединенных Штатах—Джон Хотсон (Hotson J.); во Франции—Ж. Блок-Моранж (Bloch-Morhange J.) и авторы цитировавшейся выше статьи Дэвид Уорш (Warsh D.) и Лоренс Майнард (Minard L.).

рост бюджета без того, чтобы не увеличился в то же самое время национальный продукт. Быть может, так обстояло дело в том начальном XVII в., и тогда надо было бы вслед за Рене Берелем пересмотреть обычные суждения об экономическом тонусе века Ришелье.

ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ К ВАЛОВОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОДУКТУ

Чтобы определить ВНП, можно начать с производства или с потребления. Джоан Робинсон определяет национальный доход как «сумму всех затрат, произведенных за год всеми семействами, составляющими нацию (плюс чистые инвестиционные затраты и превышение или дефицит экспорта)» [139]. В этих условиях, если мне известно среднегодовое потребление «агентов» данной экономики, я могу рассчитать ее глобальное потребление и, прибавив к итогу массу средств, сэкономленных на производстве — в общем, сбережения, — и положительное или отрицательное сальдо торгового баланса, получу приближенную величину ВНП.

Именно это попытался сделать одним из первых Эли Хекшер в своей экономической истории Швеции (1954 г.) [140]. Как раз этим же самым окольным путем Фрэнк Спунер получил на воспроизводимом нами на с. 317 графике кривую изменения французского ВНП между 1500 и 1750 гг., а Анджей Вычаньский исследовал национальный доход Польши в XVI в. [141] Вычаньский писал: «Даже неточные цифры [ретроспективной национальной отчетности] всегда более конкретны и более близки к исторической действительности, нежели расплывчатые словесные описания», какими до сего времени довольствовались историки. «Наша гипотеза, — поясняет он далее, — очень проста. Все население какой-либо страны должно есть, следовательно, стоимость питания соответствует большей части национального дохода, точнее — сельскохозяйственной продукции, стоимость которой увеличена на издержки переработки, транспорта и т.д. Другая часть национального дохода образовывается стоимостью труда того слоя населения, который не производит то, что потребляет». Значит, налицо три элемента: $П^1$ — потребление продуктов питания сельскохозяйственного населения; $П^2$ — потребление несельскохозяйственного населения; Т — труд этого несельскохозяйственного населения. Если пренебречь торговым балансом, то $ВНП = П^1 + П^2 + Т$, с тем преимуществом для очень упрощенного подсчета, что Т в общем равно $П^2$: в самом деле, лица наемного труда (прежде всего горожане) зарабатывают практически не более того, что им требуется для существования и воспроизводства самих себя.

Наконец, А. Вычаньский приходит к различению двух национальных доходов, городского и деревенского. Не будем задавать слишком много вопросов по поводу точного различия между пространствами городскими и пространствами сельскими, предположим даже, что проблема эта решена. Из этих двух доходов доход городов более всего способен прогрессировать,

[139] Robinson J. *L'Accumulation du capital*, p, 18.
[140] Heckscher E. F. *An Economic History of Sweden*. 1954, p. 61, 69, 70, 116.
[141] Wyczanski A. *Le revenu national en Pologne au XVIe siècle.— «Annales E. S. C.»*, 1971, №1, p. 105—113.

а если он прогрессирует, за ним следует и вся система. И следовательно, простое наблюдение за демографическим развитием городов просвещает нас относительно самого поступательного движения ВНП. К примеру, если я вслед за Жоржем Дюпё[142] располагаю более или менее непрерывным рядом [данных] об увеличении городского населения во Франции с 1811 по 1911 г. — поступательном движении со среднегодовым ритмом в 1,2%, — то эта кривая указывает, что ВНП Франции должен был расти в аналогичном ритме.

В этом нет ничего удивительного: города (все историки согласны в этом) были важнейшими орудиями накопления, двигателями роста, ответственными за любое прогрессивное разделение труда. Служа надстройкой европейского целого, они, быть может, как и любые структуры, были отчасти паразитическими системами[143], однако же необходимыми для всеобщего процесса роста. Именно они начиная с XV в. определяли громадное движение *протопромышленности* (*proto-industrie*), эту передачу, это возвращение городских ремесел в деревню, т.е. использование, даже реквизицию полупраздной рабочей силы некоторых сельских областей. Торговый капитализм, обходя ограничивавшие его преграды городского ремесла, создал, таким образом, в деревне новое поле промышленности, но зависимое от города. Итак, все начиналось с городов. Промышленная революция в Англии будет делом городов, прокладывавших путь: Бирмингема, Шеффилда, Лидса, Манчестера, Ливерпуля...

[142] Dupeux G. *L'urbanisation de la France au XIX^e siècle.— Colloque des historiens français de l'économie*, 1977.

[143] Wrigley E. A. *The Supply of Raw Materials in the Industrial Revolution.— «The Economic History Review»*, 1962, p. 110.

ПОДСЧЕТЫ ФРЭНКА СПУНЕРА

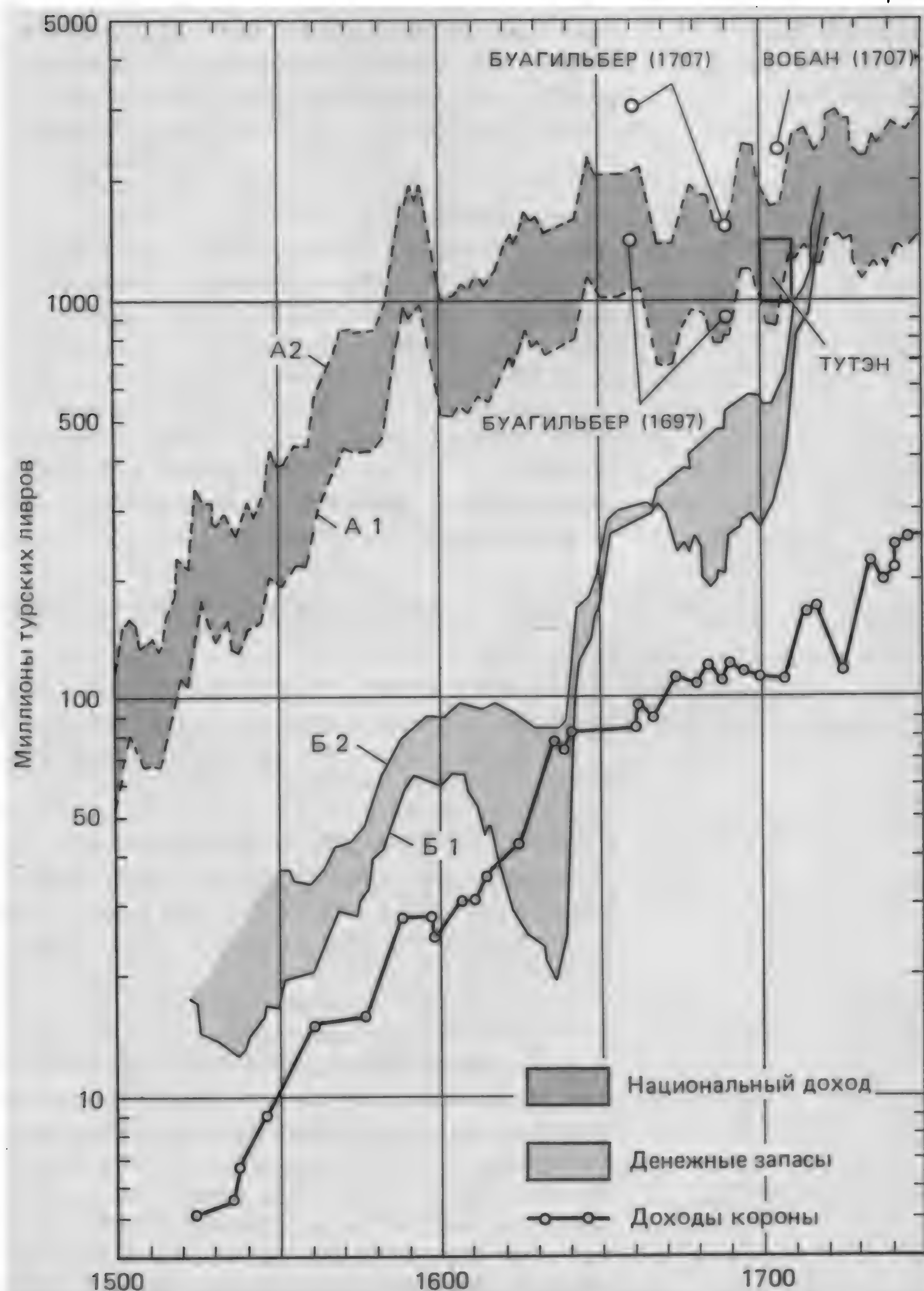
В английском издании своей классической, опубликованной сначала на французском языке книги *«Мировая экономика и чеканка монеты во Франции, 1493—1680 гг.»* (*«L'Économie mondiale et les frappes monétaires en France, 1493—1680»*, 1956)[144] Фрэнк Спунер предложил новую таблицу, представляющую исключительный интерес для французской истории, ибо там в графической форме присутствуют ВНП, королевский бюджет и находившаяся в обращении денежная масса. Непрерывной кривой линией показан только бюджет, относительно которого имеются обильные официальные цифровые данные; ВНП и денежная масса показаны каждый двумя кривыми, высокой и низкой, которые измеряют и сразу же делают видимой нашу неуверенность.

ВНП был подсчитан по среднему потреблению, выраженному в соответствии с ценами на хлеб (как если бы количество потребляемых калорий поставлял только этот предмет питания). Цены на хлеб и численность населения варьируют, однако кривая ВНП непрестанно движется вверх — и в этом-то и заключена главная, характерная черта.

Если этот график, как я полагаю, в высокой степени приемлем, то соотношение между бюджетом и ВНП намечается в общем как 1 к 20; это доказательство тому, что не наблюдалось фискальных излишеств, непереносимого напряжения

[144] Spooner F. C. *The International Economy and Monetary Movements in France 1493—1725*. 1972, p. 306.

в этой области. Что же до денежной массы, то она возрастает одновременно с бюджетом вплоть до 1600 г.; затем, с 1600 по 1640 г., она стагнирует или даже сокращается, тогда как бюджет продолжает свое восходящее движение. Но после 1640 г. кривая денежных запасов отделяется от двух остальных, становится отклоняющейся от нормы. Она выплескивается по вертикали, стремительно карабкаясь вверх. Все происходит так, как если бы Франция, расположенная в сердце Европы, оказалась наводнена монетой и драгоценными металлами. Следует ли объяснять это возобновлением активности американских рудников начиная с 1680 г. (но «взлет» монеты начался во Франции



Национальный доход, денежная масса и бюджет во Франции в 1500—1750 гг. График заимствован у Ф. Спунера (Spooner F.C. *The International Economy and Monetary Movements in France, 1493—1725.* 1972, p. 306). Пояснения к графику см. в тексте на соседней странице.

в 1640 г.)? А также возобновлением нашей активности на море? Вероятно, приключения кораблей из Сен-Мало на берегах Тихого океана сыграли свою роль (но гораздо позднее): разве не говорили, что они выбросили во Францию более чем на 100 млн. ливров серебра? Во всяком случае, Франция надолго сделалась собирательницей драгоценных металлов, притом что масса эта не оказывала влияния ни на бюджет, ни на ВНП. Ситуация странная, тем более что Франции, постоянно снабжавшейся за счет превышения своего торгового баланса с Испанией, приходилось еще покрывать определенное число дефицитов в других направлениях, по меньшей мере в своей левантинской торговле, а сверх того — вывозить свою монету в Европу при посредстве фирм Самюэля Бернара, Антуана Кроза и женевцев из-за войн Людовика XIV и из-за того, что король вынужден был содержать многочисленные войска за пределами Франции. Однако же Франция накапливала, она тезаврировала; такое вот случайное замечание Буагильбера, относящееся к 1697 г., заставит нас призадуматься: «...хоть Франция, как никогда, изобилует деньгами»[145]. Или же относящееся к концу царствования Людовика XIV замечание купцов по поводу сравнительной незначительности суммы 800 млн. в кредитных билетах (быстро обесценивавшихся) по отношению к массе серебра, которая обращалась или осторожно пряталась в королевстве. Во всяком случае, рост запасов монеты объясняется не системой Лоу, я бы сказал наоборот: что этот рост объясняет систему, что он сделал ее возможной. К тому же процесс продолжался в XVIII в. и утвердился как любопытная структура во французской экономике. И в конечном счете вопрос остается без настоящего ответа.

[145] Boisguilbert P., de. *Op. cit.*, II, p. 587.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Взгляд через глобальные величины подчеркивает во всей истории Европы очевидные преемственности.

Первая — это постоянный, «наперекор стихиям», рост любого валового национального продукта. Взгляните на кривую движения ВНП Англии в XVIII и XIX вв. А если прав Фрэнк Спунер, то ВНП Франции находился на подъеме со времени Людовика XII, да несомненно, и раньше, и его рост, очевидный вплоть до 1750 г., продолжался после правления Людовика XV и до самого нашего времени. Колебания (ибо колебания имелись) были краткосрочными, едва заметными волнами на поднимавшемся долгосрочном приливе. Короче, эти кривые не похожи на знакомые нам кривые конъюнктуры, в том числе и кривую вековой тенденции (*trend*). Даже насильственные перерывы, вызванные двумя последними мировыми войнами, будут в целом лишь перерывами, сколь бы драматичны они ни были. Войны же былых времен было еще легче компенсировать. К тому же любое общество, зачастую разоренное по собственной вине, великолепно восстанавливалось: на протяжении своей истории Франция не переставала себя воссоздавать, и с этой точки зрения она отнюдь не была исключением.

Другая преемственность: подъем государства, измеряемый увеличением изымаемой им доли национального дохода. Это было фактом: бюджеты возрастали, государства увеличивались; они пожирали все. Важно констатировать это в свете наших национальных отчетностей, даже если это означает вернуться к традиционным утверждениям, к декларациям принципов, столь часто высказываемым историками немецких языка и культуры. Вернер Неф[146] писал не колеблясь: «Речь должна идти в первую очередь о государстве» («*Vom Staat soll an erster Stelle die Rede sein*»), о «гигантском предприятии,—писал Вернер Зомбарт[147],—управляющие которого будут иметь главной целью приобретательство, т.е. добывание для себя максимально возможного количества золота и серебра». Итак, следует отдать справедливость государству: глобальная экономика обязывает нас поставить его на его место, огромное место. Как говорит Жан Бувье, «государство никогда не бывает малозначащим»[148].

[146] Näf W. *Staat und Staatsgedanke*. 1935, S. 62.
[147] Sombart W. *Le Bourgeois*. 1911, p. 106.
[148] В статье, которая выйдет в «Анналах».

Во всяком случае, оно не было таким начиная со второй половины XV в. и с возвращения к хорошим временам экономики. Не был ли подъем государства, рассматриваемый в рамках длительной временной протяженности, в некотором роде всей историей Европы? Оно исчезло с падением Рима в V в., оно восстановилось с промышленной революцией XI—XIII вв., вновь пришло в расстройство сразу же после катастрофической Черной смерти и баснословного спада середины XIV в. Я признаюсь, меня зачаровывает, устрашает этот распад, это падение в глубины ночи, самая великая драма, какую знала история Европы. Конечно, в прошлом огромного мира не было недостатка в катастрофах более трагичных: таких, как монгольские нашествия в Азии, исчезновение большей части индейского населения Америки после прибытия белых людей. Но нигде бедствие подобного размаха не предопределяло такого восстановления, такого непрерывного поступательного движения начиная с середины XV в., движения, которое завершилось в конечном счете промышленной революцией и экономикой современного государства.

ФРАНЦИЯ—ЖЕРТВА СВОЕГО ОГРОМНОГО ПРОСТРАНСТВА

Не приходится спорить, что в политическом смысле Франция была первой современной нацией, появившейся в Европе и получившей завершение с гигантским последним штрихом революции 1789 г.[149] Тем не менее к этой поздней дате она в своей экономической инфраструктуре была далека от того, чтобы быть законченным национальным рынком. Конечно, можно было говорить, что Людовик XI был уже меркантилистом, «кольберистом»[150] до Кольбера, государем, заботившимся о своем королевстве как об экономическом целом. Но что могла поделать его политическая воля с разноликостью

[149] Adam P. *Op. cit.*, p. 43.
[150] Gandilhon R. *Politique économique de Louis XI*. 1941. p. 322.

и архаизмом экономической Франции его времени? Архаизмом, которому предстояло просуществовать долго.

Французская экономика — раздробленная, регионализованная — составляла сумму отдельных жизней, которые стремились замкнуться в себе. Великие потоки, которые через нее проходили (можно было бы сказать, почти что «пролетали» над ней), действовали только к выгоде отдельных городов и регионов, выполнявших роль перевалочных пунктов, пунктов отправления или прибытия. Наподобие прочих «наций» Европы Франция Людовика XIV и Людовика XV была еще главным образом сельскохозяйственной; промышленность, торговля, финансы, по существу, не могли трансформироваться за один день. Прогресс рисовался здесь в виде пятен и почти не был видим до подъема второй половины XVIII в. «Франции широких горизонтов [т.е. открытой миру], бывшей незначительным меньшинством, противостояла Франция замкнутой жизни, бывшей подавляющим большинством, которая охватывала все деревни, добрую часть местечек и даже городов», — писал Эрнест Лабрус[151].

[151] Braudel F., Labrousse E. *Histoire économique et sociale de la France.* II, 1970, p. 166—167.

Возникновение национального рынка было движением против вездесущей инерции, движением, порождавшим в долговременном плане обмены и связи. Но во французском случае не была ли главной причиной инерции сама огромность территории? Соединенные Провинции и Англия — первые крохотные, а вторая скромных размеров — были более энергичными, легче поддавались объединению. Расстояние не действовало против них в такой степени.

РАЗНОЛИКОСТЬ И ЕДИНСТВО

Франция была мозаикой по-разному окрашенных небольших краев, каждый из которых жил прежде всего сам по себе, в ограниченном пространстве. Мало затронутые внешней жизнью, края эти говорили в экономическом смысле на одном языке: то, что было действительно для одного, с необходимыми поправками оказывалось действительным и для другого, соседнего или отдаленного. Знать один из них значило представлять себе все.

В Бонвиле, главном городе Фосиньи, в той Савойе, которая еще не стала французской, книга расходов небольшого местного монастыря лазаристов, осторожного до скаредности[152], рассказывает об этом на свой лад. В XVIII в. в этом затерянном уголке жили только на самообеспечении, за счет кое-каких закупок на местном рынке, но главным образом — за счет вина и пшеницы, которые поставляли крестьяне-арендаторы. Пшеница, переданная булочнику, заранее оплачивала повседневный хлеб. Мясо, наоборот, покупали у мясника за наличные деньги. Деревенские ремесленники и чернорабочие, которых оплачивали поденно, были тут как тут для перевозки досок, дров или навоза; крестьянка приходила забивать свинью, которую выращивали добрые отцы; сапожник поставлял башмаки для них или для их единственного прислужника; монастырскую лошадь

[152] Этот документ находится в личной собственности Поля Гишонне. Его фотокопия хранится в Доме наук о человеке в Париже.

ковали в Клюзе у знакомого кузнеца; каменщик, плотник, столяр готовы были являться в монастырь для поденной работы. Таким образом, все происходило на небольшом расстоянии, горизонт кончался в Таненже, Салланше, в Ла-Рош-сюр-Форон. Однако же, поскольку не наблюдалось совершенной автаркии, круг бонвильских лазаристов был открыт в направлении одного или двух пунктов его тесной окружности. Время от времени специальному гонцу (по крайней мере если это не был курьер герцогской почты) поручалось сделать в Аннеси или чаще в Женеве покупки, выходившие за обычные рамки: лекарства, пряности, сахар... Но в конце XVIII в. сахар окажется (то была маленькая революция!) и в бонвильской бакалейной лавке.

В целом это был простой язык, который можно было бы услышать во многих других небольших регионах, при условии, что с ними познакомишься поближе. Скажем, Осуа, богатая пахотными землями и пастбищами, призвана была жить на самообеспечении, тем более что через Семюр, ее главный город, «ездят не слишком много» и он находится «в удалении от судоходных рек»[153]. Тем не менее у области имелись некоторые связи с соседними краями Осер и Аваллон[154]. Такие регионы, как внутренняя Бретань или Центральный массив, были почти что самодостаточными. Точно так же, как и край Барруа, хотя он поддерживал отношения с Шампанью и Лотарингией и даже экспортировал свое вино по Маасу до самых Нидерландов.

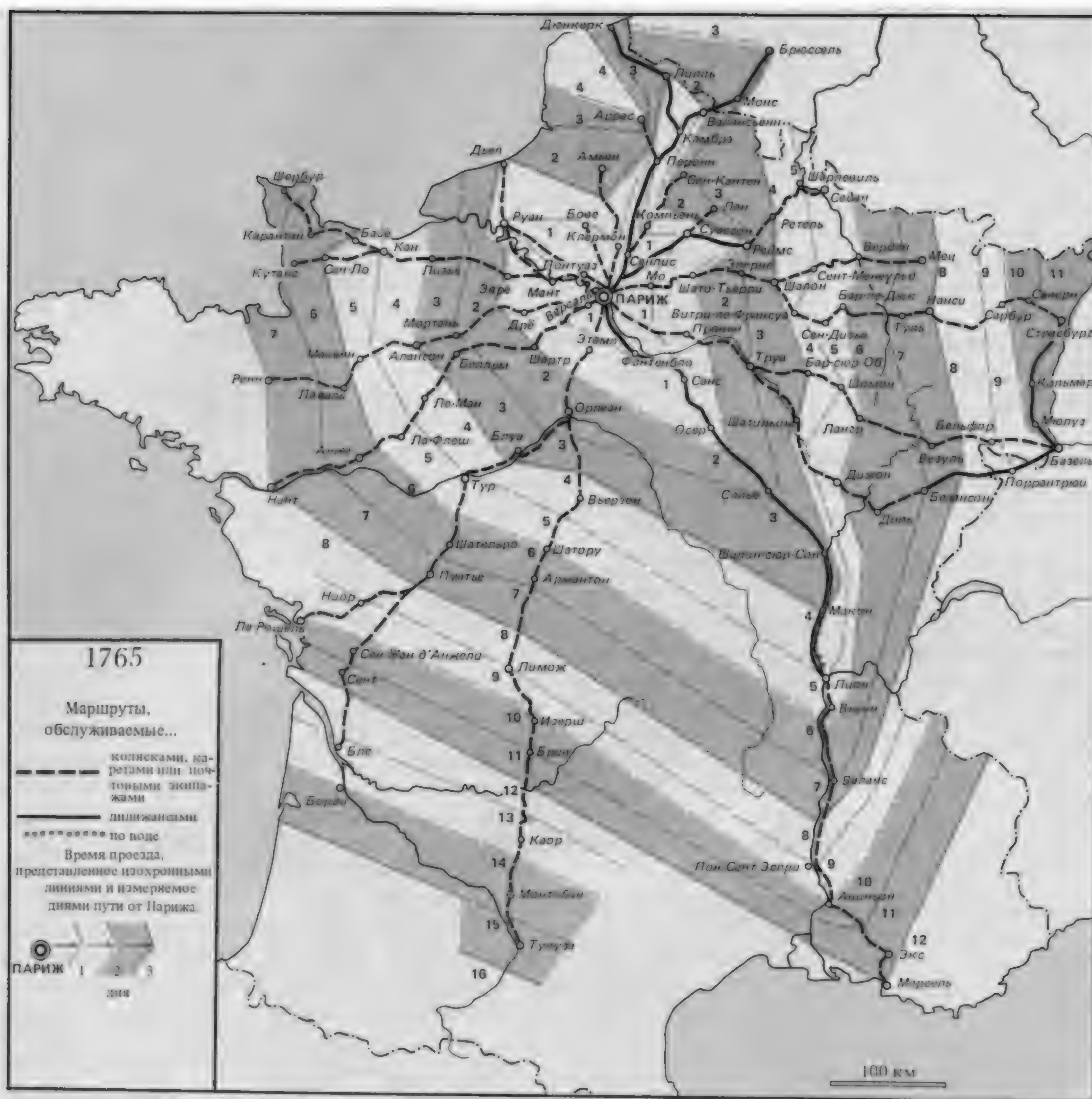
[153] B. N., Ms. fr. 21773, f^os 133 sq.

[154] Robin R. *La Société française en 1789: Semur-en-Auxois.* 1970. p. 101—109.

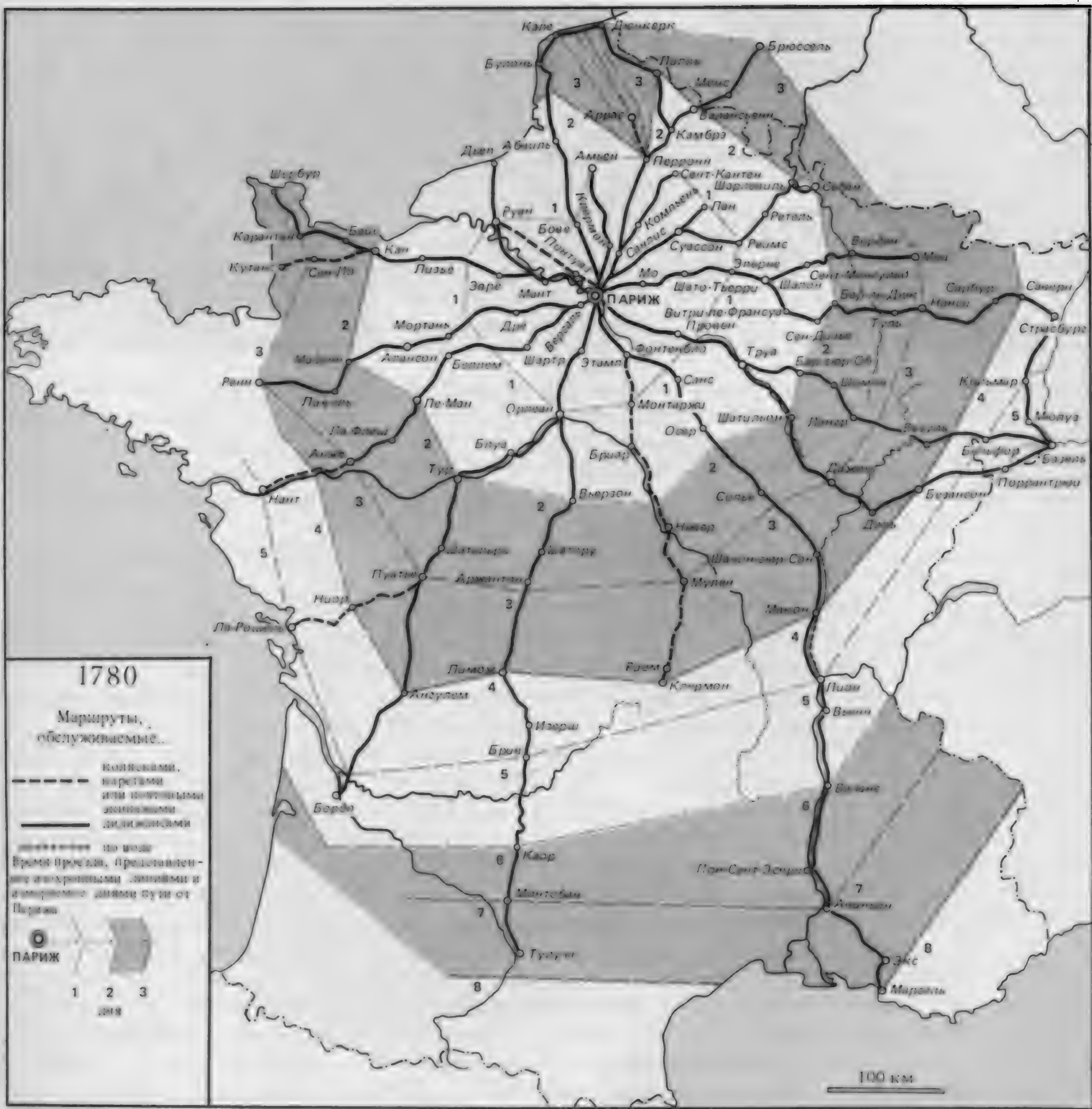
[155] B. N., Ms. fr. 21773, f^os 133 sq.

Если же обратиться к региону или к городу, расположенному на путях торгового оборота, картина меняется. Торговые перевозки следуют через него во всех направлениях. Таков был случай Вердена-сюр-ле-Ду, маленького бургундского городка, расположенного на берегу реки Ду и очень близко от Соны — двух водных путей, которые сливаются, направляясь к югу. «Торговля здесь велика, — сообщал один отчет, относящийся к 1698 г., — по причине выгодного месторасположения... Здесь ведут крупную торговлю зерном, вином и сеном. Каждый год 28 октября происходит вольная ярмарка, начинается она за неделю до праздника св. Симона и св. Иуды и продолжается еще неделю после него; там некогда продавали весьма большое число лошадей»[155]. «Зоной рассеивания» вокруг Вердена были одновременно Эльзас, Франш-Конте, Лионнэ и «края ниже ее». Малый город на скрещении нескольких потоков обмена априори был открыт для перемен, предназначен для них. Там испытывали соблазн к предпринимательству; там можно было сделать выбор между несколькими путями.

Такой же прорыв наблюдался и в [крае] Маконнэ, жителям которого, однако, недоставало инициативы. Но их вина экспортировались повсюду почти что сами собой. Остальное, конечно, было второстепенным — пшеница, откорм крупного рогатого скота, торговля полотном или кожевенные заводы. Но хватило бы и вывоза вин и добавившегося к нему производства бочек. «Хотя бочарный лес почти весь доставляется из Бургундии по реке Соне, имеется немалое число бочаров, целый год занятых сей весьма необходимой работой, понеже в Маконнэ, где бочку продают вместе с вином, их ежегодно



Огромное пространство Франции: трудности национального рынка
Эти две карты Арбелло (Arbellot G.) (см.: *«Annales E.S. C.»,* 1973, p. 790, вклейка) показывают «великий дорожный сдвиг», который за счет новых дорог, обустроенных для экипажей, мчащихся во весь дух, сделавшегося всеобщим использования карет-«тюрготин» и увеличения числа почтовых станций сократил в период 1765—1780 гг., иной раз вдвое, расстояния по всей Франции. В 1765 г. требовалось самое малое три недели, чтобы добраться из Лилля до Пиренеев или из Страсбурга в Бретань. Даже в 1780 г. Франция предстает как компактное пространство, пересечь которое можно лишь медленно. Но прогресс дорог обнаруживал тенденцию к охвату всего королевства. В самом деле, на первой карте можно различить несколько «привилегированных» направлений: Париж — Руан или Париж — Перонн (дорога занимала день, т.е. столько же, сколько из Парижа в Мелён); Париж — Лион (5 дней, т.е. столько же, сколько из Парижа в Шарлевиль, или в Кан, или в Витри-ле-Франсуа). На второй карте расстояния и продолжительность поездок в основном совпадают (отсюда — почти концентрические круги вокруг Парижа). Продолжительность поездок по старинным привилегированным дорогам в направлении на Лион и Руан оставалась такой же. Решающим для такого сдвига обстоятельством было создание Тюрго в 1775 г. Государственной службы почтово-пассажирских перевозок.


1780
Маршруты,
обслуживаемые..
ПАРИЖ
1 2 3
100 км
Кале
Дюнкерк
Брюссель
Булонь
Аррас
Камбрэ
Абвиль
Дьеп
Амьен
Перронн
Сент-Кантен
Лан
Реймс
Ретель
Суассон
Компьень
Санлис
Клермон
Бове
Понтуаз
Руан
Шербур
Карантан
Кан
Кутанс
Сен-Ло
Лизье
Эвре
Мант
Мо
Шато-Тьерри
Эперне
Шалон
Витри-ле-Франсуа
Провен
Мортань
Алансон
Беллем
Дре
Версаль
Шартр
Этамп
Фонтенбло
Санс
Труа
Ренн
Ле-Ман
Орлеан
Монтаржи
Тур
Блуа
Нант
Бриар
Вьерзон
Невер
Сольё
Осер
Шатильон
Дижон
Доль
Безансон
Кольмар
Страсбург
Саверн
Нанси
Мец
Базель
Порррантрюи
Ниор
Ла-Рошель
Пуатье
Шатору
Мулен
Клермон
Лимож
Ангулем
Изерш
Брив
Бордо
Каор
Монтобан
Тулуза
Лион
Вьенн
Валанс
Пон-Сент-Эспри
Авиньон
Экс
Марсель



Город Море на реке Луэн (в 75 км от Парижа) в 1610 г. *Национальная библиотека.*

требуется много». Цены на бочки даже выросли после того, как провансальцы «приобрели оных... большое число, коими они воспользовались, дабы сохранить свои большие бочки, каковые более тяжелы и сделаны из более толстого леса, и дабы облегчить доставку вин, кои они возят в Париж, и уменьшить расходы на нее»[156].

Таким образом, Францию пересекали пути обменов на короткие, средние и дальние расстояния. Города вроде Дижона или Ренна были в XVII в., как утверждал это Анри Се[157], «почти исключительно местными рынками». Слова «почти» достаточно, чтобы указать, что там заканчивались также и торговые перевозки на дальние расстояния, какими бы скромными они ни казались. И этим перевозкам предстояло расти.

Связи на далекие расстояния, которые историку легче обнаружить, нежели бесчисленные локальные обмены, относились в первую очередь к необходимым товарам, которые в некотором роде сами по себе организовывали свои путешествия: соли, зерну — особенно к последнему, с неизбежной, порой драматической компенсацией от провинции к провинции. По стоимости и тоннажу зерно составляло «важнейшую торговлю королевства». В середине XVI в. снабжение [им] одного только города Лиона стоило в полтора раза дороже, чем вся стоимость генуэзских бархатов, предназначавшихся для всего французского рынка; а ведь речь идет отнюдь не о ткани, «всего более распространенной среди шелковых»[158]. А что же сказать о вине — путешественнике, как бы одаренном крыльями в своем упорном продвижении в страны Северной Европы? О текстиле всех видов и из всякого материала, который образовал по всей Франции своего рода речные потоки, постоянные, поскольку они почти что не подчинялись сезонному ритму? Наконец, об экзотических пищевых товарах — пряностях, перце, а вскоре затем кофе, сахаре, табаке, неслыханная мода на которые обогащала государство и Ост-Индскую компанию? Разве не существовала рядом с речными судами, рядом с вездесущими транспортными перевозками оживлявшая торговлю почта, которую создало государство, чтобы посылать свои приказы и своих агентов? Люди перемещались еще легче, чем товары, важные особы мчались почтой, беднота пешком проделывала фантастические странствия по Франции.

Так что разнородность французской территории, «ощетини-

[156] *Ibid.*
[157] Sée H. *Histoire économique de la France.* 1939, p. 232.
[158] См. Gascon R.— в: Braudel F., Labrousse E. *Op. cit.*, I, p. 256.

[159] Cardinal F. Mathieu. *L'Ancien Régime en Lorraine et en Barrois.* 1970, p. XIII.
[160] Baehrel R. *Une Croissance: la Basse-Provence rurale (fin du XVI^e siècle — 1789).* 1961, passim (в частности, с. 77).

вавшейся исключениями, привилегиями, ограничениями»[159], без конца нарушалась. В XVIII в. мы окажемся даже, с ростом обменов, перед энергичным сломом барьеров между провинциями[160]. Франция Буагильбера с изолированными провинциями исчезла, а так как почти все регионы были затронуты половодьем обменов, все они стремились специализироваться на определенных видах деятельности, которые были для них прибыльными, — доказательство того, что национальный рынок начинал играть свою роль распределителя задач.

СВЯЗИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ

Впрочем, разве не обеспечивалось такое обращение, в долговременной перспективе объединительное, «пособничеством» самой территории, ее географии? За исключением Центрального массива, полюса отталкивания, Франция располагала очевидными удобствами для своих дорог, своих путей, своих обменов. У нее были ее побережья и ее каботаж; если последний и был недостаточен, он тем не менее существовал, и если даже каботажными перевозками в широком масштабе занялись иностранцы, как долгое время делали это голландцы[161], то все же пробел был заполнен. Что касается речных вод, малых рек и каналов, то Франция, не будучи ими обеспечена в такой же степени, как Англия или Соединенные Провинции, располагала все же большими возможностями: Рона и Сона протекают по самой оси «французского перешейка», это прямая дорога с севера на юг. Ценность Роны, пояснял в 1681 г. один путешественник, состоит в том, что она «есть великое удобство для тех, кто желает отправиться в Италию через Марсель. Именно по ней я поехал. Я сел на судно в Лионе и на третий день прибыл в Авиньон... На следующий день отправился я в Арль»[162]. Что могло быть лучше?

[161] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts des nations de L'Europe...*, I, p. 224.
[162] Huguetan J. *Voyage d'Italie curieux et nouveau.* 1681, p. 5.
[163] A. N., 129, A. P., 1.
[164] A. N., 125, A. P., 16 (1687).

Хвалы заслуживали бы все речки Франции. Как только водный поток это позволял, суда приспосабливались к его возможностям, в крайнем случае то были плоты леса или молевой сплав. Вне сомнения, повсюду во Франции, как и в других странах, имелись мельницы с их запрудами; но в конце концов в случае нужды запруды эти открывались и судно спускалось вниз по течению силой освобожденной воды. Так делалось на Маасе, реке неглубокой: между Сен-Мийелем и Верденом три мельницы пропускали суда за умеренное вознаграждение[163]. Эта небольшая деталь попутно показывает, что в конце XVII в. Маас оставался путем, использовавшимся довольно далеко вверх по течению, а также вниз по течению — в сторону Нидерландов. Кстати, именно перевозкам по нему Шарлевиль и Мезьер были довольно долго обязаны тем, что служили перевалочными пунктами для каменного угля, меди, квасцов и железа, прибывавших с Севера[164].

Но все это несравнимо с интенсивным использованием речным транспортом крупных водных потоков: Роны, Соны, Гаронны и Дордони, Сены (с ее притоками) и Луары — первой из рек Франции, невзирая на ее частые паводки, ее песчаные мели

и на располагавшиеся вдоль нее путевые таможни. Она играла важнейшую роль благодаря изобретательности своих перевозчиков и своим караванам судов, которые при движении вверх по течению пользовались большими квадратными парусами или, если ветра бывало недостаточно, шли бечевой. Луара соединяла юг и север, запад и восток королевства: Роаннский волок около Лиона связывал ее с Роной, двумя каналами — Орлеанским и Бриарским — она сообщалась с Сеной и Парижем. В глазах современников перевозки [по Луаре] были огромными — и вверх и вниз по течению [165]. Однако Орлеан, которому следовало бы быть центром Франции, оставался, несмотря на его роль перераспределяющего центра и на его промышленность, городом второстепенным. Произошло это, несомненно, из-за конкуренции близкого Парижа, к услугам которого Сена и ее притоки — Йонна, Марна, Уаза — предоставляли значительную массу выгод от речных перевозок и колоссальные удобства при снабжении.

Франция — это также обширная сеть сухопутных дорог, которые монархия сенсационным образом разовьет в XVIII в. и которые часто изменяли основы экономической жизни края, по которому они проходили: новая дорога не обязательно следовала трассе старой. Конечно, все эти дороги не были чрезмерно оживленными. Артур Юнг характеризовал великолепное шоссе, ведущее из Парижа в Орлеан, как «пустыню в сравнении с дорогами, что пла оо.На расстоянии десяти миль мы не встретили ни дорожной кареты, ни дилижанса, а всего только двух гонцов и очень мало почтовых карет: едва ли десятую долю того, что мы бы встретили, выезжая из Лондона в такое же время» [166]. Правда, у Лондона были все функции Парижа плюс функции перераспределяющего центра для всего королевства плюс функция крупного морского порта. С другой стороны, Лондонский бассейн, менее обширный, чем Парижский бассейн, был более плотно населен. Это именно то замечание, которое позднее настойчиво станет выдвигать барон Дюпен в своих классических трудах об Англии. Впрочем, другие очевидцы были менее критичны, чем ученейший Артур Юнг. В 1783 г., за четыре года до нашего англичанина, на испанского путешественника Антонио Понса движение по дороге, соединявшей Париж с Орлеаном и Бордо, произвело немалое впечатление: «Повозки, что перевозят товары, сооружения ужасающие: очень длинные, соответственно широкие, а главное — прочные, изготовление коих обходится на вес золота, влекомые шестью, восемью, десятью, а то и большим числом лошадей в зависимости от их веса. Ежели бы дороги не были такими, каковы они суть, я не знаю, что сталось бы с таким движением, каковы бы ни были предприимчивость и активность людей сей страны». Правда, в отличие от Артура Юнга эти личные впечатления сопоставляются не с Англией, а с Испанией, что позволило Понсу лучше англичанина понять размах этих дорожных новшеств [167]. «Франция, — писал он, — нуждается в дорогах более чем какая-либо другая страна из-за ее вод и болотистых зон», следовало бы также добавить, с ее горами и еще более — с ее необъятностью.

[165] B..N., Ms. fr. 21773, f^os 73—75 v°.

[166] Young A. *Voyages en France, 1787, 1788, 1789.* 1976, I, p. 89.

[167] Ponz A. *Op. cit.*, p. 1701.

Во всяком случае, остается фактом, что тогда совершался все более и более возраставший охват дорогами французского пространства: к концу Старого порядка имелось 40 тыс. км сухопутных дорог, 8 тыс. км судоходных рек и 1000 км каналов [168]. Этот охват умножил «присоединения» и иерархически расчленил территорию, он стремился диверсифицировать транспортные пути. Так, если Сена оставалась излюбленным путем в Париж, то продовольствие прибывало в столицу как из Бретани — по Луаре, так и из Марселя — по Роне, через Роанн, по Луаре и Бриарскому каналу [169]. По призыву предпринимателей и военных поставщиков в декабре 1709 г. зерно из Орлеана прибыло в Дофине [170]. Даже обращение звонкой монеты, в любую эпоху бывшее привилегированным, оказалось облегчено реорганизацией перевозок. Именно это отмечал в сентябре 1783 г. доклад Государственного совета: некоторые банкиры и коммерсанты Парижа и главных городов королевства, «используя великие удобства, каковые ныне предоставляют коммерции дороги, устроенные по всей Франции, равно как и учреждение службы почтово-пассажирских перевозок, дилижансов и транспортных контор... делают из перевозки золотой и серебряной монеты главный предмет своих спекуляций, дабы по своему желанию повышать или понижать величину курса, создавать в столице и в провинциях изобилие или голод» [171].

Учитывая обширные размеры Франции, становится очевидно, что для ее единства успехи транспорта были решающими, если еще и не достаточными. Именно это на свой лад утверждают (в применении к более близкому нам времени) историк Жан Бувье, считающий, что национальный рынок во Франции стал существовать только с завершением ее железнодорожной сети, и экономист Пьер Юри, который идет еще дальше, утверждая без обиняков, будто нынешняя Франция станет экономическим единством лишь в тот день, когда телефонная связь в ней достигнет «американского» совершенства. Пусть так. Но с теми дорогами, которые создали в XVIII в. прекрасные инженеры Управления мостов и дорог, определенно наступил прогресс в развитии французского национального рынка.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОЛИТИКА

Но национальный рынок, особенно вначале, был не только экономической реальностью. Он вышел из предшествовавшего политического пространства. И соответствие между национальными *политическими* и *экономическими* структурами устанавливалось лишь мало-помалу, в XVII и XVIII вв. [172]

Ничто не могло быть логичнее. Мы десятки раз говорили, что экономическое пространство всегда очень намного превосходит пространства политические. Так что «нации», национальные рынки строились *внутри* экономической системы, более обширной, чем они, а точнее — *в противовес* этой системе. Международная экономика с большим радиусом действия существовала давно, и именно в этом пространстве, которое его превосходило, и был посредством более или менее прозорли-

[168] См. Labrousse E.— в: Braudel F., Labrousse E. *Op. cit.*, II, p. 173.

[169] A. N., G[7], 1674, f° 68, Париж, 17 декабря 1709 г.; A. N., G[7], 1646, f° 412, Орлеан, 26 августа 1709 г.

[170] A. N., G[7], 1646, f[os] 371, 382; 1647, f° 68, Орлеан, 1, 22 апреля, 17 декабря 1709 г.

[171] Москва, АВПР, 93/6, 394, л. 24 и 24 об., 30 сентября 1783 г.

[172] Richardot H. *Op. cit.*, p. 184. Цит по: Dockès P. *Op. cit.*, p. 20.

вой, во всяком случае настойчивой, политики выкроен национальный рынок. Задолго до меркантилистской эпохи государь уже вмешивался в сферу экономики, пытался принуждать, направлять, запрещать, облегчать, заполнять брешь, открывать зону сбыта... Он старался развить те закономерности, которые могли бы послужить его существованию и его политическому честолюбию, но в своем предприятии он добьется успеха, только если в конечном счете встретит общее потворство со стороны экономики. Так ли обстояло дело с «предприятием» Франция?

Невозможно отрицать, что французское государство сформировалось, по крайней мере наметилось, рано. Если оно и не предшествовало всем остальным территориальным государствам, то оно их вскоре превзошло. В таком напоре следует видеть конструктивную реакцию центральной зоны по отношению к периферии, за счет которой она стремилась расшириться. В ранней ее истории Франции приходилось противостоять опасностям сразу во всех направлениях: то на юге, то на востоке, то на севере, а то даже и на западе. В XIII в. она оказалась уже самым большим политическим предприятием континента, «почти государством», как справедливо говорит Пьер Шоню [173], имевшим одновременно и древние и новые характеристики государства: харизматическую ауру, судебные учреждения, учреждения административные, а главное — финансовые, без чего политическое пространство было бы совершенно инертным. Но если во времена Филиппа Августа и Людовика Святого политический успех обратился в успех экономический, то потому, что рывок, взлет наиболее продвинувшейся вперед части Европы лил живительную воду на французскую мельницу. Повторим, что историки, может быть, недостаточно осознавали значение ярмарок Шампани и Бри. Предположите, что около 1270 г., во времена полного расцвета этих ярмарок, когда канонизированный король умер под стенами Туниса, экономическая жизнь Европы раз и навсегда застыла бы в очерчивавших ее формах — из этого возникло бы господствующее французское пространство, которое легко организовало бы свою собственную сплоченность и свое распространение за счет ближнего.

Мы знаем, что так не случилось. Огромный спад, который утвердился с началом XIV в., вызвал серию сменявших друг друга крахов. Тогда экономическое равновесие Европы нашло иные основы. И когда французское пространство, бывшее полем сражений Столетней войны, восстановило свою политическую и уже экономическую целостность в правления Карла VII (1422—1461) и Людовика XI (1461—1483), мир вокруг него ужасающим образом изменился.

Однако в начале XVI в. [174] Франция все же стала вновь «первым, и в значительной мере, среди всех [европейских] государств»: 300 тыс. кв. км [территории], от 80 до 100 тонн золота фискальных ресурсов и, может быть, ВНП эквивалентный 1600 тонн золота. В Италии, где котировалось все, как богатство, так и могущество, когда какой-нибудь документ говорил просто «король» («*il Re*»), речь шла о Христианнейшем короле, короле по преимуществу. Такое сверхмогущество наполняло

[173] См. Chaunu P.— в: Braudel F., Labrousse E. *Op. cit.*, I, p. 22.
[174] *Ibid.*, p. 39.

страхом соседей и соперников, всех тех, кого новый экономический взлет Европы возносил над их прежним состоянием, делая их одновременно и честолюбивыми и опасливыми. И в основном именно поэтому Католические короли, повелители Испании, заранее окружили угрожавшую Францию серией династических браков; и именно поэтому же успех Франциска I при Мариньяно (1515 г.) обратил против него всю силу европейского равновесия — того равновесия, которое было механизмом, просматривавшимся уже в XIII в. Когда в 1521 г. вспыхнула война между Валуа и Габсбургами, механизм сработал против короля Французского к выгоде Карла V, с риском (который не замедлил сказаться) содействовать первенствующему положению Испании, тому, чем чуть раньше или чуть позже занялось бы само по себе американское серебро.

Но разве политическая неудача Франции не объяснялась также — и главным образом — тем, что она более не была и не могла быть в центре европейского мира-экономики? Центр богатства находился в Венеции, в Антверпене, в Генуе, в Амстердаме, и эти сменявшие друг друга опоры были вне пределов французского пространства. Был только один, довольно краткий миг, когда Франция снова приблизилась к первому месту,— во время войны за Испанское наследство, когда Испанская Америка открылась для купцов из Сен-Мало. Но случай, едва приоткрывшийся, ускользнул. В общем, история не благоприятствовала сверх меры формированию французского национального рынка. Раздел мира произошел без него, даже за его счет.

Не ощущала ли это в какой-то смутной форме и сама Франция? Во всяком случае, она пыталась начиная с 1494 г. утвердиться в Италии. Это ей не удастся, и между 1494 и 1559 гг. итальянский магический круг утратит руководство европейским миром-экономикой. Попытка и неудача повторятся столетие спустя, будучи направлены в сторону Нидерландов. Но, по всей вероятности, если бы в 1672 г. голландская война завершилась французской победой, которая определенно была возможна, центр мира-экономики переместился бы тогда из Амстердама в Лондон, а не в Париж. И именно в Лондоне он оказался прочно закрепившимся, когда в 1795 г. французские армии оккупировали Соединенные Провинции.

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Не была ли одной из причин этих неуспехов относительно непомерная протяженность Франции? Разве в конце XVII в. не представлялась она наблюдательному взору Уильяма Петти как тринадцать Голландий, как три или четыре Англии? Разве же не насчитывала она вчетверо или впятеро больше населения, чем последняя, и вдесятеро больше, чем первая из них? Уильям Петти дошел даже до утверждения, будто Франция имела в 80 раз больше добрых пахотных земель, нежели Голландия, тогда как в конечном счете «богатство» ее было лишь втрое больше богатства Соединенных Провинций[175]. Если сегодня, приняв в качестве единицы измерения маленькую Францию (550 тыс.

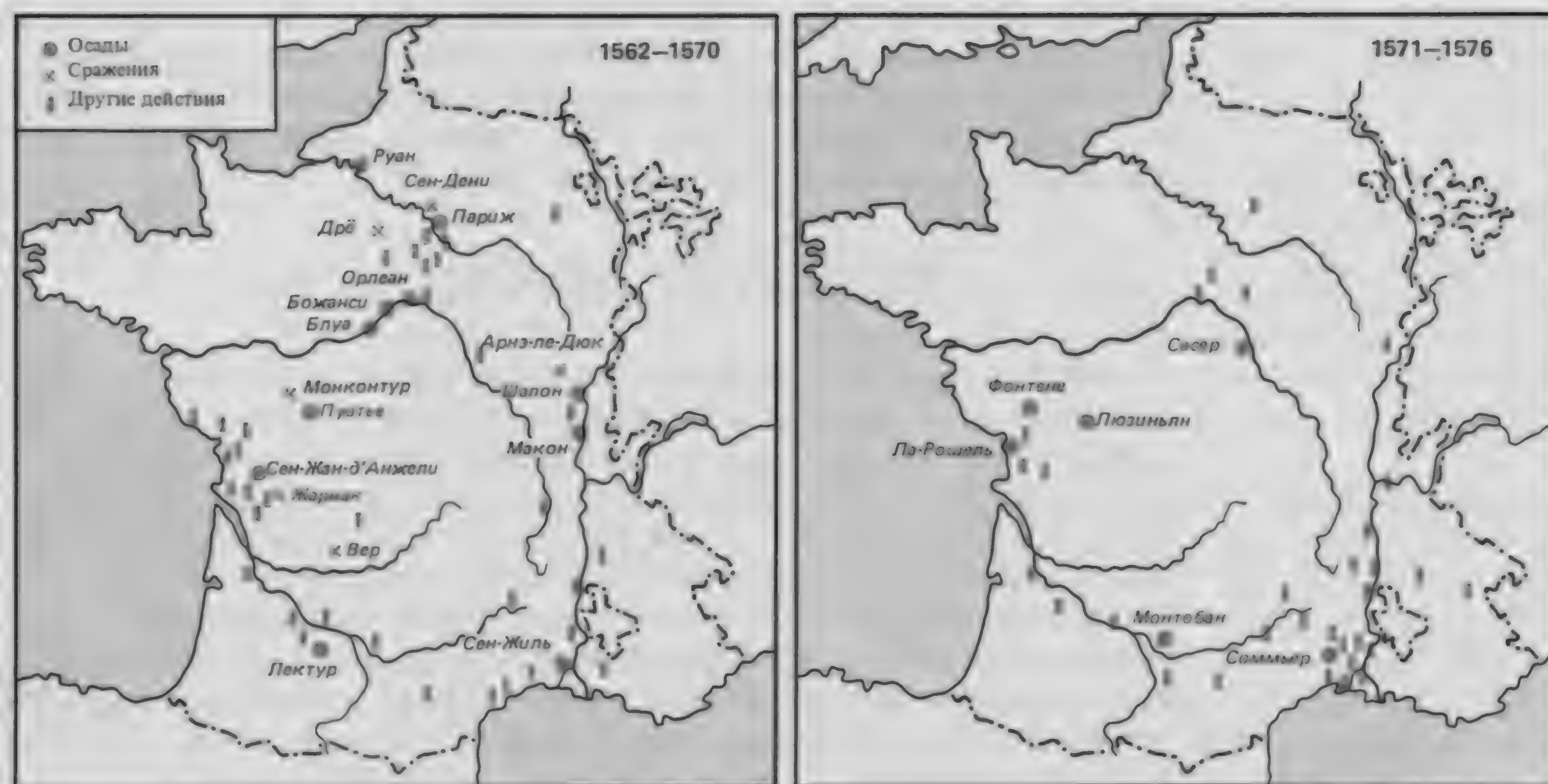
[175] Dockès P. *Op. cit.*, p. 156.

кв. км), вы стали бы искать государство в тринадцать раз больше, чем она (7150 тыс. кв. км), то получили бы размеры Соединенных Штатов. Артур Юнг мог иронизировать по поводу движения между Парижем и Орлеаном, но, если бы, в конце концов, посредством переноса мы наложили на Лондон сетку французских коммуникаций XVIII в., имевшую центром Париж, эти дороги во всех направлениях затерялись бы в море. На более обширном пространстве любое движение равного объема «растворяется».

Аббат Галиани говорил по поводу Франции 1770 г., «что она не похожа более на Францию времен Кольбера и Сюлли» [176]; он считал, что страна достигла пределов своего расширения; с двадцатью миллионами жителей она не смогла бы увеличить массу своих изделий, не нарушая той меры, которую навязывала экономика всего мира. Точно так же, если бы она имела флот в такой же пропорции, как Голландия, этот флот, увеличенный в 3, в 10 или в 13 раз, был бы за пределами тех пропорций, какие могла бы воспринять мировая экономика [177]. Галиани, самый проницательный человек своего столетия, затронул самое больное место. Франция была прежде всего своей собственной жертвой, жертвой плотности своего населения, своего объема, своего гигантизма. Жертвой протяженности, которая, разумеется, имела и свои преимущества: если Франция постоянно противостояла иноземным вторжениям, то все же в силу своей громадности; ее невозможно было пройти всю, нанести ей удар в сердце. Но и ее собственные связи, распоряжения ее правительства, движения и импульсы ее внутренней жизни, технический прогресс испытывали то же самое затруднение при движении из одного края страны в другой. Даже Религиозным войнам, в их взрывчатом и заразительном развитии, не удалось разом охватить все ее пространство. Разве не утверждал Альфонс Олар, историк Революции, что даже Кон-

[176] Dockès P. *Op. cit.*, p. 308.
[177] *Ibid.*, p. 25, 353.

Религиозным войнам не удалось одним махом охватить обширное французское королевство даже после восшествия на престол Генриха IV
В качестве военных событий на картах сохранены лишь важные сражения (по данным написанного Анри Марьежолем тома «Истории Франции» Лависса). Из этого вытекает



вент испытывал величайшие трудности при доведении «своей воли до всей Франции»[178]?

Впрочем, некоторые государственные деятели, и не самые незначительные, чувствовали, что протяженность королевства отнюдь не обязательно влекла за собой увеличение его могущества. По крайней мере именно такой смысл я бы придал такой, самой по себе любопытной фразе из письма герцога де Шеврёза Фенелону: «Франция, коей особенно подобает сохранять *достаточные границы...*»[179] Тюрго говорил в общих категориях, и не о Франции в частности, но можно ли себе представить, чтобы англичанин или голландец написал: «Та максима, что от государств, дабы их укрепить, надлежит отсекать провинции, как отсекают ветви у деревьев, долго еще останется в книгах, прежде чем явится в советах государей»[180]? Несомненно, можно грезить о Франции, которая не увеличивалась бы так быстро. Ибо ее территориальная протяженность, по многим причинам благодетельная для монархического государства и, возможно, для французской культуры и для отдаленного будущего страны, сильно стесняла развитие ее экономики. Если провинции плохо сообщались между собой, это означало, что они располагались в пределах территории, где расстояния были преимущественно помехой. Даже в том, что касается зерна, общий рынок функционировал плохо. Франция, производитель-гигант, будучи жертвой своих размеров, потребляла свою продукцию на месте; перебои в снабжении, даже голодовки были там парадоксально и по существу возможны еще в XVIII в.

То была ситуация, которая сохранится до того момента, когда железные дороги достигнут отдаленных сельских зон. Еще в 1843 г. экономист Адольф Бланки писал, что коммуны округа Кастеллан в департаменте Нижние Альпы «более удалены от французского влияния, чем Маркизские острова... Связи не велики и не малы — их просто не существует»[181].

[178] Цит. по: Rouff M. *Les Mines de charbon en France au XVIII^e siècle*. 1922, p. 83, note 1.

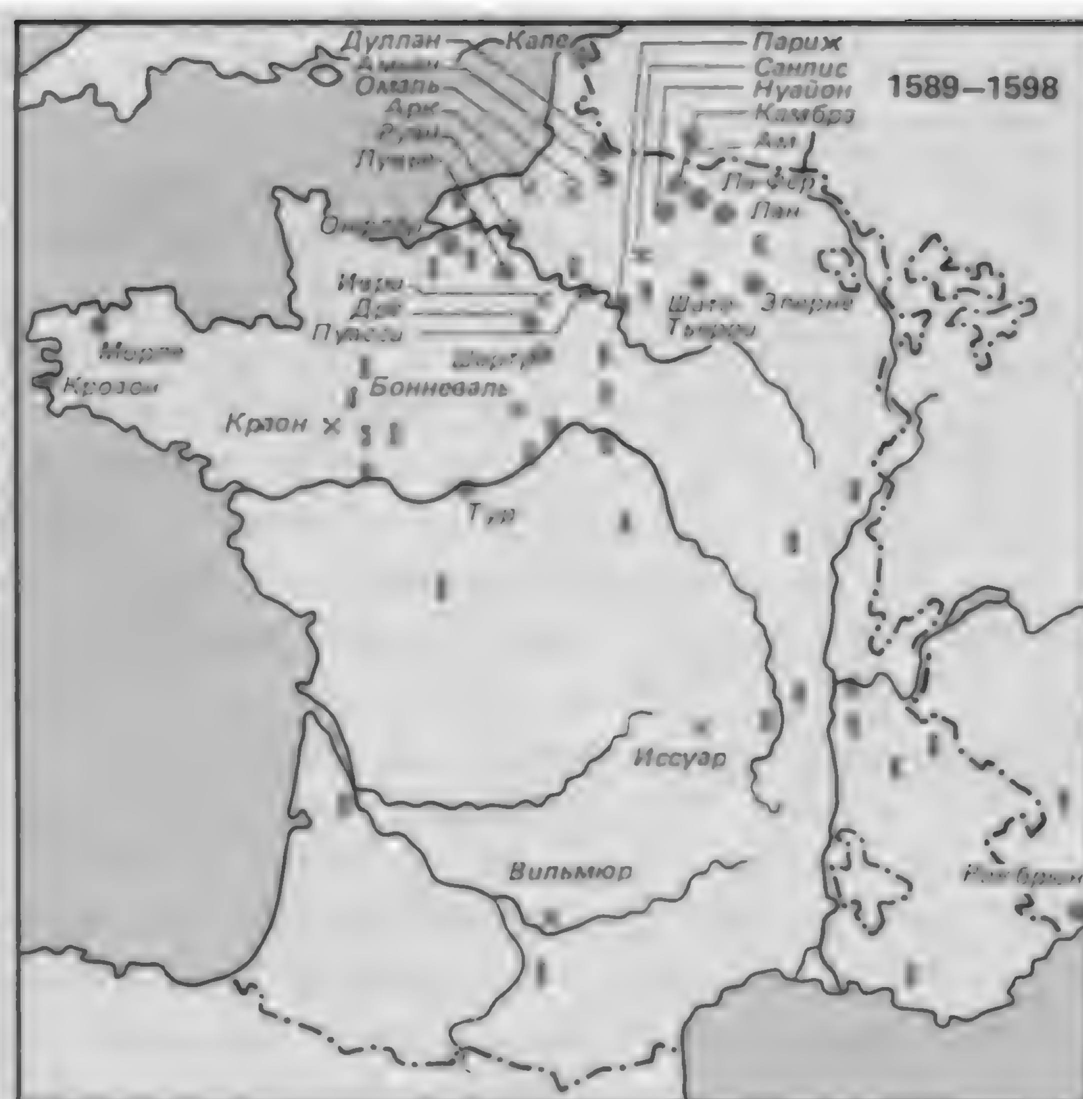
[179] 9 апреля 1709 г. Цит по: Lévy C.-F. *Capitalistes et pouvoir au siècle des Lumières*. 1969, p, 325.

[180] Цит по: Dockès P. *Op. cit.*, p. 298.

[181] Collier R. *La Vie en Haute-Provence de 1600—1850*. 1973, p. 36.

очевидное упрощение. Однако ясно, что не все эти события совпадали, что пространство противилось «заразе». Даже заключительная фаза войн, во времена Генриха IV, развертывалась прежде всего на севере страны.





ПАРИЖ ПЛЮС ЛИОН, ЛИОН ПЛЮС ПАРИЖ

Ничего нет удивительного, если столь обширное пространство, которое трудно было эффективно связать, не пришло естественным образом к полному объединению вокруг единого центра. Два города оспаривали друг у друга руководство французской экономикой: Париж и Лион. Это, несомненно, было одной из неосознававшихся слабостей французской системы.

Общие истории Парижа, слишком часто разочаровывающие, недостаточно вписывают историю огромного города в рамки судеб Франции. Они недостаточно внимательны к экономической активности и экономической власти города. С этой точки зрения разочаровывают нас и истории Лиона: чересчур регулярно они объясняют Лион «через» Лион. Они, несомненно, хорошо показывают связь между возвышением Лиона и ярмарками, которые в конце XV в. сделали из города экономическую вершину королевства. Но:

1) заслуга этого слишком широко приписывается Людовику XI;

2) вслед за Ришаром Гасконом нужно снова и снова повторять, что лионские ярмарки были созданием итальянских купцов, поместивших их в пределах своей досягаемости, у самой границы королевства; что в этом заключено свидетельство подчиненности французов международной экономике. Несколько преувеличивая, скажем, что для итальянцев Лион в XVI в. был тем же, чем для европейцев Кантон при эксплуатации Китая в XVIII в.;

3) историки Лиона недостаточно внимательны к феномену биполярности Парижа и Лиона, которая была настойчиво о себе напоминавшей структурной особенностью французского развития.

В той мере, в какой Лион был созданием итальянских купцов, все в Лионе шло наилучшим образом, пока последние хозяйничали в Европе. Но после 1557 г. положение ухудшилось. Кризис 1575 г. и крахи десятилетия 1585—1595 гг.[182], годы депрессии и дорогих денег (1597—1598 гг.)[183] усилили движение вспять. Главные функции города на Роне перешли к Генуе. Но ведь Генуя пребывала за границами Франции, в рамках громадной Испанской империи. Она обретала свою силу в самой силе и эффективности этой империи, а на самом деле — в далекой горнодобывающей активности Нового Света. И в той мере, в какой продолжали существовать, поддерживая друг друга, эта сила и эффективность, вплоть до 20—30-х годов XVII в., Генуя до того времени, или почти до того времени, господствовала над финансовой и банковской жизнью Европы.

С того времени Лион находился в положении второстепенном. В деньгах тут не было недостатка, подчас их бывало излишне много, но они более не находили себе употребления с прежней выгодой. Прав Ж. Жентил да Силва[184]: в торговом плане Лион оставался обращенным ко всей Европе, но все более и более становился французским рынком, местом, куда стекались капиталы королевства, жаждавшие золотых гарантий ярмарок и регулярного процента с «депозита», т. е. с переводов

[182] См. Gascon R.— в: Braudel E., Labrousse E. *Op. cit.*, I, p. 328.
[183] Gentil da Silva J. *Banque et crédit en Italie*..., p. 514.
[184] *Ibid.*, p. 94, 285, 480, 490.

платежей с ярмарки на ярмарку. Прошли те прекрасные денечки, когда Лион, как считалось, «диктовал законы всем остальным рынкам Европы», когда его торговая и финансовая активность затрагивала «своего рода многоугольник — от Лондона до Нюрнберга, Мессины и Палермо, от Алжира до Лисабона и от Лисабона до Нанта и Руана» (и не забывайте важнейший перевалочный пункт в Медина-дель-Кампо [185]). В 1715 г. прошение из Лиона удовольствуется достаточно скромным заявлением: «Наш рынок обычно диктует законы *всем провинциям*» [186].

Не этот ли спад утвердил приоритет Парижа? Будучи вытеснены выходцами из Лукки в последней трети XVI в., лионские флорентийцы все больше и больше обращались «к государственным финансам, прочно утвердившись в Париже под покровительственной сенью власти» [187]. Внимательно проследив за этим перемещением итальянских фирм, в частности фирмы Каппони, Фрэнк Спунер выявил подвижку в направлении французской столицы, сравнимую, на его взгляд, с наиважнейшим переходом от Антверпена к Амстердаму [188]. Конечно, переход наблюдался, но Дени Рише, который заново рассмотрел материал, справедливо утверждает, что предоставленный Парижу шанс, если такой шанс существовал, остался без серьезных последствий. «Конъюнктура, вызвавшая упадок Лиона, обеспечила вызревание зачатков парижского роста, — пишет он, — но она не повлекла за собой смены функций. Еще в 1598 г. Париж не имел инфраструктуры, необходимой для крупной международной торговли: ни ярмарок, сравнимых с ярмарками Лиона или Пьяченцы, ни солидно организованного вексельного рынка, ни капитала испытанных технических приемов» [189]. Это не означает, что Париж — политическая столица, место сосредоточения королевского налога и огромного накопления богатств, потребительский рынок, который растрачивает заметную часть доходов «нации», — не имел веса в экономике королевства и в перераспределении капиталов. Например, парижские капиталы присутствовали в Марселе с 1563 г. [190], а парижские галантерейщики из Шести корпораций очень рано включились в прибыльную торговлю на далекие расстояния. Но в целом парижское богатство было плохо вовлечено в производство или даже просто в товары.

Упустил ли Париж в этот момент — а вместе с ним и Франция — возможность какой-то новизны? Может быть. И позволительно винить в этом парижские имущие классы, слишком увлеченные должностями и землями, операциями, «обогащавшими в социальном отношении, доходными в индивидуальном плане и паразитарными в экономическом» [191]. Еще в XVIII в. Тюрго, повторяя слова Вобана, говорил, что «Париж — это прорва, где поглощаются все богатства государства, куда мануфактурные изделия и безделушки притягивают деньги всей Франции посредством торговли, столь же разорительной для наших провинций, как и для иностранцев. Доход от налога там в большей своей части растрачивается» [192]. В самом деле, баланс «Париж — провинции» являл собою великолепный пример неэквивалентного обмена. «Достоверно известно, — писал

[185] Morineau M. *Lyon l'italienne, Lyon la magnifique.* — «*Annales E. S. C.*», 1974, p. 1540; Bayard F. *Les Bonvisi, marchands banquiers à Lyon.* — «*Annales E. S. C.*», 1971,
[186] A. N., G [7], 1704, 111.
[187] См. Gascon R. — в: Braudel F., Labrousse E. *Op. cit.*, I, p. 288.
[188] Spooner F. C. *L'Économie mondiale et les frappes monétaires en France 1493—1680.* 1956, p. 279.
[189] Richet D. *Une Société commerciale Paris — Lyon dans la deuxième moitié du XVI[e] siècle.* 1965. Лекция в Обществе истории Парижа и Иль-де-Франса (машинописный текст), с. 18.
[190] *Histoire de Marseille*, III, p. 236—237.
[191] Richet D. *Op. cit.*, p. 19.
[192] Turgot. *Œuvres*, éd. G. Schelle, 1913. I, p. 437.

[193] Dockès P. *Op. cit.*, p. 247.
[194] Delaborde J. *Gaspard de Coligny, amiral de France.* 1892, III, p. 57.
[195] *Mémoires de Jean Maillefer, marchand bourgeois de Reims.* 1890, p. 52.

Кантийон,— что провинции всегда должны столице значительные суммы» [193]. В этих условиях Париж не переставал расти, украшаться, увеличивать свое население, восхищать гостей — и все это в ущерб ближнему.

Его власть, его престиж вытекали из того, что вдобавок он был повелевающим центром французской политики. Удерживать Париж означало господствовать над Францией. С начала Религиозных войн протестанты нацеливались на Париж, который от них ускользнет. В 1568 г. у них был отнят Орлеан, у самых ворот столицы, и католики радовались по этому поводу. «Мы отняли у них Орлеан,— говорили они,— потому что мы не желаем, чтобы они так близко подбирались к нашему доброму городу Парижу» [194]. Позднее Париж возьмут лигисты, затем Генрих IV, потом фрондеры, которые сумели сделать лишь одно: дезорганизовать город. К величайшему негодованию того негоцианта, что жил в Реймсе, и, значит, в тени столицы: ежели Париж испытывает стеснения в нормальной своей жизни, писал он, то «дела [прекратятся] в прочих городах как Франции, так и иноземных королевств, вплоть до самого Константинополя» [195]. Для этого провинциального буржуа Париж был пупом земли.

Лион не мог похвалиться таким престижем, ни сравниться с необычайными размерами столицы. Однако если Лион и не был «монстром», то по масштабам того времени он был крупным городом, тем более значительным по площади, что, как

Новая Лионская биржа, построенная в 1749 г. *Национальная библиотека.*



объяснял один путешественник, «он заключает в своей крепостной ограде свои стрельбища, свои кладбища, виноградники, поля, луга и прочие угодья». И этот же путешественник, житель Страсбурга, добавляет: «Утверждают, что за день в Лионе делается более дел, нежели в Париже за неделю, поелику именно здесь пребывают главным образом оптовики. Однако же Париж ведет бо́льшую розничную торговлю»[196]. «Нет,— говорил один благоразумный англичанин ,— Париж не самый большой торговый город королевства. Тот, кто сие утверждает, смешивает купцов и лавочников (*tradesmen* и *shopkeeprs*). В чем заключено превосходство Лиона, так это в его негоциантах, его ярмарках, его вексельном рынке, его многообразных промыслах»[197].

Отчет, составленный в канцеляриях интендантства относительно положения Лиона в 1698 г., дает довольно утешительную картину состояния здоровья города[198]. Там пространно перечисляются естественные преимущества, какие дают городу водные пути, обеспечивающие доступ в соседние провинции и за границу. Его ярмарки, существовавшие более двух столетий, продолжали процветать; как и в былые времена, они происходили четыре раза в год по одним и тем же правилам; платежные сходы всегда происходят утром, с 10 часов до полудня, в лоджии Биржи, и «бывают такие платежные расчеты, когда заключается дел на два миллиона, а наличными не выплачивают и ста тысяч экю»[199]. «Депозит», двигатель кредита путем репорта платежа с одной ярмарки на другую, функционировал с легкостью, поскольку питался он «прямо [за счет] кошелька горожан, кои извлекают выгоду из своих денег на рынке»[200]. Машина продолжала крутиться, хотя многие итальянцы, в частности флорентийцы, которые были «изобретателями рынка», покинули город. Пустоты заполнили купцы генуэзские, пьемонтские или выходцы из швейцарских кантонов. Сверх того в городе и вокруг него развилась мощная промышленность (подъем которой, как мы будем считать, компенсировал, быть может, недостаток торговой и финансовой активности). В ней огромное место занимал шелк, восхитительная черная тафта и сверхзнаменитые ткани с золотой и серебряной нитью, питавшие сильную *оптовую* торговлю. Уже в XVI в. Лион находился в центре промышленной зоны — Сент-Этьенн, Сен-Шамон, Вирьё, Нёвиль.

Баланс деятельности Лиона в 1698 г. приписывает ему на два десятка миллионов экспорта, миллионов на двенадцать закупок, т. е. превышение вывоза над ввозом в восемь миллионов ливров. Но если мы за неимением лучшего примем приводимую Вобаном цифру — 40 млн. превышения [вывоза] для торговли всей Франции,— на долю Лиона придется всего лишь пятая часть. Это определенно не соответствовало положению Лондона в английской торговле.

Первое место в лионских торговых операциях принадлежало Италии (10 млн. вывоза, 6 или 7 млн. ввоза). Не доказательство ли это того, что определенная часть Италии была активнее, чем это обычно утверждают? Во всяком случае, Генуя служила Лиону перевалочным пунктом на пути в Испанию, где го-

[196] Brackenhoffer E. *Voyage en France 1643—1644.* 1925, p. 110, 113.
[197] Roberts L. *The Merchants Mapp of Commerce.* 1639. Цит. по: Schulin E. *Op. cit.*, S. 108.
[198] B. N., Ms. fr. 21773, f^os 31 sq.
[199] *Ibid.*
[200] *Ibid.*

род св. Георгия сохранял поражающую воображение сеть закупок и продаж. Зато у Лиона мало было связей с Голландией и лишь ненамного больше — с Англией. Он продолжал много трудиться вместе со средиземноморской зоной, под знаком прошлого и [его] наследия.

ПАРИЖ ОДЕРЖИВАЕТ ВЕРХ

Итак, Лион, невзирая на его сохранившуюся энергию, мало опирался на наиболее продвинувшуюся вперед Европу и на пребывавшую тогда на подъеме мировую экономику. Но ведь в противостоянии столице сверхмощь, основывающаяся на внешних факторах, была бы для Лиона единственным средством навязать себя в качестве центра французской активности. В борьбе между обоими городами, которая очень плохо определяется и прослеживается, Париж в конечном счете одержит верх.

Тем не менее его превосходство, утверждавшееся медленно, осуществится лишь в весьма специфической форме. В самом деле, Париж не одержал над Лионом торговой победы. Еще во времена Неккера, около 1781 г., Лион оставался, несомненно, первым центром французской торговли: вывоз составлял 142,8 млн. ливров, ввоз — 68,9 млн., общий торговый оборот — 211,7 млн., а валовое превышение вывоза над ввозом — 73,9 млн. ливров. И если не принимать во внимание колебания стоимости турского ливра, эти цифры увеличились в 9 раз по сравнению с 1698 г. А Париж в тот же период имел всего 24,9 млн. ливров общего торгового оборота (вывоз плюс ввоз), т. е. немного больше одной десятой лионского баланса [201].

Превосходство Парижа стало результатом — более ранним чем обычно считают,— появления «финансового капитализма». Для того чтобы это произошло, потребовалось, чтобы Лион потерял часть, если не большую часть, своей прежней роли.

Нельзя ли в такой перспективе предположить, что системе лионских ярмарок первый очень серьезный удар был нанесен во время кризиса 1709 г., который на самом деле был кризисом финансов Франции, находившейся в состоянии войны с момента начала в 1701 г. войны за Испанское наследство? Самюэль Бернар, постоянный заимодавец правительства Людовика XIV, практически потерпел банкротство на королевских платежах, в конце концов отсроченных до апреля 1709 г. Документов и свидетельств об этой противоречивой драме существует великое множество [202]. Оставалось бы понять подоплеку очень сложной игры, которая, помимо Лиона, интересовала в первую очередь женевских банкиров, чьим корреспондентом, сообщником, а порой решительным противником многие годы был Самюэль Бернар. Чтобы получить капиталы, которые могли бы выплачиваться вне Франции — в Германии, в Италии и ничуть не меньше в Испании, где сражались армии Людовика XIV,— Самюэль Бернар предложил женевцам в качестве *гарантии* возмещения полученных им сумм денежные билеты, выпускавшиеся французским правительством с 1701 г.; выплаты производились затем в Лионе в ярмарочные сроки благодаря пере-

[201] Rémond A. *Trois bilans de l'économie française au temps des théories physiocratiques.— «Revue d'histoire économique et sociale»*, 1957, p. 450—451.

[202] Прежде всего фонд A. N., G[7].

водным векселям, которые Самюэль Бернар выписывал на Бертрана Кастана, своего корреспондента на тамошнем рынке. Дабы снабдить этого последнего [средствами], «ему посылали тратты для оплаты *вслед* за ярмарками». В общем, то была фиктивная игра, в которой, впрочем, никто не проигрывал, когда все шло хорошо, которая позволяла платить женевским и иным кредиторам то звонкой монетой, то обесценивавшимися денежными билетами (с учетом, как говорили, «потери» на них). Основная часть расчетов всякий раз переносилась для самого Самюэля Бернара на целый год. Азбукой ремесла было выиграть время и еще раз время до того момента, когда тебе самому заплатит король, что никогда не бывало легким делом.

Так как генеральный контролер быстро исчерпал легкие и надежные решения, потребовалось измыслить другие. Именно поэтому в 1709 г. настойчиво твердили о создании банка, который бы был частным или государственным. Его роль? Давать деньги взаймы королю, который тут же даст их взаймы деловым людям. Такой банк выпускал бы кредитные билеты, приносящие процент, которые бы обменивались на королевские денежные билеты. Это означало бы повысить курс сказанных билетов. Кто в Лионе не радовался тогда этим добрым новостям!

Вполне очевидно, что если бы операция удалась, все денежные воротилы оказались бы под властью Самюэля Бернара, «концентрация» осуществилась бы к его выгоде, ему бы предстояло управлять банком, поддерживать билеты, перемещать их массы. Генеральный контролер финансов Демаре смотрел на такую перспективу без всякого удовольствия. Существовала также оппозиция со стороны негоциантов крупных портов и торговых городов Франции, можно почти что сказать, «националистическая» оппозиция. «Утверждают,— писал один неприметный персонаж, вне сомнения лицо подставное,— что господа Бернар, Никола и прочие евреи, протестанты и чужеземцы, предложили взять на себя учреждение сего банка... Было бы куда более справедливо, ежели оным банком управляли бы уроженцы французского королевства, римские католики, кои... заверяют Его Величество в своей преданности»[203]. На самом деле этот банковский проект начинался, как мы бы сказали сегодня, настоящим приемом игры в покер, аналогичным тому, который в 1694 г. завершился созданием Английского банка. Во Франции он потерпел неудачу, и ситуация быстро ухудшилась. Все перепугались, и существовавшая система начала оседать как карточный домик, особенно когда в первую неделю апреля 1709 г. Бертран Кастан, не без основания сомневаясь в «прочности» Самюэля Бернара, отказался, будучи в соответствии с правилами вызван на Биржу, принять выписанные на него тратты и заявил, что не может «соединить свой баланс» (т. е. оплатить долги, уравновесить баланс). Это вызвало «неописуемый переполох». Самюэль Бернар, оказавшийся в трудном положении в той мере, в какой — признаем это — служба королю втянула его в не поддающиеся описанию осложнения, в конце концов 22 сентября[204] не без труда и нескончаемых

[203] Lévy C.-F. *Op. cit.*, p. 332.
[204] Saint-Germain J. *Samuel Bernard, le banquier des rois*. 1960, p. 202.

переговоров добился от генерального контролера Демаре «постановления, дававшего ему отсрочку на три года» для уплаты его собственных долгов. Таким образом он избежал банкротства. Впрочем, кредит короля был восстановлен с прибытием 27 марта 1709 г. «7 451 178 турских ливров» в виде драгоценных металлов — «в реалах, слитках и посуде»,— выгруженных в Пор-Луи кораблями из Сен-Мало и Нанта, возвратившимися из Южных морей [205].

Но более чем эта сложная и запутанная финансовая драма, в центре наших забот находится в настоящий момент лионский рынок. Какова могла быть его прочность в том 1709 г. перед лицом расстройства платежей? Это трудно сказать из-за самих лионцев, скорых на жалобы и на чрезмерное очернение положения. Тем не менее рынок уже пятнадцать лет испытывал серьезные затруднения. «С 1695 г. немцы и швейцарцы ушли с ярмарок» [206]. Относящаяся к 1697 г. памятная записка отмечала даже довольно любопытную практику (встречавшуюся, впрочем, в обиходе на активных, но традиционных ярмарках Больцано): репорты с ярмарки на ярмарку производились «заметками (*nottes*), каковые каждый заносит в свой баланс» [207]. Следовательно, то была игра записей в точном смысле слова: долги и кредиты *не обращались* в форме «векселей на предъявителя и простых векселей». Итак, мы не в Антверпене. Узкая группа «капиталистов» оставила за собой прибыли с «сумм, отданных в долг» при ярмарочных репортах. То была игра в замкнутом кругообороте. Нам весьма бегло объясняют, что, ежели бы «заметки» («*nottes*») обращались со следующими одна за другой передаточными надписями, «мелкие негоцианты и мелкие торговцы» были бы «в состоянии вести более дел», вмешиваться в эту торговлю, из которой «богатые негоцианты... напротив, стараются их устранить». Подобная практика противоречила всему, что стало правилом «на всех торговых рынках Европы», но она сохранится до конца жизни лионских ярмарок [208]. Можно думать, что она не способствовала активизации лионского рынка и его защите от международной конкуренции.

Ибо последняя существовала: Лион, снабжаемый испанскими пиастрами *через* Байонну, видел, как из города уходили серебряные и даже золотые монеты в нормальные пункты назначения, вроде Марселя или Леванта или Монетного двора Страсбурга, но еще более — ради подпольного и значительного обращения — в направлении Женевы. За наличные некоторые лионские купцы получали *через* Женеву амстердамские векселя на Париж с немалой прибылью. Было ли уже это свидетельством подчиненного положения Лиона? Письма, которые генеральный контролер финансов получал от Трюдена, лионского интенданта, в большой мере отражают жалобы купцов города, преувеличенные или непреувеличенные [209]. Послушать их, так Лиону грозила опасность лишиться своих ярмарок и своих кредитных операций из-за женевской конкуренции. «Следует опасаться,— говорилось уже в письме Трюдена Демаре от 15 ноября 1707 г.,— чтобы в Женеву не переносили беспрестанно всю коммерцию лионского рынка. Женевцы уже некоторое время назад вознамерились устроить у себя вексельный рынок, про-

[205] Lévy C.-F. *Op. cit.*, p. 338.
[206] Varille M. *Les Foires de Lyon avant la Révolution.* 1920, p. 44.
[207] A. N., KK 1114, f[os] 176—177. Памятная записка г-на д'Эрбиньи, интенданта Лиона, с замечаниями г-на де Ла Мишодьера, лионского интенданта в 1762 г.
[208] Varille M. *Op. cit.*, p. 45.
[209] A. N., G^7, 359—360.

изводя на оном расчеты и выплаты по ярмаркам как в Лионе, Нове [Нови] и Лейпсике [Лейпциге]»[210]. Было ли это реальностью? Или угрозой, которой потрясали, дабы повлиять на решения правительства? Во всяком случае, два года спустя ситуация была серьезной. «Это дело Бернара,— отмечает одно из писем Трюдена,— необратимо потрясло лионский рынок, он каждодневно делается все более плохим»[211]. В самом деле, в техническом смысле купцы блокировали функционирование рынка. Обычно в Лионе платежи «производятся почти все на бумаге или балансируются переводами со счетов, так что очень часто в платеже на 30 млн. не участвует и 500 тыс. л[ивров] в монете. С отнятием сей помощи записей платежи сделались невозможны, даже ежели бы и было во сто крат более монеты, чем обычно». Эта финансовая забастовка даже замедлила производство лионских мануфактур, которые работали только на кредите. Результат: «Они частично остановились и обрекли на милостыню от 10 до 12 тыс. рабочих, у коих к тому же нет ничего, чтобы существовать во время прекращения их работы. Число сих людей умножается каждый день, и приходится опасаться, что не останется ни производства, ни коммерции, ежели им не будет оказана быстрая помощь...»[212]. Вот что было чрезмерным, однако же никоим образом не беспричинным. Во всяком случае, лионский кризис отозвался на всех французских рынках и ярмарках. Одно письмо от 2 августа 1709 г. отмечало, что ярмарка в Бокере «была пустынна», что на ней царит большая «скудость»[213]. Сделаем вывод: глубокий кризис, достигший кульминации в Лионе в 1709 г., не поддается ни полной оценке, ни точному измерению, однако же он был очень сильным.

Зато не подлежит сомнению, что уже оспаривавшийся успех Лиона не устоял против внезапного и бурного кризиса системы Лоу. Был ли город не прав, отказавшись от размещения у себя Королевского банка? Такой банк наверняка стал бы конкурентом традиционным лионским ярмаркам, нанес бы им ущерб или свел их на нет[214], но он же, вне сомнения, притормозил бы и взлет Парижа. Ибо тогда вся Франция, как будто охваченная лихорадкой, мчалась в столицу, создавая на улице Кэнканпуа, истинной Бирже, страшную давку — такую же, если не более, суматошную, как давка на лондонской Иксчейндж-алли. В конечном счете провал системы Лоу лишит Париж и Францию Королевского банка, созданного Лоу в 1716 г., но правительство не замедлит в 1724 г. предложить Парижу новую Биржу, достойную той финансовой роли, какую впредь будет играть столица.

С того момента успех Парижа будет только укрепляться. Однако же бесспорный окончательный поворот в его непрерывном поступательном движении произошел достаточно поздно, примерно к 60-м годам XVIII в., в промежутке между сменой союзов * и окончанием Семилетней войны. «Париж, который оказался тогда в привилегированном положении, в самом центре своего рода континентальной системы, охватывавшей всю Западную Европу, был пунктом, где сходились нити экономической сети, распространение которой более не наталкивалось,

[210] Boislisle P., de. *Correspondance des contrôleurs généraux...*, 1847—1897, II, p. 445.
[211] A. N., G[7], 363, 25 июля 1709 г.
[212] *Ibid.*, 15 июля.
[213] *Ibid.*, 2 августа 1709 г.
[214] Varille M. *Op. cit.*, p. 44.
* Имеется в виду заключение в середине 50-х годов XVIII в. союза с Австрией, направленного против Пруссии, что означало отказ от традиционной антигабсбургской политики французской монархии.— *Прим. перев.*

как в прежние времена, на враждебные политические барьеры. Препятствие в виде габсбургских владений, между которыми на протяжении двух столетий была зажата Франция, оказалось преодоленным... С момента утверждения Бурбонов в Испании и в Италии и до момента смены союзов можно проследить расширение вокруг Франции открытой для нее зоны: Испания, Италия, Южная и Западная Германия, Нидерланды. И впредь дороги из Парижа в Кадис, из Парижа в Геную (а оттуда — в Неаполь), из Парижа в Остенде и Брюссель (перевалочный пункт на пути в Вену), из Парижа в Амстердам будут свободны, за тридцать лет (1763—1792 гг.) их ни разу не закроет война. Париж сделался тогда в такой же мере политическим, как и финансовым перекрестком континентальной части европейского Запада,— отсюда и развитие деловой активности, увеличение притока капиталов»[215].

Это возрастание притягательной силы Парижа стало ощутимо как внутри страны, так и вне ее. Но могла ли столица, посреди своих земель, посреди своих развлечений и зрелищ, быть очень крупным экономическим центром? Могла ли она быть идеальным центром для национального рынка, втянутого в оживленное международное соревнование? Нет, не могла, наперед отвечал в пространной памятной записке, составленной в начале века, в 1700 г., Деказо дю Аллэ (*Des Cazeaux du Hallays*), представитель Нанта в Совете торговли[216]. Сожалея о недостаточном уважении французского общества к негоциантам, он отчасти приписывал это тому обстоятельству, что «иностран-

[215] Antonietti G. *Une Maison de banque à Paris au XVIII*e *siècle, Greffulhe, Montz et Cie, 1789—1793,* 1963, p. 66.
[216] A.D. Loire-Atlantique, C 694 (документ сообщен Клодом-Фредериком Леви).

Отель Суассон в 1720 г. Лоу учреждает там «торговлю бумагами», прежде чем организовать ее на улице Кэнканпуа. *Национальная библиотека.*



цы [он, вполне очевидно, имеет в виду голландцев и англичан] имеют у себя дома более живые и более истинные образ и представление о величии и благородстве коммерции, нежели мы, поелику дворы сих государств, пребывая все в морских портах, располагают возможностью осязаемо узреть, глядя на корабли, кои приходят со всех сторон, груженные всеми богатствами мира, сколь оная коммерция заслуживает одобрения. Ежели бы французской торговле так же посчастливилось, не понадобилось бы иных приманок, дабы обратить всю Францию в негоциантов». Но Париж не стоит на Ла-Манше. В 1715 г. Джон Лоу, размышляя над исходными посылками своей авантюры, усматривал «пределы для честолюбивых замыслов по поводу Парижа как экономической метрополии, ибо, коль скоро город этот удален от моря, а река несудоходна [это, вне сомнения, означает: недоступна для морских кораблей], из него нельзя сделать внешнеторговую столицу, но он может быть первейшим в мире вексельным рынком»[217]. Париж даже во времена Людовика XVI не будет первейшим финансовым рынком мира, но определенно первым таким рынком для Франции. Тем не менее, как это и предвидел смутно Лоу, первенство Парижа не было полным. И французская биполярность продолжится сама собой.

[217] Faure E. *La Banqueroute de Law*. 1977, p. 55.

ЗА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ

Все напряжения и противостояния французского пространства отнюдь не сводились к конфликтной ситуации между Парижем и Лионом. Но имели ли эти различия и эти напряженности сами по себе некое общее значение? Именно это утверждают отдельные редкие историки.

По мнению Фрэнка Спунера[218], Франция XVI в. в общем разделялась парижским меридианом на две части. Восточнее него располагались в большинстве своем континентальные области: Пикардия, Шампань, Лотарингия (еще не ставшая французской), Бургундия, Франш-Конте (бывшая еще испанской), Савойя (которая подчинялась Турину, но которую французы оккупировали с 1536 по 1559 г.), Дофине, Прованс, долина Роны, более или менее обширный кусок Центрального массива, наконец, Лангедок (или какая-то часть Лангедока); а к западу от этого же меридиана — регионы, прилегающие к Атлантике или к Ла-Маншу. Различие между двумя этими зонами можно установить по объему чеканки монеты — критерию приемлемому, но и спорному также. Спорному, потому что приходится признать, что все же в «обделенной» зоне находятся Марсель и Лион. И тем не менее контраст вполне очевиден — например, между Бургундией, отданной на милость медной монеты[219], и Бретанью или Пуату, откуда поступали и где были в обращении испанские реалы. Движущими центрами этой Западной Франции, которую в XVI в. активизировало оживление судоходства в Атлантике, оказались бы Дьеп, Руан, Гавр, Онфлёр, Сен-Мало, Нант, Ренн, Ла-Рошель, Бордо, Байонна, т. е., если исключить Ренн, гирлянда портов.

[218] Spooner F. C. *Op. cit.*, carte № 1.

[219] Hauser H. *La question des prix et des monnaies en Bourgogne*.— «*Annales de Bourgogne*», 1932, p. 18.

Оставалось бы узнать, когда и почему этот подъем Запада замедлился, а затем сошел на нет, несмотря на усилия французских моряков и корсаров. Этим вопросом задавались А. Л. Роуз[220] и некоторые другие историки, по правде говоря, не добившись достаточно ясного ответа. Остановиться на рубеже 1557 г., на годе жестокого финансового кризиса, усугубившего вероятный спад в интерцикле 1540—1570 гг., означало бы предъявить обвинение некоему перебою в системе торгового капитализма[221]. Мы почти уверены в существовании такого перебоя, но не в столь раннем отступлении приатлантического Запада. К тому же, как полагает Пьер Леон[222], Западная Франция, «широко открытая влияниям со стороны океана, была (еще в XVII в.) Францией богатой... сукнами и полотном от Фландрии до Бретани и до Мена, намного превосходившей Францию внутреннюю, страну рудников и металлургии». Таким образом, контраст Запад—Восток просуществовал, *быть может*, до самого начала самостоятельного правления Людовика XIV; но хронологический рубеж нечеток.

Однако же чуть раньше или чуть позже обозначится новая линия раздела, от Нанта до Лиона[223]; на сей раз не в меридиональном, но как бы в широтном направлении. К северу — Франция сверхактивная, предприимчивая, с ее открытыми полями и конными упряжками; к югу, наоборот, та Франция, которая, за несколькими блистательными исключениями, будет не переставая отставать все больше. По мнению Пьера Губера[224], существовали будто бы даже две конъюнктуры: одна для Севера, под знаком относительно доброго здоровья, другая — для Юга, под воздействием раннего и сильного спада. Жан Делюмо идет еще дальше: «Необходимо отделять, по крайней мере частично, Францию XVII в. от конъюнктуры на Юге и вдобавок к этому перестать систематически рассматривать королевство как одно целое»[225]. Если утверждение это справедливо, то Франция еще раз адаптировалась к внешним условиям мировой экономической жизни, которая ориентировала тогда Европу на ее северные зоны и заставила непрочную и податливую Францию качнуться в направлении Ла-Манша, Нидерландов и Северного моря.

В дальнейшем разделительная линия между Севером и Югом почти не сдвигалась с места вплоть до начала XIX в. По словам д'Анжевиля (1819 г.), она еще проходила от Руана до Эврё, а далее к Женеве. К югу от нее «сельская жизнь дезурбанизируется», раздробляется, «там начинается с рассеиванием крестьянских домов дикая Франция». Это сказано слишком сильно, но контраст очевиден[226].

В конце концов разделение мало-помалу снова изменилось, и на наших глазах парижский меридиан просто-напросто вновь вступил в свои права. Тем не менее зоны, которые он разграничивает, поменяли знак: на западе находится слаборазвитость, «французская пустыня», на востоке — зоны, продвинувшиеся вперед, связанные с доминирующей и все захватывающей германской экономикой.

Итак, игра двух Франций с годами менялась. Существовала не какая-то одна линия, которая бы раз и навсегда разделила

[220] Rowse A. L. *The Elizabethans and America.* Цит. по: Wallerstein I. *The Modern World System*, p. 266, note 191.
[221] Hartung F., Mousnier R. *Quelques problèmes concernant la Monarchie absolue.— Congrès international des sciences historiques.* Rome, 1955, vol. IV, p. 45.
[222] См. Léon P.— в: Braudel F., Labrousse E. *Op. cit.*, II, p. 525.
[223] Besnier R. *Op. cit.*, p. 35.
[224] Goubert P. *Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contrubution à l'histoire sociale de la France du XVII^e siècle.* 1960, p. 499 sq.
[225] Delumeau J. *Le commerce extérieur de la France.— XVII^e siècle.* 1966, p. 81—105; idem. *L'Alun de Rome.* 1962, p. 251—254.
[226] Предисловие Ле Руа Ладюри (Le Roy Ladurie E.) к кн.: Angeville A., de. *Essai sur la statistique de la population française*, 1969, p. XX.

французскую территорию, но линии, сменявшие одна другую: самое малое три таких линии, но, вне сомнения, больше. Или, лучше сказать, одна линия, но оборачивавшаяся вокруг некой оси, как часовая стрелка. И это предполагало:

во-первых, что в заданном пространстве разделение между прогрессом и отставанием непрестанно видоизменялось, что развитие и слаборазвитость не были раз и навсегда локализованы, что *плюс* сменял *минус*, что противоречия целого накладывались на нижележащие локальные различия: они их перекрывали не отменяя, позволяя увидеть их «на просвет»;

во-вторых, что Франция как экономическое пространство может быть объяснена лишь будучи помещенной в европейский контекст, что очевидный подъем стран к северу от линии Нант — Лион с XVII по XIX в. объяснялся не одними только эндогенными причинами (преобладанием трехпольного севооборота, возрастанием числа крестьянских рабочих лошадей, оживленным демографическим ростом), но равным образом и экзогенными факторами — Франция менялась при контакте с господствовавшей конъюнктурой Северной Европы так же, как в XV в. ее притягивал блеск Италии, а затем в XVI в.— Атлантический океан.

ЗА ЛИНИЮ РУАН — ЖЕНЕВА ИЛИ ПРОТИВ НЕЕ

Изложенное выше относительно последовательного *двучленного деления* французского пространства в XV—XVIII вв. дает ориентацию, но не улаживает бесконечный спор об историческом разнообразии этого пространства. В самом деле, французское *множество* не разделяется на *подмножества*, которые можно было бы уверенно идентифицировать, раз и навсегда обозначить: они не переставали деформироваться, приспосабливаться, перегруппировываться, изменять свое напряжение.

Именно поэтому карта Андре Ремона (см. карты на с. 346—347), «выпавшая» из великолепного атласа Франции XVIII в. (который он, быть может, завершил, но, к несчастью, не опубликовал), предлагает не двучленное, но трехчленное деление в зависимости от разных уровней биологического ускорения роста французского населения в эпоху Неккера. В самом деле, главная ее черта — это тот длинный «залив», что проходил через французскую территорию от Бретани до окраин Юры и образовывал зону сокращения населения или по меньшей мере застоя или очень слабого демографического роста. Этот залив разделял две биологически более здоровые зоны: к северу — фискальные округа Кана, Алансона, Парижа, Руана, Шалона на Марне, Суассона, Амьена, Лилля (рекорд здесь принадлежал Валансьеннскому фискальному округу, Трем епископствам *, Лотарингии и Эльзасу), к югу — необычайно оживленное пространство, протянувшееся от Аквитании до Альп. Именно там скапливалось население, приходившее через Центральный массив, Альпы и Юру, к выгоде поглощавших людей

*Города Мец, Верден и Туль в Лотарингии, образовывавшие особую административно-фискальную единицу королевства.— *Прим. перев.*

городов и богатых равнин, которые бы не прожили без поддержки временных мигрантов.

Следовательно, линия от Руана (или от Сен-Мало, или же от Нанта) до Женевы не была решающим разрывом, который обозначил бы *все* французские противоречия. Разумеется, карта Андре Ремона — это не карта национального богатства, экономического отступления или прогресса, а карта спада или подъема демографического. Там, где было обилие людей, правилом оказывались эмиграция, промышленная активность — либо одна или другая, либо же обе разом.

Со своей стороны Мишель Морино по своему обыкновению сдержанно относится к любому слишком простому объяснению. И значит, схема диаметра, разделяющего Францию и вращающегося вокруг Парижа, не может пользоваться его благосклонностью. Например, его скептицизм возбуждает [227] линия Сен-Мало — Женева, в общем — линия д'Анжевиля, которую принял Э. Ле Руа Ладюри. В качестве аргумента при ее критике Морино берет цифры торгового баланса в каждой из двух зон. Если они и не стирают демаркационную линию, то все же меняют знаки: плюс переходит на Юг, минус — на Север. Вне всякого сомнения, в1750 г. «зона, расположенная на Юге, намного превосходила ту, что находится на Севере. Две трети или более экпорта шло оттуда. Это превосходство отчасти происходило от поставок вин, отчасти от перераспределения колониальных товаров через порты Бордо, Нанта, Ла-Рошели, Байонны, Лориана и Марселя. Но покоилось оно также и на мощи промышленности, способной продавать полотна на 12,5 млн. турских ливров (в Бретани), шелковых тканей и лент на 17 млн. (в Лионе), а сукон и суконного товара — на 18 млн. (в Лангедоке)» [228].

Теперь мой черед проявить скептицизм. Признаюсь, меня не убеждает значение такого взвешивания разных Франций соответственно их внешнему балансу. Ясно, что вес одних только экспортных отраслей промышленности не может быть определяющим; что в мире прошлого промышленность зачастую бывала поиском какой-то компенсации в зонах бедности или трудной жизни. 12 млн. ливров за бретонское полотно не делали из Бретани провинцию, шедшую в авангарде французской экономики. Настоящая классификация — та, что устанавливается на основе ВНП. А ведь это примерно то, что попытался сделать на Эдинбургском конгрессе 1978 г. Ж.-К. Тутэн, составив классификацию французских регионов в 1785 г. в соответствии с *физическим продуктом* на одного жителя (по сравнению со средней величиной в национальном масштабе) [229]. Во главе списка оказался Париж с 280%; Центр, области по Луаре и Роне достигали средней величины — 100%; ниже расположились Бургундия, Лангедок, Прованс, Аквитания, пиренейский Юг, Пуату, Овернь, Лотарингия, Эльзас, Лимузен, Франш-Конте; замыкала шествие Бретань. Карта на с. 349, воспроизводящая эти оценки, не дает некой четкой линии Руан — Женева; но она вполне ясно помещает бедность на Юге.

[227] Morineau M. *Trois contributions au Colloque de Göttingen.— Vom Ancien Régime zur französischen Revolution.* Hrsg. A. Cremer, 1978, S. 405, Anm. 61.
[228] *Ibid.*, S. 404—405.
[229] См.: Toutain J.-C. (машинописный текст).— *Gongrés international d'Edimbourg*, 1978, A 4, p. 368.

ОКРАИНЫ МОРСКИЕ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ

В действительности в таких проблемах дифференциальной географии, как и в любой другой, перспектива бывает разной в зависимости от продолжительности хронологических отрезков, которые рассматриваются. Разве же не существовали ниже уровня перемен, которые зависели от по необходимости замедленной конъюнктуры, противоположности еще большей временной протяженности, как если бы Франция — да, впрочем, какая угодно другая «нация» — на самом деле была лишь наложением друг на друга разных реальностей, и самые глубинные из них (по крайней мере те, что мне представляются самыми глубинными) были «по определению», и это даже доступно наблюдению, медленнее всего приходящими в упадок, а следовательно, упорнее всего стремившимися удержаться на месте? В данном случае география, как необходимая «подсветка», отмечает неведомо сколько таких структур, таких *постоянных* различий: горы и равнины, Север и Юг, континентальный Восток и окутанный океанскими туманами Запад... Такие контрасты давили на людей так же, и даже больше, чем экономические конъюнктуры, вращавшиеся над этими людьми, то улучшая, то обделяя зоны, в которых они жили.

Но с учетом всех обстоятельств структурной противоположностью по преимуществу (я имею в виду, для наших целей) была та, что устанавливалась между ограниченными *маргинальными зонами* и обширными *центральными областями*. «Маргинальные» зоны следовали линиям контура, ограничивавшим Францию и отделявшим ее от того, что не было Францией. Мы не станем употреблять в применении к ним слово «периферия» (которое было бы естественным), поскольку оно, попав в ловушку некоторых наших споров, приобрело для немалого числа авторов, в том числе и для меня самого, значение «отсталые регионы», удаленные от привилегированных центров мира-экономики. Следовательно, окраины следовали за естественной линией берегов или же за линией сухопутных границ, чаще всего искусственной. Но ведь правилом (которое само по себе любопытно) было то, что, за немногими исключениями, эти французские окраинные области всегда бывали относительно богатыми, а внутренние районы, «нутро» страны,— относительно бедными. Д'Аржансон проводил такое различие совершенно естественно. «Что до коммерции и внутренних частей королевства,— замечает он в своем «*Дневнике*» около 1747 г.,— то мы в куда худшем положении, нежели в 1709 г. [однако же то был недоброй памяти год]. Тогда, благодаря снаряжению кораблей г-ном де Поншартреном, мы разоряли своих врагов каперством [230]; мы с успехом использовали торговлю в Южных морях. Сен-Мало добился поступлений в королевство [товаров] на сто миллионов. Внутренние же части королевства были в 1709 г. вдвое богаче, нежели сегодня» [231]. На следующий год, 19 августа 1748 г., он снова говорит о «внутренних провинциях королевства, [каковые] к югу от Луары погружены в глубокую нищету. Урожаи там вдвое меньше, чем прошлогодние, кои были весьма плохими. Цена хлеба выросла, и со всех сторон

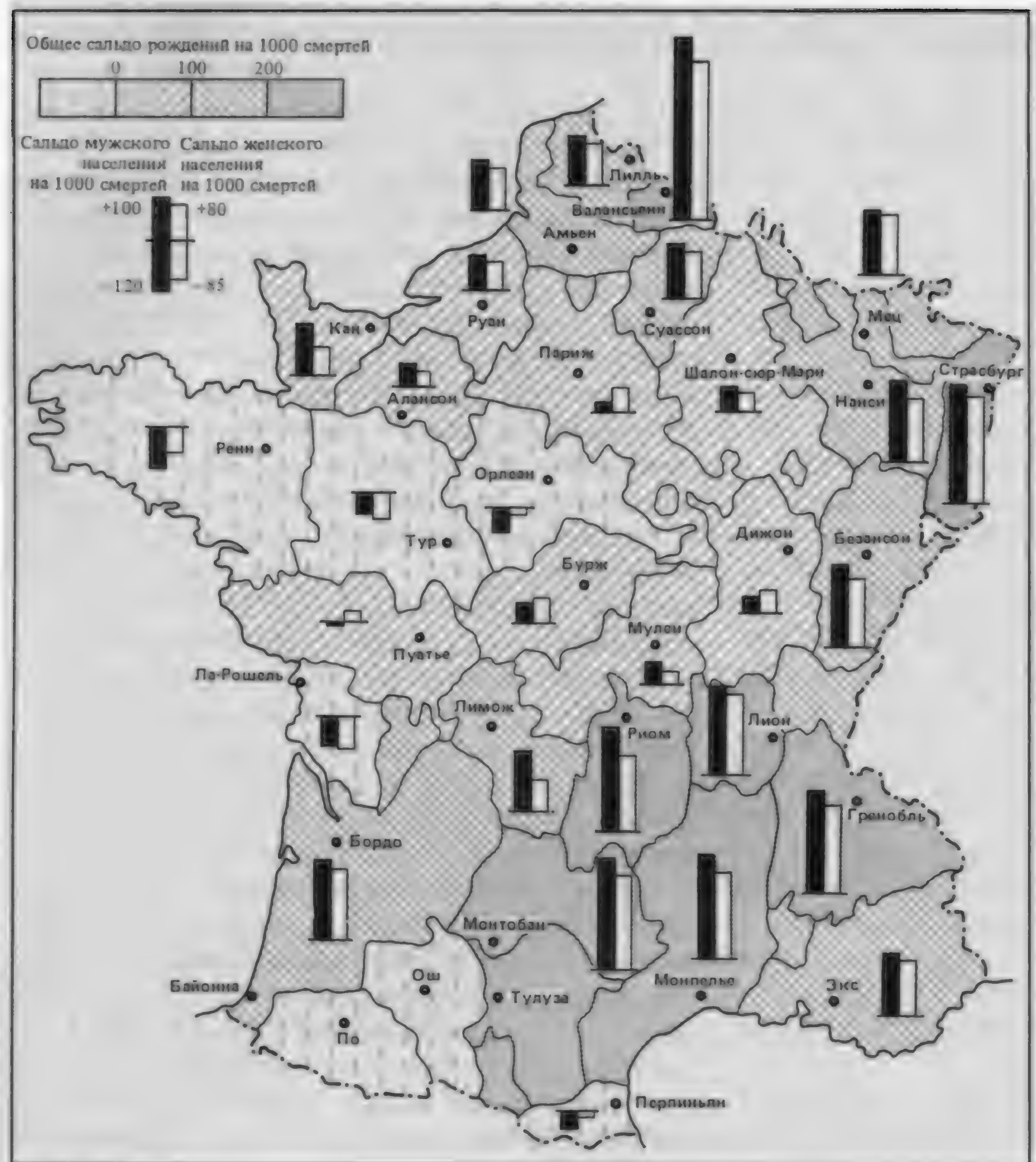
[230] С 1702 по 1713 г. французские каперы совершили 4543 нападения на суда противника. См. Labrousse E.— в: Braudel F., Labrousse E. *Op. cit.*, II, p. 191.

[231] Цитируется у Шарля Фростена: Frostin C. *Les Pontchartrain et la pénétration commerciale française en Amérique espagnole (1690—1715)*.— «*Revue historique*», 1971, p. 310.

[232] Augé-Laribé M. *La Révolution agricole*. 1955, p. 69.

Четыре глобальных взвешивания

I. Рождения и смерти во Франции к 1787 г. Эта карта, одна из немногих, что были опубликованы, входила в атлас, составленный Андре Ремоном. Она устанавливает любопытное различие между регионами с уменьшавшимся населением (фискальные округа Ренна, Тура, Орлеана, Ла-Рошели, Перпиньяна) и теми, что, оторвавшись от незначительной средней величины, были явно перенаселены (округа Валансьенна, Страсбурга, Безансона, Гренобля, Лиона, Монпелье, Риома, Монтобана, Тулузы, Бордо). Быть может, такое биологическое превосходство было связано с распространением как раз в этих регионах новых культур — кукурузы и картофеля.



нас осаждают нищие»[232]. Что же касается аббата Галиани, то он в своем «*Диалоге о хлебной торговле*» был несравненно более ясен и категоричен: «Обратите внимание, что у Франции, каковая ныне есть королевство торговое, предприимчивое королевство мореплавателей, все ее богатство обращено к ее границам; все ее богатые крупные города лежат по краям; внутренние же области ужасающе бедны»[233]. Нараставшее в XVIII в. процветание, как видно, не смягчило контраста, даже наоборот. Официальный отчет от 5 сентября 1788 г. отмечал, что «ресурсы морских портов бесконечно возросли, торговля же городов внутренних областей ограничена их собственным потреблением и потреблением их соседей, для народа у них нет иных средств, помимо мануфактур»[234]. Не станет ли индустриализация как общее правило экономическим реваншем хинтерланда?

Некоторые историки ощущают эту стойкую противоположность внутреннего и внешнего. По мнению Мишеля Морино, Франция последних лет правления Людовика XIV увидела отток своих богатств и своей деятельности к морским окраинам страны[235]. Пусть так, но было ли такое движение новым? Не

[233] Galiani F. abbé. *Dialogues sur le commerce des bleds*. 1949, p. 548.
[234] A. N., F^{12}, 724.
[235] Morineau M. *Produit brut et finances publiques...* (машинописный текст), p. 18.

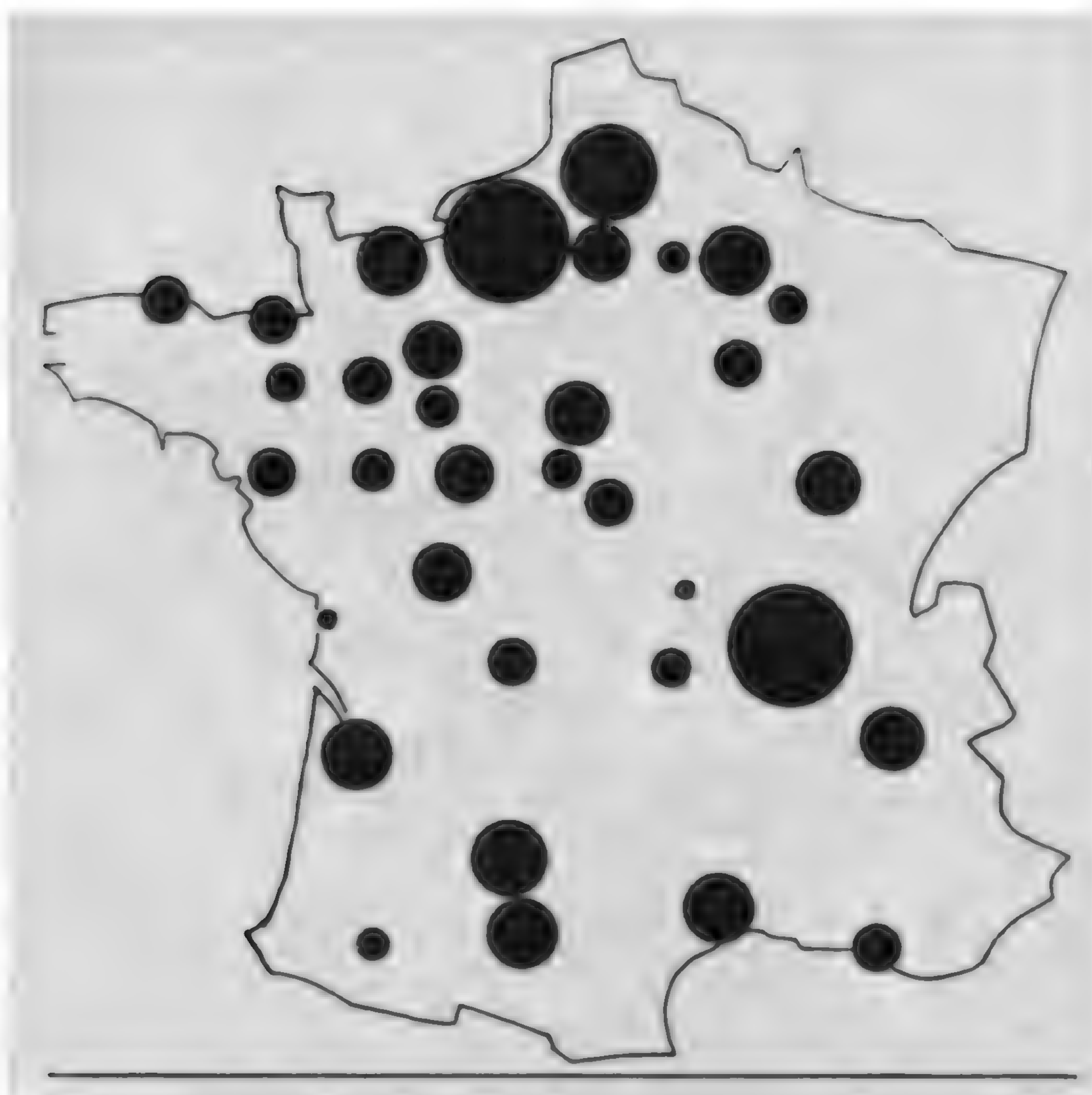


II. Умение читать и писать накануне Французской революции
На этой карте, составленной по данным о числе супругов мужского пола, которые способны были подписать свой брачный контракт, вполне очевидно первенство Севера. (По данным: Furet F., Ozouf J. Lire et écrire. 1978.)

началось ли оно намного раньше? А главное, разве оно не будет долговременным?

Ценность книги Эдварда Фокса с вызывающим заголовком «*Другая Франция*» («*L'Autre France*») заключается в том, что она нацелена на *структурную* противоположность и ни на миг от этой цели не отступает. Значит, всегда имелось как бы две Франции — Франция, обращенная к морям и грезившая о свободе торговли и приключениях в дальних странах, и Франция земледельческая, пребывающая в застое, лишенная гибкости из-за навязанных ей ограничений. История Франции — это их диалог, диалог глухих, не меняющий ни места, ни смысла, поскольку каждая из Франций упорствовала в стремлении все перетянуть к себе и в полном непонимании другой стороны.

В XVIII в. Францией более современной, *другой* Францией, была та, что обладала крупными портами, где обосновались богатство и ранний капитализм. Некая Англия в миниатюре, мечтавшая о спокойной революции по образцу «славной» революции 1688 г. Но могла ли она играть в одиночку и выиграть? Нет, не могла — и это хорошо видно в эпизоде с жирондистами (1792—1793 гг.), ежели ограничиться лишь одним хорошо известным примером. Как и во времена Старого порядка,

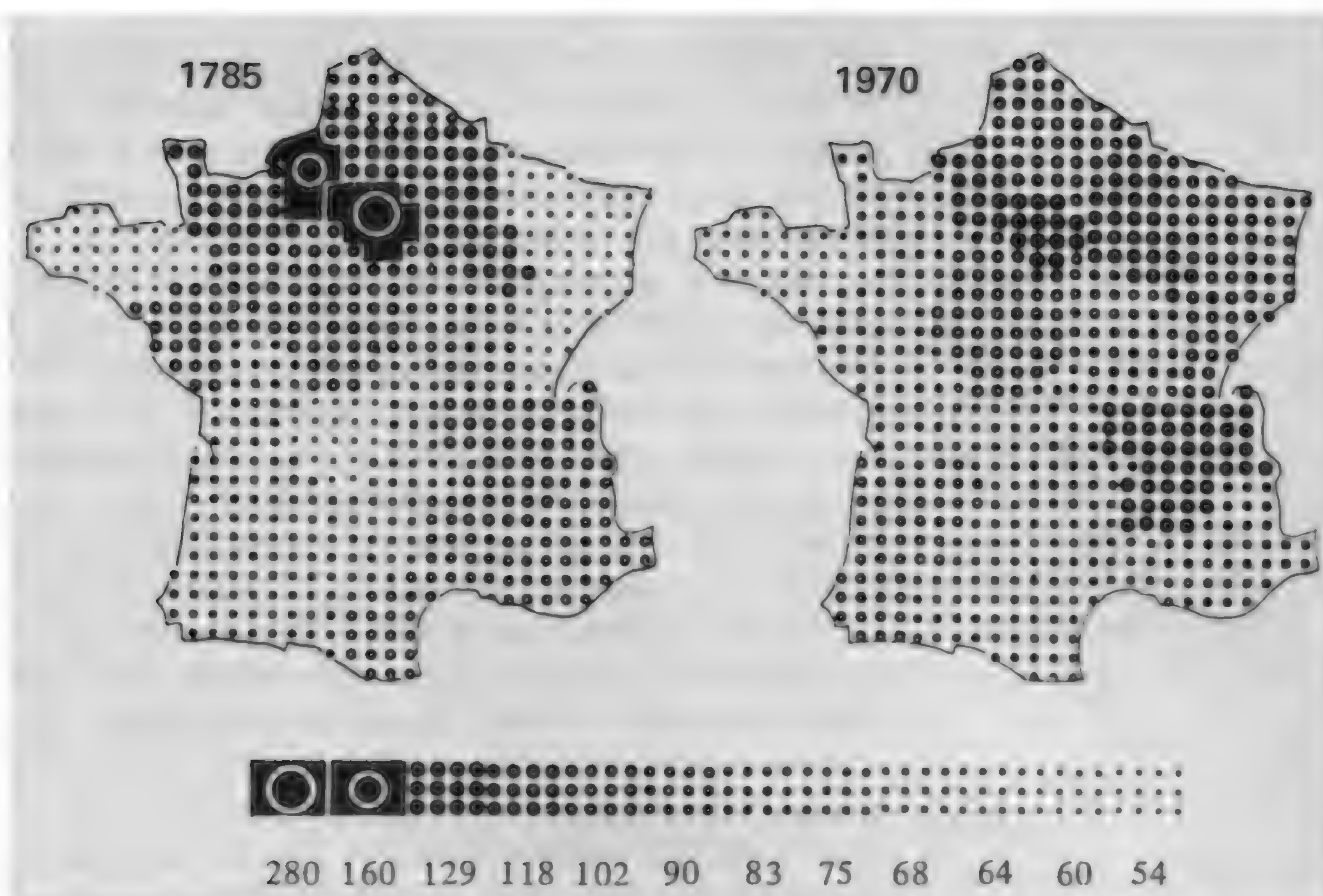


III. Облагать налогом означает измерять
Около 1704 г. правительство проектировало обложить налогом купечество городов королевства. Налоговый сбор с Лиона и Руана доходил до 150 тыс. ливров, для Бордо, Тулузы и Монпелье сумма составляла 40 тыс. ливров, для Марселя — 20 тыс. Эти данные определяют шкалу схемы. Париж не фигурировал в списке городов, подлежавших обложению. Разделить королевство в соответствии с уровнем этого обложения было бы непросто. Разве не примечателен тот факт, что к северу от параллели Ла-Рошели (обложенной 6 тыс. ливров) наблюдалось преобладание малых торговых городов, а к югу — крупных торговых городов? (По данным: A.N. G7 1688.)

именно земля вновь восторжествовала при Революции и Империи, и даже позднее. С одной стороны находилась торговля, которая пошла бы лучше, если бы ей для этого предоставили свободу. С другой — сельское хозяйство, которое будет бесконечно страдать от раздробления крестьянской собственности, и промышленность, которая за отсутствием средств и инициатив будет функционировать плохо. Таковы две Франции Эдварда Фокса[236].

Но, несмотря на талант этого автора, история Франции не могла быть вся целиком поглощена таким продолжительным, без конца возобновлявшимся диалогом. Не могла хотя бы потому, что не существовало одной-единственной *маргинальной* Франции. В самом деле, Франция оканчивалась одновременно на западе, противостоя морю — и там мы оказываемся в *другой* Франции Фокса,— и на востоке, противостоя континентальной Европе, Северной Италии позади Альп, швейцарским кантонам, Германии, испанским Нидерландам, ставшим в 1714 г. австрийскими, и Соединенным Провинциям. Я не утверждаю, что эта маргинальная Франция на востоке была настолько же важна и полна обаяния, как и Франция морских побережий, но она существовала, и если «маргинальность» имеет какой-то смысл, то она придавала ей непременную самобытность. Короче говоря, вдоль своих побережий Франция располагала «терминалами», морскими перевалочными пунктами: Дюнкерком, Руаном, Гавром, Каном, Нантом, Ла-Рошелью, Бордо, Байонной, Нарбонном, Сетом (основанным Кольбером), Марселем и цепочкой провансальских гаваней; то была, если угодно, Франция № 1. Францией № 2 были внутренние, обширные и разнообразные, области, к которым мы еще вернемся. Франция № 3 — то была гирлянда городов: Гренобль, Лион, Дижон, Лангр, Шалон на Марне, Страсбург, Нанси, Мец, Седан, Мезьер, Шарлевиль, Сен-Кантен, Лилль, Амьен, стало быть, более дюжины городов, включая в их число второстепенные горо-

[236] Fox E.C. *L'Autre France*. 1973.



IV. География дохода на душу населения по регионам
Исходя из средней величины дохода на душу населения в национальном масштабе (принимаемой за 100), дан процент для каждого региона. Для 1785 г. в Париже он составил 280, в Верхней Нормандии — 160, для Луары — Роны — 100 и т. д. Существовало ли превосходство Севера, как то побуждает предполагать схема? Да, но потребовалось бы вновь провести сложные расчеты, которые позволили это установить. Положение в 1970 г. приводится для сравнения. Региональное распределение дохода на душу населения, вполне очевидно, изменилось. (По данным Ж. Тутэна: Toutain J.-C. *La Croissance inégale des revenus régionaux en France de 1840 à 1970.— 7e Congrès international d'histoire économique.* Edinburgh, 1978, p. 368.)

да, которые протягивали цепь от Средиземного моря и Альп до Северного моря. Трудность заключается в том, что эту категорию городских поселений, где распорядителем игры был Лион, не так легко понять, как гирлянду городов приморских, что категория эта не столь однородна, не столь хорошо очерчена.

Логическое завершение экономического пространства Франции на востоке следовало бы — я говорю это *a posteriori* и (читатель может быть в том уверен) без малейшего оттенка ретроспективного империализма — обозначить проходящим от Генуи через Милан, Аугсбург, Нюрнберг и Кёльн до Антверпена или Амстердама, так, чтобы захватить на юге контрольный пункт Ломбардской равнины, удержать в лице Сен-Готарда дополнительные ворота через Альпы и контролировать то, что именуют «рейнским коридором» — осью городов, городской рекой. По тем же самым причинам, что помешали Франции завладеть Италией или Нидерландами, ей не удалось [нигде], за исключением Эльзаса, выдвинуть свою живую границу на Рейн, т.е. к пучку дорог столь же (или почти столь же) важных, как и дороги морские. Италия, Рейн, Нидерланды долгое время были заповедной зоной, «позвоночным столбом» европейского капитализма. Туда не мог проникнуть любой желающий.

К тому же на востоке королевство расширялось лишь медленно и с трудом, договариваясь с провинциями, которые ему удавалось присоединить, сохранив за ними часть их вольностей и привилегий. Так, вне пределов тарифа Пяти Главных откупов 1664 г. остались Артуа, Фландрия, Лионнэ, Дофине, Прованс; и более того, совершенно за пределами французского таможенного пространства остались провинции, *наподобие действительно иностранных (étranger effectif)* — Эльзас, Лотарингия, Франш-Конте. Нанесите эти провинции на карту — и вы очер-

тите пространство Франции № 3. Для Лотарингии, Франш-Конте и Эльзаса это означало полнейшую свободу в отношениях с внешним миром, открытость для иностранных товаров, возможность также (при помощи контрабанды) с выгодой внедрять эти товары в королевстве.

Если я не ошибаюсь, характеристикой таких лимитрофных зон оказывалась определенная свобода действий. Важно было бы лучше знать, как вели себя эти пограничные края, лежавшие между королевством и заграницей. Склонялись ли они к одной или к другой стороне? Каковы, например, могли быть участие и роль купцов из швейцарских кантонов во Франш-Конте, в Эльзасе и в Лотарингии, где в XVIII в. они себя чувствовали почти как дома? А также одинаковым ли было отношение к иноземцу, которого не обязательно любили, на пространстве от Дофине до Фландрии, например, во время революционного кризиса 1793—1794 гг.? И какова была на этих пространствах, где вольности было поболее, чем в прилегавшем королевстве, роль собственно городов—Нанси ли, Страсбурга ли, Меца ли или в особенности Лилля—на самом деле отличного примера, поскольку он ближе всего соприкасался с Нидерландами и достаточно близко—с Англией и вследствие того через этих соседей соединялся со всем миром?

Лилль ставит перед нами все проблемы Франции № 3. По меркам того времени это был значительный город. По окончании голландской оккупации (1713 г.) он, так же как и его окрýга, быстро оправился. Согласно протоколам поездок генеральных откупщиков в 1727—1728 гг., его «могущество столь велико, что он дает средства к существованию более чем ста тысячам человек в самом городе и в провинциях Фландрия и Эно своими мануфактурами и своими торговыми операциями»[237]. Вокруг Лилля и в самом городе активно действовала целая гамма текстильных предприятий, доменных печей, кузнечных и литейных производств. Он поставлял роскошные ткани, равно как и чугунные плиты для очагов, котлы и чугунки, золотой и серебряный галун, скобяной товар. Из соседних провинций и краев в Лилль в изобилии поступало все: сливочное масло, пригоняемый скот, пшеница... Город максимально использовал дороги, реки, каналы, без особого труда приспосабливался к навязываемому ему правительством изменению ориентации торговли в направлении запада и севера—в направлении Дюнкерка и Кале вместо Ипра, Турне и Монса.

[237] B. N., Ms. fr. 21773.

Главное же—Лилль был поворотным кругом: он получал все отовсюду, из Голландии, Италии, Испании, Франции, Англии, из испанских Нидерландов, из стран Балтийского бассейна; он брал у одних, чтобы перепродать другим, например перераспределяя в северном направлении французские вина и водки. Но первое место определенно заняли его торговые дела с Испанией и Америкой. Туда ежегодно отправлялось на 4—5 млн. лилльских товаров (прежде всего полотна и сукон), порой на собственный страх и риск негоциантов города («*à la grosse aventure*»), порой под прикрытием комиссионеров. Обратные поступления осуществлялись не столько в товарах, сколько в звонкой монете: по оценке 1698 г., на 3—4 млн. ли-

вров ежегодно [238]. Тем не менее эти деньги не попадали непосредственно в лилльскую «провинцию»; они уходили в Голландию или в Англию, где операции с ними осуществлялись легче и дешевле, нежели во Франции, хотя бы в силу иного процесса пробирной проверки монеты. Короче говоря, Лилль, вовлеченный во французскую экономику так же, как какой-нибудь другой город, больше чем на «полкорпуса» из нее выбивался.

После таких объяснений мы, быть может, лучше поймем такое выравнивание городов, находившихся вдали от границы, на немалом расстоянии от нее, городов вроде Труа, Дижона, Лангра, Шалона на Марне, Реймса: то были, иными словами, прежние города на окраине, сделавшиеся городами внутренней части страны, в которых глубоко укоренившееся прошлое пережило самое себя, как если бы Франция № 3, Франция, обращенная на восток и на север, образовалась из последовательных слоев наподобие заболони у деревьев.

ГОРОДА «ДРУГОЙ ФРАНЦИИ»

Говоря о городах «другой Франции», находившихся в контакте с морем, повторим, что дело предстает нашему взору намного более ясным. Там успех тоже был достигнут под знаком свободы действий и предпринимательства. Торговые операции этих активных портов, конечно же, были связаны с глубинными районами королевства, они питались оттуда, но интересы портов постоянно делали выбор в пользу открытого моря. Чего желал Нант около 1680 г.?[239] Чтобы был запрещен доступ во Францию англичанам, которые-де с успехом осуществляют «первые продажи», раньше других доставляя ньюфаундлендскую треску благодаря небольшим быстроходным судам; так нельзя ли их устранить хотя бы повышенными таможенными сборами? А также чтобы английский табак, заполонивший французский рынок, заменили табаком с Сан-Доминго. Чтобы у голландцев и гамбуржцев отобрали обратно прибыли от китобойного промысла, которые они — и те и другие — у нас-де отняли. И соответственно все остальное: это означало без конца ориентироваться за пределы Франции.

Эдвард Фокс, в рамках той же системы идей, задается по поводу Бордо вопросом: «Был ли он атлантическим или французским?»[240]. Со своей стороны Поль Бютель без колебания говорит об «атлантической столице»[241]. Во всяком случае, именно это утверждает один отчет, относящийся к 1698 г.: «Прочие провинции королевства, вплоть до части Бретани, не потребляют никаких съестных припасов из Гиени»[242]; не шло ли вино Бордо и его хинтерланда исключительно на потребу жажде и хорошему вкусу иностранных питухов Северной Европы? Подобным же образом Байонна была городом, настороженно следившим за дорогами, гаванями и белым металлом близлежащей Испании. Еврейские купцы из ее предместья Сент-Эспри следовали общему правилу, и в 1708 г. их обвинили (вероятно, справедливо) во ввозе в Испанию «самых плохих сукон, каковые они находят в Лангедоке и в иных местах»[243]. На

[238] B. N., Ms. fr. 21773, f^os 127 v°—131.

[239] A. N., G⁷ 1685, 67.

[240] Fox E. C. *Op. cit.*, p. 75.

[241] Butel P. *Les Négociants bordelais, l'Europe et les îles au XVIII^e siècle*. 1974, p. 381 sq.

[242] B. N., Ms. fr. 21773, f° 148.

[243] A. N., G⁷, 1692, f° 146.

двух оконечностях французского побережья мы видим: Дюнкерк, озабоченный тем, чтобы обойти английские запреты, и вмешивающийся во все — в лов трески, в торговлю с Антильскими островами, в торговлю неграми[244]; и Марсель — самый занятный, самый колоритный из таких городов на окраине королевства, «порт более варварийский и левантинский, нежели типично французский», если воспользоваться веселой колкостью Андре Ремона[245].

Но для того, чтобы присмотреться к делу поближе, ограничимся одним городом, Сен-Мало — вне сомнения, одним из самых показательных. И однако же, городом очень маленьким, «занимавшим площадь Тюильрийского сада»[246]. И даже в момент апогея, между 1688 и 1715 гг., жители Сен-Мало охотно изображали себя еще меньшими, чем они были на самом деле. Их город, заявляли они в 1701 г., «всего лишь бесплодная скала, не имеющая иного местного богатства, кроме промысла [своих жителей], каковой их делает, так сказать, извозчиками Франции», но извозчиками, которые водили свои 150 кораблей по всем морям света[247]. Ежели вам угодно им поверить — а в основе своей их похвальба почти заслуживает доверия, — они «первыми открыли лов трески и узнали Бразилию и Новый Свет раньше Америго Веспуччи и Кабрала (*sic!*). Они охотно напоминали о привилегиях, какие им были пожалованы герцогами Бретанскими (1230, 1384, 1433, 1473 гг.) и королями Французскими (1587, 1594, 1610, 1644 гг.). О всех привилегиях, долженствовавших выделить из их числа прочих бретонских портов, но которые начиная с 1688 г. «генеральным откупщикам» удалось ограничить посредством судебных постановлений и придирок. Так что Сен-Мало просил (но этого он не добьется), чтобы его объявили порто-франко, как Марсель, Байонну, Дюнкерк и «с недавнего времени Седан».

Вполне очевидно, что жители Сен-Мало не были вне преде-

[244] Trenard L. *Histoire des Pays-Bas français*. 1972, p. 330.
[245] Rémond A. *Op. cit.*, p. 437.
[246] Meyer J, *L'Armement nantais de la seconde moitié du XVIII^e siècle*. 1969, p. 62.
[247] A. N., G[7], 1686, f[os] 59, 60.



Сен-Мало в XVII в. (гравюра на дереве). *Париж, Национальная библиотека. Фото Жиродона.*

лов Бретани, полотно которой они экспортировали; не были они и вне пределов королевства, самые дорогостоящие и самые легкие для продажи товары которого — лионские и турские атласы, золотые и серебряные парчи, бобровые меха — они вывозили на своих фрегатах, регулярно приходивших в Кадис. И разумеется, они перепродавали иноземные товары, те, что они привозили сами, и те, что им привозили другие. Но для всей торговли жителей Сен-Мало главным двигателем была Англия: туда они отправлялись за тем или иным количеством товара, оплату которого они должны были производить векселями на Лондон. Затем следовала Голландия, которая на своих собственных кораблях доставляла им [в Сен-Мало] еловые доски, мачты, канаты, пеньку, смолу. У Ньюфаундленда они ловили треску, переправлявшуюся ими в Испанию и в Средиземноморье. Жители Сен-Мало постоянно посещали Антильские острова, где Сан-Доминго одно время был *их* колонией. Они имели успех в Кадисе, который с 1650 г. был фактически «американскими» воротами Испании: купцы из Сен-Мало присутствовали там и были активны задолго до 1672 г.[248], совершая сделки с белым металлом, а вслед за тем укоренились там благодаря созданным на месте могущественным и активным торговым домам. Так что в 1698 г. и даже позднее проблемой для жителей Сен-Мало было не прозевать в Кадисе отплытие галионов, которые шли в Картахену Индий и отправлялись без заранее установленного расписания; и еще более — своевременно присоединиться к «флоту» («*flota*»), который приходил в Новую Испанию «обязательно 10 или 15 июля». «Американские» доходы Сен-Мало обычно поступали лишь «через полтора-два года, считая от отплытия». В среднем они достигали 7 млн. ливров в монете, но купцы знавали и более прибыльные годы — до 11 млн., и корабли из Сен-Мало, возвращаясь из Средиземного моря, заходили в Кадис и привозили «одни 100 тыс., другие — 200 тыс. пиастров». Еще до войны за Испанское наследство «Компания Южного моря, именуемого Тихим океаном, была учреждена Королевской грамотой от сентября 1698 г.»[249] Отсюда и неслыханное развитие контрабанды и прямого использования американского серебра. То было самое странное, вполне можно было бы сказать, самое сенсационное из всех похождений моряков Сен-Мало и даже вообще французских мореходов, которое развертывалось между 1701 г. и 20-ми годами XVIII в. во всемирно-историческом масштабе.

Такая удача завершила оттеснение Сен-Мало, морского оазиса и отдельного целого, на маргинальное место в королевстве. Обилие наличных денег даже избавляло его от того, чтобы быть вексельным рынком, связанным с прочими[250]. К тому же город был плохо связан сухопутной дорогой с Бретанью и того более — с Нормандией и Парижем: в 1714 г. не существовало «правильной почтовой связи между [Сен-Мало] и Понторсоном, отстоящим от сего города на 9 лье»[251]; Понторсон расположен на небольшой прибрежной реке Куенон, которая к востоку от Сен-Мало образует границу между Бретанью и Нормандией. Из этого проистекали и задержки с почтой:

[248] *«Gazette d'Amsterdam»*, 1672.
[249] A.N., Colonies, F 2A, 16; F 2A, 15 (4 марта 1698 г.).
[250] A.N., 94 AQ 1 (8 января 1748 г.).
[251] A.N., G[7], 1698, 224 (19 февраля 1714 г.).

«Почта приходит по Канской дороге только по вторникам и субботам, а по Реннской дороге — по четвергам каждую неделю; так что стоит только пропустить отправку писем почтой, эти [сроки] изменяются»[252]. Граждане Сен-Мало, вне сомнения, на это жаловались, но не слишком торопились исправлять положение. Да и была ли у них в том настоятельная нужда?

[252] *Ibid.*, 223 (7 февраля 1714 г.).

ВНУТРЕННИЕ РЕГИОНЫ

Итак, с одной стороны — окраины, некая окружность; с другой — внутренние регионы, огромная поверхность. С одной стороны — тонкость [прослойки], раннее развитие, *относительное* богатство, блистательные города (Бордо во времена Турни* был как бы Версалем и Антверпеном вместе)[253]; с другой стороны — плотность [заселенности], частая бедность и, если исключить чудовищный успех Парижа, города, жившие словно в серых тонах, чья красота, какой бы очевидной она ни была, чаще всего оказывалась наследием, традиционным блеском.

Но прежде чем двинуться дальше, как не отметить наши затруднения перед тем бескрайним полем наблюдения? Мы располагаем фантастической документацией, тысячами исследований, но в огромном своем большинстве посвященных частному случаю одной провинции. А ведь то, что имеет значение в национальном рынке, так это, очевидно, игра одних провинций по отношению к другим. Правда, с 1664 г. берет начало «традиция глобальных обследований», проводившихся разом во всех фискальных округах (*généralités*)[254] королевства. Таким образом, у нас есть «синхронные» картины и разрезы. Всего более известны так называемые интендантские, или же герцога Бургундского, обследования, начатые в 1697 г. и с трудом законченные в 1703 г., и проведенное «с барабанным боем» обследование генерального контролера Орри, завершенное в 1745 г., в момент, когда его устроитель впал в немилость, и потому отброшенное. Так что в 1952 г. Денвиль почти случайно обнаружил сводное резюме этого обследования, принадлежащее перу члена Французской академии, чье имя остается неизвестно нам[255].

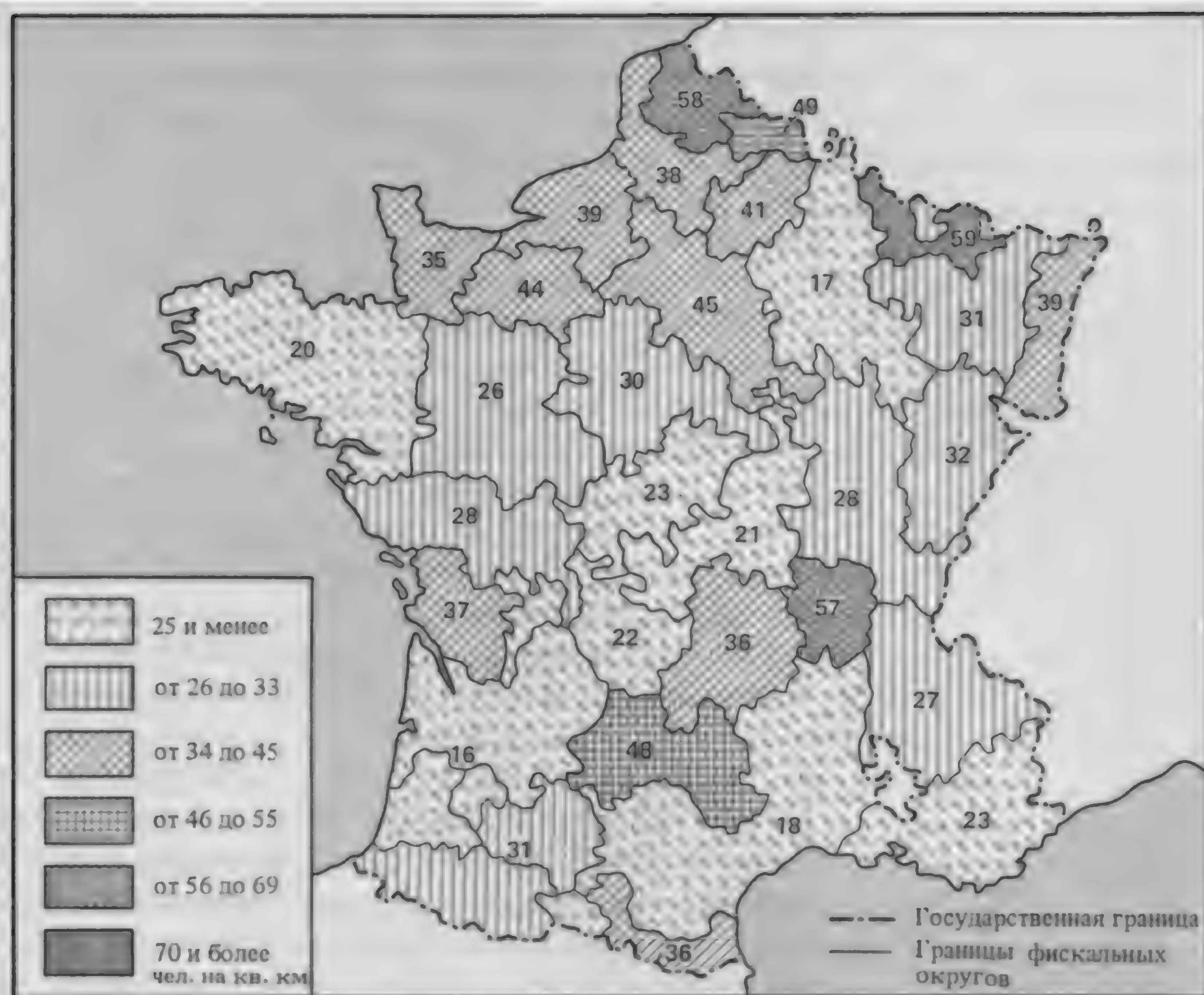
* Маркиз Луи де Турни (1690—1760), интендант Гиени и Лимузена; в его правление Бордо украсился множеством великолепных построек.— *Прим. перев.*

[253] По выражению Виктора Гюго: Hugo V. *En voyage: Alpes et Pyrénées.* 1890.

[254] Женералитэ (*Généralités*) — административные единицы, находившиеся под управлением интенданта.

[255] Dainville F., de. *Un dénombrement inédit au XVIII^e siècle: l'enquête du contrôleur général Orry, 1745.*— *«Population»*, 1952, p. 49 sq.

Но пороки таких синхронных картин бросаются в глаза. Они прежде всего описательны, тогда как хотелось бы заняться счетоводством, перейти к цифрам, самое малое — к картографическому изображению, которое сделало бы описания доступными пониманию, что не всегда случается с ними при первом прочтении. Я попытался грубо нанести на карту [данные] обследования интендантов, используя для показа торговых связей разных фискальных округов: красную черту для изображения торговых связей с заграницей; синюю черту — для обменов между фискальными округами; наконец, черный карандаш для торговых связей на короткие расстояния, внутри данного округа. Отсюда я пришел к уверенности, что с конца XVII в. Франция обнаруживала тенденцию к образованию сети с довольно мелкими ячейками, словом, национального рынка. Однако карта эта осталась на стадии наброска. Для того чтобы быть



Плотность населения в 1745 г.
Карта составлена Франсуа де Денвилем (см. прим. 255).

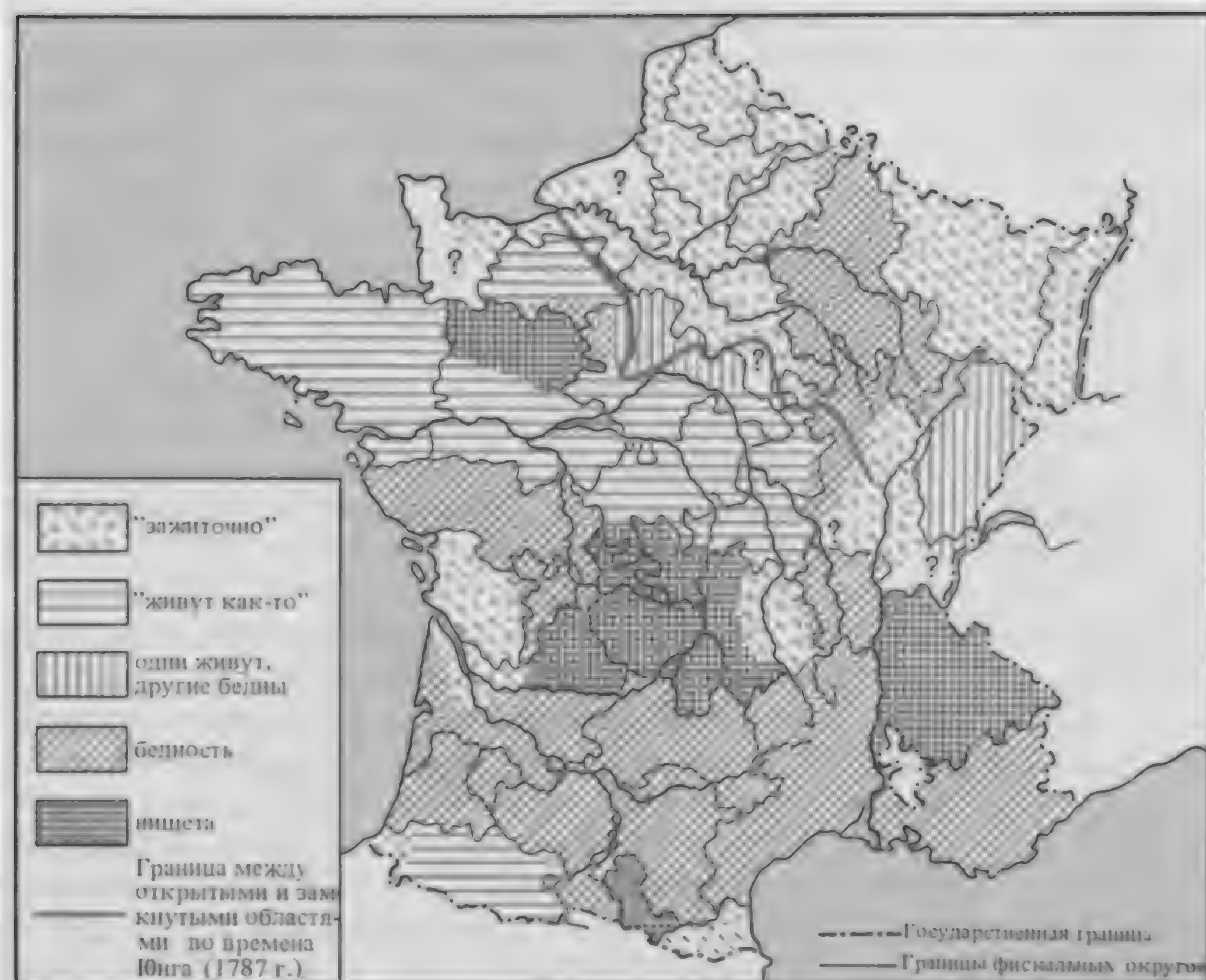
приемлемой, она потребовала бы труда целой бригады, тем более что надобно было бы дифференцировать стрелки в зависимости от обменивавшихся товаров. И использовать другие документы, чтобы попытаться их [эти стрелки] уравновесить, что свелось бы к сравнению объемов торговли внутренней и внешней — решающей проблеме, относительно которой у нас есть лишь априорные утверждения, а именно что внутренняя торговля намного превосходила торговлю внешнюю, будучи по крайней мере вдвое или втрое больше.

Другое неудобство «синхронных» картин, какими мы располагаем, состоит в том, что они чересчур друг на друга похожи и друг друга повторяют в той мере, в какой они располагаются в относительно коротком пространстве, менее столетия: с 1697 по 1745 и 1780 гг. Тут невозможно провести разграничение между тем, что есть долговременная структурная реальность, и переменами, зависящими от обстоятельств. Мы бы хотели уловить сквозь игру между провинциями возможную систему глубоких закономерностей; к такой системе, если она вообще существовала, непросто подступиться.

Однако обследование генерального контролера Орри предлагает к тому кое-какие полезные ключи. В самом деле, он различал провинции в соответствии с «возможностями народов», которые там живут. Было установлено пять уровней: *«они зажиточны» («ils sont à l'aise»)*; «*они живут* [безбедно]» (*«ils vivent»)*; «*одни живут* [безбедно], *другие бедны» («les uns vivent, les autres sont pauvres»)*; *«они бедны» («ils sont pauvres»)*; *«они нищие» («ils sont misérеux»)*. Если вы будете держаться границы между уровнем 3 (*одни живут* [безбедно], *другие бедны*) и уров-

нями 4 и 5 (*бедность*, *нищета*), вы получите линию раздела между бедными регионами и регионами относительно богатыми. Линия эта в общем хорошо различает привилегированный Север и обделенный Юг. Но с одной стороны, на Севере, как и на Юге, имелись исключения, которые вносили в правило нюансы: на Севере малонаселенная (17 жителей на кв. км) Шампань была бедна, Алансонский фискальный округ вписывался в зону откровенной нищеты; на Юге фискальный округ Ла-Рошели был «зажиточен», так же как район Бордо; точно так же и Руссильон. С другой же стороны, географическая граница между Севером и Югом не совпадала, как этого можно было ожидать, с регионами уровня 3, промежуточными между богатством и бедностью. Эта приграничная зона предстает (с запада на восток) как полоса территорий сначала «бедных» на атлантическом побережье Пуату, затем «нищих» — в Лиможском и Риомском фискальных округах (хотя в этом последнем Нижняя Овернь была зоной благосостояния), и снова бедных и нищих в Лионнэ и Дофине и далее в Савойе, еще не бывшей французской. Такие регионы в самом сердце Франции были по преимуществу слаборазвитыми зонами французского пространства, к тому же зачастую краями эмиграции — как Лимузен, Овернь, Дофине, Савойя. И тем не менее эмиграция с ее обычным «возвратом» денег улучшала условия местной жизни (Верхняя Овернь, хоть и «нищая», была, может быть, не более обездоленной, чем Лимань, бывшая «зажиточной»).

Другая ось внутренней бедности вырисовывалась с юга на север, от бедного Лангедока до такой же бедной Шампани. Не наблюдалось ли здесь пережитка оси север — юг, которая



«Возможности народов» в XVIII в. Источник тот же. Комментарий см. выше (*«Population»*, 1952, № 1, p. 58—59).

в XVI в. отмечала стык Франции континентальной и Франции океанической (что до меня, то я в этом сомневаюсь)? Во всяком случае, обследование Орри показывает, что дифференциальная ситуация на французской территории была более сложной, чем то заранее предполагали.

Именно это повторяют карты, составленные Андре Ремоном[256], дающие для лет, близких к 1780 г., три серии показателей: урожайность зерновых, цены на зерно, фискальный пресс. В нашей власти присоединить сюда данные в целом приемлемой демографии. Эти карты, итог потрясающего труда, к сожалению, трудно интерпретировать, как только пытаешься скомбинировать одни показатели с другими. Так, Бретань, видимо, сохраняла свое весьма скромное равновесие, ибо ее не слишком придавливал налоговый пресс (то была привилегия областей, имевших местные штаты), а экспорт зерновых в первую очередь объяснял там высокие цены на зерно, служившие нередко, когда к тому предоставлялись возможности, как было то в 1709 г.[257], источником прибылей. Бургундия, знававшая высокие урожаи, пользовалась выгодами умеренного налогообложения и частого вывоза зерна по Соне и Роне; высокие цены на пшеницу могли быть благоприятными и там. Напротив, в Пуату, Лимузене, Дофине нищета безоговорочно совпадала со слабыми урожаями и высокими ценами.

Сопоставление с цифрами численности населения и плотности заселения не позволяет заходить далеко. Следовало бы вместе с Эрнстом Вагеманом признать, что уровни плотности свидетельствуют об общей экономической активности. Мы бы охотно рискнули, ради развлечения, опробовать «порог» в 30 жителей на кв. км: то, что оказалось бы ниже, *априорно* было бы неблагоприятным, а выше — благоприятным. В Южной Франции все более или менее согласовалось бы с таким критерием, но в 1745 г. фискальный округ Монтобана с плотностью, равной 48 человекам на кв. км, противоречил бы ему.

Существовал ли иной путь? Да, но сложный. Картография Андре Ремона позволяет восстановить для среднего года производство зерна и цены этой продукции по каждому фискальному округу. Исходя из *двадцатины*[258], индикатора дохода с земель, можно было бы рассчитать этот последний, по крайней мере (поскольку теоретическое соотношение 1 к 20 никогда не было достигнуто) определить порядок величин. Затем подсчитать сумму этих *поземельных* доходов и увидеть их соотношение с ВНП Франции; и таким образом обрести коэффициент, который, будучи приложен к поземельному доходу какого-то фискального округа, дал бы общий объем его валового продукта и его доход на душу населения, что в данном случае было бы самым знаменательным показателем. Так мы располагали бы серией доходов на душу населения по провинциям, которые позволили бы со знанием дела оценить дифференциальное богатство Франции. Довести до конца решение задачи такого порядка с надлежащими осторожностью и смелостью был бы способен один только Андре Ремон. К сожалению, он этого не сделал или по крайней мере он еще не обнародовал свои результаты.

[256] Rémond A. *Op. cit.*, p. 443, 446.

[257] См. Labrousse E.— в: Braudel F., Labrousse E. *Op. cit.*, II, p. 362.

[258] Marion M. *Les Impôts directs sous l'Ancien Régime principalement au XVIIIe siècle.* 1974, p. 87—112. Учрежденный в 1749 г. взамен десятины, этот налог «реально был налогом на доходы с земель и намного ниже реальной двадцатины». См.: Marion M. *Dictionnaire des institution*, p. 556.

Итак, не будет преувеличением утверждать, что Францию Старого порядка остается открыть в ее внутренних реальностях и соотношениях. Недавняя книга Жана-Клода Перро — «*Золотой век французской региональной статистики*»[259] — свела во впечатляющем каталоге имеющиеся в нашем распоряжении печатные источники, на сей раз не по фискальным округам — женералитэ, а по департаментам, за период с IV по XII г. (1796—1804 гг.). Это целое обследование, которое можно возобновить для соседних эпох, и ставка того стоит. Но следовало бы также избежать цифровых чар XVIII в. и углубиться в предшествовавшие столетия сколь возможно дальше. И наконец, в ином направлении, разве не будет первоочередной задачей проверить на материале XIX в., не сохранила ли система французских внутренних взаимоотношений в ходе своей эволюции все те же структурные неуравновешенности?

[259] Perrot J.-C. *L'Age d'or de la statistique régionale française, an IV—1804*. 1977.

ВНУТРЕННИЕ РЕГИОНЫ, ЗАВОЕВАННЫЕ ПЕРИФЕРИЕЙ

Что в целом внутренние регионы относились ко второстепенной категории французской жизни (исключения лишь подтверждали правило), это без околичностей показывают те завоевания, что осуществляли в этом «нейтральном» (я имею в виду — малоспособном к сопротивлению) пространстве города периферии: они организовывали выходы [из него], они контро-



Базакльская башня и мельницы в Тулузе. Гравюра XVII в. *Фото Роже—Виолле.*

лировали входы. Города эти господствовали над в высшей степени податливой Францией, пожирали ее изнутри. Например, Бордо присоединил к себе Перигор[260]. Но есть примеры и получше.

В недавней работе [261] Жорж Фреш удачно ставит эту проблему. Регион Юг — Пиренеи, центром которого в XVIII в. была Тулуза, был обширным куском внутренней Франции, «пленником земель», невзирая на путь по Гаронне, на драгоценный Южный канал и на такое множество доступных для использования дорог. В такой же мере, как континентальное расположение, играло свою роль и тройное притяжение Лиона, Бордо и Марселя; местности вокруг Тулузы и сама Тулуза оказались «сателлитизированы». С этой точки зрения карта маршрутов хлебной торговли не требует комментариев. Если добавить сюда притягательную силу Лиона для шелка, то треугольник, в котором была зажата судьба Тулузы, окажется вычерчен. Так что ни хлеб, ни шелк — а в XVI в. даже и пастель — не освободили Тулузу, исторически заранее осужденную на второстепенное положение, в котором она и застряла. Характерно, что Жорж Фреш говорит о «зависимой торговле», о «торговой сети под опекой». Даже хлебная торговля ускользала от местных купцов к выгоде комиссионеров, обслуживавших негоциантов либо Бордо, либо Марселя[262].

Отправляясь от ключевых городов, т.е. портов и континентальных рынков на окраинах территории, Франция дробилась на зависимые зоны, сегменты, секторы, которые при посредстве городов получали выход на европейскую экономику, задававшую ритм. И именно под таким углом зрения может быть схвачен в своей реальности диалог Франций торговых и Франций территориальных. Если торговое общество, несмотря на его преимущества, не восторжествовало во Франции над обществом территориальным, то произошло это одновременно и потому, что последнее обладало внушительной плотностью, и потому, что лишь редко его можно было привести в движение на всю глубину. Но дело было также и в том, что Франция не занимала в международном порядке положения, выпавшего на долю Амстердама, а потом Лондона, и что ей недоставало первоклассной мощи, чтобы вдохновить и увлечь за собой региональные экономики, которые сами по себе отнюдь не всегда стремились к экспансии любой ценой.

260 A. N., F12, 721 (11 июня 1783 г.)

261 Frêche G. *Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières, vers 1670—1789.* 1974, p. 836. и общее заключение.

262 Об этой проблеме см.: Cocula A.-M. *Pour une définition de l'espace aquitain au XVIIIe siècle.— Aires et structures du commerce français.* Ed. P. Léon, 1975, p. 301—309.

ТОРГОВОЕ ПРЕОБЛАДАНИЕ АНГЛИИ

Задаться вопросом, как Англия стала связным, сплоченным *национальным рынком*, означает поставить вопрос важный, ибо он сразу же влечет за собой второй: как английский национальный рынок в силу своего веса и в силу обстоятельств навязал свое преобладание внутри расширившейся экономики Европы?

Такое медленно созидавшееся преобладание дает о себе знать с Утрехтского мира (1713 г.), в 1763 г., по окончании Семилетней войны, оно уже очевидно, и невозможно оспаривать, что оно было уже достигнуто сразу после Версальского догово-

ра (1783 г.), притом что Англия в нем представала державой побежденной (что, впрочем, было совершенно неверно), а после устранения Голландии она определенно оказалась в самом центре мировой экономики.

Эта первая победа предопределила вторую — близкую промышленную революцию, — но сама она глубоко погружена в английское прошлое, так что мне представилось логичным отделить торговое преобладание от преобладания промышленного, которое за ним последовало и которым мы займемся в одной из последующих глав.

КАК АНГЛИЯ СТАЛА ОСТРОВОМ

Между 1453 и 1558 гг., между окончанием Столетней войны и отвоеванием Кале Франсуа де Гизом, Англия, сама этого в тот момент не сознавая, сделалась островом (да простят мне это выражение) — понимай: автономным пространством, отличным от континента. До этого решающего периода Англия, невзирая на Ла-Манш, на Северное море, на Па-де-Кале, была «телесно» привязана к Франции, к Нидерландам, к Европе. Ее долгий конфликт с Францией во время Столетней войны (на самом деле второй Столетней войны, так как первой была война Плантагенетов против Капетингов), по справедливому выражению Филиппа де Фриса, «развертывался в более или менее провинциальном плане»[263]. Это то же самое, что сказать: Англия вела себя как одна из провинций (или группа провинций) англо-французского пространства, которое целиком, или почти целиком, было ставкой в нескончаемой борьбе. Продолжительное время, более столетия, Англия была замешана, растворена в бескрайности оперативного пространства, каким была Франция, и последняя медленно избавлялась от первой.

В такой игре Англия запаздывала стать самой собой; она впадала в грех, я хочу сказать, в опасность гигантомании. Вплоть до того момента, как, вытесненная из Франции, она оказалась сведенной к самой себе. То, что впоследствии Генрих VIII потерпел неудачу в своих попытках вновь внедриться в европейское пространство, было, вероятно, для нее новым шансом. Томас Кромвел, министр Генриха, предостерегал короля против неслыханных расходов на войну за пределами королевства, и речь, произнесение которой в палате общин в 1523 г. ему приписывают[264], показательна во многих отношениях: война, утверждал он, стоила бы столько же, сколько вся денежная масса, находящаяся в обращении в королевстве; «война заставила бы нас, как уже было однажды, использовать кожу для чеканки монеты. Я бы сим вполне удовольствовался со своей стороны. Но ежели король лично отправится воевать и, не приведи Господь, попадет в руки неприятеля, то как выплачивать выкуп за него? Коли французы за свои вина желают получать только золото, примут ли они кожу в обмен за нашего государя?» Генрих VIII, однако же, предпринял эту авантюру, в которой в конце концов успеха не имел. Но позднее Елизавета не только на словах будет яростно стараться взять обратно Ка-

[263] Vries Ph., de. *L'animosité anglo-hollandaise au XVII^e^ siècle.— «Annales E. S. C.»*, 1950, p. 42.

[264] *Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII.* Ed. Brewer, III/II, 1867, p. 1248. Цит. по: Heckscher E. *Op. cit.*, p. 693, note 1.

ле, который потеряла Мария Тюдор и который французы не слишком искренне обязались возвратить по миру в Като-Камбрези (1559 г.). Короткое время, но лишь короткое время, она владела Гавром, который был у нее отобран в 1562 г.

С того времени игра была окончена. Ла-Манш, Северное море, Па-де-Кале стали линией раздела, защитным «плавучим бульваром». Один француз около 1740 г. с ученым видом скажет об Англии: «Остров кажется созданным для коммерции, и его обитатели должны более думать о том, как себя защитить, нежели о том, чтобы распространять завоевания свои на континент. Им было бы весьма трудно оные сохранить, по причине отдаленности и превратностей моря»[265]. Но правило действовало и для европейцев с континента по отношению к острову. Когда в мае 1787 г. Артур Юнг, возвращаясь домой, пересек Па-де-Кале, он поздравлял себя с тем, что пролив «столь счастливо для Англии отделяет ее от остального мира»[266]. То было определенно преимущество, но преимущество, долгое время как таковое не воспринимавшееся.

В начале нового времени тот факт, что англичане были отброшены к себе домой, повысил для них значимость задач внутренних, введения в оборот земель, лесов, пустошей, болот. С этого времени они больше внимания уделяли опасным границам Шотландии, внушавшей беспокойство близости Ирландии, заботам, вызывавшимся Уэльсом, который в начале XV в. после восстания Оуэна Глендоуэра временно восстановил свою независимость и который, будучи приведен к повиновению, тем не менее оставался *«непоглощенным» («unabsorbed»)*[267]. Наконец, при своем псевдопоражении Англия выиграла и оттого, что была сведена к скромным размерам, которые впоследствии должны были оказаться намного более благоприятны для быстрого образования национального рынка.

Одновременно разрыв с континентом в 1529—1533 гг. был «продублирован» разрывом с Римом, что еще более усилило «дистанцирование» английского пространства. Реформация, как справедливо сказал Намье, была также и языком национализма. Англия стремительно ее приняла, а затем бросилась, или была брошена, в авантюру, имевшую многочисленные следствия: король сделался главой англиканской церкви, он стал папой в своем королевстве; конфискация и распродажа церковных земель придали новый толчок английской экономике; а что еще больше ее подтолкнуло, так это то, что Британские острова, долгое время бывшие на краю света, у оконечности Европы, сделались после Великих открытий отправной точкой плаваний к новым мирам. Конечно, Англия не преднамеренно отделилась от старого европейского «блокшива», имея в виду лучше открыться для мира, но результат оказался именно таким. И плюс к этому дополнительный залог отделения и самостоятельности — память прошлого, враждебность к Европе, слишком близкой, которую не удалось бы выбросить из головы. «Вполне определенно, — замечал Сюлли[268], прибывший в Лондон чрезвычайным послом Генриха IV в 1603 г., — англичане нас ненавидят, и ненавистью столь силь-

[265] Abbé Le Blanc J.-B. *Op. cit.*, I, p. 137.

[266] Young A. *Voyages en France..*, I, p. 73.

[267] Rowse A. L. *Tudor Expansion: the Transition from Medieval to Modern History. — William and Mary Quaterly.* 1957, p. 312.

[268] Sully. *Mémoires*, III, p. 322.

ной и всеобщей, что возникает соблазн причислить сию ненависть к естественным свойствам сего народа».

Но чувства не возникают без причины, и вина, если таковая имеется, всегда лежит на обеих сторонах. Англия не находилась еще в «блестящей» изоляции; она ощущала себя если и не осажденной (это было бы слишком сильно сказано), то по меньшей мере подвергающейся угрозе со стороны недружественной Европы, политически опасной Франции, вскоре обретшей чрезмерные преимущества Испании, Антверпена с его господствующими купцами, а позднее со стороны торжествующего Амстердама, именно поэтому вызывавшего зависть и ненависть... Пойдем ли мы так далеко, чтобы сказать, что остров обладал комплексом неполноценности? Он был бы для него тем более логичным, что текстильная «индустриализация» Англии в конце XV и в XVI вв., переход от сырцовой шерсти к сукну еще больше, чем прежде, включили остров в торговые кругообороты Европы. Английский торговый ареал расширился; английское мореплавание открыло для себя мир, и этот мир отразился в ней. Мир, в котором Англия усматривала опасности, угрозы и даже «заговоры». Например, для современников Грешэма купцы итальянские и купцы антверпенские сговаривались между собой, дабы по своему усмотрению понижать курс



Лондонская биржа в 1644 г. Гравюра В. Холлара. *Национальная библиотека. Кабинет эстампов.*

фунта стерлингов и за более низкую цену получать плоды труда английских ткачей. На такие угрозы, не всегда бывшие воображаемыми, но зачастую преувеличенными, Англия реагировала энергично. Итальянские купцы-банкиры были устранены в XVI в.; ганзейцы утратили свои привилегии в 1556 г., а в 1595 г. лишились Стального двора (Стилъярда). Именно против Антверпена Грешэм в 1566—1568 гг. основывал то, что станет Лондонской биржей (*Royal Exchange*); именно против испанцев и португальцев на самом деле создавались акционерные компании (*Stocks Companies*); именно против Голландии был издан в 1651 г. Навигационный акт, а против Франции будет проводиться в XVIII в. яростная колониальная политика... Англия, таким образом, была страною под напряжением, настороженной, агрессивной, намеревавшейся повелевать и осуществлять надзор у себя дома и даже за его пределами, по мере того как укреплялось ее положение. В 1749 г. один умеренно недоброжелательный француз иронизировал: «Англичане рассматривают свои притязания как права, права же своих соседей — как узурпацию»[269].

[269] Abbé Le Blanc J.-B. *Op. cit.*, III, p. 273.

ФУНТ СТЕРЛИНГОВ

Что могло бы в случае надобности проиллюстрировать своеобразную историю фунта стерлингов, так это то, что в Англии, согласно банальной формуле, ничто не происходит так, как у других. В самом деле, вот обычная *расчетная монета*, схожая со множеством других. Но ведь в то время как последние непрестанно варьируют, манипулируемые государством, выбиваемые из седла враждебными конъюнктурами, фунт стерлингов, стабилизированный королевой Елизаветой в 1560—1561 гг., более варьировать не будет и сохранит свою действительную стоимость вплоть до 1920-го, даже до 1931 г.[270] В этом есть нечто чудесное, на первый взгляд с трудом поддающееся объяснению. Фунт стерлингов, эквивалентный четырем унциям чистого серебра, или, если угодно, полумарке белого металла[271], в таблице европейской монеты на протяжении более трех столетий вычерчивал удивительную прямую линию. Что же, он находился за пределами истории, даже не имел истории, как не имеют ее блаженные народы? Конечно же, нет, ибо во времена Елизаветы траектория начиналась в трудных и запутанных обстоятельствах и сохранилась она, пройдя через целую серию кризисов, которые могли бы заставить ее совершенно изменить направление — в 1621, 1695, в 1774 и даже в 1797 г. Эти хорошо известные эпизоды были изучены в деталях, умело объяснены. Но истинная, невероятная проблема заключается в том, чтобы понять их совокупность, сумму таких инцидентов и таких успехов, эту историю, которая невозмутимо шла своим путем, историю, интермедии которой мы понимаем одну за другой, но гораздо меньше понимаем то, что их между собою связывает. Проблема, вызывающая раздражение, абсурдный роман, потому что он от главы к главе почти не от-

[270] Thomas J.-G. *Inflation et nouvel ordre monétaire*. 1977, p. 58.

[271] Savary J. *Op. cit.*, III, col. 632.

крывает нам свою тайну, — а в нем должна быть, в нем непременно есть какая-то тайна, какое-то объяснение.

Нам нет надобности доказывать, сколь важна эта проблема: устойчивость фунта была решающим элементом английского величия. Без устойчивости денежной меры не бывает легкого кредита, не бывает безопасности для того, кто ссужает свои деньги государю, не бывает контрактов, которым можно было бы довериться. А без кредита нет величия, нет финансового превосходства. Впрочем, великие ярмарки — лионские и безансонско-пьяченцские, — чтобы оградить свои сделки, создали для собственного употребления такие фиктивные и устойчивые деньги, как соответственно *экю с солнцем (êcu au soleil)* и *марковый экю (écu de marc)*. Точно так же Банк Риальто, образованный в 1585 г., Амстердамский банк, открытый в 1609 г., навязали тот и другой банковские деньги, котировавшиеся ниже монеты, бывшей в обращении и столь разной: *ажио* банковских денег по отношению к обычным монетам было залогом безопасности. Английский банк, основанный в 1694 г., не будет нуждаться в такой гарантии: его расчетная монета, фунт стерлингов, давала ему безопасность своей постоянной стоимостью. Все это не подлежит сомнению, но важно сделать отсюда выводы. Так, Жан-Габриель Тома, банкир, соблазнившийся историей, ссылаясь на английскую мудрость, утверждает в недавно вышедшем труде (1977 г.) [272], что неудача системы Лоу имела важную причину, обычно замалчиваемую: несвоевременные девальвации расчетной монеты, турского ливра, — это означало препятствовать нормальной игре кредита, разрушать доверие, убивать курицу, несущую золотые яйца.

Возвращаясь к истории фунта стерлингов, будем верить не в какое-то единственное объяснение, но скорее в серию, в последовательный ряд объяснений; не в некую общую теорию, будто бы руководившую ясной политикой, но в ряд прагматических решений, принимавшихся, чтобы уладить проблему в данный момент, и постоянно оказывавшихся в долговременной перспективе решениями высокой мудрости.

В 1560—1561 гг. Елизавета и ее советники, в первом ряду которых стоял великий Томас Грешэм, задались целью исправить невероятные расстройства, возникшие из *Великой порчи (Great Debasement)* [273], феноменальной инфляции 1543—1551 гг. На протяжении этих трудных лет проба находившихся в обращении серебряных монет — шиллингов и пенсов — была снижена сверх всякой меры. С 11 унций 2 весовых пенсов *(Dwt)* [274] на 12 унций монетного металла (т.е. 37/40 чистого серебра) она в 1543 г. снизилась до 10 унций, а в результате нескольких следовавших одна за другой девальваций дошла всего до 3 унций в 1551 г., т.е до четверти чистого металла на три четверти лигатуры. Елизаветинская реформа была возвращением к прежней пробе монеты, к «старинному справедливому стандарту» *(«ancient right standard»)* — 11 унциям 2 весовым пенсам чистого металла на 12 унций. Реформа была срочно необходима: беспорядок достиг крайних пределов, в обращении была монета разного веса, разной пробы, зачастую — обрезанная, а стоимость ее оставалась тем не менее одной и той же. Мы сказали бы, что то

[272] Thomas J.-G. *Op. cit*, p. 60—61.

[273] Это выражение, обычное среди английских историков, послужило заглавием для книги Дж. Д. Гулда: Gould J. D. *The Great Debasement*. 1970.

[274] *Dwt* — аббревиатура термина «весовой пенс» («penny-weight»), составлявшего двадцатую часть унции. Читатель может заняться подсчетом соотношения 11 унций 2 *dwt* к 12: ответ будет равен 222/240, т. е. 37/40.

были металлические ассигнаты, как бы бумажные деньги. Цены за несколько лет выросли вдвое или втрое, а курс английских векселей в Антверпене упал — два бедствия, добавлявшиеся одно к другому, ибо Англия, крупный экспортер сукон, была торговым кораблем, стоящим на якоре возле Европы; вся ее экономическая жизнь зависела от причала, от вексельного курса на решающем рынке на Шельде. Курс фунта был как бы двигателем, управителем *(governor)* английских отношений с внешним миром. Но ведь даже такой проницательный наблюдатель, как Томас Грешэм, был убежден, что итальянские менялы в Лондоне и Антверпене манипулировали курсом по своему усмотрению и посредством своих манипуляций завладевали к своей выгоде трудом англичан. В таком взгляде, игнорирующем связь между вексельным курсом и торговым балансом, есть доля истины и доля иллюзии. Доля иллюзии, ибо вексельный курс — не диалог двух рынков (в данном случае Лондона и Антверпена), но «концерт» всех европейских рынков; он своего рода круговая реальность, что давно уже признавала итальянская практика. В таких условиях меняла не был господином движений курса; но он извлекал выгоду из их вариаций, спекулировал на них, по крайней мере когда у него были для этого средства и он знал, как ими оперировать. Итальянцы великолепно отвечали двум этим условиям, и в этом смысле Грешэм не заблуждался, опасаясь их.

Во всяком случае, лондонское правительство, зафиксировав на вполне очевидно высоком уровне действительную стоимость фунта и перечеканив всю находившуюся в обращении серебряную монету, надеялось достичь двух результатов: 1) улучшения курса векселей на Антверпен; 2) снижения внутренних цен. Лишь первую из этих надежд не постигло разочарование[275]. Население Англии, оплатившее цену этой операции (правительство выкупило подлежавшие перечеканке монеты намного дешевле их официального курса), не получило компенсации в виде падения цен[276].

Следовательно, елизаветинская реформа оказалась оправданной не с самого начала; она даже давила, как ошейник, коль скоро хорошей монеты, вычеканенной из плохой, более не хватало для нормального обращения. Вне сомнения, немного позже ее спас приток американского белого металла, который начиная с 60-х годов XVI в. распространялся по всей Европе[277]. Эти поступления из Нового Света объясняют также и успех стабилизации в 1577 г. турского ливра, французской расчетной монеты, бывшей в свою очередь привязанной к золоту: один золотой экю был тогда объявлен эквивалентным трем ливрам, а именно в экю будет вестись торговое счетоводство. В действительности как раз лионские купцы, иностранцы и французы, навязали Генриху III такую стабилизацию, удобную для их дел. Не будем приписывать слишком большую заслугу в этом самому Генриху III. Во французском случае, как и в случае английском, все удержалось, несомненно, по милости рудников Новой Испании и Перу. Но то, что дает одна конъюнктура, уносит другая: в 1601 г. французская стабилизация надломилась, турский ливр оторвался от золота. В Англии же, напротив, елиза-

[275] Gould J. D. *Op. cit.*, таблица на с. 89.
[276] Roover R., de. *Gresham on Foreign Exchange*. 1949, p. 67.
[277] *Ibid.*, p. 68.

ветинская система сохранилась. Не было ли это заслугой торговой экспансии острова, некой конъюнктуры, благоприятствовавшей одной только Северной Европе? Вполне очевидно, утверждать это было бы слишком. Но разве Англия не вмешивалась в дела мира, как она того желала, и не замыкалась одновременно в своем островном качестве, пребывая начеку в оборонительной позиции? Франция же, наоборот, открытая к Европе, была тем местом, где отзывались действия ее соседей, геометрическим центром всех монетных обращений; она находилась в зависимости от колебаний цен на драгоценные металлы на «рынке», и колебания эти расшатывали котировку у самых дверей Монетного двора.

В 1621 г.[278] устойчивость фунта снова оказалась под угрозой, но этот инцидент был быстро преодолен. Английские суконщики, по которым ударил спад сбыта, хотели бы девальвировать фунт, что ограничило бы их издержки производства и укрепило бы их конкурентоспособность за границей. Не Томас ли Мэн был тем, кто спас тогда устойчивость фунта, настоящую навязчивую идею английского общественного мнения, вероятно, запомнившего испытания Великой порчи? Конечно, нет речи о том, чтобы поставить под сомнение интеллект Томаса Мэна, который будет в Англии первым, кто уловит очевидную связь между вексельным курсом и торговым балансом, и который приобрел обширнейший торговый опыт, состоя в правлении еще юной Ост-Индской компании. Но разве может один человек, сколь бы проницательным и блестящим он ни был, нести ответственность за процесс денежного обращения, затрагивавший всю английскую экономику и даже европейскую конъюнктуру? В долговременной перспективе аргументы Мэна, может быть, и не одержали бы верх без соглашения, которое в 1630 г. свяжет Англию с Испанией (с 1621 г. снова пребывавшей в состоянии войны с Соединенными Провинциями) и которое резервирует за английскими кораблями перевозку белого металла, предназначавшегося для финансового снабжения испанских Нидерландов. То был, безусловно, странный альянс, который историки обычно не принимают во внимание (исключения подтверждают правило)[279]. Серебро, выгружавшееся в Англии, шло на чеканку монеты в лондонском Тауэре, а затем снова отправлялось из страны (не в полном объеме) в Нидерланды. То была нечаянная удача. Тем не менее благодетельный поток, во всяком случае в такой форме, прекратился либо к 1642, либо к 1648 г. И однако же, в силу причин, которые на сей раз от нас ускользают, невзирая на яростные смуты гражданской войны, фунт стерлингов оставался на своей прямой линии. И это в условиях, которые кажутся даже довольно необычными.

В самом деле, на протяжении всей этой трудной второй половины XVII в. денежное обращение в Англии имело дело только с очень старыми серебряными монетами — стертыми, обрезанными, до крайности облегченными, поскольку потеря веса в них доходила до 50%. Несмотря на возобновлявшиеся иронические выпады памфлетистов, никто всерьез не беспокоился по сему поводу. Вплоть до того, что хорошие монеты

[278] Roover R., de. *Op. cit.*, p. 198 sq., 270 sq.
[279] Feavearyear A. E. *The Pound Sterling. A History of English Money*. 1963, p. 82—83.

пользовались лишь очень небольшим благоприятным *ажио*; так, золотая гинея стоила 22 шиллинга вместо 20 шиллингов по официальному курсу. Тогда не так все было плохо! На самом деле с расширявшимся распространением расписок золотых дел мастеров (векселя эти были уже бумажными деньгами, хоть и частного характера), а главное — при вносившей успокоение устойчивости расчетной монеты такие легкие серебряные монеты сделались настоящими фиктивными деньгами, как в других местах, в Европе, столько видов медных денег. И всякий к этому приспосабливался.

И так — до того момента, как в 1694 г. разразился неожиданный и острый кризис доверия, разом разрушивший это спокойствие и эту удивительную терпимость [280]. Англия узнала серию неурожаев; в ней наступил один из этих типичных для Старого порядка кризисов, отголоски которого достигли «промышленного» сектора. Вдобавок начатая в 1689 г. война против Франции вынуждала правительство к крупным внешним платежам и, следовательно, к вывозу наличных денег. Лучшие серебряные и золотые монеты уходили из королевства. Климат кризиса, нехватка монеты повлекли за собой (в Лондоне еще больше, чем в провинции) систематическое бегство от плохой монеты и усилившийся рефлекс тезаврирования. Золотая гинея [281] побила все рекорды повышения: с 22 шиллингов она в июне 1695 г. дошла до 30 (т. е. на 50% выше своего официального курса в 20 шиллингов). Равным образом росли цены на золото и серебро в металле, а стремительное падение курса фунта на амстердамском рынке уже само по себе обобщало ситуацию, которая вместе с резким увеличением числа памфлетов становилась все драматичнее и приводила в растерянность общественное мнение. Монеты, кредитные билеты (как расписки золотых дел мастеров, так и билеты Английского банка, который был создан только что, в 1694 г.) испытали значительное обесценение, и, чтобы получить наличные, приходилось выплачивать премии в размере 12, 19 и даже 40%. Ссуды предоставлялись (когда они предоставлялись) под ростовщические проценты; переводные векселя обращались плохо или вовсе не обращались. Кризис захлестнул все. Один очевидец писал: «На одной только лондонской улице, именуемой Лонг Лэйн, имеется двадцать шесть сдаваемых внаем домов... И даже в квартале Чипсайд ныне есть тринадцать домов и лавок, закрытых и сдаваемых внаем,— дело весьма необыкновенное, коль скоро на памяти людей в Чипсайде и четвертая часть сего числа домов никогда не пустовала» [282]. В 1696 г. «за неимением монеты беспорядок был столь велик, что многие достойные люди оставили Лондон, не имея возможности в нем жить,— хотя и располагали богатством в шесть-семь тысяч фунтов стерлингов ренты, — понеже нельзя получить деньги из провинций» [283].

Разумеется, памфлетисты вволю этим наслаждались, без конца споря об истинных причинах этого положения и средствах к его исправлению. Спорщики, однако, сходились в одном пункте: надлежит-де оздоровить денежное обращение, переплавить серебряную монету. Но будет ли новая монета перечеканена той же стоимостью, что монета елизаветинская?

[280] Horsefield J. K. *British Monetary Experiments 1650—1710.* 1960, p. 47—60.
[281] Учрежденная Карлом II в 1663 г.
[282] A. E., C. P. Angleterre, 173, f° 41.
[283] *Ibid.*, f° 132, 8 октября 1696 г.

Или будет подвергнута предварительной девальвации? Еще один вопрос внушал беспокойство: кто оплатит огромные расходы на эту операцию, очень обременительные в первом случае и, вполне очевидно, меньшие во втором? То, что секретарь Казначейства Уильям Лаунд[284] был сторонником 20-процентной девальвации, объяснялось среди прочих причин тем, что он защищал финансы государства. Самый известный из его противников — Джон Локк, врач, философ и экономист,— наперекор стихиям защищал незыблемость фунта, каковой должен был оставаться «неизменяемой базовой единицей»[285]. Может статься, что в такой же мере, как здравую политику, он защищал права собственников, действительность контрактов, неприкосновенность капиталов, предоставленных взаймы государству,— в общем, немногочисленное господствовавшее общество. Но почему же именно мнение Джона Локка возобладало над мнением секретаря Казначейства?

Несомненно, следует подумать о том факте, что правительство бывшего Вильгельма Оранского, ставшего королем Английским, столкнувшись с серьезными финансовыми затруднениями, втянулось в политику займов и *долгосрочных* долгов, политику для Англии необычную, которая вызывала критику и недоверие большинства англичан. Тем более, что новый король был голландец, а среди кредиторов государства находились амстердамские заимодавцы, начавшие вкладывать капиталы в акции и в государственные ценные бумаги королевства. Государству необходим был бесспорный, неоспоримый кредит, дабы продолжать пока еще малопопулярную политику крупных займов, дабы не поставить в затруднительное положение новый банк, капиталы которого, будучи едва лишь собранными, оказались отданы взаймы государству. Это, вероятно, наилучшее объяснение решения правительства отказаться от девальвации и, несмотря на трудности, пойти на дорогостоящее решение, предлагавшееся Джоном Локком и с великой поспешностью одобренное палатой общин и палатой лордов в январе 1696 г. Все затраты на громадную операцию по переплавке монеты (7 млн. фунтов) легли на государство, уже обремененное войной. Но цель была достигнута: котировка фунта в Амстердаме, признак вновь обретенного доверия, поднялась, цены в Англии принялись благоразумно снижаться, и английские ценные бумаги быстро умножились в числе на лондонском и амстердамском рынках.

Едва только проблема была улажена, как обозначилась новая напряженность, провозвестница будущего принятия золотого стандарта, столь медленно наступавшего официально, навязываемого упрямством фактов, а не сознательным размышлением[286]. В самом деле, серебро будет обороняться долго. При таких адвокатах, как Джон Локк, для которого эталон-серебро был неоспоримо самым удобным, всего лучше приспособленным к жизни обменов. «*Предоставьте золоту, как и прочим товарам, отыскивать свой собственный курс*» (*«Let Gold, as others commodities, find its own Rate»*),— говорил он[287]. Это не было именно тем, что сделали, потому, впрочем, что гинея (котировка которой зависела попросту от решения короля) была

[284] Horsefield J. K. *Op. cit.*, p. 50.
[285] Mertens J. E. *La Naissance et le développement de l'étalon-or, 1696—1922.* 1944, p. 91.
[286] Thomas J.-G. *Op. cit.*, p. 68—69.
[287] Horsefield J. K. *Op. cit.*, p.85.

произвольно зафиксирована на уровне 22 серебряных шиллингов, которые, конечно, были ее «свободной» ценой на рынке, но до кризиса. А ведь теперь речь шла о 22 шиллингах доброй монетой, так что соотношение золото/серебро установилось как 1 к 15,9, и золото разом оказалось завышено в цене: в самом деле, в Голландии соотношение было всего лишь 1 к 15. Итак, желтый металл потек в Англию, чтобы там повыситься в цене, а совсем новые серебряные монеты двинулись в противоположном направлении. После нового вмешательства Джона Локка гинея, правда, была сведена к 21 шиллингу 6 пенсам (в 1698 г.), но этого было еще недостаточно, чтобы воспрепятствовать продолжению двойного потока. Даже после нового понижения до 21 шиллинга в 1717 г., на сей раз после вмешательства Ньютона, бывшего начальником Монетного двора, соотношение 1 к 15,21 все еще завышало цену желтого металла, и Англия упорно продолжала экспортировать серебро и быть целью устремлений монет золотых.

Эта ситуация продолжалась на протяжении всего XVIII в., завершившись фактической золотой системой. Несомненно, последняя официально приняла конкретные формы лишь после провозглашения золотого стандарта в 1816 г.; тогда фунт стерлингов сделался эквивалентом соверена (реальной золотой монеты, весившей 7,988 г при содержании чистого металла в 11/12). Однако золото с 1774 г. явственно взяло верх над серебром в качестве денежного регулятора. Потерявшие вес золотые монеты изымались из обращения, для того чтобы быть перечеканены своим правильным весом, в то время как к серебряным монетам отказывались применять дорогостоящий процесс перечеканки, а заодно принимали решения об отмене их обязательного приема в платежах, превышающих 25 фунтов. Таким образом, на деле, если и не по закону, фунт стерлингов начинал привязываться к золоту, тем самым приобретая новую устойчивость.

Стадо быков и овец в Сохо в конце XVIII в. *Фото Снарк Интернэшнл.*





Берега Темзы в Лондоне к концу XVIII в. *Собрание Виолле.*

Все эти факты известны, но каковы их причины? Постоянное завышение цены золота, лежавшее в основе явления, зависело непосредственно от правительственных решений, и только от них. А тогда — какой политике, какой необходимости экономики отвечало это завышение? На самом деле создавать благоприятные условия золоту означало дать толчок движению серебра в обратном направлении. Лично я всегда думал, что в старинной денежной системе деньги с завышенной стоимостью становились своего рода «дурной» монетой, способной изгнать хорошую. Такое расширенное толкование псевдозакона Грешэма упрощает объяснение. Когда Англия притягивала к себе золото, она ускоряла отток из своих пределов белого металла разом в Нидерланды, к Балтийскому морю, в Россию, в Средиземноморье, в Индийский океан и в Китай, где упомянутый металл будет непременным условием обменов. Венеция, чтобы облегчить перевод белого металла, необходимого для процветания ее торговых операций, на Левант, поступала таким же образом. С другой стороны, у Англии и не могло быть иного пути после того, как, восторжествовав над Португалией



в результате заключения договора лорда Метуэна (1703 г.), она оказалась подключена к золоту Бразилии. Разве не сделала она тогда, даже если и не знала этого, выбор в пользу золота против серебра? И не была ли она для такой игры обута в семимильные сапоги?

К тому же, вероятно, не было случайным, что в момент, когда расстройство торгового баланса с Португалией прервало или сократило приток бразильского золота, Англия уже двигалась в направлении стадии, которая логически должна была последовать: стадии бумажных денег. В самом деле, в той мере, в какой Англия мало-помалу выдвигалась в центр мира, она, как и Голландия в эпоху своего величия, меньше нуждалась в драгоценных металлах. Легкий, почти автоматический кредит умножал ее платежные средства. Так, в 1774 г., накануне «американской» войны, Англия увидела и допустила бегство за границу сразу своих золотых и своих серебряных монет. Эта на первый взгляд ненормальная ситуация ее не тревожила: высший уровень денежного обращения в стране был уже занят кредитными билетами Английского банка и частных банков; золото и серебро стали, если несколько преувеличить, второстепен-

ными державами. И если «бумага» (слово, удобное своей краткостью, которое давно уже употребляли французы и которое так сердило Исаака де Пинто)[288] заняла это решающее место, то потому, что Англия, лишив престола Амстердам, сделалась пунктом слияния обменов вселенной, а вселенная, если можно так выразиться, вела свою бухгалтерию в Англии. Ярмарки, прежние места слияния обменов, предлагали аналогичные концентрации: кредит на них утверждался над наличными. Англия лишь придала новые измерения старинным решениям — и в итоге оказалась более наводнена бумагой, чем безансонские ярмарки, и в такой же степени, как сам амстердамский рынок.

На таком пути по необходимости предстояло сделать новые шаги. В 1797 г. денежные затруднения непрестанно возрастали: война требовала огромного экспорта наличных денег на континент, который надлежало денежным хлыстом поднять против Франции. С болью в сердце, боясь последствий своего акта, Питт[289], обычно такой уверенный в себе, заставил парламент согласиться на краткосрочную неконвертируемость билетов Английского банка. И именно здесь начинается последнее чудо: *Закон о банковских ограничениях (Bank Restriction Act)*, устанавливавший принудительный курс кредитных билетов, был провозглашен всего на шесть недель. А оставался он в силе в течение двадцати четырех лет, и из этого не воспоследовало никакого настоящего провала. Кредитные билеты, которые в принципе ничто более не гарантировало, продолжали обращаться, и без какого бы то ни было обесценения по отношению к металлическим деньгам, по крайней мере до 1809—1810 гг. На протяжении четверти столетия, вплоть до 1821 г., Англия, опережая свое время, будет жить при таком денежном порядке, какой мы знаем сегодня. Француз, который жил там во времена наполеоновских войн, утверждал даже, что за все эти годы ни разу не видел ни единой золотой гинеи[290].

[288] Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 80: «во Франции все капиталы смешивают под названием бумаги... выражение это неправильно».
[289] Simond L. *Voyage d'un Français en Angleterre pendant les années 1810 et 1811*. 1816, II, p. 288 sq.
[290] Rubichon M. *De l'Angleterre*. 1815—1819, p. 357: «Начиная с 1808 г. гинеи исчезли совершенно»; Simond L. *Op. cit.*, I, p. 319; II, p. 232.

Фешенебельный квартал Лондона — Гроувенор-сквер около 1790 г. *Фото Снарк Интернэшнл.*



Именно таким образом был без особого ущерба преодолен сам по себе исключительно трудный кризис.

Подобный успех зависел от отношения английской публики, от ее гражданских чувств, от доверия, которое она издавна испытывала к денежной системе, всегда избиравшей устойчивость. Но такое доверие покоилось равным образом и на уверенности и на обеспеченности, какие дает богатство. Гарантией бумажных денег были, вне сомнения, не золото и не серебро, а огромное производство Британских островов. Именно товарами, созданными их промышленностью, и продуктом их перераспределяющей торговли острова выплачивали своим европейским союзникам баснословные субсидии, которые позволят им сокрушить Францию, сохранить фантастический для того времени флот и армии, которые будут способствовать в Испании и Португалии созданию ситуации, неблагоприятной для Наполеона. В тот период никакая другая страна не способна была бы поступать так. Как писал в 1811 г. один проницательный очевидец, в тогдашнем мире не было места для двух экспериментов такого порядка[291]. И это, возможно, справедливо.

[291] Simond L. *Op. cit.*, p. 227—228.

Но признаемся наконец что если рассматривать историю фунта стерлингов в целом, то каждый эпизод ее ясен, объясним; удивительным остается его курс в виде прямой линии, как если бы столь прагматичные англичане с 1560 г. знали верную дорогу в будущее. В это нельзя поверить. А тогда — не следует ли видеть в том скорее повторявшийся результат агрессивного напряжения страны, побуждаемой своим островным положением (положением острова, который надо защитить), своим усилием прорваться в мир, своим ясным представлением о противнике, коего надлежит сокрушить: Антверпене, Амстердаме, Париже? А устойчивость фунта? Это было орудие борьбы.

ЛОНДОН, СОЗДАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК И СОЗДАННЫЙ ИМ

Какой только роли не сыграет Лондон в британском величии! Он выстроил и сориентировал Англию от А до Я. Его тяжесть, его необъятность вели к тому, что другие города едва существовали в качестве региональных столиц: все они, за исключением, быть может, Бристоля, были к его услугам. Как заметил Арнольд Тойнби, «ни в какой другой стране Запада один-единственный город не затмевал настолько полно все остальные. В конце XVII в., когда население Англии было незначительным в сравнении с населением Франции или Германии и меньшим, чем население Испании и Италии, Лондон был уже, по всей вероятности, самым большим городом Европы»[292]. К 1700 г. он насчитывал примерно 550 тыс. жителей, т.е. 10% всего английского населения. Его подъем был постоянным и наглядным, невзирая на опустошения от эпидемий и чумы. Таким образом, в отличие от слишком обширной, внутренне разделенной Франции, разрывавшейся между Парижем и Лионом, Англия имела только одну голову, но громадную.

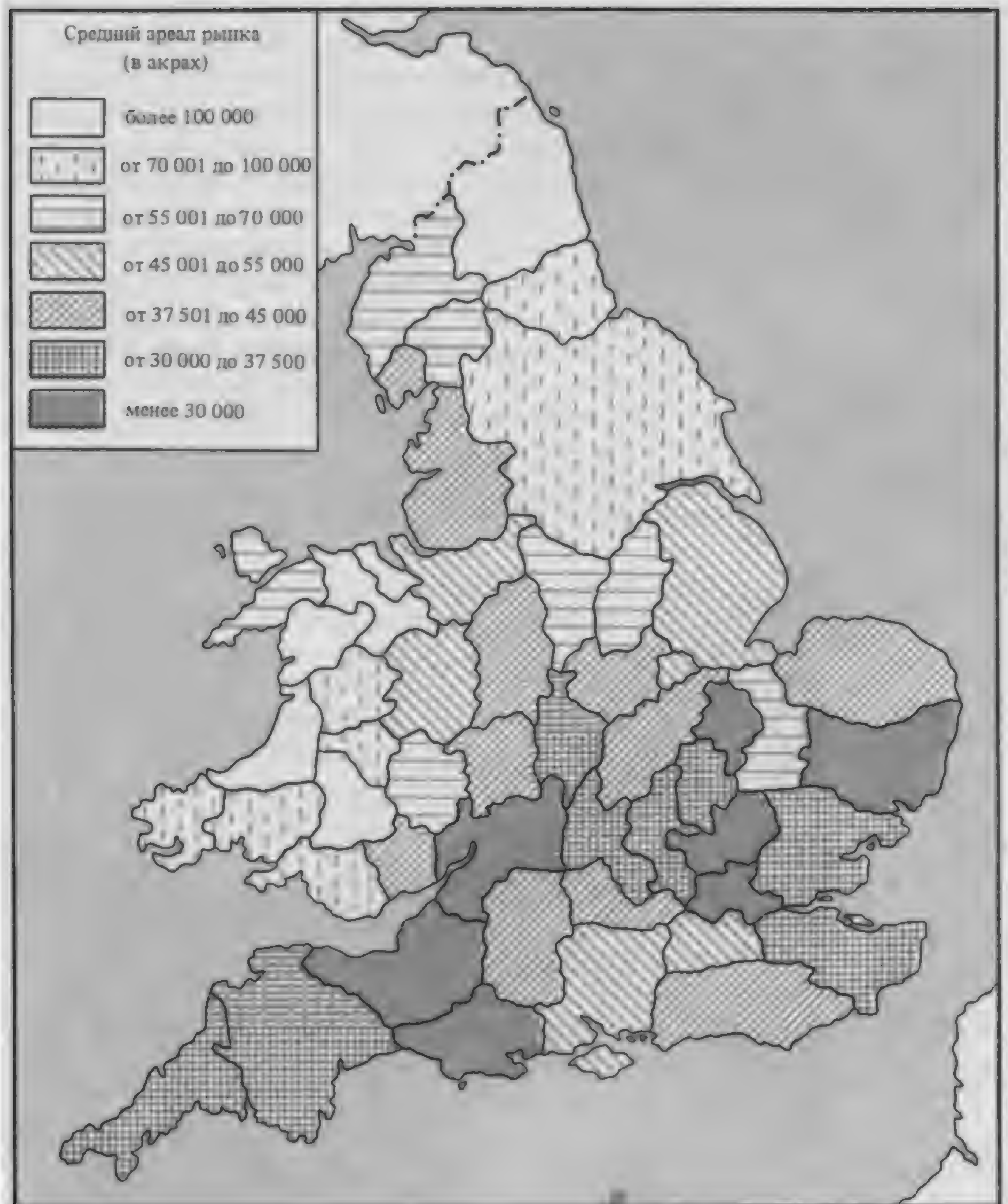
[292] Toynbee A. *L'Histoire*. 1951, p. 263.

Лондон — это одновременно три или четыре города: Сити,

бывший экономической столицей; Уэстминстер, где обитали король, парламент и богачи; река, служившая в низовьях портом, вдоль которой тянулись кварталы простонародья; наконец, на левом берегу Темзы предместье Саутуорк с его узкими улицами, где, в частности, находились театры: «Лебедь», «Роза», «Глобус», «Надежда», «Красный бык» (их было 17 в 1629 г., тогда как в Париже в это же время существовал лишь один)[293]...

Все английское экономическое пространство подчинялось царственной власти Лондона. Политическая централизация, мощь английской монархии, продвинувшееся сосредоточение торговой жизни — все работало на величие столицы. Но величие это само по себе было организатором пространства, над которым оно доминировало и в котором оно создавало многообразные административные и рыночные связи. Н. Грас считает, что Лондон на доброе столетие опережал Париж в том, что касалось организации его сферы снабжения[294]. Его превос-

[293] Bennassar B. *L'Angleterre au XVIIe siècle (1603—1714)*. s. d., p. 21.
[294] См. т. 2 настоящего труда, гл. 1.



Плотные рыночные зоны находились в пределах досягаемости Лондона
Эта карта (заимствованная из кн: *The Agrarian History of England*. Ed. J. Thirsk, IV, 1967, p. 496) показывает, до какой степени город Лондон создал вокруг себя зону интенсивных и ускоренных обменов. Национальный рынок модернизировался, именно начиная с юга Англии и со столицы.

ходство было тем большим, что Лондон был еще и весьма активным портом (обеспечивавшим самое малое четыре пятых внешней торговли Англии), оставаясь в то же время вершиной английской жизни, ни в чем не уступавшей Парижу, ибо он являлся громадной паразитической машиной роскоши, расточительства, а также при всем прочем и культурного творчества. Наконец, и это главное, квазимонополия на экспорт и импорт, какой Лондон пользовался очень рано, обеспечивала ему контроль над всеми видами производства на острове и над всеми формами перераспределения: для различных английских регионов столица была центральной сортировочной станцией. Все туда прибывало, все оттуда уходило вновь, то ли на внутренний рынок, то ли за пределы страны.

Если вы желаете по достоинству оценить эту работу Лондона по формированию и созданию национального рынка, не стоит ничего читать, разве что перечесть вновь *«Торговца»* *(«Tradesman»)* Даниэля Дефо. Его наблюдательность настолько точна, настолько подробна, вплоть до мельчайших деталей, что хоть слова «национальный рынок» и не произнесены, но реальность такого рынка, его единство, взаимное переплетение его обменов, подчеркнутое разделение труда, действующее на обширных пространствах, заставляют себя принять как очевидность и как поучительное зрелище.

Если исключить значительной важности каботаж, справлявшийся с перевозкой ньюкаслского угля и тяжеловесных грузов, обращение товаров, которое до прорытия каналов могло использовать лишь судоходные отрезки рек, происходило главным образом по дорогам; осуществлялось оно посредством повозок, вьючных лошадей и даже на спинах бесчисленных торговцев вразнос [295]. И все это движение сливалось воедино, приближаясь к Лондону, и снова распылялось на выходах из Лондона. Вне сомнения, «манчестерцы, ежели оставить в стороне их богатство, суть в таком случае своего рода торговцы вразнос, повсюду доставляющие свои товары сами [обходясь без посредника], дабы передать их лавочникам, как то делают ныне также и мануфактурщики Йоркшира и Ковентри» [296]. Но около 1720 г., в эпоху, описываемую Дефо, такие прямые связи производителя с провинциальным перекупщиком были фактом новым, который пересечет и усложнит вскоре связи обычных кругооборотов. *Обычно*, говорит Дефо, изготовленный продукт, будучи завершен производством в том или ином отдаленном от Лондона графстве, отправлялся в Лондон к *комиссионеру (factor)* или *смотрителю товарного склада (warehouse keeper)* и последний будет его продавать либо лондонскому лавочнику для розничной продажи, либо купцу *(merchant)*-экспортеру, либо же оптовику, который этот продукт перераспределит для продажи в розницу в различных районах Англии. Таким образом, собственник овец, продававший шерсть, и лавочник, который продавал сукна, «суть первый и последний торговцы *(tradesmen)*, кои вовлечены в сей процесс. И чем более рук будет попутно использовано для изготовления, перевозки или продажи изделия, тем лучше будет для общественного богатства нации, ибо занятость народа есть великая и глав-

[295] Willan T. S. *The Inland Trade.* 1976.
[296] Defoe D. *The Complete English Tradesman.* 5th ed., 1745, I, p. 340—341.



Национальный рынок и судоходные пути (1660—1700 гг.) Карта Т. Уиллэна (в кн: Willan T. S. *River Navigation in England 1600—1750*. 1964), относящаяся ко времени до «безумия каналов» и крупных работ по обустройству речных путей, показывает направление рек только в их судоходной части и отмечает штриховкой любую территорию, удаленную от водного пути более чем на 15 миль. Если сравнить эту карту с предыдущей, возникает ощущение, что она является чуть ли не негативом последней. Так же как и притягательная сила столицы, так же как и сеть каботажных маршрутов, внутренние водные пути работали на формирование национального рынка. В конце XVIII в. зона, находившаяся вне кругооборота и отмеченная темным цветом, почти исчезнет с прогрессом [транспортного] сообщения.

ная выгода нации» (*«public stock of the nation because the employment of the people is the great and main benefit of the nation»*) [297]. И Даниэль Дефо — как если бы его читатель не вполне еще понял преимущества рыночной экономики — распределительницы труда, а значит, и работы по найму — возвращается назад и берет пример: пример штуки *простого сукна (broad cloth)*, изготовленной в Уорминстере, в Уилтшире. Изготовитель *(clothier)* отправляет ее с перевозчиком *(carrier)* в Лондон, к мистеру *A*, комиссионеру в Блэкуэлл-холле, на которого возлагается ее продажа. Названный комиссионер продает ее мистеру *B*, оптовику *(woolen draper)*, уполномоченному сукно перепродать, который его отправит сухим путем мистеру *C*, лавочнику в Нортхемптоне. Последний распродаст сукно в розницу отрезами тем-то и тем-то деревенским джентльменам. Наконец, именно эти перевозки в Лондон,

и обратно, из Лондона, образовывали главное и формирующее членение английского рынка. Ибо все товары, включая и импортные изделия, циркулировали таким образом по английским дорогам, более оживленным, чем дороги европейские, утверждает Даниэль Дефо. Повсюду, в мельчайших городишках, даже в деревнях, «никто ныне не довольствуется местными мануфактурами. Все желают изделий отовсюду из других стран» [298] — английских тканей из других провинций и тканей индийских, чая, сахара... Нет никакого сомнения: английский рынок предстает перед нами как живое единство с начала XVIII в., следовательно, очень рано. Притом как раз в первой четверти этого столетия были произведены громадные (понятно, относительно) капиталовложения, увеличившие до 1160 миль судоходную речную сеть и сделавшие бо́льшую часть страны доступной для водных перевозок на расстояние самое большее 15 миль [299]. И не придется удивляться, что сухопутные дороги последовали за этим процессом. Дефо говорил в 1720 г. о непроходимых в зимнее время дорогах в прошедшем времени [300] — скажем, непроезжих для повозок, потому что вьючные животные в XVII в. двигались по ним в любое время года. Еще меньше придется дивиться тому, что быстро организовывались, пренебрегая всякой официальной регламентацией, рынки, которые складировали, продавали и перепродавали товары; что посредники зачастую даже не видели товаров, которыми торговали, — а это почти что доказательство совершенства [механизма]. К середине [XVIII] века на хлебном рынке в Лондоне господствовало полтора десятка комиссионеров, которые при случае не колебались помещать свое зерно в пакгаузы в Амстердаме, где содержание на складах было менее дорогим, чем в Англии (стоимость его варьировала вместе с уровнем денежного курса). Еще одно премущество: за вывозимое зерно выплачивалась установленная английским правительством экспортная премия, а если в Англии возникала нехватка хлеба, зерно туда возвращалось без уплаты какой бы то ни было пошлины при ввозе [301]. Все это указывает на возраставшую усложненность внутреннего рынка на протяжении XVIII в.

В начале следующего столетия, в 1815 г., один бывший военнопленный, остававшийся долгое время в Англии, делает замечание, проливающее дополнительный свет: «Ежели все интересы Англии концентрируются в городе Лондоне, ставшем ныне центром, где сходятся все дела, то можно сказать, что Лондон есть также по всей Англии» [302], т.е. продаваемые в Лондоне товары, происходящие из всех пунктов Англии и мира, продаются и на всех рынках и во всех городах графств. Единообразие одежды, в особенности женской, вездесущность моды были хорошими показателями приведения английского экономического пространства к единству. Но существовали и другие тесты, вроде распространения банков по всей стране. Первые *земельные банки (landbanks)* появились в 1695 г. [303], они были еще скромные, поскольку вся масса их кредитных билетов достигала в этом году всего лишь 55 тыс. фунтов стерлингов. Но то было многозначительное начало: кредит обычно появлялся только в последнюю очередь, в конце предшествовавшей экономи-

[298] *Ibid.*, I, p. 342.
[299] Willan T. S. *Rivers Navigation in England, 1600—1750.* 1964, p. 133.
[300] Цит. по: Westerfield R. B. *Middlemen in English Business particularly between 1660 and 1760.* 1915, p. 193.
[301] Ashton T. S. *An Economic History of England: the 18th century.* 1972, p. 66—67.
[302] Pillet R.-M. *L'Angleterre vue à Londres et dans ses provinces pendant un séjour de dix années.* 1815, p. 23.
[303] Horsefield J. K. *Op. cit.*, p. 15.

ческой эволюции, делавшей его возможным и необходимым. А главное, эти *landbanks*, связанные с лондонскими банками и с Английским банком, созданным в 1694 г., будут множиться. В плане кредита наблюдалась унификация, сателлитизация провинциальных экономик.

И все же не следует ли сказать, что если Лондон и создал первую форму сплоченного национального рынка, то последний впоследствии развивался и уплотнялся сам собой? В XVIII в. в отличие от века предшествовавшего провинциальные производственные центры и порты, в особенности те, что занимались торговлей невольниками и колониальными продуктами, например Ливерпуль, Бристоль или Глазго, познали быстрое развитие[304]. И всеобщее процветание от этого только возросло. На Британских островах Англия была уже национальным рынком с плотной структурой. В Европе не найти примера, который можно было бы с ней сопоставить. Так что немного раньше или немного позже этот исключительный вес будет оказывать давление на всю территорию Британских островов и преобразовывать их экономику в соответствии с [экономикой] Англии.

[304] Hobsbawm E. J. *Industry and Empire*. 1968, p. 11; Pollard S., Crossley D. W. *The Wealth of Britain, 1085—1966*. 1968, p. 165—166.

КАК АНГЛИЯ СТАЛА ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ

На севере и на западе Англия граничит с труднодоступными нагорьями, главным образом пастушескими, долгое время остававшимися очень бедными, редко заселенными, притом кельтами, чаще всего не воспринимавшими английскую культуру. Навязать себя таким соседям — это был решающий процесс внутренней истории Британских островов, предприятие, которое могло допустить лишь плохие решения — силовые. Как и полагается, политика здесь предшествовала экономике, а последняя долго удовлетворялась ограниченными, даже пунктирными успехами. В Корнуолле лондонские негоцианты очень рано завладели одним только оловом[305]. В Уэльсе, заново завоеванном в 1536 г., экспорт скота, перегонявшегося в Лондон, сделался характерной чертой лишь после 1750 г.[306], а по-настоящему этот край преобразится лишь с тяжелой индустрией, которая будет там организована англичанами в XIX в. Но, как и можно было предвидеть, две главные партии этой внутренней игры разыгрывались в отношении Шотландии, где ход событий оказался в общем непредвиденным, и Ирландии, где Англия никогда не прекращала эксплуатировать колонию, до которой было рукой подать.

[305] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts de l'Europe...*, I, p. 46.
[306] Hobsbawm E. *Op. cit.*, p. 253.

В принципе Шотландия была создана для того, чтобы оставаться самостоятельной и избежать «маргинализации», даже элементарной. Она была обширна, равняясь в целом [по площади] половине Англии, гориста, бедна, отделена от своей соседки труднопроходимыми приграничными областями. Все прошлое, заполненное ожесточенными войнами, предрасполагало ее к тому, чтобы говорить «нет», сопротивляться. Да к тому же даже после 1603 г., когда Яков VI Шотландский унаследовал престол Елизаветы и стал Яковом I Английским, соеди-

нив таким образом на одной голове короны обеих стран, Шотландия сохранила правительство и парламент, об относительной слабости которых говорить можно, но которые все же продолжали существовать[307]. Точно так же продолжали существовать граница между Шотландией и Англией и таможни на ней. Но если таможни эти давали первой возможность защититься от бурного импорта, то второй они позволяли закрыть свою территорию для скота и льняных тканей Шотландии, так же точно как и воспретить мореходам из Эдинбурга, Глазго или Данди доступ в английские колонии...

Шотландия в XVII в. была страной бедной. Было бы смешно хотя бы на миг сравнить ее с Англией. Ее экономика была архаичной, ее замледелие — традиционным, и слишком часто убийственные голодовки следовали там за плохими урожаями, например в 1695, 1696, 1698 и 1699 гг. «Мы никогда не узнаем, сколько людей умерло [в эти годы]: современники поговаривали об одной пятой, одной четвертой населения, даже об одной трети и более в некоторых областях, где жители вымерли или бежали»[308].

Однако же внешняя экономика оживляла порты, прежде всего Лит, гавань Эдинбурга, Абердин, Данди, Глазго плюс множество гаваней, из которых выходили многочисленные малотоннажные суда, направляясь в различные пункты назначения: в Норвегию, Швецию, Данциг (Гданьск), Роттердам, Вере, Руан, Ла-Рошель, Бордо, порой в Португалию и Испанию. Суденышки отважные, зачастую последними проходившие пролив Зунд в западном направлении перед зимним ледоставом. Шотландские моряки и купцы иной раз прерывали свои путешествия, чтобы обосноваться за границей, шла ли речь о жалких *скоттарз (skottars)*, остававшихся торговцами вразнос, или о процветающих буржуа, составивших состояние в Стокгольме, Варшаве или в Регенсбурге[309]. Торговая жизнь вносила одушевление в приморские города Равнин *(Lowlands)*, и такая незначительного объема морская активность непрестанно возрастала. Купцы Эдинбурга и Глазго (бывшие все местными уроженцами, что, на наш взгляд, было признаком здоровой торговли) были предприимчивы, невзирая на слабость их капиталов. Это объясняет создание в 1694 г., но также и конечную неудачу шотландской Африканской компании, которая тщетно пыталась изыскать капиталы в Лондоне, Гамбурге и Амстердаме[310]. Попытки насаждения шотландской колонии на берегах Дарьенского перешейка в 1699 г. также оказались тщетными. Англия, далекая от того, чтобы ее поощрять, с облегчением взирала на эту неудачу[311]. В Шотландии же этот провал принял облик национального траура.

Вероятно, именно в надежде на открытие английского и американского рынков парламент в Эдинбурге в 1707 г. большинством в три или пять голосов высказался за политическую унию с Англией. Этот расчет, ежели такой расчет был, вовсе не был неправилен, ибо, как показал Смаут, парадоксальным образом возросшая политическая зависимость Шотландии не вылилась в экономическое порабощение, в «маргинализацию». С одной стороны, потому, что, сделавшись почти что англий-

[307] Lythe S. G. E., Butt J. *An Economic History of Scotland, 1100—1939.* 1975, p. 70 f.
[308] Smout T. C. *A History of Scottish People.* 1973, p. 225.
[309] *Ibid.*, p. 153 f., в частности с. 155.
[310] Сообщение Т. Смаута (Smout T. C.) во время Недели Прато 1978 г.
[311] Accarias de Sérionne J. *La Richesse de L'Agleterre*, p. 52.



Площадь Сенного рынка *(Grassmarket)* в Эдинбурге в XVIII в. Повозка слева располагается у самых западных ворот города. На заднем плане — [Эдинбургский] замок. *Эдинбургская Публичная библиотека. Фотография А. Дж. Ингрэм Лимитед.*

ской провинцией, она станет пользоваться всеми торговыми преимуществами, какими за границей похвалялись британцы, и шотландские купцы в состоянии были воспользоваться случаем. С другой стороны, потому, что ничто из того, чем располагала Шотландия, не представляло для Англии особого экономического интереса, который повлек бы за собой установление властного хозяйничанья. Тем не менее процветание и новый подъем, на которые рассчитывали, наступили не сразу. Потребовалось время, чтобы извлечь выгоду из возможности торговать по всей английской «империи», в Северной Америке, на Антильских островах, даже в Индии, куда столько шотландцев отправится на поиски богатства к вящему раздражению коренных англичан. И только с [экономическим] взлетом XVIII в. и во второй половине последнего свободно разовьются экспорт и промышленность. И все же успех был очевиден. Поначалу произошло развитие крупной торговли скотом; между 1740 и 1790 гг. цены на него выросли на 300% благодаря снабжению английских флотов. Точно так же увеличился экспорт шерсти, которому тоже благоприятствовал рост цен. Отсюда и логичные, если и не всегда благотворные, преобразования, земля приобретала большую ценность, нежели труд, и скотоводство расширялось за счет пашни и общинных земель. Наконец, после 1760 г. Шотландия энергично и самобытно примкнула к промышленному преобразованию Англии. И подъем ее

льняных, а потом и хлопковых мануфактур, опиравшийся на банковскую систему, которую англичане нередко считали превосходящей английскую, натиск ее городов в конце концов доставили шотландскому сельскому хозяйству достаточный спрос, чтобы способствовать его запоздалой, но быстрой трансформации. «Прогресс», любимое слово века Просвещения, был паролем повсюду в Шотландии. И «все классы общества осознали ту живую силу, что несла их в направлении к более богатому обществу» [312].

Нет никакого сомнения: наблюдался взлет *(take-off)* Шотландии. Около 1800 г. один автор писал: «Если бы Шотландия не процветала, Глазго не вырос бы столь значительно, как это с ним произошло, городская стена Эдинбурга не удлинилась бы вдвое за тридцать лет, и там не строили бы ныне совершенно новый город, коего сооружением занято около десяти тысяч иностранных рабочих» [313]. Такая эволюция, столь отличная от ирландской модели, о которой мы еще будем говорить, была ли она обязана своим возникновением простому стечению обстоятельств? Или инициативе и опытности шотландских купцов? Или тому факту, подчеркиваемому Смаутом, что демографический рост в Шотландии, по крайней мере на Равнинах, был умеренным и не сгладил, как это произошло в стольких современных развивающихся странах, выгоды роста экономического? Вне сомнения, всему этому одновременно. Но разве не следует подумать также о том, что Шотландия не наталкивалась, как Ирландия, на вошедшую в плоть и кровь враждебность Англии? О том, что Шотландия не была целиком кельтской, что в самой богатой ее области, на Равнинах, низколежащих землях, протянувшихся от Глазго до Эдинбурга, давно говорили по-английски, какой бы ни была действительная причина такой англизации. У англичанина могло складываться впечатление, что он находится там дома. Напротив, Нагорья *(Highlands)* говорили по-гэльски (на крайнем севере есть даже район, где сохранился норвежский диалект). Однако не вызывает сомнения, что экономический рост Шотландии лишь подчеркнул разрыв между нагорьями и равниной. Можно было бы сказать, что граница, что отделяла в XVII в. все более и более богатую Англию от относительно бедневшей Шотландии, граница эта в некотором роде переместилась с англо-шотландской границы к границе Нагорий.

В Ирландии положение было весьма отличным: в XII в. Англия обосновалась внутри Пэйла *(Pale)* [314], как позднее обосновывалась в своих американских колониях. Ирландец был ее врагом, туземцем, которого презирали и одновременно боялись. Отсюда и отсутствие взаимопонимания, бесцеремонность и множество жестокостей, мрачный итог которых незачем более подводить: английские историки проделали это ясно и честно [315]. Несомненно, говорит один из них, «ирландцы наряду с неграми, продаваемыми как рабы, были главными жертвами системы, которая обеспечила Великобритании ее мировое господство» [316].

Но то, что нас здесь интересует,— это не колонизация Ольстера и не «фарс» с так называемым ирландским правитель-

[312] Smout T. C. *Op. cit.*, p. 226.

[313] Baert-Duholant Ch. *Tableau de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des possessions anglaises dans les quatre parties du monde.* P., an VIII, I, p. 202.

[314] «Палисады, границы которых продвигались или отступали, следуя за превратностями войны» — Vidal de La Blache P. *États et nations de l'Europe.* 4e éd., s. d., p. 307.

[315] Например, Дж. Г. Плам (Plumb J. H.) в одной из глав своей книги *«England in the Eighteenth Century»* (1973, p. 178 f.), носящей неожиданное название *«Ирландская империя»* (*«The Irish Empire»*).

[316] См. Hill C.— в: Postan M., Hill C. *Histoire économique et sociale de la Grande Bretagne.* I, 1977, p. 378.

ством, учрежденным в Дублине (к тому же фикция такого правительства будет в 1801 г. уничтожена присоединением ирландского парламента к парламенту в Лондоне), а подчинение Ирландии английскому рынку, то полнейшее подчинение, которое сделало из торговли с Ирландией «на всем протяжении XVIII в. ... самую важную отрасль английских торговых операций за морем»[317]. Эксплуатация организовывалась с опорой на поместья англо-ирландцев, протестантов по вероисповеданию, которые конфисковали к своей выгоде больше трех четвертей ирландской земли. Из дохода в четыре миллиона фунтов сельская Ирландия выплачивала отсутствующим собственникам ежегодную повинность порядка 800 тыс. фунтов; еще до завершения XVIII в. эта сумма достигнет миллиона. В таких условиях ирландское крестьянство было доведено до нищеты, тем более что его подтачивал демографический подъем.

И Ирландия погрузилась в состояние «периферийной» страны: в ней сменяли друг друга «циклы» в том смысле, в каком Лусиу ди Азеведу[318] употребил бы это слово в применении к бразильской экономике. Около 1600 г., поскольку Ирландия была покрыта лесами, она сделалась к выгоде Англии поставщиком леса и развила, точно так же к выгоде своих господ, железоделательную промышленность, которая сама собой угаснет, когда столетие спустя остров окажется полностью лишен лесного покрова. Тогда, отвечая на возросшие требования английских городов, Ирландия специализировалась на животноводстве и экспорте соленой говядины и свинины, а также бочонков со сливочным маслом, потому что английский рынок, снабжаемый из Уэльса и Шотландии, закрылся для вывоза живого скота с соседнего острова. Главным портом для этого громадного экспорта был Корк в Южной Ирландии: он был поставщиком одновременно Англии, английских флотов, сахарных островов Вест-Индии и флотов западноевропейских наций, в частности Франции. В 1783 г. за сезон, «который длится октябрь, ноябрь и декабрь», в Корке было забито почти 50 тыс. голов крупного рогатого скота, к которым добавлялись на такую же сумму «свиньи, коих забивают весной», не считая вклада других скотобоен[319]. Европейские купцы подкарауливали цены, которые устанавливались с закрытием сезона на бочки соленой говядины или свинины, на центнеры шпига, топленое свиное сало, сливочное масло, сыр. Любопытствующий епископ Клойнский, перечисляя громадное количество быков, свиней, масла, сыра, ежегодно экспортировавшееся Ирландией, «задавался вопросом, как иностранец сможет постичь, что в стране, столь обильной продовольствием, половина жителей умирает с голоду»[320]. Но продовольствие это никоим образом не служило для внутреннего потребления, в такой же мере, как в Польше, где произведенная крестьянами пшеница ими не потреблялась.

В последние десятилетия XVIII в. ирландская солонина начала испытывать конкуренцию со стороны русского экспорта через Архангельск и еще более — вследствие прибытия поставок из американских колоний Англии. Именно тогда начался

[317] Plumb J. H. *Op. cit.*, p. 179.
[318] Azevedo L., de. *Epocas do Portugal económico*. 1929. Циклы — это сменявшие друг друга в Бразилии виды активности: цикл красильного дерева, сахарный цикл, золотой цикл и т. п.
[319] Baert-Duholant C. *Op. cit.*, I, p. 320—355.
[320] Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 272.

зерновой «цикл». 24 ноября 1789 г. французский консул писал из Дублина: «Самые просвещенные люди, коих мнения я мог спросить... рассматривают торговлю солониной как потерянную для Ирландии, но весьма далеки от того, чтобы по сему поводу печалиться, и с удовольствием видят, как крупные собственники понуждаемы их же собственными интересами изменять систему пользования землей, до сего времени преобладавшую, и не оставлять единственно для выпаса скота громадные и плодородные участки, кои, будучи возделаны, дают работу и средства к существованию намного большему числу жителей. Сия революция уже началась и *осуществляется с непостижимой быстротой*. Ирландия, некогда зависевшая от Англии в отношении зерна, каковое потребляет ее столица [Дублин], *единственная часть острова, где был каким-то образом известен этот вид пищи*, несколько лет уже в состоянии экспортировать значительные количества оного»[321]. Известно, что Англия, бывшая ранее экспортером зерна, с ростом своего населения и началом своей индустриализации сделалась страной — импортером зерновых. Зерновой цикл сохранится в Ирландии до отмены хлебных законов в 1846 г. Но в начале его зерновой экспорт был силовым приемом, что напоминало польскую ситуацию XVII в. «Ирландцы,— поясняет далее наш информатор,— в состоянии экспортировать [зерно в 1789 г.] лишь потому, что подавляющее их большинство не потребляет хлеба вовсе. Из страны вывозят не избыток, а то, что везде в иных странах считалось бы необходимым. На трех четвертях сего острова народ довольствуется картофелем, а в северной части — кашей из овса, из коей они делают сухари, и похлебкой. Таким-то образом бедный, но привыкший к лишениям народ кормит нацию [Англию], каковая имеет куда более природных богатств, нежели он сам»[322]. Если придерживаться статистики ее внешней торговли, куда к тому же добавлялись еще лов лосося, доходный китобойный промысел, широкий вывоз льняного полотна, производство которого началось примерно с середины века, то в итоге в 1787 г. Ирландии остался бы доход в один миллион фунтов стерлингов. На самом деле это именно то, что она выплачивала в средний год англосаксонским собственникам.

Но с началом американской Войны за независимость для Ирландии, как и для Шотландии, представился благоприятный случай. Лондонское правительство умножило тогда число обещаний, отменило в декабре 1779 г. и в феврале 1780 г. определенное число ограничений и запретов, которые лимитировали ирландскую торговлю, разрешило прямые связи с Северной Америкой, Ост-Индией, Африкой, открыло ирландским подданным короля доступ в Левантинскую компанию (*Levant Company*)[323]. Когда эта новость достигла Парижа, там восклицали: «В Ирландии... только что произошла революция»; король Английский «станет неизмеримо более могущественным, чем он когда-либо был... и Франция... наверняка станет жертвою [всего этого], ежели она быстро не воздвигнет преграду такому немыслимому увеличению могущества. Есть одно средство в сем преуспеть, вот оно: создать в Ирландии нового короля»[324].

[321] A. N., A. E., B[1], 762, f° 253 (*курсив мой* — Ф. Б.).
[322] *Ibid.*
[323] Москва, АВПР, 35/6, 312, л. 162, 9 декабря 1779 г., 2 февраля 1780 г.
[324] A. E., C. P. Angleterre, 533, f° 73, 14 марта 1780 г.

Ирландия извлекла выгоду из этих уступок. Льноткацкая промышленность, в которой была занята, быть может, четверть населения, развилась еще больше. 26 ноября 1783 г. «Газетт де Франс» объявила, что Белфаст экспортировал в Америку и в Индию 11 649 штук полотна, составляющих 310 672 «прута» *, и что «в весьма скором времени города Корк и Уотерфорд в Ирландии будут вести бо́льшую торговлю, нежели Ливерпуль и Бристоль» (это наверняка преувеличение). В 1785 г.[325] Питту Младшему даже достало ума предложить полное экономическое освобождение Ирландии, но преградой к тому стала враждебность палаты общин, и, констатировав эту преграду, премьер по своему обыкновению не стал настаивать.

Вне сомнения, тогда была утрачена великая возможность, ибо немного времени спустя, с Французской революцией и с военными десантами, которые она организовала на остров, в Ирландии снова наступила драма. Все в некотором роде началось сначала. Так что верно, что Ирландия, по выражению Видаль де Лаблаша[326], слишком близкая к Англии, чтобы от нее ускользнуть, слишком большая, чтобы быть ассимилированной, без конца оказывалась жертвой своего географического положения. В 1824 г. была открыта первая пароходная линия между Дублином и Ливерпулем, которую вскоре обслуживало 42 судна. В 1834 г. один современник говорил: «Некогда полагали в среднем неделю на переезд из Ливерпуля в Дублин; ныне это дело нескольких часов»[327]. И теперь Ирландия, более чем когда бы то ни было приближенная к Англии, оказалась в ее власти.

Если мы, чтобы закончить, вернемся к нашему истинному спору, то вы без особого труда согласитесь, что рынок Британских островов, вышедший из английского рынка, наметившегося уже давно, сильно и четко обрисовался начиная с американской Войны за независимость, что последняя с этой точки зрения отметила определенное ускорение, некий поворот. Вот это и следует присоединить к прежним нашим выводам, а именно что Англия сделалась безраздельной хозяйкой европейского мира-экономики к 1780—1785 гг. Разве не удалось тогда английскому рынку достигнуть трех вещей разом: овладения самим собой, овладения британским рынком, овладения рынком мировым?

АНГЛИЙСКОЕ ВЕЛИЧИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

С 1750 г. Европа перешла под знак богатства. Англия не была исключением из правила. Признаки ее явного роста многочисленны, но на каких остановиться? Какие поместить во главу списка? Иерархизацию ее торговой жизни? Ее исключительно высокие цены, эту дороговизну, которая наряду со своими недостатками имела то преимущество, что привлекала к себе «изделия чужеземных стран» и без передышки раздувала внутренний спрос? Средний уровень, доход на душу населения у ее жителей, в котором она уступала лишь маленькой богатейшей

* «Прут» (*verge*) — старинная мера длины, равная обычно 422,1 кв. м либо 341,9 кв. м (в Париже).— *Прим. перев.*

[325] Plumb J. H. *Op. cit.*, p. 164.

[326] Vidal de La Blache P. *Etats et nations de l'Europe*, p. 301.

[327] Pebrer P. *Histoire financière et statistique générale de l'Empire britannique*. 1834, II, p. 12.

Голландии? Объем ее обменов? Все сыграло свою роль, но могущество Англии, которое приведет к промышленной революции, какую никто тогда не мог предвидеть, держалось не только на этом подъеме, на этой организации расширявшегося британского рынка, и не на одном только богатстве, которое было судьбой всей активной Европы XVIII в. Оно держалось также на ряде необыкновенных удач, которые поставили страну на путь современных решений без того, чтобы она всегда это осознавала. Фунт стерлингов? Современная монета. Банковская система? Система, которая формировалась и трансформировалась сама собой в современном направлении. Государственный долг? Он утвердился в надежности долгосрочного или постоянного долга в соответствии с эмпирическим решением, которое окажется шедевром технической эффективности. Правда и то, что при ретроспективном взгляде он был также наилучшим признаком английского экономического здоровья, ибо, будучи столь искусной, какой только могла быть система, выросшая из того, что называли английской финансовой революцией, она предполагала пунктуальную выплату без конца востребуемых процентов по государственному долгу. Никогда не терпеть в этом неудачу — это было проявлением силы, таким же необычным, каким была постоянно поддерживаемая устойчивость фунта стерлингов.

Тем более, что это проявление силы английское общественное мнение, в подавляющем своем большинстве ему враждебное, делало лишь более трудным. Конечно же, Англия делала займы и до 1688 г., но краткосрочные, с высокими, нерегулярно выплачивавшимися процентами и с еще более нерегулярной уплатой заемных сумм, подчас осуществлявшейся благодаря новому займу. Короче говоря, государственный кредит был не из лучших, в особенности начиная с 1672 г., с мораториев Карла II, который не только не возратил вовремя предоставленные банкирами деньги, но и отменил проценты по ним (впрочем, все завершилось судебным процессом). После «славной революции» и восшествия на престол Вильгельма Оранского правительство, вынужденное широко занимать деньги и успокоить заимодавцев, начало проводить в 1692 г. политику долгов долгосрочных (предлагали даже слово *постоянных*, *perpetual*), выплата процентов по которым была бы гарантирована поименно указанным фискальным поступлением. Это решение, которое по прошествии времени представляется нам как начало ловкой финансовой политики, на удивление прямолинейной, на самом деле импровизировалось в суматохе, посреди слухов и споров и под сильным давлением событий. Одно за другим были испробованы все решения: тонтины*, пожизненные аннуитеты, лотереи и даже создание в 1694 г. Английского банка, который, напомним это, сразу же ссудил весь свой капитал государству.

Однако у английской публики эти инновации досадным образом отождествлялись с *джоббингом* (*jobbing*), спекуляцией на акциях, и в неменьшей степени с теми иноземными приемами, какие привез в своем багаже из Голландии Вильгельм Оранский. Опасались, писал в 1713 г. Джонатан Свифт, этих «новых изобретений, коим, как полагали, король усвоивший свою по-

* Тонтины — сделки, при которых выплата дохода с капитала, составленного вкладами участников, сопровождается увеличением этого дохода за счет раздела доли умерших членов сообщества между участниками, оставшимися в живых. — *Прим. перев.*

литику в своей собственной стране, открыл слишком широкую дорогу» («*New Notions in Government, to which the King, who had imbibed his Politics in his own Country, was thought to give too much way*»). Голландское представление, будто «в интересах публики быть обремененной долгами», может быть, подходило для Голландии, но не для Англии, где общество и политика были все же иными [328]. Некоторые критики заходили дальше: не стремилось ли правительство своими займами обеспечить себе поддержку подписчиков, а еще более — тех фирм, что обеспечивали успех этих операций? И потом, разве такая возможность легко инвестировать капиталы под процент, более высокий, нежели процент, установленный законом, не создавала громадной конкуренции естественному кредиту, который оживлял английскую экономику, особенно постоянно расширявшуюся торговлю? Сам Дефо сожалел в 1720 г. о тех временах, когда «не было ни дутых предприятий, ни спекуляции на акциях... ни лотерей, ни капиталов, ни аннуитетов, ни покупки корабельных обязательств и государственных облигаций, ни находящихся в обращении билетов казначейства» («*there were no bubbles, no stock-jobbing..., no lotteries, no funds, no annuities, no buying of navy-bills and public securities, no circulating exchequer bills*»), когда все деньги королевства текли широкой торговой рекой без того, чтобы что-то отклоняло обычное ее течение [329]. Что же до утверждений, будто государство делает займы, чтобы не слишком обременять своих подданных налогами, то это же насмешка! Всякий новый заем заставлял создавать новый сбор, новый доход, дабы гарантировать выплату процента.

[328] Swift J. *History of the Four Last Years of the Queen* (написано в 1713 г., опубликовано в 1758 г., после смерти автора, последовавшей в 1745 г.). Цит. по: Dickson P. G. M. *Op. cit.*, p. 17—18.
[329] Defoe D. *Op. cit.*, II, p. 234.



Кофейня *(Coffee House)* в Лондоне около 1700 г. Иллюстрация из книги *«Life and Work of the People of England». Британский музей.*

Наконец, немало англичан приводила в ужас общая чудовищная величина взятых взаймы сумм. В 1748 г., сразу же после Ахенского мира *, который его разочаровал и раздосадовал, некий англичанин-резонер [330] скорбел при виде долга, приблизившегося к 80 млн. фунтов стерлингов. Такой уровень, объяснял он, есть, по-видимому, «наше *nec plus ultra* **, и, ежели осмелимся сделать еще один шаг, мы окажемся в опасности потерпеть всеобщее банкротство». Это-де означало бы приблизиться «к краю пропасти и разорения». «Не нужно быть волшебником, — писал к тому же Дэвид Юм около 1750 г., — чтобы угадать, каким будет продолжение. В самом деле, им может быть лишь одна из двух катастроф: либо нация уничтожит государственный кредит, либо государственный кредит уничтожит нацию» [331]. На следующий день после Семилетней войны лорд Нортумберленд поделился с герцогом Камберлендским своей тревогой по поводу того, что правительство «живет от одного дня к другому, тогда как Франция восстанавливает свои финансы, выплачивает свои долги и приводит в порядок свой флот». Все что угодно может-де случиться, ежели «Франция пожелает за нас взяться» [332].

Иностранный наблюдатель тоже поражался неправдоподобному, на его взгляд, росту английского долга, он вторил британским критическим выпадам, зубоскалил по поводу процесса, который он не понимал, а еще чаще усматривал в нем неслыханную слабость, слепую политику, которая приведет страну к катастрофе. Один француз, шевалье Дюбуше, долго проживший в Севилье, уже объяснял кардиналу Флери в пространной памятной записке (1739 г.), что Англия раздавлена долгом в 60 млн. фунтов стерлингов; итак, «силы ее известны, мы знаем ее долги, кои она никак не в состоянии уплатить» [333]. В таких условиях война, с проектом которой носятся все время, была бы для нее роковой. Вот иллюзия, которая без конца вытекает из-под пера политических экспертов. Не она ли объясняет пессимизм книги, которую голландец Аккариас де Серионн издал в Вене в 1771 г.: хотя он ее и озаглавил «*Богатство Англии*», но это богатство, считал он, находится под угрозой дороговизны жизни, роста налогов, экстравагантных размеров долга, даже так называемого сокращения населения? Или взгляните на такое язвительное газетное объявление в «Журналь де Женев» от 30 июня 1778 г.: «Подсчитано, что для того, чтобы выплатить этот английский государственный долг, платя по одной гинее в минуту, потребуется для его полной уплаты всего лишь 272 года, девять месяцев, одна неделя, один день и 15 минут, что предполагает размер долга равным 141 405 855 гинеям». И однако же, впоследствии война еще более его увеличит, и в громадной пропорции, как бы для того, чтобы посмеяться над некомпетентностью зрителей и экспертов. В 1824 г. Дюфрен де Сен-Леон подсчитал, что «капитал всего государственного долга Европы... доходит до 38—40 миллиардов франков, из коих одна Англия должна более трех четвертей» [334]. Около этого же времени (в 1829 г.) Жан-Батист Сэ, тоже неодобрительно относившийся к английской системе зай-

* Ахенский мир завершил войну за Австрийское наследство (1741—1748), в которую оказались втянуты практически все государства Западной и Центральной Европы.— *Прим. перев.*

330 A. N., 257 AP 10

** Nec plus ultra (*лат.*) — до крайних пределов.— *Прим. перев.*

331 *Journal du Commerce*, 1759, p. 105—106, цит. частично у И. де Пинто: Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 122.

332 Цит. по: Dickson P. G. M. *Op. cit.*, p. 23.

333 A. N., 257 AP 10.

334 Dufresne de Saint-Léon L. C. A. *Études sur le crédit public*. 1824, p. 128.

335 Say J.-B. *Op. cit.*, VI, 1829, p. 187.

мов, считал уже «чересчур значительным» долг Франции, «каковой, однако же, достигает едва 4 млрд.» [335] Не стоила ли победа еще дороже, чем поражение?

Эти благоразумные наблюдатели, однако, были не правы. Государственный долг был великой причиной британской победы. Он предоставил в распоряжение Англии громадные суммы в тот самый момент, когда она в них нуждалась. Именно Исаак де Пинто оказался проницателен, когда писал в 1771 г.: «Скрупулезная и нерушимая точность, с коей сии проценты [по государственному долгу] выплачивались, и мысль о том, что вы располагаете парламентской гарантией, утвердили кредит Англии настолько, что делаются займы, кои поразили и удивили Европу» [336]. Для него английская победа в Семилетней войне (1756—1763 гг.) была следствием этого. Слабость Франции, уверял он, — это скверная организация ее кредита. И прав был также Томас Мортимер, который в 1769 г. восхищался в английском государственном кредите «постоянным чудом его политики, которая внушила государствам Европы одновременно и удивление, и боязнь» [337]. Тремя десятками лет раньше Джордж Беркли прославлял этот кредит как «главное преимущество, каковое Англия имеет над Францией» [338]. Таким образом, очень немногие современники обнаружат ясность взгляда и поймут, что в этой по видимости опасной игре происходила эффективная мобилизация жизненных сил Англии — устрашающее оружие.

Лишь в последние десятилетия XVIII в. эту очевидность начнут признавать все, и Питт Младший сможет заявить в палате общин, что на государственном долге «покоятся мощь и даже независимость этой нации» [339]. Записка, подготовленная в 1774 г., утверждала уже, что «никогда английская нация, столь слабая сама по себе, не смогла бы диктовать свои законы почти всей Европе, не добившись сего своею коммерцией, своею промышленностью и своим кредитом, существующим единственно в его бумагах» [340]. Не один человек говорил, что то была победа «искусственного богатства». Но разве искусственное не есть самый шедевр, созданный людьми? В апреле 1782 г. в трудном, почти безвыходном положении, как полагали Франция, ее союзники и многие другие европейцы, английскому правительству, попросившему заем в три миллиона фунтов стерлингов, было предоставлено пять миллионов! Достаточно оказалось замолвить словечко четырем или пяти крупным фирмам лондонского рынка [341]. Как всегда проницательный, Андреа Дольфин, венецианский посол в Париже, писал в предшествовавшем году своему другу Андреа Трону по поводу затеянной против Англии войны: «Начинается новая осада Трои, и закончится она, вероятно, как осада Гибралтара. Следует, однако, восхищаться стойкостью Англии, противостоящей стольким врагам в стольких областях. Пора было бы признать безнадежным проект ее низвержения, и, следовательно, осторожность повелевала бы согласовать и принести какую-то жертву ради мира» [342]. Какая прекрасная хвала могуществу и в неменьшей степени упорству Англии!

[336] Pinto I., de. *Op. cit.*, p. 41—42.
[337] Dickson P. G. M. *Op. cit.*, p. 16.
[338] *Ibid.*
[339] Москва, АВПР, без даты, 35/6, 3190, л. 114.
[340] Краковские архивы, фонд Чарторыских, 808, л. 253.
[341] Москва, АВПР, 3301, л. 11 об., Симолин, 5/16 апреля 1782 г.
[342] Museo Correr, P. D. C 903/14.

ОТ ВЕРСАЛЬСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА (1783 г.) К ДОГОВОРУ ИДЕНА (1786 г.)

Ничто не обнаруживает английское могущество лучше, чем события 1783 г. Несмотря на унижение Версальского договора (3 сентября 1783 г.), невзирая на довольство и бахвальство французов, Англия явила тогда доказательства в такой же мере своей силы, как и своей политической мудрости и экономического превосходства. Повторим вслед за Мишелем Бенье, что она проиграла войну, но сразу же после этого выиграла мир. На самом деле она не могла его не выиграть, потому что в ее колоде уже были все главные козыри.

Потому что настоящий поединок за мировое господство шел не только между Францией и Англией, но в еще большей степени между последней и Голландией, которую четвертая англо-голландская война буквально выпотрошила.

Потому что поражение Франции в ее притязаниях на мировое господство произошло в 1783 г., как то докажет подписание три года спустя договора Идена.

К сожалению, в том, что касается этого договора — торгового соглашения, которое Франция подписала с Англией 26 сентября 1786 г. и которое носит имя английского участника переговоров Уильяма Идена, — дело обстоит неясно. По-видимому, французское правительство больше спешило с его заключением, чем сент-джеймский кабинет. Версальский договор в своей статье 18 предусматривал немедленное назначение комиссаров для подготовки торгового соглашения. Но английское правительство охотно оставило бы статью 18 дремать в своих архивах [343]. Инициатива шла с французской стороны, несомненно, из-за желания упрочить мир, а также из-за желания положить конец громадной контрабандной торговле между двумя странами, которая обогащала контрабандистов (*smugglers*), даже не сбивая цены. Наконец, таможни обеих стран лишались значительных поступлений, которые были бы весьма желательными, принимая во внимание финансовые невзгоды, какие повлекла за собой как для Англии, так и для Франции разорительная американская война. Короче говоря, Франция возьмет на себя инициативу. Нет, писал в январе 1785 г. И. Симолин, посол Екатерины II в Лондоне, Англию не «заставили смириться с условиями, которые ей бы желали навязать», а те, кто так считал «до того, как увидеть дело собственными глазами», вроде Рейнваля, который вел в Лондоне переговоры от лица Франции, «ошибались, как и он». Когда соглашение будет заключено, Питт с напрасной похвальбой «скажет на заседании парламента, что торговый договор 1786 г. — это настоящий реванш за Версальский мирный трактат» [344]. К несчастью, у историка нет возможности без колебаний судить об этом ретроспективно. Соглашение 1786 г. — неподходящий тест для конфронтации между английской и французской экономиками. Тем более, что договор вступит в действие только с лета 1787 г. [345] и будет расторгнут Конвентом в 1793 г., тогда как срок его действия был 12 лет. Опыт не был достаточно долговременным, чтобы позволить сделать выводы.

[343] Murphy O. T. *Du Pont de Nemours and the Anglo-French Commercial Treaty of 1786.* — «*The Economic History Review*», 1966, p. 574.

[344] Guérin D. *La Lutte des classes sous la Première République, bourgeois et «bras nus», 1793—1797.* 1946, p. 51.

[345] A. N., A. E., B[1], 762, f° 151, 26 июня 1787 г.

[346] A. E., M. et D. Angleterre, 10.
[347] A. N., A. E., B[1], 762.
[348] Savary J. *Op. cit.*, V, col. 744.
[349] Rubichon M. *Op. cit.*, II, p. 354.
[350] A. N., A. E., B[1], 762, f° 161.

Если верить французским очевидцам, судьям пристрастным, англичане хитрили и поступали, как им удобно. При входе во французские порты они занижали цену товаров, которые привозили, и извлекали выгоду из неразберихи, из неопытности и продажности французских таможенников. Они делали так, и настолько хорошо, что английский уголь никогда не прибывал во Францию на французских кораблях[346]; они обложили высокими сборами вывоз английских товаров на борту французских кораблей, так что «два или три небольших французских брига, что находятся здесь, на [лондонской] реке, едва могут за шесть недель раздобыть себе товаров для обратного плавания, чтобы не быть вынуждены возвращаться отсюда в балласте»[347]. Но разве же не было это старинным английским обыкновением? Уже в 1765 г. «Словарь» Савари отмечал как черту, свойственную «гению английской нации», то обстоятельство, что она не позволяет, «чтобы к ней прибывали для установления взаимной торговли. Так что следует признаться,— добавлял он,— что манера, в которой принимают в Англии иностранных купцов, чрезвычайные и чрезмерные ввозные и вывозные пошлины, кои их заставляют уплачивать, и унижения, от коих они довольно часто страдают, почти не побуждают их... завязывать там связи»[348]. И значит, после договора Идена французы не должны были бы удивляться тому, что «мистер Питт, полагая, что совершает политическую акцию, коль скоро она была аморальной, в противоречии с духом договора снизил ввозные пошлины на португальские вина в такой же пропорции, в какой он их уменьшил на наши». «Лучше бы мы пили свое вино!» — говорил, глядя назад, один француз[349]. Но, с другой стороны, правда и то, что французские спекулянты, предполагавшие, что английский клиент несведущ в этих делах, ввозили слишком много вин невысокого качества[350].

Как бы то ни было, ясно, что указ о введении в действие соглашения, датированный 31 мая 1787 г. и широко открывавший французские порты английскому флагу, повлек за собой массовый приход кораблей и лавину британских изделий — сукон, хлопковых тканей, скобяного товара и даже в изобилии керамику. Отсюда и энергичная реакция во Франции, прежде всего в текстильных областях, в Нормандии, в Пикардии, где наказы депутатам 1789 г. требовали «пересмотра торгового соглашения». Самый сильный протест нашел выражение в знаменитых «Соображениях Торговой палаты Нормандии по поводу договора между Францией и Англией» («*Observations de la Chambre de Commerce de Normandie sur le traité entre la France et l'Angleterre*», Руан, 1788 г.). В действительности вступление договора в силу совпало с кризисом французской промышленности, находившейся в некоторых регионах, например в Руане, в разгаре модернизации, но в целом еще страдавшей от обветшавших структур. Иные во Франции убаюкивали себя надеждой на то, что английская конкуренция ускорит необходимые преобразования, поддержит движение, которое уже заставило прижиться во Франции некоторые усовершенствования английской промышленности (скажем, в хлопкопрядении в Дарнетале или в Арпажоне). «Я с удовольствием замечаю, — писал 26 июня

1787 г. г-н д'Арагон из Лондона, — что множество английских работников разных профессий стремятся обосноваться во Франции. Ежели мы их будем поощрять, не сомневаюсь, что они привлекут туда и своих друзей. В их числе много обладающих достоинствами и способностями» [351].

Но с началом Французской революции возникли новые трудности, денежный курс в Лондоне испытал «конвульсивные движения»: 8% понижения уже в мае 1789 г. из-за бегства французских капиталов; в декабре дошло до 13% [352], а дальнейшее было еще менее блестящим. Но если такое стремительное понижение могло на какой-то момент развить французский экспорт в Англию, оно определенно стеснило торговые кругообороты. Чтобы об этом судить, нам нужны были бы статистические показатели. Вместо них у нас есть памятные записки, защитительные речи. Так обстоит дело с неким «Мемуаром относительно торгового соглашения с Англией в 1786 г.» (*«Mémoire sur le traité de commerce avec l'Angleterre en 1786»*) [353], составленным много лет спустя после подписания соглашения, после 1798 г., и, *вероятно*, Дюпон де Немуром. Он пробует показать, что соглашение могло бы быть успешным (что означает косвенно признать, что оно таковым не было). Обложив товары при ввозе пошлинами, доходящими до 10—12%, можно было бы эффективно защитить «наши фабрики», тем более что для того, чтобы ввезти свои товары, «англичане несли накладные расходы, каковые не могли быть ниже 6%, откуда возникало бы к их невыгоде примущество в 18%...». Такое заграждение в 18% было бы достаточной защитой французской промышленности от английского импорта. К тому же относительно «тонких» сукон не было «ни малейших возражений со стороны мануфактур Седана, Абвиля, Эльбефа; и даже определенно [354], что они процветали...». Не было также протестов и со стороны производителей «обычных шерстяных тканей, а именно таковых из Берри и из Каркассонна...». Короче говоря, шерстяной сектор выдерживал конкуренцию, не слишком от нее страдая. Иначе обстояло дело с хлопком. Но достаточно было бы механизировать прядение. Такова была точка зрения «Холкера-отца», англичанина по происхождению, а тогда — генерального инспектора наших мануфактур. «Установим, как [англичане], прядильные машины, — говорил он, — и мы будем производить так же хорошо, как и они». Короче, английская конкуренция могла бы послужить ударом хлыста, необходимым, чтобы подхлестнуть французскую модернизацию, уже происходившую, — но для этого понадобилось бы, повторим еще раз, чтобы опыт был длительным. А главное, потребовалось бы, чтобы Англия не завоевала во время войн Революции и Империи свой последний и самый важный козырь: монополию неограниченного рынка, рынка всего мира.

С такой точки зрения аргументы тех, кто возлагает на Французскую революцию, а затем на наполеоновские войны ответственность за экономическое отставание Франции в начале XIX в., имеют определенный вес. Но есть немало других доказательств, помимо сомнительного договора Идена, чтобы утверждать, что игра была сделана до 1786 г., что Англия уже

[351] *Ibid.*, f° 162.
[352] *Ibid.*, f° 255.
[353] A. E., M. et D. Angleterre, 10, f^os 96, 106.
[354] В значении «очевидно». См.: Dubois J., Logane R. *Dictionnaire de la langue française classique*. 1960, p. 106.

тогда добилась власти над мировой экономикой. Достаточно взглянуть, как Лондон навязывал свои условия торговли России, Испании, Португалии, Соединенным Штатам; на способ, каким Англия, устранив своих европейских соперников, отвоевала после Версаля рынок своих прежних колоний в Новом Свете — без усилий и к величайшему удивлению и самому энергичному неудовольствию союзников Америки; на способ, каким Англия преодолела бурные воды вялой конъюнктуры сразу же после 1783 г.; на порядок и благоразумие, какие Питт снова внес в [ее] финансы [355]; на вывод из игры контрабандной торговли чаем в 1785 г., а в предшествующем году — на принятие парламентом Закона об Ост-Индии (*East India Bill*) [356], который отметил начало более честного управления в английской Индии. Не говоря уже о начале английской Австралии, когда в конце 1789 г. флотилия коммодора Филиппа «доставила в Ботани-бей первых преступников, которых туда отправило правительство» [357]. У тезиса Робера Бенье есть все шансы оказаться справедливым: Англия, «потерпевшая поражение в Америке, отказалась от достижения победы в войне на истощение, чтобы сохранить и расширить свои рынки»; она пожертвовала любым желанием реванша ради сохранения «своего экономического подъема и своего экономического превосходства» [358].

[355] Архив кн. Воронцова, кн. 9. М., 1876, с. 44. Лондон, 4/15 ноября 1785 г.
[356] Van Klaveren J. *Die historische Erscheinung der Korruption*, II.— Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1958, S. 455.
[357] A. N., A. E., B[1], 762, f° 255, 18 декабря 1789 г.
[358] Besnier R. *Op. cit.*, p. 38.

Что же касается Франции, то она попала между Сциллой и Харибдой. Во времена Кольбера и Людовика XIV ей не удалось вырваться из силков Голландии. И вот она оказалась захвачена английской сетью. Как вчера или позавчера Франция дышала через Амстердам, так она будет дышать воздухом большого мира только через Лондон. Конечно, это не обойдется без преимуществ или удобств. Может быть, никогда французская торговля с Индией не была более прибыльной, чем в тот день, когда далекий континент был для французов потерян. Но такие преимущества были эпизодическими.

СТАТИСТИКА ОСВЕЩАЕТ ПРОБЛЕМУ, НО НЕ РЕШАЕТ ЕЕ

Может ли англо-французское соперничество в сердце мировой истории XVIII и начала XIX в. быть освещено, даже разрешено с помощью цифр, или, вернее, сравнения цифр? Эта операция, за которую никогда не пытались взяться всерьез, была предпринята двумя английскими историками — Питером Матиасом и Патриком О'Брайеном — во время Недели Прато 1976 г. [359] Мы, таким образом, стоим перед лицом испытания истины, поначалу разочаровывающего, затем просвещающего, но, вне сомнения, еще неполного. Разочаровывающего, потому что на всем протяжении такого исследования высвечивается определенное превосходство Франции. Как говорил один французский историк во время дискуссии, которая последовала за этим сенсационным докладом в Прато, при таком счете именно Франция должна была бы одержать верх в мировом соревновании и увидеть расцвет промышленной революции у себя! Но ведь известно, и ошибка невозможна, что ничего такого не

[359] Mathias P., O'Brien P. *Op. cit.*, p. 601—650.



Для этого английского карикатуриста превосходство Англии в декабре 1792 г. было самоочевидным: налог налогом, но кто ест лучше? *Национальная библиотека.*

было. Так что проблема английской победы ставится перед нами заново и настоятельным образом. И мы определенно не имеем ее решения.

Две предлагаемые нам кривые — английского роста и роста французского с 1715 по 1810 г., — даже будучи ограничены *глобальными количествами физической продукции*, устанавливают, что французская экономика в XVIII в. росла быстрее английской и что стоимость первой превышала стоимость второй. Проблема попросту поставлена с ног на голову. В самом деле, объем французского производства поднялся со 100 в 1715 г. до 210 в 1790—1791 гг., 247 в 1803—1804 гг. и 260 в 1810 г. Тогда как английский поднялся со 100 в 1715 г. до 182 в 1800 г. Разрыв значителен, даже если иметь в виду, что в такой бухгалтерии Англия дважды недооценивается: а) придерживаясь в подсчетах *физической продукции*, оставляют в стороне услуги; а ведь в этом секторе Англия наверняка намного превосходила Францию; б) вероятно, что, коль скоро Франция начала движение позднее, ее продвижение вперед было более быстрым, а значит, имело преимущество в сравнении с другим «бегуном».

Но если обратиться к стоимости глобальной продукции, выраженной в турских ливрах или в гектолитрах зерна, разрыв снова оказывается значителен. В балансе производства Франция — это гигант, гигант, который не выиграет (именно эту проблему и нужно объяснить), но бесспорно гигант. И значит, Т. Марковича нельзя заподозрить в пристрастности к Франции, когда он настойчиво утверждает [360], что французская суконная промышленность была в XVIII в. первой в мире.

[360] Markovitch T. J. *Histoire des industries françaises: les industries lainières de Colbert à la Révolution.* 1976.

При другой попытке сравнения можно было бы исходить из бюджетов. Краткая статья «Газетт де Франс» от 7 апреля 1783 г. дает соответствующие величины европейских бюджетов, которые некий «политический расчетчик» (имя которого нам до сего времени не известно) пересчитал в фунты стерлингов, чтобы сделать их сопоставимыми. Франция стоит во главе списка (16 млн. фунтов стерлингов), Англия следует за ней или даже стоит с ней рядом (15 млн.). Если принять аналогичную корреляцию между бюджетом (т.е. суммой налога) и ВНП для обеих стран, их ВНП окажется почти равным. Но как раз фискальная напряженность в Англии и во Франции была неодинаковой, и именно в этом уверяют нас наши английские коллеги: к этому времени в виде налога изымалось к северу от Ла-Манша 22% ВНП против 10% во Франции. Следовательно, если эти подсчеты точны, а есть некоторые шансы, что они таковы, фискальное давление в Англии существовало в двойном размере сравнительно с Францией. Вот это и противоречит обычным утверждениям историков, изображающих Францию, которую абсолютный монарх обременил налогами. И вот что также любопытным образом показывает правоту некоего французского отчета начала XVIII в. (1708 г.), написанного в разгар войны за Испанское наследство: «Взглянув на чрезвычайные субсидии, кои подданные платят в Англии, надлежит считать, что ты слишком счастлив, пребывая во Франции» [361]. Это, несомненно, сказано слишком поспешно, и сказано лицом привилегированным. На самом же деле французский налогоплательщик в отличие от английского подвергался тяжким «социальным» изъятиям в пользу сеньеров и церкви. И именно этот социальный налог заранее ограничивал аппетиты королевской казны [362].

[361] A. N., G[7], 1692, f° 34.

[362] Cremer A. *Die Steuersysteme in Frankreich and England am Vorabend der französischen Revolution.— Von Ancien Régime zur französischen Revolution.* 1978, S. 43—65.

Неважно, что ВНП Франции больше чем вдвое превышал ВНП Англии (Франция — 160 млн. фунтов стерлингов, Англия — 68 млн.). Каким бы приблизительным ни был этот расчет, разрыв между цифрами таков, что он не был бы заполнен даже при учете ВНП Шотландии и Ирландии. При таком сравнении Франция одерживает верх за счет своего пространства и своего населения. Подвигом же было то, что Англии удавалось быть равной в бюджетном отношении со страною вдвое большей или же вдвое более крупной, чем она. То была лягушка, которой вопреки уроку басни попросту удалось сделаться такой же большой, как и бык.

Этот подвиг поддается пониманию лишь в свете дохода на душу населения, с одной стороны, и структуры налога — с другой. *Прямой* налог, составлявший во Франции главную часть фискального бремени, всегда воспринимался плохо в политическом и административном отношениях и трудно поддавался увеличению. В Англии же именно *косвенное* налогообложение весьма многочисленных продуктов потребления (включая и массовое потребление) образовывало наибольшую долю налога (70% в 1750—1780 гг.). А ведь такой косвенный налог менее виден, его легче скрыть в самих ценах, и он тем более продуктивен, что национальный рынок был открыт шире, нежели во Франции, что потребление обычно проходило через рынок. Наконец, даже если принять предложенный выше разрыв ме-

жду указанными размерами ВНП (160 и 68 млн. фунтов стерлингов), соотношение численности населения составляло 1 к 3 в пользу Франции, и Англия вполне очевидно опережала в гонке за доход на душу населения: 5 фунтов во Франции, 7,31 фунта в Англии. Разница заметная, хоть и не столь велика, как полагали английские карикатуристы, привыкшие изображать англичанина в образе большого и массивного Джона Буля, а француза в виде тщедушного человечка. Уж не потому ли, что такой образ в конечном счете был ему навязан, или же в силу националистической реакции Луи Симон[363], этот француз, ставший американцем, утверждал, что был поражен в Лондоне в 1810—1812 гг. маленьким ростом англичан, которых встречал на улице? В Бристоле новобранцы показались ему мелкорослыми, лишь к офицерам его взгляд был благосклонен!

[363] Simond L. *Op. cit.*, I, p. 31, 275.

Так что же сказать в заключение? Может быть, что экономический рост Франции в XVIII в. недооценили; в этот момент она как раз нагнала часть своего отставания, несомненно со всеми теми неудобствами в структурной трансформации, какие обычно вызывает ускоренный рост. Но также и то, что массивное богатство Франции не возобладало над «*искусственным*», как выражался Аккариас де Серионн, богатством Англии. Вознесем еще раз хвалу *искусственному*. Если я не ошибаюсь, Англия на протяжении многих лет жила под бóльшим напряжением, чем Франция. Но именно это напряжение питало гений Альбиона. И наконец, не будем забывать то, что в этом долгом поединке зависело от обстоятельств. Если бы консервативная и реакционная Европа не содействовала Англии, не работала на нее, победы над революционной и императорской Францией пришлось бы, пожалуй, ждать долго. Если бы наполеоновские войны не устранили Францию из всемирных обменов, Англии не удалось бы навязать миру свою власть с такой легкостью.

Глава 5

МИР НА СТОРОНЕ ЕВРОПЫ ИЛИ ПРОТИВ НЕЕ

Предоставим «великих» европейского мира-экономики — Альбион, Францию Верженна * — и актеров второго плана, их сообщников или же соперников, их распрям, с тем чтобы попытаться лучше увидеть остальной мир, а именно:

— обширную маргинальную Восточную Европу, тот сам по себе мир-экономику, каким долго была Московская Русь и даже новая Россия вплоть до эпохи Петра Великого;

— Черную Африку, которую несколько поспешно именуют первобытной;

— Америку, европеизировавшуюся медленно, но верно;

— мир ислама в пору упадка его великолепия;

— и, наконец, громадный Дальний Восток [1].

Эту не-Европу [2] мы бы предпочли увидеть саму по себе, но еще до XVIII в. ее невозможно было бы понять без учета покрывавшей ее тени европейского Запада. Все мировые проблемы ставились уже с евроцентристской точки зрения. И можно было бы, даже если это узкая и произвольная точка зрения, описывать Америку как почти полный успех Европы; Черную Африку — как успех, зашедший дальше, чем это кажется; двойной случай, противоречивый, но аналогичный, — России и Турецкой империи — в качестве очень медленно, но неотвратимо вырабатывавшегося успеха; Дальний Восток от берегов Красного моря, Абиссинии (Эфиопии) и Южной Африки до Индонезии, Китая и Японии — как успех спорный, более блистательный, нежели реальный: конечно же, Европа видна там с головы до ног, но потому, что мы на нее смотрим произвольно предпочтительным образом. Если бы заставить наш тесный континент совершить дрейф в центр азиатских земель и морей, он бы затерялся в них целиком. И еще в XVIII в. он не достиг громадной промышленной сверхмощи, которая на какое-то время должна была свести на нет эту диспропорцию.

В любом случае именно из всего мира извлекала уже Европа значительную долю своей сути и своей силы. И именно такая добавка поднимала ее над ее же уровнем перед лицом тех задач, какие она встречала на пути своего прогресса. Без этой постоянной помощи возможна ли была бы с конца XVIII в. ее промышленная революция — главный ключ судеб Европы? Этот вопрос возникает, как бы ни отвечали на него историки.

Возникает также и вопрос: как узнать, была ли Европа иной по своей человеческой, *исторической* природе, чем остальной

* Верженн, Шарль Гравье, граф де (1719—1787) — министр иностранных дел Людовика XVI в 1774—1787 гг. — *Прим. перев.*

[1] Руководством для написания этой главы мне послужили две книги: Devèze M. *L'Europe et le monde à la fin du XVIII^e siècle*. 1970; Borsa. G. *La Nascità del mondo moderno in Asia orientale*. 1977.

[2] Выражение несовершенное, ибо оно включает в не-Европу восточную часть континента. Но можно ли сказать — не-Запад? Шарль Верлинден (Verlinden Ch.) говорит о «действительно европейской Европе» (*L'Avènement des temps modernes*. Ed. J.-C. Margolin, 1977, p. 676).

мир, или не была? Следовательно, позволит или нет то противостояние, что организует эта глава, подчеркивая контрасты и противоположности, лучше судить об Европе, т.е. об ее успехе? В действительности выводы из путешествия будут неоднозначными. Ибо мир, как мы увидим это в десятках случаев против одного, также схож в своем экономическом опыте с Европой. Порой разрыв бывал даже очень невелик. Тем не менее разрыв этот существовал в силу европейских сплоченности и эффективности, которые в конечном-то счете были, может быть, функцией относительно небольших размеров Европы. Если Франция по меркам того времени находилась в невыгодном положении из-за своих слишком больших по сравнению с Англией размеров, то что же говорить об Азии, о России, или о зарождавшейся Америке, или о недостаточно населенной Африке в сравнении с Западной Европой, крохотной и перенапряженной? Преимущество Европы, мы уже это видели, вытекало также из специфических социальных структур, которые благоприятствовали здесь более широкому капиталистическому накоплению, более уверенному в своем завтрашнем дне, находившемуся чаще под защитой государства, нежели в конфликте с ним. Но ясно также и то, что, если бы эти сравнительно небольшие виды преимуществ не нашли выражения в господстве — во всех значениях этого термина, — европейский порыв не имел бы ни того же блеска, ни той же быстроты, ни — главное! — тех же последствий.

ОБЕ АМЕРИКИ, ИЛИ ГЛАВНАЯ СТАВКА ИЗ ВСЕХ

Америки как «периферия», как «кора» Европы? Та и другая из этих формулировок довольно хорошо передают тот способ, каким Новый Свет начиная с 1492 г. мало-помалу со всем своим достоянием, со своими прошлым, настоящим и будущим, вступил в сферу деятельности и размышления [3] Европы, тот способ, каким он в нее интегрировался и в конечном счете приобрел свое фантастическое новое значение. Америка, которую Валлерстайн, ни минуты не колеблясь, включает в европейский мир-экономику XVI в., разве же это не фундаментальное объяснение Европы? Разве последняя не открыла, не «изобрела» [4] Америку и не прославила путешествие Колумба как величайшее событие в истории «со времен сотворения» [5]?

Вне сомнения, Фридрих Лютге и Генрих Бехтель [6] вправе придавать минимальное значение *первым* следствиям открытия Нового Света, особенно в перспективе немецкой истории. Но Америка, однажды войдя в жизнь Европы, мало-помалу изменила все ее глубинные характеристики, она даже переориентировала ее деятельность. Вслед за некоторыми другими авторами Иньяс Мейерсон [7] утверждает, что индивид — это то, что он делает, что он определяется и проявляется самой своею деятельностью, что «быть и делать» составляют одно целое. Тогда

[3] Guozzi G. *Adamo e il Nuovo Mondo. La nascità dell'antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali.* 1977.
[4] O'Gorman E. *The Invention of America.* 1961. Это же выражение есть и у Франсуа Перру: «Европа, которая в нескольких смыслах этого слова изобрела мир» (Perroux F. *L'Europe sans rivage.* 1954, p. 12).
[5] López de Gómara F. *Historia general de las Indias. Primera Parte.* 1852, p. 156.
[6] Lütge F. *Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.* 1966, S. 288; Bechtel H. *Wirtschaftsgeschichte Deutschlands von 16. bis 18.* Jahrhundert. 1951, II, S. 49.
[7] Meyerson I. *Les Fonctions psychologiques et les œuvres.* 1948.

я сказал бы, что Америка была «деянием» Европы, созданием, которым та лучше всего проявила свое существо. Но созданием, столь медленно совершавшимся и завершавшимся, что оно обретает свой смысл, лишь рассматриваемое в целом, во всей полноте своей протяженности.

ГРОМАДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА — ВРАЖДЕБНЫЕ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ БЛАГОПРИЯТНЫЕ

Если открытая Америка мало что дала Европе сразу же, то это потому, что она лишь частично была обследована и удерживалась белым человеком. И Европе пришлось терпеливо перестраивать ее по своему образу и подобию, чтобы Америка начала соответствовать ее желаниям. Конечно же, такая перестройка произошла не в один день: поначалу даже наблюдалось определенное ничтожество, некая немощь Европы перед лицом открывавшейся перед ней сверхчеловеческой задачи, которую она скорее плохо просматривала. В действительности ей потребовались столетия, чтобы (не без огромных вариантов и отклонений) воспроизвести себя на другой стороне Атлантики, и ей пришлось преодолеть целую серию препятствий.

И прежде всего те, что ставила дикая природа, которая «кусает, душит, заносит песком, отравляет, подавляет» [8], препятствия от нечеловеческого сверхобилия пространства. «Испанцы, — жаловался в 1717 г. один француз, — имеют [в Америке] королевства, большие, нежели вся Европа» [9]. Это правда. Но такая безбрежность будет мешать их завоеваниям. Конкистадорам хватило тридцати лет, чтобы взять верх над хрупкими американо-индейскими цивилизациями; тем не менее эта победа предоставила им всего лишь самое большее 3 млн. кв. км, к тому же слабо включенных в сферу их господства. Полтора столетия спустя, около1680 г., когда испанская и европейская экспансия начала развертываться в полную силу, захвачена была лишь половина Нового Света, быть может 7 млн. кв. км из 14 или 15 млн. [10] А тогда, после того как были покорены крупные секторы американо-индейских цивилизаций, не шла ли неизменно речь о борьбе против пустого пространства и против пребывавшего еще в каменном веке населения, на которое никакой завоеватель опереться не мог? Весьма знаменитые походы *paulistas* * (начиная с XVI в.) через безграничные просторы Южной Америки в поисках золота, драгоценных камней и невольников не были ни завоеванием, ни колонизацией: они оставляли за собой не больше следов, чем кильватерная струя корабля в открытом море. И что же обнаруживал испанец, прибыв на юг Чили к середине XVI в.? Почти абсолютную пустоту. «Со стороны Атакамы, возле пустынного побережья, ты видишь земли без людей, где нет ни птицы, ни зверя, ни деревца, ни листика» [11]. Так поет Эрсилья **! «Граница», пустое пространство, которое предстояло подчинить людскому присутствию, постоянно маячила на горизонте американской истории, как на востоке Перу, так и на юге Чили, в *льяносах* Венесуэлы или в бескрайней Канаде, по всему *Дальнему Западу (Far*

[8] Manceron C. *Vingt Ans du Roi,* p. 524.
[9] B.N., Ms. fr. 5581, f° 23, 2 декабря 1717 г.
[10] Chaunu P. *Séville et l'Atlantique...*, VIII, p. 48.
* См. настоящее издание, т. I, с. 76, 112.— *Прим. ред.*
[11] Ercilla A., de. *La Araucana* (опубликована в 1569 г.). 1910, ch. XXVII, p. 449.
** Эрсилья-и-Суньига Алонсо, де (1533—1594) — испанский конкистадор и поэт, автор эпической поэмы «Араукана».— *Прим. перев.*

Англичане и голландцы в Северной Америке в 1660 г.
В 1660 г. рассеянная и ограниченная одним только побережьем колонизация затрагивала лишь очень незначительную часть территории, которую предстояло завоевать. Голландские позиции в Новом Амстердаме и вдоль р. Гудзон будут оставлены по миру в Бреде в 1667 г. (По данным: Rein. *Europäische Ausbreitung,* Taf. XVII.)



[12] Jara A. *Tierras nuevas, expansión territorial y ocupación del suelo en America* (s. XVI—XIX). 1969; Monbeig P. *Pionniers et planteurs de São Paulo.* 1952.
[13] Chevalier F. *La Formation des grands domaines en Mexique. Terre et société aux XVI*ᵉ*— XVII*ᵉ *siècles.* 1952, p. 4.
[14] Mauro F. *Le Brézil du XV*ᵉ *à la fin du XVIII*ᵉ *siècle.* 1977, p. 145.

West) Соединенных Штатов или в громадной Аргентине в XIX в., или еще в XX столетии — в глубинных районах запада бразильского штата Сан-Паулу[12]. Пространство — это изнуряющая протяженность перевозок, это истощение от нескончаемых переходов. Разве не путешествовали по внутренним регионам Новой Испании (Мексики) как по открытому морю, с компасом или астролябией в руке[13]? В Бразилии золото в далеком краю Гояс было открыто Буэну да Силва и его сыном в 1682 г.; десять лет спустя «в 1692 г. последний снова отправится в Гояс с несколькими компаньонами; они потратят три года на то, чтобы добраться до месторождения»[14].

Английские колонии, еще мало заселенные, были рассеяны от Мэна до Джорджии на 2000 км, «расстоянии от Парижа до Марокко». И наличные дороги были немногочисленны, едва намечены; мостов почти не было, мало было и паромов. Так что в 1776 г. «для новости о провозглашении Независимости понадобилось столько же времени, чтобы дойти от Филадельфии до Чарлстона, — двадцать девять дней, — сколько и на то, чтобы дойти от Филадельфии до Парижа» [15].

Как любая природная данность, американская бескрайность, правда, играла разные роли, говорила на разных языках. Она была тормозом, и она же была стимулятором, ограничением, но также и освободительницей. В той мере, в какой ее было слишком много, земля обесценивалась, а человек возрастал в цене. Пустынная Америка могла *существовать* лишь в том случае, если человека в ней прочно удерживало его дело, в котором он оказывался замкнут: крепостничество, рабство, эти древние оковы, возрождались сами собой как необходимость или как проклятие, навязанные избытком пространства. Но последнее означало также освобождение, соблазн. Индеец, бежавший от своих белых господ, располагал убежищами, не имевшими границ. Черным рабам, чтобы избавиться от мастерских, от рудников или от плантаций, нужно было только уйти в гористые зоны или в непроходимые леса. Вообразите себе трудности их преследования для *энтрадас* (*entradas*), этих карательных экспедиций, по густым, не имевшим дорог лесам Бразилии, которые вынуждали «солдата нести на себе оружие, порох, пули... муку, питьевую воду, рыбу, мясо» [16]. Палмарисское *киломбо* [17], республика негров-симарронов, долговечность которой мы уже отмечали, сама по себе представляла в хинтерланде Баии область, быть может столь же обширную, как вся Португалия.

Что касается белых трудящихся, более или менее добровольных иммигрантов, то контракт привязывал их к хозяину, редко бывавшему доброжелательным. Но по окончании контракта зоны пионерской деятельности предоставляли им бескрайние новые земли. Колониальная Америка полна была «краев света», *finistères*, внушавших ужас сами по себе, но вполне стоивших тех легких почв, что играли такую же роль к югу от сибирской тайги; и как эти последние, они были землей обетованной, потому что даровали свободу. В этом заключалось главное отличие от старой Западной Европы, «мира заполненного», как сказал бы Пьер Шоню, без пустых пространств, без целинных земель, в котором соотношение между средствами к существованию и населением в случае необходимости уравновешивалось голодом и эмиграцией в дальние края [18].

[15] См. Mousnier R.— в: Crouzet M. *Histoire générale des civilisations*, V, 1953, p. 316.
[16] Pedro de Almeida D. *Diario*, p. 207; цит. по: Lara O. *De l'Atlantique à l'aire caraïbe: nègres cimarrons et révoltes d'esclaves, XVI*e*—XVII*e* siècles*, s. d., II, p. 349.
[17] *Киломбо* — бразильское слово, обозначавшее убежище беглых негров.
[18] Mauro F., машинописный текст сообщения, сделанного на Неделе Прато в 1978 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Однако же мало-помалу пространством овладели. Всякий зарождающийся город, каким бы скромным он ни был, означал выигранное очко, любой растущий город — победу, скромную, но победу. Точно так же всякая разведанная дорога (в большинстве случаев благодаря опыту индейцев и продоволь-

ствию, доставленному коренными жителями) означала продвижение вперед, условие других видов прогресса, в частности более легкого снабжения городов и оживления ярмарок, возникавших почти что везде. Я говорю не только о прославленных ярмарках, проходивших под знаком международной экономики, — в Номбре-де-Диос, Портобельо, Панаме, Веракрусе или в Халапе, по дороге в Мехико, — но о ярмарках локальных и о скромных рынках, что возникали посреди пустого пространства: например, о пушной ярмарке в Олбани, за Нью-Йорком, или о перераспределяющих ярмарках в Сан-Хуан-де-лос-Лагосе и в Сальтильо, которым суждено было иметь все возраставший успех на севере Мексики [19].

Когда с концом XVII в. сильный жизненный толчок потряс целиком обе Америки, завершилась первичная организация экономического пространства. *Рынки региональные* (или уже национальные) обретали свое лицо в обширной Испанской Америке, внутри заранее созданных административных подразделений, в рамках полупустых пространств, которые в конечном счете наполнялись людьми, дорогами, караванами вьючных животных. Таков был случай вице-королевства Перу, которое соответствовало не одному только нынешнему независимому Перу; так было в аудиенсии * Кито, которая станет Эквадором, в аудиенсии Чаркас, нынешней Боливии. Жан-Пьер Берт [20] обрисовал в рамках мексиканской аудиенсии Новая Галисия, созданной в 1548 г., генезис регионального рынка, складывавшегося вокруг города Гуадалахары и прилегающей к нему округи. Что же касается исследования Марчелло Карманьяни, посвященного Чили XVIII в. [21], то это, быть может, лучшее из существующих исследований о формировании регионального или даже «национального» рынка, тем более что оно решительно избрало уровень общетеоретический.

Членение пространства — операция медленная, и, когда завершился XVIII в., оставались (но они остаются еще и сегодня) пустынные земли, удаленные от дорог, т.е. пространства, подлежавшие перепродаже по всей Америке. Отсюда и существование до наших дней многочисленных бродячих групп, так что образовались целые категории людей, наделенных родовым обозначением: бразильские *вадиос* (*vadios*), чилийские «*оборванцы*» (*rotos*) или мексиканские *вагос* (*vagos*). Человек никогда не бывал укоренен (или то, что называется, укоренен) в бескрайности американских пространств. В середине XIX в. *гаримпейру* — затерянные в бразильском *сертане* старатели, искавшие алмазы и золото, возвратились в приатлантическую зону Ильеуса, к югу от Баии, и создали там и поныне еще существующие плантации какао [22]. Но и земледельческое хозяйство не удерживало людей, зачастую готовых переселиться все вместе — господа, их люди и животные, — словно Новому Свету трудно было создать и поддерживать, как в Европе, укоренившееся крестьянство. Типичный крестьянин внутренних районов Бразилии в недавнем прошлом и ныне — *кабокло* (*caboclo*) — перемещался почти с такой же легкостью, как современный заводской рабочий. Аргентинский *пеон*, не будучи столь же под-

[19] Brading D. A. *Mineros y commerciantes en el Mexico borbonico, 1763—1810*. 1975, p. 138.

* Аудиенсия — административно-судебный округ в испанских владениях в Америке. — *Прим. перев.*

[20] Berthe J.-P. *Introduction à l'histoire de Guadalajara et de sa région*. — Colloque C. N. R. S. «*La Rôle des villes dans la formation des régions en Amérique latine*», p. 3 sq.

[21] Carmagnani M. *Les Mécanismes de la vie économique dans une société coloniale: le Chili (1680—1830)*. 1973, в частности p. 262 sq.

[22] Calmon P. *Historia social do Brazil*. 1937, p. 191. Исход этот относится к 1871 г.



Строительство города Саванна в Джорджии. Фронтиспис книги Бенджамина Мартина (Martyn B. Reasons for establishing the colony of Georgia, 1733). *Британская библиотека.*

вижен, как *гаучо* прошлого столетия, тоже охотно пускался в странствия.

Итак, человек лишь отчасти овладел пространством, так что еще в XVIII в. в нем полно было наслаждавшихся жизнью диких животных, особенно по всей обширной континентальной части Северной Америки — стране бизонов, бурых медведей, пушных зверей и тех серых белок (тех же, что в Восточной Европе), что совершали компактными массами фантастические миграции через реки и просторы озер [23]. Завезенные из Европы крупный рогатый скот и лошади, вернувшиеся к дикому состоянию, размножились невероятным образом, угрожая уничтожить земледелие. Не самая ли это живописная из колонизаций, которую являет нашим взорам начало европейской истории Нового Света? К тому же разве не заместили дикие животные людей в обширных зонах Новой Испании, которые с отливом коренного населения опустели без своих обитателей [24]?

[23] Friederici G. *El Caracter del Descubrimientó y de la Conquista de América.* 1973, p. 113.
[24] Brading D. A. *Op. cit.*, p. 20.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОДНЕВОЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Итак, на этих чересчур обширных землях нехватка людей была постоянной проблемой. Для того чтобы развивалась новая экономика, Америке, которая находилась в процессе самосоздания, требовалось все больше рабочей силы, которую легко было бы держать в повиновении и которая была бы дешевой (а в идеале — даровой). Первопроходческая книга Эрика Уильямса [25] десятки раз отмечает причинно-следственную связь между капиталистическим подъемом старой Европы и рабством, полурабством, крепостничеством, полукрепостничеством, наемным и полунаемным трудом Нового Света. «Сущ-

[25] Williams E. *Capitalism and Slavery.* 4th ed., 1975.

ность меркантилизма,—кратко пишет он,—есть рабство»[26]. Это то, что Маркс выразил другими словами «в одной фразе-вспышке, единственной, быть может, по своей исторической содержательности»: «Вообще для скрытого рабства наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента рабство *sans phrase* [без оговорок] в Новом Свете»[27].

Ни у кого не вызовет удивления тяжкий труд этих людей Америки, каков бы ни был цвет их кожи; он зависел не только от близко к ним стоявших хозяев плантаций, предпринимателей на рудниках, купцов-кредиторов из Консуладо (*Consulado*) в Мехико или иных городах, не только от алчных чиновников испанской короны, продавцов сахара или табака, работорговцев, жадных до наживы капитанов торговых кораблей... Все они играли свою роль, но то были в некотором роде уполномоченные, посредники. Лас Касас разоблачал их как единственных виновников «адского порабощения» индейцев; он желал бы отказать им в святых таинствах, изгнать их из лона церкви. Но зато никогда он не оспаривал испанское господство. Король Кастильский, *Великий Апостол (Apostol Mayor)*, ответственный за обращение в христианство, имел право быть *Императором над множеством королей (Imperador sobre muchos reyes)*, господином над местными владыками[28]. В действительности подлинный корень зла находился по другую сторону Атлантики—в Мадриде, Севилье, Кадисе, Лисабоне, Бордо, Нанте, даже в Генуе и определенно в Бристоле, а вскоре—в Ливерпуле, Лондоне, Амстердаме. Это зло присуще феномену сведения континента к положению *периферии*, навязанному отдаленной от него силой, безразличной к жертвам людей и действовавшей с почти механической логикой мира-экономики. В том, что касается индейца или африканского негра, слово «геноцид» не будет неправомерным; но заметьте, что в этой авантюре и белый человек не оставался совершенно невредимым, в лучшем случае он легко отделывался.

В действительности разные формы порабощения в Новом Свете сменяли друг друга, вытесняя одни другие. Рабство индейцев, найденное на месте, не устояло перед невероятно тяжким испытанием; белое, европейское рабство (я говорю о рабстве французских *завербованных*—*engagés*—и английских *слуг*—*servants*) будет выступать как интермедия, главным образом на Антильских островах и в английских колониях на континенте; наконец, рабство черное, африканское, будет достаточно сильно, чтобы укорениться и умножиться наперекор всему и вся. Чтобы закончить, надлежит прибавить массовую иммиграцию в XIX и XX вв. со всех концов Европы, ускорившуюся как бы случайно в тот момент, когда поставки людей из Африки прервались или готовы были вот-вот прерваться. В 1935 г. капитан одного французского судна говорил мне, что нет более удобного для перевозки груза, чем мигранты в 4-м классе: они сами грузятся и сами выгружаются.

Рабство индейцев устояло лишь там, где существовали (чтобы обеспечить его долговечность и использование) густое население и сплоченность общества, та сплоченность, которая создает послушание и покорность. Это то же самое, что сказать:

[26] *Ibid.*, p. 30.
[27] Маркс К., Энгельс Ф., *Соч.*, т. 23, с. 769, цит. Пьером Виларом: Vilar P. *Problems of the Formation of capitalism.*—*«Past and Present»*, 1956, p. 34.
[28] Bataillon M. *Etudes sur Bartolomé de Las Cazas.* 1965, p. 298.

единственно в зоне древних ацтекской и инкской империй. В других районах первобытное население распалось само собой, с самого начала испытания, как в бескрайней Бразилии, где туземец прибрежных областей бежал внутрь страны, так и на территории Соединенных Штатов (тринадцать старых колоний): «В 1790 г. в Пенсильвании оставалось 300 индейцев, 1500 — в штате Нью-Йорк, 1500 — в Массачусетсе; 10 тыс. — в обеих Каролинах»[29]. Точно так же и на Антильских островах туземное население, противостоявшее испанцам, голландцам, французам и англичанам, было устранено, став жертвой завезенных из Европы болезней и ввиду невозможности для пришельцев его использовать[30].

Напротив, в густонаселенных зонах, на которые с самого начала была нацелена испанская конкиста, индеец оказался легко подчиняющимся власти. Он чудесным образом пережил испытания конкисты и колониальной эксплуатации: массовые убийства, безжалостные войны, разрыв социальных уз, принудительное использование его «рабочей силы», смертность, какую влекли за собой повинность носильщиков и работа на рудниках, и в завершение всего — эпидемические заболевания, принесенные из Европы и Африки белыми и неграми. Центральная Мексика, имевшая население в двадцать пять миллионов жителей, дошла, как полагают, до остаточного населения в один миллион. Такая же катастрофа обнаружилась на острове Эспаньола (Гаити), Юкатане, в Центральной Америке, немного позднее — в Колумбии[31]. Впечатляющая деталь: в Мексике в начале конкисты францисканцы проводили службы на папертях своих церквей — такими многочисленными были толпы верующих; но с конца XVI в. мессу служили внутри этих же самых церквей, даже в простых часовнях[32]. Мы присутствуем при фантастическом регрессе, несоизмеримом даже со зловеще знаменитой Черной смертью, бывшей бичом Европы XIV в. Однако же масса туземного населения не исчезла, оно восстановилось начиная с середины XVII в., естественно, к выгоде своих испанских господ. Эксплуатация индейца продолжалась в полурабской форме *энкомьенд*, городской прислуги и принудительного труда на рудниках, обозначавшегося общим названием *репартимьенто* (*repartimiento*) и известного в Мексике как *коатекитль* (*coatequitl*); а в Эквадоре, Перу, Боливии и Колумбии — как *мита* (*mita*)[33].

Однако с XVI в. в Новой Испании появился и «свободный» труд наемных рабочих, в результате сложного кризиса. Прежде всего вследствие сокращения индейского населения обнаружились настоящие *Wüstungen*, опустевшие зоны, как в Европе XIV и XV вв. Земля вокруг индейских деревень «сжалась», как шагреневая кожа, и именно на спонтанно возникавших или созданных произвольными конфискациями опустевших пространствах развивались крупные имения — *асьенды*. Для индейца, желавшего спастись от коллективной барщины, которую навязывали ему его деревня, а также государство, изыскивавшее рабочую силу, возможно было бегство: на асьенды, где развивалось фактическое рабство и где позже окажутся вынуждены прибегнуть к наемным работникам; в города, где его

[29] Devèze M. *Op. cit.*, p. 358.
[30] Devèze M. *Antilles, Guyanes, la mer des Caraïbes de 1492 à 1789.* 1977, p. 173.
[31] Sánchez Albornoz N. *La Población de América latina.* 2e éd., 1977, p. 62 sq.
[32] Phelan J. L. *The Millenial Kingdom of the Franciscans in the New World.* 1956, p. 47.
[33] Villamarin J. A., Villamarin J. E. *Indian Labor in Mainland Colonial Spanish America.* 1975, p. 17.



Сцена, изображающая, вероятно, мобилизацию работников-индейцев перед бараками невольников *(senzalas). Национальная библиотека, Отдел карт и планов (Ge CC 1339), карта 133. Фото Национальной библиотеки.*

принимали в число домашней прислуги и в мастерские ремесленников; наконец, на рудники — не только на слишком близкие рудники в районе Мехико, где сохранится принудительный труд, но дальше к северу, в тех поселениях, что вырастали посреди пустыни, от Гуанахуато до Сан-Луис-Потоси. Там было рассеяно больше 3 тыс. рудников, порой крохотных, на которых работало в целом в XVI в. от 10 до 11 тыс. горняков и, может быть, 70 тыс. в XVIII в. Рабочие приходили туда отовсюду — индейцы, метисы, белые, которые к тому же перемешивались. Введение после 1554—1556 гг. процесса амальгамирования[34] позволило обогащать бедную руду, снизить общие затраты и увеличить производительность труда и производство.

Как и в Европе, этот маленький мирок горняков существовал сам по себе; как хозяева, так и рабочие были расточительны, беззаботны, приверженны к игре. Рабочие получали *partido* — своего рода премию — в зависимости от количества добытой руды. Их заработки были очень высокими (все, конечно, относительно), но и ремесло их было ужасным (порох не использовался до XVIII в.), и было это население беспокойное, склонное к насилию, а при случае и жестокое. Рудокопы пили, пировали; и то был не только «искусственный рай», о котором с веселым изумлением писал один историк[35], а какой-то нелепый праздник, и сверх всего — настойчивая потребность обратить на себя внимание. В XVIII в. все это еще усилилось, как если бы процветание было дурным советчиком. Случалось, что у рабочего в кошельке оказывалось в конце недели 300 песо[36], их тут же тратили. Какой-нибудь рудокоп покупал себе парад-

[34] Berthe J.-P. *Aspects de l'esclavage des Indiens en Nouvelle-Espagne pendant la première moitié du XVI^e siècle.— «Journal de la Société des américanistes»,* LIV, № 2., p. 204., note 48.

[35] Jara A., машинописный текст сообщения во время Недели Прато, 1978 г.

[36] Pére Aljofrin (1763 г.), цит. в кн.: Brading D. A. *Op. cit.*, p. 369.

ные одежды, рубашки из голландского полотна. Другой приглашал 2 тыс. человек попировать за его счет и растрачивал 40 тыс. песо, которые ему принесло открытие небольшого месторождения. Так варился в собственном соку этот мирок, никогда не ведавший покоя.

На рудниках Перу, самых значительных в Америке в XVI в., зрелище было не таким театральным и, по правде, менее веселым. Амальгамирование появилось там с запозданием, в 1572 г., но здесь оно не станет освободителем. Подневольный труд (*мита*) сохранился, и Потоси оставался адом. Не сохранилась ли система в силу самого своего успеха? Это возможно. Только в конце столетия Потоси утратит царственное положение, которого он более не обретет, невзирая на возвращение к активной деятельности в XVIII в.

В конечном счете индеец вынесет на своих плечах бремя первых крупного размаха хозяйственных предприятий в Новом Свете в интересах Испании: горные разработки; сельскохозяйственное производство — достаточно вспомнить о возделывании маиса, основе выживания Америки; обслуживание караванов мулов или лам, без которых было бы немыслимо перемещение белого металла и многих других продуктов — официально от Потоси до Арики, а контрабандным путем — из Верхнего Перу через Кордову до Рио-де-ла-Платы[37].

Зато там, где индейцы существовали лишь в виде раздробленных племенных образований, европейской колонизации пришлось многое строить самой: так было в Бразилии до эпохи сахарных плантаций; так было во французских и английских колониях на «континенте» или на Антильских островах. До самых 70—80-х годов XVII в. англичане и французы широко обращались к услугам «завербованных» (это французский термин) или *identured servants* (это английский термин для обозначения слуг, работающих по надлежащим образом зарегистрированному контракту). «Завербованные» и «слуги» были почти что рабами[38]. Их судьба не слишком отличалась от участи начинавших прибывать негров; как и последних, их перевозили через океан в глубине трюмов на тесных кораблях, где не хватало места, а пища была омерзительной. Кроме того, когда они прибывали в Америку за счет какой-то компании, последняя была вправе возместить себе свои затраты: тогда «завербованных» продавали, не более и не менее как невольников; покупатели прослушивали и ощупывали их, как лошадей[39]. Конечно, ни «завербованный», ни «слуга» не были ни пожизненными, ни потомственными рабами. Но тем менее заботился хозяин о том, чтобы их поберечь: он знал, что утратит их по истечении срока найма (36 месяцев на французских Антильских островах, от 4 до 7 лет в английских владениях).

Как в Англии, так и во Франции использовали все средства, дабы набрать нужных эмигрантов. В архивах Ла-Рошели было обнаружено больше 6 тыс. контрактов с «завербованными» за период с 1635 по 1715 г. Половина завербованных были из Сентонжа, Пуату и Ониса, провинций, неверно представлявшихся богатыми. Для увеличения числа выезжающих к лживой рекламе добавили насилие. В некоторых кварталах Парижа проводи-

[37] Arcondo A. B. *Los precios en una economia en transición. Cordóba durante el siglo XVIII.* — «*Revista de economia y estadistica*», 1971, p. 7—32.

[38] Именно это писал Даниэль Дефо: Defoe D. *Moll Flanders*. Abbey Classics ed. p. 71; цит. по: Williams E. *Op. cit.*, p. 18.

[39] Devèze M. *Antilles, Guyanes...*, p. 185.

[40] Fournier E. *Variétés historiques et littéraires.* 1855—1863, VII, p. 42, note 3.
[41] Mousnier R. *Op. cit.*, p. 320.
[42] Spini G. *Storia dell'età moderna.* 1960, p. 827.
[43] Williams E. *Op. cit.*, p. 19.

ли облавы[40]. В Бристоле попросту похищали мужчин, женщин и детей, или же немалое число тяжких приговоров умножало число «добровольцев», готовых ехать в Новый Свет и спасавшихся таким путем от петли. Короче говоря, на колонии осуждали, как на каторгу! При Кромвеле состоялись массовые отправки шотландских и ирландских заключенных. С 1717 по 1779 г. Англия направила в свои колонии 50 тыс. ссыльных[41], и в 1732 г. гуманный евангелист Джон Оглторп основал новую колонию Джорджию, желая собрать там весьма многочисленных заключенных за долги[42].

Следовательно, существовало широко распространенное и долго длившееся «рабство» белых. Эрик Уильямс настаивает на этом, ибо, на его взгляд, виды рабства в Америке замещали друг друга и в некотором роде между собою сообщались: заканчивался один вид, утверждался другой. Смена эта происходила не автоматически, но в целом правило было очевидно. Белое «рабство» вступило в игру лишь в той мере, в какой недоставало индейского, а рабство негров, эта громадная проекция Африки в Новый Свет, развилось только из-за нехватки труда индейцев и рабочей силы, доставляемой из Европы. Там, где негр не использовался, например при возделывании пшеницы к северу от Нью-Йорка, «слуга» (*servant*) сохранится вплоть до XVIII в. Следовательно, на карту были поставлены потребности колониальной [экономики], которая диктовала изменения и последовательность по причинам экономическим, а не расовым. Эти причины «не имели ничего общего с цветом кожи»[43]. Белые «рабы» уступили место, потому что обладали тем недостатком, что были таковыми лишь временно; а возможно, они стоили слишком дорого, хотя бы из-за своего питания.

Эти «завербованные» и «слуги», будучи однажды освобождены, распахали и отвоевали для земледелия небольшие хозяйства, в которых возделывали табак, индиго, кофе, хлопок. Но впоследствии они зачастую проигрывали в противостоянии крупным плантациям, рождавшимся на базе возделывания культуры-завоевательницы — сахарного тростника, предприятиям дорогостоящим, а значит, капиталистическим, которые требовали значительной рабочей силы и оборудования, не говоря уже об основном капитале. И в этом основном капитале черный невольник имел свое место. Крупная собственность сахарных плантаций вытеснила мелкую собственность, которая, однако же, помогла ее созданию: отвоеванная земля, раскорчеванная мелким землевладельцем, поднимавшим целину, и в самом деле благоприятствовала устройству плантаций. В недавнем прошлом, к 30-м годам нашего столетия, этот же самый процесс можно было увидеть в начинавших разрабатываться районах штата Сан-Паулу, в Бразилии, где временная мелкая собственность подготавливала почву для крупных кофейных *фазенд*, которые в конце концов ее сменяли.

В XVI и XVII вв. с появлением крупной (относительно крупной) земельной собственности умножилось число черных невольников, бывших необходимым, *sine qua non*, условием ее существования. После драматического снижения численности индейского населения экономический процесс, открывший

Америку для африканского населения, шел сам собой: «Именно деньги, а не страсти, добрые или дурные, сплели заговор»[44]. Африканский невольник, более сильный, чем индеец (утверждали, что один негр стоит четырех индейцев), более послушный, более зависимый, поскольку он был оторван от своей родной общины, покупался, как товар, даже на заказ. Деятельность торговцев неграми позволит создать громадные для своего времени сахарные плантации предельных размеров, обеспечивавших перевозку тростника на телегах: тростник, чтобы он не испортился, должен был сразу же после срезки доставляться на мельницу и без задержки размалываться[45]. На таких обширных предприятиях было место для регулярного, хорошо разделенного, однообразного труда, не требовавшего высокой квалификации, за вычетом трех или четырех должностей технических специалистов, квалифицированных рабочих.

Покорность, ровный характер, сила работников-негров сделали из них орудие наименее дорогое, самое эффективное и вскоре затем — единственно желанное. Если в Виргинии и в Мэриленде табак, поначалу возделывавшийся мелкими земельными собственниками — белыми, познал живейший подъем в 1663—1699 гг.[46] (его экспорт вырос вшестеро), то произошло это потому, что состоялся переход от труда белых к использованию рабочей силы негров. В то же самое время, как и полагается, появилась полуфеодальная аристократия, блистательная, образованная, но и склонная к произволу. Табак, возделывавшийся в больших масштабах на экспорт, как пшеница на Сицилии или в Польше, как сахар на бразильском Северо-Востоке (*Nordeste*) или на Антильских островах, породил такой же социальный строй. Одинаковым причинам соответствовали аналогичные результаты.

Но негра использовали и для множества других работ. Так, старательская золотодобыча в Бразилии, что началась в последние годы XVII в., возникла в результате доставки в сердце *Минас-Жераиса*, Гояса и *сертана* Баии тысяч черных невольников. И если негры не будут работать на серебряных рудниках в Андах или на севере Новой Испании, то потому (это была весомая причина), что во внутренних районах континента, после нескончаемого путешествия, они стоили дороже, чем на Атлантическом побережье, а не только потому, как утверждали, что холода горных высот (что играло свою роль) не позволяли им заниматься очень тяжким горняцким трудом.

В действительности разные виды подневольной рабочей силы в Америке были более взаимозаменяемы, чем принято считать. Индейцы могли быть старателями, как это было вокруг Кито. Точно так же отбросим вздорные рассуждения о невозможности якобы для белого жить в тропиках, занимаясь физическим трудом (как считал среди тысяч других и Адам Смит)[47]. «Завербованные» и «слуги» прекрасно работали там в XVII в. Прошло больше ста лет с тех пор, как немцы обосновались в Сифорте на Ямайке: они там еще живут и трудятся. Итальянские землекопы вырыли Панамский канал. И возделыванием сахарного тростника в тропических областях Северной Австралии целиком заняты белые. Точно так же на Юге США вновь

[44] Brogan D. W. Введение к кн.: Williams E. *Op. cit.*, p. VIII.

[45] В 1860 г. с появлением железной дороги Куба развила у себя чудовищные плантации сахарного тростника по 11 тыс. акров, тогда как на острове Ямайка самые крупные едва достигали 2 тыс. акров. См.: Williams E. *Op. cit.*, p. 151—152.

[46] Williams E. *Op. cit.*, p. 26.

[47] Смит А. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. Т. II. М.—Л., 1935, с.146.



Гравюра, иллюстрирующая книгу
«Voyage pittoresque et historique au Brésil» (1834 г.)
Ж.-Б. Дебре, который сам эту гравюру комментирует на с. 78—79.
Эта лавка невольников на улице Вал-Лонгу в Рио-де-Жанейро была
«подлинным складом»,
куда приводили негров, доставленных с африканского побережья, их господа.
Сидящий в кресле хозяин лавки обсуждает с неким минейру
(землевладельцем из Минас-Жераиса) покупку ребенка.
Зарешеченные антресоли в глубине служили спальным помещением для негров,
которые туда поднимались по лестнице.
Никаких окон, за исключением нескольких амбразур.
«Таков базар, где продаются люди»,— заключает Дебре.
Фото Национальной библиотеки.

заняла немалое место белая рабочая сила, тогда как негры эмигрировали на Север, в суровый климат, и, не чувствуя себя от этого ни лучше, ни хуже, живут в Чикаго, Детройте или в Нью-Йорке. А тогда если один климат (который, повторяю это, все же играл свою роль) не определял распространение и внедрение людей по всему Новому Свету, то этим, вполне очевидно, озаботилась история — сложная история европейской эксплуатации, но также и предшествовавшего ей могучего прошлого американских индейцев, которое успехами инков и ацтеков заранее и неизгладимым образом утвердило на американской земле постоянное индейское присутствие. В конечном счете история дала выжить до наших дней индейской Америке, Америке африканской и Америке белой. Она перемешала их, но недостаточно, ибо и ныне они продолжают в массовом масштабе отличаться друг от друга.

НА СТОРОНЕ ЕВРОПЫ

Кто только ни повторял, что Америка была вынуждена заново начать путь Европы? Это верно отчасти, но достаточно для того, чтобы не последовать буквально за Альберто Флоресом Галиндо[48], который желал бы устранить любое европейское истолкование какого бы то ни было американского явления. В общем Америке пришлось самой по себе и так, как она это смогла, пройти долгие этапы европейской истории, правда не придерживаясь их порядка или моделей. Там мы снова встречаем, хоть и в перемешанном виде, европейский опыт — античность, средние века, Возрождение, Реформацию[49]. Так я сохранил зрительное воспоминание об американских зонах первоначального освоения, которые лучше любого ученого описания приводят на память зоны расчистки средневековых лесов Европы в XIII в. Точно так же определенные черты первых европейских городов Нового Света и их патриархальных семейств восстанавливают для историка приблизительную античность — наполовину истинную, наполовину ложную, но незабываемую. Я также признаюсь, что меня зачаровывает история этих американских городов, что вырастали *раньше* деревень, в крайнем случае — одновременно с ними. Они позволяют представить в ином свете великий и решающий урбанистический натиск Европы XI—XII вв., в котором большинство медиевистов желает видеть лишь медленно вызревавший плод сельскохозяйственного, а не торгового и городского подъема. И тем не менее!

Будет ли разумно усматривать здесь только простые реминисценции, в то время как Европа контролировала развитие заморских земель и навязывала им свои правила? В той мере, в какой каждая метрополия желала безраздельно удерживать свой кусок Америки, навязывая ему соблюдение «колониальных договоров» и уважение к «исключительным правам», а общества по другую сторону Атлантики почти не могли уйти от опеки издалека и от навязчивых образцов Европы, бывшей в самом деле *породительницей (genitrix)*, которая внимательно

[48] Flores Galindo A. *Sociedad colonial y sublevaciones populares: el Cuzco, 1780* (машинописный текст), p. 8.

[49] Léonard E.-G. *Histoire générale du protestantisme*, III, 1964, p. 6, 692 sq.; *L'Eglise presbytérienne du Brésil et ses expériences ecclésiastiques*.— «*Études évangéliques*», 1949.

следила за своими чадами и у которой моменты ослабления внимания бывали лишь поначалу, в безвестности и незначительности первых поселений. Англия и Испания предоставили своим первым Америкам расти в свое удовольствие, так, как те могли или даже желали. Затем, когда дети выросли и достигли процветания, их взяли в руки, и, когда все стало на место, наступила, как говорили, «централизация» к выгоде институтов метрополии.

Централизация была естественной, тем лучше воспринимавшейся, что она была необходима для обороны юных колоний от посягательств других европейских держав. Ибо соперничество между теми, кто совместно делил Новый Свет, оставалось сильным. На сухопутных границах и в неменьшей степени вдоль нескончаемых побережий Америки происходили беспрестанные конфликты.

Централизация наверняка облегчалась также тем фактом, что внутри колонии она обеспечивала господство белого меньшинства, а последнее оставалось привязанным к верованиям, мыслям, языкам и манере жить уже «старой» Европы. Земельная аристократия, которая удерживала в XVIII в. центральную долину Чили,— в действительности малочисленная, но эффективная, активная, привыкшая господствовать — насчитывала «каких-нибудь 200 семейств» [50]. В 1692 г. богатейшими людьми Потоси была горстка важных особ, «разодетых в золотую и серебряную парчу, понеже любое другое одеяние для них недостаточно хорошо» [51]; роскошь в их домах была неслыханной. А сколько их было, богатых бостонских негоциантов, накануне революции 1774 г.? А ведь тем, что спасало эти крохотные группки, была, несомненно, пассивность тружеников, прежде всего она, но также и пособничество общественного порядка, который охватывал все и в поддержании которого любой ценой была заинтересована Европа.

Правда, эти общества выказывали себя более или менее покорными, более или менее зависимыми по отношению к метрополиям. Но недисциплинированность, когда она случалась, ничего не изменяла в их существе, их строе и их функциях, неотделимых от того строя и тех функций, что составляли костяк европейских обществ, минувших и нынешних. Из таких обществ менее всего покорными и менее всего удерживаемыми в руках были те, которые не оказывались захвачены великими течениями межконтинентальных обменов, те, чью «заурядную экономику... не увлекал какой-нибудь господствовавший продукт» [52], какое-нибудь управляемое издалека, из-за Атлантики, производство [53]. Такие общества и экономики, мало интересовавшие европейских негоциантов и не получавшие ни капиталовложений, ни заказов, оставались бедными, относительно свободными и обреченными на автаркию. Таков был случай пастушеского Перу по другую сторону Анд, выше линии густых лесов Амазонии; таким был случай зоны крупных владений в *льяносах* Венесуэлы, где *энкомендеро* не давали авторитарному правительству в Каракасе лишить их силы. Так обстояло дело в долине Сан-Франсиску, этой «реки стад», больше чем наполовину одичавших внутри Бразилии, где какой-нибудь

[50] Lynch J. *The Spanish American Revolutions, 1803—1826.* 1973, p. 128, цит. по: Bousquet N. *La Dissolution de l'Empire espagnol au XIX[e] siècle* (диссертация, машинописный текст), 1974, p. 106.
[51] Coreal F. *Voyages aux Indes occidentales.* 1736, I, p. 244.
[52] Chaunu P. *Séville et l'Atlantique...*, t. VIII, p. 597.
[53] Freire Fonseca C. *Economia natural y colonizacão de Brazil (1534—1843).* 1974 (машинописный текст диссертации).

феодальный сеньер, как Гарсиа ди Резенди, владел, как говорили, столь же обширными (но практически пустынными) землями, как вся Франция Людовика XIV. И так же выглядела обстановка в любом городе, в достаточной мере затерянном в американском пространстве, достаточно изолированном, чтобы быть вынужденным управляться самостоятельно, даже если у него не было никакого «зуда» независимости. В конце XVII в., даже в XVIII в. Сан-Паулу, старинная столица первых *бандейрантов* [54], оставалась примером такой вынужденной независимости. «У португальцев,— писал в 1766 г. Аккариас де Сերионн,— мало поселений во внутренних областях Бразилии; город Сан-Паулу — тот, который они рассматривают как самый значительный... Этот город находится более чем в двенадцати часах пути в глубь материка» [55]. «Это,— говорит Кореаль,— своего рода республика, созданная при своем основании всякого сорта людьми без стыда и совести» [56]. «Паулисты» считали себя свободным народом. По правде говоря, то было осиное гнездо: они разбойничали на дорогах внутренних областей, а если они и снабжали продовольствием лагеря рудокопов, то и совершали также набеги на индейские деревни иезуитских редукций *, расположенные вдоль Параны, доходя в своих рейдах до Перу и Амазонии (1659 г.) [57].

Однако же послушных или укрощенных экономик было изобилие. В самом деле, как смогли бы артачиться Виргиния с ее табаком, Ямайка с ее сахаром, когда они жили закупками английского рынка и лондонским кредитом? Для независимости американских колоний потребуется серия предварительных условий, которые на самом деле нелегко было свести воедино. И плюс необходимы были благоприятные обстоятельства, как это покажет первая великая антиевропейская революция — революция 1774 г. в английских колониях.

Плюс, наконец, самостоятельная сила, достаточная для того, чтобы колониальный порядок смог затем сохраниться, развиваться сам собой, обходясь без содействия метрополии. Разве же не находился этот порядок перед постоянной угрозой? Плантаторы Ямайки жили в страхе перед восстаниями рабов; внутренние районы Бразилии располагали своими «республиками» беглых невольников (марунов); индейцы-*бравос (bravos)* [58] угрожали важнейшей линии сообщений на Панамском перешейке; на юге Чили арауканы представляли опасность до середины XIX в.; в Луизиане восстание индейцев в 1709 г. сделало необходимой посылку небольшого французского экспедиционного корпуса... [59]

[54] См. т. I настоящего труда (издание 1967 г.), с. 45.
[55] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts des nations de l'Europe...*, I, 1766, p. 56.
[56] Coreal F. *Op. cit.*, I, p. 220—221.
* Редукция — в испанских владениях в Южной Америке разновидность резервации для индейского населения.— *Прим. перев.*
[57] Mauro F. *Le Brésil...*, p. 138.
[58] Accarias de Sérionee J. *Op. cit.*, I, p. 85. Бравос — в значении «дикие».
[59] Giraud M. *Histoire de la Louisiane française.* 1953, I, p. 196—197.

ПРОТИВ ЕВРОПЫ

Но мог ли «колониальный договор» сохраняться вечно под знаком вопиющего неравенства? Колонии существовали только для того, чтобы служить богатству, престижу, силе метрополий. Их торговля, вся их жизнь находились под надзором. Томас Джефферсон, будущий президент Соединенных Штатов, напрямик говорил, что виргинские плантации были «разновид-

ностью собственности, привязанной к определенным торговым домам Лондона»[60]. Другая претензия: Англия десятки раз услышит, как ее американские колонии будут жаловаться на почти что драматическую нехватку монеты. И никогда она не будет устранена: метрополия намеревалась иметь положительный баланс со своими колониями и, значит, получать наличные, а не предоставлять их[61]. И тогда, сколь ни велико было терпение стран, пребывавших в приниженном состоянии, такой режим, быть может, не продержался бы долго, если бы действительность соответствовала букве регламентов и законов; если бы расстояние — хотя бы даже в виде продолжительности плаваний через Атлантику — не оказалось творцом определенной свободы; если бы вездесущая и неискоренимая контрабанда не служила смазкой для всего механизма.

Отсюда вытекала некоторая склонность к терпимости, тенденция предоставить вещам идти своим ходом. Так что происходили сами собой определенные перекосы и восстановления равновесия, которые редко осознавали в нужный момент и против которых позднее никто более не мог бороться. Так, не было эффективных таможен; так, администрация не столько буквально исполняла распоряжения метрополии, сколько уступала напору местных и частных интересов. Более того, рост обменов помогал американским экономикам стать экономиками денежными, сделать так, что некая часть американских драгоценных металлов, посредством ли контрабанды или единственно в силу рыночной логики, оставалась на месте вместо того, чтобы направляться в Европу. «До 1785 г. в Мексике было обычным явлением, что церковь договаривалась с крестьянами о получении десятины в деньгах»[62]. Эта подробность многозначительна сама по себе. Точно так же кредит, свидетельство далеко зашедшей эволюции, играл свою роль даже в местностях, затерянных в бразильской «глубинке». Золото и вправду все там изменяло: 7 мая 1751 г. Совет *(Conselho)* Вилла-Рики писал королю, что многие рудокопы «по всей очевидности, задолжали цену рабов, коими владеют, так что тот, кто внешне кажется богатым, в действительности беден, тогда как многие , что живут как бедняки, на самом деле богачи»[63]. То есть хозяин золотого прииска работает за счет аванса, который согласились предоставить ему купцы и который послужил ему для покупки невольников. Такая же эволюция происходила в странах, производивших серебро. Читая волнующую работу Д. Брадинга о Новой Испании XVIII в., прежде всего о городе Гуанахуато, в то время крупнейшем горнопромышленном городе Америки и всего мира, испытываешь впечатление, словно кредит там множил свои формы ради забавы, накладывая их одни на другие, переплетая их, разрушал существующее свое строение ради того, чтобы изобрести другое, и так далее.

Весьма наглядный урок заключается в том, что к выгоде местных купцов начиналось заслуживающее внимания накопление. В Испанской Америке были даже настолько богатые креольские купцы, что в конце XVIII в. начали поговаривать, что Испания-де — колония своих колоний! Было ли это просто фразой? Или выражением испанского раздражения против лю-

[60] Цит. Дж. М. Прайсом (Price J. M.) в кн.: Platt, Skaggs. *Of Mother Country and Plantations.* 1972, p. 7.
[61] Andrews Ch. M. *The Colonial Period of American History. The Settlements*, I, 1970, p. 518—519.
[62] Florescano E. *Precios del maiz y crisis agricolas en Mexico (1708—1810).* 1969, p. 314.
[63] *«Journal of Economic History»*, march 1977, p. 62, note 7.

дей, которые не умели знать свое место? Во всяком случае, за время кризисов борьбы за независимость мы десятки раз отметим конфликты, яростную вражду между купцами Нового Света и капиталистами метрополий. Так было в Бостоне. Так было в Буэнос-Айресе, где в 1810 г. купцы города пожелали порвать с кадисскими негоциантами. Так было и в бразильских городах, где враждебность переходила в ненависть к португальским купцам. В Рио-де-Жанейро, где кража со взломом и убийство были делом заурядным, португальский купец с пальцами, унизанными перстнями, выставлявший у себя дома напоказ свою серебряную посуду, был ненавистным врагом. Ему наносили удары как могли, за отсутствием иных возможностей чаще посредством жестокой насмешки, делавшей из него настоящий комический персонаж, тупой, отвратительный, а при случае — и обманутого супруга. Стоило бы проделать захватывающее социально-психологическое исследование о тех, кого по всем странам Испанской Америки именовали *чапетонами (chapetones)* или *гачупинами (gachupines)*, дабы обозначить вновь прибывших из Испании, с их неопытностью, их претензиями и зачастую с их заранее сколоченным богатством. Они прибывали на подкрепление уже обосновавшимся небольшим группам, которые занимали господствующее место в торговле. Именно таким образом вся Мексика оказалась под владычеством купцов родом из баскских провинций или из горных районов за Сантандером. Эти купеческие семейства выписывали из Испании племянников, кузенов, соседей по своим родным деревням, они набирали помощников, преемников и зятьев. Новоприбывшие без труда одерживали верх в «матримониальной гонке». В 1810 г. Идальго, мексиканский революционер, который желал бы, как и многие другие, положить конец *гачупинской* иммиграции, обвинил их в том, что это-де люди «извращенные... Движущая пружина всей их ажитации — лишь гнусная скаредность... Они католики только из политических соображений, а *их Бог — деньги (Su Dios es el dinero)*»[64].

[64] Brading D. A. *Op. cit.*, p. 457—458.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

В промышленном плане, как и в плане торговли, давно назревал конфликт между колониями и метрополией. С конца XVI в. продолжительный кризис терзал всю испано-португальскую Америку, да, вне сомнения, и всю Америку в целом[65]. Европейский капитализм находился тогда самое малое в затруднительном положении; следовательно, в XVII в. по другую сторону Атлантики пришлось выкарабкиваться самим. Формировавшиеся региональные рынки увеличили свои обмены: бразильцы настойчиво добирались до андских краев; Чили снабжало Перу зерном; бостонские корабли доставляли на Антильские острова муку, лес, рыбу Ньюфаундленда... И так далее. Возникали промышленные производства. В 1692 г. в Кито имелись «мануфактуры, изготовляющие саржу и хлопчатое полотно... грубые... ткани, идущие на одежду народа. Так, их сбывают в Перу и в Чили и даже в Тьерра-Фирме и Панаме, вывозя через Гуая-

[65] Arciniegas G. *Este Pueblo de América*. 1945, p. 49; он сравнивает этот кризис со своего рода средневековьем.



Вышивальная мастерская в Перу в XVIII в. Работницы — метиски. *Мадрид, Королевский дворец, Libro Trujillo del Perú. Фото Mac.*

киль, каковой представляет как бы гавань Кито [на Тихом океане]. Их также вывозят сухопутным путем в Попаян»[66]. Аналогичный натиск текстиля проявился в Сокорро в Новой Гранаде[67], в перуанской провинции Куско и в южных, населенных индейцами областях Мексики — в Ла-Пуэбле[68], во внутренних районах того, что станет Аргентиной, в частности в Мендосе, «где,— писал епископ Лисаррага,— индейцы, кои воспитывались среди нас, изготовляют нить столь же тонкую, как тончайшая бискайская нить»[69]. Развились и некоторые другие производства по переработке продуктов земледелия и скотоводства; повсеместно изготовляли мыло, сальные свечи; повсюду обрабатывали кожу[70].

Созданная, несомненно, в трудные годы XVII в., в эпоху когда значительная часть Америки с развитием крупных асьенд «феодализировалась», расплывется ли эта элементарная промышленность как «масляное пятно», когда улучшится конъюнктура? Для этого потребовалось бы, чтобы Европа отказалась

[66] Coreal F. *Op. cit.*, I, p. 353—354. Попаян — колумбийская провинция к юго-западу от Боготы.
[67] Bousquet N. *Op. cit.*, p. 42. Сокорро — город в Колумбии в провинции Сантандер.
[68] Chevalier F. *Signification sociale de la fondation de Puebla de Los Angeles.— «Revista de historia de América»*, 1947, № 23, p. 127.
[69] Lizarraga R., de. *Descripción del Perú, Tucuman, Rio de la Plata y Chile.— Historiadores de Indias,* 1909, II, p. 465.
[70] Brading D. A. *Op. cit.*, p. 36.

от своей мануфактурной монополии. А это, конечно же, не входило в ее намерения. Лорду Чатаму приписывают такие слова: «Если бы Америка додумалась изготовить один чулок или один подковный гвоздь, я бы пожелал заставить почувствовать ее всю тяжесть британской мощи» [71]. Изречение, которое, если оно было действительно высказано, свидетельствовало бы о намерениях Великобритании, но также и о незнании ею заморских реальностей: Новый Свет не отказывал себе в возможности изготовлять то, в чем он нуждался.

[71] A. N., Marine, B[7], 461, f° 39. В 1766 г. Уильям Питт (1708—1778) получил титул графа Чатама.

В общем, старея, вся Америка достигла своего собственного равновесия и изыскала и наладила свои уловки. Испанская Америка более других частей Нового Света нашла в сети контрабандной торговли дополнительную свободу, источник доходов. Манильский галион — это знали все! — служил перехвату американского белого металла к невыгоде Испании, даже к невыгоде Европы, на пользу далекому Китаю и капиталистам Консуладо *(Consulado)* в Мехико. К тому же большая часть (и значительно) монеты и серебряных слитков вплоть до конца XVIII в. предназначалась не Католическому королю, ставшему бедным родственником, а частным купцам. Купцы Нового Света имели в ней свою долю.

АНГЛИЙСКИЕ КОЛОНИИ ВЫБИРАЮТ СВОБОДУ

Всеобщий протест Нового Света вспыхнет прежде всего в английских колониях Америки. Вполне очевидно, что термин «восстание» слишком силен для «Бостонского чаепития» и подвига тех людей, что 16 декабря 1774 г., переодевшись краснокожими, пробрались на три корабля английской Ост-Индской компании, стоявшие на якоре в порту, и выбросили в море их груз чая. Но этот инцидент, сам по себе незначительный, положил начало разрыву между колониями — будущими Соединенными Штатами — и Англией.

Конфликт определенно вырос из экономического взлета XVIII в., который поднял английские колонии, как и остальную Америку, и, вне сомнения, еще больше, ибо они находились в самом центре внутренних и внешних обменов.

Признаком такого подъема было в первую очередь постоянное прибытие иммигрантов, английских рабочих, ирландских крестьян, шотландцев (эти последние зачастую бывали родом из Ольстера и на суда садились в Белфасте). За пять лет, предшествовавших 1774 г., 152 судна, вышедших из ирландских гаваней, доставили «44 тыс. человек» [72]. К которым добавилась значительная немецкая колонизация. Между 1720 и 1730 гг. последняя почти что «германизировала... Пенсильванию» [73], где квакеры оказались в меньшинстве перед лицом немцев, подкрепленных ирландцами-католиками. Внедрение немцев еще усилится после завоевания независимости, потому что многочисленные немецкие наемники, служившие Англии, предпочтут после окончания войны остаться в Америке.

Иммиграция эта была настоящей «торговлей людьми» [74]. В 1781 г. «один крупный коммерсант похвалялся, что он-де

[72] Devèze M. *L'Europe et le monde...*, p. 331, по данным М. Хэнсена (Hansen M. L. *The Atlantic Migration (1607—1860)* и Г. Коуэна (Cowan H. *British Emigration to North America.* 1961).
[73] *Ibid.*
[74] A. N., A. E., B III, 441.

в одиночку ввез перед войной 40 тыс. душ европейцев: палатинцев, швабов и некоторое число эльзасцев. Эмиграция осуществлялась через Голландию» [75]. Но предметом торговли, схожей, хотим мы этого или нет, с торговлей неграми и не прерванной войной, скорее наоборот, были главным образом ирландцы. «Импортная торговля с Ирландией, приостановленная во время войны,— пояснял один отчет, относящийся к 1783 г.,— возобновила свою активность вместе с крупными прибылями для тех, кто ее ведет. [Вот на судне] находятся 350 мужчин, женщин и детей новоприбывших, [кои] сразу же были наняты. [Метод прост]: капитан [корабля] предлагает в Дублине или в любом другом порту Ирландии свои условия эмигрантам. Те, кто могут оплатить свой проезд, обычно в размере 100 или 80 турских л[ивров], прибывают в Америку вольными выбирать участь, какая их устраивает. Те же, кои оплатить не могут, перевозятся за счет арматора, каковой, дабы возместить свои затраты, объявляет по приходе [в порт], что привез ремесленников, поденщиков, домашних слуг и что с ними условлено, что они будут наняты от его имени [76] для службы на срок, каковой обычно составляет 3, 4 или 5 лет для мужчин и женщин и 6 или 7 лет для детей. Последние из вывезенных были наняты из расчета от 150 до 300 [ливров] [77], выплачиваемых капитану, в зависимости от пола, возраста и силы. Хозяева обязаны только кормить их, одевать и предоставлять жилье. По истечении срока их службы им дают одежду и заступ, и они совершенно свободны. На будущую зиму их ждали от 15 до 16 тыс., большею частью ирландцев. Дублинские власти испытывают большие трудности, пытаясь помешать выездам. Предприниматели обращают свои взоры на Германию» [78].

В результате возникала «текучая миграция с [атлантических] берегов в сторону гор и даже на запад... Одно-единственное жилище служит для всех, покуда не будет построен дом для каждой [из семей]». Вновь прибывшие, достигнув зажиточности, «являются в Филадельфию выплачивать цену участков», которые им были предоставлены и которые обычно продавались правительством колонии, [а затем штата, ставшего его преемником]. Колонисты «весьма часто перепродают сии новые земли и отправляются искать в иных местах другие невозделанные земли, кои они равным образом перепродают, введя их в обработку. Многие земледельцы расчистили до шести участков один за другим» [79]. Этот документ конца XVIII в. хорошо описывает уже давний феномен «границы», который притягивал иммигрантов, желавших сколотить состояние после окончания срока их найма. Шотландцы в особенности отваживались уходить в леса, жили там на индейский манер, все время продвигаясь вперед от расчищенных земель в зоны, подлежавшие расчистке. Вслед за ними менее отважные иммигранты, зачастую немцы, занимали и обрабатывали отвоеванные земли [80].

Этот приток людей на земли и в леса Запада [Америки] как сопровождал, так и вызывал общий экономический подъем. У наблюдателей возникало впечатление, будто они присутствуют при биологическом взрыве; американцы, утверждали

[75] A. N., A. E., B III, 441. Палатинцы — имеются в виду уроженцы Пфальца.
[76] То есть от имени арматора.
[77] Выплачиваемых арматору.
[78] A. N., Colonies, C 11 4 11, f^os 205 sq.
[79] A.N., Colonies, C 11 4 11.
[80] Mousnier R. *Op cit.*, p. 320.

они, «производят на свет как можно больше детей. Вдовы, кои имеют много детей, уверены, что снова выйдут замуж»[81]. Эта высокая рождаемость наполняла до краев поток населения. При таком ритме даже области к северу от Филадельфии мало-помалу перестали быть областями с английским населением почти без примесей. А так как шотландцы, ирландцы, немцы, голландцы испытывали к Англии только безразличие или даже враждебность, то такое этническое смешение, рано начавшись и быстро ускоряясь, вне сомнения, способствовало отделению от метрополии. В октябре 1810 г. французский консул, только что прибывший в Нью-Йорк, попытался, как от него это потребовали в Париже[82], определить «нынешнее настроение жителей штата... и их действительное отношение к Франции». Послушаем его ответ: «Не по перенаселенному городу, в котором я живу [в Нью-Йорке было тогда 80 тыс. жителей], следует судить об этом; его жители, по большей части иностранцы, люди самых разных наций, за исключением, ежели можно так выразиться, американцев, в общем исполнены только делового духа. Нью-Йорк — это, так сказать, большая непрекращающаяся ярмарка, где две трети населения беспрестанно обновляются, где совершаются громадные сделки, почти всегда с фиктивными капиталами, и где роскошь доведена до чудовищных масштабов. Таким образом, и коммерция там обычно несолидная; банкротства, частые и нередко значительные, не вызывают здесь сильных чувств. Более того, потерпевший банкротство редко не встречает величайшей снисходительности со стороны своих кредиторов, как если бы каждый из них добивался права на взаимность. И значит, — заключает он, — американское насе-

[81] A. N., A. E., B III, 441, 1782.
[82] A. N., A. E., C. C. C. Philadelphie, 7, f° 358, Нью-Йорк, 27 октября 1810 г.

Вид Стейт-стрит и Олд-Стейт-Хауза в Бостоне в 1801 г. Кирпичные дома, карета, европейские моды. Картина Джеймса Б. Марстона. *Массачусетское историческое общество, Бостон. Фото J.P.S.*



ление штата Нью-Йорк надлежит искать в деревне и в городах внутренних районов». Что же касается людских превращений в «плавильном котле» *(melting pot)*, то разве же вся масса американцев (3 млн. жителей к 1774 г.), еще умеренная, не испытывала на себе эти вторжения иноземцев,— [вторжения], которые, с учетом всех пропорций, были столь же значительными, какими они будут в Соединенных Штатах конца XIX в.?

Однако же, подобное явление затрагивало более английские колонии Севера (Новую Англию, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Пенсильванию), нежели колонии Юга (Виргинию, Мэриленд, Северную и Южную Каролины, Джорджию), которые образовывали совершенно отличную зону плантаций и черных рабов. Еще и ныне тот, кто посещает великолепный дом Томаса Джефферсона (1745—1826) в Монтиселло, во внутренних районах Виргинии, видит его сходство с *Большими домами (Casas Grandes)* Бразилии или *Great Houses* Ямайки, с той специфической деталью, что большинство комнат рабов находятся в самом подвале огромного строения, которое как бы подавляет их своей массой. Таким образом, на счет «Юга» английской Америки, *глубокого Юга (deep south)*, можно принять многое из того, что Жилберту Фрейри мог писать относительно плантаций и городов бразильского *Нордэсте*. Но несмотря на аналогию в ситуациях, два эти опыта в человеческом плане были далеки друг от друга. Между ними пролегало то расстояние, что отделяло Португалию от Англии, различия в культуре, в ментальности, в религии, в сексуальном поведении. Любовные похождения хозяев плантаций *(engenhos)* со служанками, о чем пишет Жилберту Фрейри, разворачивались на глазах у всех, тогда как многолетняя страсть Джефферсона к одной из его молодых невольниц была ревниво охраняемым секретом [83].

Противостояние, сталкивавшее Север и Юг, было сильно выраженной структурной чертой, которая с самого начала отмечает историю будущих Соединенных Штатов. В 1781 г. один очевидец описывал Нью-Хэмпшир. «Здесь не увидишь,— говорит он,— как в южных штатах, как владелец тысячи рабов и 8—10 тыс. акров земли измывается над средним достатком своего соседа» [84]. На следующий год другой очевидец подхватывает эту параллель: «На Юге есть больше богатства для малого числа людей; на Севере — больше общественного благосостояния, больше частного благополучия, счастливого среднего достатка, больше населения...» [85] Несомненно, это чрезмерное упрощение, и Франклин Джеймсон позаботился об уточнении деталей [86]. Даже в Новой Англии, где крупные земельные владения были редчайшим явлением, где аристократия была главным образом городской, такие имения все же имелись. В штате Нью-Йорк «маноры» раскинулись в общей сложности на двух с половиной миллионах акров, и в сотне миль от Гудзона имение Ван Ренсселеров имело площадь 24 на 28 миль, т. е., в порядке сравнения, составляло две трети всей площади колонии Род-Айленд — правда, колонии незначительных размеров. В южных колониях крупные имения были еще больше по размерам — уже в Пенсильвании и еще больше в Мэриленде и Вир-

[83] Brodie F. *Thomas Jefferson: an Intimate History*. 1976.
[84] A. N., A. E., B III, 441, 1781.
[85] *Ibid.*
[86] Jameson J. F. *The American Revolution considered as a Social Movement*. 1925; итальянское издание (1960, с. 34 и сл.).

гинии, где поместье Ферфаксов покрывало шесть миллионов акров. В Северной Каролине поместье лорда Гренвилла одно составляло треть территории колонии. Вполне очевидно, что Юг, но также и часть Севера были согласны на аристократический режим, когда скрытый, когда выставлявшийся напоказ, в действительности на социальную систему, «пересаженную» из старой Англии, в которой право первородства попросту было краеугольным камнем. Тем не менее, коль скоро небольшие хозяйства повсюду проникали между звеньями крупных имений — как на Севере, где пересеченный рельеф был малоблагоприятен для крупного земледельческого хозяйства, так и на Западе, где приходилось валить лес для устройства пашни,— такой неравный раздел земли в экономике, где за земледелием оставалось колоссальное преобладание, не препятствовал довольно прочному социальному равновесию к выгоде самых богатых. По крайней мере до революции, которая разгромила многочисленные династии земельных собственников, сторонников Англии, и за которой последовали экспроприации, распродажи и эволюция «в неторопливой и спокойной англосаксонской манере» [87].

Таким образом, аграрный строй был более сложен, чем его представляет обычная схема, просто противопоставляющая Север и Юг. Из 500 тыс. черных невольников в тринадцати колониях 200 тыс. находились в Виргинии, 100 тыс.— в Южной Каролине, от 70 до 80 тыс.— в Мэриленде, столько же в Северной Каролине, возможно, 25 тыс.— в штате Нью-Йорк, 10 тыс.— в Нью-Джерси, 6 тыс.— в Коннектикуте, 6 тыс.— в Пенсильвании, 4 тыс.— в Род-Айленде и 5 тыс. невольников — в Массачусетсе [88]. В Бостоне в 1770 г. было «больше 500 карет, и там считается особым шиком иметь кучером негра» [89]. Любопытно, что именно самый богатый рабами штат, Виргиния, будет в лице своей аристократии сочувствовать *вигам*, т. е. революции, успех которой он, вне сомнения, обеспечил.

По-видимому, противоречие, заключавшееся в том, чтобы от Англии требовать свободы для белых и при этом не слишком терзаться рабством негров, никого еще не смущало. В 1763 г. один английский пастор, обращаясь к своей пастве в Виргинии, уверял: «Я лишь воздаю вам должное, свидетельствуя, что нигде на свете с рабами не обходятся лучше, чем с ними в общем обходятся в колониях» [90] (имеется в виду — в английских колониях). Никто не воспримет эти слова за достоверную истину. К тому же от одного пункта колоний до другого, даже на самих плантациях Юга, действительное положение невольников крайне варьировало. И так же точно ничто нам не говорит, что негр, более интегрированный в испанские или португальские общества Америки, не был там более счастлив, или менее несчастлив, по меньшей мере в некоторых регионах [91].

[87] Jameson J. F. *Op. cit.*, p. 36.
[88] *Ibid.*, p. 23.
[89] Grosley P. J. *Londres*. 1770, p. 232.
[90] Jameson J. F. *Op. cit.*, p. 23.
[91] Fabre M. *Les Noirs américains*. 2e éd., 1970.

ТОРГОВЫЕ СПОРЫ И СОПЕРНИЧЕСТВО

Совокупность тринадцати колоний была еще страной главным образом земледельческой: в 1789 г. «количество рук, занятых в земледелии в Соединенных Штатах, взятых в целом, со-

ставляет самое малое девять из десяти, а стоимость капиталов, которые в него вкладываются, в несколько раз больше вложений в прочие отрасли промышленности, вместе взятые»[92]. Но приоритет земли, распашек целины, земледелия не помешал тому, что колонии поднялись на восстание прежде всего из-за возраставшей активности мореплавания и торговли северных областей, в особенности Новой Англии. Торговая активность не была там преобладающей количественно, и тем не менее она оказалась определяющей. Адам Смит, лучше понявший американские колонии, которые он сам не видел, нежели промышленную революцию, начинавшуюся у него под носом, в Англии,— так вот, Адам Смит высказал, быть может, главное относительно причин американского восстания, отзвуки и течение которого он почувствовал. «Исследование о природе и причинах богатства народов» вышло в свет в 1776 г., два года спустя после бостонского эпизода. Объяснение Адама Смита нашло выражение в одной небольшой фразе. Воздав, как и полагается, хвалу английскому правительству, гораздо более щедрому по отношению к своим колониям, чем другие метрополии, он подчеркивает, что «свобода английских колонистов... ничем не ограничена», но вынужден все же добавить оговорку: «...решительно во всем за исключением внешней торговли»[93]. Исключение немалое! Оно прямо и косвенно стесняло всю экономическую жизнь колоний, обязывая их действовать через лондонского посредника, быть привязанными к его кредиту, а главное — держаться в пределах торговых рамок английской «империи». Однако рано пробудившаяся для торговли Новая Англия с ее главными портами Бостоном и Плимутом могла на это соглашаться лишь ворча, мошенничая, обходя препятствие. «Американская» торговая жизнь была слишком оживленной, слишком стихийной, чтобы не забрать вольности, которых ей не предоставляли. Все это так, но успеха в этом она добилась только половинчатого.

Новая Англия построила себя заново между 1620 и 1640 гг.[94], с исходом изгнанных Стюартами пуритан, имевших первейшей целью основание замкнутого общества, защищенного от греха, от несправедливостей и неравенств мира сего. Но этой стране, бедной в природном отношении, море предлагало свои услуги; довольно рано здесь сложился весьма активный купеческий мирок. Потому, быть может, что Север всей совокупности английских колоний более всего был способен связаться с матерью-родиной, к которой он был расположен ближе всех? Или еще потому, что побережья Акадии, эстуарий реки Св. Лаврентия и отмели Ньюфаундленда предлагали неподалеку манну небесную даров моря? Именно от рыболовства колонисты Новой Англии получали «всего более денег... Не копаясь в недрах земли и предоставив делать сие испанцам и португальцам, они извлекают [эти деньги] посредством рыбы, каковую они им доставляют»[95]. Не считая матросов, что обучались этому суровому ремеслу, и кораблей, которые для них надо было строить. В 1782 г. в Новой Англии рыбной ловлей были заняты 600 судов и 5 тыс. человек.

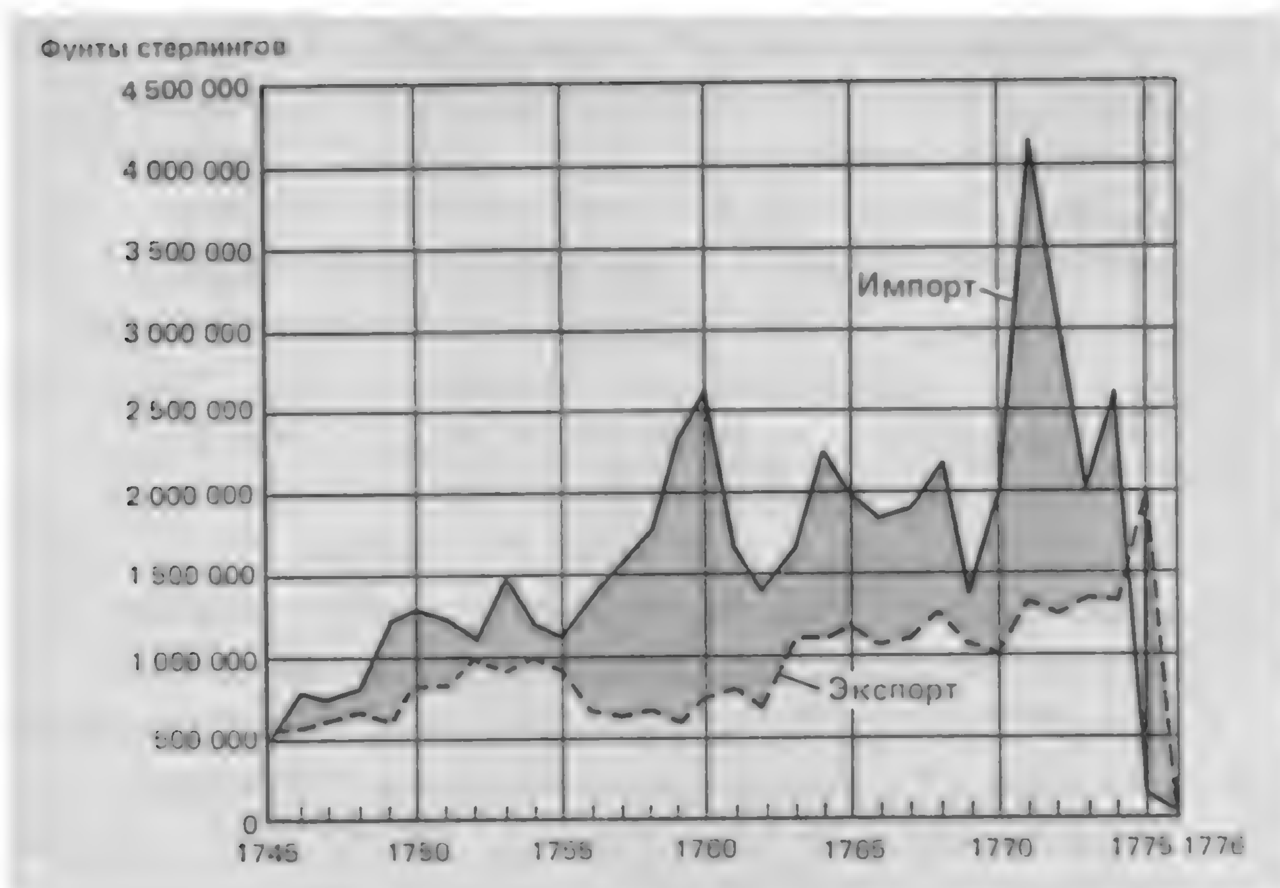
Но колонисты Новой Англии не удовлетворились этой дея-

[92] A. N., Marine, B[7], 467, 17 февраля 1789 г.
[93] Смит А. *Указ. соч.*, т. II, с. 144.
[94] Bailyn B. *The New England Merchants in the 17th Century*. 1955, p. 16 f.
[95] A. N., Marine, B[7], 458.

тельностью у себя под боком. «Их называли [само по себе это слово знаменательно] голландцами Америки... Говорят, что американцы занимаются мореходством еще экономнее, чем голландцы. Это свойство и дешевизна их съестных припасов сделали бы их превосходящими всех в том, что касается фрахта». В самом деле, они мобилизовали к своей выгоде каботаж колоний Центра и Юга и далеко распределяли их продукт: зерно, табак, рис, индиго... Они взяли на себя снабжение Антильских островов — английских и французских, голландских или датских: они везли туда рыбу, соленую скумбрию, треску, китовый жир, лошадей, солонину, а также лес, дубовую клепку, доски, даже, как мы бы сказали, сборные дома, «целиком изготовленные, а отправ[ленные материалы] сопровождал плотник, дабы руководить сооружением»[96]. Возвращались они с сахаром, патокой, тафией *. Но также и с металлической монетой, так как через Антильские острова или через близлежащие гавани континента они включались в кругообороты белого металла Испанской Америки. Именно успех этого торгового натиска в южном направлении, несомненно, удесятерил торговую мощь колоний Севера и породил у них промышленность: судостроение, изготовление грубых сукон и полотна, скобяных изделий, перегонку рома, производство железа — полосового и штыкового, железных отливок.

Помимо этого, купцы и торговцы северных портов, не говоря уже о Нью-Йорке и Филадельфии, распространили свои плавания на всю Северную Атлантику, на острова вроде Мадейры, на побережья Черной Африки, Варварии, Португалии, Испании, Франции и, разумеется, Англии. Они доставляли даже в Средиземноморье вяленую рыбу, пшеницу, муку. Правда, такое расширение торговли до мировых масштабов, создавшее торговлю по «треугольной» схеме, не вытесняло Англию из игры. Хотя американские корабли приходили непосредственно в Амстердам, Лондон почти всегда был одной из вершин этих треугольников, и именно на Лондон (с других рынков Европы) американская торговля делала свои ремиссии, и из Лондона получала она свои кредиты. Она также оставляла там значительную долю своих прибылей, ибо баланс между колониями и Англией был в пользу этой последней. В 1770 г., до восстания колоний, один наблюдатель писал: «Посредством закупок и комиссионных все деньги этих поселений [колоний] уходят в Англию, а то, что остается им из богатств, заключено в бумаге [бумажных деньгах]»[97]. Тем не менее вполне определенно Америка рано оказалась соперницей, процветание которой шло в ущерб процветанию острова и причиняло беспокойство купеческим состояниям Лондона. Отсюда и вызывавшие раздражение и малоэффективные реторсионные меры. В 1766 г. внимательный наблюдатель писал: «Англия ныне создает бесполезные законы, дабы стеснить и ограничить промышленность своих колонистов: она приглушает болезнь, а не исцеляет ее». Она «в такой торговле — экономичной и построенной на реэкспорте — теряет на таможенных пошлинах, складских издержках и комиссионных и часть оплаты труда в своих гаванях. И в случае прямого возврата в оные колонии (что ныне всего более приня-

[96] A. N., A. E., B III, 441.
* Тафия — водка из сахарного тростника.— *Прим. перев.*
[97] Grosley P.J. *Op. cit.*, p. 232.



Баланс торговли английских колоний в Америке с метрополией был благоприятен для Великобритании
Отрицательный баланс заставлял колонии ради восстановления своего внешнего равновесия поддерживать «треугольную» торговлю с торговыми конторами в Африке (работорговля), на Антильских островах и в Европе вплоть до Средиземноморья. (По данным: Faulkner H. U. *American Economic History*. 1943, p. 123.)

то) разве навигаторы, особливо Бостона и Филадельфии, где мореплаванием занято более 1500 кораблей, не снабжают не только свои колонии, но также и все прочие английские колонии европейскими товарами, погруженными в иностранных портах? А сие не может не нанести громадного ущерба как коммерции Англии, так и ее финансам»[98].

Конечно же, между колониями и метрополией возникали и другие конфликты, и, может быть, оккупация англичанами французской Канады в 1762 г., узаконенная на следующий год по условиям Парижского договора, ускорила ход дел, обеспечив английским колониям безопасность на их северной границе. Они больше не нуждались в помощи. В 1763 г. победоносная Англия и побежденная Франция обе повели себя, *по крайней мере на наш взгляд*, неожиданным образом. Англия предпочла бы Канаде (отобранной у Франции) и Флориде (которую уступила ей Испания) обладание Сан-Доминго. Но плантаторы Ямайки оставались к этому глухи, они отказывались делить с другими английский сахарный рынок, который был их заповедным угодьем. Их упорство вкупе с сопротивлением Франции, желавшей сохранить Сан-Доминго, царицу сахаропроизводящих островов, привело к тому, что «снежные арпаны»* Канады отошли к Англии. Но у нас есть неопровержимое доказательство английских вожделений, устремленных к Сан-Доминго. Когда в 1793 г. война с Францией возобновится, англичане потеряют шесть лет на дорогостоящие и безрезультатные экспедиции ради овладения островом: «Секрет английского бессилия на протяжении этих первых шести лет войны (1793—1799) заключен в двух этих роковых словах — Сан-Доминго»[99].

Во всяком случае, сразу же после заключения Парижского мира (1763 г.) напряженность между колониями и Англией стала нарастать. Последняя хотела «образумить» колонии, заставить их нести какую-то часть огромных расходов на только что завершившуюся войну. Колонии же в 1765 г. дойдут до того, что организуют бойкот английских товаров, совершив настоящее преступление оскорбления величества[100]. Все это было настолько ясно, что в октябре 1768 г. голландские банкиры «опа-

[98] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts des nations...*, I, p. 211—213.
* Арпан — старинная мера площади, равная 0,422 га.— *Прим. перев.*
[99] Williams E. *Op. cit.*, p. 147; Forstescue J. W. *A History of the British Army*. 1899—1930, IV, Pt 1, p. 325.
[100] Mousnier R. *Op. cit.*, p. 327.

саются, что ежели отношения между Англией и ее колониями испортятся, то как бы из сего не воспоследовали банкротства, коих воздействие эта страна [Голландия] могла бы ощутить»[101]. Аккариас де Серионн с 1766 г. видел, как поднималась «американская» империя. «Новой Англии,— писал он,— надлежит более опасаться, нежели старой, в том, что касается утраты испанских колоний...» Да, империя, «независимая от Европы»[102], империя, писал он несколько лет спустя, которая «в весьма близком будущем будет угрожать благосостоянию в особенности Англии, Испании, Франции, Португалии и Голландии»[103]. Иначе говоря, уже заметны были первые признаки появления в будущем кандидатуры Соединенных Штатов Америки на господство над европейским миром-экономикой. И к нашему удивлению, это как раз то, что в открытую говорил французский полномочный министр в Джорджтауне, правда тридцатью годами позднее, в письме от 27 брюмера X г. Республики (18 октября 1801 г.): «Я нахожу положение Англии относительно Соединенных Штатов совершенно сходным с положением, в каком первая держава [понимай: Англия] пребывала относительно Голландии в конце XVII в., когда последняя, истощенная затратами и долгами, увидела, как ее торговое влияние переходит в руки соперника, каковой и родился-то, так сказать, из торговли»[104].

[101] A. d. S. Napoli, Affari Esteri, 801, Гаага, 21 октября 1768 г.

[102] Accarias de Sérionne J. *Op. cit.*, I., p. 73, note «a».

[103] Accarias de Sérionne J. *La Rishesse de l'Angleterre*, p. 96.

[104] A. E., C. P., États-Unis, 53, f^os^ 90 sq. Джорджтаун, основанный в 1786 г.,— ныне представляет собой богатое предместье Вашингтона.

ИСПАНСКИЕ И ПОРТУГАЛЬСКИЕ КОЛОНИИ

В другой Америке соприкасаешься с совсем иными реалиями, с совсем другой историей. Не то чтобы отсутствовали аналогии, но в конечном счете то, что происходило на Севере, не воспроизводилось на Юге один к одному. Европа Северная и Европа Южная воссоздали за Атлантикой свои противоречия. Сверх того наблюдался и значительный разрыв: так, английские колонии освободились в 1783 г., иберийские же колонии — не ранее 1822—1824 гг.; да к тому же освобождение Юга было, как выяснилось, фикцией, поскольку на место прежнего господства стала английская опека, которой суждено было продлиться в общем до 1940 г., а затем ей на смену придут США. Короче говоря, на Севере наблюдались живость, сила, независимость, рост личности; на Юге — инерция, разные виды порабощения, тяжелая рука метрополий, серия ограничений, изначально присущих положению любой «периферии».

Это расхождение было, вполне очевидно, детищем различных структур, прошлого и различных наследий. Ситуация ясна, но мы бы плохо ее объяснили, если бы стали исходить из удобного деления, присущего учебникам недавнего прошлого: на колонии поселенческие, с одной стороны, и колонии эксплуатируемые — с другой. Как могли бы существовать поселенческие колонии, которые бы не были одновременно и колониями эксплуатируемыми, или эксплуатируемые колонии, не бывшие в то же самое время колониями поселенческими? Вместо понятия *эксплуатация* примем лучше понятие *маргинализация* — маргинализация в рамках мира-экономики, осужденность на

то, чтобы служить другим, позволять диктовать себе свои задачи властному международному разделению труда. Это именно та роль, какая выпала иберо-американскому пространству (в противоположность пространству североамериканскому), и притом как до независимости политической, так и после ее достижения.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСПАНСКУЮ АМЕРИКУ

Итак, Испанская Америка освободилась поздно, с неслыханной замедленностью. Освобождение началось в Буэнос-Айресе в 1810 г., а так как зависимость от Испании сводилась на нет только зависимостью от английского капитала, схождение ее на нет выявится лишь в 1824—1825 гг.[105], которые были отмечены началом массовых инвестиций лондонского рынка.

Что до Бразилии, то она сделалась независимой без излишне энергичного сопротивления: 7 сентября 1822 г. Педру I провозгласил в Ипиранге, неподалеку от Сан-Паулу, независимость от Португалии, а в декабре того же года принял титул императора Бразилии. Такое отделение — в Лисабоне царствовал Жуан VI, отец нового императора,— было, если его рассматривать со всеми извивами, делом весьма сложным, зависимым от европейской и американской политики[106]. Но здесь мы можем увидеть только спокойные результаты.

Зато для Испанской Америки независимость была длительной драмой. Но она нас здесь интересует меньше, чем способ, каким подготавливался разрыв, более важный по своим международным последствиям, нежели разрыв Бразилии с ее метрополией. Испанская Америка, *насильно* и с самого начала, всегда будет решающим элементом мировой истории, тогда как Бразилия, с того момента, как в XIX в. она перестала быть крупным производителем золота, значила для Европы намного меньше.

Испания даже поначалу не в состоянии была в одиночку эксплуатировать «колоссальный»[107] рынок Нового Света. Даже мобилизовав все свои силы, своих людей, вина и масло Андалусии, сукна своих промышленных городов, ей — державе еще архаической — не удалось его уравновесить. Впрочем, в XVIII в., который все расширял, для этого не хватило бы в одиночку никакой европейской «нации». «Потребление в Вест-Индии предметов,— утверждал в 1700 г. Ле Поттье де ла Этруа,— кои она должна была непременно получать из Европы, будучи весьма значительным, [намного] превышает наше [Франции] могущество, какое бы число мануфактур мы ни смогли у себя учредить»[108]. В результате Испании пришлось прибегнуть к помощи Европы, тем более что ее промышленность пришла в упадок еще до конца XVI в., и Европа поспешила ухватиться за эту возможность. Она участвовала в эксплуатации иберийских колоний еще больше, чем Испания, о которой Эрнст Людвиг Карл говорил в 1725 г., что она-де есть «всего лишь почти что перевалочный пункт для иноземцев»[109]— точнее, скажем мы, посредница. Испанские законы против

[105] Обычно признаваемая дата — победа Сукре при Аякучо 9 декабря 1824 г. Я предпочитаю 1825 г. (см. ниже, с. 435), т. е. первую вспышку энтузиазма на лондонском рынке по поводу инвестиций в Испанской Америке.
[106] Mac Carthy Moreira E. D. *Espanha e Brazil: problemas de relacionamento (1822—1834).— «Estudos ibero-americanos»*, Julho 1977, p. 7—93.
[107] Van Klaveren J. *Europäische Wirtschaftsgeschichte Spaniens...*, 1960, S. 177.
[108] Le Pottier de La Hestroy. *Doc. cit.*, f° 34.
[109] Carl E. L. *Traité de la richesse des princes et de leurs États et des moyens simples et naturels pour y parvenir*. 1722—1723, II, p. 467.



Вся Европа эксплуатировала Испанскую Америку
Число и национальная принадлежность кораблей, пришедших в Кадисский залив в 1784 г. (По данным: A. N., A. E. B III, 349.)

«перевозки» серебра, главного ресурса Америки, были, конечно, строгими, «и однако же, сей фрукт [испанскую монету] видишь по всей Европе»[110],— заметил в ноябре 1676 г. английский король Карл II.

Двадцатью годами ранее португальский иезуит о. Антониу Виейра воскликнул во время проповеди в Белене (Бразилия): «Испанцы добывают серебро из рудников, они его перевозят, а выгоду от сего имеют чужеземцы». И на что идет этот благородный металл? На облегчение участи бедняков никогда, «единственно на то, чтобы еще больше раздувались и обжирались те, кто этими народами распоряжается»[111].

Если категоричное испанское законодательство было столь бесплодным, то вполне очевидно, что происходило это из-за контрабанды: незаконный ввоз, коррупция, мошенничество, изворотливость, конечно же, не были характерными особенностями американской торговли и экономики, но они выросли до масштабов этой широкой картины: полем их деятельности был весь Атлантический океан плюс Южные моря. И сам Филипп II говорил об этих так называемых невинных кораблях, которые

[110] A. E., C. P. Angleterre, 120, f° 237.
[111] Цит. по: Hanke L. *The Portuguese in Spanish America.— «Revista de historia de América»*, 1962, p. 27.

в 1583 г. вышли в плавание, «утверждая, будто везут вина на [Канарские] острова, а на самом деле отправились в Индии, и, как говорят, с доброй удачей»[112]. Случалось, что целый большой корабль в Севилье грузился «для Индий, притом что офицеры о сем даже не были осведомлены»[113]! И вскоре на официально отправлявшиеся в Индии флоты нелегально и без затруднений грузили свои товары голландцы, французы, англичане, итальянцы разного происхождения, особенно генуэзцы. В 1704 г. «[севильское] Консуладо признавалось, что испанцы имели отношение лишь к одной шестой части груза флотов и галионов»[114], тогда как в принципе учавствовать в этом разрешено было им одним[115].

На другой стороне океана, в «кастильских Индиях», контрабанда была такой же неутомимой. Около 1692 г. один испанский путешественник указывал, что «королевская казна, каковая отправляется из Лимы, сто́ит [всякий год] по меньшей мере двадцать четыре миллиона восьмерных монет[116], но прежде, чем она дойдет из Лимы в Панаму, в Портобельо, в Гавану... коррехидоры*, приказчики, таможенники и прочие люди с добрым аппетитом отгрызают от нее каждый свою долю...»[117]. И сами-то галионы, суда одновременно и военные и торговые, предоставляли возможности для постоянной внутренней контрабанды. Что же касается внешней контрабанды, то она возросла в XVII и XVIII вв. Рядом с существовавшими колониальными системами были созданы проворные и действенные контрсистемы. К ним относились, например, плавания кораблей из Сен-Мало к берегам Южных морей, начавшиеся, вне сомнения, до войны за Испанское наследство и продолжавшиеся после ее завершения в 1713 г. В принципе испанский флот якобы прогнал их в 1718 г.[118], но они возвратились в 1720[119] и в 1722 гг.[120] Сюда же относились и плавания из неиспанских портов Америки к слишком протяженным и никогда хорошо не охранявшимся берегам континента. Этой торговлей, называвшейся «на длину копья», голландцы занимались, отправляясь с Синт-Эустатиуса и с Кюрасао (который им принадлежал с 1632 г.), англичане — с Ямайки, а французы — с Сан-Доминго и с других находившихся в их владении Антильских островов. И как раз против этой торговли были направлены действия группы отчаянных шотландцев, которые в 1699 г. насильственно и не без шума обосновались на краю Дарьенского перешейка в надежде, устроившись «на самом побережье материка», выбить почву из-под ног англичан и голландцев, позиции которых были более удаленными[121]. Североамериканские мореплаватели не отставали. К 80-м годам XVIII в. их китобои под предлогом стоянки на рейде у берегов Перу беспардонно доставляли туда контрабандные товары, которые местные коммерсанты, как и полагается, принимали благосклонно, ибо покупали они их по дешевке, а перепродавали по цене «официальной», которая не снизилась[122].

Но крупномасштабной контрабандой была долгое время, вне сомнения, та, что отклоняла в сторону португальской Америки, Бразилии, серебро испанских рудников в Потоси. Главным путем доступа туда была начиная с 1580 г. Рио-

[112] British Museum, Add. 28370, f° 103—104, герцог Медина-Сидония — Матео Васкесу, Санлукар, 17 сентября 1583 г.
[113] *Ibid.*, f° 105.
[114] A. N., Marine, B[7], 232, f° 325. Цит. по: Dahlgren E. W. *Relations commerciales et maritimes entre la France et les côtes de l'océan Pacifique*. 1909, p. 37.
[115] Историки говорили даже для конца XVII в. о доле всего лишь в 4%. В это поверить трудно. См.: Garcia-Baquero Gonzales A. *Op. cit.*, I, p. 82.
[116] Цифра, несомненно, преувеличенная.
* Коррехидор — судья-администратор города или провинции. — *Прим. перев.*
[117] Coreal F. *Op. cit.*, I, p. 308.
[118] Carrière Ch. *Négociants marseillais...*, I, p. 101.
[119] A. E., M. et D. Amérique, 6, f°s 287—291.
[120] A.N., F[12], 644, f° 66, март 1722 г.
[121] A. N., A. E., B[1], 625, Гаага, 19 февраля 1699 г.
[122] Bousquet N. *Op. cit.*, p. 24; Collier S. *Ideas and Politics of Chilean Independence*, 1808—1833. 1963, p. 11.

де-ла-Плата [123]. После разделения корон в 1640 г. португальцы проявят упорство и долго будут удерживать идеальный пост с небольшим анклавом — Колония-дель-Сакраменто, в нынешнем Уругвае (занята в 1680 г.). Испанцам пришлось ее осаждать и брать штурмом в 1762 г. [124]

Но вполне очевидно, что контрабанда не смогла бы процветать без пособничества местных купцов и продажности властей, имевших надзор за делами. Если она и развилась в безмерных масштабах, то, как писал Аккариас де Сerionн, «потому, что громадная выгода сей коммерции позволяет ей выдерживать одновременно и большой риск и издержки на подкуп» [125]. Так что, говоря о должностях губернаторов в Америке, продававшихся в 1685 г., некий анонимный автор заявляет без обиняков, «что всегда бывают молчаливые послабления для ввоза иностранных товаров» [126]. И действительно, разве не видим мы уже в 1629—1630 гг. в Лиме весьма почтенного *аудитора в суде (Oidor de la Audiencia)*, назначенного на пост судьи по делам контрабанды и устроившего у себя дома склад запрещенных товаров, который был взят с поличным и тем не менее продолжал свою жизнь весьма уважаемого аудитора [127]?

Впрочем, если послушать заступников контрабанды, то она будто бы работала лишь на благо общества. «Испанцы Америки,— объяснял один француз в 1699 г.,— коим галионы не доставляют и половины необходимых товаров, были весьма рады, что иностранцы [т. е. в тот период главным образом французы] им их привозят» [128]. «Всеми способами» они облегчали такую незаконную торговлю, в такой мере, что «больше 200 к[ораблей] на глазах у всей Европы и испанцев занимаются торговлей, каковая запрещена под страхом самых суровых наказаний». Французский отчет, относящийся к 1707 г., отмечает даже, что «грузы [французских] кораблей «Триомфан», «Гаспар» и «Дюк де ла Форс»... были до их отплытия запроданы негоциантам Веракруса» [129]! Правда, тогда существовало сотрудничество между Францией Людовика XIV и не слишком уверенной в своем будущем Испанией Филиппа V.

Контрабанда, присутствовавшая всегда, имела, однако, в разные периоды разное значение. Из *правдоподобных* подсчетов создается *впечатление,* что по объему она с 1619 г., а может и раньше, превосходила нормальную (официальную) торговлю испанской империи. Такое положение как будто сохранялось вплоть до 60-х годов XVIII в., т. е. более столетия [130]. Но речь идет здесь только о гипотезе, которую следует еще проверить. И на сей раз именно европейские, а не одни только испанские архивы смогут сказать нам последнее слово, если исторические исследования возьмут на себя такой труд.

ВНОВЬ ВЗЯТАЯ В РУКИ ИСПАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

В конце концов испанское правительство стало реагировать на эти беспорядки. Наступило медленное, трудное оздоровление; но в последние годы XVIII в. оно проводится энергично и «революционно». Скажем с самого начала: не всегда админи-

[123] Canabrava A. *O Comércio português no Rio da Prata (1580—1640).* 1944; Helmer M. *Comércio e contrabando entre Bahia a Potosi no século XVI.— «Revista de historia»*, 1953, p. 195—212.
[124] Fisher H. E. S. *The Portugal Trade.* 1971, p. 47.
[125] Accarias de Sérionne J. *Les Intérêts des nations...*, I, p. 86.
[126] Цит. Я. Ван Клавереном: Van Klaveren J. *Die historische Erscheinung der Korruption, in ihrem Zusammenhang mit der Statas- und Gesellschaftsstruktur betrachtet,* I — *«Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte»*, Dezember 1957, S. 305—306, Anm. 26.
[127] Reparaz G., de. *Los caminos del contrebando.— «El Comercio»*, Lima, 18 febrero 1968.
[128] A. N., K 1349, f° 124—124 v°.
[129] A. N., G⁷, 1692 (памятная записка Гренвилл — Локке), f° 206 v°.
[130] Bousquet N. *Op. cit.*, p. 17, по данным работы П. Шоню: Chaunu P. *Interpretacion de la Independencia de America Latina.— «Perú Problema»*, № 7. 1972, p. 132; Vicens Vives J. *An Economic History of Spain.* 1969, p. 406.

стративным мерам, принятым в этом отношении метрополией, придают их истинное значение. Так, *интенданты* не были простой пересадкой в Америку французских учреждений, своего рода переносом культурного факта; они также отвечали заранее обдуманному намерению мадридского правительства сломить креольскую аристократию, удерживавшую старинные командные высоты. Точно так же запрещение Общества Иисуса (1767 г.) оказалось началом «военного» режима, режима власти и силы, сменившего своего рода моральный порядок,—и наследниками такого военного режима станут, к несчастью, независимые впоследствии государства. И здесь тоже речь шла о преобразовании, почти что о революции. Следует ли приписывать всю заслугу его династии Бурбонов, которая в своем багаже принесла из Франции принципы централизованной монархии и арсенал меркантилистских мер? Или же то было сильное желание перемен, будоражившее Испанию, как оно вскоре, в век Просвещения, будет будоражить всю Европу? Клаудио Санчес Альборнос доходит до утверждения [131], что у истоков преобразования Испании стояла не бурбонская монархия, но испанское желание перемен, которое открыло французской династии дорогу на полуостров.

С 1713 г. внимание реформаторов обратилось, естественно, к тому, что было самой крупной ставкой, последним шансом: к Новому Свету. Могла ли Испания сохранить то, что создала по ту сторону Атлантики? Франция, чьи корабли во время войны посещали американские берега по своему желанию, не отказалась от своих амбиций ни на побережьях Южных морей, ни на границах Новой Испании. Разве не подумывало французское правительство во времена Лоу отхватить, опираясь на Луизиану, близлежащие испанские владения? Во всяком случае, именно так думал один мрачный испанец в ноябре 1720 г. «Мы будем иметь несчастье увидеть королевство Новой Испании разделенным и перешедшим под власть французов, ежели бог нам не поможет»,—писал он [132]. Английская угроза, не столь заметная, была опасна по-другому, хотя бы в силу двойной уступки в Утрехте в 1713 г.—*асьенто* и «дозволенного» судна; уступка эта давала *Компании Южных морей* (*South Sea Company*) возможности для соединения преимуществ торговли законной и торговли незаконной [133].

Но ничто не было утрачено безвозвратно. Правительство принялось за дело и в 1714 г. создало по французскому образцу Министерство флота и Индий. В том же году образовалась Гондурасская компания; в 1728 г.—Каракасская компания, которой суждено было процветать; а позднее, в 1740 г.,—Гаванская компания [134]. В 1717—1718 гг. *Торговая палата* (*Casa de la contratación*), орган севильской монополии, была переведена в Кадис, так же как и *Совет по делам Индий* (*Consejo de Indias*), т. е. город, на протяжении стольких лет конфликтовавший с Севильей, становился наконец единственным портом Индий. Правда, привилегированные компании успеха не имели; в 1756 г. пришлось даже положить конец их монопольным правам [135]. Но неудача эта, вне сомнения, помогла свободной торговле развиваться за пределами «тяжеловесной системы фло-

[131] Клаудио Санчес Альборнос признает, что мысль эта принадлежит ему, но оба мы не смогли найти точную ссылку.

[132] A. E., M. et D. Amérique, 6, f° 289.

[133] Асьенто—монопольное право на поставку в испанские колонии в Америке черных невольников—практиковалось с XVI в. В начале войны за Испанское наследство (1701 г.) оно перешло к Франции. В 1713 г. оно приняло форму международного договора, когда Филипп V предоставил его Англии: соглашение, подписанное с Компанией Южных морей, предусматривало сроком на 30 лет ежегодный ввоз 48 тыс. рабов и разрешало Англии отправлять на колониальные ярмарки два корабля водоизмещением по 500 тонн—*дозволенные корабли (navios de permiso)*. Хотя статья 16 Ахенского договора 1748 г. возобновила это право на 4 года, английская компания от него отказалась в 1750 г.

[134] Devèze M. *L'Europe et le monde*..., p. 425—426.

[135] Указ от 18 мая 1756 г.; см.: Garcia-Baquero Gonzalez A. *Op. cit.*, I, p. 84.

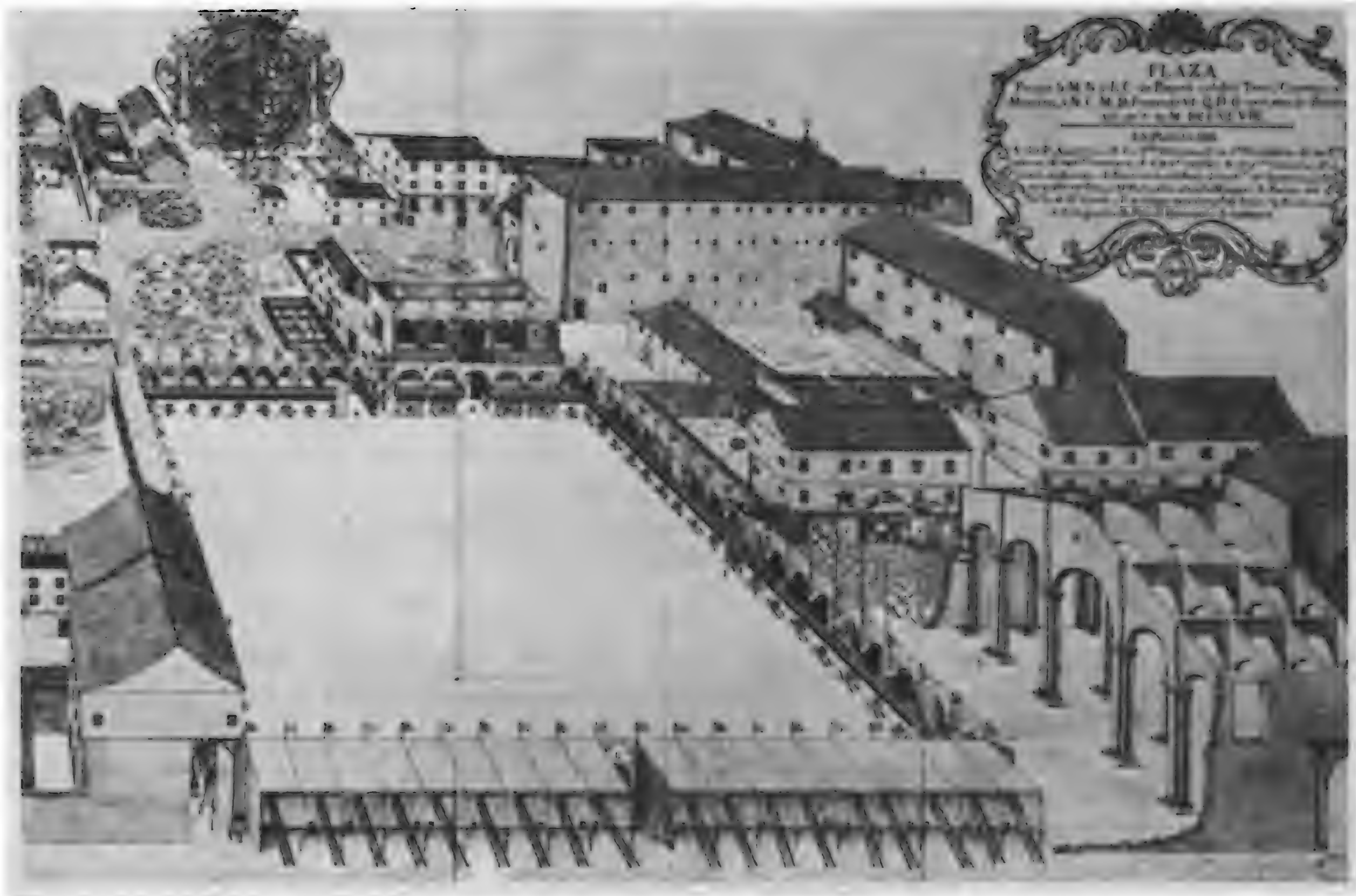
тов»[136], неспособной в том, что ее касалось, постоянно вдохновлять экономики Нового Света. Реформа 1735 г., учредившая плавания регистровых кораблей[137], не стала сразу же действенной, ибо *регистры* (*registros*) нелегко избавлялись от обыкновения плавать сообща. Но «к 1764 г. отношения между Испанией и Новым Светом начали становиться регулярными»[138]. Введены были ежемесячные рейсы пассажирских судов между Кадисом, Гаваной и Пуэрто-Рико и каждые два месяца — между Кадисом и Рио-де-ла-Платой. Наконец, указ от 12 октября 1778 г. объявил свободной торговлю между Америкой и 13 (позднее — 14) портами Испании[139]. Следствием этого был очень сильный рост торговли между Испанией и Новым Светом и, само собой разумеется, возросшее влияние Испании на свои заморские владения.

Еще одной важной мерой стало образование в 1776 г. вице-королевства Буэнос-Айрес: оно сократило контрабанду по Рио-де-ла-Плате. По отношению ко всей Испанской Америке контрабанда, вне сомнения, продолжала расти в абсолютных цифрах, но она уменьшилась *относительно*, принимая во внимание общий подъем торговли (в 90-е годы XVIII в. контрабанда снизилась примерно до одной трети официальной торговли). Утвердился активный надзор — не без живописных, даже комических происшествий. Разве не обнаружат в 1777 г. на побережье Маракаибо, что остров Орна попросту, явочным путем оккупирован голландцами и что губернатор, которого они там поставили, сделался присяжным покровителем «всех злодеев, преступников и контрабандистов, испанских и прочих наций, кои находят убежище в сем месте»[140]!

И все же контрабанда за счет организма, пребывающего в добром здравии, более не подрывала столь серьезно, как в предшествовавшем столетии, прочность испанской империи. Обновленная система смогла даже выдержать два серьезных испытания: восстания Тупака Амару в Перу в 1780 г.[141] и Комунерос (*Comunidades*) в Венесуэле в 1781 г. — то и другое были массовыми восстаниями, вызванными отчасти «бурбонской модернизацией». Восстание Тупака Амару, столь сильно потрясшее перуанское общество, затронуло все движения, которые имели место среди массы индейцев, метисов и даже креолов. Но это широкое движение, великолепный «индикатор» их глубины, продлилось едва лишь пять месяцев: разрушение церквей, мастерских, *асьенд* было всего только моментом, и возмущение в конечном счете было сломлено, столкнувшись с индейскими вспомогательными войсками, собранными и вооруженными испанцами.

Как и все виды прогресса, прогресс в Америке повлек за собой разрушение старых порядков. Бурбоны сознательно не соблюдали издавна существовавшие привилегии. Наряду со старыми *Консуладо (Consulados)*[142] в Мехико и Лиме были созданы другие, соперничавшие со своими предшественниками и соседями: так, *Консуладо* в Веракрусе выступил против старинного могущества *Консуладо* в Мехико. Одновременно с этим массовое прибытие европейских мануфактурных изделий (особенно — английских и испанских) затопило местные рынки и, при-

[136] Bousquet N. *Op. cit.*, p. 8.
[137] Корабли, в принципе одиночные, но товары которых регистрировались (*registrados*) при отплытии.
[138] A. de Indias, E 146; цит. в кн.: Desdevises du Dézert G. *L'Espagne de l'Ancien Régime,* III, 1904, p. 147.
[139] Desdevises du Dézert G. *Op. cit.*, p. 148. Четырнадцатым портом, открытым в 1788 г., был Сан-Себастьян.
[140] Москва, АВПР, 50/6, 500, л. 3, Амстердам, 12/23 января 1778 г.
[141] Cornblit O. *Society and Mass Rebellions in Eighteenth Century Peru and Bolivia.* — *«St. Antony's Papers»*, 1970, p. 9—44.
[142] Торговые палаты, организовавшие и контролировавшие внешнюю торговлю и пользовавшиеся большими привилегиями.



Главная площадь *(Plaza Mayor)* Панамы в 1748 г. Вокруг этой площади, типичной для испанских городов в Америке, располагаются здание судебной палаты *(Audiencia)*, собор, городской совет *(Cabildo)*, трибуны, приготовленные для общественного празднества с боем быков, представлением комедий и маскарадами. *Акварель. Севилья, Archivo General de Indias. Фото Мас.*

нимая во внимание качество этих изделий и их низкую стоимость, повлекло за собой нараставшее расстройство местной промышленности. Наконец, изменялись торговые кругообороты, то благоприятные для местной торговли, то неблагоприятные для нее. Например, Перу[143], лишившись горнопромышленного Верхнего Перу (присоединенного к вице-королевству Буэнос-Айрес в 1776 г.), утратило придаток, который своим спросом на продовольствие и на текстильные изделия уравновешивал его экономику. И еще пример: Новая Испания знавала ужасающие потрясения при страшных голодовках 1785 и 1786 гг.[144]; и чтобы вновь обрести свое спокойствие, по крайней мере ложное, относительное спокойствие, потребовалось бы, чтобы господствующие классы (креолы и *гачупины*) перестали с непонятным пылом бороться друг с другом...

СОКРОВИЩЕ ИЗ СОКРОВИЩ

Судьба всей испано-португальской Америки, которая позднее станет называться Латинской Америкой, вполне очевидно, зависела от комплекса, более крупного, чем она,— не более, не менее как от европейского мира-экономики, взятого в целом, периферийной и жестко удерживаемой зоной которого только и была эта Америка. Сможет ли она разорвать путы своего подчинения? И да, и нет. Главным образом — нет. И по многообразным причинам, из которых самой важной была та, что

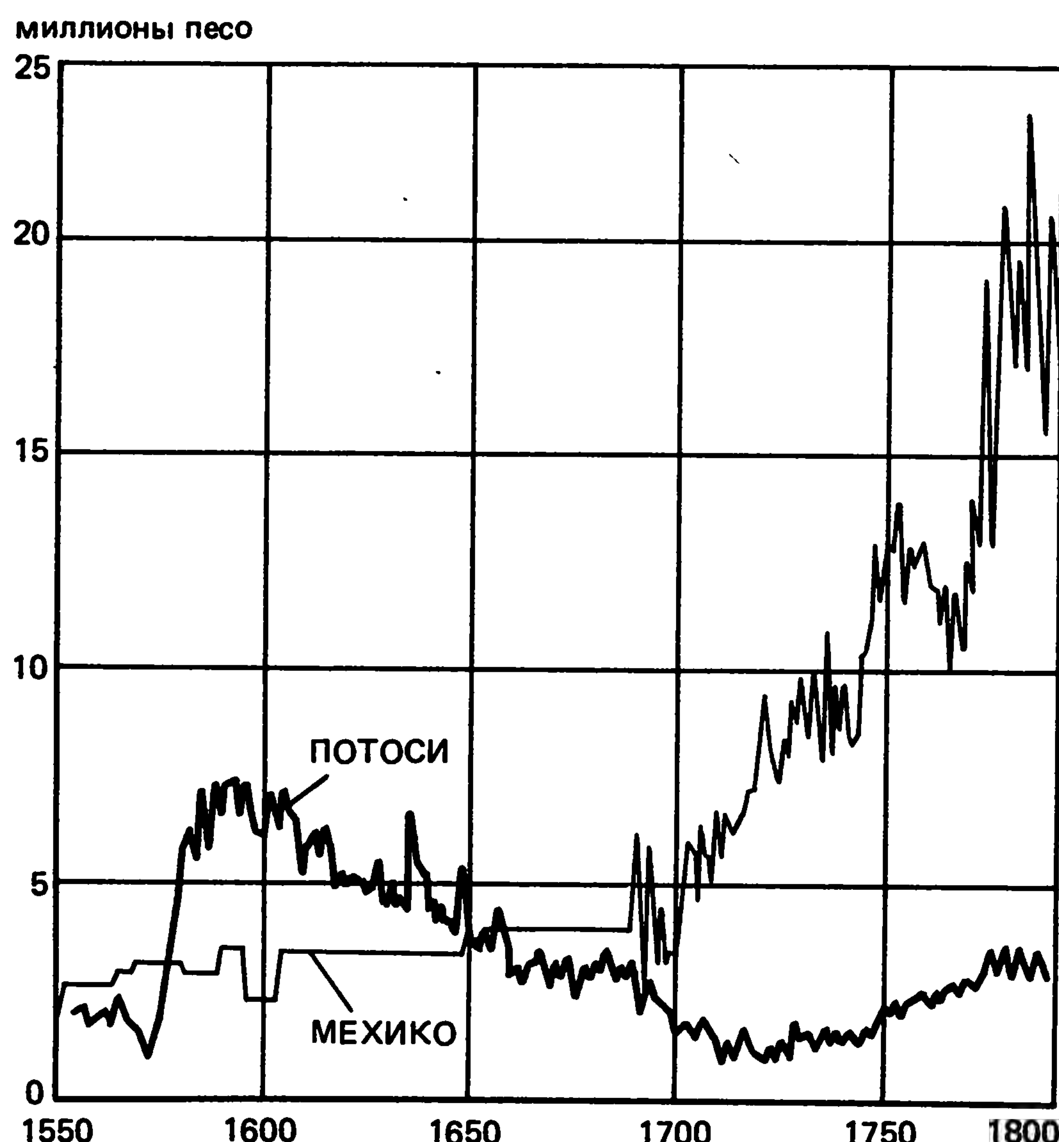
[143] Ср. Fisher J. R. *Government and Society in Colonial Peru.* 1970, главным образом с. 124 и сл.
[144] Brading D. A. *Op. cit.*, p. 304, 312.

Бразилия и Испанская Америка, даже если они располагали тут или там кораблями и даже моряками, не были морскими державами (не так обстояло дело с Соединенными Штатами, чьи мореплаватели были истинными «отцами-основателями» отечества). Нет еще и потому, что Испанская Америка и до XVIII в. и в еще большей степени на протяжении этого решающего столетия жила под двойной зависимостью: от метрополий на Иберийском полуострове (Португалии и Испании) и от Европы (прежде всего — Англии). Английским колониям до́лжно было разорвать лишь одну цепь, ту, что их связывала с Англией. Другая же Америка, напротив, после того как было сломлено ее подчинение своим метрополиям, не освободилась от Европы. Она избавилась только от одного из двух господ, которые с давних времен за нею надзирали и ее эксплуатировали. Как было Европе отказаться от американского золота и серебра? Все рвались туда еще до революций, положивших начало независимости. Гадали о том, кто завладеет наследством, которое уже ощущали лежащим поблизости. Англичанин в 1807 г. оккупировал Буэнос-Айрес, но ему не удалось удержать город; француз в 1807 г. вторгся в Португалию, а в 1808 г.— в Испанию. Он ускорил освобождение испанских колоний, но не продвинулся дальше.

Были ли оправданны эта спешка, эта алчность? Разумные соображения или мираж? Была ли Америка в начале этого XIX в. сокровищем из сокровищ всего мира, как полагает Николь Буске? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны были бы цифры, требовалось бы оценить ВНП Испанской Америки и Бразилии, а затем — прибавочный продукт, который Испанская Америка могла поставить Европе; ибо именно этот прибавочный продукт был тем сокровищем, которым можно было завладеть.

Единственная заслуживающая доверия оценка (для одной только Новой Испании) была составлена в 1810 г. Хосе-Марией Киросом, секретарем веракрусского *Консуладо*[145]. К тому же она дает лишь *физический продукт* Новой Испании, т.е. в млн. песо (цифры округлены): сельское хозяйство — 138,8; мануфактуры — 61; продукт горной промышленности — 28, а всего 227,8 млн. песо (следовательно, вклад горной промышленности составил всего 12,29% общего объема, что вызывает удивление). Но как перейти от физического продукта к ВНП? Прежде всего прибавив громадную стоимость контрабанды и приняв во внимание массу услуг, также бывшую значительной: в самом деле, в Мексике нет судоходных рек, ее перевозки караванами мулов были многочисленными, трудными и ужасающе дорогими. И все же размер, который можно приписать ВНП, не мог бы превысить 400 млн. песо. А коль скоро обычно утверждают, что *горнопромышленная* продукция Новой Испании была эквивалентна такой же продукции остальной Испанской Америки, то можно ли, экстраполируя, предположить для всей этой Америки (16 млн. жителей) ВНП, вдвое превышавший мексиканский, т.е. максимум 800 млн. песо? Наконец, если принять для Бразилии 1800 г. расчеты, предложенные Дж. Коутсуортом[146], то ее ВНП составил бы немного меньше

[145] *Ibid*., p. 38; французский перевод этой памятной записки см.: A. E., C. C. Mexico, 1, f^os 2—15.
[146] Coatsworth J. A. *Obstacles to Economic Growth in 19th Century Mexico*. — *«American Historical Review»*, February 1978, p. 80 f.



Два цикла американского серебра Кривая для Потоси построена по данным М. Морейры Пас-Сольдана (Moreyra Paz-Soldan) в кн.: *«Historia»*, IX, 1945; кривая чеканки монеты в Мексике — по данным в кн.: Howe W. *The Mining Guild of New Spain, 1770—1821*. 1949, p. 453 f. Именно Потоси обеспечил решающий взлет раннего американского серебра. Подъем добычи мексиканских рудников в конце XVIII в. достигнет никогда до того не виданных высот.

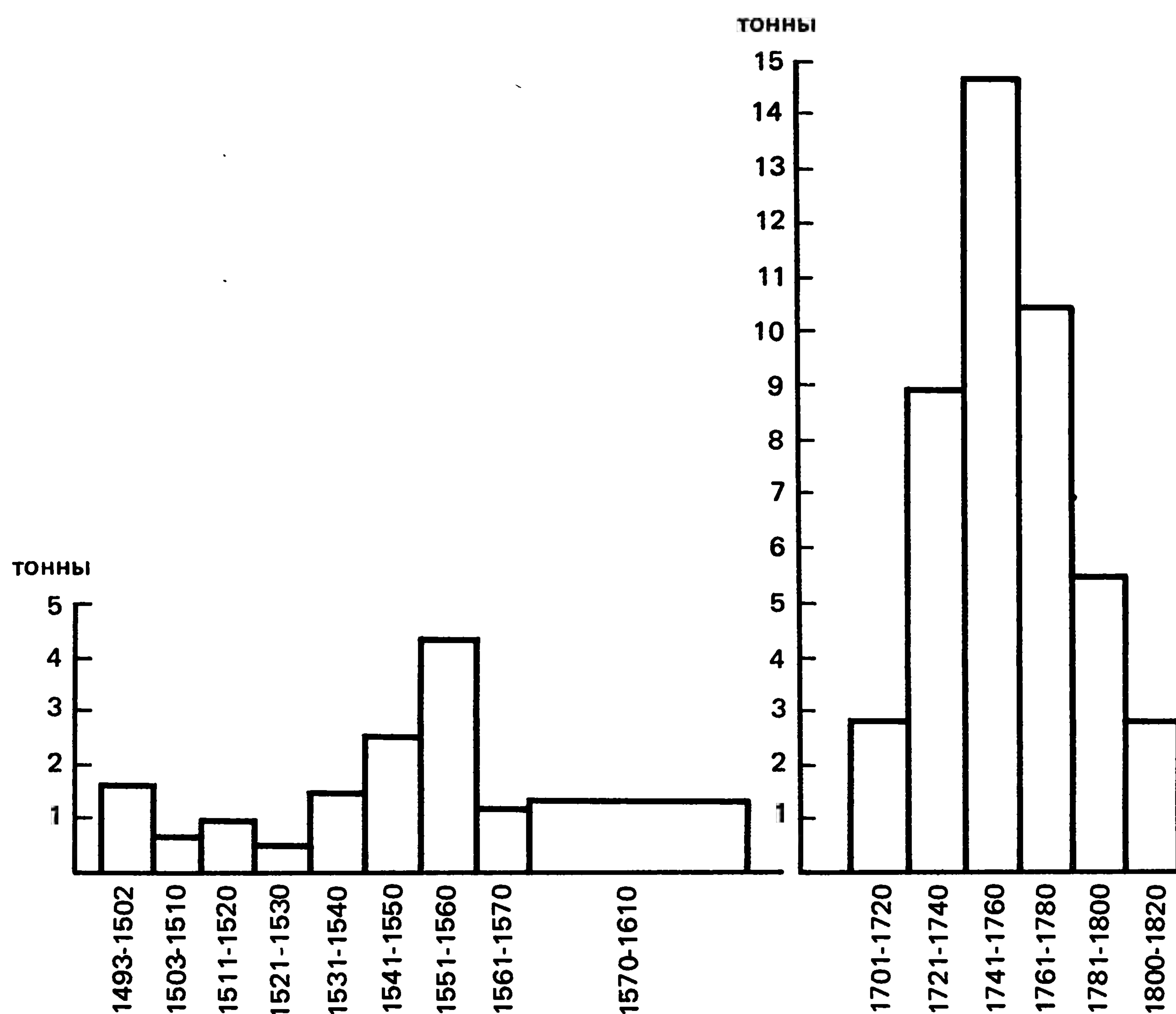
половины ВНП Мексики, а именно — примерно 180 млн. песо. Следовательно, «латинская» Америка в целом располагала бы глобальным ВНП, чуть меньшим одного миллиарда песо.

Цифры эти, весьма ненадежные, по крайней мере позволяют сделать один вывод: о незначительности дохода на душу населения *(pro capite)* — 66,6 песо для 6 млн. мексиканцев, 50 песо для 16 млн. жителей всей Испанской Америки, меньше 60 песо для Бразилии, насчитывавшей чуть больше 3 млн. жителей. А ведь в 1800 г., в соответствии с принятыми Коутсуортом[147] цифрами, доход на душу населения в Мексике составлял якобы только 44% аналогичного дохода в США, который тогда достигал бы (я ссылаюсь на свои собственные расчеты; расчеты Коутсуорта производились в долларах 1950 г.) 151 песо или доллара того времени (обе эти монеты имели тогда одинаковую стоимость). Цифра эта не кажется абсурдной, даже в сравнении с той, что приняла Элис Хенсон Джонс в исследовании, относящемся только к трем наиболее развитым американским колониям: между 200 и 336 долларами[148]. По отношению к этим наиболее благополучным северным колониям доход на душу населения в Мексике, самой благополучной из южных колоний, составил бы примерно 33%. Впоследствии разрыв будет только нарастать, и в 1860 г. процентное соотношение упадет даже до всего лишь 4%.

Но единственная наша проблема — не фиксация здесь уровня жизни населения иберийской Америки; она заключается в том, чтобы вычислить превышение экспорта этой Америки в Европу над тем, что она оттуда получала. Для 1785 г. *официальные* цифры[149] дают для экспорта в Испанию 43,88 млн. песо в драгоценных металлах плюс на 19,41 млн. песо товаров, значит, 63,3 млн. (серебро и золото — 69,33%; товары, доля которых сильно выросла,— 27,6%). В противоположном направле-

[147] *Ibid.*, p. 82.
[148] Hanson Jones A. *La fortune privée de Pennsylvanie, New Jersey, Delaware (1774).— «Annales E. S. C.»*, 1969.
[149] Vicens Vives J. *Historia social y económica de España y América*, IV, p. 463.

Два цикла американского золота «Испанский» цикл (золото Антильских островов, Новой Испании, Новой Гранады, Перу) сменился циклом «португальским» (золото Бразилии). Первый из них (слева) — это примерно 170 тонн золота, выплеснутого в Европу за 120 лет; второй (справа) — 442 тонны за то же время, почти втрое больше. Цифры, рассчитанные в тоннах по средним годовым величинам, не отличаются абсолютной надежностью. Достоверно одно: подавляющее превосходство бразильского цикла. (Для Испании цифры заимствованы из кн.: Chaunu P. *Conquête et exploitation des Nouveaux Mondes,* 1969, p. 301sq.; цифры для Португалии из кн.: Mauro F. *Études économiques sur l'expansion portugaise.* 1970, p. 177.)



нии, из Испании в Америку, экспорт достигал 38,3 млн.; сальдо баланса составляло 25 млн. песо. Примем без обсуждения эту цифру, которая остается спорной. Если добавить к ней долю Бразилии (25% этой итоговой суммы, т.е. 6,25 млн.), мы получаем 30—31 млн. песо, т. е. 3% ВНП всей Испанской Америки; но такая цифра, будучи основана на цифрах официальных, представляет *нижнюю границу*, она не учитывает мощную контрабанду. Переведем эти 30 млн. песо в фунты стерлингов (5 песо равнялись 1 фунту), и «сокровище», извлекаемое Европой из Америки, оказалось бы порядка 6 млн. фунтов как минимум. Конечно же, то была огромная сумма, поскольку к 1785 г. Европа, включая Англию, по-видимому, извлекала из Индии в среднем 1300 тыс. фунтов стерлингов [150].

Следовательно, испано-португальская Америка (примерно 19 млн. жителей) ежегодно доставляла Европе вчетверо или впятеро больше, чем Индия с сотней миллионов жителей. Это явно должно было быть мировым сокровищем номер один, сокровищем, которое к тому же в народном воображении имело тенденцию разбухать до баснословных размеров. Один французский агент писал в 1806 г., в момент, когда революционные и наполеоновские войны приводили к скапливанию [в Новом Свете] продукции рудников, которую опасались подвергать риску морского путешествия: «Ежели то, что я слышал, верно, то в казначействах трех вице-королевств — Перу, Санта-Фе [де Богота] и Мексики — якобы находится больше ста миллионов пиастров в слитках, золоте и серебре; не надо забывать и огромную массу капиталов, разделенную

[150] Согласно результатам расчета, тоже проблематичным, к каким пришел Холден Фербер: Furber H. *John Company at work.* 1948, p. 309. Этот расчет не принимал во внимание контрабанду.

между собственниками рудников... Коммерсантов-капиталистов война вынудила задержать их отправку». Контрабандная торговля «смогла вызвать отток [лишь] определенной доли обращения сих денег»[151].

Английскую политику искушала такая добыча. Однако Англия будет колебаться, желая соблюсти права Бразилии, куда в 1808 г. бежал из Лисабона король, и Испании, которая медленно, с трудом, но высвобождала английскую армию Веллингтона. Вследствие этого разложение испанской империи шло в замедленном темпе. Но исход был неотвратим: с того дня, как Испания, индустриализуясь, снова взяла свои колонии в руки, стала чем-то другим, нежели простым посредником между Америкой и Европой, «падение империи приблизилось, ибо никакая другая нация не была более заинтересована в сохранении этой испанской империи». И всего менее — нация, возвысившаяся над всеми прочими, которая долгое время лукавила, но которой теперь, когда Франция была повержена, а американские революции закончились, незачем было больше осторожничать. 1825 год ознаменовался массовым нашествием английских капиталистов, которые множили свои вклады на рынках и в горные предприятия новых государств бывшей испанской и бывшей португальской Америки.

Все это было вполне логично. Европейские страны индустриализировались на английский образец и, как и Англия, прикрывались покровительственными таможенными тарифами. И вот европейской торговле стало трудно дышать[152]. Отсюда — вынужденное обращение к заморским рынкам. В подобной гонке Англия обладала наилучшими позициями. Тем более, что использовала она путь самый надежный и самый короткий, путь финансовых связей. С этого времени Латинская Америка, привязанная к Лондону, останется на периферии европейского мира-экономики, полностью вырваться из которого даже Соединенным Штатам, образованным в 1787 г., удалось с немалым трудом, невзирая на их ранние преимущества. Именно на Лондонской бирже и во вторую очередь на Парижской бирже отмечались (с котировкой займов) вершины и провалы новых судеб Америки[153].

Однако же, если возвратиться к сокровищу из сокровищ, то оно, хоть и всегда присутствовало, по-видимому, странным образом уменьшилось в XIX в. То, что все «южноамериканские» займы котировались ниже номинала, уже показательно. То, что спад в европейской экономике (1817—1851 гг.) очень рано наметился в Южной Америке — с 1810 г. — и что этот кризис периферии оказался, как и полагается, чертовски разрушительным; что ВНП Мексики сокращался с 1810 г. до самых 60-х годов — это другие признаки, рисующие нам в достаточно мрачных тонах историю Испанской Америки на протяжении первой половины XIX в. Американские «сокровища» зачастую оказывались уменьшившимися, а также и растраченными, ибо долгие войны за независимость были разорительными. Приведу только один пример: горнопромышленное население в Мексике было тогда буквально взорвано, революция нашла в нем своих агентов, своих палачей и свои жертвы. Заброшенные рудники

[151] A. E., C. P. États-Unis, 59, f° 246 v°.

[152] Schneider J. *Le commerce français avec l'Amérique latine pendant l'âge de l'indépendance (première moitié du XIX^e^ siècle)*.— «*Revista de historia de América*», 1977, p. 63—87.

[153] Perrone N. *Il manifesto dell'imperialismo americano nelle borse di Londra e Parigi*.— «*Belphagor*», 1977, p. 321 sq. Капиталы убегали в Европу, «самая большая часть... направлялась во Францию» — так определяли положение в ноябре 1828 г.— См.: A. E., M. et D. Amérique, 40, 501, f^os^ 4 sq.

с остановкой водоотлива затопляла вода, и в первую очередь рудники крупные, до того знаменитые своей производительностью. Когда не останавливалась полностью добыча, отставало измельчение руды; и больше того, необходимая для амальгамирования ртуть не поступала или поступала по непомерно высоким ценам. Испанский режим обеспечивал относительную дешевизну ртути, поставлявшейся государственной властью. А сразу же после независимости те рудники, что еще работали, были зачастую мелкими предприятиями, разрабатывавшимися без водоотлива, с помощью простых сточных штреков.

Наконец, мы быстро сталкиваемся с первыми ошибками «развитых» стран относительно той техники, какую следовало импортировать в «слаборазвитые» области. Послушаем отчет французского консула в Мехико (20 июня 1826 г.) по поводу английских инициатив. «Ослепленные чудесами, которые они произвели у себя с помощью пара,— пишет он,— англичане решили, что и здесь пар окажет им такую же услугу. Итак, из Англии прибыли огненные машины и с ними повозки, необходимые для их транспортировки; ничто не было забыто, разве что дороги, по которым можно провести эти повозки. Главная дорога Мексики, более всего используемая, лучшая,— это та, что ведет из Веракруса в столицу. Ваше превосходительство сможет судить о состоянии, в каком находится эта дорога, когда узнает, что в карету, в коей находятся четыре особы, приходится запрягать десять мулов и что карета должна делать десять или двенадцать лье за день. Именно по этой дороге английским повозкам надлежало взбираться на Кордильеру: так что каждая из этих повозок использовала не меньше двадцати мулов; каждый мул делал шесть лье в день и обходился в десять франков. Какой бы плохой ни была эта дорога, то была дорога, а когда пришлось ее покинуть, чтобы направиться к рудникам, то обнаружили только тропы. Иные предприниматели, убоявшиеся препятствий, на время оставили свои машины на складах в Санта-Фе, Энсерро, Халапе, в Пероте; другие, более отважные, с большими затратами построили дороги, каковые доставили их машины до края разработок. Но, прибыв туда, они не обнаружили угля, дабы привести их в действие; там, где есть лес, употребляли дрова. Но лес на Мексиканском плоскогорье встречается редко, и самые богатые месторождения, например в Гуанахуато, расположены больше чем в тридцати часах пути от лесов. Английские горнопромышленники были страшно поражены, встретив эти препятствия, на которые г-н Гумбольдт указал двадцать лет назад...»[154]

[154] A. N., A. E., B III, 452.

Вот такими были годами условия неудачных дел и печальных котировок на Лондонской бирже. Тем не менее, поскольку спекуляция всегда имела свои возможности, акции мексиканских рудников, принимая во внимание увлечения публики, принесли иным капиталистам громадные прибыли, прежде чем стремительно упали. Английскому правительству удалось также продать мексиканскому государству военные материалы, которые послужили Веллингтону на поле битвы при Ватерлоо. Небольшая компенсация!

НИ ФЕОДАЛИЗМА, НИ КАПИТАЛИЗМА?

Подходя к заключению, трудно избежать оживленных и совершенно абстрактных споров, поднявшихся относительно форм обществ и экономик Американского континента, бывших одновременно и воспроизведением и искажением моделей Старого Света. Их желали определить в соответствии со знакомыми Европе понятиями и найти для них модель, которая бы свела их к определенному единству. Попытка была, пожалуй, тщетной: одни говорят о феодализме, другие о капитализме; иные благоразумные участники спора делают ставку на переходную форму, которая любезно примирила бы всех спорящих, приняв одновременно и феодализм с его деформациями, и предпосылки и предзнаменования капитализма. По-настоящему мудрые, вроде Б.Слихера ван Бата [155], отвергают обе концепции и предлагают исходить из наличия «чистого листа».

Впрочем, как допустить, чтобы для всей Америки могла быть единая и единственная модель? Определите какую-нибудь — и сразу же некоторые общества под нее не подойдут. Социальные системы не только отличались от страны к стране, но они наслаивались друг на друга, смешивая элементы, которые невозможно подвести под тот или иной из предлагаемых ярлыков. Америка была зоной главным образом периферийной, за единственным (и еще оспаривавшимся в конце XVIII в.) исключением — США, образованных как политический организм в 1787 г. Но эта периферия была мозаикой из сотен разных кусочков: модернистских, архаических, первобытных — и такого количества их смешений!

Я достаточно говорил о Новой Англии [156] и других английских колониях, чтобы довольно было здесь двух-трех слов по их поводу. Капиталистические общества? Это слишком. Еще в 1789 г. они были (исключения подтверждали правило) экономиками с сельскохозяйственной доминантой; и когда на Юге мы доходим до берегов Чесапикского залива, то оказываемся перед лицом надлежащим образом устроенных рабовладельческих обществ. Конечно, с возвращением мира в 1783 г. неслыханная предпринимательская лихорадка сотрясла, захватила юные Соединенные Штаты; все там строилось сразу: домашние и ремесленные промыслы, мануфактурная промышленность, но также и хлопкопрядильные фабрики с новыми английскими машинами, банки, разнообразные коммерческие предприятия. Тем не менее на практике если и имелись банки, то звонкой монеты было меньше, чем выпущенных штатами кредитных билетов, утративших почти всякую ценность, либо же обрезанных иностранных монет. С другой стороны, с окончанием войны надо было заново строить флот — орудие независимости и величия. В самом деле, к 1774 г. он делился между каботажем и дальней торговлей следующим образом: 5200 судов (250 тыс. тонн водоизмещения) — в первой группе, 1400 (210 тыс. тонн) — во второй. Следовательно, вместимость была приблизительно одинаковой. Но если каботажный флот был «американским», то суда дальнего плавания были английскими, и, следо-

[155] Slicher Van Bath B. H. *Feudalismo y capitalismo in América Latina.— «Boletin de estudios latino-americanos y del Caribe»*, diciembre 1974, p. 21—41.

[156] Для всего изложенного в последующем абзаце обращаться к документу из A. N., Marine, B[7], 461 (памятная записка о положении США в смысле внутренней промышленности и внешней торговли, датированная февралем 1789 г.).

вательно, их надо было полностью строить заново. Неплохая задача для филадельфийских верфей! И к тому же Англии удалось снова занять свое господствующее положение в американской торговле с 1783 г. Истинный капитализм, значит, все еще находился в Лондоне, в центре мира; США располагали только второразрядным капитализмом, конечно энергичным, который обретет плоть на протяжении английских войн против революционной и императорской Франции (1793—1815 гг.), но этого сенсационного роста будет еще недостаточно.

В других местах в Америке я усматриваю лишь *пунктирные* капитализмы, ограниченные индивидами и капиталами, которые все были неотъемлемой составной частью скорее европейского капитализма, нежели какой-то местной сети. Даже в Бразилии, которая дальше ушла по этому пути, чем Испанская Америка, но которая сводилась к нескольким городам — Ресифи, Баия, Рио-де-Жанейро с их громадными внутренними областями в качестве «колоний». Точно так же в XIX в. Буэнос-Айрес, противостоящий бескрайней аргентинской пампе, протянувшейся до Анд, будет прекрасным примером прожорливого, на свой лад капиталистического города — доминирующего, организующего, к которому тянется все: караваны повозок из внутренних областей и суда со всего мира.

Можно ли, не обладая чрезмерным воображением, отметить наряду с такими весьма ограниченными торговыми капитализмами «феодальные» формы, то тут, то там? Херман Арсинье-



«Промышленная деревня» в Новой Англии около 1830 г. *Историческая ассоциация штата Нью-Йорк, Куперстаун.*

гас утверждает [157], что в XVII в. по всей Испанской Америке наблюдалась «рефеодализация» обширных регионов Нового Света, наполовину заброшенных Европой. Я охотно буду говорить о сеньериальном порядке в применении к *льянос (llanos)* Венесуэлы или какой-нибудь внутренней области Бразилии. Но о феодализме? Нет, по крайней мере с большими затруднениями, разве что понимая под этим, вслед за Гундером Франком, просто автаркическую или стремящуюся к автаркии систему — *«замкнутую систему, лишь слабо связанную с миром за ее пределами» («a closed system only weakly linked with the world beyond»)* [158].

Если исходить из земельной собственности, то прийти к четким выводам ничуть не легче. В Испанской Америке бок о бок существовали три формы собственности: плантации, *асьенды, энкомьенды.* О плантациях мы уже говорили [159]: они были в определенном смысле капиталистическими, но в лице плантатора и в еще большей мере в лице содействовавших ему купцов. *Асьенды* — это крупные имения, образованные главным образом в XVII в., во время «рефеодализации» Нового Света. Последняя проходила к выгоде земельных собственников, *асьендадо (haciendados),* и — в неменьшей степени! — церкви [160]. Такие крупные имения отчасти жили сами по себе, отчасти были связаны с рынком. В некоторых регионах, например в Центральной Америке, они по большей части оставались автаркичными. Но владения иезуитов, зачастую огромные, которые мы знаем лучше прочих из-за их архивов, были разделены между натуральной экономикой простого воспроизводства и внешней экономикой, функционировавшей под знаком денежных отношений. То, что счета таких *асьенд* велись в деньгах, все же не препятствует предположению, что выплата заработной платы, которую они отмечают, производилась лишь в конце года и что тогда крестьянину нечего было получать в денежном выражении, так как авансы, полученные им в натуре, превышали или балансировали те суммы, которые ему были должны [161]. Впрочем, такие ситуации известны и в Европе.

С *энкомьендами* мы в принципе оказываемся ближе к «феодализму», хотя индейские деревни жаловались испанцам в качестве *бенефициев,* а не *фьефов.* По идее то были владения на время, дававшие *энкомендеро* право на повинности с этих индейцев, а не просто право собственности на земли и на свободное распоряжение рабочей силой. Но это картина теоретическая: *энкомендеро* преступали такие ограничения. Так, отчет, относящийся к 1553 г. [162], разоблачает бессовестных хозяев, которые продают своих индейцев «под видом продажи *эстансии* * или нескольких голов скота», и «легковерных или недобросовестных *аудиторов (oidors)*», закрывающих на это глаза. Близость местных властей ограничивала правовые нарушения, но по мере удаления от столиц [163] контроль становился почти невозможен. Это только в принципе *энкомендеро,* включенный в колониальную систему господства, находился в некотором роде на службе испанских властей, так же как и королевские чиновники. На самом деле он обнаруживал тенденцию избавиться от этого ограничения, и кризис *энкомьенды* начался с 1544 г.,

[157] Arciniegas G. *Op. cit.,* p. 49.
[158] Цит. по: Slicher Van Bath B. H. *Op. cit.,* p. 25.
[159] См. т. 2 настоящей работы.
[160] Florescano E. *Op. cit.,* p. 433.
[161] Gibson C. *The Aztecs under Spanish Rule.* 1964, p. 34.
[162] Bataillon M. *Op. cit.,* p. XXXI.
* Эстансия — имение, земельный участок.— *Прим. перев.*
[163] Bataillon M. *Op. cit.,* p. XXX.

с восстанием в Перу братьев Писарро. Он будет продолжаться еще длительное время, ибо конфликт между *энкомендеро* и чиновниками короны был заключен в самой логике вещей. Эти чиновники — *коррехидоры* и *аудиторы аудиенсий*, своего рода колониальных парламентов по образцу *аудиенсий* испанских, — в большинстве случаев могли быть настроены только против земельных собственников, которые, будь они предоставлены самим себе, весьма быстро создали бы, или возродили, феодальный порядок. В немалой части своей деятельности — но не во всей — Испанская Америка быстро сделалась, как это полагает Георг Фридерици [164], образцовой страной чиновничества и бюрократии. И вот это довольно трудно включить в классический образ *феодализма*, точно так же как хозяин баиянской *энженью* и его невольники не могут потихоньку войти в настоящую капиталистическую модель.

Следует ли заключить: ни феодализма, ни капитализма? Америка в целом представляется наслоением, нагромождением разных обществ и экономик. У основания — полузакрытые экономики, назовите их как вам угодно; над ними — экономики полуоткрытые, да и то с оговорками; наконец, на верхних уровнях — рудники, плантации, быть может, некоторые крупные скотоводческие предприятия (не все!) и крупная торговля. Капитализмом был самое большее верхний, торговый «этаж»: заимодавцы *(aviadores)* горнопромышленников; привилегированные купцы *Консуладо*; веракрусские купцы, находившиеся в постоянном конфликте с купцами Мехико; купцы, не испытывавшие стеснения под маской Компаний, создаваемых метрополиями; купцы Лимы, купцы Ресифи, противостоявшие «сеньериальной» Олинде, или купцы «нижнего города» Баии, противостоявшие городу верхнему. Но при всех таких деловых людях мы на самом деле оказываемся в плоскости связей европейского мира-экономики, которые составляли как бы сеть, накинутую на всю Америку. Не внутри национальных капитализмов, но в рамках мировой системы, управлявшейся из самого центра Европы.

По мнению Эрика Уильямса [165], превосходство Европы (он имеет в виду ее близкую промышленную революцию, я с таким же основанием понимал бы под этим и мировое преобладание Англии и появление усилившегося торгового капитализма) проистекало непосредственно из эксплуатации Нового Света, особенно из того ускорения, какое привносили в европейскую жизнь постоянные прибыли от плантаций, среди которых он на первое место ставит поля сахарного тростника с их черными крестьянами. Тот же тезис, но еще и упрощенный высказал Луиджи Борелли [166], относящий модернизацию Атлантики и Европы на счет сахара, а значит, на счет Америки, где сахар, капитализм и рабство шли рука об руку. Но разве же Америка, включая Америку горнопромышленную, была единственной создательницей европейского величия? Нет, конечно, так же точно, как и Индия не создала одна европейское преобладание, хоть индийские историки и могут сегодня утверждать, выдвигая серьезные аргументы, что английская промышленная революция питалась эксплуатацией их страны.

[164] Friederici G. *Der Charakter der Entdeckung und Eroberung Amerikas durch die Europäer*. 1925, I, S. 453—454.

[165] Williams E. *Op. cit.*, p. 30 f., 126.

[166] Borelli L. *Lo zucchero e l'Atlantico*.— «*Miscellanea di Studi sardi e del commercio atlantico*», III (1974), p. 248—277.



Голландская колония на мысе Доброй Надежды. Рисунок Й. Раха, 1762 г. *Собрание Фонда «Атлас ван Столк».*

ЧЕРНАЯ АФРИКА, КОТОРОЙ ЗАВЛАДЕЛИ НЕ ТОЛЬКО ИЗВНЕ

Я хотел бы поговорить об одной только Черной Африке, оставляя в стороне Северную Африку — Африку белую, которая жила в орбите ислама. И точно так же не затрагивая (что отнюдь не само собой разумеется) Восточную Африку, от входа в Красное море и берегов Абиссинии (Эфиопии) до южной оконечности континента.

Эта южная оконечность Африки еще в XVIII в. была наполовину пустынной: Капская колония, созданная голландцами в 1657 г.*, хоть и была со своими 15 тыс. жителей крупнейшей европейской колонией континента, представляла не более чем промежуточную станцию на пути в Индию, обслуживавшую только [голландсую] Ост-Индскую компанию *(Oost Indische Compagnie)* [167], исключительно внимательно следившую за этим стратегическим пунктом. Что же касается нескончаемого побережья Африки, обращенного к Индийскому океану, то оно принадлежало к миру-экономике, имевшему своим центром Индию, для которого оно было одновременно и важным путем и *периферийной* зоной задолго до прибытия португальцев в 1498 г.[168] Там, вполне очевидно, развернется продолжительная интермедия португальских операций. В самом деле, именно вдоль этого побережья Васко да Гама, обогнув мыс Доброй Надежды, поднялся на север, направляясь в Индию: он останавливался в Мозамбике, Момбасе и Малинди, откуда лоцман

* Обычно датой основания голландцем Яном ван Рибеком Капской колонии считается 1652 г.— *Прим. перев.*

[167] Devèze M. *L'Europe et le monde...*, p. 263 sq.

[168] Challes R. *Voyage aux Indes d'une escadre française (1690—1691).* 1933, p. 85—87.

Ибн Маджид, уроженец Гуджарата, без лишних затруднений привел его благодаря муссону в Каликут. Восточное побережье Африки было, таким образом, драгоценным путем как в Индию, так и обратно: его гавани позволяли экипажам запасаться свежим продовольствием, чинить корабли, порой дожидаться момента отплытия, когда в слишком поздний сезон было опасно огибать мыс Доброй Надежды.

Долгое время ценность Контракошты[169] повышалась дополнительной заинтересованностью: наличием золотых россыпей во внутренних районах обширного государства Мономотапы[170]; вывоз желтого металла осуществлялся через порт Софала к югу от дельты Замбези. Это маленькое поселение, долго пребывавшее под господством города Килвы, расположенного значительно севернее, сделалось мишенью для португальских предприятий. В 1505 г. были успешно применены силовые приемы, и с 1513 г. все было в порядке. Однако золото поступало на побережье только в обмен на товары — зерно Малинди и в еще большей степени хлопчатые ткани из Индии. Португальцам пришлось использовать для этой цели гуджаратское полотно, и они в сем преуспели. Но такая прибыльная торговля продлится лишь некоторое время: Мономотапу раздирали непрерывные войны; золото становится редким, и одновременно с падением его качества ослабевала португальская опека. Арабские купцы вновь обрели контроль над Занзибаром и Килвой, где они приобретали рабов, перепродавая их в Аравии, Персии и Индии[171]. Португальцы, однако, удержали Мозамбик, где они с трудом перебивались. К концу XVIII в. они, как утверждают, вывозили ежегодно по нескольку тысяч невольников, и в 1787—1793 гг. в этой торговле участвовали даже французы ради снабжения рабочей силой Иль-де-Франса и острова Бурбон[172].

В целом можно присоединиться в том, что касается этого протяженного побережья, к пессимистичному суждению памятной записки от 18 октября 1774 г., адресованной русскому правительству: «Уже долгое время река Софала, как и впадающие в нее реки, не несут более золота в своих водах». Рынки Малинди и Момбасы на юге Мозамбика*, можно сказать, запустели, и те несколько португальских семейств, какие еще там живут, «суть более варвары, нежели цивилизованные»; торговля их «сводится к отправке в Европу какого-то числа негров, кои вырождаются и коих большая часть ни на что не годна»[173]. Таким образом русское правительство, искавшее международных рынков сбыта, предуведомляли, что это — не та дверь, в которую стоит постучаться. И значит, мы без чрезмерных угрызений пренебрежем «индийским» склоном Южной Африки, великие времена которого тогда уже прошли.

[169] Контракошта — в общем все южноафриканское побережье Индийского океана.
[170] Randles W.G.L. *L'Empire du Monomotapa du XV^e au XVIII^e siècle.* 1975, p.7.
[171] Oliver R., Matthew G. *History of East Africa.* 1966, p.155; цит. по: Devèze M. *L'Europe et le monde...*, p. 301.
[172] Toussaint A. *L'Océan Indien au XVIII^e siècle.* 1974, p. 64.
* Малинди и Момбаса находятся на побережье современной Кении, значительно севернее границы Мозамбика.— *Прим. перев.*
[173] Москва, АВПР, 18 октября 1774 г. (точная ссылка утрачена).

ОДНА ТОЛЬКО ЗАПАДНАЯ АФРИКА

Иным было положение на атлантическом фасаде Африки, от Марокко до португальской Анголы. Европа с XV в. разведала его берега, зачастую нездоровые, и завязала диалог с его

обитателями. Действительно ли излишне ограниченная любознательность побудила ее, как часто утверждалось, пренебречь внутренними областями континента? На самом деле европейцы не обнаружили в Тропической Африке тех благоприятных условий [174], какие предоставляли по всей индейской Америке ацтекская и инкская империи, где европейцы выглядели в глазах стольких покоренных теми народов как освободители [175] и где они в конечном счете нашли опору в упорядоченных обществах, которые возможно было эксплуатировать без чрезмерных усилий.

Португальцы и остальные европейцы обнаружили в Африке на берегах океана только россыпь племен или незначительные государства, на которые невозможно было опереться. Маломальски основательные государства, вроде Конго [176] или Мономотапы, располагались во внутренних областях, будучи как бы защищены мощью континента и прибрежным поясом обществ, мало или плохо организованных в политическом смысле. Тропические болезни, такие вредоносные на побережье, возможно, тоже служили барьером. Но в этом мы, невзирая на все, усомнимся, потому что европеец преодолел такие же препятствия в тропических областях Америки. Еще одна, более серьезная причина: внутренняя часть Африки была защищена относительной плотностью своего населения, энергией обществ, которые, в отличие от американо-индейских, знали металлургию железа и нередко включали в свое число народы воинственные.

К тому же ничто не подталкивало Европу к приключениям вдали от океана, потому что на побережье она имела в пределах досягаемости слоновую кость, воск, сенегальскую камедь, перец, золотой песок и чудо-товар — черных невольников. А сверх того, по крайней мере поначалу, такие товары получали посредством облегченного обмена: за безделушки, стеклянные бусы, яркие ткани, небольшое количество вина, за флягу рома, за так называемый «торговый мушкет» и за те медные браслеты, что именовались *маниллами*, — «довольно странное украшение», которое африканец «надевает на нижнюю часть ноги над щиколоткой... и на плечевую часть руки выше локтя» [177]. В 1582 г. португальцы платили неграм Конго «старым железом, гвоздями и т. п., что они ценят выше золотых монет» [178]. В целом то были клиенты и поставщики, которых легко было надуть, добродушные, при случае ленивые, «довольствующиеся жизнью со дня на день»... Но «вообще урожаи у сего народа столь жалкие, что европейские мореплаватели, кои к ним прибывают, дабы закупить там людей, вынуждены привозить из Европы или из Америки провизию, необходимую для прокормления рабов, каковые должны составить груз их кораблей» [179]. Короче, европейцы повсюду оказывались перед еще первобытными экономиками. Андре Теве в 1575 г. определил их одной короткой фразой: деньги «там не в употреблении» [180]. И этим все сказано.

Но что же такое, собственно, деньги? У африканских экономик были *свои* деньги, т. е. «средство обмена и признанное мерило ценности», будь то куски ткани, соль, скот или в XVII в.

[174] Davies K. G. *The Royal African Company*. 1957, p. 5, 6.

[175] По данным Н. Санчеса Альборноса: Sánchez Albornoz N. *Op. cit.*, p. 66.

[176] Randles W.G.L. L'Ancien Royaume du Congo des origines à la fin du XIXe siècle. 1968; Cuvelier J., Jadin L. *Op. cit.*; Balandier G. *La Vie quotidienne au royaume de Kongo du XVIe au XVIIIe siècle*. 1965.

[177] Savary J. *Op. cit.*, s.v. «manille», III, col. 714.

[178] Cuvelier J., Jadin L. *Op. cit.*, p. 114.

[179] Poivre P. *Voyages d'un philosophe, ou Observations sur les mœurs et les arts des peuples de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique*. 1768, p. 22.

[180] Thevet H. *La Cosmographie universelle...*, 1575, f° 67.



Португалия завоевывает африканское побережье (XV—XVI вв.)
В XVI в. морские пути опередили старинные дороги через Сахару. Золото, шедшее к Средиземному морю, было повернуто в сторону океанского побережья. К богатствам, что эксплуатировались португальцами, следует, конечно, добавить черных невольников. (По данным кн.: Magalhaẽs Godinho V. *L'Economie de l'Empire portugais aux XV[e] et XVI[e] s. 1969.*)

ввезенные железные бруски[181]. Обозначение этих денег как *примитивных* не позволяет сразу же заключить, что африканским экономикам недоставало силы, что они не проснутся до XIX в., до последствий промышленной и торговой революции в Европе. В середине XVIII в. эти отсталые регионы были тем не менее такими, которые, *может быть*, отправляли ежегодно больше 50 тыс. негров к работорговым портам погрузки, тогда как Испания собирала в XVI в. в Севилье в среднем 1000 отъезжающих в год[182], а в Новую Англию в 1630—1640 гг.[183] отправлялось всякий год в среднем 2 тыс. эмигрантов. И набеги, которые давали это человеческое поголовье, даже не прерывали повседневной жизни, ибо государства внутренних районов отправляли эти тысячи рабов, связанных друг с другом кожаными ремнями, надетыми им на шеи, к Атлантике (вместе с их весьма многочисленными охранниками) в сухой сезон — мертвый сезон в земледелии[184].

Кровопускания работорговли, возобновлявшиеся из года в год, по необходимости предполагают экономику с определенным тонусом. Именно это с большей или меньшей настойчивостью твердят последние исследования африканистов. Но тогда движение работорговых кораблей в обоих направлениях недостаточно для объяснения работорговли, которую надлежит сформулировать также и с африканской точки зрения. «Торговля невольниками,— писал Филип Кертин,— это подсистема атлантической экономики, но она также и подсистема большой модели западноафриканского общества, его образа действий, его религии, его профессиональных стандартов, его собственного самосознания и еще многого другого»[185]. Необходимо вернуть Африке ее права и ее ответственность.

[181] Curtin Ph. *Economic Change in Precolonial Africa. Senegambia in the Era of the Slave Trade.* 1975, p. 235, 237—247.
[182] См. 1-й том настоящей работы (изд. 1967 г.), с. 36.
[183] Bailyn B. *Op. cit.*, p. 16.
[184] Labat J.-B. *Nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale.* 1728, IV, p. 326 (по поводу Гамбии).

КОНТИНЕНТ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, НО ДОСТУПНЫЙ

Черная Африка обрисовывается в виде громадного треугольника, лежащего между тремя не менее громадными пространствами: Сахарой на севере, Индийским океаном на востоке, Атлантикой на западе. Как мы договорились, восточное побережье мы оставим в стороне. Что касается окраин Сахары и атлантического побережья, то это были бескрайние «фронты атаки», с которых чужеземец (какими бы ни были его название, эпоха и обстоятельства) подбирался к самым воротам Черной Африки. И постоянно он добивался их открытия. Это почти что логично: разве не удерживало Черный континент крестьянское население, обращенное спиной что к морю, что к пустыне Сахаре, «которая во многих аспектах сходна с морем»[186]? Странно, но черный человек не занимался плаваниями — ни через океан, ни через пустыню,— которые были бы ему доступны. Находясь лицом к лицу с Атлантикой, он плавал лишь по водам устья Конго, с одного берега реки на другой[187]. Океан, как и Сахара, был для него чем-то гораздо большим, нежели простой границей, а именно — непроницаемой перегородкой.

Для Западной Африки белые были *мурделе (murdele)*, людьми, вышедшими из моря[188]. Традиция еще и ныне говорит об

[185] Curtin P. *Op. cit.*, p. XXIII.
[186] Curtin P. *Op. cit.*, p. 4.
[187] Randles W.G.L. *L'Ancien Royaume du Congo...*, p. 69.
[188] *Ibid.*, p. 87.

изумлении негров, когда они появились: «Они увидели, как на большом море появилась большая лодка. Из воды вышли белые люди и сказали слова, которые были непонятны. Наших предков охватил страх, они говорили, что это были *вумби (Vumbi)*, возвратившиеся духи [предков]. Их отбрасывали к морю тучами стрел. Но *вумби* с громоподобным звуком выплюнули огонь...» [189]. В эти первые мгновения негры не могли даже вообразить, что белые обитали, жили не на своих судах.

[189] Lara O. *Op. cit.*, II, p. 291—292.

У атлантического побережья европейский корабль не встречался ни с сопротивлением, ни с надзором. Он располагал абсолютной свободой маневра, направлялся куда хотел, торговал где хотел; ему удавалось здесь то, в чем ему повезло или не повезло где-то в ином месте несколькими днями раньше. Он даже организовал торговлю «из Африки в Африку» по образцу торговли «из Индии в Индию», хоть и намного менее широкую. Форты, построенные на берегу, были прочными опорными пунктами, а близлежащие острова служили сторожевыми постами. Так было с Мадейрой, так было с Канарскими островами, так было и с весьма любопытным островом Сан-Томе в Гвинейском заливе, островом сахара и невольников, получившим с XVI в. колоссальное развитие — вне сомнения, потому



Рабство в странах ислама. Невольничий рынок в Забиде (Йемен) в XIII в. Иллюстрация к «Макамам» ал-Харири, 635 (1237) г. *Национальная библиотека (Ms. ar. 5847). Фото Национальной библиотеки.*

что для острова были открыты пути как на запад — в Америку, так и на восток — к ближней Африке.

Не заблуждаемся ли мы? Процесс был таким же вдоль границ Сахары. Мир ислама, с его верблюжьими караванами, был настолько же волен выбирать для себя подступы, как Европа с ее судами. У него были свои пункты нападения и входные двери. Гана, Мали, империя Гао были в такой же мере прорывами, связанными, видимо, с добычей слоновой кости, золотого песка и рабов. Впрочем, с того дня, когда с прибытием португальцев в Гвинейский залив такая добыча подверглась нападению с тыла, старинные политические образования начали приходить в упадок. В 1591 г. Томбукту был захвачен во время набега марокканских искателей приключений [190].

Еще раз выявилось глубинное тождество империализма мусульманского и империализма Запада. Двух агрессивных цивилизаций, бывших рабовладельческими и та и другая, которым Черная Африка заплатила за отсутствие бдительности и за свою слабость. Правда, у ее границ захватчик представал с небывалыми товарами, способными зачаровать возможного покупателя. В игру вступало вожделение: по ночам, говорил король Конго, «воры и люди без совести похищают [сыновей нашей знати и наших вассалов], подталкиваемые желанием иметь португальские изделия и товары, до коих они жадны» [191]. «Они продают друг друга,— писал в 1554 г. Гарсиа ди Резенди,— и немало есть купцов, ремеслом коих это стало, кои их обманывают и поставляют работорговцам» [192]. Итальянец Джованни Антонио Кавацци, живший в Африке в 1654—1667 гг., замечает, что «за коралловое ожерелье или малость вина конголезцам случалось продавать своих родителей, детей, сестер и братьев и в то же время клятвенно заверять покупателей, что речь идет о домашних рабах» [193]. Никто не станет отрицать, что вожделение сыграло свою роль и что европейцы сознательно его разжигали. Португальцы с их вкусом к одежде как признаку социального положения развили тот же вкус к *«одеванию» («vestir»)* в неграх, оказывавшихся в зависимости от них. И может быть, не без задней мысли, ибо в 1667 г. в Софале один португалец даже предлагал *обязать* простых негров, которые бесстыдно разгуливали совсем нагими, носить набедренные повязки; тогда-де «всей ткани, что может произвести Индия, не хватит, чтобы обеспечить нужды только половины чернокожих» [194]. Впрочем, для форсирования обменов все средства были хороши, включая и практику авансов: в случае неуплаты законным становился захват имущества, а затем — и личности кредитуемого, неспособного выплатить свой долг. Широко пользовались и чистым насилием; всякий раз, как оно получало волю, рекорды прибыли бывали превзойдены. В 1643 г. один очевидец говорил, что он-де «абсолютно уверен, что сие королевство [Ангола, где охота за рабами была в полном разгаре] позволяет некоторым людям обогащаться более, нежели в Восточной Индии» [195].

Тем не менее если в Африке и была торговля людьми, то, конечно же, потому, что Европа ее желала и навязывала. Но дело

[190] Béraud-Villars J. *L'Empire de Gao. Un État soudanais aux XV*[e] et XVI[e] *siècles.* 1942, p. 144.
[191] Randles W.G.L. *L'Ancien Royaume du Congo...*, p. 132.
[192] *Ibid.*
[193] *Ibid.*, p. 135.
[194] Randles W.G.L. *L'Empire du Monomotapa...*, p. 18.
[195] Idem. *L'Ancien Royaume du Congo...*, p. 216.

также и в том, что Африка имела дурную привычку заниматься ею задолго до прибытия европейцев, направляя торг в сторону мусульманского мира, Средиземноморья и Индийского океана. Рабство было в ней эндемичной, повседневной структурой в рамках социального строя, который желательно было бы, но пока, увы, тщетно, знать лучше. Даже терпение историка, привычного к неполной документации, даже смелость компаративиста, даже умение Мариана Маловиста[196] не достаточны, чтобы этот строй реконструировать. Остаются открытыми слишком много вопросов: роль городов по отношению к созвездиям деревень; место ремесла и торговли на дальние расстояния; роль государства... И потом, наверняка мы имеем пред собой не *единое* общество, повсюду одно и то же. Рабство представало в разных формах, присущих разным обществам: рабов придворных, рабов, инкорпорированных в войско государя, рабов домашних, рабов, занятых в сельском хозяйстве, в промышленности, а также гонцов, посредников, даже торговцев. Рекрутирование рабов было одновременно и внутренним (на Западе преступление вело на галеры, оно влекло за собой смертную казнь или наказание рабством) и внешним (вследствие войн или набегов на соседние народы, как во времена античного Рима). Со временем такие войны и такие набеги сделались промыслом. В таких условиях не оказывались ли рабы военного «урожая» настолько многочисленными, а их содержание и кормление настолько затруднительными, что рабы эти рисковали бы в некотором роде остаться без дела? Продавая их на внешних рынках, Африка, быть может, освобождалась от возможной перегруженности людьми.

[196] Małowist M. *Konkwistadorzy Portugalscy*. 1976.

[197] См.: Milioukov P., Seignobos Ch., Eisenmann L. *Histoire de la Russie*, I. 1932, p. 158, note 1; Braudel F. *Médit...*, I, p. 174.

Работорговля, непомерно развившаяся под влиянием американского спроса, потрясла весь Черный континент. В отношениях внутренних районов и побережья она сыграла двойную роль: ослабляя, ввергая в упадок крупные государства внутренних областей — Мономотапу, Конго — и, напротив, благоприятствуя натиску мелких государств-посредников, расположенных вблизи побережья, своего рода *маклеров*, которые снабжали европейских купцов невольниками и товарами. Разве сменявшие друг друга империи бассейна Нигера не были для мира ислама ничем иным, как государствами-комиссионерами, поставщиками в Северную Африку и в Средиземноморье золотого песка и рабов? Сходным образом и Европа X в. была вдоль Эльбы посреднической зоной для приобретения рабов-*славян*, затем переправлявшихся в страны ислама. Разве же не были крымские татары с XVI в. поставщиками русских рабов в ответ на спрос в Стамбуле?[197]

ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ К ВНУТРЕННИМ РАЙОНАМ

Черная Африка была более глубоко порабощена этим процессом, чем то утверждали историки в недавнем прошлом. Европа пустила свои корни в самое сердце континента, далеко за пределы своих прибрежных позиций, островов — пере-

валочных пунктов, пришвартованных и гниющих на месте судов или же обычных пунктов работорговли, или фортов (первый из них, самый знаменитый,— Сан-Жоржи-да-Мина, построенный португальцами на Гвинейском побережье в 1454 г.). Эти португальские форты, затем голландские, английские или французские, которые так дорого было содержать, служили защитой от возможных нападений негров и против наскоков европейских конкурентов. Ибо белые, игравшие в одну и ту же торговую игру, при всяком случае рвали друг друга в клочья, захватывали форты друг друга, вели военные действия, активные, если и не успешные, вне пределов крупных конфликтов. Согласие бывало возможно лишь против общих врагов: например, английская Королевская Африканская компания и французская Сенегальская компания (последняя была поглощена французской Ост-Индской компанией в 1718 г.) довольно удачно сговаривались против английских или неанглийских *приватиров* (*privateers*), нарушителей монополии (*interlopers*), против всех купцов, что занимались торговлей вне рамок компаний. Правда, эти последние, включая и голландскую Ост-Индскую компанию, находились в плохом положении, не будучи способны содержать крепости и гарнизоны без субсидий государства. Так что в конечном счете они от многих своих притязаний откажутся и предоставят делам идти своим ходом.

От побережья торговля осуществлялась на легких судах, которые на веслах поднимались по рекам до гаваней в верховьях рек и до ярмарок, где европейская коммерция встречалась с африканскими караванами. Посредниками в таких торговых операциях издавна были потомки португальцев, метисы белых и негров, ставшие «местными»; каждый оспаривал у других их услуги. Затем англичане и французы решились сами подняться по рекам и речкам, обосноваться внутри материка. «Капитан Эджис [англичанин],— отмечает отец Лаба,— в то время не был в Бинтаме. Англичане его используют, дабы вести свою торговлю в верховьях реки; он предприимчив, и его видели даже на реке Фалеме, в одном дне пути от форта Сент-Этьенн-де-Кэнура»[198]. С наступлением второй половины XVIII в., когда английская Королевская компания отказалась от большей части своей активности, а форт Сен-Жак в устье Гамбии был оставлен, европейская торговля снова обратилась к местным посредникам. Черные гребцы, обходившиеся дешевле гребцов английских, поднимались вверх по реке с европейскими товарами; они же доставляли африканские товары, включая и эбеновое дерево, очень часто предназначавшиеся для корабля *приватира*. Негры сделались младшими хозяевами торговли.

Эта эволюция любопытным образом воспроизводила старинную эволюцию португальской торговли, бывшей инициатором европейской деятельности в Африке, как и на Дальнем Востоке. Первыми *лансадуш* (*lançados*)[199] были португальцы, точно так же как и купцы острова Сан-Томе, которые очень рано занялись торговлей «из Африки в Африку», от Гвинейского залива до Анголы, выступая сегодня купцами, а завтра —

[198] Labat J.-B. Op. cit., V, p. 10.
[199] В значении «авантюристы, искатели приключений».

пиратами. В конце XVI в. в Сан-Сальвадоре, столице Конго, имелось более ста португальских купцов и добрая тысяча искателей приключений того же происхождения. Впоследствии размах дел сократился, мелкие роли уступили африканским посредникам и комиссионерам, в частности мандингам, обозначавшимся родовым названием *меркадорш* (*mercadors*), и сотрудникам вспомогательным, метисам и черным, именовавшимся *помбейруш* (*pombeiros*). Эти последние, кем бы ни был хозяин, на которого они работали, более жестоко эксплуатировали своих братьев по расе, нежели белые[200].

[200] Randles W.G.L. *L'Ancien Royaume du Congo...*, p. 217 sq.; см.: Margolin J.-C. *Op. cit.*, p. 689. Слово *помбейру (pombeiro)* будто бы происходит от *пумбо (pumbo)* — названия активного рынка на нынешнем Стэнли-Пуле.

«ТРЕУГОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ» И УСЛОВИЯ ОБМЕНА

Мы знаем завершение работорговли: *Средний переход* (*the Middle Passage*), переход через Атлантику, всегда бывший ужасным для рабов, набитых в тесном пространстве [трюмов]. Однако плавание это было лишь одним из элементов в системе «треугольной торговли», которой занимался любой корабль, снимавшийся с якоря у африканского берега, будь этот корабль португальским, голландским, английским или французским. Какой-нибудь английский корабль пойдет продать своих рабов на Ямайке, возвратится в Англию с сахаром, кофе, индиго, хлопком, потом снова отправится в Африку. *Mutatis mutandis*, эта схема была одной и той же для всех работорговых кораблей. В каждой вершине *треугольника* реализовалась прибыль, и общим балансом кругооборота было сложение последовательных балансов.

При выходе из Ливерпуля или из Нанта на борту находились одни и те же товары: ткани и еще раз ткани, включая хлопчатые индийские и полосатую тафту, медная утварь, оловянные блюда и горшки, железные слитки, ножи с ножнами, шляпы, стеклянный товар, искусственный хрусталь, порох, пистолеты, торговые мушкеты, наконец, водка... Это перечисление воспроизводит слово в слово список товаров, которые в апреле 1704 г. один банкир в Нанте, крупнейшем французском работорговом порту, погрузил на свое судно «Принц Конти» (вместимостью в триста тонн)[201]. В этот поздний период список [товаров] почти не отличался от списка при отплытии из Ливерпуля или из Амстердама. Португальцы всегда остерегались доставлять в Африку оружие и водку, но их преемники не отличались подобной щепетильностью или подобной осторожностью.

[201] Martin G. *Nantes au XVIII^e siècle. L'ère des négriers (1714—1774)*. 1931, p. 46 sq.

[202] Curtin P. *Op. cit.*

Наконец, чтобы обмен отвечал сильно возраставшему европейскому спросу, требовалась известная «эластичность» африканского рынка перед лицом увеличивавшегося предложения европейских товаров. Так обстояло дело в Сенегамбии, любопытном районе между пустыней и океаном, о которой Филип Кертин недавно написал поразительной новизны книгу[202], пересматривающую разом и саму африканскую экономику, и размах обменов, невзирая на трудность перевозок, масштабы людских скоплений на рынках и на ярмарках, энергию городов,

которые неизбежно требовали прибавочного продукта, наконец, так называемые примитивные денежные системы, бывшие тем не менее добрым орудием.

Со временем восприятие европейских товаров сделалось выборочным: черный клиент не скупал все вслепую. Если Сенегамбия была покупательницей слитков железа и даже железного лома, так это потому, что в отличие от других африканских районов она не имела металлургии. Если какой-то другой регион (вернее, субрегион) покупал много тканей, то потому, что местное ткачество здесь было недостаточным. И так далее. А затем — и это-то и было удивительно — Африка перед лицом жадного европейского спроса будет в конечном итоге реагировать в соответствии с классическими правилами экономики: повысит свои требования, поднимет цены.

Филип Кертин[203] доказывает свои тезисы изучением цен и условий обмена, торговли (*terms of trade*), которое примитивный характер «денег» не помешал довести до успешного завершения. В самом деле, когда брусок железа, который был в Сенегамбии *расчетной монетой*, котировался у английского купца в 30 фунтов стерлингов, то речь здесь шла не о цене, а об *обменном курсе* между фунтом стерлингов, монетой фиктивной, и железным бруском, другой фиктивной монетой. Товары, оцениваемые в брусках (а затем в фунтах), изменялись в цене, как это показывают приводимые ниже таблицы. Можно вычислить для Сенегамбии правдоподобные глобальные цифры импорта и экспорта и приблизительно оценить *условия обмена* (*terms of trade*), «показатель, позволяющий оценить выгоду, какую какая-то экономика извлекает из своих отношений с заграницей»[204]. Сравнивая экспорт и импорт, цены при ввозе и вывозе, Кертин приходит к заключению, что Сенегамбия извлекала из своих обменов с внешним миром возраставшую выгоду. Это факт, что для получения большего количества золота, рабов и слоновой кости Европа должна была увеличивать свое предложение, снижать сравнительную цену своих товаров. И такой вывод, сделанный для Сенегамбии, вероятно, действителен для всей Черной Африки, которая в ответ на требования плантаций, золотых приисков, городов Нового Света поставляла работорговцам все возраставший контингент невольников: в XVI в. — 900 тыс., в XVII в. — 3750 тыс., в XVIII в. — от 7 до 8 млн. и, несмотря на запрещение рабства в 1815 г., — 4 млн. в XIX в.[205] Если подумать о незначительности использовавшихся средств, о низком уровне перевозок, то торговля африканскими невольниками утверждается как торговля рекордная.

[203] *Ibid.*, p. 334 f.
[204] Bernard Y., Colli J.-C., Lewadnowski D. *Dictionnaire...*, p. 1104.
[205] См.: Devèze M. *L'Europe et le monde...*, p. 310, и его ссылки на Ч. Ньюбери (C. W. Newbury), Реджиналда Коплэнда (R. Coupland), Ч. Ллойда (C. Lloyd), Д. Кертина (D. Curtin), Бруншвига (H. Brunschwig).

I

УСЛОВИЯ ОБМЕНА В СЕНЕГАМБИИ

1680 г.	100 (индекс)	Условия обмена получаем через соотношение индексов экспорта и импорта (точнее, $\frac{Э}{И} \times 100$)
1730 г.	149	
1780 г.	475	
1830 г.	1031	

Прибыль африканского экспортера увеличивается примерно в 10 раз. Даже при допущении весьма значительной погрешности прогресс очевиден.

II

ЭВОЛЮЦИЯ СЕНЕГАМБИЙСКОГО ЭКСПОРТА
(по статьям, в процентах от экспорта в целом)

	1680 г.	1730 г.	1780 г.	1830 г.
Золото	5,0	7,8	0,2	3,0
Камедь	8,1	9,4	12,0	71,8
Шкуры	8,5	—	—	8,1
Слоновая кость	12,4	4,0	0,2	2,8
Рабы	55,3	64,3	86,5	1,9
Пчелиный воск	10,8	14,5	1,1	9,9
Арахис	—	—	—	2,6
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблицы заимствованы из книги: Curtin P. D. *Economic Change in Precolonial Africa*. 1975, p. 336, 327.

Влияние европейского спроса влекло за собой торговую специализацию Сенегамбии, всякий раз с преобладающим положением какого-то одного продукта: в начале XVII в.— шкуры, затем вплоть до XIX в.— невольники, позднее — камедь, еще позднее — арахис. Сравните с «циклами» колониальной Бразилии: красильное дерево, сахар, золото, кофе.

КОНЕЦ РАБСТВА

Эта однажды приобретенная сила объясняет, почему работорговля не остановилась на следующий день, после того как она была официально запрещена на Венском конгрессе 1815 г. по предложению Англии. По словам одного английского путешественника[206], в 1817 г. Рио-де-Жанейро, Баия и особенно Гавана сделались конечными пунктами «торговли людьми», которая оставалась весьма активной. Не Гавана ли была самым процветающим из таких пунктов прибытия? В нее входили семь работорговых кораблей разом, в том числе четыре французских. Но именно португальцы и испанцы завладели лучшей долей сохранившейся торговли и воспользовались падением закупок и цен, вызванным в Африке отказом англичан (от 2 до 5 фунтов стерлингов за невольника, тогда как в Гаване цена составляла 100 фунтов и вдвое больше — во Флориде и Новом Орлеане, принимая во внимание трудности контрабанды). Это было временное снижение, но наш английский путешественник от этого лишь больше завидовал доходам от торговли, из которой его страна сама себя исключила к выгоде испанцев и португальцев. Разве же, говорит он, эти последние, обладая преимуществом низкой цены на своих рабов, не получат «возможности продавать дешевле нашего на иностранных рынках не только сахар и кофе, но и все другие продукты тропиков»? В ту пору немало англичан разделяло чувства того возмущенного португальца, который в 1814 г. взывал, что «в интересах и долг великих континентальных держав категорически отказаться... от своего согласия с коварным предложением Англии объявить работорговлю противной правам человека»[207].

И в конечном счете нарушили или не нарушили эти огромные кровопускания равновесие черных обществ Анголы, Кон-

го, прибрежных областей Гвинейского залива? Чтобы ответить на этот вопрос, надо бы знать численность населения при первых контактах с Европой. Но такие рекорды, как мне кажется, были возможны в конечном счете лишь из-за очевидной биологической жизненной силы Черного континента. И если население увеличивалось, несмотря на работорговлю, что возможно, то надлежало бы пересмотреть все данные к проблеме.

Рассуждая таким образом, я не стремлюсь смягчить либо ошибки, либо ответственность Европы перед африканскими народами. Если бы это было не так, я бы с самого начала настаивал на тех дарах, которые Европа, желая или не желая того, преподнесла Африке: кукуруза, маниока, американская фасоль, сладкий батат, ананас, гуайяве, кокосовая пальма, цитрусовые, табак, виноград, а среди домашних животных — кошка, варварийская утка, индейка, гусь, голубь... И не забудьте о проникновении христианства, которое зачастую воспринималось как средство обретения силы бога белых. А почему бы не выдвинуть и такой довод: нынешняя негритянская Америка — так ли это мало? Она ведь существует.

РОССИЯ — ДОЛГОЕ ВРЕМЯ САМА ПО СЕБЕ МИР-ЭКОНОМИКА

Мир-экономика, построенный на Европе [208], не распространялся на весь тесный континент. За границей Польши долгое время оставалось в стороне Московское государство [209]. Как не согласиться по этому поводу с Иммануэлем Валлерстайном, который без колебаний помещает его вне сферы Запада, за рамками «Европы европейской», по крайней мере до начала единоличного правления Петра Великого (1689 г.) [210]? Так же точно обстояло дело и с Балканским полуостровом, где турецкое завоевание на столетия покрыло и поработило некую христианскую Европу, и со всей остальной Османской империей в Азии и Африке, обширными автономными или стремившимися таковыми быть зонами.

На Россию и на Турецкую империю Европа воздействовала превосходством своей денежной системы, привлекательностью и соблазнами своей техники, своих товаров, самой своею силой. Но в то время как в случае Москвы европейское влияние укреплялось как бы само собой и движение коромысла весов мало-помалу подтолкнуло огромную страну навстречу Западу, Турецкая империя, наоборот, упорствовала в том, чтобы удержаться в стороне от его разрушительного вторжения; во всяком случае, она сопротивлялась. И только сила, истощение, время возьмут верх над ее глубоко укоренившейся враждебностью.

[208] Весь этот параграф многим обязан материалам книги Жаклин Кауфман-Рошар: Kaufmann-Rochard J. *Origines d'une bourgeoisie russe, XVI^e—XVII^e siècles.* 1969.
[209] Verlinden C. *Op. cit.*, p. 676 sq.; см. примечание 2 к настоящей главе.
[210] Wallerstein I. *Op. cit.*, p. 320.

РУССКАЯ ЭКОНОМИКА, БЫСТРО ПРИВЕДЕННАЯ К КВАЗИАВТОНОМИИ

Московское государство никогда не было абсолютно закрытым для европейского мира-экономики [211], даже до 1555 г., до завоевания русскими Нарвы, небольшой эстонской гавани на Балтике, или до 1553 г., даты первого обоснования англичан в Архангельске. Но открыть окно на Балтику, «воды которой были на вес золота» [212], позволить новой английской Московской компании (*Moscovy Company*) открыть дверь в Архангельске (даже если эта дверь каждый год очень рано закрывалась в связи с зимним ледоставом) — это означало принять Европу непосредственно. В Нарве, которую быстро стали контролировать голландцы, в небольшой гавани теснились корабли всей Европы, чтобы по возвращении рассеяться по всем европейским портам.

Однако же, так называемая Ливонская война завершилась для русских катастрофически; они были только рады подписать со шведами, вступившими в Нарву, перемирие от 5 августа 1583 г. [213] Они утратили свой единственный выход к Балтике и сохранили лишь неудобный Архангельский порт на Белом море. Этот резкий удар остановил какой бы то ни было расширенный выход в Европу. Тем не менее новые хозяева Нарвы не

[211] Kirchner W. *Über den russischen Aussenhandel zu Beginn der Neuzeit*.— «*Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*», 1955.

[212] Summer B.H. *Survey of Russian History*. 1947, p. 260. Цит. по: *Russian Imperialism from Ivan the Great to the Revolution*. Ed. T. Hunczak, 1970, p. 106.

[213] Vernadsky G. *The Tsardom of Moscow, 1547—1682*, V, 1969, p. 166.



Архангельский порт в XVII в. *Национальная библиотека, Кабинет эстампов. Фото Национальной библиотеки.*

запретили пропуск товаров, ввозимых или вывозимых русской торговлей[214]. Обмены с Европой, таким образом, продолжались либо через Нарву, либо через Ревель и Ригу[215], и их положительное для России сальдо оплачивалось золотом и серебром. Покупатели русского зерна и конопли, в особенности голландцы, обычно привозили, чтобы уравновесить свой баланс, мешки с монетой, содержавшие каждый от 400 до 1000 риксдалеров[216]. Так, в Ригу в 1650 г. доставили 2755 мешков, в 1651 г.— 2145, в 1652 г.— 2012 мешков. В 1683 г. торговля через Ригу дала положительное сальдо в 823 928 риксдалеров в пользу русских.

В таких условиях, если Россия оставалась наполовину замкнутой в себе, то происходило это одновременно от громадности, которая ее подавляла, от ее еще недостаточного населения, от его умеренного интереса к Западу, от многотрудного и без конца возобновляющегося установления ее внутреннего равновесия, а вовсе не потому, что она будто бы была отрезана от Европы или враждебна обменам. Русский опыт — это, несомненно, в какой-то мере опыт Японии, но с той большой разницей, что последняя после 1638 г. закрылась для мировой экономики сама, посредством политического решения. Тогда как Россия не была жертвой ни поведения, которое она бы избрала сознательно, ни решительного исключения, пришедшего извне. Она имела единственно тенденцию организоваться в стороне от Европы, как самостоятельный мир-экономика со своей собственной сетью связей. На самом деле, если прав М. В. Фехнер, масса русской торговли и русской экономики в XVI в. уравновешивалась более в южном и восточном направлениях, нежели в северном и западном (т. е. в сторону Европы)[217].

В начале этого столетия главным внешним рынком для России была Турция. Связь осуществлялась по долине Дона и по Азовскому морю, где перегрузка товаров производилась исключительно на турецкие корабли: Черное море было тогда хорошо охраняемым турецким озером. Служба конных гонцов — свидетельство регулярной и значительной торговли — связывала в то время Крым с Москвой. К середине века овладение нижним течением Волги (взятие Казани в 1552 г., Астрахани — в 1556 г.) широко открыло путь на юг, хотя Волга и протекает через области, тогда еще слабо замиренные и делавшие сухопутную дорогу непроезжей, а водный путь довольно опасным: причаливать означало всякий раз рисковать. Но русские купцы объединялись, создавая речные караваны, которые своей численностью обеспечивали вероятную защиту.

С того времени Казань и в еще большей мере Астрахань сделались контрольными пунктами русской торговли, направлявшейся в степи Нижней Волги и в особенности в Среднюю Азию, Китай, в первую очередь — в Иран. Торговые поездки захватывали Казвин, Шираз, остров Ормуз (до которого из Москвы добирались за три месяца). Русский флот, созданный в Астрахани на протяжении второй половины XVI в., активно действовал на Каспии. Другие торговые пути вели в Ташкент, Самарканд и Бухару, до самого Тобольска, бывшего тогда пограничьем сибирского Востока.

[214] Attman A. *The Russian and Polish Markets in International Trade 1500—1650*. 1973, p. 135 f.
[215] *Ibid.*, p. 138—140.
[216] Риксдалер (*rijksdaaler; rigsdaler*), или риксдоллар, королевский талер — официальная монета Нидерландов после Генеральных штатов 1579 г.
[217] Фехнер М. В. *Торговля Русского государства со странами Востока в XVI в.* 1952; изложением содержания и переводом важных отрывков из книги я обязан Леону Полякову.

Эти обмены с Югом и Востоком определенно были по объему (хотя и невозможно выразить их в цифрах) большими, чем те, что направлялись в сторону Европы или возвращались оттуда. Русские экспортировали кожевенное сырье, пушнину, скобяной товар, грубые холсты, железные изделия, оружие, воск, мед, продовольственные товары плюс реэкспортируемые европейские изделия: фламандские или английские сукна, бумагу, стекло, металлы... В противоположном направлении шли пряности (главным образом — перец) и китайские или индийские шелка, все это транзитом через Иран; персидские бархаты и парчи; сахар, сушеные фрукты, жемчуг и золотые изделия Турции; хлопчатые изделия для простого народа, произведенные в Средней Азии... Всю эту торговую активность контролировало, оберегало, а при случае и развивало государство.

Если придерживаться нескольких известных цифр, относящихся к государственным монополиям (следовательно, всего лишь части обменов и не обязательно самой большой), восточная торговля была как будто положительной для России. И, взятая в целом, стимулировавшей ее экономику. В то время как Запад требовал от России лишь сырье, снабжал ее только предметами роскоши и чеканенной монетой (что, правда, тоже имело свое значение), Восток покупал у нее готовые изделия, поставлял ей красящие вещества, полезные ее промышленности, снабжал Россию предметами роскоши, но также и тканями по низкой цене, шелком и хлопком для народного потребления.

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Желая того или нет, но Россия выбрала скорее Восток, чем Запад. Следует ли в этом видеть причину отставания ее развития? Или же Россия, отсрочив свое столкновение с европейским капитализмом, убереглась, возможно, от незавидной судьбы соседней Польши, все структуры которой были перестроены европейским спросом, в которой возникли блистательный успех Гданьска (Данциг — это «зеница ока Польши») и всевластие крупных сеньеров и магнатов, в то время как авторитет государства уменьшался, а развитие городов хирело?

Напротив, в России государство стояло как утес среди моря. Все замыкалось на его всемогуществе, на его усиленной полиции, на его самовластии как по отношению к городам («воздух которых не делал свободным» в отличие от Запада[218]), так и по отношению к консервативной православной церкви, или к массе крестьян (которые принадлежали прежде царю, а потом уже барину), или к самим боярам, приведенным к покорности, шла ли речь о вотчинниках или помещиках — владельцах *поместий,* этих своего рода *бенефициев*, дававшихся государем в виде вознаграждения, которые, если читатель пожелает, напомнят ему испанские *энкомьенды* в Америке или, еще лучше, турецкие *сипахиники.* Сверх всего государство присвоило себе контроль над важнейшими видами обмена: оно монополизировало соляную торговлю, торговлю поташем, водкой, пивом, медами, пушниной, табаком, а позднее и кофе...

[218] Gerschenkron A. *Europe in the Russian mirror*. 1970, p. 54.

Зерновой рынок хорошо функционировал в национальном масштабе, но на экспорт зерна требовалось разрешение царя, которому такой экспорт зачастую будет служить доводом для облегчения территориальных завоеваний[219]. И именно царь начиная с 1653 г. организовывал официальные караваны, которые каждые три года отправлялись в Пекин, доставляли туда ценные меха и возвращались оттуда с золотом, шелком, камкой, фарфором, а в более поздний период — с чаем. Для продажи спиртного и пива, что было государственной монополией, открывались заведения, «кои на русском языке именуются кабаками и кои царь оставил исключительно за собою... кроме как в части Украины, населенной казаками». Он извлекал из кабаков ежегодно большие доходы, быть может миллион рублей, а «поелику российская нация привычна к крепким напиткам и поелику солдаты и работники получают половину своей платы хлебом и мукой, а другую половину — в звонкой монете, они сию последнюю часть просаживают в кабаках, так что все наличные деньги, что обращаются в России, возвращаются в сундуки его Царского величества»[220].

Правда, что касалось дел государственных, то каждый наживался за их счет в свое удовольствие. Контрабандная торговля была «нескончаемой», «бояре и иные частные лица находят для продажи тайком табак Черкасщины и Украины, где он произрастает в большом количестве». А что сказать о незаконной продаже водки на всех этажах общества? Самой бурной контрабандой, которую вынужденно терпели, была котрабандная торговля сибирскими мехами и шкурами с близлежащим Китаем — настолько значительная, что вскоре официальные караваны перестанут там делать удачные дела. В 1720 г. «отрубили голову князю Гагарину, прежнему губернатору сибирскому... за то, что он скопил столь безмерные богатства, что после того, как распродали только его движимое имущество и сибирские и китайские товары, остается еще несколько домов, набитых непроданным, не считая драгоценных камней, золота и серебра, кои достигают, как уверяют, более 3 млн. рублей»[221].

Но воровство, контрабанда, неповиновение закону не были исключительно уделом России, и, каким бы ни был их вес, они не ограничивали решающим образом царский произвол. Здесь мы оказываемся за пределами политического климата Запада. Доказательство тому — организация *гостей*[222], крупных негоциантов, которых здесь, так же как и в других странах, торговля на дальние расстояния вела к богатству, но которые были поставлены в зависимость от государства. Их было двадцать или тридцать — состоявших на царской службе, облеченных одновременно и громадными привилегиями и громадной ответственностью. На гостей поочередно возлагались сбор налогов, управление астраханской или архангельской таможнями, продажа пушнины и прочих товаров казны, внешняя торговля государства, особенно продажа товаров, относившихся к государственным монополиям, наконец, управление Монетным двором или Сибирским приказом. За выполнение всех этих задач они отвечали собственной головой и своим имуществом[223]. Зато их состояния бывали порой колоссальными. Во

[219] Małowist M. *The economic and social development of the Baltic Countries, XVth — XVIIth century.* — «*Economic History Review*», December 1959, p. 177—189.
[220] A.N., K 1352, f° 73, около 1720 г.
[221] A.N., K 1352, f° 73.
[222] Baron S.H. *The Fate of the Gosti in the reign of Peter the Great.* — «*Cahiers du monde russe et soviétique*», octobre — décembre 1973, p. 488—512.
[223] Kaufmann-Rochard J. *Op. cit.*, p. 88.

время правления Бориса Годунова (1598—1605 гг.) *годовая* заработная плата работника оценивалась в 5 рублей. А Строгановы — правда, «короли» русских купцов, да еще обогатившиеся за счет ростовщичества, соляной торговли, горных предприятий, промышленных заведений, завоевания Сибири, торговли пушниной и пожалования фантастических колониальных владений к востоку от Волги в районе Перми начиная с XVI в.,— безвозвратно предоставят царю 412056 рублей во время двух русско-польских войн (1632—1634 и 1654—1656 гг.)[224]. Они уже предоставляли Михаилу Романову в начале его царствования крупные суммы — пшеницей, драгоценными камнями, деньгами — в виде займов или чрезвычайных налогов[225]. Таким образом, *гости* — владельцы земель, крепостных, наемных рабочих, дворовых рабов — появляются в верхушке общества. Они образовывали особую «гильдию»[226]. Две другие гильдии включали купцов в общем второго и третьего классов, тоже пользовавшихся привилегиями. Но функции гостей сойдут на нет с воцарением Петра Великого.

Короче говоря, ясно, что в противоположность тому, что произошло в Польше, ревнивая и предусмотрительная царская власть в конечном счете сохранила самостоятельную торговую жизнь, которая охватывала всю территорию и участвовала в ее экономическом развитии. К тому же, совсем как на Западе, ни один из таких крупных купцов не был узко специализирован. Один из самых богатых *гостей*, Григорий Никитников, занимался сразу продажей соли, рыбы, сукон, шелков; у него были дела в Москве, но участвовал он и в торговых операциях на Волге, владел судами в Нижнем Новгороде, занимался экспортом через Архангельск; в какой-то момент он вместе с Иваном Строгановым вел переговоры о покупке наследственного имения — вотчины — за баснословную цену в 90 тыс. рублей. Некий Воронин владел больше чем 30 лавками в московских рядах[227]; другой купец, Шорин, перевозил товары из Архангельска в Москву, из Москвы в Нижний Новгород и на Нижнюю Волгу; по уговору с компаньоном он одним махом закупил 100 тыс. пудов[228] соли. А сверх того эти крупные купцы занимались розничной торговлей в Москве, куда они систематически доставляли прибавочный продукт и богатства из провинции[229].

[224] *Ibid.*, p. 87, 227.
[225] *Ibid.*, p. 227—228.
[226] Kulischer J. *Wirtschaftsgeschichte Russlands*, I, S. 447.
[227] Имеются в виду торговые ряды, торговые галереи.
[228] 1 пуд = 16,48 кг.
[229] Kulischer J. *Op. cit.*, I, S. 447 f.

КРЕПОСТНИЧЕСТВО В РОССИИ УЖЕСТОЧАЕТСЯ

В России, как и в других странах, государство и общество были единой реальностью. Сильное государство соответствовало там обществу, удерживаемому в руках, осужденному на то, чтобы производить прибавочный продукт, за счет которого жили государство и господствующий класс, ибо без последнего царь в одиночку не удержал бы в подчинении громадную массу своих крестьян, главнейший источник его доходов.

Всякая история крестьянства сводилась, таким образом, к четырем-пяти действующим лицам: крестьянину, барину, государю, ремесленнику и купцу, причем последние два персонажа

в России зачастую были крестьянами, только сменившими род занятий, но остававшимися в социальном и правовом смыслах крестьянами, всегда связанными узами сеньериального порядка. И вот как раз такой порядок становился все более и более тяжким; начиная с XV в. положение крестьянства от Эльбы до Волги не переставало ухудшаться.

Но в Россий эволюция не следовала правилу. В Польше, в Венгрии, в Чехии «вторичное закрепощение» действительно возникло к выгоде сеньеров и магнатов, которые с того времени стали между крестьянином и рынком и господствовали даже над снабжением городов, в тех случаях, когда последние не были попросту их личной собственностью. В России главным действующим лицом было государство. Все зависело от его нужд, его задач и от огромной тяжести прошлой истории: три столетия борьбы против татар и Золотой Орды значили побольше, чем Столетняя война в генезисе самодержавной монархии Карла VII и Людовика XI. Иван Грозный (1547—1584 гг.), основавший и вылепивший новое Московское государство, не имел иного выбора, кроме как устранить старую аристократию, уничтожить ее в случае необходимости, а чтобы иметь в своем распоряжении войско и администрацию, создать новое служилое дворянство, *помещиков*, которым жаловались в пожизненное владение земли, конфискованные у старой знати или заброшенные ею, или же новые и пустынные земли в южных степях, которые новый «дворянин» введет в эксплуатацию с помощью нескольких крестьян, даже нескольких рабов. Ибо рабы сохранялись в рядах русского крестьянства дольше, чем это утверждали. Как и в ранней европейской Америке, главной проблемой было здесь удержать человека, который был редок, а не землю, которой было в избытке сверх всякой меры.

И именно это было причиной, которая в конечном счете навязала крепостничество и будет его отягощать. Царь усмирил свое дворянство. Но дворянству этому надо жить. Если крестьяне оставят его ради освоения вновь завоеванных земель, как оно будет существовать?

Сеньериальное владение, основывавшееся на системе свободных держаний, преобразовалось в XV в. с появлением *поместья*, земельной собственности, которую барин эксплуатирует сам, как и на Западе, и которая формировалась в ущерб крестьянским держаниям[230]. Процесс начался в светских владениях, затем захватил земли монастырей и государственные. *Поместье* использовало труд рабов и в еще большей мере — труд погрязших в долгах крестьян, которые сами себя кабалили, чтобы рассчитаться с долгами. Система все более и более обнаруживала тенденцию требовать от свободного держателя трудовой повинности, и в XVI в. барщина увеличивается. Тем не менее у крестьянина оставались возможности бегства в Сибирь (с конца XVI в.) либо — еще лучше — на южные черноземы. Эндемичным пороком было постоянное передвижение крестьян, упорное их стремление сменить хозяина или добраться до незанятых «порубежных» земель либо попытать счастья в ремесле, мелочной торговле, торговле вразнос.

[230] Обо всем последующем ср.: Blum J. *Lord and Peasant in Russia from the 9th to the 19th century*, p. 106 f.

Все это было вполне законно: в соответствии с Уложением 1497 г. в течение недели после Юрьева дня (25 ноября), когда главные сельскохозяйственные работы были завершены, крестьянин имел право оставить своего барина при условии выплаты последнему того, что он ему был должен. Врата свободы открывали и другие праздники: Великий пост, Масленица, Пасха, Рождество, Петров день... Чтобы воспрепятствовать таким уходам, хозяин использовал все бывшие в его распоряжении средства, включая батоги и увеличение размера требуемых выплат. Но как было заставить мужика вернуться с повинной, если он выбирал побег?

А ведь такая крестьянская подвижность ставила под угрозу основы сеньериального общества, тогда как политика государства стремилась это общество укрепить, чтобы сделать из него орудие, пригодное служить государству: у каждого подданного было свое место в рамках строя, фиксировавшего обязанности и тех и других по отношению к государю. И тому пришлось положить конец крестьянским побегам. Для начала Юрьев день был оставлен как единственный срок законного ухода. Затем в 1580 г. указ Ивана IV «временно», впредь до особого распоряжения, запретил всякий свободный переход. Этой временности предстояло оказаться продолжительной, тем более что бегство крестьян продолжалось, несмотря на новые указы (от 24 ноября 1597 г. и 28 ноября 1601 г.). Завершением стало Уложение 1649 г., отметившее, по крайней мере теоретически, бесповоротный момент. В самом деле, раз и навсегда утверждалась незаконность любого крестьянского перехода без согласия барина и отменялись прежние предписания, допускавшие за беглым крестьянином право на невозвращение к его господину по истечении срока, установленного вначале в пять лет, а затем доведенного до пятнадцати. На сей раз всякие временные ограничения были сняты: сколько бы беглый ни отсутствовал, его можно было принудительно возвратить прежнему господину вместе с женой, детьми и нажитым добром.

Эта эволюция была возможна лишь в той мере, в какой царь принял сторону своего дворянства. Амбиции Петра Великого — развитие флота, армии, администрации — требовали привести к повиновению все русское общество, бар и крестьян. Такой приоритет потребностей государства объясняет то, что в противоположность своему польскому собрату русский крестьянин после своего теоретически полного закрепощения (в 1649 г.) бывал обязан более *оброком*, денежной или натуральной повинностью (уплачиваемой государству так же, как барину), нежели *барщиной*, принудительным трудом[231]. Когда последняя существовала, она даже в худшие времена крепостничества, в XVIII в., не превышала трех дней в неделю. Выплата повинностей в деньгах вполне очевидно предполагала рынок, на который крестьянин всегда будет иметь доступ. Впрочем, именно рынок объясняет ведение барином самостоятельного хозяйства в его поместье (он желал продавать свою продукцию) и в неменьшей степени развитие государства, связанное с денежными поступлениями фиска. С тем же успехом можно будет сказать, в соответствии со взаимностью перспектив, что

[231] Confino M. *Systèmes agraires et progrès agricole. L'Assolement triennal en Russie aux XVIIIe—XIXe siècles*. 1970, p. 99.

раннее появление в России рыночной экономики зависело от открытости крестьянской экономики или что оно обусловило эту открытость. В таком процессе русская внешняя торговля с Европой (над относительной незначительностью которой в сравнении с громадным внутренним рынком иные, вне сомнения, стали бы насмехаться) играла некоторую роль, ибо как раз благоприятный баланс России впрыскивал в русскую экономику тот минимум денежного обращения — европейское или китайское серебро,— без которого активность рынка была бы почти невозможна, по крайней мере на таком же уровне.

РЫНОК И СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

Эта основная вольность — доступ к рынку — объясняет немало противоречий. С одной стороны, очевидно ухудшение положения крестьян: во времена Петра Великого и Екатерины II крепостной стал рабом, «вещью» (это скажет царь Александр I), движимостью, которую его господин мог продать по своему усмотрению; и крестьянин этот был безоружен перед сеньериально-вотчинным судом, который мог его осудить на ссылку или на тюремное заключение. Сверх того он подлежал рекрутской повинности, даже посылался в качестве матроса на военные корабли или торговые суда или направлялся работником на мануфактуры... Кстати, именно поэтому вспыхивало столько крестьянских восстаний, неизменно подавляемых в крови и истязаниях. Пугачевский бунт в 1774—1775 гг. был лишь самым драматическим эпизодом таких никогда не утихавших бурь. Но с другой стороны, возможно, как позднее будет думать Леплэ[232], что уровень жизни русских крепостных был сопоставим с уровнем жизни многих крестьян Запада. По меньшей мере части их, потому что в одном и том же имении встречались крепостные люди почти зажиточные наряду с крестьянами-бедняками. Наконец, и сеньериально-вотчинная юстиция не везде бывала обременительной.

И это факт, что имелись лазейки: подчинение приспосабливалось к странным вольностям. Русский крепостной часто получал позволение заниматься от себя лично ремесленным промыслом, совмещая его с сельским хозяйством или отдаваясь ему полностью; и тогда он сам продавал плоды своего труда. Когда княгиня Дашкова была в 1796 г. выслана Павлом I в деревню на севере Новгородской губернии, она спрашивала у своего сына, где эта деревня и кому принадлежит. Тот безуспешно пытался навести справки. «Наконец нашли, к счастью, в Москве крестьянина из оной деревни, каковой привез [естественно, на продажу] воз гвоздей собственного изготовления[233]. Зачастую крестьянин также получал от своего хозяина паспорт для занятий отхожим промыслом или торговлей вдали от своего дома. И все это — не переставая быть крепостным, даже сколотив состояние, и, следовательно, не прекращая уплачивать повинность, теперь уже пропорционально своему состоянию.

С благословения своих господ крепостные становились раз-

[232] Le Play F. *L'Ouvrier européen*. 1877—1879, цит. по: Blum J. *Op. cit.*, p. 316—317.

[233] Архив кн. Воронцова. Кн. 21, 1881, с. 327.

носчиками, странствующими торговцами, лавочниками в предместьях, а затем в центре городов или занимались извозом. Каждую зиму миллионы крестьян везли на своих санях в города съестные припасы, накопленные в хорошее время года. Если, как это было в 1789 и 1790 гг., снега, к несчастью, выпадало немного и санные перевозки оказывались невозможными, то городские рынки оставались пустыми, наступал голод [234]. Летом реки бороздили бесчисленные лодочники. А от перевозок до торговли — всего один шаг. Натуралист и антрополог Петр Симон Паллас во время своих исследований, которые он вел по всей России, остановился в Вышнем Волочке, неподалеку от Твери, «большом селе, [каковое] похоже на городок. Своим ростом,— отмечает Паллас,— он обязан каналу, связывающему Тверцу со Мстой. Сия связь Волги с Ладожским озером есть причина того, что почти все землепашцы сей округи предались коммерции; в такой мере, что земледелие там словно бы заброшено», а село сделалось городом, «центром названного по нему уезда» [235].

С другой стороны, с 1750 по 1850 г. фантастическим образом развилась старинная традиция деревенских ремесленников, работавших на рынок,— *кустарей*, которые с XVI в. полностью или почти полностью забрасывали работу в поле. Это огромное деревенское производство намного превосходило крестьянское надомное производство, организовывавшееся владельцами мануфактур [236]. Крепостные сумели даже внести свой вклад

[234] Blum J. *Op. cit.*, p. 283; Portal R. *Manufactures et classes sociales en Russie au XVIII^e siècle.— «Revue historique»*, avril — juin 1949, p. 169.

[235] Pallas P. S. *Voyages... dans plusieurs provinces de l'Empire de Russie et dans l'Asie septentrionale.* Paris, 1794, I, p. 14, note 1. [См.: Паллас П. С. *Путешествие по разным провинциям Российской империи.* Ч. 1—3, 1773—1778.]

[236] Blum J. Op. cit., p. 302—303.



Волга между Новгородом и Тверью (12 августа 1830 г.). Путешествие князя Демидова. *Фото Национальной библиотеки.*

в быстрое и широкое развитие мануфактур, которое со времен Петра Великого поощряло государство: в 1725 г. в России насчитывалось 233 мануфактуры, а в 1796 г., в момент смерти Екатерины II, — 3360, не включая сюда горные предприятия и металлургию [237]. Правда, цифры эти учитывают, наряду с очень крупными мануфактурами, и крохотные производства. Это не отменяет того, что они определенно указывают на мощный подъем. Главная часть этого промышленного (но не горнопромышленного!) наступления сосредоточивалась вокруг Москвы. Именно таким образом крестьяне принадлежавшего Шереметьевым села Иваново (к северо-востоку от столицы), которые издавна были ткачами, в конечном счете откроют настоящие мануфактуры, выпускавшие набивные ткани (поначалу льняные, затем — хлопчатые), числом 49 в 1803 г. Прибыли их были фантастическими, и Иваново стало великим русским текстильным центром [238].

Не менее показательны были состояния некоторых крепостных в крупной торговле. Последняя — и это русская особенность — насчитывала сравнительно мало горожан [239]. И стало быть, крестьяне поспешно устремились к этой карьере и достигали там процветания, порой противозаконно, но также и при покровительстве своих господ. В середине XVIII в. граф Миних, говоря от имени русского правительства, констатировал, что на протяжении столетия крестьяне «вопреки любым запретам постоянно занимались торговлей, вложили в нее весьма значительные суммы», так что рост и «нынешнее процветание» крупной торговли «обязаны своим существованием умению, труду и капиталовложениям этих крестьян» [240].

Для таких нуворишей, которые в глазах закона оставались крепостными, драма или комедия начиналась, когда они хотели получить вольную. Хозяин обычно заставлял себя долго уламывать — то ли потому, что был заинтересован в получении и в дальнейшем значительной ренты, то ли потому, что тешил свое тщеславие, удерживая в зависимом положении миллионеров, то ли потому, что хотел непомерно поднять выкупную цену. Со своей стороны крепостной, чтобы отделаться подешевле, тщательно скрывал свое состояние и довольно часто выигрывал игру. Так, в 1795 г. граф Шереметьев потребовал за вольную с Грачева, крупного ивановского мануфактурщика, непомерную цену в 135 тыс. рублей плюс фабрику, землю и крепостных, которыми владел сам Грачев, т. е., по видимости, почти все его состояние. Но Грачев скрыл большие капиталы, записав их на имя работавших на него купцов. И, выкупив столь дорогой ценой свою свободу, он остался одним из крупнейших текстильных промышленников [241].

Само собой разумеется, такие большие состояния наживало лишь меньшинство. И все же кишевшие в мелкой и средней торговле крестьяне характеризовали некую весьма своеобразную атмосферу крепостничества в России. Счастливый или несчастный, но класс крепостных не был замкнут в деревенской самодостаточности. Он оставался в контакте с экономикой страны и находил там возможности жить и заниматься предпринимательской деятельностью. К тому же между 1721 и

[237] *Ibid.*, p. 293—294.
[238] *Ibid.*, p.300—301.
[239] *Ibid.*, p. 288.
[240] *Ibid.*, p. 290.
[241] Blum J. *Op. cit.*, p. 473.

1790 гг. население удвоилось — то был признак жизнеспособности. И более того, число государственных крестьян возросло настолько, что стало мало-помалу охватывать половину сельского населения; а ведь эти государственные крестьяне были относительно свободными, над ними тяготела зачастую лишь теоретическая власть.

Наконец, в громадное тело России проникал не только белый металл Запада, но также и некий капитализм. И новшества, которые приносил с собой этот последний, не обязательно означали прогресс, но под их тяжестью старый порядок приходил в упадок. Наемный труд, который появился очень рано, развивался в городах, на транспорте, даже в деревнях при срочных работах — на сенокосе или на жатве. Работниками, предлагавшими свои услуги, часто бывали разорившиеся крестьяне, уходившие куда глаза глядят, нанимавшиеся чернорабочими или на тяжелые работы; или ремесленники, которые потерпели банкротство и продолжали работать в *посаде* — рабочем квартале,— но на более удачливого соседа; или бедняки, нанимавшиеся матросами, лодочниками, бурлаками (на одной только Волге было 400 тыс. бурлаков)[242]. Организовывались рынки труда, скажем в Нижнем Новгороде, где наметились будущие успехи этого огромного рыночного центра. На рудниках, в мануфактурах наряду с крепостными работниками требовались наемные рабочие, которых нанимали, выплачивая им задаток, рискуя, впрочем, увидеть, как нанятый исчезает без лишнего шума.

Но не будем рисовать положение ни в слишком благоприятных, ни в слишком мрачных тонах. Речь всегда шла о населении, привыкшем к лишениям, к существованию в трудных условиях. Поистине лучший пример тому образ русского солдата, «в самом деле легкого для прокорма», как нам объясняли: «Он носит небольшую жестяную коробку; у него есть маленький флакон уксуса, несколько капель коего наливает он в воду, которую пьет. А когда попадается ему немного чеснока, он его съедает с мукою, замешанной на воде. Голод он переносит лучше любого другого, а когда выдают ему мясо, он такую щедрость рассматривает как награду»[243]. Когда армейские склады бывали пусты, царь объявлял постный день — и все было в порядке.

[242] Kaufmann-Rochard J. *Op. cit.*, p. 191.
[243] Frotier de la Messelière L. A. *Voyage à Saint-Pétersbourg ou Nouveaux Mémoires sur la Russie*, p. 116.

ГОРОДА, БЫВШИЕ СКОРЕЕ МЕСТЕЧКАМИ

В России рано обрисовался национальный рынок, разбухавший у основания за счет обменов, осуществлявшихся барскими и церковными имениями, и излишков крестьянской продукции. Оборотной стороной такого сверхизобилия сельской активности были, возможно, незначительные масштабы городов. Скорее местечек, чем городов — не только из-за их величины, но потому, что они не способствовали очень высокому развитию собственно городских функций. «Россия — это огромная деревня»[244] — таково было впечатление европейских путешественников, поражавшихся в высшей степени обильной рыноч-

[244] Jourdier A. *Des forces productives, destructives et improductives de la Russie*. 1860, p. 118.

ной экономике, находившейся, однако, на своей начальной стадии. Выйдя из деревень, она охватывала местечки, да последние к тому же и мало отличались от соседних деревенских поселений. Крестьяне удерживали предместья, захватив там большую часть ремесленной деятельности, устраивали в самих городах кишевшие там лавчонки ремесленников-торговцев, поражавшие своим числом. По мнению немца Й. Кильбургера (1674 г.), «в Москве больше торговых лавочек, чем в Амстердаме или в целом немецком княжестве». Но они крохотные: в одну голландскую лавку их легко поместился бы десяток. И порой розничные торговцы делят вдвоем, втроем, вчетвером одну лавку, так что «продавец едва может повернуться посреди своих товаров»[245].

Эти лавки, сгруппированные по видам товаров, двойной линией тянулись вдоль «рядов». «Ряд» можно было бы перевести как *сук*, потому что эти кварталы с теснящимися лавочками более напоминали устройство мусульманских городов, нежели специализированные улицы западного средневековья. В Пскове 107 иконописцев вытянули свои лавки в *иконный ряд*[246]. В Москве место нынешней Красной площади было «заполнено лавками, как и улицы, кои на нее выходят; у всякого ремесла своя улица и свой квартал, так что торговцы шелком никак не смешиваются с торгующими сукнами и холстами, золотых дел мастера — с шорниками, сапожниками, портными, скорняками и прочими ремесленниками... Есть также улица, на коей продают лишь образы их святых»[247]. Однако еще шаг — и мы оказались бы перед самыми большими лавками — *амбарами*, на самом деле — оптовыми складами, которые равным образом занимались и розницей. У Москвы были и свои рынки, и даже

[245] Kilburger J.P. *Kurzer Unterricht von dem russischen Handel.* Цит. по: Kulischer J. *Op. cit.*, S. XII, 248, 329.
[246] Kaufmann-Rochard J. *Op. cit.*, p. 46.
[247] Olearius A. *Voyage en Moscovie, Tartarie et Perse.* 1659, p. 108, цит. по: Kaufmann-Rochard J. *Op. cit.*, p. 46.



Торговля пирогами (пирожками с мясом, весьма популярными в России). Гравюра К.А. Зеленцова «Крики Петербурга», XVIII в. *Фото Александры Скаржиньской.*

рынки специализированные, вплоть до рынков старья, где цирюльники работали на открытом воздухе посреди выставленного старого тряпья, и мясных и рыбных рынков, по поводу которых один немец утверждал, что, «прежде чем их увидишь, их учуешь... Зловоние их таково, что всем иноземцам приходится затыкать себе нос!»[248]. Одни только русские, утверждает он, как будто этого не замечают!

За пределами этой мелкой рыночной активности существовали обмены с большим радиусом. В национальном масштабе их навязывало разнообразие русских областей, в которых в одних недоставало хлеба или дров, в других — соли. И импортные изделия или товары пушной торговли пересекали страну от края до края. Истинными двигателями такой торговли, создавшей состояния многих *гостей*, а позднее других крупных негоциантов, были скорее ярмарки, нежели города. Их в XVIII в. имелось, может быть, от 3 до 4 тыс.[249], т. е. в 10—12 раз больше, чем городов (в 1720 г. было, как утверждали, 273 города). Некоторые из них напоминали шампанские ярмарки, выполняли функцию соединения столь друг от друга отдаленных областей, какими были некогда Италия и Фландрия. В числе таких крупных ярмарок[250] были Архангельская на дальнем Севере, которую южнее сменяла весьма оживленная, «одна из самых значительных в империи»[251] Сольвычегодская; Ирбитская, контролировавшая дорогу в Тобольск, в Сибирь; Макарьевская, первые наметки колоссального Нижегородского торжища, которое развернется во всю ширь только в XIX в.; Брянская — между Москвой и Киевом; Тихвинская — на подступах к Ладоге, на пути к Балтике и в Швецию. То не были всего только архаические орудия, поскольку время ярмарок в Западной Европе сохранялось вплоть до XVIII в. Но проблему составляла в России относительная незначительность городов в сравнении с ярмарками.

Другим признаком незрелости городов было отсутствие современного кредита. И следовательно, царство ростовщичества, невообразимо сурового, в городах и деревнях: при малейшем инциденте в шестерни механизма попадало все, включая свободу и жизнь людей. Ибо «все дается взаймы... деньги, продовольствие, одежда, сырье, семена»; все закладывается — мастерская, лавка, лавчонка, деревянный дом, сад, поле или часть поля и даже система труб, которыми оборудована соляная скважина. В ходу были неправдоподобно высокие ставки процента: для займа одного русского купца другому русскому купцу в Стокгольме в 1690 г. ставка была 120% на девять месяцев, т. е. больше 13% месячных[252]. На Леванте, где ростовщичество между еврейскими или мусульманскими кредиторами и христианами-заемщиками чувствовало себя вольготно, ставки процента в XVI в. не достигали 5% месячных. Какая умеренность! В Московском государстве ростовщичество было средством накопления по преимуществу. И выгода, предусматриваемая уговором, имела меньшее значение, чем захват залога, земельного участка, мастерской или гидравлического колеса. Это было дополнительной причиной того, что ставка процента была столь высокой, а сроки выплаты столь жесткими: все бра-

[248] Kulischer J. *Op. cit.*, S. 338.
[249] Blum J. *Op. cit.*, p. 286.
[250] Kaufmann-Rochard J. *Op. cit.*, p. 39 sq.
[251] Архив кн. Воронцова. Кн. 21, 1881, с. 333.
[252] Kaufmann-Rochard J. *Op. cit.*, p. 65.

лось в расчет ради того, чтобы уговор невозможно было соблюсти и в конце пути добыча оказалась бы захвачена безвозвратно.

МИР-ЭКОНОМИКА, НО КАКОЙ?

Эта громадная Россия, невзирая на еще архаические формы, была, несомненно, миром-экономикой. Если расположиться в его центре, в Москве, он свидетельствовал не только об определенной энергии, но также и об определенной мощи доминирования. Ось север — юг вдоль Волги была решающей линией раздела, какой в Европе в XIV в. был капиталистический «позвоночный столб» от Венеции до Брюгге. И если вообразить себе карту Франции, увеличенную до русских масштабов, то Архангельск был бы Дюнкерком, Санкт-Петербург — Руаном, Москва — Парижем, Нижний Новгород — Лионом, Астрахань — Марселем. Позднее южной оконечностью станет Одесса, основанная в 1794 г.

Мир-экономика расширявшийся, продвигавший свои завоевания на свои периферийные, почти пустынные области, Московское государство было громадно, и именно такая громадность ставила его в ряды экономических чудищ первой величины. В этом отношении те иностранцы, что так часто подчеркивали этот фундаментальный фактор территориальных размеров, не заблуждались. Эта Россия, говорит один из них, столь обширна, что в разгаре лета «на одном конце империи световой день достигает лишь 16 часов, а на другом — 23 часов» [253]. Она столь обширна с приписываемыми ей 500 тыс. кв. лье [254], «что все жители [мира] могли бы [там] разместиться с удобствами» [255],— писал другой. Но, продолжал этот информатор, они, вероятно, «не смогли бы найти там достаточно средств к существованию».

В таких масштабах поездки и перемещения по необходимости удлинялись, становились бесконечными, нечеловеческими. Расстояния задерживали, усложняли все. Обменам требовались годы, чтобы замкнуться. Официальные караваны, отправлявшиеся из Москвы в Пекин, ходили туда и обратно за три года. Разве же не приходилось им в этом бесконечном путешествии пересекать пустыню Гоби, стало быть, самое малое 4 тыс. верст, т. е. примерно 4 тыс. км [256]? Купец, несколько раз проделавший это путешествие, вполне мог утверждать, дабы успокоить расспрашивавших его в 1692 г. двух отцов-иезуитов, что приключение это не труднее-де пересечения Персии или Турции [257]. Как будто это последнее не было в высшей степени трудным! В 1576 г. один итальянский очевидец говорил по поводу государства шаха Аббаса [258], «что едешь по его государству непрерывно четыре месяца» *(«che si camina quatro mesi continui nel suo stato»)*, чтобы его пересечь. Вне сомнения, путь Москва — Пекин проходили еще медленнее: до Байкала приходилось использовать сани, за Байкалом — лошадей или верблюжьи караваны. А также считаться с необходимыми паузами, с жестокой необходимостью «зимовать на месте».

[253] Barrême F. *Le Grand Banquier*. 1685, p. 216.
[254] A.N., Marine, B^7, 457, 1780 г.
[255] A.E., M. et D. Russie, 7, f° 298 (около 1770 г.).
[256] A.E., M. et D. Russie, 2, f° 176, 1773 г.
[257] Avril Ph. *Voyage en divers États d'Europe et d'Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine...*, 1692, p. 103.
[258] Alberi E. *Relazioni degli ambasciatori veneti durante il secolo XVI.* 1839—1863, III, 2, Giac. Soranzo, p. 199.

Те же трудности наблюдались при движении с севера на юг, от Белого моря к морю Каспийскому. Правда, в 1555 г. англичане, выехав из Архангельска, добрались до рынков Ирана. Но столько раз лелеемый проект обойти с тыла торговлю пряностями по Индийскому океану, пересекая «русский перешеек» с севера на юг, слишком уж игнорировал реальные трудности этой операции. Однако еще в 1703 г. новость, быть может преждевременная, о занятии русскими Нарвы[259] возбуждала вображение в Лондоне: чего проще, отправившись из этого порта, пересечь Россию, достигнуть Индийского океана и составить конкуренцию голландским кораблям! Тем не менее англичане несколько раз терпели неудачу в этой авантюре. Около 40-х годов XVIII в. им удалось обосноваться на берегах Каспия, но необходимое царское разрешение, данное в 1732 г., было у них отнято в 1746-м[260].

Это пространство, лежавшее в основе реальности русского мира-экономики и на самом деле придававшее ему его форму, обладало также тем преимуществом, что гарантировало его от вторжения других. Наконец, оно делало возможной диверсификацию производства, а также более или менее иерархизованное от зоны к зоне разделение труда. Свою реальность русский мир-экономика доказывал также существованием обширных периферийных областей: на юг, в сторону Черного моря[261]; в азиатском направлении — фантастические территории Сибири. Этой последней, зачаровывающей нас, достаточно будет в качестве примера.

ИЗОБРЕТАТЬ СИБИРЬ

Если Европа «изобрела» Америку, то России пришлось «изобретать» Сибирь. Как та, так и другая были выбиты из колеи громадностью их задачи. И все же в начале XVI в. Европа находилась уже в высокой точке своего могущества, и Америку связывали с ней привилегированные дороги, дороги Атлантического океана. Россия же в XVI в. была еще бедна людьми и средствами, а морской путь между Сибирью и Россией, некогда использовавшийся Великим Новгородом, был малоудобен: это приполярный путь, который завершается в обширном эстуарии Оби и на протяжении многих месяцев скован льдом. В конечном счете царское правительство его запретит из опасения, как бы контрабанда сибирской пушнины не обрела там слишком благоприятных условий[262]. Так что Сибирь связывалась с русским «шестиугольником» исключительно по бесконечным сухопутным дорогам, для которых, к счастью, Урал почти не представляет препятствия.

Именно в 1583 г. эта связь, зародившаяся уже давно, была закреплена походом казака Ермака, бывшего на службе у братьев Строгановых, купцов и промышленников, которые получили от Ивана IV обширные пожалования за Уралом «с правом устанавливать там пушки и пищали»[263]. То было началом сравнительно быстрого (100 тыс. кв.км в год) завоевания[264]. За одно столетие русские в поисках пушнины этап за этапом овла-

[259] A.d.S. Venezia, Inghilterra, Лондон, 18—19 июня 1703 г.
[260] Savary J. *Op. cit.*, V, col. 658 sq.
[261] Nolde B. *La Formation de l'Empire russe*, 2 vol., 1952—1953.

[262] Coquin F.-X. *La Sibérie, peuplement et immigration paysanne au XIXᵉ siècle.* 1969, p. 9—10.
[263] *Ibid.*
[264] См. Camena d'Almeida P.— в: *Géographie universelle*, V, 1932, p. 258.

дели бассейнами Оби, Енисея, Лены и в 1689 г. натолкнулись на берегах Амура на китайские посты. Камчатку покорят в 1695—1700 гг., и начиная с 40-х годов XVIII в. за открытым в 1728 г. Беринговым проливом Аляска увидела первые русские поселения [265]. К концу XVIII в. в одном донесении отмечалось присутствие на этой американской земле двух сотен казаков, объезжавших страну и старавшихся «приучить американцев платить ясак», как и в Сибири, собольими и лисьими шкурками. И автор донесения добавлял: «Притеснения и жестокости, творимые казаками на Камчатке, не замедлят, вне сомнения, объявиться и в Америке» [266].

Русское продвижение шло предпочтительно по эту сторону сибирских лесов, по южным степям, где около 1730 г. установится граница от берегов Иртыша, притока Оби, до отрогов Алтая. То была настоящая *limes*, непрерывная граница, удерживаемая казаками, в отличие от обычного точечного занятия сибирского пространства, усеянного небольшими крепостцами из дерева *(острогами)*. Эта важнейшая граница, какой обрисовалась она к 1750 г., сохранится до правления Николая I (1825—1855 гг.) [267].

В целом это было баснословное пространство, завоеванное поначалу в несколько стихийных продвижений, вследствие индивидуальных предприятий — процесса, не зависевшего от официальных воли и планов; пожелания и планы появятся позднее. Существовало даже родовое имя — *«промышленные люди»* — для обозначения таких первых и незаметных тружеников завоевания: охотников, рыбаков, скотоводов, трапперов, ремесленников, крестьян «с топором в руке и с мешком семян на плече» [268]. Не говоря уже о вольных искателях приключений, которых люди побаивались и принимали плохо, раскольниках, купцах (не обязательно русских), наконец, о ссыльных начиная с конца XVII в. В целом, принимая во внимание бескрайность Сибири, то была иммиграция смехотворная — самое большее 2 тыс. человек в среднем за год,— способная обеспечить на южных окраинах леса (леса березового, белого, в противоположность черным хвойным лесам Севера) редко рессеянное крестьянское население, которое обладало бесценным преимуществом: было почти свободным. На легких почвах сохи́ с орешниковым или буковым сошником было достаточно для возделывания нескольких ржаных полей [269].

Русское население, вполне очевидно, выбирало плодородные почвы, берега богатых рыбой рек и оттесняло первобытные народы в пустынные южные степи или в густые северные леса: к югу — тюрко-татарские народы, от киргизов * с берегов Каспия до монгольских (скажем, вызывавших удивление воинственных бурят района Иркутска, где, несмотря на их сопротивление, в 1662 г. была построена крепостца); к северу — самоедов **, тунгусов, якутов [270]. С одной стороны, на юге, были войлочные шатры, дальние кочевки пастушеского населения и торговые караваны; с другой, на севере,— деревянные хижины в густых лесах, охота на пушного зверя, причем иной раз охотнику приходилось использовать компас, чтобы отыскать дорогу [271]. Европейские путешественники, охотно выступав-

[265] Эти подробности заимствованы у Ф.-К.Кокэна: Coquin F.-X. *Op. cit.*, p. 109.
[266] A. E., M. et D. Russie, 2, f^os 187 v° —188.
[267] Coquin F.-X. *Op. cit.*, p. 11.
[268] *Ibid.*, p. 12.
[269] A. E., M. et D. Russie, 7, f^os 246—249. Наблюдения аббата Рейналя.
* Имеются в виду казахи.— *Прим. перев.*
** Имеются в виду ненцы и другие самодийские народы.— *Прим. перев.*
[270] Camena d'Almeida P. *Op. cit.*, p. 217.
[271] Gmelin J. G. *Voyage en Sibérie...*, 1767, II, p. 50.

шие в качестве этнографов, множили свои наблюдения об этих несчастных народах, отброшенных в неблагоприятную природную среду. «Онские тунгусы,— замечает Гмелин-дядя,— почти все говорят по-русски, они также носят русскую одежду, но их легко отличить по росту и по узорам, кои они наносят себе на лицо. Одежда их принадлежит к самым простым, они никогда не моются и, когда приходят в кабак, вынуждены приносить с собой чарку, ибо им бы ее не дали. Помимо признаков, по коим их отличают от русских, их весьма легко узнать по запаху»[272].

Когда завершался XVIII в., Сибирь насчитывала, видимо, немногим меньше 600 тыс. человек населения, включая коренных жителей, которыми легко было управлять, принимая во внимание их бедность и незначительную численность, и которых даже можно было включать в состав небольших отрядов, которые обороняли остроги. Нередко их употребляли на тяжелых работах: тяга судов бечевой, перевозки, рудники. Во всяком случае, они снабжали посты пушниной, дичью или доставленными с юга товарами. Некоторое число рабов, полученных у монголов и татар, которых обычно продавали на астраханском рынке[273], и те, каких продавали на сибирских рынках — тобольском и омском,— представляли лишь незначительное добавление. Ничего похожего на то, что делалось в рабовладельческой Америке или даже в некоторых областях России.

Необходимые перевозки никогда не бывали легкими. Реки, текущие с юга на север, долгие месяцы скованы льдом и знают приводящие в ужас весенние ледоходы. Перетаскивание плоскодонных судов *(стругов)* позволяло летом перебираться с плеса на плес по излюбленным волокам, где порой будут вырастать города, поначалу незначительные, как и те, что создавали европейцы во внутренних районах Нового Света. Зима, несмотря на сильные холода, относительно более благоприятна для перевозок благодаря удобствам санного пути. «Последними санными обозами,— писала 4 апреля 1772 г. «Газетт де Франс», сообщая санкт-петербургскую новость,— прибыло значительное количество золотых и серебряных слитков с рудников Сибири [вне сомнения, из района Нерчинска] и Алтайских гор»[274].

Имея дело с таким медленным зарождением, Русское государство располагало временем, чтобы мало-помалу принять свои предосторожности, навязать свой контроль, разместить казачьи отряды и своих чиновников, активных, даже если и склонных к казнокрадству. Овладение Сибирью стало налаживаться с образованием в Москве в 1637 г. Сибирского приказа, своего рода министерства (в обязанности которого вошли все дела колонизуемого Востока), сравнимого в известной мере с Советом Индий *(Consejo de Indias)* и Торговой палатой в Севилье *(Casa de la Contratación)*. Роль его заключалась одновременно в организации сибирской администрации и в сборе товаров, изымавшихся государственной торговлей. Речь пока не шла еще о драгоценных металлах, которые будут зависеть от запоздалого горнопромышленного цикла: нерчинские месторождения золотосодержащего серебра были открыты в 1691 г. и,

[272] Gmelin J. G. *Op. cit.*, II, p. 123.
[273] Kaufmann-Rochard J. *Op. cit.*, p. 200.
[274] «*Gazette de France*», 4 avril 1772, p. 359.

разрабатываемые греческими предпринимателями, они дадут свое первое серебро только в 1704 г., а первое золото — лишь в 1752 г.[275] Следовательно, сибирские поставки долгое время ограничивались фантастическими количествами пушнины, «мягкого золота», за которым государство осуществляло жесткий надзор: трапперы, коренные жители или русские, и купцы выплачивали дани и подати мехами, и меха эти собирались и перепродавались либо в Китае, либо в Европе стараниями Приказа. Но вдобавок к тому, что государство зачастую платило своим агентам этой же монетой (оставляя за собой лишь самые лучшие шкурки), ему не удавалось контролировать все, что поставляли охотники. Переправленные контрабандным путем сибирские меха продавались в Гданьске или в Венеции дешевле, чем в Москве. И естественно, еще легче было заниматься контрабандной торговлей с Китаем, крупнейшим покупателем пушнины, каланов, соболей... Так, с 1689 по 1727 г. в сторону Пекина прошло 50 караванов русских купцов, из них только десяток казенных[276].

Ибо до полного овладения Сибирью было далеко. Еще в 1770 г., по свидетельству одного современника (ссыльного поляка, которого его приключения приведут позднее до самого Мадагаскара), «в политические взгляды [русского] правительства входит [даже] то, чтобы закрывать глаза на это нарушение [понимай: контрабанду]: было бы слишком опасно побуждать жителей Сибири к восстанию. Малейшая помеха заставила бы жителей взяться за оружие; а ежели бы дело до того дошло, Сибирь оказалась бы вовсе потерянной для России»[277]. Бениовский преувеличивал, и в любом случае Сибирь не могла ускользнуть от России. Ее тюрьмой была первоначальная стадия ее развития, которую обнаруживали дешевизна жизни в ее зарождавшихся городах, почти автаркическое положение многих ее областей и некоторым образом искусственный характер ее обменов на дальние расстояния, которые, однако же, создавали цепочку [взаимных] обязательств.

В самом деле, каковы бы ни были протяженность и медлительность сибирских обменов, они сообщались друг с другом. Великие сибирские ярмарки — Тобольская, Омская, Томская, Красноярская, Енисейская, Иркутская, Кяхтинская — были связаны одна с другой. Выехав из Москвы, русский купец, направляющийся в Сибирь, задержится в Макарьеве, в Ирбите, потом — во всех сибирских торговых центрах, ездя между ними туда и обратно (например, между Иркутском и Кяхтой). В целом поездка длилась четыре с половиной года, с продолжительными перерывами; в Тобольске «караваны калмыков и башкир... пребывают всю зиму»[278]. Это порождало продолжительные скопления людей, вьючных животных, саней, в которые запрягали и собак и северных оленей, кроме тех случаев, когда поднимался ветер; тогда ставили парус, и животные шли за «кораблем», который двигался сам собой. Эти города-этапы с их лавками были местом сборищ и развлечений. Толпа постоянных покупателей «на тобольском рынке столь густа, что через нее проталкиваешься с трудом»[279]. В Иркутске было множество кабаков, где люди пили ночи напролет.

[275] Lexis W. *Beiträge zur Statistik der Edelmetalle nebst einigen Bemerkungen über die Wertrelation.* — «*Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik*», XXXIV, 1908, S. 364.
[276] Foust C. M. *Russian Expansion to the East through the 18th Century.* — «*Journal of Economic History*», 1961, p. 472.
[277] Benyowsky M.-A., de. *Voyages et mémoires...*, 1791, p. 63.
[278] Pallas P. S. *Voyage à travers plusieurs provinces de l'Empire russe.* 1771—1776, III p. 490.
[279] *Ibid.*, p. 487.



Собрание русских и китайских купцов у городничего Кяхты, города, где происходили русско-китайские ярмарки. Из книги Рехберга (Rechberg Ch., de. *Peuples de la Russie*. Paris — Pétersbourg, 1812, t. I). *Фото Национальной библиотеки.*

Города и ярмарки Сибири оживляла, таким образом, двоякая сеть обменов: сеть крупной торговли — русские и европейские товары в обмен на товары из Китая и даже из Индии и Персии; сеть обмена местных продуктов (прежде всего пушнины) на продовольствие, необходимое всем поселениям, затерявшимся в сибирской беспредельности и нуждавшимся в мясе, рыбе и драгоценнейшей водке, которая крайне быстро покорила Северную Азию — без нее кто бы вынес ссылку? Естественно, чем больше удаляешься на восток или на север, тем шире раскрывался веер цен. В Илимске, далеко за Иркутском, главном городе одноименной сибирской провинции, происходила своего рода ярмарка, где обменивалась пушнина на некоторые продовольственные припасы с Запада. На обмене таких припасов купец в 1770 г. наживал 200% прибыли и удваивал эту прибыль, перепродавая меха в Китае. На месте фунт «ружейного пороха» стоил три рубля, фунт табака — полтора рубля, десять фунтов сливочного масла — шесть рублей, бочонок водки в 18 пинт * — пятьдесят рублей, сорок фунтов муки — пять рублей. Зато соболья шкурка стоила всего один рубль, чернобурая лиса — три рубля, медвежья шкура — полтинник, полсотни шкурок дымчатой северной белки — один рубль, сотня кроличьих белых шкурок — один рубль, двадцать четыре горностаевых шкурки — один рубль, и остальное соответственно. Как было не разбогатеть при таких-то тарифах [280]? На

* Пинта — мера емкости, равная в дореволюционной Франции 0,93 л. — *Прим. перев.*

[280] Benyowsky M.-A., de. *Op. cit.*, p. 48.



План города Астрахани в 1754 г. *Atlas maritime,* III, 1764. *Национальная библиотека (Ge. FF 4965). Фото Национальной библиотеки.*

китайской границе «бобер ценится при обмене в 80—100 рублей»[281].

Но какой купец отважился бы без такой денежной приманки отправиться в эти адские края, с их бездорожьем, где приходилось опасаться диких зверей и в неменьшей степени — грабителей, где лошади дохли от работы, где последние морозы стояли еще в июне, а новые — уже в августе[282], где деревянные сани легко ломались и люди, в случае сильного снегопада, не могли избежать смертельной опасности быть погребенными под снегом? Просто отклониться от тропы, укатанной возами, означало погрузиться в рыхлый снег, в котором лошади утопали по шею. И чтобы еще осложнить все это, начиная с 30-х годов XVIII в. пушнина Северной Америки составила конкуренцию «мягкому золоту» Сибири, где завершился, по крайней мере — захирел, некий «цикл». Именно тогда начинается горнопромышленный цикл и строятся плотины, водобойные колеса, паровые молоты, металлургические заводы и печи. Но в распоряжении той несовершенной Америки, какой была Северная Азия, не было ни негров, ни индейцев. И решит проблему именно русская и сибирская рабочая сила, по правде более подневольная, нежели добровольная. В течение первых пятидесяти лет XIX в. разгорелась странная, фантастическая золотая лихорадка. Вот ее навязчивые образы: исступленные поиски золотоносных россыпей вдоль рек, бесконечные переходы по болотистой тайге; набор рабочих среди ссыльных и крестьян на четыре месяца летних работ. Этих рабочих содержали под надзором в лагерях, и едва только они освобождались, как тотчас тратили все свои деньги на спиртное; и тогда у них не было иного выхо-

[281] A. E., M. et D. Russie, 2, f° 188.

[282] Gibson J. R. *Feeding the Russian Fur Trade: provisionment of the Okhotsk seaboard and the Kamtchatka peninsula, 1689—1856.* 1970.

да, как после трудной зимовки снова встретиться с вербовщиками, чтобы получить от них задатки и необходимое продовольствие для долгого обратного пути к месторождению[283].

[283] Hoffmann E. *Reise nach den Goldwäschen Ostsiberiens.* 1847 (neue Auflage — 1969), S. 79 f.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И СЛАБОСТИ

В русской экспансии все было непрочным и неопределенным. Подвиг поразителен, но окружен хрупкими звеньями. Слабости русского мира-экономики поддаются измерению на севере и на западе в противостоянии странам Запада (это само собой разумеется), но также и на юге (от Балкан и Черного моря вплоть до Тихого океана) перед лицом двойного присутствия мусульманского и китайского миров.

Китай под управлением маньчжур проявил себя миром политически могущественным, агрессивным и склонным к завоеваниям. Нерчинский договор 1689 г. в действительности означал блокирование русской экспансии в бассейне Амура. Затем русско-китайские отношения откровенно испортились, и в январе 1722 г. русские купцы были выставлены из Пекина. Положение восстановится с заключением двойного Кяхтинского договора (20 августа и 21 октября 1727 г.), определившего монголо-сибирскую границу и учредившего южнее Иркутска, на самой границе, русско-китайскую ярмарку, которая поглотит основную долю обменов, несмотря на сохранение на некоторое время нескольких казенных караванов[284], приходивших в Пекин. Такое развитие было к выгоде Китая, который таким способом отбросил русских купцов далеко от своей столицы, за пределы Монголии, и который умножил свои требования. Китайское золото в пластинах или в слитках впредь обменивалось почти исключительно на белый металл. А в 1755 г. русские участники каравана были арестованы и повешены в Пекине[285]. Конечно, Кяхтинская ярмарка будет еще знать хорошие дни, но проникновение русских в китайскую сферу было остановлено.

[284] В 1728, 1732, 1741, 1746, 1755 гг.—см.: A.E., M. et D. Russie, 2, f[os] 183—185.

[285] *Ibid.*

[286] Savary J. *Op. cit.*, V, col, 659 sq.

Иным было положение по отношению к миру ислама, который был расчленен и ослаблен политическими разделами: Турецкой империи, Персии, империи Великого Могола. Не существовало сплошного политического фронта от Дуная до Туркестана. Зато торговые сети там были старинными, прочными, их было почти невозможно обойти или преградить им путь. Признаком русской слабости было то, что купцы из Индии, из Ирана и с Балкан наводняли — я не нахожу другого слова! — русское пространство. Индусы-купцы находились в Астрахани и в Москве, армяне — в Москве и в Архангельске. И если эти последние начиная с 1710 г. получали царские привилегии, если царская власть в 1732 г. согласилась облегчить англичанам торговлю с Персией через Казань, то это потому, что русские терпели на Каспийском море неудачу за неудачей[286]. На этом направлении связи бывали успешны лишь тогда, когда опирались на местные общины выжнейших городов — перевалочных пунктов, начиная с Астрахани, имевшей татарское предместье,

армянский квартал, индийскую колонию и так называемый «иноземный» караван-сарай, в котором проживали, например, в 1652 г. двое отцов-иезуитов, желавших совершить путешествие в Китай. Точно так же в связях с Черным морем и с турецкими рынками на Балканах, включая и Стамбул, властвовали турецкие (зачастую греческого происхождения) купцы наряду с несколькими рагузинскими купцами.

Во всяком случае, именно рагузинца — Савву Лукича (Владиславича) Рагузинского, родившегося в Боснии, воспитанного и обученного в Венециии, приехавшего в Россию в 1703 г.,— будет использовать Петр Великий в своих сношениях с Балканами, и ему поручит он впоследствии организовать далекую торговлю Сибири[287]. И разве же не было в Сибири греков — скупщиков пушнины и предпринимателей-горнопромышленников на Алтае? 20 января 1734 г., когда открывалась Ирбитская ярмарка и дороги к ней были «заполнены лошадьми, людьми и санями,— отмечал один путешественник,— я видел там греков, бухарцев, татар всех видов... У греков были главным образом иноземные товары, закупленные в Архангельске, такие, как французские вино и водка»[288].

Иностранное превосходство еще более ясно в направлении Европы — превосходство к выгоде купцов ганзейских, шведских, польских, английских и голландских. В XVIII в. голландцы, мало-помалу сдававшие позиции, плохо обслуживаемые своими местными корреспондентами, терпели банкротство один за другим, и первенство оказалось за англичанами: в торговых делах в конце столетия они будут разговаривать как хозяева. В Москве, а потом в Санкт-Петербурге московские купцы редко уравновешивали купцов иностранных. Разве не любопытно, что к 30-м годам XVIII в. самый богатый в Сибири купец, который бывал в Пекине в качестве агента московских караванов, а позднее будет вице-губернатором в Иркутске, а именно Лоренц Ланг, был, вероятно, датчанином[289]? Точно так же, когда наметится после 1784 г. непосредственная русская торговля на черноморском направлении, она будет осуществляться венецианцами, рагузинцами, марсельцами — опять-таки иностранцами. И не будем говорить об авантюристах, «пройдохах» и «бродягах», которые еще до Петра Великого играли такую роль в русских делах. Еще в апреле 1785 г. Семен Воронцов писал из Пизы своему брату Александру: «...все негодяи Италии, когда они больше не ведают, за что приняться, публично заявляют, что отправятся в Россию, дабы сколотить состояние»[290].

Напрашивается вывод: на своих окраинах русский гигант не утвердился прочно. Его внешние обмены — с Пекином, Стамбулом, Исфаханом, Лейпцигом, Львовом, Любеком, Амстердамом — были объектом нескончаемых манипуляций со стороны других. И только на пространстве внутренних рынков, на громадных ярмарках, усеивавших территорию, русский купец брал реванш, используя в свою очередь европейские товары, ввезенные в Санкт-Петербург или в Архангельск, как торговую монету вплоть до Иркутска и далее за ним.

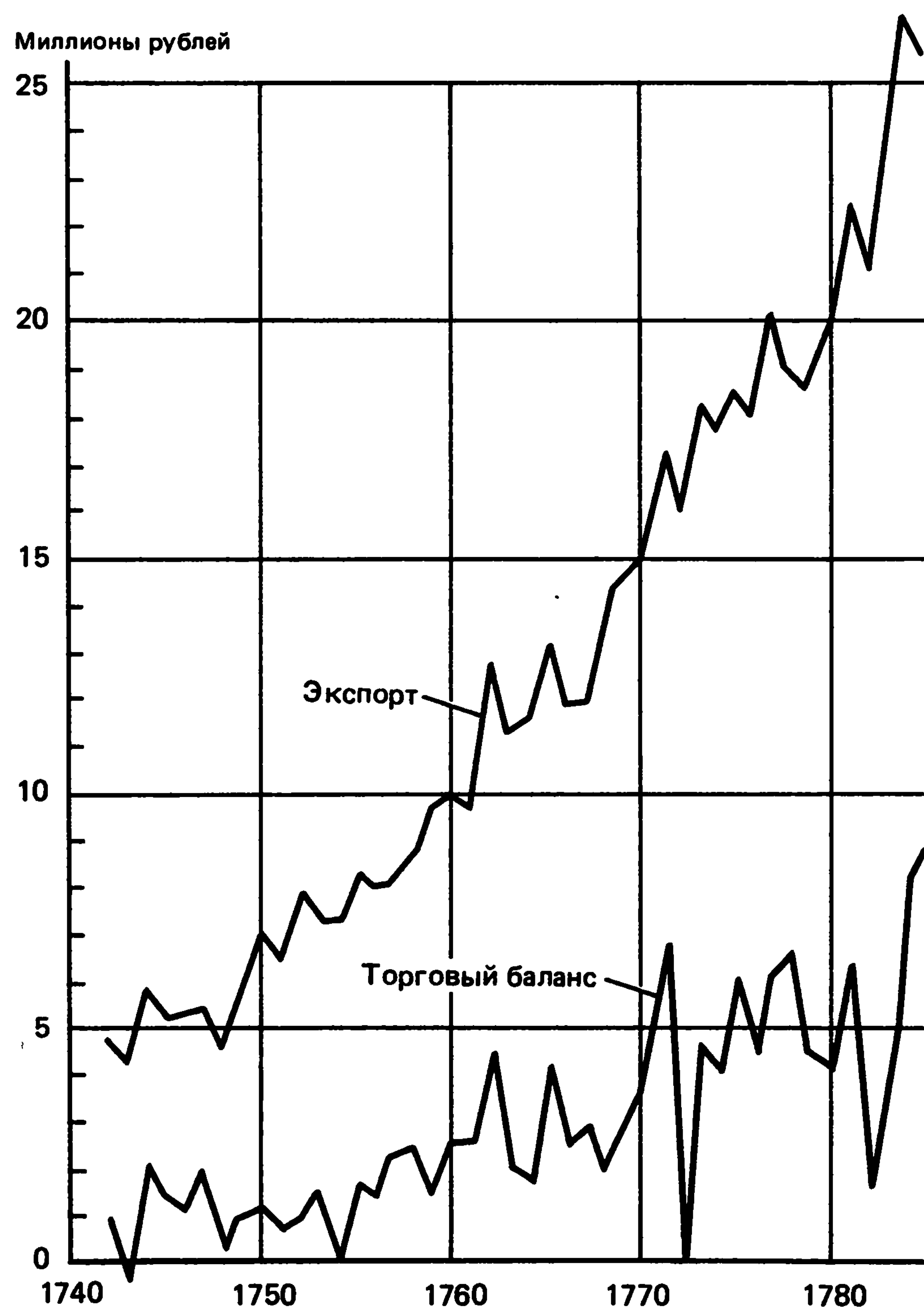
[287] Foust C.M. *Op. cit.*, p. 477.
[288] Gmelin J. G. *Op. cit.*, I, p. 49.
[289] Foust C.N. *Op. cit.*, p. 477; A.N., A.E., M. et D. Russie, 2, f° 182.
[290] Архив кн. Воронцова. Кн. 9, 1876, с. 32—33.

ЦЕНА ЕВРОПЕЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ

Военные победы Петра Великого и его насильственные реформы, как утверждают «вывели Россию из изоляции, в которой она жила до того» [291]. Нельзя сказать, что формула эта целиком ошибочна или целиком справедлива. Разве не склонялась громадная Московия в сторону Европы до Петра Великого? Основание Санкт-Петербурга, к выгоде которого произошел перенос центра русской экономики, оно, конечно, открыло окно или дверь на Балтику и в Европу, но ежели через эту дверь Россия получила лучший выход из дома, то и Европа в свою очередь стала легче проникать в русский дом. И, расширив свое участие в обменах, она завоевывает русский рынок, обустраивает его к своей выгоде, ориентирует то, что можно было в нем ориентировать.

Еще раз были введены в игру все средства, какие использует Европа для обеспечения своего продвижения, прежде всего гибкость кредита — закупки авансом — и ударная сила наличных денег. Один консул на французской службе в Эльсиноре заметил (9 сентября 1748 г.) по поводу датских проливов: «Здесь проходят значительные суммы серебра в испанских восьмерных монетах на всех почти английских кораблях, направляющихся в Петербург» [292]. Дело в том, что баланс, оцениваемый в Санкт-Петербурге, в Риге или позднее в Одессе (основанной в 1794 г.), всегда был положительным для России. Исключения — в те моменты, когда русское правительство втягивалось

[291] Luzzatto G. *Storia economica dell'età moderna e contemporanea,* II, 1952, p.16.
[292] A.N., A.E., B[1], 485.



Неизменно положительный баланс российской торговли (1742—1785 гг.)
По данным документа из ЦГАДА в Москве (фонд Воронцова, 602—1—59), который приводит баланс российской торговли, как сухопутной, так и морской. Два кратких ухудшения баланса — в 1772 и 1782 гг.,— несомненно, следствие расходов на вооружения.

или станет втягиваться во внешние операции большого размаха,— подтверждали правило. Лучшим средством продвинуть торговлю в слаборазвитых странах был ввоз драгоценного металла: в России европейские купцы соглашались на такое же «денежное кровотечение», как в гаванях Леванта или в Индии. И с теми же результатами: прогрессировавшее доминирование на русском рынке в такой системе, где истинные прибыли получали по возвращении, при перераспределении и новом обороте товаров, на Западе. Сверх того, посредством игры вексельного курса в Амстердаме, а впоследствии в Лондоне[293] Россию будут порой обманывать.

Таким образом, Россия привыкала к готовым изделиями Европы, к ее предметам роскоши. Поздно вступив в игру, она из нее не так скоро выйдет. Ее господа будут думать, что эволюция, совершающаяся у них на глазах, их дело, и станут благоприятствовать ей, помогать проникновению в свой дом в качестве новой структуры. Они будут видеть в ней свою выгоду и даже выгоду для России, обращаемой к Просвещению. Однако не приходилось ли за это платить довольно тяжкую цену? Именно это полагает памятная записка, написанная 19 декабря 1765 г., несомненно, неким русским врачом,— документ на свой лад почти что революционный, во всяком случае шедший против течения. Разве она не требует закрытия, или почти закрытия, России для иноземного вторжения? Лучше было бы, предлагает автор, воспроизвести поведение Индии и Китая, по крайней мере такое, каким он его себе представлял: «Сии нации ведут громадную торговлю с португальцами, англичанами, французами, [каковые] там закупают все их изделия и много сырья. Но ни индийцы, ни китайцы не покупают ни малейших товаров Европы, ежели это не часы, не скобяной товар и коекакое оружие». Так что европейцы вынуждены покупать за серебро, по «методе, коей сии нации следовали с того времени, как они известны в истории»[294]. По мнению нашего автора, России следовало бы вернуться к простоте времен Петра Великого; увы, с тех пор дворянство приохотилось к роскоши, которая «продолжалась в течение сорока лет», все возрастая. Особо опасаться среди всех прочих надлежит французских кораблей, немногочисленных конечно, но «груз [одного из них], поелику состоит он из всяческих предметов роскоши», обычно равен по ценности десяти — пятнадцати кораблям других наций. Ежели такой роскоши суждено продолжаться, она станет причиной «разорения землепашества и едва ли не заводов и мануфактур Империи».

Но не было ли определенной иронии в том, что такая «националистическая» памятная записка, адресованная Александру Воронцову, следовательно, русскому правительству, написана... по-французски? Она свидетельствует о другой стороне европейского вторжения, о некоей аккультурации, которая изменила образ жизни и образ мыслей не только аристократии, но и определенного слоя русской буржуазии и всей *интеллигенции*, которая тоже строила новую Россию. Философия Просвещения, обошедшая всю Европу, наложила глубокий отпечаток на русские правящие и интеллектуальные круги. В Париже сим-

[293] A. d. S., Napoli, Affari Esteri, 800; «*Gazette de Cologne*», 23 septembre 1763. Русский вексельный курс котировался в Лондоне, по-видимому, начиная с 1762 г.

[294] Москва, ЦГАДА, фонд Воронцова, 1261, 4—446.

патичная княгиня Дашкова испытывала потребность отвести от себя обвинения в каком бы то ни было тиранстве по отношению к своим крестьянам. Дидро, говорившему о «рабстве», она объясняла (около 1780 г.), что как раз алчность «правительств и исполнителей в провинциях» представляет угрозу для крепостного. Собственник всемерно заинтересован в богатстве своих крестьян, «каковое составляет собственное его процветание и увеличивает его доходы»[295]. Полтора десятка лет спустя она гордилась результатами своего управления вотчиной Троицкое (около Орла). За 140 лет население-де в целом удвоилось, и ни одна женщина «не желала выходить замуж за пределы моих владений»[296].

Но европейское влияние одновременно с идеями распространяло моды и, вне всякого сомнения, решительно способствовало широкому проникновению всей той роскоши, которую поносил наш врач. Богатые и праздные русские опьянялись тогда европейской жизнью, утонченностью и удовольствиями Парижа или Лондона так же точно, как на протяжении столетий пьянила людей Запада цивилизация и зрелища итальянских городов. Семен Воронцов, сам отведавший очарования английской жизни и восхвалявший ее, тем не менее раздраженно писал 8 апреля 1803 г. из Лондона: «Слышал я, что наши господа делают в Париже экстравагантные расходы. Этот дурень Демидов заказал себе фарфоровый сервиз, коего каждая тарелка стоит 16 луидоров»[297].

Однако же, с учетом всех обстоятельств, не было ничего сравнимого между ситуацией в России и зависимостью Польши, например. Когда экономическая Европа набросилась на Россию, последняя находилась уже на пути, который защитил ее внутренний рынок, собственное развитие ее ремесел, ее мануфактур, имевшихся в XVII в.[298], ее активной торговли. Россия даже великолепно приспособилась к промышленной «предреволюции», к общему взлету производства в XVIII в. По велению государства и с его помощью появлялись горные предприятия, плавильни, арсеналы, новые бархатные и шелковые мануфактуры, стекольные заводы, от Москвы и до Урала[299]. А в основе оставалась действующей громадная кустарная и домашняя промышленность. Зато, когда придет подлинная промышленная революция XIX в., Россия останется на месте и мало-помалу отстанет. Не так обстояло дело в XVIII в., когда, по словам Дж. Блюма, русское промышленное развитие было равным развитию остальной Европы, а порой и превосходило его[300].

Несмотря на все это, Россия более, чем когда-либо прежде, продолжала сохранять свою роль поставщика сырья: конопли, льна, смолы, корабельных мачт — и продовольствия: хлеба, соленой рыбы. Случалось даже, что экспорт, как это было в Польше, не соответствовал реальным излишкам. Например, «в 1775 г. Россия дозволила иностранцам вывоз своего хлеба, хотя часть империи страдала от голода»[301]. К тому же, говорит этот мемуар 1780 г., «редкость монеты вынуждает земледельца лишать себя необходимого, дабы уплачивать налоги» (которые взимались в деньгах). И эта нехватка монеты давила на поме-

[295] Архив кн. Воронцова. Кн. 21, 1881, с. 137.
[296] Архив кн. Воронцова. Кн. 21, 1881, с. 315.
[297] Там же. Кн. 10, 1876, с. 201.
[298] Blum J. *Op. cit.*, p.293.
[299] Portal R. *Op. cit.*, p. 6 sq.
[300] Blum J. *Op. cit.*, p. 294.
[301] A. N., Marine, B^7, 457.

щиков, вынужденных «покупать в кредит обычно на один год и продавать свои урожаи за наличные за полгода или год до жатвы», отдавая «припасы по дешевой цене, чтобы компенсировать процент на авансы». Здесь, как и в Польше, авансы под будущие урожаи искажали условия обмена.

Тем более, что помещики, по крайней мере крупные, находились в пределах досягаемости европейских купцов. Их в принудительном порядке перевели в Санкт-Петербург, пребывание в котором, сообщает один отчет 1720 г., «вызывает у них омерзение, понеже оно их разоряет, удерживая вдали от их земель и их старинного образа жизни, каковой они предпочитают всему на свете, так что, ежели царь не утвердит до своей кончины преемника, способного поддержать то, что он столь счастливо начал, народы сии, яко бурный поток, вновь впадут в прежнее свое варварство» [302]. Предсказание оказалось неверным, ибо, когда царь неожиданно умер в 1725 г., Россия продолжала открываться в сторону Европы, поставлять ей все возраставшие количества сырья. 28 января 1819 г. Ростопчин напишет из Парижа своему другу Семену Воронцову, все еще пребывавшему в Лондоне: «Россия — это бык, которого поедают и из которого для прочих стран делают бульонные кубики» [303]. Что, между прочим, свидетельствует, что выпаривать мясные бульоны для

[302] A.N., K 1352.
[303] Архив кн. Воронцова. Кн. 8, 1876, с. 363.



Санкт-Петербургский порт в 1778 г. Гравюра по рисунку Ж.-Б. Ле Пренса. *Фото Александры Скаржиньской.*

изготовления из них сухих экстрактов умели и до Либиха (1803—1873), давшего свое имя этому процессу.

Нарисованная Ростопчиным картина, хоть она и преувеличена, не целиком ложна. Тем не менее не следует упускать из виду, что эти поставки сырья в Европу обеспечили России превышение ее баланса и, следовательно, постоянное снабжение монетой. А последнее было условием проникновения рынка в крестьянскую экономику, важнейшим элементом модернизации России и ее сопротивления иноземному вторжению.

СЛУЧАЙ ТУРЕЦКОЙ ИМПЕРИИ

Турецкая империя напоминает русский вариант, хотя и с весьма сильными различиями. Эта империя, рано сложившаяся, с самого начала активная, с наступлением XV в. стала как бы контр-Европой, «контрхристианским миром». Фернан Гренар справедливо усматривал в турецком завоевании нечто совсем иное, чем варварские нашествия V в., «азиатскую и антиевропейскую революцию» [304]. И вне всякого сомнения, империя эта с самого начала была также и миром-экономикой, наследником древних связей мира ислама и Византии, прочно охраняемым действенной мощью государства. Французский посол г-н де Ла Э писал в 1669 г.: «Великий сеньор [Великий турок] находится выше законов, он отправляет своих подданных на смерть без юридических формальностей, а часто и без правового основания, завладевает всем их имуществом и распоряжается им, как пожелает» [305]. Но компенсацией за такую деспотическую власть долгое время служил «турецкий мир» *(pax turcica)* — мир наподобие римского, вызывавший восхищение Запада. Компенсацией была также и очевидная способность удерживать в определенных рамках европейских партнеров, без которой было не обойтись. Даже Венеция оказывалась вынуждена в Стамбуле лавировать, идти на компромиссы. Она туда проникла лишь до того предела, до которого ей позволяли проникнуть. Лишь когда власть Великого турка пойдет на убыль, турецкий мир-экономика проявит признаки дезорганизации. И к тому же «упадок» этот, о котором чрезмерно много говорит историография, был «менее быстрым и менее глубоким, чем это обычно себе представляют» [306].

[304] Grenard F. *Grandeur et décadence de l'Asie.* 1939, p. 72.
[305] A. E., M. et D. Turquie, 36, f° 16.
[306] Tongas G. *Les Relations de la France avec l'Empire ottoman, durant la première moitié du XVII^e siècle.* 1942, p. 141.

ОСНОВЫ МИРА-ЭКОНОМИКИ

Первым условием турецкой самостоятельности было сверхобширное пространство: Османская империя тоже имела планетарные размеры. Кто только на Западе не прославлял ее баснословную протяженность, удивляясь ей и испытывая беспокойство по ее поводу? Джованни Ботеро (1591 г.) приписывал ей 3 тыс. миль * побережья, отмечая, что от Тебриза до Буды было 3200 миль, от Дербента до Адена — столько же и чуть меньше 4 тыс. миль — от Басры до Тлемсена [307]. Султан царство-

* Венецианская миля равнялась 1738,7 м. — *Прим. перев.*
[307] Botero G. *Relationi universali.* 1599, II, p. 117—118.

вал-де над тридцатью королевствами, на Черном море и на море Белом (которое мы именуем Эгейским), на Красном море и Персидском заливе. Империя Габсбургов в пору своего апогея была еще обширнее, но то была империя, разбросанная по всему миру, разделенная бескрайними морскими пространствами. Что до империи Османов, то она была цельной; то была компактная совокупность земель, посреди которых вторгшиеся воды морей были как бы пленниками.

Располагаясь между внешними линиями крупной международной торговли, эта земля образовывала пучок постоянных связей и ограничений, почти что крепость и равным образом — источник богатств. Во всяком случае, именно суша создала ближневосточный перекресток, который дал Турецкой империи живой источник ее могущества, в особенности после завоевания в 1516 г. Сирии, а в 1517 г.— Египта, что придало завершенность ее величию. Правда, в эту эпоху Ближний Восток не был более, как во времена Византии и первых триумфов ислама, мировым перекрестком по преимуществу. К выгоде Европы состоялось открытие Америки (1492 г.) и пути вокруг мыса Доброй Надежды (1498 г.). И если Европа, слишком занятая на западе, не оказала всеми своими силами сопротивления Османской империи, то оттого, что препятствия для завоеваний турецкого ислама выросли как бы сами собой. Он не овладеет за пределами Алжирского регентства Марокко, Гибралтаром и подступами к Атлантике, он не станет хозяином всего Средиземноморья и не справится на востоке с Персией — непреодолимой преградой, лишившей его важнейших позиций по отношению к Индии и Индийскому океану. Ч. Боксер утверждает, что битва при Лепанто (7 октября 1571 г.), положившая конец османскому господству на Средиземном море (открытому тремя десятками лет раньше турецкой победой при Превезе, в 1538 г.), и воинственный взлет Персии при Аббасе I были главными причинами остановки турецкого продвижения[308]. Конечно, но не следует также недооценивать и португальское присутствие, бросавшее вызов исламу в Индийском океане, ибо эта победа морской *техники* Европы внесла вклад в то, чтобы помешать турецкому чудовищу эффективным образом выйти за пределы Персидского залива и Красного моря.

[308] Boxer C. *The Portuguese in the East, 1500—1800.— «Portugal and Brazil, an Introduction»*, ed. H. V.Livermore, 1953, p. 221.

Итак, ближневосточный перекресток утратил часть своей ценности, но до сведе́ния его к ничтожеству было далеко. Драгоценная левантинская торговля, долго не имевшая равных, не приостановилась, когда турки заняли Сирию (1516 г.) и Египет (1517 г.), и пути близлежащих районов Средиземного моря не запустели. Море Красное и море Черное (последнее было для Стамбула столь же важно, как «Индии» для Испании) продолжили свою службу. Казалось, после 1630 г. отвлечение в сторону Атлантики пряностей и перца, предназначавшихся для Европы, было окончательным; но шелк, а вскоре затем кофе, наркотики и, наконец, хлопок и хлопчатые ткани, набивные или нет, переняли эстафету.

К тому же громадность, мощь империи обеспечивали ей, принимая во внимание скромные мастшабы местного потребления, обильные излишки продукции: мясного скота, пшеницы,

кож, лошадей и даже текстиля... С другой стороны, Турецкая империя унаследовала великие городские центры и творения ислама. Она была усеяна торговыми городами с их многочисленными ремесленными цехами. Впрочем, почти все города Востока поражали путешественников с Запада своей активностью и своим оживлением: Каир, бывший на свой лад столицей, крупным паразитическим центром, но в то же время и источником энергии; Алеппо, расположенный в чудесной местности посреди плодородных земель, размером примерно с Падую, «но без единого пустыря и перенаселен» («ma senza nessun vacuo e popolatissima»)[309]; даже Розетта, «город весьма большой, очень населенный и приятно застроенный кирпичными домами, сильно, на два туаза, выступающими над улицей»[310]; Багдад и его оживленный центр с «шестью или семью улицами... лавок купцов и различных ремесленников, улиц, [кои] на ночь запираются — одни благодаря воротам, другие — большим железным цепям»[311]; Тебриз на окраинах Персии, город, «восхитительный своею величиной, своей торговлей, множеством своих жителей и изобилием всего, что необходимо для жизни»[312]. Эдвард Браун, член Королевского общества, оценил Белград во время своего посещения в 1669 г. как «большой, сильный, многонаселенный и крупный торговый город» (*«a large, strong, populous and great trading city»*)[313]. Это же можно было бы сказать почти обо всех турецких городах Африки, Азии, Балкан (*где они были белыми городами, villes blanches,* в противоположность *темному* миру деревень)[314].

Так как же поверить, будто все эти города, старинные и помолодевшие или новые и порой более близкие к западным образцам, расцвели бы в Турции, пребывающей в упадке? Будто все то, что повсюду рассматривается как признак подъема, могло бы здесь быть признаком распада?

Еще бóльшая ошибка — сводить экономическую историю Турецкой империи единственно к хронологии ее политической истории. Последняя относится к числу наименее надежных, если судить об этом по колебаниям историков Турции. Для одного из них[315] империя будто бы достигла своего политического зенита с 1550 г., на протяжении последних лет правления Сулеймана Великолепного (1520—1566 гг.); для другого, заслуживающего не меньшего доверия[316], упадок будто бы наметился начиная с 1648 г. (следовательно, столетием позднее), но эта дата, которая увидела заключение Вестфальского мира и убийство султана Ибрагима I, все еще более европейская, нежели турецкая. Если совсем уж необходимо предложить какую-то дату, то я бы предпочел 1683 г., сразу же после драматической осады Вены (14 июля — 12 ноября 1683 г.), когда в Белграде султан повелел удавить великого визиря Кара Мустафу, несчастного героя этого предприятия[317]. Но никакой политический рубеж не представляется мне абсолютно приемлемым. Скажем еще раз: политика не существует вне связи с экономикой, и наоборот, но «упадок» османского могущества, когда такой упадок наблюдался, не влек за собой сразу же упадка османской экономики. Разве же население империи в XVI — XVII вв. не выросло сенсационным образом, почти удвоившись? На Балка-

[309] A. d. S., Venezia, Relazioni, B 31.
[310] Savary de Brèves F. *Relation des voyages de...*, 1628, p. 242.
[311] Maestre Manrique. *Itinerario de las misiones que hizo el Padre F. Sebastian Manrique...*, 1649, p. 460.
[312] Abbé Prévost. *Op. cit.*, IX, 1751, p. 88 (Путешествие А. де Родса, 1648 г.).
[313] Brown E. *A Brief Account of Some Travels...*, 1673, p. 39—40.
[314] См.... Stoianovitch T.— в: *Conférence de la Commission d'histoire économique de l'Association du Sud-Est européen* (машинописный текст), М., Киев, 1969.
[315] Platzhoff W. *Geschichte des europäischen Staatensystems, 1559—1660*. 1928, S. 31.
[316] См. ... Jansky H.— в: *Handbuch der europäischen Geschichte*. Hrsg. T. Schieder, IV, S. 753.
[317] *Ibid.*, S. 761.



Город Анкара и его базар в XVIII в.
Деталь картины
Ж.-Б. Ван Мура, французского художника,
жившего в Стамбуле в 1699—1737 гг.
Амстердам, Государственный музей.

нах, по мнению Йорьо Тадича, «турецкий мир» и спрос Стамбула создадут настоящий *национальный рынок*[318], по меньшей мере ускорявший обмены. И в XVIII в. признаки нового подъема были заметны.

В самом деле, отнюдь не безнаказанно «османы были господами, с одной стороны, всех средиземноморских портов мира ислама (за исключением марокканских); с другой стороны, гаваней, служивших выходом в Красное море или в Персидский залив»[319], плюс портов Черного моря, к которым выходила русская торговля. Великие торговые оси, пересекавшие империю, сами по себе обеспечивали ей очевидную сплоченность. Оси эти смещались, но сохранялись. В XV в. центр торговых маршрутов находился, вероятно, скорее в Брусе, городе торговли, транзита, активного ремесла, чем в Стамбуле, бывшем тогда неуклюжей столицей, которую надлежало перестроить. Турецкий натиск в сторону Сирии и Египта затем отодвинул центр османской экономики к Алеппо и Александрии египетской, создав, таким образом, на протяжении XVI в. своего рода сдвиг к невыгоде Стамбула и османского пространства, которое качнулось к югу. То, что в XVII в. центр вновь сместился и расположился в Смирне,— факт известный, но не получивший серьезного объяснения. В XVIII в., как мне кажется, произойдет перемещение центра в Стамбул. Можно ли представить в свете этих плохо изученных изнутри эпизодов, что османское пространство, конституировавшееся в мир-экономику, познало последовательную смену нескольких центров тяжести в зависимости от годов и конъюнктуры?

К 1750 г., немного раньше или немного позже, Стамбул вернет себе экономическое первенство. Таможенные тарифы великого города, сообщенные в Москву в 1747 г. для сведения, сами по себе не суть доказательство значительности торгового оборота. Но они имеют ту особенность, что делают различие между товарами, «упомянутыми в прежнем тарифе», и товарами, добавленными в 1738 г. и позднее. Перечни ввозимых товаров бесконечны: очень многочисленные текстильные изделия, оконное стекло, зеркала, бумага, олово, сахар, бразильское дерево и кампеш, английское ячменное пиво, ртуть, всяческие наркотики и пряности, индийское индиго, кофе и т. д. В числе новых продуктов — текстиль иного качества, сукна, шелка, полотно из Франции, Англии, Голландии; сталь, свинец, пушнина, набивные ситцы, индиго с Сан-Доминго, «христианский кофе»,— и все это великого множества сортов. Для вывоза список короче и перечисляет классические для Константинополя экспортные товары: буйволовые кожи, кожи «черного быка», сафьяны, шагреневая кожа, козья и верблюжья шерсть, воск; к ним добавятся всего несколько статей — тонкие камлоты, шелк или «обработанная козья шерсть для париков». Следовательно, все более и более многообразный и разнообразный импорт из дальних стран, особенно из Европы, которая отправляла в Константинополь предметы роскоши и даже изделия Нового Света. Зато мало изменений в составе экспорта[320]. Пространный французских отчет о левантинской торговле подтверждает такое впечатление: «[Французские] корабли,— сообщают

[318] Tadič J. *Le commerce en Dalmatie et à Raguse et la décadence économique de Venise au XVII siècle.— Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII.* 1961, p. 235—274.

[319] Mantran R. L'Empire ottoman et le commerce asiatique au XVI^e et au XVII^e *siècle.— Islam and the Trade of Asia,* ed. D. S. Richards, p. 169 (Багдад был занят в 1534 г., Басра — в 1535 г., а затем — в 1546 г.).

[320] Москва, ЦГАДА, 276—1—365, л. 171—175.



Остановка в караван-сарае
(рукопись из Музея Коррер, Венеция, фонд Чиконья).
«Вот открытый караван-сарай,—
поясняет легенда на итальянском языке,—
с его перекрытыми цепями воротами, каминами и огнем,
[зажженным] для удобства путешественников.
Оружие развешано по стенам,
лошади путников находятся внизу,
под помостами, внутри строения.
Сюда приезжают турки всякого состояния,
как приезжают в наши гостиницы в христианском мире».
Фото Музея.

нам,— доставляют в Константинопль более товаров, чем во все прочие гавани Леванта. Их груз состоит из сукон, пряностей, сахарных изделий, красителей и различных продовольственных товаров. Стоимость сих товаров в Константинополе реализована быть не может по той причине, что французские коммерсанты забирают оттуда лишь невыделанные шкуры, саржи и плюши, кожсырье, набивные ткани, немного воска, дерева и шагреневой кожи. Излишки капиталов переводят на другие рынки векселями, кои французские негоцианты из Смирна, Алеппо и Сайды предоставляют пашам, каковым надлежит пересылать финансовые требования в казначейство Великого сеньора»[321]. Таким образом, Константинополь был вексельным рынком, рынком монетного обмена с высокими прибылями, крупным центром потребления. Экспорт, напротив, был более активным на других левантинских рынках.

[321] A. E., M. et D. Turquie, 11, f[os] 131—151.

МЕСТО ЕВРОПЫ

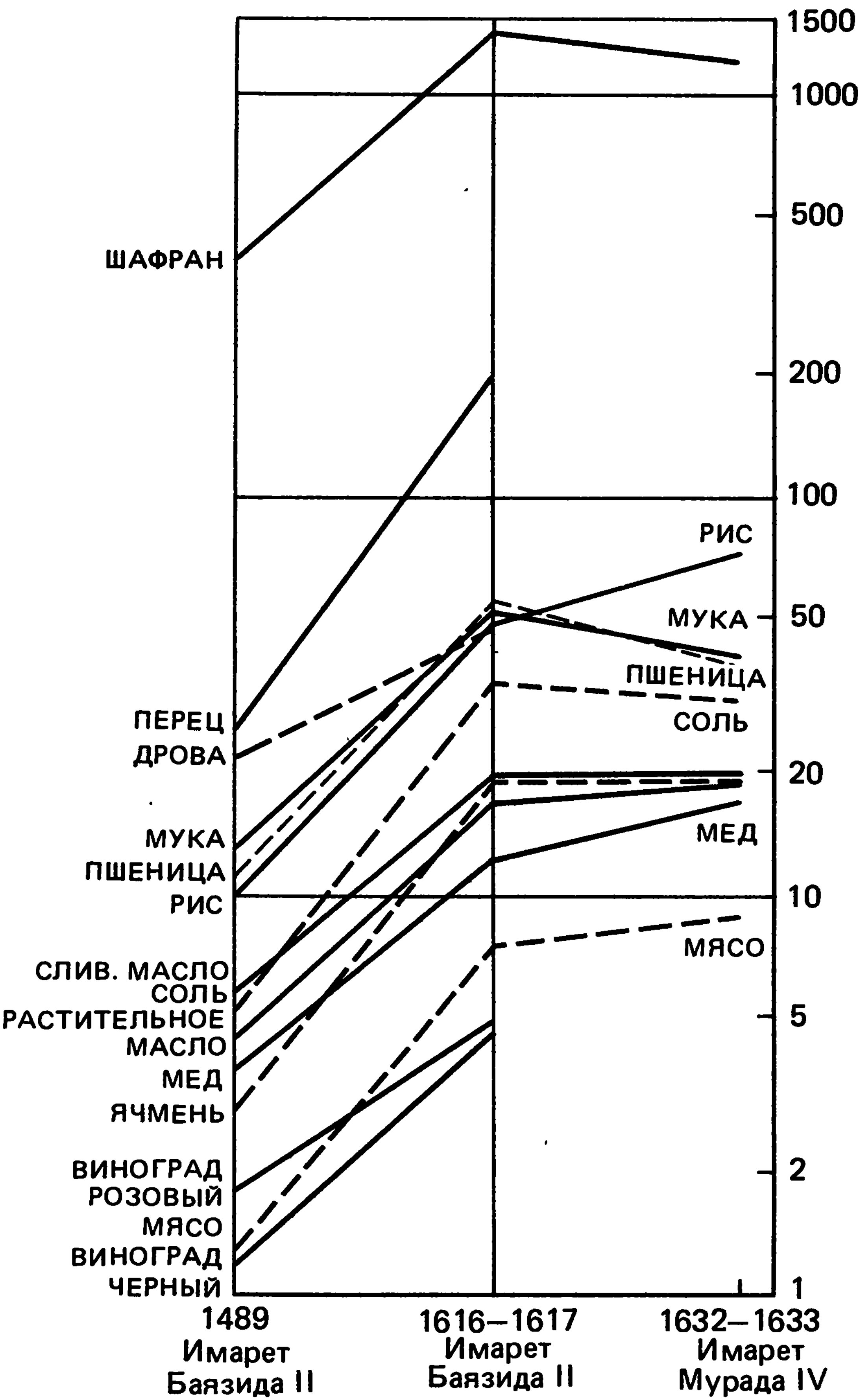
Но вопрос, которым следует задаться, касается относительного места европейской торговли во всей массе турецких обменов. Эта торговля зачастую лишь мимоходом затрагивала османскую экономику или же только проходила через нее. Настоящая экономика турецкого пространства, простейшая и сильная, располагалась на уровне земли. Траян Стоянович определяет ее милым названием *«базарной экономики»* — переведем это как «рыночную экономику, соединяющуюся вокруг городов и региональных ярмарок», где обмен, верный традиционным правилам, оставался, по словам Т. Стояновича, под знаком добросовестности и открытости. Еще в XVIII в. кредит здесь развивался плохо, вне рамок повсеместно активного ростовщичества, активного даже в деревнях. Несомненно, однако, мы находимся уже и не во времена Белона из Мана, который отмечал в 1550 г.: «Все дела в Турции совершаются за наличные деньги. Так что нет там вовсе ни стольких бумаг, ни брульяров [322] долгов в кредит, ни поденных записей; и от соседа к соседу при всех розничных товарах також не совершается кредита, как ежели бы сие были иноземцы из Германии»[323]. Однако же такая старинная ситуация отчасти себя пережила, даже если западные купцы предоставляли перекупщикам авансы под товары, даже если положительное сальдо их продаж в Константинополе позволяло им, как мы говорили, продавать в Смирне или Алеппо векселя на Константинополь. В целом сохранялся определенный архаизм обмена, одним из признаков которого оставалась обескураживающая скромность цен в сравнении с Западной Европой. В Тебризе в 1648 г. «на одно су покупали хлеба столько, сколько один человек может съесть за неделю»[324]. По сообщению «Газетт д'Амстердам» от 13 декабря 1672 г., в Каменце, взятом турками, «можно было купить лошадь за 4 риксдалера, а быка — за два»[325]. В 1807 г. Гардан видел в Малой Азии вокруг Токата «жителей, одетых как древние патриархи и, как они, гостеприимных. Они спешат предложить вам

[322] Конторские книги, в которые записывают все операции по мере их совершения (Литтре).
[323] Belon P. *Les Observations de plusieurs singularitez et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Jùdée, Egypte, Arabie et autres pays estranges.* 1553, f° 181 v°.
[324] Abbé Prévost. *Op. cit.*, IX, p. 88.
[325] *«Gazette d'Amsterdam»*, 13 décembre 1672. Каменец, ныне Каменец-Подольский на Украине, был последовательно турецким, татарским, до 1793 г. — польским, затем русским.

свои дома и пищу и весьма удивляются, когда им предлагают деньги»[326].

Дело в том, что деньги, нерв западной торговли, чаще всего только пересекали турецкое пространство. Одна их часть поступала в алчное султанское казначейство, другая оживляла обмены верхнего торгового слоя, а остальное широко уходило в направлении Индийского океана. Запад лишь чувствовал себя более вольготно при пользовании своим денежным превосходством на рынках Леванта. В зависимости от конъюнктуры он даже играл на самой монете, т. е. на менявшихся соотношениях между золотом и серебром или на предпочтении, оказывавшемся определенным монетам, испанским серебряным реалам, например, а еще больше — золотому венецианскому цехину, который на Леванте всегда оплачивался выше номинала. Около 1671 г. управляющий венецианским Монетным двором (Zecca)[327] указывал, что, если в Венеции покупаешь золотой цехин за 17 венецианских лир, а *онгаро* (*ongharo*)[328] — за 16 лир, то, перепродав их в Константинополе, получишь на первой монете 17,5 % выгоды, а на второй — 12 %. Прибыль с цехина несколькими годами позднее составит даже 20 %[329]. В конце XVI в. было прибыльной торговлей тайком преправлять турецкое золо-

[326] Gardane P.-A., de. *Journal d'un voyage dans la Turquie d'Asie et la Perse, fait en 1807 et 1808.* 1809, p. 13.
[327] Biblioteca Marciana, Scritture, Oro e argento, VII, MCCXXVIII, 55.
[328] Название золотого дуката, чеканившегося королями Венгерскими и часто подделывавшегося за границей.
[329] Tucci U. *Les émissions monétaires de Venise et les mouvements internationaux de l'or.* — «*Revue historique*», juillet 1978, p. 97, note 23.



Своего рода тест: цены в Турции следовали за конъюнктурой
Этими несколькими цифрами цен, доказывающими, что повышение цен в XVI в. затронуло и Турцию, я обязан Омеру Лютфи Баркану. Имареты — это благотворительные учреждения, кормившие бедняков и учащихся. Приведенные цены в аспрах — номинальные; они не учитывают обесценение аспры.

то в Персию [330]. И когда Венеция увидела, как сокращаются ее торговые операции на Востоке в XVII и XVIII вв., она продолжила чеканку цехинов, чтобы сплавлять их на Левант — способ обеспечить вместе с существенными прибылями и возвратные поступления, в которых она нуждалась.

Точно так же в конце XVIII в. Марсель более почти не экспортировал на Ближний Восток товары, но вывозил серебряные монеты, особенно чеканившиеся в Милане талеры Марии-Терезии [331]. Для города это было наилучшим способом удержать свое место на левантинских рынках.

Сохранившиеся архаичные черты турецкой экономики — не они ли повлекли за собою ее регресс? Нет, пока оставался оживленным внутренний рынок, пока сохранялись военная промышленность, судостроение, активное ремесло, значительное текстильное производство — скажем, на Хиосе или в Брусе — и в еще большей степени множество крохотных локальных ткацких мастерских, которые в силу этого слишком часто ускользают от ретроспективного наблюдения. Вызывающее удивление путешествие Карло Соннини [332] на Черное море в конце XVIII в. обнаруживает тем не менее нескончаемый перечень изделий местного текстильного промысла. Впрочем, если верить в том письму (8 мая 1759 г.) Шарля де Верженна, в то время посла в Константинополе [333], все импортированные с Запада сукна могли одеть лишь 800 тыс. человек; а империя насчитывала от 20 до 25 млн. жителей. Следовательно, оставалось широкое поле для изделий ремесленных цехов империи. Причинить им неприятности сможет лишь расширение продажи товаров из Австрии и Германии в конце XVIII в. И как объяснил это Омер Лютфи Баркан [334], только вторжение английской текстильной продукции сразу же после промышленной революции (XIX в.) закрепило почти полное их разорение.

Итак, если двери османской экономики и были взломаны давно, эту экономику еще в XVIII в. нельзя было считать ни покоренной, ни совершенно маргинализованной. Турецкие пространства извлекали из своего собственного производства средства потребления для своих городов. Экспорт хлеба был там подчинен, как и в России, политической власти. Конечно, существовала широкая контрабанда зерном к выгоде греческих моряков с островов Эгейского моря. И в ней участвовали также и некоторые крупные собственники *чифтликов*, но *чифтлики* эти, образовавшиеся *сравнительно* недавно, развивались прежде всего для снабжения Стамбула, а не всегда ради экспорта. Так, например, обстояло дело с румелийскими *чифтликами*, производившими рис [335]. В целом турецкие рынки обеспечивали выполнение своих функций, опираясь на древнюю и все еще эффективную организацию перевозок.

МИР КАРАВАНОВ

В самом деле, турецкое пространство характеризовалось повсеместным присутствием караванов верблюдов. Даже в балканских странах, где все же сохранялось использование

[330] *Ibid.*, p. 109, note 65.
[331] Rebuffat F., Courdurie M. *Marseille et le négoce marseillais international (1785—1790)*. 1966, p. 126 sq.
[332] Sonnini C. *Traité sur le commerce de la mer Noire*, s. d.
[333] A. N., A. E., B[1], 436; приводится Т. Стояновичем в цитированном машинописном тексте, с. 35.
[334] Во время своих лекций в Париже в 1955 г.
[335] Braudel F. *Médit...*, II, p. 64.

транспортов вьючных лошадей, в конце XVI в., видимо, происходило покорение верблюдом всего полуострова. Так что «левантинские рынки» в некотором роде переместились до самого Спалато (Сплита) в Далмации, и венецианские *рыночные галеры* (*galere da mercato*) довольствовались тогда пересечением Адриатики, вместо того чтобы добираться до Сирии [336]. Память об этих караванах еще в 1937 г. сохранялась у жителей Дубровника как романтическое напоминание о прошлом.

[336] *Ibid.*, I, p. 263.

[337] Maundrell H. *Voyage d'Alep à Jérusalem*. 1706, p. 2 (поездка 1696 г.)

На карте мира деятельность караванов — с двугорбыми и одногорбыми верблюдами — простиралась от Гибралтара до Индии и Северного Китая, от Аравии и Малой Азии до Астрахани и Казани. Пространство движения османской экономики было выкроено внутри этого мира, оно даже было его центральной зоной.

Западные путешественники часто описывали эти способы транспортировки, массы собиравшихся попутчиков, долгие переходы, при которых «не встретишь, как в Англии, местечек и кабачков, где можно каждый вечер заночевать», стоянки под открытым небом, в «своем шатре, когда то позволяет время года», или в ханах и караван-сараях, «построенных за счет благотворительности для нужд... всех проезжающих», больших строениях, удобных и недорогих. «Но там также не находишь обычно ничего, кроме стен; так что путешественникам следует позаботиться о том, чтобы запастись пищей, питьем, железными кроватями и кормом для животных» [337]. Такие караван-сараи, в развалинах или сохранившиеся, все еще очень многочисленны на Востоке. Нанести их на карту, как сделал это Аль-

Вьючные лошади и караван верблюдов, выходящие из Анкары. Деталь картины, приведенной на с 483.



[338] В каком-то местном журнале, который я, к сожалению, затерял.

бер Габриэль[338], означает восстановить древнюю дорожную сеть.

Но если европеец это движение использовал для своих товаров и в случае надобности — для своих поездок, то у него не было возможности организовать его самому. Такое движение было монополией ислама. Если западные купцы не бывали дальше Алеппо, Дамаска, Каира, Смирны, то происходило это в большой мере потому, что мир караванов от них ускользал, что османская экономика была единственной хозяйкой этих перевозок, жизненно для нее важных, достаточно строго организованных и контролировавшихся, частых и главное — регулярных, более регулярных, нежели связи по морю. Тут наблюдалась вполне очевидная эффективность, бывшая секретом независимости. Если персидский шелк нелегко было отвлечь с путей Средиземноморья, если это не удавалось англичанам и голландцам, в то время как эти же самые голландцы блокировали перец и пряности, то происходило это оттого, что, с одной стороны, шелк был предметом караванных перевозок с начальной точки пути, а перец и пряности, напротив, с самого начала были товарами «морскими», которые следовало грузить на корабли. Османская экономика обязана была своей гибкостью и своей энергией этим неутомимым караванам, которые со всех направлений прибывали в Стамбул или в лежащий напротив великого города, на азиатском берегу Босфора, Скутари; этим дальним дорогам, которые, сплетаясь в единый узел вокруг Исфахана, пронизывали всю поверхность Ирана и в Лахоре достигали Индии; или тем же караванам, которые ходили из Каира до Абиссинии и доставляли драгоценный золотой песок.

ДОЛГО СОХРАНЯЕМОЕ МОРСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Турецкое морское пространство тоже было хорошо защищено, так как главная доля морских перевозок производилась каботажным плаванием в морях Леванта и в Черном море посредством своего рода *местной торговли* (*country trade*), «из Турции в Турцию».

Христианские корсары из стран Западного Средиземноморья очень рано сделались угрозой для берегов Леванта, так что в конечном счете каботаж попал в руки западных моряков, прежде всего 50—60 французских кораблей. Но в конце XVIII в. западносредиземноморское пиратство свирепствовало меньше, и каботаж, видимо, избавился от судов с Запада. Может быть, заслугу этого следовало приписать замене (уже давней) в османском флоте парусников галерами и курсированию этого флота по всему Архипелагу[339]. В декабре 1787 г. капудан-паша, пришедший в Стамбул на обветшалых, пребывавших в плохом состоянии кораблях, выгрузил 25 млн. пиастров, погруженных в Египте[340]. А ведь в прошлом дань с Египта зачастую перевозили в Константинополь сухим путем из соображений безопасности. Было ли то началом подлинной перемены? По словам одного французского очевидца, с 1784 по 1788 г.,

[339] A. d. S. Napoli, Affari Esteri, 800, Гаага, 21 августа 1761 г.

[340] Москва, АВПР, 4113, 158, л. 4. Венеция, 4/15 декабря 1787 г.

полтора десятка лет спустя после Чесмы, турецкий флот насчитывал тем не менее 25 кораблей «более чем 60-пушечных», в том числе великолепный 74-пушечный корабль, «каковой приезжали строить французские инженеры»[341]. Даже если прекрасный этот корабль имел команду в 600 человек, из которых «было всего лишь восемь матросов, остальное же состояло из людей, никогда не видевших моря», этот флот все же передвигался, более или менее выполнял свои задачи.

Что касается Черного моря, то его, быть может, не очень хорошо использовали корабли на службе [правителя] Стамбула, но оно долгое время оставалось — и это главное! — закрытым для кораблей «латинских» стран. В 1609 г., после попытки англичан, добравшихся до Трабзона, запрет был возобновлен. Историки, обвиняющие турецкое правительство в небрежении и беспечности, должны были бы вспомнить, что Черное море, необходимое для снабжения Стамбула и для снаряжения турецких флотов, вплоть до конца XVIII в. оставалось строго охраняемым заповедным полем. В марте 1765 г. Генри Гренвилл писал в отчете английскому правительству: «Турки не делят плавание по Черному морю с какою бы то ни было нацией, и все иностранцы из оного исключены... Черное море есть в буквальном смысле слова море-кормилец Константинополя и снабжает оный почти всем необходимым и съестным и продуктами, как то хлеб, пшеница, ячмень, просо, соль, быки, живые бараны, барашки, куры, яйца, свежие яблоки и иные плоды, сливочное масло — еще одна весьма важная статья,— каковое масло прибывает в больших бурдюках из буйволовой кожи; оно прогорклое, смешано с бараньим жиром и весьма плохое, но турки... ему отдают предпочтение... перед лучшим сливочным маслом, английским и голландским. Привозят также топленое свиное сало, весьма дешевые свечи, шерсть, бычьи, коровьи и буйволовые шкуры, как пресносухие, так и мокросоленые... желтый воск и мед... (турки... оный употребляли как сахар)... много поташа, точильных камней... коноплю, железо, сталь, медь, строительный лес, дрова, уголь... икру, рыбу сушеную и соленую» плюс к этому невольников, поставлявшихся главным образом татарами. В противоположном направлении двигались хранившиеся на складах в Стамбуле товары, предназначавшиеся для России, для Персии, Кавказа или придунайских стран: хлопок в кипах, ладан, вино, апельсины, лимоны, сухие фрукты Архипелага, турецкие или ввезенные из христианского мира текстильные изделия. Тем не менее кофе и рис были запрещены к вывозу, «дабы в Константинополе царило изобилие»[342].

Этот громадный рынок функционировал с помощью простейших средств: на суше то были деревянные телеги «без всякого железа», т. е. с неошинованными колесами,— хрупкие, неспособные нести тяжелые грузы, влекомые буйволами, намного более сильными, чем быки, но отчаянно медлительными; на море — какая-нибудь тысяча судов, но по большей части — небольшие лодки с двумя косыми парусами (которые специалисты именуют заячьими ушами) или небольшие суденышки (*саики*), которые зачастую тонули в этом бурном море, щедром

[341] A. E., M. et D. Turquie, 15, f^{os} 154—159.

[342] Grenville H. *Observations sur l'état actuel de l'Empire ottoman.* Ed. A. S. Ehrenkreutz, 1965, p. 49—50.

на шторма. Только суда, грузившиеся либо хлебом, либо дровами, были трехмачтовыми, с многочисленными командами, потому что часто приходилось тянуть корабль бечевой, а для загрузки дровами экипаж, спущенный на берег, должен был валить деревья, выжигать уголь [343]. Обычно говорили, что, ежели из таких плаваний по Черному морю возвращался один корабль из трех, купец оказывался с прибылью; что если бы Константинополь, город деревянный, ежегодно выгорал начисто, то Черное море поставляло бы достаточно леса, чтобы его всякий раз восстанавливать. «Нет необходимости говорить, что это преувеличение»,— писал Гренвилл [344].

В таких условиях выход русских к Черному морю, открытие Проливов в 1774 г.[345], а особенно после 1784 г.[346], и появление первых венецианских, французских или русских кораблей представляли серьезный удар по османскому величию и по равновесию огромного Стамбула. Но новые торговые маршруты приобретут важное значение лишь с массовым экспортом русской пшеницы в первые десятилетия XIX в.— одним из великих, хоть и редко признаваемых за таковое событий европейской истории [347].

В Красном море, этом другóм «Средиземноморье», которое почти целиком окружала Турецкая империя, положение было одновременно и лучше и хуже, чем в Черном море. Турция обеспечила себе контроль за ним в 1538—1546 гг., когда она закрепила свои позиции в Адене. Еще раньше этого, сознавая торговое, стратегическое, политическое и религиозное значение Красного моря, она овладела Меккой и «святыми местами» ислама. Красное море, священное море мусульман, запретное для христиан, надолго останется под единовластным владычеством ислама, главной дорогой кораблей, груженных перцем и пряностями, предназначенными для Каира, Александрии и Средиземноморья. Но, видимо, к 1630 г. голландцам удалось отвлечь в сторону мыса Доброй Надежды путь, по которому доставлялись весь перец и все пряности Дальнего Востока, направлявшиеся в Европу. Так что вдоль этого морского коридора, имевшего международное значение, успех османов был сведен на нет гораздо раньше, нежели в Черном море.

Тем не менее изменение пути пряностей не повлекло за собою закрытия Красного моря. Трудный Баб-эль-Мандебский пролив каждый год видел сотни проходящих кораблей и длинных лодок (*germes*). Эти суда везли на юг рис, египетские бобы, европейские товары, собиравшиеся на складах, которые держали в Суэце, пожалуй, беззаботные каирские купцы. И каждый год караван из 7—8 судов (в их числе и так называемый «царский» корабль), плававших, несомненно, от имени Великого турка, доставлял 400 тыс. пиастров и 50 тыс. золотых цехинов, обычно шедших транзитом в Моху и Аден, в то время как по суше караван, ходивший из Алеппо в Суэц, обходя Мекку, доставлял примерно такую же сумму, на сей раз — с преобладанием золотых монет. По мнению одного современного историка, «связь по Красному морю оставалась важнейшим каналом в потоке драгоценных металлов Нового Света в Индию и дальше, на Восток» [348]. И так было намного позже XVI в. Таким

[343] *Ibid.*, p. 53
[344] Grenville H. *Op. cit.*, p. 54.
[345] По Кючук-Кайнарджийскому миру.
[346] По Константинопольскому трактату (январь 1784 г.), признававшему передачу Крыма России.
[347] См. т. 1 настоящего труда.
[348] Chaudhuri K. N. *The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660—1760*. 1978, p. 17.

образом, как раз на путях мекканских караванов приобретали максимальную ценность венецианские цехины и испанские пиастры[349], которые сопутствовали отправке европейских и средиземноморских товаров, сукна и кораллов. Даже в 70-е годы XVIII в. красноморская торговля, находившаяся прежде всего в руках индийских купцов, обеспечивала значительную, решающую долю снабжения золотом и серебром Сурата. У нас есть тому многочисленные доказательства. В 1778—1779 гг. один индийский корабль привез из Мохи 300 тыс. рупий золотом, 400 тыс. серебром, плюс 100 тыс. в жемчуге; другой корабль доставил 500 тыс. рупий в золоте и серебре. Историк Средиземноморья испытывает удивление, обнаруживая в конце XVIII в. ситуацию, существовавшую в веке XVI: золотая и серебряная монета, самый избранный из всех товаров, продолжала приходить в Индийский океан самым коротким путем[350]. Быть может, также самым надежным?

В противоположном направлении двигателем обменов все более и более становился кофе Южной Аравии. Моха была кофейным центром и вместе с Джиддой стала крупнейшим портом Красного моря. Туда приходили корабли из Индийского океана с купцами и товарами со всего Дальнего Востока. Естественно, тут фигурировали пряности. Правда, один отчет от мая 1770 г. повторял, что «снадобья и пряности» по Красному морю перестали идти транзитом «полностью около 1630 г.»[351]. Это не мешало тому, что каждый год десять кораблей, отправившихся из Индийского океана, из Каликута, Сурата или Масулипатама, или еще какой-нибудь португальский корабль, снявшийся с якоря в Гоа, приходили в Моху, груженные перцем, корицей, мускатным орехом или гвоздикой. И пряности эти сопровождали грузы кофе, все более и более обильные, прибывавшие в Джидду и в Суэц.

Следует ли полагать, что они не шли дальше? В Каире, на рынке, который французы предпочитали Александрии или Розетте и где насчитывалось тридцать французских негоциантов, «...число индийских купцов,— объяснял один из французских купцов,— беспредельно в [торговле] кофе, ладаном, гуммиарабиком, алоэ всех видов, александрийским листом, тамариндом, шафраном, мирром, страусовыми перьями, всевозможным полотном, хлопком, тканями и фарфоровыми изделиями»[352]. Список не содержит пряностей — это факт. Но Красное море узнало новое процветание благодаря кофе, товару, сделавшемуся «царским». Переправленный через Александрию или Розетту, кофе быстрее доходил к клиентам турецким и европейским, чем в трюмах больших кораблей Ост-Индских компаний, которые, однако же, на обратном пути часто делали крюк, заходя в Моху. Практически вольный город, хозяйка вольного рынка, место обновления левантинской торговли, Моха посещалась многочисленными судами из Индийского океана. Невзирая на то что твердят нынешние историки и документы прошлого, мы бьемся об заклад, что какое-то количество перца и пряностей попадало в Средиземноморье еще и через Джидду.

Во всяком случае, Суэц, Египет и Красное море вновь вызывали вожделения европейцев. И в Константинополе и в Каире

[349] A. E., M. et D. Turquie, 11, f^os 131—151, 1750 г.
[350] Furber H. *Op. cit.*, p. 166.
[351] A. E., M. et D. Turquie, 11, f° 162.
[352] *Ibid.*, f° 151, 1750 г.

шли яростные склоки между французами и англичанами[353]. Кто во Франции и даже за ее пределами не мечтал прорыть Суэцкий канал? В недатированной памятной записке было предусмотрено все: «Следовало бы расквартировать работников, [кои бы рыли] канал, в бараках, запираемых вечером ради безопасности. А для того чтобы сии работники могли бы быть узнаваемы в любых случаях, было бы благоразумно всех их — мужчин, женщин и детей — одеть единообразно: плащ красного цвета, белый тюрбан, коротко остриженные волосы»[354]. Французский посол г-н де Ла Э просил у Великого турка разрешения на свободное плавание по Красному морю «и даже на создание там поселений»[355]. Тщетно. Но осторожная и упорная английская Ост-Индская компания была озабочена возможным возобновлением древнего пути через Левант. В 1786 г. она назначила агента в Каир[356]. В том же году французский полковник Эдуар Дийон с благословения египетских «беев» отправился в экспедицию, дабы разведать возможное «открытие сообщений с великой Индией по Красному морю и Суэцкому перешейку»[357]. Симолин, посол Екатерины II в Париже, сообщал об этом императрице. «Сколько я знаю сего эмиссара,— добавлял он,— он представляется весьма ограниченным в своих взглядах и познаниях». Итак, много шума из ничего? Во всяком случае, придется ждать еще столетие, до 1869 г., чтобы прорытие Суэцкого канала и возобновление старого средиземноморского пути в Индию стало реальностью.

[353] Furber H. *Op. cit.*, p. 66.
[354] A. E., M. et D. Turquie, 11, f^os 70 — 70 v°.
[355] *Ibid.*, f° 162.
[356] Москва, АВПР, 35/6, 371, л. 32.
[357] Там же, 93/6, 438, л. 81.

КУПЦЫ НА СЛУЖБЕ ТУРОК

Экономическую империю, составлявшую основу Турецкой империи, защищала тьма купцов, которые ограничивали проникновение людей с Запада, противодействовали ему. На Леванте Франция марсельцев — это были, пожалуй, 40 «контор», стало быть, штаб самое большее из 150—200 человек; и так же точно обстояло дело с другими «нациями» в левантинских «гаванях» (*Echelles*). Изо дня в день сделки обеспечивали купцы арабские, армянские, еврейские, индийские, греческие (под этим последним наименованием надлежит разуметь, помимо настоящих греков, также македонцев, румын, болгар, сербов) и даже турки, хоть этих последних очень слабо соблазняла коммерческая карьера. Повсюду кишели странствующие торговцы, продавцы в розницу, лавочники в тесных лавчонках, комиссионеры, выходцы из любой географической и этнической среды и любого социального положения. Откупщики налогов, крупные купцы, настоящие негоцианты, способные ссужать деньги правительству, не заставляли себя упрашивать. Ярмарки, мощные скопления людей, где совершались дела на миллионы пиастров, организовывали непрерывные потоки людей, товаров, вьючных животных.

На таком активном внутреннем рынке, где людей было невероятное обилие, западный купец не располагал свободой рук. У него был доступ на определенные *рынки* — Модон, Волос, Салоники, Стамбул, Смирна, Алеппо, Александрия, Каир... Но



Вид площади и фонтана Топхане в Стамбуле. *Фото Национальной библиотеки.*

в соответствии со старинной моделью левантинской торговли ни один из таких рынков не приводил в соприкосновение венецианского или голландского, французского или английского купца даже с последним в цепи перекупщиков. Западные купцы действовали только через посредников либо еврейских, либо армянских, «с коих не следует спускать глаз».

И более того, восточные купцы не оставляли на долю европейцев экспортную торговлю с Западом. С XVI в. они обосновались в итальянских городах на Адриатике. В 1514 г. Анкона даровала привилегии грекам из Валоны, с залива Арта и из Янины: ее *Мучной двор (palatio della farina)* сделался *Двором турецких купцов и прочих мусульман (Fondaco dei mercanti turchi et altri musulmani)*. Одновременно с ними внедрялись купцы еврейские. В конце столетия произошло нашествие восточных купцов на Венецию, Феррару, Анкону, даже на Пезаро [358], на Неаполь и ярмарки Южной Италии. Вероятно, самыми любопытными среди них были греческие купцы и мореходы, контрабандисты или честные торговцы, при случае также и пираты — уроженцы островов, практически не имеющих пахотной земли, обреченные на рассеяние. Два столетия спустя, в октябре 1787 г., русский консул в Мессине отмечал прохождение через пролив каждый год «шестидесяти и более... [греческих] судов, на-

[358] См. Предисловие Луиджи Челли (Celli L.) к кн.: *Due Trattati inediti di Silvestro Gozzolini da Osimo, Economista e Finanziere del sec. XVI.* 1892, p. 8.

правляющихся в Неаполь, Ливорно, Марсель и другие гавани Средиземного моря»[359]. Когда продолжительный кризис, связанный с Французской революцией и Империей (1793—1815 гг.), уничтожит французскую левантинскую торговлю, место, оставшееся вакантным, займут греческие купцы и мореплаватели. К тому же этот успех сыграл свою роль в зарождении близкой независимости самой Греции.

[359] Москва, АВРП, октябрь 1787 г. (ссылка неполная).

Менее эффектна, но не менее любопытна была в XVII в. *диаспора* «православных» купцов во всех землях, уступленных Габсбургам по Белградскому договору 1739 г., который перенес границу Австрии и Венгрии к Саве и Дунаю. Венское правительство старалось колонизовать завоеванные территории: деревни заселялись вновь, возникали города, еще незначительные, и греческие купцы завоевывали это новое пространство. В своем рывке они преодолевали его границы. Их встречаешь по всей Европе, на Лейпцигских ярмарках пользующимися удобствами кредита, предлагавшегося Амстердамом, встречаешь их даже в России, даже, как мы уже говорили, в Сибири[360].

[360] Benyowski M.-A., de. *Op. cit.*, I, p. 51.

УПАДОК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И УПАДОК ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Сам собой возникает вопрос: эти купцы, были ли они иноземцами внутри Турецкой империи? Были ли они творцами выживания турецкой экономики, как то полагаю я, или же крысами, готовыми бежать с корабля? Вопрос этот возвращает нас к вызывающей раздражение проблеме турецкого упадка, проблеме, к сожалению не получившей решения.

На мой взгляд, откровенный упадок Турецкой империи наступит лишь с первыми годами XIX в. Если бы требовалось предложить более точные датировки, мы выбрали бы 1800 г. для балканского пространства — самой оживленной зоны империи, той, что поставляла основную часть вооруженных сил и налогов, но и подвергалась наибольшей угрозе; для Египта и Леванта — пожалуй, первую четверть XIX в.; для Анатолии — где-то около 1830 г. Таковы выводы прекрасной, но и заслуживающей критики статьи Анри Исламоглу и Чаглара Хидера[361]. Если эти даты обоснованны, то продвижение европейского мира-экономики (в одно и то же время ухудшающее и перестраивающее) развивалось постепенно от самого оживленного региона — Балкан — к регионам с меньшей жизненной энергией — Египту и Леванту,— чтобы завершиться менее всего развитым и, значит, менее всего чувствительным к процессу регионом — Анатолией.

[361] Islamoglu H., Keyder Ç. *Agenda for Ottoman History.* — «*Review*», 1, 1977, p. 53.

Оставалось бы узнать, была или не была первая треть XIX в. периодом, когда процесс упадка Османской империи ускорился в политическом плане. Это опасное слово *«упадок»*, слишком часто не сходящее с уст специалистов по османской Турции, вводит в игру столько факторов, что все запутывает под предлогом объяснения всего. Вне сомнения, если бы совместная деятельность Австрии, России, Персии и в какой-то момент

Венеции могла бы получить полное развитие, то раздел Турции, аналогичный разделам Польши, может быть, оказался бы возможным. Но Турция была организмом куда более крепким, чем Польская республика. И была передышка в эпоху революционных и императорских войн, правда с рискованной интермедией в виде Египетской экспедиции.

Нам говорят, будто слабостью, погубившей Турцию, была ее немощь в овладении военной техникой Европы. Во всяком случае, эта неудача становится вполне ясной лишь при ретроспективном взгляде. Симолин, посол Екатерины II в Версале, в марте 1785 г. протестовал против непрекращавшихся отправок французских офицеров в Турцию[362], и Верженн ответил ему, что дело касается «слишком малых средств», чтобы из-за этого тревожиться. То был ответ дипломата, но если русское правительство беспокоилось, то потому, что оно не настолько было уверено в своем превосходстве над турками, как сообщают то нам историки. 5 июля 1770 г. при Чесме у острова Хиос флот Орлова сжег все турецкие фрегаты, слишком высоко сидевшие на воде и представлявшие идеальные мишени для выпускаемых в них ядер и брандскугелей[363]. Но русский флот был укомплектован английскими офицерами, и затем он оказался неспособен произвести сколько-нибудь значительную высадку войск. Турецкая артиллерия оставляла желать лучшего, это определенно, но для мыслящих русских, таких, как Семен Воронцов, было ясно, что их-то артиллерия сто́ит не больше. Беда или беды, которые подрывали Турцию, были сразу разного порядка: государству более не повиновались; те, кто на него работал, получали жалованье по старым ставкам, в то время как стоимость жизни росла: они «компенсировали себя казнокрадством»; денежная масса была, вероятно, недостаточной, во всяком случае, экономика мобилизовывалась плохо. Но ведь проводить реформы, обороняться и в то же время перестраивать армию и флот — это была работа, рассчитанная на длительное время, которая потребовала бы больших затрат, соотнесенных с размерами столь тяжеловесного массива.

В феврале 1783 г. новый великий визирь не заблуждался на сей счет. Первым его решением было: «Возвратить в лоно империи владения Великого турка, отчужденные во время последней войны в правление султана Мустафы. Это дало бы 50 млн. пиастров к выгоде правительства. Но сии отчужденные владения ныне находятся в руках самых высоких и богатых особ империи, каковые используют все свое влияние, дабы обречь сей проект на неудачу, у султана же отсутствует какая бы то ни была твердость»[364]. Эта информация, пришедшая из Константинополя и переправленная дальше неаполитанским консулом в Гааге, примыкает к соображениям, которые недавно высказывал Мишель Морино по поводу ограниченности сумм, подлежавших обложению: «С наступлением неудач финансовые нужды [Османской] империи росли, фискальный нажим на население становился более сильным, и, коль скоро население это для получения пиастров, необходимых при уплате повинностей, не располагало почти ничем, кроме своих продаж за границей, оно наспех «сбывало» («*bazardent*») свои товары. Мы не-

[362] Москва, АВПР, март 1785 г. (ссылка неполная).
[363] *Handbuch der europäischen Geschichte.* Hrsg. T. Schieder, S. 771.
[364] A. d. S. Napoli, Affari Esteri, 805.

далеки здесь от извращенности торгового баланса, о которой напоминали в применении к Китаю в XX в.»[365].

В таком пребывавшем в затруднении мире погребальным звоном прозвучит триумфальное вступление в него индустриализованной, подвижной и ненасытной Европы, продвигавшейся вперед, не всегда это сознавая. Следовало бы еще раз обратиться к предлагавшейся хронологии, не доверяясь высказываниям современников, ибо Европа XVIII в. уже начинала легко предаваться спеси. В 1731 г. один автор, не заслуживающий бессмертия, писал: «Против сей нации [Османской империи], что не соблюдает никакой дисциплины, никаких правил в своих сражениях, потребен лишь счастливый момент, дабы прогнать ее [я полагаю, из Европы], как стадо баранов»[366]. Двадцать пять лет спустя шевалье Гудар не видел более даже необходимости в «счастливом моменте»: «Нужно только договориться относительно наследия Турка,— пишет он,— и говорить о сей империи более не придется»[367]. Какая абсурдная претензия! В конечном счете именно промышленная революция одолеет империю, которой оказалось недостаточно своей энергии, чтобы освободиться от своих архаических черт и тяжелого наследия.

[365] Машинописный текст сообщения М. Морино (Morineau M.) на Неделе Прато (1977, с. 27).
[366] Rousset J. *Les Intérêts présens des puissances de l'Europe.* 1731, I, p. 161.
[367] Goudar A. *Les Intérêts de la France mal entendus...*, 1756, I, p. 5.

САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ИЗ МИРОВ-ЭКОНОМИК: ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Дальний Восток[368], взятый в целом,— это три огромных мира-экономики: мир ислама, который опирался (в сторону Индийского океана) на Красное море и Персидский залив и контролировал нескончаемую цепь пустынь, пронизывающих массив Азиатского континента от Аравии до Китая; Индия, которая простирала свое влияние на весь Индийский океан как к западу, так и к востоку от мыса Коморин; Китай, одновременно сухопутный (он вырисовывался вплоть до самого сердца Азии) и морской (он господствовал над окраинными морями Тихого океана и над странами, которые те омывают). И так было всегда.

Но разве нельзя для XV—XVIII вв. говорить об *едином* мире-экономике, который бы включал более или менее все их три? Дальний Восток, располагавший благодаря муссонам и пассатам регулярностью и удобством сообщений, образовывал он или не образовывал сплоченный мир с господствовавшими центрами, сменявшими друг друга, со связями широкого радиуса, с торговлей и ценами, сцепленными друг с другом? Именно такое возможное соединение, грандиозное и хрупкое, прерывистое, и представляет подлинный сюжет нижеследующих страниц.

Прерывистый, потому что соединение этих безмерных пространств проистекало из более или менее эффективного колеба-

[368] Для этого раздела я особенно воспользовался работами Джорджо Борсы (Borsa G. *La Nascità del mondo moderno in Asia Orientale.* 1977) и Мишеля Девеза (Devèze M. *L'Europe et le monde...*).

ния коромысла весов в ту или другую сторону от Индии, занимающей центральное положение: коромысло перевешивало то в пользу востока [региона], то в пользу запада [региона] и перераспределяло задачи, превосходство, политические и экономические подъемы. Тем не менее через все эти случайности Индия сохраняла свое положение: ее купцы из Гуджарата, с Малабарского берега, с Коромандельского берега на протяжении столетий одерживали верх над толпой конкурентов — над арабскими купцами Красного моря, персидскими купцами с иранского побережья и Персидского залива, китайскими купцами, завсегдатаями морей Индонезии, где они привили тип своих джонок. Но случалось также, что коромысло не функционировало или же расстраивалось; тогда околоазиатское пространство обнаруживало склонность более, чем обычно, дробиться на автономные регионы.

Главным в такой упрощенной схеме было двойное движение, то к выгоде запада — ислама, то к выгоде востока — Китая. Любой натиск двух этих экономик, с одной и с другой стороны Индии, влек за собой движения чрезвычайного размаха и зачастую многовековой продолжительности. Если чаша весов склонялась в пользу запада, мореходы из Красного моря и (или) Персидского залива заполняли Индийский океан, пересекали его весь и появлялись, как то было в VIII в., перед Кантоном — Ханфу арабских географов [369]. Если выходил за свои пределы всегда сдержанный Китай, то моряки с его южных берегов добирались до Индонезии, которую никогда не упускали из виду, и до так называемой «второй» Индии, к востоку от мыса Коморин... И ничто бы им не помешало пойти дальше.

В течение тысячелетия, предшествовавшего XV в., история была всего лишь монотонным повторением: появлялась оживленная гавань, утверждалась на берегах Красного моря, ее сменяла другая, по соседству, идентичная предшествующей. Точно так же сменяли друг друга порты на берегах Персидского залива, вдоль берегов Индии; то же самое происходило среди островов и полуостровов Индонезии; морские зоны тоже сменяли одна другую. Пусть так, но от перемены к перемене история в основе оставалась одной и той же.

Начало XV в., которым открывается настоящий труд, было отмечено восстановлением Китая, который династия Мин освободила от монголов (начиная с 1368 г.), и поразительного размаха морской экспансией — событием, часто оспариваемым, все еще таинственным в наших глазах, как в своем зарождении, так и в своей приостановке около 1435 г.[370] Экспансия китайских джонок, добиравшихся до Цейлона (Ланки), Ормуза и даже до африканского Берега Зинджей [371], вытеснила (по крайней мере пошатнула) мусульманскую торговлю. Впредь слышнее будет голос востока, а не центра или запада. И это был именно тот момент, когда, как я попробую предположить, центр колоссального супермира-экономики стабилизируется в Индонезии, там, где оживятся такие города, как Бантам, Ачех, Малакка, а много позже — Батавия и Манила.

Может показаться абсурдным приписывать такую роль этим индонезийским городам, определенно не бывшим сли-

[369] Lombard M. *L'Islam dans sa première grandeur*. 1971, p. 22.
[370] См. т. 1 настоящего труда (издание 1967 г.), с. 309.
[371] Так арабы обозначали побережье у югу от Сомали и до Мозамбика (*зинджи* означает *«черные люди»*).



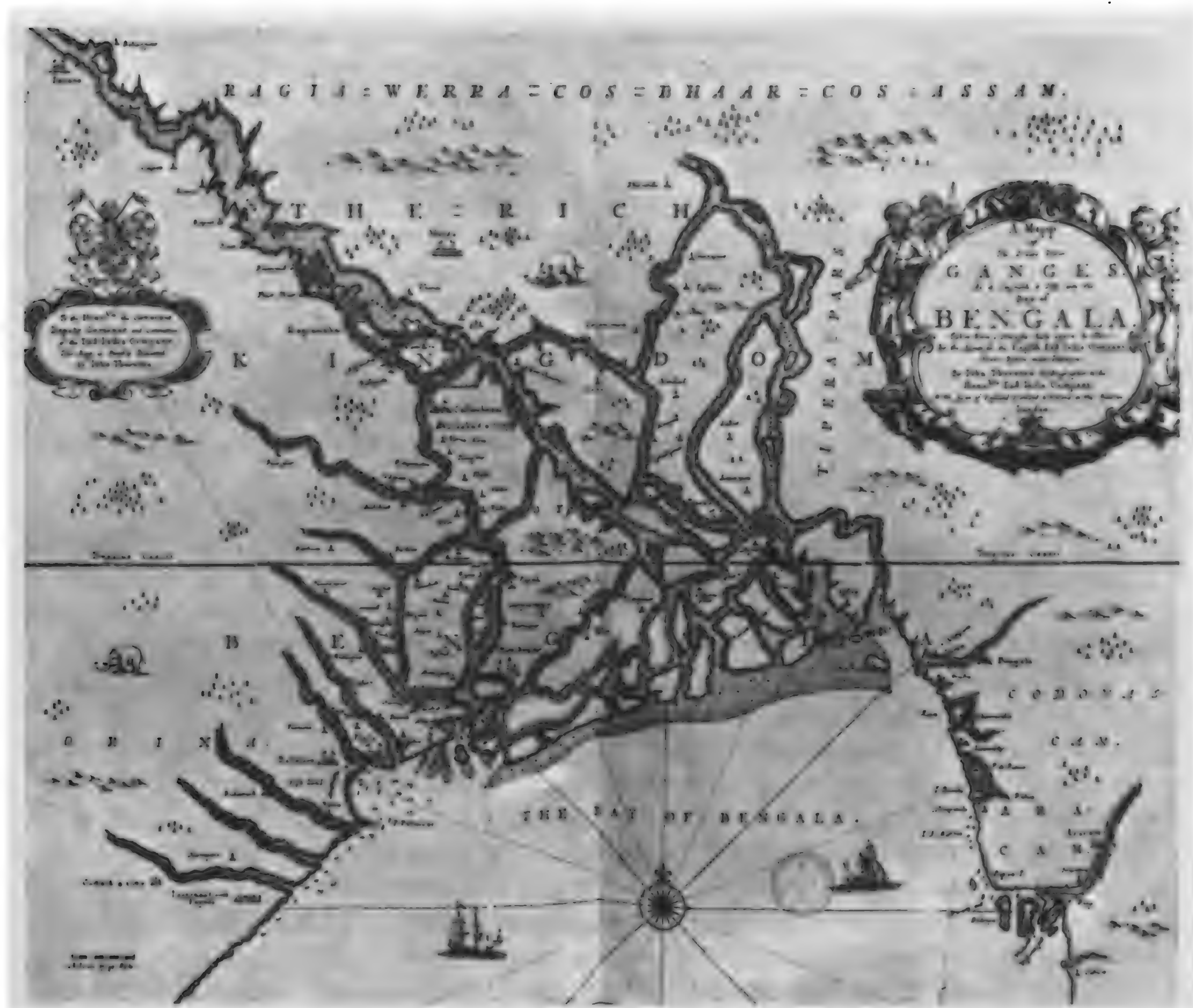
Транспортное судно арабского типа, сфотографированное ныне в порту Бомбея. Суда такого типа по-прежнему связывают Индию с берегами Аравии и с Красным морем. *Фото Ф. Куиличи.*

шком крупными. Но Труа, Провен, Бар-сюр-Об, Ланьи тоже были во времена ярмарок Шампани очень небольшими городами; однако же, будучи расположены в привилегированном и сделавшемся обязательным месте пересечения путей из Италии во Фландрию, они утвердили себя как центр очень обширного торгового целого. Разве не таким было долгие годы само положение индонезийского перекрестка, его торговых ярмарок, длившихся месяцами в ожидании изменения направления муссона, которое позволило бы купцам вернуться к пунктам их отправления? Может даже быть, что эти индийские города, как и торговые города Европы средних веков, извлекали пользу из того факта, что они не были жестко включены в слишком могущественные политические образования. Невзирая на царей или «султанов», которые ими управляли и поддерживали в них порядок, то были города почти автономные: будучи открытыми вовне, они ориентировались по воле торговых потоков. Так что, когда Корнелиус Хаутман, случайно или по предварительному расчету, прибыл в 1595 г. в Бантам, он с самого начала

оказался в комплексном центре Дальнего Востока. Он попал в десятку.

В конце концов, благоразумно ли мне, историку, пытаться собрать в одно целое недостаточно разведанные исследователями кусочки истории? Это правда, что они еще плохо известны, но лучше, чем вчера. Правда и то, что стерся в свое время выведенный на первый план Я. К. Ван Люром[372] старинный образ этих азиатов, чудесных торговцев вразнос, переносящих в своем скудном багаже товары высокой ценности при малом объеме: пряности, перец, жемчуг, благовония, наркотики, алмазы... Реальность была очень отличной от этого. Мы без конца будем встречать от Египта до Японии капиталистов, получателей рент с крупной торговли, крупных купцов, тысячи исполнителей, комиссионеров, маклеров, менял, банкиров. И с точки зрения орудий, возможностей или гарантий обмена никакая из этих купеческих групп не уступала своим собратьям на Западе. В Индии и за ее пределами купцы — *тамилы*[373], *бенгали, гуджарати* — образовывали узкие ассоциации, и их дела, их контракты переходили от одной группы к другой, как в Европе от флорентийцев к жителям Лукки и генуэзцам, или к немцам из Южной Германии, или к англичанам... Со времен раннего средневековья в Каире, в Адене и в портах Персидского залива существовали даже «цари купцов»[374].

[372] Van Leur J. C. *Indonesian Trade and Society*. 1955.
[373] Тамилы живут в Южной Индии и на Цейлоне (Ланке).
[374] Lewis A. R. *Les marchands dans l'océan Indien*. — «*Revue de l'histoire économique et sociale*», 1976, p. 448.



Громадных размеров дельта Ганга, рисованная для Ост-Индской компании Джоном Торнтоном в начале XVIII в. *Фото Национальной библиотеки.*

Так все более и более ясно является нашему взору «сеть морских торговых операций, сопоставимых по их разнообразию и их объему с торговлей Средиземноморья или северных и приатлантических морей Европы»[375]. Здесь все перемешивалось, все встречалось: предметы роскоши и заурядные товары, шелк, пряности, перец, золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, опиум, кофе, рис, индиго, хлопок, селитра, тиковое дерево (для судостроения), персидские лошади, цейлонские слоны, железо, сталь, медь, олово, феерические ткани для сильных мира сего и грубые холсты для крестьян островов пряностей или для негров Мономотапы...[376] Торговля «из Индии в Индию» присутствовала задолго до появления европейцев, ибо дополнявшая друг друга продукция притягивалась, компенсировала одна другую; в дальневосточных морях такая продукция вдохновляла непрестанные кругообороты, анологичные кругооборотам морей европейских.

[375] *Ibid.*, p. 455.
[376] *Ibid.*, p. 455—456.

ЧЕТВЕРТЫЙ МИР-ЭКОНОМИКА

Три мира-экономики — это уже многовато. С вторжением европейцев к ним примешался четвертый, тот, что может быть занесен в актив португальцев, голландцев, англичан, французов и некоторых других. Приход Васко да Гамы в Каликут 27 мая 1498 г. открыл им двери. Но этим европейцам не по силам было мгновенно включиться в незнакомый мир, который им приходилось открывать, несмотря на сенсационные сообщения некоторых западных путешественников, их знаменитых предшественников. Азия останется для европейцев озадачивающей, какой-то другой планетой: другие растения, другие животные[377], другие люди, другие цивилизации, другие религии, другие формы общества, иные формы собственности[378]. Здесь все принимало новый облик. Даже реки там не походили на европейские водные потоки. То, что на Западе было пространственным величием, становилось пространственной необъятностью. Города представали как громадные скопления народов. Странные цивилизации, странные общества, странные города!

И этих далеких стран достигали после месяцев трудного плавания. Четвертый мир-экономика оказывался здесь зачастую авантюрным за пределами благоразумного. Ближневосточные базы (которые христианин некогда, в эпоху крестовых походов, попытался захватить) давали мусульманским государствам и купцам возможность вмешиваться в дела Индийского океана по своему усмотрению и с позиций силы. Тогда как европейские корабли доставляли лишь контингенты смехотворные в сравнении с числом и размерами обществ и территорий Азии. Никогда, даже во времена самых блистательных своих успехов, Европа не будет располагать так далеко от своего дома преимуществом количества. Португальцев было в XVI в. самое большее 10 тыс. от Ормуза до Макао и Нагасаки[379]. Долгое время будут малочисленны и англичане, несмотря на ранний размах их успехов: около 1700 г. в Мадрасе было 114 англий-

[377] Lach D. F. *Asia in the Making of Europe*. 1970, I, p. 19.
[378] Venturi F. *L'Europe des Lumières, recherches sur le XVIIIe siècle*. 1971, p. 138—139.
[379] Simkin C. G. F. *Op. cit.*, p. 182.

ских «гражданских лиц», в Бомбее их было 700—800, в Калькутте — 1200[380]. Французский пост Маэ, правда из числа самых второстепенных, насчитывал в сентябре 1777 г. 114 европейцев и 216 сипаев[381]. К 1805 г. во всей «Индии было не более 31 тыс. англичан», т. е. крохотная группка, даже если она и была способна господствовать над огромной страной[382]. В конце XVIII в. голландская Ост-Индская компания насчитывала в метрополии и на Дальнем Востоке самое большее 150 тыс. человек[383]. Даже если допустить, что за морем служило намного меньше половины их, то это был рекорд. Добавим, что *собственно европейские* войска во времена Дюплекса и Клайва были крохотными по численности.

[380] Borsa G. *Op. cit.*, p. 31.
[381] A. N., Colonies, C², 254, f° 15 v°.
[382] Dermigny L. *La Chine et l'Occident*..., II, p. 696.
[383] См. выше, с. 224
[384] Simond L. *Voyage d'un Français en Angleterre*..., II, p. 280.
[385] Jacquemont V. *Voyage dans l'Inde*..., 1841—1844, p. 17.

Разница между *очевидными* средствами и результатами европейского завоевания бросается в глаза. «Случайный поворот или же дуновение общественного мнения,— писал в 1812 г. один американец французского происхождения,— могли бы растворить английскую власть в Индии»[384]. Спустя двадцать лет, в 1832 г., Виктор Жакмон повторил и подчеркнул это же мнение: «На этой странной фабрике английского могущества в Индии все искусственно, анормально, исключительно»[385]. Слово «искусственно» — не уничижительно, «искусственность» означала также интеллект, здесь это означало успех. Горстка европейцев навязывала свою власть не одной только Индии, но всему Дальнему Востоку. Они не должны были бы добиться удачи, однако они ее добились.

ИНДИЯ, ЗАВОЕВАННАЯ САМОЙ ИНДИЕЙ

Прежде всего, европеец никогда не бывал один. Вокруг него хлопотали тысячи рабов, слуг, помощников, компаньонов, сотрудников, в сто, в тысячу раз более многочисленные, чем те, кто еще не стали господами. Так, европейские корабли, занимавшиеся *местной торговлей (country trade)*, со времен португальцев имели смешанные команды, где большинство составляли местные моряки. Даже корабли, ходившие на Филиппины, использовали «мало испанцев, но много малайцев, индусов, метисов-филиппинцев»[386]. Корабль, который в 1625 г. вез отца Лас Кортеса из Манилы в Макао и который, не дойдя до цели, потерпел крушение у кантонского побережья, насчитывал в своем экипаже не меньше 37 ласкаров[387]. Когда в июле 1690 г. французский флот под командованием племянника Дюкена * захватил голландский транспорт «Монфор де Батавиа» на широте Цейлона (Ланки), среди добычи фигурировали «двое ласкари, или черных рабов, кои ужасны. Сии несчастные скорее бы дали уморить себя голодом, чем притронулись бы к тому, чего касался [понимай: что приготовил] христианин»[388].

Совершенно таким же образом те армии, что Компании в конце концов станут содержать, в огромном большинстве своем были туземными. К 1763 г. в Батавии на 1000—1200 европейских солдат «всех наций» приходилось от 9 до 10 тыс. малайских вспомогательных войск плюс 2 тыс. солдат-китайцев[389]. Кто смог открыть в Индии (да надо ли было от-

[386] Devèze M. *Op. cit.*, p. 223.
[387] British Museum, Sloane 1005.
* Дюкен Авраам (1610—1688) — французский флотоводец, прославившийся в войнах во время правления Людовика XIV. — *Прим. перев.*
[388] Challes R. *Voyage aux Indes*..., p. 436.
[389] A. N., Colonies, C², 105, f° 233.

крывать) для европейцев чудесное и простое решение [в виде найма] сипаев, т. е. средство завоевать Индию *вместе* с индийцами и *руками* индийцев? Был ли это Франсуа Мартен [390], был ли это Дюплекс? Или англичане, по поводу которых один современник (но, разумеется, француз) утверждал, что они «набирают [сипаев], подражая г-ну Дюплексу»? [391]

Точно так же люди Дальнего Востока присутствовали в самом сердце торговых предприятий. Тысячи туземных посредников осаждали человека из Европы, навязывали ему свои услуги — от египетских мавров и вездесущих армян до бания, евреев Мохи и кантонских, амойских и бантамских китайцев; и не следует забывать *гуджарати*, или торговцев Коромандельского берега, или яванцев — зубастых помощников, которые буквально окружали португальцев во время их первых вторжений на острова пряностей. Но разве же это не логично? В 1641 г. в Кандагаре, куда занесла Манрике его страсть к путешествиям, один купец-индус, принявший нашего испанца за португальца, предложил ему свои услуги, «ибо,— объяснял он ему,— как люди вашей нации не говорят на языке сей страны, вы непременно встретитесь с трудностями, ежели не найдете никого, кто бы вами руководил...» [392]. Помощь, сотрудничество, сговор, сосуществование, симбиоз — все это делалось необходимым с течением дней, и местный купец, ловкий, дьявольски экономный, довольствующийся в своих долгих поездках небольшим количеством риса, был столь же неискореним, как пырей. К тому же с Сурате служащие *(servants)* английской Компании чуть ли не с самого начала спелись с крупными кредиторами этого рынка, ссужавшими деньги на рискованные предприятия. И сколько раз различные английские фактории — что Мадрас, что Форт Уильям — с разрешения лондонских директоров брали деньги взаймы у купцов Индии! В 1720 г. [393], во время кризиса с нехваткой звонкой монеты, который свирепствовал в Англии в момент скандала с Компанией Южных морей *(South Sea Bubble)*, Ост-Индская компания, чтобы иметь наличные деньги, сделала займы в Индии и от этого прекрасно себя почувствовала, поскольку выпуталась из дела так же быстро, как попала в затруднения. В 1726 г., когда французская [Ост-Индская] компания начала приходить в себя, она воздержалась от того, чтобы вновь завязывать дела в Сурате, где задолжала бания миленькую сумму в четыре миллиона рупий [394].

Итак, невозможно было освободиться от этих сотрудников, необходимых в той самой мере, в какой они занимали поле деятельности и создавали богатство. Один отчет от 1733 г. гласил, что Пондишери не станет процветающим рынком, «ежели не найти средство привлечь туда негоциантов, кои будут в состоянии вести торговлю сами по себе» [395]. Конечно же, негоциантов, откуда бы они не взялись, и особенно индийских. Впрочем, разве можно было бы построить Бомбей без парсов и бания? Чем бы был Мадрас без армян? Англичане без конца использовали местных купцов и банкиров в Бенгалии, как и в остальной Индии. И только когда британское господство в Бенгалии было полностью обеспечено, туземные капиталисты Калькутты были грубо устранены из самых прибыльных сфер деятельно-

[390] Франсуа Мартен (1640—1706) — генерал-губернатор владений [Ост]-Индской компании, начиная с 1701 г.
[391] A. N., Colonies, C^2, 105, f[os] 256, v° — 257.
[392] Maestre Manrique. *Op. cit.*, p. 398.
[393] Chaudhuri K. N. *Op. cit.*, p. 447—448.
[394] A. N., A. E., B III, 459.
[395] A. N., Colonies, C^2, 75, f° 165.

сти (банки, внешняя торговля) и оказались вынуждены избрать ценности-убежища (землю, ростовщичество, взимание налогов или даже, около 1793 г., покупку «большей части обязательств (*obligations*) Британской Ост-Индской компании»[396]. Но в это же самое время в Бомбее, где все еще предстояло построить, англичане остерегались устранять купцов-парсов, гуджаратцев и мусульман, которые скапливали там громадные состояния на внешней торговле и как собственники торгового флота этого порта (вплоть до установления к 1850 г. пароходного сообщения)[397]. В конечном счете, несмотря на несколько попыток, английский банк не сможет добиться полного исчезновения *хунди (hundi)* — векселя индийских менял — *саррафов*, признака свободы действий, какой последние располагали, и прочной банковской организации, из которой англичане, прежде чем попытаться ее элиминировать, долгое время извлекали прибыль.

[396] Речь, несомненно, о *bonds* — краткосрочных займах Компании. См.: Panchanam S. *Einige Probleme der kapitalistischen Entwicklung Indiens im 19. Jahrhundert*. — «*Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte*», 1970, I, S. 155—161.

[397] Pavlov V. I. *Historical Premises for India's Transition to Capitalism*. 2d ed., 1978, p. 326—332.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО, СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ?

Нам говорят, что Европа, Америка, Африка, Азия дополняют друг друга. Столь же справедливо было бы утверждать, что мировая торговля старалась сделать их взаимодополняющими и часто в этом преуспевала. Дальний Восток в целом не воспринял европейские изделия с тем неистовством, с тем аппетитом, какие Запад очень рано обнаружил по отношению к перцу, пряностям или шелку. Поскольку торговый баланс требует, чтобы один предмет пристрастия обменивался на другой, Азия со времен Римской империи приняла эту игру лишь в обмен на драгоценные металлы, золото (предпочитаемое на Коромандельском береге) и в особенности серебро. В частности, Китай и Индия сделались, как это уже сотню раз говорилось, кладбищем драгоценных металлов, которые обращались по всему свету. Эти металлы поступали туда и более оттуда не выходили. Такая любопытная константа предопределяла для Запада кровотечение в виде драгоценных металлов, уходивших на Восток, в чем некоторые хотят видеть слабость Европы к выгоде Азии и в чем я усматриваю, как я уже говорил, средство, какое использовали европейцы в Азии, как и в других местах, и даже в Европе, чтобы открыть себе особенно доходный рынок. И средство это в XVI в. приобретет необычный размах благодаря открытию Америки и подъему добычи на рудниках Нового Света.

Белый металл Америки достигал Дальнего Востока тремя путями: дорогой через Левант и Персидский залив (относительно которой историки Индии открыли нам, что еще в XVII и XVIII вв. она была самой важной, в том что касается их страны), дорогой вокруг мыса Доброй Надежды и дорогой манильских галионов. Совершенно особый случай Японии (она обладала месторождениями серебра, которые порой играли роль во внешних обменах) мы оставляем в стороне; почти весь белый металл, что обращался на Дальнем Востоке, был европейского происхождения, т. е. американский. Следовательно, рупии, ко-



Штурм и взятие голландцами в 1606 г. Тидоре, одного из Молуккских островов, удерживавшегося португальцами. В правой части документа шлюпки доставляют на берег штурмующие войска. *Собрание фонда «Атлас ван Столк».*

торые какой-нибудь европеец занимал у индийского менялы или банкира, были в итоге некоей расплатой: то был белый металл, более или менее давно импортированный европейской торговлей.

Но ведь (мы еще вернемся к этому) такое поступление драгоценных металлов было необходимым для функционирования оживленнейшей экономики Индии и, вне сомнения, экономики Китая. Когда индийские корабли, приплыв из Сурата в Моху, по какому-то неудачному стечению обстоятельств не встречались там с кораблями Красного моря, груженными золотом и серебром, то в Сурате, долго бывшем господствующим центром индийской экономики, наступал кризис. В этих условиях не будет преувеличением полагать, что Европа, вкладывавшая в азиатскую торговлю лишь свою страсть к роскоши, держала в руках благодаря белому металлу регулятор экономик Дальнего Востока, что она занимала по отношению к ним позицию силы. Но ощущалось ли это превосходство, использовалось ли оно сознательно? В этом мы усомнимся. Европейские купцы для продолжения своей прибыльной торговли с Азией сами находились во власти поступления в Кадис американского серебра, всегда нерегулярного, порой недостаточного. Необходимость изыскивать любой ценой монеты, потребные азиатской торговле, могла восприниматься только как рабская зависи-

[398] Chaudhuri K. N. *Op. cit.*, p. 455.
[399] *Ibid.*, p. 456.

мость. Особенно с 1680 по 1720 г.[398] металл сделался сравнительно редок, его цена на рынке превышала цену, предлагаемую монетными дворами. Результатом явилась фактическая девальвация решающих монетных единиц, фунта стерлингов и флорина, и ухудшение для Голландии и Англии условий торговли, обмена *(terms of trade)* с Азией[399]. Если белый металл и даровал привилегии Западу, он создавал ему повседневные трудности и неопределенность.

ВОИНСТВЕННОЕ ПРИБЫТИЕ, ИЛИ НЕ ТАКИЕ КУПЦЫ, КАК ДРУГИЕ

Европейцы с самого начала располагали и другим превосходством, на сей раз — осознанным, без которого ничто не смогло бы начаться. Этим преимуществом, которое над всем властвовало или по крайней мере все позволяло, был военный корабль Запада — удобный в управлении, способный идти против ветра, оснащенный многочисленными парусами, вооруженный пушками, сделавшимися еще более эффективными после широкого использования орудийных портов. Когда в сентябре 1498 г. флот Васко да Гамы покидал окрестности Каликута, он натолкнулся на восемь больших индийских судов, явившихся его перехватить. Суда эти быстро обратятся в бегство, одно из них будет захвачено, семь остальных выбросятся на песок пляжа, к которому португальские корабли не могли приблизиться, так как глубина была для них недостаточной[400]. Кроме того, морские нравы индийцев всегда были одни из самых миролюбивых. Из такой невоинственной традиции мы знаем лишь одно исключение — империю Чола на Коромандельском береге, которая в XIII в. создала внушительный флот, несколько раз захватывала Цейлон, Мальдивские и Лаккадивские острова и по своему желанию разрезала Индийский океан надвое. В XVI в. это прошлое было забыто и, невзирая на присутствие на иных берегах пиратов, встречи с которыми, впрочем, легко было избежать, торговые корабли никогда не ходили в составе вооруженных конвоев.

[400] Abbé Prévost. *Op. cit.*, I, p. 35, 48, 49.
[401] Cipolla C. M. *Velieri e Cannoni d'Europa sui mari del mondo*. 1969, p. 116—117.
[402] Cipolla C. M. *Op. cit.*
[403] *Ibid.*

Это облегчит задачу португальцев и их преемников. Неспособные овладеть сухопутным массивом Дальнего Востока, они без труда завладели морем, пространством связей и перевозок. Разве оно не давало им главное? «Ежели вы сильны в том, что касается кораблей, — писал Франсишку Алмейда королю в Лисабон, — коммерция Индий принадлежит вам; ежели вы в сей области не сильны, какая-нибудь крепость на материке мало вам поможет»[401]. По мнению Албукерки, «ежели по случайности Португалии суждено было бы потерпеть поражение на море, наши индийские владения не в состоянии были бы продержаться ни одного дня сверх того, что пожелали бы терпеть местные властители»[402]. В следующем столетии начальник голландской базы в Хирадо (Япония) держал в 1623 г. те же речи: «У нас нет достаточной силы, чтобы закрепиться на суше, разве только под защитою флота»[403]. А один китаец из Макао сокрушался: «Едва португальцы станут питать какие-то дур-

ные намерения, мы сумеем их взять за горло. Но ежели они находятся в открытом море, какими средствами сможем мы их наказать, удержать их под контролем и от них оборониться?»[404] И точно так же думал в 1616 г. и Томас Ру, посол Ост-Индской компании при дворе Великого Могола: «Ежели вы ищете прибыли, держитесь сего правила: ищите ее на море и в мирных обстоятельствах торговли; ибо нет сомнения, что было бы ошибкою держать гарнизоны и сражаться в Индиях на суше»[405].

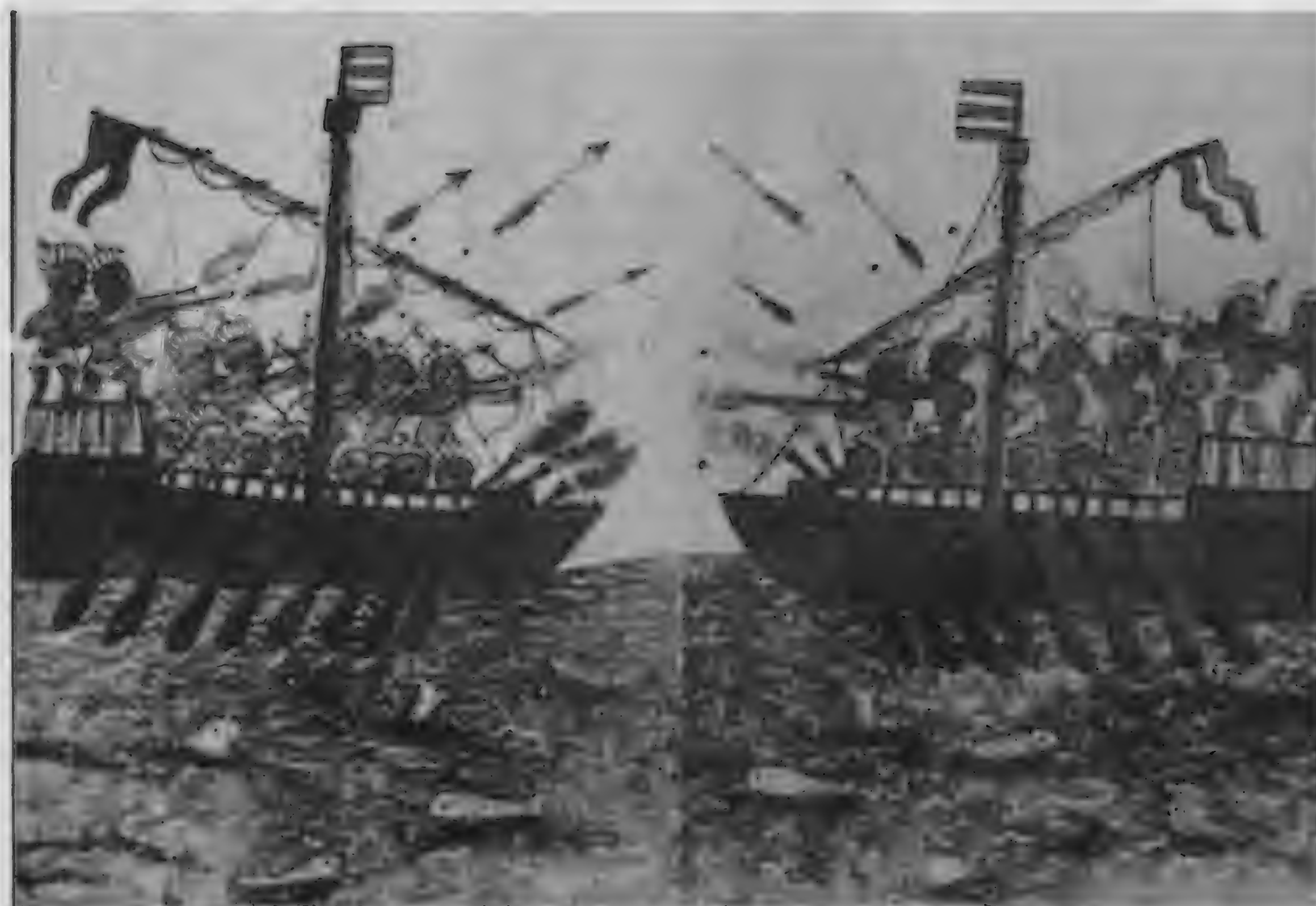
Эти размышления, имеющие значение максим, следует истолковывать не как волю к миру, но как ясное сознание на протяжении многих лет того, что любая попытка территориального завоевания оказалась бы из числа самых рискованных. И все же с самого своего начала европейское вторжение бывало, когда предоставлялся случай, агрессивным и жестоким. В грабежах, в воинственных действиях и прожектах недостатка не было. В 1586 г., перед самым походом Непобедимой Армады, Франсиско Сардо, испанский губернатор Филиппин, предлагал свои услуги для завоевания Китая с 5 тыс. человек; позднее на островах Индонезии, господствовать над которыми было проще, чем над континентом, конструктивная политика Куна [генерал-губернатор Нидерландской Индии. — *Ред.*] проходила под знаком силы, колонизации, под угрозой палки[406]. А в конечном счете, хотя и с запозданием, придет и час территориальных завоеваний — с появлением Дюплекса, Бюсси, Клайва...

Еще до этого взрыва колониализма европеец использовал свое подавляющее превосходство на море или действуя с моря.

[404] *Chang T. T. Sino-Portuguese Trade from 1514 to 1644.* 1934, p. 120; цит. по: Cipolla C. M. *Op. cit.*, p. 117.

[405] *The Embassy of Sir Thomas Roe to the Court of the Great Moghol.* 1899, II, p. 344; цит. по: Borsa G. *Op. cit.*, p. 25.

[406] Cipolla C. M. *Op. cit.*, p. 119, note 17.



Туземные пираты Малабарского берега: они используют весла и паруса, аркебузы и луки со стрелами. Акварель, выполненная португальцем, долгое время жившим в Гоа (XVI в.). *Фото Ф. Куиличи.*

Это превосходство позволяло ему в моменты, когда свирепствовали местные пираты, обеспечивать себе фрахт неевропейских купцов, жаждавших безопасности; наносить удар или угрожать обстрелом какому-нибудь строптивому порту; заставлять оплачивать проходное свидетельство[407] туземные корабли (такое взимание выкупа практиковали португальцы, голландцы, англичане), а в случае конфликта с сухопутной державой — даже использовать эффективное оружие блокады. Во время войны, которая по наущению Джозайи Чайлда, директора Ост-Индской компании, велась в 1688 г. против Аурангзеба, «подданные Великого Могола, — пояснял сам Джозайя Чайлд, — неспособны выдержать войну с англичанами двенадцать месяцев кряду, не испытывая голода и не умирая тысячами из-за отсутствия работы, каковая бы им позволяла покупать рис; и не только вследствие отсутствия нашей торговли, но также и потому, что мы, ведя войну, блокируем их коммерцию со всеми восточными нациями, каковая вдесятеро больше торговли нашей и всех европейских наций вместе взятых»[408].

[407] Chaudhuri K. N. *Op. cit.*, p. 457, 461.
[408] Watson I. B. *The Establishment of English Commerce in North-Western India in the Early Seventeenth Century.* — «*Indian Economic and Social History*», XIII, № 3, p. 384—385.
[409] Chaudhuri K. N. *Op. cit.*, p. 461.

Этот текст прекрасно рассказывает об осознании англичанами огромной мощи и даже торговой сверхмощи могольской Индии, но в неменьшей мере — и об их решимости до конца воспользоваться всеми своими преимуществами, «торговать со шпагой в руках», как провозглашал один из служащих (*servants*) Компании[409].

КОНТОРЫ, ФАКТОРИИ, ОТДЕЛЕНИЯ, СУПЕРКАРГО

Великие Ост-Индские компании уже были «многонациональными». Им приходилось справляться не только со своими «колониальными» проблемами. Они боролись с государством, которое их создало и поддерживало. Они были государством в государстве или же вне него. Они воевали с акционерами, создавая капитализм, порвавший с купеческими привычками. Им приходилось заниматься одновременно капиталом акционеров (которые требовали дивидендов), капиталом владельцев краткосрочных обязательств (английских *bonds*), оборотным капиталом (следовательно, звонкой монетой) и вдобавок поддержанием капитала основного — кораблей, портов, крепостей... Им требовалось издалека держать под надзором несколько зарубежных рынков, согласовывать их с возможностями и выгодами национального рынка, т. е. с продажами с торгов в Лондоне, Амстердаме или в других местах.

Из всех трудностей самой трудной для преодоления было расстояние. Настолько, что для отправки писем, агентов, важных распоряжений, золота и серебра использовалась старая левантинская дорога. Одному англичанину будто бы даже удалось при благоприятном муссоне установить около 1780 г. рекорд скорости: Лондон — Марсель — Александрия Египетская — Калькутта за 72 дня пути[410].

[410] A. N., A. E., B III, 459, памятная записка Больца (Bolts) от 19 мессидора V г.

Тогда как в среднем плавание по Атлантике требовало восемь месяцев, что в одном, что в другом направлении, а путешествие туда и обратно — полтора года, по крайней мере тог-

да, когда все шло хорошо, когда не приходилось проводить зиму в гавани и удавалось обогнуть мыс Доброй Надежды без сучка и задоринки. Именно это медленное обращение кораблей и товаров не позволяло лондонским или амстердамским директорам все удерживать в руках. Им приходилось делегировать свою власть, делить ее с местными управлениями (например, в Мадрасе, в Сурате), которые, каждое само по себе, принимали срочные решения и были заняты выражением на местах воли Компании, заключением «контрактов»[411] и осуществлением заказов в желаемое время (на полгода, на год вперед); они предусматривали платежи, собирали грузы.

Такие отделенные от центра торговые единицы именовались конторами, факториями, отделениями. Первые два термина в обиходной речи смешивались, но в общем порядок, в каком мы их перечисляем, построен по убыванию их значения. Именно таким вот образом английская фактория в Сурате создала серию «отделений» *(lodges)* — в Гога, Броче, Бароде, Фатихпур-Сикри, Лахоре, Татте, Лахрибандаре, Джаске, Исфахане, Мохе...[412] «Учреждения» же французской Компании в Чандернагоре были «разделены на три класса»: вокруг центра, Чандернагора, «шестью большими конторами были Баласур, Патна, Касимбазар, Дакка, Джугдия и Чатиган; простыми торговыми домами были Сопуз, Керпуа, Карикал, Монгорпоз и Серампоз», последние два поста были «торговыми домами, где находился агент, не имевший территории»[413].

«Территория» конторы или «центра» бывала уступлена местными властями — уступки трудно было добиться, и она никогда не предоставлялась даром. В целом система была тоже своего рода чисто торговой колонизацией: европеец обосновывался в пределах досягаемости производящих зон и рынков, на перекрестках дорог, используя то, что существовало до него, так, чтобы не заботиться об «инфраструктурах», оставить на ответственности местной жизни перевозки к экспортным портам, организацию и финансирование производства и элементарных обменов.

Европейская оккупация, вцепившаяся, как паразит, в чужое тело, оставалась вплоть до английского завоевания (если исключить голландский успех в специфической зоне Индонезии) *точечной* оккупацией. Пункты. Крохотные площади. Макао, перед Кантоном, был размером с деревню. Бомбей на своем острове размером три лье на два с трудом размещал свою гавань, свою верфь, свои казармы и дома, и без снабжения с близлежащего острова Сальсетта бомбейские богачи не каждый день ели бы мясо[414]. Десима, в самом порту Нагасаки, вне сомнения, располагала меньшим пространством, чем венецианское Новейшее гетто *(Ghetto Nouvissimo)*. Многочисленные «фактории» были всего лишь укрепленными домами, даже складами, где европеец жил в большем заточении, чем индийцы самых замкнутых каст.

Очевидно бывали и исключения: Гоа на своем острове, Батавия, Иль-де-Франс, остров Бурбон. Зато в Китае европейские позиции были еще более ненадежны. В Кантоне европейский

[411] По которым купцы и ремесленники обязывались поставить товары.
[412] Watson I. B. *Op. cit.*, p. 385—389.
[413] A. N., A. E., B III, 459.
[414] A. N., Colonies, C², 105, f^os 218 v°—220.

купец не добился права постоянного проживания, и, в отличие от Индии, постоянный доступ на вольный рынок был ему закрыт. Компании были представлены на каждом из их кораблей странствующими купцами, стало быть, факториями летучими, путешествовавшими, можно было бы сказать, факториями суперкарго *. Если они ссорились, если не повиновались председателю, которого для них избирали, приходилось опасаться затруднений и ошибок [415].

Следует ли из этого заключить, что вплоть до английского завоевания европейская активность лишь слегка затронула Азию, что она ограничилась конторами, едва затрагивавшими огромное тело, что оккупация эта была поверхностной, «накожной», безобидной, что она не изменяла ни цивилизацию, ни общества, что в экономическом смысле она касалась только экспортной торговли, стало быть, меньшей части производства? Подспудным образом здесь вновь возникал спор между внутренним рынком и внешними обменами. В действительности европейские «конторы» в Азии были не более безобидны, чем конторы ганзейские или голландские по всей Балтике и всему Северному морю или чем венецианские и генуэзские конторы по всей Византийской империи, если ограничиться только этими примерами из множества прочих. Европа разместила в Азии очень небольшие группы людей, крохотные меньшинства — это правда; но они были связаны с самым передовым капитализмом Запада. И меньшинства эти, о которых можно было сказать, что они образовывали всего лишь «изначально хрупкую надстройку» [416], встречались не с азиатскими массами, а с другими купеческими меньшинствами, доминировавшими над торговыми путями и обменами Дальнего Востока. И именно эти местные меньшинства отчасти по принуждению, отчасти по согласию открыли в Индии дверь европейскому вторжению, обучили сначала португальцев, потом голландцев, наконец, англичан (и даже французов, датчан и шведов) лабиринтам торговли «из Индии в Индию». С этого времени начался процесс, которому суждено было еще до конца XVIII в. выдать на милость английской монополии 85—90% внешней торговли Индии [417]. Но именно потому, что доступные рынки Дальнего Востока образовывали серию внутренне сплоченных экономик, связанных эффективным миром-экономикой, торговый капитализм Европы смог их блокировать и, пользуясь их силой, манипулировать ими к своей выгоде.

* Суперкарго — помощник капитана, ответственный за груз. — *Прим. перев.*

[415] A. N., Colonies, C[11], 10, 31 декабря 1750 г. Вспомним ссору Пьера Пуавра с командиром корабля «Ле Маскарэн» в Кантоне летом (июнь) 1750 г.

[416] Boxer C. *The Portuguese Seaborne Empire, 1415—1825.* 1969, p. 57; цит. по: Wallerstein I. *Op. cit.*, p. 332.

[417] Pavlov V. I. *Op. cit.*, p. 243.

КАК ПОСТИЧЬ ГЛУБИННУЮ ИСТОРИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Теперь нас интересует как раз базовая история Азии; но признаемся, что ее нелегко постичь. В Лондоне, в Амстердаме, в Париже есть великолепные архивы, но в них картины Индии или Индонезии видишь всегда через историю великих Компаний... В Европе и по всему миру есть также великолепные востоковеды. Но тот, кто оказывается метром в изучении ислама,

не является таковым в изучении Китая или Индии, Индонезии или Японии. И больше того, востоковеды часто бывают скорее отличными лингвистами и специалистами по культуре, чем историками обществ или экономики.

Сегодня климат меняется. Интересы синологов, японистов, индологов, исламоведов идут дальше, чем в прошлом, к обществам и к экономическим и политическим структурам. Социологи даже мыслят как историки[418]. А за последние двадцать-тридцать лет историки Дальнего Востока, ряды которых множатся, предприняли в поисках подлинного облика своих стран, освободившихся от Европы, пересмотр источников, и разнообразные работы свидетельствуют о том, что Люсьен Февр называл ощущением «истории-проблемы». Это историки — труженики новой истории, результаты которой сменяют друг друга в их трудах и в отличных обзорах. Мы стоим накануне мощного пересмотра [наших представлений].

[418] Как, скажем, Норман Джекобс: Jacobs N. *Modern Capitalism and Eastern Asia.* 1958.

Коснуться всего вслед за ними — об этом не приходилось и мечтать. Материал настолько обилен (хоть он и оставляет еще так много нерешенных проблем), что не пришло время для создания общей картины. Я, однако же, попробовал на свой страх и риск дать на *одном* примере представление о масштабе и новизне возникающих проблем. И выбор мой остановился на Индии. Относительно нее мы располагаем несколькими английскими основными трудами и работами группы индийских историков редкой квалификации, написанными, к счастью, на одном — английском — языке, который доступен непосредственно. Они представлялись как отличные путеводители, чтобы пройти через блеск и нищету так называемой *средневековой* Индии, поскольку для них, в силу уже почтенной договоренности, средние века продолжались до установления английского господства. Это единственный спорный пункт в их подходах по причине предполагаемых им априорных соображений (отставание от Европы в общем и целом на несколько столетий) и потому, что он вводит в дискуссию так называемые проблемы некоего «феодализма», который будто бы одновременно и выживал и разлагался между XV и XVIII вв. Но эти критические замечания относятся к деталям.

Если я выбрал Индию, то не только по этим причинам. И не потому, что ее историю было бы легче постичь, чем какую-либо другую: наоборот, по сравнению с нормами всеобщей истории Индия мне представляется отклоняющимся случаем, очень сложным в политическом, социальном, культурном, экономическом плане. Но на Индию, мир-экономику, занимавший центральное положение, опиралось все: все коренилось в его снисходительности и в его слабостях. Именно с него начинали португальцы, англичане, французы. Единственным исключением был голландец: закрепившись в самом сердце Индонезии, он быстрее остальных выиграл в гонке за монополиями. Но, действуя подобным образом, не слишком ли поздно он взялся за Индию, от которой в конечном счете будет зависеть любое длительное величие для чужеземцев, пришедших с запада, поначалу мусульман, а затем людей Запада?

ИНДИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ

Индия — это деревни. Тысячи и тысячи деревень. Скажем — скорее *деревни*, нежели просто *деревня*[419]. Использовать в данном случае единственное число — это то же самое, что предлагать произвольный образ типовой индийской деревни, замкнутой в своей коллективной жизни, деревни, которая якобы прошла неприкосновенной, одной и той же и всегда автаркичной, через всю бурную историю Индии. И которая — второе чудо! — была будто бы одной и той же по всему громадному континенту, невзирая на своеобразие различных его провинций (например, столь очевидные особенности Декана, «страны Юга»). Вне сомнения, в некоторых изолированных и архаичных регионах еще и сегодня сохраняется деревенская общность, самодостаточная, способная прокормить и одеть себя, озабоченная только собой. Но это исключение.

Правилом была открытость в сторону внешнего мира деревенской жизни, обрамленной разными властями и рынками, которые за нею надзирали, изымали у нее ее прибавочный продукт, навязывали ей удобства и опасности денежной экономики. Здесь мы прикасаемся к тайне всей истории Индии: к этой ухваченной у самого основания жизни, которая подогревала и питала гигантское социальное и политическое тело. То была, в совершенно ином контексте, схема истории русской экономики в ту же эпоху.

В свете недавних исследований мы хорошо видим, как эта машина функционировала в зависимости от урожаев, повинностей, государственных податей. Вездесущая денежная экономика была отличным приводным ремнем; она облегчала обмены, множила их число, включая и принудительные обмены. Заслуга такого включения в кругооборот лишь частично принадлежала правительству Великого Могола. Действительно, Индия на протяжении веков была добычей денежной экономики, отчасти в силу факта своих связей со средиземноморским миром, со времен античности познавшим деньги, которые он в некотором роде изобрел и экспортировал в дальние страны. Если верить Л. Джайну[420], то Индия будто бы имела банкиров уже в VI в. до н.э., в общем — за столетие до эпохи Перикла. Во всяком случае, денежная экономика пронизала обмены в Индии за многие века до Делийского султаната *.

Важнейшим вкладом последнего стала в XIV в. организация административного принуждения, которое со ступеньки на ступеньку, от провинции к округу, доходило до деревень и удерживало их под контролем. Тяжесть этого государства, его механизм, который в 1526 г. унаследовала империя Великих Моголов, позволяли ему достигать сельского прибавочного продукта и изымать его. Они также способствовали поддержанию [уровня] этого прибавочного продукта и его наращиванию. Ибо в мусульманском деспотизме Моголов была некая доля «деспотизма просвещенного», забота о том, чтобы не убить курицу, несущую золотые яйца, оберечь крестьянское «воспроизводство», расширить обрабатываемые площади, заменить какое-то растение более прибыльным, колонизовать не-

[419] Grover B. R. *An Integrated Pattern of Commercial Life in the Rural Society of North India during the 17th—18th centuries.* — «*India Historical Records Commission*», XXXVII, 1966, p. 121 f.

[420] Jain L. G. *Indigenous Banking in India.* 1929, p. 5.

* Датой основания Делийского султаната в Центральной Индии считается 1206 г. — *Прим, перев.*



Индийский вельможа перед лицом государя при дворе Великого Могола. *Фото Национальной библиотеки.*

используемые земли, умножить посредством колодцев и водохранилищ возможности орошения. К чему добавлялись окружение деревни, проникновение в нее странствующих торговцев, рынков близлежащих местечек, даже рынков, созданных для натурального обмена съестных припасов внутри больших деревень или под открытым небом между деревнями, алчных рынков более или менее удаленных городов, наконец,

ярмарок, устраиваемых в связи с религиозными празднествами.

Деревни, удерживаемые в руках? Об этом заботились власти провинций и округов; сеньеры, которые получили от Великого Могола (в принципе единственного собственника земли) часть повинностей с поместий (*джагиры — jagirs*, понимай — бенефиции); внимательные сборщики податей, *заминдары*[421], обладавшие также наследственными правами на земли; купцы, ростовщики и менялы, которые скупали, перевозили, продавали урожай, которые также превращали подати и повинности в деньги, дабы общая сумма обращалась свободно. В самом деле, сеньер жил при делийском дворе, сохраняя там свой ранг, и джагир ему жаловался на довольно короткий срок — обычно на три года. Он его эксплуатировал наспех и беспардонно, издалека, и, как и государство, желал получать свои повинности не в натуре, а в деньгах[422]. Таким образом, превращение урожая в монеты было ключом системы. Металл белый и металл желтый были не только предметом и средством тезаврации, но и орудиями, необходимыми для функционирования огромной машины, от ее крестьянской базы вплоть до верхушки общества и деловой верхушки[423].

Вдобавок к этому деревню удерживали изнутри ее собственная иерархия и кастовая система (ремесленники и пролетарии-неприкасаемые). Она имела внимательного господина, деревенского старосту, и ограниченный круг «аристократии» — *худкашта (khud-kashta)*, незначительное меньшинство сравнительно богатых, вернее, зажиточных крестьян, собственников лучших земель, обладателей четырех или пяти плугов, четырех-пяти пар быков или буйволов, к тому же пользовавшихся благоприятным фискальным тарифом. Они и представляли на самом деле знаменитую деревенскую «общину», о которой столько говорилось. В обмен на свои привилегии и на *индивидуальную* собственность на поля, обрабатывавшиеся ими самими с помощью семейной рабочей силы, они были *солидарно* ответственны перед государством за уплату податей со всей деревни. К тому же они получали часть собранных денег. Точно так же им благоприятствовали в том, что касалось колонизации невозделываемых земель и основания новых деревень. Но за ними пристально следили власти, боявшиеся возникновения к их («аристократии») выгоде своего рода аренды или испольщины, или даже наемного сельскохозяйственного труда (он существовал, но едва-едва) и, следовательно, собственности, выходящей за рамки нормы, которая, возрастая при благоприятствующем налоговом режиме, в конце концов уменьшила бы объем подати[424]. Что же касается прочих крестьян, не бывших собственниками своих полей, которые пришли извне и при случае меняли деревню проживания, уходя со своими животными и плугом, то они облагались более тяжелым налогом, нежели «аристократия».

Вдобавок деревня имела своих собственных ремесленников: навечно закрепленные своими кастами в своей роли, за свой труд они получали долю коллективного урожая плюс клочок земли для обработки (однако некоторые касты получали зара-

[421] Дискуссию по поводу значения этого слова см.: Habib I. *The Agrarian System of Mughal India.* 1963, p. 140 f.

[422] Habib I. *Potentialities of Capitalistic Development in the Economy of Mughal India*, p. 10.

[423] Chandra S. *Some Institutional Factors in Providing Capital Inputs for the Improvement and Expansion of Cultivation in Medieval India.* — «*Indian Historical Review*», 1976, p. 85.

[424] *Ibid.*, p. 89.

ботную плату)[425]. Вы скажете, что это был усложненный порядок; но есть ли на свете крестьянский порядок, который бы был простым? «Крестьянин не был рабом, не был он и крепостным, но не приходится спорить, что статус его был зависимым»[426]. Доля его дохода, взимаемая государством, владельцем джагира и прочими получателями, достигала от трети до половины, а в плодородных зонах — даже больше[427]. И тогда, как был возможен такой порядок? Как выдерживала его крестьянская экономика, сохраняя к тому же известную способность к расширению, коль скоро Индия, переживавшая в XVII в. демографический рост, продолжала производить достаточно для своего населения, коль скоро она увеличивала возделывание промышленных культур и даже производство многочисленных садов в ответ на возросшее потребление фруктов и новую моду в среде собственников?[428]

Такие результаты надлежит отнести на счет скромности крестьянского уровня жизни и высокой производительности индийской агрикультуры.

В самом деле, к 1700 г. деревенская Индия обрабатывала только часть своих земель: например, в бассейне Ганга, по данным вероятностной статистики, эксплуатировалась лишь половина пахотных земель, находившихся в обработке в этом же районе в 1900 г.; в Центральной Индии — от двух третей до четырех пятых; в Индии Южной можно в крайнем случае *вообразить* бо́льшую пропорцию. Таким образом, один факт не вызывает сомнения: почти повсеместно индийское земледелие с XV по XVIII в. обрабатывало только лучшие земли. А так как

[425] Grover B.R. *Op. cit.*, p. 130.
[426] Chandra S. *Op. cit.*, p. 84.
[427] Habib I. *Potentialities...*, p. 8.
[428] *Ibid.*, p. 18—19.



Индийский караван вьючных быков, везущий «балагуатское» зерно (из Балагхата в провинции Мадхья-Прадеш) португальцам в Гоа (XVI в.) *Фото Ф. Куиличи.*

оно не знало земледельческой революции, то и *основные* орудия, методы и культуры не изменялись вплоть до 1900 г.; *вероятно*, что производство на душу населения индийского крестьянина было в 1700 г. выше, чем будет оно в 1900 г.[429] Тем более, что невозделанная земля, где основывались новые деревни, предоставляла крестьянству резерв пространства и, значит, ресурсы для более легкого ведения скотоводческого хозяйства; значит, больше было вьючных животных, больше быков и буйволов для тягла, больше молочных продуктов, больше *гхее*, топленого животного масла, которое используется в индийской кухне. Ирфан Хабиб[430] утверждает, что, принимая во внимание два урожая в год, урожайность зерновых в Индии превосходила урожайность в Европе до XIX в. А ведь даже при равной урожайности Индия была бы в выигрышном положении. В жарком климате потребности трудящегося оказываются меньшими, чем в европейских странах с умеренным климатом. Скромные размеры того, что он брал из урожая для своего прокормления, оставляли для обмена больший *прибавочный продукт*.

Другим преимуществом индийского земледелия, помимо его двух урожаев в году (урожаи риса, пшеницы плюс гороха, или турецкого гороха, или масличных культур), было то место, какое там занимали «богатые» культуры, предназначавшиеся для экспорта: индиго, хлопчатник, сахарный тростник, мак, табак (пришедший в Индию в начале XVII в.), перец (вьющееся растение, которое плодоносит с третьего по девятый год, но не растет, в противоположность тому, что часто утверждали, если к нему не приложить руки[431]). Эти растения приносили доход больший, чем просо, рожь, рис или пшеница. Что касается индиго, то «повсеместный обычай индийцев — срезать его трижды в год»[432]. Кроме того, индиго требует сложного промышленного приготовления: так же, как и сахарный тростник, и по тем же самым причинам его возделывание, которое требовало крупных капиталовложений, было предприятием *капиталистическим*, широко распространившимся в Индии при активном сотрудничестве крупных откупщиков налогов, купцов, представителей европейских компаний и правительства Великого Могола, которое стремилось создать к своей выгоде монополию посредством предоставления исключительных прав на аренду. Индиго, которое предпочитали европейцы, происходило из области Агры, особенно первые сборы, листья которых «более глубокого синего цвета». Учитывая размах местного и европейского спроса, цена индиго непрестанно росла[433]. Так как в 1633 г. войны затронули производившие индиго области Декана, персидские и индийские скупщики больше обычного набросились на индиго Агры, цена на которое разом превзошла рекордную цену в 50 рупий за *маунд*[434]. Тогда английские и голландские Ост-Индские компании решили прервать свои закупки. Но крестьяне области Агры, информированные, я полагаю, купцами и «арендаторами», державшими дело в своих руках, выкорчевали растения индиго и временно перешли к другим культурам[435]. Не была ли такая гибкость

[429] Habib I. *Op. cit.*, p. 3—4.
[430] *Ibid.*, p. 4, note 2.
[431] Abbé Prévost. *Op. cit.*, XI, p. 661—662.
[432] *Ibid.*, p. 651—652.
[433] *Ibid.*, p. 652.
[434] Маунд равнялся в Бенгале 34 кг 500 г, в Сурате — 12 кг 712 г. (Chaudhuri K. N. *Op. cit.*, p. 472).
[435] Grover B. R. *Op. cit.*, p. 129—130.

приспособления признаком капиталистической эффективности, прямой связи между крестьянами и рынком?

Все это не исключало очевидной нищеты деревенских масс. Это можно предвидеть на основании общих условий системы. И к тому же делийское правительство в принципе взимало долю собранного урожая, но во многих регионах администраторы удобства ради заранее оценивали средний урожай с земель и на этой базе устанавливали *твердый налог* натурой или деньгами, пропорциональный обрабатываемой площади и характеру культуры (для ячменя меньше, чем для пшеницы, для пшеницы — меньше, чем для индиго, для индиго — меньше, чем для сахарного тростника и мака)[436]. В таких условиях, если урожай не оправдывал ожиданий, если не хватало воды, если быки и слоны транспортных караванов, вышедших из Дели, кормились на возделанных полях, если некстати цены поднимались или падали, все просчеты ложились на производителя. Наконец, тяготы крестьянина усугубляла задолженность[437]. С усложнением систем держания, собственности, налогообложения, в зависимости от провинции и от щедрот государя, в зависимости от мирного или военного времени, все изменяется, и в общем от плохого к худшему. Тем не менее покуда могольское государство было сильно, оно умело сохранять некий минимум крестьянского процветания, необходимый для собственного его процветания. Лишь в XVIII в. все стало расстраиваться — государство, повиновение, преданность чиновников администрации, безопасность перевозок[438]. Крестьянские восстания сделались постоянными.

[436] Habib I. *Potentialities...*, p. 7—8; Moreland W. H. *From Akbar to Ayrangzeb.* 1922, p. 99—100, 103—104.
[437] Habib I. *Usury in Medieval India*, p. 394.
[438] Grover B. R. *Op. cit.*, p. 138.

РЕМЕСЛЕННИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Другим страждущим народом Индии были ее бесчисленные ремесленники, обитавшие повсюду — в городах, в местечках, в деревнях, из которых иные превратились в деревни полностью ремесленные. Такое кишение работников само собой разумелось, если правда, что городское население сильно выросло в XVII в., так что, по мнению некоторых историков, достигло 20% общей численности населения, что дало бы для городов Индии 20 млн. жителей, т.е., говоря в общем (*grosso modo*), все население Франции XVII в. Даже если цифра эта и раздута, ремесленное население Индии, увеличенное за счет армии неквалифицированных работников, предполагало миллионы человеческих существ, которые работали одновременно и на внутреннее потребление, и на экспорт.

Индийских историков, желающих подвести итог состоянию своей страны накануне британского завоевания, и в частности узнать, была или не была ее промышленность сопоставима с промышленностью Европы того времени, была или не была она способна своим собственным порывом породить *какую-то* промышленную революцию, больше занимает характер старинной индийской промышленности, нежели история этих бесчисленных ремесленников.

Промышленность, или точнее — протопромышленность, сталкивалась в Индии с многочисленными препятствиями. Иные из них, будучи преувеличены, существуют, несомненно, лишь в воображении некоторых историков — в особенности стеснение, которое будто бы причиняла кастовая система, эта сеть, накинутая на все общество, которая *также* охватывала своими ячейками и мир ремесленников. По мысли Макса Вебера, предполагается, что каста мешает прогрессу техники, убивает у ремесленников любую инициативу и, приковав группу людей раз и навсегда к одному делу, из поколения в поколение воспрещает всякую новую специализацию, всякую социальную мобильность. «Есть солидные основания,— полагает Ирфан Хабиб,— к тому, чтобы поставить эту теорию под сомнение... Прежде всего потому, что масса неспециализированных трудящихся образовывала резервную армию для новых видов занятий, если в них возникала нужда. Так, крестьяне, вне сомнения, поставляли рабочую силу, необходимую для разработки алмазных россыпей Карнатика; когда отдельные месторождения были заброшены, горняки, как утверждают, «возвратились к своей пашне». Больше того, в долговременном плане обстоятельства могли отклонять и даже трансформировать ремесленную специализацию какой-то данной касты. Пример тому — каста портных в Махараштре[439], часть которой переориентировалась на красильное ремесло, а другая — даже специализировалась на крашении индиго»[440]. Определенная пластичность рабочей силы несомненна. К тому же старинная система каст развивалась одновременно с разделением труда, поскольку в Агре в начале XVII в. различали больше ста различных ремесел[441]. Вдобавок рабочие перемещались, как и в Европе, в поисках хорошо оплачиваемой работы. Разрушение Ахмадабада вызвало во второй четверти XVIII в. мощный подъем текстильного производства в Сурате. И разве же мы не видели, как европейские компании скликали вокруг себя, по соседству с собою, ткачей — выходцев из разных провинций, которые, за исключением особых предписаний (скажем, для отдельных каст — запрет путешествовать морем), перемещались по первой просьбе?

Другие препятствия были серьезнее. Европеец часто поражался небольшому числу орудий, всегда рудиментарных, которыми пользовался ремесленник в Индии. «Убожество орудий», как объяснял Зоннерат, подтверждая это иллюстрациями, приводило к тому, что пильщик тратил «три дня на то, чтобы сделать доску, каковая нашим работникам стоила бы часа труда». Кто бы не удивился тому, что «эти прекрасные муслины, за коими мы так гоняемся, изготовляются на станках, состоящих из четырех вкопанных в землю кусков дерева»[442]? Если индийский ремесленник производил подлинные шедевры, то это было итогом величайшего умения рук, которое еще оттачивалось крайней специализированностью. «Работа, какую в Голландии выполнил бы один человек, здесь проходит через руки четверых»,— объяснял голландец Пелсарт[443]. Итак, инструментарий скудный, сделанный почти исключительно из дерева, в противоположность инструменту Европы, которая широко добав-

[439] Штат Индии, главный город — Бомбей.
[440] Habib I. *Potentialities...*, p. 46—47.
[441] *Ibid.*, p. 43.
[442] Sonnerat. *Voyage aux Indes Orientales et à la Chine.* 1782, I, p. 103, 104.
[443] *Jahangir's India: the Remonstrantie of Francisco Pelsaert.* 1925, p. 60; цит. по: Habib I. *Potentialities...*, p. 43, note 2.

ляла в него железо, даже до промышленной революции. И значит, архаичность: вплоть до конца XIX в. Индия, например, в орошении и в откачке воды останется верна традиционным машинам иранского происхождения — деревянным передачам, деревянным зубчатым колесам, кожаным мешкам, керамическим черпакам, энергии животных или человека... Но, полагает Ирфан Хабиб[444], происходило это не столько по техническим причинам (потому что эти деревянные механизмы, вроде тех, что использовались в прядении и ткачестве, бывали зачастую сложными и хитроумными), сколько из соображений стоимости: высокую цену металлических орудий на европейский лад не компенсировала бы экономия обильной и низкооплачиваемой рабочей силы. С учетом всех пропорций это та же проблема, которую ныне ставят некоторые передовые технологии, требующие больших капиталов и мало рабочей силы, принятие которых «третьим миром» столь затруднительно и так разочаровывает.

Точно так же если индийцы и были мало знакомы с горнопромышленной технологией, придерживаясь разработки поверхностных руд, то они, как мы это видели в первом нашем томе, изготовляли тигельную сталь исключительного качества, которая по высокой цене экспортировалась в Персию и другие страны. В этом деле они опережали европейскую металлургию. Они умели сами обрабатывать металл. Они производили корабельные якоря, прекрасное оружие, сабли и кинжалы любых форм, хорошие ружья, сносные пушки (хоть их стволы и были сварены, а не отлиты из чугуна)[445]. Орудия из арсенала Вели-

[444] Habib I. *Potentialities...*, p. 44—45.
[445] Habib I. *Op. cit.*, p. 45.

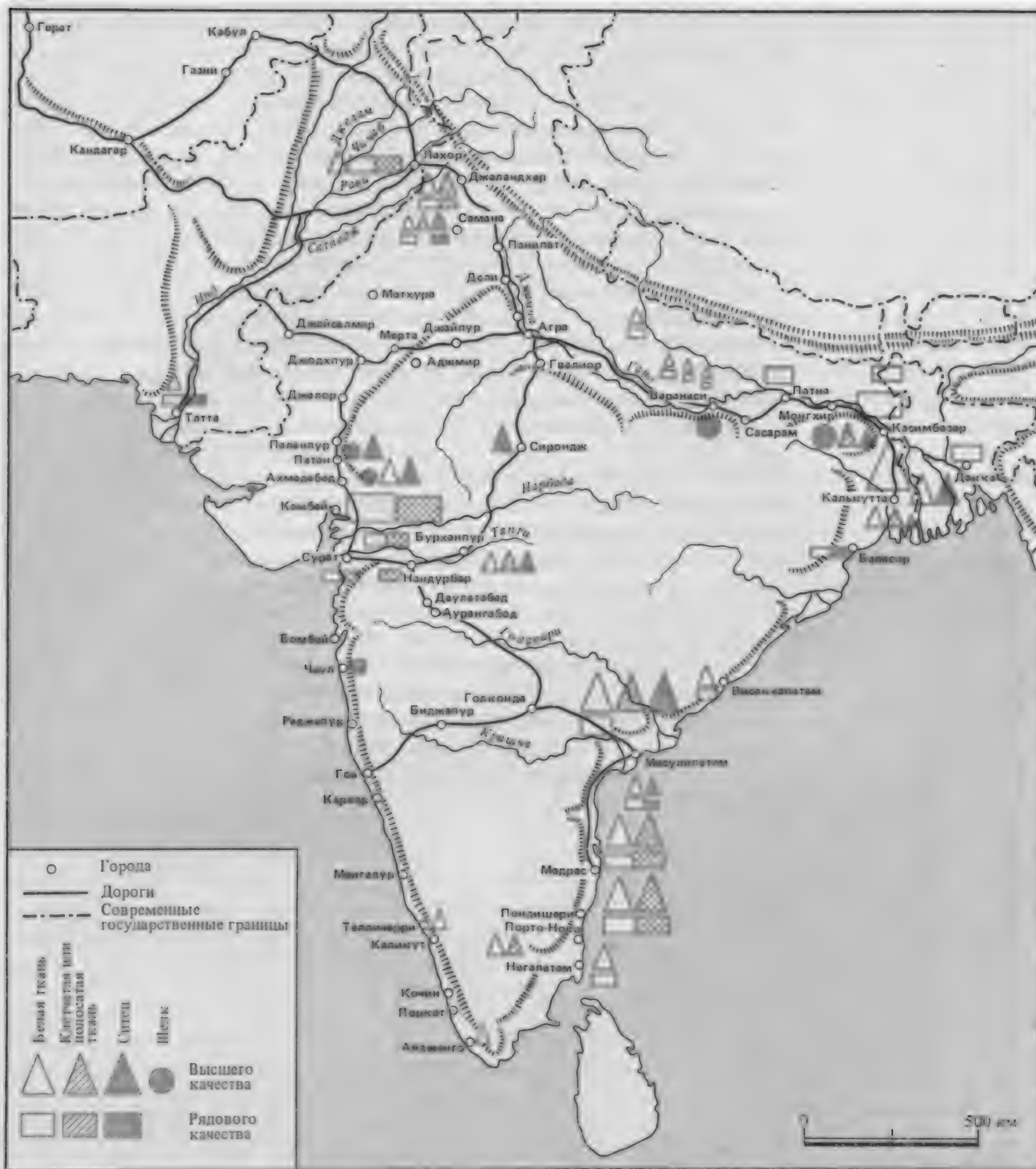


Туземные кузнецы в Гоа (XVI в.): простейшая техника, ручной мех, странной формы молот, несомненно служивший также и топором. *Фото Ф. Куиличи.*

кого Могола в Батерпуре (на дороге из Сурата в Дели) были, по свидетельству одного англичанина (1615 г.), чугунными, «разного калибра, хотя в общем чересчур короткоствольными и тонкостенными»[446]. Но это вовсе не значит, что мы не имеем тут дело с размышлениями моряка, привычного к длинноствольным корабельным орудиям, и что эти орудия не были впоследствии улучшены. Во всяком случае, к 1664 г. Аурангзеб располагал тяжелой артиллерией, которую тянули фантастических размеров запряжки (и которую надо было перемещать загодя, принимая во внимание медлительность ее передвижения), и очень легкой артиллерией (две лошади на орудие), которая постоянно следовала за движением императора[447]. К этой дате европейские артиллеристы были заменены индийскими пушкарями; даже если они и были менее умелыми,чем иностранцы, тут наблюдалось очевидное техническое продвижение[448]. Впрочем, ружья и пушки колонизовали все пространство Индии. Когда Типу Султан, последний наваб Майсура, покинутый в 1783 г. французами, уходил в горы, его тяжелая артиллерия проделала путь через Гаты по немыслимым дорогам. В районе Мангалура приходилось в каждое орудие запрягать 40—50 быков; и если толкавший сзади слон оступался, он скатывался в бездну вместе с гроздью людей[449]. Значит, катастрофического технического отставания не было. И например, монетные дворы Индии стоили монетных дворов европейских: в 1660 г. в Сурате ежедневно чеканилось 30 тыс. рупий для одной-единственной английской компании[450].

Наконец, имелось чудо из чудес: корабельные верфи. Согласно одному французскому отчету, корабли, строившиеся около 1700 г. в Сурате, «весьма хороши и отлично служат... и было бы весьма выгодно [для французской Ост-Индской компании] заказать для себя некоторое их число», даже ежели цены были бы такие же, как и во Франции, ибо тиковое дерево, из которого они построены, обеспечивало им сорок лет плавания «вместо десяти или двенадцати, самое большее — четырнадцати» лет[451]. В первой половине XIX в. бомбейские парсы широко вкладывали средства в судостроение, заказывая суда на месте и в других портах, в частности в Кочине[452]. В Бенгалии, включая Калькутту начиная с 1760 г.[453], тоже существовали верфи: «Англичане со времени последней войны [1778—1783] в одном только Бенгале снарядили до 400—500 судов всех размеров, построенных в Индиях за их собственный счет»[454]. Случалось, то были суда большого тоннажа: «Сурат Касл» (1791—1792 гг.) водоизмещением в 1000 тонн нес 12 пушек, а экипаж его насчитывал 150 человек; «Лауджи Фэмили» имел 800 тонн и 125 ласкаров на борту; король этого флота «Шэмпайндер» (1802 г.) достигал 1300 тонн водоизмещения[455]. К тому же именно в Индии были построены лучшие «индийские корабли» (*Indiamen*) — эти гигантские для своего времени суда, ведшие торговлю с Китаем. В самом деле, до победы пара около середины XIX в. англичане использовали в азиатских морях суда только индийской постройки. Но ни одно из них не направлялось в Европу: английские порты были для них закрыты. В 1794 г. война и острая нужда в перевозках заставили на

[446] Abbé Prévost. *Op. cit.*, X, p. 1.
[447] *Ibid.*, p. 93.
[448] *Ibid.*, p. 237.
[449] Furber H. *Op. cit.*, p. 10.
[450] Habib I. *Potentialities...*, p. 55 et note 2.
[451] A. N., Marine, B[7], 443, f° 254.
[452] Pavlov V. I. *Op. cit.*, p. 329.
[453] Furber H. *Op. cit.*, p. 187.
[454] A. N., Colonies, C[2], 105, f° 291 v°.
[455] Furber H. *Op. cit.*, p. 189—190.



Дороги и текстильное производство в Индии в середине XVIII в.
Текстильная промышленность присутствовала во всех крупных регионах Индии, за исключением Малабарского берега, богатством которого был перец. Условные обозначения отмечают разнообразие производств и дают приблизительное представление об их объеме. (По данным К. Н. Чаудхури: Chaudhury K. N. *The Trading World of Asia and the English East India Company*. 1978.)

несколько месяцев снять запрет. Но в Лондоне появление индийских судов и моряков вызвало столь враждебную реакцию, что английские купцы быстренько отказались от их услуг[456].

Бесполезно распространяться по поводу баснословного текстильного производства Индии — это и так хорошо известно! Производство это в полной мере обладало способностью ответить на какое угодно увеличение спроса,— способностью, вызывавшей такое восхищение в связи с английской суконной промышленностью. Производство это присутствовало в деревнях; в городах оно множило число лавок ткачей; от Сурата до Ганга было рассеяно звездное скопление ремесленных мастерских, работавших на себя или на крупных купцов-экспортеров; оно мощно укоренилось в Кашмире, едва колонизовало Малабарский берег, но плотно заселило Коромандельский берег. Европейские компании попытались организовать работу ткачей по образцам, практиковавшимся на Западе, и прежде всего в виде системы *надомного труда* (*putting out system*), о которой мы пространно говорили, но тщетно. Яснее всего попытка эта проявится в Бомбее[457], где при запоздалой иммиграции индийских рабочих из Сурата и иных местностей предприятие можно было начинать с нуля. Но традиционная индийская система задатков и контрактов показательным образом сохранится по меньшей мере до завоевания и до установления прямой опеки над ремесленниками Бенгала с последних десятилетий XVIII в.

В самом деле, текстильное производство нелегко было подчинить, коль скоро оно не охватывалось, как в Европе, единой сетью; разные сектора и кругообороты направляли производство и торговлю сырьем, изготовление хлопковой нити (операцию длительную, особенно если в итоге должна была быть получена очень тонкая и, однако же, прочная нить, такая, как муслиновая), ткацкое производство, отбеливание и аппретирование тканей, набойку. То, что в Европе было связано по вертикали (уже во Флоренции в XIII в.), здесь было организовано в отдельных ячейках. Иногда закупочный агент компаний отправлялся на рынки, где ткачи продавали свои полотна; но чаще всего, когда речь шла о крупных заказах (а заказы эти не переставали расширяться)[458], лучше было заключать контракты с индийскими купцами, которые располагали слугами, для того чтобы объезжать зоны производства, и сами заключали договор с ремесленником. По отношению к служащему (*servant*) той или иной конторы купец-посредник обязывался к определенной дате поставить по раз и навсегда установленной цене такое-то количество таких-то определенных типов ткани. Ткачу он по обычаю предоставлял денежный аванс, бывший в некотором роде обязательством произвести закупку, и давал работнику возможность купить себе пряжу и кормиться, пока длится его работа. После окончания изготовления штуки ремесленник получит цену по рыночному курсу за вычетом аванса. Действительно, свободная цена, не фиксировавшаяся в момент заказа, варьировала в зависимости от стоимости пряжи и в зависимости от цены риса.

Купец шел на риск, который, вполне очевидно, отражался на норме его прибыли. Но свобода, оставляемая ткачу, была

[456] Pavlov V. I. *Op. cit.*, p. 233.
[457] Chaudhuri K. N. *Op. cit.*, p. 260.
[458] Chaudhuri K. N. *Op. cit.*, p. 258.

несомненна: он получал аванс деньгами (а не сырьем, как в Европе); за ним оставалось прямое обращение к рынку — то, что европейский рабочий утрачивал в рамках системы надомного труда (*Verlagssystem*). С другой стороны, он имел возможность скрыться, сменить место работы, даже забастовать, оставить ремесло, возвратиться на землю, дать завербовать себя в войско. К. Н. Чаудхури находит довольно труднообъяснимой при таких условиях бедность ткача, о которой свидетельствует все и вся. Не заключалась ли причина этого в старинной социальной структуре, которая обрекала земледельцев и ремесленников на минимальное вознаграждение? Громадный подъем спроса и производства в XVII и XVIII вв. мог усилить свободу выбора для ремесленника, но не сломать низкий общий уровень заработной платы, несмотря на то обстоятельство, что производство омывала прямая денежная экономика.

Такая система делала мануфактуры в общем бессмысленными, но мануфактуры существовали при сосредоточении рабочей силы в обширных мастерских: это были *карханы* (*karkhanas*), работавшие единственно на потребу своих собственников, знати или самого императора. Но последние при случае не гнушались и экспортировать такие предметы величайшей роскоши. Мандельсло в 1638 г. говорил о великолепной ткани из шелка и хлопка с золотыми цветами, очень дорогостоящей, которую начали изготовлять в Ахмадабаде незадолго до его приезда в город и «[употребление] коей император оставил за собой, дозволив тем не менее иноземцам вывозить ее за пределы его государства»[459].

В действительности вся Индия обрабатывала шелк и хлопок, экспортировала невероятное количество тканей — от самых ординарных до самых роскошных — и во все концы света, ибо при посредстве европейцев даже и Америка получала немалую их долю. Разнообразие этих тканей можно себе вообразить по описаниям путешественников и по составлявшимся европейскими компаниями перечням товаров. Дадим в качестве образца (текстуально и без комментариев) перечисление текстильного товара из разных провинций по одному французскому мемуару: «Суровые и синие полотна из Салема, мадурские синие гинеи, гонделурские базены, перкали из Арни, покрывала из Пондишери, бетили, шавони, тарнатаны, органди, стинкерк с побережья, камбейские полотна, бажютапо, паполи, короты, бранли, буланы, лиманы, ковровые покрывала, читти, кадеи, белые дули, мазулипатамские платки, саны, муслины, террендины, дореа (полосатые муслины), стинкерковые платки, мальмоли одноцветные, вышитые золотой и серебряной нитью, обычные полотна из Патны [вывозившиеся в таком количестве — вплоть до 100 тыс. штук,— что их можно было получить, «не контрактуя»[460]], сирсаки (ткань из шелка и хлопка), бафты, гаманы, кассы, полотна в четыре нити, рядовые базены, газы, полотна из Пермакоди, янаонские гинеи, конжу...»[461] И еще автор мемуара добавляет, что для определенных типов тканей качества весьма варьируют: в Дакке, рынке для «весьма красивых муслинов, единственных в своем роде... есть ординарные муслины от 200 франков за 16 локтей* до 2500 франков за

[459] Abbé Prévost. *Op. cit.*, X, p. 65.

[460] Т.е. не заключая с ремесленником контракта об обязательной поставке.

[461] A. N., A. E., B III, 459, avril 1814 *(Mémoire sur le commerce de l'Inde... que fesoit l'ancienne compagnie des Indes et celle établie en 1785*, f[os] 1—32, passim).

* Парижский локоть равнялся 1,188 м.— *Прим. перев.*

8 локтей»[462]. Но это впечатляющее само по себе перечисление выглядит жалко рядом с 91 разновидностью текстильных изделий, список которых Чаудхури дал в приложении к своей книге.

[462] A.N., A.E., B III, 459, avril 1814, f° 12.

Не вызывает сомнения, что вплоть до английской машинной революции индийская хлопковая индустрия была первой в мире, как по качеству, так и по количеству своих изделий и по объему их вывоза.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК

В Индии все находилось в обращении, как сельскохозяйственный прибавочный продукт, так и сырье и промышленные изделия, предназначавшиеся для экспорта. По цепочкам местных купцов, ростовщиков и кредиторов зерно, собранное на деревенских рынках, добиралось до местечек и малых городков (*касб — qasbahs*), а затем при посредстве крупных купцов, специализировавшихся на перевозке тяжеловесных товаров, в частности соли и зерна,— и до городов крупных[463]. Не то чтобы такое обращение было совершенным: оно позволяло захватить себя врасплох неожиданным голодовкам, которые громадные расстояния слишком часто делали катастрофическими. Но разве иначе обстояло дело в колониальной Америке? Или даже в самой старой Европе? К тому же обращение представало во всех возможных формах: оно прорывало преграды, оно связывало друг с другом отдаленные области разных структур и уровней и, наконец, в обращении находились все товары — и ординарные и драгоценные,— перевозка которых покрывалась страховыми взносами под относительно низкий процент[464].

[463] Chandra S. *Some Aspects of the Growth of a Money Economy in India during the Seventeenth Century*.— «*The Indian Economic and Social History Review*», 1966, p. 326; Grover B. R. *Op. cit.*, p. 132.

[464] Grover B. R. *Op. cit.*, p. 128, 129, 131.

Передвижение по суше обеспечивали большие караваны (*кафила — kafilas*) купцов-*банджара (banjaras)*, охранявшиеся вооруженной стражей. В зависимости от местности караваны эти одинаково использовали повозки, запряженные быками, буйволов, ослов, одногорбых верблюдов, лошадей, мулов, а при случае — и носильщиков. Движение караванов прерывалось в дождливый сезон, оставляя тогда первое место за перевозками по речным путям и каналам, перевозками намного менее дорогостоящими, часто более быстрыми, но при которых, что любопытно, страховые ставки были более высоки. Повсюду караваны встречались с ликованием, даже деревни охотно давали им приют[465].

[465] Grover B. R. *Op. cit.*, p. 132.

Напрашивается, пусть чрезмерное, определение *национальный рынок*: огромный континент допускал определенную связность, сплоченность, важным, главным элементом которой была денежная экономика. Такая сплоченность создавала полюса развития, организаторов асимметрии, необходимой для оживленного обращения.

В самом деле, кто не заметит доминирующей роли Сурата и его области, привилегированной во всех сферах материальной жизни: торговле, промышленности, экспорте? Порт этот был большой выходной и входной дверью, которую торговля на дальние расстояния столь же связывала с потоком металла из Красного моря, сколь и с далекими гаванями Европы и Ин-

донезии. Другой, выраставший полюс — это Бенгалия, чудо Индии, колоссальный Египет. Тот французский капитан, что в 1739 г. не без труда поднялся со своим кораблем в 600 тонн водоизмещения вверх по Гангу до Чандернагора, был прав, говоря о реке: «Она есть источник и центр торговли Индии. Оная происходит там с большой легкостью, ибо там вы не подвержены неприятностям, кои случаются на Коромандельском берегу[466]... и поелику страна плодородна и чрезвычайно населена. Сверх огромного количества товаров, кои там изготовляют, [она] поставляет пшеницу, рис и в общем все, что необходимо для жизни. Такое изобилие притягивает и во все времена будет притягивать туда великое число негоциантов, каковые посылают корабли во все части Индии, от Красного моря до Китая. Вы видите там смешение европейских и азиатских наций, кои, столь сильно различаясь в своих дарованиях и своих обычаях, пребывают в совершенном согласии, но все же расходятся в силу интереса, каковой единственно ими руководит»[467]. Конечно же, потребовались бы и другие описания, чтобы воссоздать торговую географию Индии во всей ее плотности. В частности, пришлось бы поговорить о «промышленном блоке» Гуджарата, самом мощном на всем Дальнем Востоке; о Каликуте, о Цейлоне (Ланке), о Мадрасе. А затем — о разных иноземных или индийских купцах, готовых рискнуть без гарантий своими товарами или своими деньгами из-за без конца предлагавшегося фрахта, который оспаривали друг у друга все европейские корабли, за исключением голландских. И в неменьшей степени

[466] Где находилась французская фактория Пондишери, страдавшая от нерегулярности снабжения как продовольствием, так и товарами.
[467] A. N., Colonies, C², 75, f° 69.



Путешествия по Индии в XVI в.: тележки, запряженные быками (в них едут женщины), в княжестве Камбей; их сопровождает вооруженная охрана. *Фото Ф. Куиличи.*

понадобилось бы поговорить о дополнительных внутренних обменах (съестные припасы, но также и хлопок и изделия красильного ремесла) по водным путям и сухопутным дорогам, торговле менее блистательной, но, быть может, еще более важной, нежели внешнее обращение, для всей жизни Индии. Во всяком случае, решающей в том, что касалось структур Могольской империи.

СИЛА МОГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ

Империя Великих Моголов, сменив в 1526 г. Делийский султанат, заимствовала организацию, доказавшую свою состоятельность; сильная этим наследием и вновь обретенной динамикой, она долгое время будет машиной тяжелой, но действенной.

Первым проявлением ее силы (новаторским делом Акбара, 1556—1605 гг.) было то, что она заставила без особых затруднений сосуществовать обе религии — индуистскую и мусульманскую. Хоть последняя, будучи религией господ, получала, естественно, все почести, так что европейцы, видя бесчисленные мечети в Северной и Центральной Индии, долгое время рассматривали ислам как общую для всей Индии религию, а индуизм — религию купцов и крестьян — как своего рода идолопоклонство, находящееся на пути к исчезновению, подобно язычеству в Европе до христианства. Открытие индуизма европейской мыслью произойдет не ранее последних лет XVIII — первых лет XIX в.

Второй успех состоял в том, что удалось перенести на новую почву и распространить почти по всей Индии одну и ту же цивилизацию, заимствованную у соседней Персии, у ее искусства, ее литературы, ее чувствительности. Таким образом произойдет слияние культур, имевшихся на месте, и в конечном счете культура меньшинства, исламская, как раз и окажется поглощена индийской массой, но последняя и сама восприняла многочисленные культурные заимствования[468]. Персидский остался языком господ, привилегированных, высших классов. «Я велю написать радже на персидском языке»,— заявил губернатору Чандернагора один француз, оказавшийся в Бенаресе в затруднительном положении (19 марта 1768 г.)[469]. Со своей стороны администрация пользовалась хиндустани, но по организации своей она оставалась (и она тоже) построенной по мусульманскому образцу.

В самом деле, в актив Делийского султаната, а потом Могольской империи следует занести создание в провинциях *(саркар — sarkars)* и в округах *(паргана — parganas)* разветвленной администрации, которая обеспечивала взимание налогов и повинностей, а равным образом имела своей задачей развивать земледелие, т.е. подлежавшую обложению массу,— развивать орошение, способствовать распространению самых выгодных культур, предназначавшихся для экспорта[470]. Деятельность эта, порой подкреплявшаяся государственными субсиди-

[468] Spear P. *The Nabobs.* 1963, p. XIV f.
[469] A. N., C², 286, f° 280.
[470] Habib I. *Potentialities...*, p. 12, note 1.

ями и информационными поездками, зачастую бывала эффективна.

В центре системы находилась устрашающая сила армии, сконцентрированной в сердце империи, которой она давала возможность жить и за счет которой жила. Кадрами той армии были группировавшиеся вокруг императора представители знати — *мансабдары (mansabdars)* или *омера (omerahs)* — в общей сложности 8 тыс. человек (в 1647 г.). В соответствии со своим титулом они набирали десятки, сотни, тысячи наемников[471]. Численность войск, «державшихся наготове» в Дели, была значительной, немыслимой по европейским масштабам: почти 200 тыс. всадников плюс 40 тыс. фузилеров (стрелков) или артиллеристов. Совсем как в Агре, другой столице, выступление армии в поход оставляло позади себя опустевший город, где пребывали лишь бания[472]. Если попробовать подсчитать глобальную численность гарнизонов, рассеянных по всей империи и усиленных на границах, то они, несомненно, достигали миллиона человек[473]. «Нет ни одного маленького местечка, где бы не было по меньшей мере двух всадников и четырех пехотинцев»[474], на обязанности которых лежало поддерживать порядок и в неменьшей мере наблюдать, шпионить.

Армия сама по себе была правительством, поскольку высшие должности режима доставались прежде всего солдатам. Она была также главным потребителем иностранных предметов роскоши, в частности европейских сукон, которые импортировали не для одежды в таких жарких странах, но «для попон — *trousses*[475] и седел — конских, слоновьих и верблюжьих,— которые важные особы велят украшать выпуклой золотой и серебряной вышивкой, для покрытия паланкинов, для ружейных чехлов ради предохранения от сырости и для парадного облика их пехотинцев»[476]. Стоимость этого экспорта сукон якобы достигла к тому времени (1724 г.) 50 тыс. экю в год. Сами лошади, ввозившиеся из Персии или из Аравии в большом числе (разве же не располагал конный воин несколькими верховыми животными?), были роскошью: их непомерная цена в среднем вчетверо превышала ту, которую запрашивали в Англии. При дворе перед началом великих церемоний, открытых «для великих и малых», одним из развлечений императора было проведение «пред его взором некоторого числа красивейших лошадей из его конюшен», за ними следовало «несколько слонов... коих туловище хорошо помыто и весьма чисто... выкрашенные в черный цвет, за исключением двух больших полос красной краски», украшенные расшитыми покрывалами и серебряными колокольцами[477].

Роскошь, какой придерживалась *омера,* была почти столь же пышной, как и роскошь самого императора. Как и он, они владели собственными ремесленными мастерскими, *карханами (karkhannas)*,— мануфактурами, утонченные изделия которых предназначались для их исключительного пользования[478]. Их сопровождали громадные свиты слуг и рабов, а некоторые из *омера* скапливали баснословные сокровища в золотых монетах и драгоценных камнях[479]. Можно без труда себе представить, какой тяжестью давила на индийскую экономику эта аристо-

[471] *Ibid.*, p. 32.
[472] Abbé Prévost. *Op. cit.*, X, p. 232.
[473] См. Mousnier R.— в: Crouzet M. *Histoire générale des civilisations*, IV, 1954, p. 491.
[474] Abbé Prévost. *Op. cit.*, X, p. 235.
[475] Покрывала, которые в сложенном виде закреплялись позади седла.
[476] A. N., Colonies, C², 56, f^os 17 v° sq., 1724 г. Стоимость импорта сукон в то время достигала 50 тыс. экю ежегодно.
[477] Abbé Prévost. *Op. cit.*, X, p. 245.
[478] Habib I. *Potentialities...*, p. 38 f.
[479] *Ibid.*, p. 36—37.

кратия, жившая либо на жалованье, непосредственно выплачиваемое императорской казной, либо за счет крестьянских повинностей, взимавшихся с земель, которые жаловались им императором в качестве *джагиров* «для поддержания их титулов».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ МОГОЛОВ

Огромная имперская машина обнаружила в XVIII в. признаки истощения и износа. Пожалуй, затруднительно выбрать момент, чтобы отметить начало того, что назвали могольским упадком: либо 1739 г., когда персы захватили и подвергли чудовищному разграблению Дели; либо 1757 г., год победы англичан в битве при Плесси; либо 1761 г., год второй битвы при Панипате, где афганские воины, защищенные средневековыми панцирями, одержали верх над маратхами, вооруженными на новейший лад, в то самое время, когда последние готовились восстановить к собственной выгоде империю Великого Могола. Историки без лишних споров долгое время будут принимать как дату конца величия могольской Индии 1707 г.— год смерти Аурангзеба. Если мы последуем за ними, то получится, будто империя, в общем, скончалась своею смертью, не утруждая заботой иностранцев — персов, афганцев или англичан — положить ей конец.

Конечно же, то была странная империя, основанная на деятельности нескольких тысяч феодалов, *омера* или *мансабдаров* («носителей титулов»), рекрутировавшихся в Индии и вне ее. Уже в конце царствования Шах-Джахана (1628—1658 гг.) они прибывали из Персии, из Средней Азии — всего из семнадцати разных регионов. Они были так же чужды стране, где им предстояло жить, как позже — выпускники Оксфорда или Кембриджа, которые будут править Индией времен Редьярда Киплинга.

Дважды в день *омера* наносили визиты императору. Лесть была обязательна, как в Версале. «Император не произносил ни единого слова, которое не было бы воспринято с восхищением и которое бы не заставило главных *омера* воздевать руки к небу с криком *«карамат»*, что означает *чудеса»* [480]. Но прежде всего такие посещения позволяли им удостовериться, что государь жив и что благодаря ему империя по-прежнему стоит. Малейшее отсутствие императора, известие о постигшем его заболевании, ложный слух о его смерти могли единым махом развязать ошеломляющую бурю войны за престолонаследие. Отсюда и неистовое стремление Аурангзеба на протяжении последних лет его долгой жизни продемонстрировать свое присутствие, даже когда он бывал чуть ли не смертельно больным, дабы доказать *на людях (coram populo),* что он все еще существует и вместе с ним существует империя. В самом деле, слабостью этого авторитарного режима было то, что ему не удалось раз и навсегда определить способ наследования императорской власти. Правда, борьба, которая почти всегда возникала в таком случае, не обязательно бывала очень серьезной. В 1658 г. Аурангзеб в конце войны за престолонаследие, кото-

[480] Abbé Prévost. *Op. cit.*, X, p. 146.

рой ознаменовалось кровавое начало его правления, разбил своего отца и своего брата. Тем не менее среди побежденных не замечалось особенно большой печали. «Почти все *омера* были призваны ко двору Аурангзеба... и что почти невероятно, из них не нашлось ни одного, кто бы обладал мужеством проявить колебание или что-либо предпринять для своего короля, для того, кто сделал их такими, каковы они были, кто извлек их из праха, а может быть, даже и из рабского состояния, как то довольно обычно при сем дворе, дабы возвысить к богатству и к почестям»[481]. Франсуа Бернье, этот французский врач — современник Кольбера, свидетельствовал таким образом, что, несмотря на свое долгое пребывание в Дели, он не забыл своей манеры чувствовать и судить. Но великие в Дели следовали иной морали, они следовали урокам особого мирка. К тому же кто они были? *Кондотьеры*, подобно итальянцам XV в., вербовщики солдат и всадников, которым платили за оказываемые

[481] Bernier F. *Voyages... contenant la description des États du Grand Mogol...*, 1699, I, p. 94.



Великий Могол отправляется на охоту, эскортируемый множеством вельмож и прислужников, которые почти все едут верхами — на лошадях, слонах или верблюдах (за исключением немногих пехотинцев в глубине картины справа). *Фото Национальной библиотеки.*

482 Abbé Prévost. *Op. cit.*, X, p. 235.
483 Abbé Prévost. *Op. cit.*, X, p. 95.
484 Spear P. *Op. cit.*, p. XIII.

услуги. На них лежало собрать людей, вооружить их — каждый по-своему (отсюда и разношерстное вооружение могольских войск)[482]. В качестве кондотьеров они были слишком привычны к войне, чтобы не лукавить с ее опасностями, они вели ее без страсти, думая единственно о своих интересах. Совсем как военачальникам времен Макиавелли, им случалось затягивать военные действия, избегая решительных столкновений. Яркая победа имела свои неудобства: она возбуждала зависть к слишком удачливому начальнику. Тогда как затягивать кампанию, раздувать численность войск и, стало быть, жалованье и выплаты, обеспечиваемые императором, означало лишь выгоду, особенно когда война не была слишком опасной, когда она заключалась в том, чтобы разбить лагерь в тысячи шатров против крепости, которую приведет к сдаче голод; лагерь, обширный как город, с сотнями лавок, с удобствами, даже с известной роскошью. Франсуа Бернье оставил нам хорошее описание этих удивительных полотняных городов, которые строились и вновь создавались вдоль маршрута поездки Аурангзеба в Кашмир в 1664 г. и которые объединяли тысячи и тысячи людей. Шатры располагались в лагере в одном и том же порядке. И *омера*, как и при дворе, свидетельствовали почтение государю. «Нет ничего более великолепного, как видеть среди темной ночи в сельской местности, между всеми шатрами войска, длинные линии факелов, кои сопровождают всех *омера* в императорскую квартиру или обратно к их шатрам...»[483].

В целом то была удивительная машина, прочная и, однако же, хрупкая. Для того чтобы она крутилась, требовался энергичный, деятельный государь, каким, может быть, был Аурангзеб в течение первой половины своего царствования, в общем — до 1680 г., того года, в котором он подавил восстание своего собственного сына Акбара[484]. Но требовалось также, чтобы страна не раскачивала социальный, политический, экономический и религиозный порядок, который ее сжимал. Однако этот противоречивый мир непрестанно менялся. Тем, что менялось, был не один только государь, становившийся нетерпимым, подозрительным, нерешительным, более чем когда-либо ханжой: одновременно с ним менялась вся страна и даже армия. Последняя предавалась роскоши и всяческим наслаждениям и при такой жизни утрачивала свои боевые качества. Вдобавок она расширяла свои ряды и набирала чересчур много людей. А ведь число *джагиров* не увеличивалось в таком же ритме, и те, что жаловались, зачастую бывали запустевшими или располагались на засушливых землях. Общая тактика обладателей *джагиров* заключалась тогда в том, чтобы не упустить ни единой возможности извлечения прибыли. При таком климате пренебрежения к общественному благу некоторые представители *пожизненной* аристократии Могола старались утаить часть своего состояния от предусмотренного законом возвращения его императору после их смерти; им даже удалось добиться, как это было в то время в Турецкой империи, превращения своих пожизненных имуществ в наследственную собственность. Другой признак разложения системы: уже к середине XVII в.

принцы и принцессы крови, женщины гарема и знать кинулись в дела либо непосредственно, либо при посредничестве купцов, служивших для них подставными лицами. Сам Аурангзеб имел корабельный флот, который вел торговлю с Красным морем и африканскими гаванями.

В Могольской империи состояние более не было вознаграждением за услуги, оказанные государству. *Субахи (subahs)* и *навабы (nababs)*, хозяева провинций, были не больно-то послушными. Когда Аурангзеб нанес удар по двум мусульманским государствам Декана — царствам Биджапур (1686 г.) и Голконда (1687 г.),— и покорил их, он оказался после победы перед широким и внезапным кризисом неповиновения. Уже обозначилась резкая враждебность ему маратхов, маленького и бедного народа горцев в Западных Гатах. Императору не удавалось пресечь набеги и грабежи этих поразительных всадников, к тому же их поддерживала масса искателей приключений и недовольных. Ни силой, ни хитростью, ни подкупом ему не удалось нанести поражение их вождю Шиваджи — мужлану, «горной крысе». Престиж императора отчаянно от этого страдал, в особенности когда в январе 1664 г. маратхи взяли и разграбили Сурат — великий, богатейший порт империи Моголов, отправную точку для всех видов торговли и путешествий паломников в Мекку, самый символ господства и могущества Моголов.

По всем этим мотивам Н. М. Пирсон [485] с известным основанием включает долгое царствование Аурангзеба в самый процесс упадка империи Моголов. Его тезис заключается в том, что, оказавшись перед лицом этой небывалой и упорной внутренней войны, империя обнаружила неспособность следовать своему призванию, смыслу своего существования. Это возможно, но была ли трагедия этой войны следствием единственно политики Аурангзеба после 1680 г., проводимой под двойным знаком кровожадной подозрительности и религиозной нетерпимости, как это утверждают еще и сегодня [486]? Не слишком ли многое мы возлагаем на этого «индийского Людовика XI» [487]? Индуистская реакция была волной, возникшей в глубинах; признаки ее мы видим в войнах маратхов, в торжествующей ереси сикхов и их ожесточенной борьбе [488], но мы не представляем себе ясно ее истоков. А ведь они, вероятно, объяснили бы глубокое, неодолимое разложение могольского господства и его попытки заставить жить вместе две религии, две цивилизации — мусульманскую и индуистскую. Мусульманская цивилизация с ее институтами, с ее характерным урбанизмом, с ее памятниками, которым подражал даже Декан, внешне являла зрелище довольно редкого успеха. Но успех этот закончился, и Индия раскололась надвое. Кстати, именно такое четвертование открыло путь английскому завоеванию. Об этом с полной ясностью сказал (25 марта 1788 г.) Исаак Титсинг, голландец, долгое время представлявший Ост-Индскую компанию в Бенгалии: единственным непреодолимым для англичан препятствием был союз мусульман и маратхских князей; «английская политика ныне постоянно направлена на то, чтобы устранить подобный союз» [489].

[485] Pearson N. M. *Shivaji and the Decline of the Mughal Empire.*— «*Journal of Asian Studies*», 1970, p. 370.

[486] Majumdar A. K. *L'India nel Medioevo e al principio dell'età moderna.— Propyläen Weltsgeschichte* (итальянский перевод), VI, 1968, p. 191.

[487] *Ibid.*, p. 189.

[488] Индуистская вишнуитская секта, основанная в начале XVI в.; сикхи создали государство с центром в Лахоре.

[489] Furber H. *Op. cit.*, p. 303.

Что достоверно, так это медленность растерзания могольской Индии. В самом деле, битва при Плесси (1757 г.) произошла пятьдесят лет спустя после смерти Аурангзеба (1707 г.). Было ли это полустолетие явных трудностей уже периодом экономического упадка? И упадка для кого? Ибо, разумеется, XVIII в. был отмечен по всей Индии ростом успехов европейцев. Но что это означало?

В действительности об истинном экономическом положении Индии в XVIII в. судить трудно. Тогда некоторые регионы испытали определенный спад, иные удержались на прежнем уровне, кое-какие смогли продвинуться вперед. Войны, разорявшие страну, сравнивали со страданиями немцев во время Тридцатилетней войны (1618—1648 гг.)[490]. Одно сравнение стоит другого: Религиозные войны во Франции (1562—1598 гг.) могли бы послужить хорошим примером, ибо во время этих войн, калечивших Францию, экономическое положение страны было скорее хорошим[491]. И именно такое экономическое потворство поддерживало и продлевало войну, именно оно позволяло оплачивать части иностранных наемников, которых непрерывно вербовали протестанты и католики. Не шли ли войны в Индии благодаря сходному экономическому потворству? Это возможно: маратхи организовывали свои набеги только с помощью деловых людей, которые примкнули к их лагерю и накапливали вдоль выбранных маршрутов продовольствие и необходимые боеприпасы. Нужно было, чтобы война оплачивала войну.

Короче говоря, проблема поставлена: чтобы ее решить, потребовались бы обследования, кривые цен, статистические данные... Могу ли я, единственно под свою ответственность, предположить, что Индия второй половины XVIII в. была, видимо, вовлечена в конъюнктуру повышательную, существовавшую на пространстве от Кантона до Красного моря? То, что европейские Компании и независимые купцы или же *«служащие»*, замешанные в местной торговле (*country trade*), делали удачные дела, увеличивали число и тоннаж своих кораблей, могло означать убытки, наведение порядка, но нужно было, чтобы производство Дальнего Востока, и в частности производство Индии, которая по-прежнему занимала центральную позицию, следовало за общим движением. И как писал Холден Фербер, знающий проблему, «на каждую штуку полотна, выработанную для Европы, нужно было соткать сто штук для внутреннего потребления»[492]. Даже Африка по берегу Индийского океана в то время вновь переживала оживление под воздействием купцов из Гуджарата[493]. Не был ли пессимизм историков Индии по поводу XVIII в. всего лишь априорной позицией?

В любом случае, была ли Индия открыта подъемом или спадом ее экономической жизни, она предстала не слишком защищенной перед иноземным завоеванием. Не только завоеванием англичан: французы, афганцы или персы охотно вступили бы в ряды завоевателей.

Было ли то, что приходило в упадок, жизнью Индии на вершине ее политического и экономического функционирования? Или то была тесно сплоченная жизнь местечек и деревень? На

[490] Majumdar A. K. *Op. cit.*, p. 195.
[491] Braudel F. *Médit...*, I, p. 340.
[492] Furber H. *Op. cit.*, p. 25.
[493] Papagno G. *Monopolio e libertà di commercio nell'Africa orientale portoghese alla luce di alcuni documenti settecenteschi.*— «*Rivista storica italiana*», 1974, II, p. 273.

элементарном уровне не все сохранялось, но многое оставалось в прежнем положении. Во всяком случае, англичане не завладели страной, лишенной ресурсов. Даже после 1783 г. в Сурате, городе, уже утратившем значение, англичане, голландцы, португальцы и французы вели крупную торговлю[494]. В 1787 г.[495] своими ценами, более высокими, нежели цены в английских постах, Маэ привлекал и оттягивал на себя коммерческие операции с перцем. Французская торговля «из Индии в Индию», обеспечивавшаяся местными уроженцами, обосновывавшимися во французских конторах, а еще больше — на островах Бурбон и Иль-де-Франс, процветала или по меньшей мере сохранялась на прежнем уровне. И не было ни одного француза, слишком поздно принявшегося искать удачи в Индии, который бы тогда не имел своих антианглийских решений и своих торговых планов: разве же Индия не была всегда желанной добычей, желанным завоеванием?

[494] A. N., A. E., B III, 459. Памятная записка Луи Моннерона от 1 прериаля IV г.
[495] A. N., 8 AQ, 349.

ОТСТАВАНИЕ ИНДИИ В XIX в.

Что достоверно, так это общее отставание Индии в XIX в. Отставание абсолютное, а также и относительное — в той мере, в какой она неспособна будет идти в ногу с европейской промышленной революцией и подражать английскому господину. Специфический ли капитализм Индии окажется за это ответственным? Стеснительная ли экономическая и социальная структура со слишком низкой заработной платой? Или трудная политическая конъюнктура, войны XVIII в., сопрягавшиеся с расширяющимися захватами Европы, в особенности английскими? Или недостаточное техническое развитие? Или же решающий удар нанесла, но с опозданием, как и в России, машинная революция Европы?

Индийский капитализм, конечно, имел свои недостатки. Но он составлял часть системы, которая, в конце концов, функционировала не так уж плохо, хоть Индия и была непропорционально большим телом — в десяток раз больше Франции, в двадцать раз больше Англии. Это тело, этот национальный рынок, который сама география раскалывала, нуждались, для того чтобы жить (тело) или функционировать (рынок), в определенном количестве драгоценных металлов. Ведь экономико-социополитическая система Индии, сколь бы жесткой и даже извращенной она ни была, обрекала ее, как мы видели, на необходимую текучесть и эффективность денежной экономики. Индия не располагала драгоценными металлами, но она ввозила их достаточно, чтобы с XIV в. крестьянские повинности в центральной зоне взимались в деньгах. Кто мог похвалиться лучшим в тогдашнем мире, включая и Европу? А так как денежная экономика работала лишь при условии существования хранилищ, накопления, открытия затворов, создания — до урожая или платежей — *искусственных* денег, организации рыночных и кредитных сделок; так как не существует *по-настоящему* денежной экономики без купцов, негоциантов, арматоров, страховых обществ, маклеров, посредников, лавочников, торговцев

вразнос, то ясно, что такая торговая иерархия существовала в Индии и выполняла свою роль.

Именно в этом определенный капитализм составлял часть могольской системы. В пунктах вынужденного перехода негоцианты и банкиры удерживали ключевые посты в накоплении и увеличении капитала. Если в Индии, как и в мире ислама, отсутствовала преемственность в семействах крупных землевладельцев, которые на Западе одновременно с богатством накапливали капитал влияния и власти, то система каст, напротив, благоприятствовала процессу торгового и банковского накопления, настойчиво продолжавшемуся из поколения в поколение, и придавала ему устойчивость. Некоторым семействам удавалось накапливать исключительные состояния, сравнимые с состояниями Фуггеров или Медичи. В Сурате были негоцианты, владевшие целыми флотами. Нам также известны сотни и сотни крупных купцов, принадлежавших к кастам бания. И столько же богатых и богатейших мусульманских купцов. В XVIII в. банкиры были, видимо, на вершине своего богатства. Не были ли они вознесены (как я бы считал, возможно, под влиянием европейской истории) логической эволюцией экономической жизни, которая имела тенденцию создавать в конечном счете высокие уровни банкирской деятельности? Или же, как предположил это Т. Райчаудхури, такие деловые люди были отброшены в сферу финансов (сбор налогов, банки и ростовщичество), поскольку европейская конкуренция все более и более выталкивала их за пределы морской деятельности и торговли на дальние расстояния [496]. Оба эти движения могли соединиться, чтобы обеспечить успех Джагасетхов, которые, будучи удостоены этого пышного титула — *мировые банкиры*,— в 1715 г. заменили им свои старинные отчества.

Мы довольно хорошо знаем это семейство, принадлежавшее к одному ответвлению касты марвари и происходившее из государства Джайпур. Их состояние сделалось громадным после того, как они обосновались в Бенгалии, где мы видим их занимающимися сбором налогов для Великого Могола, предоставляющими займы под ростовщический процент и банковские авансы, занимающимися монетным двором в Муршидабаде. Если верить в этом некоторым из их современников, они будто бы сколотили состояние единственно поддержанием курса рупии относительно старинных монет. Как менялы, они посредством векселей переводили в Дели огромные суммы к выгоде Великого Могола. При взятии Муршидабада отрядом маратхской конницы они единым махом потеряли 20 млн. рупий, но их дела продолжались как ни в чем не бывало... Добавим, что Джагасетхи были не единственными. Известно немало других деловых людей, которые и рядом с ними не выглядели бледно [497]. Правда, эти капиталисты Бенгалии начиная с конца XVIII в. будут постепенно разорены, но не в силу собственной неспособности, а по воле англичан [498]. Зато на западном побережье Индии мы видим в Бомбее в первой половине XIX в. процветание группы очень богатых парсов и гуджаратцев, мусульман и индуистов, во всех видах торговой и банковской деятельности, судостроении, фрахтовании, торговле с Китаем

[496] Raychaudhuri T. *Readings in Indian Economy*. 1964, p. 17, цит. по: Pavlov V. I. *Op. cit.*, p. 87.
[497] Pavlov V. I. *Op. cit.*, p. 86—88.
[498] *Ibid.*, p. 239 f.

и даже в некоторых видах промышленности. Один из самых богатых — парс Дж. Джиджибхой — имел на хранении в одном из английских банков города 30 млн. рупий [499]. В Бомбее, где сотрудничество и организация туземных сетей деловых связей были для англичан необходимыми, индийский капитализм без труда доказал свою способность приспосабливаться.

Означает ли это, что он всегда был в выигрышном положении в Индии? Конечно же, нет, потому что купцы и банкиры были не одни. Над ними существовали, еще до требований английского господства, деспотические государства Индии — и не одно только государство Великого Могола: богатство крупных торговых семейств обрекало их на вымогательства со стороны сильных мира сего. Они жили в постоянном страхе перед ограблением и пытками [500]. А раз так, то сколь бы оживленным ни было движение денег, бывшее душой торгового капитализма и индийской экономики, миру бания недоставало вольностей, гарантий, потворства политического, которые на Западе благоприятствовали подъему капитализма. Но отсюда далеко до того, чтобы, как это иной раз делают, обвинять индийский капитализм в немощи. Индия — это не Китай, где капитализм сам

[499] *Ibid.*, p. 324—325.
[500] *Ibid.*, p. 99 f.

Служащий Ост-Индской компании, предающийся удовольствиям курения опиума и сладкой жизни. Картина Дип Чанда (конец XVIII в.). *Музей Виктории и Альберта. Фото Музея.*



по себе, т. е. накопление, сознательно тормозился государством. В Индии богатейшие купцы, даже если они и были подвержены вымогательствам, были многочисленны и сохранились. Могущественная кастовая солидарность прикрывала и гарантировала успех группы, обеспечивала ей купеческую поддержку от Индонезии до Москвы.

Итак, я бы не стал винить капитализм в отставании Индии, которое определенно, как всегда, было вызвано как внутренними, так и внешними причинами.

Среди внутренних на первое место сто́ит, пожалуй, поставить низкую заработную плату. Говорить о разрыве между заработной платой индийской и заработками европейскими — это трюизм. По мнению директоров [английской] Ост-Индской компании, в 1736 г. заработная плата французких рабочих (известно, что она далеко отставала от вознаграждения английской рабочей силы) будто бы вшестеро превосходила заработную плату в Индии [501]. Однако же Чаудхури не так уж не прав, находя несколько загадочной столь жалкую оплату весьма квалифицированных работников, которым, как представляется, социальный контекст оставлял достаточные свободу и средства защиты. Но не был ли низкий уровень заработной платы структурной чертой, изначально вписанной в общую экономическую систему Индии? Я хочу сказать: не был ли он необходимым условием для потока драгоценных металлов в направлении Индии,— потока очень древнего, установившегося с римских времен? Не он ли еще лучше, нежели необузданный вкус императора и привилегированных к тезаврации, объясняет подобную циклону тягу, увлекавшую западные драгоценные металлы на восток? Золотые и серебряные монеты, когда они достигали Индии, автоматически повышались в цене сообразно очень низкой цене человеческого труда, которая неизбежно влекла за собой дешевизну съестных припасов и даже относительную дешевизну пряностей. Отсюда, как бы в виде ответного удара, и мощь проникновения на рынки Запада индийского экспорта — сырья, еще более хлопчатых полотен и шелковых изделий Индии: по сравнению с английской, французской или голландской продукцией им благоприятствовали их качество, их красота, но также и разрыв в ценах, аналогичный тому, который ныне выбрасывает на рынки мира текстильные изделия Гонконга или Южной Кореи.

Труд некоего «внешнего пролетариата» — вот самое основание торговли Европы с Индией. Защищая принцип вывоза драгоценного металла, Томас Мэн приводил в 1684 г. не допускавший возражений аргумент: индийские товары, которые Ост-Индская компания закупила за 840 тыс. фунтов, были перепроданы по всей Европе за 4 млн. фунтов; в конечном счете эти четыре миллиона соответствовали поступлению монеты в Великобританию [502]. Начиная с середины XVII в. импорт хлопковых тканей занял первое место и быстро возрастал. В 1785 — 1786 гг., в течение одного только года, английская Компания продала в одном лишь Копенгагене 900 тыс. штук индийских тканей [503]. Но не прав ли К. Н. Чаудхури, делая из этого заключение, что не могло быть никаких побудительных причин для тех-

[501] Chaudhuri K. N. *Op. cit.*, p. 273.
[502] Pavlov V. I. *Op. cit.*, p. 215.
[503] *Ibid.*, p. 216.

нических исследований, увеличивающих производительность в стране, где ремесленников насчитывались миллионы и изделия которой были нарасхват по всему миру? Пока все шло хорошо, все могло оставаться в прежнем виде. Напротив, побудительные причины «сработали» в отношении европейской промышленности, оказавшейся под угрозой. Для начала Англия на протяжении большей части XVIII в. держала закрытыми свои границы для индийского текстиля, который она реэкспортировала в Америку и в Европу. Затем она постаралась завладеть столь обильным рынком. Она не могла это сделать иначе, как благодаря жесткой экономии рабочей силы. Разве случайно машинная революция началась в хлопкопрядильной промышленности?

Здесь мы соприкасаемся со вторым объяснением отставания Индии, теперь уже не внутренним, а внешним. Второе это объяснение выражается одним словом: Англия. Недостаточно сказать: англичане овладели Индией и ее ресурсами. Индия была для них инструментом, с помощью которого они овладели пространством, более обширным, чем она, чтобы господствовать над азиатским супермиром-экономикой, и именно в таких расширенных рамках очень рано можно видеть, как деформировались и отклонялись внутренние структуры и равновесие Индии, дабы отвечать чуждым ей целям. И как в этом процессе она была в XIX в. в конечном счете «деиндустриализирована», сведена к роли великого поставщика сырья.

В любом случае Индия XVIII в. не находилась накануне того, чтобы породить революционный промышленный капитализм. В собственных своих границах она дышала и действовала естественно, сильно и успешно; она обладала традиционным земледелием, но здоровым и высокопроизводительным, промышленностью старого типа, но исключительно оживленной и эффективной (вплоть до 1810 г. индийская сталь была даже лучше английской, уступая лишь шведской стали [504]); она была вся охвачена давно уже функционировавшей рыночной экономикой; она располагала многочисленными и эффективными торговыми кругами. Наконец, торговое ее могущество и промышленное покоилось, как и должно было быть, на энергичной торговле на дальние расстояния: Индию омывало более крупное экономическое пространство, чем она сама.

Но над этим пространством она не господствовала. Я даже отмечал ее пассивность по отношению к окружающему ее миру, от которого зависела самая оживленная часть ее обменов. А ведь именно извне, посредством захвата путей местной торговли (*country trade*), Индия мало-помалу была свергнута с престола, доведена до бедности. Вмешательство Европы, поначалу выражавшееся в подстегивании ее экспорта, в конце концов обратилось против нее. И как бы верх иронии, как раз массивная сила Индии будет использована, чтобы довершить ее саморазрушение, чтобы начиная с 1760 г. благодаря хлопку и опиуму взломать недостаточно открытые двери Китая. И Индии придется перенести ответный удар этой возросшей силы Англии.

[504] *Ibid.*, p. 217; это, вне сомнения, та причина, по которой англичане если и ввозили в XVIII в. в Индию сталь, в частности, для индийских судостроительных верфей, то всегда сталь шведскую, а не английскую.

ИНДИЯ И КИТАЙ, ОХВАЧЕННЫЕ ОДНИМ СУПЕРМИРОМ-ЭКОНОМИКОЙ

И вот к концу этих объяснений мы вернулись к первоначально поставленной проблеме: общей жизни Дальнего Востока, охваченного с 1400 г. одним супермиром-экономикой, очень обширным, грандиозным, но хрупким. Такая хрупкость была, несомненно, одним из самых главных элементов всемирной истории. Ибо Дальний Восток достаточно организованный для того, чтобы в него можно было проникнуть со сравнительной легкостью, но недостаточно организованный, чтобы защитить себя, как бы призывал захватчика. Стало быть, вторжение европейцев не заключало в себе единственно их ответственность. К тому же оно последовало за немалым числом других вторжений, хотя бы мусульманских.

Логической точкой слияния, рандеву в центре такого супермира-экономики была, могла быть только Индонезия. География поместила ее на окраине Азии, на полпути между Китаем и Японией, с одной стороны, и Индией и странами Индийского океана, с другой. Тем не менее возможности, какие предоставляет география, принимает или не принимает история, и в отказе или принятии будут существовать бесчисленные нюансы в зависимости от поведения двух дальневосточных гигантов — Индии и Китая. Когда и та и другой процветали, были хозяевами своей территории, когда они одновременно действовали на внешней арене, центр тяжести Дальнего Востока имел определенные шансы расположиться и даже закрепиться на более или менее продолжительный промежуток времени на уровне полуострова Малакка, островов Суматра или Ява. Но гиганты эти пробуждались медленно и всегда действовали медленно.

Итак, к началу христианской эры, следовательно, поздно, Индия узнала и оживила мир Индонезии. Ее мореходы, ее купцы и ее духовные проповедники эксплуатировали, просвещали архипелаг, обращали его в новую религию, с успехом предлагали ему более высокие формы политической, религиозной и экономической жизни. Архипелаг был тогда «индуизирован».

Китайское чудовище появилось среди этих островов с огромным опозданием, только к V в. И оно не навяжет уже индуизированным государствам и городам печать своей цивилизации, которая могла бы восторжествовать здесь, как восторжествовала и восторжествует она в Японии, Корее или во Вьетнаме. Китайское присутствие останется ограничено экономической и политической сферами: Китай несколько раз будет навязывать индонезийским государствам протекторат, опеку, отправку посольств для выражения верноподданнических чувств, но в главном, в образе жизни, государства эти долго останутся верны самим себе и своим первым учителям. Для них Индия была весомее Китая.

Индуистская экспансия, потом экспансия китайская, вероятно, соответствовали экономическим взлетам, которые их вызвали и поддерживали и хронологию которых следовало бы

знать лучше, вскрыв их происхождение и жизненные силы. Хотя я малокомпетентен в этих областях, слабо открытых для историков-неспециалистов, я полагаю, что Индия во время своей экспансии на восток могла отражать удары, которые ей передавались далеким Западом, т. е. Средиземноморьем. Сцепка Европа — Индия, очень древняя, созидательная во всех отношениях, — не была ли она одной из сильных черт структуры древней истории мира? Для Китая проблема стоит по-иному, как если бы он достигал в Индонезии некой предельной границы, которую он почти не переходил. Индонезийские ворота, или плотину, всегда легче было проходить с запада на восток и на север, нежели в противоположном направлении.

В любом случае эти экспансии — первая, индийская, потом китайская — сделали из Индонезии если не господствующий полюс, то по меньшей мере оживленный перекресток. Последовательные подъемы этого перекрестка назывались царством Шривиджайя (VII — XIII вв.) с центром на юго-востоке Суматры и в городе Палембанг; затем империей Маджапахит (XIII — XV вв.) — с центром на богатой рисом Яве. Одно за другим эти два политических образования овладевали главными осями мореплавания, в частности наиважнейшим путем через Малаккский пролив. Образованные таким путем царства были могущественными опытами талассократии, и то и другое просуществовали определенное время: первое — пять-шесть веков, второе — три-четыре столетия. В применении к ним можно было бы говорить уже об индонезийской экономике, если не о супермире-экономике Дальнего Востока.

Вероятно, супермир-экономика с центром в Индонезии существовал, начиная с раннего возвышения Малакки, стало быть с 1403 г., даты основания города, либо с 1409 г., даты его внезапного появления, и до взятия города Афонсу д'Албукерки 10 августа 1511 г. [505] И именно этот внезапный, а затем многовековой успех и следует рассмотреть поближе.

[505] См. Cortesão A.— в: The Suma Oriental de Tome Pires. 1944, II, p. 278—279; Magalhaẽs Godinho V. *Op. cit.*, p. 783.

РАННЯЯ СЛАВА МАЛАККИ

География сыграла свою роль в судьбе Малакки [506]. Город на проливе, сохранившем его название, занимал выгодное положение на морском «канале», соединяющем воды Индийского океана с водами окраинных морей Тихого океана. Узкий полуостров (который сегодня хорошие дороги позволяют быстро пересечь даже на велосипеде) некогда пересекали на уровне перешейка Кра простые грунтовые дороги. Но путь преграждали леса, полные свирепых зверей. Единожды установившись, плавание вокруг полуострова увеличило ценность Малаккского пролива [507].

Построенная на небольшом возвышении над «влажной» и «илистой» почвой («один удар киркой, и выступает вода» [508]), разделенная надвое речкой с чистой водой, где могли причаливать лодки, Малакка была скорее причалом и убежищем, чем настоящим портом: большие джонки бросали якорь в виду города, между двумя островками, которые португальцы окрести-

[506] Meilink-Roelofsz M. A. P. *Asian Trade and European Influence*. 1962, p. 13 f.

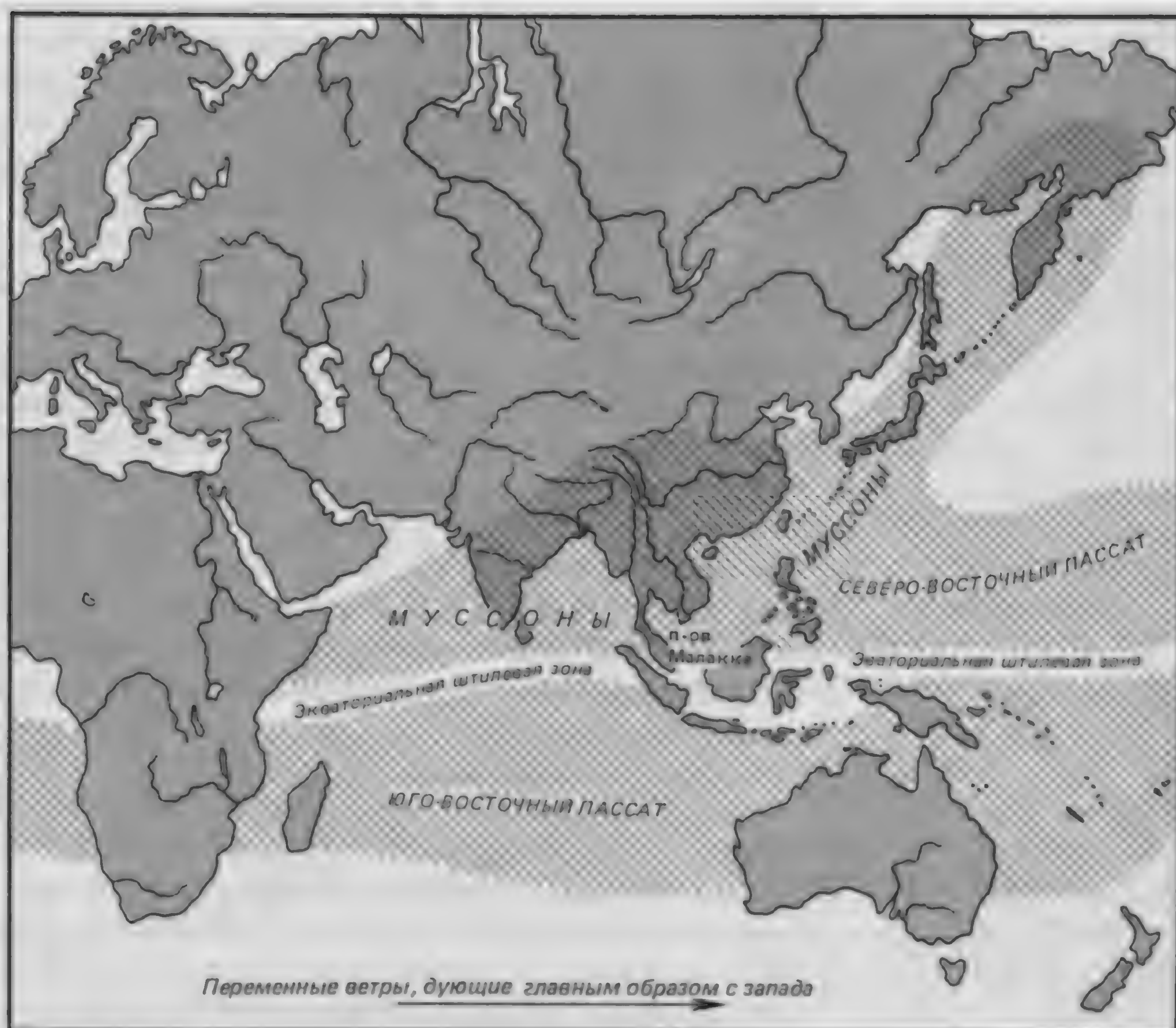
[507] Wolters O. W. *Early Indonesian Commerce*. 1967, p. 45 f.

[508] Abbé Prévost. *Op. cit.*, VIII, p. 316.

ли Каменным островом и Корабельным островом *(Ilha da Pedra* и *Ilha das Naos),* последний был «не больше той амстердамской площади, где расположена Ратуша» [509]. Тем не менее, как писал другой путешественник, «к Малакке можно подойти в любое время года — преимущество, коего нет у портов Гоа, Кочина [или] Сурата» [510]. Единственным препятствием были приливные течения в проливе: прилив обычно «поднимается на востоке и спадает на западе» [511]. И как будто таких преимуществ было недостаточно, Малакка (см. карту, расположенную внизу страницы) не только соединяла воды двух океанов, но и находилась на стыке двух зон циркуляции ветров: зоны муссонов Индийского океана на западе и зоны пассатов на юге и на востоке. И что всего удачнее, узкая полоса спокойных экваториальных вод, медленно смещавшаяся то к северу, то к югу, следуя за движением солнца, достаточно долго удерживалась как раз в малаккском регионе (на 2°30′ северной широты), последовательно открывая судам свободный проход к пассату или к муссону. Это, воскликнул Зоннерат [512], «одна из стран, более всего облагодетельствованных природой; она заставила здесь царить вечную весну».

Но по всей Индонезии были и другие привилегированные места, как, скажем, Зондский пролив. Прежние успехи Шривиджайи и Маджапахита [513] установили, что контроль можно одинаково осуществлять с восточного побережья Суматры и даже с Явы, далее к востоку. Впрочем, в январе 1522 г. корабли экспедиции Магеллана, после гибели ее начальника на Филиппинах, прошли на обратном пути Зондские острова на уровне

[509] *Ibid.*, p. 312.
[510] *Ibid.*, IX, p. 74, 1622 г.
[511] *Ibid.*, IX, p. 632.
[512] Sonnerat. *Op. cit.*, II, p. 100.
[513] По поводу этих вопросов см. классическую книгу: Coedes G. *Les États hindouisés d'Indochine et d'Indonésie.*— Cavaignac M. E. *Histoire du monde,* VII, 1948,



Привилегированное положение Малакки
Экваториальная штилевая зона поднимается к северу, затем спускается к югу, следуя движению солнца. Следовательно, Малакка служит соединительным звеном или же проходом между муссонами и пассатами северо-восточными и юго-восточными. (По данным «Атласа» Видаль де Лаблаша, с. 56.)

Тимора, чтобы южнее выйти в зону юго-восточных пассатов. И аналогичным же путем добрался до южных окраин Индонезии в 1580 г. Дрейк во время своего кругосветного путешествия.

В любом случае, если подъем Малакки и объясняется географическими причинами, история многое к тому добавила, как в локальном плане, так и в плане общем для экономики Азии. Так, новому городу удалось привлечь к себе (и в некотором роде установить над ними опеку) малайских мореходов соседних побережий, издавна занимавшихся каботажем, рыболовством, а еще больше — пиратством. Он, таким образом, освободил пролив от этих грабителей, в то же время обеспечив себе небольшие грузовые парусники, рабочую силу, экипажи и даже военные флоты, в которых нуждался. Что же касается больших джонок, необходимых для торговли на дальние расстояния, то их Малакка нашла на Яве и в Пегу. Именно там, например, султан Малакки (который весьма пристально наблюдал за торговыми операциями своего города и взимал с них свою немалую долю) закупил корабли, на которых он за собственный счет организовал поездку в Мекку.

Быстрое развитие города вскоре само по себе создало проблему. Как жить? Малакка, за спиной которой располагался гористый и покрытый лесами полуостров, богатый месторождениями олова, но лишенный продовольственных культур, не имела иных продовольственных ресурсов, кроме продуктов своего прибрежного рыболовства. И следовательно, оказалась в зависимости от Сиама и Явы, производителей и продавцов риса. Но ведь Сиам был государством агрессивным и опасным, а Ява держала на своих плечах постаревший, но еще не упраздненный империализм Маджапахита. Вне сомнения, и то и другое из этих государств легче легкого справилось бы с маленьким городом, порожденным случаем, происшествием местной политики, если бы Малакка в 1409 г. не признала свою зависимость от Китая. Защита Китая окажется эффективной вплоть до 30-х годов XV в., а в течение этого времени Маджапахит распадется сам собой, оставив Малакке шансы на выживание.

Исключительный успех города был равным образом порождением решающего стечения обстоятельств: встречи Китая и Индии. Китая, который на протяжении трети столетия осуществлял вызывающую удивление экспансию своих мореплавателей в Индонезии и в Индийском океане. И Индии, роль которой была еще более значительной и более ранней. В самом деле, заканчивался XIV в., когда под влиянием мусульманской Индии в лице Делийского султаната начался натиск индийских купцов и перевозчиков, уроженцев Бенгала, Коромандельского берега и Гуджарата, сопровождавшийся активным религиозным прозелитизмом. Внедрение ислама, которое не удалось арабским мореплавателям и которое они даже не пытались осуществить в VIII в., совершилось столетия спустя при помощи торговых обменов с Индией [514]. Один за другим были затронуты исламом города на побережье моря. Для Малакки, обратившейся в ислам в 1414 г., то была удача из удач: там дела и прозелитизм шли рука об руку. Вдобавок если Маджапахит мало-помалу распадался и переставал быть угрозой,

[514] См. Meilink-Roelofsz M. A. P.— в: *Islam and the Trade of Asia.* Ed. D. S. Richards, p. 137.

то происходило это именно потому, что его прибрежные города перешли в ислам, тогда как внутренние районы Явы и других островов оставались верны индуизму. Расширение мусульманского порядка, в самом деле, затронуло лишь треть или четверть населения. Острова останутся ему чужды — так было на Бали, еще и сегодня чудесном музее индуизма. А на далеких Молукках исламизация пойдет плохо: португальцы с изумлением обнаружат там мусульман по названию, нимало не враждебных христианству.

Но поднимавшееся величие Малакки проистекало непосредственно из расширения индийской торговли. И не без основания: индийские купцы принесли на Суматру, как и на Яву, перечное растение — важнейший подарок. И повсюду, начиная с пунктов, которые затрагивались торговлей Малакки, рыночная экономика сменяла то, что до сего времени было еще всего лишь первобытной жизнью под знаком простого воспроизводства. Португальский хронист писал, имея в виду прошлое жителей Молуккских островов: «Они мало заботились о том, чтобы сеять или сажать; они жили, как в первые века [человечества]. Поутру они добывали из моря и в лесу то, чем питались целый день. Живя грабежом, они никакой прибыли не извлекали из гвоздики, и не было никого, кто бы ее у них покупал» [515]. Когда Молуккские острова были включены в сеть торговли, образовались плантации и завязались регулярные отношения между Малаккой и островами пряностей. Купец-*келинг* (понимай: купец-индуист с Коромандельского берега) Нина Суриа Дева ежегодно отправлял на Молуккские острова (гвоздика) и на острова Банда (мускатный орех) восемь джонок. С того времени эти острова, заполоненные монокультурами, жили лишь благодаря рису, который доставляли на них яванские джонки, которые к тому же добирались до Марианских островов, в сердце Индийского океана.

Итак, экспансия ислама была организующей. В Малакке, как и в Тидоре, как и в Тернате, а позднее — в Макассаре, образовались «султанаты». Самое любопытное — это утверждение необходимого для торговли *лингва франка,* который произошел от малайского языка и на котором в купеческой метрополии Малакке говорили все. По всей Индонезии и ее «Средиземноморьям», говорит португальский хронист, «языки столь многочисленны, что даже и соседи, так сказать, не понимают друг друга. Ныне они похваляются малайским языком, большинство людей на нем говорит, пользуясь им по всем островам, как пользуются в Европе латынью». И без удивления констатируешь, что 450 слов из словаря Молуккских островов, которые привезла в Европу экспедиция Магеллана,— это слова малайские [516].

Распространение *лингва франка* представляет как бы тест на силу экспансии Малакки. И все же сила эта была создана извне, как создан был в XVI в. успех Антверпена. Ибо город предоставлял свои дома, свои рынки, свои склады, свои защитные институты, свой весьма ценный свод морских законов — но обмены-то питали иностранные корабли, товары и купцы. Среди этих иностранцев самыми многочисленными были мусульман-

[515] Thomaz L. F. F. R. Maluco e Malaca.— *A Viagem de Fernão de Magalhaẽs e a questo das Molucas.* Ed. A. Teixera, 1975, p. 33 sq. Заслуживающее внимания уточнение.
[516] *Ibid.*, p. 33.



Индонезия предлагает европейцам свои богатства
Португальцы, создавшие свой центр в Малакке, быстро составили перечень богатств архипелага. Прежде всего — перец, тонкие пряности и золото. (По данным уже упоминавшейся карты В. Магальяйс-Годинью.)

ские купцы из Гуджарата и Каликута (по словам Томе Пириша, тысяча гуджаратцев «плюс 4—5 тысяч моряков, кои ходят туда и обратно»); важной группой были также купцы-индусы с Коромандельского берега, *келинг,* у которых даже был свой собственный квартал — *Кампон Келинг (Campon Queling)* [517]. Преимуществом гуджаратцев было то, что они укоренились на Суматре и Яве столь же прочно, как и в Малакке, и контролировали основную долю реэкспорта пряностей и перца в направлении Средиземноморья. Как говорили, Камбей (другое название Гуджарата) мог жить, лишь протянув одну руку до Адена, а другую — до Малакки [518]. Еще раз обнаружилось таким образом латентное превосходство Индии, гораздо более Китая открытой для внешних отношений, связанной с торговыми сетями мира ислама и средиземноморского Ближнего Востока. Тем более что с 1430 г. Китай по причинам, которые нам не ясны, невзирая на воображение историков, навсегда отказался от дальних экспедиций. Кроме того, он умеренно интересовался пряностями, которые потреблял в небольших количествах, за исключением перца, которым он себя обеспечивал в Бантаме, зачастую минуя перевалочный пункт в Малакке.

[517] Цит. по: Pavlov V. I. *Op. cit.*, p. 221.
[518] *Ibid.*

Завоевание Малакки, осуществленное небольшим португальским флотом Албукерки (1400 человек на борту, в том числе 600 малабарцев) [519], направлялось издали процветанием и репутацией города, «тогда самого прославленного из рынков Индии» [520]. Завоевание было жестоким: после захвата моста через реку город, взятый приступом, был на девять дней отдан на поток и разграбление. Тем не менее величие Малакки не пресеклось разом в тот роковой день 10 августа 1511 г. Албукерки, который оставался в завоеванном городе до января 1512 г., сумел его организовать; он там построил внушительную крепость, и если от Сиама до «Островов пряностей» он и предстал в качестве врага мусульман, то он также объявил себя другом неверных, язычников, а по правде говоря — всех купцов. Португальская политика сделалась после оккупации терпимой и радушной. Даже Филипп II в качестве короля Португальского и господина Ост-Индии после 1580 г. ратовал за религиозную терпимость на Дальнем Востоке. Нет, говорил он, не следует насильно обращать в христианство (*«Não e este o modo que se deve ter uma conversão»*) [521]. В португальской Малакке китайский базар существовал с тем же успехом, что и мечеть; правда, иезуитская церковь св. Павла господствовала над крепостью, а с ее паперти открывался морской горизонт. Как справедливо указывает Л. Ф. Томас, «завоевание Малакки в августе 1511 г. открыло португальцам двери в моря Индонезии и Дальнего Востока; овладев ею, победители обрели не только господство над богатым городом, но также и положение хозяев комплекса торговых путей, которые перекрещивались в Малакке и к которым город был ключом» [522]. В целом они, невзирая на несколько перерывов, удерживали эти связи. Иные из них даже расширились, когда в 1555 г. португальцы, чтобы компенсировать трудную конъюнктуру середины XVI в., обосновались в Макао и продвинулись до Японии. Тогда Малакка сделалась в их руках центральным постом связей между Тихим океаном, Индией и Европой, тем, чем позднее станет Батавия в руках голландцев.

До наступления тех трудностей, что принесло португальской Азии прибытие голландцев, португалец будет знать спокойные процветающие времена, которые приносили прибыль королю в Лисабоне, Португалии, европейским перекупщикам перца, но также и португальцам, выдвигавшимся на Востоке, которые порой (если не постоянно) обладали полуфеодальной манерой мышления испанских завоевателей Америки. Конечно, случались нападения жестокие, но время от времени и малоэффективные. В целом португальцы пользовались миром. Но, «путешествуя в сих морях беспрепятственно, они в то время пренебрегали любыми видами предосторожностей ради своей обороны» [523]. И именно поэтому, когда два английских корабля Ланкастера прошли в 1592 г. той же дорогой, что и Васко да Гама, им не стоило большого труда захватывать португальские корабли, которые они встречали. И вскоре все переменится: европейцы перенесут в Индии свои европейские войны и соперничества, и Малакка, город португальский, утратит свое долгое превосходство. Голландцы овладели ею в 1641 г. и сразу же отбросили ее на второстепенное место.

[519] Abbé Prévost. *Op. cit.*, I, p. 116.
[520] *Ibid.*, p. 115.
[521] Fitzler M. A. H. *Der Anteil der Deutschen an der Kolonialpolitik Philipps II von Spanien in Asien.— «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte»*, 1935, S. 251.
[522] Thomaz L. F. F. R. *Op. cit.*, p. 36.
[523] Abbé Prévost. *Op. cit.*, I, p. 336 (1592 г.).

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Еще до взятия Малакки Батавия сделалась центром торговых операций Дальнего Востока. Она ими распоряжалась, она их организовывала. Основанная в 1619 г., Батавия была в полном расцвете в 1638 г., когда Япония закрылась для португальцев, оставаясь открытой для кораблей голландской Ост-Индской компании. Центром торгового господства — и одновременно господства в важнейших сетях местной торговли *(country trade)* — оставалась, таким образом, Индонезия, и она им останется, пока продлится ловкое, бдительное и самовластное правление голландской Ост-Индской компании, т.е. более столетия, несмотря на немалое число превратностей и помех. Так, в 1622 г. голландцы были изгнаны с острова Формоза (Тайвань), напротив китайского побережья и на полпути в Японию, где они обосновались с 1634 г. — даты постройки форта Кастель Зеландия[524]. Долгое царственное положение Батавии, о котором мы уже говорили, совпадает, таким образом, в общих чертах, с продолжительным кризисом XVII в., который с силой проявился по всему европейскому миру-экономике (включая и Новый Свет) с 1650 по 1750 г. (датировка приблизительная). Но, вероятно, не на Дальнем Востоке, коль скоро по всей Индии XVII век был веком процветания, демографического и экономического подъема. Быть может, это имело значение, среди прочего, для того факта, что во время европейского кризиса Голландия оказалась по преимуществу экономикой защищенной, как мы это говорили, той экономикой, к которой устремлялись наилучшие из дел.

[524] Abbé Prévost. *Op. cit.*, VI, p. 62—63.
[525] Abbé Prévost. *Op. cit.*, VIII, p. 480 sq.

Во всяком случае, Батавия, город новый, была блистательным признаком голландского главенства, превосходства. Трехэтажная ратуша, построенная в 1652 г., отмечала центр города, — города, прорезанного каналами, пересеченного улицами, сходящимися под прямым углом, окруженного крепостной стеной с двадцатью двумя бастионами, в которой имелось четверо ворот. Там сходились все народы Азии, далекой Европы, Индийского океана. За стенами располагались кварталы яванцев, амбонцев; плюс виллы в сельских местностях. Но главным образом — рисовые поля, поля сахарного тростника, каналы, а вдоль приведенной в порядок речки — мельницы «для хлеба, для лесопиления, бумажные или пороховые», или сахарные, а также черепичные и кирпичные заводы... Внутри города все олицетворяло порядок, чистоту: рынки, склады, пакгаузы, мясные лавки, рыбный рынок, кордегардии и *Спинхейс (Spinhuis)*, дом, где были осуждены прясть девицы легкого поведения. Бесполезно пересказывать, насколько голландское колониальное общество было богатым, полным неги и вялым. Это богатство, эта нега, которые мы обнаружили в Гоа около 1595 г., которые мы встречаем в Батавии еще до поездки хирурга Граафа, прибывшего туда в 1668 г., которые мы находим в такой же мере в Калькутте, были безошибочным показателем блистательного успеха[525].

Однако с начала XVIII в. громадный голландский аппарат начал разлаживаться. Это иногда приписывали мошенниче-



Макао в начале XVII в., изображенный Теодором де Бри. Город, занятый голландцами с 1557 г., служил отправным пунктом купцам, торговавшим с Китаем. *Фото Национальной библиотеки.*

ствам и нараставшей нечистоплотности агентов Ост-Индской компании. Но служащие *(servants)* английской Компании в этом отношении превосходили голландцев, что, однако, не помешало *East India Company* около 60-х годов XVIII в. завладеть первым местом. Не произошло ли это потому (как было бы соблазнительно утверждать), что наметившееся в середине XVIII в. нарушение тенденции породило повсюду величайшую активность, увеличило объем обменов, облегчило перемены, разрывы и революции? В Европе наблюдались перераспределение шансов в международном плане и шедшее полным ходом утверждение английского главенства. В Азии Индия притягивала к себе центр тяжести всего Дальнего Востока, но такое первое место она захватила только под строгим надзором Англии и для Англии, в соответствии с процессом, великолепно описанным в уже старой книге Холдена Фербера [526]. Английская Компания, «Джонова компания» *(John Company)*, одержала верх над своей «кузиной» — «Яновой компанией» *(Jan Company)*, голландской Ост-Индской компанией, так как последняя проиграла игру в Бенгале и в Индии на протяжении 70-х годов XVIII в. и потому, что уже к середине этого столетия ей не удалось занять первое место в Кантоне, где день ото дня Китай мало-помалу открывал свои двери. Я, конечно, воздержусь от

[526] Furber H. *Op. cit.*, p. 160 f.

утверждения, что в Кантоне Джон был умнее, ловчей и хитрее Яна. Именно это иной раз заявляют не без некоторого основания. Но один французский очевидец, жестоко критикующий французскую [Ост-]Индскую компанию, утверждает, что к 1752 г. в Кантоне именно шведские и датские Компании, самые слабые, менее всего оснащенные для успеха, смогли лучше других приспособиться к обстановке [527]. Если одержал верх англичанин, то потому, что он к своей собственной силе добавил устрашающий вес Индии. Плесси (1757 г.) подтвердило не только политическое завоевание Индии, но и завоевание тех торговых «рек», что примыкали к побережью субконтинента и текли, с одной стороны, вплоть до Красного моря и Персидского залива, а с другой — до Индонезии, а вскоре и до Кантона. Разве не единственно для нужд местной торговли *(country trade)* и в особенности для плаваний в Китай строили индийские верфи столько кораблей, столько *Indiamen*? По мнению Фербера [528], в 1780 г. флот под английским флагом, занимавшийся торговлей «из Индии в Индию», имел 4 тыс. тонн вместимости, а в 1790 г. он достиг 25 тыс. тонн! В действительности скачок был более медленным, чем это покажется, поскольку 1780 г. был годом военным — годом предпоследнего серьезного состязания между Францией и Альбионом, и английские корабли осторожно плавали тогда под португальским, датским и шведским флагами. С возвращением мира они сбросили маску.

Одновременно состоялся быстрый, резкий переход от Батавии к Калькутте. Живой успех города на Ганге во многом объясняет полудремотное состояние голландской Ост-Индской компании. Калькутта росла дьявольски быстро, безразлично как, в величайшем беспорядке. Французский путешественник и искатель приключений граф де Модав [529] приехал туда в 1773 г., в момент, когда только что началось правление Уоррена Хейстингса. Он отметил одновременно и рывок вперед, и абсолютное отсутствие порядка. Калькутта — это не Батавия с ее каналами и улицами, проложенными по линейке. На Ганге не было даже набережной; «дома рассеяны там и тут по берегу, стены некоторых из них омывает поток». Не было и городской ограды. Максимально, может быть, 500 домов, построенных англичанами, посреди леса бамбуковых хижин с соломенными крышами. Улицы были такими же грязными, как и тропинки, иногда широкими, но перегороженными в начале и в конце шлагбаумами из брусьев. Беспорядок был повсюду. «Сие, как говорят, есть результат британской свободы, как если бы свобода эта была несовместима с порядком и симметрией» [530]. «Не без удивления, смешанного с раздражением,— продолжает наш француз,— смотрит иностранец на Калькутту. Так легко было бы сделать из нее один из прекраснейших городов мира, просто взяв на себя труд подчиниться регулярному плану, что не понимаешь, как англичане пренебрегли выгодами столь удачного расположения и предоставили каждому свободу строить, следуя самому пестрому вкусу и самому экстравагантному расположению». Это правда, что Калькутта — простое «отделение» в 1689 г., фланкируемое с 1702 г. крепостью (Форт Уильям),— к 1750 г. была еще незначительным городком; опу-

[527] A. N., Colonies, C [11], f° 10 v°.
[528] Furber H. *Op. cit.*, p. 176.
[529] *Voyage en Inde du comte de Modave, 1773—1776*, éd. J. Deloche, 1971, p. 77.
[530] *Ibid.*

бликованное в этом году аббатом Прево собрание путешествий даже не упоминает ее. Когда граф де Модав смотрел на нее в 1773 г., в то время, как она собрала у себя все возможное торговое население, Калькутта была в полном расцвете и охвачена строительным безумием. Лес прибывал туда сплавом по Гангу или морем из Пегу; кирпич изготовлялся в близлежащих деревнях; цены на квартиры достигли рекордного уровня. Город уже насчитывал, быть может, 300 тыс. жителей и более чем вдвое к концу столетия. Он расширялся, не неся ответственности за свой рост, даже за свой успех. Англичанин здесь ничем не стеснялся, он притеснял, устранял тех, кто ему мешал. Бомбей, на другой стороне Индии, был по контрасту как бы полюсом свободы, как бы реваншем или компенсацией для индийского капитализма, нашедшего там возможности для поразительных успехов.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ?

Картина не-Европы, которую предлагает эта длинная глава, конечно же, неполна.

Следовало бы подольше задержаться на случае Китая, и в частности на центробежной экспансии, которая терзала провинцию Фуцзянь, процессе, прервавшемся лишь с оставлением Формозы голландцами в 1662 г., или, вернее, с завоеванием острова маньчжурами в 1683 г., но возобновившемся в XVIII в., с открытием Кантона для многообразной торговли с Европой.

Следовало бы вернуться к особому случаю Японии, которая, согласно блестящему очерку Леонара Блюса[531], после 1638 г. выстроила мир-экономику для своего употребления и соответственно своим масштабам (Корея, острова Рюкю, до 1683 г.— Формоза, допускаемые китайские джонки и привилегированная и «вассальная» торговля голландцев).

Следовало бы вернуться к случаю Индии и отвести должное место новым объяснениям Я.К. Хестермана[532], видящего одну из важных причин упадка Могольской империи в развитии городских экономик, которые в XVIII в. разрушили ее единство.

Следовало бы, наконец, объясниться по поводу сефевидской Персии, по поводу ее *командной экономики (command economy)*, по поводу вынужденной роли Персии как посредника между Индией, Средней Азией, враждебной и ненавистной Турцией, Московским государством и очень далекой Европой...

Но даже если предположить, что такая картина действительно будет представлена в своей целостности, с риском принять сама по себе размеры настоящей книги, придем ли мы к концу наших затруднений и наших вопросов? Конечно же, нет. Для того чтобы делать заключения относительно Европы и не-Европы, т.е. относительно мира, взятого в целом, потребовались бы приемлемые мерки и цифры. Мы главным образом описывали, ставили проблемы и выдвигали кое-какие неявные, несомненно, правдоподобные объяснения. Но мы отнюдь

[531] Bluss L. *I. Wallerstein et l'Extrême-Orient, Plaidoyer pour un XVI^e siècle négligé* (машинописный текст доклада на Лейденском симпозиуме, октябрь 1978 г.).

[532] Heesterman J.C. *Littoral et intérieur de l'Inde* (машинописный текст доклада на Лейденском симпозиуме, октябрь 1978 г.).

не решили загадочную проблему отношений между Европой и не-Европой. Ибо, в конце концов, если почти не вызывает сомнения, что до XIX в. мир превосходил Европу своим населением и даже — пока продолжал существовать экономический Старый порядок — богатством; если почти не подлежит сомнению, что Европа была менее богата, нежели мир, который она эксплуатировала, даже еще сразу после падения Наполеона, когда всходила заря английского первенства, то остается еще узнать: как могло утвердиться ее превосходство, а главное — как она впоследствии могла продолжить свой прогресс? Ибо она его продолжила.

Услуга, которую еще раз оказал историкам Поль Бэрош, заключается в том, что он правильно поставил эту проблему в статистических категориях. Делая это, он не только присоединяется к моим позициям, он идет дальше. Но прав ли он? Правы ли мы?

Я не стал бы вдаваться в подробности и в вопрос обоснованности методов, применяемых нашим женевским коллегой. Чтобы сократить объяснение, я бы даже предположил, что его выступление было достаточно обоснованным с научной точки зрения, так что его весьма приближенные результаты (он сам первый это признает и предостерегает нас) могут быть приняты во внимание.

Избранный показатель — это доход на душу населения *(pro capite)*, «ВНП, приходящийся на одного жителя», и, чтобы соревнование между разными странами легче поддавалось контролю, уровни были подсчитаны в *долларах и ценах США 1960 г.*: итак, они представлены в одной единице. Таким образом получается следующая последовательность: Англия (1700 г.) — 150—190 долларов; английские колонии в Америке, будущие Соединенные Штаты (1710 г.), — 250—290; Франция (1781—1790 гг.) — 170—200; Индия (1800 г.) — 160—210 долларов (но в 1900 г. — 140—180). Эти цифры, которые стали мне известны в момент правки корректурных листов этого труда, укрепляют меня в моих прежних утверждениях и гипотезах. Мы также не будем удивлены уровнем, какого в 1750 г. достигнет Япония: 160 долларов. Вызывающим удивление покажется один только рекорд, приписываемый Китаю (1800 г.) — 228 долларов, хоть этот высокий уровень и должен был упасть впоследствии (170 в 1950 г.).

Но подойдем к тому, что нас более всего интересует: к *синхронным* сопоставлениям, если это возможно, между двумя блоками — Европой, включая Соединенные Штаты, и не-Европой. В 1800 г. Европа Западная достигла уровня 213 долларов (Северная Америка — 266), это не удивляет; но он едва превышает уровень тогдашнего «третьего мира», что-то около 200 долларов. И вот тут мы будем несколько удивлены. На самом-то деле именно приписываемый Китаю высокий уровень (228 — в 1800 г., 204 — в 1860 г.) поднимает среднюю величину для группы стран, находившихся в наименее благоприятных условиях. А ведь ныне, в 1976 г., Западная Европа достигла уровня 2325 долларов; Китай же, который, однако, снова пошел вверх, —

369; а «третий мир» в целом находится на уровне 355 долларов, далеко позади хорошо обеспеченных.

Что вытекает из расчета, предложенного Полем Бэрошем, так это то, что в 1800 г., когда Европа повсюду блистательным образом торжествовала и когда ее корабли под командованием Кука, Лаперуза и Бугенвиля исследовали бескрайний Тихий океан, она далеко не достигла уровня богатства, который бы колоссальным образом затмевал (как это имеет место сегодня) рекорды остальных стран мира. Совокупный ВПН нынешних развитых стран (Западная Европа, СССР, Северная Америка, Япония) составлял в 1750 г. 35 млрд. долларов 1960 года против 120 млрд. у остального мира; в 1860 г.— 115 млрд. против 165. Обгон произошел лишь между 1880 и 1900 гг.: 176 млрд. против 169 в 1880 г.; 290 против 188 в 1900 г. Но в 1976 г., округляя цифры, 3000 млрд. против 1000 млрд.

Такая перспектива обязывает нас другими глазами взглянуть на сравнительные позиции Европы (плюс стран, бывших одновременно с нею привилегированными) и мира до 1800 г. и после промышленной революции, роль которой фантастическим образом возрастает. Не вызывает сомнения, что Европа (по причине еще более, возможно, социальных и экономических структур, чем технического прогресса) одна оказалась в состоянии довести до благополучного завершения машинную революцию, следуя за Англией. Но революция эта была не просто инструментом развития, взятым самим по себе. Она была орудием господства и уничтожения международной конкуренции. Механизировавшись, промышленность Европы сделалась способной вытеснить традиционную промышленность других наций. Ров, вырытый тогда, впоследствии мог только шириться. Картина мировой истории с 1400 или 1450 г. по 1850—1950 гг.—это картина старинного равенства, которое рушилось под воздействием многовекового искажения, начавшегося с конца XV в. По сравнению с этой доминировавшей линией все прочее было второстепенным.

Глава 6

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Промышленная революция, которая началась или внезапно возникла в Англии около 50-х или 60-х годов XVIII в., представляется процессом крайне сложным. Разве не была она завершением некой «индустриализации», начавшейся столетиями и столетиями раньше? Разве, непрестанно обновляясь, не при-



сутствует она и ныне вокруг нас? Ей, определяемой как начало новой эры, принадлежат еще, и надолго, века, которым предстоит наступить. Однако какой бы массовой, какой бы всеохватывающей, какой бы новаторской она ни была, промышленная революция не составляла, не могла составить сама по себе всей полноты истории современного мира.

Именно это хотел бы я получше изложить на последующих страницах, не имеющих иной цели, кроме как ее определить и, если возможно, поставить на ее настоящее место.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Для первой разведки полезны некоторые определения, а еще больше — несколько предварительных сравнений. С одной стороны, промышленная революция с момента своего начала в Англии породила серию других революций, и она продолжается на наших глазах, незавершенная и направленная еще в будущее: такое потомство дает ретроспективное свидетельство об английском старте. С другой стороны, до английской промышленной революции индустриализация, изначально будоражившая человеческие общества, предлагает нашему наблюдению старинные опыты, более или менее продвинувшиеся вперед и выступавшие как провозвестники. В конечном счете все они не имели успеха. Это несомненно. Но хорошо будет допросить неудачу, дабы постараться лучше понять успех.

РЕВОЛЮЦИЯ: СЛОВО СЛОЖНОЕ И ДВУСМЫСЛЕННОЕ

Заимствованное из лексикона астрономов [1], слово *революция* в значении переворота, разрушения существующего общества появится, видимо, впервые в 1688 г. в английском языке [2]. Именно в этом значении, но в такой же мере и в смысле противоположности реконструкции, следует понимать удобное выражение *промышленная революция,* предложенное не Фридрихом Энгельсом в 1845 г. [3], но, несомненно (в 1837 г.), французским экономистом Адольфом Бланки, братом революционера Огюста Бланки, куда более знаменитого, чем он [4]. Если только оно не появлялось уже около 1820 г. в спорах других французских авторов [5]. Во всяком случае, среди историков оно сделалось классическим лишь после публикации в 1884 г. «*Лекций о промышленной революции*» — курса, который Арнольд Тойнби* прочел в Оксфорде в 1880—1881 гг. и который его ученики издали три года спустя после его смерти.

Историков часто упрекают в злоупотреблении словом *революция,* которое-де должно было бы сохраняться, в соответствии с его первым значением, для обозначения явлений насиль-

[1] См.: Littré. *Révolution* — «возвращение звезды в точку, из которой она ушла».
[2] Arendt H. *On Revolution.* 1963; французский перевод: *Essai sur la Révolution.* 1967, p. 58.
[3] Kuczynski J. *Friedrich Engels und die Monopole.*— «*Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte*». 1970, 3, S. 37—40.
[4] Blanqui A. *Histoire de l'économie politique en Europe depuis les Anciens jusqu'à nos jours.* 1837, II, p. 209. «Однако, едва выйдя из головы этих двух гениальных людей, Аркрайта и Уатта, промышленная революция овладела Англией». Ср.: Hartwell R. M. *The Industrial Revolution and economic growth.* 1971, p. 111; Mathias P. *The First Industrial Nation. An Economic History of Britain 1700—1914.* 1969, p. 3.
[5] Dobb M. *Études sur le développement du capitalisme.* 1969, p. 274, note 3; см. Besançon A. — в: «*Quarterly Journal of Economics*», XXXVI, 1921, p. 343.
* Тойнби Арнольд (1852—1883) — английский экономист и филантроп.— *Прим. перев.*

По месту и почет: промышленная революция означала приход пара, торжество Джеймса Уатта (1736—1819). Этот портрет работы Дж. Рейнолдса изображает Уатта, занятого в своей лаборатории разработкой своей машины. *Фото Снарк Интернэшнл.*

ственных и в неменьшей степени быстрых. Но, когда речь идет о социальных явлениях, быстрое и медленное неразделимы. В самом деле, нет общества, которое бы не разделялось постоянно между силами, которые его отстаивают, и силами подрывными, сознательно или бессознательно старающимися его сломать; и революционные взрывы суть лишь вулканические проявления, краткие и жестокие, этого латентного и большой продолжительности конфликта. При подходе к революционному процессу проблемой всегда будет сблизить длительный и краткий сроки, признать их родство и их нерасторжимую зависимость (друг от друга). Промышленная революция, что возникла в Англии в конце XVIII в., не составляет исключения из этого правила. Она была одновременно серией ярких событий и процессом, вполне очевидно, очень медленным. Игра шла разом в двух регистрах.

Диалектика времени краткого и времени длительного заставляет себя принять, хотим мы того или нет. Например, в соответствии с объяснением У. У. Ростоу[6], английская экономика «пошла на взлет» между 1783 и 1802 гг. по причине преодоления критического порога капиталовложений. От такого объяснения, с цифрами в руках оспариваемого С. Кузнецом[7], остается прежде всего образ «отрыва» *(take off)*, взлета самолета, покидающего взлетную полосу. И следовательно, события точно датируемого и краткого. Но в конце-то концов, прежде чем он оторвался, потребовалось, чтобы самолет, чтобы некая Англия была построена и чтобы условия полета были обеспечены заранее. К тому же никакое общество никогда не могло разом трансформировать «свою манеру поведения, свои институты и свою технику», как утверждал то Артур Льюис[8], из-за того, например, что вырос уровень сбережений в нем. Всегда бывали предварительные условия, обязательные предшествовавшие этапы и время адаптации. Филлис Дин права, когда напоминает, что все новшества и даже перерывы в постепенности конца XVIII в. в Англии пребывают в неком «историческом *континууме*», одновременно прошлом, настоящем, а затем последующем, в *континууме*, где перерывы и разрывы утрачивают свои черты уникальных или решающих событий[9]. Когда Давид Ланд описывает промышленную революцию как образование критической массы, завершаемое революционным взрывом[10], образ хорош; но подразумевается, что такая масса должна была составиться из разных и необходимых элементов и путем длительного накопления. Длительное время, в обход наших умозаключений, всякий раз требует того, что ему положено.

Таким образом, промышленная революция была по меньшей мере двоякой. Революция в обычном смысле слова, заполняющая своими видимыми изменениями следующие друг за другом краткие периоды, она была также и процессом весьма длительной протяженности — нарастающим, незаметным, тихим, зачастую едва различимым, «настолько мало революционным, насколько это возможно», как мог сказать Клод Фолан[11], записываясь, в противоположность Ростоу, в число сторонников континуума.

[6] Rostow W. W. *Les Étapes de la croissance économique.* 1967, p. 55.
[7] Kuznets S. *Croissance et structures économiques,* p. 247 sq.
[8] Kuznets S. *Capital Formation in Modern Economic Growth.— Troisième Conférence internationale d'histoire économique.* München, 1965, I, p. 20, note 1.
[9] Deane Ph. *The First Industrial Revolution.* 1965, p. 117.
[10] Landes D. *Encore de la révolution anglaise du XVIII^e siècle.*— «*Bulletin de la Société d'histoire moderne*», 1961, p. 6.
[11] В предисловии к французскому переводу книги Томаса Эштона: Ashton T. S. *La Révolution industrielle.* 1955, p. X.

Так что неудивительно, если даже в свои относительно взрывчатые годы (скажем, в общем начиная с 1760 г.) это важнейшее явление никого из самых общепризнанных очевидцев не поражало! Адам Смит, с его примером маленькой шотландской игольной фабрики, ретроспективно предстает плохим наблюдателем; однако же, он умер довольно поздно, в 1790 г. Давид Рикардо (1772—1823), более молодой и, следовательно, меньше заслуживающий извинения, едва лишь включает машину в свои теоретические рассуждения [12]. А Жан-Батист Сэ в 1828 г., описав английские «паровые повозки», добавляет, к нашей радости: «Однако... никакая машина не будет служить, как служат самые плохие лошади, для перевозки людей и товаров посреди толпы и стеснений большого города» [13]. В конце концов, великие люди — если предположить, что Ж.-Б. Сэ был из их числа,— не обязаны блистать в рискованном искусстве предсказания. И ничего нет легче, чем задним числом обвинять Карла Маркса, или Макса Вебера, или даже Вернера Зомбарта в том, что они-де неправильно, т.е. иначе, чем мы, понимали долгий процесс индустриализации. Я не нахожу особенно справедливым поспешное обвинение, которое Т. С. Эштон, обычно такой беспристрастный, бросает им, ссылаясь на высказывание Крёбнера [14].

Впрочем, в большей ли мере уверены в своейоценке нынешние историки, бесчисленные историки промышленной революции? Одни усматривают этот процесс в наличии еще до начала XVII в.; другие полагают, что «славная революция» 1688 г. была решающим моментом; третьи заставляют радикальную трансформацию Англии совпасть с великим экономическим подъемом второй половины XVIII в... И каждый по-своему убедителен, смотря по тому, делает ли он ударение на сельском хозяйстве, на демографии, на внешней торговле, на индустриальной технике или на формах кредита... Но следует ли рассматривать промышленную революцию как некую серию модернизаций по секторам, как какую-то последовательность фаз прогресса или же под углом зрения совокупного роста, вкладывая в слово «рост» все возможные значения? Если в конце XVIII в. английский рост сделался необратимым, не более, не менее как «нормальным состоянием» Англии, по выражению Ростоу [15], то определенно не из-за факта такого-то или такого-то частного прогресса (включая уровень сбережений или инвестиций), но, напротив, из-за факта наличия неразделимого множества, множества взаимозависимостей и взаимных уступок, которые каждый сектор своим более или менее давним развитием, плодом [усилий] интеллекта или случая, создавал к выгоде других секторов. В самом деле, «настоящий» рост (другие сказали бы, настоящее развитие, но слова несущественны!), разве может он быть чем-то иным, чем таким ростом, который необратимым образом связывает несколько направлений прогресса и выталкивает их вверх все вместе, так что одни из них опираются на другие?

[12] Hicks J. *A Theory of Economic History*, p. 151—154.
[13] Say J.-B. *Cours complet d'économie politique*, II, p. 170.
[14] Ashton T. S. *The Treatment of Capitalism by Historians.— Capitalism and the Historians*. Ed. F. A. Hayek, 1954, p. 60.
[15] Deane Ph. *Op. cit.*, p. 116, 117 and note 1 (по данным кн.: Rostow W. W. *The Economics of Take off into Sustained Growth*. 1963).

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ: СЛАБОРАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Английская промышленная революция открыла двери серии революций, бывших ее прямыми потомками, прошедшими когда под знаком успеха, когда под знаком неудачи. Ей самой предшествовало несколько революций того же порядка, что и она,— одни едва наметившиеся, другие достаточно серьезно продвинувшиеся вперед, и все завершившиеся неуспехом в более или менее длительном временном плане. Таким образом, открываются две перспективы, одна в сторону прошлого, другая — к настоящему времени. Две серии путешествий, которые, и те и другие, суть способ подойти к предмету, разыгрывая драгоценную карту сравнительной истории.

Следуя вниз по течению, мы не изберем пример промышленных революций Европы или Соединенных Штатов, которые почти непосредственно следовали английскому образцу. Нынешний «третий мир», находящийся еще на пути индустриализации, предоставляет нам редкий в ремесле историка случай поработать над тем, что видишь, что слышишь, что можешь потрогать руками. Конечно, это зрелище — не картина блистательных удач. В целом «третий мир» на протяжении последних тридцати, сорока, пятидесяти лет почти не знал непрерывного прогресса. Его усилия и ожидания слишком часто заканчивались горькими разочарованиями. Могут ли причины неудачи или полунеудачи этих опытов определить от противного (*a contrario*) условия исключительного английского успеха?

Несомненно, экономисты, а еще больше историки предостерегают нас против такого способа экстраполяции настоящего ради лучшего понимания прошлого. Они не без основания утверждают, что «миметическая модель, та, что настаивала на повторении пути, пройденного прежде индустриальными странами, отжила свое» [16]. Контекст изменился во всем, и ныне было бы невозможно проводить индустриализацию той или иной страны «третьего мира» в соответствии с государственной авторитарностью, руководившей ее проведением в Японии, или же в соответствии со спонтанностью, характерной для Англии Георга III. Да, конечно. Но если «кризис развития — это также и кризис теории развития», как говорит Игнацы Сакс [17], то разве не будет более понятен сам по себе процесс развития, включая и развитие Англии XVIII в., если задаться вопросом, в чем заключен порок теории и почему полные энтузиазма плановики 60-х годов XX столетия столь ошибались в отношении трудностей предприятия?

Прежде всего потому, ответят нам без колебаний, что удавшаяся промышленная революция предполагает общий процесс роста, а значит, глобального развития, которое «в последнем счете предстает как процесс преобразования экономических, социальных, политических и культурных структур и институтов» [18]. Именно вся глубина общества и экономики оказывается затронутой, и она должна быть способна сопровождать,

[16] Sachs I. *Pour une économie politique du développement*. 1977, p. 9.
[17] *Ibid.*
[18] Это слова чилийского экономиста Освальдо Сункеля (Oswaldo Sunkel), заимствованные из книги И. Сакса: Sachs I. *Op. cit.*, p. 34.

поддерживать, даже терпеть перемену. В самом деле, достаточно, чтобы в таком-то или таком-то пункте пути образовалось торможение, то, что мы сегодня называем «узким местом», и машина заедает, движение прерывается, может даже произойти отступление. Руководители тех стран, что ныне трудятся над тем, чтобы наверстать свое отставание, заметили это на собственном печальном опыте, и стратегия развития сделалась столь же осторожной, сколь и усложненной.

Какие рекомендации может дать в данном случае опытный экономист, вроде Игнацы Сакса? Главным образом не применять никакого *априорного* планирования: такое планирование не бывает хорошим, ибо всякая экономика предстает как специфическое устройство структур, которые могут быть похожими, несомненно, но только в общих чертах. Плановик хорошо сделает, если для любого данного общества будет исходить из какой-то гипотезы, какого-то уровня роста (например, 10%), который он примет в качестве цели, и одно за другим изучит «последствия гипотезы». Так поочередно будут проверены доля инвестиций, которую потребуется изымать из национального дохода; возможные типы промышленности в зависимости от рынка, внутреннего или внешнего; количество и качество необходимой рабочей силы (специализированной или неспециализированной); предложение на рынке продовольственных товаров, необходимых для поддержания нанятой рабочей силы; подлежащие использованию технологии (в особенности с точки зрения капитала, типа и объема рабочей силы, которых они требуют); увеличение импорта сырья или станков, которое следует предусмотреть; окончательные последствия нового производства для платежного баланса и внешней торговли. В той мере, в какой изначально предполагавшийся уровень роста был преднамеренно выбран «достаточно высоким, чтобы выявить все узкие места, которые бы возникли, если бы он действительно был сохранен в качестве цели» [19], проделанная верификация укажет, в каких секторах препятствие рисковало бы стать непреодолимым. Тогда со второго «захода» займутся поправками, разрабатывая «варианты для всех уровней», пока не будет получен проект ограниченный, но в принципе жизнеспособный [20].

Примеры, приводимые в труде Сакса, дают конкретное представление о главных узких местах, которые встречаются в сегодняшнем «третьем мире»: демографический рост, когда он «съедает» результаты развития; нехватка квалифицированной рабочей силы; тенденция вести индустриализацию в секторах престижных и эвентуально экспортных из-за недостаточности спроса на внутреннем рынке на обычные промышленные изделия; наконец, более всего прочего, «сельскохозяйственный барьер» — недостаточность и негибкость предложения продовольствия в сельском хозяйстве, остающемся архаичным и в значительной степени самодостаточным: неспособным удовлетворить рост потребления, который автоматически влечет за собой возросшее использование населения, занятого наемным трудом; в сельском хозяйстве, которому даже не всегда удается

[19] Sachs I. *La Découverte du Tiers Monde.* 1971, p. 18—30.
[20] *Ibid.*

прокормить свой собственный демографический прирост и которое выбрасывает в города пролетариат безработных, которое, наконец, неспособно увеличить свой спрос на элементарные промышленные изделия, будучи слишком бедным. В сравнении с этими главными трудностями потребность в капиталах, уровни накопления, организация и цена кредита показались бы почти что второстепенными. Но не та ли это картина, о которой можно сказать, что она рисует все те препятствия, каких не знала более Англия XVIII века, да, вне сомнения, уже и Англия XVII в.?

Следовательно, чего я требую от роста, так это согласованности между секторами: чтобы при одном прогрессирующем секторе-двигателе не останавливался другой, блокируя целое. Так что вернемся к тому, что мы предчувствовали по поводу понятия *национального рынка* — национального рынка, который настоятельно требует сплоченности, всеобщего обращения, определенной высоты дохода на душу населения. Во Франции, столь тяжелой на подъем (ее сплоченность будет достигнута лишь после окончания строительства ее железных дорог), разве не было там долгое время своего рода дихотомии, аналогичной существующей в некоторых из нынешних слаборазвитых стран? Очень современный, богатый, передовой сектор существовал там бок о бок с отсталыми зонами, «краем тьмы», как выразился еще в 1752 г. один «предприниматель», желавший открыть обмен между одним из таких краев и его великолепными лесами, сделав судоходным Вер, небольшой приток Аверона[21].

[21] A. N., F[12], 1512 C, liasse 5.

Но на национальном рынке в игре участвовали не одни только эндогенные условия его роста. Разве же тем, что ныне блокирует подъем стран, начавших с запозданием, не является также и международная экономика, такая, какой она существует, и такая, которая произвольно разделяет и перераспределяет задачи? Это истины, на которых настоящий труд уже не раз настаивал. Англия одержала успех в своей революции, находясь в центре мира, будучи *сама* центром мира. Страны «третьего мира» хотят, желают своего успеха, но они находятся на периферии. И тогда все действует против них, в том числе новые технологии, которые они используют по лицензиям и которые не всегда соответствуют нуждам их обществ; в том числе и капиталы, которые они занимают за границей; в том числе и морские перевозки, которые они не контролируют; в том числе и их собственное сырье, имеющееся в избытке и подчас отдающее их на милость покупателя. И именно поэтому картина нашего времени так печалит; именно поэтому индустриализация упрямо прогрессирует там, где она уже достигла прогресса, а пропасть между слаборазвитыми странами и остальными только увеличивается. Однако не наблюдается ли в настоящий момент какой-то перемены, просматривающейся в таком соотношении сил? Страны — производители нефти и сырья, бедные страны, уровень заработной платы в которых позволяет получать промышленную продукцию по очень низким ценам,— не начали ли они после 1974 г. брать реванш у стран сверхиндустриализован-

ных? Это покажет только история предстоящих лет. «Третий мир» может прогрессировать, только тем или иным способом сломав современный мировой порядок.

ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ: НЕУДАВШИЕСЯ РЕВОЛЮЦИИ

Неудачи нынешних времен дают нам полезное предупреждение: всякая промышленная революция — это некое слияние, некое «множество», некое семейство движений, некая «последовательность». И предреволюции, эти движения, предшествовавшие английскому успеху, которые мы рассмотрим, приобретают свое значение именно сравнительно с такой необходимой полнотой. Им всегда недоставало одного или нескольких необходимых элементов, так что, идя от одной к другой, мы обнаруживаем своего рода типологию неудач или промахов. То изобретение оказывалось единичным, блестящим, бесполезным, чистой игрой ума: никакого рывка вперед не происходило. То происходил рывок: по случаю энергетической революции, внезапного земледельческого или ремесленного прогресса, торговой удачи, демографического подъема; происходило быстрое продвижение вперед: двигатель, казалось, работал на полную мощность, но затем движение вперед прерывалось. Имеем ли мы право объединить в одной перспективе эти сменявшие друг друга неудачи, причины которых никогда не бывали совсем одними и теми же? Они схожи по меньшей мере своим движением: быстрый взлет, затем остановка. То были несовершенные репетиции, но все же репетиции, и очевидные сравнения намечаются почти что сами собой.

Общий вывод не удивит никого, во всяком случае ни одного экономиста: промышленная революция (можно было бы даже сказать более широко: какой бы то ни было взлет в производстве и обмене) не может быть, строго говоря (*stricto sensu*), простым экономическим процессом. Экономика, никогда не замыкавшаяся в самой себе, выходила разом на все секторы жизни. Они зависели от нее, она зависела от них.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ЕГИПЕТ

Первый пример, слишком далекий и, однако же, смущающий, — это пример птолемеевского Египта. Следовало ли останавливаться на нем, идя самым длинным путем? Тем не менее в Александрии между 100 и 50 гг. до н.э., за семнадцать или восемнадцать веков до Дени Папена, состоялось явление пара [22]. Такая ли уж малость, что «инженер» Герон изобрел тогда эолипил, своего рода паровую турбину, — игрушку, приводившую, однако, в движение механизм, способный дистанционно открывать тяжелую дверь храма? Это открытие произошло вслед за немалым числом других: всасывающим и нагнетательным насосами, инструментами, предвосхитившими термометр и теодо-

[22] White L. *Medieval Technology and Social Change.* 1962, p. 80; Rostovtzeff M. *The Social and Economic History of the Hellenistic World.* 1967, I, p. 365.

лит, боевыми машинами, правда более теоретическими, нежели практическими, заставлявшими работать сжатие или расширение воздуха, или силу огромных пружин. В те далекие века Александрия блистала всеми оттенками страсти к изобретательству. На протяжении уже одного или двух веков там полыхали разные революции: культурная, торговая, научная (Евклид, Птолемей-астроном, Эратосфен); Дикеарх, видимо живший в городе в начале III столетия до н.э., был первым географом, «начертившим на карте линию широты, которая проходила бы от Гибралтарского пролива до Тихого океана, следуя вдоль Тавра и Гималаев» [23].

Внимательное рассмотрение долгой александрийской главы, конечно, увлекло бы нас слишком далеко, через интересный эллинистический мир, вышедший из завоеваний Александра, где территориальные государства (такие, как Египет и Сирия) заняли место прежней модели греческих городов-полисов. Вот трансформация, которая не может не напомнить нам первые шаги современной Европы. Напрашивается также констатация, которая впоследствии будет часто повторяться: изобретения шли группами, большими количествами, сериями, как если бы они опирались друг на друга или, скорее, как если бы какое-то данное общество выталкивало их все вместе на передний план.

Однако как бы ни была блистательно интеллектуальна долгая александрийская глава, она в один прекрасный день завершилась без того, чтобы ее изобретения (а между тем их особенностью была обращенность к *техническому* приложению: в III в. Александрия даже основала школу инженеров) вылились в какую бы то ни было революцию в промышленном производстве. Вина за это лежит, вне сомнения, на рабовладении, которое давало античному миру всю удобную для эксплуатации рабочую силу, в какой он нуждался. Таким образом, на Востоке горизонтальная водяная мельница останется рудиментарной, приспособленной единственно для нужд помола зерна, задачи тяжкой и повседневной, а пар будет служить лишь в своего рода хитроумных игрушках, потому что, как пишет один историк техники, «потребность в [энергетической] мощи, превосходившей те ее виды, что были тогда известны, не ощущалась» [24]. И значит, эллинистическое общество осталось безразличным к подвигам «инженеров».

Но не несет ли за это ответственность и римское завоевание, которое последовало вскоре за этими изобретениями? Эллинистические экономика и общество уже несколько столетий были открыты миру. Рим же, напротив, замкнулся в рамках Средиземноморья и, разрушив Карфаген, поработив Грецию, Египет и Восток, трижды закрыл выходы в широкий мир. Было ли бы все по-иному, если бы Антоний и Клеопатра одержали победу при Акциуме в 31 г. до н.э.? Иными словами, не возможна ли промышленная революция лишь в сердце открытого мира-экономики?

[23] Mason S. F. *Histoire des sciences*. 1956, p. 34.
[24] Vierendel A. *Esquisse d'une histoire de la technique*. 1921, I, p. 38.

ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЫ: ЛОШАДИ И МЕЛЬНИЦЫ XI, XII, XIII вв.

В первом томе этого труда я долго говорил о лошадях, о плечевом хомуте (пришедшем из Восточной Европы и увеличившем силу тяги животного), о полях овса (по мнению Эдварда Фокса [25], во времена Карла Великого и расцвета тяжелой кавалерии эти поля якобы привлекли центр оживленной Европы к просторным влажным и пригодным для возделывания зерновых культур равнинам Севера), о трехполье, которое уже одно было земледельческой революцией... Я говорил также о водяных и ветряных мельницах — последние были вновь прибывшими, первые — возвратившимися. Следовательно, у меня есть законное право быть кратким, все легко схватывается, тем более что об этой «первой» революции мы располагаем живой и умной книгой Жана Жемпеля [26], полной воинственного пыла и энергии книгой Ги Буа [27] и многими исследованиями, в том числе классической статьей г-жи Э. М. Карюс-Уилсон (1941 г.) [28]. Именно она переняла и пустила в обращение выражение *первая промышленная революция* [29], чтобы определить широкое распространение в Англии сукновальных мельниц (примерно 150 в XII—XIII вв.), лесопильных мельниц, бумажных, для помола зерна и т.п.

«Механизация сукновального производства,— пишет Карюс-Уилсон,— была таким же решающим событием, каким была механизация прядильного или ткацкого производства в XVIII в.» [30]. Большие деревянные била, приводимые в движение водяным колесом, введенные в самой распространенной отрасли промышленности своего времени — суконной — для того, чтобы заменить ноги рабочих-сукновалов, были в конечном счете возмутителями спокойствия, революционерами. Возле городов, чаще всего располагавшихся на равнинах, вода не обладала живой силой рек и водопадов холмистых или горных местностей. Отсюда — тенденция сукновальной мельницы обосновываться иной раз в нелюдимых деревнях и привлекать туда купеческую клиентуру. Таким образом оказалась нарушена ревниво охранявшаяся привилегия городов на занятие ремеслом. И конечно, города пробовали защищаться, запрещая ткачам, работавшим в их стенах, передавать свои сукна для валяния за пределы города. В 1346 г. бристольские власти постановили, «чтобы никто не смел вывозить из сего города, ни изготовлять валяные сукна, кои называются рэйклот, под страхом потери 40 ш. [шиллингов] на каждом сукне» [31]. Это не помешало «революции мельниц» идти своим путем в Англии, как и по всему Европейскому континенту, который никоим образом не отставал от соседнего острова.

Но важно было то, что эта революция располагалась посреди сопровождавших ее революций: мощной земледельческой революции, которая двинула крестьян сплоченными рядами против препятствий в виде леса, болот, морских и речных побережий, и благоприятствовала расцвету трехпольного севообо-

[25] Fox E. *L'Autre France. L'histoire en perspective géographique.* 1971, p. 51—53.
[26] Gimpel J. *La Révolution industrielle du Moyen Age.* 1975.
[27] Bois G. *La Crise du féodalisme.* 1976.
[28] Carus-Wilson E. M. *An Industrial Revolution of the thirteenth Century.*— «*Economic History Review*», 1941.
[29] Это выражение (применительно к Германии) принадлежит либо Г. Ф. фон Шмоллеру, либо Ф. Филиппи.
[30] Carus-Wilson E. M. *The Woollen Industry.*— *The Cambridge Economic History*, II, 1952, p. 409.
[31] *Little Red Book of Bristol.* Ed. F. B. Bickley, 1900, 58, II, 7.



Во французской Библии XIII в. помольный жернов, вращать который филистимляне осудили Самсона, подстегиваемого своим стражем, любопытным образом представлен в виде новой по тем временам мельницы с поразительным богатством технических подробностей. Тщательно прорисован *внутренний* механизм с преобразованием вертикального движения в движение горизонтальное, а колесо, вращаемое человеком, вполне могло работать под напором воды. Это свидетельство восхищения машиной следует сопоставить со словами Роджера Бэкона, процитированными на с. 565 (Библия Франсуа Гарнье, около 1220—1230 гг. *Вена, Национальная библиотека, Codex Vindobonensis 2554)*.

рота; подобным же образом развивалась революция городская, которую нес на себе демографический подъем: никогда еще города не росли так густо, один у ворот другого. И устанавливалось четкое, порой насильственное разделение, «разделение труда» между деревнями и городами. Последние, которые захватывали разные виды ремесленной деятельности, уже были двигателями накопления, роста, и в них снова появились деньги. Множились рынки и торговые сделки. С появлением ярмарок Шампани наметился, а затем обрисовался экономический порядок Запада. Более того, на Средиземном море морские пути и дороги на Восток были постепенно заново отвоеваны итальянскими городами. Наблюдалось расширение экономического пространства, без чего невозможен никакой рост.

И именно слово *рост* в значении глобального развития не поколебался употребить Фредерик Лэйн[32]. На его взгляд, не подлежит сомнению, что в XII—XIII вв. происходил непрерывный рост, например, либо Флоренции, либо Венеции. И как оно могло бы быть иначе в момент, когда Италия находилась в центре мира-экономики? Вильгельм Абель даже утверждал, что с X по XIV в. весь Запад был захвачен всеобщим развитием. Доказательство: заработная плата росла быстрее, чем цены на зерновые. «XIII и начало XIV в.,— писал он,— увидели первую индустриализацию Европы. Тогда города и ремесленная и торговая активность, приютом которой они были, мощно развивались, может быть, не столько из-за чисто технического прогресса в ту эпоху (но прогресс этот был ощутим), сколько в силу всеобщего распространения разделения труда... Благодаря ему производительность труда увеличивалась, и, вероятно, как раз эта возросшая производительность позволяла не только разрешить трудности снабжения растущего населения необходимыми съестными припасами, но и питать его лучше, нежели ранее. Нам известна аналогичная ситуация лишь в одном-единственном случае, в XIX в., в эпоху «второй индустриализации», на сей раз, правда, измеряемой совсем иными масштабами»[33].

Это то же самое, что сказать, соблюдая все пропорции, что начиная с XI в. наблюдался «непрерывный рост» на современный лад, какого мы более не увидим до утверждения английской промышленной революции. Мы не удивимся тому, что с логической точки зрения напрашивается «глобализирующее» объяснение. В самом деле, целая серия связанных друг с другом направлений прогресса действовала в производстве, как в плане [роста] производительности — сельскохозяйственной, промышленной, торговой,— так и в плане расширения рынка. В такой Европе, захваченной своим первым серьезным пробуждением, наблюдался даже и другой признак широкомасштабного развития: быстрый прогресс «третичного сектора», с умножением числа адвокатов, нотариусов, врачей, преподавателей университетов[34]. Для нотариусов возможен даже подсчет: в Милане в 1288 г. на примерно 60 тыс. жителей их было 1500; в Болонье на 50 тыс. жителей — 1059 человек. В Вероне в 1268 г.

[32] Lane F. C. *Units of Economic Growth historically considered.*— «*Kyklos*», XV, 1962, p. 95—104.
[33] Abel W. *Agrarkrisen und Agrarkonjunktur*, S. 51.
[34] Cipolla C. M. *The Professions, The Long View.*— «*The Journal of European Economic History*», spring 1973, p. 41.

их было 495 на 40 тыс. жителей, во Флоренции в 1338 г.—500 на 90 тыс. жителей (но Флоренция — это особый случай: организация крупной торговли была там такова, что бухгалтерские книги зачастую заменяли услуги нотариуса). И как и следовало предвидеть, со спадом XIV в. относительное число нотариусов уменьшается. Оно вновь поднимется в XVIII в., но не обретет пропорций века XIII. Вне сомнения, потому, что такое любопытное развитие в средние века института нотариусов зависело одновременно от подъема экономической активности и от того факта, что в те далекие века подавляющее большинство живущих было неграмотно и вынуждено прибегать к перу писцов.

Этот громадный рывок Европы рухнул с баснословным спадом XIV—XV вв. (в общем, 1350—1450 гг.). Вместе с Черной смертью, которая была, возможно, одновременно и следствием и причиной: ослабление экономики, с момента хлебного кризиса и голодовок 1315—1317 гг. [35], предшествовало эпидемии и благоприятствовало ее зловещей работе. Следовательно, эпидемия была не единственным могильщиком великого подъема, который ей предшествовал и который уже замедлился, даже приостановился, когда обрушилась беда.

[35] Bois G. *Op. cit.*, p. 246.

Как объяснить тогда величайшую победу и величайшее поражение, какие Европа познала до английского XVIII в.? Весьма вероятно, размахом демографического прироста, за которым более не успевало сельскохозяйственное производство. Снижающаяся урожайность — это участь любого сельского хозяйства, вырвавшегося за свои производительные границы, когда у него нет методов и технологий, способных предотвратить быстрое истощение почв. Книга Ги Буа анализирует, опираясь на пример восточной Нормандии, социальный аспект этого явления: лежавший в основе кризис феодализма, который разрушил старинный двучлен «сеньер — мелкий крестьянин-собственник». Общество, утратившее структуру, свой «код», оказалось тогда открыто для смут, для беспорядочной войны и для поиска в одно и то же время нового равновесия и нового «кода» — результатов, которые будут достигнуты только с утверждением территориального государства, которое спасет сеньериальный порядок.

Можно предложить и другие объяснения. В частности, определенную хрупкость тех стран, которые в первую очередь затронула энергетическая революция мельниц: Северную Европу, от Сены до Зёйдер-Зе, от Нидерландов до Лондонского бассейна. Новые территориальные государства, Франция и Англия, конституировавшиеся в могущественные политические объединения, не были еще поддающимися управлению экономическими объединениями: кризис затронет их в полной мере. Вдобавок в начале столетия, после заката ярмарок Шампани, Франция, короткое время бывшая сердцем Запада, была выброшена за пределы кругооборота выгодных связей и ранних проявлений капитализма. Средиземноморские города вновь возобладают над новыми государствами Севера. И этим на какое-то время будет положен конец тому слишком горячему

доверию, которое выражает удивительное похвальное слово машине Роджера Бэкона, относящееся примерно к 1260 г. «Может статься, — писал он, — что изготовят машины, благодаря которым самые большие корабли, управляемые одним-единственным человеком, будут двигаться быстрее, чем если бы на них было полно гребцов; что построят повозки, которые будут перемещаться с невероятной быстротой без помощи животных; что создадут летающие машины, в которых человек... бил бы по воздуху крыльями, как птица... Машины позволят проникнуть в глубины морей и рек»[36].

[36] Цит по: White L. *Op. cit.*, p. 134.

РЕВОЛЮЦИЯ, НАМЕТИВШАЯСЯ ВО ВРЕМЕНА АГРИКОЛЫ И ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Когда Европа воспряла после этого тяжкого и продолжительного кризиса, взлет обменов, быстрый, революционный рост происходил вдоль оси, связывавшей Нидерланды с Италией, пересекая Германию. И именно Германия, второстепенная зона торговли, находилась во главе промышленного развития. Может быть, потому, что для нее, располагавшейся между двумя господствующими мирами, прилегавшими к ней с севера и с юга, то был способ навязать свое участие в международных обменах. Но прежде всего — по причине развития ее горной промышленности. Развитие это лежало в основе не только раннего восстановления германской экономики, с 70-х годов XV в., раньше остальной Европы. Добыча золотой, серебряной, медной, оловянной, кобальтовой, железной руд породила серию нововведений (будь то хотя бы использование свинца для отделения серебра, содержащегося в виде примеси в медных рудах) и создание гигантских для того времени устройств, предназначенных для откачки подземных вод и для подъема руды. Развивалась искусная технология, грандиозную картину которой рисуют гравюры в книге Агриколы.

Разве не соблазнительно увидеть в этих достижениях, которые Англия будет копировать, настоящий пролог того, что станет промышленной революцией[37]? К тому же расцвет горной промышленности активизировал все секторы германской экономики: производство *бархента* (*Barchent*, бумазеи), шерстяную промышленность, обработку кож, разные металлургические производства, изготовление жести, железной проволоки, бумаги, новых видов оружия... Коммерция создавала значительные сети кредита, организовывались крупные международные товарищества, вроде «Великого общества» (*Magna Societas*)[38]. Городское ремесло процветало: в 1496 г. в Кёльне было 42 цеха, в Любеке — 50, во Франкфурте-на-Майне — 28[39]. Оживились и модернизировались перевозки; могущественные компании специализировались в этом деле. И Венеция, которая, будучи хозяйкой левантинской торговли, нуждалась в белом металле, установила привилегированные торговые отношения с Южной Германией. Невозможно отрицать, что на протяжении более полувека немецкие города являли зрелище живо про-

[37] Van Leur J.C. *Indonesian Trade and Society*. 1955, p. 20.
[38] См. т. 2 настоящего труда.
[39] Kellenbenz H. *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, I, 1977, S. 167.



Деталь миниатюры конца XV в., изображающая серебряный рудник в Кутной Горе в разрезе по вертикали, как это принято. Забойщики в белых одеждах, лестницы, подъемный ворот. На той части миниатюры, которую мы не воспроизводим, показано весьма современное техническое оснащение (немцы были тогда мастерами в технике горного дела): вороты, приводимые в движение лошадьми, системы водоотлива и вентиляции. *Вена, Австрийская национальная библиотека. Фото библиотеки.*

грессировавшей экономики, какого бы сектора мы ни коснулись.

Но все остановилось или начало останавливаться около 1535 г., когда американский белый металл в конечном счете составил конкуренцию серебру немецких рудников, как установил это Джон Неф, а также в момент, когда около 1550 г. стало ослабевать преобладание Антверпена. Не в том ли заключалась неполноценность германской экономики, что она была зависимой, строилась применительно к потребностям Венеции и потребностям Антверпена, которые были настоящими центрами европейской экономики? В конце концов, Век Фуггеров был веком Антверпена.

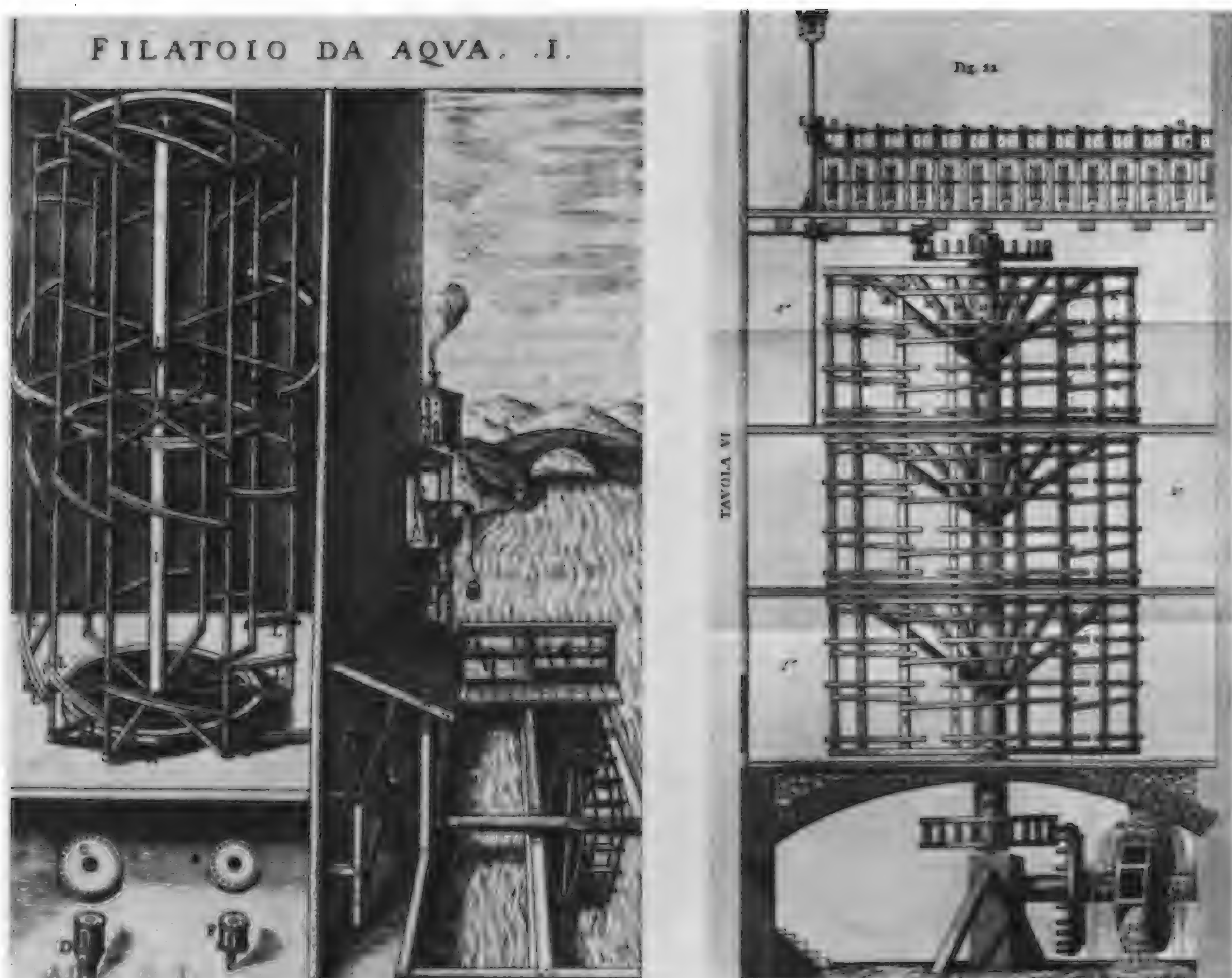
Еще более поразительный успех наметился в Италии примерно в то время, когда Франческо Сфорца взял власть в Милане (1450 г.). Более поразительный, потому что ему предшествовал ряд образцовых революций. Первая — революция демографическая, подъем которой продлится до середины XVI в. Вторая, наметившаяся в начале XV в., — это рождение территориальных государств, еще небольших по размеру, но уже современных: какой-то момент на повестке дня даже стояло единство Италии. И чтобы закончить — сельскохозяйственная революция, капиталистическая по форме, на пересеченных каналами равнинах Ломбардии. Все это происходило в общей атмосфере научных и технических открытий: то было время, когда сотни итальянцев, разделяя страсть Леонардо да Винчи, заполняли свои записные книжки зарисовками проектов чудесных машин.

Милан прожил тогда своеобразную историю. Избегнув ужасного кризиса XIV и XV вв. (как полагает Дзангери, именно благодаря передовому характеру своего сельского хозяйства), он познал примечательный мануфактурный подъем. Шерстяные сукна, затканные золотом и серебром ткани, оружие сменили бумазеи, что составляли в начале XIV в. главную долю производства города. И вот он оказался вовлечен в широкое торговое движение, связанное с ярмарками Женевы и Шалона-на-Соне, с городами вроде Дижона, с Парижем, с Нидерландами[40]. Одновременно город завершал капиталистическое завоевание своих деревень с перегруппировкой земель в крупные владения, развитием орошаемых лугов и скотоводства, прорытием каналов, используемых и для орошения и для перевозок, с введением новаторской культуры риса и даже зачастую с исчезновением паров, с непрерывной ротацией зерновых и трав. В действительности именно в Ломбардии начиналось то *высокое сельское хозяйство* (*high farming*), которое *позднее* познают Нидерланды и еще позднее — Англия, с известными нам последствиями[41].

Отсюда тот вопрос, который ставит наш «гид» Ренато Дзангери: почему такое мощное изменение миланских и ломбардских деревень и промышленности закончилось, не вылившись в промышленную революцию? Ни техника того времени, ни скромность энергетических источников не кажутся достаточными объяснениями. «Английская промышленная револю-

[40] Miani G. *L'économie lombarde aux XIV[e] et XV[e] siècles.— «Annales E. S. C.»*, mai — juin 1964, p. 571.

[41] Zangheri R. *Agricoltura e sviluppo del capitalismo.— «Studi storici»*, 1968, p. 539.



Раннее развитие машинного производства в Италии: две схемы прядильной машины *(filatoio)* для изготовления органсина по-болонски, одна (слева) 1607 г., другая 1833 г.

ция не зависела от научного и технического прогресса, до которого уже в XVI в. было рукой подать»[42]. Карло Пони даже открыл с изумлением для себя сложность гидравлических машин, использовавшихся в Италии для намотки шелка на шпули, его прядения и сучения, с несколькими этажами механизмов и рядов катушек, которые все приводились в движение одним водяным колесом[43]. Л. Уайт утверждал, что до Леонардо да Винчи Европа уже изобрела целую гамму механических систем, которые будут приводиться в действие в течение четырех последующих столетий (вплоть до электричества) по мере того, как в них станет ощущаться нужда[44]. Ибо, как удачно сформулировал он, «новое изобретение лишь открывает дверь; оно никого не заставляет в нее входить»[45]. Да, но почему же возникшие вместе в Милане исключительные условия не создали такого понуждения, такой потребности? Почему миланский порыв угас вместо того, чтобы усилиться?

Существующие исторические данные не позволяют ответить на это с доказательствами в руках. И мы вынуждены обходиться догадками. Прежде всего, в распоряжении Милана не было широкого национального рынка. Затем, наблюдалось падение доходов с земель, когда миновал момент первых спекуля-

[42] Hobsbawm E. J. *Il secolo XVII nello sviluppo del capitalismo.*— «*Studi storici*», 1959—1960, p. 665.

[43] Poni C. *All'origine del Sistema di fabbrica...* — «*Rivista storica italiana*», 1976, p. 444 sq.

[44] White L. *Op. cit.*, p. 129.

[45] *Ibid.*, p. 28.

ций. Процветание промышленных предпринимателей, если верить в этом Джино Барбьери[46] и Джемме Миани, было процветанием мелких капиталистов, своего рода среднего класса. Но аргумент ли это? Первые предприниматели хлопковой революции тоже зачастую были простолюдинами. Тогда не было ли особенной бедой Милана то, что он находился так близко от Венеции и ему было так далеко до ее господствующего положения? Что он не был портом, широко открытым в сторону моря и международного экспорта, свободным в своих поступках и в своем риске? Его неудача была, быть может, доказательством того, что промышленная революция — в качестве глобального явления — не могла строиться только изнутри, гармоничным развитием разных секторов экономики; она также должна была опираться — и это условие *sine qua non* — на господство над внешними рынками. В XV в., как мы видели, место это было занято Венецией, а также Генуей — на путях в Испанию.

Органсин — это крученая шелковая нить в две, три или четыре нити, служащая основой. Первая «мельница», установленная в Англии в 1716—1717 гг., «подлинный завод, первый, когда-либо существовавший в Англии», был скопирован англичанами после двух лет промышленного шпионажа в Италии. С начала XVII в. почти такая же машина работала на своей родине, в Болонье. Эта машина, полностью автоматическая (рабочие только следили за ней и связывали оборвавшиеся нити), состояла из внутренней вращающейся части — *фонаря* (см. справа нижнюю часть схемы),— приводимой в движение водяным колесом и окруженной неподвижной станиной (верхняя часть схемы), на которой размещалось очень много веретен, катушек и мотовил... Если бы механизация была единственной причиной промышленной революции, Италия опередила бы Англию. Справа — прядильная машина *(filatoio)* 1833г. (из книги: Negri P. *Manualepractico*...1833).

ДЖОН Ю. НЕФ И ПЕРВАЯ АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 1560—1640 гг.

Это был промышленный подъем, более четко выраженный и более интенсивный, чем германский и итальянский прологи, — подъем, проявившийся в Англии между 1540 и 1640 гг. К середине XVI в. Британские острова пребывали еще с промышленной точки зрения далеко позади Италии, Испании, Нидерландов, Германии и Франции. Столетие спустя ситуация чудесным образом изменилась на противоположную, и ритм перемен был настолько быстрым, что эквивалент ему найдется вновь лишь в конце XVIII и начале XIX в., в самый разгар промышленной революции. Накануне своей гражданской войны (1642 г.) Англия сделалась первой промышленной страной Европы и останется ею. Именно эту английскую «первую промышленную революцию» Джон Ю. Неф[47] осветил в ставшей сенсацией статье 1934 г., котороя нисколько не утратила своей объясняющей силы.

Но почему именно Англия, тогда как великие инновации того времени были ею заимствованы — я имею в виду доменные печи и различное оборудование для подземных горных работ: штольни, вентиляционные системы, насосы для водоотлива, подъемные машины, — тогда как этой технике обучили Англию нанятые для этого немецкие горняки? Тогда как именно ремесленники и рабочие из самых передовых стран, Германии и Нидерландов, но также и из Италии (стекольная промышленность) и Франции (тканье шерсти и шелка), принесли в нее технологии и навыки, необходимые для устройства ряда отраслей промышленности, новых для Англии: бумажных и пороховых мельниц, зеркальных фабрик, стекольных заводов, литейных заводов для отливки пушек, фабрик квасцов и купороса, рафинадных сахарных заводов, производства селитры и т. д.?

Удивительное заключается в том, что, внедрив их у себя, Англия придала им неведомый до того размах: увеличение предприятий, размеры построек, рост численности работников,

[46] Barbieri G. *Le Origini del capitalismo lombardo.* 1961; Miani G. *Op. cit.*
[47] Nef J. U. *The Progress of Technology and the Growth of Large-Scale Industry in Great Britain, 1540—1640.*— «*Economic History Review*», october 1934, p. 23.

достигавшей десятков, а порой и сотен человек, громадность (относительная) капиталовложений, которые исчислялись в многие тысячи фунтов, в то время как *годовая* заработная плата рабочего была порядка всего 5 фунтов,— все это было действительно новым и говорило о масштабах подъема, который будоражил английскую промышленность.

С другой стороны, решающей чертой этой революции, чертой чисто самобытной, был рост использования каменного угля, ставший главной характеристикой английской экономики. Впрочем, не в силу сознательного выбора, но потому, что уголь этот восполнял очевидную слабость. Лес сделался редок в Великобритании, где он достигал в середине XVI в. очень высокой цены; такая нехватка и такая дороговизна диктовали обращение к каменному углю. Точно так же слишком медленное течение рек, воды которых приходилось отводить по длинным подводным каналам, чтобы заставить ее излиться на водяные колеса, делало движущую воду намного более дорогостоящей, нежели в континентальной Европе, и вследствие этого оно стало побудительным фактором для исследований, связанных с паром, по крайней мере так утверждает Дж. Ю. Неф.

Итак (в противоположность Нидерландам или Франции), Англия вступила на путь очень широкого употребления каменного угля, опираясь на Ньюкаслский бассейн и на многочисленные местные залежи. Копи, на которых крестьяне работали часть времени и только на поверхности, узнали с тех пор непрерывную работу: шахты углублялись в землю до 40—100 метров. Производство с 35 тыс. тонн к 1560 г. было доведено до 200 тыс. тонн в начале XVII в. [48] Рельсовые вагоны доставляли уголь от копи до пунктов погрузки; все более и более многочисленные специализированные корабли развозили его далеко по всей Англии и даже, в конце столетия, в Европу. Уголь представал уже как национальное богатство. В 1650 г. один английский поэт провозгласил: *«Англия — это целый мир, она также имеет Индии. Исправьте ваши карты: Ньюкасл — это Перу»* (*«England's perfect world, hath Indies too. Correct your maps, Newcastle is Peru»*) [49]. Замена древесного угля не только позволила топить домашние очаги и роковым образом задымить Лондон. Она навязала себя также и промышленности, которой тем не менее пришлось приспосабливаться к новой энергии, находить новые решения, в особенности для того, чтобы гарантировать обрабатываемые материалы от воздействия сернистого пламени нового топлива. Кое-как каменный уголь внедрился в производство стекла, в пивоварение, в кирпичное производство, в производство квасцов, на рафинадные сахарные заводы и в соляную промышленность на основе выпариваемой морской воды. Всякий раз происходила концентрация рабочей силы и по необходимости капитала. Рождалась мануфактура с ее просторными мастерскими и их одуряющим шумом, который иной раз не прерывался ни днем, ни ночью, с ее массами работников, которые в мире, привыкшем к ремеслу, поражали своим числом и своим нередким отсутствием квалификации. Один из управляющих «квасцовых домов», учрежденных Яковом I на побережье Йоркшира (каждый из них постоянно использовал

[48] Pollard S., Crossley D. W. *Wealth of Britain...*, 1968.
[49] Cleveland J. *Poems*. 1650, p. 10.

шесть десятков рабочих), объяснял в 1619 г., что изготовление квасцов — «задача для безумца», которая «не может быть выполнена ни одним человеком, ни несколькими, но множеством людей самой низкой категории, которые в свой труд не вкладывают ни усердия, ни честности»[50].

Следовательно, в техническом отношении посредством увеличения своих предприятий, посредством нарастающего употребления каменного угля Англия внедряла инновации в промышленной сфере. Но тем, что толкало промышленность вперед и, вероятно, порождало инновацию, был сильный рост внутреннего рынка в силу двух дополнявших друг друга причин. Во-первых, очень сильного демографического подъема, который оценивался в 60% на протяжении XVI в.[51] Во-вторых, значительного увеличения доходов от сельского хозяйства, которое многих крестьян превратило в потребителей промышленных изделий. Встретившись лицом к лицу со спросом растущего населения и вдобавок с ростом городов, которые увеличивались на глазах, сельское хозяйство наращивало свою продукцию разными путями: распашкой целины, огораживаниями за счет общинных земель или лугов, специализацией земледелия, однако без вмешательства революционных приемов, предназначенных для увеличения плодородия почвы и ее производительности. Они начнутся практически только после 1640 г. и вплоть до 1690 г. будут идти крохотными шажками[52]. В силу этого сельскохозяйственное производство испытывало определенное отставание от демографического натиска, как то доказывает подъем сельскохозяйственных цен, в целом более сильный, нежели подъем цен на промышленные изделия[53]. Из этого проистекало очевидное благосостояние деревни. То было время *Великой перестройки* (*Great Rebuilding*): дома крестьян перестраивались, расширялись, улучшались, окна стали стеклить, очаги приспосабливались для использования каменного угля; посмертные описи имущества отмечают новое обилие мебели, белья, драпировок, оловянной посуды. Такой внутренний спрос определенно стимулировал промышленность, торговлю, импорт.

Но сколь бы многообещающим ни было это движение, оно не увлекло за собой всего. Имелись даже важные секторы, которые тащились в хвосте.

Так, в металлургии новая доменная печь немецкого образца (*blast furnace*), крупный потребитель топлива, не только не упразднила все печи старого образца (*bloomeries*), иные из которых действовали еще около 1650 г., но и продолжала использовать древесный уголь. Только в 1709 г. появится первая домна, работающая на коксе, и она останется *единственной* в течение четырех десятков лет. То была аномалия, которой Т. Эштон и некоторые другие дали несколько объяснений, но бесспорным представляется мне то, какое дает в недавней книге Чарлз Хайд[54]: если кокс только к 1750 г. взял верх над древесным углем, то это потому, что до того момента издержки производства давали преимущество последнему[55]. К тому же долгое время английская металлургическая продукция оставалась средней, как количественно, так и качественно, уступая даже

[50] Nef J. U. *Op. cit.*, p. 3—24.
[51] Pollard S., Crossley D. W. *Op. cit.*, p. 85.
[52] *Ibid.*, p. 130.
[53] *Ibid.*, p. 84, 95.
[54] Hyde Ch. *Technological Change and the British Iron Industry, 1700—1820*. 1977.
[55] См. ниже, с. 586.



Одно из самых старых (1750 г.) изображений английской «железной дороги»: построенная Р. Алленом, она обеспечивала транспортировку (под действием силы тяжести) каменных блоков из каменоломен на близлежащих холмах в город Бат и на пристань на реке Эйвон. *Библиотека изобразительного искусства Мэри Ивенс.*

после принятия кокса металлургической продукции России, Швеции и Франции [56]. А если малая металлургия (ножевое производство, изготовление гвоздей, орудий и т. п.) начиная со второй половины XVI в. не переставала расти, то работала она на импортируемой шведской стали.

Другой отстававший сектор — суконная промышленность, столкнувшаяся с продолжительным кризисом внешнего спроса, который ее вынудил на трудные преобразования; производство ее было почти что неизменным с 1560 г. вплоть до конца XVII в. [57] Будучи в значительной мере деревенской, мало затронутой мануфактурой, она все более и более широко охватывалась системой надомничества (*putting out system*). А ведь именно эта промышленность одна давала 90% английского экспорта в XVI в., все еще 75% — к 1660 г. и только к концу века — 50% экспорта [58].

Но эти затруднения не могут объяснить экономический застой, в который Англия втянулась после 40-х годов XVII в.; она не отступала, но и не прогрессировала более. Население перестало расти, сельское хозяйство производило больше и лучше, оно вкладывало средства ради будущего, но доходы его снизились одновременно с ценами; промышленность работала, но больше не вводила новшеств, по меньшей мере до 80-х годов [59]. Если бы дело касалось одной Англии, то мы подчеркнули бы тяжкие последствия гражданской войны, начавшейся в 1642 г.

[56] Hyde Ch. *Op. cit.*, p. 42 f., 144.
[57] Pollard S., Crossley D.W. *Op. cit.*, p. 105, 136—137.
[58] *Ibid.*
[59] Pollard S., Crossley D.W. *Op. cit.*, p. 142—143.

и составившей крупную помеху; мы подчеркнули бы недостаточные еще масштабы ее национального рынка, ее плохое, или сравнительно плохое, положение в европейском мире-экономике, где преобладание соседней Голландии было безраздельным. Но дело касалось не одной Англии: за нею, бесспорно, следовали страны Северной Европы, которые двигались вперед одновременно с нею и одновременно с нею отступали. «Кризис XVII в.», более или менее ранний, сыграл свою роль везде.

Тем не менее если вернуться к Англии, то, даже в соответствии с диагнозом Дж. Ю. Нефа, промышленный подьем там если и замедлился, конечно, после 1642 г., то все же не исчез, отступления не было [60]. В действительности (мы вернемся к этому в связи с вызывающим психологический шок анализом Э. Л. Джонса) «кризис XVII в.», возможно, как и все периоды замедления демографического роста, был благоприятен для определенного подъема дохода на душу населения и для преобразования сельского хозяйства, которое не осталось без последствий и для промышленности. Немного расширительно трактуя мысль Нефа, скажем, что английская революция, которая утвердится вXVIII в., началась уже в XVI, что она продвигалась вперед постепенно. И это объяснение, урок которого следует запомнить.

[60] Nef J. U. *The Conquest of the Material World.* 1964, p. 141—143.

Но разве нельзя то же самое сказать о Европе, где с XI в. опыты сменяли друг друга, были связаны между собой и в некотором роде накапливались? Каждый регион в свою очередь, в тот или иной период, знавал предпромышленные сдвиги с сопровождавшими их явлениями, которые они предполагают, в особенности в плане сельского хозяйства. Таким образом, индустриализация была эндемична для всего континента. Сколь бы блистательной и решающей ни была ее роль, Англия не одна несла ответственность и была изобретательницей промышленной революции, которую она осуществила. К тому же именно поэтому эта революция, едва только возникнув, даже еще до своих решающих успехов, так легко покорила близлежащую Европу и узнала там серию сравнительно быстрых успехов. Она не натолкнулась там на те препятствия, которые встречают ныне столько слаборазвитых стран.

АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СЕКТОР ЗА СЕКТОРОМ

После 1750 г. Англия в своем успехе была светящейся точкой, к которой все устремлялось. Но не будем предаваться чрезмерным иллюзиям: мы попадаем в самое сердце наших затруднений, в самую середину обманчивой игры света. Р. М. Хартуэлл радостно нам это объясняет в своей полной задора книге *«Промышленная революция и экономический рост»* (*«The Industrial Revolution and Economic Growth»*, 1971) — на самом деле книге обо всех других книгах, трибуне, с которой автор вы-

ражает свои идеи только через идеи других и в конечном счете вводит нас в обширный музей, где на стенах заботливо развешаны картины, самые разные и самые противоречивые. Выбор за нами! Кого бы не дезориентировало сотое по счету противопоставление «за» и «против»?

Правда историки — специалисты по этой проблеме, собравшиеся для общей дискуссии по приглашению журнала *«Past and Present»* в апреле 1960 г.[61], не смогли договориться — и это в определенном смысле утешительно. В не большей степени пришли они к согласию и на Лионском симпозиуме в 1970 г.[62], посвященном той же теме, где Пьер Вилар[63] сказал, может быть, главное, когда признался без обиняков, что, изучая промышленную революцию, так быстро трансформировавшую Каталонию в XVIII и XIX вв., ему не удалось построить модель, которая бы его удовлетворила. И проблему не удалось упростить, когда в ходе того же симпозиума выражение *промышленная революция* заменили нейтральным словом индустриализация, в конечном счете таким же сложным. «Признаюсь, я еще не уяснил для себя того, что понимают под *индустриализацией*,— воскликнул Жак Бертэн.— Железную дорогу? Хлопок? Каменный уголь? Металлургию? Осветительный газ? Белый хлеб?»[64] Я охотно ответил бы: список слишком краток; индустриализация, как и промышленная революция, касается всего — общества, экономики, политических структур, общественного мнения и всего остального. Самая империалистически настроенная история не охватит ее, особенно в единой дефиниции, которая желала бы быть простой, полной и безапелляционной. Иными словами, промышленная революция, что перевернет Англию, а затем весь мир, ни в какой момент своего пути не была четко ограниченным сюжетом, пучком заданных проблем в заданном пространстве и времени.

Именно поэтому я и не согласен с методом, состоящим в том, чтобы объяснять революцию сектор за сектором, хотя я и вынужден им пользоваться в свою очередь. В самом деле, историки, оказавшись перед совокупностью и наслоением трудностей, поступали на картезианский манер: разделяли, чтобы понять. Они различали ряд особых отсеков: сельское хозяйство, демографию, технику, торговлю, транспорт и т. д., преобразования в которых, конечно, все важны; но риск заключается в том, что они могут предстать как отделенные друг от друга этапы, следовавшие один за другим и образовывавшие в некотором роде ступени роста. На самом деле такая модель из [отдельных] кусков пришла к нам из самой что ни на есть традиционной политэкономии. Придется пожалеть, что приверженцы ретроспективной экономики не обрисовали для нашего употребления другую политическую экономию, способную более действенно направлять историческое исследование; что они не определили ориентиры, показатели, пропорции, наблюдение которых обнаружило бы, как разные секторы синхронно действуют одни в отношении других, подпирая одни другие или же, напротив, образуя друг для друга тормоза или узкие места. Если бы можно было проделать серию синхронных срезов, в достаточной мере отстоящих друг от дру-

[61] *The Origins of the Idustrial Revolution.— «Past and Present»*, april 1960, p. 71—81.
[62] *L'Industrialisation en Europe au XIX^e siècle*. Ed. P. Léon, F. Crouzet, R. Gascon. Lyon, 7—10 octobre 1970, 1972.
[63] Vilar P. *La Catalogne industrielle. Réflexions sur un démarrage et sur un destin.— L'Industrialisation en Europe au XIX^e siècle*, p. 421.
[64] См. Bertin J.— в: *L'Industrialisation en Europe au XIX^e siècle*, p. 477.

га во времени, процесс промышленного роста, быть может, раскрылся бы в своей эволюции без особой погрешности. Но потребовалось бы определить модель наблюдения; потребовалось бы, чтобы историки пришли к согласию относительно приведения ее в действие в различных пределах времени и пространства.

Сейчас мы можем лишь использовать классификации, доказавшие свои достоинства в заслуживающих внимания работах, слишком многочисленных для того, чтобы их перечислять все. Они выделяют внутри целостной революции серию «революций» частных — в сельском хозяйстве, демографии, внутренних перевозках, технике, торговле, промышленности... Мы попытаемся проследить в первом приближении эти изменения, которых на самом деле не избежал ни один сектор. Это обычный путь объяснения. Идти по нему немного скучно, но это необходимая скука.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ФАКТОР: АНГЛИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На первом плане оказывается сельское хозяйство — и справедливо. Но из всех затрагиваемых проблем оно далеко превосходит по трудности остальные. В действительности мы присутствуем при долгом, при нескончаемом процессе, не при революции, но при сменявших друг друга революциях, изменениях, эволюциях, разрывах, восстановлениях равновесия — и все это одно за другим. Рассказ о нем от начала до конца легко привел бы нас к XIII в., к первым опытам известкования и удобрения мергелем, к экспериментированию различными разновидностями пшеницы или овса и с самыми целесообразными севооборотами. Тем не менее наша проблема заключается не в том, чтобы изучать истоки и течение этой реки, а в изучении способа, каким она впадает в море; в изучении не сельской истории Англии во всех ее отраслях, но того, как она в конце концов влилась в океан промышленной революции. Не было ли сельское хозяйство главным для этого громадного достижения?

Поставить такой вопрос означает услышать тысячи противоречивых ответов. Среди историков есть говорящие «да», есть говорящие «нет» и есть такие, что колеблются между «да» и «нет». По мнению Г. У. Флинна, «остается крайне сомнительным, чтобы сами по себе успехи сельского хозяйства были бы достаточными для того, чтобы сыграть более чем скромную роль в стимулировании какой-либо промышленной революции» [65]. В более общем плане, с точки зрения Г. Дж. Хабаккука, «увеличение сельскохозяйственного производства не должно рассматриваться как предварительное условие роста, и именно поэтому оно скорее сопровождало ускорение роста, нежели ему предшествовало» [66]. Напротив, Поль Бэрош, озабоченный тем, чтобы выделить и выстроить в иерархическом порядке стратегические переменные величины английской революции, утверждает, что взлет сельского хозяйства был для последней «господствовавшим фактором начала», первым

[65] Flinn H. W. *The Origins of the Industrial Revolution.* 1965.

[66] Habakkuk H. J. *Historical Experience of Economic Development.*— Robinson E. A. G. (ed.). *Problems of Economic Development.* 1955, p. 123.

[67] Bairoch P. *Révolution industrielle et sous-développement*. 1974, p. 73.
[58] Jones E. L. *Le origini agricole dell'industria.— «Studi storici»*, IX, 1968, p. 567.
[69] Tull J. *The Horse Hoeing Husbandry*. 1733.
[70] Chambers J. D., Mingay G. E. *The Agricultural Revolution 1750—1880*. 1966, p. 2—3.
[71] *Ibid.*
[72] *Ibid.*
[73] *Ibid.*
[74] Bairoch P. *Op. cit.*, tabl. p. 222, 226; Mathias P. *The First Industrial Nation*, tabl. p. 474.

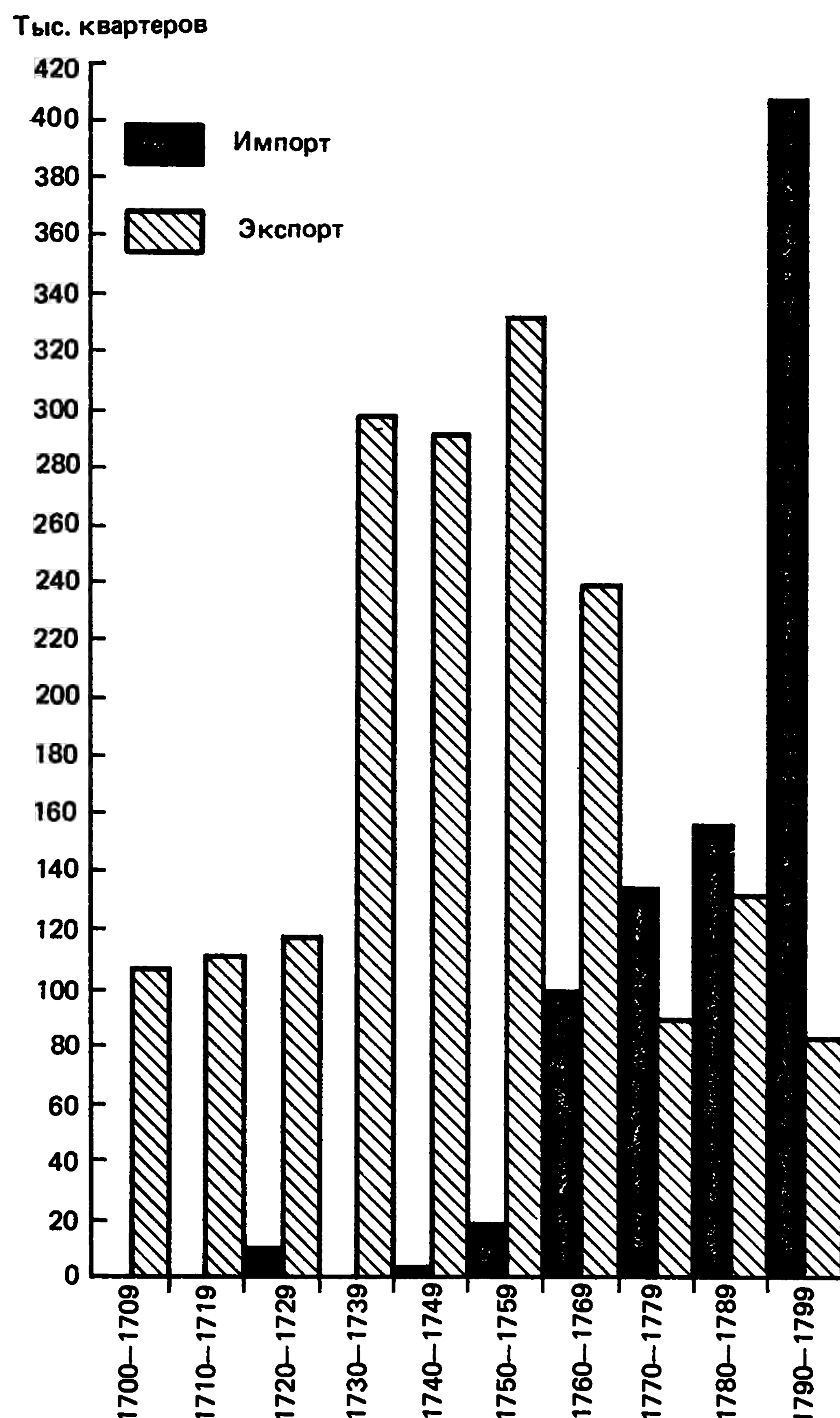
толчком[67]. Э. Л. Джонс еще более категоричен: опираясь на сравнительную историю стран, которые дошли до индустриализации, он в качестве условия их успеха выдвигает прежде всего «сельскохозяйственную продукцию, возрастающую быстрее, чем население»[68]. Что касается Англии, то, на его взгляд, «критический период» продолжался с 1650 по 1750 г.

Это означает с порога отвергнуть доводы тех, кто, отождествляя сельскохозяйственную революцию главным образом с механизацией, видит ее следующей за хлопковой революцией и даже революцией железнодорожной, а не предшествовавшей им. Несомненно, промышленная и машинная техника играла в сельской жизни довольно незначительную роль вплоть до середины XIX в. Сеялка, о которой Джетро Талл говорил в 1733 г.[69], лишь изредка будет применяться в передовом Восточном Норфолке (например, в Тауне и в Коуке); в других местностях она появится лишь с XIX в.[70] Конная молотилка, созданная в Шотландии около 1780 г., за которой с запозданием последовала паровая, определенно не получила быстрого распространения. Точно так же треугольный плуг, так называемый плуг Розерхэма[71], позволявший вспашку на двух лошадях при одном-единственном человеке (вместо прямоугольного плуга с его шестью или восемью быками, погонщиком и пахарем), запатнтованный в 1731 г., почти не применялся до 1870 г.[72] Было даже подсчитано, что новые культуры, включая *турнепс (turnip)*, чудесную репу, которая перешла в XVII в. на поля с огородов, распространялись со скоростью, не превышавшей одну милю в год от мест своего появления! Наконец, вплоть до 1830 г. цеп, серп и коса оставались обычными орудиями на английских фермах[73]. Так что успехи английского земледелия *до промышленной революции*, успехи бесспорные[74], вытекали не столько из применения машин или чудесных культур, сколько

Кирпичный завод в английской сельской местности с его угольным дымом, который уже в XVIII в. обвиняли в загрязнении атмосферы. *Фото Бэтсфорда.*



из новых форм использования почв, повторных вспашек, ротации культур, которые нацелены были одновременно и на устранение паров, и на улучшение животноводства, полезного источника удобрений и, стало быть, средства избежать истощения почв; вытекали из внимания к селекции семян и пород овец и крупного рогатого скота, из специализированной агрикультуры, увеличивавшей производительность — с результатами, которые варьировали от региона к региону в зависимости от природных условий и обязательств, связанных с обменом, которые никогда не бывали одними и теми же. Системой, к которой придут, стало то, что в XIX в. назовут *высоким сельским хозяйством (high farming)*; «...это — искусство крайне трудное,— писал один поздний наблюдатель,— которое имеет в качестве прочной основы лишь долгую цепь наблюдений. Земли огороженные и сильно разрыхленные частыми вспашками, удобряемые обильным навозом хорошего качества и попеременно засеваемые растениями, истощающими и восстанавливающими плодородие, без паров... со сменой зерновых растений со стержневыми корнями, которые истощают почву, извлекая свои вещества с большой глубины и ничего не возвращая земле, травянистыми растениями со стелющимися корнями, улучшаю-



Английский импорт и экспорт зерна и муки

В общем примерно до 1760 г. Англия питалась только собственным зерном; между 1730 и 1765 гг. она его экспортировала в размерах значительных для того времени (2% своего производства к 1750 г., т. е. 330 тыс. квартеров при производстве в 15 млн.; 1 квартер = 2,9 гектолитра); ввоз ею зерна, который начался в 1760 г., все время возрастал, несмотря на производство, достигшее 19 млн. квартеров в 1800 г. и 25 млн. квартеров в 1820 г. (По данным кн.: Mathias P. *The First Industrial Nation.* 1969, p. 70.)

щими почву и черпающими свою субстанцию из поверхностных слоев»[75].

Эта трансформация, которая окажется главной, наступила после 1650 г., в период, когда прекратилось демографическое давление, когда численность людей более не возрастала или едва возрастала (может быть, вследствие сознательной политики повышения брачного возраста). Какова бы ни была тому причина, демографическое давление ослабло. Тогда не представляется ли противоречивым, что как раз в этот момент, момент, когда сократился спрос, а цены на зерно шли вниз, выросли производство и производительность и распространились новшества? Однако же, парадокс этот довольно хорошо объясняется в свете тех доводов, какие выдвинул Э. Л. Джонс[76]. Спрос на зерновые оставался более или менее стабильным, но с подъемом городов и громадным ростом Лондона увеличился спрос на мясо; животноводство сделалось более доходным, нежели возделывание зерновых; первое стремилось принять эстафету у второго. Отсюда возросшее обращение к уже известным кормовым растениям: клеверу, эспарцету, турнепсу — и к новым методам ротации культур. Парадокс возник из-за того, что весьма большое увеличение поголовья скота, к которому стремились и которого добились, давало возросшее количество удобрений и тем самым увеличивало урожайность зерновых, пшеницы и ячменя, включенных в севооборот. Так сформировалось то, что Джонс называет «достойным кругом» (в противоположность кругу порочному), в соответствии с которым низкая цена зерновых толкала фермеров на перенос их усилий на животноводство, которое закрепляло успех кормовых культур и которое одновременно влекло за собой быстрое увеличение поголовья скота, особенно овец, и быстрый подъем урожайности зерновых. Производство зерна в Англии будет автоматически нарастать почти само собой так, что превзойдет национальные потребности. Отсюда — снижение цен на зерновые и возраставший вплоть до 1760 г. экспорт. Э. А. Ригли подсчитал, что увеличение *производительности* в сельском хозяйстве с 1650 по 1750 г. составило самое малое 13%[77].

Но *high farming* имело другой результат. Коль скоро кормовые культуры требуют легких и песчаных почв, последние сделались богатыми землями Англии. Стали возделывать даже почвы, известные как неплодородные, всегда оставлявшиеся для овец. Напротив, тяжелые и глинистые почвы, плохо приспосабливаемые под кормовые культуры, до того времени бывшие лучшими для зерновых, оказывались обречены низкими ценами, которые определялись высокой урожайностью зерна с конкурировавших с ними почв. И вот на них вынуждены были прекращать пахоту. Посыпались жалобы. В Мидленде в 1680 г. попросту потребовали законов, которые бы воспрепятствовали улучшениям земледелия, утверждавшимся на юге Англии! В Бекингемшире владельцы глинистых почв в долине Эйлсбери просили запретить культуру клевера[78].

Различные районы, на которых неблагоприятно сказалось торжество их соседей, станут делать ставку на животноводство, в частности на разведение тягловых животных или, если

[75] Baert-Duholant Ch.-A., de. *Tableau de la Grande-Bretagne*, IV, p. 242—243.

[76] Jones E. L. *Op. cit.*, p. 568 f.

[77] См. Wrigley E. A.— в: «*Past and Present*», 1967. Цит. по: Jones E. L. *Op. cit.*, p. 569.

[78] Jones E. L. *Op. cit.*, p. 570.

им повезло находиться по соседству с Лондоном, на производство молочных продуктов. Но еще больше восстановление равновесия происходило в направлении ремесленных промыслов. Именно поэтому начиная с 1650 г., в момент, когда Дж. Ю. Неф отмечает потерю темпа *большой* мануфактурной промышленностью, развившейся на протяжении предшествовавшего столетия, мы, напротив, видим, как вырастает оживленная деревенская промышленность в старых, но все еще эффективных рамках системы *надомного труда (putting out system)*. В конце XVII и в начале XVIII в. кружевной промысел развился в восточном Девоне и еще того больше — в графствах Бедфорд, Бекингем и Нортгемптон; обработка соломы для изготовления шляп перешла из графства Хертфорд в графство Бедфорд; гвоздильное производство завоевывало почву в бирмингемской деревне; изготовление бумаги — в горах Мендипхиллс, где в 1712 г. работало больше 200 фабрик, зачастую устроенных в прежних зерновых мельницах; чулочновязальное производство — в графствах Лестер, Дерби и Ноттингем и т. д.[79]

Итак, в Англии «кризис XVII в.» соответствовал обретению зрелости деревнями, довольно медленному и неравномерному, но вдвойне благотворному для будущей промышленной революции: оно благоприятствовало утверждению высокопродуктивного сельского хозяйства, которое будет способно, отказавшись от экспорта, выдержать после 50-х годов XVIII в. мощный демографический напор. Оно умножило в бедных районах мелких предпринимателей и пролетариат, более или менее привычный к ремесленным задачам, короче — «податливую и обученную» рабочую силу, готовую откликнуться на призыв крупной городской промышленности, когда та появится в конце XVIII в. Именно из этого резерва рабочей силы будет черпать промышленная революция, а не из чисто сельскохозяйственной рабочей силы, которая сохранит свою численность, в противоположность тому, что еще недавно полагали, следуя за Марксом.

Если на Европейском континенте дело происходило совсем иным образом, то, вероятно, потому, что столь самобытная эволюция английского сельского хозяйства мыслима лишь в рамках достаточно крупного хозяйства: тогда большое имение составляло 200 арпанов, т. е. 80 *га*. И для того, чтобы сложился такой тип хозяйства, потребовалось, чтобы разрушился стойкий сеньериальный порядок, чтобы он приспособился, чтобы трансформировались архаичные отношения держателя и сеньера. В Англии, когда двинулась в путь промышленная революция, это давно уже было законченным делом. Крупный собственник[80] сделался рантье, который видел в своей земле орудие социального престижа, но также и орудие производства, которое он с выгодой доверил эффективно хозяйствующим арендаторам (традиция даже требовала, чтобы в плохие годы собственник частично возмещал потери фермера). Процветающее имение, сданное в аренду за хорошую цену, вдобавок было для его собственника гарантией легкого получения кредита в случае надобности для других капиталовложений, ибо часто

[79] Jones E. L. *Op. cit.*, p. 572—574.

[80] Chambers J. D., Mingay G. E. *Op. cit.*, p. 18.

бывало, что земельные собственники оказывались также предпринимателями в промышленности или в горном деле. Что касается арендатора, то он был уверен в сохранении своей аренды по уговору, если не по закону; он, следовательно, мог безбоязненно инвестировать [81] и вести свое хозяйство в соответствии с правилами рынка и капиталистического хозяйствования. Сильной чертой такого нового порядка было возвышение фермера, настоящего предпринимателя,— «поистине людей порядочных»,— говорит один французский очевидец. «Хоть они и держатся за ручки плуга, однако в том, что касается их фермы или их жилья, они равны буржуазии городской» [82]. Это было в 1819 г. Но тремя четвертями столетия раньше, в 1745 г., один француз уже описывал фермера как крестьянина, который «пользуется обилием всех жизненных удобств»; его слуга «пьет свой чай, прежде чем отправиться к плугу». И вот «зимою сей деревенский житель облачается в редингот», а его жена и дочь столь кокетливо разукрашены, что их можно было бы принять «за одну из наших романных пастушек» [83]. Впечатление, которое не опровергает какая-нибудь прелестная гравюрка, изображающая «пейзанку», направляющуюся на рынок на лошади, с корзиной яиц в руке, но весьма «буржуазно» обутую и в шляпке.

Француз Морис Рюбишон, потрясенный контрастом между деревней французской и английской, пространно описывает британскую сельскохозяйственную организацию. Земельная аристократия — по его оценке [84], две или три семьи в каждом из 10 тыс. приходов Англии — владеет в целом третью земель окру-

[81] *Ibid.*, p. 199—201.
[82] Rubichon M. *Op. cit.*, II, p. 13.
[83] Abbé Le Blanc J.-B. *Lettres d'un Français*, II, p. 64, 66—67.
[84] Rubichon M. *Op. cit.*, II, p. 12—13.



Английская крестьянка, направляющаяся на рынок. Иллюстрация из рукописи 1623—1625 гг. *Британская библиотека.*

га, разделенной на крупные хозяйства, которые держат арендаторы; мелкие (а порой и крупные) независимые собственники, *йомены (yeomen)*, владеют другой третью; крестьяне располагают небольшими клочками земли и имеют право на общинные земли, что составляло последнюю треть обрабатываемых площадей. Эти предлагаемые Рюбишоном оценки имеют немалые шансы оказаться приблизительными. Что достоверно, так это то, что все, еще задолго до XVIII в., благоприятствовало концентрации земельной собственности. Мелкий собственник был более или менее обречен либо на то, чтобы увеличивать свои владения и выжить, либо на то, чтобы со дня на день их утратить и сделаться наемным работником. Таким путем или же посредством системы *огораживаний (enclosures)*, которая упраздняла общинные имущества и облегчала укрупнение хозяйств, крупная земельная собственность, лучше приспособленная, более рентабельная, мало-помалу перегруппировала земли к выгоде поземельного дворянства, крупного *йомена* и фермера. Это было противоположностью Франции, где «феодальный» порядок рухнул разом в ночь на 4 августа 1789 г.*, в момент, когда капиталистическая концентрация собственности только намечалась; земля была бесповоротно раздроблена между крестьянами и буржуа. Морис Рюбишон, безоговорочно восторгавшийся английским сельским порядком, метал громы и молнии против этой Франции, которая «уже была до Революции разрезана на 25 млн. парцелл» и которая «дошла сегодня до 115 млн.»[85]. Единственно ли Кодекс Наполеона был в этом повинен? Предохранило ли Англию от раздробления собственности поземельного дворянства одно лишь право первородства или же утверждение капиталистического сельского хозяйства?

Не будем, наконец, забывать, взвешивая роль сельского хозяйства в промышленной революции, что английские деревни очень рано оказались связаны с национальным рынком острова; охваченные его сетью, они вплоть до начала XIX в. с успехом кормили города и промышленные поселки (редкие исключения лишь подтверждают правило); они образовывали главную часть внутреннего рынка, бывшего первым и естественным местом сбыта для пришедшей в движение английской промышленности. Эта прогрессировавшая агрикультура была по преимуществу клиентом железоделательной промышленности. Сельские орудия — подковы, лемехи плугов, косы, серпы, молотилки, бороны, катки-глыбодробители — представляли значительные количества железа; в 1780 г. эти потребности можно оценить для Англии в 200—300 тыс. тонн ежегодно[86]. Эти цифры недействительны, бесспорно, для первой половины столетия, решающего периода наших наблюдений, но если в то время ввоз железа из Швеции и России не переставал возрастать, то не потому ли, что собственных мощностей английской металлургической промышленности для этого было недостаточно и что повышавшийся спрос в большой своей части исходил от сельского хозяйства? Что сельское хозяйство в своем развитии оказывалось таким образом даже впереди самого движения индустриализации?

* В ночь на 4 августа 1789 г. Национальное собрание Франции отменило, частично безвозмездно, частично за выкуп, все феодальные права и привилегии. — *Прим. перев.*

85 Rubichon M. *Op. cit.*, II, p. 122.

86 Bairoch P. *Op. cit.*, p. 87.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ

В XVIII в. население в Англии увеличивалось, как увеличивалось оно по всей Европе и по всему миру: 5835 тыс. жителей в 1700 г., чуть больше 6 млн. в 1730 г., 6665 тыс. в 1760 г. Затем движение ускоряется: 8216 тыс. человек в 1790 г., 12 млн. в 1820 г., почти 18 млн. в 1850 г.[87] Коэффициент смертности снизился с 33,37 до 27,1‰ в 1800 г. и до 21‰ для десятилетия 1811—1821 гг., в то время как коэффициент рождаемости достиг рекордного уровня—37‰ и даже его превзошел. Цифры эти, которые всего лишь оценки, варьируют от автора к автору, но без чрезмерных расхождений[88].

Этот громадный биологический натиск — то были лучше устроенные деревни, города (все города!), которые увеличивались, и промышленные поселки, росшие с рекордной скоростью. Историки-демографы распределили английские графства по трем группам, которые в 1701 г. были сопоставимы по численности населения[89]; к 1831 г. все они продвинулись вперед по абсолютной величине, но группа промышленных графств составила 45% населения против одной трети в 1701 г.; в противоположность этому доля сельскохозяйственных графств с 33,3% в начале XVIII в. упала до 26%. Некоторые графства прогрессировали в явно сенсационном темпе: Нортумберленд и Дарем удвоили свое население, а Ланкашир, Стаффордшир, Уорикшир — утроили[90]. Следовательно, невозможна никакая ошибка в оценках: индустриализация сыграла первую роль в росте английского населения. Все частные исследования подтверждают такое впечатление. Если рассматривать возрастную группу от 17 до 30 лет, можно констатировать, что в промышленном Ланкашире в 1800 г. состояли в браке 40% таких лиц против 19% в сельской части этого графства в это же время. Таким образом, работа в промышленности способствовала ранним бракам. То был один из ускорителей демографического прогресса.

Прогрессировала, утверждалась черная Англия, с ее фабричными городами и рабочими домами. Конечно, это была не «веселая Англия». Алексис де Токвиль вслед за многими другими описал ее в своих путевых заметках: в июле 1835 г.[91] он остановился в Бирмингеме, затем добрался до Манчестера. Это были тогда огромные города, незавершенные, застраивавшиеся быстро и плохо, без предварительного плана, но оживленные; эта цепочка крупных городских центров, тесных, вибрирующих,— Лидс, Шеффилд, Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль — была душой английского взлета. Если Бирмингем еще имел человеческий облик, то Манчестер уже был адом. Население в нем удесятерилось с 1760 по 1830 г., выросши с 17 тыс. до 180 тыс. жителей[92]. Из-за нехватки места заводы на холмах были в 5, 6 и даже 12 этажей. Дворцы и рабочие дома были рассеяны по всему городу как придется. Повсюду лужи, слякоть; на одну замощенную улицу — десять утопающих в грязи. Грязные дома были битком набиты мужчинами, женщинами, детьми; в подвалах ютилось по 15—16 человек разом. 50 тыс. ирландцев составляли часть ужасающего типичного субпроле-

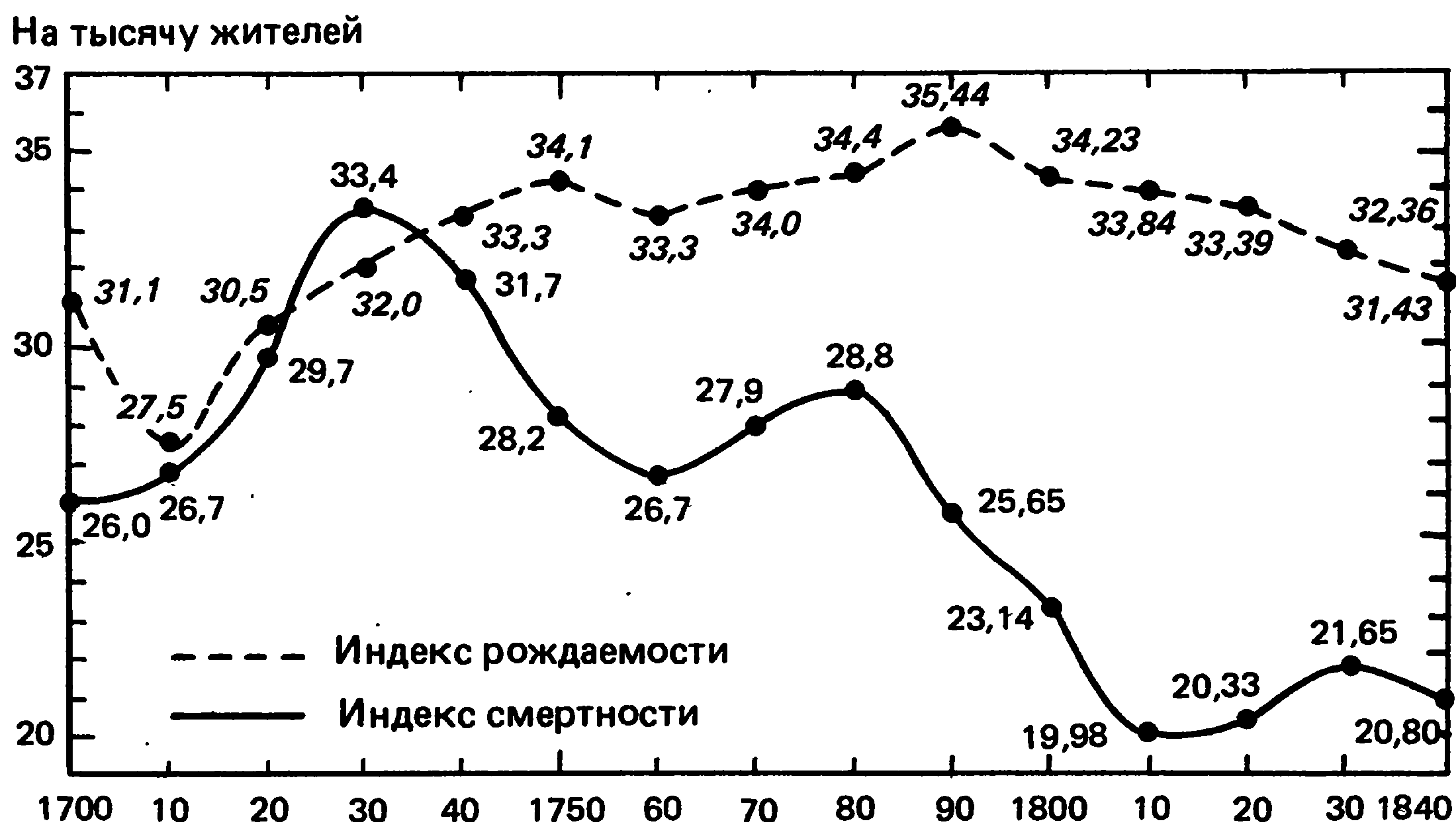
[87] *Ibid.*, p. 215.
[88] Reinhard R., Armengaud A., Dupaquier J. *Histoire générale de la population mondiale.* 1968, p. 202 sq.
[89] Marx R. *La Révolution industrielle en Grande-Bretagne des origines à 1850.* 1970, p. 57—58.
[90] Marx R. *Op. cit.*
[91] Toqueville A., de. *Voyages en Angleterre.* 1958, p. 59, 78.
[92] Hobsbawm E. *Industry and Empire*, p. 40.

тариата. Так же было и в Ливерпуле, где Токвиль отмечает наличие «шестидесяти тысяч ирландцев-католиков». И добавляет: «Нищета почти столь же велика, как и в Манчестере, но она прячется». И так во всех этих городах, порождении промышленности; роста английского населения никогда не будет хватать, чтобы обеспечить массу необходимых работников. На выручку пришла иммиграция — из Уэльса, Шотландии, а еще больше из Ирландии. А так как механизация умножала потребности в неспециализированном труде, во всех этих горячих точках промышленного развития прибегали к труду женщин и детей — рабочей силе покорной и плохо оплачиваемой, как и к иммигрантской рабочей силе.

Следовательно, промышленная революция объединила все нужные ей кадры. Рабочих, а также уже и работников «третичного сектора», в котором новые времена создавали рабочие места. К тому же, как говорит Эрнест Лабрус [93], всякая промышленность, добившаяся успеха, бюрократизируется, и так и обстояло дело в Англии. И дополнительный признак обилия рабочей силы: избыточная прислуга. Ситуация, несомненно, старинная, но которую промышленная революция не сгладила, даже наоборот. В начале XIX в. больше 15% лондонского населения составляли слуги.

[93] *L'Industrialisation en Europe au XIX^e siècle*, p. 590.

Итак, после 1750 г. Англия довольно быстро наполнилась людьми, не зная, что с ними делать. Были они тогда тяготой, помехой? Или движущей силой? Или причиной? Или следствием? Нет нужды говорить, что они были полезны, необходимы: они были необходимым человеческим измерением промышленной революции. Без этих тысяч, этих миллионов людей ничто не было бы возможным. Но не в этом проблема, проблемой представляется корреляция. Движение демографическое и движение промышленности были двумя громадными процессами, они шли вместе. Определял ли один из них другой? Беда в том, что как один, так и другой плохо вписываются в документы, имеющиеся в нашем распоряжении. Демографическая история Англии устанавливается по неполным документам за-



Уровни смертности и рождаемости в Англии
Обе кривые построены в соответствии с заслуживающими доверия оценками, хотя и разными у разных авторов. Их расхождение подчеркивает стремительный подъем численности населения Англии начиная с 30-х годов XVIII в. (По данным кн.: Trevelyan G. M. *English Social History*. 1942, p. 361.)

писи гражданского состояния. Все, что мы предполагаем, нуждается в подтверждении и завтра будет вновь подвергнуто рассмотрению в исследованиях, если они займутся огромной работой по подсчету и верификации. Точно так же можно ли претендовать на то, чтобы точно проследить за индустриализацией, т.е. в общем — за кривой производства? «Разумно предположить,— пишет Филлис Дин,— что без подъема производства начиная с 1740 г. сопровождавший его рост населения был бы блокирован повышением уровня смертности, которое явилось бы следствием снижения жизненного стандарта»[94]. На представленном выше графике 1740 год является моментом «расхождения» между уровнем рождаемости и уровнем смертности: тогда жизнь одерживала верх. Если это простейшее утверждение справедливо, то оно уже само по себе доказательство того, что демографическая революция следовала за промышленным развитием. По крайней мере в значительной части она была «индуктирована».

[94] Deane P. *Op. cit.*, p. 34.

ТЕХНИКА — УСЛОВИЕ НЕОБХОДИМОЕ, НО, ВНЕ СОМНЕНИЯ, НЕДОСТАТОЧНОЕ

Если и есть какой-то фактор, утративший часть своего престижа в качестве главной пружины промышленной революции, так это техника. Маркс верил в ее примат; историография последних лет располагает солидными аргументами для того, чтобы перестать видеть в ней *первичный двигатель (primum mobile)* или даже *затравку*, если говорить словами Поля Бэроша. Однако же, изобретение в общем-то опережает способности промышленности; но в силу самого этого факта оно часто падает в пустоту. Эффективное техническое применение, по существу, запаздывает по сравнению с общим развитием экономической жизни; оно должно дожидаться, чтобы включиться в нее, его следует добиваться — и скорее дважды, чем единожды,— четко и настойчиво.

Так, для текстильного производства двумя великими операциями служат прядение и ткачество. Ткацкий станок требовал в XVII в. для своего непрерывного питания продукции семи-восьми прядильщиков или, скорее, прях. Логически говоря, технические новшества должны были быть направлены на операцию, требовавшую больше всего рабочей силы. Однако в 1730 г. именно ткацкий станок был усовершенствован посредством самолётного челнока Кея. Это простейшее изобретение (запускаемый в движение пружиной челнок управляется вручную), которое ускоряло темп тканья, распространится, однако, лишь после 1760 г. Может быть, потому, что как раз в этот самый момент были введены три новшества, на сей раз ускорявшие прядение и очень быстро распространившиеся: прядильная машина-*дженни (spinning jenny* — около 1765 г.), простые модели которой были доступны семейной мастерской; гидравлическая машина Аркрайта (около 1769 г.); затем, десять лет спустя (в 1779 г.),— Кромптонова «мюль-машина», прозванная так потому, что соединила в себе характеристики обеих предыду-

щих машин[95]. С этого времени мы видим удесятеренный выпуск пряжи и возрастание импорта хлопка-сырца с Антильских островов, из Ост-Индии, а вскоре и с Юга английских колоний в Америке. Но тем не менее хромающее соотношение между скоростями изготовления пряжи и ткани удержится чуть ли не до 40-х годов XIX в. Даже когда паровая машина около 1800 г. механизирует прядение, традиционному ручному ткачеству удалось выдержать темп, число ткачей выросло, а равным образом — и их заработки. В конечном счете ручной стан будет ниспровергнут лишь после наполеоновских войн, и медленно, невзирая на усовершенствования, внесенные около 1825 г. машинами Робертса. Дело в том, что вплоть до 1840 г. не было ни необходимо, ни даже выгодно (принимая во внимание сильное падение заработной платы ткачей, вызванное конкуренцией машин и безработицей) заменять его механическим станком[96].

Значит, Поль Бэрош прав: «В течение первых десятилетий промышленной революции техника гораздо более была фактором, определяемым экономикой, нежели фактором, определявшим экономику». Совершенно очевидно, новшества зависели от действия рынка: они лишь отвечали на настойчивый спрос потребителя. Что до внутреннего английского рынка, то годовое потребление хлопка за период с 1737 по 1740 г. составило в среднем 1700 тыс. фунтов, в 1741—1749 гг.— 2100 тыс. фунтов, 2800 тыс. фунтов — в 1751—1760 гг., 3 млн. фунтов — в 1761—1770 гг. «Речь идет тут о количествах... незначительных в сравнении с теми, какие Англия будет потреблять двадцать лет спустя»; в 1769 г. (до начала механизации) потребление составило 300 граммов хлопка на человека, что «позволяло произвести одну рубашку на жителя в год»[97]. Но здесь-то, возможно, и находился порог, поскольку в 1804—1807 гг., когда такой же уровень был достигнут во Франции, там началась механизация в хлопчатобумажной промышленности.

Тем не менее, если спрос создавал инновацию, сама она зависела от уровня цен. Англия с начала XVIII в. вполне располагала *народным* рынком, совершенно готовым поглотить немалое количество *индийских* хлопчатых тканей, потому что они *были дешевы*. Дефо, когда он насмехается над модой на набивные ткани в Лондоне, определенно указывает, что именно горничные раньше своих хозяек стали носить эти импортные хлопчатые ткани. Несомненно, этот английский рынок сузился, когда мода привела к росту цен на набивные ткани, но главным образом он был задушен авторитарно (дополнительное доказательство его силы), когда английское правительство запретило ввоз индийских хлопковых тканей в Великобританию, разве что в целях их реэкспорта. В таких условиях, возможно, не столько давление английского спроса, сколько, как полагает К. Н. Чаудхури, конкуренция низких индийских цен[98] подстегнула английское изобретательство, к тому же, что показательно, в области хлопчатобумажного производства, а не в национальной промышленности, [работавшей] на крупное потребление и на большой спрос, какой была шерстяная и даже льняная. Шерстяную промышленность механизация затронет лишь намного позднее.

[95] Hobsbawm E. *Op. cit.*, p. 42.
[96] *A History of Technology*. Ed. C. Singer, E. J. Holmyard, A. R. Hall, T. L. Williams, 1958, IV, p. 301—303.
[97] Bairoch P. *Op. cit.*, p. 20.
[98] Chaudhuri K. N. *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660—1760*, p. 273 f.

Точно так же выглядело дело в английской металлургии: воздействие цены на новшество было таким же, а может быть, и более сильным, чем воздействие спроса самого по себе. Мы видели, что плавка на коксе, разработанная Абрахамом Дерби, применялась им в доменных печах Колбрукдейла, в Шропшире, с 1709 г., но никакой другой предприниматель не последовал за ним по этому пути до середины столетия. Еще в 1775 г. 45% производства штыкового чугуна приходилось на домны, работавшие на древесном угле [99]. П. Бэрош связывает запоздалый успех этого [технологического] процесса с возросшим давлением спроса, которое не вызывает сомнения [100]. Но Чарлз Хайд ясно растолковал обстоятельства запоздания с принятием плавки на коксе. Почему ею пренебрегали до 1750 г., на протяжении 40 лет, на тех 70 доменных печах, что работали тогда в Англии? Почему с 1720 по 1750 г. было построено по меньшей мере 18 новых домен с использованием старого процесса? [101] Да просто потому, что, с одной стороны, предприятия эти были весьма доходными: их высокая себестоимость была защищена высокими налогами на импортное шведское железо, отсутствием конкуренции между регионами, порожденным крайне высокими ценами на перевозку и процветавшим экспортом готовых металлургических продуктов [102]. С другой же стороны, потому, что издержки производства в результате применения кокса определенно возрастали (примерно на 2 фунта стерлингов на тонну), а произведенный чугун, более трудный для передела, вряд ли мог соблазнить хозяев передельных производств, если его цена не была ниже рыночной [103].

Так почему же тогда обстоятельства переменились после 1750 г. без вмешательства какого бы то ни было технического новшества, когда за двадцать лет было построено 27 домен на коксе и закрыто 25 старых доменных печей? И почему хозяева железоделательных заводов все больше и больше перерабатывали чушки, выплавленные на коксе? Дело в том, что возросший спрос на черный металл очень сильно поднял цену древесного угля (а ведь она составляла примерно половину стоимости штыка чугуна) [104]. Тогда как с 30-х годов XVIII в. плавке на коксе благоприятствовало падение цены на уголь. Ситуация, таким образом, изменилась на противоположную: к 1760 г. издержки производства при плавке на древесном угле больше чем на два фунта на тонну превышали себестоимость в соперничающем процессе. Но в таких условиях еще раз задаешься вопросом, почему старый процесс сохранялся так долго, обеспечивая еще в 1775 г. почти половину производства? Вне сомнения, по причине очень быстро возраставшего спроса, который парадоксальным образом защитил «хромую утку». Такого спроса, что цены оставались очень высокими, а производители, использовавшие кокс, не старались достаточно снизить свои тарифы, чтобы устранить конкурентов. И так вплоть до 1775 г., после чего с увеличением разрыва в цене между двумя сортами чугуна отказ от древесного угля быстро сделался всеобщим явлением.

Следовательно, не введение пара и машины Болтона и Уатта привело к принятию кокса в качестве доменного топлива. Игра

[99] В 1791 г.—только 10%; ср.: Hyde Ch. *Op. cit.*, p. 66.
[100] Bairoch P. *Op. cit.*, p. 249.
[101] Hyde C. *Op. cit.*, p. 219.
[102] *Ibid.*, p. 47—51.
[103] *Ibid.*, p. 37—40.
[104] *Ibid.*, p. 57, 79.

[105] Hyde C. *Op. cit.*, p. 71.
[106] Hyde C. *Op. cit.*, p. 93.
[107] *Ibid.*, p. 83—94.

была сделана до того, как оно вмешалось: кокс выиграл бы партию, с паром или без него [105]. Это не противоречит роли пара в предстоящем расширении английской металлургии: с одной стороны, с введением в действие мощных дутьевых устройств, он позволил значительно увеличить размеры доменных печей; с другой же стороны, освободив металлургическую промышленность от обязательного соседства с водными потоками, он открыл для металлургии новые регионы, в особенности Черную Страну *(Black Country)* в Стаффордшире, области, богатой железной рудой и каменным углем, но бедной водными артериями с быстрым течением.

Передел чугуна избавился от рабской зависимости и от высоких цен на древесный уголь приблизительно в то же время, что и плавка. В то время как около 1760 г. уголь на железоделательных заводах применялся лишь в конце процесса, для нагрева и ковки уже очищенного железа, практика литья в тигли *(potting)* к 1780 г. ввела каменный уголь на всех стадиях очистки металла. Национальное производство железных слитков разом возросло на 70% [106]. Но и здесь Чарлз Хайд ниспровергает общепринятую версию: не пудлингование, разработанное по истечении нескольких трудных лет (1784—1795 гг.), изгнало с железоделательных заводов древесный уголь. Это уже произошло [107]. Однако пудлингование было решающим прогрессом в английской металлургии, революцией одновременно в *качестве* и в *количестве*, которая единым махом вывела на первое место в мире, и притом на целое столетие, английскую



Доменные печи Колбрукдейла в Шропшире, где А. Дерби впервые в Англии использовал в 1709 г. кокс в качестве топлива. Заметьте, однако, справа на этой гравюре 1758 г. размещенные на берегу реки Северн четыре кучи дров, в которых выжигался древесный уголь. На переднем плане — конная упряжка перевозит большой металлический цилиндр, изготовленный на месте. Гравюра Перри и Смита, 1758 г.

продукцию, до того относившуюся к числу самых заурядных в смысле качества и даже количества.

Впрочем, разве не новому *качеству* металла обязано фантастическое торжество машины во всей повседневной жизни, как и на заводе? С этой точки зрения поразительно интересно проследить в истории техники разные этапы развития паровой машины. Поначалу — дерево, кирпич, тяжелая арматура, несколько металлических труб; с 1820 г.— лес труб. Во времена первых паровых машин котел и различные элементы, работавшие под давлением, ставили немало проблем. Уже Ньюкомен построил свою машину, чтобы устранить недостатки более ранней машины Севери, шарнирные соединения которой рвались под давлением пара. Но могучая машина Ньюкомена была построена на столбах и с топкой из каменной кладки, с деревянным коромыслом, медным котлом, латунным цилиндром, свинцовыми трубами... Эти дорогостоящие материалы медленно и с трудом удастся заменить чугуном или железом. Самому Уатту не удалось построить герметичный цилиндр на железоделательных заводах Каррона в Шотландии. Проблему эту уладил для него Уилкинсон благодаря изобретенной им сверлильной машине [108].

Все эти проблемы, по-видимому, отошли в сторону в первые десятилетия XIX в., одновременно с исчезновением дерева из механических конструкций и тогда, когда начали изготовлять множество мелких металлических элементов самых разных типов, которые позволили «смягчить традиционные формы машины» [109]. В 1769 г. Джон Смитон построил для железоделательных заводов Каррона первое гидравлическое колесо с осью из чугуна. Оно оказалось неудачным: пористый чугун не выдержал мороза. Колеса большого диаметра, введенные в действие в предшествующем, 1768 г. на Лондонском мосту, были еще деревянными. Но в 1817 г. их заменили на железные колеса [110].

Следовательно, будучи решающей в долгосрочном плане, металлургия в XVIII в. не играла первых ролей. «Железоделательная промышленность,— пишет Давид Ланд,— пользовалась бóльшим вниманием [со стороны историков], чем она того заслуживала в генезисе промышленной революции» [111]. Вне всякого сомнения, если буквально придерживаться хронологии. Но промышленная революция была непрерывным процессом, который должен был изобретаться в каждый момент своего протекания, бывшего как бы ожиданием новшества, которое наступает, которое придет. Счет все время следовало дополнять. И именно позднейший прогресс оправдывает, придает смысл тем этапам, какие ему предшествовали. Каменный уголь, кокс, чугун, железо, сталь были весьма крупными персонами. Но в конце концов их в некотором роде оправдал пар,— пар, так долго искавший свое место, пока не нашел его в ротационном двигателе Уатта, дождавшись появления железных дорог. Для 1840 г., когда закончилось первое действие промышленной революции, Эмиль Левассёр подсчитал [112], что одна паровая лошадиная сила была эквивалентна силе 21 человека и что Франция имела в этом смысле один мил-

[108] Klingender F. K. *Art and the Industrial Revolution*. 1968, p. 9—10.
[109] *Histoire générale des techniques*. Sous la direction de M. Daumas, 1962, III, p. 59.
[110] *Ibid*., p. 13.
[111] Landes D. S. *L'Europe technicienne*. 1969, p. 127.
[112] Levasseur E. *La Population française*. 1889—1892, III, p. 74.



В Англии начиная с последних лет XVIII в. железо начинает замещать дерево. Мост на реке Уир около Сандерленда, построенный в 1796 г. *Британский музей.*

лион рабов особого рода — итог, призванный нарастать *по экспоненте*: в 1880 г. он поднимется до 98 млн., стало быть, в два с половиной раза превысит население Франции. Что же говорить об Англии!

НЕ СЛЕДУЕТ «НЕДООЦЕНИВАТЬ» РЕВОЛЮЦИЮ В ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хлопковый бум, сценический пролог английской промышленной революции, был для историков излюбленным сюжетом. Но то было в недавнем прошлом. А моды проходят. В свете новых исследований хлопок поблек. Ныне наблюдается тенденция считать его слишком незначительной особой: в конечном счете общая масса продукции хлопчатобумажной промышленности измерялась миллионами фунтов, а каменного угля — миллионами тонн. В 1800 г. количество переработанного в Англии хлопка-сырца впервые превысило 50 млн. фунтов, т. е. примерно 23 тыс. тонн; это был, как пишет Э. А. Ригли, вес почти «годовой продукции 150 горняков в угольной шахте» [113]. С другой же стороны, поскольку инновации в хлопчатобумажной промышленности укладываются в длинный ряд отдельных изменений в старинных отраслях текстильной промышленности (шерстяной, хлопковой, шелковой, льняной), пришедших в движение еще до XVI в., все заставляет думать, что хлопчатобумажная промышленность принадлежала к Старому порядку или что она, как говорит Джон Хикс, была скорее «последней главой эволюции старинной промышленности, нежели началом новой, как это обычно изображают». Разве нельзя было бы в крайнем случае вообразить себе сходный успех во Флоренции

[113] Wrigley E. A. *The Supply of Raw Material in the Industrial Revolution.* — *«The Economic History Review»,* p. 13.

[114] Hicks J. *Op. cit.*, 2d ed., 1973, p. 147.
[115] См.: Labrousse E. — в: *L'Industrialisation de l'Europe au XIXe siècle*, p. 590.
[116] Deane P. *Op. cit.*, p. 90—91.
[117] Hobsbawm E. *Industry and Empire*, p. 51.

XV в.? [114] Примерно в таком вот духе Эрнест Лабрус оценивал во время Лионского симпозиума (октябрь 1970 г.) драгоценный челнок Кея (которым в свое время так восхищались) как «детскую механическую игрушку» [115]. Следовательно, революция без крупных современных средств. Легкость и относительная ценность хлопка позволяли ему даже использовать перевозки такие, какие они были, и скромную силу водяных колес в долинах Пеннинских гор и в других местностях. Лишь к концу своего расцвета хлопчатобумажная промышленность, чтобы избежать непостоянства и редкости доступных ей водопадов, прибегла к паровой машине, но изобретена последняя была не ради нее. Наконец, текстильная промышленность всегда требовала больше рабочей силы, чем капиталов [116].

Значит, следует принять ярлык Д. Хикса: революция Старого порядка? И все же революция в хлопчатобумажной промышленности отличалась от более ранних революций решающим фактом: она удалась; она не погибла в каком-либо возврате к стагнации экономики; она положила начало продолжительному росту, который в конечном счете станет «непрерывным ростом». И «в первой фазе британской индустриализации ни одна отрасль промышленности не имела сопоставимого с нею значения» [117].

Истинная опасность заключалась бы в «принижении» этой революции. Конечно, она медленно высвобождалась из гораздо более продолжительных предварительных стадий, которые обычно не отмечают, коль скоро хлопок в Европе перерабатывали с XII в. Но та нить, что извлекали из кип, импортированных с Леванта, оказывалась непрочной, поскольку была довольно тонкой. И значит, не употреблялась в чистом виде, а только в качестве простой уточной нити в сочетании с льняной основой. Этой «метисной» тканью была бумазея, *Barchent* немецких городов, английская *Fustian* — бедная родственница, грубая на вид, однако довольно дорогая и вдобавок негодная в стирке. Как следствие, когда в XVII в. торговцы стали ввозить в Европу уже не только сырье, но и полотна и набивные ткани Индии, чудесные, целиком хлопковые ткани умеренной стоимости, зачастую с красивой цветной набивкой, которые, в противоположность европейским, выдерживали стирку, это явилось настоящим открытием. А вскоре наступило и массированное завоевание Европы, средством которого были корабли Индийских компаний и пособницей которого сделалась мода. Чтобы защитить свою текстильную промышленность, еще более шерстяные сукна, чем бумазею, Англия в 1700 и 1720 гг., а Франция с 1686 г. запретили на своей национальной территории продажу индийского полотна. Однако же, последнее продолжало прибывать, в принципе — для реэкспорта, но, поскольку контрабанда наслаждалась этим вволю, такие ткани были повсюду, радуя взор и угождая упрямой моде, которая смеялась над запретами, полицейскими облавами и арестами товаров.

Хлопковая революция в Англии, а затем очень скоро и в общеевропейском масштабе в действительности была поначалу подражанием, потом — реваншем, ликвидацией отставания

от индийской промышленности и обгоном последней. Речь шла о том, чтобы делать так же хорошо и менее дорого. Менее дорого — это было возможно только с помощью машины, которая одна была способна составить конкуренцию индийскому ремесленнику. Но успех пришел не сразу. Пришлось дожидаться машин Аркрайта и Кромптона (около 1775—1780 гг.), чтобы получить хлопковую нить, одновременно тонкую и прочную, наподобие индийской пряжи, и такую, чтобы ее можно было использовать для тканья целиком из хлопка. С этого времени рынок индийских тканей будет встречать конкуренцию со стороны новой английской промышленности, а именно: громадный рынок Англии и Британских островов, рынок Европы (который, однако, станут оспаривать национальные промышленности), рынок африканского побережья, где черный невольник обменивался на штуки полотна, и огромный рынок колониальной Америки, не говоря уже о Турции, о Леванте и о самой Индии. Хлопок всегда был в первую очередь экспортным товаром: в 1800 г. он представлял четвертую часть британского экспорта, в 1850 г. — половину его[118].

Все эти внешние рынки, завоевывавшиеся один за другим, добавлявшиеся друг к другу или друг друга заменявшие по воле обстоятельств, объясняют фантастический рост производства: 40 млн. ярдов в 1785 г., 2025 млн. ярдов в 1850 г.![119] В то же время цена готового продукта снижалась с индекса 550 в 1800 г. до индекса 100 в 1850-м, в то время как пшеница и бóльшая часть пищевых продуктов за этот же промежуток времени уменьшились в цене едва на треть. Уровень прибыли, поначалу фантастический («...не 5%, не 10%, но сотни и тысячи процентов дохода», — скажет позднее один английский политик)[120], очень резко упал. Тем не менее мировые рынки были наводнены настолько, что это компенсировало уменьшившуюся норму прибыли. «Прибыли еще достаточны, чтобы было возможно крупное накопление капитала в мануфактуре», — писал один современник в 1835 г.[121]

Если после 1787 г. наблюдался «взлет» *(take off)*, то ответственность за него нес, конечно, хлопок. Эрик Хобсбоум даже заметил, что ритм его экспансии довольно последовательно отмеривает ритм всей британской экономики в целом. Другие отрасли промышленности поднимались одновременно с ним и следовали за его падением. И так было до XX в.[122] Впрочем, у всех современников английская хлопковая промышленность вызывала ощущение беспрецедентной мощи. Около 1820 г., когда машины были готовы вот-вот завоевать также и тканье, хлопок уже был по преимуществу *паровой промышленностью (steam industry)*, великим потребителем пара. К 1835 г. он использовал по меньшей мере 30 тыс. л. с., обеспечиваемых паром, против 10 тыс. л. с., полученных за счет энергии воды[123]. Разве недостаточно для того, чтобы измерить силу новоприбывшего, рассмотреть громадное развитие Манчестера, современного города с его «сотнями пяти-, шестиэтажных [и более] фабрик, увенчанных каждая огромной трубой и султаном черного дыма»[124], подчинявшего своей верховной власти соседние города, включая и порт Ливерпуль, еще накануне бывший

118 Mathias P. *Op. cit.*, p. 250.
119 Hobsbawm E. *L'Ère des révolutions*. 1969, p. 54 et note.
120 *Ibid.*, p. 52.
121 *Ibid.*, p. 58.
122 Hobsbawm E. *Op. cit.*, p. 55.
123 Clapham J. H. *An Economic History of Modern Britain*. 1926, p. 441—442.
124 Цит. по: Hobsbawm E. *Industry and Empire*, p. 40.

главным работорговым портом Англии и ставший главным портом ввоза хлопка-сырца, прежде всего хлопка Соединенных Штатов?[125]

Для сравнения: старая и прославленная шерстяная промышленность долгое время сохраняла нечто архаическое. Обращаясь в 1828 г. к старым воспоминаниям, английский мануфактурщик напоминал о временах, когда появление *дженни* в семьях прядильщиков отправило на чердак старые прялки и обратило к 1780 г. в «хлопковую веру» всю рабочую силу: «Прядение шерсти полностью исчезло и почти так же — льнопрядение; материалом, применяемым почти везде, стал хлопок, хлопок, хлопок»[126]. *Дженни* впоследствии приспособили к шерстяной промышленности, но полная механизация последней совершится с опозданием на три десятка лет против промышленности хлопчатобумажной[127]. Прядение (но, конечно, не ткачество) начнет механизироваться как раз в Лидсе (сменившем Норидж в качестве шерстяной столицы), но в 1811 г. эта промышленность была еще ремесленной и деревенской. «Суконный рынок [в Лидсе] — это большое сооружение, большой квадратный рынок, расположенный вокруг двора и защищенный от огня, так как стены кирпичные, а полы — железные,— сообщает Луи Симон.— Две тысячи шестьсот деревенских производителей, наполовину земледельцев, наполовину ткачей, ведут здесь торговлю дважды в неделю и каждый раз только в течение одного часа. У каждого из них есть своя лавчонка у стены длинной галереи... Штуки сукна уложены штабелями позади них, и они держат их образцы в руках. Покупатели обходят эту двойную линию, сравнивая образцы, и так как курс цен устанавливается почти единообразный, сделки

[125] Simond L. *Op. cit.*, I, p. 330; первая кипа американского хлопка прибыла около 1791 г.

[126] Цит. у Ф. Дин: Deane P. *Op. cit.*, p. 87.

[127] После 1820 г. для хлопка, после 1850 г. — для шерсти. Ср.: Pollard S., Crossley D. W. *Op. cit.*, p. 197.



Хлопкопрядильня Роберта Оуэна в Нью-Ланарке, к юго-востоку от Эдинбурга, конец XVIII — начало XIX в. Шотландия вплотную следовала за индустриализацией Англии. *Документ Смаута.*

[128] Simond L. *Op. cit.*, II, p. 102—103.
[129] Mathias P. *Op. cit.*, p. 270.

вскоре заключаются. В немногих словах и не теряя времени, обе стороны совершают много дел»[128]. Нет никакого сомнения: мы находимся еще в эпохе предпромышленности. Хозяином игры выступает покупатель, купец. Значит, шерсть не последовала за хлопковой промышленной революцией. Точно так же ножевой или скобяной промыслы в Шеффилде и в Бирмингеме оставались связаны с многочисленными мелкими мастерскими. И это — не считая бесчисленных архаичных видов деятельности, из которых иные доживут до XX в.[129]

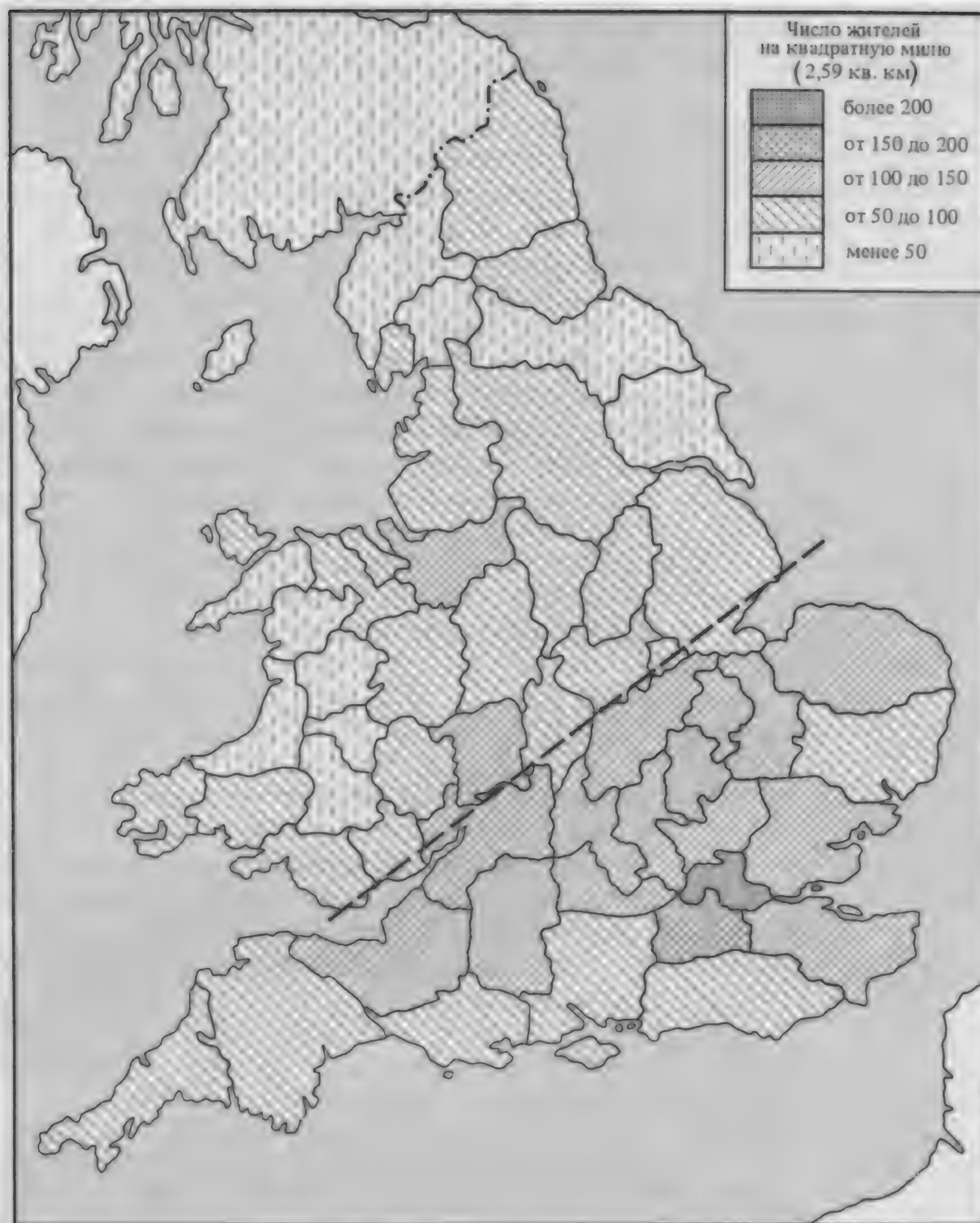
После хлопковой революции, долгое время бывшей во главе движения, придет революция железа. Но Англия железных дорог, пароходов, разнообразного оборудования, которая потребует громадных капиталовложений в сочетании с низкой прибылью,— разве же эта Англия не выросла из денег, в больших массах накопленных в стране? Следовательно, даже если хлопок и не играл *непосредственно* слишком большой роли в машинном взрыве и в развитии большой металлургии, первые счета, вне сомнения, оплачивались прибылями от хлопка. Один цикл подталкивал другой.

ПОБЕДА ТОРГОВЛИ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ

Не будет преувеличением говорить в применении к Англии XVIII в. о *торговой революции*, о настоящем торговом взрыве. На протяжении этого столетия индекс роста производства тех отраслей промышленности, что работали единственно на внутренний рынок, увеличился со 100 до 150; у тех же, что работали на экспорт, индекс вырос со 100 до 550. Ясно, что внешняя торговля намного обгоняла других «бегунов». Вполне очевидно, что такую «революцию» саму по себе следует объяснить, а объяснение это подразумевает никак не меньше, чем мир в его целостности. Что же касается ее связи с революцией промышленной, то связи эти были тесными и взаимными: обе революции оказывали одна другой мощную поддержку.

Английский успех за пределами острова заключался в образовании весьма обширной торговой империи, т. е. в открытии британской экономики в сторону самой крупной зоны обмена, какая только была в мире,— от моря вокруг Антильских островов до Индии, Китая и африканских берегов... Если разделить это огромное пространство надвое — с одной стороны Европа, с другой — заморские страны,— то есть шанс лучше ухватить генезис судьбы, необычной, несмотря ни на что.

В самом деле, в период, предшествовавший 1760 г. и следующий после него, в то время как британская и мировая торговля, практически и та и другая, непрестанно росли, те обмены, что питали Англию, относительно уменьшились в направлении близлежащей Европы и увеличились на уровне заморских торговых операций. Если подсчитать британскую торговлю с Европой по трем статьям — импорта, экспорта и реэкспорта,— то констатируешь, что лишь в последней статье, в реэкспорте, доля, отведенная Европе, оставалась преобладающей и почти стабильной на протяжении XVIII в. (1700—

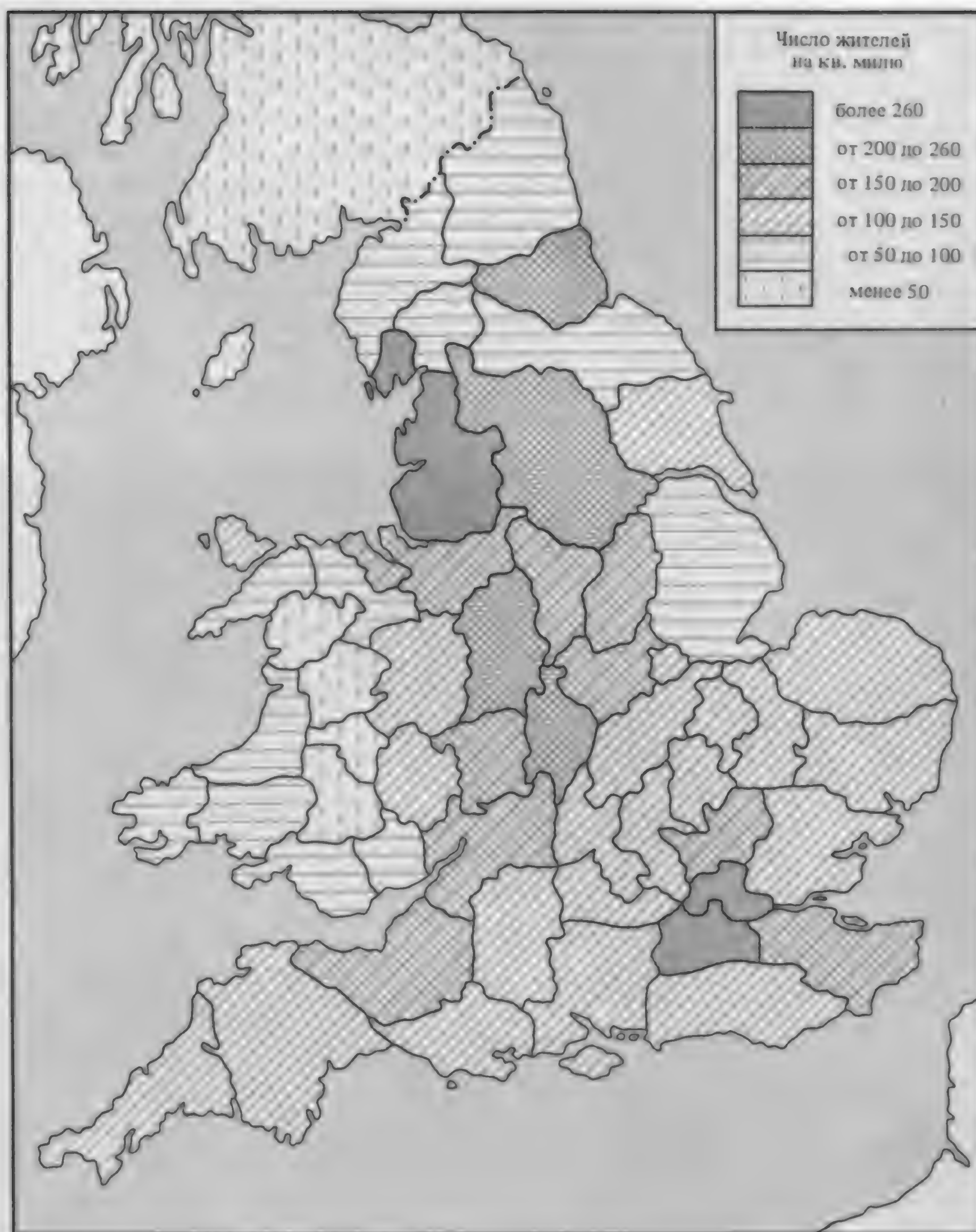


Две Англии в 1700 г. Разделение по численности населения и богатству наблюдалось по линии, проходившей от Глостера на нижнем течении р. Северн до Бостона на берегу залива Уош. (По данным: Darby H.C. *Op. cit.*, p. 524.)

1701 гг.—85%, 1750—1751 гг.—79, 1772—1773 гг.—82, 1797—1798 гг.—88%). Не так обстояло дело с европейским импортом в Англию, доля которого постоянно снижалась (66, 55, 45 и 43% на те же даты); доля же экспорта британских изделий на континент упала еще больше (85, 77, 49, 30%)[130].

Это двойное отступление показательно; центр тяжести английской торговли проявлял тенденцию в некотором роде отдалиться от Европы, тогда как ее торговые операции с американскими колониями (а вскоре — США) и с Индией (особенно после Плесси) нарастали. И это сходится с довольно проницательным замечанием автора *«Богатства Голландии»* (1778 г.)[131], которое рискует стать хорошим объяснением. В самом деле, по мнению Аккариаса де Сerионна, стесненная ростом своих внутренних цен и стоимости своей рабочей силы, который делал из нее самую дорогую страну Европы, Англия

[130] Deane P. *Op. cit.*, p. 56.
[131] Accarias de Sérionne J. *La Richesse de la Hollande*. 1778.



Новое членение пространства Англии в 1800 г. Быстрый демографический подъем в бедной части Англии, становящейся Англией современной промышленности. (По данным: Darby H. C. *Op. cit.*, p. 525.)

больше не могла сдержать французскую и голландскую конкуренцию на близко расположенных рынках Европы. Ее, таким образом, обогнали в Средиземном море и в левантинских гаванях, в Италии, в Испании (по крайней мере в Кадисе, потому что в том, что касалось Испанской Америки, Альбион защищался весьма успешно, опираясь на «свободные порты» Ямайки). Однако в двух решающих местах Европы Англия оставалась первой: в Португалии, бывшей одним из старинных и прочных ее завоеваний, и в России, откуда она обеспечивала снабжение своего флота и своей промышленности (лес, мачты, пенька, железо, смола, деготь). Если несколько огрубить строки нашего объяснения, то в Европе Англия больше не выигрывала или даже отступала; но она торжествовала в остальном мире.

Это торжество следовало бы проанализировать повнимательнее. В общем мы хорошо видим, как Англия «маргинали-

зовала» свою торговлю. Чаще всего она достигала в том успеха, прибегнув к силе: она оттеснила своих соперников в Индии в 1757 г., в Канаде в 1762 г., а также на африканском побережье[132]. Но не только, не всегда силой, потому что только что ставшие независимыми Соединенные Штаты лишь наращивали в огромных размерах свои закупки (но не свои продажи) в прежней метрополии[133]. Точно так же начиная с 1793—1795 гг. европейские войны сослужили Англии [добрую] службу, они ее заставили завладеть миром, в то время как Голландия и Франция были устранены из мировой игры. «Известно,— напишет француз-современник, проживавший в Англии во времена войн Революции и Империи,— что ни одна страна в четы-

[132] Crouzet F. *L'Économie britannique et le blocus continental 1806—1813*. 1958, I, p. 157.

[133] Deane Ph. *Op. cit.*, p. 56.



Бристольский порт. Набережная Брод-Ки в начале XVIII в. *Музей и художественная галерея г. Бристоля. Фото музея.*

рех частях света не могла вести торговлю в течение этих десяти лет (1804—1813 гг.) без доброй воли Англии»[134].

Мы ясно видим преимущества, которые обретала Англия, опираясь в своих обменах на страны «периферии», бывшие резервом мира-экономики, в котором она доминировала. Ее высокие внутренние цены, которые побуждали ее модифицировать свои средства производства (машины появились потому, что человек стоил слишком дорого), толкали ее также и на то, чтобы вывозить сырье (и даже готовые изделия, пригодные для прямой перепродажи в Европе) из стран с низкими ценами. Но если дело обстояло таким образом, то не из-за той ли победы над расстояниями, какую одержала английская торговля, опираясь на первый флот мира? В мире не было ни одной страны, включая и Голландию, где разделение труда в сфере мореплавания продвинулось бы так далеко, как в Англии, шла ли речь о судостроении, о снаряжении судов, о «выпуске из гавани» или о мире морского страхования. Один взгляд на кафе, где собирались страхователи — на «Иерусалим», «Ямайку», «У Сэма», а после 1774 г. на новую «Кофейню Ллойда» на Ройял-Иксчейндж,— научил бы нас большему о морском страховании, чем иная пространная диссертация: страховые маклеры с распоряжениями своих клиентов переходили от одного места сбора страхователей к другому, чтобы добиться необходимых участий. Даже иностранцы знали надлежащий адрес[135]. Разве же не был «Ллойд» великолепным центром сосредоточения новостей и информации? Страхователи были лучше осведомлены о местонахождении кораблей, которые они застраховали, чем их хозяева. Они зачастую играли наверняка.

Но Англия под защитой своего флота тоже играла наверняка. Нет нужды пересказывать вслед за многими другими, какими способами ей удалось во время войн Революции и Империи преодолеть бдительность и относительную враждебность той части Европейского континента, какую Франция пыталась закрыть для своей соперницы. Эта последняя всегда находила бреши: Тоннинген в Дании (до 1807 г.), Эмден и Гельголанд (до 1810 г.); одну покидали — открывалась другая[136]. И английская торговля невозмутимо продолжалась в мировом масштабе, иной раз влекомая своими привычными навыками. Во время наполеоновских войн Ост-Индская компания уверенно продолжала ввозить в Англию индийские хлопчатые ткани: «Тысячи кип хлопка лежали без дела *(sic!)* на складах Компании уже десять лет, когда сообразили давать их испанским *герильерос*», дабы те изготовляли из него рубахи и штаны[137].

Конечно, сама по себе торговая революция не могла объяснить промышленную[138]. Но ни один историк не будет отрицать влияния торговой экспансии на английскую экономику, которую она помогла поднять выше себя самой. Однако же многие преуменьшают ее значение. В своей сущности проблема примыкает к ожесточенному спору между теми, кто объясняет капиталистический рост единственно достоинствами *внутренней* эволюции, и теми, кто видит его выстроенным отчасти извне, посредством систематической эксплуатации мира,— спору безысходному, ибо хороши оба объяснения. Восторгавшиеся

[134] Rubichon M. *Op. cit.*, II, p. 312.
[135] Ashton T. S. *An Economic History of England. The 18th Century.* 1955, p. 132 f.
[136] Crouzet F. *Op. cit.*, p. 294 sq.
[137] Rubichon M. *Op. cit.*, II, p. 382; я заменил слово *герильясы*, стоящее в тексте, на *герильерос*.
[138] Rostow W. W. *Op. cit.*, p. 560.

Англией современники уже склонялись к первому объяснению. Луи Симон писал в 1812 г.: «Истоки богатства Англии надлежит искать в большом внутреннем обращении, в великом разделении труда и в превосходстве машин» [139]. «Я подозреваю, что важность торговли, какую Англия ведет вне своих пределов, преувеличивают» [140]. Другой очевидец писал даже: «Обывательская идея, будто Англия обязана богатством своей внешней торговле... столь же ложна, сколь и сильна, как все обывательские представления» [141]. Он уверенно добавлял: «Что же до зарубежной торговли, то оная не имеет никакого значения ни для какого государства, даже для Англии, что бы ни говорили о том глубокие политики, кои совершили открытие континентальной системы». «Система» — это континентальная блокада, глупость, как полагал автор, Морис Рюбишон, француз, ненавидевший Францию императорскую, как и Францию революционную. Не безумием ли было поразить Англию в ее торговле? Не безумием ли было блокировать континент? Не безумием ли — бросить в 1798 г. флот и лучшую армию Франции в Египет, на недосягаемый путь в Индию? Безумием и потерей времени, ибо, продолжает наш спорщик, что получает Англия из Индии? Самое большее — три десятка кораблей, причем «половина их содержимого состоит из воды и продовольствия, необходимых экипажу для столь продолжительного плавания».

Если такие абсурдные идеи циркулировали, то не потому ли, что, подобно какому-нибудь Кантийону, немало людей утверждало, что не бывает благоприятного или неблагоприятного торгового баланса: то, что страна продает, может быть лишь эквивалентно тому, что она покупает, в соответствии с прекрасным равновесием, которое Хаскиссон, будущий председатель Совета торговли *(Board of Trade)*, именовал «взаимообменом обоюдных и эквивалентных прибылей» *(«The Interchange of reciprocal and equivalent benefits»)* [142]. Нужно ли говорить, что для Англии торговля — в Ирландии, в Индии, в Соединенных Штатах и иных странах — проходила не под знаком эквивалентного обмена?

Правда заключается в том, что, если данные, которыми мы располагаем, начиная с таможенных бумаг, довольно хорошо позволяют измерить возраставший объем английской торговли, то они не дают возможности подсчитать английский торговый баланс. Филлис Дин [143] разъясняет это в пространном анализе, который невозможно воспроизвести здесь. Что же касается оценок, то они могли бы заставить думать о малоблагоприятном, даже негативном балансе. Мы вновь встречаемся здесь с уже затрагивавшимся спором по поводу баланса торговли Ямайки или французских Антильских островов. На самом же деле цифры таможен, помимо изначально присущих им пороков, относятся только к товарам, выходившим из английских портов или поступавшим в них. Они не фиксируют ни движения капиталов, ни торговли неграми-невольниками (которая, будучи «треугольной», протекала вне рамок таможенного контроля), ни фрахта, который зарабатывал национальный флот, ни денежных переводов плантаторов Ямайки или индий-

[139] Simond L. *Op. cit.*, II, p. 284.
[140] *Ibid.*, p. 282.
[141] Rubichon M. *Op. cit.*, I, p. 575.
[142] Huckisson. *On Depreciation*, p. 69; Л. Симон (Simond L. *Op. cit.*, II, p. 24) переводит следующим образом «Торговля есть лишь взаимный обмен эквивалентных вещей».
[143] Deane Ph. *Op. cit.*, p. 58 f.

ских набобов, ни прибылей от *местной торговли (country trade)* на Дальнем Востоке...

В таких условиях может ли считаться веским довод в пользу преуменьшения относительного значения внешней торговли (после того, как признали неоспоримыми важность и непропорциональный рост ее) путем сравнения массы внутренних обменов с массой обменов внешних? Уже Д. Макферсон в своих *«Анналах торговли»* (*«Annals of Commerce»*, 1801)[144] оценивал внутреннюю как вдвое-втрое превышавшую внешнюю[145], и даже в отсутствие достоверных цифр превосходство внутреннего обращения никаких сомнений не вызывает. Это никоим образом не решает проблему, я уже говорил это и не стану возобновлять здесь спор о сравнительном значении торговли на дальние расстояния и торговли внутренней. Но в том, что касается английского [экономического] роста и промышленной революции, важность внутренней торговли никоим образом не исключала важности торговли внешней. Один тот факт, что британская промышленность на протяжении XVIII в. нарастила свое экспортное производство почти на 450 % (индекс 1700 г.—100, 1800 г.—544) и всего на 52 % (100 в 1700 г., 152 в 1800 г.) свое производство для внутреннего употребления, достаточно говорит о роли внешнего рынка в британском производстве. После 1800 г. эта роль только возрастала: с 1800 по 1820 г. собственно британский экспорт увеличился на 83%[146]. В промышленной революции оба натиска, внутренний и внешний, оба множителя действовали совместно. Один не сдвинулся бы без другого.

Я даже нахожу достаточно поразительными рассуждения одного индийского историка, Амаленду Гуха[147], который, вместо того чтобы сравнивать массы, предложил сравнивать *излишки*: избыточную стоимость, например извлеченную Англией из Индии, и избыточные суммы английских сбережений, обращенные на капиталовложения. По разным подсчетам, английские инвестиции составили бы примерно 6 млн. фунтов в 1750 г. (5 % ВНП) и 19 млн. в 1820 г. (7 % ВНП). Соотнесенные с этими цифрами 2 млн. фунтов, ежегодно извлекавшиеся из Индии между 1750 и 1800 гг.,— разве это мало? Мы не знаем, как эти деньги — индийские излишки (и в частности, деньги набобов)— распределялись в английской экономике. Но они не были в ней затерянными и бездействующими; они повышали уровень богатства острова. А ведь именно на этом уровне множились английские успехи.

[144] Macpherson D. *Op. cit.*, III, p. 340.
[145] Ashton T. S. *Op. cit.*, p. 63.
[146] Mathias P. *Op. cit.*, p. 466.
[147] Amalendu Guha. Рец. на кн.: Mathias P. *The First Industrial Nation...*— *«The Indian Economic and Social History Review»*, vol. 7, September 1970, p. 428—430.

УМНОЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕВОЗОК

Какова бы ни была роль ускорителя, принадлежавшая внешней торговле, мы слишком много говорили в этом труде о национальном рынке[148], чтобы недооценить его важность. К тому же если в общем допустить, что внутренняя торговля представляла по стоимости двойной-тройной объем торговли внешней[149], а последняя (за вычетом реэкспорта) составляла между 1760 и 1769 гг. в среднем по 20 млн. фунтов в год (окру-

[148] См. выше, гл. 4.
[149] Как считает Д. Макферсон (ср. прим. 144).

гленная цифра)[150], то внутренняя торговля составила бы либо 40, либо 60 млн. фунтов, и, считая прибыли равными 10 % общей суммы[151], речь пошла бы о 4—6 млн. прибылей в год, т.е. об огромной сумме. Промышленная революция была прямо связана с этой активной экономикой обращения. Но почему же в Англии последняя была такой ранней?

Мы это отчасти уже объяснили централизаторской и революционизирующей ролью Лондона, умножением числа рынков и обретением всеобщего характера денежной экономикой, которая пронизывала все, размахом обменов, которые затрагивали как традиционные «скоромные» ярмарки, так и стечение людей, которое довольно долго поддерживало блеск не имевшей себе равных Стаурбриджской ярмарки, или активностью городов-рынков, образовавших ореол вокруг Лондона, или крупными специализированными рынками даже внутри столицы и умножением числа посредников, влекшим за собой перераспределение доходов и прибылей между растущей массой участников, что хорошо подметил Даниэль Дефо. Короче говоря, посредством усложнения и модернизации отношений, которые все более и более обнаруживали тенденцию функционировать сами по себе. И наконец, и это главное, умножением числа транспортных средств, причем такое умножение опережало требования торговли, а затем обеспечило ее быстрое развитие[152].

И тут мы снова сталкиваемся с проблемой, уже затрагивавшейся в этом труде. Но небесполезно вновь обратить на нее внимание в связи с великолепным примером английского торгового оборота. Последний был приведен в движение и обеспечивался в первую очередь огромным каботажем от порта к порту. С этой точки зрения, как и с других, море было первой удачей английского острова. Суда каботажного плавания, *colliers*, составляли три четверти британского флота, и к 1800 г. они использовали самое малое 100 тыс. моряков[153]. В таких условиях каботаж был школой, которая готовила основную часть экипажей, удовлетворявших потребности Англии. Все находилось в обороте посредством прибрежных перевозок — большое количество хлеба, еще большее ньюкаслского угля,— от устья Тайна до эстуария Темзы. Два десятка активных портов вдоль английских берегов поддерживали эти почти непрерывные обмены; одни из них были великолепно расположены и легкодоступны, другие же, как и следовало ожидать, использовались, невзирая на затруднения, которые были им присущи. Порты Ла-Манша, предоставлявшие хорошие убежища, были также (как заметил Даниэль Дефо) сферой или по крайней мере *одной из* сфер «контрабанды и жульничества» (*smuggling and roguing*)[154].

Вторым «везением» английского обращения была пресная вода рек. Разве же не вытекало промышленное и торговое значение Нориджа, столь удаленного от побережья, из того, что он был доступен непосредственно с моря, *without lock or stops* — без шлюза и задержек[155]? Т. С. Уиллэн в книге, по своему обыкновению краткой и точной, доказал[156] революционное значение использования речного судоходства, которое доставляло

[150] Deane Ph., Cole W. A. *British Economic Growth, 1688—1959*. 1962, p. 48.
[151] Обычный процент; ср.: Rubichon M. *Op. cit.*, I, p. 574.
[152] Willan T. S. *The Inland Trade*, ch. I.
[153] Pillet R.-M. *L'Angleterre vue à Londres et dans ses provinces*. *Colliers* — суда для перевозки угля, «угольщики».
[154] *Historical Geography of England before 1800*. Ed. H. C. Darby, 1951, p. 522.
[155] Defoe D. *Tour*..., I, p. 63; цит. по: Darby H. C. *Op. cit.*, p. 498.
[156] Willan T. S. *Rivers Navigation in England*...

морские корабли или по крайней мере товары, что те привозили, во внутренние районы и которое, следовательно, составляло лишь единое целое с той своего рода морской рекою, какую завязало вокруг острова каботажное плавание.

Судоходные реки Англии, обычно с медленным течением, не использовались более, начиная с 1600 г., в том виде, в каком создала их природа. Из-за угля и других крупнотоннажных грузов (особенно — строительных материалов), которых требовали города, реки мало-помалу были обустроены, их судоходные плесы удлинены, некоторые из их излучин спрямлены и были построены шлюзы. Т. С. Уиллэн даже уверяет, будто шлюз был открытием, которое надлежит поставить почти что на один уровень с изобретением пара[157]. Обустройство рек было своего рода этапом ученичества, предвещавшего появление каналов: последние поначалу будут только продлевать или связывать между собой те пути, какие предоставляли реки. Но и наоборот, иные реки будут обустроены (чтобы не сказать — канализованы) лишь тогда, когда понадобится, чтобы они сыграли свою роль — соединить между собой вновь построенные каналы.

[157] *Ibid.*, p. 94.

Таким образом, «безумие каналов» не было, не могло быть истинным безумием, а было спекуляцией, не удававшейся



Герцог Бриджуотерский (1736—1803) перед построенным им каналом. Гравюра 1767 г. ***Фототека издательства А. Колэн.***

в каждом втором случае, как говорили, что означает также: успешной в каждом втором случае, всякий раз, когда направление было выбрано правильно, когда уголь, бывший в данном случае решающим, использовал созданный путь и когда обращение к кредиту, дабы начать предприятие, бывало удачно проведено товариществом (*la corporation*), взявшимся за строительство, или предпринимателем, рискнувшим на это в одиночку.

Безумие каналов началось в 1755 г. с прорытием бокового канала к реке Сенки, впадающей в Мерси [158]; канал этот на несколько лет предшествовал по справедливости прославленному каналу герцога Бриджуотерского, связавшему с Манчестером близлежащие Уорслейские угольные копи [159], действительно великолепной операции. Когда герцог Бриджуотерский «в одиночку предпринял работы, которые потребовали обращения большего количества бумажных денег, нежели то, какое имеет это хилое заведение, пышно именуемое Французским банком, да еще ни разу не увидел свои бумаги утратившими доверие, как случалось тому заведению; да еще не был вынужден, как это заведение, иметь наличными в подвалах четвертую долю стоимости своих находившихся в обращении бумажных денег, это было для него большим счастьем; ибо зачастую у него не было какого-то экю, дабы уплатить вознице, который вез его вдоль места его работ» [160]. На сей раз предприниматель сыграл наилучшим образом. У него уже были копи, что облегчило ему займы: всякий знает, что взаймы дают только богатым. Но его предприятие было солидно задумано. Поставляя уголь своей копи прямо в Манчестер, он сумел продавать его за половину прежней цены и получать со своих капиталовложений и своих затрат годовую прибыль в 20 %. Каналы были безумием только для тех, кто не сумел разработать их планы, ибо если принять перевозку морем за единицу, то канал обходился лишь втрое дороже (тележка — в девять, а вьючные животные — в 27 раз дороже).

Однако по всем землям платная дорога (первая была, вне сомнения, начата в 1654 г.) позволила создать более чем приемлемую дорожную сеть. *Turnpikes**, строившиеся, как и каналы, по частной инициативе (государство интересовалось только стратегическими дорогами в сторону Шотландии и Ирландии), заменили прежние дороги, не столь отвратительные, как это утверждают, но малодоступные для повозок и слишком часто непроезжие зимой.

Но в конечном счете новые дороги с твердым покрытием [161] (созданные на базе простых технических приемов, не вносивших ничего нового, даже в сравнении с римскими дорогами) и победоносные каналы не разрешали всех проблем, например связанных с перевозкой угля от приемной площадки шахты до мест погрузки. С последними годами XVIII в. появился металлический рельс; рельсы означали железную дорогу до локомотива (*le pré-chemin de fer*), как сказал Клэпем [162]. Барон Дюпен, переводя *rail road* как *route-ornière**, заставляет вообразить себе рельс с желобом посередине, куда плотно вставляется узкое колесо вагона [163]. На самом же деле слово *рельс* имеет значение

[158] Dupin C. *Op. cit.*, p. 163, note.
[159] *Ibid.*, p. 171.
[160] Rubichon M. *Op. cit.*, II, p. 111.
* Дороги с заставами для взимания платы за проезд.— *Прим. перев.*
[161] Willan T. S. *The Inland Trade.*
[162] Clapham J. H. *Op. cit.*, p. 381—382.
* Буквально — «дорога-колея» (или «колейная дорога»). — *Прим. перев.*
[163] Dupin C. *Op. cit.*, p. 148 sq.

«брус». Первые рельсы были простыми деревянными брусьями, по которым ездили тележки тоже с деревянными колесами: с XVII в. их применяли на карьерах в Бате, на рудниках Корнуолла и для перевозки угля вокруг Ньюкасла [164]. По такому пути, обычно дополнявшемуся наружной ребордой, которая не давала колесу сойти с рельса, лошадь могла тянуть груз втрое больший, чем по дороге. В этих условиях фактом, заслуживающим того, чтобы его запомнить, была замена около 1767 г. деревянных рельсов чугунными. Начиная с 1800 г. исследования были нацелены на приспособление паровой машины, которая бы обеспечивала тягу: в 1814 г. появится первый паровоз.

Протяженность таких железных дорог (без паровоза) составила к 1816 г. вокруг Ньюкасла уже 76 лье [165]. В графстве Гламорганшир, в Уэльсе, главным городом которого является Кардифф и которое имеет разработки [угля] в Мертер-Тидвиле и порт Суонси, она достигла сотни лье. Шотландия тоже развила систему рельсовых путей вокруг Глазго и Эдинбурга, и именно там «[несколько лет назад] капиталистам было представлено наибольшее число проектов на сей предмет» [166]. Одна из таких железных дорог с «плоскими колеями» заходила в самый город Глазго, замечает барон Дюпен, который полагал, что можно было бы «на некоторых улицах с очень большим уклоном в наших больших французских городах, к примеру на нескольких улицах холма Св. Женевьевы в Париже, разместить с одной стороны улицы подобные плоские колеи» [167]. В 1833 г. «Поездка из Манчестера в Ливерпуль по железной дороге и паровой повозкою» («*Voyage de Manchester à Liverpool par le Rail Way et la voiture à vapeur*») получила хвалебные отклики во французской прессе. Таково было название книги г-на Кюште, который весьма выразительно описывал в деталях «дороги на железных полосах» [168], «вокзал» на Уотер-стрит [169], различные применявшиеся там машины, «из коих таковая г-на Роберта Стефенсона, именуемая «Самсон», до сего времени самая совершенная» [170],— машины, «кои имеют не больший объем, чем средняя водовозная бочка» [171].

От деревянной дороги до паровоза рельс сыграл свою роль в оснащении британских «катящихся средств». Не нужно быть великим специалистом в таких вопросах, чтобы быть уверенным, что это ускоренное движение поддержало весь подъем Англии. Еще сегодня [172] существует корреляция между [экономическим] ростом и легкостью перевозок. Скорость сообщений касается также распоряжений и информации, она необходима деловому миру. Разве удалось бы Томасу Уильямсу около 1790 г. установить и сохранять монополию на медь и все свои дела, рассеянные от Корнуолла до Шетлендских островов, если бы торговые письма из Лондона в Ланкашир и в Уэльс не шли бы уже с той же скоростью, что и ныне? [173]

Но следует ли, говоря о перевозках, думать единственно об Англии, где обустроенные реки, каналы, дороги, железные дороги обрисовывали все более и более плотную сеть? Нужно ли забывать дальние связи? Все было связано: в 1800 г., «испытывая острейшую нехватку зерна, Англия выкачала из Индии 600

164 Mathias P. *Op. cit.*, p. 277.
165 Dupin C. *Op. cit.*, p. 149.
166 *Ibid.*, p. 144.
167 *Ibid.*, p. 157.
168 Cuchetet. *Voyage de Manchester à Liverpool par le Rail Way et la voiture à vapeur*. 1833, p. 6.
169 *Ibid.*, p. 11.
170 *Ibid.*, p. 9.
171 *Ibid.*, p. 8.
172 Kindleberger C. P. *Economic Development*. 1958, p. 96.
173 См. Harris J. R. — в: *L'Industrialisation de l'Europe au XIXᵉ siècle*, p. 230.



Главные водные пути к 1830 г.
По данным Дайеса (Dyos H. J.) и Олдкрофта (Aldcroft D. H.). Сравни с приведенной выше (с. 376) картой Т. Уиллэна для 1660—1700 гг.

тыс. квинталов риса при стоимости перевозки по 12 франков за квинтал. Тогда как в каком-нибудь местечке в Бретани,— уверяет один француз,— не найдешь того, кто перевез бы квинтал зерна в какое-то другое местечко в Лотарингии меньше чем за 40 или 50 франков, однако же, расстояние составляет не больше 150 лье» [174]. «Здесь, в Лондоне, мы можем в течение двадцати лет [я полагаю, с 1797 по 1817 г.] наблюдать, как [Ост-Индская] компания, едва только Англия приходит в столкновение с Италией и не может более, как в прошлом, получать из нее шелка, необходимые для ее мануфактур, велит сажать шелковицу в Индии и ежегодно поставляет сюда шелка тысячами тюков; как Компания, едва только Англия приходит в столкновение с Испанией и не может более получать необходимое ее мануфактурам индиго, велит выращивать сие растение в Индии и ежегодно поставляет индиго тысячами ящиков; как Компания сразу же, как только Англия приходит в столкновение с Россией и не может более извлекать оттуда коноплю, необходимую ее флоту, велит сеять ее в Индии столько, сколько нужно для удовлетворения ее потребностей. Если Англия окажется во враждебных отношениях с Америкой и не сможет более получать ее хлопок, Компания поставит то, что надобно ее прядильщикам и ткачам; если Англия окажется во враждебных отношениях со... своими [собственными] колониями... то Компания поставит необходимые Европе кофе и сахар...» Эти замечания требовали бы обсуждения. Но пикантность заключается в том, что высказаны они тем самым очевидцем, который советовал нам отказаться от «обывательской идеи» [175], согласно которой Англия будто бы обязана своим богатством внешней торговле, и уверял нас, что она смогла бы прожить сама по себе. Разумеется — но на совсем другую ногу и предоставив какой-то другой нации заботу о покорении мира...

[174] Rubichon M. *Op. cit.*, I, p. 529—530.

[175] См. выше, с. 598.

МЕДЛЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

То, что мы утверждали до сих пор, бросает свет на некоторые наблюдения. И прежде всего на то, что в данном случае (промышленная революция) и во всех других, с какими сталкивается глубинная история, короткое время, событийное, не играло первых ролей. Все затягивалось: плавка на коксе, механизация ткачества, подлинная сельскохозяйственная революция, настоящая паровая машина, настоящая железная дорога... Промышленная революция не переставала от этого зарождаться, а для того чтобы она родилась и пришла в движение, понадобились разрушения, усовершенствования и такие «структурные переделки» («*restructurations*»)... Если последовать урокам Чарлза Уилсона и Эрика Хобсбоума [176], в Англии [промышленная] революция практически уже существовала в начале Реставрации (1660 г.). И однако же, ничто не происходило быстро. В действительности на протяжении этого столетия внешне абсурдного отставания, XVII столетия, Старый порядок был подорван, ниспровергнут: разрушалась традиционная

[176] Wilson Ch., Hobsbawm E. *Op. cit.*

структура сельского хозяйства и земельной собственности или же завершалось ее разрушение; дезорганизовались ремесленные цехи, даже в Лондоне после пожара 1666 г.; возобновлен был Навигационный акт; и друг друга сменяли последние констуктивные меры меркантилистской политики покровительства и защиты. И конечно же, все было в движении, так что королевство, писал в 1724 г. Дефо, «день ото дня меняло облик»; и всякий день наблюдению путешественника представлялось что-то новое [177]. Тогда Англия перестала быть слаборазвитой страной в современном значении этого слова: она увеличила свое производство, повысила свой жизненный уровень, свое благосостояние, усовершенствовала орудия своей экономической жизни. А главное — она располагала экономикой из взаимосвязанных секторов, из которых каждый был достаточно развит, чтобы не рисковать сделаться опасным узким местом. И вот она была готова двигаться вперед, каким бы ни было избранное направление или представившийся случай.

[177] Defoe D. *Tour...*, éd. 1927, I, p. 2.

Но такой образ секторов, медленно дозревавших до того, чтобы сделаться оперативными, способными обеспечить себе все компоненты, связанные с промышленной революцией, и отвечать каждому на требования других,— вполне ли удовлетворителен этот образ? Он дает ложное представление о промышленной революции, которая будто бы была самоцелью, преследовавшейся вполне сознательно, и об английских экономике и обществе, якобы трудившихся над тем, чтобы сделать возможным наступление этих новых времен, времен машины. В крайнем случае такую картину революционного опыта, но некоторым образом определенного заранее, можно было бы применить к протеканию сегодняшних промышленных революций, где известные модели освещают путь, по которому хотели бы следовать. Не так продвигался английский опыт. Он не направ-



Деловая активность Вест-Индских доков в Лондоне, начало XIX в. В больших количествах разгружают сахар, ром, кофе и т. п. *Фото Бэтсфорда.*

лялся вперед, к цели, скорее он встретился с нею в ходе мощного жизненного подъема, порожденного множеством взаимоперекрещивающихся потоков, которые подталкивали промышленную революцию вперед, но которые в немалой степени также и перехлестывали ее собственные рамки.

ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Словарь, которым мы пользуемся, заранее нам говорит, что промышленная революция, какой бы массовой она ни была, не образовывала ни единственное, ни самое обширное множество в период, перегруженный событиями. Совершенно очевидно, что *индустриализм,* движение коромысла целого общества в сторону индустриального образа жизни, шире самой революции. И еще более очевидно, что *индустриализация*, переход от преобладания сельского хозяйства к преобладанию ремесел — глубинное движение само по себе,— выходит за пределы круга предшествовавших объяснений; промышленная революция была некоторым образом ускорением этого перехода. Что же касается *модернизации,* то она в свою очередь представляет множество еще более обширное, нежели сама индустриализация: «Промышленное развитие не составляет само по себе современную экономику» [178]. А поле *роста* еще более обширно: оно охватывает собой всю целостность истории.

Можно ли, с учетом сказанного, исходить из данных и реальностей роста, чтобы попробовать отстраниться и увидеть промышленную революцию извне, вписанной в более широкое движение, чем она?

РАЗНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Примем в качестве отправной мысль Д. Норта и Р. Томаса; они писали: «Промышленная революция не была истоком современного роста» [179]. В самом деле, рост — это нечто иное, чем революция, хотя, конечно же, вторая плавает на первом, им поднимается вверх. Итак, я охотно сказал бы то же, что Джон Хикс: «Промышленная революция этих двух последних столетий была, быть может, не чем иным, как обширным вековым *бумом*» [180]. *Бум*, о котором идет речь,— не рост ли это? Рост, который не может замкнуться внутри промышленной революции, рост, который на самом деле ей предшествовал. Слово *рост (croissance)*, только что узнавшее стремительный успех (начиная с 40-х годов нашего века [181]), в сегодняшнем языке обозначает «комплексный процесс эволюции *большой временной протяженности*» [182]. Но дали ли мы точную меру понятия? Экономисты в целом говорят о росте лишь начиная с XIX в. И к тому же они еще не согласны между собой в объяснении его

[178] Adam P. (машинописный текст), p. 92.

[179] North D. C., Thomas R. P. *The Rise of the Western World.* 1973, p. 157.

[180] Hicks J. *Value and Capital.* 1939, p. 302; цит. по: Hartwell R. M. *Op. cit.*, p. 114.

[181] Romeuf J. *Dictionnaire...*, I, p. 354.

[182] Курсив мой. Bernard Y., Colli J.-C., Lewandowski D. *Dictionnaire...*, p. 401.

механизма. Для одних рост бывает только уравновешенный, для других — только неуравновешенный. *Уравновешенный рост* (Нурске, Юнг, Хартуэлл) — это такой, который приводит в движение все секторы разом в достаточно постоянной прогрессии, который ориентируется на спрос, повышающий роль национального рынка, главного двигателя развития. *Неуравновешенный рост* (Иннис, А. Хиршман, Шумпетер, Ростоу) выводит все из одного привилегированного сектора, движение которого передается другим. С этого момента рост означает погоню отстающих за головным «бегуном», и в подобной общей перспективе предложение, а следовательно, как сказал бы А. Фанфани, волюнтаристская сторона экономики, выдвигается на первое место. Наконец, то, что имело бы значение в таком «запуске»,— это скорее перебои на внешнем рынке, нежели наполнение внутреннего рынка, даже если этот последний был готов к превращению в рынок национальный.

Когда такое различие было однажды проведено, Р. М. Хартуэлл, по собственному почину доказал, что промышленная революция была дочерью уравновешенного роста [183]. Аргументы его превосходны. Но таким образом он распространяет на конец XVIII в. те формы роста, какие экономисты представляют себе для XIX в. Фактически он бы мог с таким же успехом, не слишком насилуя конкретную реальность (по крайней мере то, что о ней известно), приспособить к процессу промышленной революции и второй тезис — о неуравновешенности. К тому же именно этот тезис многие историки, не всегда это ясно сознавая, предпочтительно выбирали в прошлом и, быть может, подумав, выбрали бы его и теперь. Прежде всего, он драматичен, даже «событиен», он на первый взгляд прост и убедителен. Затем, хлопковый бум был вполне реален, и бесспорно, то была первая механизированная массовая отрасль промышленности. В таком случае разве не хлопок правил балом?

Но почему эти два тезиса должны исключать друг друга? Почему бы им не действовать либо одновременно, либо последовательно, сообразно обычной диалектике, что накладывает друг на друга и противопоставляет друг другу движения продолжительные и движения кратковременные? Не различаются ли они скорее в теоретическом, чем в практическом плане? То, что живое продвижение вперед в одном секторе было способно запустить в ход рост, нам хорошо известно из примеров, упоминавшихся даже на протяжении этой главы, и их, вне сомнения, можно было бы назвать и в современном мире. Но мы также видели, что такой рост обречен на то, чтобы более или менее быстро прерваться, затормозиться, если он не находит опоры в широком многосекторном отклике. А в таком случае не следовало ли бы поговорить скорее о *непрерывном* и *прерывистом* росте, нежели о росте *уравновешенном* или *неуравновешенном*? Это реальное различие, ибо оно соответствует глубинному разрыву, структурному разлому, который произошел, по меньшей мере для Запада, в XIX в. Саймон Кузнец совершенно прав, на мой взгляд, различая рост традиционный и рост современный [184].

[183] Hartwell R. M. *Op. cit.*, p. 185 f.

[184] Kuznets S. *Croissance et structure économique.* 1972, passim, et notamment p. 248 sq.

Современный рост — это рост непрерывный, о котором Франсуа Перру уже давно мог сказать [185], что он был независимым от повышения или понижения цен, а это удивляло, смущало и даже беспокоило историков, привыкших наблюдать традиционные столетия, глубоко отличные от XIX в. Естественно, Франсуа Перру и Поль Бэрош, поддержавший это утверждение, правы. Для Соединенного Королевства в целом общий национальный доход и доход на одного жителя пережили без снижения долгое падение цен (1810—1850 гг.), продолжительное их повышение с 1850 по 1880 г., а затем вновь падение — с 1880 по 1890 г., при годовой норме [прироста] соответственно в 2,8 и 1,7 % для первого периода, в 2,3 и 1,4 % — для второго, в 1,8 и 1,2 % — для последнего [186]. Рост оставался постоянным, то было чудо из чудес. Он никогда не прерывался совершенно, даже в период кризиса.

До такого превращения традиционный рост совершался с перебоями, как последовательность взлетов и остановок, или даже спадов, на протяжении веков. Различаются очень продолжительные фазы: 1100—1350, 1350—1450, 1450—1520, 1520—1720, 1720—1817 гг. [187] Эти фазы противоречили друг другу: во время первой население росло, во второй — резко упало, вновь росло в третьей, пребывало в состоянии застоя в четвертой и стало стремительно возрастать в последней из них. Всякий раз, как росло население, наблюдался рост производства и национального дохода словно для того, чтобы оправдать старую пословицу: «Богатство заключено только в людях». Но всякий раз доход на душу населения понижался или даже скатывался вниз, тогда как в течение застойных фаз он улучшался. Именно это показывает длинная кривая [188], рассчитанная на материале семи веков Фелпсом Брауном и Шейлой Хопкинс. Таким образом, имелось *расхождение* между национальным доходом и доходом на душу населения: рост национального продукта происходил в ущерб тем, кто трудился, это было законом Старого порядка. И я предположу в противоположность тому, что говорилось и повторялось, что начатки английской промышленной революции были поддержаны ростом, *принадлежавшим еще Старому порядку*. До 1815 г. или, вернее, до 1850 г. (а иные сказали бы — до 1870 г.) не было *постоянного роста*.

[185] Perroux F. *Prise de vues sur la croissance de l'économie française...*, p. 46—47.
[186] Bairoch P. *Op. cit.*, p. 44, tableau IV.
[187] Imbert G. *Des mouvements de longue durée Kondratieff*. 1959.
[188] Brown E. H. O., Hopkins S. V. *Seven Centuries of Building Wages*.— «*Economica*», August 1955, p. 197.

КАК ОБЪЯСНИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ?

Каковы бы ни были особенности роста, его движение поднимало экономику, как прилив, поднимающий суда, оказавшиеся на мели в низкую воду; он порождал бесконечную последовательность равновесий и неуравновешенностей, привязанных одни к другим, он порождал успехи, то легкие, то нелегкие, позволял избегать провалов, создавал рабочие места, изобретал прибыли... Он был тем движением, которое вновь запускало вековое дыхание мира после каждого замедления или стеснения. Но движение это, которое все объясняло, в свою очередь с трудом поддается объяснению. Сам по себе рост был таин-

[189] Hartwell R. M. *Op. cit.*, p. XVII.
[190] Курсив С. Кузнеца. Kuznets S. *Op. cit.*, p. 92—94.

ственным[189]. Даже для нынешних экономистов, вооруженных фантастическим статистическим материалом. Свои услуги предлагает единственная гипотеза, явно ложная, поскольку представляются, как мы говорили, по меньшей мере два объяснения — *уравновешенный рост* и *рост неуравновешенный*,— объяснения, делать выбор между которыми, однако, отнюдь не обязательно.

С такой точки зрения решающим покажется различие, которое С. Кузнец устанавливает между «тем, что делает экономический рост *возможным*», и «способом, каким он на самом деле *происходит*»[190]. Разве же не был «потенциал роста» как раз «уравновешенным» развитием, медленно достигавшимся посредством непрерывного взаимодействия разных факторов и действующих лиц производства, путем трансформации структурных взаимоотношений между землей, трудом, капиталом, рынком, государством, социальными институтами? И этот-то рост, само собой разумеется, вписывался в *длительную временну́ю протяженность (la longue durée)*. Она позволяет привязать истоки промышленной революции — безразлично — к XIII, или к XVI, или к XVII в. Наоборот, способ, каким рост «на самом деле происходит», *конъюнктурен*, он детище сравнительно краткого времени, стечения обстоятельств, технического открытия, национальной или международной удачи, а иной раз и чистой случайности. Например, если бы Индия не была мировым чемпионом хлопкоткацкого производства (образцом и конкурентом одновременно), промышленная революция, вероятно, в любом случае произошла бы в Англии, но началась ли бы она с хлопка?

Если признать такое взаимное наложение времени длительного и времени краткого, то можно без особых затруднений связать объяснение роста, непременно уравновешенного, и роста неуравновешенного, продвигавшегося с перебоями, «от кризиса к кризису», заменяя один двигатель другим, один рынок другим, один источник энергии другим, одно средство давления другим,— и все это по воле обстоятельств.

Для того чтобы имелся *непрерывный рост*, требовалось, чтобы длительное время, накопитель медленного прогресса, уже произвело «то, что делает экономический рост возможным», и чтобы при каждой случайности конъюнктуры новый двигатель, державшийся в резерве готовым к запуску, мог сменить тот, который остановился или дает сбои. Непрерывный рост означал эстафету, которая, однако же, не останавливается. Если с XIII по XIV в. рост не сохранился, то потому, что мельницы, сделавшие возможным его запуск, придали ему лишь умеренный взлет и никакой иной источник энергии не принял впоследствии эстафету. Дело было также, и в еще большей мере, в том, что сельское хозяйство не смогло последовать за демографическим подъемом и оказалось жертвой снижавшейся урожайности. Вплоть до промышленной революции любой натиск роста разбивался о то, что я в первом томе этого труда назвал «пределом возможного»,— понимай: потолком сельскохозяйственного производства, или транспорта, или энергии, или рыночного спроса... Современный рост начинается тогда, ког-

да потолок, или предел, непрестанно поднимается или отдаляется. Но это не означает, что потолок в один прекрасный день не восстановится.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Любое продвижение роста затрагивало *разделение труда.* Последнее было процессом производным, явлением арьергардным: оно следовало на хорошем расстоянии за ростом, который некоторым образом тянул его за собой. Но в конечном счете его постепенное усложнение утверждалось как хороший индикатор прогресса роста, почти что как способ его измерить.

В противоположность тому, что искренне полагал и писал Маркс, Адам Смит не открывал разделения труда. Он всего лишь возвел в ранг общей теории старинное представление, уже ощущавшееся интуитивно Платоном, Аристотелем, Ксенофонтом и задолго до Адама Смита отмечавшееся Уильямом Петти (1623—1687), Эрнстом Людвигом Карлом (1687—1743), Фергюсоном (1723—1816) и Беккариа (1738—1794). Но после Адама Смита экономисты сочли, что имеют в лице разделения труда своего рода закон всемирного тяготения, столь же солидный, как и Ньютонов. Жан-Батист Сэ одним из первых выступит против такого пристрастия, и с того времени разделение труда стало, пожалуй, понятием, вышедшим из моды. Дюркгейм утверждал, «что оно лишь производный и вторичный феномен... который происходит на поверхности общественной жизни, и это в особенности верно,— добавлял он,— в отношении разделения экономического труда. Оно поверхностно» [191]. Так ли это достоверно? Я часто представлял себе разделение задач как интендантство, следующее за армиями и организующее завоеванные земли. Но ведь лучше организовать и единым махом расширить обмены, разве же это так мало? Расширение сектора услуг — так называемого третичного сектора,— первостепенное явление нашего времени, зависит от разделения труда и находится в центре социально-экономических теорий. Точно так же и разрушение и восстановление социальных структур, которые сопровождают рост, ибо последний не только увеличивает разделение труда, он обновляет его исходные данные, устраняя прежние задачи и предлагая незнакомые. Наконец, он перестраивает общество и экономику. Промышленная революция соответствовала новому, потрясающему разделению труда, которое сохранило и окончательно отделало ее механизмы — не без многообразных и разрушительных социальных и человеческих последствий.

[191] Цит. Р. Ароном: Aron R. *Les Étapes de la pensée sociologique.* 1967, p. 321.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА: К ПРЕКРАЩЕНИЮ НАДОМНИЧЕСТВА

Между городом и деревней промышленность нашла свою самую распространенную форму в надомничестве (putting out system)[192], организации труда, ставшей тогда всеобщей по всей

[192] См. том 2 настоящего труда.

Европе и достаточно рано позволившей торговому капитализму по низкой цене получать избыточный продукт деревенской рабочей силы. Деревенский ремесленник работал в своем доме с помощью своего семейства, сохраняя в то же время свое поле и кое-какую скотину. Сырье—шерсть, лен, хлопок—ему предоставлял контролировавший его городской купец, получавший законченную работу или полуфабрикат и выплачивавший их стоимость. Таким образом, надомничество смешивало город и деревню, ремесло и сельскохозяйственную деятельность, промышленный труд и семейную работу и на вершине—торговый капитализм и капитализм промышленный. Для ремесленника это означало определенное жизненное равновесие, если не спокойствие; для предпринимателя то была возможность ограничить свои издержки основного капитала и, более того, лучше выдерживать слишком частые перебои в спросе. Продажи замедлялись, он сокращал свои заказы и суживал использование рабочей силы; в крайнем случае он отказывался от ее использования. В экономике, где не предложение, а спрос ограничивал промышленное производство, работа на дому придавала последнему необходимую эластичность. Одно слово, один жест—и оно останавливалось. Одно слово—и оно возобновлялось [193].

К тому же мануфактуры, которые были первым сосредоточением рабочей силы, первым поиском *масштабной экономики*, нередко оставляли себе это поле для маневра: чаще всего они оставались связаны с широким применением надомного труда. В любом случае мануфактура представляла еще крохотную часть производства [194], вплоть до момента, когда завод с его механическими средствами завершил мануфактурное решение и обеспечил ему торжество. На это потребовалось время.

В самом деле, разрывы, которые предполагала новая система, совершались медленно. Даже в революционной хлопчатобумажной промышленности семейная мастерская еще долго сопротивлялась в той мере, в какой ручное ткачество смогло добрых полвека сосуществовать с механическим прядением. Еще в 1817 г. один наблюдатель описывал такое ткачество как вполне идентичное некогда существовавшему «с единственным отличием в виде самолетного челнока, изобретенного и введенного Джоном Кеем около 1750 г.»[195]. Установка *power loom*, механического ткацкого станка с приводом от паровой машины, будет эффективной только после 20-х годов XIX в. Продолжительный сдвиг по фазе между быстрым прядением современных фабрик и традиционным ткачеством явно потряс прежнее разделение труда. В то время как прежде прялкам трудно было угнаться за потребностями ткача, с ростом производства механической пряжи ситуация изменилась на противоположную. Ручному ткачеству пришлось сверх меры раздувать численность своих работников, труд которых был каторжным, но заработная плата высокой. Деревенские труженики оставляли тогда свои крестьянские виды деятельности. Они пополняли ряды рабочих, занятых все время, ряды которых росли на глазах с появлением огромного контингента женщин и детей. В 1813—

[193] Hicks J. *Op. cit.*, p. 155: «Именно непостоянная работа была типическим состоянием доиндустриального пролетариата» («*It was casual labour that was the typical condition of the preindustrial proletariat*»).
[194] См. том 2 настоящего труда.
[195] Smelser N. J. *Social Change in the Industrial Revolution. An Application of Theory to the Lancashire Cotton Industry 1770—1840*. 3d ed., 1967, p. 147.

1814 гг. на 213 тыс. ткачей их насчитывалось 130 тыс. и больше половины было моложе четырнадцати лет.

Вне сомнения, внутри общества, в котором всякий, кто жил своим ремесленным трудом, непрестанно находился на грани недоедания и голода, труд детей бок о бок с их родителями — на полях, в семейной мастерской, в лавке — всегда был правилом. Настолько, что поначалу новые фабрики и предприятия чаще всего нанимали не индивидов, а семьи, предлагавшие свои услуги для группового труда, как на рудниках, так и на хлопкопрядильных фабриках. В 1801—1802 гг. на фабрике Роберта Пиля в Бери из 136 занятых 95 принадлежали к 26 семьям [196]. Таким образом, семейная мастерская попросту включалась в фабрику с теми преимуществами, какие представляло это решение для дисциплины и эффективности труда. Это было так, пока маленькие рабочие бригады (взрослый рабочий, которому помогали один или два ребенка) были возможны и выгодны. Технический прогресс более или менее рано положил этому конец. Так, в текстильном производстве после 1824 г. ввод в действие автоматического мула («мюль-машины»), усовершенствованного Ричардом Робертсом, потребовал для сверхскоростного прядения наряду с мужчиной или женщиной, которые бы присматривали за новой машиной [197], до девяти юных или очень юных помощников, тогда как старая мюль-машина требовала только одного-двух. Тогда семейная сплоченность внутри предприятия исчезла, придав детскому труду совсем иной контекст и совсем иное значение.

Немного раньше, с продвижение power loom, наступила другая, куда более разрушительная дезорганизация. На сей раз исчезнет семейная ткацкая мастерская. Power loom, механический станок, «на коем один ребенок нарабатывает столько же, сколько двое или трое мужчин» [198], был настоящим социальным бедствием, которое добавилось ко многим другим. На улицу были выброшены тысячи безработных. Заработная плата резко упала, настолько, что сделавшаяся ничтожной стоимость рабочей силы продлила за пределы разумного ручной труд несчастных ремесленников.

В то же самое время новое разделение труда, урбанизировавшее рабочее общество, раздирало общество бедняков, которые все пребывали в поисках работы, убегавшей от них; оно устраивало им неожиданные встречи, вдали от родных деревень, и в конечном счете ухудшало их жизнь. Жить в городе, лишиться традиционной поддержки от огорода, молока, яиц, птицы, работать в огромных помещениях, терпеть малоприятный надзор мастеров, повиноваться, не быть более свободным в своих передвижениях, принять твердо установленные часы работы — все это в ближайшем будущем станет тяжким испытанием. Это означало изменить жизнь и кругозор настолько, чтобы сделаться чуждым собственному существованию. Это также означало смену питания: есть мало, есть плохо. Нил Дж. Смелсер, как социолог и историк, проследил эту драму отрыва от корней в новом, расширявшемся мире хлопка [199]. Рабочий мир потратит годы, прежде чем создаст прикрытие из новых привычек и поддержки: товарищества, сообщества, народные

[196] Mathias P. *Op. cit.*, p. 202.
[197] *Ibid.*, p. 203.
[198] A. E., C. C. Londres, f^{os} 146—151, 13 марта 1817 г.
[199] Smelser N. J. *Op. cit.*, p. 129 f.



В то время как около Эдинбурга и Глазго очень рано заработали современные машины (в хлопчатобумажной промышленности), изготовление шерстяных сукон на шотландских Нагорьях оставалось весьма архаичным процессом. Еще в 1772 г. женщины валяли куски сукна ногами. Слева на гравюре две из них, по-видимому, мелют зерно на примитивном ручном жернове. *Документ Т. Смаута.*

банки[200]. Тред-юнионы — это будет позднее. И не будем слишком много спрашивать у богачей, что они думали об этих новых горожанах. Они их видели «отупевшими, порочными, сварливыми и склонными к бунту» и еще — дополнительный порок! — «обычно бедными»[201]. То, что думали о фабричном труде сами рабочие, выражалось иначе: сбежать, если возможно. В 1838 г. только 23 % рабочих текстильного производства были взрослыми мужчинами; основную массу составляли женщины и дети, смирявшиеся более легко[202]. И никогда социальное недовольство не было в Англии столь глубоким, как в эти годы (1815—1845 гг.), увидевшие сменявшие друг друга движения: выступления луддитов — разрушителей машин, политический радикализм, который бы охотно попробовал сокрушить общество, синдикализм, даже утопический социализм[203].

ПРОМЫШЛЕННИКИ

Разделение труда происходило не только на базовом уровне, но также и у вершины предприятий, и там, пожалуй, еще быстрее. До сего времени в Англии, как и на континенте, правилом была нераздельность господствовавших занятий: негоциант все держал в своих руках, будучи одновременно купцом, банкиром, страхователем, арматором, промышленником...

200 *Ibid.*, p. 165.
201 Simond L. *Op. cit.*, II, p. 103.
202 Hobsbawm E. *Industry and Empire*, p. 51.
203 *Ibid.*, p. 55.

[204] Mathias P. *Op. cit.*, p. 170.
[205] *Ibid.*, p. 151.
[206] Mathias P. *Op. cit.*, p. 152.
[207] *Ibid.*, p. 152—153.

Так, в пору, когда развились английские провинциальные банки (*country banks*), их собственники в одно и то же время были торговцами зерном, пивоварами или негоциантами с многообразной специализацией, которых собственные их дела и дела их соседей подтолкнули к тому, чтобы заняться банковским делом [204]. Многообразно специализировавшиеся негоцианты были повсюду: они были, как и полагается, хозяевами Ост-Индской компании, хозяевами также и Английского банка, выбор и милости которого они направляли, они заседали в палате общин, поднимались по ступеням достопочтенности; вскоре они правили Англией, уже сделавшейся покорной их интересам и их страстям.

Но в конце XVIII и в XIX в. появился «промышленник» — новый активный персонаж, который еще до образования в 1841 г. второго правительства Роберта Пиля появится на арене политической жизни, даже в палате общин. Чтобы завоевать свою независимость, персонаж этот одну за другой оборвал связи между предпромышленностью и торговым капитализмом. То, что возникло вместе с ним, из года в год укреплялось и расширялось,— это был новый капитализм, все силы которого были посвящены в первую очередь промышленному производству. Эти новые «предприниматели», замечает П. Матиас, были прежде всего «организаторами, редко когда пионерами в крупных инновациях или собственно изобретателями» [205]. Таланты, на которые они претендовали, задачи, какие они перед собой ставили, были следующими: господствовать над самым главным в новых технологиях, держать в руках мастеров и рабочих, наконец, профессионально знать рынки, чтобы быть способными самим ориентировать свое производство, со всеми «стрелочными переводами», какие это требует. Они стремились избавиться от посредничества купца, чтобы самим контролировать закупку и доставку сырья, его качество, регулярность поступления. Мечтая о массовых продажах, они хотели быть в состоянии самим узнавать о движениях рынка и к ним приспосабливаться. Филдены, прядильщики хлопка, которые были хозяевами Тодмордена, имели в начале XIX в. собственных агентов в Соединенных Штатах, которым поручалось закупать хлопок, необходимый для их фабрики [206]. Крупные лондонские пивовары почти не покупали солод на столичных рынках Марк-Лейн или Биа-Кью; у них были комиссионеры в производивших ячмень районах Восточной Англии,— комиссионеры, которых весьма крепко держали в руках, ежели судить по письму, которое отправил одному из них лондонский пивовар: «Я отправил вам по почте образец последнего солода, что вы мне прислали. Он настолько отвратителен... что я более не допущу ни одного мешка его на моем пивоваренном заводе... Ежели когда-нибудь мне придется написать вам другое письмо подобного рода, я целиком изменю программу своих закупок» [207].

Такое поведение соответствовало новому значению промышленности, включая и пивоварение, которое в 1812 г. один француз описывал как «с полным правом одну из достопримечательностей города Лондона. Пивоварня гг. Барклей и К° —

одна из самых значительных. Там все приводится в движение огненным насосом мощностью в тридцать [паровых] лошадиных сил; и хотя там используют около 200 человек и большое число лошадей, но почти исключительно на наружных работах; внутри этой удивительной мануфактуры никого не видно, и все там производится невидимой рукой. Большие мешалки поднимаются, опускаются и крутятся без конца в стоящих на огне котлах глубиной в 12 футов и диаметром примерно в 20 футов, полных хмеля. Элеваторы перемещают на верх здания 2500 буасо * солодовой гущи [208] в день, откуда она по разным каналам распределяется туда, где ее используют; бочки перевозятся без чьего-либо прикосновения; сам огненный насос, каковой все это движет, построен с такой точностью, так мало ударов или трения, что он, без преувеличения, производит едва ли больше шума, чем часы, и повсюду можно было бы услышать, если бы на пол упала булавка. Чаны или большие бочки, куда наливают жидкость, после того как она прошла последние [этапы] ее приготовления, имеют гигантские размеры; самый большой вмещает 3 тыс. бочонков по 36 галлонов каждый, что, при восьми баррелях на тонну, равно кораблю в 375 тонн водоизмещения; и имеется сорок или пятьдесят таких кораблей, из коих самый

* Старая мера сыпучих тел, равная 12,5 литра.— *Прим. ред.*

[208] Выжимки ферментированного ячменя, служившие для изготовления пива.

Изображенная Хогартом ткацкая мастерская в Англии XVIII в.: на переднем плане промышленник проверяет бухгалтерские книги; в глубине — станки, приводимые в движение женщинами. *Фото Британского музея.*



малый содержит 800 баррелей и, следовательно, имеет 100 тонн грузоподъемности... Самый малый из чанов, полный пива, стоит 3 тыс. фунтов стерлингов, и, подсчитав в такой же пропорции прочие, обнаружишь в одном только подвале капитал в 300 тыс. фунтов. Одни только бочонки, служащие для доставки пива потребителям, стоят 80 тыс. фунтов, и вполне вероятно, что все заведение обходится не меньше чем в полмиллиона фунтов стерлингов капитала. Здание огнестойкое: полы железные, а стены из кирпича. Отсюда выходит 250 тыс. бочонков пива ежегодно, чего хватило бы для загрузки флота из ста пятидесяти кораблей грузоподъемностью по 200 тонн каждый...»[209]. Вдобавок эти колоссальные пивоваренные заводы организовали распределение своей продукции — в самом Лондоне, где они напрямую снабжали половину пивных города, но также и в Дублине при посредстве своих агентов [210]. И именно это было важно: промышленное предприятие стремилось к полной самостоятельности. Как раз под таким углом зрения Питер Матиас приводит пример одного предпринимателя, занимавшегося общественными работами, Томаса Кьюбитта, состояние которого возникло около 1817 г., после обогативших его наполеоновских войн. Он был обязан своим успехом не техническим новшествам, но новой методе хозяйствования: он освободился от субподрядчиков, которые в этой сфере были старинным правилом; кроме того, он обеспечил себе постоянную рабочую силу и сумел организовать свой собственный кредит [211].

[209] Simond L. *Op. cit.*, p. 193—194.
[210] Mathias P. *Op. cit.*, p. 153.
[211] *Ibid.*, p. 154.

Такая независимость сделалась признаком новых времен. В конце концов разделение труда между промышленностью и другими секторами деловой активности завершилось. Историки говорят, что то было пришествие промышленного капитализма, и я с ними в этом согласен. Но они утверждают также, будто лишь тогда начинается настоящий капитализм. А вот это определенно куда более спорно. Ибо существует ли «настоящий» капитализм?

РАЗДЕЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА СЕКТОРА

Любое общество, оказавшееся во власти продолжительного роста, неизбежно бывает целиком переворошено разделением труда. Последнее было в Англии вездесущим. Разделение политической власти между парламентом и монархией в 1660 г., в момент Реставрации и в еще большей степени после Декларации прав 1689 г., было по преимуществу началом разделения, имевшего долговременные последствия. Так же как и то, каким образом сектор культуры (от образования до театров, газет, издательств и научных обществ) выделялся как все более и более независимый и влиятельный мир. Разрывы расчленяли и торговый мир, о котором я говорил слишком торопливо. Наконец, наблюдалось изменение профессиональной структуры в соответствии с классической схемой Фишера (1930 г.) и Колина Кларка (1940 г.), т. е. происходило сокращение первичного сельскохозяйственного сектора, все еще преобладавшего,

в пользу сектора вторичного (промышленного), а затем и в пользу увеличивавшегося третичного сектора (услуги). Исключительно [важное] сообщение Р. М. Хартуэлла[212] на Лионском симпозиуме (1970 г.) — хороший повод для того, чтобы нам задержаться на этой, так редко затрагиваемой проблеме.

Верно, что разделение между тремя секторами далеко от совершенной ясности, что не раз границы между первым и вторым (сельское хозяйство и промышленность могли перемешиваться) могли даже вызывать сомнения; что же до третьего сектора, где все сходилось, то можно было бы поспорить о его составе и даже о его облике. Обычно в него включают все «услуги» — торговлю, транспорт, банковское дело, администрацию; но не следует ли исключить из него прислугу? Должна ли огромная масса прислуги (которая к 1850 г. составляла *вторую* профессиональную группу в Англии, непосредственно за сельским хозяйством, насчитывавшую больше миллиона человек[213]) относиться к сектору, теоретически стоящему под знаком более высокой производительности, чем в других? Конечно, нет. Но, приняв это ограничение, признаем, в согласии с правилом Фишера — Кларка, что третичный сектор, который все увеличивается, всегда свидетельствует о развивающемся обществе. В сегодняшних США в секторе услуг занята половина населения: это рекорд, не имеющий себе равных, и доказательство того, что американское общество более других в мире продвинулось вперед.

По мнению Р. М. Хартуэлла, историки и экономисты более чем пренебрегали важностью третичного сектора для английского роста XVIII и XIX вв. Развитие *революции услуг* было как бы по другую сторону промышленной революции, парой к сельскохозяйственной революции.

Огромное увеличение сферы услуг не вызывает сомнения. Невозможно отрицать, что развивался транспорт; что крупная торговля подразделялась; что число лавок непрестанно увеличивалось и они обнаруживали тенденцию к специализации; что предприятия непрерывно, хотя в целом и довольно умеренно, обретали полноценность и что они бюрократизировались; что множилось число новых или возобновляемых функций — комиссионеров, бухгалтеров, инспекторов, актуариусов, посредников... что численность банковского персонала была, правда, смехотворной, но банки очень быстро стали многочисленными. Государство, обремененное тысячами административных дел, бюрократизировалось тоже. Оно страдало излишней «дородностью». Конечно, на континенте были и более крупные государства, чем английское, но оно отнюдь не было таким уж тощим, хоть и переложило на других многие из своих функций. Вполне очевидно, мы не станем добавлять к численности *третичного* сектора численность армии и флота, так же как и численность прислуги. Но зато не приходится спорить по поводу большого места, которое занимали там свободные профессии, врачи, адвокаты. Последние во времена Грегори Кинга уже начали свое восхождение и в большом числе подготавливались в практических школах Уэстминстера[214]. В конце XVIII в.

[212] Hartwell R. M. *The Tertiary Sector in English Economy during the Industrial Revolution.— L'Industrialisation de l'Europe*, p. 213—227.
[213] Mathias P. *Op. cit.*, p. 263.
[214] Pillet R.-M. *Op. cit.*

все свободные профессии были в моде, они стремились обновиться, сломать свою старинную организацию.

Но несла ли эта революция третичного сектора в Англии XVIII в. свою долю ответственности за промышленный подъем? Это нелегко сказать, тем более что, как объясняет сам Колин Кларк, межсекторальное разделение начиналось издавна и продолжалось, существовало в длительной временной протяженности. Во всяком случае, ничто не говорит о том, что расширение третичного сектора привело в движение рост[215]. Но оно, несомненно, было его признаком.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ГЕОГРАФИЯ АНГЛИИ

В рамках разделения труда остается проследить переворот, который перестроил экономическую географию Англии. То была совсем иная вещь, чем разрушение перегородок между автаркичными зонами провинциальной Франции, вынужденной справляться с подъемом XVIII в.[216] Вопрос заключался не в эволюции, а в перевороте. Нередко все будет поставлено с ног на голову. Так игра английских областей, одних по отношению к другим (проецируемая, как и следует, на островное пространство, объясняемая этим пространством, явно в него вписывавшаяся), была наилучшим документом, наиболее ярко говорящим об английском росте и промышленной революции, которую он продвигал вперед. Вызывает удивление то, что она [эта игра] не стимулировала ни одного общего исследования, в то время как Англия располагает заслуживающим внимания наброском исторической географии[217] и великолепной литературой, посвященной историческому прошлому разных регионов[218].

Однако же проблема эта ясно ставилась по меньшей мере Э. Л. Джонсом на Мюнхенском конгрессе (1965 г.)[219], Дэвидом Оггом — в 1934 г.[220], Дж. М. Тревельяном — в 1942 г.[221]: на мой взгляд, они сказали о ней главное, а именно: что английское пространство издавна сочленялось, располагаясь по одну и по другую сторону линии, проведенной от Глостера, на нижнем течении Северна, до Бостона (маленького городка, некогда поставлявшего шерсть флорентийцам и ганзейцам), на берегу залива Уош[222]. Линия эта, если оставить в стороне Уэльс, делила Англию на две части, почти равные по площади и противостоявшие одна другой. На Англию Юго-Восточную — это прежде всего Лондонский бассейн и соседние с ним районы, наименее дождливая часть острова, к тому же более всего испытавшая воздействие истории, где встречаются «все типы городской жизни, возникшие на протяжении веков: церковные центры, региональные рынки, университетские очаги, дорожные этапы и перевалочные пункты торговли, центры [старинных] мануфактур»[223]. Там соединялись все преимущества, накопленные историей,— столица, богатства торговой активности, крупные зерновые районы, деревни, преобразованные в соответствии с потребностями столицы, модернизированные ею, и, наконец, вдоль линий Лондон — Норидж в северном направле-

[215] См. дискуссию на Лионском симпозиуме (*L'Industrialisation de l'Europe*), в частности с. 228.

[216] См. выше, с. 325.

[217] Darby N. C. *Op. cit.*

[218] Вспомним среди прочих классические труды: Dodd A. N. *The Industrial Revolution in North Wales*. 1933; Hamilton H. *The Industrial Revolution in Scotland*. 1932; Chambers J. D. *Nottinghamshire in the Eighteenth Century*. 1932; Court W. H. B. *The Rise of the Middland Industries*. 1938; Smout T. C. *A History of the Scottish People 1560—1830*.

[219] Jones E. L. *The constraints of Economic Growth in Southern England 1660—1840.— Congrès de Munich*, 1965.

[220] Ogg D. *England in the Reign of Charles II*. 1934.

[221] Trevelyan G. M. *English Social History*. 1942, p. 298.

[222] Demangeon A. *Iles Britanniques.— Géographie universelle*, I, 1927, p. 219.

[223] *Ibid.*, p. 149.

нии и Лондон — Бристоль — преимущественно зоны английской предпромышленности. И на Северно-Западную Англию, представлявшую совокупность дождливых областей, где преобладали старые нагорья и скотоводство. В сравнении с соседним регионом то была своего рода периферия, отсталый край. Впрочем, об этом говорят и цифры: в XVII в. население этих частей (не включая Лондон) соотносилось как 1:4, а богатства (исчисленные на основе налога) — как 5:14[224].

Однако промышленная революция начисто изменила эту неуравновешенность. Привилегированная Англия увидела, как приходит в упадок ее традиционная промышленность. Несмотря на свое капиталистическое богатство и на свою торговую мощь, ей не удалось овладеть новой промышленностью и закрепить ее. Другая же Англия, к северу от обозначенной линии, напротив, «за несколько поколений»[225] трансформировалась в страну богатую, удивительно современную.

По дороге, ведущей из Лондона в Шотландию через Нортгемптон и Манчестер, сегодня можно добраться до угольного пояса Пеннинских гор, с его отделенными один от другого бассейнами, где в недавнем прошлом было битком набито людей и машин, где «на американский лад» возникли самые печальные и самые динамичные населенные пункты Англии. Свидетельства этого все еще у нас перед глазами: каждый из угольных бассейнов имеет свою специфику, свою типологию, свою особую историю, свой город — Бирмингем, Манчестер, Лидс, Шеффилд; все эти города выросли единым духом и заставили Англию склониться в сторону Севера. То была неистовая индустриализация и неистовая урбанизация: Черная Англия была машиной для пересадки, для перемешивания людей. Конечно же, география не все объясняет в этом громадном строительстве, но она помогает высветить грубый детерминизм угля, принудительную силу коммуникаций, роль человеческих ресурсов, а также тяжкого груза прошлого. Быть может, неудержимые новшества XVIII и XIX вв. нуждались для своего внедрения в своего рода пустом социальном пространстве.

Конечно, Северно-Западная Англия не была пустыней, разве что в том смысле, в каком говорят ныне журналисты о «французской пустыне», имея в виду запад Франции. Но она попросту была, как Шотландия, *периферией* по отношению к Англии лондонской. И вот на сей раз периферия, включая и Шотландию, догнала центр, ликвидировала свое отставание, достигла уровня центра. В плане теории это было исключением, почти что скандалом. Исключением и скандалом, о которых недавно предупреждал Т. Смаут, имея в виду Шотландию[226]. Но налицо объяснения: взлет центральной зоны (Юго-Восточной Англии) был достижим для периферии (да к тому же слово «периферия», если и напрашивается в случае Шотландии, лишь наполовину подходит для Англии Северо-Западной). К тому же ликвидация отставания второй Англии и Шотландии произошла прежде всего путем быстрой индустриализации. А ведь любая индустриализация процветает, когда она может внедриться среди наименее богатого населения; бед-

[224] Trevelyan G. M. *Op. cit.*, p. 298 and note 1. Заметим, что эти цифры показывают более высокий доход на душу населения в непривилегированной Англии (10 против 7), что означает, что для масс лучше было жить севернее, а не южнее линии Глостер — Бостон.
[225] Demangeon A. *Op. cit.*, p. 149.
[226] Smout T. S. Машинописный текст выступления во время Недели Прато, 1978 г.

ность последнего дает ему преимущество. Взгляните не сегодняшние Южную Корею, или Гонконг, или Сингапур, а в былые времена — на европейский Север в сравнении с Италией.

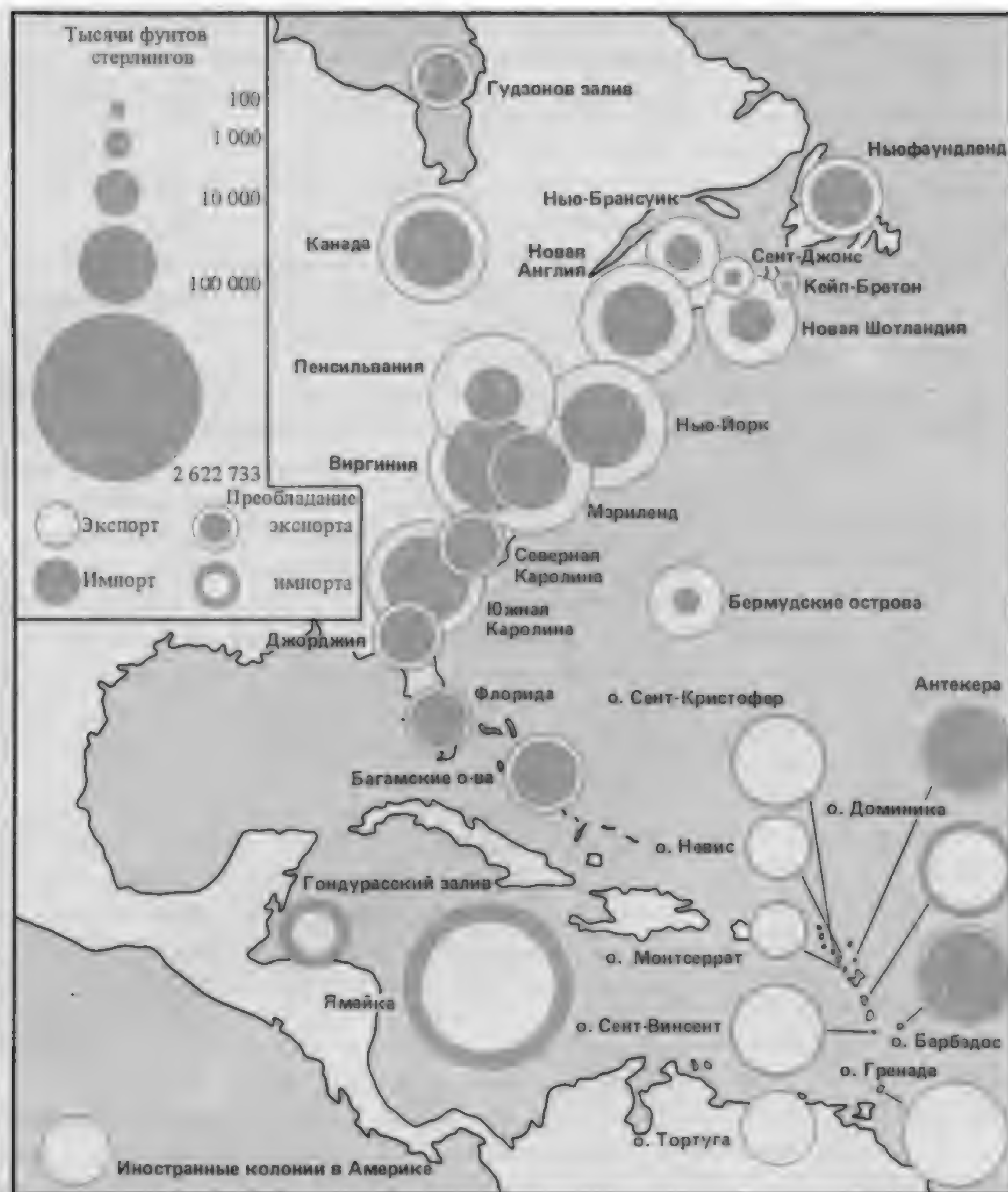
ФИНАНСЫ И КАПИТАЛИЗМ

История капитала перекрывает первую английскую промышленную революцию, она предшествует ей, проходит через нее, выплескивается за ее пределы. В случае исключительно быстрого роста, который все двигал вперед, капитал тоже трансформировался, рос в объеме, и промышленный капитализм утверждал свое значение, вскоре захлестнувшее все. Но был ли он новой формой, посредством которой будто бы рождался капитализм — рождался в истории вообще и в собственной своей истории? Посредством которой он якобы достиг своей завершенности и своей истинности благодаря массовому производству современных обществ и огромному весу основного капитала? А раньше не было ли все просто предварительным этапом, детскими формами, диковинами для историков-эрудитов? Именно к такой мысли зачастую подталкивает, более или менее определенно, историческое объяснение. Оно не ошибочно, но нельзя сказать, что оно справедливо.

На мой взгляд, капитализм — это старое приключение: когда начиналась промышленная революция, он имел за собой обширное прошлое, состоявшее из опытов, не всегда бывших только торговыми. Настолько, что в Англии первых лет XIX в. капитал предстал в различных своих классических формах, которые еще все были живы: капитала сельскохозяйственного, который еще в 1830 г. один только составлял половину английского национального достояния; капитала промышленного, который увеличивался очень медленно, а затем очень стремительно; капитала торгового, весьма давнего, *относительно* менее важного, но распространившегося в масштабе всего мира и создавшего колониализм, которому вскоре придется искать название и оправдания; наконец (если совмещать банковское дело и финансы), капитала финансового, не дожидавшегося для своего существования мирового первенства лондонского Сити. Для Гильфердинга [227] именно XX в. с его изобилием акционерных обществ и колоссальной концентрацией денег во всех их формах сделает будто бы возможным появление и главенство финансового капитализма в той троице, где промышленный капитализм будет якобы Богом-отцом, торговый капитализм, весьма второстепенный,— Богом-сыном, а денежный капитализм — Святым Духом, пронизывающим все [228].

В большей степени, чем на этот спорный образ, обратим внимание на то, что Гильфердинг протестовал против мысли о чисто промышленном капитализме, что мир капитала он рассматривал как развернутый спектр, в котором финансовая форма — совсем недавняя, на взгляд исследователя,— станет будто бы стремиться возобладать над прочими, проникнуть в них, господствовать над ними. Это точка зрения, под которой

[227] Hilferding R. *Das Finanzkapital*, 1910; франц. перевод: *Le Capital Financier*. 1970.
[228] *Ibid.*, p. 311—312.

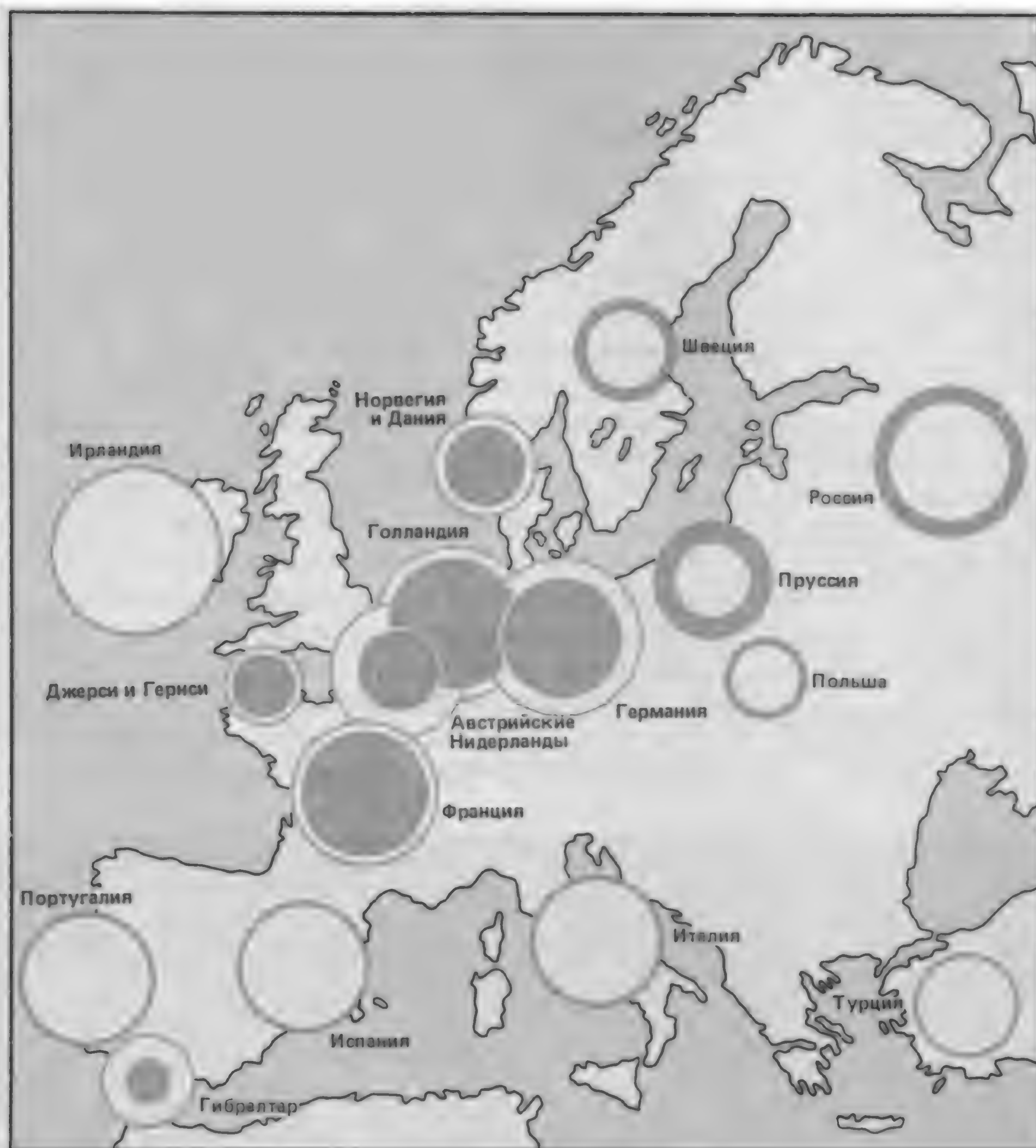


Международная торговля Великобритании в 1792 г.
По данным сводки английских статистических документов (A.E., M. et D., Angleterre 10, f° 130). Импорт превышает или не превышает экспорт в соответствии с тем, белым или черным цветом закрашены центральные части кругов, изображающих импорт (И) и экспорт (Э). Круги, представляющиеся пустыми, говорят о равновесии между И и Э: в Турции И = 290 559, Э = 273 715; в Италии соответственно 1009 тыс. и 963 263; в Ирландии — 2 622 733 и 2 370 866. Неуравновешенность к выгоде Англии: американские Штаты, Португалия — 977 820 и 754 612; Франция после договора Идена — 717 034 и 1 221 666. Сводный подсчет: для Европы — 11 170 860 и 12 813 435; для Америки — 5 603 947 и 8 159 502; для Азии — 2 671 547 и 2 627 887; для Африки — 82 917 и 1 367 539. В целом 19 529 273 против 24 878 362, т. е. положительное сальдо, превышавшее 5 млн.

я бы без труда подписался, если допустить, что множественность капитализма — дело старинное, что финансовый капитализм не был новорожденным 1900-х годов и что даже в прошлом, пусть только в Генуе или в Амстердаме, он уже умел (после сильного роста торгового капитализма и накопления капиталов, превышавшего нормальные инвестиционные возможности [229]) овладевать рынком и какое-то время господствовать над всем деловым миром.

Что касается Англии, то очевидно, что весь спектр, включая и подъем «денежного капитализма», раскрылся задолго до начала XX в. Задолго до этой даты, в потоке революций, что пронизывали бурный рост Англии, была даже финансовая революция, протекавшая вперемешку с индустриализацией страны, которая если ее и не вызвала, то по меньшей мере сопровождала и даже сделала возможной. Часто утверждают, что английские банки не финансировали индустриализацию. Но новейшие исследования доказывают, что кредит, долгосрочный и кратко-

[229] См. выше, гл. 2 и 3.



В экспорте доля «английских изделий» составила 18 509 796, доля реэкспорта иностранных изделий — 6 568 565. Эту английскую торговлю обеспечивали 15 463 корабля, пришедших [в английские порты], и 15 010 кораблей, вышедших [из них], т.е. 30 470 кораблей, из которых 3 620 были иностранными. Среднее водоизмещение английских кораблей составляло 122 тонны; средняя численность команды — 7 человек. Во франко-английской торговле — 3160 приходов и выходов судов, в т.ч. 430 иностранных. В торговле с Азией — 28 выходов, 36 приходов, все корабли английские. Среднее их водоизмещение — 786 тонн, средняя численность команды — 93 человека. «Ост-Индские корабли» *(Indiamen)* не выделяются, оставаясь на уровне средних показателей. Эта сводка не учитывает крупную прибрежную торговлю Англии (уголь).

срочный, поддерживал предпринимательскую деятельность в XVIII и даже в XIX в.[230]

Английский банк, основанный в 1694 г., был стержнем целой системы. Вокруг него, опираясь на него, располагались частные лондонские банки: в 1807 г. их было 73, в 20-е годы XIX в. — примерно сотня[231]. В провинции «сельские банки» (*country banks*), появившиеся самое малое с начала XVIII в., умножившиеся вослед Компании Южных морей, затем вовлеченные в ее банкротство (*Sea Bubble*), были в 1750 г. в числе всего одной дюжины, но в 1784 г. их стало 120, около 1797 г. — 290, в 1800 г. — 370 и по меньшей мере 650 к 1810 г.[232] К этой же самой дате другой автор насчитывает их 900, вне сомнения учитывая отделения, которые иные из них содержали. Правда, что это внезапно возникшее поколение банков было торжеством лилипутов (банки не имели права насчитывать больше шести компаньонов[233]), и так же, как и спекуляция, которая не была привилегией Лондона, это поколение было порождено местными конъюнктурой и потребностями. «Банк графства»[234] очень часто бывал всего лишь дополни-

[230] Hilferding R. *Op. cit.*, p. 175—177.

[231] Crouzet F. *L'Économie de la Grande-Bretagne victorienne*. 1978, p. 280.

[232] Mathias P. *Op. cit.*, p. 169.

[233] В 1826 г. из 552 банков 49 имели одного владельца, 157 — двоих, 108 — четверых, 43 — пятерых, 26 — шестерых. A. E., C.C., Londres, 21, f[os] 168—177, 22 марта 1826 г.

[234] «Банк графства» — так иногда во французской дипломатической корреспонденции переводили словосочетание *Country Bank*.

тельной конторой, открытой в давно существовавшем предприятии, где выпуск кредитных билетов, учет векселей и ссуды становились добрососедскими услугами, нередко оказывавшимися запросто. Такие импровизированные банкиры выходили из людей самых разнообразных профессий: Фостеры в Кембридже были мельниками и хлеботорговцами; в Ливерпуле большинство банков было порождением торговых фирм; Ллойды в Бирмингеме пришли из торговли железом; Смиты в Ноттингеме были торговцами-чулочниками; Герни в Нoридже — торговцами пряжей и изготовителями шерстяных тканей; в Корнуолле банкиры в большинстве своем были владельцами горных разработок, в других местностях — торговцами солодом или хмелем или же пивоварами, суконщиками, галантерейщиками, сборщиками дорожных пошлин[235].

[235] Mathias P. *Op. cit.*, p. 170.

В общем, банки зарождались в XVIII в. из местной конъюнктуры, примерно таким же образом, как и первые предприятия новых видов промышленности. Эта провинциальная Англия нуждалась в кредите, испытывала потребность в обращении векселей, в наличных деньгах, и частные банки все эти функции выполняли, поскольку они даже имели право выпускать кредитные билеты. Для них это было прекрасным источником прибылей, ибо (по крайней мере поначалу, пока им



Угольная биржа в Лондоне. Английская гравюра Роулендсона. *Фото Роже — Виолле.*

оказывали достаточно доверия, чтобы оставлять у них вклады), именно создавая деньги, они расширяли свой кредит [236]. В принципе эти банки имели некий золотой запас для покрытия своих эмиссий, но, едва наступал кризис, едва публика начинала волноваться, как то было в 1745 г., они вынуждены были со всей поспешностью изыскивать наличные в лондонских банках, чтобы избежать банкротств. Впрочем, избежать последних удавалось не всегда, в особенности во время кризисов 1793 и 1816 гг. И такие крахи вполне доказывают, что местные банки предоставляли крупные займы не только на короткий, но и на длительный срок [237].

Однако в целом система была прочна, так как она практически, если и не официально, поддерживалась Английским банком, игравшим роль «заимодавца на крайний случай» [238]. Его запасов наличности обычно хватало для покрытия неожиданных выплат частным банкам, лондонским или провинциальным, в случае затруднений. После 1797 г., когда билеты Английского банка перестали обмениваться на золото, они сделались для местных банков той монетой, на которую они на будущее обязывались обменивать свои собственные кредитные билеты. Явный признак общей стабильности: частные банки стали депозитными банками, увеличив в силу этого свою способность предоставлять авансы как фермерам и земельным собственникам, так и промышленникам и владельцам шахт или строителям каналов [239]. Последние не упускали такой возможности: герцог Бриджуотерский — прекрасный тому пример.

Когда начиная с 1826 г. законом было разрешено создание акционерных банков (*joint stock banks*) [240], они образовали новое поколение банков — более солидных, лучше снабжавшихся капиталами, нежели предшествовавшее поколение. Но были ли они осторожнее? Нет, им нужно было оспаривать клиентуру у банков, уже существовавших, рисковать больше, чем они. И их число росло на глазах: в 1836 г. их было 70, но с 1 января по 26 ноября того же года 42 акционерных банка «были организованы и вступили в конкурентную борьбу с теми, что уже существовали» [241]. Вскоре их будет сотня и со своими многочисленными отделениями они уравняются в количестве с сельскими банками (*country banks*), которые с того времени будут выглядеть как учреждения устаревшие.

Лондон долго будет закрыт для акционерных банков, однако в конечном счете они в него прорвутся. И вот в 1854 г. они оказались допущены в Расчетную палату (*Clearing House*) столичных банков, т. е. в полной мере стали участвовать в том обращении денег и кредита, единственным, сложным и все усложнявшимся сердцем которого был Лондон. Расчетную палату, которая была создана в 1773 г. для компенсационных расчетов между банками, восторженно описывает в 1811 г. француз Морис Рюбишон. «Механизм обращения,— пишет он,— устроен таким образом, что можно говорить, что в Англии нет ни бумаг, ни денег. Сорок лондонских кассиров производят между собою почти все платежи и

236 *Ibid.*, p. 171.
237 Mathias P. *Op. cit.*, p. 176.
238 *Ibid.*, p. 172—173.
239 *Ibid.*, p. 171—172.
240 A. E., C. C., Londres, 27, f^os 319—351, 12 июня 1837 г.
241 *Ibid.*

сделки королевства; собираясь ежевечерне, они, естественно, обмениваются ценностями, коими располагают друг на друга, так что векселя на тысячу луидоров зачастую бывает достаточно, чтобы прекратить обращение нескольких миллионов» [242]. Восхитительное изобретение! Тем не менее именно в таких же выражениях наблюдатели XVI или XVII в. описывали механизмы традиционных ярмарок — лионских или безансонских (пьяченцких). С тою разницей, и немаловажной, что собрания для *клиринговых* расчетов происходили в Лондоне ежедневно; прежние и великие ярмарки собирались четырежды в год...

С другой стороны, банку принадлежала роль, которой ярмарка играть не могла. «В этой стране,— писал один умный француз,— ни одно лицо, занимающееся торговлей либо нет, не держит деньги при себе; оно их помещает у банкира, а вернее — кассира, на которого выписывает [платежные документы], который ведет его счета и оплачивает все его расходы в соответствии с его кредитом» [243]. Сконцентрированные таким образом в банке деньги не остаются в бездействии, они становятся деньгами движущимися, рискующими, ибо ни банкир, ни кассир не оставляют их дремать в своих сейфах. Как говорил Рикардо, отличительная функция банкира «начинается с того момента, как он использует деньги других» [244]. Вдобавок имелись деньги, обращавшиеся в принудительном порядке между Английским банком и английским правительством, между этим банком — механизмом и шансом «на крайний случай» — и прочими банками и торговыми и даже промышленными предприятиями. При посредстве сберегательных банков (*saving banks*) происходил также и захват денег, скопленных бедняками,— операция громадная, как говорилось в одном французском письме, ибо «сие богатство бедноты [взятое в его массе] в Англии больше, нежели состояния богачей во многих других королевствах» [245].

Эти пояснения следовало бы дополнить становлением в Лондоне третьего поколения псевдобанков в интересах *вексельных маклеров (bill-brokers)*, которые основывали учетные конторы *(discount houses)*. Надо было бы также показать, как лондонские частные банки, банки Сити, игравшие роль агентов и корреспондентов региональных банков, имели возможность перераспределять кредит и перебрасывать излишки денег из районов вроде английского Юго-Востока в активные зоны Северо-Запада. Тут игра была достаточно ясная, капиталы распределялись так, как это наилучшим образом отвечало интересам кредиторов, заемщиков и посредников.

Наконец, надо было бы посетить Английский банк, чтобы констатировать:

что он был не только правительственным банком, наделенным в силу такой функции различными привилегиями и обязанностями, но и частным банком, имевшим своих акционеров и бывшим сам по себе весьма выгодным делом: «...акции... с первоначальной стоимостью 100 фунтов стерлингов стоили в 1803 г. 136, а ныне стоят 355 фунтов» (6 февраля 1817 г.) [246].

[242] Rubichon M. *Op. cit.*, II, p. 259.
[243] Письмо шевалье Сегье из Лондона, от 5 августа 1818 г., A. E., C.C., Londres, 13, f° 274.
[244] Bagehot W. *Lombard Street, ou le Marché financier en Angleterre.* 1874, p. 21.
[245] A. E., C. C., Londres, 22, f° 275, Лондон, 24 июля 1828 г.
[246] A. E., C. C., Londres, 12, f° 38 v°.

На протяжении всего XVIII в. они питали биржевую спекуляцию в Лондоне и в Амстердаме;

что использование кредитного билета Английского банка непрестанно расширялось, захватывая всю страну, а не только столицу и ее район, бывшие с самого начала заповедным полем для этого билета. В Ланкашире, в Манчестере и в Ливерпуле рабочие отказывались получать оплату в билетах частных банков, легко обесценивавшихся у лавочников[247]. Лондон плюс Ланкашир — это уже было превосходным полем деятельности. Но после 1797 г. билет Английского банка сделался по всей стране *заменителем (ersatz)* золотой монеты.

Надо было бы также нанести визит на *Фондовую биржу (Stock Exchange)*, куда плотными рядами вступали новые ценности. Число котировок стремительно росло: в 1825 г. появилось 114 новых курсов, из которых 20 приходилось на железные дороги, 22 — на займы и банки, 17 — на зарубежные горные предприятия (главным образом в Испанской Америке), плюс 11 компаний по производству осветительного газа... Одни только эти 114 новых котировок представляли 100 млн. фунтов[248] вовлеченных капиталов, по крайней мере в принципе, поскольку не все капиталы вносились с самого начала.

И уже начался отток английских капиталов в сторону зарубежного их помещения. Это движение, ставшее фантастическим в самом конце XIX в., широко наметилось с 1815 г.[249] — правда, с разным успехом, — а в 1826 г. даже разразился ужасный кризис. И тем не менее биржевая и финансовая спекуляция и вывоз капиталов через весьма оживленный финансовый рынок будут продолжаться. К 60-м годам XIX в., когда промышленное производство еще росло вовсю (оно почти удвоилось за десяток лет и сохранит высокий темп по меньшей мере до 1880 г.[250]), когда инвестиции в *национальную* экономику были, вероятно, самыми высокими за всю английскую историю[251], финансовые инвестиции за границей, сильно нараставшие с середины столетия, в иные годы уже сравнивались с *общей суммой* капиталовложений на национальной территории[252]. С другой стороны, *процентная доля* торговли и транспорта в национальном доходе все время возрастала, дойдя с 17,4% в 1801 г. и 15,9% в 1821 г. до 22% в 1871 г. и 27,5% в 1907 г.[253]

Так можно ли говорить о некоем «промышленном» капитализме, который будто бы и есть «настоящий» капитализм, победоносно сменивший капитализм торговый (ненастоящий) и в конце концов скрепя сердце уступающий место ультрасовременному финансовому капитализму? Капитализмы банковский, промышленный и *торговый* (ибо капитализм никогда не переставал быть торговым в первую очередь) сосуществовали на всем протяжении XIX в. и уже до XIX в., да и после XIX в.

Что изменялось с течением времени и беспрерывно, так это возможности [получения] и норма прибыли в зависимости от секторов и от стран, и, следуя за такими вариациями, изменялась соответствующая масса капиталистических инвестиций. С 1830 до примерно 1870 г., в эпоху великой английской индустриализации, соотношение капитал/доход было, видимо, самым высоким, какое когда-либо знала Англия[254]. Но происхо-

[247] Ashton T. S. *The Bill of Exchange and Private Banks in Lancashire 1790—1830.— Papers and English Monetary History.* Ed. T. S. Ashton, R. S. Sayers, 1953, p. 37—49.
[248] A. E., C. C., Londres, 20, f° 29, Лондон, 10 февраля 1825 г.
[249] Ashton T. S. *La Révolution industrielle...*, p. 141.
[250] Deane Ph., Cole W. A. *Op. cit.*, p. 296.
[251] *Ibid.*, p. 305.
[252] Pollard S., Crossley D. W. *The Wealth of Britain...*, p. 199.
[253] Deane Ph., Cole W. A. *Op. cit.*, p. 166, 175.
[254] Deane Ph., Cole W. A. *Op. cit.*, p. 304—305.

дило ли это единственно по причине добродетелей промышленного капитализма *самого по себе* или же из-за того, что английская промышленность могла тогда расти соразмерно с масштабами огромных мировых рынков, на которых Англия господствовала безраздельно? Доказательство тому, что в это же самое время парижский капитализм повернул в сторону финансов, заняв место, бывшее *для него* самым удобным и прибыльным, таким, которое он мог оспаривать у Англии. Парижский рынок заставил широко себя признать в качестве организатора внутриевропейских перемещений капиталов. «Вот уже двадцать лет,— писал из Лондона шевалье Сегье в сентябре 1818 г.,— как Париж сделался главным центром банковских операций в Европе, тогда как Лондон не представляет собою собственно банковского города. Из этого вытекает, что английский капиталист, желающий проделать банковскую операцию, т. е. перевести капиталы из одной страны в другую, вынужден адресоваться в банкирские города континентальной Европы; а так как Париж — самый из них близкий, то именно оттуда и производится ныне основная часть английских операций» [255]. Это утверждение заслуживало бы того, чтобы к нему присмотреться поближе. Но невозможно отрицать, что Париж оставил за собой роль рядом с Лондоном, в тени Лондона, что он в общем составлял действенную конкуренцию, и если прав У. Беджгот, специалист по истории Фондовой биржи *(Stock Exchange)*, то неблагоприятная для Парижа перемена наметится лишь после 1870 г. Именно после Франко-прусской войны, утверждал он, англичане стали банкирами всей Европы [256].

[255] A. E., C. C., Londres, 13, f° 357, 6 сентября 1818 г.
[256] Bagehot W. *Lombard Street...*, p. 31.

КАК РАСЦЕНИВАТЬ РОЛЬ КОНЪЮНКТУРЫ?

Этот вопрос, последний в настоящей главе, вопрос, который останется без категорического ответа, выводит ли он нас за рамки нашего намерения, которым было желание выйти за пределы исторического поля промышленной революции? В определенной мере да, потому что рассматриваемое здесь время конъюнктуры — это время конъюнктуры сравнительно краткосрочной (не превышающей продолжительность цикла Кондратьева). Мы оставим длительную временную протяженность, чтобы увидеть картину с наблюдательных пунктов, более приближенных к наблюдаемой реальности. Детали предстанут нашему взору в увеличенном размере.

Длительные и полудлительные флуктуации, неутомимо сменяющие друг друга, как непрерывная череда волн, суть правило мировой истории, правило, идущее к нам издалека и обреченное на вечное продолжение. Это нечто вроде перемежающегося ритма, Шарль Моразе говорил о *динамических структурах*, о как бы заранее запрограммированных движениях. Такая конъюнктура неизбежно выводит нас в самое сердце уже затрагивавшихся проблем, но особыми путями — дорогами истории цен, интерпретация которой была одной из главных проблем историографии в течение последних сорока или пятидесяти лет.

В этой области английским историкам не приходится стыдиться своих зарубежных коллег. Они были в числе первых и лучших собирателей серий цен. Но конъюнктуру они видят не так, как другие историки (в частности, французские).

Предельно упрощая, я сказал бы, что английские историки не рассматривают конъюнктуру как силу, порожденную внешними обстоятельствами, что остается нашей точкой зрения, более или менее определенно сформулированной Эрнестом Лабрусом, Пьером Виларом, Рене Берелем или Жаном Мёвре. Для них и для меня самого конъюнктура распоряжается совпадающими процессами, она ворочает делами людскими. По мнению же наших английских коллег, как раз национальные процессы и события создают специфичные для каждой страны конъюнктуры. С нашей точки зрения, застой и падение цен в 1778—1791 гг. были обусловлены международным интерциклом Лабруса, а на их взгляд — войной английских колоний в Америке за независимость (1775—1783 гг.) и ее последствиями. Что до меня, то я слишком убежден во взаимности перспектив, чтобы не признать, что приемлемы оба взгляда и что на самом деле объяснение должно идти в обоих направлениях. Но в зависимости от того, пойдем ли мы в одном или в другом из них, ответственность или, если угодно, действующие причины рискуют поменяться местами и изменить свой характер.

Т. С. Эштон[257] и историки, принявшие его точку зрения[258], определенно правы, когда перечисляют ряд факторов, оказывавших влияние на колебания. Первый из них — это война. С этим никто не станет спорить. Но точнее — это балансирование между войной и миром (Семилетняя война 1756—1763 гг., война английских колоний в Америке [за независимость] 1775—1783 гг., война против революционной и императорской Франции 1793—1802 гг. и 1803—1815 гг.). Затем идут колебания сельской экономики (которая, повторяю, оставалась основной сферой деятельности Англии до самых 30-х годов XIX в.) между хорошими, средними урожаями и неурожаями; эти последние (1710, 1725, 1773, 1787, 1792—1793, 1795—1796, 1799—1800 гг.) были отправными точками так называемых кризисов Старого порядка[259], сотрясавших всю экономическую жизнь в целом. Даже в XIX в. становившееся все более и более частым обращение к иностранной пшенице будет непрестанно вызывать колебания в английской экономике, хотя бы по причине немедленных платежей (и наличными, как сообщает переписка), которые приходилось производить для того, чтобы добиться быстрого прибытия мешков с зерном или бочонков с мукой.

Прочие факторы английских *флуктуаций* — это торговые циклы *(trade cycles)*: у английской торговли были свои приливы и отливы, которые соответственно выражались в подъемах и спадах конъюнктуры. А также движение денежного обращения: с одной стороны, золотой и серебряной монеты, с другой — массы кредитных билетов всяческого происхождения. Лондонская биржа (где «чрезмерно чувствительное состояние» было правилом, где опасение бывало более настойчивым гостем, чем надежда[260]) была любопытным сейсмографом, регистрировавшим многообразные движения конъюнктуры, но

[257] Ashton T. S. *Economic Fluctuations in England 1700—1800.* 1959.
[258] Mathias P. *Op. cit.*, p. 227 f.
[259] В соответствии с терминологией Э. Лабруса, знакомой французским историкам.
[260] A. E., C. C., Londres, 101, 14 ноября 1829 г.

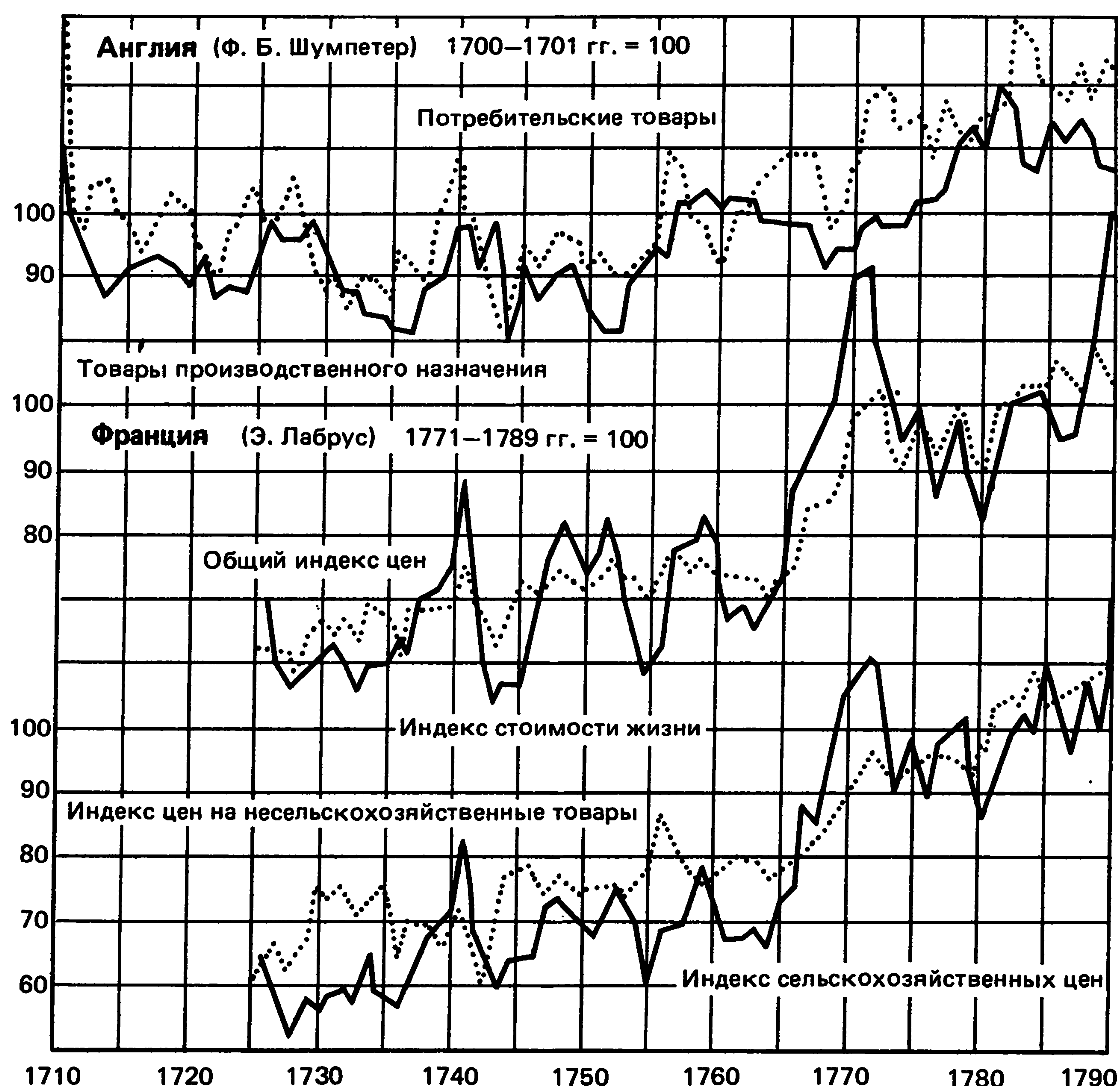
также располагавшим дьявольской властью самому порождать землетрясения: так было в 1825—1826, в 1837 и в 1847 гг. В самом деле, каждые десять лет, как то уже стало приблизительным правилом на протяжении последней трети XVIII в., на последних этажах экономической жизни наблюдались наряду с кризисами традиционного типа, так называемыми кризисами Старого порядка, кризисы кредита[261].

Таков смысл рассуждений наших английских коллег. Для французских историков (правы они или не правы — это вопрос, подлежащий обсуждению) конъюнктура есть реальность в себе, хотя и нелегко поддающаяся объяснению сама по себе. Мы полагаем вместе с Леоном Дюприе, а также с Вильгельмом Абелем, что цены образовывали некую совокупность. Дюприе говорит даже о *структуре цен.* Они между собой связаны, и если они колебались все, то происходило суммирование их частных вариаций. А главное — они не были какой-то «вибрацией», которая была бы ограничена *одной* национальной экономикой, какой бы значительной та ни была. Англия не была одинокой в создании своих цен, в приливах и отливах своей торговли и даже в своем денежном обращении; ей в этом помогали другие экономики мира — и всего мира! — и все они шли почти в ногу. И именно это более всего поразило нас, историков, с самого начала наших исследований. Просмотрите на сей счет имеющие решающее значение разоблачительные страницы Рене Береля, [написанные] под знаком такого удивления.

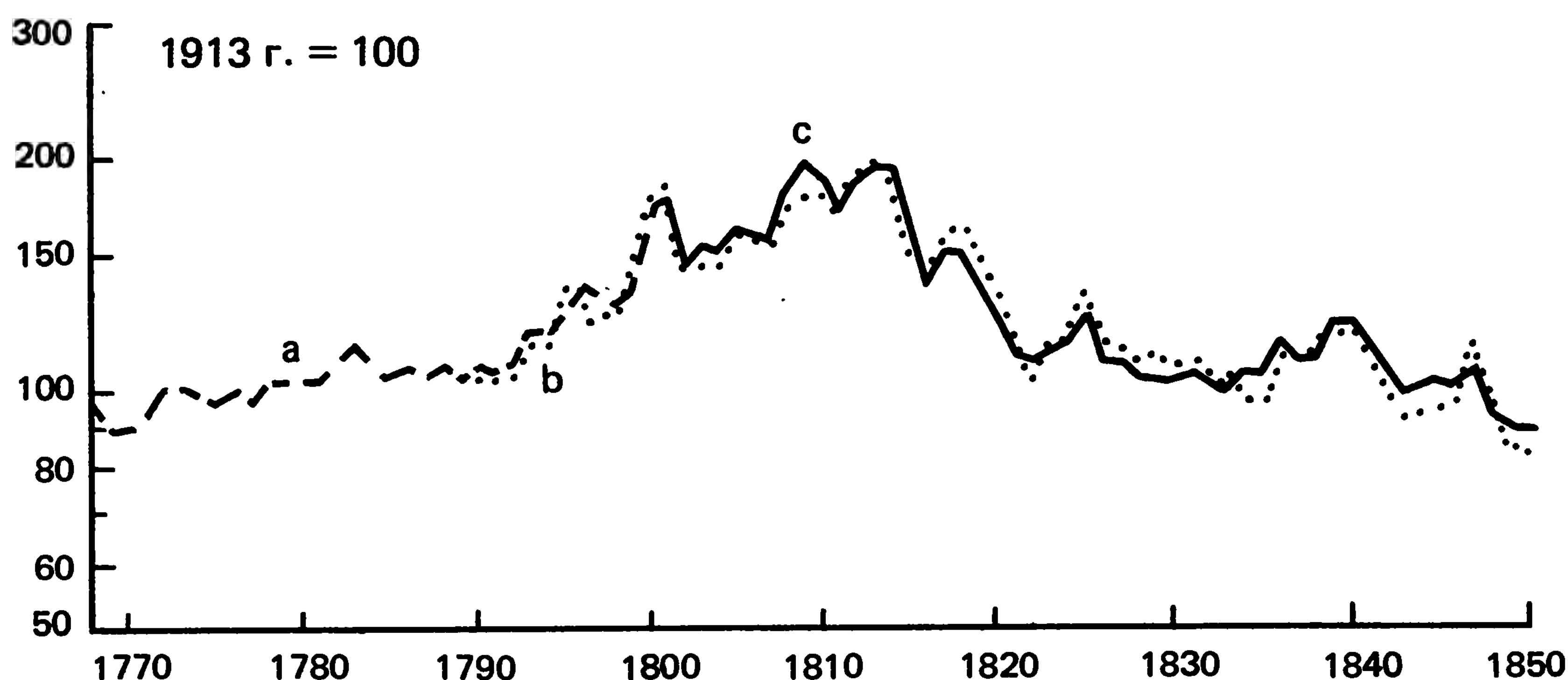
Конъюнктура, что поднимала, стопорила или снижала английские цены, не была, следовательно, временем, свойственным Англии, а была «временем мира». То, что время это отчасти сформировалось в Англии, что Лондон даже был его важнейшим эпицентром,— это вероятно и почти достоверно; но мир будоражил и деформировал конъюнктуру, которая не была исключительной собственностью острова. Последствия вполне очевидны: зона резонансных колебаний цен — это вся совокупность мира-экономики, центр которого занимала Англия. Значит, конъюнктура в Англии была отчасти экзогенной, и то, что происходило вне пределов Англии, в частности в близлежащей Европе, свидетельствует об английской истории. Европа и Англия были охвачены одной и той же конъюнктурой, что вовсе не означает, что они находились в одинаковых условиях. Говоря о роли конъюнктурного *кризиса* во всеобщей экономике, я, напротив, подчеркнул, что он неодинаково ударял по слабым и по сильным, не мог наносить им одинаковые удары (например, Италии и Голландии в XVII в.), что он, следовательно, был возможностью перераспределить международные задачи и экономические отношения, укрепляя в конечном счете динамизм самых сильных и подчеркивая отступление ослабленных. Именно поэтому я не согласен с доводом, который П. Матиас использовал для того, чтобы отрицать роль нисходящей ветви цикла Кондратьева в 1873—1896 гг. и ее ответственность за Великую депрессию (*Great depression*), поразившую Англию в эти самые годы[262]. Если тогда, доказывает он, уровни роста в Германии и в США на протяжении этого периода и упали, то все же участь Германии, США и Англии была очень разной, на-

[261] См. выше, гл. 3, с. 269. и сл.
[262] Mathias P. *Op. cit.*, p. 404.

Цены в Англии и во Франции, 1710—1790 гг. Интерцикл Лабруса очень четко выражен на кривых для Франции; наблюдается ли он на «английских» кривых? (По данным Г. Эмбера: Imbert G. *Des Mouvements de longue durée Kondratieff.* 1959, p. 207.)



Долговременное движение цен в Англии
На скорректированной долгосрочной кривой без особой ошибки может быть прослежена в 1772—1793 гг. та «стабильность», о которой говорит Леон Дюприе. Французскому интерциклу соответствует самое большее уровень 1780—1790 гг. Цикл Кондратьева, как и во Франции, начинается около 1791 г., достигает вершины к 1810—1812 гг. (во Франции — к 1817 г.), приходит в нижнюю точку в 1850—1851 гг. Три линии (сплошная и пунктирные) соответствуют разным подсчетам. (По данным кн.: Deane P., Cole W. A. *British Economic Growth, 1688—1959.* 1962, вклейка.)



блюдалось относительное отступление Британских островов, снижение их доли в мировой экономике. Вне сомнения. Уже намечалось то, что станет очевидным во время кризиса 1929 г. Но остается фактом, что имело место замедление роста одновременно в Германии, в Соединенных Штатах, в Англии и, разумеется, во Франции. И трудно отрицать, хоть это определенно удивляет, как раз согласованное движение *кривых*, а не уровней.

То, что было очевидно в XIX в., что еще более очевидно в нашем сегодняшнем мире, а именно конъюнктура, которая проявляет себя аналогичным образом на обширных пространствах и почти везде наносит удар в одно и то же время, было очевидным уже в XVIII в. и даже раньше. И значит, велик соблазн сравнить то, что происходило в Англии с 1770—1780 гг. до 1812—1817 гг., с тем, что происходило во Франции, где мы располагаем исчерпывающим исследованием Эрнеста Лабруса. Тем не менее не будем слишком поддаваться иллюзиям: французская картина не могла бы сразу же сделаться приемлемой по другую сторону Ла-Манша. Предлагаемые нам кривые многообразны и не обязательно говорят на одном и том же языке. Если бы конъюнктура цен, заработной платы, производства была изучена от страны к стране с одними и теми же заданными критериями, то лучше были бы установлены совпадения и расхождения и проблема сходства или несхожести была бы решена. Дело же обстоит не так. Но если сравнить кривые цен на средства производства и потребления, одни английские, другие французские, то сразу же видишь, что последние более подвижны, более драматичны, нежели первые. И может быть, это нормально: в центре мира вода бурлит меньше, чем в иных местах. Что касается кривой английских цен, заимствованной у Ф. Дин и А. Коула, то трудно решиться признать в ней интерцикл 1780—1792 гг.; речь идет скорее о площадке, о «стабильности», как говорит Л. Дюприе, по мнению которого этот застой будто бы начался в 1773 г. Зато согласованность кривых бесспорна в том, что касается последовавшего затем цикла Кондратьева: начальная точка — 1791 г., вершина — 1812 г., окончание спада — 1851 г.

Заключим, что английская промышленная революция знала с 1781 по 1815 г. (даты огрублены) два движения, два дыхания — первое трудное, второе легкое. В общем, то был дыхательный ритм Франции и Европейского континента: несчастной Франции, сокрушенной Людовиком XVI, который откроет ее двери вихрям политической революции, соответствовала Англия Георга III, тоже обеспокоенная мрачной конъюнктурой. В Англии не предстояло политического взрыва в конце испытания, но испытание было налицо. На десяток лет прервался подъем, который до того времени благоприятствовал английской экономике. Нельзя сказать, что ничего больше не получалось, но ничего не получалось так хорошо, [как прежде]. Англия, как и Франция, платила цену фантастических усилий и затрат на американскую войну. А последовавший за этим кризис все усложнил, перераспределил задачи, подчеркнул различия между секторами. Коммерция, как во Франции, так и в Англии, узнала сенсационный рост, но в конце концов торговые балансы, как с одной стороны, так и с другой, расстроились, обратясь одновременно и против Англии и против Франции. Торговое отставание энергично пытались восполнить, но удалось это лишь наполовину. Разве же не было поиском безопасности подписание в 1786 г. договора Идена, это сближение между двумя враждебными и не доверявшими друг другу державами?

Обычно результатом ненормально продолжительной де-

прессии оказывается то, что происходит отбор между предприятиями, благоприятствующий тем, которые приспосабливаются и выдерживают, и добивающий тех, кто оказывается слишком слабым, чтобы выжить. Счастьем для Англии было то, что к этому трудному отрезку пути она подошла в такой момент, когда в ней множилось число инноваций «второго поколения»: «дженни» (1768 г.), механическое прядение с гидравлическим приводом (1769 г.), сверлильный станок (1775 г.), ротационная паровая машина (1776—1781 гг.), пудлингование (1784 г.), первая работоспособная молотилка (1786 г.), усовершенствованный токарный станок (1794 г.). То есть огромные технические инвестиции накануне возобновления подъема.

В 1791 г. климат в экономике снова стал благоприятным: цены росли, деловая активность расширялась и разделялась, производительность повышалась при разделении труда. Английское сельское хозяйство получало от этого выгоду вплоть до Ватерлоо, и средних размеров хозяйства смогли продержаться благодаря выгодным ценам. То было хорошее время, которое также позволяло бессмысленное расточительство войн эпохи Революции и Империи (для Англии — 1 млрд. фунтов стерлингов расходов[263]). Но так как время это было собственностью не одной только Англии, континент тоже узнал, хоть и в замедленном темпе, создание современной промышленности.

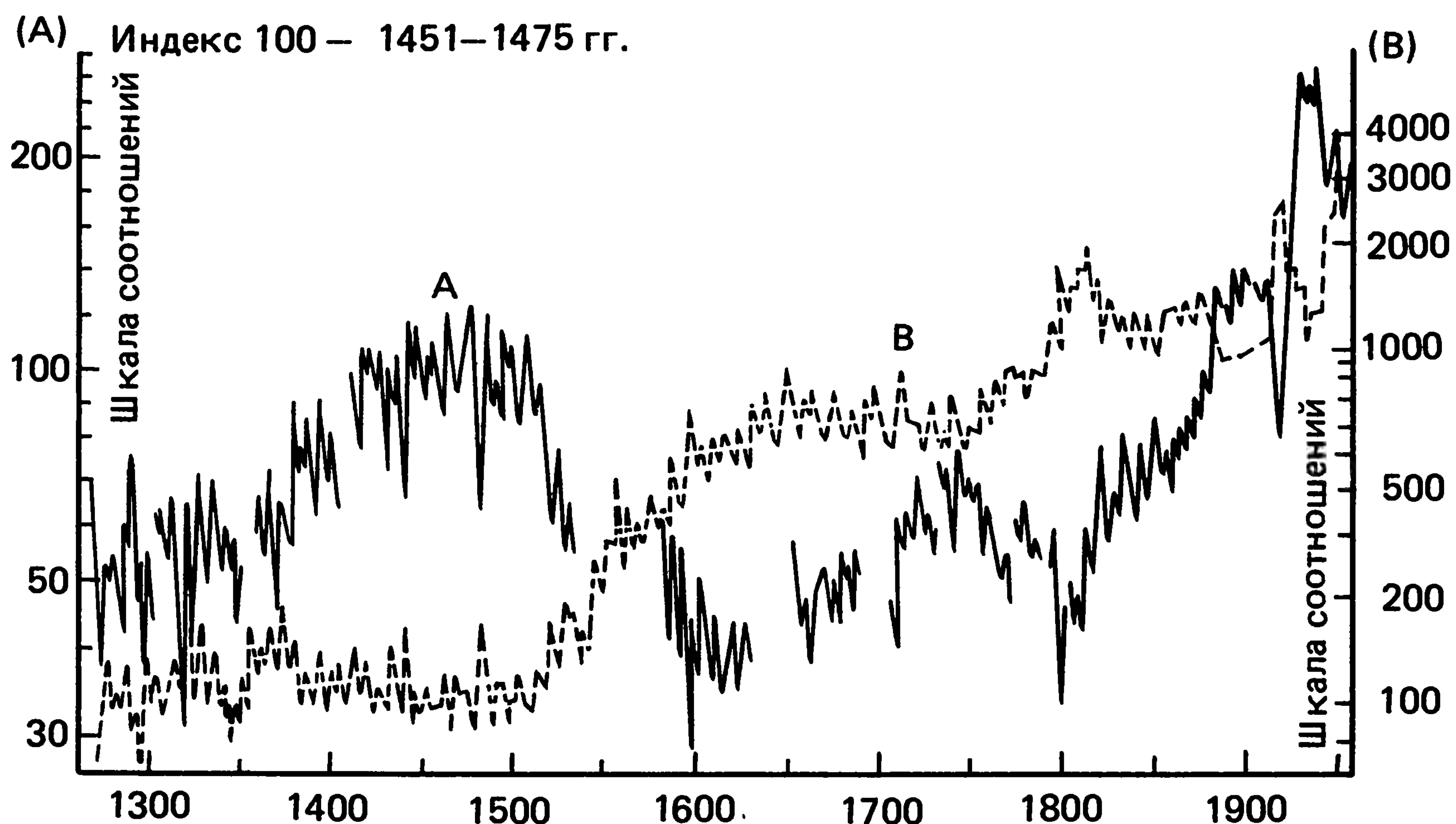
Тем не менее повышательная конъюнктура в Англии вздувала цены быстрее, чем росла зарплата. И потому когда к этому еще добавился демографический рост, то в 1770—1820 гг.[264] наблюдалось снижение уровня жизни, дохода на душу населения в текущих ценах: 9,1 фунта стерлингов в 1688 г.; 19,1 фунта в 1770 г.; 15,4 фунта в 1798 г.; 14,2 фунта в 1812 г. и 17,5 фунта в 1822 г. Самое лучшее доказательство дает нам кривая Фелпса Брауна и Шейлы Хопкинс, относящаяся к заработной плате английских каменщиков с XIII по XIX в. Мы воспроизводим ее на следующей странице, указав, по каким критериям она была вычерчена. Эта кривая — решающая. На многовековом отрезке она показывает правильную корреляцию между подъемами цен и снижениями реальной заработной платы: растущие цены определяли рост производства и рост населения — взаимосвязанные явления направляли друг друга,— но заработки всякий раз понижались; в условиях Старого порядка прогресс происходил в ущерб жизненному уровню трудящихся. Однако это правило, бывшее неизменным признаком Старого порядка, отмечалось еще, по расчетам Брауна и Хопкинс, с 1760 по 1810—1820 гг.; самые низкие уровни заработной платы приходятся на 1800-е годы, когда кривая, отражающая конъюнктуру в целом, приблизится к своим высшим точкам[265]. То, что положение с заработной платой улучшится после 1820 г., в то время как цены снижались, было лишь возвращением к прежним правилам. В самом деле, чудо, перемена произойдут только с началом нового цикла Кондратьева, с 1850 г. (еще одной многозначительной даты одновременно для Англии и для континента). На сей раз цены станут подниматься и заработная плата последует за их движением; на арену вышел постоянный рост.

[263] *Ibid.*, p. 144.
[264] Bairoch P. *Révolution industrielle*, p. 271, tabl. №28.
[265] Brown Ph.E.H., Hopkins S. *Op. cit.*, p. 195—206.

Таким образом, я подхожу к самой сердцевине спора, которой слишком многие историки более или менее сознательно избегали: речь идет о цене, которую Англия заплатила за свой переход к подлинной современности. Вместе с теми историками, что первыми занялись этим вопросом, я полагаю, что тогда наблюдались ухудшение материального благосостояния английских масс, снижение реальной заработной платы как для сельскохозяйственных рабочих, так и для работавших на фабриках или на транспорте... Я охотно предположил бы (на свой собственный страх и риск, не будучи признанным знатоком этого периода), что первая фаза индустриализации, с 1760 по 1815 г., была еще более тяжкой, чем та, что последовала за Ватерлоо, хотя рабочие и крестьянские волнения были после английской победы более оживленными и более упорными. Но разве же волнение не есть доказательство здоровья, если и не хорошего, то по крайней мере улучшившегося или достаточного? И все же правда (и это было *дополнительной* платой за промышленный рост в сравнении с другими формами роста, которые ему предшествовали), что с 1817 по 1850 г. подъем реальной заработной платы и дохода на душу населения, отмечаемый кривой Брауна и Хопкинс, был отчасти уничтожен для трудящихся масс драмой слишком быстрой урбанизации, которая соединила катастрофические результаты жалких жилищных условий, нездорового (и даже недоброкачественного из-за нехватки транспорта) питания, разрыва социальных связей, отрезавшего индивида от поддержки семьи и от различных ресурсов деревенской общины. Но в 1780—1815 гг. со стремительным падением реальной заработной платы (которое, заметим это, началось с 1760 г.[266], т. е. вместе с оживленным ростом производства и населения, каким характеризовалась вторая половина XVIII в., а не только с началом войны в Америке) ситуация определенно была еще более драматичной.

[266] Pollard S., Crossley D. W. *Op. cit.*, p. 185.
[267] *Ibid.*

«Два поколения были принесены в жертву созданию индустриальной базы». Это заключение современных историков[267], опирающееся на комментарии английских современников, не



«Потребительская корзина домохозяйки»
Настоящий график, как и графики Абеля и Фурастье — Грандами (см. т. I настоящего труда, с. 150), отражает попытку историков экономики выделить из диалектики цен и заработной платы что-то, напоминающее доход на душу населения. Английский каменщик получал определенную

опровергается, если смотреть на Англию глазами майора, а позднее полковника Пийе[268]. Раненный и взятый в плен в Португалии, при Синтре, в 1807 г., он прожил в Англии долгие годы до своего освобождения; и если он не обнаруживает большой любви к ней (а какой пленник и когда любил своих тюремщиков?), то говорит о стране как знающий очевидец, свободный от ненависти и, видимо, от природы склонный к беспристрастности. Он сохранил воспоминания об очень тяжких для Англии годах. «Я видел,— пишет он,— все ее мануфактуры неработающими, ее народ — терзаемым голодом и задавленным налогами, ее бумажные деньги — утратившими доверие...»[269] В 1811 г. «хозяева мануфактур, не имея более возможности платить своим рабочим, выдавали им в качестве заработной платы изделия своих мануфактур; и эти несчастные, чтобы добыть себе хлеба, тут же эти изделия продавали за две трети настоящей их цены»[270]. Другой очевидец, Луи Симон, тоже проницательный наблюдатель и человек, восхищавшийся Англией, в это же самое время отмечал[271], что «на обычную свою зарплату рабочий не может более обеспечить себя хлебом, мясом, одеждой, необходимыми для содержания его самого и его семьи». А что до сельскохозяйственных рабочих, то «их заработная плата... тяжко отстает от общего уровня [цен] на все». В 1812 г. в Глазго[272] он отмечал, что «заработки рабочих хлопчатобумажной промышленности... ныне составляют лишь четвертую часть того, чем они были девятнадцать лет назад, хотя за этот промежуток времени все выросло в цене вдвое». Можно усомниться в цифрах, но не в самом факте разоблачаемого обнищания.

Но, как мне представляется, майор Пийе был дальновиднее, в той мере, в какой он, человек военный, представлял себе огромные усилия по вооружению Англии. Чтобы «питать» свои армии, английское правительство набирало солдат «в пропорции, куда более ужасающей, нежели любой из призывов, затрагивающих наше [французское] население»[273]. Содержать армию, которая в целом собрала больше 200 тыс. человек (а жалованье солдата английских линейных частей было вчетверо выше, чем у французского солдата[274]), содержать огромный флот — это было тяжелейшее бремя. Отсюда, может быть, и та непреклонная жестокость, с которой обращались с солдатами и матросами, выходцами из самых несчастных классов общества, «подонками из подонков»[275]. Об отпрыске [благородного] семейства, чьи дела принимали плохой оборот и которому родня покупала офицерский патент, говорили: «Этого мошенника следовало бы повесить; он только на то и годится, чтобы носить красный мундир»[276]. В армии находился худший люмпен-пролетариат Англии, который питала людьми нищета истинного пролетариата, рабочего, крестьянского или бродячего». Кто был в этом виноват? Ни индустриализация, ни капитализм, карабкавшийся к вершинам богатства, ни даже война, ни конъюнктура, бывшая оболочкой,— но все они вместе.

Многие историки не желают глядеть в лицо этой прискорбной реальности. Они отказываются ее допустить. Один утверждает, что измерители жизненного уровня лишены какой бы то

[268] Pillet R.-M. *Op. cit.*
[269] *Ibid.*, p. 30.
[270] *Ibid.*, p. 24.
[271] Simond L. *Op. cit.*, p. 223.
[272] Simond L. *Op. cit.*, II, p. 285.
[273] Pillet R.-M. *Op. cit.*, p. 31.
[274] *Ibid.*, p. 350.
[275] *Ibid.*, p. 337.
[276] *Ibid.*, p. 345.

заработную плату, потреблял определенное количество важнейших продуктов. Такая группа типичных продуктов (иногда говорят о «потребительской корзине домохозяйки») принимается как индикатор. Пунктирная кривая показывает эволюцию цены этой «корзины»; сплошная кривая передает соотношение между получаемой заработной платой и современной ей ценой «корзины» (за 100 был принят показатель периода 1451—1475 гг.). Из сравнения обеих кривых вытекает, что всякий период устойчивых или снижающихся цен (1380—1510, 1630—1750 гг.) знал улучшение потребления и благосостояния. Если цены поднимались, наблюдалось снижение жизненного уровня. Так было в 1510—1630 гг.; так было и с 1750 по 1820 г., на пороге промышленной революции. После этого реальная заработная плата и цены повышались согласованно. (Brown Ph., Hopkins Sh. — в: *Essays in Economic History*. II, p. 183, 186.)

ни было точности или надежности. Другой — что положение рабочих было худшим или по меньшей мере таким же и до первых побед механизации. Третий уверяет, что не верит, будто цены когда-нибудь снижались с 1790 по 1830 г. Но о каких ценах он говорит, о номинальных или реальных? И разве же не достаточно свидетельствуют кривые о том, что цены возросли, а потом снизились? А заработная плата? Вполне очевидно, что английский народ тяжело оплатил свои победы, даже прогресс своего сельского хозяйства, который обогатил только фермерский класс, а уж тем более свои машины, свои технические победы, свое торговое первенство, королевское положение Лондона [в мире], богатство промышленников и богатство акционеров Английского банка — все это, а не только свои военные победы, свои армии, свой флот и Ватерлоо. Справедливо будет заметить, что после 1850 г., позднее, весь английский народ (каковы бы ни были его социальные неравенства) принял участие во всемирном торжестве Англии. Это судьба народов, которые находятся в центре какого-либо мира-экономики: быть *относительно* самыми богатыми и наименее несчастными. И в верхней и в нижней части социальной шкалы голландцы XVII в., «американцы» наших дней пользовались или пользуются той привилегией, которая была привилегией англичан XIX в.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Посредством наблюдения за конъюнктурами английская промышленная революция XVIII—XIX вв. освещается достаточно новым образом. Это еще одна точка наблюдения, с которой надлежит разглядывать, немного отдалясь, усложненный пейзаж [экономического] роста. Промышленная революция представляла соединение трудно разделимых проблем внутри потока, который их подталкивал вперед и перехлестывал через них. И точно так же, в силу своего размаха, она обязывает задаться вопросом о всеобщей истории мира, об истинных превращениях и движущих силах роста, о начале непрерывного роста (1850 г. представляется более обоснованной датой, чем 1830—1832 гг., выдвигаемые зачастую в качестве даты завершения промышленной революции первого образца). Она также побуждает нас поразмыслить об европейском росте большой временно́й протяженности, самым ярким моментом которого она была, располагаясь между долгое время ненадежным прошлым и настоящим, которое, быть может, вновь таким становится.

Если измерять рост двумя его переменными, ВНП и доходом на душу населения (я бы даже предпочел сказать: ВНП и реальной заработной платой каменщика, по Брауну и Хопкинс), то можно утверждать, следуя за Вильгельмом Абелем[277], что обе эти переменные одновременно увеличивались в XII и XIII вв.; это уже был образец непрерывного роста. После 1350 г. и вплоть до 1450 г. ВНП, объем производства и масса населения уменьшаются, но благосостояние людей улучша-

[277] Abel W. *Agrarkrisen und Agrarkonjunktur.*

ется: в общем, они были освобождены от задач, какие навязывал им прогресс, и воспользовались этим. На протяжении хваленого XVI в. и вплоть до 1620—1650 гг. наблюдался резкий рост населения и производства, Европа быстро заселялась заново, но общее благосостояние не переставало снижаться. Не бывает прогресса, за который не приходилось бы платить, таково правило. После 1650 г. «кризис XVII в.», очерненный добросовестной историографией, свирепствовал до 1720, 1730 или 1750 г. И развивалось то же явление, что и в 1350 г.: определенное улучшение благосостояния индивидов утверждалось посреди застоя прогресса. Здесь прав Рене Берель[278]. Затем все началось сначала в XVIII в.: рост «процветания» — понижение реальной заработной платы.

[278] Baehrel R. *Une Croissance: la Basse-Provence rurale (fin du XVI*[e] *— 1789)*. 1961.

С середины XIX в., который сломил специфический ритм роста при Старом порядке, мы как будто вступаем в другую эру: *вековая тенденция (trend)* — это тенденция к одновременному подъему численности населения, цен, ВНП, заработной платы, прерываемому лишь случайностями кратковременных циклов, как если бы «постоянный рост» нам был обещан навсегда.

Но с 1850 по 1970 г. прошло всего сто двадцать лет. Навсегда ли исчезли с новыми временами продолжительные кризисы вековой тенденции? Ответить трудно, ибо в действительности тайна этих вековых движений, причины их, даже простая их корреляция, а вместе с ними и значительная часть любого исторического объяснения ускользают от нас. В силу этого немало историков, и не самых незаметных, с легкостью иронизируют по поводу того, что касается такой циклической истории, которую можно было бы наблюдать, констатировать, но не объяснить ее. Существует ли она вообще? Можно ли поверить, что человеческая история подчиняется общим авторитарным ритмам, малообъяснимым согласно обычной логике? Я со своей стороны в это верю, даже если явление и содержит нечто такое, отчего можно прийти в недоумение,— как климатические циклы, которые приходится признавать ныне, имея им подтверждение, без того чтобы ученым удалось выйти за рамки гипотез относительно их происхождения. Я верю в такие приливные движения, определяющие ритм материальной и экономической истории мира, даже если остаются покрыты тайной те благоприятные или неблагоприятные пороги, которые их порождают, плод множества взаимосвязей. Я настолько в это верю, что, когда с 1972—1974 гг. начались всем известные всемирные затруднения, часто задавал себе вопрос: не вступили ли мы в нисходящую ветвь цикла Кондратьева? Или же в еще более длительный вековой спад? И в таком случае не являются ли иллюзией из иллюзий те средства, какие изо дня в день используют, дабы положить конец этому кризису? В самом деле, всякое вековое обратное движение есть структурный кризис, который может быть решен только структурными ломкой и перестройкой.

Вот уже несколько лет, как я выступил с этими самыми аргументами во время одной лекции, и мой прогноз продолжительного кризиса вызвал улыбки у моих слушателей. Делать

такие прогнозы, ссылаясь на историю, на существование долгого прошлого вековых циклов, очень рискованно. Но сегодняшние экономисты, вооруженные своим опытом современности, по-видимому, тоже пришли к этой гипотезе. Так разве не столь же мало, как и мы, способны они предвидеть *длительность* и даже объяснить причину этого кризиса, в который мы каждый день все больше втягиваемся?

В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: РЕАЛЬНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИЕ И РЕАЛЬНОСТИ НЫНЕШНИЕ

Итак, я все же вывел слово *капитализм*, со всеми его значениями и двусмысленностями, на просторную арену начинавшейся современности мира — и подвигом это не было, а проблем поставило немало. Прав ли я был, когда оказал ему такой прием? Делая из него *основную* модель для многовекового применения? Модель, т.е. своего рода корабль, построенный на суше и затем спущенный в море. Он держится на плаву? Плывет? Тогда то объяснение, что он в себе несет, имеет шансы оказаться приемлемым.

Капитализм, такой, каким я его понимаю, на протяжении этого труда проявил себя хорошим «индикатором». Следовать ему означает непосредственным и полезным образом подступиться к рассмотрению базовых проблем и реальностей: длительной временной протяженности; подразделений экономической жизни; миров-экономик; вековых и иных колебаний; сети социальных иерархий, смешанных и смешивающихся (чтобы не сказать: классовой борьбы); или настойчиво проявлявшейся и различной роли господствовавших меньшинств; или даже промышленных революций... Так что кому же и посвятить эти последние страницы, как не такому взрывоопасному персонажу, этому средоточию всех проблем и споров, поднимавшихся в этом труде? Лучшего выбора наверняка не может быть. Но стоит ли воспроизводить, даже в нескольких словах, наши доказательства, доводы и примеры — то, что уже было сказано и должно бы быть уже доказано? Классические заключения, которые невозмутимо излагают заново суть какой-нибудь работы (как бы для того, чтобы закончить с ней), плохо, я полагаю, подходят для книги по истории, никогда не бывающей законченной, написанной раз и навсегда.

В конце столь долгого странствия я испытываю скорее потребность открыть окна и двери, проветрить дом и даже выйти из него. Выстроив попутно некую проблематику, которая не должна бы оказаться действительной единственно для доиндустриальных новых времен (если бы не достигала она глубин истории), я хотел бы заставить ее модель проскользнуть в иные воды, в рамки иного периода. А раз уж менять арену, то почему бы не добраться и до современного мира? Иначе говоря, до ре-

альностей и опыта, которые мы видим собственными глазами и можем потрогать своими руками? Мы выбрались бы из зачарованного мира ретроспективной истории ради того, чтобы вернуться к картинам настоящего, которые нам не надобно воссоздавать: они открыты нашему взору во всем своем богатстве и во всей своей запутанности.

В таком путешествии не было бы ничего нелогичного: разве же объяснение современности не сокровенная цель истории, не глубинный ее мотив?[1] И разве ныне история во взаимодействии с различными науками о человеке не становится мало-помалу наукой приблизительной, несовершенной, как и они, но готовой ставить вопросы, так же как и отвечать на них, сделать своей мерой в такой же степени настоящее, как и прошлое? Вот что ободрило меня пуститься в приключение, на мой взгляд возможное, полезное и даже приятное. Оставим в стороне без излишних угрызений совести риск сравнения, проводимого, не особенно заботясь о пугале, каким является пресвятой анахронизм. Я думаю, что для нас, «выходящих на свет» после долгого поиска во временах минувших, настоящее время сможет быть хорошим ориентиром и даже, если осмелиться на такое выражение, указателем истины.

Я, естественно, не претендую на то, чтобы объяснять настоящее в свете прошлого. Я хочу лишь понаблюдать, чем становятся в нынешних неспокойных водах объяснения и приемы изложения, какими я пользовался. Плывет ли еще в наше время модель, построенная мной вокруг капитализма, существовавшего до XIX в., справляется ли она с очевидными и резкими противоречиями? Полагаю, что сегодня не отрицает вчера, напротив, оно его освещает — и наоборот; в аналогиях недостатка нет. Тем не менее такая преемственность относится только к Западу, к так называемому «свободному миру», который не охватывает более весь мир, как было это до 1917 г. В результате драматических опытов, доведенных до конца социалистическими странами, капитализм исчез с очень большой части земли. Следовательно, современный мир — это одновременно и преемственность и разрыв преемственности, и это противоречие будет маячить на горизонте тех проблем, по которым я последовательно пройдусь: капитализма как структуры длительной временной протяженности; капитализма как сектора общественного комплекса; капитализма в состоянии выживания или же невыживания (но если он исчезнет, то унесет ли он с собой все неравенства наших обществ? Мы вправе в этом усомниться); наконец, капитализма, отличного от рыночной экономики,— по моему мнению, это важнейшее, о чем свидетельствует мое долгое исследование.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ВРЕМЕННАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ

На протяжении этого труда я утверждал, что капитализм *в потенции* обрисовывается на заре большой истории, развивается и упрочивается на протяжении столетий. Прав был Теодор Моммзен[2]. Прав Михаил Ростовцев[3]. Прав Анри Пи-

[1] Callot E. *Ambiguïtés et antinomies de l'histoire et de sa philosophie.* 1962, p. 107; он цитирует Марка Блока — см.: Блок М. *Апология истории, или Ремесло историка.* М., 1973, с. 10—11.

[2] В своей «Римской истории» («*Römische Geschichte*») и еще более в том, что касается критических замечаний Маркса по поводу «г-на Моммзена» (Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, т. 23, с. 178, прим. 39; т. 25, ч. I, с. 360, прим. 46). Главная фраза: «И даже в тех земледельческих хозяйствах древнего мира, в которых обнаруживается наибольшая аналогия с капиталистическим сельским хозяйством, в Карфагене и Риме, больше сходства с плантаторским хозяйством, чем с формой, соответствующей действительно капиталистическому способу эксплуатации. Мы вообще не найдем в древности в континентальной Италии повода для формальной аналогии, — которая к тому же во всех существенных пунктах представляется сплошь обманчивой для всякого, кто понял капиталистический способ производства и кто не открывает подобно г-ну Моммзену капиталистического способа производства уже во всяком денежном хозяйстве» (Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, т. 25, ч. II, с. 349—350).

[3] В частности, в своей «*Storia economica e sociale dell'impero*» (1933, p. 66), оспариваемой Полем Вэном [см.: «*Annales E.S.C.*», XVI (1961), p. 237].

[4] В неоднократных выступлениях, и в частности в: Pirenne H. *Les Étapes sociales du capitalisme.*

ренн[4]. Задолго до появления капитализма его предвещали многие признаки: рост городов и обменов, появление рынка труда, сплоченность общества, распространение денег, рост производства, торговля на дальние расстояния, или, если угодно, международный рынок... Когда в первом веке н.э. Индия овладевала Индонезией или по крайней мере туда проникала, когда Рим удерживал в своей власти большие территории, чем все Средиземноморье, когда в IX в. Китай изобретал бумажные деньги, когда Запад в XI—XIII вв. отвоевывал свое Внутреннее море, когда с наступлением XVI в. наметился мировой рынок — тогда тем или иным образом начиналась «биография капитала». Немалое число более благоразумных историков отказывается восходить дальше XVI, а то и (предпочтительно!) XVIII в., в известном смысле отождествляя капитализм с чудесной вспышкой промышленной революции. Но даже при такой «краткой» перспективе речь идет о трех или пяти столетиях и, значит, о структуре длительной временнóй протяженности (*longue durée*), что вовсе не означает абсолютно неподвижной реальности. Длительная временнáя протяженность — это последовательность возобновляющихся движений с вариациями и возвратными движениями, с ухудшениями, приспособлениями, стагнациями — социологи говорят о *структурировании, деструктурировании, реструктурировании...* Иногда — редко — случались также и крупные разрывы. Промышленная революция определенно была одним из них. Но я утверждаю, справедливо или нет, что в ходе этого великого изменения капитализм в главном оставался самим собой. Разве же не было для него естественным правилом сохраняться посредством самого изменения? Он питался им, готовый расширить или сузить свои судьбы до размеров той своего рода оболочки, которая, как мы признали, в любую эпоху ограничивала возможности человеческой экономики, где бы та ни располагалась.

Было бы ошибкой воображать себе капитализм как развитие в виде последовательных стадий или скачков: капитализма торгового, капитализма промышленного, капитализма финансового... И разумеется, с непрерывным продвижением от одной стадии к другой, притом что «настоящий»-де капитализм наступает поздно, с установлением его контроля над производством. А до него якобы следовало говорить лишь о капитализме торговом, даже о предкапитализме. На самом же деле мы видели, что крупные «купцы» былых времен никогда не специализировались, что они без различия занимались (одновременно или последовательно) торговлей, банковским делом, финансами, биржевой спекуляцией, «промышленным» производством в виде системы надомного труда (*Verlagssystem*) или, реже, мануфактур... Спектр торговой, промышленной, банковской деятельности, т.е. сосуществование нескольких форм капитализма, развертывался уже во Флоренции в XIII в., в Амстердаме в XVII в., в Лондоне еще до XVIII в. Несомненно, в начале XIX в. массовое применение машин сделало из промышленного производства высокоприбыльный сектор, и, следовательно, капитализм массированно двинулся туда. Но он не замкнется там. Когда прибыли хлопкового бума в Англии, поначалу фан-

тастические, упали из-за конкуренции до 2—3%, накопленные капиталы устремились в другие отрасли промышленности: сталелитейную и железные дороги. Более того, наблюдался возврат к капитализму финансовому, к банковскому делу, к биржевой спекуляции, более активной, чем когда бы то ни было, к крупной международной торговле, к прибылям от эксплуатации колоний, к государственным займам и т.п. И опять-таки без специализации: во Франции Вандели были хозяевами железоделательных заводов, банкирами, фабрикантами сукон (в департаменте Вогезов) и поставщиками военного снаряжения для Алжирской экспедиции (1830 г.) [5].

С другой стороны, невзирая на все, что можно было сказать о либеральном капитализме свободной конкуренции XIX и XX вв., монополия не утратила в нем своих прав. Она только приняла иную форму, целый ряд иных форм — от *трестов* и *холдингов* до знаменитых американских транснациональных корпораций [ТНК], которые за 60-е годы утроили число своих филиалов за границей. В 1973 г. 187 из них, обосновавшиеся по меньшей мере в пяти зарубежных странах [каждая], осуществляли «не только три четверти американских капиталовложений за границей, но также и половину экспорта США и треть всех продаж готовых изделий на американском рынке». На протяжении нескольких лет эти корпорации, обвинявшиеся в том, что, создавая промышленные производства за границей, они лишают рабочих мест трудящихся своей страны, способствуют дефициту платежного баланса и играют разрушительную роль в международной валютной спекуляции, в том числе и против доллара, были объектом расследований американского сената, но ныне они отнюдь не чувствуют себя от этого хуже. Они тоже «играют на любом столе»: конечно, на промышленном (инвестируя капиталы в странах с низкой заработной платой); непременно на финансовом, принимая во внимание вес краткосрочных свободных капиталов, какими они располагают («более чем вдвое превышающих резервы центральных банков и международных финансовых учреждений», так что движения 2% их ликвидных средств может оказаться достаточно, чтобы вызвать где угодно острый денежный кризис,— и это по мнению самой комиссии американского сената); но также и на торговом: в 1971 г. в защиту ТНК утверждалось, что на них приходится 62% экспорта Соединенных Штатов, в то время как они обеспечивали только 34% их производства [6].

Короче говоря, главной привилегией капитализма ныне, как и в прошлом, остается свобода *выбора*,— свобода, которая зависит одновременно от его господствующего социального положения, от веса его капиталов, от его способности делать займы, от его информационной сети и в неменьшей степени от тех связей, которые создают между членами могущественного меньшинства, как бы оно ни было разделено игрой конкуренции, ряд правил и форм соучастия. Поле деятельности капитализма, вне сомнения, намного расширилось, поскольку для него все секторы экономики хороши, особенно же широко он проник в производство. Но в конце концов, так же, как в прошлом, ка-

[5] Zeldin Th. *Histoire des passions françaises*. I: *1848—1945*. 1978, p.103.
[6] См. Grapin J.— в: «*Le Monde*», 11—12 novembre 1973.

питализм не охватывал всю торговую экономику, он и сегодня оставляет за пределами своего охвата значительные объемы деловой активности; он их предоставляет рыночной экономике, которая «крутится» сама по себе, инициативе мелких предприятий, упорству ремесленников и рабочих, смекалке простых людей. Капитализм «окопался» в имеющихся у него заповедных зонах: крупной спекуляции (биржевой и недвижимостью), крупных банках, крупном промышленном производстве (которому его вес и его организация оставляют немалую свободу в установлении цен), международной торговле; когда придется — но только в особых случаях,— в сельскохозяйственном производстве и даже на транспорте, например в виде судоходных компаний, которые благодаря использованию «флагов любезности»* ускользают от всякого налогообложения и которые позволили сколотить иные фантастические состояния. А коль скоро капитализм может выбирать, он способен в любой момент сменить курс: в этом секрет его живучести.

Разумеется, его способности к приспособлению, его подвижность, его воспроизводительная сила не защищают капитализм от любого риска. Во времена крупных кризисов немало капиталистов терпит неудачу, но другие выживают, а третьи утверждаются. Новые решения зачастую даже создаются помимо них; инновация не раз исходила с базового уровня. Но эти инновации почти автоматически оказываются в руках обладателей капиталов. И в конце концов появляется капитализм обновленный, зачастую усилившийся, столь же ретивый и эффективный, как и предшествовавший ему. Виконт д'Авенель удивлялся и в глубине души радовался тому, что богатство с течением времени переходит из одних рук в другие, так что в одном землевладении сменяют друг друга разные «породы» собственников [7]. Он был прав, но смены эти в конечном счете не упраздняли ни индивидуальное богатство, ни индивидуальную собственность. Именно это и происходило с капитализмом: изменяясь, он без конца сменял самого себя. Повторим относительно него то, что в 1784 г., после четвертой англо-голландской войны, говорил о коммерции Генри Хоуп, значительнейший из амстердамских деловых людей: «Она часто болеет, но никогда не умирает» [8].

* Имеется в виду распространенная на Западе практика приписки судов, принадлежащих судовладельцам из крупных капиталистических стран, к портам таких стран, например, как Либерия или Панама, где установлен льготный режим обложения налогом.— *Прим. перев.*

[7] Avenel, Vicomte de. *Découvertes d'histoire sociale*. 1920, p. 58.

[8] Buist M. G. *At Spes non fracta*. 1974, p. 431.

ОБЩЕСТВО ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ

Худшая из ошибок заключается еще в утверждении, будто капитализм — «экономическая система», и ничего более, в то время как он живет за счет общественного строя и, будучи соперником или соучастником, находится на равных (или почти на равных) с государством, персонажем настолько обременительным, насколько он только может быть,— и так бывало всегда. Капитализм извлекает также выгоду из всей той поддержки, какую оказывает прочности социального здания культура, ибо культура, неравным образом распределенная, пронизанная противоречивыми течениями, в конечном итоге, не-

смотря ни на что, отдает лучшее, что в ней есть, на поддержание существующего порядка. Он держит в своих руках господствующие классы, которые, защищая капитализм, защищают самих себя.

Какая же из этих разных социальных иерархий — денежных, государственных, культурных,— которые к тому же сталкивались и поддерживали друг друга, играла первые роли? Мы бы ответили, мы уже ответили: то одна, то другая.

Деловые люди охотно утверждают, будто ныне эта первая роль — за политикой, будто власть государства такова, что ни банки, ни крупный промышленный капитал в сравнении с нею ничего не значат. И вне сомнения, нет недостатка в серьезных обозревателях, говорящих о государстве-мастодонте, о государстве, которое все подавляет и лишает частный сектор, благодетельную свободу «новатора» их инициативы. Следовало бы-де заставить этого мастодонта вернуться в свое логово. Но с таким же успехом прочтете вы и противоположное, а именно будто экономика и капитал заполонили все, подавляют свободы личности. На самом же деле не будем заблуждаться по сему поводу: государство и капитал — или, во всяком случае, определенный капитал, капитал крупных фирм и монополий,— ныне, как и в прошлом, составляют хорошую пару, и второй из них на наших глазах успешно выпутывается из затруднительных положений. Как и в былые времена, он оставляет государству малодоходные или слишком дорогостоящие дела: дорожную инфраструктуру, коммуникации, армию, огромные затраты на образование и на научные исследования. Капитал оставил государству также и заботы об общественной гигиене, немалую долю тягот социального обеспечения. А главное — он беспардонно живет за счет милостей, льгот, помощи и щедрот государства — машины для сбора огромных денежных потоков, которые к ней стекаются и которые она перераспределяет, машины для того, чтобы тратить еще больше, чем она получает, и, следовательно, для того, чтобы заключать займы. Капитал никогда не бывает очень уж удален от этого воклюзского источника. «В противоположность мифу о предпринимательском призвании, которое якобы характеризует частный сектор и динамизм которого будто бы наталкивается на препятствие в виде деятельности правительства, поздний капитализм [т.е. сегодняшний, именуемый также «зрелым капитализмом»] находит в гамме частных действий государства средство обеспечить выживание всей системы» — конечно же, системы капиталистической. Я заимствую это соображение у итальянского экономиста Федерико Каффе [9], рассматривавшего довольно хорошо согласующиеся друг с другом труды Г. Оффе о современной Германии [10] и Дж. О'Коннора о Соединенных Штатах, опубликованные в 1977 г. [11] В конце концов «монополистический капитализм» (противопоставляемый Дж. О'Коннором «конкурентному сектору») процветает именно благодаря своим добрым отношениям, своему симбиозу с государством — распределителем налоговых привилегий (ради активизации священнейшего инвестиционного процесса), богатейших заказов, мер, шире открывающих капитализму

[9] Caffè F. *Appunti sull'economia contemporanea: il dibattito attorno all'azione dello Stato nel capitalismo maturo.* — «*Rassegna Economica*», 1978, p. 279—288.
[10] Offe G. *Lo Stato nel capitalismo maturo.* 1977.
[11] O'Connor J. *La Crisi fiscale dello Stato.* 1977.

внешние рынки. Так что, утверждает О'Коннор, «рост государственного сектора [включая и государственное призрение] необходим для расширения частной индустрии, особенно монополизированных отраслей промышленности». Между экономической властью и властью политической, «формально друг от друга отделенными, существует густая сеть неформальных отношений» [12]. Несомненно. Но согласие между капиталом и государством датируется не сегодняшним днем. Оно пронизывает столетия нового времени настолько, что всякий раз, как спотыкалось государство — Кастильское государство в 1557 г., монархическое государство во Франции в 1558 г., — мы видим, как капитализм ощущает удар.

Отношения капитализма с культурой еще более двусмысленны, ибо очень уж контрастны: культура образует одновременно и опору и противодействие, традицию и [ее] оспаривание. Правда, такое противодействие часто истощалось после самых сильных своих вспышек. В лютеровой Германии протесты против монополии крупных фирм Фуггеров, Вельзеров и прочих потерпели неудачу. Почти всегда культура вновь становилась защитницей существующего порядка, и капитализм извлекал из этого какую-то долю своей безопасности.

Еще сегодня нам говорят, что капитализм — это строй если и не лучший, то по крайней мере наименее дурной из всех, что он более эффективен, чем социалистическая система, совершенно не затрагивая при этом собственность, и что он поощряет личную инициативу (слава новатору Шумпетеру!). Аргументы в его пользу рассеиваются, как при артиллерийском огне по обширной зоне, ложась, по-видимому, даже далеко от цели. Так, коль скоро деньги образуют структуру явной несправедливости, любой тезис в пользу социального неравенства льет воду на эту мельницу. В 1920 г. Кейнс [13] безоговорочно высказался за «неравенство в распределении богатств» — лучшее, по его мнению, средство увеличить накопление капиталов, необходимых для полнокровности экономической жизни. «Неравенства любого порядка суть явления естественные, к чему это отрицать?» — писала совсем недавно, 11 августа 1979 г., «Монд» [14].

В этих спорах оружием может стать все — обращение как к Фюстель де Куланжу или Жоржу Дюмезилю, которые ничего поделать не могут, так и к Конраду Лоренцу [15] или к какой-нибудь анафеме против Мишле (камушек в огород либералов). Напоминают о человеческой природе, каковая будто бы не умеет изменяться, и, значит, общество тоже неизменно: оно всегда было несправедливым, иерархизированным, построенным на неравенстве. История, таким образом, приходит на выручку. Не умер еще даже старый миф о «незримой руке», о рынке, который якобы все уладит сам по себе, лучше, чем могла бы это сделать какая бы то ни было человеческая воля. Миф этот учит, что «служить индивидуальному интересу — значит служить интересу общему», так что «предоставьте всему идти своим чередом — и пусть выигрывает лучший!». Америка опьянила себя лозунгом *self made man* (всяк сам своего состояния творец) — чести и примера для целой нации. Конечно, в таких

[12] *Ibid.*, p. 13.
[13] Цит. по: Mattick P. *Marx et Keynes.* 1972, p. 11.
[14] Richard F. *Injustice et inégalité.* — «*Le Monde*», 11 août 1979.
[15] Rémond R. «*Nouvelle droite» ou droite de toujours.* — «*Le Monde*», 20 juillet 1979.

удачах недостатка не было в Америке и в других странах; но помимо того, что честность не всегда бывала их сильной стороной, они были более редки, чем это утверждают. Зигмунд Даймонд[16] даже забавлялся, определяя способы, какими в США так называемые *self made men* скрывали тот трамплин, которым им послужили семейные состояния, сколоченные за несколько поколений, совсем как европейские «буржуазные» состояния начиная с XV в.

Что, однако, исчезло, так это капиталистическая эйфория и чистая совесть раннего XIX в., а этот оборонительный язык был отчасти ответом на яростные нападки поднимавшегося социализма, примерно так же, как в XVI в. Контрреформация была ответом на Реформацию. Удары и удары ответные вполне логично следовали друг за другом. А так как все взаимосвязано, нарастающий кризис наших современных экономик и обществ предполагает глубокие культурные кризисы. Для того чтобы нас просветить на сей счет, имеется опыт 1968 г. Герберт Маркузе, ставший, сам того не желая, «первосвященником» этой революции, вполне имел право сказать (23 марта 1979 г.), что «глупо говорить о 1968 г. как о поражении»[17]. События этого года потрясли все здание общества, сломали его привычки, ограничения, даже его примиренчество; социальная и семейная ткань осталась достаточно разорванной для того, чтобы создались — и на всех этажах общества — новые образы жизни. Именно в этом-то и заключалась подлинная культурная революция. С того времени капитализм, в самом сердце поруганного общества, находится не в столь хорошем положении, как прежде, подвергаясь теперь нападкам не только социалистов и ортодоксальных марксистов, но и новых групп, вдобавок отвергающих и власть во всех ее формах: долой государство!

Но время идет, десяток лет — ничто для медленно текущей истории обществ, это для жизни индивидов много. И вот действующие лица 1968 г. вновь восприняты терпеливым обществом, которому его медлительность дает колоссальную силу сопротивления и поглощения. В чем оно меньше всего ощущает недостаток, так это в инерции. Значит, не поражение, это определенно, но откровенный успех, к нему следует присмотреться поближе. Впрочем, существуют ли в культурных материях откровенные успехи, откровенные разрывы? Возрождение и Реформация предстают как две великолепные и продолжительные культурные революции, вспыхнувшие одна за другой. Для христианской цивилизации возвратить обратно Рим и Грецию уже было операцией взрывоопасной; разорвать же не имевшее швов платье церкви было другой, еще худшей. А ведь все в конце концов утряслось, вписалось в существующий порядок, и раны зажили. Возрождение завершилось «Государем» Макиавелли и Контрреформацией. Реформация высвободила новую доминирующую Европу, в высшей степени капиталистическую, в Германии же она закончилась вырождением земельных князей — то был грустный результат. А разве Лютер не предал дело восставших во время Крестьянской войны 1525 г.?

[16] Прежде всего: Diamond S. *The Reputation of the American Businessman.* 1955; Idem. *The Image of the American Enterpreneur: Transformation of a Social Symbol.* 1963.

[17] «Paris-Match», 23 mars 1979.

ВЫЖИВЕТ ЛИ КАПИТАЛИЗМ?

Несколько лет назад Борис Поршнев[18] дружески упрекал меня, так же как и других «буржуазных» (читай: западных) историков, в том, что мы пространно рассуждаем о происхождении и первых этапах капитализма, не проявляя интереса к его концу. У меня есть по крайней мере извинение. Я ограничил себя истоками современности, и нет моей вины в том, что капитализм в конце XVIII в. был в полном расцвете. С другой же стороны, если ныне на Западе капитализм и проходит через кризисы и иные перипетии, я не считаю его «больным человеком», готовым завтра же испустить дух. Конечно, он более не вызывает по отношению к себе того восхищения, от которого не мог удержаться сам Маркс; в нем больше не усматривают, как делали это Макс Вебер и Вернер Зомбарт, последнюю стадию, окончательно завершающую некую эволюцию. Но это не означает, что система, которая пришла бы ему на смену, в случае эволюции без потрясений, не была бы на него похожа, как родной брат.

В самом деле, я полагаю (пусть даже я полностью заблуждаюсь), что капитализм не может рухнуть сам собой вследствие расстройства, которое было бы «эндогенным»; для такого падения потребовались бы исключительной силы внешний толчок и заслуживающее доверия решение проблемы его замещения. Гигантскую тяжесть общества и сопротивление державшегося настороже господствующего меньшинства, чья солидарность имеет ныне всемирные масштабы, нелегко пошатнуть идеологическими речами и программами или сиюминутными успехами на выборах. По всему миру все победы социализма — русская революция 1917 г., восточноевропейские режимы в 1945 г., завершение китайской революции в 1949 г., торжество кубинской партизанской войны в 1959 г., освобождение Вьетнама в 1975 г. — достигались с помощью внешнего толчка и явного насилия. Да еще движения эти опирались на безраздельную веру в социалистическое будущее, не столь прочную ныне.

Никто, вне сомнения, не будет отрицать, что нынешний кризис, начавшийся в 70-е годы нашего столетия, угрожает капитализму. Он посерьезнее кризиса 1929 г. и, вероятно, поглотит фирмы первой величины. Но капитализм как система имеет все шансы на то, чтобы пережить его. В *экономическом* плане (я не говорю — в *идеологическом*) он даже может выйти из него окрепшим.

В самом деле, мы видели, какова бывала обычно роль кризисов в доиндустриальной Европе: заставить исчезнуть мелкие (мелкие по капиталистическим масштабам), хрупкие предприятия, созданные в пору экономической эйфории, или, напротив, предприятия устаревшие — и, следовательно, смягчить, а не усилить конкуренцию и сосредоточить важнейшую часть экономической деятельности в немногих руках. С такой точки зрения ничто сегодня не изменилось. На национальном, как и на международном уровне происходит перераспределение, «новая сдача карт» — но к выгоде сильнейших. И я согласен с Гербертом Маркузе[19], утверждавшим в ходе недавнего спора с Жа-

[18] Во время наших бесед и в имеющемся у меня машинописном тексте, переведенном с русского языка.

[19] См. прим. 17.

ком Элленстайном, что «кризисы — главное для развития капитализма, [что] инфляция, безработица и т. п. способствуют [ныне] централизации и концентрации капитализма. Это начало новой фазы развития, а вовсе не окончательный кризис капитализма». Действительно, централизация и концентрация — это безмолвные созидатели и разрушители социальных и экономических построений. Джованни Аньелли, президент фирмы «ФИАТ», уже в 1968 г. предсказывал: «Через двадцать лет в мире, быть может, будет только шесть или семь марок автомобилей». А сегодня всего девять групп делят между собой 80% мирового производства. Вековые кризисы (нынешний кризис, как я говорил, представляется мне таким) — наказание за возрастающую несогласованность между структурами производства, спроса, прибыли, рабочих мест и т. п. Происходят разрывы, и в ходе вынужденного упорядочения определенные виды деятельности хиреют или исчезают. Но одновременно, к выгоде выживших, вырисовываются новые рубежи прибыли.

Вдобавок крупные кризисы благоприятствуют и другому перераспределению, на международном уровне. И там слабейшие слабеют еще больше, сильнейшие еще крепнут, даже если мировая гегемония и переходит иной раз из одних рук в другие и из одного географического региона в другой. Мир глубоко изменился за последние десятилетия, причем в нескольких отношениях: наблюдался сдвиг американской экономики на Юг и Запад Соединенных Штатов (явление, сыгравшее наряду с другими свою роль в упадке Нью-Йорка). Так что Жак Аттали [20] считает возможным говорить в 1979 г. о некоем «смещении центра мира с Атлантики на Тихий океан», со своего рода экономической осью США — Япония. Наблюдается также раскол «третьего мира» — с новым богатством производителей нефти и с возросшими нищетой и трудностями остальных слаборазвитых стран. Но наблюдается также и индустриализация этих развивающихся стран, которые вчера еще были ограничены ролью поставщиков сырья, широко проводимая извне (западными компаниями, а еще больше — ТНК). Короче говоря, капитализм должен пересматривать свою политику в значительной части мира, над которой западный мир-экономика господствует уже давно. Такие предназначавшиеся для эксплуатации регионы с низким жизненным уровнем — это бескрайняя Латинская Америка, это Африка, ставшая, так сказать, свободной, это и Индия... Индия, которая, несомненно, только что преодолела решающий этап, потому что она, привыкшая к угрозе голода (голод 1943 г. в Бенгалии унес от 3 до 4 млн. человек), добилась такого прогресса в земледелии, что благодаря двум-трем хорошим урожаям в 1978 г. впервые оказалась с крупными излишками зерна и, вероятно, вынуждена будет его экспортировать из-за неожиданных и неразрешимых трудностей с хранением. Тем не менее мы не дошли еще до решающего поворота, который бы сделал из массы индийских крестьян покупателей готовых изделий, *made in India*; нищета остается всеобщей, а население увеличивается на 13 млн. в год! [21] Как следствие, можно побиться об заклад, что еще какое-то время капитализм, противостоя «третьему миру», сумеет реоргани-

[20] «*L'Express*», 9—15 juin 1979.
[21] См. Vernholes A. — в: «*Le Monde*», 21 juillet 1979; но уже 5 сентября 1979 г. в той же газете — информация о голоде, угрожающем штату Уттар-Прадеш.

зовать формы своего господства или выбрать какие-то другие. И еще раз воспользоваться страшной силой прошлого, силой завоеванных позиций.

«Традиции всех мертвых поколений,— писал Маркс,— тяготеют, как кошмар, над умами живых», но, скажем мы, также — и в неменьшей степени — и над существованием этих живых. Жан-Поль Сартр может мечтать об обществе, где исчезло бы неравенство, где не было бы больше господства человека над человеком. Но ни одно из обществ современного мира не отказалось еще от традиции и от пользования привилегией. Чтобы добиться такого отказа, потребовалось бы ниспровергнуть все общественные иерархии, а не только иерархии денежные, не только иерархии государственные, не только социальные привилегии, но также и разнообразную тяжесть прошлого и культуры. Пример социалистических стран доказывает, что исчезновение одной-единственной иерархии — экономической — нагромождает горы трудностей и этого недостаточно для установления равенства, свободы и даже изобилия. Трезвомыслящей революции (но может ли такая существовать, и, даже если бы каким-то чудом она и существовала, разве позволили бы ей надолго сохранить такую привилегию всегда столь обременительные обстоятельства?) пришлось бы не без великого труда разрушить то, что надлежит разрушить, и сохранить то, что было бы важно сохранить: свободу на базовом уровне, независимую культуру, рыночную экономику без фальсификации плюс немного братства. Это означает требовать слишком многого. Тем более, что всякий раз, как капитализм снова оказывается под вопросом, это всегда происходит в период экономических затруднений, в то время как широкая структурная реформа, всегда трудная и травмирующая, нуждалась бы в изобилии и даже в сверхизобилии. Да и нынешний демографический прилив, с его экспоненциальным ростом, тоже не создан для того, чтобы облегчить справедливый раздел излишков.

ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАКОНЧИТЬ: КАПИТАЛИЗМ ПЕРЕД ЛИЦОМ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

И наконец, именно в политическом плане прежде всего обретает свое полное значение не подлежащее для меня сомнению различие между капитализмом в разных его формах и «рыночной экономикой».

Великий капиталистический подъем прошлого столетия описывался, вне сомнения, даже Марксом, даже Лениным как капитализм в высшей степени здоровой конкуренции. Было ли это следствием иллюзий, наследия, старинных ошибок в суждениях? В XVIII в., противостоя дармовым привилегиям дворянства «праздных», привилегии купеческие еще казались справедливой платой за труды. В XIX в., после эры крупных компаний, пользовавшихся государственной монополией, вроде [Ост- и Вест-] Индских компаний, простая свобода торговли могла

показаться синонимом истинной конкуренции. С другой стороны, промышленное производство (которое, однако же, всего лишь *один из* секторов капитализма) зачастую зависело от мелких предприятий, и сегодня еще широко подверженных конкуренции. Отсюда и классический образ предпринимателя — слуги общественного блага, проходящий через весь XIX в., одновременно с прославлением достоинств свободной торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь.

Удивительно, что такие вот образы все еще присутствуют в политическом и журналистском языке, в популяризации экономики и в ее преподавании, в то время как в споры специалистов уже проникло сомнение, и произошло это еще до 1929 г. Кейнс со своей стороны говорил о неполной конкуренции; современные экономисты идут дальше: для них существуют цены рынка и цены монополий, т. е. сектор монополистический и «сектор конкурентный», и, стало быть, два этажа. Этот двойной образ присутствует как у Дж. О'Коннора, так и у Гэлбрейта[22]. Так разве неверно обозначать как *рыночную экономику* то, что иные именуют сегодня *«конкурентным сектором»*? На вершине располагаются монополии, внизу — конкуренция, оставляемая мелким и средним предприятиям.

[22] Что касается О'Коннора, см.: Caffé F. *Op. cit.*, p. 285—286; что касается Гэлбрейта, см.: Galbraith J. K. *La Science économique et l'intérêt général*. 1973, passim («Мир конкурентного рынка» — p. 12).

Правда, это различение еще не стало обычным в наших дискуссиях, но мало-помалу приобретается привычка подразумевать под капитализмом верхние этажи. Капитализм все более и более делается некой *превосходной степенью*. Так против кого выдвигается общественное обвинение во Франции? Против трестов, против ТНК; это означает целить высоко и целить правильно. Лавочка, где я покупаю свою газету, не относится к капитализму, она лишь обнаруживает его сеть (когда имеется сеть), от которой зависит скромная лавочка. Не относятся к капитализму также и ремесленные мастерские и мелкие независимые предприятия, те, что во Франции иногда называют «49», потому что они не желают достигать роковой цифры — 50 занятых, — принимая во внимание профсоюзные и налоговые последствия этого. Эти мелкие предприятия, эти крохотные единицы — имя им легион. Но они заметны как значительная масса в крупных конфликтах, бросающих яркий свет на них и на занимающую нас проблему.

Так, на протяжении двух последних десятилетий, предшествовавших кризису 70-х годов нашего века, Нью-Йорк, этот город, в то время *первый промышленный город мира*, увидел, как одни за другими приходят в упадок мельчайшие предприятия, насчитывавшие зачастую менее двадцати работающих и составлявшие его промышленную и торговую сущность — громадный сектор производства готового платья, сотен типографий, многообразной пищевой промышленности, немалого числа мелких строительных фирм... т. е. в целом мир действительно «конкурентный», в котором единицы сталкивались друг с другом, но также и опирались друг на друга. Дезорганизация Нью-Йорка проистекала из вытеснения этих тысяч предприятий, которые в недавнем прошлом позволяли найти в городе все, чего мог пожелать потребитель, произведенным на месте, хранящимся на месте. Именно крупные предприятия сме-

нили, разрушили этот мир к выгоде крупных производственных единиц, расположенных вне города. Хлеб, который выпекало для нью-йоркских школьников на месте одно старинное предприятие, теперь поступает из Нью-Джерси[23]...

[23] Erstein J. *The Last Days of New York.*—«*New York Review of Books*», 19 February 1976.

Итак, вот вам хороший пример того, чем может быть в сердце самой «передовой» страны мира конкурентная экономика, конечно же устаревшая, с крохотным числом работников и персональным управлением. Она исчезла недавно, оставив в покинутом Нью-Йорке невосполнимую пустоту. Но есть и такие из этих миров, что продолжают жить у нас на глазах. Прато, большой текстильный центр около Флоренции,— самый прекрасный пример, какой я знаю, настоящая колония очень мелких предприятий, живучих, располагающих рабочей силой, пригодной для любых задач и для любых необходимых перемен, предприятий, способных следовать за течениями моды и конъюнктуры, со старинными приемами, порой напоминающими своего рода надомничество *(Verlagssystem)*. В Италии крупные текстильные фирмы страдают от нынешнего спада, тогда как Прато знает еще полную занятость.

Но намерение мое не в том, чтобы множить число примеров. Оно заключается единственно в том, чтобы отметить, что имеется более или менее плотная нижняя зона экономики; называйте ее, как пожелаете, но она существует, и она состоит из независимых единиц. Так что не спешите утверждать, что капитализм есть совокупность общественного, что он охватывает наши общества в целом. Маленькую мастерскую в Прато, как и какую-нибудь ныне разорившуюся типографию в Нью-Йорке, нельзя относить к категории истинного капитализма. Это неверно — и в социальном смысле, и в плане руководства экономикой.

Наконец, что касается конкурентного сектора, то следует добавить, что он не охватывает всего того, что оставил в стороне или даже забросил капитализм на вершинах. Еще и сегодня, как в XVIII в., имеется обширный первый этаж, который, по утверждениям экономистов, представляет в *индустриальных* странах современного мира до 30—40% деловой активности. Этот объем, недавно оцененный и поражающий своим размахом, образует сумма из находящихся вне рынка и контроля государства контрабанды, прямого обмена благ и услуг, работы «налево» *(«travail au noir»)*, семейной активности — этой домашней экономики, которая была для Фомы Аквинского *«чистой экономикой»* (*economia pura*) и которая сохраняется и в наши дни. «Трехчастное членение», экономика в несколько этажей, древнее значение которой я признал, остается моделью, матрицей наблюдения и для настоящего времени. И наша статистика, которая в своих подсчетах не учитывает этот первый этаж наших обществ, представляет неполный анализ.

Вот что обязывает пересмотреть немалое число точек зрения на «систему», которая будто бы в наших обществах будет капиталистической сверху донизу. Наоборот, если говорить коротко, то наблюдается живая диалектика капитализма, находящегося в противоречии с тем, что — ниже него — не представляет подлинного капитализма. Говорят, правда, что крупные фир-

мы терпят мелкие, а при желании-де они бы их проглотили в один миг. Какая снисходительность с их стороны! Совершенно таким же образом Стендаль полагал, что в Италии, столь жестокой во времена Возрождения, большие города по доброте сердечной щадили менее крупные. Я говорил (и вероятно, я прав), что большие города не смогли бы жить без прислуживавших им городов малых. Что же до колоссальных фирм, то они, по словам Гэлбрейта, не трогают предприятия-лилипуты будто бы потому, что последние, учитывая их малые размеры, имеют более высокие издержки производства и, значит, позволяют устанавливать рыночные цены на таком уровне, который увеличивает размеры прибыли крупных фирм. Как будто последние, если бы они были одни, не смогли бы по собственному усмотрению устанавливать цены и увеличивать прибыли! На самом же деле они нуждаются в более мелких, нежели они сами, предприятиях, с одной стороны, и прежде всего ради того, чтобы снять с себя тысячи более или менее незначительных работ, необходимых для жизни всего общества, до которых капитализму нет дела. С другой стороны, как мануфактуры XVIII в. беспрестанно обращались к рассеянным вокруг них ремесленным мастерским, так и крупные фирмы доверяют некоторые задачи субподрядчикам, которые поставляют готовые изделия или полуфабрикаты. Ремесленные фабрики Савойи работают ныне на очень удаленные заводы. Есть также место и для перекупщиков, для посредников... Все эти цепочки субподрядчиков, конечно, прямо зависят от капитализма, но они образуют лишь особый сектор мелкого предпринимательства.

Представляется, впрочем, что если бы конфликт между капитализмом и прилегающей к нему снизу зоной был чисто экономического порядка — но он не таков! — то сосуществование возобладало бы само собой. Это заключение недавнего симпозиума экономистов [24]. Но здесь вмешивается политика правительства. Некоторые европейские страны после последней войны проводили политику, сознательно направленную, как и в Нью-Йорке, на устранение мелких предприятий, рассматривавшихся как пережиток и признак экономического отставания. Государство создало монополии — так, в виде примера назовем компанию «Электрисите де Франс», которую ныне обвиняют в том, что она-де образует государство в государстве и препятствует расцвету некоторых новых форм энергетики. И именно крупные предприятия частного сектора получили и получают кредиты и первоочередную помощь от государства, тогда как банки, выполняя распоряжение, ограничивают свои кредиты небольшим предприятиям, что значило обречь последние на прозябание и исчезновение.

Нет более опасной политики. Она означает повторение в иной форме фундаментальной ошибки социалистических стран. Разве не говорил Ленин: «Мелкое производство *рождает* капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе... Если есть мелкое хозяйство, если есть свобода обмена — появляется капитализм» [25]. Ему даже приписывают слова: «Капитализм начинается с деревенского рынка». Вывод: чтобы избавиться от капита-

[24] Парижский симпозиум, организованный Домом наук о человеке и Миланским коммерческим университетом Боккони 22—23 февраля 1979 г.: «Мелкие и средние предприятия в европейской экономической системе». Упоминавшееся соображение принадлежит профессору Франческо Брамбилле.

[25] Цит. в книге Базиля Керблэ: Kerblay B. *Les Marchés paysans en U.R.S.S.* 1968, p. 113—114. См.: Ленин В. И. *Полн. собр. соч.*, т. 41, с. 6; т. 43, с. 159, а также т. 43, с. 62—63, 152—153.

лизма, надлежит с корнем вырвать индивидуальное производство и свободу обменов. Не представляют ли эти высказывания Ленина на самом деле хвалы громадной созидательной мощи рынка, нижележащей зоны обменов, ремесленного производства и даже, на мой взгляд, просто смекалки? Созидательной мощи, которая есть для экономики не только основное богатство, но и запасная позиция во время кризисных периодов, войн, серьезных расстройств экономики, требующих структурных перемен. Первый этаж, не парализуемый бременем своего оборудования и своей организации, всегда способен найти попутный ветер; он образует зону истоков, импровизированных решений, а также инноваций, хотя вообще-то лучшее из его открытий попадает опять-таки в руки обладателей капиталов. Ведь не капиталисты совершили первую хлопковую революцию, все начиналось с крохотных и динамичных предприятий. Разве ныне дело обстоит по-иному? Один из крупных представителей французского капитализма недавно говорил мне: «Изобретатели никогда не сколачивают состояний!» Им приходится посторониться. Но тем не менее изобретали-то они! И не отметил ли только что доклад Массачусетского технологического института, что за последние пятнадцать лет больше половины созданных в США рабочих мест обязано своим появлением малым предприятиям с числом занятых менее 50 человек?

И наконец, разве не должно было бы безоговорочное признание различия между рыночной экономикой и капитализмом позволить нам избежать [позиции] *«все или ничего»*, которую нам неизменно предлагают политические деятели, как если бы невозможно было бы сохранить рыночную экономику, не предоставляя полной свободы монополиям, или избавиться от этих монополий, не «национализируя» очертя голову? Программа «Пражской весны» — социализм на вершине, свобода, «спонтанность» у основания — предлагалась как двойное решение для двоякой, вызывавшей озабоченность реальности. Но какой социализм сумеет сохранить свободу и мобильность предприятия? Раз предлагаемое решение опять сведется к замещению монополии капитала монополией государства, в общем, к тому, чтобы добавить недостатки последней к порокам первой, то можно ли удивляться, что классические решения левых не вызывают энтузиазма избирателей? Если искать такие решения всерьез и по-честному, то не оказалось бы недостатка в экономических решениях, которые расширили бы рыночный сектор и поставили бы ему на службу те экономические преимущества, какие сохранила за собой господствующая группа. Но главная трудность не в этом — она социального порядка. Точно так же, как практически невозможно ожидать от стран, находящихся в центре мира-экономики, чтобы они отказались от своих привилегий в международном плане, точно так же можно ли на национальном уровне надеяться, что господствующие группы, которые объединяют капитал и государство и которые уверены в международной поддержке, согласятся играть в эту игру и потесниться?

30 октября 1979 г.

СПИСОК ГРАФИКОВ

52 — Войне как искусству обучались и научались
68 — Как разложить цены на разные движения
70 — Зерновые кризисы в Европе, 1639—1660 гг.
75 — Циклы Кондратьева и вековая тенденция
89 — Основание городов в Центральной Европе
154 — Число французских купцов, зарегистрированных в Антверпене с 1450 по 1585 г.
165 — Чрезмерное обилие капиталов в Генуе с 1510 по 1625 г.
184 — Рост городского населения
225 — Расчеты, связанные с судьбой Объединенной Ост-Индской компании (ООИК)
301 — Промышленность и торговля подталкивают денежную экономику к расширению
309 — «Пороги плотности» по Эрнсту Вагеману
317 — Национальный доход, денежные запасы и бюджет во Франции в 1500—1750 гг.
423 — Баланс торговли английских колоний в Америке с метрополией был благоприятен для Великобритании
433 — Два цикла американского серебра
434 — Два цикла американского золота
476 — Баланс российской торговли (1742—1785 гг.)
487 — Цены в Турции следовали за конъюнктурой
577 — Английский импорт и экспорт зерна и муки
583 — Уровни смертности и рождаемости в Англии
631 — Цены в Англии и во Франции, 1710—1790 гг.
631 — Долговременное движение цен в Англии
634 — «Потребительская корзина домохозяйки»

СПИСОК КАРТ И СХЕМ

17 — Россия, мир-экономика или мир-империя?
20—21 — Европейские миры-экономики в масштабе всей планеты
40 — Карта распространения готического стиля
62 — Подражания Версалю в Европе XVIII в.
94 — Североевропейский промышленный «полюс»
100 — Торговые перевозки Ганзы около 1400 г.
109 — Города, связанные с ярмарками Шампани (XII—XIII вв.)
118 — Сравнительные бюджеты: Венеция лучше других государств противостоит кризису
124 — В Венеции: плавания торговых галер
142 — Важнейшие пути антверпенской торговли
177 — Бургундские Нидерланды в 1500 г.
201—202 — Соединенные Провинции перед лицом испанской угрозы
258 — Отплытие кораблей из французских гаваней на Тексел
260 — Сношение Бордо с портами Европы
284 — Браки в пяти деревнях Шампани с 1681 по 1790 г.
286 — Герцогство Мантуя (по данным карты 1702 г.)
287 — Провинция и ее «края»: Савойя в XVIII в.
294 — Территория Пяти Главных откупов
322—323 — Огромное пространство Франции: трудности национального рынка
330—331 — Религиозные войны и французское пространство
346—349 — Франция: четыре глобальных взвешивания
355 — Франция: плотность населения в 1745 г.
356 — Франция: «возможности народов» в XVIII в.
374 — Плотные рыночные зоны находились в пределах досягаемости Лондона
376 — Национальный рынок и судоходные пути (1660—1700 гг.)
399 — Англичане и голландцы в Северной Америке в 1660 г.
426 — Вся Европа эксплуатировала Испанскую Америку
444 — Португалия завоевывает африканское побережье (XV—XVI вв.)
522 — Дороги и текстильное производство в Индии в середине XVIII в.
541 — Привилегированное положение Малакки
544 — Индонезия предлагает европейцам свои богатства
594 — Две Англии в 1700 г.
595 — Новое членение пространства Англии в 1800 г.
604 — Главные водные пути к 1830 г.
622—623 — Международная торговля Великобритании в 1792 г.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

15 — Венеция в XVII в.
25 — Непобедимая Армада
30 — Суда с круглыми обводами в Венеции
35 — «Варвар в первозданном виде», китайский рисунок
37 — Купец с Запада в местах производства пряностей
42 — Аллегорическое изображение данцигской торговли
46 — Торжественная официальная церемония в Венецианском государстве
54 — Сдача Бреды
58 — Домашнее рабство в Бразилии
63 — Нимфенбург в 1746 г.
80 — В XVI в. богатство означало накопление мешков с зерном
86 — Четыре изображения Венецианской империи
90 — Мелкие крестьяне, розничные торговцы в городе
96 — План Брюгге 1562 г.
101 — Ганзейский дом в Антверпене
103 — Амальфи. Вид с воздуха
114 — Лев св. Марка
119 — Площадь Сан-Джакометто в Венеции
127 — Венецианские купцы на Востоке
131 — Гондольеры в Венеции
139 — Португальское судно в Макао
144—145 — Старый антверпенский порт
150 — Вид Антверпена около 1540 г.
158—159 — Генуэзский порт в 1485 г.
164 — Гигантские корабли в Генуэзском порту в XV в.
170 — Образцы генуэзских ситцев
174 — Генеральные штаты Соединенных Провинций в 1651 г.
180 — Соединенные Провинции и морские воды
182 — Амстердам, порт
185 — Амстердам, рыбный рынок
189 — Голландские парусные транспортные суда
196—197 — Площадь Дам в Амстердаме в 1659 г.
203 — Захват груженных серебром испанских кораблей кораблями голландской Вест-Индской компании
208 — Голландские промыслы, где вытапливали китовый жир, на острове Ян-Майен
212 — Нападение голландских военных кораблей на г. Макассар (1660 г.)
218 — Фактория Объединенной Ост-Индской компании в Бенгалии
222 — Корабли Объединенной Ост-Индской компании в Батавской бухте
228 — Как китайцы изображали голландцев
230 — Голландцы на острове Десима
237 — Роттердам в 1700 г.
240 — Меняльная контора в Голландии
251 — Производство оружия в Юлитаброке, в Швеции
255 — Шведский чугунолитейный завод в 1781 г.
266—267 — Батавия: вид рейда (1764 г.)
276 — Голландские «патриоты» упражняются в стрельбе по силуэту прусского гусара

281 — Дорога у выезда из Лондона
289 — Вид порта Мессина и Мессинского залива
295 — Взимание пошлин на английской дороге
304 — «Средства к существованию» Соединенных Провинций
312 — Уплата повинностей
324 — Город Море-сюр-Луэн в 1610 г.
334 — Новая Лионская биржа
340 — Отель Суассон
352 — Сен-Мало в XVII в.
358 — Базакльская башня и мельницы в Тулузе
362 — Лондонская биржа в 1644 г.
369 — Стадо быков и овец в Сохо в конце XVIII в.
370—371 — Лондон в конце XVIII в.
372 — Фешенебельный квартал Лондона — Гроувенор-сквер около 1790 г.
380 — Площадь Сенного рынка в Эдинбурге в XVIII в.
386 — Кофейня *(Coffe House)* в Лондоне около 1700 г.
393 — Карикатура 1792 г.: Франция и Англия
402 — Строительство города Саванна в Джорджии
405 — Мобилизация работников-индейцев
409 — Лавка невольников в Рио-де-Жанейро
415 — Вышивальная мастерская в Перу в XVIII в.
418 — Бостон в 1801 г.
431 — Главная площадь Панамы в 1748 г.
438 — «Промышленная деревня» в Новой Англии около 1830 г.
441 — Голландская колония на мысе Доброй Надежды
446 — Рабство в странах ислама
454 — Архангельский порт в XVII в.
462 — Волга между Новгородом и Тверью
465 — Торговля пирогами
472 — Русские и китайские купцы в Кяхте
473 — План Астрахани в 1754 г.
479 — Санкт-Петербургский порт в 1778 г.
483 — Город Анкара и его базар в XVIII в.
485 — Остановка в караван-сарае
489 — Караван, выходящий из Анкары
495 — Вид площади и фонтана Топхане в Стамбуле
500 — Транспортное судно в порту Бомбея
501 — Дельта Ганга
506 — Штурм и взятие голландцами в 1606 г. Тидоре
508 — Туземные пираты Малабарского берега
514 — При дворе Великого Могола
516 — Индийский караван вьючных быков
520 — Туземные кузнецы в Гоа
526 — Путешествия по Индии в XVI в.
530 — Великий Могол отправляется на охоту
536 — Служащий Ост-Индской компании
547 — Макао в начале XVII в.
552 — Джеймс Уатт
562 — Мельница в XIII в.
566 — Серебряный рудник в Кутной Горе
568 — Прядильные машины 1607 и 1833 гг.
572 — Английская «железная дорога» в XVIII в.
576 — Английский кирпичный завод в XVIII в.
580 — Английская крестьянка
587 — Доменные печи Колбрукдейла в XVIII в.
589 — Мост на реке Уир около Сандерленда
592 — Хлопкопрядильня в Нью-Ланарке
596 — Бристольский порт в начале XVIII в.
601 — Герцог Бриджуотерский перед построенным им каналом
606 — Вест-Индские доки в Лондоне (начало XIX в.)
614 — Изготовление шерстяных сукон в шотландских Нагорьях
616 — Ткацкая мастерская в Англии XVIII в.
624 — Угольная биржа в Лондоне

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аббас I 467, 481
Абель Вильгельм 83, 285, 297, 305, 310, 563, 630, 636
Авенель, виконт д' 643
Ависская династия 138
Агрикола (Бауэр) Георг 564, 565
Адан Поль 85
Азеведу Лусиу ди 382
Акбар Джелаль-ад-дин (Акбар Великий) 527, 531
Аккариас де Серионн Ж. 175, 243, 246, 387, 395, 412, 424, 428, 594
Албукерки Афонсу д' 507, 540, 545
Александр I, император России 252, 461
Александр III, папа Римский 105
Александр Македонский 560
Алмейда Франсишку 507
Альба Альварес де Толедо, герцог 152
Амман Гектор 14, 94, 109
Ангермюнде, семейство 99
Анжевиль Адольф, граф д' 342, 344
Антоний 560
Аньелли Джованни 648
Арагон д' 391
Аржансон Рене Луи Вуайе, маркиз д' 345
Аристотель 112, 611
Аркрайт Ричард 553, 584, 591
Арон Йозеф 272
Арсиньегас Херман 438—439
Астрём Свен Эрик 254, 256
Аттали Жак 648
Аурангзеб 509, 521, 529—533
Афтальон Альбер 282

Бальзак Жан Луи Гез де 22
Баньюоло, граф 53
Барбур Вайолет 173, 186, 231
Барбьери Джино 569
Баркан Омер Лютфи 487, 488
Беджгот У. 628
Бейссад П. 81
Беккариа Чезаре 611
Белон Пьер 486
Бениовский М. А. 471
Бенье Мишель 389
Бенье Робер 392
Берель Рене 315, 629, 630, 637
Беркли Джордж 388
Бернар И. 303
Бернар Самюэль 318, 336, 337, 339
Бернье Франсуа 530, 531
Берт Жан-Пьер 401
Бертэн Жак 574
Бехтель Генрих 92, 397
Биккер Корнелис 231
Биккер Якоб 231
Бланки Адольф 331, 553
Бланки Огюст 553
Блок Марк 61, 128, 640
Блюм Дж. 478
Блюс Леонар 549
Боде Пьер 181
Бодри де Лозьер Луи Нарсис 59
Бодуи Колетт 36
Боз 294
Бойл Роджер 55
Боксер Чарлз 481
Болтон 586
Больц 509
Бонавентура, св. 112
Бонрепо 215
Борегар, граф де 259
Борелли Луиджи 440
Борис Годунов 458
Борланди Франко 107, 167
Борса Джорджо 498
Ботеро Джованни 156, 480
Браамс Даниэль 229
Брадинг Д. А. 413
Брамбилла Франческо 652
Браун Роберт 23
Браун Фелпс 83, 305, 634, 636
Браун Эдвард 482
Брейгель (Брёгел) Младший 312
Бри Теодор де 547
Бросс Шарль де 22
Брюне Р. 285
Брюнель Пьер 39
Буа Ги 561, 564
Буагильбер Пьер Ле Пезан де 301, 318, 325
Бувье Жан 319, 327
Бувье-Ажан М. 280
Бугенвиль Луи-Антуан де 551
Буонсиньори, семейство 108
Бурбоны, династия 201, 340, 429, 430
Буске Ж. 66
Буске Николь 432
Буэну да Силва 399
Бэкон Роджер 565
Бэрош Поль 64, 302, 304, 305, 307, 550, 575, 584—586, 609
Бюсси (Бюсси-Кастельно) Шарль 508
Бютель Поль 260, 351
Бюхер Карл 250, 298

Вагеман Эрнст 282, 308, 309, 357
Ваза, династия 252
Валлерстайн Иммануэль 14, 19, 32, 45, 48—51, 59, 65, 71, 72, 81, 206, 397, 453
Валуа, династия 102, 148, 151, 329
Ван Бойнинген Конрад 257
Вандель, семейство 642
Ван ден Хаген Стевен 212
Ван дер Аудермёлен Б. 227
Ван дер Вее Герман 146, 153
Ван дер Капеллен 277
Ван дер Спигел Х. Л. 269
Ван Керден Пауль 264
Ван Клаверен Якоб 428
Ван Леннеп, семейство 262
Ван Линдсхотен Ян Хёген 210
Ван Люр Якоб Корнелис 501
Ван Некк Якоб Корнелиус 211, 262
Ван Ноттен, семейство 262
Ван Ренсселер, семейство 419
Ван Рибек Ян 441
Ван Схонебекке Гильберт 155
Ван Ферелинк, семейство 270, 271
Ван Хаутте Й. А. 97
Ван Эйк Ян 96
Васко да Гама 34, 50, 106, 122, 137, 140, 441, 502, 507, 545
Вебер Макс 519, 555, 647
Векингхузен, семейство 99
Веласкес Д. 53
Веллингтон Артур Уэлсли 435, 436
Вельзеры, семейство 146, 148, 149, 215, 645

Верженн Шарль Гравье, граф де 396, 488, 497
Верлинден Шарль 396
Веспуччи Америго 352
Вивальди, братья 106, 125
Видаль де Лаблаш Поль 287, 384
Виейра Антониу, отец 426
Викефорт Абрахам де 198
Вилар Пьер 72, 78, 79, 297, 403, 574, 629
Вилламон де 22
Вильгельм II, статхаудер 193
Вильгельм III, статхаудер (Вильгельм Оранский) 186, 191, 193, 194, 368, 385
Вильгельм IV, статхаудер 193, 200
Вильгельм V, статхаудер 193, 277
Вимон Клод 303
Винчи Леонардо да 564, 567
Витале В. 161
Витт Ян де, великий пенсионарий 193, 198, 203, 237, 259
Виттельсбахи, княжеский род 288
Виттман Тибор 155
Виттфогель 49
Влекке Б. М. 195
Вобан Себастьен ле Претр 295, 301, 306, 313, 333, 335
Вольтер Франсуа Мари Аруэ 22
Воронин 458
Воронцов А. Р. 475, 477
Воронцов С. Р. 475, 478, 479, 497
Вэн Поль 640
Вычаньский Анджей 315

Габсбурги, династия 50, 75, 148, 149, 151, 201, 329, 481, 496
Габриэль Альбер 489—490
Гагарин М. П., князь 49, 457
Галиани Фердинандо, аббат 330, 346
Гардан Поль-Анж-Луи де 486
Гарибальди Джузеппе 55
Гарсиа-Бакеро Гонсалес Антонио 301
Гаскон Ришар 332
Гвиччардини Лодовико 143, 176, 236
Геер Луи де 253
Гейл Питер 276
Генрих VII Тюдор 245, 291
Генрих VIII, король Англии 165, 360
Генрих II, король Франции 151, 165
Генрих III, король Франции 365
Генрих IV, король Франции 334, 361
Генрих Мореплаватель 35, 136
Георг III, король Англии 556, 632
Герни, семейство 624
Герон Алесандрийский 559

Гиз Франсуа де 360
Гизе, семейство 99
Гильфердинг Р. 621
Гишонне Поль 285
Гламанн Кристоф 222, 223, 226, 229, 231, 301, 310
Глендоуэр Оуэн 361
Гмелин Иоганн Георг 470
Голдсмит Реймонд 310
Голлмэн Роберт 310
Гонзага, семейство 286
Грааф Ренье де 546
Гракко Джорджо 106
Грандами Рене 83, 305
Грас Н. 374
Грачев, мануфактурщик 463
Гренар Фернан 480
Гренвилл Генри 491, 492
Гренвилл У. У., лорд 420, 428
Грешэм Томас 152, 362—365, 370
Грилл, семейство 273
Грициотти Кречман Дженни 73
Гроот Питер де 198
Груссе Поль 86
Гуальтеротти, семейство 148
Губер Пьер 342
Гудар, шевалье 498
Гулд А. 307, 364
Гумбольдт Александр 436
Гурвич Жорж 18
Густав-Адольф, король Швеции 48, 252
Гуха Амаленду 599
Гуццо Аугусто 112
Гэлбрейт Джон К. 650, 652
Гюго Виктор 354

Даймонд Зигмунд 646
Дарю Пьер 119
Датини Франческо ди Марко 92, 96
Даунинг Джордж 188
Дашкова Е. Р., княгиня 461, 478
Девез Мишель 498
Деказо дю Аллэ 340
Декарт Рене 22
Дельбрюк Ханс 51
Делюмо Жан 342
Демаре Никола 223, 337, 338
Демидов, князь 462, 478
Денвиль Франсуа де 354
Дерби Абрахам 586
Дерминьи Луи 71
Дефо Даниэль 175, 239, 262, 375—377, 386, 585, 600, 606
Джайн Л. 513
Джеймсон Франклин 419
Джекобс Норман 512
Дженовези Антонио 8
Джефферсон Томас 412, 419
Джиджибхой Дж. 536
Джонс Э. Л. 573, 576, 578, 619
Дзангери Ренато 567
Диаш Бартоломеу 136, 140
Дидро Дени 133, 187, 478

Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфилд 85
Дийон Эдуар, полковник 494
Дикеарх 559
Дин Филлис 554, 584, 598, 632
Доллингер Филипп 95
Дольфин Андреа 388
Дон Жан 288
Дори Джералд 106
Дориа, семейство 162
Дориа Андреа 163
Дориа Джорджо 164
Дрейк Фрэнсис 215
Дурн Жак 34
Дьёрдь Лукач 9
Дэвис Ральф 137, 140
Дюби Жорж 91
Дюбуше, шевалье 387
Дюкен Авраам 160, 503
Дюмезиль Жорж 645
Дюпё Жорж 316
Дюпен Франсуа-Пьер-Шарль, барон 326, 602, 603
Дюплекс Жозеф-Франсуа, маркиз де 214, 503, 504, 508
Дюпон де Немур Пьер Самюэль 40, 391
Дюприе Леон 72, 77, 79, 630, 632
Дюто Шарль 306
Дюфрен де Сен-Леон Луи-Сезар-Александр 387

Евгений Савойский, принц 135
Евклид 559
Екатерина II 135, 191, 247, 248, 389, 461, 463, 494, 497
Елизавета I, королева Англии 43, 95, 151, 209, 360, 363, 364, 378
Ермак Тимофеевич 468

Жакмон Виктор 503
Жаннэн Пьер 192
Жемпель Жан 561
Жентил да Силва Жозе 9, 332
Жуан I, король Португалии 136
Жуан II, король Португалии 136
Жуан VI, король Португалии 425
Жюглар К. 67, 78

Зёст, семейство 99
Зеленцов К. А. 465
Зомбарт Вернер 9, 51, 52, 118, 186, 283, 319, 555, 647
Зоннерат П. 519, 541
Зухтен, семейство 99

Ибн Маджид 442
Ибрагим I 482
Иван Грозный 459, 460, 468
Иван III 102
Идальго (Идальго-и-Костилья) Мигель 414

Иден Уильям 389—391, 632
Имхоф, семейство 148
Инкарнати Ламберто 113
Иннис Харолд Адамс 608
Исламоглу Анри 496
Ицхок 272

Кабрал Педру Алвариш 137, 352
Кабрал ди Меллу Эвалду 55
Каваццп Джованни Антонио 447
Кадлифф 101
Калдор 314
Камберлендский, герцог 387
Камерон Рондо 72
Каналетто Джованни Антонио 119
Кантакузин Михаил 49
Кантийон Ришар де 334, 598
Капетинги, династия 50, 112, 291, 360
Каппони, семейство 333
Кара Мустафа-паша, великий визирь 482
Карл I, король Англии 168
Карл II, король Англии 234, 261, 367, 385, 426
Карл IV, король Испании 297
Карл V, император 14, 23, 50, 65, 135, 149, 163, 166, 206, 329
Карл VI, король Франции 117
Карл VII, король Франции 300, 328, 459
Карл VIII, король Франции 50, 120
Карл Великий 560
Карл Эрнст Людвиг 425, 611
Карлеварис Лука 15
Карманьяни Марчелло 401
Каролинги, династия 49, 94
Кароль К. Ш. 9
Карон Ноэль 211
Карпаччо Витторе 30
Каррон 588
Каррьер Шарль 271, 294
Карюс-Уилсон Элеонора М. 561
Кастан Бертран 337
Кауфман-Рошар Жаклин 453
Каффе Федерико 641
Квеллер Доналд 106
Кей Джон 584, 590, 612
Кейнс Джон, лорд Мейнард 77, 80, 310, 645, 650
Келленбенц Герман 33, 64
Кенэ Франсуа 310
Кёр Жак 10, 49
Кертин Филип 445, 450, 451
Кильбургер Й. Р. 465
Кинаст В. 50
Кинг Грегори 301, 306, 310, 312, 618
Кинг Чарлз 237
Киндлбергер Чарлз 243, 298, 300
Киплинг Редьярд 529
Кирос Хосе-Мария 432
Китчин 67, 68
Клайв Роберт 503, 508
Кларк Колин 617—619
Клейн П. В. 192
Клеопатра 560
Клиффорд, семейство 249, 262, 270, 273, 274
Клэпем Джон Харолд 602
Кобенцль, граф 290
Кокс Оливер 115, 124
Кокэн Франсуа-Ксавье 469
Колли Ж.-К. 303
Колумб Христофор 50, 137, 140, 162, 397
Кольбер Жан-Батист 188, 191, 259, 261, 293, 295, 319, 330, 348, 392, 530
Коммин Филипп де 22, 120
Кондратьев Н. Д. 67, 68, 72, 76, 628, 630, 632, 633, 637
Контарини, семейство 120
Кореаль Франсиско 412
Коссман Э. 194
Котинью Соза 192
Котта Алэн 280
Коттингтон Фрэнсис 168, 213
Коул А. 632
Коутсуорт Дж. А. 432, 433
Коуэн Г. 416
Кошинга 216
Крёбнер 555
Кроз Антуан 318
Кромвел Томас 360
Кромвель (Кромвел) Оливер 407
Кромптон Сэмюэл 584, 591
Крон Фердинанд 215
Кронстрём, семейство 253
Крузе Франсуа 43
Крус Коста 55
Ксенофонт 611
Куайе, аббат 293
Кузнец Саймон 67, 282, 303, 310, 554, 608, 610
Кук Джеймс 551
Кулишер Йосиф Михайлович 9
Куля Витольд 9, 67, 79, 257
Кун Ян Питерсзон 214, 508
Курдюрье М. 271
Кьюбитт Томас 617
Кюште Шарль 603

Лаба Жан-Батист, отец 449
Лабрус Эрнест 67, 79, 234, 275, 320, 583, 590, 629, 632
Лависс Эрнест 287
Лавуазье Антуан Лоран де 301
Ла Кур Питер де 178, 179, 188, 204, 234
Ла Мишодьер де 338
Ланг Лоренц (или Лаврентий) 475
Ланд Давид 554, 588
Ланкастер Джеймс 215, 545
Лаперуз 551
Лас Касас 403
Лас Кортес, отец де 503
Ласлетт Питер 60
Лаунд Уильям 368
Ла Файль Жак де 186
Ла Э де 480, 494
Леблан, аббат 62, 63
Левассёр Эмиль 588
Леви-Лебуайе Морис 43
Ленин В. И. 649, 652, 653
Ле Мэр Исаак 205
Леон Пьер 79, 342
Леонтьев В. 245, 282
Леплэ Пьер-Гийом-Фредерик 461
Ле Поттье де ла Этруа (Эон Жан) 239, 261, 425
Ле Пренс Ж.-Б. (Лепренс) 479
Ле Руа Ладюри Эмманюэль 342, 344
Лескюр Жан 282
Лестер (Роберт Дадли), граф 208
Либих Юстус, барон де 480
Лисаррага, епископ 415
Ллойд, семейство 624
Локк Джон 368, 369
Локке 428
Ломбар Морис 91
Ломм Ж. 302
Лопес Роберто 92, 161
Л'Опиталь Мишель 311
Лоренц Конрад 645
Лотрек 163
Лоу Джон 10, 44, 224, 318, 339, 341, 364, 429
Луиза Савойская 149
Лукач Дьёрдь 9
Луццатто Джино 91, 123, 128
Лэйн Фредерик 130, 561
Льюис Артур 554
Льюис Арчибальд 89
Людовик XI, король Франции 288, 291, 300, 319, 328, 332, 459, 532
Людовик XII, король Франции 318
Людовик XIV, король Франции 38, 47, 55, 82, 135, 160, 167, 175, 191, 203, 204, 215, 223, 252, 259, 318, 320, 336, 342, 346, 392, 412, 428
Людовик XV, король Франции 307, 310, 318, 320
Людовик XVI, король Франции 275, 312, 341, 632
Людовик Святой 74, 106, 111, 112, 328
Люксембург Роза 59
Лютге Фридрих 397
Лютер Мартин 646
Лютфалла Мишель 72

Магальяйс-Годинью Виторино 137, 148
Магеллан Магальяинш Фернан 19, 541, 543
Мазарини Джулио 33, 201, 204
Майе дю Клерон 246, 270, 274
Майнард Лоренс 314
Макартни Джордж 59

Макиавелли Никколо ди Бернардо 287, 291, 531, 646
Мак-Нил Уильям 122
Максимилиан I Габсбург, император 121, 134, 291
Макферсон Д. 599
Малларме Стефан 39
Маловист Мариан 448
Мальфанте, купец 125
Мандельсло Иоганн Альбрехт 524
Манрике М. 504
Маргарита Австрийская 149
Маргарита Пармская 152
Мария Тюдор 361
Мария-Терезия, императрица 171, 290, 311, 488
Маркович Т. 393
Маркс Карл 18, 31, 49, 51, 403, 555, 579, 584, 611, 647, 649
Маркузе Герберт 646, 647
Мартен Франсуа 504
Марчевский Жан 282, 302
Марчелло Бартоломео 134
Маршаль Андре 72
Матиас Питер 313, 392, 615, 617, 630
Маффеи Франческо Шипионе, граф 48
Мёвре Жан 629
Медина-Сидония, герцог 208
Медичи, семейство 535
Мейерсон Иньяс 397
Мекленбург-Стерлицкий, герцог 246
Мелис Федериго 92
Мелон Жан-Франсуа 224, 239
Мемлинг Ганс 96
Метуэн, лорд 43, 371
Миани Джемма 569
Миквиц Г. 254
Микеланджело 38
Микьель Витале, дож 106
Мин, династия 24, 499
Миних, граф 463
Мишле Жюль 287, 645
Модав, граф де 548, 549
Моммзен Теодор 640
Моннерон Луи 534
Монтескьё Шарль-Луи 22
Моразе Шарль 628
Моргадо Алонсо 24
Морино Мишель 79, 209, 297, 344, 346, 497
Мориц Нассауский (Оранский) 183, 193, 194, 212, 233, 234
Морленд Уильям Харисон 211, 264
Мортимер Томас 388
Мочениго Томмазо, дож 116—118, 121
Мустафа III, султан 497
Мухаммед Туглук 300
Мэн Томас 366, 537
Мэхэн Альфред Тайер, адмирал 25—26
Намье 361
Наполеон I 373, 550, 581
Нёвилль, семейство 262, 270, 272, 273
Нейс Питер 229
Неккер Жак 336, 343
Неф Вернер 319
Неф Джон 567, 569, 570, 573, 579
Ниитемаа В. 254
Никитников Григорий 458
Николай I 469
Нимейер Г. 31
Новалис Фридрих 9
Нордманн Клод 252
Норт Дуглас 607
Нортумберленд, лорд 387
Нурске Рагнар 44, 608
Ньюкомен Томас 588
Ньютон Исаак 369

О'Брайен Патрик 313, 392
Огг Дэвид 619
Оглторп Джон 407
О'Коннор Дж. 644, 645, 650
Олар Альфонс 330
Олденбарневелт Ян 183, 193, 212
Оливарес Гаспар де Гусман, герцог 82, 168, 201, 209
Ольдекоп Я.Х.Ф. 224, 248, 249, 272, 273, 275, 277, 279
Орлов А.Г. 497
Орри Филибер 354, 355, 357
Османы, династия 49, 134
Оуэн Роберт 592
Оффе Г. 644

Павел I 461
Палеологи, династия 106, 115, 161
Паллас Петр Симон 462
Паломба Джузеппе 78
Папаньо Джузеппе 230
Папен Дени 559
Партечипацио Юстиниан, дож 104
Пашеку (Перейра) Дуарти 140
Педру I, император Бразилии 425
Пелсарт Франкус 519
Пельс Андре 274
Перикл 513
Перро Жан-Клод 358
Перру Франсуа 39, 302, 303, 397, 609
Петион де Вильнёв Жером 293
Петр I 135, 396, 453, 458, 460, 461, 475—477
Петрарка 126
Петти Уильям 301, 303, 329, 611
Пизани Веттор 114
Пийе 635
Пиль Роберт 613, 615
Пинто Иссак де 88, 178, 198, 200, 296, 301, 302, 372, 387, 388
Пиренн Анри 32, 88, 94, 97, 141, 640—641
Пириш Томе 544
Пирсон Н.М. 532
Писарро, братья 440
Питт Уильям Младший 87, 384, 388
Питт Уильям Старший 372, 389, 390, 392, 416
Пишегрю Шарль 55
Плам Дж.Г. 381
Плантагенеты, династия 50, 360
Платон 611
Плиний Старший 17
Поланьи Карл 254
Поло Марко 107
Помбал Себастьян Жозе, маркиз 308
Помпонн Никола-Симон Арно, маркиз де 188, 203, 225, 237, 239, 259
Пони Карло 568
Понс Антонио 176, 326
Поншартрен Жером Фелипо, граф де 345
Поршнев Б.Ф. 647
Прайс Дж.М. 413
Прево, аббат 549
Приули Доменико 120, 134
Птолемей К. 560
Пуавр Пьер 511
Пуарье Жан 9

Рагузинский Савва Лукич (Владиславич) 475
Радзивилл 41
Райт Г. 49
Райчаудхури Т. 535
Рапп Ричард Тилден 130, 132, 133, 210, 268
Редслоб Эрвин 291
Резенди Гарсия ди 412, 447
Рейналь, аббат 216, 229, 469
Рейнваль Жозеф-Матиас-Жерар де 389
Рёйтер (Рюйтер) Михиел Адрианзсон де 198
Рембрандт ван Рейн 198
Ремон Андре 343, 352, 357
Рен Кристофер 63
Рёриг Фриц 14, 92, 97
Рехберг К. 472
Ригли Э.А. 578, 589
Рикар Жан-Пьер 224
Рикардо Давид 41—43, 555, 626
Рише Дени 333
Ришелье Арман Жан дю Плесси 201, 314, 315
Робертс Ричард 585, 613
Робинсон Джоан 81, 315
Роджерс Торолд 292
Родс А. де 482
Розерхэм 576
Романи Марцио 286
Романов Михаил 458
Ромёф Жан 280
Ростовцев М.И. 640
Ростопчин Ф.В. 479, 480

Ростоу У. У. 9, 554, 555, 608
Роткруг Лайонел 291
Роуз А. Л. 342
Роулендсон 624
Ру Томас 508
Руис Мартин Фелипе 155, 207
Рэфтис Дж. А. 283
Рюбишон Морис 580, 581, 598, 625

Савари дэ Брюлон Жак 225, 243, 244, 256, 390
Сакс Игнацы 556, 557
Санблансэ Жак де Бон, барон де 49
Санчес Альборнос Клаудио 429
Сапори Армандо 87, 91
Сарди, семейство 273
Сардо Франсиско 508
Сартр Жан-Поль 649
Свифт Джонатан 385
Се Анри 324
Севери Томас 588
Сегье, шевалье 626, 628
Сегье Пьер, канцлер 217
Сен-Жакоб Пьер де 283
Сен-Жан, отец Матвей де 261
Сент-Джон, милорд 223
Сеньобос Шарль 83
Сервьен Абель 203
Симиан Франсуа 72, 77, 78, 282
Симолин И. 388, 389, 494, 497
Симон Луи 395, 592, 598, 635
Сисмонди Жан-Шарль-Леонар Симонд де 14
Слихер ван Бат Б. 91, 437
Смаут Т. 64, 379, 381, 620
Смелсер Нил Дж. 613
Смит Адам 32, 408, 421, 555, 611
Смитон Джон 588
Смиты, семейство 624
Соли Юго 155
Соннини Карло 488
Соом А. 254
Соранцо Джованни, дож 104
Спигел — см. Ван дер Спигел Х. Л.
Спунер Фрэнк 69, 82, 166, 306, 315, 316, 318, 333, 341
Стендаль 22, 652
Стефенсон Роберт 603
Стоянович Траян 297, 486
Строганов Иван 458
Строгановы, братья 458, 468
Стюарты, династия 421
Суарес Диего 52
Суизи Пол Мэрлор 18
Сукре Антонио Хосе 425
Сулейман Великолепный 482
Сункель Освальдо 556
Суриа Дева Нина 543
Сфорца, семейство 291
Сфорца Франческо 567
Схёффер Иво 224
Сэ (Сэй) Жан-Батист 10, 77, 87, 387, 555, 611
Сэйу Андре де 128
Сюлли Максимилиан де Бетюн, герцог де 330, 361

Тавернье Жан-Батист 62, 229
Тадич Йорьо 297, 484
Такер Джозайа 175
Талл Джетро 576
Теве Андре 443
Тезена дю Монсель А. 280
Темпл Уильям 187, 192, 198
Тернер Г. А. 314
Тилльон Жермена 206—207
Типу Султан, наваб Майсура 521
Титсинг Исаак 532
Тойнби Арнольд 373, 553
Токвиль Алексис де 582, 583
Тома Жан-Габриель 364
Томас Луис Филипе Ф. Р. 545
Томас Р. П. 607
Торнер Даниель 299
Торнтон Джон 501
Тоффанин Джузеппе 112
Трасселли Кармело 161, 162, 172
Тревельян Дж. М. 619
Трипы, семейство 253
Трон Андреа 388
Трюден, интендант Лиона 338
Тупак Амару 430
Турни Луи, маркиз 354
Тутэн Ж.-К. 344
Тюнен Иоганн Генрих фон 31, 39
Тюрго Анн Робер Жак 175, 182, 295, 301, 331

Уайт Линн 91, 92, 568
Уатт Джеймс 553, 588
Уилкинсон Дж. 588
Уилкинсон Фрэнк 314
Уилкисонз 273
Уиллэн Т. С. 39, 376, 600, 601
Уилсон Чарлз 263, 271, 274, 605
Уильямс Томас 603
Уильямс Эрик Юстас 402, 407, 440
Уорш Дэвид 314
Устарис Херонимо 162, 175, 224

Фанфани Аминторе 608
Фарнезе Александр 141, 186
Февр Люсьен 286, 314, 512
Фелис Андре 249
Феллони Джузеппе 171
Фенелон Франсуа де Салиньяк де 331
Фербер Холден 533, 547, 548
Фергюсон А. 611
Фёрс Рэймонд 9
Ферфакс, семейство 420
Фехнер М. В. 455
Филипп II Август, король Франции 111, 328
Филипп Смелый 110
Филипп IV Красивый, король Франции 110
Филипп VI Валуа, король Франции 112
Филипп II, король Испании 24, 33, 50, 135, 152, 162, 207, 291, 426, 545
Филипп IV, король Испании 25
Филипп V, король Испании 428
Филипп Артур 392
Филиппи Ф. 561
Фишер 617, 618
Флери Андре Эркюль де, кардинал 387
Флинн Г. У. 575
Флорес Галиндо Альберто 410
Фогел Роберт Уильям 282
Фогель Б. 188
Фокс Эдвард 347, 348, 351, 561
Фолан Клод 554
Фома Аквинский 112, 651
Фоскари Франческо 117
Фостер, семейство 624
Франк Гундер 439
Франциск I, король Франции 149, 163, 165, 329
Фредерик, г-да 273
Фрейри Жилберту 419
Фрескобальди, семейство 148
Фреш Жорж 359
Фридерици Георг 440
Фридрих I Барбаросса 105
Фридрих II, император 87
Фридрих II, король Прусский 55, 272
Фридрих-Вильгельм, курфюрст Бранденбургский 250
Фриис Астрид 206
Фрис Филипп де 360
Фрис Ян де 177, 181, 201
Фромон Никола 261
Фромон Пьер 261
Фростен Шарль 345
Фуггер Якоб Богач 10
Фуггеры, семейство 141, 146—149, 151, 155, 163, 165, 215, 535, 567, 645
Фуке Никола 49
Фурастье Жан 83, 305
Фюстель де Куланж Нюма Дени 645

Хабаккук Г. Дж. 575
Хабиб Ирфан 517, 519, 520
Хайд Чарлз 571, 586, 587
Хакерт Ф. 288
Харрис Джеймс 278
Хартуэлл Р. М. 573, 608, 618
Хасан Азиза 71
Хаскиссон 598
Хаутман Корнелиус 210, 211, 500
Хейстингс Уоррен 548
Хекшер Эли 102, 292, 315
Хенсон Джонс Элис 310, 433
Хёпке Рихард 21, 97
Хестерман Я. К. 549
Хёхштеттеры, семейство 146
Хидер Чáглар 496

Хикс Джон 49, 589, 590, 607
Хинце Отто 296
Хиршман А.О. 608
Хобсбоум Эрик 591, 605
Хоггеры, семейство 273
Холкер 391
Холлар Вацлав (Венцель) 362
Хопкинс Шейла 83, 305, 609, 633, 634, 636
Хорнека 273
Хотсон Джон 314
Хоуп, семейство 240, 249, 262, 278
Хоуп Генри 278, 643
Хоффман Уолтер Дж. 78
Худде Йоханнес 226
Хэйетт Фредерик 283
Хэмилтон Эрл Джефферсон 81, 83
Хэнсен М. 416
Хэ Шень 49

Циани, семейство 126
Цицерон Марк Тулий 63
Цяньлун 49

Чайлд Джозайя 509
Чарторыские, семейство 40
Чатам — см. Питт Уильям Старший
Чаудхури К.Н. 524, 525, 537, 585
Челли Луиджи 495

Шабо Федерико 50
Шампиньи 217
Шах-Джахан 529
Шеврез, герцог де 331
Шереметьев, граф 463
Шереметьевы, семейство 463
Шиваджи 532
Шмоллер Г.Ф. фон 561
Шоню Пьер 44, 68, 71, 282, 328, 400, 428
Шорин, купец 458
Штольц Отто 297
Шумпетер Йозеф Алоис 9, 11, 307, 608, 645

Эберхард Волфрам 7
Эджис, капитан 449
Элленстайн Жак 648
Эмбер Гастон 73
Энгельс Фридрих 403, 553
Эон 294
Эратосфен 560
Эрбиньи д' 338
Эренберг Рихард 155
Эрсейра, герцог д' 43
Эрсилья-и-Суньига Алонсо де 398
Эстрад Годфрид, граф д' 205
Эфраим, купец 272
Эштон Томас 554, 555, 571, 629
Эштор Э. 102

Юм Дэвид 36, 387
Юнг Артур 326, 361, 608
Юрбен 79
Юри Пьер 327

Яков I, король Англии 177, 378, 570
Яков II, король Англии 191
Яков VI Шотландский — см. Яков I Английский

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Абвиль 391
Абердин 379
Абиссиния (Эфиопия) 396, 441, 490
Або (Абу, Турку) 253
Аваллон 321
Аверон, река 558
Авиньон 325
Австралия 408
Австрия 56, 94, 135, 171, 293, 311, 488, 496
Агра 214, 517, 519, 528
Агридженто 162
Аден 480, 492, 501, 544
Адрианополь (Эдирне) 121
Адриатика 14, 16, 29, 105—107, 113—116, 119, 122, 160, 251, 489, 495
Азия 210, 215, 216, 220, 223, 224, 227, 229, 234, 264, 319, 397, 453, 482, 498, 502, 505, 507, 511, 539, 542, 545—547
Азия Восточная 49
Азия Северная 472, 473
Азия Южная 49
Азов 92
Азовское море 455
Азорские острова 24, 139, 140, 235, 259
Акадия 421
Акапулько 217
Аквитания 288, 343, 344
Акциум 560
Алансон 343, 356
Алгарви 138, 140
Александрия 26, 92, 124, 128, 141, 484, 492—494, 509, 559, 560
Алентежу 140
Алеппо 166, 482—486, 490, 492, 494
Алес 286
Алжир 149, 207, 333
Аликанте 181
Алкобаса 140
Алтай 469, 470, 475
Альпы 108, 110, 121, 125, 156, 331, 343, 348, 349
Альтона 242, 271, 272
Аляска 469
Амазонка 411, 412
Амальфи 102—104
Амбон (Амбоин) 212, 213, 215, 218, 235
Америка 20, 26, 56, 71, 74, 76, 91, 137, 140, 149, 162, 164, 169, 206—208, 210, 216, 220, 232, 234, 242, 245, 248, 261, 268, 271, 275, 319, 350, 384, 392, 396—398, 400—403, 406—408, 410, 411, 413—420, 422, 424, 426—435, 437, 438, 440, 443, 447, 453, 456, 459, 468—470, 473, 481, 505, 524, 525, 538, 545, 550, 585, 591, 605, 629, 634, 645, 646
Америка Испанская 44, 232, 235, 329, 401, 413, 414, 416, 422, 425, 430—435, 438—440, 595, 627
Америка Северная 380, 383, 402, 473, 551
Америка Центральная 404, 439
Америка Южная 31, 398, 435
Амстердам 10, 21—24, 26—28, 32, 37, 45, 59, 62, 75, 93, 104, 122, 133, 138, 141, 146, 150, 154, 163, 171—174, 176, 178—182, 186, 187, 190, 191, 193, 198, 204—206, 209—211, 219, 220, 224, 226, 230, 233, 235—249, 252, 253, 256—259, 262—264, 268—275, 278, 279, 282, 292, 298—300, 314, 329, 333, 340, 349, 359, 362, 368, 372, 377, 379, 392, 403, 422, 450, 465, 475, 477, 496, 509, 511, 622, 627, 641
Амур, река 469, 474
Амьен 343, 348
Анатолия 496
Англия 10, 22, 26, 32—34, 36, 38, 40—43, 45—47, 54, 55, 57, 63, 64, 75, 76, 85, 95, 97, 102, 108, 112, 117, 123, 129, 130, 132, 135, 138, 149, 151, 152, 154, 162, 165, 167, 173, 177, 181, 186, 188, 191, 194, 203, 210, 211, 223, 232, 233, 235, 244, 245, 247—249, 251, 253, 261—263, 268, 273, 276—278, 282, 286, 291—294, 296—303, 305, 309—314, 316, 318, 320, 325, 326, 329, 336, 347, 350, 351, 353, 359—363, 365—373, 375, 377—397, 406, 407, 411, 413, 416, 418—424, 432, 434—436, 438, 440, 450, 452, 484, 489, 504, 507, 528, 534, 538, 547, 550, 552—558, 561, 564, 565, 567, 569—576, 578—583, 585, 586, 589—601, 603, 605, 606, 610, 614, 615, 617—622, 624, 625, 627—636, 641
Англия Восточная 615
Англия Северо-Западная 619, 620
Англия Юго-Восточная 619, 620
Ангола 442, 447, 449, 452
Ангумуа 293
Андалусия 31, 169, 425
Анды 408, 411, 438
Анжу 293
Анкона 29, 105, 121, 135, 174, 495
Аннеси 289, 321
Антверпен 21, 23, 24, 27, 32, 33, 50, 69, 82, 93, 94, 97, 122, 123, 133—136, 141—155, 162, 163, 166, 173, 174, 186, 203, 206, 209, 236, 268, 329, 333, 338, 349, 354, 362, 363, 365, 373, 543, 565
Антильские острова 191, 220, 352, 353, 380, 403, 404, 406, 414, 422, 427, 585, 593, 598
Апеннинский полуостров 55
Апеннины 156
Апулия 28, 29
Аравия 215, 217, 442, 489, 498, 528
Аравия Южная 493, 500
Аракан 221
Аргентина 399, 415
Арика 406
Арль 325
Арни 524
Арпажон 390
Арта, залив 495
Артуа 349
Архангельск 181, 382, 454, 458, 467, 468, 474, 475
Асти 108
Астрахань 455, 467, 474, 489
Атакама 398
Атлантика 19, 20, 50, 71, 75, 123, 136, 137, 140, 143, 146, 149, 161, 168, 206, 207, 210, 211, 213, 343, 398, 403, 410, 411, 413, 414, 422, 424, 426, 429, 440, 445, 450, 468, 481, 509, 648

Аугсбург 121, 147, 349
Африка 17, 19, 34, 48, 136, 140, 235, 261, 271, 383, 397, 403, 404, 407, 441—453, 482, 505, 533, 648
Африка Восточная 441
Африка Западная 445
Африка Северная 16, 61, 88, 121, 122, 124, 137, 162, 170, 174, 441, 448
Африка Черная 19, 121, 219, 232, 396, 422, 441, 445, 447, 448, 451
Африка Южная 219, 396, 441, 443
Ахен 94, 148
Ахмадабад 214, 519, 524
Ачем (Ачех) 214, 264, 499

Баб-эль-Мандебский пролив 492
Бавария 171, 288
Багдад 482
Базель 121
Баия 232, 400, 401, 408, 438, 440, 452
Байкал 467
Байонна 258, 293, 338, 341, 344, 348, 351, 352
Балагхат 516
Баласур 510
Бали, остров 543
Балканы (Балканский полуостров) 19, 34, 57, 121, 297, 453, 474, 475, 482—484, 496
Балтика (Балтийское море) 88, 93, 97—99, 101, 104, 111, 138, 147, 149, 151, 179, 188, 190, 194, 202, 206, 208, 209, 219, 249—253, 271, 350, 370, 454, 466, 476, 511
Банда, остров 218, 220, 221, 235, 543
Бантам 210, 211, 214, 215, 221, 264, 265, 499, 500, 544
Барода 510
Барруа 321
Барселона 128, 138
Бар-сюр-Об 107, 500
Басра 480
Батавия 61, 214, 220, 221, 223, 226, 229, 230, 264, 499, 503, 510, 545, 546, 548
Бат 603
Батерпур 521
Бедфорд 579
Безье 286
Бейрут 121
Бекингемшир 578, 579
Белград 482
Белен 426
Белое море 454, 468
Белфаст 384, 416
Бенарес 527
Бенгалия (Бенгал) 219, 221, 223, 274, 504, 521, 523, 526, 532, 535, 542, 547, 648
Бергамо 31, 116
Берген 92, 100
Берген-оп-Зом 147, 153
Бергслаг 253
Бери 613
Берингов пролив 469
Берлин 271, 291
Берри 293, 391
Биджапур 532
Бильбао 149, 181, 206
Бинтам 449
Бирма 221
Бирмингем 316, 582, 593, 620, 624
Бискайский залив 149
Ближний Восток 481, 488, 544, 545
Бове 242
Бовези 285
Бокер 339
Боливия 401, 404
Болонья 82, 563
Больцано 338
Бомбей 66, 500, 503—505, 510, 536, 549
Бонвиль 320
Бордо 181, 242, 258, 261, 268, 288, 326, 341, 344, 348, 351, 354, 356, 359, 379, 403
Борнхёвед 98
Босния 475
Бостон 414, 421, 423, 619
Босфор 490
Ботани-бей (залив Ботани) 392
Бохадор, мыс 136
Брабант 108, 143, 146, 181, 248, 279
Бразилия 26, 43, 53—56, 71, 140, 220, 232—235, 308, 352, 371, 399—401, 404, 406—408, 412, 419, 425—427, 432—435, 438, 439, 452
Бранденбург 100, 291
Бреда 53, 234, 262
Бремен 271
Бреннер, перевал 105, 111
Брента, река 130, 179
Брес 293
Бретань 36, 293, 321, 327, 341—344, 351, 353, 357, 605
Брешиа 116
Бри 107, 108, 328
Бриансоннэ 36
Бриарский канал 326, 327
Брилл 181
Бристоль 373, 378, 384, 395, 403, 407, 619
Британские острова 8, 28, 32, 88, 296, 297, 361, 373, 378, 384, 569, 591, 631
Броч 214
Бруаж 207, 259
Бруса 484, 488
Брюгге 33, 92, 95—102, 111, 113, 121, 124, 133, 138, 141, 147, 149, 153, 155, 162
Брэ, край 285
Брюссель 94, 152, 178, 279, 340
Буаси 112
Буда 480
Булонь 88
Бурбон, остров 442, 510, 534
Бурбоннэ 293
Бургундия 283, 288, 293, 321, 341, 344, 357
Бурнёф 207, 259
Бурханпур 214
Бухара 455
Буэнос-Айрес 414, 425, 430—432, 438
Бюже 293

Валанс 294
Валансьенн 343
Вале, кантон 284
Валенсия 138
Валлорсин 284, 285
Валона 495
Валуа, край 285
Валхерен, остров 143
Валь-д'Аоста 285
Вальядолид 289
Варшава 379
Ватерлоо 44, 436, 633, 634, 636
Вашингтон 181
Великобритания 36, 44, 194, 293, 298, 378, 381, 416, 537, 570, 585
Вена 121, 340, 387, 482
Венгрия 33, 119, 121, 291, 459, 496
Венесуэла 57, 58, 398, 411, 430, 439
Венеция 10, 14, 21—23, 26, 27, 29—31, 33, 34, 37, 39, 45, 48, 51, 62, 74, 82, 85, 87, 92, 97, 102, 104—108, 111, 114—138, 141—148, 157, 160—162, 166, 167, 169, 174, 179, 191, 192, 215, 236, 239, 265, 268, 288, 291, 293, 297—299, 306, 313, 314, 329, 370, 467, 471, 475, 480, 487, 488, 495, 497, 563, 565, 569
Вентимилья 156
Вер, река 558
Веракрус 69, 401, 430, 436
Верден 321, 325, 343
Верден-сюр-ле-Ду 321
Вере 379
Верона 105, 116, 563
Версаль 278, 354, 392, 497, 529
Вест-Индия 382, 425
Вестминстер — см. Уэстминстер
Византия 87, 88, 91—93, 103, 104, 106, 480, 481, 511
Вилла-Рика 413
Вильно 19
Виргиния 408, 412, 419, 420
Вирьё 335
Висла, река 257
Витебск 98
Вли (остров Влиланд) 179
Вогезы, департамент 642
Воёвр 285
Волга, река 455, 458, 459, 462, 464, 467
Волос 494
Вольтри 169

Всех Святых, залив (зал. Тодуз-ус-Сантус) 232
Выборг 254—256
Вышний Волочек 462
Вьетнам 17, 34, 539, 647

Гаага 181, 191—194, 200, 201, 245, 259, 270, 272, 290
Гавана 204, 427, 430, 452
Гавр 341, 348, 361
Гаити, остров 404
Галисия 175, 181
Гамбия, река 449
Гамбург 95, 98, 121, 151, 242, 247, 268, 271—273, 379
Гана 447
Ганг, река 8, 516, 523, 526, 548, 549
Гао 447
Гарлем (Харлем) 181, 185, 186, 262, 272
Гаронна, река 325, 359
Гаты 521
Гаты Западные 532
Гвинейский залив 233, 446, 447, 449, 453
Гданьск 38, 99, 256, 257, 379, 456, 471
Гелдерн 176, 178, 181
Гельголанд 597
Гент 94, 96, 155
Генуэзский залив 157
Генуя 14, 23, 26, 27, 50, 62, 71, 74, 82, 87, 104—106, 108, 110, 114—117, 121, 122, 125, 133, 138, 143, 148, 152, 155—166, 169, 171—173, 183, 192, 232, 246, 247, 268, 269, 275, 299, 329, 332, 335, 340, 349, 403, 569, 622
Германия 33, 64, 88, 89, 95, 102, 105, 108, 111, 112, 115, 119, 122, 149, 185, 243, 245, 262, 270, 272, 288, 291, 297, 310, 336, 348, 373, 417, 486, 488, 564, 569, 630, 631, 644—646
Германия Западная 340
Германия Северная 252
Германия Южная 99, 111, 147, 163, 340, 501, 565
Гёталанд 251
Гётеборг 253, 254
Гибралтар 44, 85, 88, 125, 388, 481, 489
Гибралтарский пролив 110, 136, 209, 559
Гиень (Гюйенн) 293, 351
Гималаи 559
Глазго 378, 379, 381, 603, 635
Гламорганшир 603
Гоа 211, 215, 221, 493, 510, 516, 520, 541, 546
Гоби 467
Голконда 219, 532
Голландия 33, 38, 45, 47, 55, 64, 76, 93, 167, 175—178, 183—188, 190—194, 198, 200, 201, 203—205, 208—211, 215, 219, 220, 229, 230, 232—235, 241, 243—247, 249, 251, 252, 258—264, 268, 271—277, 279, 298—301, 309, 329, 336, 350, 351, 353, 360, 363, 369, 371, 385, 386, 389, 392, 417, 424, 484, 507, 519, 546, 573, 596, 597, 630
Гонконг 537, 621
Готланд, остров 97
Гояс 399, 408
Гранада 137, 164, 167
Гренобль 288, 348
Греция 496, 560, 646
Гронинген 176, 178, 181
Гуадалахара 401
Гуанахуато 405, 413, 436
Гуаякиль 414—415
Гуджарат (Камбей) 214, 442, 499, 526, 533, 542, 544
Гудзон 419

Дакка 510, 524
Далмация 87, 132, 489
Дальний Восток 17, 61, 147, 191, 213, 216, 219, 223, 224, 226, 230, 232, 233, 396, 449, 493, 498, 501, 503—507, 511, 512, 526, 533, 539, 540, 544—547, 599
Даль-Эльвен, река 250
Дамаск 92, 490
Дамме 95
Дания 98, 101—104, 151, 194, 202, 250, 252, 310, 597
Данди 379
Данциг — см. Гданьск
Дарем 582
Дарнеталь 390
Дарьенский перешеек 379, 427
Девон 579
Девоншир 175, 243
Дейвиса, пролив 187
Декан 513, 517, 532
Делавэр 419
Дели 8, 41, 51, 518, 521, 528—530, 535
Делийский султанат 300, 527, 542
Делфт 181
Дерби 579
Дербент 480
Десима, остров 230, 510
Детройт 410
Джайпур 537
Джаск 510
Джидда 493
Джорджия 400, 407, 419
Джорджтаун 424
Джугдия 510
Джудекка, остров 105, 132
Джульфа 49
Диано 156
Дижон 288, 324, 348, 351, 356
Доброй Надежды мыс 19, 20, 106, 136—137, 211, 214, 481, 492, 505, 510
Доггер-банка 104, 187, 188
Дон, река 455
Дордонь, река 325
Дордрехт 181
Дофине 288, 293, 327, 341, 349, 350, 356, 357
Ду, река 321
Дублин 382—384, 417, 617
Дубровник — см. Рагуза
Дувр 293
Дунай, река 17, 56, 61, 288, 297, 474, 496
Дьеп 341
Дюнкерк 204, 223, 293, 348, 350, 352

Европа 9—16, 19, 20, 24, 27, 28, 40, 41, 43—51, 53, 55, 59, 61, 62, 64, 69, 71, 73—75, 82, 85, 87—94, 96—99, 103, 107, 110—113, 117, 121—123, 133—136, 138, 141, 146, 147, 152, 153, 155, 163, 168, 172, 173, 176, 178, 186—188, 191, 193, 198, 201, 203, 205, 206, 209, 210, 216, 217, 219, 220, 222, 233, 235, 236, 239, 241, 243, 244, 246, 263—265, 270, 275—277, 279, 283, 286—288, 291, 293, 296, 297, 308, 310, 317—320, 328, 329, 333, 336, 338, 342, 348, 359—362, 365—367, 373, 378, 384, 385, 387, 388, 395—398, 401—405, 407, 410, 411, 413, 415, 416, 422, 424—426, 428, 429, 432—435, 437, 440, 442—445, 447, 448, 451, 453—456, 461, 467, 468, 471, 475—481, 484, 486, 492, 496—498, 500—502, 504—506, 511, 512, 517—519, 521, 524, 525, 527, 533, 534, 537, 538, 540, 543, 545—547, 549—551, 556, 560—567, 570, 573, 582, 590, 591, 593—595, 597, 605, 612, 628, 630, 646, 647
Европа Восточная 57, 88, 99, 111, 291, 396, 402, 560
Европа Западная 9, 17, 74, 110, 339, 397, 400, 466, 486, 550, 551
Европа Северная 28, 94, 99, 107, 141, 147, 160, 166, 171, 173, 206, 207, 209, 210, 324, 343, 351, 366, 424, 564, 573
Европа Центральная 74, 111, 115, 147
Европа Южная 173, 424
Египет 16, 74, 88, 115, 121, 135, 141, 187, 481, 484, 493, 496, 501, 526, 559, 560, 598
Елгава — см. Митава
Енисей, река 469

Женева 82, 171, 176, 246, 289, 321, 338, 342—344, 567
Женевское озеро 251

Замбези, река 442
Занзибар 442

Зара (Задар) 105, 106
Звейн 95, 141
Зёйдер-Зе 95, 98, 179, 564
Зеландия 178, 181, 187, 188, 231, 235
Зеленый мыс 136
Зеленого Мыса острова 139, 140
Зондские острова 541
Зондский пролив 211, 541
Зунд 206, 379

Иберийский полуостров — см. Пиренейский полуостров
Иваново 463
Илимск 472
Иль-де-Франс 112, 291, 293
Иль-де-Франс, остров 61, 442, 510, 534
Ильеус 401
Ильмень, озеро 92
«Индии» 140, 208, 427, 429, 481, 508
Индийский океан 17, 19, 49, 104, 116, 137, 140, 147, 210, 213, 215, 235, 370, 441, 445, 448, 468, 481, 487, 493, 498, 499, 502, 507, 533, 539—543, 546
Индия 8, 16, 17, 26, 38, 41, 44, 49, 56, 61, 62, 71, 74, 106, 125, 147, 167, 210, 211, 214—219, 223, 229, 231, 238, 268, 274, 277, 298, 380, 384, 392, 434, 440—442, 446, 447, 472, 474, 477, 481, 489, 490, 492, 494, 498, 499, 501—506, 511—513, 516—521, 524—527, 529, 532—540, 542, 545—551, 570, 590, 591, 593, 594, 598, 599, 603, 605, 610, 641, 648
Индия Восточная 447
Индия Западная 66
Индия Северная 527
Индия Северо-Западная 217
Индия Центральная 516, 527
Индия Южная 516
Индонезия 17, 34, 41, 49, 210, 211, 213—215, 229, 230, 249, 264, 298, 396, 499, 508, 510—512, 525—526, 537, 539—544, 548, 641
Ипиранга 425
Ипр 94—96, 155, 186, 350
Иран 49, 135, 215, 217, 220, 442, 455, 456, 467, 468, 472, 474, 481, 482, 488, 490, 491, 496, 520, 527—529, 549
Ирбит 471
Иркутск 469, 471, 472, 474, 475
Ирландия 36, 138, 296, 297, 361, 378, 381—384, 394, 417, 583, 598, 602
Ирландское море 88, 97
Иртыш 469
Исландское море 187
Испания 24, 26, 47, 50, 54, 75, 82, 88, 112, 117, 122, 135, 146, 149—152, 161, 162, 164—170, 183, 191, 193, 206—209, 231, 232, 242, 243, 253, 268, 286, 291, 293, 297, 301, 318, 326, 329, 335, 336, 340, 350, 351, 353, 362, 366, 373, 379, 392, 406, 411, 413, 414, 416, 422—425, 428—430, 432, 433, 445, 481, 569, 595, 605
Истрия 29, 119, 120
Исфаган 22, 49, 51, 475, 490, 510
Италия 22, 41, 44, 48, 50, 61, 64, 74, 75, 87, 91, 93, 94, 103, 107—110, 112, 113, 116, 120, 122, 125, 149, 151, 160—162, 164, 167, 172, 204, 244, 247, 286, 288, 291, 297, 314, 325, 328, 329, 335, 336, 340, 343, 349, 350, 373, 466, 475, 500, 563—565, 567, 569, 595, 605, 621, 630, 651, 652
Италия Северная 14, 51, 93, 107, 110, 291, 348
Италия Южная 39, 87, 140, 495

Йонна, река 326
Йоркшир 375, 570

Кавказ 491
Кадис 33, 167, 169, 207, 209, 259, 340, 353, 403, 429, 430, 506, 595
Кадисский залив 208
Казань 455, 474
Казвин 455
Каир 166, 482, 490, 492—494, 501
Кале 181, 211, 294, 350, 360—361
Каликут 442, 493, 502, 507, 526, 544
Калькутта 22, 503, 504, 509, 521, 546, 548, 549
Камбей — см. Гуджарат
Каменец (Каменец-Подольский) 486
Кампания 36
Камчатка 469
Кан 288, 343, 348
Канада 26, 44, 55, 398, 423, 596
Канарские острова 138, 140, 149, 427, 446
Кандагар 504
Кандия (Крит) 26, 85, 105, 132, 268
Кантон 213, 332, 499, 510, 533, 545, 547—549
Капская колония 219, 441
Каракас 411
Кардифф 603
Карикал 510
Каркассонн 391
Карлскруна 252
Карнатик 519
Каролина Северная 404, 419, 420
Каролина Южная 404, 419, 420
Каррара 38
Карфаген 17, 560
Касимбазар 510
Каспийское море 455, 468, 474
Кастеллан, округ 331
Кастель Зеландия, форт 546
Кастилия 25, 149, 162, 209, 289, 645
Кастильское нагорье 291
Каталония 169, 301, 574
Като-Камбрези 146, 151, 361
Каттегат, пролив 253
Кафа 135, 162, 268
Кашмир 523, 531
Кёльн 68, 113, 121, 349, 565
Кембридж 531, 624
Кенигсберг 291
Керпуа 510
Киев 466
Килва 442
Кипр 26, 85, 106, 132, 268
Китай 17, 19, 24, 34, 49, 56, 74, 76, 104, 106, 213, 219, 223, 229, 265, 332, 370, 396, 416, 455, 457, 471, 472, 474, 475, 477, 498, 499, 505, 506, 510, 512, 521, 526, 535, 536, 538—540, 542, 544, 547—550, 593, 641
Китай Северный 489
Кито (Эквадор) 401, 408, 414, 415
Клюз 321
Ковентри 375
Колбрукдейл 586
Колония-дель-Сакраменто 428
Колумбия 404
Комаккьо 105
Коморин, мыс 498, 499
Конго 136, 139, 443, 445, 447, 448, 450, 452—453
Коннектикут 419, 420
Константинополь 14, 61, 87, 103, 105, 106, 121, 128, 134, 161, 334, 484, 486, 488, 490—493, 497
Контракошта 442
Копенгаген 272, 537
Кордильеры 436
Кордова 406
Корея 17, 539, 549
Корея Южная 537, 621
Корк 382, 384
Корнуолл 297, 378, 603, 624
Коромандельский берег 8, 216, 219, 223, 499, 504, 505, 507, 523, 526, 542—544
Корсика 160, 290
Корфу, остров 29, 85, 116, 138, 268
Косово поле 121
Коук 576
Кочин 214, 218, 521, 541
Кра, перешеек 540
Красное море 17, 49, 121, 396, 441, 481, 484, 492—494, 498, 499, 506, 525, 526, 532, 548
Крым 135, 455
Кувейт 308
Куенон, река 353
Курляндия 19
Курцола (Корчула), остров 106, 114
Куско 415

Кьоджа 114, 116
Кюрасао 234, 235, 242, 427
Кюсю 213
Кяхта 471

Ладога 466
Ладожское озеро 462
Лаккадивские острова 507
Ла-Манш 55, 88, 97, 151, 152, 258, 341, 342, 360, 361, 394, 600, 632
Лангедок 286, 288—289, 293, 341, 344, 356
Лангр 348, 351
Ланка (Цейлон) 213, 214, 218, 219, 221, 268, 275, 499, 503, 507, 526
Ланкашир 582, 603, 627
Ланьи-сюр-Марн 107, 500
Ла-Пуэбла 415
Ларедо 206
Ла-Рошель 341, 344, 348, 356, 379, 406
Ла-Рош-сюр-Форон 321
Лас-Навас-де-Толоса 88
Латинская Америка 307, 431, 433, 435, 648
Лахор 490, 510
Лахрибандар 510
Левант 38, 61, 62, 88, 106, 107, 116, 121—123, 129, 132, 134, 135, 138, 148, 166, 191, 210, 215, 231, 298, 338, 370, 466, 477, 486—488, 490, 494, 496, 505, 590, 591
Лейден 150, 176, 181, 185, 271
Лейпциг 33, 262, 271, 339, 475
Лена, река 469
Лепанто 481
Лерг, река 286
Лестер 579
Ливерпуль (Ливерпул) 316, 378, 384, 403, 450, 582, 591, 603, 604, 627
Ливония 58—59, 252, 254
Ливорно 22, 69—71, 174, 210, 242, 496
Лидс 243, 316, 582, 592, 620
Лилль 343, 348, 350, 351
Лима 427, 428, 430, 440
Лимань 356
Лимож 356
Лимузен 290, 293, 344, 356, 357
Лион 33, 148, 151, 171, 241, 324—325, 332—339, 341—344, 348, 349, 359, 373, 467
Лионнэ 321, 349, 356
Лисабон 24—26, 33, 50, 54, 59, 92, 99, 123, 137—141, 146—148, 154, 162, 206, 213, 215, 233, 288, 333, 403, 425, 507, 545
Лит 379
Литва 34, 250
Лодевуа 285
Лоди 120
Ломбардия 108, 116, 169, 171, 567
Ломбардская равнина 349
Лондон 22—24, 26, 27, 31, 32, 37, 45, 62—64, 92, 98, 100, 110, 121, 133, 154, 173, 239, 243, 246—247, 262, 263, 268, 271, 272, 274, 275, 291, 300, 303, 326, 329, 330, 333, 335, 353, 359, 361, 365, 367, 373—379, 389, 391, 392, 395, 403, 413, 422, 435, 438, 468, 477—479, 509, 511, 523, 570, 578, 579, 585, 600, 603, 605, 606, 615, 617, 619, 620, 623, 625—628, 630, 636, 641
Лориан 293, 344
Лотарингия 41, 285, 290, 293, 321, 341, 343, 344, 349, 350, 605
Лофотенские острова 100
Луара, река 41, 258, 291, 294, 296, 325—327, 344, 345
Лувен 94
Луизиана 412, 429
Лукка 56, 132, 155, 333, 501
Львов 475
Льеж 94, 253
Любек 95, 97—99, 101, 102, 121, 252, 253, 475, 565
Люблин 99

Маас, река 187, 237, 321, 325
Мадагаскар 211, 471
Мадейра, остров 139, 140, 259, 422, 446
Маджапахит 540—542
Мадрас 502, 504, 510, 526
Мадрид 25, 33, 41, 54, 62, 82, 129, 167, 213, 289, 403
Мадхья-Прадеш 516
Майсур 521
Макао 71, 213—215, 221, 264, 502, 503, 507, 510, 545, 547
Макассар 214, 218, 221, 225, 543
Маконнэ 321
Малабарский берег 8, 214, 523, 544
Малакка 22, 213—215, 217, 221, 499, 539—546
Малаккский пролив 213, 540
Малая Азия 486, 489
Мали 447
Малинди 441, 442
Мальдивский архипелаг 211, 507
Мальта 85, 191
Мангалур 521
Манила 71, 213, 217, 499, 503
Мантуя 286
Манчестер 316, 582, 591, 602, 603, 620, 627
Маракаибо 430
Марианские острова 543
Мариньяно 329
Марке 56
Маркизские острова 331
Марна, река 95, 108, 326
Марокко 138, 140, 400, 442, 481
Марро 156
Марсель 112, 128, 160, 169, 217, 289, 294, 325, 327, 333, 338, 341, 344, 348, 352, 359, 467, 488, 496, 509
Мартиньи 284
Масаррон 164
Маскаренские острова 211
Масса 156
Массачусетс 404, 419, 420
Масулипатам 214, 493
Матарам 221
Махараштра 519
Маэ 503, 534
Медвежий, остров 187
Медина-дель-Кампо 333
Мезьер 325, 348
Мекка 492, 532, 542
Мекленбург 34, 252
Мексика 75, 401, 404, 413—415, 432—436
Мексиканское плоскогорье 436
Мелория 106
Меларен, озеро 251, 253, 291
Мен 293, 342
Мендоса 415
Мерси 602
Мертер-Тидвил 603
Мессина 38, 162, 289, 333, 495
Мехельн 94
Мехико 401, 403, 405, 416, 430, 436, 440
Мец 237, 289, 314, 343, 348, 350
Мидделбург 181, 231
Мидленд 578
Милан 14, 113, 116, 117, 120, 121, 155, 163, 169, 171, 349, 488, 672, 674—676
Миланская область 156, 287
Минас-Жераис 408
Митава (Елгава) 19
Модон 494
Мозамбик 211, 215, 441, 442
Молуккские острова 213, 214, 218, 275, 506, 543
Момбаса 441, 442
Монако 156
Монголия 17, 474
Монгорпоз 510
Мономотапа 34, 442, 443, 448, 502
Монпелье 97, 286, 289
Монс 350
Мон-Сени, перевал 110
Монте 36
Монтиселло 419
Монтобан 357
Морьенн 285
Москва 19, 49, 51, 64, 453, 455, 458, 461, 463, 465—467, 470, 471, 474, 475, 478, 484, 537
Московская Русь (Московское государство) 17, 19, 49, 61, 102, 181, 250, 300, 396, 453, 454, 459, 466, 467, 549
Моха 217, 492, 493, 504, 506, 510
Мста, река 462
Мурано, остров 105, 132
Муршидабад 535

Мэн 400
Мэриленд 408, 419, 420
Мюнстер 203
Мюнхен 288

Нагасаки 502, 510
Нанкин 24
Нанси 289, 348, 350
Нант 242, 258, 333, 338, 340—344, 348, 351, 403, 450
Нарбонн 348
Нарва 454, 455, 468
Неаполитанское королевство 8, 297
Неаполь 29, 38, 120, 160, 163, 169, 340, 495
Нёвиль 335
Негропонт (Эвбея) 26, 105
Нерчинск 470
Нигер, река 448
Нидерланды 32, 44, 51, 87, 92—95, 101, 102, 107, 112, 113, 121, 138, 147, 149, 152, 155, 166, 168, 175, 178, 186, 193, 202, 206, 209, 226, 290, 291, 321, 325, 329, 340, 342, 348—350, 360, 366, 370, 564, 567, 569, 570
Нижний Новгород 458, 464, 467
Ним 169
Нимвеген 203, 259
Ницца 156, 160
Новая Англия 419, 421, 424, 437, 445
Новая Галисия 401
Новая Гранада 415
Новая Земля 186
Новая Испания 71, 353, 365, 399, 402, 404, 408, 413, 429—433
Новгород Великий 92, 97, 98, 100, 102, 468
Новгородская губерния 461
Нове (Нови) 339
Новый Амстердам — см. Нью-Йорк
Новый Орлеан 452
Новый Свет 57, 61, 89, 150, 186, 206, 232, 233, 235, 332, 352, 365, 392, 397, 398, 401—403, 406, 407, 410, 411, 414, 416, 425, 429, 434, 439, 440, 451, 470, 484, 492, 505, 546
Номбре-де-Диос 401
Норвегия 98, 100, 254, 270, 379
Нориндж 592, 600, 619, 624
Норланд 250
Нормандия 288, 289, 293, 353, 390, 564
Нортгемптон 376, 579, 620
Нортумберленд 582
Норфолк 576
Ноттингем 579, 624
Нью-Джерси 419, 420, 651
Нью-Йорк 22—24, 26, 235, 268, 275, 401, 407, 410, 418, 419, 422, 650—652
Нью-Йорк, штат 404, 419, 420, 648
Ньюкасл 570, 603
Нью-Ланарк 592
Ньюфаундленд 140, 353, 414, 421
Нью-Хэмпшир 419
Нюрнберг 113, 121, 333, 349

Обь, река 468, 469
Овернь 290, 307, 344, 356
Оверэйссел 178, 181
Ож, край 285
Одесса 467, 476
Оксфорд 529, 553
Олбани 401
Олинда 232, 440
Ольстер 381, 416
Ондскот 186
Онелья 156
Онис 293, 406
Онфлёр 341
Оран 52, 61
Орлеан 306, 326, 327, 330, 334
Орлеанский канал 326
Орли 112
Ормуз, остров 455, 499, 502
Орна, остров 430
Осер 321
Остенде 340
Ост-Индия 140, 211, 261, 264, 383, 392, 585
Осуа, край 321
От, край 285
Оттоманская (Османская) империя 49, 71, 134, 453, 480, 496—498

Па-де-Кале 360, 361
Падуя 116, 482
Палембанг 540
Палермо 38, 162, 263, 289, 333
Пампиус, банка 180
Панама 401, 414, 427
Панамский канал 408
Панипат 529
Параиба 53, 233
Парана, река 412
Париж 31, 33, 64, 97, 110—112, 234, 268, 273, 277, 293, 324, 326, 327, 329, 330, 332—336, 338—341, 343, 344, 353, 354, 373—375, 383, 388, 400, 406, 418, 467, 478, 479, 494, 511, 567, 603
Парижский бассейн 326
Пассаман 264
Патна 510, 524
Пегу 219, 542, 549
Пезаро 495
Пекин 24, 51, 457, 467, 471, 474, 475
Пеннинские горы 590, 620
Пенсильвания 404, 416, 419, 420
Перигор 359
Пермакоди 524
Пермь 458
Пернамбуку 53
Пероте 436
Персидский залив 121, 481, 484, 498, 499, 501, 505, 548
Персия — см. Иран
Перу 234, 365, 398, 401, 404, 406, 411, 412, 414, 427, 430, 431, 434, 440, 570
Пиза 39, 104—106, 116, 161, 475
Пикардия 293, 341, 390
Пиренеи 359
Пиренейский (Иберийский) полуостров 54, 108, 149, 186, 206, 207, 259, 432
Плесси 529, 533, 548, 594
Плимут 421
Пожаревац 48
Польша 19, 33, 34, 40, 42, 48, 102, 121, 151, 209, 250, 256, 257, 286, 291, 315, 382, 408, 453, 456, 458, 459, 478, 479, 497
Померания 100, 252
Пондишери 504, 524
Понторсон 353
Попаян 415
Пор-Луи 338
Портобельо 401, 427
Португалия 20, 24, 26, 31, 35, 42, 43, 53, 54, 95, 122, 136—140, 146—149, 206, 207, 233, 234, 242, 243, 288, 308, 370, 371, 373, 379, 392, 400, 419, 422, 424, 425, 432, 507, 545, 595, 635
Потоси 406, 411, 427
Прато 92, 308, 392, 651
Превезе 481
Прибалтика 98, 150
Прованс 289, 341, 344, 349
Провен 107, 108, 110, 111, 500
Псков 465
Пуату 293, 341, 344, 356, 357, 406
Пуэрто-Рико 430
Пэйл 381
Пьемонт 244, 288, 291
Пьяченца 333

Рагуза 29, 105, 135, 489
Ревель (Таллинн) 98, 99, 455
Регенсбург 121, 288, 379
Реймс 110, 288, 334, 351
Рейн, река 17, 61, 176, 181, 187, 209, 237, 262, 291, 349
Рейнская область 111
Рёйс, река 111
Реконкаво 232
Ренн 324, 341
Ресифи 53, 204, 232, 438, 440
Рига 98, 257, 455, 476
Риека — см. Фиуме
Рим 14, 16, 23, 26, 41, 62, 82, 88, 103, 105, 157, 171, 319, 361, 448, 560, 641, 646
Римская империя 17, 49, 60, 61, 88, 505
Рио-де-Жанейро 414, 438, 452
Рио-де-ла-Плата 406, 427—428, 430

Риом 356
Рисвик 203, 259
Роанн 327
Род-Айленд 419, 420
Розетта 482, 493
Романья 160
Рона, река 108, 294, 296, 325—327, 332, 341, 344, 357
Россия 19, 49, 135, 209, 231, 252, 291, 370, 392, 396, 397, 453, 455—459, 461—464, 466—468, 470, 471, 475—480, 488, 491, 496, 572, 581, 595, 605
Роттердам 178, 181, 184, 210, 262, 273, 279, 379
Руан 154, 237, 288, 333, 341—344, 348, 379, 390, 467
Руссильон 356
Рюкю, остров 549

Саардам 185
Сава, река 496
Савойя 289, 290, 296, 320, 341, 356, 652
Савона 116, 157
Сагриш 136
Сайгон 166
Сайда 486
Саксония 297
Салем 524
Салланш 321
Салоники 494
Сальсетт, остров 510
Сальтильо 401
Самарканд 455
Сан-Висенти, мыс 136
Сан-Доминго 351, 353, 423, 427, 484
Сан-Жоржи-да-Мина 140, 233, 449
Санкт-Петербург 71, 242, 249, 467, 475, 476, 479
Сан-Луис-Потоси 405
Сан-Паулу 399, 407, 412, 425
Сан-Паулу-ди-Луанда, остров 233, 234
Сан-Салвадор (Бразилия) 232
Сан-Сальвадор (Конго) 450
Сантандер 206, 414
Санта-Фе (де Богота) 434, 436
Сан-Томе, остров 139, 233, 234, 446, 449
Сантьяго-де-Компостела 108
Сан-Хуан-де-лос-Лагос 401
Сардиния 34, 160
Саутгемптон 121
Сахара 19, 34, 136, 445, 447
Св. Лаврентия река 421
Северн, река 619
Северное море 55, 74, 88, 93, 95, 97—99, 110, 112, 113, 138, 151, 152, 181, 187, 204, 252, 342, 349, 360, 511
Северо-Восток (Нордэсте, Бразилия) 53, 59, 232, 233, 408, 419
Севилья 24, 31, 50, 69, 129, 138, 140, 148, 149, 162—164, 166, 167, 169, 206—209, 242, 387, 403, 429, 445, 470
Сеговия 164
Седан 171, 348, 352, 391
Семюр 321
Сена, река 41, 95, 108, 325—327, 564
Сен-Готард, перевал 111, 349
Сенегамбия 450—452
Сен-Жан-д'Акр 74, 106, 128
Сен-Кантен 348
Сенки, река 602
Сен-Мало 160, 294, 318, 329, 338, 341, 344, 345, 352—354, 427
Сен-Мийель 325
Сентонж 293, 406
Сент-Этьенн 335
Сен-Шамон 335
Сенья 29
Серампоз 510
Сербия 121
Сервьер 36
Сет 348
Сетубал 207, 259
Сеута 121, 136, 139
Сиам 219, 542, 545
Сибирь 17, 34, 49, 458, 459, 466, 468—473, 475, 496
Сиена 39, 61
Силезия 242
Симанкас 81
Симплон, перевал 110
Сингапур 621
Синтра 635
Синт-Эустатиус 427
Сирия 16, 74, 115, 121, 124, 129, 135, 481, 484, 489, 560
Сифорт 408
Сицилия 14, 34, 55, 104, 106, 123, 140, 160, 162, 167, 170, 287, 289, 408
Скандинавия 88, 209, 291
Скутари 490
Слёйс 95, 124
Смирна 484, 486, 490, 494
Смоленск 19, 98
Соединенные Провинции 27, 28, 32, 40, 45, 54, 175, 176, 178, 179, 182, 183, 185—188, 191—195, 200—204, 206, 207, 211, 213, 230—233, 235, 238, 261, 272, 277, 278, 290, 297, 301, 310, 320, 325, 329, 348, 366
Соединенные Штаты Америки (США) 28, 37, 42, 43, 45, 48, 56, 59, 64, 75, 181, 182, 245, 246, 269, 310, 311, 314, 330, 392, 399, 404, 408, 412, 416, 419, 420, 424, 432, 433, 435, 437, 438, 550, 556, 592, 594, 596, 598, 615, 618, 631, 642, 644, 648, 653
Сокорро 415
Сомма, река 88, 291
Сона, река 108, 321, 325, 357
Сопуз 510
Софала 442, 447
Софала, река 442
СССР 59, 551
Спалато — см. Сплит
Сплит 105, 489
Средиземное море (Средиземноморье) 14, 16, 26, 28, 48, 50, 74, 75, 88, 92, 93, 95, 98, 99, 102—104, 106—108, 110, 112, 113, 115, 121, 123, 124, 138, 150, 160, 173, 174, 176, 186, 206, 207, 209, 210, 294, 310, 349, 353, 370, 422, 448, 481, 490, 492, 493, 496, 502, 540, 543, 544, 560, 561, 595, 641
Средиземноморье Восточное 14, 140
Средиземноморье Западное 14, 107, 138, 490
Средняя Азия 17, 455, 456, 529, 549
Стамбул 14, 22, 48, 49, 51, 134, 135, 210, 448, 475, 480, 481, 484, 488, 490—492, 494
Стаффордшир 582, 587
Стокгольм 251, 252, 255—257, 271, 379, 466
Страсбург 121, 335, 338, 348, 350
Струмица 297
Суассон 343
Судан 124
Сулавеси (Целебес) 218
Суматра 211, 214, 217, 219, 264, 539—541, 543, 544
Суонси 603
Сурат 8, 22, 66, 214, 216, 219, 220, 493, 504, 506, 510, 519, 521, 523, 525, 532, 534, 535, 541
Суринам 234, 235
Суэц 492, 493
Суэцкий канал 494
Сюси-ан-Бри 112

Табия 156
Таврия (Тавр) 559
Тайвань — см. Формоза
Тайн, река 600
Тана 128
Таненж 321
Тарантез 285
Татта 510
Таун 576
Ташкент 455
Тверца, река 462
Тверь 462
Тебриз 480, 482, 486
Тей 179
Тексел 179, 181, 264
Темза, река 374, 600
Тернате 213, 543
Тибет 17
Тидоре, остров 213, 506, 543
Тимор 219, 542
Тирренское море 115
Тихий океан 19, 71, 234, 318, 415, 474, 498, 540, 545, 551, 559, 648
Тлемсен 61, 480

Тобольск 34, 455, 466, 471
Тодморден 615
Токат 486
Толедо 285, 289
Томбукту 447
Тоннинген 597
Торунь 257
Тоскана 116, 125, 138, 287, 288, 297, 299
Трабзон 491
Траве, река 97
Трафальгар 44
Триест 28, 29
Триполи 121, 162
Троя 388
Труа 107, 108, 111, 288, 351, 500
Туат 125
Тулуа 285, 286
Тулуза 289, 359
Туль 285, 286, 343
Тунис 14, 61, 122, 149, 162, 328
Тур 241
Турень 293
Турецкая империя 48, 87, 135, 396, 453, 474, 480—482, 492, 494, 496, 531
Турин 114, 171, 288, 341
Туркестан 474
Турне 350
Турция 455, 456, 467, 482, 490, 492, 496, 497, 549, 591
Тюрнхаут 95

Уаза, река 326
Уазан, край 36
Уилтшир 376
Украина 457
Ульм 121
Уорикшир 582
Уорминстер 376
Уотерфорд 384
Уош, залив 36, 619
Упсала 251
Урал 468, 478
Уругвай 428
Утрехт 94, 178, 181, 203, 259, 277, 429
Уэльс 297, 361, 378, 382, 583, 603, 619
Уэстминстер (Вестминстер) 374, 618

Фалеме, река 449
Фамагуста 128
Фатихпур-Сикри 510
ФРГ 314
Фенс 36
Фернандо-По, остров 139
Феррара 29, 105, 495
Фес 92
Филадельфия 400, 417, 418, 421—423
Филиппины 503, 508, 541
Финикия 17
Финляндия 98, 250, 252—254, 257
Финский залив 254
Фиуме (Риека) 29
Фландрия 52, 53, 95, 96, 98, 113, 125, 129, 132, 138, 146, 147, 149, 177, 258, 288, 342, 349, 350, 466, 500
Флоренция 14, 27, 39, 41, 62, 74, 97, 104, 106, 108, 110, 113, 116, 117, 121, 125, 129, 138, 153, 155, 162, 166, 167, 288, 299, 523, 563, 589, 641, 651
Флорида 423, 452
Фокей 162
Формоза 214, 216, 229, 546, 549
Форт Зеландия 229
Форт Уильям 504, 548
Фосиньи 285, 320
Франкфурт-на-Майне 262, 291, 565
Франция 10, 26, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 56, 57, 63, 64, 67, 75, 82, 94, 95, 108, 111—113, 116, 117, 121, 135, 149, 151, 161, 165, 167, 171, 181, 190, 191, 199, 201, 203, 205, 207, 232, 237, 244, 245, 249, 252, 258, 259, 261, 263, 271, 273, 275, 276, 278, 279, 285—288, 290—294, 296, 298, 300—302, 306, 308—314, 316—320, 324—337, 339—352, 354, 356—360, 362—363, 366, 367, 372, 373, 382, 383, 387—397, 406, 412, 418, 422—425, 428, 429, 435, 467, 484, 494, 518, 533, 534, 548, 550, 558, 564, 570, 572, 581, 585, 588—590, 596—598, 619, 629, 631, 632, 642, 645, 650
Франция Западная 342, 620
Франция Южная 357
Франш-Конте 321, 341, 344, 349, 350
Фрисландия 176, 178, 181, 184, 278

Хайнань, остров 34
Халапа 401, 436
Ханфу 499
Хариджж 293
Хертфорд 579
Хиос, остров 162, 268, 488, 497
Хирадо 507
Хорватия 119

Целебес — см. Сулавеси
Центральный массив 321, 325, 341, 343

Чандернагор 510, 526, 527
Чаркас 401
Чарлстон 400
Чатиган 510
Черное море 74, 101, 106, 121, 135, 161, 162, 455, 468, 474, 475, 481, 484, 488, 490—492
Чесапикский залив 437
Чесма 491, 497
Чехия 33, 459
Чикаго 410
Чили 234, 398, 401, 412, 414

Шабле 285
Шалон на Марне 343, 348, 351
Шалон на Соне 110, 567
Шамбери 289
Шамони 36, 284
Шампань 61, 74, 92, 93, 107, 108, 110—113, 121, 237, 269, 288, 307, 321, 328, 341, 356, 560, 671, 673
Шарлевиль 325, 348
Швеция 48, 98, 151, 171, 194, 201—203, 231, 248, 250—254, 257, 259, 273, 291, 315, 379, 466, 572, 581
Шельда, река 69, 141, 143, 147, 149, 203, 206, 365
Шетлендские острова 603
Шеффилд 316, 582, 593, 620
Шираз 455
Шоле 242
Шотландия 64, 95, 135, 291, 296, 297, 378—383, 394, 576, 583, 588, 602, 603, 620
Шпейер 206
Шпицберген 187
Шривиджайя 540, 541
Шропшир 586
Штеттин 98
Штральзунд 181

Эврё 342
Эгейское море 481, 488
Эгморт 108, 112
Эдинбург 379, 381, 603
Эйлсбери 578
Эквадор 401, 404
Экс 289
Эльба, река 98, 448, 459
Эльбёф 391
Эльзас 293, 321, 343, 344, 349, 350
Эльсинор 476
Эмден 597
Энкхёйзен 181
Эно 293, 350
Энсерро 436
Эспаньола — см. Гаити
Эстония 254

Южный канал 359
Юкатан 404
Юннань 17
Юра 343
Ютландия 98

Ява 221, 235, 264, 268, 539—544
Ямайка 408, 412, 419, 423, 427, 450, 595, 598
Янина 495
Япония 17, 213—216, 218—220, 314, 396, 455, 501, 505, 507, 512, 539, 545, 546, 549, 550, 556, 648
Яракуй 57

ОГЛАВЛЕНИЕ

7 ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1 13 ЧЛЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ЕВРОПЕ

13 Пространство и экономики: Миры-экономики. *Миры-экономики 14. Миры-экономики, существовавшие всегда 16. Правила, выявляющие тенденцию 17. Правило первое: медленно варьирующие пределы пространства 18. Правило второе: в центре господствующий капиталистический город 21. Правило второе (продолжение): господствующие города сменяют друг друга 24. Правило второе (продолжение и окончание): более или менее полное господство городов 27. Правило третье: различные зоны были иерархизованы 28. Правило третье (продолжение): зоны по Тюнену 31. Правило третье (продолжение): пространственная схема мира-экономики 32. Правило третье (продолжение): нейтральные зоны? 35. Правило третье (продолжение и окончание): оболочка и инфраструктура 37.*

39 Мир-экономика: один порядок перед лицом других порядков
Экономический порядок и международное разделение труда 41. Государство: власть политическая, власть экономическая 44. Империя и мир-экономика 48. Война в соответствии с зонами мира-экономики 51. Общества и мир-экономика 56. Культурный порядок 60. Матрица мира-экономики вполне приемлема 64.

65 Мир-экономика перед лицом членений времени
Коньюнктурные ритмы 66. Флуктуации и площадь их распространения 69. Вековая тенденция 72. Объясняющая хронология миров-экономик 74. Цикл Кондратьева и вековая тенденция 76. Объяснима ли долговременная конъюнктура? 77. Вчера и сегодня 81.

Глава 2 85 СТАРИННЫЕ ЭКОНОМИКИ С ДОМИНИРУЮЩИМ ГОРОДСКИМ ЦЕНТРОМ В ЕВРОПЕ: ДО И ПОСЛЕ ВЕНЕЦИИ

87 Первый европейский мир-экономика
Европейская экспансия начиная с XI в. 88. Мир-экономика и биполярность 92. Северные пространства: успех Брюгге 94. Северные пространства: взлет Ганзы 97. Другой полюс Европы: итальянские города 102. Интермедия: ярмарки Шампани 107. Шанс, потерянный для Франции 111.

113 Запоздалое превосходство Венеции
Генуя против Венеции 114. Могущество Венеции 116. Мир-

экономика, начинающийся с Венеции 121. Ответственность Венеции 122. Торговые галеры 123. Капитализм определенного рода в Венеции 124. А как же труд? 130. Первенство промышленности? 133. Турецкая угроза 134.

136 Неожиданный успех Португалии, или От Венеции к Антверпену
Традиционное объяснение 136. Новые объяснения 137. Антверпен, мировая столица, созданная извне 141. Этапы антверпенского величия 146. Первый взлет, первое разочарование 146. Вторая удача Антверпена 149. Промышленный взлет 151. Оригинальность Антверпена 152.

155 Вернем веку генуэзцев его масштабы и его значение
«Завеса бесплодных гор» 156. Действовать вдалеке, вне своих пределов 160. Акробатическая игра 161. Генуя незаметно господствует над Европой 163. Причины генуэзского успеха 165. Отступление Генуи 168. Выживание Генуи 169. И возвращаясь к миру-экономике 172.

Глава 3 173 СТАРИННЫЕ ЭКОНОМИКИ С ДОМИНИРУЮЩИМ ГОРОДСКИМ ЦЕНТРОМ В ЕВРОПЕ: АМСТЕРДАМ

175 Соединенные Провинции у себя дома
Ничтожная территория, бедная природными ресурсами 175. Подвиги земледелия 176. Перенапряженная городская экономика 178. Амстердам 179. Пестрый состав населения 182. Прежде всего рыболовство 187. Голландский флот 188. Имелось ли «государство» Соединенных Провинций? 191. Почти не меняющиеся внутренние структуры 194. Налог против бедняков 199. Перед лицом других государств 201. Царственная власть деловых операций 204.

205 Овладеть Европой — овладеть всем миром
Главная игра была сыграна до 1585 г. 206. Остальная Европа и Средиземноморье 209. Голландцы против португальцев: занять место ближнего 210. Связная система торговых перевозок в голландской империи 216.

220 Успех в Азии — неуспех в Америке
Время борьбы и успехов 220. Величие и упадок Объединенной Ост-Индской компании 223. Чем объяснить крах XVIII в.? 227. Неудачи в Новом Свете, предел голландского успеха 232.

235 Преобладание и капитализм
Когда в Амстердаме дела на складах хороши, все идет хорошо 236. Товары и кредит 239. Комиссионная торговля 241. Смысл существования акцепта 243. Мода на займы, или Извращение капитала 246. Иная перспектива: удаляясь от Амстердама 249. Вокруг Балтийского моря 250. Франция против Голландии: неравная борьба 258. Англия и Голландия 261. Выйти за пределы Европы: Индонезия 264. Возможны ли обобщения? 265.

268 О закате Амстердама
Кризисы 1763, 1772—1773, 1780—1783 гг. 269. Батавская революция 276.

Глава 4 280 НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

283 Подразделения простейшие, подразделения высшего порядка
Гамма пространств 283. Провинциальные пространства и рынки 288. Национальное государство — да! Но национальный рынок? 290. Внутренние таможни 292. Не нужно априорных определений 296. Экономика территориальная, экономика городская 298.

301 Считать и измерять
Три переменные и три величины 302. Три двусмысленных понятия 307. Порядки величин и корреляции 308. Государственный долг и ВНП 311. Прочие соотношения 312. От потребления к валовому национальному продукту 315. Подсчеты Фрэнка Спунера 316. Очевидные преемственности 318.

319 Франция — жертва своего огромного пространства
Разноликость и единство 320. Связи естественные и искусственные 325. Прежде всего политика 327. Чрезмерность пространства 329. Париж плюс Лион, Лион плюс Париж 332. Париж одерживает верх 336. За дифференциальную историю 341. За линию Руан — Женева или против нее 343. Окраины морские и континентальные 345. Города «другой Франции» 351. Внутренние регионы 354. Внутренние регионы, завоеванные периферией 358.

359 Торговое преобладание Англии
Как Англия стала островом 360. Фунт стерлингов 363. Лондон, создающий национальный рынок и созданный им 373. Как Англия стала Великобританией 378. Английское величие и государственный долг 384. От Версальского мирного договора (1783 г.) к договору Идена (1786 г.) 389. Статистика освещает проблему, но не решает ее 392.

Глава 5 396 МИР НА СТОРОНЕ ЕВРОПЫ ИЛИ ПРОТИВ НЕЕ

397 Обе Америки, или Главная ставка из всех
Громадные пространства — враждебные и в то же время благоприятные 398. Региональные или национальные рынки 400. Последовательные виды подневольного состояния 402. На стороне Европы 410. Против Европы 412. Промышленное соперничество 414. Английские колонии выбирают свободу 416. Торговые споры и соперничество 420. Испанские и португальские колонии 424. Новый взгляд на Испанскую Америку 425. Вновь взятая в руки испанская империя 428. Сокровище из сокровищ 431. Ни феодализма, ни капитализма? 437.

441 Черная Африка, которой завладели не только извне
Одна только Западная Африка 442. Континент изолированный, но доступный 445. От побережья к внутренним районам 448. «Треугольная торговля» и условия обмена 450. Конец рабства 452.

453 Россия — долгое время сама по себе мир-экономика
Русская экономика, быстро приведенная к квазиавтономии 454. Сильное государство 456. Крепостничество в России ужесточается 458. Рынок и сельские жители 461. Города, бывшие скорее местечками 464. Мир-экономика, но какой? 467. Изобретать Сибирь 468. Недостаточность и слабости 474. Цена европейского вторжения 476.

480 Случай Турецкой империи
Основы мира-экономики 480. Место Европы 486. Мир караванов 488. Долго сохраняемое морское пространство 490. Купцы на службе турок 494. Упадок экономический и упадок политический 496.

498 Самый обширный из миров-экономик: Дальний Восток
Четвертый мир-экономика 502. Индия, завоеванная самой Индией 503. Золото и серебро, сила или слабость? 505. Воинственное прибытие, или Не такие купцы, как другие 507. Конторы, фактории, отделения, суперкарго 509. Как постичь глубинную историю Дальнего Востока 511. Индийские деревни 513. Ремесленники и промышленность 518. Национальный рынок 525. Сила Могольской империи 527. Политические и внеполитические причины падения империи Моголов 529. Отставание Индии в XIX в. 534. Индия и Китай, охваченные одним супермиром-экономикой 539. Ранняя слава Малакки 540. Создание новых центров Дальнего Востока 546. Можно ли делать выводы? 549.

Глава 6 552 ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

553 Некоторые полезные сравнения
Революция: слово сложное и дусмысленное 553. Прежде всего вниз по течению: слаборазвитые страны 556. Вверх по течению: неудавшиеся революции 558. Александрийский Египет 559. Первая промышленная революция Европы: лошади и мельницы XI, XII, XIII вв. 561. Революция, наметившаяся во времена Агриколы и Леонардо да Винчи 565. Джон Ю. Неф и первая английская революция, 1560—1640 гг. 569.

573 Английская революция сектор за сектором
Первоочередной фактор: английское сельское хозяйство 575. Демографический подъем 582. Техника — условие необходимое, но, вне сомнения, недостаточное 584. Не следует «недооценивать» революцию в хлопчатобумажной промышленности 589. Победа торговли на дальние расстояния

593. Умножение внутренних перевозок 599. Медленная эволюция 605.

607 Выйти за пределы промешленной революции
Разные виды экономического роста 607. Как объяснить экономический рост? 609. Разделение труда и экономический рост 611. Разделение труда: к прекращению надомничества 611. Промышленники 614. Разделение английского общества на сектора 617. Разделение труда и география Англии 619. Финансы и капитализм 621. Как расценивать роль конъюнктуры? 628. Материальный прогресс и жизненный уровень 636.

639 В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: РЕАЛЬНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИЕ И РЕАЛЬНОСТИ НЫНЕШНИЕ
Длительная временная протяженность 640. Общество охватывает все 643. Выживет ли капитализм? 647. Чтобы действительно закончить: капитализм перед лицом рыночной экономики 649

654 СПИСОК ГРАФИКОВ

655 СПИСОК КАРТ И СХЕМ

656 СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

658 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

664 УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Поправка

Цена в выходных данных указана ошибочно.

Цена договорная.

Ф. Бродель

ВРЕМЯ МИРА

Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.

том 3

Редактор *Н. В. Рудницкая*
Художник *О. Н. Гребенюк*
Художественный редактор *С. В. Красовский*
Технический редактор *Н. И. Касаткина*
Корректор *В. В. Евтюхина*

ИБ № 15934

Сдано в набор 24.07.90. Подписано в печать 30.08.91. Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 56,5. Усл. кр.-отт. 114,6. Уч.-изд. л. 57,25. Тираж 35 000 экз. Заказ № 1006. Цена 10 р. Изд. № 44814.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по печати. 119847, Москва, Зубовский бульвар, 17. Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.